Уильям Манчестер
Пол Рейд



Защитник королевства

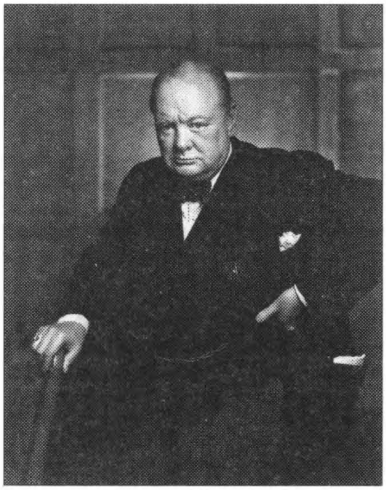
Уинстон Спенсер
ЧЕРЧИЛЛЬ

Вершина политической карьеры 1940—1965

Уильям Манчестер • Пол Рейд

Защитник королевства
Уинстон Спенсер
ЧЕРЧИЛЛЬ
Вершина политической карьеры 1940—1965

Яркая, насыщенная противоречивыми фактами политическая биография лидера британского правительства, автора идеи упреждающего ядерного удара по Кремлю



William Manchester
Paul Reid

THE LAST LION

Winston Spencer

CHURCHILL

Defender of the realm

•

1940–1965

Уильям Манчестер
Пол Рейд

Уинстон Спенсер

ЧЕРЧИЛЛЬ

Защитник королевства

•

Вершина политической карьеры
1940—1965

Москва
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

УДК 929 Черчилль
ББК 66.3(4Вел)
М24



Охраняется законодательством РФ
о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Оформление художника
Е.Ю. Шурлаповой

Фотография на обложке ИТАР-ТАСС

Манчестер У., Рейд П.
М24 Уинстон Спенсер Черчилль. Защитник королевства. Вершина политической карьеры. 1940—1965 / Пер. с англ. Г.В. Максимюк. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2016. — 1183 с.

ISBN 978-5-227-06283-3

Сэр Уинстон Спенсер Черчилль – британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах, военный, журналист, писатель, почетный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии, по данным опроса, проведенного в 2002 году компанией Би-би-си, величайший британец в истории.

Черчилль, представленный Уильямом Манчестером и Полом Ридом, – это человек несгибаемого мужества, острого ума и невероятного стремления к действию. Эта книга – блистательный рассказ о том, как Черчилль организовал свою нацию для обороны и военного отпора нацистской Германии, вынудив Рузвельта оказать поддержку Британии поставками вооружения. Именно он настоял на оказании помощи Советскому Союзу, что не мешало ему оставаться его убежденным идейным врагом В Старике, как называли его сотрудники, уживалось несколько, иногда противоречащих друг другу личностей. Он непозволительно много работал, был эгоистичен, придирчив, вспыльчив, груб, невнимателен к людям и в то же время преисполнен сострадания к тем, кто попал в трудное положение. Но что бы ни происходило с ним и с его страной, которой он был бесконечно предан, он всегда поступал в соответствии со своим девизом: «Никогда не сдавайся!»

УДК 929 Черчилль
ББК 66.3(4Вел)

Copyright © 2012 by John Manchester, Julie Manchester, Laurie Manchester, and Paul Reid
© Перевод и издание на русском языке, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

ISBN 978-5-227-06283-3

Уинстон Спенсер

ЧЕРЧИЛЛЬ

Защитник королевства

Памяти
ДЖОНА КОЛВИЛЛА,
кавалера ордена Бани,
кавалера ордена Виктории (1915—1987),
воспитанника Харроу, государственного служащего,
воина, летчика, ученого

Уильям Манчестер, август 1994

БАРБАРЕ

Пол Рейд, август 2012

In freta dum fluvii current, dum montibus umbrae
Lustrabunt convexa, polus dum sidera pascet;
semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.

Реки доколе бегут к морям, доколе по склонам
Горным тени скользят и сверкают в небе светила, —
Имя дотоле твое пребудет в хвале и почете.

Вергилий. Энеида. Книга 1

Предисловие
ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ ЛЕВ

21 июня 1940 года Уинстон Черчилль был самой заметной фигурой в Англии. В этот день Франция приняла гитлеровские условия капитуляции, и теперь под свастикой оказалась фактически вся Европа. Британия с доминионами были один на один с Третьим рейхом. Черчилль, всего шесть недель назад назначенный премьер-министром, защищал не только свой родной остров. Будучи первым министром короны, он также являлся центральной фигурой Британской империи, занимавшей в то время почти четверть всей суши, на которой проживала почти четверть населения Земли. Не вызывает сомнений важность его роли. Каждый, кто общался с ним, видел его по-своему. Он был многогранным человеком, в котором уживалось несколько личностей, некоторые противоречили друг другу, но все были естественные.

В доме номер 10 по Даунинг-стрит недавно назначенного шестидесятипятилетнего премьер-министра все называли Стариком. Он был во многих отношениях неудобным хозяином. Работал непозволительно много. Был эгоистичен и чрезвычайно невнимателен к людям. Трудно было понять, что Черчилль говорит, поскольку он шепелявил и часто переходил на ворчливый тон, произнося слова негромко и неотчетливо, и его помощникам приходилось помучиться, чтобы понять, кого он имел в виду, когда упоминал «этого круглолицего человека в министерстве иностранных дел» или «лорда, хромающего на левую ногу». Черчилль считался с мнением военных советников, но никогда не делегировал полномочия премьер-министра ни одному из своих сотрудников. Он хотел лично принимать все решения, поскольку, по словам сэра Йена Джейкоба*, «был полон решимости стать номером один». Йен Джейкоб был помощником секретаря по военным

* Джейкоб Йен — помощник секретаря военного кабинета (1939—1945), обрабатывал большую часть военной корреспонденции Черчилля. В конце войны получил звание генерал-лейтенанта. (*Примеч. авт.*)

вопросам в военном кабинете и об упрямстве Черчилля знал не понаслышке[1].

Черчилль мало того что контролировал решение стратегических вопросов, вообще вникал во все подробности. Он принял, например, решение о необходимости обеспечения солдат затычками для ушей из-за устрашающих звуков современной войны. Ему пришло в голову, что оружие, взятое в качестве трофеев по окончании Первой мировой войны, можно сделать пригодным для использования в боевых условиях. Он потребовал, чтобы ему объяснили, какие меры предусмотрены для спасения животных в зоопарке на тот случай, если зоопарк подвергнется немецкой бомбардировке. Некоторые его соображения о тонкостях ведения войны были пророческими. Он попросил своего личного представителя в Комитете начальников штабов, генерала Исмея Гастингса по прозвищу Мопс ускорить разработку «некоего снаряда для стрельбы из винтовки по танку, типа снаряда траншейного миномета».

Однако горе подчиненному, привлекшему внимание Черчилля к подробностям, которые тот считал незначительными. Когда в Рейкьявике перед ожидаемым немецким вторжением в страну министр короля Георга предложил эвакуировать гражданское население Исландии, Черчилль ответил, что это, «конечно, полная ерунда». Опасности, с которыми столкнулись исландцы, были незначительными, и, «во всяком случае, у них большой остров и множество мест, куда сбежать». Он получал огромное удовольствие, блуждая в дебрях подробностей. Как-то той весной, когда шло обсуждение операции, связанной с минированием бассейна Рейна, Черчилль сказал своему помощнику: «Это один из тех редких счастливых моментов, когда уважаемые люди, такие как вы и я, могут получать удовольствие, обычно предназначенное Ирландской республиканской армии»[2].

Черчилль мог обменяться шуткой с подчиненными; это случалось не так уж редко, но не носило постоянный характер. У подчиненных чаще возникала возможность испытать на себе его гнев. Светло-голубые глаза Черчилля четко сигнализировали о настроении, и если его пристальный взгляд — «такой же теплый, как летний луч солнца», когда он был доволен, — делался ледяным, сотрудники знали, что надвигается буря. Его гнев был ужасен — Черчилль наводил страх на адмиралов, генералов и, ежедневно, на своих сотрудников. «Боже мой, девочка, ты не смогла правильно напечатать даже после того, как я дважды повторил «гіре» — Р, Р», — рявкнул он на Элизабет Лейтон, новую машинистку в «номере 10»*, которая имела несчастье принять невнятно произнесенное слово «гіре» за «right».

---

* В разговорной речи Даунинг-стрит, 10 называют Номер 10». (*Здесь и далее, кроме особо указанных случаев, примеч. пер.*)

Однако, как обычно после подобных вспышек, Черчилль принес извинения на свой манер — он «простил» Лейтон и «был весьма любезен оставшуюся часть дня». На самом деле по своей природе он был преисполнен сострадания ко всем людям, попавшим в трудное положение, включая тех англичан (он всегда предпочитал говорить «англичане и англичанин», а не «британцы и британец»), которых считал ответственными за существующее трудное положение Англии. Узнав, что толпа забросала камнями автомобиль Стэнли Болдуина, он тут же пригласил бывшего премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 на обед (в то время, когда ему была дорога каждая минута), и когда ему сказали, что Невилл Чемберлен умирает от рака — Чемберлен не доживет до конца 1940 года, — Черчилль приказал своим сотрудникам сообщать по телефону бывшему премьер-министру, политика которого потерпела полный провал, только хорошие новости[3].

Позже Болдуин, рассказывая об этом обеде с Черчиллем Гарольду Николсону*, добавил, что ушел с Даунинг-стрит «счастливым человеком», испытывая «патриотическую гордость, что моя страна в такое время нашла такого руководителя».

По мнению Болдуина, «военные испытания выявили все основные качества характера» Черчилля. Не все. В узком кругу он любил позлословить о поверженных врагах. Как-то во время завтрака они с женой Клементиной пересказали гостям слух, исходивший от домашних Болдуина, что тот «затравленный человек». По их словам, члены семьи и слуги настолько неуважительно относились к бывшему премьер-министру, что, когда он пожаловался на слишком громко звучащее радио, кто-то прибавил громкость. И когда заканчивались продукты, именно Болдуина родственники отправляли к бакалейщику, чтобы пополнить запасы в кладовой. Когда друзья Болдуина передали Черчиллю приглашение на 80-летие бывшего премьер-министра, Черчилль, через посредника, сообщил им: «Я не желаю Стэнли Болдуину зла, но лучше бы ему было вовсе не рождаться на свет». Самое известное высказывание Черчилля о Болдуине: «Он иногда падает, споткнувшись о правду, но поспешно вскакивает и бежит дальше, как будто ничего не произошло». Что касается Чемберлена, то Черчилль сказал своему новому личному секретарю Джоку Колвиллу, что бывший премьер-министр «самый ограниченный, самый невежественный, самый мелочный из людей». Однажды Черчилль в разговоре со своим врачом умудрился не переводя дыхания очернить Чемберлена и Болдуина: «Болдуин думал, что Европа — это скучно, Чемберлен думал, что это большой Бирмингем». Его мелочность была столь же

* Николсон Гарольд (1886—1968) — биограф, историк, вел дневник, был членом парламента с 1935 по 1945 год. С мая 1940 по июнь 1941 года служил под началом Даффа Купера в качестве парламентского секретаря в министерстве информации. Позже перешел на Би-би-си. (*Примеч. авт.*)

искренней, сколь его великодушие, сентиментальность и любовь к Англии[4].

Члены личного секретариата (секретари, связные, машинистки) должны были беспрекословно выполнять приказы, не высказывая критических замечаний. «Да не будет у тебя иного бога, кроме меня», — говорил премьер-министр. У него был тяжелый характер. Когда Черчилль выходил из себя, под удар попадал тот, кто оказывался рядом, кем бы ни был, и, подобно людям его класса и поколения, он никогда не извинялся и не давал объяснений, хотя позже изо всех сил старался успокоить потерпевшую сторону, скажем похвалив почерк или пробормотав: «Знаете, я, возможно, могу показаться очень жестоким, но на самом деле я жесток только по отношению к одному человеку, Гитлеру».

27 июня, после капитуляции Франции, Клементина написала ему единственное по-настоящему личное письмо из тех, которыми они обменялись в тот год. Она обратила его внимание на потенциально катастрофическое положение дел, связанных с непосредственным вмешательством премьер-министра, — его отношение к сотрудникам. «Ты рискуешь, — написала она, — заслужить неприязнь всех своих коллег и подчиненных из-за твоей грубости, сарказма и властности». Вне всякого сомнения, написала она, сказывается переутомление. И отметила заметное ухудшение его характера: «Ты не так добр, как был раньше». Она предупредила мужа, что его раздражительность и грубость вызовут «неприязнь или рабское угодничество». Свое послание Клементина закончила словами: «Пожалуйста, прости свою любящую и бдительную Клемми». Под подписью она сделала набросок кошки (на протяжении почти трех десятилетий Уинстон называл ее Кошка). Нет никаких свидетельств об ответе Черчилля. Однако тот факт, что письмо сохранилось, позже написала их дочь Мэри, указывает на сдержанную реакцию[5].

В 1940 году они не разлучались надолго, как это было во все предыдущие годы их брака, когда работа, война и праздники вынуждали одного из них уехать за границу. Его отношение к сотрудникам за ближайшие месяцы, проведенные по большей части в сыром подземном убежище, не претерпит ни малейших изменений в лучшую сторону.

Все, кто в то время были с ним, сходятся во мнении, что Старика волновали более важные вопросы, чем чувства подчиненных. Но в любом случае со временем они начинали преклоняться перед ним. Позже Джок Колвилл вспоминал: «Черчилль симпатизировал простым людям, поскольку сам имел ясное представление о том, что требовалось, и ненавидел казуистику. Вот почему его любили простые люди и не любила интеллигенция». Черчилль, в свою очередь, считал левых, присвоивших себе право судить, кто прав, а кто не прав, высокомерными; «недостаток», который, по словам Колвилла, Черчилль «не вы-

носил в других, особенно высокомерие в интеллектуальной форме». По этой причине Черчилль испытывал «неприязнь и презрение к интеллектуальному крылу Лейбористской партии», которое отвечало ему тем же. В 1940 году левые интеллектуалы были враждебно настроены в отношении Черчилля и общего дела Британии, которое было проще некуда: одержать победу над Гитлером[6].

Черчилль не испытывал особого интереса к социально-политическим теориям; он был человеком дела: выявить проблему, найти решение и решить проблему. Однако для человека дела он был необычайно вдумчивым и начитанным. Во время службы в Индии он, будучи молодым офицером, собрал библиотеку, в которой были «Этика и политика» Аристотеля, «Республика» Платона, сочинения Шопенгауэра о пессимизме, Мальтуса о народонаселении и «Происхождение видов» Дарвина. Для Черчилля чтение было формой деятельности. Увлекаясь чтением на протяжении всей жизни — от новелл писателя С.С. Форестера о морских приключениях Горацио Хорнблауэра до сочинений Шекспира и Маколея, — он умел выявить основные элементы сложных интеллектуальных систем, конструкций и теорий. Во время войны он однажды резко оборвал завязавшийся на обеде разговор о социализме, порекомендовав присутствовавшим прочесть энтомологическое сочинение Мориса Метерлинка «Жизнь термитов». «Социализм, — заявил Черчилль, — сделает наше общество похожим на общество термитов». И вопрос был закрыт. Спустя почти десятилетие, когда Лейбористская партия, находясь у власти, национализировала одну за другой отрасли промышленности и все еще существовала карточная система распределения мяса, бумаги, бензина и даже древесины для изготовления мебели, Черчилль заметил: «Социалистическая мечта больше не утопия, а очередитопия»*[7].

В конце июня личный секретарь Черчилля Эрик Сил отметил, насколько Черчилль «изменился, став премьер-министром», насколько стал «спокойнее, менее резким, менее невоздержанным, менее импульсивным». Это не соответствовало действительности. Изменилось отношение Сила к Черчиллю, а не сам Черчилль. Его характер полностью сформировался на рубеже веков как офицера имперской армии Виктории, как военного корреспондента, как молодого члена парламента при старой королеве. И он это знал. Как-то вечером, слушая пластинки с записью оперы «Микадо», он сказал, что они возвращают его юность и Викторианскую эпоху, «восемьдесят лет, которые займут место в истории нашего острова вместе с эпохой Антонинов». Англичане из высшего общества, достигшие совершеннолетия в период расцвета империи, обладали непоколебимой верой в Англию,

* Queuetopia — очередитопия, слово, придуманное Черчиллем.

уверенностью в собственном мнении и убежденностью в том, что они знают мир и являются его хозяевами[8].

Во многом Черчилль оставался человеком XIX века, но никак не обычным человеком. Он относился к тем, кого Генри Джеймс назвал в своем документальном произведении English Hours («Английские часы») «людьми, на которых должен бесперебойно работать механизм удобств». Камердинер Черчилля грел бокал с виски над аккуратно обрезанной свечой, чтобы полностью раскрылся вкус и аромат напитка; его машинистки и секретари держали наготове свечи, чтобы он мог прикурить сигару. (Черчилль отдавал предпочтение кубинским сигарам Romeo y Julieta). Он никогда не ездил на автобусе. Черчилль единственный раз воспользовался лондонским метро в 1926 году во время всеобщей забастовки. Клементина высадила его на станции «Южный Кенсингтон», но Уинстон не сумел сориентироваться, «ходил по кругу в поисках выхода, и в конечном счете ему пришлось обращаться за помощью». Черчилль никогда не имел при себе наличные, только в казино и на дерби, чтобы помощник покупал фишки и делал ставки на фаворитов[9].

Клементина, на десять лет младше Уинстона и гораздо более сведущая в домашней экономике, вела хозяйственные книги; она занималась закупками вместе с прислугой. Черчилль не имел привычки общаться с местными торговцами. Этот человек, воплощение духа Англии, никогда не посещал благотворительные базары и не стоял в очереди в пекарню за свежеиспеченными булочками. Он никогда сам не покупал билеты на поезд. Как и подобает человеку его класса и положения, он никогда не готовил еду. Как-то он захотел провести выходные не в Лондоне, а в загородном доме в Чартвелле, и Клементина напомнила ему, что там нет кухонного персонала. «Я сам приготовлю для себя, — ответил Черчилль. — Могу сварить яйцо. Я видел, как это делают». Собираясь куда-нибудь ехать, он всегда спрашивал: «Кучер на козлах?» — что означало, на месте ли шофер. Его телохранитель, инспектор Скотленд-Ярда Уолтер Томпсон, вспоминал, что в тех редких случаях, когда Черчилль сам садился за руль, «он никого не пропускал, оставляя вмятины на своем и чужих автомобилях. По его теории, люди не должны были находиться на его пути»[10].

Для того чтобы ехать с Черчиллем, вспоминал Томпсон, требовалось «взять ответственность за собственную жизнь в свои руки». Как-то Черчилль, тогда еще министр финансов, свернул в боковую улицу в Кройдоне и увидел автомобильный затор, который возник из-за проведения дорожно-ремонтных работ. Полицейский сделал Черчиллю сигнал остановиться, но Черчилль проигнорировал сигнал констебля и, выехав на тротуар, объехал затор. Томпсону довольно часто приходилось перехватывать у Черчилля руль, чтобы предотвратить аварии. Когда Черчилль, сидя за рулем, столкнулся с автомобилем некоего несчастного

лондонца, это не произвело на него никакого впечатления, впрочем, как и частые столкновения с подчиненными, членами парламента и иностранными монархами. Роберт Бутби, один из наиболее преданных приверженцев Черчилля в «годы пустынного одиночества», период, когда Черчилль лишился власти, вспоминал, что Черчилля совершенно не заботило, что о нем думают люди, и абсолютно не интересовало, какие они испытывают чувства. «Именно это удивительное отсутствие интереса и привязанности, возможно, помогло ему стать великим лидером». Черчилль «часто бывал бессердечным», вспоминал Бутби, а потом была война, и у него не оставалось времени на нежности[11].

Черчилль отказывался признавать измененные географические названия; для него Стамбул оставался Константинополем («Хотя для дураков можно в скобках написать «Стамбул»). Анкара оставалась Ангорой (он заявил в министерстве иностранных дел, что отказывается называть ангорских кошек как-то иначе). Пекин оставался Бейпином, Себастопол — Севастополем, Иран — Персией. Кроме того, он предпочитал пользоваться устаревшими военными терминами, а не современными; говорил «пушка», а не «артиллерийское орудие», «мушкет», а не «винтовка», «фрегат», а не «эсминец». Когда он составил текст телеграммы Франклину Рузвельту, в которой просил подарить или одолжить пятьдесят старых фрегатов, Джок Колвилл посоветовал заменить «фрегаты» на «эсминцы», поскольку президент может не понять, что имеет в виду премьер-министр. В юности и в молодости, особенно в компании офицеров 4-го гусарского полка, великолепных в их синей с золотом форме, с безупречной манерой поведения за столом, он на всю жизнь приобрел любовь к традициям, обычаям, пышным празднествам, официальным церемониям и соблюдению условностей. Он придавал большое значение протоколу. Черчилль говорил членам кабинета: «Господа, мы заняты очень серьезным делом. Мы должны заниматься им самым серьезным образом». Он требовал, чтобы в корреспонденции они обращались к нему «Дорогой премьер-министр», а его ответы начинались со слов «Дорогой министр иностранных дел», «Дорогой министр финансов» и т. д. Он заканчивал письма «Искренне ваш» только в тех случаях, когда считал, что на самом деле был искренним[12].

Его двойственное отношение к войне сформировалось под влиянием викторианского милитаризма, когда жертвы были немногочисленными, а победы огромными. Он говорил: «Война, которая была жестокой и величественной, стала жестокой и убогой». Находясь при власти, никто из британских премьер-министров, и даже Веллингтон, не носил униформу. Черчилль носил синюю униформу (почетного) коммодора Королевских ВВС Великобритании и сожалел, что британские солдаты больше не носят красную униформу[13].

Позже все, кто окружал его в 1940 году, вспоминали удивительную неисчерпаемую энергию Старика. Он имел избыточный вес и был на пятнадцать лет старше Гитлера; он никогда не занимался спортом, и, кроме того, «он работал, — по словам Кэтлин Хилл, одной из машинисток Черчилля, — все время, в каждый момент бодрствования». Эдвард Спирс, его старый друг со времен Первой мировой войны, который увидел Черчилля весной 1940 года после долгих лет разлуки, почувствовал «удивление, какое не чувствовал прежде, относительно его силы и энергии. Я знал, что он в полной мере обладал этими качествами, но теперь он излучал силу и уверенность, излучал так, словно был их источником». Молодой Джок Колвилл был поражен «неутомимым трудолюбием Уинстона» и написал, что было «хорошо работать с тем, кто не впадал в уныние, когда невиданная до того времени опасность нависла над страной. У него неукротимый дух, и даже если Франция и Англия потерпят поражение, я полагаю, он продолжит крестовый поход с отрядом приватиров»[14].

Для британцев он был стопроцентным англичанином, воплощением английского бульдога, с выступающим вперед подбородком, с зажатой в зубах сигарой, в цилиндре, с заявлением, что «иностранные названия для англичан, а не англичане для иностранных названий» (он всегда произносил последнюю букву s в названии города Calais — Кале) и пристрастием к мясу. В письме министру продовольствия он написал: «Почти все из тех, кого я знал, у кого определенные заскоки в отношении еды, те, кто едят орехи и т. п., умерли молодыми после длительного периода немощи. Британский солдат намного разумнее ученых. Он больше всего любит мясо... Способ проиграть войну состоит в том, чтобы попытаться заставить британцев перейти на диету, состоящую из молока, овсянки, картофеля и т. д. и т. п., запивая это, по торжественным случаям, соком лайма»[15].

Сам Черчилль никогда не соблюдал никаких диет, ел что хотел и редко расплачивался за это, и пил что хотел, обычно алкогольные напитки, и когда хотел, а хотел он выпить довольно часто. Как-то утром Гарри Гопкинс (наиболее близкий и доверенный советник Франклина Рузвельта) вошел в спальню Черчилля и увидел премьер-министра, который завтракал сидя в кровати в розовом халате, и на подносе, «среди прочего, стояла бутылка вина». Когда Гопкинс удивился тому, что Черчилль пьет на завтрак, тот ответил, что не признает консервированное молоко, но «не имеет глубокого внутреннего предубеждения относительно вина, а потому сделал выбор в пользу последнего». Кроме того, сказал Старик Гопкинсу, он не обращает внимания на советы врачей, поскольку они, как правило, ошибочные, что он прожил почти семь десятилетий и у него отличное здоровье и «он не собирается бросать пить алкогольные напитки, слабые и крепкие, ни сейчас, ни потом»[16].

Во время войны за завтраком он обычно выпивал стакан белого вина (вместо чая, поскольку в войну было только консервированное молоко, которое он не признавал). Затем в течение утра пил сильно разбавленный виски с содовой. За ланчем мог выпить портвейн, обязательно шампанское Pol Roger (предпочитал Hine, разлитый по бутылкам в прошлом веке), иногда пиво. Немного вздремнув, он перед обедом выпивал виски, отдавая предпочтение Johnnie Walker Red Label. Во время обеда выпивал много шампанского, а под конец обеда — «несколько порций», что не мешало ему продолжать пить шампанское. Он одинаково любил поесть и выпить. Как вспоминал его внук, Уинстон С. Черчилль, обед деда начинался с мадрилена (охлажденный, желеобразный мясной бульон) и пескарей (мелкой рыбки из Норвежского моря), далее следовал ростбиф, тонко нарезанный, с йоркширским пудингом и жареной картошкой, затем шел его любимый десерт bombe glacée (мороженое в виде шара). Вечером, когда Черчилль работал в кабинете перед уходом ко сну, камердинер (во время войны это был Фрэнк Сойерс) наливал ему портвейн, а на завершающем этапе — сильно разбавленный виски. Любой другой любитель выпивать в день такое количество алкогольных напитков испытывал бы отвращение к еде, но у Черчилля был прекрасный аппетит, и он почти никогда не терял контроль над собой[17].

Понятно, что он обладал крепким организмом, который исключительно эффективно утилизировал алкоголь. Его хулители и враги намекали, что он много пьет, а некоторые, к примеру Гитлер и Геббельс, открыто заявляли, что он «болтун и пьяница». Тем не менее Роберт Э. Шервуд, спичрайтер и биограф Франклина Рузвельта, написал, что, хотя его «потребление алкоголя... продолжалось довольно регулярно во время бодрствования», оно не оказывало «видимого эффекта на его здоровье и умственную деятельность. Те, кто предполагают, что алкоголь дурманил Черчиллю голову, очевидно, никогда поздно вечером не вступали с ним в спор по какой-нибудь реальной проблеме...». Черчилль, по словам Шервуда, обладал «уникальным» пристрастием и «олимпийской» способностью к выпивке[18].

Несмотря на продолжительное, постоянное, невероятное потребление алкоголя, Черчилль не был алкоголиком. Но не был и обычным пьяницей, умеренно потреблявшим алкоголь, как следует из воспоминаний и заявлений его близких друзей и личных секретарей. Его бывшие сотрудники плетут небылицы, что Черчилль весь день потягивал сильно разбавленный виски, время от времени добавляя в стакан содовую. Это так, но они умалчивают о других алкогольных напитках, которые Черчилль выпивал на протяжении дня. Порой он заходил слишком далеко, так, как это описывает Джок Колвилл, которому приходилось около трех часов ночи тащить Старика в спальню после чрезмерных возлияний. И Колвилл, и Черчилль от души весе-

лились, когда Черчилль, собираясь сесть в кресло, чтобы снять ботинки, не рассчитал и грохнулся на пол, отчаянно размахивая руками и ногами. «Вылитый Чарли Чаплин», — заявил Черчилль, пытаясь встать на ноги и обрести равновесие. Как-то во время войны Черчилль вызвал днем фельдмаршала сэра Алана Брука, начальника имперского Генерального штаба. Брук, часто отмечавший, что Черчилль злоупотребляет алкоголем, в тот вечер написал в дневнике: «Он был в очень плохом состоянии, очевидно из-за выпитых в обед нескольких стаканов». Случаи, когда Черчилль сильно напивался, бывали крайне редки, но все-таки бывали[19].

Черчилль никуда не отправлялся без запаса виски, который держал наготове его телохранитель или камердинер. Когда во времена сухого закона он посетил Соединенные Штаты, проходя таможню, спрятал виски (и свой револьвер Webley*); таким образом, любовь к выпивке сделала из него нарушителя Закона Волстеда**.

Когда в Нью-Йорке Черчилль попал под машину и получил множественные переломы, он обманным путем заставил своего лечащего врача Отто К. Пикардта выписать рецепт на алкоголь. Пикардт написал, что для лечения полученных травм «требуется использование спиртных напитков, особенно во время приема пищи». Количество точно не оговаривалось, но не менее восьми унций. Британский эссеист Чарльз Перси Сноу изложил парадокс пьянства Черчилля, заметив, что «Черчилль не может быть алкоголиком, поскольку ни один алкоголик не в состоянии столько пить». Можно, конечно, утверждать, что, будь он идеалом умеренности — больше занимался спортом, меньше выпивал, вел себя более осмотрительно, меньше курил сигар — возможно, прожил намного дольше, чем отведенные ему девяносто лет[20].

Как-то Черчилль подвел итог своих отношений с выпивкой, заявив: «Я извлек из выпивки больше, чем выпивка из меня»[21].

Его образ жизни был не под силу молодым. Ежедневно в полночь или около полуночи на Даунинг-стрит прибывал курьер с первыми выпусками утренних газет — их было восемь или девять. Старик просматривал газеты перед сном и иногда, как позже вспоминала Кэтлин Хилл, звонил в Daily Mail, чтобы узнать о новых событиях в рассказе с продолжением.

---

* Револьвер Webley («Веблей») начала производить в 1870-х годах английская фирма Webley & Son Company. С 1887 по 1963 год находился на вооружении британской армии.

** Закон Волстеда был принят в 1919 году с целью принудительного проведения в жизнь положений 18-й поправки к Конституции США о сухом законе. Назван по имени инициатора — конгрессмена из Миннесоты Эндрю Волстеда. Закон запрещал также пиво и вино, что явилось неожиданностью для умеренных сторонников сухого закона, добивавшихся запрещения крепких алкогольных напитков. Был отменен в 1933 году после ратификации 21-й поправки к Конституции США.

18 июня Колвилл написал: «Уинстон был в бешенстве, поскольку не прибыли утренние газеты, которые он любил просматривать перед сном, и опрокинул виски с содовой на документы»[22].

День премьер-министра начинался в восемь утра, когда после пяти-шестичасового сна он звонил в звонок, чтобы ему принесли завтрак: яйца, бекон, или ветчина, или копченое мясо, иногда кусок камбалы, это все запивалось стаканом белого вина или кружкой черного индийского чая. Затем приходила машинистка в сопровождении стенографистки — обычно миссис Хилл или мисс Уотсон, которой он диктовал письма и документы, а она быстро печатала. Пишущие машинки рекламировались как «бесшумные». Но таковыми не являлись. Великий человек нервно реагировал на каждый удар клавиши и высказывал неудовольствие машинисткам. Он не выносил никакого шума (в его комнате не было даже тикающих часов), который выводил его из себя и мешал работе с ящиком[23].

В ящике, придуманном Черчиллем, без преувеличения можно сказать, находились все документы, связанные с войной Великобритании против Третьего рейха. В нем лежали пронумерованные папки, в которых находились документы размером приблизительно 16×13 дюймов. В первой папке, она называлась «вершиной ящика», содержались документы, которые секретари Черчилля относили к требующим «особой срочности»; по словам одного из секретарей, Джона Пека, значение имели «не только действительная степень важности, предельные конечные сроки и тому подобное, но отчасти личный интерес премьер-министра к данному вопросу в тот момент. Таким образом, мы должны были представлять и понимать, о чем он думает, и он надеялся, что нам это под силу». Ниже лежали папки, содержавшие телеграммы военного министерства и министерства иностранных дел, доклады начальников штабов (после того как они были просмотрены генералом Исмеем), ответы на вопросы, связанные с разными аспектами британской жизни, которые он поднимал, — запасы продовольствия, урожайность сельскохозяйственных культур, пропускная способность железных дорог, производство угля. Ничто не ускользало от его внимания[24].

Ключи от ящика хранились у личных секретарей Черчилля, Джона Пека, Эрика Сила, Джона Колвилла и Джона Мартина. Имелся еще один ящик цвета буйволовой кожи. Ключ от него хранился только у Черчилля. В этом ящике находились приказы немецкого командования — сначала люфтваффе, позже вермахта и СС и еще позже — командующего подводным флотом адмирала Карла Дёница*, предварительно — расшифрованные.

* Командующий подводным флотом (1935—1943), главнокомандующий военно-морским флотом Германии (1943—1945), глава государства и главнокомандующий вооруженными силами Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 года.

В первые дни войны офицерам польской разведки удалось добыть немецкую шифровальную машину; польские математики изучили машину и провезли контрабандой ее копию в Британию. Британские шифровальщики, работавшие в Блетчли-Парк*, викторианском особняке из красного кирпича с белой отделкой под медной крышей, расположенном к северу от Лондона, назвали машину «энигма». Противник каждый день менял шифр, и каждый день шифровальщики из Блетчли пытались взломать его, зачастую безрезультатно. Однако им удавалось достаточно часто расшифровать довольно много сообщений, что позволяло Черчиллю заглядывать в планы немецкого командования (кроме планов немецкого подводного флота, где использовалась более сложная шифровальная машина). Волшебники из Блетчли были в основном бородатыми, длинноволосыми, с грязными ногтями, неопрятными молодыми людьми. Впервые увидев их, премьер-министр сказал их руководителю: «Мензис**, когда я сказал вам ни перед чем не останавливаться, я не хотел, чтобы вы понимали меня так буквально»[25].

С самого начала Черчилль предупредил секретаря военного кабинета, что «все указания, исходящие от меня, сделаны в письменном виде и должны по получении подтверждаться в письменном виде». Любое распоряжение в устной форме является недействительным. На первый взгляд требование кажется несущественным, но это не так: подобное положение дел исключало путаницу в работе, которую могли допустить подчиненные из-за искажения или неправильного понимания приказа премьер-министра. Объем бумажной работы подтвердил целесообразность требования Черчилля, что любой документ, представляемый ему, даже технический отчет об изменении объема производства танка, должен занимать не более одного листа бумаги. Во время совещания в адмиралтействе он как-то сказал: «Этот доклад, в силу своей длины, избавил себя от критического разбора». Но, в свою очередь, он способствовал увеличению объема документов, помеченных: «Сделать сегодня», «Доложить через 3 дня». Записки Черчилля получили название «просьбы Черчилля», поскольку многие из них начинались со слов: «Прошу, скажите мне...» или «Прошу, объясните...»[26].

Черчилль, работая за столом, часто надевал нарукавники, чтобы случайно не запачкать рукава чернилами или графитом, когда читал

---

* Блетчли-Парк — особняк, расположенный в Блетчли в историческом и церемониальном графстве Бакингемшир в центре Англии. В период Второй мировой войны в Блетчли-Парке располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании — Правительственная школа кодов и шифров, позже получившая название Центр правительственной связи.

** Мензис Стюарт — один из руководителей британской разведки, рыцарь, генерал-майор.

и подписывал официальные письма. Он напоминал наборщика в нарукавниках и зеленом козырьке для защиты глаз от резкого света. Однако, судя по предметам на столе и тумбочке — пресс-папье из золотых медалей, хрустальный чернильный прибор с серебряными крышками, множество баночек с таблетками и порошками и хрустальные графины с виски, — их хозяин был викторианский джентльмен, не стесненный в средствах[27].

Случались путаницы и беспорядки, и в некоторых был повинен Черчилль. Организаторский талант не входил в число его многочисленных способностей. Когда возникала важная проблема, он уделял ей все внимание, забывая о других обязанностях, которых, поскольку он принял на себя решение всех вопросов, связанных со стратегией ведения войны, было много. Он откладывал дела. В своей автобиографии «Моя молодость» он написал: «Я действительно считаю, что непунктуальность — мерзкая привычка, и всю свою жизнь я пытался избавиться от нее». Но так и не преуспел в этом. Он всегда опаздывал на поезд, хотя, являясь премьер-министром, мог приказать, чтобы поезд подождал его. «Уинстон, как истинный спортсмен, всегда оставляет поезду шанс уехать», — однажды сказала Клементина телохранителю Черчилля. В критических ситуациях он безнадежно запускал работу. Он избегал скучных тем и неделя за неделей откладывал рассмотрение скучных бумаг, пока, стиснув зубы, не заставлял себя взяться за них. Он строил планы, но, по словам Джона Колвилла, «мог забыть сказать о них кому-то из нас, а затем сам забыть о них». Как-то он вызвал военачальников на 16:00 на совещание на Даунинг-стрит. Они явились в назначенное время; Черчилля не было. Помощники отправились на поиски премьер-министра. Они нашли его «в палате общин, где он, сидя в курительной комнате, наслаждался виски с содовой»[28].

Некоторые его проблемы были связаны с людьми, которых он выбирал. Его сотрудники считали, что он плохо разбирается в людях и что иногда настаивает на неподходящих назначениях. Доблестно сражавшиеся люди вызывали у него некритическое восхищение. Он хотел назначить на высшую должность адмирала сэра Роджера Кейса, героя Первой мировой войны, хотя тому явно не хватало умственных способностей. Его внимание также привлек Орд Уингейт, который добился известности как отважный командующий бирманскими партизанами, хотя Уингейт, который, по мнению врача Черчилля, Чарльза Уилсона (с 1943 года лорд Моран), был совершенно ненормальным, доказал несостоятельность в других вопросах. И те, кто поддерживал Черчилля против Мюнхена, конечно, снискали его расположение. По его мнению, Энтони Иден, покинувший в знак протеста правительство Чемберлена, не нес ответственности. Но так считали не все; по мнению Джеймса Григга, военного министра, Иден был «полной дрянью»[29].

Черчилль был только частично согласен с высказыванием Бенджамина Франклина: «Лучше красиво поступать, чем красиво говорить». Ему нравились те, кто красиво поступал и красиво говорил. Возможно, потому, что сам Черчилль был весьма красноречив, он порой недооценивал тех, кто не обладал этим качеством. Главнокомандующий британскими войсками на Ближнем Востоке сэр Арчибальд Уэйвелл, несмотря на то что его поэтические произведения издавались и он свободно говорил по-русски, был человеком застенчивым и необщительным — качества, из-за которых Черчилль считал его чуть ли не дураком, — терял дар речи, когда премьер-министр пытался заставить его высказать свои соображения о войне. В отличие от Черчилля генералы считали Уэйвелла великолепным командующим, и премьер-министр с большой неохотой был вынужден согласиться с ними. Черчилль не смог оценить по достоинству способности главного маршала авиации сэра Хью Даудинга, известного героя войны, из-за молчаливости Даудинга. Как ни странно, исключительная беглость речи Старика в ходе обсуждений иногда являлась недостатком. Он мог переспорить любого, даже когда был не прав. Все, кто тесно общались с ним, помнят, что Йен Джейкоб (в то время полковник, позже генерал-лейтенант) назвал его манеру вести дискуссию «самым разрушительным способом аргументации». Джейкоб вспоминал, как Черчилль «спорит, запугивает, дразнит и умасливает тех, кто возражает ему или чья деятельность является темой обсуждения». В словесных поединках Черчилль не устраивал обмен колкостями; он знал, как нанести удар. Только позже стало ясно, что те, кто упорно не соглашались с ним и четко аргументировали свою позицию, могли завоевать его уважение. Он был строг в отношении тех, кого вызывал на ковер, но еще более строг он был к себе. «Каждый вечер, — как-то сказал Черчилль Колвиллу, — я устраиваю трибунал над собой, чтобы понять, сделал ли я за день что-то полезное. Я не имею в виду просто телодвижения — любой может притвориться, будто что-то делает — а что-то действительно полезное»[30].

По словам его дочери Мэри, «он не был знаком с таким понятием, как безделье». Безделье приводит к скуке, а скука — враг, которого следует победить. Когда Черчиллю было скучно, вспоминал инспектор Скотленд-Ярда Томпсон, он становился «игроком, швыряющим предметы в мусорную корзину с необузданной страстью, спровоцированной плохим настроением». В такие моменты, пишет Томпсон, лучше было держаться подальше от него, и «его домочадцы так и делали». Отвратительное настроение сохранялось до тех пор, пока Старик не избавлялся от того, что вызвало скуку — чем быстрее, тем лучше для всех заинтересованных сторон. Как-то вечером во время войны Черчилль, Колвилл и несколько американских гостей смотрели фильм «Гражданин Кейн». Колвилл назвал его «неудачным американским фильмом... Премьер-министру было так скучно, что он ушел, не до-

ждавшись конца». То же самое он проделал во время просмотра фильма «Оливер Твист» в Белом доме: вышел, оставив чету Рузвельт досматривать фильм. Скука выводила Старика из равновесия. В данном случае причиной явились фильмы, которые не смогли заинтересовать его, но обычно причиной становился приглашенный к обеду гость, к которому он не испытывал особого интереса, или государственный чиновник, страдающий недержанием речи. В таких случаях, по словам его врача, Черчилль поначалу вел себя любезно. «Затем, словно устав демонстрировать любезность, он больше не предпринимал попыток вести беседу, сидел ссутулившись и хмуро глядя в свою тарелку». И наконец, *фыркнув*, уходил. Черчилль «не считал нужным разыгрывать любезность, даже в тех случаях, когда этого требовали обстоятельства, — пишет Колвилл. — Он проводил различие между теми, с кем было приятно обедать, и теми, кто... был частью сцены»[31].

Когда на него нападала скука, он мог рассчитывать избавиться от нее, «резко прервав» одно занятие ради более интересного источника времяпрепровождения. Например, диктовать письма, фальшиво напевать арии из опер Гилберта и Салливана, укладывать кирпичи с помощью мастерка в саду в Чартвелле. (Вскоре после начала войны Чартвелл закрыли; мебель зачехлили. Уволили почти всех садовников, посудомоек, горничных и шофера. Охранять поместье оставили сторожа.) Черчилль всегда имел про запас интересные занятия: чтение романа, кормежка золотых рыбок и черных лебедей, анализ газетных статей, разглагольствования о славном прошлом Англии. Рисование всегда способствовало спокойствию и сосредоточенности, урегулированию умственной энергии, но во время войны Черчилль только однажды достал мольберт, кисти и краски: в Марракеше, после конференции в Касабланке. Еще одним развлечением были азартные игры, но война положила конец такого рода развлечениям, по крайней мере походам в казино. Вскоре он рисковал уже своими армиями, танками и кораблями. Ехал ли он в поезде, обложившись газетами, или председательствовал за обеденным столом, он был «абсолютно не способен» бездействовать, вспоминал его литературный помощник сэр Уильям Дикин.

Однажды, вспоминал инспектор Томпсон, путешествуя поездом по Северной Африке, Черчилль (в то время член правительства) захотел принять ванну. Он приказал остановить поезд, вынуть ванну из багажного вагона, установить ее в песке и заполнить горячей водой из паровозного котла. Черчилль принимал ванну на глазах «изумленной половины Африки». По словам Томпсона, «он будет действовать по первому требованию. Он будет действовать без предупреждения. Он — зверь. Во время войны он особенно безжалостен»[32].

Для того чтобы избавиться от скуки, Черчилль был готов предпринять практически любое действие с одним условием: оно должно быть

полезным, и в этом он был непоколебим. Он не признавал никакой пользы ни от просмотра фильма «Гражданин Кейн», ни от общения со скучными гостями. В конечном счете источником избавления от скуки — единственным источником, к которому никогда не терял интерес, — был он сам. Как-то он сказал другу, что, по его мнению, восхитительный вечер — это когда можно насладиться вкусной едой в компании друзей, чтобы затем обсудить изысканные блюда, а после этого продолжить беседу «с главным собеседником — самим собой». Что может более стимулировать, чем звук собственного голоса, рассуждающего на тему, вызывающую постоянный интерес, такую как Англо-бурская война или, в 1940 году, необходимость разгромить немцев?[33]

Его любимой аудиторией был он сам. Он постоянно цитировал большие отрывки из книги стихотворений Маколея «Песни Древнего Рима» и поэмы Вальтера Скотта «Мармион»; по мнению Колвилла, это было «замечательно», но порой «довольно скучно». Скучно для Колвилла, но не для Черчилля. Его старая подруга Вайолет Бонем-Картер вспоминала, что, если ему не хватало декламации стихотворений Маколея, он переходил к другой излюбленной теме: о самом себе. Лорд Моран пишет: «Уинстон так захвачен своими идеями, что его не интересует, что думают другие». Это отчасти верно; его больше интересовало, что другие *делают*. Герберт Сэмюэл, преемник Ллойда Джорджа в качестве лидера старой Либеральной партии, считал, что Черчилля интересовали скорее не обоснованные аргументы, а «осуществимо ли это на практике?». Нельзя пройти мимо одного из высказываний Морана: «Он [Черчилль] потратит часть своей жизни на этот путь и нередко будет одинок, оторван от людей». На самом деле Черчилль испытывал подлинную радость от общения с друзьями и близкими. Он любил маленьких детей и никогда не ворчал и не сердился на них. Он окружил себя людьми, которые заботились о нем, людьми, которые ловили каждое его слово. И почему бы им не делать этого, ведь он Уинстон Черчилль. Для него не существовало людей, к которым он не испытывал интереса. Как-то Фрэнк Синатра, в то время уже один из самых известных эстрадных певцов на планете, кинулся к Черчиллю, схватил его за руку и воскликнул: «Я мечтал об этом на протяжении двадцати лет». Черчилль, не в восторге от прикосновения незнакомца, повернулся к личному секретарю и спросил: «Кто это такой, черт возьми?»[34]

Однажды Черчилль пожаловался лорду Морану на потерю чувствительности в плече, очевидно вызванной защемлением нерва. Стоит ли ему беспокоиться по этому поводу, поинтересовался Черчилль. «Ощущение не имеет значения», — ответил врач. «Нет, — возразил Черчилль, — жизнь — это ощущение, ощущение — это жизнь». Необходимость в стимуляции роднила его с таким же умным, как он, и тоже

тори, доктором Сэмюэлом Джонсоном*, который считал *действие* необходимой предпосылкой хорошо прожитой жизни.

Он хотел установить связь между тем, что происходило у него в уме, и внешним миром. Как только у него рождалась идея, он испытывал необходимость реализовать ее. Когда он дал обещание, что бомбы Королевских ВВС уничтожат нацистскую Германию, он сказал это не ради красного словца, а потому, что собирался выполнить это обещание. «Единственный проводник для человека — его совесть; единственным щитом для его памяти является честность и искренность его действий. Крайне безрассудно ходить без этого щита, потому что мы слишком часто терпим крушение наших надежд и наших ожиданий. Но с этим щитом, как бы ни играла с нами судьба, мы всегда смело идем в строю чести»[35].

Декарт определил сущность человека известной фразой: «Cogito, ergo sum» — «Мыслю, следовательно, существую». Но Черчилль не был склонен к философствованию и, как большинство англичан, был невысокого мнения о континентальном рационализме. В Англии — эмпиризм — Локк и Хьюм. Черчиллю был намного ближе принцип: «Действую, следовательно, существую». Как-то в разговоре с лордом Мораном лорд Сэмюэл высказал предположение, что Черчилль «никогда не испытывал интереса к спекулятивному знанию, философии и религии». Это только отчасти верно. Ему нравилось размышлять на темы, связанные с научной, технологической и интеллектуальной сферами деятельности, когда могло парить воображение, проверялись идеи, достигались результаты и происходили улучшения в жизни людей. В 1932 году он опубликовал сборник очерков Thoughts and Adventures («Размышления и приключения»), в которых предсказал создание атомной бомбы и атомных электростанций (и опасность для человечества); генную инженерию растений и животных (и, вероятно, людей); телевидение (которое, когда оно стало реальностью, он терпеть не мог). «Проекты, о которых не могли мечтать прошлые поколения, поглотят наших ближайших потомков. Силы ужасающие и разрушительные попадут к ним в руки. Их будут окружать удобства, развлечения, комфорт. И с надеждой и мощью придут опасности, соизмеримые с ростом человеческого интеллекта, с силой нашего характера и с эффективностью наших учреждений. И снова встанет выбор между Благословением и Проклятием. И нет ничего труднее, чем предсказать результат выбора, который сделает человечество»[36].

---

* Джонсон Сэмюэл — английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. Его имя, по оценке «Британники», стало в англоязычном мире синонимом второй половины XVIII века. По своему влиянию на умы современников-англичан Джонсона можно сравнить с Вольтером и его славой в континентальной Европе.

В день падения Франции Черчилль вызвал на Даунинг-стрит, 10 доктора Р.В. Джонса, двадцативосьмилетнего младшего научного сотрудника отдела разведки ВВС Великобритании, чтобы обсудить его гипотезу (еретическую с точки зрения старших научных сотрудников) относительно использования немцами системы наведения по радиолучу для бомбардировок Великобритании. В октябре 1939 года начались воздушные налеты, нечастые и обычно нацеленные на северные порты. Черчилль предполагал, что теперь, когда Гитлер получил контроль над аэродромами стран Бенилюкса и Франции, увеличится частота и смертоносность налетов. Джонс, при поддержке Черчилля, за несколько месяцев придумал, как решить эту проблему, и добился одной из самых важных побед в войне. Позже Джонс написал о Черчилле: «Он понимал суть ключевых решений: да или нет, направо или налево, наступать или отступать... Он знал сильные и слабые стороны экспертов... Он понимал, как легко человеку, занимающему такое высокое положение, получить излишне радужную картину от своих военных советников... Он единственный среди политических деятелей по достоинству оценивал науку и технику, по крайней мере с точки зрения применения в войне»[37].

Черчилль приветствовал новое в науке и технике, но это не распространялось на искусство и науку управления. Сэр Исайя Берлин, латвийский еврей, эмигрант, философ, большая часть жизни которого была связана с Оксфордом, в своем очерке «Черчилль и Рузвельт» написал, что Черчилль, с политической точки зрения, оставался европейцем XIX века, несмотря на его признание современных технологий и веру в то, что они обещали, несмотря на его жадный интерес к новым знаниям. Славное имперское прошлое Великобритании вдохновляло Черчилля, который предполагал, что оно будет вдохновлять и в будущем. Но Франклин Рузвельт утверждает, что Берлин понимал, — а Черчилль нет, — что для создания нового политического порядка можно отречься от прошлого и всех его традиций. Рузвельт был творческим, но осмотрительным политическим провидцем, тогда как Черчилль был творческим и неосмотрительным защитником. «Черчилль... заглядывает внутрь, — пишет Берлин, — и его самое сильное чувство связано с прошлым».

После прочтения в молодости Платона и Аристотеля Черчилль высказался в пользу агностицизма. Хотя он принял греческую философию — предшественницу христианства, но не нашел пищи для ума в духовных упражнениях. Он поддерживал христианские ценности — милосердие и прощение, но на его убеждения повлияли не доктрина и, конечно, не духовные лица, а собственный опыт солдата и журналиста, и он отвергал кнут и пряник, ад и рай. Для Черчилля вера в загробную жизнь была сродни вере в призраков и гоблинов. «Я мало верю в жизнь после смерти, особенно — в продолжение умственной

деятельности», — говорил он. Его не беспокоила мысль о том, что он будет предан забвению. Если другие испытывали только страх перед будущим исчезновением, то Черчилль был настроен весьма оптимистично и даже позволял себе непочтительные высказывания. Он не верил в другой мир после смерти и как-то сказал своему врачу, что верит «лишь в черный бархат — вечный сон». «Когда я попаду на небеса, значительное количество времени от своих пяти миллионов лет собираюсь провести за рисованием и глубже погрузиться в предмет. Но затем мне потребуется более радостная палитра, чем та, которая у меня здесь. Целый спектр новых изумительных цветов, которые будут радовать божественный взор». Фантастические небеса Черчилля были местом, где навсегда смешается все многообразие человечества (в отличие от созданного Черчиллем на земле частного общества «Другой клуб»): «Индусы и китайцы и люди подобные им. У всех будут равные права на небесах... которые будут настоящим государством всеобщего благоденствия... Я, конечно, признаю, что могу быть не прав. Возможно, я могу заново родиться уже как китайский кули. В таком случае я должен подать протест». Как-то, будучи в подобном озорном настроении, он заявил, что доказательством существования Бога «является существование Ленина и Троцкого, которым необходим ад»[38].

Что касается акта смерти, перехода от сознания к небытию или в некую иную форму небытия, то Черчилль согласился с доктором Джонсоном, который сказал, что угасание «длится столь незначительное время», что человеку «не пристало ныть... И важно не то, как человек умирает, а то, как он живет»[39].

Черчилль придерживался именно такого мнения по этому вопросу. В 1915 году, собираясь отправиться в запланированную поездку в Турцию (поездка не состоялась), Черчилль вручил своему адвокату письмо, которое тот должен был отдать Клементине в случае его смерти. «Смерть — всего лишь случай, и не самый важный из тех, что происходят с нами... Если там что-то есть, то я буду высматривать тебя». Он считал, что по чистой случайности его последний момент на земле будет связан с немецкой бомбой. Он процитировал Джоку Колвиллу слова французского математика Анри Пуанкаре: «Я нахожу убежище под непробиваемым сводом вероятности». Судьба, а не Бог зовет Черчилля домой, хотя однажды он скажет Колвиллу, что небеса сделаны по образцу конституционной монархии, «всегда есть вероятность, что у Всевышнего может найтись повод послать за ним»[40].

Он терпеть не мог суеверий. Как-то его внимание привлекло судебное дело, возбужденное правительством его величества. Он спросил министра внутренних дел, «почему в современном суде используется закон о колдовстве от 1735 года?». Все эти «устаревшие дурачества» затрудняют работу суда. Примерно так же он относился к посещению церкви. Он редко посещал Дом Божий. Его личный секретарь Энтони Монтегю

Браун вспоминал, как Черчилль говорил, что «редко ходил в церковь. Когда зашел разговор о церкви, он [Черчилль] сказал: «Я не столп церкви, а подпорка — я поддерживаю ее извне». Если же ему приходилось присутствовать на богослужении в дни национальных и государственных праздников, вспоминал Колвилл, он предпочитал, чтобы пастор обращался к теме политики или войны, «но не христианства». Он настолько редко посещал церковь, что Колвилл был потрясен, когда в одно из воскресений во время войны Черчилль присутствовал на богослужении. На памяти Колвилла это было впервые почти за четыре года. Только к концу службы Колвилл понял, по какой причине Черчилль решил присутствовать на богослужении. По окончании проповеди Старик подошел к кафедре и произнес свою проповедь. Ему нравилось великолепие и пышность церемоний крещений, похорон и коронаций, проводимых в замшелых стенах старых деревенских церквей Великобритании и в молчаливом величии ее больших соборов, но не потому, что это приближало к Богу, а потому, что эти ритуалы способствовали связи с легендарным прошлым Англии. Мелодическое изящество гимнов, сила поющих голосов вызывали у него глубокое волнение. Ему нравился перезвон колоколов деревенских церквей, призывающих верующих на службу, но, пишет британский историк Рой Дженкинс, нет никаких свидетельств о том, что Черчилль когда-либо покидал Чартвелл в ответ на эти призывы. По сей день в Чартвелле на его ночном столике лежит Библия, и многие посетители приходят к выводу, что он искал указания в Священном Писании. Это не так. Когда лорд Моран, увидев Библию, спросил Черчилля, прочел ли он ее, Черчилль ответил: «Да, я прочел ее, но только из любопытства»[41].

Как-то во время обеда Черчилль сказал: «Каждый народ создает бога по своему образу и подобию», и Джок Колвилл счел его слова «величайшим богохульством». Однако история подтвердила его слова; даже Гитлер утверждал, что Бог на его стороне[42].

Ему не нравились праведники: «старый притворщик Ганди», греческий архиепископ Дамаскин («проворный священник»). Прелаты англиканской церкви не украшали своим присутствием обеды у Черчилля. Он считал англиканское духовенство самодовольным и лицемерным. Зачем обедать с теми, кто испытывает нравственные страдания, когда обед заканчивается пением и танцами, при этом сидя в вызывающих красных одеяниях, с бокалом бренди в одной руке и сигарой в другой? Смерть в конце войны Уильяма Темпла, архиепископа Кентерберийского, «не причинила горе премьер-министру», написал Колвилл. Темпл был ученым и философом, но Черчиллю не нравились «левые тенденции Темпла и его откровенные политические комментарии». Черчилль был роялистом, духовные лица были пуритане — хуже, пуритане с левым уклоном. По этой причине Черчилль не испытывал доверия к ним и их направлению христианства.

Для Черчилля важным было настоящее. Он считал, что только настоящее имеет значение, поскольку прошлое ушло, а будущее весьма неопределенно, если вообще наступит. Черчилль был старым солдатом, который, стоял ли он за мольбертом, выступал в палате общин или обедал с близкими друзьями, следовал солдатскому правилу: наслаждайся моментом, он может быть последним. Для Черчилля, если и должно было наступить будущее, то только на *его* условиях. Он был оптимистом, не детерминистом; мир действительно зачастую жесток, но не должен оставаться таким. Он придерживался монументального взгляда на историю под влиянием прочитанного в молодости Гиббона (всего) и книги Уинвуда Рида «Мученичество человека», обязательное чтение для молодых мыслителей конца XIX века. Черчилль, перефразируя Рида в письме матери, пишет: «Если человеческий род когда-нибудь достигнет стадии развития — когда религия прекратит помогать и утешать человечество, — то христианство будет отброшено как костыль, который больше не нужен, и человек будет твердо стоять на собственных ногах»[43].

Он обобщил представления свои, Гиббона и Рида и пришел к заключению, что величие и совершенство прошлого можно вернуть посредством тренировки воли. Бог не играет роли в саге, поскольку Бог, если, конечно, там был Бог, не хотел и не мог вмешиваться. Следуя этой логике, остается открытой возможность того, что сила зла — например, Гитлер — может навязать свою волю будущему. Черчилль использовал моменты настоящего, чтобы запланировать свое — и мира — лучшее будущее посредством *своей* воли, осуществления *своего* желания. Поступая таким образом, он стремился не позволить Гитлеру решать свою предполагаемую участь. Черчилль, а не Бог будет защищать будущее Европы и Британской империи, и он будет делать это, энергично тренируя и используя свое воображение и волю единственным известным ему способом — посредством действий, действий ежечасных и ежедневных.

Он рассматривал коммунизм не как атеистическое отрицание христианских идеалов (в отличие от Франклина Рузвельта), а как извращенное осуществление этих идеалов. Как-то на обеде в годы войны он изложил гостям советское кредо:

Я люблю Ленина.
Ленин был беден, и поэтому я люблю бедность,
Ленин был голоден, поэтому я могу голодать...

«Коммунизм, — подводя итог, заявил Черчилль, — это христианство с топором[44].

Традиционные религии, по крайней мере, давали надежду на милосердие, любовь и снисходительность Бога. Но это не относилось к

«не Божьим» религиям, охватившим Германию и Россию (хотя после заключения союза со Сталиным Черчилль прекратил критиковать большевизм). За три года до начала Второй мировой, в начале Гражданской войны в Испании, Черчилль информировал британцев о том, что «война между нацистами и коммунистами — война не Божьих религий, которая ведется с оружием XX века. Самый поразительный факт заключается в том, что эти новые религии сходны. Они заменяют Бога дьяволом, а любовь — ненавистью. Они набрасываются друг на друга всюду, по всему миру...» Британцев, предупредил Черчилль, «не должна ослеплять власть, которую эти новые религии имеют в современном мире. Они оснащены мощными средствами разрушения и не испытывают недостатка в сторонниках, приверженцах и даже мучениках»[45].

Чемберлен — и Франция — не обратили внимания на опасность, и в результате Гитлер и его сторонники подчинили себе сначала Польшу, а следом Голландию, Бельгию и Францию. Черчилль не хотел, чтобы это случилось с Англией.

Он верил в Добродетель и Справедливость не как в догму, а как в объективную реальность. Добродетель проявляется в поступках. По Аристотелю, основа добродетели — умеренность. Мужество, высшая добродетель, находится между трусостью и безрассудной храбростью. Перефразируя Сэмюэла Джонсона в своей книге «Великие современники» (Great Contemporaries), Черчилль пишет: «Мужество совершенно справедливо считается первейшим из человеческих качеств... ибо это такое качество, которое гарантирует наличие всех остальных». К добродетелям относится и великодушие. «В победе — великодушие», — повторял Черчилль, а ни в коем случае месть, питаемая ненавистью. Аристотель первым обозначил эту добродетель, которой Гитлер пренебрег в Польше и, тридцатью годами раньше, добрые христиане, которые составили карфагенские (по мнению Черчилля) условия сдачи, наложенные на Германию и Австрию после окончания Первой мировой войны. Черчилль считал ошибочным аргумент, что начиная с Франко-прусской войны Германия вела себя как бешеная собака и ее следует держать на коротком поводке. Это шло вразрез с его принципом: в мире — добрая воля. Он считал, что для европейской стабильности необходима экономически здоровая Германия.

Но Гунн опять развязал войну, которая может привести к уничтожению Англии. В борьбе за сохранение свободы Англии и восстановление ее в Европе не могло быть ни среднего пути, ни умеренности, и у Черчилля даже не возникало мысли об этом. Оружие и стратегии — специальные операции, убийства, покушения, саботаж, бактериальные бомбы, атомные урановые бомбы, уничтожение немецких городов с воздуха — оправдали возложенные на них надежды. Его подход к тому, как вершить правосудие, точно соответствовал Ветхо-

му закону. Он требовал милосердия и великодушия после победы и решительности в войне*, лежавшей в основе его философии борьбы[46].

Читая в молодости Аристотеля и Платона, Черчилль нашел дохристианские философские принципы, которые католическая церковь присвоила и использовала в своем учении. Он был хорошим учеником и создал кодекс, по которому мог бы жить. Его прельстил аристотелевский принцип умеренности и платоновская аналогия с возничим, который управляет колесницей, движимой парой крылатых коней**.

Черчиллю было одинаково трудно как установить плавное течение семейной жизни, так и научиться спокойно водить машину, но в конце концов он добился своего. Его жизненная кривая состояла из падений и подъемов, зигзагов и поворотов. Его образы в домашнем халате, с винтовкой на плече, марширующим поздним вечером, едва ли вызывали в воображении образ последователя аристотелевской умеренности. Старик обладал, согласно Джону Мартину, «зигзагообразной молнией в мозгу».Он, будучи военным лидером, принимая многие стратегические решения, шарахался из стороны в сторону, когда, пытаясь объяснить, так резво перескакивал с одной темы на другую, что никто ничего не понимал. Во всех дневниках отмечается его жизнерадостность, справедливость, сердечность и великодушие, но одновременно упоминается его грубость, сарказм, плохое настроение и агрессивность — иногда одним и тем же автором в один и тот же день. Тем не менее его жизнь могла разворачиваться именно так, а не иначе. «Если бы он не был своего рода сгустком энергии, каким он был, — вспоминал Мартин, — он никогда не довел бы машину, государственно-военную, до конца войны»[47].

Черчилль, наделенный феноменальной памятью, казалось, помнил все стихотворения, когда-либо прочитанные, слова всех песен и огромное количество отрывков из глав и стихов Библии и читал их практически в любом месте. Черчилль был неприятно удивлен, когда выяснилось, что он не слышал об «Оде соловью» Китса. Он поставил

---

* Черчилль предложил написать на установленном в Версале памятнике, посвященном Первой мировой войне, такие слова: «В войне — ярость; в поражении — мужество; в победе — великодушие; в мире — добрая воля». Предложение отклонили (дневник Колвилла, 24 января 1941 года). На фронтисписе военных воспоминаний Черчилль решил переделать эту фразу, заменив слово «ярость» на более сдержанное слово «решительность». (*Примеч. авт.*)

** Платон сравнивает человеческую душу с колесницей, в которую запряжены белый и черный кони (благородное и низменное начало в человеке), управляемые возничим (разумом). Когда возничему удается смирить низменное начало, душа может подняться и вместе с богами созерцать подлинное бытие. Трем началам души — вожделению, пылу и рассудительности соответствуют добродетели: здравомыслие, мужество и мудрость. Их согласование дает справедливость, как в отдельной человеческой душе, так и в государстве, которое устроено аналогичным образом.

целью выучить все оды Китса и любил декламировать их, по оценке Вайолет Бонем-Картер, «немилосердно». Он мог бесконечно цитировать доктора Джонсона, и откровенно присваивал и перефразировал его остроты. Байроновское «Паломничество Чайльд Гарольда» было одной из любимых книг Черчилля, хотя он не разделял меланхолического взгляда Байрона, что самая большая трагедия человека состоит в том, что он способен осознать совершенство, которого не может достигнуть. Наоборот, Черчилль, вступая в борьбу с Гитлером, сказал соотечественникам: «Если мы сумеем противостоять ему, вся Европа может стать свободной и перед всем миром откроется широкий путь к залитым солнцем вершинам». К любимым произведениям относилось и стихотворение «Непокоренный», ода силе воли, написанная Уильямом Эрнстом Хенли.

Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я — властелин своей судьбы,
Я — капитан своей души[48].

Черчилль испытывал особую любовь к американским писателям, особенно к Твену, Мелвиллу и Эмерсону. Он обладал разносторонними знаниями. Как-то, проезжая в машине по городу Фредерик, штат Мэриленд, с Франклином и Элеонорой Рузвельт и Гарри Гопкинсом, ближайшим соратником ФДР*, Черчилль увидел дорожный указатель дома Барбары Фритчи, юнионистки, которая стала размахивать флагом из окна своего дома, когда мимо проходили войска конфедератов. Рузвельт процитировал две строки из поэмы Джона Гринлифа Уиттьера о Фритчи:

Стреляй в мои седины, враг,
Но пощади союзный флаг!

Когда Рузвельт признался, что знает только эти две строки, Черчилль наизусть прочел все стихотворение целиком, все шестьдесят строк. А затем приступил к долгому и подробному рассказу о гениях стратегии Томасе Джонатане Джексоне по прозвищу Каменная Стена и Роберте Эдварде Ли. Он говорил, не обращая внимания, как попутчики реагируют на его рассказ. Через какое-то время, позже написал он, спутники затихли и задремали[49].

Интерес к истории у Черчилля был неизменным, а знания глубокими. Запоминание дат и географических названий для школьников всегда было мучением. Однако для некоторых, и Черчилль, безусловно, в их числе, история была больше, чем временные рамки, больше, чем анализ коллективной памяти. У таких людей, как Черчилль, история,

* Сокращение от Франклин Делано Рузвельт.

благодаря воображению и тренировке, становится частью личной памяти, такой же как детские воспоминания о первом купании в океане и первом школьном дне. Он не был наблюдателем исторического континуума; он сделал себя его участником. Знаменитые места и «воспоминания» Черчилля о них — от Геркулесовых столбов и Средиземноморья до Сиракуз, Рима, Спарты, Александрии и Карфагена — формировали его личность почти так же, как воспоминания о родовом доме, Бленхеймском дворце и лондонском доме его отца, где он в детстве играл в игрушечные солдатики на персидских коврах. Черчилль, возможно, родился викторианцем, но превратил себя в человека классицизма. Он не жил в прошлом; прошлое жило в нем. Гарри Гопкинс, хорошо знавший Черчилля, отмечал мистические отношения, которые Черчилль имел с прошлым, особенно с военным прошлым: «Он был погружен не только в сражения современной войны, но и во все сражения прошлых лет, от Канн до Галлиполи». Александр Великий, Боудикка, Адриан, король Гарольд, принц Хэл, Уильям Питт и, конечно, его выдающийся предок Мальборо играли ранее те же роли в подобной игре, какие роли теперь играли Черчилль и его враги[50].

Все, кто знали Черчилля, в то или иное время слышали, как он читал наизусть отрывок из книги Маколея «Песни Древнего Рима»:

Тогда сказал Гораций храбрый
Охранник у ворот:
К любому из живущих
Неумолимо смерть придет.
Достоин вечной славы тот,
Кто сам ее принять готов —
За пепел пращуров своих,
За храм своих богов.

Все, хорошо знавшие Черчилля, видели в этом герое его, поскольку ему были свойственны подобные чувства.

Его наиболее привлекательная черта была к тому же наиболее известной. Он был, вероятно, самым забавным полководцем в истории. Его внешность неизменно вызывала веселье у членов семьи и сотрудников. 16 июня Колвилл вошел со срочными депешами в комнату премьер-министра, который лежал в кровати и «был удивительно похож на довольно симпатичную свинью в шелковом халате». Черчилль бродил по коридорам «Номера 10» в сопровождении кота по кличке Нельсон, в малиновом халате с золотым драконом, в домашних тапочках, украшенных монограммой и помпонами, с длинной сигарой. Время от времени он беседовал с Нельсоном (однажды призвал его быть храбрее, когда кот вздрогнул во время воздушного налета). Черчилль, предвидя, что во время воздушных налетов придется быстро одеваться, придумал специальный костюм с многочисленными застежками-молниями. Все его сотрудники, включая стенографисток,

называли этот костюм «детским комбинезоном». Черчилль назвал его «костюм сирены», поскольку натягивал его, едва заслышав завывание сирен воздушной тревоги. Черчилль придумал комбинезон, а сшили его в ателье Henry Poole & Co*, расположенном на улице Севил-Роу[51].

Любой случай мог вызвать у Черчилля неожиданную реакцию. Однажды, после выступления в парламенте по поводу американской помощи, он ехал домой на Даунинг-стрит и, сидя на заднем сиденье лимузина, распевал во все горло Old Man River («Старик-река»). Когда его врач однажды процитировал строки из элегии «Люсидас» Джона Мильтона — «Пока спускался день, огнем объят, в сандальях серых по дуге небесной...», Черчилль неожиданно заявил, «он занял не ту сторону в гражданской войне». Во время посещения Рима у Черчилля состоялась встреча с лидерами итальянских политических партий. Обменявшись приветствиями с одной группой, Черчилль спросил: «Какую вы представляете партию?» — «Мы — христианские коммунисты». Черчилль не смог удержаться, чтобы не заметить: «Вашей партии, вероятно, очень удобно иметь под рукой катакомбы». Однажды на заседании в парламенте ему пришлось слушать длинный, утомительный доклад, изобилующий статистическими данными. Он заметил пожилого члена парламента, который, прижав к уху старинную слуховую трубку, напряженно пытался расслышать, что говорит оратор. Черчилль повернулся к соседу и спросил: «Кто этот идиот, отказывающийся от предоставленного ему преимущества?»[52]

Чекерс — загородный дом в графстве Бакингемшир, ставший официальной загородной резиденцией премьер-министров в 1917 году, — охраняли бдительные часовые; войти могли только знавшие пароль, который менялся каждый день. В один из дней в начале лета пароль был «Тофрек», место в Судане, где в 1855 году произошло сражение между британскими войсками под руководством генерала Джеральда Грэхэма и генерала Джона Макнила с одной стороны и силами махдистов во главе с Османом Дигна с другой. Вечером этого дня Чер-

---

* Основателем ателье был Джеймс Пул. Начало его карьеры совпало со знаменитой битвой при Ватерлоо, и Пул постепенно переквалифицировался в военного портного. В 1822 году он открыл магазин, чтобы посетители могли купить одежду, не теряя времени на примерки. После смерти Джеймса Пула в 1846 году дело продолжил его сын Генрих. Он расширил помещение и построил роскошный салон на улице Севил-Роу, положив начало традиции Savile, которую подхватят другие ателье. После смерти Генри за совершенствование дела взялся его двоюродный брат Сэмюэл. Он открыл филиалы фирмы в Париже, Вене и Берлине. В начале 1900 года на процветание бренда работали 300 портных. В ателье шили костюмы для Эдуарда VII, Александра II, Александра III, Наполеона, Черчилля и де Голля. Среди клиентов фирмы — более пятидесяти европейских монархов и членов их семей, а также главы почти всех государств Старого Света.

чилль, услышав гул самолета в небе, выскочил из дома с криками: «Друг! Тофрек! Премьер-министр!» Находясь в Чекерсе, вечерами Черчилль читал вслух из Гамлета или Байрона или пел народные баллады, которые не слышал с 1890-х годов. Иногда, поставив пластинку с вальсом «Голубой Дунай», он вальсировал в одиночку, держа согнутую правую руку на уровне груди и отставив в сторону левую руку, словно поддерживая руку партнерши. Клементина, если была в это время в Чекерсе, скорее всего не присоединялась к мужу. Она понимала, что он зачастую одновременно играет и работает. Скользя по комнате, Черчилль часто обдумывал фразы, которые войдут в его предстоящие выступления, и остановить его не представлялось возможным. Тем не менее как-то два члена кабинета министров решили, что их дело важнее, чем подготовка речей. Поднявшись по лестнице, они направились к его спальне, где он диктовал заметки. Секретарь доложил Старику, что они дожидаются за дверью. «Пусть уходят и займутся содомией, — гаркнул Черчилль и, выдержав паузу, добавил: «Объясни им, что нет необходимости буквально понимать этот приказ»[53].

Для подготовки к выступлению в палате общин лучше всего подходило определение *комическая* опера. Черчилль готовился не в тишине за письменным столом в окружении справочников, а во время телефонных переговоров, или вальсируя в большом зале в Чекерсе, или сидя в постели, или склонившись над картой военных действий. Он лично продумывал каждое слово в каждой речи; в «номере 10» не было никаких спичрайтеров. Ванна была излюбленным местом для подготовки к выступлениям (он гордился умением открывать и закрывать краны с помощью пальцев ног, не прерывая диктовку). В процессе диктовки он бормотал себе под нос: «К воротам Индии», «Этот кровожадный беспризорник», «Эта звезда Англии». Когда член кабинета министров назвал немцев «овцами», Черчилль сердито заметил, что это «плотоядные овцы». Двумя словами он точнее выразил суть противников, чем это смогли сделать Болдуин и Чемберлен после двухчасовых разглагольствований. С каждым разом, говоря о Гитлере, Черчилль находил новые, более резкие слова. «Этот злодей, это чудовищное порождение прошлых извращений и позора теперь решил попытаться сломить нашу великую островную нацию, прибегнув к беспорядочным убийствам и разрушению». Он оттачивал каждую фразу, выбрасывая лишние слова, не дополняющие того, что уже было сказано. Он проверял их во время обедов с коллегами, делая разные акценты, меняя прилагательные, чтобы понять, как они звучат. Он мог сделать паузу, чтобы взять щепотку табака из золотой табакерки (когда-то принадлежавшей адмиралу Нельсону), засунуть в ноздрю и с большим удовольствием чихнуть. Иногда он предлагал табак своим молоденьким машинисткам, но те вежливо отказывались. Его настолько

захватывал творческий процесс, что он часто не замечал, что происходит вокруг. Однажды пепел от сигары упал на его пижамную куртку, и один из личных секретарей, заметив, что от куртки поднимается дымок, сказал: «Вы горите, сэр. Разрешите вас потушить?» Премьер-министр, не поднимая головы, равнодушно ответил: «Да, пожалуйста, потушите». Черчилль ни на секунду не прервал работу[54].

Кульминационный момент размышлений приходился на день выступления. Он всегда опаздывал по крайней мере на пятнадцать минут. Он мог, лежа в кровати, диктовать машинистке окончательный вариант речи или вносить изменения ручкой, хотя в это время уже должен был ехать в парламент. Раздавались тревожные звонки из парламента, его сотрудники просили поторопиться, камердинер помогал ему одеться и стряхивал сигарный пепел с его рубашки (деликатное дело, поскольку Черчилль не любил, когда к нему прикасались). Дверцы лифта были уже открыты, и шофер уже сидел за рулем. Наконец он медленно выходил, засовывая на ходу очки, портсигар, сигары и табакерку в карманы жилета, и проверяя пронумерованные страницы, чтобы убедиться, что они лежат в нужном порядке[55].

Когда Черчилль вставал с передней скамьи, чтобы обратиться к палате, в зале и на галерее для прессы устанавливалась почтительная тишина; журналисты и иностранные послы замирали в ожидании. Если его выступление затрагивало секретные вопросы, то, подняв голову и пристально оглядев посетителей на Галерее незнакомцев*, он заявлял: «Вижу незнакомцев».

Таким образом, закрытые заседания создавали для Черчилля небольшую проблему, поскольку его самые остроумные высказывания оставались недоступными для прессы и иностранных дипломатов и, следовательно, для внешнего мира. Черчилль поступал очень просто; он повторял наиболее удачные фразы за обедом или в курительной комнате палаты, и они гарантированно попадали в газеты Макса Бивербрука** Evening Standard и Daily Express.

---

* При проектировании зала палаты общин за основу было взято помещение часовни Святого Стефана, поскольку изначально там проходили заседания членов палаты. В северном углу зала находится кресло спикера палаты. Прямо перед ним стоит большой стол с установленным на нем скипетром. За столом во время заседаний находятся секретарь палаты общин и его помощники. Скамьи для членов палаты располагаются возле кресла спикера: справа сидят представители правительственных фракций, слева — оппозиция. По периметру зала располагаются галереи: Галерея прессы — для стенографов и журналистов, Галерея незнакомцев — для всех желающих.

** Эйткен, Уильям Максвелл, 1-й барон Бивербрук — английский и канадский политический деятель, министр, издатель, предприниматель и меценат. Член Тайного совета Великобритании. В период между мировыми войнами достиг большого влияния в британской политике благодаря принадлежавшей ему газетно-информационной империи.

И если Черчилль хотел, чтобы ежедневный секретный отчет герцога Альбы Франко содержал крупицы дезинформации от самого Старика, то мог повторить фразу некоему сотруднику министерства иностранных дел, который, как было известно, обедал с испанцем. Таким образом, было заседание закрытым или нет, но, если Черчилль хотел что-то рассказать, он делал это. Только слова могут жить вечно, любил он повторять; трудно было дать умереть его словам в зале палаты общин.

Черчилль, как Сэмюэл Джонсон и Шекспир, умел строить фразы таким образом, что они были понятны постоянным посетителям пабов в Глазго, валлийским шахтерам, лондонским прачкам Ист-Энда и в то же время таким людям, как Гарольд Николсон и леди Астор. За обеденным столом или в палате общин, отвечая на вопросы, он обстреливал помещение залпами острот. Но его выступления по радио и речи носили стратегический, а не тактический характер и были тщательно выверены. Его выступления по радио кажутся такими английскими, но на самом деле их структурное построение восходит к Цицерону. Чувствовалось влияние Гиббона и Шекспира, прочитанных Черчиллем. Гиббон, при чтении вслух, медленно горит, взрывается сильнее, чем фейерверк, однако его проза превосходно обдумана и упорядочена; каждая фраза доведена до такого состояния, когда из нее можно сделать единственный вывод. Обороты Гиббона проникли в речи Черчилля, которые по своей структуре и силе воздействия напоминали требушет*.

Речь Черчилля, как эта метательная машина, медленно и уверенно разгонялась до тех пор, пока не достигала максимального напряжения, и в этот момент он выпускал словесную ракету. Затем, переведя дыхание, перевооружал свое осадное орудие и готовился к следующему выстрелу.

Хотя в алфавитном указателе его четырехтомного сочинения «История англоязычных народов» не упоминается Шекспир, Черчилль на протяжении всей жизни читал и заучивал наизусть отрывки из его произведений, и ритмизированные отрывки в его речах — дань уважения Великому Барду. Он воплотил представление Шекспира о том, что сущность человека в его действиях и словах, подлинность и ценность которых подтвердят или опровергнут последующие действия. Он не так много говорил с англичанами, как Рузвельт с американцами в своих «беседах у камина». При этом Черчилль объяснял их роль в современной борьбе, которая могла закончиться либо победой, либо уничтожением народа Великобритании. Гитлер, оппортунист и нигилист-романтик, то же самое говорил своему народу.

Черчилль диктовал речи, записки и письма машинисткам; это, как правило, были молодые женщины. Машинистка сидела за машинкой,

* Требушет, или требюше — средневековая метательная машина гравитационного действия для осады городов.

а он ходил взад-вперед по комнате, обдумывал мысли и облекал их в слова. Но вот он начинал диктовать, и машинистка, когда ей требовалось вынуть заполненный лист из машинки и вложить чистый, вызывала его «первобытный гнев». «Давай, давай! — рычал он. — Сколько можно ждать! Оставь в покое эту бумагу!» Он воспринимал любую паузу, которая требовалась этой адской машине, как личное оскорбление. Он проявлял, пишет его телохранитель, «невероятное, практически, ребяческое» нежелание понять принцип действия пишущей машинки. Ни один из его сотрудников не видел, чтобы он когда-нибудь прикасался пальцем к клавиатуре. При этом он никогда не писал записки. Черчилль только ставил свою подпись, вспоминал Уильям Дикин, и «за всю жизнь не написал ни строчки. Я никогда не видел, чтобы он брался за перо». На самом деле первые книги Черчилля были написаны от руки, как и корреспонденции с Кубы и из Южной Африки. Но после избрания в палату общин он уже не брался за перо, потакая своей любви к диктовке машинисткам[56].

Ему не нравилось диктовать стенографисткам, поскольку приходилось их все время подгонять и разрешать печатать, когда его не было рядом. Он считал, что стенография только добавляет еще один этап в процесс перенесения его мыслей на бумагу. Он делал исключения только для случаев, когда находился в движении — в машине, на борту корабля или с важным видом шествуя по залам Чекерса или парламента: даже ему было понятно, что в этих условиях невозможно воспользоваться пишущей машинкой. Молодой Патрик Кинна, младший капрал и опытный стенограф, работавший у герцога Виндзорского, сразу понял, что машинистки ни секунды не тратят впустую, когда впервые вошел в кабинет премьер-министра. Черчилль, никак не отреагировавший на появление Кинна, расхаживал по комнате. «Эта печальная история...» — начал премьер-министр. Кинна, решивший, что Черчилль хочет что-то рассказать, отложил карандаш и блокнот и сказал: «Боже мой, какая жалость!» — «Не сожалей, а записывай», — буркнул Черчилль. Это была записка в адмиралтейство, в которой выражалось сожаление по поводу недостаточного количества авианосцев. Кинна пережил первый день* и работал с Черчиллем до конца войны[57].

Нелегко приходилось машинистке, которая просила Великого человека повторить фразу. Его сотрудники знали, что предпочтительнее предположить, что Черчилль сказал, чем просить, чтобы он повторил.

---

* Черчилль по достоинству оценил скорость и мастерство Патрика Кинна, для которого заказали особую пишущую машинку, которая не заедала на больших скоростях. Кинна стал непременным спутником Черчилля во время международных встреч с президентом США Рузвельтом, маршалом Тито и генералиссимусом Сталиным. Кинна вел запись Ялтинской конференции в феврале 1945 года.

Машинисткам часто приходилось заниматься отгадыванием того, что говорит Черчилль, поскольку он мало того что неожиданно начинал бормотать себе под нос, так еще любил диктовать, расхаживая по комнате, за спиной машинистки. Если, прекратив бормотать, он начинал диктовать в полный голос, машинисткам опять приходилось сильно напрягаться. Когда он диктовал сидя в кровати, облокотившись на подушки, было трудно разобрать его слова из-за шелеста газет, которые он бросал на пол, телефонных звонков, появления камердинера, приносившего Черчиллю очередную порцию выпивки. Он любил под музыку обдумывать план выступлений и диктовать письма и записки; камердинер заводил граммофон и ставил его любимые пластинки — After the Ball, Goodbye, My Love, Keep Right On Till the End of the Road, скорее всего в исполнении Гарри Лодера. Непонятно, как машинисткам удавалось разобрать слова Черчилля, если учесть, что он часто просил камердинера увеличить звук. Наконец, закончив диктовать, Черчилль, протянув руку, отрывисто произносил: «Дай мне». Машинистка вынимала лист из машинки и протягивала ему[58].

Машинистки получили примерно 2 фунта в неделю, около 40 долларов в месяц, меньше заработной платы капрала армии США. Кроме того, они должны были оставаться на своих местах даже в тех случаях, когда немецкие бомбы попадали в соседние дворы[59].

Черчилль, до того как стал государственным деятелем, был профессиональным писателем; он выпустил много книг и статей. Его любовь к языку была глубокой и прочной; он мастерски владел словом и не задумываясь исправлял любого, кто неправильно употреблял слова, особенно тех, кто пытался скрыть неграмотные суждения за многословной трескотней, используя военный и бюрократический жаргон. Он, как и Ф.Г. Фаулер, считал, что английские слова всегда предпочтительнее иностранных слов и следует расширять словарный запас. По его приказу «центры общественного питания» были переименованы в «Британские рестораны», а «Добровольцы местной обороны» в «родную гвардию». И почему «prefabricated» предпочтительнее «ready-made»?*

«Appreciate that» («Оцените, что») было для него словно красная тряпка для быка; он всегда вычеркивал это слово и заменял на «recognize that», «признайте, что». Как-то Джон Мартин, проезжая с Черчиллем на машине по набережной, назвал извилистость Темзы extraordinary. Черчилль поправил его: «Не extraordinary. Все реки извилистые. Скорее remarkable»**.

На полях официальных документов он часто ссылался на A Dictionary of Modern English Usage («Словарь современного использова-

* Оба слова означают «готовый».

** Оба слова переводятся как «удивительный».

ния английского языка») Генри Фаулера, экземпляр которого послал в Букингемский дворец в свое первое Рождество в качестве премьер-министра[60].

Джон Мартин полагал, что «политика, а не лингвистика явилась причиной интереса [премьер-министра] к бейсик-инглиш, который способствовал организации Англоязычного клуба». Это, конечно, была не единственная причина. Черчилль считал, что все страны, в которых говорили на английском языке, включая Америку, должны объединиться. В этом заключалось глубокое различие с внешней политикой его предшественников с Даунинг-стрит. Их внимание было обращено на континент и разные комбинации великих держав, расположенных на континенте. Невилл Чемберлен отзывался о Соединенных Штатах со смехом и презрением и называл американцев «существами». Но Черчилль, хотя ратовал за объединение Европы, смотрел на Запад, и не только потому, что понимал, что Гитлера не одолеть без американских войск. Британец до мозга костей, он был сыном американки и задолго до войны планировал создание союза англоговорящих стран: Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Южной Африки и обширных колоний Британской империи[61].

В его парламентских выступлениях и, особенно, в радиообращениях к осажденному острову соединился талант к языку с идеализированным образом Англии и англичан, или «британского народа», сформировавшимся в последней четверти XIX века, — людей, наделенных бесстрашием, храбростью, благородством, невероятным чувством собственного достоинства и неукротимостью. Он по-прежнему бурно радовался, вспоминая колониальные завоевания, когда королевская армия была вооружена винтовками Enfield и пулеметами Максима*, гордо реяли имперские знамена и даже во время восстания сипаев в Индии британцы понесли незначительные потери.

Бойня войны 1914—1918 годов потрясла британцев, включая Черчилля, и многих лишила иллюзий, но не Черчилля. Теперь, вызывая на себя огонь страшного внушающего ужас красного пожара, он испытывал подъем энергии. Первые четыреста дней в должности премьер-министра — с начала мая 1940 до середины июня 1941 года, страшное время для миллионов европейцев, — были решающей главой в его жизни. Позже он написал, что это был «самый блестящий,

---

* Ли—Энфилд — семейство британских винтовок. Первая модель появилась в 1895 году. Ли — имя изобретателя Джеймса Париса Ли, Энфилд — название города, в котором располагалась производившая винтовку The Royal Small Arms Factory (Королевская фабрика стрелкового оружия).

Пулемет Максима («Максим») создан Хайремом Стивенсом Максимом, британским изобретателем и оружейником американского происхождения.

но и самый ужасный год в нашей долгой британо-английской истории». Он считал, что 1940 год был тем временем, «когда в равной мере было хорошо и жить и умереть». Спустя годы после войны Джон Мартин сказал ему, что жизнь перестала быть такой захватывающей, как прежде. Черчилль, смеясь, ответил: «Вы не можете требовать, чтобы постоянно шла война»[62].

Выдающийся британский психиатр Энтони Сторр, основываясь на воспоминаниях лорда Морана, считал, что источник силы Черчилля во «внутреннем воображаемом мире», своего рода фантазиях, которые время от времени возникают у творческих людей от тоски и разочарований. На протяжении большей части 1930-х годов Черчилль испытывал и то и другое. В июне 1940 года, по мнению Сторра, «события в его воображаемом мире совпали с фактами объективной реальности так, как это редко бывает в жизни людей». После падения Франции Черчилль стал героем, о чем он всегда мечтал. Сторр сравнивает это со страстной любовью, «когда объект желания мужчины на некоторое время, очевидно, точно совпадает с образом женщины, который он носит в себе». В тот тяжелый момент, считает Сторр, «Англия нуждалась не в проницательном, уравновешенном лидере. Ей нужен был пророк, героический провидец, человек, который мог провидеть победу, когда сама надежда на нее, казалось, потеряна, человек, который мог вдохновить не только британцев, но и американцев. Будь Черчилль уравновешенным человеком, он, вероятно, не смог бы вдохновить народ. В 1940 году, когда все обстоятельства были против Великобритании, трезвомыслящий лидер, скорее всего, мог прийти к выводу, что нам конец»[63].

И все же, несмотря на то что Черчилль был склонен к сентиментальности, переменчив и временами ему недоставало стратегического мышления как военному лидеру, он, благодаря интуиции и тщательному анализу в течение 1930-х годов, сделал удивительно точный прогноз относительно бедствия, которое постигнет Европу и Англию. Сентябрьские события 1939 года доказали, что он *наиболее* здравомыслящий государственный деятель Англии и наилучший предсказатель. Остальные трезвомыслящие и уравновешенные люди, которым не хватало воображения и проницательности, позволили Великобритании вступить неподготовленной в эту войну.

По мнению Сторра, Черчилль сложная натура, таким он, конечно, и был и всю жизнь страдал от приступов депрессии, что, вероятно, не совсем так. Широко распространенное мнение, что Черчилль боролся с приступами депрессии на протяжении всей взрослой жизни, обязано своему появлению, в значительной степени, рассуждениям Сторра и воспоминаниям лорда Морана, в которых он подробно рассказывает о своей деятельности в качестве личного врача Черчилля. В по-

следнее десятилетие Черчилля Моран задавал ему наводящие вопросы о его «черной собаке» — так Черчилль называл приступы депрессии — и изобразил восьмидесятилетнего государственного деятеля одряхлевшим и подавленным. Основанная на сочинениях Морана и Сторра идея, что Черчилль был личностью депрессивного типа, а скорее всего, маниакально-депрессивного типа, утвердилась в психиатрических кругах и продолжает удерживаться в народном сознании (но не у членов семьи Черчилля, его друзей и его официального биографа сэра Мартина Гилберта). Однако Черчилль, скорее всего, не страдал психическим заболеванием. История «черной собаки» началась в 1911 году, когда в письме Клементине Уинстон высказывает восхищение немецким врачом, который, говорят, способен избавить от депрессии: «Я думаю, что этот человек может быть мне полезен — если возвращается моя черная собака» (Сэмюэл Джонсон называл свои приступы меланхолии «черной собакой»). Далее Черчилль пишет Клементине, что, когда собака уходит, «в жизнь возвращаются все краски». В письме он описывает то, что современные психиатры называют умеренным депрессивным эпизодом. «Из жизни исчезает свет», — написал Черчилль. Когда в 1944 году Моран своими вопросами подтолкнул Черчилля к воспоминаниям, тот рассказал об этом эпизоде и об ощущениях головокружения, давно его беспокоивших: «Я не люблю стоять у края платформы, когда мимо проходит поезд. Я предпочитаю стоять спиной, а лучше всего — за колонной. Я не люблю стоять у борта судна и смотреть вниз. И все же я не хочу покидать мир, даже в такие моменты». Но даже в периоды депрессии Черчиллю не были присущи отчаяние и мысли о самоубийстве. После 1911 года он больше не писал о черной собаке[64].

С тех пор диагноз, поставленный Черчиллю Сторром, был заменен более точными диагностическими протоколами. События значительные и менее значительные действительно могли ввергнуть Черчилля в тоску — огромные потери британского флота, смерть любимого домашнего животного, упоминание имени давно умершего товарища по оружию. Его было легко растрогать до слез. «Я очень много плачу», — сказал он как-то личному секретарю, и он никогда не извинялся за свои слезы. Черчилль очень раздражался из-за неоправданных задержек, из-за секретарей, устраивавших путаницу, и генералов, которые демонстрировали нежелание или неумение воевать. С такой же легкостью он мог изменить настроение и избавиться от тревоги. У него не было симптомов, которые теперь считаются основными симптомами депрессии у взрослых: длительные (две недели и более) и регулярные (по крайней мере, ежегодно) периоды потери интереса к работе и семье, потери интереса к социальным ценностям, трудности в принятии решений, бессонница, заниженная самооценка, ощущение себя нелюбимым и не достойным быть любимым, иногда сопровождаемое

чувством безутешности. Не было у него и признаков, связанных с манией: *уменьшение* потребности во сне, повышенная разговорчивость, скачки мыслей, эйфория, чрезмерный оптимизм, повышенная сексуальная активность, безудержная веселость и неспособность сконцентрироваться[65].

Черчилль действительно зачастую неоправданно рисковал за игорным столом и на поле боя (которым большую часть 1940 года был Лондон) и много пил, но никогда не утрачивал способность выполнять свои обязанности. Он волновался, раздражался, уставал, но никогда не отчаивался. Тот факт, что у него проявлялись различные признаки депрессии — чрезмерное употребление алкоголя, перепады настроения, — не периодически, а регулярно, даже ежедневно и на протяжении всей его жизни, на самом деле часть противоречивой человеческой натуры.

Хотя психиатры в случае с «черной собакой» Черчилля предостерегают против попыток опровергнуть сделанные выводы, но они также предостерегают против диагнозов, поставленных задним числом, как это сделал Сторр. Джок Колвилл и Фицрой Маклин, один из военных советников Черчилля, вспоминали редкие случаи, когда Черчилль говорил о «черной собаке». Он имел в виду не депрессию в клиническом смысле, а только то, что у него выдался плохой день. И Колвилл, и Маклин помнили из своего детства, что английские няни называли «черной собакой» капризы и эмоциональные вспышки у маленьких детей. Черчилль, понимая, что мрачный внешний вид не вселяет уверенности в тех, в ком он нуждается, чтобы выиграть войну, не позволял себе впадать в уныние. Когда посетители Чекерса или «номера 10» поражались хорошему настроению Черчилля, он озвучил вариацию мысли, высказанной как-то Колвиллу, что черпает силу из «удивительного самообладания и морального духа британского народа». Как-то Мопс Исмей, прогуливаясь с Черчиллем по саду в Чекерсе, предположил, что, «каким бы ни было будущее, ничто не сможет лишить его [Черчилля] заслуги в том, что он вдохновлял страну...». На это Черчилль ответил: «Мне было дано выразить то, что есть в сердцах британцев. Если бы я говорил что-нибудь еще, они бы вышвырнули меня с должности»[66].

Ничто — ни настроение, ни поражения Великобритании, ни генералы, действовавшие с неохотой, — не могло помешать Черчиллю вдохновлять соотечественников и бороться за их спасение. Ничто не ослабляло его любовь к семье. Ничто не ослабляло его любовь к жизни. Если верить заявлению Фрейда, что «психическое здоровье — это способность любить и работать», то Черчилль обладал абсолютным психическим здоровьем.

Если Черчилль чего-то и достиг, то того, что американский психолог, основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу назвал

«самоактуализацией», дошел до вершины «иерархии потребностей»; человек, достигший этого высшего уровня, добивается полного использования своих талантов, способностей и потенциала личности.

Черчилль никогда не страдал от скромности, однако его возмутило предположение, что он изменил британцев. Он считал, что у британцев «львиные сердца», а он только обеспечивает рычание. По его мнению, британцы всегда были героями. Позже он сказал примерно то же, что в свое время сказал Мопсу Исмею: «Мне выпало выразить чувства и намерения британского народа в тот критический момент его жизни. Это было для меня честью, о которой я никогда не мог и мечтать, и это то, что нельзя отнять». Однако далее он сказал: «Это судьба. Судьба поставила меня сюда, сейчас и с этой целью». Однако «судьба» для Черчилля означала только то, что он оказался в этом месте в это время; судьба не гарантировала успех его миссии. Это могли сделать только его свободно предпринятые действия. Он признавал возможность того, что за людскими делами следят и руководят ими, что это часть «замысла Всевышнего, согласно которому все наши действия считаются правильными, если мы выполняем свои обязанности». Будучи агностиком, он исключал возможность божественного влияния, но не в том, что касалось его обязанностей. Судьба — это все, что происходит с каждым человеком. В данном случае может рассматриваться как динамическая сила Черчилля, которая, во взаимодействии с его волей, изменила историю летом 1940 года. Европа была под гитлеровским сапогом, от Пиренеев до Северного полярного круга, от берегов Вислы до Ла-Манша, через который тремя неделями раньше бежала британская армия, оставив французское побережье, усеянное брошенными танками, автомашинами, орудиями, винтовками, боеприпасами и телами погибших томми*.

Одержавшие победу генералы фюрера расхаживали по французскому берегу и внимательно разглядывали английские белые меловые скалы, расположенные на берегу Дуврского пролива, в самом узком месте Ла Манша[67].

Было бы ошибкой представлять Гитлера в 1940 году безумцем, брызжущим слюной на мундиры ошеломленных прусских подчиненных во время произнесения тирад. Весной 1940 года на начальном этапе своего рискованного предприятия Гитлер полностью владел собой. Он провел Первую мировую войну на фронте и был награжден Железным крестом за храбрость. Он был трижды ранен — дважды шрапнелью и временно ослеп после отравления хлором во время газовой атаки. Он принимал участие в двенадцати сражениях. Гитлер провозгласил себя, пишет военный историк сэр Джон Киган, «первым

* Т о м м и — прозвище солдат вооруженных сил Великобритании.

солдатом рейха»; он заслужил так называться благодаря своей храбрости в годы Первой мировой войны. Его полк — 16-й баварский резервный полк — понес более чем стопроцентные потери (военные статистики при расчете потерь учитывают первоначальную численность подразделения и количество пополнения)*.

В 1940 году Гитлер лучше многих своих генералов знал о тяготах войны, однако он считал, что Первая мировая война была «величайшим из всех событий». Вот только итог оказался неудовлетворительным. Тогда Германия не заслужила победы. Теперь было другое время. Ситуация изменилась. Гитлер одерживал победы[68].

На тот момент Адольф Гитлер был величайшим завоевателем в истории Германии, судьба сложилась по *его* желанию. Война, какой она была, должна была вот-вот закончиться. Британцы, безусловно, должны требовать мира, и Гитлер был готов предложить великодушные условия из уважения к этому народу. «Ему нравились англичане, — вспоминал несколько лет спустя один из его телохранителей, — за исключением Черчилля». Рейх фюрера грелся теперь в лучах сияющего альпийского рассвета, порожденного варварством, обманом и тевтонской волей. Великобритания одиноко стояла в сумерках, ожидая, казалось, неизбежного наступления темноты. Перед бывшим капралом, несостоявшимся художником — «маляром», как называл Гитлера Черчилль, — стояла задача занять место Черчилля во главе нового европейского порядка, отделив голову Британской империи от ее тела[69].

Таким было положение Черчилля, Лондона, Великобритании и Британской империи в самый длинный день 1940 года.

Гитлер и его генералы знали, что могут уничтожить остатки британской армии в считаные дни, если сумеют добраться до них через проливы. Но холодная вода Ла-Манша, хлюпающая в сапогах завоевателей, только подчеркнула давно известную истину: они были воинами, способными сражаться на суше. В отличие от английских генералов они не были «морскими генералами». У них не было планов по пересечению моря, они ничего не понимали в море, и на самом деле Гитлер и его генералы боялись моря. Что касается Черчилля, Ла-Манш был его рвом, Англия — двором замка. Он собирался сражаться у зубчатых стен своего замка до тех пор, пока не сумеет собрать воинов и оружие, необходимых для того, чтобы перейти Ла-Манш, двинуться по Европе и наконец, в один прекрасный день, а он наступит не скоро, пересечь Рейн, войти в Германию, в Берлин, для достижения поставленной цели: окончательной и полной победы над гитлеризмом. Откажут ли ему в этом Гитлер и судьба, сказал он членам кабинета, но он ждет от каждого, включая себя, что умрут, упав на землю, «захлебнувшись собственной кровью»[70].

---

* Первоначальная численность 16-го полка составляла 3500 человек. Всего за войну 16-й полк потерял погибшими 3754 человека.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Сентябрь 1939 — май 1940 года

Немезида Черчилля, Адольф Гитлер, был злым политическим гением, который пришел к власти благодаря тому, что нашел, а затем занял темные уголки в душах немецкого народа. Однако влияние фюрера не ограничивалось рейхом. Хотя Гитлер не знал ни одного иностранного языка и никогда не бывал за границей, он обладал интуитивной способностью использовать слабости das Ausland — всеобъемлющее слово, означающее все государства за пределами рейха. Снова и снова в 1930-х годах он заставлял правительства Великобритании и Франции выносить его акты агрессии. Напуганные перспективой новой европейской войны, они не принимали никаких мер, жертвуя своей гордостью, своей честью, даже будущим нации. Тем временем росли и крепли его вооруженные силы. И наконец, после шестилетней подготовки, в конце десятилетия, он был готов. На рассвете в пятницу, 1 сентября 1939 года, он направил пятьдесят шесть дивизий вермахта на восток, в Польшу. Теперь у Лондона и Парижа не осталось выбора. Они были связаны с Варшавой военными союзами и были вынуждены объявить войну, что сделали весьма неохотно.

В Генеральном штабе верховного командования вермахта, OKB (Oberkommando der Wehrmacht), располагавшемся в Цоссене, в пригороде Берлина, полевые командиры фюрера тоже пребывали в смятении. Повернув на восток, игнорируя армии Англии и Франции, фюрер пренебрег основным стратегическим принципом OKB и повел войну на два фронта. Хуже того, он оголил Западный фронт рейха, оставив там всего двадцать три дивизии против восьмидесяти пяти хорошо вооруженных дивизий противника. История предоставила шанс французскому генералу Морису Гюставу Гамелену, главнокомандующему союзными войсками. Начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель позже заявит, что «атака французов должна была столкнуться всего лишь с немецким заслоном, а не с реальной обороной». Гамелену, чтобы выиграть войну, требовалось отдать один приказ: «En avant!» («Вперед!») Его войска могли войти в Рурский район, немецкий центр промышленности, и война была бы закончена.

Но он не сделал этого. За исключением символической вылазки в направлении Саара, к его угольным шахтам и металлургическим заводам — бессмысленный жест, цель которого была поддержать поляков, — союзные войска оставались на прежнем месте. Затем, после пятинедельного блицкрига, или молниеносной войны, безжалостная нацистская сила сокрушила Польшу, освободив вермахту путь на запад. Момент был упущен. Французские и британские войска подготовились к немецкому наступлению, но все было тихо. Они ждали.

На Западном фронте в течение восьми месяцев, до мая 1940 года, сохранялось затишье. Борьба, которая велась, ограничивалась в основном открытым морем, сферой господства Королевского флота, и побережьем Норвегии. На суше неделя за неделей огромные армии сидели без дела в неестественной тишине.

Берлинцы назвали это удивительное затишье, небывалое в истории современной войны, der Sitzkrieg (сидячая война). В Париже его называли la drôle de guerre (странная война), а в Лондоне — скучная война. Черчилль назвал эту ситуацию сумерками войны; американский сенатор Уильям Бора — странной войной. В Англии и Франции народ, испытывая эмоциональное опустошение после того, как заранее готовился к худшему, вернулся к развлечениям мирного времени. Шел девятый месяц странной войны, и жизнь продолжалась в этих условиях. Величайшая из войн собиралась только разразиться приступами насилия, кровопролития и террора.

Позже все вспоминали, какой тогда была погода. Зима 1939/40 года была белым кошмаром, самой жестокой зимой в Европе с 1895 года (единственная причина, по которой Гитлер не пошел в наступление, хотя об этом не знали ни Париж, ни Лондон), но весна наконец наступила. В марте установилась непривычно теплая погода. На Европейском континенте зацвели первоцветы, следом и фруктовые деревья. 3 апреля сэр Александр Кадоган, британский дипломат, написал в дневнике: «Кажется, ожили все травянистые растения... зазеленели луга и рощи»[71].

В течение двух недель установилась изумительная погода. Воздух был столь чистым и прозрачным, что казалось, будто увеличилась дальность обзора. Буйство магнолий, подснежников и ярких азалий как в Кенсингтоне, так и в Уайтчепеле. Молли Пэнтер-Доунес написала в The New Yorker, что цветочные композиции в лондонских парках «великолепны, и как жаль, что любящие парки британцы не спешат пойти и посмотреть на них». Она пишет, что, судя по всему, с каждым днем будет все теплее, весна будет изумительной, какой давно не было в Англии, а дальше замечает: «Тюльпаны на клумбах у Букингемского дворца цвета крови»[72].

В Нидерландах с XVIII века основной отраслью экономики являлось выращивание и продажа знаменитых на весь мир сортовых тюльпанов: «Мендель», «Дарвин», «Коттедж», «Попугай». Пик цветения этих сортов всегда приходится на конец апреля, а позже к ним присоединяются изящные белые тюльпаны, самые нежные и восхитительные. В крошечном Люксембурге расцвели невиданные по красоте гладиолусы. О бельгийской весне всегда объявляют высокие, стройные платаны и тополя, тянущиеся вдоль широких улиц Брюсселя, и в

конце апреля 1940 года они тоже покрылись нежно-зеленой молодой листвой.

Это была столь редкая, подлинная идиллия, благословенное время кристально-чистого воздуха, солнечных восходов, нежных сумерек и теплых, наполненных ароматом вечеров в садах и парках. В конце апреля облака, словно взбитые сливки, неподвижно висели на небе, затем небо очистилось. В течение шести недель не упало ни капли дождя. Солнечная погода поднимала настроение; люди радовались, просто глядя в безоблачное небо, которое, казалось, стало еще бескрайнее, выше и более глубокого синего цвета, чем когда-либо прежде.

Алек Кадоган восторженно написал: «Восхитительная весна, искрящийся воздух, изумительные цветы, и мир вокруг напоминает рай». Подобные строки восхищения можно найти во многих дневниковых записях, письмах, газетах и журналах. Энтони Иден упомянул «продолжительный период хорошей, солнечной погоды». В доме номер 10 по Даунинг-стрит Джок Колвилл ежедневно рано утром ехал в Ричмонд-парк, чтобы насладиться «теплой летней погодой». Сэр Раймунд Айронсайд, генерал, начальник имперского Генерального штаба, написал о «великолепнейшей погоде» и спустя неделю отметил, что «погода по-прежнему великолепнейшая». Герцогиня Виндзорская, в форме Union des Femmes de France (Союз женщин Франции), руководившая работой солдатской столовой в Париже на рю де ла Пэ, написала своей тете Бесси: «У нас никогда не было такой прекрасной весны». Позже американский военный корреспондент Винсент Шиан отметил, что «Париж еще никогда не знал более прекрасной весны», а затем добавил, что «погода явилась частью человеческой драмы». В рейхе некоторые вспоминали август 1914 года, когда германские пехотинцы в остроконечных шлемах писали домой о Kaiserwetter (императорская погода). Теперь их сыновья называли эту погоду Hitlerwetter (гитлеровская погода). Нацистский генерал Гейнц Гудериан, командующий танковым корпусом, охарактеризовал погоду соответствующим образом, назвав ее «völlig Panzerwetter» (исключительно танковая погода)[73].

Париж, самый красочный город в Европе, присоединился к этому великолепию, радуя взор каннами, георгинами, нарциссами и фрезиями, особенно в садах Тюильри. Вдоль Сены и широких столичных бульваров расцвели столь любимые парижанами каштаны с их цветами, стоящими на ветках, как розовые свечи, и темно-зелеными матовыми листьями, такие утонченные, такие изысканные, что, по мнению Paris Soir, они словно сошли с полотна Ренуара. Клэр Бут*, совершая поездку по Западной Европе в тот четвертый месяц 1940 года, написала:

---

* Б у т Л ю с, Клэр — американский драматург, редактор, журналист, посол, конгрессмен от штата Коннектикут.

«Сейчас, в апреле, на прекрасных парижских улицах зеленеют каштаны, в солнечных лучах дома переливаются всем многообразием жемчужно-серых тонов, и от зрелища заходящего золотого солнца, мелькнувшего в Триумфальной арке, возвышающейся в конце Елисейских Полей, на мгновение перехватывает дыхание от боли и восторга. Вот такой Париж в апреле!»[74]

Париж был gai* — веселость, которая при взгляде назад кажется жестокой иронией судьбы.

Сразу после объявления войны закрылись все театры, но теперь они вновь открылись и были заполнены до отказа. Это в равной степени относилось к кинотеатрам, ресторанам и ночным клубам; скачкам на ипподроме Отей, цветочному рынку на площади Мадлен; весенней художественной выставке в Большом дворце; автомобильным гонкам в Булонском лесу, организованным «Ситроеном» и «Рено» — даже к залу в здании на Левом берегу, под крышей которого собрались пять академий, куда приходили желающие послушать лекцию Поля Валери о французском искусстве, лекцию, которой на той неделе парижские ежедневные газеты уделили больше внимания, чем войне на всех фронтах.

В тот год поля во Франции вспахивали солдаты. Странная работа для солдат в военное время, но тогда и война была странной; в отдельных перестрелках французские потери составили всего 2 тысячи человек, треть приходилась на Королевский флот. Но даже в этом случае Высший военный совет (Conseil Superieur de la Guerre), возмущенный идеей использовать солдат на сельскохозяйственных работах, утверждал, что эти работы унизительны для их профессии. Тем не менее правительство, по настоянию депутатов от сельскохозяйственных округов, отметило, что, хотя кадровые офицеры являются профессиональными солдатами, их рядовые таковыми не являются; люди, которыми они командуют, в мирное время были гражданскими лицами, многие из них — фермерами, и если никто не будет вспахивать и засевать землю, то Франция проиграет войну из-за голода.

Когда генералы были вынуждены отступить, некоторые офицеры, и среди них полковник Шарль де Голль, продолжали сопротивляться. Французская армия имела хорошую репутацию, даже в Берлине, но бездействие войск вызывало тревогу. В течение зимы британские экспедиционные силы (British Expeditionary Force, BEF) столкнулись с проблемой бездеятельности. Хотя на континенте было менее 400 тысяч британских солдат — всего 18 процентов союзнических сухопутных войск, — они имели высокий уровень боевой подготовки, частично благодаря офицерам, не прекращавшим проводить занятия по физической и психологической подготовке. Французы этого не дела-

* Веселый (*фр.*).

ли. Война длилась уже восемь месяцев, и французская армия застоялась, даже начала разлагаться.

Следует принимать в расчет все обстоятельства и относиться к французскому солдату 1940 года с большим состраданием. Ни одна страна, за исключением Сербии, не подверглась таким ужасным испытаниям в Первой мировой войне. Поколение Второй мировой войны, в отличие от поколения 1914 года, хотело, чтобы его просто оставили в покое.

В то время не придали особого значения этой атрофии духа. В 1938 году Черчилль назвал французскую армию «самой хорошо обученной и мобильной силой в Европе». В январе 1940 года он, к своему ужасу, понял, что нельзя сказать, будто «Франция смотрела на войну с воодушевлением или хотя бы с большой надеждой». Он винил в этом долгие месяцы ожидания, последовавшие за крахом Польши. По его мнению, «долгие зимние месяцы ожидания предоставили время и возможности для действия яда» коммунизма и фашизма[75].

Восьмимесячное затишье на фронте оценивали по-разному. По мнению Винсента Шиана, не было сомнений, что в ближайшее время затишье закончится, «когда серые потоки немецкого наводнения хлынут на запад в Голландию, Бельгию, Францию... и я думаю, что мы только наполовину верим в неизбежность, пока она не наступила»[76].

Многие, среди них некоторые более осведомленные, были настроены оптимистично, поскольку ожидаемая прелюдия привела бы к страшному кровопролитию. Генерал Андре Бофр назвал эту ситуацию «фарсом, разыгрываемым по обоюдному согласию», который не приведет ни к чему серьезному, «если мы правильно сыграем свою роль». Альфред Дафф Купер, ушедший в отставку с поста первого лорда адмиралтейства в знак протеста против Мюнхенского сговора, выступая перед американской аудиторией в Париже, необдуманно заявил, что союзники «нашли новый способ ведения войны, не жертвуя человеческими жизнями»[77].

Многие заявляли, что все это скоро закончится, что это не может продолжаться, что в этом нет никакого смысла. Премьер-министр Невилл Чемберлен в частной беседе сказал, что он «предчувствует», что к лету война закончится. Другие думали иначе; в Париже и Лондоне люди, занимавшие высокое положение, были убеждены, что война будет продолжаться в том же духе и морская блокада медленно задушит рейх фюрера. Это, конечно, займет пару лет, но к тому времени у британцев будет пятьдесят дивизий, и вместе с сотней американских дивизий, они нанесут Гитлеру смертельный удар.

По мнению выдающегося французского ученого Альфреда Сови, французский народ согласился участвовать в войне, хотя и неохотно. Французы верили, что Франция победит. Они были уверены, отметил Уильям Лоуренс Ширер, корреспондент Си-би-эс в Берлине, что для победы демократии следует объявить войну, что, если «свободный на-

род» объединиться в желании победить, никакая «управляемая сила», подобная гитлеровской, не сможет победить... они рассказывают о гигантских военных усилиях и объясняют, что благодаря демократии военные усилия, безусловно, значительнее, чем в Германии, поскольку на добровольных началах». Ширер также отметил растущее убеждение, что «в этой странной войне нет никакой необходимости страдать, лишать себя хорошей, легкой жизни. На этот раз в жертве нет необходимости».

Французское правительство поощряло подобные настроения. Депутаты наделили премьер-министра Эдуарда Даладье диктаторскими полномочиями в сфере промышленности, включая право мобилизовать рабочую силу, но он не воспользовался ими. Предприятия, которые можно было переоборудовать для выпуска боеприпасов, продолжали выпускать гражданскую продукцию. Парижские фирмы «Лелонг», «Баленсиага» и «Молинье» экспортировали шелка, из которого, как позже узнали французы, немцы шили парашюты. Не вводилось нормирование продуктов, как и бензина, хотя приходилось импортировать каждый галлон. Депутаты рекомендовали вновь открыть лыжные трассы и курорты Лазурного Берега.

Де Голль, одинокая Кассандра, написал Полю Рейно, в то время еще министру финансов Франции: «Сейчас, как мне видится, враг не будет нападать на нас какое-то время... Затем, когда он решит, что мы устали, растеряны, недовольны собственным бездействием, он наконец перейдет в наступление, имея абсолютно другие козыри, психологические и материальные, чем имеет в настоящее время». Он был прав, но, когда самонадеянный полковник сказал Пьеру Бриссону, редактору «Фигаро», что его тревожит пассивность врага, Бриссон высмеял его: «Разве вы не видите, что мы уже одержали бескровную победу на Марне?»[78]

Британцы, обладая в целом лучшей информацией о европейских полях сражения, должны были быть более реалистичными. Но не были. Остров казался прекрасным, значит, остров *был* прекрасным. Осенью Times сообщила, что Англия приняла «непреклонное решение» твердо держаться до конца, но спустя девять месяцев после начала войны жизнь Англии вернулась в нормальное русло. Праздные жители города дремали в шезлонгах в Гайд-парке; люди попусту транжирили время в лондонских парках и с интересом наблюдали за плавающими в прудах утками.

В 1940 году в городском пейзаже доминировали собор Святого Павла, шпили пятидесяти церквей Рена* в стиле барокко, здание парламента в стиле неоготики и Биг-Бен.

---

* Рен Кристофер — английский архитектор и математик, который перестроил центр Лондона после Великого пожара 1666 года. Из сгоревших 87 церк-

Теперь, затемненные, залитые лунным светом, они вызывали воспоминания об имперской столице до появления электричества. Ночная жизнь, как всегда, была насыщенной и интересной: Джон Гилгуд в «Короле Лире»; пьеса Light of Heart Эмлина Уильямса, собиравшая полные залы; в Вест-Энде самой популярной танцевальной мелодией была американская песня Somewhere over the Rainbow*.

Понятно, что лондонцев больше интересовали события мирной жизни, чем война. Times, постоянно ведущая наблюдения за орнитологической обстановкой, сообщила о возвращении ласточек, кукушек и даже соловьев.

Черчилль пытался разбудить народ. Выступая в марте по Би-би-си, первый лорд адмиралтейства предупредил соотечественников, что «более миллиона немецких солдат, включая все танковые дивизии, выстроились в готовности перейти в наступление вдоль границ Люксембурга, Бельгии и Голландии. В любой момент на эти нейтральные страны может обрушиться шквал стали и огня, и решение зависит от безумного, патологического существа, которому, к их вечному позору, немцы поклоняются, как богу». Он отметил, что в Великобритании «есть беспечные дилетанты и недальновидные люди, поглощенные земными проблемами, которые иногда спрашивают нас: «За что это воюют Великобритания и Франция?» Я на это отвечаю: «Если мы перестанем воевать, то вы скоро узнаете»[79].

Однако лорд Гав-Гав, прозвище Уильяма Джойса, предателя-англичанина, который занимался нацистской пропагандой на Великобританию из Берлина — за что он будет повешен, — еще не вызывал возмущения; большинство британцев считали его даже забавным. Джок Колвилл, находясь на Даунинг-стрит, 10, написал в дневнике: «Война на Западном фронте словно замерла». Проведя вечер в городе, Колвилл написал, что видел «группу интеллигентов в очках, которые сидели во время исполнения «Боже, храни короля». Он отметил: «Все это видели, но никто ничего не сказал, что свидетельствует о том, что война еще не заставила нас утратить чувство меры и впасть в ура-патриотизм». Ему еще предстояло узнать, что толерантность — это слабость страны в состоянии войны и что в военное время ура-патриотизм становится патриотизмом. Немцы уже понимали это. Если бы берлинцы неподобающе вели себя во время исполнения Deutschland Uber Alles (Германия превыше всего) или сидели во время исполнения

вей города Рену удалось восстановить в новом барочном виде 51, в том числе собор Святого Павла. Похоронен в соборе Святого Павла. Надпись на его надгробии гласит: «Se monumentum requires, circumspice» — «Если ты ищешь памятник — оглядись вокруг».

* «Где-то над радугой» — классическая песня-баллада, музыка Гарольда Арлена, слова Эдгара Харбурга. Написана специально для мюзикла 1939 года «Волшебник страны Оз».

Horst Wessel Lied («Песня Хорста Веселя»), то им бы еще повезло, если бы их просто арестовали[80].

Весной выявился постыдный факт. В мешках с песком, сложенных у входа в правительственные здания на Уайтхолле, проросли сорняки, явное доказательство, что мешки были заполнены не песком, как предусматривалось договором, а землей, которая стоила намного дешевле. Вопрос был поднят в палате общин, но ответа на него не последовало, главным образом по той причине, что никого это особо не волновало. Мешки с песком и другие атрибуты войны — аэростаты заграждения, траншеи в городских парках, в которых жители должны были укрываться от воздушных налетов, уполномоченные по гражданской обороне, противогазы, которые, как сообщил журнал Punch*, носили только офицеры и высшие государственные служащие, — как и истории об эвакуации детей и шутки о женщинах в форме — стали обыденностью.

Война фактически превратилась в утомительную обязанность.

В первую неделю мая это настроение стало меняться. У общественности, введенной в заблуждение прессой, которую, в свою очередь, ввело в заблуждение правительство, создалось впечатление, что их войска изгнали немцев из Норвегии. На самом деле все было наоборот. В четверг, 2 мая, премьер-министр Невилл Чемберлен появился в палате общин, чтобы объявить о том, что британские войска, потерпев сокрушительное поражение, были вынуждены эвакуироваться. По данным опроса общественного мнения, проведенного в те выходные Институтом Гэллапа, Чемберлен лишился поддержки более двух третей населения.

В следующий вторник в палате общин состоялось обсуждение потерь в Норвегии. В среду Лейбористская партия добилась голосования — вотум доверия — и более ста членов партии Чемберлена покинули ее ряды. Язвительный упрек в провале операции в Норвегии привел к падению правительства Чемберлена. Цепляясь за должность, премьер-министр потратил вечер того дня на то, чтобы предпринять некий политический маневр, который позволил бы ему остаться на занимаемой должности. Его надеждам было не суждено сбыться.

В тот же день в Берлине — в среду 8 мая 1940 года — Уильям Л. Ширер отметил, что на «Вильгельмштрассе сегодня ощущается напряженность», и добавил: «Я слышу, что голландцы и бельгийцы нервничают. В этом нет ничего странного». По сообщению агентства Associated Press, две немецкие армии, одна из Бремена, а другая из Дюссельдорфа, двигаются к голландской границе. Это разозлило нем-

* Журнал был задуман как своеобразная пародия на расплодившиеся газеты и журналы, как такое кривое зеркало, в котором в перевернутом виде отражаются методы и приемы, используемые в журналистике. Журнал ставил перед собой цель защищать читателя от недобросовестных журналистов.

цев, но, по словам Ширера, его цензоры «позволили ему открыто намекнуть, что следующий удар немцы нанесут на западе — Голландия, Бельгия, линия Мажино, Швейцария»[81].

В Брюсселе папский нунций попросил аудиенцию у короля Леопольда, чтобы передать предостережение из Ватикана. Папа узнал, что немецкого вторжения в Бельгию «не избежать». Это подтверждали два шифрованных донесения в Брюссель из бельгийского посольства в Берлине. Голландский военный атташе в Берлине предупредил Гаагу.

Гитлер пребывал в состоянии крайнего возбуждения. В Mein Kampf он поклялся уничтожить Францию в «последнем, решающем бою (Entscheibungskampf)». Теперь этот час приблизился. Генерал Йодль написал в дневнике: «Фюрер больше не хочет ждать. Геринг просит отодвинуть начало наступления хотя бы до 10-го... Фюрер крайне обеспокоен; он соглашается передвинуть дату наступления на 10 мая, по его словам, вопреки интуиции. И ни на один день дальше»[82].

В Венсенском замке генерал Гюстав Морис Гамелен объявил о восстановлении во французской армии обычного отпуска, как в мирное время. Четырьмя днями ранее генерал Андре-Жорж Корал, командующий 9-й французской армией, сказал своим солдатам: «До 1941 года ничего не будет происходить». В преддверии выходных заголовок парижской газеты гласил: «DETENTE AU HOLLANDE» («Отдых в Голландии»)».

Адмиралтейство на Уайт-Холле, поскольку Британия правила морями, определяло морскую политику в период войны, но с учетом британских экспедиционных сил, численностью 400 тысяч человек, тогда как численность французских войск составляла 2 миллиона 100 тысяч человек. Командование союзными войсками Франции и Англии осуществлял генерал Гамелен, который был уверен, что может остановить врага, поскольку считал, что точно знает, откуда следует ждать нападения. Немцы будут наступать через Бельгию, как они это сделали в августе 1914 года, когда, достигнув эффекта стратегической внезапности, серый поток огромного правого крыла рейха, снеся оборону французов, окружил их левый фланг. Это был один из последних изобретательных маневров на Западном фронте в ходе Первой мировой войны. Французы избежали катастрофы, отступив к Марне. Затем армии противников попытались охватить друг друга с фланга. Это не удалось ни тем ни другим. В результате создалось безвыходное положение. В течение четырех лет союзники удерживали сплошную линию фронта, протяженностью 566 миль, от границ Швейцарии до Ла-Манша. Прорвать линию фронта не представлялось возможным, поскольку всякий раз, когда в каком-то месте создавалась опасность, оно срочно укреплялась; воинские эшелоны направлялись в зону риска и успевали добраться до места раньше наступающих пехотинцев,

которые медленно двигались вперед со скоростью передвижения наполеоновских солдат, делавших 3 мили в час.

Гамелен предвидел точное повторение ситуации. Но на этот раз, заверил он соотечественников, война не будет вестись на «священной земле» Франции. Согласно его плану «Д», войска выдвигаются на восток в Бельгию и встречают противника на рубеже реки Диль. Куда еще, спросил он, могут прийти нацисты? По общему мнению, невозможно было представить, чтобы немцы решили вторгнуться через Швейцарию. Французская линия обороны включала бельгийскую равнину (Фландрию) слева, в центре Арденнский лес, протянувшийся через Люксембург, Бельгию и Северную Францию, и 87-мильную границу Франции и Германии, где стояли лицом друг к другу огромные армии противников.

Последний участок линии обороны не вызывал беспокойства, поскольку считался неприступным. Каждый его дюйм был защищен самой дорогостоящей в истории системой фортификационных сооружений, мощной линией Мажино из стали и бетона, которую обороняла сорок одна дивизия. Когда лорд Горт, командующий британскими экспедиционными силами, и группа британских генералов совершали поездку по линии Мажино, они спросили своего сопровождающего, Рене де Шамбрена*, во что обошлось ее строительство.

55 миллиардов франков, ответил Шамбрен, более чем за десять лет. Затем, сообразив, что его английские гости из морской державы, и ведут расчеты в фунтах стерлингов, Шамбрен предложил более привычный для них расчет: если бы Франция потратила эту сумму на строительство самого большого, мощного и быстроходного линкора, которых во всем мире насчитывалось порядка двадцати пяти, то французский флот на данный момент состоял бы из *пятидесяти* таких гигантов. Таким образом, объяснил Шамбрен, форты и артиллерийские батареи линии Мажино могут рассматриваться как строй «сухопутных линкоров». Горт, написал Шамбрен, «не смог скрыть удивления». Шамбрен не сказал гостям, что расходы на строительство линии привели к сокращению производства бронетехники. Но они не приняли во внимание, что линкоры мобильны и быстро реагируют на изменение тактической обстановки. Форты — «сухопутные линкоры» — не обладают ни тем ни другим.

Линия Мажино, известная всем французам, была названа в честь Андре Мажино, политического и военного деятеля, который, как премьер-министр Эдуард Даладье, провел четыре года в траншеях Первой мировой войны и поклялся, что больше это не повторится. Линия

* Шамбрен Рене де, потомок маркиза де Лафайета, адвокат, служил в качестве связного между французами и англичанами. После падения Франции он был приглашен на борт президентской яхты Sequoia, где рассказал Франклину Рузвельту о сражении. (*Примеч. авт.*)

доходила до бельгийской границы. Обсуждался вопрос строительства линии до северного побережья Франции, но французы считают, что бельгийцы могут решить, что их французские войска даже не подумают вступать в бой, пока немцы не доберутся до французской границы. Некоторые члены Высшего военного совета (Conseil Superieur de la Guerre) настаивали на том, чтобы дотянуть линию до реки Мез (Маас), на территории Бельгии, но маршал Анри-Филипп Петен, главнокомандующий французской армией в 1918 году, отверг это предложение. Для того чтобы подойти к Мезу, немцам предстояло пройти через Арденны — дремучий лес Ганса Христиана Андерсена, глубокие ущелья и испарения с торфяных болот — «непроходимые», по заявлению Петена, тем самым он исключил его как возможный путь вторжения. Таким образом, рассудил Гамелен, единственным возможным полем битвы остается бельгийская равнина[83].

В результате он столкнулся с серьезными проблемами. Наполеон предупреждал своих командующих, чтобы они не решали заранее, что собирается делать противник. Но Гамелен все решил за противника. Ему не пришло в голову, что после провала одного замечательного плана в 1914 году немцы смогут разработать другой план. Кроме того, Гамелен не придал значения смене монархов в Бельгии. Во время последней войны король Альберт был могущественным союзником, но в 1936 году его сын, Леопольд III, удивил Европу, отказавшись от военного союза с Францией и Великобританией. Во время любой следующей войны между Германией и Францией, заявил король, Бельгия будет сохранять нейтралитет. Он дошел до того, что укрепил границу с Францией и заявил французам, что строительство линии Мажино до Северного моря будет рассматриваться Бельгией как недружественный жест[84].

Но самая большая ошибка Гамелена заключалась в том, что он исходил из предположения, что война не изменилась с перемирия 1918 года. Его Высший совет исходил из тех же соображений, хотя было несколько человек, и среди них полковник де Голль, выражавших несогласие с этим мнением. Де Голль, действуя во вред себе, настаивал, чтобы французы изучили быстрый захват нацистами Польши с помощью танков. Танки, сказал он, изменили ход сражения; необходимы новые стратегии, чтобы заставить их отступить. 11 ноября 1939 года он направил в Генеральный штаб памятную записку с учетом уроков Польской кампании, в которой основной упор делался на необходимости обретения мобильности на поле боя, формирования ударного механизированного корпуса, специально отобранных и обученных солдат, которые возглавят наступление. Если Франция не последует примеру Германии, предупредил он, то бензиновый двигатель уничтожит французские военные доктрины, как сносил укрепления.

Но начальники сочли его высказывания нелепыми. Предположим, сказал один из них, что танки бошей прорвут оборону. Где они будут заправляться? Ни один из них не задумался о том, что с момента окончания Первой мировой войны в Северной Франции появились тысячи бензозаправочных станций. Они не приняли их в расчет. Эти бензозаправочные станции — которых, как и 91 процента автомобилей в стране, не было в 1918 году, — должны были обслуживать гражданские машины, а не немецкие танки. Тот факт, что в автомобилях и танках использовалось одно и то же топливо, не приняли во внимание.

Несколько военных корреспондентов, находившихся под впечатлением от зрелища танковых колонн фюрера, давящих храбрых поляков, выразили серьезное беспокойство, но в ставке главнокомандующего Гамелена им резко ответили, что повторение блицкрига невозможно. Генерал Дюфье, командир танкового подразделения в отставке, заявил, что нацистские танковые подразделения не могут «без поддержки прорвать наши линии и проникнуть глубоко в тыл, не столкнувшись с полным уничтожением». Другой высокопоставленный офицер упрекнул зарубежных журналистов за высказанные сомнения: «Ах, друзья, как же вы наивны!» Да, война прошла по польским равнинам. Но ей не пройти через Арденны, голландские разливы, бельгийские оборонительные сооружения, линию Мажино — танковые ловушки, колючую проволоку, казематы, наши мощные воздушные силы[85].

Высшее командование Франции, принимая решение о стратегической обороне, учитывало тот факт, что страна еще не до конца залечила раны, полученные в Первой мировой войне. Все крупные бои велись на территории Франции и Бельгии, и было убито 1 миллион 315 тысяч poilus* — 27 процентов мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, без учета раненых — тех, кто ослеп, оглох, потерял конечности.

Оставшиеся в живых не имели достаточно сил и желания вновь поднять триколор. В отличие от многих предыдущих поколений французов они, по понятным причинам, не испытывали стремления ни к величию, ни к достижению господства в Европе. Им не хотелось проиграть войну, но при этом они не слишком жаждали победить. На самом деле им даже *не нужна* была победа. У Франции не было военных целей. У Франции, как это виделось им, уже было все, что требовалось. Они ничего не просили у немцев, кроме мира.

Таким образом, решение отдать инициативу немцам было больше политическим, чем военным. Линия Мажино была не просто укрепленной линией, она влияла на душевное состояние народа. Когда

* Poilu — пуалю («волосатый») — прозвище французского солдата-фронтовика в Первую мировую войну.

в марте 1940 года пало правительство Даладье, Полю Рейно было поручено вести войну после того, как он обещал не переходить в наступление. Идея атаковать Германию, по мнению депутатов, была нелепой. После краха Польши пали духом даже самые воинственные. В палате депутатов все политические партии превратились в партии капитулянтов. Еще до того как Гитлер, поработив следующую страну, произнес очередную речь, призывая западных союзников положить конец войне, — на протяжении семи лет он мнил себя владыкой мира, — коммунистическая фракция палаты депутатов потребовала, чтобы депутаты обсудили «предложения по будущему мирному договору». Алексис Леже, генеральный секретарь министерства иностранных дел Франции, сказал американскому послу Уильяму Буллиту: «Игра проиграна. Франция одна против трех диктатур. Великобритания не готова. Соединенные Штаты даже не изменили закон о нейтралитете. Демократические государства снова опоздали». Альфред Сови сделал вывод, что страна просто «отказалась от войны»[86].

Но ведь это была не шахматная партия, в которой можно отказаться от гамбита. И Гитлер не выдвигал предложений о мире в ближайшие выходные, 10 мая. Он намеревался сделать нечто совсем иное.

С первых дней войны Черчилля раздражала робость французского высшего командования. Французы отклоняли все его инициативы — к примеру, бомбардировку Рура и минирование Рейна — на том основании, что это могло вызвать ответные действия со стороны нацистов. «Эта идея — не раздражать врага — мне не нравилась, — написал он позже. — По-видимому, хорошие, порядочные, цивилизованные люди могут сами наносить удары только после того, как им нанесут смертельный удар». Французы даже отказались от воздушной разведки, что не поддавалось пониманию, поскольку немецкие самолеты ежедневно пересекали границы Франции. Если бы в начале мая самолеты союзников делали то же самое, на них бы произвела неизгладимое впечатление подготовка, которую вел противник. Через Рейн было переброшено восемь понтонных мостов, и от реки на сотню миль растянулись три танковые колонны[87].

Один французский летчик действительно видел вечером 8 мая ведущиеся приготовления. Он возвращался с Рура, где разбрасывал листовки, убеждающие немцев скинуть Гитлера и, следовательно, установить мир. Пролетая над Дюссельдорфом, он посмотрел вниз и увидел растянувшуюся на 60 миль колонну танков и грузовиков, двигавшуюся к Арденнам. Они ехали с включенным светом. Летчик немедленно сообщил об этом в штаб. Но от его информации отмахнулись, как от недостоверной.

Это был не первый случай, когда подобную информацию не брали в расчет, но он стал последним. Пятью месяцами ранее, когда Европа

была погружена в зимний сон, немецкий самолет с двумя штабными офицерами сбился с курса и совершил вынужденную посадку в Бельгии. Офицерам не удалось уничтожить все документы, среди которых был утвержденный ОКВ план вторжения в Нидерланды, в том числе прорыв через Арденны. Британская разведка тщательно изучила эти документы. Учитывая высокий уровень искусства обмана и хитростей, каким в равной степени владели и немцы и британцы, был сделан вывод, что документы — специально подброшенная фальшивка, и, следовательно, их не надо брать в расчет[88].

Утром в четверг, 9 мая, на 250-й день войны, Чемберлен столкнулся с горькой правдой: его карьера закончилась. Фиаско в Норвегии сломило его. Не вызывало сомнений, что Великобритания нуждается в правительстве национального согласия, состоящем из представителей всех партий, а Лейбористская партия — работать под его началом. Учитывая огромное большинство тори в палате общин, наследие всеобщих выборов 1935 года, новым премьер-министром должен был стать консерватор. Руководство партии хотело видеть на этой должности лорда Галифакса, министра иностранных дел. Этого же хотел король. Однако заднескамеечники-тори и члены парламента от Лейбористской партии были за назначение Уинстона Черчилля, первого лорда адмиралтейства. Галифакс отказался от должности. Рэндольф Черчилль позвонил в Лондон, чтобы узнать новости. Отец сказал ему: «Думаю, что завтра стану премьер-министром»[89].

В 21:00 того же дня Гитлер передал в войска кодовое слово «Данциг».

Самая мощная в истории армия была приведена в боевую готовность, и 10 мая 1940 года, в пятницу, в 4:19 более 2 миллионов немецких солдат в «ведерках для угля» (так англичане называли стальные немецкие каски) двинулись вперед. Вермахт перешел границы Бельгии, Голландии и Люксембурга, наступая по всей линии фронта от Северного моря до швейцарской границы. Гитлер неоднократно заверял, что гарантирует их нейтралитет, но он хотел завоевать Францию, а Нидерланды находились на его пути[90].

В 5:30 Бельгия обратилась за помощью к союзникам. Гамелен позвонил генералу Альфонсу Жоржу, командующему Северо-Восточным фронтом.

Жорж спросил:

— Приступаем к операции «Диль»?

Гамелен сказал:

— К нам обратились бельгийцы. У вас есть какое-то другое предложение?

Жорж ответил:

— Конечно нет.

— Выдвигаемся в Бельгию! — распорядился Гамелен. Спустя пять минут Жорж отдал приказ пересечь границу пяти французским армиям и британскому экспедиционному корпусу. Возникла небольшая проблема с бельгийскими пограничниками, которым не сообщили о решении, принятом в Брюсселе. Один офицер потребовал, чтобы 3-я британская дивизия предъявила визы, — командир дивизии, генерал-майор Бернард Монтгомери, поместил его под арест; на нескольких бельгийских дорогах были установлены преграды, чтобы воспрепятствовать вторжению французов. Но ничто не смогло помешать войскам союзников, стремительно продвигавшимся вперед[91].

В британском экспедиционном корпусе царило приподнятое настроение. Томми посылали воздушные поцелуи, проходя мимо улыбающихся женщин и, как пишет Клэр Бут, «вскидывали вверх руки с соединенными кольцом большим и указательным пальцами, в жесте, означавшем «О'кей, все хорошо». Они пели Roll Out the Barrel, чешскую застольную песню, которая обрела популярность в 1939 году, и балладу, основанную на австралийской народной песне:

Run, Adolf, run Adolf, run, run, run!
Here comes a Tommy with his gun, gun, gun!

(Беги, Адольф, беги, Адольф, беги, беги, беги!
Сюда идет Томми со своим ружьем, ружьем, ружьем!)

Еще они пели песни своих отцов: Tipperary, Keep the Home Fires Burning и Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag — песни времен Первой мировой войны. Офицеры старшего возраста, пребывая в прекрасном настроении, испытывали состояние дежавю. Дрю Миддлтон написал в New York Times: «Они словно возвращались той же дорогой, которая снилась им ночами, снова видели лица давно умерших друзей и слышали полузабытые названия городов и деревень»[92].

К вечеру отборные союзные войска углубились на территорию Бельгии и Голландии. Здесь, как заверил всех Гамелен, произойдет решающая битва.

Гамелен совершил фатальную ошибку.

В своем «Орлином гнезде» в Баварских Альпах фюрер танцевал от радости. Его генералы с трудом могли поверить своей удаче. Генерал Адольф Хойзингер написал в дневнике: «Они хлынули в Бельгию и попали в ловушку»[93].

На ближайшее воскресенье выпадал День Святой Троицы, который традиционно являлся частью длинных выходных для англичан и праздновался христианами как День сошествия Святого Духа на апостолов. Лондонцы были поражены, когда в пятницу, узнав о нападении на Нидерланды, правительство отменило выходной день; это оз-

начает, написала Молли Пэнтер-Доунес в The New Yorker, что «правительство действительно начинает шевелиться». Из Нидерландов не поступало достоверной информации, и это было плохо. Однако британцы сохраняли спокойствие; на улицах не собирались взволнованные толпы людей. «Хорошая, большая доза несчастья, чтобы выпустить огромную силу. К этому добавляется осознание, что они сражаются за свою жизнь», — написала Пэнтер-Доунес[94].

В течение почти десяти лет Черчилль вдалбливал в головы соотечественников, что этот день наступит. Триста лет назад, во время гражданской войны в Англии, и в армии роялистов, и в парламентской армии были барабанщики. Во время боя они отбивали приказы командиров, которые были слышны сквозь грохот мушкетов и пушек: строиться, направо, налево, огонь. Перед барабанщиками не стояла задача вдохновлять и успокаивать товарищей, вносить сумятицу в ряды врагов, но их постоянный, ритмичный бой делал свое дело. Редьярд Киплинг прославил их в рассказе The Drums of the Fore and Aft («Барабанщики Передового и Тыльного). Храбрость двух молодых полковых барабанщиков вдохновляет полк, который, находясь на грани уничтожения, перегруппируется, атакует афганцев и выиграет битву — «...говорили, что она была выиграна благодаря Лью и Джекину, чьи маленькие тела были погребены в приспособленные для них маленькие ямки, в изголовье громадной братской могилы на высотах Джегая».

Герои Черчилля — Питт, Мальборо, Нельсон — не только командовали, они вдохновляли. Уинстон Черчилль был готов сделать шаг вперед как руководитель и командующий и как барабанщик. Но готовы ли были король и соотечественники? Присоединятся ли к нему британцы, когда придет Гунн, и останутся ли рядом с ним до конца? Готовы ли они умереть, защищая семью, дом, короля и отечество? Черчилль был готов. Он готовил себя к этому моменту каждый час, каждый день на протяжении шести десятилетий, с того времени, когда играл в солдатики в отцовском доме в Лондоне.

Стояла великолепная погода. Сирень — вестница весны — цвела по всей стране. «Чудесный день» — написал в дневнике Александр Кадоган за несколько часов до того, как Гитлер отдал приказ о нападении. — Тюльпаны — изумительны, все радует, кроме людских дел».

К тому времени Кадоган, приверженец Чемберлена, начал понимать, что с правительством Чемберлена покончено. «Но *чем* мы заменим его? Кто встанет во главе? Эттли? Синклер? Сэм Хоар?»

Недолго думая он исключил одного кандидата: «Никчемный Уинстон»[95].

Глава 1

ЦИКЛОН

Май—декабрь 1940 года

Сразу после вечернего чая в пятницу, 10 мая, спустя пятнадцать часов после вторжения Гитлера в Нидерланды, Невилл Чемберлен неохотно подал прошение об отставке королю Георгу VI, который столь же неохотно его принял. «Я принял его отставку, — написал в тот вечер в дневнике король, — и сказал ему, как грубо, несправедливо, по моему мнению, с ним обошлись». Вскоре после шести король назначил премьер-министром плотного, сутулого шестидесятипятилетнего первого лорда адмиралтейства, Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля. Позже король Георг стал одним из самых горячих поклонников Черчилля, но в то время он испытывал смешанные чувства. В этот день Джок Колвилл написал в дневнике, что король «(вспомнив, вероятно, об отречении, против которого выступал Черчилль) не хотел посылать за Уинстоном». Однако было важно, чтобы правительство состояло из представителей всех партий, а Лейбористская партия была непреклонна: они не собирались работать под началом Чемберлена[1].

Защита Великобритании и ее империи были обязанностью нового премьер-министра на ближайшие пять лет или до тех пор, пока его не скинут с должности парламент или Гитлер. Но когда он ехал из Букингемского дворца, ни он сам, ни кто-либо еще в Лондоне не был всерьез встревожен ходом войны. За Ла-Маншем в тот вечер было известно совсем немного о том, как разворачивались события в течение дня. Люфтваффе бомбили аэродромы в Бельгии и Голландии; в Бельгии высадились немецкие парашютисты, и бельгийцы, говорят, сражаются хорошо; голландцы, по слухам, «упорно» сопротивляются; союзники заняли прочные позиции на линии Антверпен—Намюр и готовятся оборонять канал Альберта. Все шло как ожидалось, или так казалось в этот час[2].

Вечером Би-би-си объявила о назначении Черчилля. Его семнадцатилетняя дочь Мэри в это время находилась в Чартвелле, в доме,

в котором жила ее гувернантка. Прослушав сообщение, Мэри выключила радио и помолилась за отца[3].

И на Даунинг-стрит, 10, и в подземном убежище с Черчиллем были члены его семьи. Из старших детей Черчилля только Сара, актриса, жившая с мужем, была еще гражданским лицом, но спустя какое-то время она поступила в Женскую вспомогательную службу военно-воздушных сил (Women's Auxiliary Air Force, WAAF). Муж Сары, Вик Оливер, австриец, сын барона Виктора Оливера фон Замека, отказался от титула, сократил имя и стал американским гражданином. При первой встрече с Оливером в 1936 году Черчилль испытал к нему неприязнь и в письме Клементине дал выход своим чувствам. Оливер, по его словам, «самый заурядный», «бродяга» и говорит с «протяжным австро-американским акцентом». Однако он не упомянул одно обстоятельство, которое многие английские аристократы сочли бы достаточным, чтобы не иметь с Виком Оливером никаких дел: он был евреем. Это мог быть кто угодно, но только не Черчилль. Он оценивал человека по его моральным качествам, а не по национальному признаку[4].

Двое других старших детей уже были офицерами: Диана в Женской королевской военно-морской службе, Рэндольф в бывшем полку отца, 4-м гусарском. Мэри работала в солдатской столовой и в Красном Кресте; она жила с родителями. Тем же занималась Памела, двадцатилетняя жена Рэндольфа, беременная первым ребенком, рождение которого ожидалось в октябре. Когда в июне, в период полнолуния, начались воздушные налеты, Памела с тестем спали на двухъярусной кровати в подвале «номера 10». Она была беременной, поэтому спала внизу и всегда просыпалась очень рано утром, когда Черчилль тяжело поднимался по лесенке на свою полку. Клементина спала в другой спальне[5].

Будучи премьер-министром, Черчилль, помимо семьи, был окружен многочисленными сотрудниками, «тайным кругом», как он их называл. Рядом всегда находились Джон (Джок) Колвилл, который остался в «номере 10» после отставки Чемберлена, Эрик Сил и Джон Мартин, которых Черчилль взял с собой из адмиралтейства. В пределах слышимости находились машинистки, Кэтлин Хилл, Грейс Хэмблин и Эдин Уотсон, которая работала со всеми премьер-министрами начиная с Ллойд Джорджа. Мопс Исмей был на связи с начальниками штабов, располагавшихся на Ричмонд-Террас: адмиралом сэром Альфредом Дадли Паундом, генералом сэром Джоном Диллом и маршалом авиации сэром Сирилом Ньюоллом. Колвилл написал в дневнике, что Черчилль считал этих троих «разумными, но старыми и медлительными». В октябре 1940 года Ньюолл вышел в отставку, и на его место был назначен маршал авиации сэр Чарльз Портал[6].

Вновь прибывшим в «номер 10» был Чарльз Уилсон, личный врач премьер-министра, который вел дневник с первого дня назначения на

эту должность. При первой встрече Черчилль обращался с доктором, как он это проделывал со всеми подчиненными, с грубоватой нетерпеливостью. В полдень доктор вошел в спальню, где Черчилль, лежа в кровати, читал газеты. Уилсон молча стоял, ожидая, когда Черчилль обратит на него внимание. Наконец Черчилль оторвался от чтения и раздраженно сказал: «Не понимаю, почему они так суетятся. Я абсолютно здоров». Так оно и было, судя по тому, что до конца года доктор не делал записей в дневнике[7].

Черчилль не хотел, чтобы к нему приглашали врача; он утверждал, что абсолютно здоров. Однако на этом настоял старый друг Черчилля, Макс Бивербрук; никто не был так настойчив, как Бивер (Бобр) — так все его называли. Вот почему Черчилль назначил его министром авиационной промышленности. Англии требовались самолеты для приближающихся воздушных боев. Решая ряд жизненно важных вопросов, Бивербрук мог быть безжалостным, беспринципным и даже действовать в нарушение всяких правил. Он захватывал заводы, врывался на склады и отправлял в тюрьму тех, кто пытался его остановить. Но все в пределах закона. 22 мая парламент принял закон о чрезвычайных полномочиях, согласно которому прерогативы правительства резко возросли. В частности, Государственному секретарю было предоставлено право издавать постановления «об аресте, суде и наказании лиц, нарушающих... предписания, и о задержании лиц, задержание которых представляется Государственному секретарю соответствующим интересам общественной безопасности или защиты государства». В законе было положение, которое предоставляло представителям власти право входа и обыска любого помещения без судебной санкции. Кроме того, правительству давалось право устанавливать государственный контроль «над любой собственностью или предприятием». Согласно этому закону, все граждане Британии должны были «предоставлять себя, свои услуги и свою собственность в распоряжение Его Величества», а именно министра обороны, который одновременно был премьер-министром. Черчилль мог стать диктатором, если бы захотел. Вместо этого он стал одержим навязчивой идеей, что палата общин должна быть в курсе всех событий[8].

Среди новых членов правительства были три человека — «внушающий ужас триумвират», называл их Колвилл, — которых государственные служащие ждали со страхом: Брэнден Брекен, член парламента, Фредерик Линдеман («профессор») и майор Десмонд Мортон, который играл важную роль в довоенной разведывательной сети Черчилля, собирая доказательства того, что Англия не готова к войне. Но Мортон имел ограниченный доступ к самой важной информации, из Блетчли. С течением времени звезда Мортона начала заходить, поскольку Черчилль, получая информацию из Блетчли, больше не нуждался в собственной секретной службе и Мортон, очевидно, был не

слишком интересным собеседником, чтобы регулярно получать приглашение на обед в выходные дни. Дружба Черчилля была в какой-то мере утилитарной, хотя тогда былая преданность Мортона превзошла его убывающую полезность. Брекен долгое время был самым искренним сторонником Черчилля в палате общин. Кроме того, он был очень странным молодым человеком, который, к досаде Клементины, в 1920-х годах поддерживал слухи, что является внебрачным сыном Черчилля (он прекратил эти разговоры по просьбе Черчилля). Профессор был еще более странным. Немец по происхождению, получивший образование в Берлинском университете, имевший степень бакалавра, вегетарианец, который считал, что все женщины рассматривают его в качестве сексуального объекта. Но он был блестящим физиком и непревзойденным интерпретатором науки для непрофессионалов. Он станет самым ярым сторонником ковровой бомбардировки и уничтожения городов своей родины[9].

Черчилль, его семья, его коллеги и близкие друзья были готовы встретить все, что может преподнести Берлин. Черчилль считал, что если британцы еще не готовы, то скоро будут готовы.

Невозможно преувеличить влияние Первой мировой войны на первые сражения Второй мировой войны. Позже Черчилль написал, что «в Англии шутят, что наше военное министерство всегда готовится к прошлой войне». Это в равной степени относилось и к солдатам, и к государственным деятелям — даже фюрера не оставляли мысли о траншейной войне 1914—1918 годов. Черчилль не являлся исключением. Во время Первой мировой войны он усвоил некоторые правила современной войны, в том числе одно, имеющее огромное значение: тактические прорывы невозможны, поскольку всякий раз, когда позиция в опасности, ее можно мгновенно укрепить. Непрерывный фронт не должен нарушаться. И еще один важный урок: во время той войны ничего не происходило быстро[10].

В этой войне *все* происходило быстро, — слишком быстро — и в этом не было ничего хорошего. Немецкие танковые войска разбили все стратегические и тактические системы. Жизнь Великобритании зависела от нахождения слабостей в нацистской стратегии, а затем использования их. Это станет основной проблемой Черчилля. А на данный момент перед ним стояла политическая проблема: члены парламента от партии консерваторов, у которой было 432 из 607 мест в палате, имели большинство в парламенте. Источником проблемы были последние всеобщие выборы, которые состоялись в 1935 году. Введенная в заблуждение премьер-министром Стэнли Болдуином, заверившим парламент, что обороноспособность страны на должном уровне, избранная палата общин была перенасыщена непримиримыми пацифистами и твердолобыми миротворцами. С тех пор настро-

ение в стране повернулось на 180 градусов, но в глубине души консервативное большинство оставалось верным памяти Болдуина и пагубной политике Невилла Чемберлена, даже несмотря на то, что из-за них Англия оказалась в таком ужасном положение.

Новый премьер-министр, хотя и был тори, на протяжении 1930-х годов был их мучителем, ярым противником их политики «блестящей изоляции», которая выражалась в отказе от заключения длительных международных союзов. Он неоднократно предупреждал о нацистской угрозе, требуя увеличения бюджета на оборону. Понятно, что последующие события, доказавшие, что он был прав, а они не правы, не внушили им любовь к нему. Озлобленный Ричард Остин Батлер (Рэб) (миротворец и приверженец Чемберлена) назвал Черчилля «американцем-полукровкой» и «величайшим авантюристом в современной политической истории». В пятницу, 10 мая 1940 года, Батлер осудил «этот внезапный успех Уинстона и его толпы». Другой член парламента от партии консерваторов написал Стэнли Болдуину — который назвал Черчилля частью «обломков политического бездействия, выброшенных на берег», — что «тори не доверяют Уинстону». Государственный служащий отметил, что, «похоже, на Уайтхолле некоторые склонны считать, что Уинстона ждет полный провал и вернется Невилл». Писатель и пацифист Макс Плауман написал: «Возможно, Уинстон выиграет войну. Может, нет. Я не знаю, что можно ожидать от него, учитывая его беспрецедентную способность терять все, к чему он прикладывает руку»[11].

Члены постоянного секретариата на Даунинг-стрит, 10, которые знали Черчилля только как критика своих предшественников, испытывали отчаяние. Они были личными секретарями при Болдуине и Чемберлене. Молодые люди, в большинстве тори, работали до появления Черчилля в удобном частном доме, где все шло гладко и спокойно, с посыльными, вызываемыми по звонку, чистыми полотенцами и щетками из слоновой кости в туалетной комнате, и все, как выразился один из них, «напоминало жителям, что они работали в самом сердце огромной империи, в которой спешить было несолидно и неприемлемым было дрожание губ». Они были в ужасе от всего, что знали о Черчилле. Джок Колвилл написал в дневнике, что назначение Черчилля «страшный риск и я не могу отделаться от ощущения, что страна может оказаться в опаснейшем положении, в каком еще никогда не была». Позже Колвилл вспоминал, что «в мае одна мысль о Черчилле как о премьер-министре приводила в дрожь сотрудников на Даунинг-стрит, 10... Редко какой премьер-министр занимал свой пост с истеблишментом, так сомневающимся в своем выборе и так готовым оправдать свои сомнения». Не говоря уже о превратностях войны, омрачающих надежды на выживание страны, правительство Черчилля было брошено в бурные политические воды[12].

Волнение быстро улеглось. «Все изменилось за две недели», — написал Колвилл. Черчилль появился на сцене подобно летнему шквалу во время парусной регаты. В Уайтхолле царило возбуждение, в «номере 10» было столпотворение. В каждом углу «номера 10» были установлены телефоны разных цветов, которые звонили не переставая; новый премьер-министр прикреплял красные ярлыки, означавшие «Сделать сегодня», и зеленые — «Доложить через три дня», к директивам, идущим бесконечным потокам, которые диктовались машинисткам в кабинете, спальне премьер-министра и даже в ванной комнате, вместе с ответами, которые требовалось дать в течение минуты. Вереницей, не задерживаясь, шли министры, генералы, высокопоставленные чиновники. Работа начиналась ранним утром и заканчивалась после полуночи. «Темп стал бешеный, — вспоминал другой личный секретарь, Джон Мартин. — Мы поняли, что находимся в состоянии войны»[13].

Чемберлен был спокойным и сдержанным; Черчилль, по словам Джона Мартина, был «человеком-генератором», а по мнению Йена Джейкоба, «его боевой дух требовал постоянного действия».

Врага следует непрерывно атаковать; надо заставить немцев «проливать кровь». Черчилль назначил себя министром обороны, благодаря чему сам, через генерал-майора Исмея, руководил начальниками штабов, ведя войну день за днем, час за часом. Черчилль всегда передавал свои приказания через Исмея, чья «преданность была абсолютной» настолько, что он, в свою очередь, всегда сообщал Черчиллю то, что генералы и Объединенный штаб планирования думают о его указаниях, — это приводило к тому, что Черчилль иногда называл Объединенный штаб планирования «механизмом отрицания». Преданность Черчиллю ограждала Исмея от вспышек премьер-министра не больше, чем преданность других сотрудников из штаба Старика. После одного совещания с начальниками штабов Черчилль дал волю негодованию, заявив, что начальники продемонстрировали «малодушное и негативное отношение», а «вы были одним из худших», заявил он возмущенному Исмею. После другого неудовлетворительного совещания с начальниками штабов и Исмеем Черчилль сказал Колвиллу, что «вынужден вести современную войну древним оружием»[14].

Сэр Йен Джейкоб вспоминал, что Исмей одинаково почтительно относился к Черчиллю и начальникам штабов, и Черчилль быстро понял, что Исмей никогда не позволит обычным чувствам встать на пути скорости и эффективности работы. «Он не был тщеславен и вселял во всех, с кем работал, такой же дух преданности, каким в значительной мере обладал сам», — позже вспоминал Джейкоб. Ежедневно приблизительно в 9:30 утра (если Черчилль не заставлял Исмея бодрствовать большую часть ночи) Исмей встречался с Черчиллем. Старик обычно лежал в кровати, повсюду были разбросаны утренние выпуски газет, и в воздухе висел тяжелый запах от сигар. На этих совещаниях

Черчилль передавал записки, надиктованные вечером. Большинство из них были короткими вопросами и предложениями; некоторые — мнением, выраженным в категоричной форме. Записка, подписанная красными чернила, означала, что Черчилль хочет, чтобы были приняты действия. Записка, подписанная красными чернилами, с красным ярлыком «Сделать сегодня», по шкале премьер-министра соответствовала пятому уровню пожарной опасности[15].

Как позже заметил Йен Джейкоб, Черчилль «решил быть первым номером и использовать все политические полномочия первого номера». В кабинете напротив своего стола он повесил лист картона с высказыванием королевы Виктории в период Англо-бурской войны: «Поймите, нас не интересуют возможности поражения. Их не существует»[16].

Все это оказывало огромное влияние на гражданских служащих его секретариата. Журналистка Вирджиния Коулз написала: «Весь Даунинг-стрит, 10 бурлил энергией, какой здесь не видели со времен Ллойда Джорджа»[17].

С парламентом была связана еще одна проблема. На третий день после назначения Черчилль впервые появился в палате общин в качестве премьер-министра и попросил выразить доверие новому правительству. Гарольд Николсон написал в дневнике: «Когда Чемберлен вошел в палату, ему оказали потрясающий прием, а аплодисменты, адресованные Черчиллю, звучали тише». Выступление премьер-министра было кратким, но выразительным; во время этого выступления он сказал: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». Его эффектная концовка речи была, как обычно, взятием неприступной обороны одними словами, и, как обычно, его критики в палате общин отмахнулись от его слов, а его враги в Берлине сочли эти слова преувеличением. На самом деле это была торжественная клятва, заявление о намерениях, в котором не было никакой двусмысленности: «Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни. Это важно осознать: если не выживет Британская империя, то не выживет все то, за что мы боролись, не выживет ничто из того, за что человечество борется в течение многих веков». Ему аплодировали члены парламента от Лейбористской партии, члены парламента от Либеральной партии и незначительная часть тори. Большинство тори все еще не могли простить Черчиллю его водворения в «номер 10». Историк Лоуренс Томпсон заметил: «Гнев консерваторов, что не того человека наказали за Норвегию, не утихал в течение многих месяцев»[18].

Норвежская кампания длилась два месяца, с начала апреля до начала июня. К концу мая британские и норвежские войска потерпели поражение в Южной и Центральной Норвегии, но, оттеснив немцев

на восток, захватили Нарвик, незамерзающий порт Северной Норвегии, связанный железной дорогой со шведскими месторождениями железной руды, имевшими жизненно важное значение для Гитлера. Для того чтобы перерезать морские пути доставки шведской руды из Нарвика в Германию, в марте была разработана операция (кодовое название «Уилфред») по минированию норвежских территориальных вод. Но Чемберлен и Галифакс не спешили начинать операцию «Уилфред» из опасения вызвать недовольство Норвегии и Дании. В самом начале Нарвик был главной целью Черчилля, но к началу июня события во Франции заставили премьер-министра пересмотреть свою точку зрения. Эвакуация была не слишком успешной. Днем 8 июня 1940 года британский авианосец Glorious вместе со своим эскортом — эскадренными миноносцами Acasta и Ardent — были перехвачены в Норвежском море немецкими линейными крейсерами Gneisenau и Scharnhorst. Уже через два с небольшим часа немецкая артиллерия потопила Glorious и оба эскадренных миноносца; погибли свыше полутора тысяч человек из состава Королевского флота, морской пехоты и Королевских Военно-воздушных сил. Черчилль, Первый лорд адмиралтейства, когда началась Норвежская кампания, и премьер-министр, когда она закончилась, взял на себя ответственность за катастрофические последствия. До конца войны Черчилля не оставляли воспоминания о потере Glorious и нападении Gneisenau и Scharnhorst, и порой его военно-морская стратегия была сомнительной. Он все еще приспосабливался к условиям современной войны, и у него это не всегда получалось; успех немецких линейных крейсеров и уязвимость Glorious, по-видимому, доказывали, что на море правят быстрые, тяжелые корабли. На самом деле авианосцы, если использовать их должным образом, представляют смертельную угрозу линейным крейсерам.

Гитлер получил норвежскую и шведскую руду, но этот трофей ему дорого обошелся; в течение следующих четырех лет более 160 тысяч солдат из его лучших войск оставались в Норвегии в ожидании возвращения англичан. Не считая расстрелов норвежских патриотов и упорных поисков британских коммандос, более двенадцати первоклассных дивизий вермахта пропустили войну. Черчилль, в свою очередь, был одержим идеей возвращения в Норвегию и в течение следующих четырех лет сводил с ума своих военачальников тем, что сэр Алан Брук назвал «его безумными норвежскими планами». Гитлер, получается, разгадал планы Черчилля[19].

Черчилль, хорошо понимая, что критика в его адрес основывается на его прежних сомнительных стратегических решениях и дурной славе, которую он завоевал переходом из одной партии в другую, был озабочен урегулированием отношений с палатой общин и предпринял серьезные шаги в этом направлении. Он пригласил Чемберлена в свое правительство в качестве лорда — президента Совета и лидера Кон-

сервативной партии и отправил ему записку: «Никаких изменений в палатах в течение месяца». Начиная с 13 мая, своего третьего дня в должности премьер-министра, Черчилль начинал работать в «номере 10» во второй половине дня, но в первые недели после назначения он проводил большую часть времени в Адмиралтейском доме*, используя гостиную, в которой стояла мебель, украшенная резными изображениями дельфинов (он называл ее «рыбной комнатой»), для заседаний кабинета.

Он едва ли мог игнорировать проблемы, которые на протяжении семи лет являлись причиной разногласий между ним и миротворцами, но спокойно упоминал о них, даже с легкой иронией. Представляя одного миротворца жене, он с улыбкой сказал: «О да, моя дорогая, у него есть медаль с мюнхенским баром». Он был бы рад больше не видеть своего министра иностранных дел и главного миротворца лорда Галифакса, но пока оставил его в министерстве иностранных дел. Черчилль попал в затруднительное положение: те, кто поддерживали его в трудные годы, теперь хотели, чтобы он вышвырнул всю «старую гвардию», но у него было на этот счет собственное мнение. «Если мы затеем ссору между прошлым и настоящим, то поймем, что потеряли будущее», — сказал он, а позже добавил: «Никто не имеет больше прав, чем я, предавать прошлое забвению. Вот почему я боролся с этими вредными тенденциями»[20].

В формировании кабинета решающую роль играла политика. Черчиллю требовалось сформировать правительство из представителей всех партий, и он был ограничен временем. К 13 мая были сделаны назначения на большинство ключевых постов. Клемент Эттли (лорд-хранитель печати), Артур Гринвуд (министр без портфеля) и Эрнест Бевин (министр труда) были членами Лейбористской партии. Включение Бевина в состав кабинета свидетельствовало об истинном характере коалиции; его мать была прислугой, отец — неизвестен, в прошлом сам он был водителем грузовика и, уж конечно, не входил в окружение Черчилля. От либералов вошел сэр Арчибальд Синклер, давний друг Черчилля, заместитель командира батальона, когда им командовал Черчилль; он получил должность министра авиации. Из лагеря Черчилля сэр Джон Андерсон, назначенец Чемберлена, остался министром внутренних дел. Лео Эмери, старый товарищ Черчилля по Харроу (и временами его критик), один из руководителей консервативной группы, наиболее резко критиковавшей деятельность правительства Чемберлена, стал Государственным секретарем по делам

* Адмиралтейский дом, постройка конца XVIII века, до 1964 года служил резиденцией Первого лорда Адмиралтейства. Этот трехэтажный дом не имеет собственного входа с Уайтхолла, доступ в него возможен через Рипли-Билдинг (часть Старого адмиралтейства). Используется под министерские квартиры.

Индии. Энтони Иден возглавил военное министерство. Только одно назначение вызвало возражение. Проблема не относилась к разряду политических. Черчилль хотел назначить лорда Бивербрука министром авиационной промышленности. Король был против. Это и понятно: Бивербрук был весьма неоднозначной фигурой, нежелательной по разным причинам. Но Черчилль нуждался в большом количестве самолетов и понимал, что никто лучше Бивербрука не решит эту задачу. Бивербрук, сказал он Джоку Колвиллу, «на двадцать пять процентов бандит, на пятнадцать процентов обманщик, а остаток — сочетание гениальности и истинной сердечной доброты»[21].

Король все-таки согласился с его решением. Черчилль сумел отплатить и за старые обиды. Сэр Джон Рейт, министр информации и создатель Би-би-си, не позволял Черчиллю появляться на Би-би-си в 1930-х годах, почти десять лет, и с начала войны интриговал против него. 12 мая Черчилль отправил его в отставку с поста министра информации и назначил на его место Альфреда Даффа Купера, который вышел из правительства Чемберлена в знак протеста против Мюнхенского сговора. Вскоре Черчилль нашел новую должность для миротворца Рейта, назначив его министром транспорта. При формировании правительства он создал военный кабинет, состоявший из пяти членов: кроме самого Черчилля, в него вошли Чемберлен, Эттли, Галифакс и Гринвуд — «единственные, кто имел право на то, чтобы им отрубили головы на Тауэр-Хилл, если мы проиграем войну»[22].

Его популярность в стране росла благодаря его примиренческой политике в отношении тех, кто относился к нему с презрением; это обсуждалось и ставилось ему в заслугу. Очень немногие заметили, как он незаметно дистанцировался от наиболее нежелательных из них. Сэра Сэмюэла Хора направили послом в Испанию, лорда Харлика — в Южную Африку, лорда Суинтона — на Золотой Берег (британская колония на побережье Гвинейского залива в Западной Африке), Малькольма Макдональда — в Канаду и, в самом конце года, Галифакса — послом в Соединенные Штаты. Вскоре Черчилль предпримет весьма эффективный маневр по высылке герцога Виндзорского, восхищавшегося Третьим рейхом; его восхищение было столь же ограниченным и незначительным, как он сам. Но Черчилль не мог выслать их сомнения в его способности. В тот день, когда Черчилль сказал Галифаксу, что он остается в министерстве иностранных дел, Галифакс написал в дневнике: «Мне редко встречались люди с такими странными пробелами в знаниях и чей ум работал такими рывками. Удастся ли заставить его работать в обычном режиме?» Действительно ли он осознает, задается вопросом Галифакс, насколько тяжелым является положение Британии, ведь «от этого многое зависит»[23].

Вначале, позже написал Черчилль, «от меня и моих коллег не требовалось новых решений». План «Д» введен в действие, британские

войска подошли к реке Диль, и, написал новый премьер-министр, «поэтому я не имел ни малейшего желания вмешиваться в военные планы и с надеждой ожидал предстоящего удара». Военный кабинет санкционировал задержание граждан неприятельских государств, проживающих в Великобритании, обсудил бомбардировки немецкой территории с точки зрения морали и одобрил послания премьер-министра президенту Рузвельту и Муссолини. Ответ Рузвельта был сердечным, но неутешительным. Черчилль просил предоставить «взаймы 50 или 40 ваших устаревших эсминцев»; Рузвельт объяснил, что это «потребует утверждения в конгрессе, а момент является неподходящим». Дуче грубо отреагировал на предложение Черчилля не ввязываться в драку. Италия, заявил он, является союзником нацистской Германии[24].

Мир не спускал глаз с Нидерландов. Британцы следили за этим фронтом с особым беспокойством, понимая, какая угроза нависнет над их страной в случае создания нацистами баз в такой близости от Британии. Победы врага были впечатляющими, но не вызывали особой тревоги. В Нидерландах 4 тысячи нацистских парашютистов и немецких пехотинцев захватили ключевые мосты через Мез; Голландия капитулировала после бомбардировки Роттердама, которая привела к уничтожению 25 000 домов и гибели более тысячи человек (а не 30 тысяч, как объявило правительство Голландии, цифра, которая привела в ужас британцев). Тем временем в Бельгии немецкие воздушно-десантные войска и парашютисты захватили самый укрепленный бельгийский форт Эбен-Эмаэль. Затем немецкая пехота двинулась на юг, чтобы взять Льеж[25].

Однако бельгийские, французские и британские войска отчаянно сражались. Несмотря на яростные атаки, немцам не удалось прорвать оборонительную линию вдоль реки Диль. Две вражеские дивизии проникли на сортировочную станцию рядом с Левеном, но томми 3-й дивизии генерала Бернарда Монтгомери быстро расправились с ними.

К югу от Левена две танковые дивизии при поддержке «Юнкерсов» Ю-87, пикирующих бомбардировщиков «Штука», которые налетали волна за волной, предприняли еще более мощную атаку на землях сельскохозяйственной школы в Жамблу. Генерал Жан-Жорж-Морис Бланшар мгновенно отдал приказ 1-й французской армии контратаковать противника. Это были отличные солдаты, потомки пуалю, чья храбрость внушала страх Европе в течение полутора веков, с Великой французской революции.

Они оттесняли немцев все дальше и дальше, и Гамелен решил, что был прав. Нацисты появились там, где он ожидал их появление, и не смогли нарушить оборонительную линию союзников. Британцы не испытывали такой уверенности. Немцам не удалось уничтожить самолеты ВВС Великобритании на земле, но они понесли потери в воздухе. В воскресенье, 12 мая, маршал авиации сэр Сирил Ньюолл

сообщил о «неоправданных, относительно достигнутых результатов потерях средних бомбардировщиков», а в понедельник, когда в Адмиралтейском доме состоялось совещание Комитета начальников штабов под председательством Черчилля, впервые в качестве министра обороны, все пришли к выводу, что «еще не известно», где враг нанесет главный удар. Генерал Айронсайд, начальник имперского Генерального штаба, считал, что немцы могут укрепить свою позицию на этом фронте прежде, чем организовывать наступление в другом месте, возможно, «воздушное нападение на Великобританию». По мнению Черчилля, ситуация была «далеко не удовлетворительной». Один офицер обратил внимание присутствующих на зловещий знак. Бомбардировщики люфтваффе, подчеркнул он, достигли превосходства в воздухе над северным полем битвы, однако они не трогают французское подкрепление, движущееся на фронт. Почему немцы хотят, чтобы на этом фронте было больше войск союзников?[26]

Никто, даже Петен, не говорил, что Арденнский лес *совершенно* непроходимый, хотя его заблуждение было столь же вопиющим. Он сказал, что Арденны «непроходимы для крупных механизированных сил». На самом деле это была местность, пригодная для использования танков. Французы должны были знать об этом — они проводили там маневры в 1939 году. Деревья служили в качестве маскировочных средств — самолеты-разведчики не могли засечь движение танков и воинских подразделений.

О немецкой стратегии в 1940 году можно составить мнение по операции, которой Генеральный штаб вермахта присвоил кодовое название «Удар серпом» (Sichelschnitt). Здесь, как в Польше, рейх применил новую концепцию ведения войны: глубокое проникновение мобильных бронетанковых войск на вражескую территорию, за которыми следует пехота. Планируя наступление, Гитлер разделил свои армии на три группы. Группа армий, которая наносила удар по Нидерландам, состояла из тридцати дивизий, включавших три танковые дивизии. Девятнадцать дивизий второй группы были связаны с линией Мажино. Основной удар в центр наносила третья группа армий: сорок пять дивизий, включая семь танковых дивизий, под командованием Герда фон Рундштедта. Эта безжалостная сила стремительно продвинулась через Люксембург и Арденны, форсировала реку Мез севернее и южнее Седана, приблизительно в 70 милях к юго-западу от Льежа, и вторглась на территорию Франции. Немцы сосредоточили главные силы приблизительно в 125 милях от Парижа и в 175 милях от портовых городов Кале, Гравлина и Дюнкерка. Немецкое Верховное командование знало, что сектор Седана является наиболее уязвимым местом обороны союзников: две французские армии, плохо вооруженные, плохо обученные и плохо экипированные.

По оценке французского верховного командования, любой мощной вражеской силе потребуется по крайней мере пятнадцать дней, чтобы преодолеть чащи и глубокие лесистые ущелья Арденн. Немцы проделали это за два дня, смяв позиции бельгийских пехотинцев. В воскресенье, 12 мая, к ужасу французских защитников вблизи Седана, на восточном берегу Меза появился механизированный клин семи бронетанковых дивизий Рундштедта — 1800 танков, 17 тысяч других транспортных средств и 98 тысяч солдат. Теперь был получен ответ на вопрос, почему люфтваффе позволили французскому подкреплению двигаться на север в сторону Голландии: главный удар немцев был направлен на Седан.

Нацисты понимали, что Мез будет для них самым сложным препятствием. В этом месте река узкая с быстрым течением; на противоположном берегу занимали хорошее положение батареи тяжелой артиллерии. Этого было бы достаточно в 1918 году, но тогда была другая война. В понедельник Рундштедт заставил замолчать все французские полевые орудия, каждую гаубицу, мастерски используя тактическую авиацию, — «Штуки» и другие бомбардировщики, атакующие с бреющего полета, — которая навела такой ужас на стрелков, что они бросили свои орудия. Штурмовые группы нацистов без проблем переправились на надувных лодках на противоположный берег; к югу и северу от Седана были созданы два плацдарма; затем наведены понтонные мосты, и наконец утром во вторник, 14 мая, с грохотом и рычанием появились танки. К середине дня немцы захватили значительный участок на французской территории, 3 мили в ширину и 2 мили в глубину.

Пришло и прошло время для французской контратаки. 13 мая в 17:30 был отдан приказ, и французский мотомеханизированный корпус, обладавший значительной ударной мощью, за которым следовала 55-я пехотная дивизия, перешел в наступление. Приближалось первое крупное танковое сражение в истории Второй мировой войны. Положение французов было далеко не безнадежным. Немецкий фланг подвергся атаке французских танков, а через Мез переправились еще не все танки, артиллерия и пехота. У французов были тяжелые танки; многие были вооружены 75-мм орудиями, более мощными, чем орудия на многих немецких танках. К сожалению, французы, вместо того чтобы собрать танки в единый мощный кулак для нанесения удара, рассредоточили их вдоль слишком широкого фронта. К еще большему сожалению, Высший военный совет принял решение использовать танки только для поддержки пехоты и запретил оснащать их радиосвязью. Французские механики-водители, не имея возможности общаться друг с другом, не могли скоординировать свои действия. Это привело к пагубным последствиям. За два часа с начала сражения немецкие танки уничтожили пятьдесят французских танков; оставшиеся несколько десятков бежали с поля боя.

Это была небольшая беда. Настоящая беда началась где-то между 18:00 и 19:00, когда, по словам французского командующего корпусом, «ситуация с приводившей в замешательство быстротой приближалась к катастрофической». Откровенно говоря, защитников охватила паника. Солдаты побросали винтовки и бросились бежать, и они бежали, запрудив дороги, 60 миль, пока не достигли Реймса. Некоторые офицеры пытались их остановить. Один из них позже вспоминал, что ему сказали солдаты: «Полковник, мы хотим домой, хотим вернуться к нашим обычным делам. Бессмысленно пытаться воевать. Мы ничего не можем сделать. Мы проиграли! Нас предали!»[27]

В хорошо организованной армии их бы расстреляли на месте. Но все, офицеры и солдаты, казалось, заразились быстро распространявшимся страхом. По образному выражению Уильяма Л. Ширера, «обвалилась крыша». Распадался полк за полком, пока вся 9-я армия — порядка 200 тысяч солдат — не прекратила существование. Потрясенный командир дивизии отправился в штаб армии, чтобы доложить: «Боюсь, что из моей дивизии остался только я». Отступила 2-я армия, находившаяся на правом фланге 9-й армии. Тем временем немцы, пребывавшие в огромном количестве, начали брать их в плен. Шарль де Голль, принявший командование бригадой, был потрясен, увидев, как солдаты бросали свое оружие. «По пути их нагнали механизированные отряды врага и приказали бросить винтовки и двигаться на юг, чтобы не загромождать дороги. «У нас нет времени брать вас в плен!» — говорили им»[28].

Теперь во французской оборонительной линии образовалась брешь шириной 60 миль, и в нее хлынули немецкие танки в сопровождении пехоты. Невероятно, но никто в Париже не знал о том, что происходит. Полевые командиры, стыдясь сообщить правду, преуменьшали масштабы катастрофы, докладывая в штаб генерала Жоржа, что все находится под контролем, а Жорж час за часом передавал их оптимистичные заверения в Венсенн, Гамелену. В среду, когда закончилась битва при Мезе и французы потерпели поражение, в коммюнике Гамелена говорилось: «Подводя итоги дня, 15 мая показывает ослабление активности в действиях противника... Наш фронт, получивший «встряску» между Намюром и областью к западу от Монмеди, постепенно восстанавливается».

Но был человек, который лучше владел информацией. Это многое говорит о военном истеблишменте Франции, если первым парижанином, узнавшим правду, было гражданское лицо: Поль Рейно. Премьер-министр изучил возможности танковой войны, и у него были агенты в армии, информаторы, которые сообщали ему, что происходит на самом деле. Во вторник, 14 мая, в 17:45, на пятый день наступления противника, Рейно телеграфировал Черчиллю: «На самом деле положение очень серьезное. Германия пытается нанести нам сокрушительный удар

в направлении Парижа. Немецкая армия прорвала наши укрепленные линии к югу от Седана. Между Седаном и Парижем нет оборонительных сооружений, сопоставимых с теми, которые мы должны восстановить любой ценой». Кроме того, он попросил «незамедлительно» прислать десять эскадрилий английских истребителей[29].

Премьер-министр поручил Айронсайду проверить эту информацию. Начальник имперского Генерального штаба отправил офицера связи «узнать реальное положение дел». Позже в тот же день Айронсайд доложил Черчиллю, что «мы ничего не смогли выяснить ни у Гамелена, ни у Жоржа». Айронсайд высказал предположение, что Рейно пребывает в «слегка истеричном состоянии». Но французский премьер-министр знал, что не ошибается. На следующий день в семь утра он разбудил Черчилля телефонным звонком. «Мы потерпели поражение, — кричал он по-английски. — Мы разбиты! Мы проиграли сражение!» Премьер-министр, который все еще мыслил категориями траншейной войны 1914—1918 годов, сказал: «Но ведь это не могло случиться так быстро!» Позже Черчилль вспоминал, что Рейно ответил: «Фронт у Седана прорван; они устремляются в прорыв в огромном количестве с танками и бронемашинами». На это Черчилль ответил: «Опыт показывает, что наступление должно прекратиться через некоторое время». Через пять-шесть дней, сказал Черчилль, противник будет вынужден остановить продвижение для пополнения ресурсов; это удачный момент для контрнаступления. Но французский премьер-министр снова повторил фразу, с которой он начал: «Мы разбиты; мы проиграли сражение». И тогда Черчилль сказал, что «готов приехать к нему для переговоров»[30].

Черчилль позвонил Айронсайду и пересказал разговор, заметив, что Рейно, похоже, «полностью деморализован». Айронсайд сообщил Черчиллю, что «у нас нет никаких дополнительных требований от Гамелена и Жоржа; оба спокойны, хотя считают положение серьезным». Тогда премьер-министр позвонил Жоржу, старому другу. Жорж, довольно спокойно, доложил, что брешь в Седане «заделана». Но позже, в тот же день, Рейно прислал новое сообщение: «На прошлой неделе мы проиграли сражение. Путь к Парижу открыт. Отправьте все войска и самолеты, какие можете». Черчилль направил четыре эскадрильи истребителей, а затем решил, что следует «срочно лететь в Париж». 16 мая в 15:00 он вылетел на «фламинго», пассажирском самолете, в сопровождении генерала Исмея, заместителя начальника Имперского Генерального штаба генерала Джона Дилла и инспектора Скотленд-Ярда Уолтера Томпсона, пятидесятилетнего бывшего полицейского, десятью годами ранее служившего телохранителем Черчилля и отозванного из отставки для того, чтобы снова охранять Великого человека.

Премьер-министр разглядывал французское побережье, и Томпсон заметил, как посерело его лицо. Черчилль впервые увидел военных

беженцев. Свыше 7 миллионов человек бежали от немцев; дороги были заполнены толпами измученных людей, еле передвигавших ноги под тяжестью ноши. Амбары, сараи, гаражи извергли на автострады невероятную коллекцию транспортных средств: телеги, грузовики, конные повозки, прицепы для перевозки сена и старые автомобили, просевшие под матрацами, кухонной посудой, семейными реликвиями и старинными безделушками. Горели машины, тут и там лежали трупы детей и стариков, расстрелянных из пулеметов нацистскими летчиками, которые рассматривали панику как союзника своих товарищей, солдат вермахта[31].

В своих воспоминаниях генералы обеих сторон жаловались на препятствия, которые чинили эти люди, но беженцы смотрели на это иначе, и Черчилль понимал их. Величайшая трагедия приковала к себе внимание Черчилля. Он начал проникаться тревогой Рейно. Позже он написал: «Не имея доступа к официальной информации в течение многих лет, я не понимал, какой переворот со времени последней войны произвело вторжение огромного количества скоростных тяжелых танков». Этому нацистскому двигателю не требовалось остановок в ожидании пополнения ресурсов; как предвидел де Голль, танки заправлялись на бензозаправочных станциях в северной Франции[32].

«Фламинго» премьер-министра приземлился в Ле-Бурже, и, когда они вышли из самолета, Исмей почувствовал «явную депрессивную атмосферу». События стремительно перемещались в Париж. Гамелен предвидел конец. Уильям Буллит, американский посол во Франции, был с Даладье, когда le généralissime позвонил, чтобы сообщить новости. Он сказал: «Это означает гибель французской армии. Между Лионом и Парижем в моем распоряжении нет ни одного корпуса». Паника докатилась до французской столицы. Парижане увидели на улицах невероятное количество машин с бельгийскими номерными знаками; водители объясняли: «Боши следуют за нами». Всем, похоже, было известно, что Гамелен заявил высшим чиновникам республики: «Je ne réponds plus de rien» («Я больше ни за что не отвечаю»)[33].

Рейно, Даладье и Гамелен ждали британцев на набережной Д'Орсэ, в большой комнате, выходящей окнами в парк, который, написал Исмей, «выглядел таким прекрасным и ухоженным при моем последнем посещении, но теперь был изуродован кострами». Французы сжигали документы. Это была первая встреча Черчилля в качестве члена высшего военного совета союзников, и Исмею было «интересно посмотреть, как он поведет себя в данной ситуации».

Черчилль занял главенствующее положение с того момента, как вошел в комнату. Переводчика не было, и он говорил по-французски. Он не всегда говорил правильно, и у него не хватало словарного запаса, но, похоже, всем было понятно, что он хотел сказать[34].

Хотя положение очень серьезное, сказал Черчилль, но это не впервые, когда они оказываются вместе в критический момент; наступление Людендорфа в начале 1918 года едва не уничтожило их самих и их союзника, Соединенные Штаты. Он уверен, что они переживут это. Затем он попросил Гамелена коротко обрисовать положение. Гамелен подошел к карте, стоявшей на мольберте, и, уложившись в пять минут, рассказал о прорыве немцев. Они двигались с неслыханной скоростью, объяснил он. Ничего не было известно об их намерениях; они могли двинуться к побережью и повернуть к Парижу. Когда Гамелен закончил, Черчилль дружески хлопнул его по плечу — генерал вздрогнул — и рассказал ему о том, что станет известно как «битва за выступ» (на карте черной чернильной чертой была изображена линия союзного фронта. Эта линия показывала небольшой, но зловещий выступ Седана). Затем Черчилль спросил: «Где стратегический резерв?» Гамелен, покачав головой, ответил: «Его нет».

Последовала долгая пауза, во время которой Черчилль, глядя в окно, смотрел, как пожилые мужчины подвозили на тачках к кострам, разложенным в парке министерства, документы. *Нет стратегических резервов.* Ему никогда не приходило в голову, что командующие, обороняющие фронт протяженностью 500 миль, оставят себя без резервов; никто не мог быть уверен, что способен удержать такой широкий фронт, но, когда противник прорвал линию, должно было иметься большое количество дивизий, готовых контратаковать. Он написал, что был «ошеломлен»[35].

После войны Черчилль вспоминал, и его слова подтвердил Исмей, что не обсуждал стратегию с Рейно, Даладье и Гамеленом. «Никто не приводил никаких доводов, в них не было необходимости, — вспоминал он. — А мы были недостаточно осведомлены о ситуации, чтобы не соглашаться». Однако у французов остались подробные воспоминания об этой встрече. Черчилль, по их словам, был категорически против приказа об общем отступлении союзных войск в Бельгии. Время «держаться стойко», сказал премьер-министр. Он не считал танковый прорыв «реальным вторжением». Пока танки «не поддерживаются пехотными подразделениями», они просто «флажки, воткнутые в карту», поскольку «не могут обеспечивать себя и нуждаются в дозаправке». В отчетах французов приводятся слова Черчилля: «Я отказываюсь видеть в этом впечатляющем набеге немецких танков реальное вторжение»[36].

В тот день Черчилль, возможно, *не обсуждал* стратегию, но внес одно предложение — держаться стойко, — и оно было нереальным. Он отличался тем, что всегда одобрял наступление и редко соглашался на отступление, даже если, как в данном случае, отказ отступать означал окружение и уничтожение. Рейно заставил его замолчать, сказав, что все полевые командиры, включая лорда Горта, считают, что французы должны отступить[37].

Однако Черчилль был абсолютно прав, когда спросил Гамелена, когда и где он предполагает атаковать фланги немецкого клина. На что генералиссимус, безнадежно пожав плечами, ответил: «Мы слабее в численности, слабее в снаряжении, слабее в методах». Он видел единственную надежду на спасение в обещанных англичанами эскадрильях. Это, сказал он, единственный способ остановить немецкие танки.

«Нет, — решительно ответил Черчилль. — Останавливать танки — дело артиллерии. Задачей истребителей является очищать небо над полем битвы». Бомбежка мостов через Мез — неподходящая работа для ВВС Великобритании, но, несмотря на огромный риск, они занимались этим и в результате потеряли тридцать шесть самолетов. «Можно восстановить мосты, — сказал Черчилль, — но не истребители». Он только что отправил четыре эскадрильи истребителей во Францию, напомнил Черчилль, но «для нас жизненно важно, чтобы наша островная истребительная авиация оставалась на Британских островах. От этого зависит наше существование». У Великобритании ограниченное количество эскадрилий, сказал он, и «мы должны сохранить их». По его мнению, дополнительные шесть эскадрилий, которые просили французы, не решат проблему.

«Франция думает иначе», — возразил Даладье. Спор стал более ожесточенным. Гамелен был задет за живое. Обе стороны в значительной степени лукавили. В действительности французы считали, что британцы должны бросить все силы на борьбу за Францию и если союзники потерпят поражение, то проиграть должны обе страны. Британцы считали, что, если Франция потерпит поражение — а они рассматривали такую возможность, — Великобритания должна одна продолжить войну. Вот почему главный маршал авиации сэр Хью Даудинг был категорически против отправки каких-либо дополнительных английских самолетов во Францию.

Вернувшись в посольство, премьер-министр тщательно взвесил просьбу французов. Ему следовало отказать в просьбе, но сочувствие к ним пересилило мотивы отказа, и в телеграмме военному кабинету он высказал мнение, что они должны дать «последний шанс французской армии собраться с силами. Будет не слишком хорошо, если, получив отказ в просьбе, они в результате будут уничтожены». Военный кабинет предчувствовал опасность, но было трудно сказать «нет» премьер-министру. Они неохотно согласились, но с условием, что «Харрикейны» будут каждую ночь возвращаться на базы в Британию. В интересах безопасности ответ отправили Исмею, ветерану индийской армии, на хинди — «Han», то есть «Да»[38].

Сотрудники британского посольства в Париже считали, что хорошие новости можно сообщить французам по телефону. Черчилль настоял на том, что лично сообщит их Рейно. По мнению Исмея, «это

было ему свойственно». Черчилль напомнил ему того, кто, вручая подарки детям, хочет увидеть выражение на их лицах, когда они откроют коробки с подарками. «Он собирался передать Рейно бесценную жемчужину и хотел увидеть выражение его лица». К удивлению Черчилля, премьер-министр покинул свой кабинет — была полночь, — и Черчилль решил отправиться к нему домой. Как оказалось, Рейно с любовницей, графиней Элен де Порт, скрываясь от жены Рейно, жили в небольшой квартире на площади Палас-Бурбон. Рейно встретил Черчилля с Исмеем в купальном халате и горячо поблагодарил за хорошие новости. Затем Черчилль настоял, чтобы Рейно вызвал Даладье, с которым у Рейно были натянутые отношения. Военный министр оставил *свою* любовницу, маркизу де Круссоль, чтобы приехать и молча пожать им руки в знак благодарности[39].

По возвращении в Лондон премьер-министр не нашел ничего, кроме неразрешимых проблем. Еще 100 тысяч бельгийцев прибыли в Великобританию с просьбой предоставить убежище, и в каждом донесении с Европейского континента говорилось о продолжающемся немецком наступлении. Рузвельт подтвердил невозможность передать Великобритании во временное пользование американские истребители. Кроме того, Рузвельт, сославшись на закон о нейтралитете 1939 года, был вынужден отказать Черчиллю в просьбе направить в Америку авианосец, чтобы забрать истребители «Кёртис» P-40, ждущие отгрузки. В течение этих месяцев американские самолеты, заказанные Великобританией, должны были долететь до канадской границы, затем, в соблюдение американских законов, запрещающих перегрузку, их должны были протащить (часто с помощью лошадей) через границу, а затем морем доставить в Англию. P-40, объяснили Черчиллю, будут готовы через два-три месяца. Переварив решения Рузвельта, Черчилль написал ответ и, отдав его Колвиллу, буркнул: «Телеграмма этим чертовым янки. Отправьте ее сегодня вечером». Это был День Святой Троицы. Клементина пошла на службу в церковь Святого Мартина в полях и вернулась, кипя от возмущения. Приходской священник читал пацифистскую проповедь, и она ушла, не дождавшись окончания службы. Черчилль сказал: «Ты должна была крикнуть: «Позор! Осквернение ложью Дома Божьего!»[40]

В тот вечер — 19 мая — он должен был выступить с радиообращением к народу. Днем Черчилль съездил в Чартвелл. Он сходил посмотреть на золотых рыбок, посидел на солнце, поразмышлял, но не обрел там покоя. Он хотел покормить своих черных лебедей, но, к своему ужасу, узнал, что всех, кроме одного, съели лисицы. Затем позвонил Энтони Иден. Вопрос был срочный и станет еще более срочным в следующие дни. Только что позвонил лорд Горт. Французская армия, находившаяся к югу от британских экспедиционных сил, рас-

сеялась, оставив огромную брешь на правом фланге британцев. Горт оказался в трудном положении. Он мог пробиваться на юг, вместе с французами и бельгийцами или без них, или отойти к Дюнкерку. Горт сообщил, что «изучает возможность отхода к Дюнкерку, если будет вынужден это сделать». Айронсайд сказал Горту, что не может согласиться с его решением. Черчилль, противник отступления, поддержал его. В Дюнкерке, сказал премьер-министр, они попадут в западню, и «общие потери будут всего лишь вопросом времени»[41].

После сорока лет в палате общин Черчилль инстинктивно качал головой слева направо. Так нельзя было делать на Би-би-си, поэтому за спиной Черчилля стоял Тирон Гатри из театра «Олд Вик» и крепко держал его за голову, когда Черчилль сидел в небольшой комнате за столом с зеленой лампой, освещавшей текст его выступления. Обращаясь к стране, он сказал: «Я впервые обращаюсь к вам как премьер-министр в ответственный час для жизни нашей страны, нашей империи, наших союзников, и, самое важное, для Свободы. Ужасная битва бушует во Франции и во Фландрии. Немцы, с помощью сокрушительной комбинации воздушных бомбардировок и тяжелых танков прорвали французскую оборону к северу от линии Мажино, и мощные колонны бронированной техники разоряют страну, которая в течение дня-двух оставалась без защитников... бок о бок народы Британии и Франции начали борьбу во имя освобождения не только Европы, но и всего человечества от самой грязной и разрушающей души людей тирании, которая когда-либо омрачала и позорила страницы истории. За ними — за нами — за армией и флотом Британии и Франции — должны объединиться разбитые государства и разбитые народы: чехи, поляки, норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы — все, на кого опустилась тьма варварства, не развеянная даже звездой надежды, пока мы не победим, а мы должны этого добиться и мы этого добьемся»[42].

«Наконец страна не спит, а работает», — написал твердолобый тори Том Джонс.

«Час пробил, — написал командующий морской базой в Портсмуте, адмирал Уильям Милборн Джеймс, — и человек появился»[43].

Черчилль упомянул французскую «гениальную способность восстанавливаться и контратаковать, которой они давно славятся», добавив, что «у меня есть непоколебимая уверенность во французской армии и ее лидерах». Возможно, он верил в это. Он всю жизнь был франкофилом; в 1916 году, командуя батальоном, он носил шлем пуалю, чтобы продемонстрировать уверенность в союзнике Англии. До сих пор Флит-стрит* поддерживала это мнение: «Слышны только сло-

* Флит-стрит (Fleet Street) — улица в лондонском Сити. В Средние века прилегающей территорией владели тамплиеры. Впоследствии здесь разместились главные судебные учреждения Великобритании. В XVI веке на Флит-

ва восхищения, — написала Молли Пэнтер-Доунес в The New Yorker, — героическим французским сопротивлением».

Но Гамелен не был Фошем, и его солдаты были не теми солдатами, что воевали в 1914—1918 годах. После того как солдаты обеих сторон сложили оружие, группа американских военных корреспондентов проехала по полям сражений и сделала вывод, по словам Уильяма Ширера, что «Франция не воевала. Если воевала, то свидетельств этому мало... Никто из нас не видел никаких признаков ожесточенных боев. Поля во Франции не тронуты. Боев не было ни на одной укрепленной линии... Не было ни одной попытки занять жесткую оборону и провести хорошо организованную контратаку»[44].

Танковые группы фюрера с ревом неслись по незаминированным дорогам, мимо господствующих над дорогами лесистых возвышенностей, на которых не было орудий. Стратегически важные мосты не были взорваны. Французские военнопленные рассказывали, что ни разу не видели боя. Когда казалось, что он неминуем, они получали приказ отступить. Порты Булонь и Кале обороняли в основном англичане. Ширер считал, что французская «армия оказалась парализованной сразу же после первого прорыва немцев. А потом она прекратила свое существование, практически без борьбы. У французов, словно их кто одурманил, не оказалось воли к борьбе даже тогда, когда на их землю вступил самый ненавистный враг. Это был полнейший коллапс всего французского общества и французского духа»[45].

Даже Черчилль начал испытывать сомнения в отношении французов. За день до воскресного радиообращения, обсуждая, стоит ли отправлять Гамелену 1-ю танковую дивизию, он сказал Исмею: «Нужно готовиться к тому, что французам могут предложить очень выгодные мирные условия, и вся сила удара будет направлена на нас». Гамелен почти утратил надежду. В субботу вечером он спокойно объяснил Рейно «причины нашего поражения». Шел девятый день сражения, и generalissime был готов уйти. Даже полякам, лишенным всякой надежды, удалось продержаться три недели[46].

В понедельник, 20 мая, 2-я танковая дивизия заняла Абвиль, в устье Соммы, и Нуаэль. Немцы разделили Францию пополам, в результате чего на севере миллион солдат союзников оказались в западне, включая бельгийскую армию, более половины британского экспедиционного корпуса и 1-ю и 7-ю французские армии — лучшие французские войска. Это был ошеломляющий триумф нацистов, но одновременно момент максимальной опасности. Их танки создали коридор, почти 200 миль длиной и 20 миль шириной, от Арденн до

стрит стали появляться офисы основных лондонских газет, а позднее и информационных агентств. Хотя многие СМИ в последнее время переехали в другие районы, за Флит-стрит прочно закрепилась репутация цитадели британской прессы.

Ла-Манша, но они обогнали пехотинцев вермахта, а танки без пехоты не могли закрепить успех, если бы союзники нанесли решительный удар.

Гитлер, понимая это, испытывал страх. В своем «Орлином гнезде» он живо представил себе вторую Марну*.

Йодль отметил: «Фюрер ужасно нервничает. Он напуган собственным успехом, не хочет идти ни на какой риск и пытается нам помешать... Он бесится от злости и орет, что то, что мы делаем, есть прямой путь к развалу всей операции и что мы рискуем потерпеть поражение».

Это на самом деле был переломный момент; дальнейшие события подтвердили это. Спустя четыре недели Черчилль, выступая в палате общин, с глубоким разочарованием отметил: «Самая страшная военная катастрофа... произошла, когда французское верховное командование не смогло отвести северные армии из Бельгии в тот момент, когда стало известно о прорыве французской обороны у Седана и Меза. Эта задержка привела к потере пятнадцати или шестнадцати французских дивизий и вывела из боевых действий все британские экспедиционные войска, в общей сложности двадцать пять дивизий, наиболее хорошо обученных и экипированных войск, которые, возможно, могли решить исход дела»[47].

Гамелен наконец понял это: В воскресенье он составил приказ № 12, согласно которому следовало перейти в наступление по двум направлениям: северные армии, избегая окружения, любой ценой должны были пробиваться на юг к Сомме, атакуя танковые дивизии, которые перерезали их коммуникации. Одновременно 2-я армия и недавно сформированная 6-я армия должны были наступать на север в направлении Мезьера. Но он не успел издать приказ, поскольку в понедельник Рейно отправил его в отставку, а в качестве его преемника выбрал семидесятитрехлетнего генерала Максима Вейгана, невысокого роста, щеголеватого, с лисьим выражением лица офицера, который, по словам одного англичанина, напоминал «престарелого жокея». До этого Вейгану не приходилось командовать войсками в боевых условиях; он был штабным офицером, генералом, политиком, монархистом, англофобом. Несмотря на возраст, был исключительно энергичным человеком, но в Париж прибыл усталым (был отозван из Сирии) и, приняв командование, тут же отправился спать. Но сначала отменил приказ № 12 — приказ Гамелена о наступлении.

Положение в коридоре было неустойчивым. Теперь важен был каждый час. Разрыв между немецкими танками и полевыми форми-

* Марнское сражение между немецкими и англо-французскими войсками 5—12 сентября 1914 года на реке Марне в ходе Первой мировой войны, закончившееся поражением немецкой армии. В результате битвы был сорван стратегический план наступления немецкой армии, ориентированный на быструю победу на Западном фронте и вывод Франции из войны.

рованиями вермахта постепенно сокращался. Когда новый generalissime проснулся, он объявил, что перед принятием решения совершит инспекционную поездку на фронт. К моменту его возвращения и повторного издания приказа коридор заполнился защитниками. После четырех напряженных дней противник укрепил коридор, срочно направив туда пехоту и моторизованную артиллерию. Шанс был упущен.

В понедельник в 18:30 британский офицер телеграфировал в Лондон, что бомбардировщики люфтваффе прервали железнодорожное сообщение между Амьеном и Абвилем, и тем же вечером танковые войска в Абвиле отрезали британские армейские базы снабжения и французские армии на юге. Айронсайд, вернувшись из Франции во вторник утром, доложил, что еще одна колонна вражеских танков прошла через Фреван, «вероятно следуя в направлении Булони». К французским войскам, сказал он, нет никаких претензий, а вот командование словно «парализовано». В дневнике он написал: «Лично я думаю, что мы не сможем вывести британский экспедиционный корпус. Господи, помоги им, доведенным до этого состояния некомпететностью французского командования». Дилл, который был с Жоржем, телеграфировал, что нанесение удара французами в северном направлении «невозможно»[48].

«В Лондоне, — пишет Исмей, — мы понимали, что французское высшее командование относится к нам плохо... нам ничего не рассказывали, и мы были в полном неведении». Черчилль, понимая, что ситуация постоянно меняется, безуспешно пытался дозвониться до Рейно; все линии между Парижем и Лондоном были разорваны. Он сказал Колвиллу: «За всю историю войн мне не известны случаи такого неумелого управления». В дневнике Колвилл отметил: «Я никогда не видел Уинстона столь подавленным». Отчаявшись получить информацию, Черчилль решил, вопреки совету начальников штабов, лететь утром в среду, 22 мая, в Париж[49].

«Фламинго» приземлился в Ле-Бурже незадолго до полудня; премьер-министр с сопровождающими сразу поехал в главную штаб-квартиру generalissime, которая находилась в Венсенском замке. Древний форт охраняли алжирцы в белых накидках с длинными кривыми саблями, что сразу наводило на мысль о Beau Geste*.

Приветствовавший их Вейган был «бодр, весел и язвителен, — вспоминал Черчилль. — Он произвел отличное впечатление на нас». Танковым войскам, сказал Вейган, «нельзя позволить удерживать инициативу», и он подробно изложил им соображения, которые тут же получили название плана Вейгана. Он отличался от приказа № 12 Гамелена только тем, что слишком запоздал, но в тот момент британ-

* Красивый жест — преднамеренный поступок, рассчитанный на то, чтобы произвести хорошее впечатление.

цы об этом не знали. Черчилль изложил его в письменной форме, «чтобы удостовериться в правильности принятого решения». После того как generalissime и Рейно одобрили текст, его передали по телеграфу в Лондон, военному кабинету.

В частности, план предусматривал, что «в ближайшее время, возможно завтра» восемь дивизий британского экспедиционного корпуса и 1-я французская армия нанесут удар в южном направлении. В это же время «новая французская армия», составленная из 18—20 дивизий, сформировав фронт по течению Соммы, «нанесет удар в северном направлении и объединит усилия с британскими дивизиями, наступающими на юг в направлении Бапома». Чем дольше Черчилль думал об этом, тем больше ему это нравилось. В тот вечер, вспоминал Айронсайд, «Уинстон вернулся из Парижа около 18:30, и в 19:30 у нас было заседание кабинета. Он был в приподнятом настроении, находясь под впечатлением от встречи с Вейганом»[50].

План был неосуществим — абсолютно. Союзные войска на севере не могли наступать в южном направлении; они вели тяжелые бои с противником. И все приказы Вейгана своим дивизиям на юге были направлены всего лишь на решение незначительных задач. «План Вейгана, — как позже отметил Уильям Л. Ширер, — остался существовать в его голове». Возможно, он не существовал даже там. Как заметил Ширер, «в действительности французские войска, стоявшие на Сомме, не двинулись с места»[51].

И Горт не получал приказов из Венсена. Он действительно не получал никаких распоряжений из штаб-квартиры в течение четырех дней. Узнав об этом на следующее утро, в 4:50, Черчилль позвонил Рейно — связь восстановилась, — чтобы спросить почему. Он услышал бессвязную речь на другом конце провода. Черчилль позвонил в 18:00. На этот раз он дозвонился до Вейгана, у которого были волнующие новости: его новая французская армия отбросила немцев и снова заняла Амьен, Альбер и Перонн. В Адмиралтейском доме, по словам Колвилла, это изменение судьбы сочли «невероятно важным»; «уныние сменилось душевным подъемом»[52].

Это была ложь. С самого начала Вейган знал, что дело обречено на провал. Единственное желание, сказал он Жоржу 20 мая, «sauver l'honneur des armées françaises» (спасти честь французской армии), чего бы это ни стоило. Он испытывал глубокое недоверие к Англии и англичанам, что было весьма обычно для французов. Колвилл, вспоминая позже о его обмане, пришел к выводу, что «Вейган решил... что *мы* погибнем, если *он* это не сделает». Но возможно, он искал козла отпущения. Если так, то он нашел одного, и нашел быстро. Во вторник, накануне полета Черчилля в Венсенн, Горт попытался прорвать окружение, нанеся удар по флангу противника. Он нацелился на Аррас и двинул в наступление две британские дивизии при поддержке

шестидесяти легких французских танков. Немецким командующим был в то время еще не получивший известности Эрвин Роммель. Он доложил о «мощном британском контрнаступлении при поддержке танков». В среду Горт увидел, что немецкие войска готовятся перейти в наступление на его фланги, и отступил[53].

Вейган узнал об этом утром в четверг. Он гневно потребовал, чтобы Рейно выразил протест, и премьер-министр отправил Черчиллю — который даже не знал о наступлении Горта — две телеграммы с выражением возмущения, которые заканчивались словами: «Приказы генерала Вейгана должны выполняться». Generalissime изложил свой протест в письменной форме, заявив, что в результате «это отступление, естественно, вынудило генерала Вейгана изменить все его приготовления, и он вынужден отказаться от мысли закрыть брешь и восстановить непрерывную линию фронта». Именно в этот момент Черчилль дал Эдварду Спирсу деликатное поручение, связанное с улучшением отношений между союзниками.

Спирс был наполовину французом и свободно говорил на двух языках. Он был членом парламента от Консервативной партии и другом Черчилля с эдвардианской эпохи. Они вместе воевали в Первую мировую войну, во время которой Спирс был четырежды ранен. Он оставил яркое описание Черчилля в разгар первого военного кризиса. Вызванный в Адмиралтейский дом посреди ночи, он нашел Черчилля: «...спокойно сидящим в кресле за своим столом. Он предложил мне сигару, глядя на меня в этот момент так, словно я был увеличительным стеклом, через которое он рассматривал что-то вдали, затем его лицо приняло мягкое, дружелюбное выражение, когда он сфокусировал свой взгляд на мне, на его лице появилась милая, напоминающая детскую ухмылка, затем оно опять стало серьезным. «Я решил, — сказал он, — отправить тебя в качестве личного представителя к Полу Рейно. Ты получишь звание генерал-майора. Встреться с Мопсом*. Он проинформирует тебя. Положение очень серьезное»[54].

Оно было более чем серьезным. Оно было катастрофическим. Теперь вся Франция, как Древняя Галлия, была разделена на три части. *Южная*, ниже Соммы — куда планировал отойти Вейган, — занимала 90 процентов территории Франции, включая Париж. Но это была уже не безмятежная Франция первых весенних дней. Спирс сообщил, что дороги забиты беженцами, доверху нагруженными фургонами и «машинами с закипевшими двигателями». По сельской местности бродило более 300 тысяч пуалю, солдат из воинских частей, которых больше не существовало; некоторые, сообщил Спирс, убивают своих офицеров и «грабят прохожих в лесах вблизи Парижа».

---

* Черчилль имеет в виду Исмея, который был похож на мопса. (*Примеч. авт.*)

Французские офицеры, захваченные немцами, но давшие обязательство не участвовать в военных действиях, вернулись домой, радовались общению с родными и даже не интересовались новостями с фронта.

В северной части войска союзников — более половины британского экспедиционного корпуса, бельгийцы и три французские армии — боролись за выживание.

Между этими двумя частями широкая укрепленная полоса вражеской территории, протянувшаяся от Седана на востоке до Абвиля на побережье. Каждый немец мечтал захватить Париж, и танки могли повернуть в ту сторону.

Вместо этого они двинулись на север к портам на Ла-Манше, к последней линии обороны Англии против вторжения.

Черчилль отдавал себя отчет в грозящей опасности. В воскресенье, перед его отлетом в Венсенн, Айронсайд предупредил его, что британский экспедиционный корпус вскоре может оказаться отрезан от французов и в этом случае снабжение будет возможно только через Булонь, Кале и Дюнкерк. Прошлой ночью бомбардировке люфтваффе подверглись все три города. Дюнкерк не может быть использован: суда, потопленные нацистами, заблокировали вход в гавань. Во вторник в Булонь, стоявшую прямо на пути немецких танков, было направлено подкрепление в виде 20-й гвардейской бригады и ирландского и валлийского гвардейских батальонов — последние имеющиеся в распоряжении Великобритании воинские подразделения. Все было напрасно; немецкие танковые колонны неумолимо продвигались вперед; в среду, когда Черчилль общался с Вейганом, силы оборонявших Булонь стали слабеть. Айронсанд написал в дневнике: «16:00. Булонь точно потеряна... В Булони ни у кого не осталось сил, включая два гвардейских батальона. Ужасный конец». И дальше: «Горт практически окружен... Я не питаю особых надежд на вывод британского экспедиционного корпуса». Вечером следующего дня он пишет: «По какой-то причине остановлено движение немецких мобильных колонн»[55].

В то время этого никто не понял, но это был один из поворотных моментов войны. Бесконечно обсуждался Haltordnung, так называемый «стоп-приказ». Если бы немецкие танки продолжали наступление, эвакуация британского экспедиционного корпуса была бы невозможна. Однако причины паузы, похоже, понятны. Рундштедту требовалось время, чтобы немецкая пехота догнала ушедшие в отрыв танки. Кроме того, после двухнедельного наступления люди остро нуждались в отдыхе, а их техника в ремонте.

Гитлер продлил паузу. Продолжавшиеся двое суток дожди сделали местность во Фландрии непригодной для танковых операций. Генерал Хайнц Гудериан, командующий моторизованным корпусом, поначалу возражавший против остановки, согласился, что «танковая атака бес-

смысленна на болотистой местности, полностью пропитанной дождем... Пехота, более чем танки, подходит для ведения боевых действий в такой местности»[56].

Кроме того, Франция оставалась главным врагом нацистов, и они считали, что еще не одержали победу над армией, которая считалась лучшей в Европе. Они думали, что путь к Парижу будет долгим и кровавым. Им требовалось время, чтобы привести в порядок технику. И наконец, они не осознали, что заманили в ловушку на севере 400 тысяч французских, бельгийских и британских солдат. Позже генерал люфтваффе Альберт Кессельринг признался, что «даже цифра 100 тысяч показалось бы нам сильно преувеличенной»[57].

Лидеры в Париже и Лондоне продолжали обсуждать практически нецелесообразные планы. В пятницу, 24 мая, Вейган горько пожаловался, что «английская армия осуществила, по своей собственной инициативе, отход на 25 миль в сторону портов, в то время когда наши войска, двигающиеся с юга, с успехом продвигаются на север, туда, где они должны встретиться со своим союзником». В телеграмме в Лондон от 24 мая Рейно выразил недовольство тем, что «отступление, естественно, заставило генерала Вейгана изменить все его приготовления и он вынужден отказаться от мысли закрыть брешь и восстановить непрерывную линию фронта. Нет необходимости подчеркивать серьезность возможных последствий». Правительство его величества было обескуражено. Айронсайд написал: «Я не знаю, почему Горт это сделал. Он никогда не говорил нам, что собирается это сделать, и не сказал даже тогда, когда сделал это». Сейчас не время для встречных обвинений, сказал он, однако согласился с тем, что Горт должен был держать его в курсе дела и что у французов есть «основания для недовольства»[58].

У них не было ни одного основания для недовольства. Войска Вейгана еще не перешли в наступление, а Горт еще не отступил. Однако с каждым часом командующий британскими экспедиционными силами отчетливее понимал, что будет вынужден сделать это в скором времени. Его армия — единственная армия у Великобритании — была в смертельной опасности, почти окруженная, попавшая в западню в 70 милях от моря. Их коммуникации были перерезаны. Единственными союзниками были бельгийцы и остатки 1-й французской армии. Порты снабжения 200 тысяч солдат британского экспедиционного корпуса были или разбомблены, или находились в руках врага. У томми имелся всего четырехдневный запас продовольствия и боеприпасов. Немецкие танки были в Гравлине, всего в 10 милях от Дюнкерка, последней надежды на спасение британского экспедиционного корпуса. Немецкие танки приближались, и бельгийцы уже были готовы сдаться; последняя связь с корпусом Алана Брука была разорвана, образовалась брешь, и нацисты хлынут в нее, как только ее обнаружат.

Из портов на Ла-Манше оставались свободными только Кале и Дюнкерк. Армия могла быть отрезана от них в любой момент. Брук написал в дневнике: «Ничто, кроме чуда, не может теперь спасти британский экспедиционный корпус, и конец уже близок». Британцы утратили доверие к генералу Г.А. Бийоту, французскому командующему на севере. Айронсайд, посетив 20 мая командный пункт Бийота, пришел в ужас. «Нет плана, нет мыслей о плане. Готов погибнуть. Très fatigué [очень устал], и ничего не делает. Я вышел из себя и встряхнул его. Человек совсем обессилел»[59].

Джон Стендиш, 6-й виконт Горт — Джек для товарищей-генералов, — не вызывал у них особых восторгов. В лучшем случае, говорили французы, он будет хорошим командиром батальона. Он не слишком умен, говорили британские штабные офицеры (умом Гамелена восхищались в Лондоне и даже в Берлине). Но Горт был невероятно храбрым человеком. Во время последней войны он был награжден Крестом Виктории, тремя орденами и Военным крестом. Он был, если угодно, чрезмерно дисциплинированным солдатом и теперь оказался перед мучительным решением проблемы. В течение четырех дней Вейган не выходил с ним на связь. Айронсайд передал ему приказ военного кабинета, согласно которому ему категорически запрещалось отступать к морю, а следовало двигаться в южном направлении. Но теперь он понимал, что его ждет только полное уничтожение. В Берлине министр иностранных дел Германии Риббентроп уже сообщил прессе: «Французская армия будет уничтожена, а англичане на континенте станут военнопленными». Роммель написал в дневнике: «Теперь началось преследование шестидесяти окруженных британских, французских и бельгийских дивизий»[60].

25 мая, в субботу, во второй половине дня Горт получил сигнал бедствия от Друка: «Я убежден, что бельгийская армия перестанет сражаться завтра в это же время. Это, естественно, поставит под удар наш левый фланг». Генерал-лейтенант сэр Рональд Адам, командующий корпусом, поддержал Брука. У Горта закончились запасы продовольствия и боеприпасов. Только 5-я и 50-я британские дивизии, ожидавшие приказа на следующий день перейти в наступление в южном направлении, не вступали в бой с врагом. Большую часть дня Горт провел на своем командном пункте в Премеске, пристально разглядывая на настенной карте Северную Францию и порты на Ла-Манше. В 18:30 он отменил приказ о наступлении и отправил 5-ю дивизию заткнуть брешь на фланге Брука. Затем он телеграфировал Идену, поясняя, что он сделал и почему он это сделал.

Вечером того же дня, еще до получения телеграммы, Черчилль пришел к тому же выводу. Посовещавшись с Рейно, он приказал Идену отправить Горту телеграмму следующего содержания: «Понятно... что французское наступление на юге совершенно нереально... Вам

разрешено пробиваться в направлении побережья во взаимодействии с французскими и бельгийскими армиями». Официальный приказ об эвакуации Горт получил на следующий день, в понедельник, 27 мая.

Неделей раньше король Леопольд сообщил британцам через адмирала флота сэра Роджера Кейса, что его войска теряют связь с французами и британцами, «капитуляция неизбежна». Леопольд лично предупредил Георга VI о «неизбежной сдаче» Бельгии в тот самый день, когда Брук написал Горту. Несмотря на это, в Париже и Лондоне испытали огромное потрясение, когда во вторник, 28-го, король Леопольд, не сообщив союзникам и не консультируясь с советниками, сдал 274-тысячную бельгийскую армию, в результате чего образовалась двадцатимильная брешь между корпусом Брука и побережьем вблизи Ньюпора[61].

Лорд Галифакс, министр иностранных дел, считал, что это отличный момент для переговоров с Гитлером о мире. 27 мая Галифакс, последний из главных миротворцев, впал в немилость: выступая на заседании военного комитета, сказал, что «теперь скорее стоит вопрос сохранения независимости нашей империи, а не полного поражения Германии». Итальянский посол в Великобритании, сообщил он, обратился к нему с «новыми предложениями» по мирной конференции, и он считает, что они должны воспользоваться случаем. Черчилль ответил, что да, мир можно достигнуть «при господстве Германии в Европе», но нет, это условие, которое «мы никогда не сможем принять»[62].

Галифакс раздраженно ответил, что, если дуче предложит условия, «которые не потребуют разрушения нашей независимости, мы будем глупцами, если не примем их». Если британской независимости ничего не угрожает, заявил он, то для Великобритании, которая в течение двух или трех месяцев подвергается воздушным налетам, будет правильно «принять предложение, которое спасет страну от неминуемой катастрофы». Сэр Александр Кадоган, постоянный заместитель министра иностранных дел, счел ответ премьер-министра «излишне бессвязным, романтичным, сентиментальным, темпераментным. Старый Невилл по-прежнему лучший». К ужасу Галифакса, Черчилль заявил, что, если Франция капитулирует, Великобритания будет сражаться в одиночку. Министр иностранных дел упорно стоял на своем. На следующий день на заседании военного кабинета во второй половине дня он предложил узнать у Муссолини, «не послужит ли он посредником на переговорах между союзниками, Англией и Францией, — и Германией?». Эттли резко ответил, указав на то, что это будет равносильно тому, чтобы попросить дуче «ходатайствовать о предоставлении нам мирных условий». Черчилль, выпятив подбородок, прорычал, что это «разрушит целостность нашей боевой позиции в этой стране... поэтому давайте избежим вставать на скользкий путь»[63].

Когда совещание закончилось, Галифакс сказал Кадогану, что собирается уйти в отставку. «Я больше не могу работать с Уинстоном», — сказал он. Вечером Галифакс написал в дневнике: «Мне кажется, Уинстон молол ужасную чепуху... Повергает в отчаяние, когда он в пылу страсти должен заставлять свой мозг думать и делать выводы». Однако министр иностранных дел передумал уходить в отставку после того, как Кадоган, первый британский дипломатический представитель в Китае в ранге посла, сказал: «Ерунда: его разглагольствования надоели мне не больше ваших, но не делайте глупостей в условиях стресса»[64].

Англию охватили патриотические чувства. В 1930-х годах Черчилля называли «поджигателем войны». Теперь его критиков называли «капитулянтами». В Вестминстерском аббатстве прошел молебен; сюда пришли толпы людей, которые всего двадцать месяцев назад приветствовали Мюнхен. Черчилль написал: «Англичане не склонны выставлять свои чувства, но я смог почувствовать скрытые, страстные чувства, а также страх прихожан, не перед смертью, ранами или материальными потерями, а перед поражением и окончательным крушением Великобритании»[65].

Теперь, когда война приблизилась к их домам и очагам, британский народ начал узнавать об истинном положении дел. До последней недели мая британцы были настроены довольно оптимистично. Пробуждение наступало медленно, поскольку их не баловали лишней информацией. Еще 24 мая Times задавалась вопросом: «Действительно ли мы в состоянии войны?» Отели и театры были переполнены; молодые бездельники развлекались в парках с аттракционами; отмечались праздники; в лондонском Вест-Энде за гроши пели шахтеры, так, словно в Великобритании и ее империи по-прежнему царил мир[66].

Пресса, при пособничестве и поощрении цензоров, несла огромную ответственность за это спокойствие. «БРИТАНСКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС ПОБЕЖДАЕТ», — кричал заголовок Times 13 мая. А 14 мая, на следующий день после того, как танки Гудериана начали переправляться через Мез, аналитик Times сообщил читателям: «В целом можно сказать, что немцы не вошли в соприкосновение с большей частью французских и бельгийских войск». Другие газеты придерживались того же курса. До англичан доходили отрывочные вести с фронта. Важная информация была, но надо было знать, где ее найти: она скрывалась под официальными сообщениями о победах ВВС Великобритании, отчетами о формировании французских войск для мощного контрнаступления, опровержениями немецких официальных сообщений и прогнозами разгрома врага, подобными этому: «НЕМЕЦКИЕ МОТОРИЗОВАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВТОРГШИЕСЯ ВО ФРАНЦИЮ, НА ГРАНИ УНИЧТОЖЕНИЯ». Но 22 мая британцам вдруг объявили, что нацисты в Абвиле и движутся

к портам на Ла-Манше. В течение следующей недели газеты были полны противоречивой информацией о боях во Фландрии. Наконец 30 мая британцам сообщили: «СОЮЗНИКИ ПЫТАЮТСЯ С БОЕМ ПРОБИТЬ СЕБЕ ДОРОГУ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ В НАПРАВЛЕНИИ ДЮНКЕРКА». Гарольд Николсон написал Вите Сэквилл-Уэст*: «О, моя дорогая, моя дражайшая, мы должны были к этому прийти!»

Жена Стэнли Болдуина через Times обратилась к церкви с просьбой установить на церквах Крест святого Георгия»** в знак того, что Англия сражается за Христианство против зла.

«Я буду каждый день испытывать прилив сил, глядя в окно и видя на башне нашей приходской церкви днем и ночью Красный крест Св. Георгия», — написала она. В том, что леди Болдуин была благочестива, не было ничего удивительного. Но на некоторых кризис в войне сказался самым невероятным образом. Бертран Рассел написал Кингсли Мартину, что отрекся от пацифизма и, если бы был достаточно молод для того, чтобы воевать, добровольно поступил на военную службу. В тот ужасный вторник, когда король Бельгии капитулировал, Джордж Оруэлл написал в дневнике: «Как это отвратительно. Я надеюсь, что британский экспедиционный корпус разгромит войска, а не капитулирует»[67].

Горт, отказавшись от участия 5-й дивизии в неосуществимой южной авантюре и закрыв ею брешь, оставленную бельгийцами, испытал всю ярость нацистской атаки. 85-тысячный немецкий авангард при поддержке резервистов и отремонтированных танков обрушился на знаменитые полки: 3-й гренадерский, 2-й Северо-Стаффордширский, 2-й шервудских лесников, Королевский иннискиллингский фузилерный, Королевский шотландский фузилерный, 6-й сифортских хайлендеров и легкой пехоты герцога Корнуоллского. Они держались до подхода 42-й и 50-й дивизий. Во время вывода войск между Варнетоном и Ипром шел ожесточенный бой, который привел к тяжелейшим потерям.

Величайшая жертва была принесена гарнизоном Кале: 229-я противотанковая батарея, батальон Королевского стрелкового полка, ба-

---

* Сэквилл-Уэст Виктория — английская писательница, аристократка, журналистка, известный ландшафтный архитектор. Была замужем за Гарольдом Николсоном. Обладательница почетной степени доктора словесности, мировой судья. Единственный писатель, получавший британскую литературную Готорнденскую премию дважды. В 1948 году была награждена орденом Кавалеров почета за заслуги в литературе. Созданный ею вместе с мужем сад замка Сиссингхерст является одним из признанных шедевров садового искусства Англии.

** Национальный флаг Англии представляет собой белое полотнище с красным прямым Крестом святого Георгия, который считается небесным покровителем англичан.

тальон стрелковой бригады, стрелковый полк Королевы Виктории, батальон Королевского танкового полка и тысячи храбрых французских солдат. Британские эсминцы отошли на небольшое расстояние от Кале, готовясь заняться спасением солдат. Но Черчилль решил, что «за Кале надо драться до последней капли крови и что нельзя разрешить эвакуацию гарнизона морем», иначе, написал Айронсайд, «будет невозможно использовать Дюнкерк для эвакуации британского экспедиционного корпуса и 1-й французской армии», поскольку немецкие дивизии, выйдя на побережье, отрезали им отход к морю. Исмей назвал решение, принятое вечером 26 мая, «жестоким». Премьер-министр принял это решение в присутствии Айронсайда, Исмея и Идена[68].

Иден телеграфировал приказ премьер-министра бригадному генералу К.Н. Николсону, который заканчивался словами: «Взоры всей империи устремились на защитников Кале, и правительство Его Величества уверено, что Вы и Ваш доблестный полк совершите подвиг, достойный англичан». Незадолго до полуночи он отправил еще одну телеграмму: «Каждый час Вашей борьбы — величайшая помощь британскому экспедиционному корпусу... Восторгаемся Вашей блестящей обороной». За обедом Черчилль был непривычно молчалив. Позже он написал: «Во время войны надо есть и пить, но я не мог избавиться от тошноты, когда мы позже молча ели, сидя за столом»[69].

Теперь отрезанные на севере 200 тысяч солдат британского экспедиционного корпуса и остатки 1-й французской армии двигались по узкому коридору к морю, сражаясь днем и отступая ночью. 1-й Колдстримский гвардейский полк удерживал фронт в течение тридцати часов до выхода из боя. 2-й Глостерширский и 4-й Королевский Суссекский полки охватили немецкую колонну с фланга. 2-й батальон Королевского Восточно-Кентского пехотного полка (Buffs) сбил наступательный темп противника. 4-й батальон Королевского полка горцев Кэмерона, хотя его численность сократилась до сорока человек, перешел в контрнаступление и отбросил немцев за канал Де-ла-Лавэ. Батальон валлийских стрелков отчаянно сражался за переправу через реку Лис. Растянувшиеся на 9 миль, от Ипра до Комина, 6-й шотландский пехотный батальон «Блэк Уотч» (Black Watch), 13-й/18-й Королевский гусарский (личный ее величества королевы Марии) полк, 2-й батальон Гренадерского гвардейского полка, 2-й Северо-Стаффордширский полк и 2-й полк шервудских лесников контратаковали, разжав немецкие тиски. 2-й батальон «Баффс», хотя и сильно поредевший, заблокировал прорыв вблизи Годеварсвельда.

Они, как все солдаты, сражались лучше, когда научились ненавидеть, и враг, с которым они столкнулись, дал им веские причины для ярости. После того как дивизия СС «Мертвая голова» (Totenkopf) захватила сто солдат Королевского Норфолкского полка, многие из

которых были ранены, эсэсовцы выстроили их вдоль стены сарая и расстреляли из пулеметов, после чего тех, кто еще подавал признаки жизни, закололи штыками. Двоим томми удалось выжить — их не заметили под телами погибших товарищей; они доползли до своих и рассказали о случившемся. Алан Брук был глубоко потрясен. Во время Первой мировой войны он воевал с немцами, но эти были *нацистами*.

26 мая Брук сам едва не попал в плен. Он объезжал на машине командные пункты; его водитель, непрерывно сигналя, с трудом пробивал путь среди заполнявших дорогу беженцев; по обе стороны дороги стояли обитатели психиатрической больницы, которые, с застывшими на лицах глупыми улыбками, махали солдатам и беженцам. Приказы Бруку приходилось передавать по цепочке — связь была прервана, — и, поскольку ситуация изменилась, Монтгомери получил приказ совершить опасный ночной фланговый марш. Сразу после того, как машина Брука переехала по мосту через канал, мост взорвался. Затем вблизи Ипра при подходе тридцати шести бомбардировщиков люфтваффе он спешно выбрался из машины и лег на землю под стеной дома. И наконец, когда он решил пару часов вздремнуть в каменной хижине, его взрывом сбросило с кровати[70].

Существует тысяча причинам, почему вывод войск на побережье не должен был закончиться успешно. Армия, безусловно, заплатила страшную цену — 68 710 жертв, приблизительно треть численного состава, — но большинство из тех, кто будет опять сражаться, были ранены. Большую часть успеха можно объяснить военными традициями Империи, которая дала Великобритании высокопрофессиональных офицеров и чрезвычайно дисциплинированных солдат, внуков киплинговского «красного мундира» Малвейни. Сами названия этих полков и батальонов навевают воспоминания о былых победах, пехотинцах и кавалеристах, преданных королю и Отечеству; наследие имперских армий, маленький остров, данный британским солдатам для рождения, и весь мир — для смерти, полки, в одном из которых, 4-м гусарском, служил лейтенантом молодой симпатичный Уинстон Черчилль[71].

За неделю до капитуляции Бельгии и почти после двух недель сокрушительных поражений на Европейском континенте Черчилль попросил Чемберлена изучить «проблемы, которые возникнут при необходимости отвода войск из Франции». В понедельник, 20 мая, штабные офицеры наметили приблизительный план отвода войск. Исходя из предположения, что Кале, Булонь и Дюнкерк будут доступны для проведения эвакуации, планировщики низкого ранга считали, что в день удастся эвакуировать 2 тысячи человек. Краткое упоминание об «опасности эвакуировать большие силы» сочли недостойным внимания; вероятность такой ситуации казалась весьма от-

даленной. Но все изменилось менее чем за сутки. Во вторник утром первым вопросом повестки дня была «экстренная эвакуация огромных сил через Ла-Манш», и Черчилль высказал мнение, что «в качестве меры предосторожности морскому министерству следует собрать большое количество мелких судов, которые должны быть готовы к выходу в порты и бухты на французском побережье». Офицеры морской транспортной службы Англии от Гарвича до Уэймута получили приказ взять на учет все подходящие суда водоизмещением до тысячи тонн. Во всех английских гаванях была проведена полная проверка всех судов. Этот план эвакуации английских экспедиционных сил с континента в Англию получил кодовое название — операция «Динамо». Руководство операцией адмиралтейство возложило на адмирала Бертрама Рамсея. Немедленно были собраны тридцать шесть пассажирских судов, в основном паромы, ходившие через Ла-Манш. Штаб адмирала, в белых дуврских скалах, выходил на неспокойные воды Ла-Манша.

26 мая Лондон пребывал в отчаянии. В семь вечера адмиралтейство, по распоряжению Черчилля, отправило телеграмму: «Начать операцию «Динамо». 28 мая, когда эвакуация из Дюнкерка уже шла полным ходом почти двадцать четыре часа, Черчилль предупредил палату общин о том, что следует «готовиться к плохим, печальным известиям». Про себя он боялся, что «весь костяк, ядро, мозг британской армии» может «погибнуть на поле боя или попасть в позорный плен». Начальники имперского Генерального штаба информировали его о том, что, по их мнению, не удастся избежать полномасштабного наступления на Англию. Однако каждый из трех начальников штабов — армии, флота и Королевских военно-воздушных сил — анализировал имевшиеся в распоряжении данные по-своему[72].

Дневник начальника имперского Генерального штаба отражал мрачное настроение Великобритании. 23 мая Айронсайд написал: «Не думаю, что мы можем особо рассчитывать на вывод британского экспедиционного корпуса». Два дня спустя он предположил, что «если не случится чудо, то в течение ближайших нескольких дней мы потеряем всех наших опытных солдат». Спустя еще два дня он записал в дневник: «С утра плохие новости... Я встретил Иствуда в нескольких шагах от военного министерства. Он приехал прошлой ночью и сказал, что положение очень тяжелое. Он считает, что не удастся спасти британский экспедиционный корпус». В тот же вечер Исмей написал: «Премьер-министр спросил меня, что я почувствую, если мне скажут, что удастся спасти в общей сложности 50 тысяч человек. Я не колеблясь ответил, что буду очень рад, и Черчилль не упрекнул меня в пессимизме». 30 мая, когда самолеты люфтваффе роились над побережьем у Дюнкерка, королю сказали, что будут счастливы спасти 17 тысяч человек. Айронсайд написал: «Минимальный шанс, что из

этого что-то получится. Они потопили три судна в гавани Дюнкерка, так что едва ли удастся спасти хотя бы одно подразделение»[73].

Восемь месяцев назад поляки утратили всякую надежду; французы утрачивали свои, но, за редким исключением, моральный дух англичан повышался. Они не собирались сдаваться, чему способствовал этот большой ров между ними и континентом. Днем 28 мая Черчилль собрал кабинет — примерно двадцать министров — в своей комнате в парламенте, чтобы рассказать им все, что ему было известно о боевых действиях и что брошено на чашу весов. Затем он сказал: «Я много думал в последние дни о том, входит ли в мои обязанности рассмотрение вопроса о вступление в переговоры с Этим Человеком*. И я убежден, что каждый из вас встанет со своего места и разорвет меня на части, если я предложу сдачу или переговоры. Если долгой истории нашего Острова суждено наконец окончиться, пусть она окончится тогда, когда последний из нас упадет на землю, захлебнувшись в своей крови».

К его удивлению, несколько человек вскочили со своих мест, подбежали к нему и стали хлопать его по спине. Позже он написал: «Я был уверен, что каждый министр готов скорее быть убитым и потерять всю свою семью и имущество, чем сдаться. В этом отношении они представляли палату общин и почти весь народ. В предстоявшие дни и месяцы на мою долю выпало выражать в соответствующих случаях их настроения. Я был в состоянии это делать потому, что таковы же были и мои настроения. Весь наш остров был охвачен грандиозным порывом».

Хью Далтон, длительное время оппонент Черчилля в палате общин, написал: «Уинстон был великолепен. Только он тот единственный человек, который может спасти нас в этот час»[74].

В 1940 году Дюнкерк был древним портовым городом; многие здания, обращенные к берегу, датировались XVI веком. До войны десятимильный пляж Дюнкерка привлекал тысячи отдыхающих французов и англичан, но, когда изможденные, измученные, небритые солдаты лорда Горта отступили сюда в последние дни мая, самолеты люфтваффе превратили город и песчаные пляжи в руины. Дома опустели. Слышались только треск и шипение пожаров. Взорванные буи. Затонувшие суда заблокировали вход в гавань, которая, по всем морским канонам, больше не могла использоваться по назначению. Широкие пляжи находились под непрерывным огнем артиллерии Круппа, располагавшейся в Кале. Кроме того, томми не были защищены от атак пикирующих с пронзительным звуком «Штук» и «Мессершмиттов» Bf-109, которые использовали в качестве светового маяка вздымаю-

* «Этим Человеком» для Черчилля всегда был Гитлер. (*Примеч. авт.*)

щийся столб дыма от горящих нефтяных цистерн у западного пирса, наполнявший воздух зловонием. Вот из этого котла Королевский флот, все имеющиеся в наличие торговые суда и британские яхтсмены на частных лодках надеялись спасти четверть миллиона измученных, обессиленных людей.

Но и это еще не все. Помимо затонувших судов и сильно пострадавших доков морякам пришлось столкнуться в гавани с другими проблемами. Из-за отлива суда не могли подойти к берегу ближе чем на полмили. В дневные часы ни одно судно не могло пройти к Дюнкерку напрямую по Дуврскому каналу; приходилось плыть много миль по глубокому каналу шириной 800 ярдов, идущему параллельно берегу. Пирсы и причалы гавани Дюнкерка серьезно пострадали во время бомбардировок, и пригодным для операции оставался лишь длинный восточный мол, к которому могли причаливать крупные корабли. Большинство молов каменные, но этот был деревянным, к тому же узким — по нему могли пройти трое в ряд. Причаливать к нему было трудно, а из-за прилива и отлива еще и опасно. Кроме того, при строительстве восточного мола явно не учитывалась возможность швартовки судов. Никто не знал, сможет ли он выдержать такое напряжение[75].

К 26 мая в Дувре собрали армаду из 860 разнокалиберных судов. Из 160 британских эсминцев почти половина входила в состав флота метрополии, и только 41 мог быть использован для операции. К ним добавились яхты и все плавсредства, находившиеся в английских водах. «Адмиралтейству требуются гражданские лица, имеющие опыт управления морскими двигателями внутреннего сгорания. А также владельцы яхт и катеров», — в мае 1940 года такие объявления звучали по радио по всей стране. Кроме того, французские, бельгийские и голландские шкиперы добровольно предоставили промысловые суда. 26 мая у причалов в Дувре стояли траулеры, речные баржи, шхуны, минные тральщики, пожарные катера, корветы, плавучие госпитали, рыбацкие лодки, моторные лодки, рыболовные судна, каботажные суда, спасательные шлюпки, буксиры, лондонский пожарный катер Massey Shaw, паромы Brighton Queen и Gracie Fields, суденышки, такие как Princess Maud и множество прогулочных яхт. Там была яхта Тома Сопвича Endeavour, принимавшая участие в регате Кубок Америки, и он сам стоял за рулем. Там был катер Count Dracula, яхта Sundowner, которой управлял Чарльз Герберт Лайтоллер, офицер, выживший в кораблекрушении «Титаника», и речная канонерская лодка Mosquito. Граф Крейвен вышел в море в качестве инженера. Достопочтенный Лайонел Ламберт вооружил яхту и отправился на ней поваром. И капитан сэр Ричард Пим, который руководил легендарной комнатой с картами, командовал скутом (голландское парусное судно). «Где Пим?» — спросил Черчилль, оглядываясь по сторонам, и, когда ему объяснили, у него поднялось настроение[76].

Вот только спортсменам-любителям пересекать Ла-Манш, 40 миль шириной в этом месте, было очень непросто. Море было неспокойным, в начале войны плавучие маяки и бакены выкрасили в черный цвет, и немцы минировали эти воды. Расчистили три узких фарватера; суда, которые отклонялись с курса, а с некоторыми это случилось, затонули. Стоя на некотором расстоянии от французского побережья, ожидая очереди зайти на погрузку, рулевые предпринимали отчаянные усилия, чтобы не попасть в зону действия немецких самолетов, которые, казалось, были повсюду. Наконец, когда им удавалось подойти к берегу, они видели длинные змеящиеся по пляжу очереди томми. После заката экипажам плавсредств, лавирующим между затонувшими судами при подходе к Дюнкерку, казалось, что над пляжем роятся светлячки. Это были огоньки сигарет солдат, ждавших возвращения домой. Некоторые солдаты часами стояли по пояс в воде, молясь о спасении.

В течение первого дня эвакуации — понедельник, 27 мая — маленькие суда сновали взад и вперед, забирая столько человек, сколько могли взять на борт, чтобы затем пересадить их на эсминцы и паромы, стоявшие на некотором расстоянии от берега; и так в течение девяти дней. В первый день удалось эвакуировать всего 8 тысяч человек. Понятно, что маленькие суда не могли решить проблему в полном объеме. Владелец пляжа предложил использовать для швартовки восточный мол, предварительно проверив его на прочность. Мол выдержал испытание. Это, конечно, было не лучшее место для швартовки. Во время отлива солдатам приходилось запрыгивать на палубу, а при сильном ветре, когда волны бились о сваи, на воде появлялись воронки, и расстояние между судном и молом увеличивалось, каждый прыжок на палубу был сопряжен с риском. Некоторым не повезло, и они утонули. Немцы наносили удар за ударом по молу. Как-то утром летевший на малой высоте бомбардировщик сбросил бомбу на мол. Судовые плотники заделали дыру. Другая бомба пробила корпус колесного парохода Fenella, и он сразу пошел на дно, захватив с собой 600 человек, находившихся на борту. Тем не менее мол сделал все, что от него требовалось[77].

Как и мелкие суда. Они часто садились на мель, и солдаты, столкнув их с мели, запрыгивали на борт. У некоторых владельцев судов были разборные лодки; солдаты пытались плыть в них, используя в качестве весел приклады винтовок, но их ждала неудача. Из грузовых машин, обломков судов и плавника соорудили импровизированные пирсы. Капитан минного тральщика, задрав как можно выше нос своего судна, ткнулся носом в берег и бросил два якоря. Приблизительно 3 тысячи человек использовали это судно в качестве моста для перехода с берега на суда, стоявшие на небольшом расстоянии от берега. Самолеты люфтваффе находили все новые и новые жертвы, и горящие суда освещали гавань от заката до рассвета. Один эсминец был

подбит у мола. Он загорелся и дрейфовал, блокируя вход в гавань, пока тральщик не оттащил его в сторону[78].

На суше некоторое беспокойство вызывали французские солдаты. На переднем крае круговой обороны солдаты сражались великолепно, но незанятые пуалю превратились в проблему. 29 мая Брук написал в дневнике: «Теперь французская армия — сброд, полное отсутствие дисциплины. Солдаты хмурые и неприветливые, отказываются освобождать дорогу и каждый раз паникуют, когда появляются немецкие самолеты». Это, как он считал, было причиной того, что эвакуация проходила слишком медленно. А второй причиной — недостаточное количество мелких судов. Он попросил Горта надавить на адмиралтейство. Вместо этого Горт направил к премьер-министру лорда Манстера, своего адъютанта, и младшего офицера Джона Черчилля, племянника премьер-министра. В тот же вечер молодой Черчилль прибыл в Адмиралтейский дом «насквозь промокший», как он позже вспоминал, «и в полном боевом облачении». Уинстон и Клементина, оба в халатах, были ему страшно рады. «Джонни! — с восторгом воскликнул дядя. — Ты, я вижу, приехал к нам прямо с поля боя!»[79].

«Почему ты такой мокрый? Ты что, прямиком из моря?» — спросил племянника Черчилль. Джонни объяснил, почему он приехал, и сказал, что немедленно возвращается обратно. Лорду Манстеру Черчилль уделил меньше внимания, хотя и согласился надавить на адмиралтейство. Все, говоря об этих событиях, вспоминали не выступление Черчилля, а его страстную увлеченность баталиями. «Мы чувствовали, — вспоминал генерал сэр Йен Джейкоб, — что ему хотелось самому сражаться на пляжах»[80].

В течение десятидневной операции в Дюнкерке было потоплено 6 эсминцев, а 26 получили повреждения. Затонули еще 112 судов, в их числе Mosquito и Gracie Fields, которое затонуло с 300 томми на пути домой. Судам, следовавшим к Дувру, временами приходилось лавировать между плавающими на поверхности воды трупами солдат. До 26 мая удалось эвакуировать приблизительно 28 тысяч человек, а 2 июня мощные атаки с воздуха привели к приостановке эвакуации в дневное время. Однако погода благоприятствовала проведению операции, и теперь они должны были довести ее до победного конца. Операция «Динамо», задуманная в минуту отчаяния, со слабой надеждой на спасение хотя бы части армии, удивила мир.

28 мая эвакуировали всего 17 800 человек. «Весь этот день, 28-го, — позже написал Черчилль, — спасение британской армии висело на волоске». Однако 29 мая эвакуировали уже 47 310 человек; 30 мая — 53 823; 31 мая — 68 014; 1 июня — 64 429; 2 июня — 26 256. Предполагалось, что на этом операция закончится, но адмирал Рамсей предпринял последнюю рискованную попытку эвакуировать доблестный французский арьергард и вернулся с 26 175 пуалю. В целом в ходе

операции «Динамо» удалось спасти 338 226 солдат союзников, из них 112 тысяч французов, хотя большая часть французов рискнула отправиться домой.

Они, по выражению Черчилля, «оставили свой багаж» на французском берегу: 2540 артиллерийских орудий, 90 тысяч винтовок, 11 тысяч пулеметов, около 700 танков, 6400 противотанковых ружей, 20 тысяч мотоциклов, 45 тысяч грузовиков и других транспортных средств и огромное количество боеприпасов[81].

Но самым замечательным было то, что солдаты вернулись домой. Народ узнал о героических действиях арьергарда. «Теперь, — объяснила читателям Молли Пэнтер-Доунес 2 июня в The New Yorker, — стало известно, что первый, обагренный войной, измученный контингент достиг британских берегов, и потрясающими были облегчение и воодушевление». Черчиллю не особенно нравился The New Yorker, который он в насмешку называл The New Porker (у него для всего были прозвища), но Пэнтер-Доунес рассказала о героизме английских солдат. И он не мог этого не отметить[82].

Однако в целом события были равносильны катастрофе. 4 июня Черчилль выступил в палате общин с сообщением о Дюнкерке. «Войны не выигрываются эвакуациями, — сказал премьер-министр, — то, что произошло во Франции и Бельгии, — колоссальное военное бедствие». Однако, сказал он, Дюнкерк — «чудо избавления, достигнутое доблестью, упорством, блестящей дисциплиной, безупречной службой, находчивостью, мастерством, непобедимой преданностью». Мы докажем, сказал он, что «способны защитить наш Родной остров, перенесем бурю войны, и переживем угрозу тирании, если потребуется — в течение многих лет, и если потребуется — одни».

«Даже если огромные просторы Европы, многие древние и прославленные государства пали или могут попасть в тиски гестапо и других гнусных машин нацистского управления, мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в портах, на суше, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся и даже, если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голоду, тогда наша империя за морем, вооруженная и под охраной британского флота, будет продолжать сражение, до тех пор пока, в благословенное Богом время, Новый мир, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение старого»[83].

Джок Колвилл написал в дневнике: «Пришел в палату, чтобы послушать речь премьер-министра об эвакуации Дюнкерка. Великолеп-

ная речь, которая, очевидно, взволновала палату». На следующий день News Chronicle сообщила, что его выступление отличалось «непревзойденным красноречием, бескомпромиссной прямотой и неукротимой отвагой». Гарольд Николсон написал жене, Вите Сэквилл-Уэст: «Днем Уинстон произнес самую блестящую речь, которую я когда-либо слышал». Она написала в ответ: «Жалко, что я не присутствовала, когда Уинстон произнес эту великолепную речь. Даже в пересказе диктора у меня бежали мурашки по коже (не от страха). Я думаю, одна из причин, почему каждого взволновали его обороты в стиле Елизаветинской эпохи, в том, что каждый ощутил мощную поддержку власти; и это были не пустые слова». Вечером в радиорепортаже из Лондона Эдвард Р. Марроу, американский журналист, сказал: «Он говорил на языке Шекспира с настойчивостью, какой я никогда не слышал в этой палате». Позже историк Брайан Гарднер написал, что это выступление «наэлектризовало не только его страну, но весь мир. Этой речью Черчилль завоевал полное доверие британского народа, которого прежде не имел. Независимо от того, что должно произойти, Черчиллю обеспечено место в жизни страны, он больше никогда не окажется не у дел»[84].

Кроме того, в своей речи Черчилль бросил вызов Гитлеру: «Когда Наполеон расположился у Булони на год со своими плоскодонками и своей Великой армией, ему сказали: «Много трудностей нас ждет в Англии». И их будет, несомненно, гораздо больше, поскольку вернулись британские экспедиционные силы»[85].

Никто не испытывал такого сильного чувства горечи, как Черчилль.

Выступление Черчилля встревожило французского посла Шарля Корбена. Он позвонил в министерство иностранных дел, чтобы спросить, что премьер-министр имел в виду заявив, что Великобритания, если потребуется, будет сражаться в одиночку. Ему ответили, что он имел в виду, «именно то, что сказал». Это, сказали сотрудники Корбена корреспондентам, «точно не вдохновит французов сражаться несмотря ни на что»[86].

Французы пришли в сильное волнение. Как им виделось, британская армия сбежала, оставив их на милость врага. Эвакуация, конечно, была бы не нужна, если бы стратегия французов не была столь безнадежно неправильной и если бы Вейган не был лжецом. Кроме того, первоначальная цель операции, как отмечали Горт, Черчилль и Айронсайд, состояла в том, чтобы освободить британские экспедиционные силы, а затем высадить их на юге для воссоединения с союзниками. Потеря техники, оружия, боеприпасов означала необходимость перевооружения, после чего Черчилль собирался отправить войска обратно, и Рейно, Вейган и Верховное командование Франции знали об этом. Но Черчилль знал о тревоге на континенте. 30 мая он

решил вылететь в Париж на заседание Conseil Supérieur de la Guerre — Высшего военного совета. Он взял с собой Клемента Эттли, Мопса Исмея и сэра Джона Дилла, недавно назначенного начальника имперского Генерального штаба. Спирс встречал их в аэропорту Виллакубле[87].

Полет над Францией стал опаснее по сравнению с последним полетом Черчилля. К северу от Парижа небо буквально кишело нацистскими самолетами, и, хотя «Фламинго» сопровождали девять «Спитфайров», пилот изменил маршрут, и они прилетели позже намеченного. Спирс увидел выходящего из самолета Черчилля, который явно находился «в отличной форме. Опасность неизменно действовала на него как тонизирующее и стимулирующее средство»[88].

31 мая в 14:00 в военном министерстве, расположенном на улице Сан-Доминик, в большом зале первого этажа, выходящем окнами в сад, за большим овальным столом, покрытым зеленым сукном, собрались участники заседания. По одну сторону стола сидели гости, напротив — хозяева: Рейно, адмирал Жан Дарлан, Поль Бодуэн, протеже любовницы Рейно и сторонник капитулянта Петена, Вейган, в военной форме, и, наконец, впервые присутствовавший на военном совете с британцами, восьмидесятичетырехлетний маршал Анри-Филипп Петен, в штатском.

Рейно назначил Петена своим заместителем, надеясь повысить доверие народа к правительству. Во Франции старого маршала считали героем последней войны, национальным героем и Верденским победителем (le vainqueur de Verdun). У британцев было другое мнение. В 1917 году он подавил мятеж во французской армии, пообещав солдатам, что основная тяжесть будущей борьбы ляжет на плечи британцев и американцев. Кроме того, он был ярым англофобом, не признававшим демократию. Ответственность за нынешнее тяжелое положение Франции, по его мнению, лежала на левистах Народного фронта 1935 года*.

«Сейчас, — подумал Исмей, — Петен выглядит старым, скучным капитулянтом»[89].

Черчилль предложил рассмотреть три вопроса: положение сил союзников в Норвегии, борьбу во Фландрии и вероятность того, что Муссолини скоро вступит в войну на стороне Гитлера. Но сначала он решил сообщить французам хорошие новости. Дюнкеркская эвакуация превзошла все ожидания: вывезено 165 тысяч человек, в том числе 10 тысяч раненых. Вейган резко перебил Черчилля, спросив с ноткой агрессии в голосе: «А сколько французов? Или французов оставили?»[90]

---

* Первый народный фронт, объединивший все левосторонние партии, был образован во Франции в 1935 году.

Англичане ожидали, что сейчас последует вспышка. Все признаки были налицо: Черчилль побледнел, забарабанил пальцами по столу и выпятил нижнюю губу. Он явно был рассержен, и совершенно обоснованно. Вейган узнал об операции «Динамо» шесть дней назад, но забыл сообщить своему командующему на севере и не издал распоряжений относительно участия французов в эвакуации. Это, безусловно, была одна из причин, заставивших премьер-министра прилететь в Париж. Но Черчилль справился с собой, придал лицу грустное выражение и спокойно сказал: «Мы товарищи по несчастью. Это наша общая беда, и мы ничего не выиграем от взаимных обвинений»[91].

Бодуэн написал, что «в его глазах стояли слезы», поскольку его, очевидно, волновали «общие страдания Англии и Франции». Спирс почувствовал, как «напряжение спало». Они возобновили обсуждение повестки дня и пришли к общему мнению относительно необходимости вывода войск из Норвегии для усиления союзнических армий во Франции. Затронули вопрос укрепления Бретонского редута, куда бы они могли отступить в случае падения Франции. Затем разговор перешел на Италию. Если Муссолини вступит в войну, сказал Черчилль, «нам нужно будет немедленно ударить по Италии самым действенным образом». В этот момент французский переводчик, неправильно понявший премьер-министра, сказал, что в Дюнкерке первыми будут эвакуироваться британские солдаты, а французские уже за ними. Черчилль прервал его и, замахав руками, проревел на своем невообразимом французском: «Non! Partage bras dessus, bras dessous», — «Нет! Вместе, рука об руку»[92].

Французы хотели, чтобы Великобритания предоставила больше эскадрилий истребителей. Черчилль напомнил, что правительство его величества уже прислало десять дополнительных эскадрилий, которые были необходимы для защиты Великобритании. Если они лишатся остальных, то люфтваффе смогут безнаказанно наносить удары по «самым важным объектам, заводам, которые выпускают новые самолеты». Мы не можем идти на дополнительные риски, объяснил Черчилль.

Но больше всего его волновал упадок морального духа всех французов, солдат, гражданских лиц и, за исключением Рейно, членов правительства. Он, конечно, мог этого не говорить, но хотел, чтобы они знали, что Англия намерена сокрушить нацистскую Германию любой ценой. «Я абсолютно убежден, что для достижения победы нам нужно лишь продолжать сражаться. Если даже один из нас будет побит, то другой не должен отказываться от борьбы. Английское правительство готово вести войну из Нового Света, если в результате какой-либо катастрофы Англия подвергнется опустошению. Если Германия победит одного из союзников или обоих, она станет беспощадной, нас низведут до положения вечных вассалов и рабов. Будет гораздо лучше, если цивилизация Западной Европы со всеми ее достижениями ис-

пытает свой трагический, но блестящий конец, нежели допустить, чтобы две великие демократии медленно умирали, лишенные всего того, что делает жизнь достойной»[93].

Эттли подтвердил каждое слово, сказанное премьер-министром, добавив: «Каждому англичанину понятно, что основы цивилизации, общей для Франции и Великобритании, под угрозой. Немцы убивают не только людей, но и мысли». Рейно был доволен; он придерживался того же курса со своими министрами. Однако они разошлись во мнениях. Спирс считал, что пылкая речь Черчилля произвела положительное впечатление на Бодуэна. Отнюдь нет; в дневнике Бодуэн написал, что был «глубоко обеспокоен» клятвой Черчилля и спросил: «Полагает ли он, что Франция должна продолжать борьбу, чего бы это ни стоило, даже если она будет бесполезной?»

Черчилль, улыбаясь, ответил: «Повестка дня исчерпана!»

Но он еще не все прояснил для себя. Когда все встали из-за стола, некоторые из участников продолжили обсуждать какие-то вопросы, а Черчилль, в сопровождении Спирса, подошел к Петену. Старик не проронил ни слова. Его мнение имело большое значение для французов, и «от позиции маршала Петена, отчужденной и мрачной» у премьер-министра «осталось впечатление, что он пойдет на сепаратный мир». Один из французов сказал, что, если события будут развиваться так, как они развиваются сейчас, то Франции, возможно, придется пересмотреть свою внешнюю политику, включая связи с Великобританией, и «изменить свою позицию». Петен кивнул. Спирс на прекрасном французском языке сказал им, что это приведет в британской блокаде французских портов. Затем, глядя в глаза Петену, Черчилль сказал: «Это будет означать не только блокаду, но и бомбардировку всех французских портов, находящихся в руках немцев». Позже Черчилль написал, что «был доволен, что сказал это. Я спел свою привычную песню о том, что мы будет сражаться, что бы ни случилось»[94].

Никто не упомянул о заключенном девятью неделями раньше соглашении, в котором английское и французское правительства торжественно поклялись в том, что «в течение нынешней войны они не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора без взаимного согласия». В марте, при подписании обещаний, силы противостоящих армий были примерно равными, но к 31 мая, когда союзники встретились в Париже, у нацистов был огромный перевес в силе. Немцы захватили в плен почти 500 тысяч ценой 60-тысячных потерь. Необъяснимо, но факт, что Вейган не отдал приказ о переброске 17 дивизий, оставленных на линии Мажино, и в результате в скором времени дождался сильнейшего удара. Немцы перешли в наступление силами 130 пехотных и 10 танковых дивизий — почти 3 тысячи танков.

5 июня немцы двинулись с рубежа Соммы. Французы, отчаянно сражаясь, удерживали свои позиции в течение двух дней, но 7 июня 7-я танковая дивизия Роммеля прорвалась к Руану и в воскресенье, 9 июня, вышла к Сене. В тот же день был взят Дьеп и Компьен. Затем танки двинулись в направлении Шалон-сюр-Марн перед тем, как повернуть на восток к швейцарской границе, чтобы отрезать огромный гарнизон линии Мажино. Танки Роммеля продвинулись так далеко и так быстро, что англичане назвали 7-ю танковую дивизию Роммеля «дивизией-призраком». Никто, включая немецкое Верховное командование, не знал, где она находится, пока она не появлялась там, где ее меньше всего ждали[95].

В понедельник, 10 июня, Италия объявила войну Великобритании и Франции. Франклин Рузвельт в своем выступлении по радио произнес язвительные слова в адрес Италии: «Рука, державшая кинжал, вонзила его в спину своего соседа». Черчилль просто буркнул: «Людям, которые отправляются в Италию посмотреть на руины, в будущем не понадобится ехать в Неаполь и Помпеи». Он приказал собрать в одном месте всех итальянцев мужского пола и интернировать. Через несколько часов после того, как Муссолини объявил войну, толпа разбила окна в итальянских заведениях в Сохо, но, в отличие от Рима, здесь не организовывали демонстраций против нового врага. У Муссолини был маленький кинжал. Французы почти сразу отбросили отвратительно экипированную, плохо управляемую армию дуче. Черчилль телеграфировал Рузвельту: «Если мы потерпим поражение, у Гитлера есть отличный шанс завоевать мир». В этом случае Муссолини, независимо от размеров его кинжала, получал свою долю[96].

Ночью, когда немецкие армии двигались к французской столице, премьер-министр решил полететь в Париж, надеясь убедить французов в необходимости защитить свой город. Затем пришло сообщение, что правительство покинуло Париж. «Вот черт возьми», — вышел он из себя, но тут пришла телеграмма, в которой сообщалось, что союзники могут встретиться в Бриаре, на Луаре, в 80 милях к югу от Парижа. Утром во вторник, 11 июня, Черчилль с Исмеем, Иденом и Спирсом вылетели в Бриар в сопровождении двенадцати «Хоукер-Харрикейнов»*.

---

* «Хоукер-Харрикейн» (Hawker Hurricane) — британский одноместный истребитель времен Второй мировой войны, разработанный фирмой Hawker Aircraft Ltd. в 1934 году. Всего построено 14 533 самолета. 30 августа 1941 года Уинстон Черчилль предложил Сталину в рамках программы военной помощи поставить 200 истребителей типа «Харрикейн». Первые «Харрикейны» попали в СССР не совсем обычным путем. 28 августа 1941 года на аэродром Ваенга под Мурманском приземлились 24 «Харрикейна», взлетевшие с палубы авианосца HMS Argus. Вскоре к ним добавились еще 15 самолетов, доставленных и собранных в Архангельске английскими специалистами. В состав британской группы входили две эскадрильи. Задачей британских летчиков была

Черчилль хотел пролететь над полями сражений, но пилот объяснил, что это невозможно по той причине, что он обязан следовать приказам министерства ВВС.

На летном поле аэродрома Бриара не было ни души. Черчилль, весь в черном, облокотившись на палку, с сияющей улыбкой смотрел вокруг с таким видом, словно эта взлетно-посадочная полоса была тем местом, которое он всю жизнь искал и наконец нашел. Подъехали несколько машин, за рулем первой был мрачный полковник, «с таким выражением лица, — написал Спирс, — словно встретил бедных родственников во время траурной церемонии». Атмосфера в замке из красного кирпича, Шато дю Мюге, была столь же неприятной. Спирс почувствовал, что «наше присутствие было не слишком желанным».

Их ввели в большой обеденный зал. Французы — за исключением заместителя министра национальной обороны Шарля де Голля, которого Рейно сделал генералом, — сидели за столом склонив голову, словно заключенные, ждущие приговора. Петен, по словам Исмея, казался «более удрученным, чем когда-либо», а Вейган, похоже, «отказался от всякой надежды»[97].

Черчилль попытался ободрить французов, сообщив, что во Франции этой ночью высадится канадская дивизия, вдобавок к трем уже имеющимся британским дивизиям, а через девять дней прибудет еще одна дивизия. Но его усилия не увенчались успехом. Вейган сказал, что армия находится в безнадежном положении. Союзники потеряли тридцать пять дивизий — более полумиллиона солдат. «Ничто не может помешать врагу войти в Париж, — сказал Вейган. — Французские армии измотаны. Линия фронта прорвана во многих местах. Я бессилен. У меня нет резервов. Армия разлагается». Он зашел слишком далеко, заявив, что нет никакого смысла в дальнейших боевых действиях. Иден отметил, что Рейно резко возразил: «Это политическое дело, господин генерал». Вейган, кивнув, ответил: «Безусловно», но затем опять поразил, обвинив «тех» — французских политиков, «которые вступили в войну, не имея понятия о силе нацистов»[98].

Черчилль не мог или не хотел поверить в отчаянное положение Франции. Вначале, после каждого слова generalissime, он ниже склонялся над столом, и его лицо стало багровым, но затем он отвел взгляд и молча уставился в потолок, не обращая внимания на Вейгана, но несколько раз бросил насмешливый взгляд на де Голля. Затем он попросил вызвать генерала Жоржа, своего старого друга. Жорж прибыл и подтвердил все сказанное Вейганом. Он сообщил, что сейчас враг находится всего в 60 милях. Премьер-министр, хотя и заметно по-

помощь в освоении советскими летчиками новой техники. Однако вскоре они включились в боевую работу, занимаясь вместе с советскими летчиками патрулированием воздушного пространства, прикрытием конвоев и портов, куда прибывала западная помощь.

трясенный, попытался поднять боевой дух французов. Он подыскивал слова, находил их и говорил горячо и проникновенно. Ему хочется, сказал он, выразить восхищение храбростью, проявленной французами при оказании сопротивления, и сообщить, что Британия глубоко сожалеет о том, что ее вклад в борьбу оказался таким незначительным. «Каждый англичанин, — сказал он, — глубоко опечален тем, что в этот тяжелый момент Франции не может быть предоставлена дальнейшая военная помощь». Если бы британский экспедиционный корпус не оставил все в Дюнкерке, то сейчас девять дивизий англичан сражались бы рядом с французскими солдатами. Англия уже отправляла все, что имела, оставив свой остров фактически беззащитным. Затем он напомнил французам о событиях 1918 года, когда союзники были так близки к поражению, и сказал, что, возможно, это соответствует сегодняшней ситуации; во всех сообщениях разведывательных служб говорится, что немцы выдохлись, исчерпали все возможности. Все может измениться в течение сорока восьми часов. Вейган прервал его, сказав, что у них нет столько времени, есть всего «несколько последних минут»[99].

Черчилль не успокоился. Он хотел вселить во французов непоколебимость британцев. Его слова, написал Спирс, «извергались потоком, французские и английские фразы мчались друг за другом, словно волны, обрушивающиеся на берег во время шторма. Независимо от того, что произойдет, сказал Черчилль, Англия будет сражаться — дальше и дальше и дальше, toujours (всегда), все время, везде, partout, pas de grace (везде, без пощады), не проявляя милосердия. Puis la victoire! (Затем победа!) Он оказал французам максимальную помощь, включая войска из доминионов и колоний. Он хотел, чтобы армия Вейгана защищала Париж, подчеркнув, какой огромной способностью изматывать силы вторгающейся армии обладает оборона большого города. Он предположил, что французское правительство организует сопротивление с территорий французских колоний, продолжая войну на море с помощью французского флота, а во Франции — с помощью партизан[100].

Французы недружелюбно отнеслись к его словам, Вейган — с презрением, а Петен, который сначала сидел молча, с недоверчивой улыбкой, разозлился. Старый marechal отмахнулся от заявления премьер-министра, что британцы будут сражаться в одиночку, посчитав его абсурдным. «Поскольку Франция не может продолжать войну, здравый смысл диктует Англии стремиться к миру, она, конечно, не сможет сражаться в одиночку». Превращение Парижа в «развалины», сказал он, не решит проблему. Что касается партизан, то, по его мнению, «это привело бы к уничтожению страны»[101].

Требование французов бросить в бой, идущий во Франции, все самолеты ВВС Великобритании вызвало самые длительные дебаты. Петен, Вейган, Жорж и Рейно пришли к единодушному мнению, что

британские самолеты — их последняя надежда и что только они в состоянии заставить немцев отступить. Если им будет отказано в этой просьбе, заявил Рейно, «история, безусловно, подтвердит, что битва за Францию была проиграна из-за недостатка самолетов». «Здесь, — сказал Вейган, — поворотный пункт. Сейчас — решающий момент. Британцы не должны удерживать ни одного истребителя в Англии. Все истребители следует отправить во Францию». Исмей, Иден и Спирс затаили дыхание. Маршал авиации Даудинг, глава истребительного командования Королевских ВВС, предупредил премьер-министра и военное правительство, что, если еще хоть одна эскадрилья будет направлена во Францию, он не сможет гарантировать защиту Англии, и они боялись, что великодушие премьер-министра, его любовь к Франции, его импульсивность и врожденный оптимизм побудят его взять на себя пагубное для Великобритании обязательство[102].

Но Черчилль не сделал этого. Согласно Исмею, выдержав продолжительную паузу, он очень медленно, тщательно подбирая слова, заговорил: «Это не поворотный пункт и не решающий момент. Решающий момент наступит, когда Гитлер бросит свою авиацию на Великобританию. Если мы сможем сохранить господство в воздухе над нашим островом — это все, о чем я прошу, — мы вам все вернем. Если Англия выиграет войну, Франция будет восстановлена во всем ее достоинстве и величии»[103].

Рейно, отметил Исмей, был «явно взволнован и спросил Черчилля: «Если мы сдадимся, то Германия сконцентрирует все свои огромные силы для вторжения в Англию. И что вы тогда сделаете?» Выпятив челюсть, премьер-министр ответил, что не слишком задумывался на эту тему, но, вообще говоря, считает, что нужно потопить как можно больше врагов в пути и «frapper sur la tete» (бить по голове) оставшихся, когда они начнут выползать на берег»[104].

Странно, что никто из англичан не поднял вопрос о *французских* военно-воздушных силах. Начальником штаба ВВС Франции был генерал Жозеф Вуймен, отважный летчик времен Первой мировой войны, но теперь тучный и некомпетентный руководитель. Британцы были возмущены, когда он заявил, что в первые дни немецкого наступления помощь ВВС Великобритании прибыла «с опозданием и в недостаточном количестве». На самом деле Великобритания направила сто бомбардировщиков, на тот момент все, что имела в наличии, для бомбардировки мостов через Мез, и потеряла сорок пять из ста самолетов. А 28 мая Вуймен сказал, что в Англии триста самолетов, но во Францию прислали всего тридцать, и это в то время, когда восемь—десять британских эскадрилий — от 96 до 120 самолетов — ежедневно участвовали в боевых действиях, помогая французам. В битве за Францию все, кроме десяти из пятидесяти трех истребительных эскадрилий ВВС Великобритании, принимали участие в боях над

Францией и Нидерландами, а из тех десяти три эскадрильи ночных истребителей, две — в Норвегии и одна — не готова к участию в боевых операциях.

В битве за Францию британцы потеряли 959 самолетов и около 300 летчиков*.

Французы потеряли 560 самолетов, из них 235 на земле. Вначале у Вуймена было более 3287 самолетов (у немцев — 2670). Однако только треть самолетов принимали участие в боевых действиях. Более того, в период с 10 мая по 12 июня на заводах Франции были изготовлены и поставлены в армию новые самолеты в количестве 1131, из них 688 истребителей. Результаты действий ВВС Франции вызывали недоумение даже у командования и даже после войны. Действительно, когда Франция вышла из войны, Вуймен обнаружил, что у него больше самолетов первой линии, чем когда началось массированное нацистское наступление. «Что с нашими самолетами? Почему из 2 тысяч истребителей, имевшихся в начале мая 1940 года, менее 500 использовались на Северо-Восточном фронте? Честно признаюсь, не знаю», — сказал Гамелен, выступая перед следственной комиссией парламента. «Мы вправе удивляться», — сказал он. Но больше всего удивляет то, что generalissime был удивлен[105].

В 22:00 все собрались за обеденным столом. Вейган предложил де Голлю сесть рядом и был неприятно удивлен, когда новоиспеченный генерал сел рядом с Черчиллем. Между протеже Рейно и Черчиллем уже существовала связь, которая была, вероятно, единственным достижением встречи в Бриаре. Перед тем как пойти спать, Рейно с Черчиллем сели выпить кофе с бренди. Рейно сказал Черчиллю, что, по мнению Вейгана, «в течение трех недель Великобритании свернут шею, как цыпленку». Затем он поведал премьер-министру, что Петен настаивает на необходимости добиваться перемирия. Когда-то «vainqueur de Verdun» (Верденский победитель) считался блюстителем французской чести. Маршал, сказал Рейно, «подготовил по этому вопросу документ и хочет, чтобы я его прочитал. Он еще не вручил его мне, ему все еще стыдно сделать это». Черчилль, потрясенный словами Рейно, подумал, что «ему следовало также постыдиться поддерживать, пусть молчаливо, требование Вейгана отдать наши последние двадцать пять эскадрилий истребителей, если уж он решил, что все потеряно и Франция должна сдаться»[106].

---

* Трудно, а зачастую невозможно, найти точные данные. Однако, согласно «Истории французской военной авиации» (Histoire de l'aviation militaire française, Париж, 1980), потери были намного больше. «Потери, понесенные ВВС Великобритании во Франции, являются убедительным доказательством активного участия в боях в мае—июне 1940 года. Более 1500 летчиков были убиты, ранены или пропали без вести, и было уничтожено более 1500 самолетов разных типов». (*Примеч. авт.*)

На следующее утро Черчилль проснулся в одиночестве: инспектора Томпсона, который в этих поездках готовил ванну премьер-министру, разместили в другом месте и оставили без транспортных средств. Два французских офицера допивали кофе с молоком в конференц-зале, который служил столовой в замке, когда высокие двойные двери распахнулись и перед ними появился тот, кто, по словам одного из них, был похож на «сердитого японского джинна» — разгневанный, толстый Черчилль с редкими спутанными волосами, в развевающемся темно-красном халате с шелковым поясом, сердито спросивший: «Uh ay ma bain [где моя ванна]?»[107].

Он расстроился еще больше после телефонного звонка маршала авиации сэра Артура Барретта, который сообщил, что местные власти, опасаясь репрессий, возражают против налета на Италию британских бомбардировщиков. Они загромоздили телегами и грузовиками взлетно-посадочную полосу, и бомбардировщики не могли взлететь, чтобы выполнить свое задание. Все ожидали, что последует взрыв, однако премьер-министр не стал упрекать хозяев. Уставший от бесконечных жалоб французов, мучимый незначительным вкладом Англии в общее дело союзников, он оставил без внимания случившееся[108].

На следующее утро, 12-го, после того как Черчилль добился обещания адмирала Дарлана, что тот «никогда не сдаст французский флот неприятелю», англичане покинули Францию. На обратном пути они едва избежали опасности. «Харрикейны» не сопровождали самолет Черчилля — из-за сильной облачности они не смогли подняться в воздух, но, когда пролетали над Гавром, небо расчистилось, и пилот увидел ниже два истребителя «Хейнкель», атаковавшие рыбацкие суда. Невооруженный «Фламинго» нырнул вниз и, находясь на высоте 100 футов над морем, понесся домой. Согласно инспектору Томпсону, один из нацистских истребителей обстрелял их, но им удалось ускользнуть и благополучно приземлиться в Хендоне[109].

На прощание Черчилль сказал Рейно, что надеется, «если произойдет какое-либо изменение положения, французское правительство немедленно даст знать английскому правительству для того, чтобы можно было встретиться в любом удобном месте прежде, чем французское правительство примет какое-либо окончательное решение, которое определит его действия во второй фазе войны». Понятно, что союзники Англии дошли до предела. В тот же день, поздно вечером, стало известно о капитуляции британской 51-й дивизии в Сен-Валери-ан-Ко, потере более 12 тысяч человек. Джок Колвилл написал в дневнике: «Говоря о капитуляции 51-й дивизии, У. [Уинстон] сказал, что это самое страшное бедствие, которое мы пережили»[110].

В ночь с 12 на 13 июня, когда Черчилль готовился ко сну, позвонил Рейно. Почти ничего не было слышно. В конце концов Колвиллу удалось связаться с одним из помощников Рейно. Новости были

безрадостные: французский премьер-министр с советниками переехали из Бриара в Тур; Рейно хотел, чтобы Черчилль встретился с ним в префектуре Тура в тот же день, 13 июня. Это был пятый полет Черчилля во Францию менее чем за четыре недели. В 11:00 Черчилль, Исмей, Иден, Бивербрук, Галифакс и Кадоган собрались в Хендоне. «Фламинго» в сопровождении восьми «Спитфайров», обогнув Нормандские острова, вошел в воздушное пространство Франции над Сен-Мало.

Бушевала гроза, но «Фламинго» и самолетам сопровождения удалось приземлиться на взлетную полосу, изрытую воронками (накануне аэродром подвергся ожесточенной бомбардировке). На летном поле не было ни единого человека. Никто не пришел их встречать. Они озирались в поисках людей и заметили группу французских летчиков, слонявшихся у ангара. Черчилль подошел к ним и на своем ужасном французском сказал, что его фамилия Черчилль, он премьер-министр Великобритании и будет признателен, если они смогут предоставить ему «une voiture» (машина), чтобы отвезти его и сопровождающих его лиц в городскую префектуру. Летчики одолжили ему маленький гоночный автомобиль, в который они с трудом втиснулись; машина не была рассчитана на длинные ноги Галифакса и тучное тело премьер-министра. В префектуре никто их не знал и ни у кого не было времени заниматься ими. К счастью, пришел офицер, который узнал их и отвел в небольшой ресторан, где им подали холодного цыпленка, сыр и вино Vouvray (Вувре)[111].

Там их нашел Поль Бодуэн. В своей, по выражению Черчилля, «мягкой, вкрадчивой манере» Бодуэн поведал им о безнадежности французского сопротивления. Никто не знал не только когда появится Рейно, но и где он находится. Наконец он пришел в сопровождении генерала Спирса и сэра Дональда Кэмпбелла, британского посла. Встреча, которой было суждено стать последней встречей Conseil Superieur de la Guerre (Высшего военного совета), проходила в небольшой, убого обставленной комнате, выходящей окнами в запущенный сад. В комнате стояли стол и разномастные стулья; Рейно занял место председателя. Черчилль сел на кожаный стул и незаметно наблюдал за хозяевами. Он столкнулся с раздвоением личности Франции. Рейно — которого по-прежнему поддерживало большинство в сенате и Национальном собрании — занимал непреклонную позицию в отношении борьбы с нацистским варварством, считая, что лучше смерть, чем бесчестье, и Черчилль разделял его мнение. Черчилль знал, что Бодуэн был представителем капитулянтов; в своем итоговом отчете Уайтхоллу* Кэмпбелл описал Бодуэна как человека, у которого «до-

* Название этой улицы, на которой расположены большинство правительственных зданий, уже давно стало нарицательным обозначением правительства Великобритании.

минирующими побуждениями были страх и желание находиться в хороших отношениях с завоевателем после неизбежного поражения».

Даже сейчас Черчилль не осознавал, до какой степени эти люди жаждали мира. Американский посол во Франции Уильям Буллит, не являвшийся поклонником британцев, сообщил в Вашингтон, что «многие партнеры страдают, они надеялись, что Германия быстро и окончательно победит Англию и что итальянцев постигнет та же участь». Что касается собственной страны, доложил Буллит, то они надеются, что Франция станет «любимой провинцией Гитлера»[112].

Рейно сообщил британцам, что Вейган объявил Париж открытым городом; танки в Реймсе; нацистские войска вышли к Сене и Марне. Слишком поздно отступать к Бретонскому редуту. Сам он хотел «отступить и продолжить, но будут гибнуть люди; Франция прекратит существование». Следовательно, есть только один выход — «перемирие или мир». Рейно спросил, «какова будет позиция Англии в случае, если произойдет худшее», и поднял вопрос об обязательстве — взятом по настоянию Франции и подписанном им, — «в силу которого никто из союзников не должен заключать сепаратный мир». Французы хотели, чтобы их освободили от обязательства. Они, сказал Рейно, «уже пожертвовали всем ради общего дела», «у них ничего не осталось», и они будут глубоко потрясены, если англичане окажутся не в состоянии понять, что они «физически не способны продолжать борьбу». Осознает ли Великобритания суровую реальность, с которой столкнулась Франция?

Капитуляция не единственная альтернатива войне, спокойно заметил Спирс, в то время как Черчилль, нахмурившись, обдумывал ответ. Великобритания, наконец ответил он, понимает, «как много испытаний пришлось вынести и приходится выносить Франции сейчас». Если бы британские экспедиционные силы не были отрезаны на севере, то сейчас они сражались бы рядом с французами. «Великобритания сожалеет, что ее вклад в борьбу на суше в настоящее время так незначителен вследствие неудач, явившихся результатом примененной на севере согласованной стратегии». Англичане сидели молча; они давно ждали, что он скажет это. Нехватка истребителей не являлась причиной нынешнего кризиса. Решение не учитывать угрозу со стороны Арденн и направить лучшие союзные войска в Бельгию было принято французским командованием. Англичане еще не испытали на себе, сказал Черчилль, но представляют, какова сила немецкого удара. «Англия будет продолжать сражаться. Она не отступила и не отступит от своего решения: никаких условий, никакой капитуляции». Он надеется, что Франция будет продолжать сражаться южнее Парижа и до самого моря, а если будет необходимость, то и в Северной Африке. Необходимо во что бы то ни стало выиграть время. «Период ожидания не безграничен. Обязательство со стороны Соединенных

Штатов значительно сократило бы его». «Твердое обещание американцев, — сказал он, — будет иметь огромное значение для Франции».

Черчилль хватался за соломинку. Он прекрасно знал, что Конституция Соединенных Штатов ограничивает свободу действий Рузвельта. Кроме того, Рузвельт заявил о намерении баллотироваться на третий срок, и, конечно, не стал бы вступать в войну из опасения потерять голоса избирателей. В июне Рузвельт действительно не делал никаких заявлений; он только сообщил американцам, что выполнит решение июльского съезда Демократической партии. Кроме того, премьер-министр знал, что в то время у Вашингтона не было оружия для Франции. Рейно тоже об этом знал. Хотя и несведущий в американской политике, французский премьер-министр в течение первых шести военных месяцев, будучи ministre de finance — министром финансов, покупал оружие у Соединенных Штатов и знал, насколько незначительной была у них материальная часть. Тем не менее он допускал возможность американского вмешательства. Как он заблуждался! Черчилль был не прав, вселяя в него надежду, но основная часть вины лежит на после Буллите. Алистер Хорн отмечает, что «через него [Буллита] французскому правительству давали основание ожидать получение значительно большей помощи, чем в то время имелась реальная возможность»[113].

Черчилль настаивал, чтобы французы обратились к американскому президенту, и после недолгих колебаний французский премьер-министр согласился обратиться к Рузвельту. Однако в очередной раз попытался получить согласие Великобритании на сепаратный мир. Черчилль ответил, что «мы ни в чем не будем упрекать Францию, но это не означает согласия освободить ее от принятого ею обязательства». Затем он сообщил, что Королевский флот близок к организации жесткой блокады Европейского континента, которая может привести к голоду, от которого не удастся спасти оккупированную Францию. Французы не могут выйти из войны и остаться в хороших отношениях с британцами. Встревоженный его словами Рейно мрачно заметил: «Это может привести к новой, очень серьезной ситуации в Европе»[114].

Переговоры зашли в тупик. Спирс передал Черчиллю записку с предложением сделать паузу. Черчилль сказал Рейно, что должен переговорить с коллегами в «dans le jardin [в саду]». Англичане вышли в сад, по словам Спирса, «отвратительный прямоугольник» с грязными дорожками. Спустя двадцать минут Бивербрук сказал: «Ничего не остается, как повторить то, что ты уже сказал, Уинстон. Телеграфировать Рузвельту и ждать ответ». И добавил: «Нам здесь нечего делать. Пора отправляться домой».

Так они и поступили. Теперь все зависело от ответа из Вашингтона. Рейно, с которым был солидарен де Голль, казалось, верил, что американцы спасут его страну. Перед отъездом Черчилль сказал, что

во Франции среди военнопленных есть 400 летчиков люфтваффе, и попросил, чтобы их отправили в Англию. Французский премьер-министр с готовностью согласился. Проходя мимо де Голля, премьер-министр, понизив голос, сказал: «L'homme du destin [избранник судьбы]». Генерал никак не отреагировал на его слова, но понял: французские войска, сбежавшие из Дюнкерка в Великобританию, сформировали армию, но остались без командующего. Французские войска в Бретани, готовые воевать, тоже нуждаются в руководстве. Днем раньше Колвилл записал в дневнике: «Уинстон много думает о молодом французском генерале де Голле». Его слова, обращенные к де Голлю, означали одновременно и вызов, и обещание поддержки, если де Голль возглавит сопротивление в Бретани. На определенном уровне всем было ясно, что союзу пришел конец, и, судя по последним неделям, он должен был закончиться гротескной сценой. Когда Черчилль вышел из префектуры, графиня де Порт крикнула: «Господин Черчилль, моя страна истекает кровью. Мне есть что сказать, и вы *должны* выслушать меня. Вы должны выслушать мое мнение об этом. Вы должны!» Черчилль, не обращая на нее внимания, сел в машину. Позже он заметил: «Она могла утешить его. Я — нет»[115].

То, что сделал Бодуэн, было более непростительным. Время от времени, когда говорил Рейно, Черчилль иногда кивал или говорил: «Je comprends» («Я понимаю»), показывая, что понял то, что было сказано раньше, чем ему перевели. После отъезда Черчилля де Голль, отозвав Спирса в сторону, сказал, что Бодуэн «сообщил всем без исключения, главное, журналистам», что Черчилль продемонстрировал «полное понимание положения, в котором оказалась Франция, и проявит понимание, если Франция заключит перемирие и сепаратный мир». Де Голль спросил: «Черчилль действительно так сказал?» Если он так сказал, то это окажет влияние на тех, кто не был готов нарушить обязательства Франции, и позволит капитулянтам заявить, если даже британцы согласны, что в борьбе нет никакого смысла.

Спирс ответил, что Черчилль не говорил ничего подобного, и бросился на аэродром, надеясь, что «Фламинго» еще не взлетел. Он успел вовремя, и получил подтверждение своим словам, сказанным де Голлю. Черчилль сказал Спирсу: «Когда я говорил «Je comprends», это означало, что я понял. В переводе с французского comprends означает «понимать», не так ли? Когда на этот раз я правильно употребил французские слова, они зашли слишком далеко в своих предположениях относительно того, что я имел в виду нечто совсем иное. Скажите им, что мой французский язык не настолько плох». Спирс передал его слова, но большая часть французов поверила Бодуэну, очевидно, потому, что он сказал то, что они хотели услышать. Ложь проникла на страницы официальных французских докладов и даже использовалась против Черчилля, когда он пытался напомнить французам о со-

глашении, обязывающем обе стороны не заключать никаких сделок с противником. Во время переговоров о перемирии адмирал Дарлан заявил, что, «если мы не можем больше сражаться, флот не должен попасть в руки каких-либо других продолжающих воевать сторон. Не следует забывать, что британский премьер-министр 11 июня [так!] заявил о такой необходимости, если Франция прекратит борьбу. Он подтвердил эту необходимость и выразил свои симпатии нашей стране. Сегодня он не сказал ничего другого»[116].

В обращении Рейно, переданном по телеграфу в Вашингтон утром 14 июня, говорилось, что «единственный шанс спасения французской нации заключается лишь в том, что Америка бросит на весы, причем немедленно, всю свою мощь». Если же этого не произойдет, говорилось далее, «тогда вы увидите, как Франция, подобно тонущему человеку, погрузится в воду и исчезнет, бросив последний взгляд на землю свободы, от которой она ожидала спасения». В Вашингтоне Государственный секретарь Корделл Халл назвал обращение Рейно «странным, практически истеричным». Однако американский президент зашел дальше, чем хотели Халл и другие советники. Он заверил французского премьер-министра, что «правительство США делает все, что в его силах, чтобы предоставить союзным правительствам материальную помощь, которая им срочно требуется, и удваивает свои усилия, стремясь сделать еще больше. Это объясняется тем, что мы верим и поддерживаем идеалы, ради которых сражаются союзники». Рузвельт сообщил, что «лично на меня особенно сильное впечатление произвело ваше заявление о том, что Франция будет продолжать сражаться во имя демократии», даже в Северной Африке.

Хотя Рузвельт подчеркнул, что не может взять на себя обязательства по собственной воле, Черчилль объяснил военному кабинету, что послание Рузвельта практически «равносильно вступлению в войну». По мнению Бивербрука, американцам теперь ничего не оставалось, как объявить войну, но это было всего лишь очередное хватание за соломинку. Показательно, что президент не обнародовал свою телеграмму и, когда британский премьер-министр попросил разрешения сделать это, он отказал ему в просьбе. 14 июня — в день падения Парижа и бегства французского правительства в Бордо — Колвилл написал в дневнике: «Похоже, надежды премьер-министра на немедленную помощь американцев были преувеличены. Рузвельт будет действовать осмотрительно, но все дело в том, что Америка застигнута врасплох в военном и промышленном отношении. Она может стать полезной для нас через год, но мы живем от часа к часу». В тот день вышел приказ об эвакуации из Франции остатков британского экспедиционного корпуса[117].

Де Голль, направленный в Лондон в качестве офицера связи, высказал предложение, рожденное отчаянием. 16 июня на обеде с Чер-

чиллем и французским послом де Голль настойчиво доказывал, что требуется «какой-то драматический шаг», чтобы не дать Франции выйти из войны. Де Голль высказал мысль, что таким шагом могло бы стать «провозглашение нерасторжимого союза французского и английского народов». Черчиллю идея понравилась; военный кабинет одобрил ее, и де Голль сразу вылетел в Бордо. Спирс пишет, что прочитав проект декларации о союзе, Рейно «преобразился от радости». Она появилась, сказал он, в самый подходящий момент. В 17:00 собрался совет министров Франции, чтобы решить, «возможно ли дальнейшее сопротивление», и премьер-министр сказал Спирсу, что, по его мнению, декларация о союзе может сорвать перемирие. С ними была любовница премьер-министра, Элен де Порт — она знала все государственные секреты; один важный документ, пропавший на несколько часов, был найден в ее кровати — и она прочла проект декларации. Всем, что узнала, она поделилась с Бодуэном. И еще до того, как Рейно смог сообщить министрам новости, они уже знали обо всем и подготовили аргументы против принятия декларации.

Тем временем Черчилль готовился в очередной раз пересечь Ла-Манш, но теперь на борту военного корабля в ночь с 16-го на 17-е. В 21:30 он сел в специальный поезд на вокзале Ватерлоо, собираясь выехать в Саутгемптон. Клементина приехала проводить его. Кэтлин Хилл, сопровождавшая Черчилля, вспоминала: «Мы заняли наши места в поезде. Отправление задерживалось. Что-то случилось». Посол Кэмпбелл позвонил на Даунинг-стрит, 10 и сообщил, что встреча не состоится из-за «министерского кризиса» в Бордо. Черчилль вышел из вагона, как он позже написал, «с тяжелым сердцем». Он знал, что последует за этим, и Колвилл записал с его слов: «Рейно уйдет в отставку, не выдержав давления... Петен сформирует правительство предателей, включая Лаваля, и теперь Франция, конечно, попросит перемирия, несмотря на данное нам обещание». Позже Колвилл добавил: «Кабинет собрался в 11:00, и вскоре мы узнали, что Петен приказал французской армии сложить оружие». Черчилль прорычал: «Еще одна окровавленная страна ушла на запад»[118].

Колвилл пишет: «После заседания кабинета премьер-министр мерил шагами сад, в одиночестве, склонив голову, держа руки за спиной. Он, несомненно, обдумывал, как наилучшим образом можно спасти французский флот, воздушные силы и колонии. Он, я уверен, останется непоколебим»[119].

В Бордо де Голль оказался в ловушке. Люди, формировавшие новое французское правительство, считали, что он являлся — а это так и было — их врагом. Они представляли одну Францию, он — другую; они понимали, что, если оставить его на свободе, он разделит страну и оскорбит нацистов, слугами которых они стали. Он считал их сепа-

ратный мир позором. Он был настроен продолжать войну, и британцы по-прежнему были его союзниками. С ними он связывал свою надежду на бегство отсюда и формирование новой армии в свободной стране, но британцы покидали новую Францию, которая, по их мнению, не желала добра ни им, ни ему.

Вопрос был уже решен. Французские капитулянты готовились переезжать в Виши — подходящее место для нового правительства Петена, едко прокомментировала Times, ведь Виши — курорт, пользующийся успехом у инвалидов. Они уже готовили законы о ликвидации республики и установлении диктатуры, когда генерал Спирс и посол Кэмпбелл прибыли в Бордо, во временный штаб премьер-министра, расположенный на улице Витал-Карлес. Они надеялись убедить его продолжать исполнять свои обязанности. Надежды, которым было не суждено сбыться — он утратил власть над своим кабинетом и подал прошение об отставке. В 22:00 они вошли в огромный полутемный холл. Когда они подошли к широкой лестнице, Спирс заметил высокую фигуру, прятавшуюся за одной из колонн. Это был де Голль, позвавший его громким шепотом. Он сказал: «Мне необходимо поговорить с вами. Чрезвычайно срочно». Когда генерал объяснил, что их ждет Рейно, де Голль прошептал: «У меня есть серьезные основания полагать, что Вейган собирается арестовать меня». Спирс попросил оставаться на месте и, после короткой, грустной встречи с Рейно, предложил встретиться в расположенном по соседству гранд-отеле «Монтрё»[120].

Де Голль изложил план оказания поддержки французскому движению Сопротивления с использованием Лондона в качестве базы. Спирс одобрил план и позвонил Черчиллю; премьер-министр дал согласие. У Спирса был самолет в аэропорту Бордо. Они вылетали в семь утра 17 июня. Спирс так и не узнал, где де Голль провел ночь — в отеле было слишком опасно, — но утром самозваный лидер «свободных французов» (как называли себя пуалю, сбежавшие в Великобританию) появился с помощником и огромным количеством багажа. Поскольку охота на де Голля уже началась, они с помощником должны были делать вид, будто приехали проводить Спирса. По словам Спирса, «самолет начал двигаться, и я втянул де Голля на борт», помощник скользнул следом. Де Голль прибыл на Даунинг-стрит, 10 как раз к обеду. Петен, узнав, что произошло, созвал военный суд. Покинувшего родину генерала признали виновным в измене и заочно приговорили к смертной казни. У Черчилля, конечно, было на этот счет другое мнение. Он написал, что «на этом маленьком самолете де Голль увез с собой честь Франции»[121].

Де Голль был одним из тысяч других, сбежавших на той неделе из Etat Français — Французского государства, или вишистской Франции. Когда 17 июня армии прекратили боевые действия — первый

день британского одиночества, — во французских портах и аэропортах царило нечто невообразимое. Беженцы из Австрии, Чехословакии, Польши и Скандинавии, многие из которых были евреями и нашли убежище во Франции. Их имена значились в списках гестапо, они знали об этом и теперь обезумели от ужаса. Пилоты и команды обслуживания ВВС Великобритании отправлялись домой. 40 тысяч британских солдат вместе с бельгийскими и польскими солдатами эвакуировались из Бреста, Шербура, Сен-Назера и Сен-Мало. Это было время страшных трагедий, не замеченных в то время и забытых в ближайшие пять лет борьбы за господство на Европейском континенте. Единственное, что потрясло мир даже в военное время, — гибель при выходе из Сен-Назера лайнера «Ланкастрия», на борту которого находились 5 тысяч солдат и гражданских беженцев. Нацистские бомбардировщики утопили лайнер, погибли 3 тысячи человек. Черчилль запретил публиковать эту информацию, сказав, что «газетам сегодня и без этого хватает страшных сюжетов». Среди людей, вынужденных покинуть родные места, были Вильгельмина, королева Нидерландов, которой предоставил убежище король Георг; Сомерсет Моэм, сбежавший со своей виллы в Каннах на лодке вместе с товарищами по несчастью, который в течение трех недель не менял одежду; и, самое удивительное, герцог Виндзорский, бывший король Эдуард VIII, со своей герцогиней из Балтимора.

16 июня, когда в номере гостиницы в Бордо де Голль объяснял свой план генералу Спирсу, зазвонил телефон. Генри Мак, секретарь посла сэра Рональда Кэмпбелла, ответил и, к своему изумлению, понял, что говорит с герцогом, звонившим из Ниццы. Они с герцогиней остались в Ницце, объяснил он. Нельзя ли прислать за ними эсминец? Потрясенный Мак объяснил, что в гавани Бордо есть единственное британское судно, и это углевоз — судно, предназначенное для перевозки угля. Он посоветовал Виндзорам отправиться в Испанию. Что они и сделали. Они остановились у сэра Сэмюэла Хора, британского посла в Мадриде: герцог решил положиться на Уинстона Черчилля — в конце концов, они были старыми друзьями. Черчилль чуть не разрушил свою карьеру, пытаясь удержать герцога, в то время короля, на троне. Теперь Виндзор захотел вернуться в Англию. Кроме того, он настаивал на официальном назначении на должность. «В свете прошлого опыта, моя жена и я не должны еще раз пройти через понимание того, что британская общественность рассматривает мой статус иным, нежели статус других членов моей семьи». Все это он изложил в телеграмме Черчиллю. В свою очередь, Хор сообщил, что они хотят получить аудиенцию у короля и королевы, и эта новость появилась в «Придворном циркуляре»[122].

Помимо того, что Черчилль был занят больше, чем любой другой премьер-министр в истории Англии, не могло идти речи об обсуждении

любого из этих требований. Королевская семья, и в особенности Мария, королева-мать, ненавидели герцогиню Виндзорскую, и их мнение о ее муже резко ухудшилось после того, как они узнали, что герцог Виндзорский с женой восхищаются Гитлером. С началом войны Виндзоры перестали открыто демонстрировать свои пронацистские настроения, но остались ярыми антисемитами и вошли в круги, разделявшие их взгляды. Кроме того, хотя герцог, возможно, забыл об этом, он носил форму. Когда началась Вторая мировая война, герцогу Виндзорскому присвоили звание генерал-майора британской армии и направили офицером связи во французский Генеральный штаб. После того как немцы вошли в Париж, герцог получил назначение в Armée des Alpes, а затем был переведен в военный штаб в Ницце. Хотя секретарь посла Кэмпбелла посоветовал герцогу с женой уехать в Испанию, никто не давал ему на это разрешения. И что с ним было делать?[123]

Король Георг VI сказал Черчиллю: «Не пускайте его в Англию *любой ценой*». Черчилль телеграфировал герцогу, коротко напомнив ему, что он «имеет воинское звание» и «отказ подчиняться приказам» может иметь серьезные последствия. Личный секретарь короля предложил отправить герцога в Каир, в штаб армии; Черчилль отверг это предложение. К тому времени Виндзоры были уже в Лиссабоне и, по сообщению британского агента, поведение герцогини вызывало тревогу: по слухам, она заявила, что они с мужем допускают возможность победы Германии. Личный секретарь короля написал на Даунинг-стрит, 10, что «не в первый раз эта дама попадает под подозрение за ее антибританскую деятельность, и, пока мы будем помнить о том, какие она готова предпринять усилия, чтобы отомстить за себя этой стране, мы будем в порядке».

Король предложил назначить брата губернатором Багам. Это было унизительное назначение для члена королевской семьи; Багамы, Фолклендские острова и Гана — Золотой Берег — не имели особой значимости. Однако Черчилль, у которого были дела поважнее, чем обустройство Виндзоров, предлагая герцогу пост губернатора Багам, добавил: «Я уверен, что это наилучший вариант, исходя из того печального положения, в котором мы все сейчас находимся. Во всяком случае, я сделал все, что от меня зависело». В тот же день, после разговора с герцогом, Черчилль спросил Бивербрука: «Как ты думаешь, Макс, он согласится?» Колвилл, присутствовавший при их разговоре, пишет, что Бивербрук сказал: «Он испытает огромное облегчение», а Черчилль добавил: «Вдвое меньшее, чем брат»[124].

Виндзор согласился, хотя заметил, что не расценивает свое назначение как «одно из имеющих важное значение», и добавил, что «король с королевой явно не хотят покончить с нашими семейными разногласиями». Но это было еще не все. Есть определенные условия, сказал премьер-министр. Двое слуг герцога призывного возраста

должны служить в армии, и ни герцогу, ни герцогине не разрешается посещать Соединенные Штаты. Премьер-министр предупредил, что «тонкий, недружелюбный слух будет улавливать любое высказывание о войне, немцах и гитлеризме, отличное от принятого британским народом и парламентом... Даже когда вы были в Лиссабоне, разные источники, которые, возможно, представляли в невыгодном свете, передавали разговоры по телеграфу». Предупреждая Рузвельта о том, что герцог находится на пути к месту назначения, Черчилль пояснил, что он «причиняет некоторые неудобства его величеству и правительству его величества» и что «нацистские интриганы, теперь, когда большая часть континента находится в руках врага, пытаются, используя его, доставить нам неприятности»[125].

Свое письмо Виндзору Черчилль закончил словами: «Думаю, что ваше королевское высочество не будет возражать против этих предостережений». Герцог, конечно, возражал и презирал их всех, вместе взятых. В интервью американскому журналу Liberty он призвал изоляционистов не останавливаться ни перед чем, чтобы не дать Соединенным Штатам вступить в войну. И это в то время, когда Черчилль делал все возможное, чтобы вовлечь США в войну. Герцог и герцогиня объяснили своим американским гостям, что их страна совершит большую глупость, если будет сражаться на стороне Англии. Слишком поздно, сказали они; с Великобританией покончено[126].

18 июня было полнолуние — луна бомбардировщика. Колвилл записал об этом в дневнике, добавив, что «теперь начнутся воздушные налеты. Прошлой ночью они были сильнее, чем раньше, пострадал Кембридж, разрушено несколько зданий». Колвилл был прав. С прошлой осени немцы периодически совершали налеты в поисках промышленных и военных объектов. Теперь немецкие бомбардировщики появлялись регулярно[127].

Капитуляция французов 22 июня, когда британцы были готовы бороться до конца, потрясла Великобританию. Британцы начали понимать, что тот образ жизни, который они знали и любили, исчезает. Они жили словно во сне. Кондукторы автобусов молча компостировали билеты; разносчики газет, обычно веселые и смешливые, молча раздавали газеты. Никто не помнил, чтобы в Лондоне когда-нибудь было так тихо. «В местах, где обычно царила веселая и шумная суматоха, стояла необычная тишина», — написал американский обозреватель. А вот что написала в The New Yorker от 28 июня Молли Пэнтер-Доунес: «Невыносимые условия капитуляции, принятые Францией, повергли в шок народ, который поверил Петену, когда он заявил, что Франция не пойдет на постыдную капитуляцию... Среднему, не обладающему информацией гражданину трудно представить, что может

быть позорнее, чем договор, согласно которому сдаче подлежат оружие войны, аэродромы и самолеты, промышленные зоны»[128].

Действия Черчилля против французского флота следует рассматривать в этом контексте гнева и горечи. Поведение адмирала Жана Луи Ксавье Франсуа Дарлана было двуличным. Являясь начальником штаба ВМФ Франции, он дал торжественное обещание своему окружению, что, если события приведут к перемирию с нацистами, он отдаст приказ, чтобы все французские военные корабли нашли убежище в британских портах. Он заявил, что в случае необходимости передаст все корабли под флаг Соединенного Королевства. Он сказал члену Chambre des Deputes (палата депутатов), который входил в его штаб: «Если перемирие будет подписано, я завершу свою карьеру блестящим актом неповиновения: уплыву с флотом». Поздно вечером 16 июня, когда до прекращения огня оставалось несколько часов, Дарлан заверил сэра Рональда Кэмпбелла: «Пока я отдаю приказы, вам нечего бояться». Ему поверил даже де Голль. «Феодал, — сказал он, — не сдает свое владение»[129].

Во время войны Дарлан неожиданно стал самым влиятельным человеком. Армия Вейгана превратилась в неуправляемую толпу, а французский флот — четвертый по величине в мире после английского, американского и японского — имел в своем составе одни из самых быстроходных, современных кораблей: три новых и пять старых линкоров, восемнадцать тяжелых крейсеров, двадцать семь легких крейсеров, шестьдесят подводных лодок и более пятидесяти эсминцев. Захвати Гитлер только треть французского флота, он бы сразу вдвое увеличил немецкий флот. Британская армия была малочисленной и почти безоружной; люфтваффе по численности превосходили Королевские ВВС. Стране, чтобы выжить, было жизненно важно сохранить господство на море, но если бы французский, германский и итальянский флоты объединились, то Королевский флот был бы уничтожен. По мнению Черчилля, «адмиралу Дарлану стоило отплыть на любом из своих кораблей в любой порт за пределами Франции, чтобы стать хозяином всех французских владений, находившихся вне германского контроля» — короче говоря, всей Французской колониальной империи[130].

Почему он не сделал этого? Похоже, на то было несколько причин. Его ненависть к британцам имела глубокие корни; он считал, что для французов нет никакой разницы между Англией (так французы всегда называли Великобританию) и Германией; Петен предложил ему власть; он был убежден, что войну выиграют нацисты. Дарлан сказал послу Буллиту, что «уверен в том, что Германия победит Великобританию за пять недель, если Великобритания не капитулирует раньше». Когда Буллит заметил, что Дарлана, похоже, устраивает такая перспектива, адмирал улыбнулся и кивнул в знак согласия. Что касается его обещаний, он сохранил достоинство, по крайней мере в собствен-

ных глазах, выйдя в отставку и заняв должность морского министра в правительстве Петена. Теперь он был обязан проводить в жизнь политику нового правительства, одобрял он ее или нет[131].

22 июня на заседании военного кабинета первый морской лорд, адмирал Дадли Паунд, сказал, что Дарлан предпринял «все возможные шаги», пытаясь помешать тому, чтобы его корабли попали в руки нацистов. По мнению Черчилля, они не могли полагаться на слова одного человека, поскольку этот вопрос имел «крайне важное значение для безопасности всей Британской империи». Его слова подтвердились через несколько часов. В 18:50 они узнали об условиях перемирия. Французы подписали соглашение о перемирии, не посоветовавшись с союзником. В статье 8 соглашения оговаривалось, что французский флот, за исключением той его части, которая была оставлена для защиты французских колониальных интересов, «будет сосредоточен в определенных портах и там демобилизован и разоружен под германским или итальянским контролем».

Британцев предали. Врагу перешли корабли в полном вооружении. Гитлер заявил, что «не имеет намерения использовать французский флот в своих целях во время войны. Но кто, находясь в здравом уме и твердой памяти, поверил бы слову Гитлера после его позорного прошлого и последних фактов? И наконец, соглашение о перемирии могло быть в любой момент объявлено недействительным под предлогом его несоблюдения»[132].

Британская морская блокада Балтики — закрытие проливов Скагеррак и Каттегат для немецких судов — была прервана после капитуляции Франции. Немцы уже контролировали европейские порты от Норвегии через Данию, Голландию, Бельгию и Францию до Бискайского залива. Захват портовых городов — Дьепа, Шербура, Бреста, Сен-Назера, Ла-Рошели, Гавра и Лорьяна — полностью изменил динамику войны. Действуя из этих портов, субмаринам рейха понадобилось бы всего день-два, чтобы выйти на британские судоходные пути. Теперь торговым судам пришлось отказаться от южных маршрутов и использовать северный обходной путь.

В Средиземноморье, в западной части которого безопасность обеспечивал французский флот, тоже возникла угроза. Французский флот, попавший в руки немцев и итальянцев, больше не был дружественным и, как позже заметил Черчилль, грозил «Англии смертельной опасностью». Британцы, чтобы заполнить место, которое занимали французы в Западном Средиземноморье, подтянули корабли флота метрополии — готовясь к возможному вторжению — для создания в Гибралтаре соединения «Н» («Эйч»), ударной группы, состоявшей из крейсера, линкоров, авианосца и эсминцев. Перед командующим соединением «Эйч» вице-адмиралом Джеймсом Соммервиллем стояли три задачи: не позволить немцам войти в Средиземноморье, сдержи-

вать итальянцев и подвергнуть морской блокаде вишистскую Францию и ее северо-западные африканские доминионы. Но как убрать французский флот?[133]

Черчилль столкнулся, как он позже написал, с «решением, самым неестественным и болезненным, в котором был когда-либо заинтересован». Не бывает легких решений, хотя кое-кто так не думал. 25 июня Джордж Бернард Шоу написал Черчиллю: «Почему бы не объявить войну Франции и захватить ее флот, прежде чем А.Г. [Адольф Гитлер] переведет дух?» Черчилль понимал, что любое использование силы для нанесения ущерба французскому флоту приведет в ярость Виши. Однако враждебности французов было не избежать в любом случае, поскольку все туже затягивалось кольцо британской блокады. А потому военный кабинет, с Черчиллем, любящим риск, одобрил операцию, которая, по словам премьер-министра, включала «одновременно захват, контроль и эффективное выведение из строя всего доступного французского флота». Доступными были суда в английских водах и стоявшие на якоре в Александрии, алжирском городе Оране и в Дакаре, в Западной Африке[134].

Первая фаза британской операции носила кодовое название «Захват». В ночь на 3 июля вооруженные абордажные команды захватили французские корабли в портах Портсмут, Плимут, Фалмут, Саутгемптон и Ширнесс. Нападение было столь неожиданным, что французы практически не оказали сопротивления, за исключением экипажа подводной лодки «Сюркуф», когда погиб один французский и один английский моряк. Легкость, с какой были захвачены французские корабли, показала, по словам премьер-министра, «насколько просто немцы могли завладеть любыми судами, находящимися в портах, которые они контролировали»[135].

Вторая фаза, операция «Катапульта», была более сложной. Премьер-министр описал ее как «смертельный удар... в западной части Средиземного моря». В восточной части Средиземноморья, Александрии, все прошло гладко, им повезло. Дарлан приказал вице-адмиралу Рене Годфруа перебазировать эскадру в Бизерту, являвшуюся базой французского военно-морского флота в Северной Африке. В свою очередь, адмирал сэр Эндрю Браун Каннингем (Andrew Browne Cunningham — «ABC», как называли его друзья), командующий Средиземноморским флотом, получить приказ остановить Годфруа. Адмиралы, поддерживавшие дружеские отношения, уладили проблему по-джентльменски: Годфруа слил топливо и передал на хранение во французское консульство в Александрии замки с орудий. Стороны подписали соглашение, таким образом Каннингем выполнил приказ, не унизив чести Годфруа[136].

Иначе обстояло дело в Мерс-эль-Кебире, военно-морской базе на побережье Алжира, в 3 милях к западу от Орана. Здесь находилось силь-

ное военно-морское соединение, в состав которого входили два линкора и два современных линейных крейсера, «Дюнкерк» и «Страсбург», созданные как противовес немецким «Шарнхорсту» и «Гнейзенау», которые доказали свою разрушительную силу в сражении с британцами у берегов Норвегии. Нельзя было позволить «Дюнкерку» и «Шарнхорсту» попасть в руки немцев. Французский командующий, вице-адмирал Марсель Жансуль, привел флот в боевую готовность, сообщив, что настороженно относится к британцам. По мнению адмирала Паунда, только «внезапное нападение на рассвете и без предупреждения» позволит уничтожить французский флот в Мерс-эль-Кебире. Но это был неприемлемый вариант. Многие офицеры Королевского флота были шокированы этим предложением; всего неделю назад французы были их товарищами, и они даже не могли думать о том, чтобы открыть по ним огонь без предупреждения. Итак, перед вице-адмиралом Соммервиллом стояла одновременно и трудная и деликатная задача; Черчилль назвал ее «одной из самых противоречивых и трудных задач, которую когда-либо получал британский адмирал».

Соединение, которым командовал Соммервилл, прибыло в Мерс-эль-Кебир 3 июля утром, в начале десятого. В его состав входили линкоры «Валиант» и «Резолюшн», старый, внушавший ужас линейный крейсер «Худ»*, одиннадцать эсминцев и авианосец «Арк Ройал».

Соммервилл направил адмиралу Жансулю четыре предложения, предоставив право выбора:

1. Увести корабли в английские порты и продолжать сражаться вместе с Англией.

2. Направиться в один из английских портов.

3. Направиться в какой-либо французский порт в Вест-Индии, где корабли можно передать под охрану Соединенных Штатов до конца войны.

4. В течение шести часов потопить свои корабли.

Послание Соммервилла заканчивалось словами: «У меня есть приказ правительства Его Величества использовать все необходимые силы для предотвращения попадания Ваших кораблей в руки немцев или итальянцев»[137].

Переговоры продолжались в течение восьми часов. Жансуль утверждал, что ни при каких обстоятельствах не позволит захватить свои корабли нацистам, которые до сегодняшнего дня были их общими врагами. Однако, получив ультиматум, Жансуль решил защищаться

* Этот крейсер на протяжении двух десятков лет олицетворял мощь британского флота, будучи самым крупным военным кораблем в мире. Он действительно производил сильное впечатление. 24 мая 1941 года при попытке перехватить германский линкор «Бисмарк» в Северной Атлантике «Худ» погиб в результате попадания одного или более 380-мм снарядов в погреб боезапаса. Спаслось только три члена экипажа из 1421.

всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Соммервилл радировал в Лондон, что французы не выказывают признаков выхода из гавани в море. Черчилль через адмиралтейство передал Соммервиллю, что он должен выполнить возложенную на него задачу, какой бы неприятной она ни была. Соммервилл насколько возможно оттягивал развязку, сообщая в адмиралтейство, что французы ждут распоряжений от своего правительства и что у него проблемы с минированием. Но, поскольку день подходил к концу, он понял, что французский адмирал тянет время. Британская разведка перехватила сообщение нового французского правительства в Мерс-эль-Кебир. Дарлан приказал Жансулю ответить «силой на силу». Он информировал немцев о происходящем и сообщил Жансулю, что к нему направляются все французские корабли, находившиеся в Средиземном море. Адмиралтейство радировало Соммервиллу: «Быстро уладьте вопрос, или Вам придется иметь дело с французским подкреплением»[138].

В 17:55 британский адмирал отдал приказ открыть огонь. Через десять минут взорвался один французский линкор, а другой выбросило на берег. «Дюнкерк», севший на мель, добили бомбардировщики с авианосца Арк Ройал; погибли 1250 французских моряков. Спастись удалось только «Страсбургу», который скрылся в сгущавшейся темноте[139].

Мерс-эль-Кебир стал кульминацией почти восьминедельного растущего разочарования и недоверия между бывшими союзниками. Правительство Петена было вне себя от гнева. Дарлан поклялся отомстить. Пьер Лаваль, министр иностранных дел в правительстве Виши, чья потускневшая звезда восходила над Виши, призвал объявить войну Англии. Бодуэн осудил действия Великобритания и возложил ответственность за войну на англичан. Петен прервал дипломатические отношения с Великобританией, и началась долгая печальная эпопея сотрудничества его Etat Français — Французского государства — с немцами. Некоторые французские военные корабли, включая линкор «Ришелье», нашли убежище в Дакаре; три линкора, семь тяжелых крейсеров, шестнадцать подводных лодок, восемнадцать эсминцев и дюжина торпедных катеров, почти третья часть довоенного французского флота, пришли на морскую базу в Тулон. Там в течение двадцати девяти месяцев флот стоял на якоре.

Операция в Мерс-эль-Кебире вызвала в Англии бурное ликование. По данным опроса Гэллапа, в поддержку премьер-министра высказались 89 процентов граждан — Чемберлен достиг максимума в 69 процентов. С наполеоновских времен не было столь сильной франкофобии. Сразу по окончании операции в Алжире Великобритания узнала, что правительство Виши отменило обещание Рейно относительно отправки 400 летчиков люфтваффе в Великобританию, вместо этого вернув их Германии. Выступая в палате общин, Черчилль сказал: «Я оставляю судить о наших действиях парламенту. Я оставляю это стра-

не, и я оставляю это Соединенным Штатам. Я оставляю это миру и истории»[140].

После этих слов все члены палаты вскочили с мест, долго и бурно выражая свое одобрение. Джок Колвилл написал в дневнике: «Он подробно рассказал о событиях в Оране, и палата слушала затаив дыхание. Раздавались удивленные возгласы, но было ясно, что палата единодушно одобряла [операцию в Алжире]». Хью Далтон написал: «Когда он закончил, мы намного громче и дольше аплодировали, чем ему, Чемберлену или кому-то еще, за время войны». По словам Гарольда Николсона, «сначала огорченная палата молча слушала об этом ужасном нападении, но речь Черчилля взбодрила ее. Последние слова были встречены овацией, и слезы катились по щекам Черчилля, когда он вернулся на свое место»[141].

Любопытно, что самые горькие слова прозвучали в адмиралтействе. Все адмиралы, принимавшие участие в операции «Катапульта», согласились с Каннингемом, что нападение было «актом чистейшего предательства, столь же неразумным, сколь ненужным». Но они так и не поняли, что операция в Мерс-эль-Кебире была не просто военной акцией. Достигнутая Черчиллем цель была намного значительнее. Позже он попытался объяснить ее Корделлу Халлу, который считал операцию «трагической ошибкой». По словам Халла, Черчилль сказал ему, что, «поскольку многие люди во всем мире были убеждены, что Великобритания собирается капитулировать, он хотел этим действием показать, что она по-прежнему нацелена на борьбу»[142].

Это было главным. Чуть больше чем за два года нацисты завоевали или подчинили Австрию, Чехословакию, Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург и Францию, причем не затратив особых усилий. Миллионам людей сопротивление казалось бессмысленным, даже убийственным. 15 мая американский посол Джозеф Ф. Кеннеди сказал Рузвельту, что Великобритания выдохлась, конец наступит скоро; он считал, что через месяц немцы будут в Лондоне. Народ Великобритании думал иначе. В мае опрос общественного мнения, проведенный Институтом Гэллапа, показал, что 3 процента считали, что могут проиграть войну, — к концу июля процент был столь незначительным, что о нем не стоило и говорить. В письме королеве Марии король сказал за свой народ: «Лично я чувствую себя счастливее теперь, когда у нас нет союзников, с которыми надо быть вежливыми и потакать им». Хотя за границей полагали, что его королевство обречено, в самой Великобритании после операции в Мерс-эль-Кебире с разговорами о капитуляции было покончено. Больше всего премьер-министра беспокоило мнение Вашингтона. К его огромному облегчению, Рузвельт одобрил операцию «Катапульта», считая, что, если был один шанс из тысячи, что французские военные корабли могут попасть в руки немцев, нападение оправданно. Спустя семь

месяцев Гарри Гопкинс, прибывший в Лондон в качестве эмиссара Рузвельта, сказал Колвиллу, что «Оран убедил президента Рузвельта, несмотря на противоположные мнения, что британцы продолжат бороться, как обещал Черчилль, в случае необходимости в течение многих лет, в случае необходимости в одиночку»[143].

Большинство, включая Гитлера, считали, что заявление Черчилля о борьбе в одиночку применимо только к защите Англии. Но Черчилль собирался не только защищать свой остров, но и вести борьбу с Гитлером. В ближайшие месяцы он неоднократно говорил британцам, что, для того чтобы одержать победу в войне, Гитлер должен одолеть Остров. На самом деле Черчилль знал, что, для того чтобы победить, у Гитлера есть другой путь — в другом месте, — который не требует обязательного вторжения в Англию. Это было место, которое давало Черчиллю наилучшую возможность вести борьбу с союзником Гитлера и, если бы Гитлер пришел на помощь своему союзнику, с самим Гитлером. Когда тем летом британцы всматривались в море и небо над головой, Черчилль смотрел намного дальше, туда, где решится исход войны: этим местом, по его мнению, было Средиземное море.

В стратегическом отношении Средиземное море имело для Черчилля такое же значение, как для древних греков, а теперь и для Муссолини. Позже Черчилль назвал Средиземноморье «поворотом судьбы», изменившим ход войны. Это понимали многие в немецком Верховном командовании ВМФ и люфтваффе. Несколько позже тем летом главнокомандующий германскими ВМС, гроссадмирал Эрих Редер, в личной беседе сказал Гитлеру, что «британцы всегда считали Средиземноморье центром своей мировой империи». Редер считал необходимым вытеснить англичан из Средиземноморья, что приведет к отделению Англии от ее империи и вынудит Лондон прийти к соглашению, если раньше подводная блокада не поставит Великобританию на колени. У Черчилля было такое же мнение. Но только он видел в Средиземноморье не опасность, а возможность, *единственную* возможность для Великобритании перейти в наступление на море, в воздухе и на суше. Что он и собирался сделать. Суть его военной стратегии заключалась в следующем: защищать Англию; обороняться и нападать в Средиземноморье[144].

Со времен цезарей господство в Средиземноморье — mare nostrum* — имело чрезвычайное важное значение для безопасности Италии.

Средиземноморье между Сицилией и Триполи, расстояние приблизительно 300 миль, было для Рима тем же, чем Ла-Манш и северо-за-

* В переводе с латыни «наше море». Так древние римляне называли Средиземное море, и это не было проявлением мании величия — в результате победы во Второй Пунической войне Рим установил господство практически во всем Средиземноморье.

падные подступы к Лондону. Мальта, британское владение с 1814 года и база Королевского флота, стоит на морских путях из Италии в ее североафриканские колонии. Главный остров, Мальта, 95 квадратных миль третичного известняка, поднимается из моря в 100 милях к югу от Сицилии и приблизительно в 200 милях к северо-востоку от Триполи. Ближайшая британская морская база, в Александрии, расположена почти в 1000 миль к востоку, Гибралтар — в 1100 милях к западу. Когда капитулировала Франция, парк истребителей, базировавшихся на Мальте, состоял всего лишь из трех маломощных бипланов «Глостер Гладиатор», которым пилоты дали имена «Вера», «Надежда» и «Милосердие». Четвертый «Глостер Гладиатор» был разобран на запасные части. Гибралтар и Суэцкий канал — главные ворота в Средиземноморье, а Мальта со времен Нельсона была ключом к свободному морскому пути. Гавань Валлетты была единственным британским глубоководным портом между якорной стоянкой в Гибралтаре и Александрией и, следовательно, чрезвычайна важна для Королевского флота, почти так же, как Скапа-Флоу, гавань в Шотландии и главная база флота метрополии.

Но англичане, ожидая как минимум воздушные атаки, если не полномасштабное наступление итальянского флота на Мальту, перевели свои военные корабли с морской базы Валлетта в Александрию для оказания помощи в защите Восточного Средиземноморья. Муссолини предпринял первый воздушный налет на Мальту 11 июня и с тех пор не оставлял ее в покое; он понимал необходимость установления контроля над морем. Его флот, в состав которого входили шесть линкоров, девятнадцать крейсеров, сотня малых и вспомогательных кораблей и более сотни подводных лодок, был больше германского флота и британских флотов в Гибралтаре и Александрии, вместе взятых. Мальта занимала настолько важное место в военной стратегии Черчилля, что в 1940 году он заявил военному кабинету, что если необходимо урезать средства на бетон, используемый для строительства береговых защитных сооружений, то только не за счет трех позиций: Родного острова, Гибралтара и Мальты. Муссолини и Черчилль (и гроссадмирал Редер) знали, что, если Британия лишится Мальты, Средиземное море станет итальянским и британцы распрощаются с Гибралтаром и Суэцким каналом. Муссолини шел своим путем; в любом случае он и его командующие ВМФ хотели оставаться на виду[145].

Италия, как и Великобритания, была имперской морской державой. Ее важнейшие колониальные владения, Киренаика и Триполитания, были всего в двух днях плавания от Сицилии. Итальянский торговый флот, под защитой итальянского военно-морского флота, был единственным источником снабжения этих колоний, которые, в свою очередь, кормили Италию. 10 июня 1940 года, в день, когда Муссолини вонзил кинжал во Францию, итальянский торговый флот (об-

щим водоизмещением 3,5 миллиона тонн) занимал пятое место в мире после Великобритании (18 миллионов тонн), США (12 миллионов тонн), Японии (5,5 миллиона тонн) и Норвегии (4,8 миллиона тонн). Более трех четвертей норвежского флота — тысяча судов находились в море, когда в апреле немцы напали на Норвегию, — ушли в Великобританию. Поспешность, с которой Муссолини влез в гитлеровский военный вагон, привела к одному из наименее известных, но самых существенных поражений на море за всю войну. 11 июня, на следующий день после вторжения Муссолини во Францию, его торговый флот сократился на 35 процентов, когда 220 итальянских грузовых судов и танкеров были захвачены в нейтральных портах по всему миру. Муссолини не сумел вернуть торговый флот домой перед тем, как совершил предательство по отношению к Франции. Он не смог восполнить потерю. В этом Черчилль видел свой шанс. Он думал, что итальянцы нанесут удар по Каиру из Ливии, но в то же время считал, что Муссолини, лишившись столь значительной части своего торгового флота, больше не сможет защищать свои африканские колонии. Спустя два дня после Дюнкеркской операции и за четыре дня до нападения Муссолини Черчилль передал записку в министерство авиации: «Крайне важно нанести удар по Италии в тот момент, когда вспыхнет война». В начале осени, выступая в палате общин, Черчилль сказал: «Сеньор Муссолини имел некоторый опыт, который не помог ему в тот момент, когда он решил, что безопасно и выгодно нанести предательский удар раненой, обессиленной Французской Республике»[146].

Вопрос о возможности нацистского нападения на остров был впервые поднят 20 мая на заседании Комитета обороны, когда вражеские танки, заняв Амьен и Абвиль, вышли к побережью Ла-Манша. После короткого обсуждения — разговор шел в основном о нехватке стрелков и винтовочных патронов — приняли решение разместить восемь солдат с ручными пулеметами «Брэн»* на Уайтхолле, в том числе у входа в «номер 10», и двоих на арке Адмиралтейства.

От них была бы польза только в том случае, если бы немцы хлынули из Букингемского дворца и с Трафальгарской площади. Три дня спустя печальные известия из портов на Ла-Манше заставили заняться более реалистичным планированием. Черчилль предупредил премьер-министров доминионов о возможности «скорого мощного наступления» на Англию и приказал начальникам штабов продумать «способы борьбы с

* «Брен» — английский ручной пулемет, модификация чехословацкого пулемета ZB-26. Разработка Bren началась в 1931 году. Окончательный вариант появился в 1938 году и был запущен в серию. Новый пулемет получил название от первых двух букв названия городов Брно (Brno) и Энфилд (Enfield), в которых было развернуто производство. На вооружение британских войск был принят 8 августа 1938 года.

танками противника» — он предложил наземные мины. К тому времени эта проблема считалась весьма серьезной. Мартин Гилберт пишет: «Вторжение было теперь основной проблемой тех, кто был в центре военной политики. К концу июня в головах англичан, похоже, не осталось ни одной мысли, кроме этой». Айронсайд написал в дневнике: «Люди измучены ожиданием нападения». Французы уже сдались итальянцам. Разведчики ВВС Великобритании сообщали о том, что в портах Бельгии и Северной Франции скапливаются баржи, лихтеры и паромы, и на Уайтхолле было известно, что нацисты на другой стороне Ла-Манша пели: «Мы плывем против Англии»[147].

В палате общин Черчилль впервые обратился к вопросу, связанному с защитой от вторжения, 4 июня, в день завершения Дюнкеркской операции. Даже несмотря на то что в то время Британии было не позавидовать, Черчилль говорил о наступлении, а не об обороне: «На задачу защиты нашего дома от вторжения, конечно, сильно влияет тот факт, что в настоящий момент мы имеем на Острове гораздо более мощные вооруженные силы, чем когда-либо в этой войне или в прошлой. Но это не будет длиться вечно. Мы не должны довольствоваться оборонительной войной... Мы должны заново сформировать британские экспедиционные силы... Этот процесс идет полным ходом; но пока мы должны вывести нашу оборону на такой уровень организации, при котором потребуется наименьшее возможное количество войск для оказания эффективной защиты и при котором будут осуществимы наиболее мощные наступательные действия. Этим мы сейчас занимаемся»[148].

Спустя три недели в письме южноафриканскому премьер-министру Яну Смэтсу*, преданному британскому союзнику, Черчилль совершенно ясно высказывает мысли о наступлении: «Очевидно, нам придется прежде всего отразить вторжение в Великобританию и доказать свою способность продолжать усиление нашей военно-воздушной мощи. Доказать это можно лишь на практике».

Черчилль высказывает предположение, что Гитлер может повернуть на Восток, в Россию, и, возможно, так и поступит, «даже не пытаясь вторгаться к нам». И далее: «Наша большая армия, которая создается сейчас для обороны метрополии, формируется на основе наступательной доктрины, и, возможно, в 1940 и 1941 годах представится возможность для проведения крупномасштабных десантных операций»[149].

---

* Отношение к Смэтсу в имперском Военном кабинете было настолько серьезным, что в 1940 году было высказано предложение, на основании которого составлен план, согласно которому Смэтса могли назначить премьер-министром Соединенного Королевства в случае смерти Черчилля или потери им трудоспособности во время войны. Автором идеи был Джон Колвилл, личный секретарь Черчилля. Близость к британской политике, королю и Черчиллю сделала Смэтса крайне непопулярным в своей стране и в конечном счете привела к его падению.

Но пока он мог нападать на Гитлера только с помощью слов. Его самый красноречивый вызов был брошен нацистам на следующий день после того, как французы сложили оружие. Его речь продолжалась тридцать шесть минут, которые потребовались на прочтение двадцати трех страниц машинописного текста. Он предвидел кульминацию:

«Битва, которую генерал Вейган называл битвой за Францию, закончена. Я полагаю, что сейчас начнется битва за Англию. От исхода этой битвы зависит существование христианской цивилизации. От ее исхода зависит жизнь самих англичан, так же как и сохранение наших институтов и нашей империи. Очень скоро вся ярость и могущество врага обрушатся на нас, но Гитлер знает, что он должен будет либо сокрушить нас на этом острове, либо проиграть войну. Если мы сумеем противостоять ему, вся Европа может стать свободной и перед всем миром откроется широкий путь к залитым солнцем вершинам.

Но если мы падем, тогда весь мир, включая Соединенные Штаты, включая все то, что мы знали и любили, обрушится в бездну нового Средневековья, которое светила извращенной науки сделают еще более мрачным и, пожалуй, более затяжным.

Обратимся поэтому к выполнению своего долга и будем держаться так, чтобы, если Британской империи и ее содружеству наций суждено будет просуществовать еще тысячу лет, люди сказали: «Это был их звездный час»[150].

Эдвард Р. Марроу сказал о Черчилле: «Теперь для него настал час мобилизовать английский язык и отправить его в бой».

Создалось впечатление, словно звонит огромный колокол, призывая англичан пожертвовать всем ради сохранения чести, защищая родную землю и западную цивилизацию. Мир за пределами империи остался глух к этому призыву. Хотя у слушателей и в то время, и впоследствии создалось впечатление, что он говорил о храбрости англичан англичанам, но это было не так. Черчилль старательно подбирал слова. Он сказал, что через тысячу лет люди скажут, что это был звездный час *Британской империи*, а не Англии. Гитлер заявил, что его рейх просуществует тысячу лет; Черчилль потребовал того же для своей империи. Каждый считал, что выжить может только одна империя. Ни один не рассматривал возможность гибели обеих империй. Тем летом Великобритания воевала в Европе в одиночку — доминионы и колонии были слишком отдалены, чтобы предложить существенную помощь, но империя, в состав которой входила четверть населения земли, активно поддерживала Родной остров. Однако империя — в том числе Индия, Южная Африка, Австралия и Новая Зеландия — не могла реагировать достаточно быстро и обеспечить достаточным количеством войск, чтобы помешать Гитлеру. В Британии была всего одна канадская дивизия, отозванная из Франции.

Американцы испытывали сочувствие, но были настроены пессимистически, и вдохновенные слова Черчилля не произвели впечатления на политических лидеров в Америке и на континенте. Франклин Рузвельт, готовившийся к переизбранию в стране, настроенной против вступления в войну, не собирался говорить или делать то, что могло показать, что он поддерживает Черчилля и Британскую империю. «Для тех, кто не был немцами, — пишет биограф Алана Брука, — в то лето, похоже, был единственный способ спастись — мгновенная и безоговорочная капитуляция, а для тех, кто медлил, единственный удел — верная и неминуемая гибель». Гитлер действительно верил, что война закончена. Он уже провел парад победы у Бранденбургских ворот, в котором приняли участие новобранцы 218-й пехотной дивизии. 40 из 160 дивизий вермахта были демобилизованы, и фюрер составлял мирный договор, будучи уверен, что британцы подпишут его, понимая, что в противном случае их ждет полное уничтожение[151].

Некоторые англичане подписали бы этот договор. Таким образом, существовала альтернатива гитлеровскому желанию «сломить этот остров». В телеграмме Рузвельту от 20 мая Черчилль говорит о возможности мирных переговоров с Гитлером, которые будут вынуждены вести его преемники в состоянии «чрезвычайного отчаяния и беспомощности». Он опять упоминает о такой возможности в телеграмме Рузвельту от 15 июня, высказывая предложение, что Гитлер хочет только *согнуть* Великобританию и «если сопротивление здесь будет сломлено, но в борьбе может наступить такой момент, когда нынешние министры уже не будут управлять делами и когда можно будет получить очень легкие условия для Британского острова путем превращения его в вассальное государство гитлеровской империи. Для заключения мира будет, несомненно, создано прогерманское правительство, которое может предложить вниманию потрясенной и голодающей страны доводы почти неотразимой силы в пользу полного подчинения воле нацистов».

Этого допустить было нельзя. Ватикан призвал к мирному урегулированию конфликта, и 1 августа король Швеции Густав V, старейшина европейских монархов (и источник большей части железной руды Гитлера), написал письмо королю Георгу VI с предложением встретиться, чтобы «обсудить возможность заключения мира». Некоторые англичане, считавшие Уинстона «ненормальным», думали, что это предложение заслуживает обсуждения. Мюнхенцы все еще пользовались большим влиянием, особенно в истеблишменте. И конечно, Галифакс. Агентство United Press сообщило, что он призвал «канцлера Гитлера сделать новое, более великодушное мирное предложение». Р.О. Батлер, заместитель министра иностранных дел Галифакса, был активным сторонником мирных инициатив короля Густава. Согласно Бьерну Притцу, в то время шведскому послу в Лондоне, 7 июня, когда премьер-министр предпринял очередную попытку укрепить решимость французов,

Батлер сказал Притцу, что «негибкость» Черчилля в отношении Третьего рейха «не играет решающей роли». Он не видел причины, почему нельзя сейчас закончить войну компромиссным миром, если немецкие условия будут приемлемыми, и заверил шведа, что британская политика будет руководствоваться «не бравадой, а здравым смыслом»[152].

Узнав об этом, премьер-министр направил в министерство иностранных дел гневное послание, в котором подверг резкой критике «теплохладность» Батлера, — Батлер, хныча, возражал, что его неправильно поняли, — и вновь заявил о решимости правительства «бороться до конца»[153].

Черчилль сказал королю, что «появление недостойного короля Швеции, после того как он предал Финляндию и Норвегию и находится полностью во власти немцев... особенно неприятно». Король согласился со своим премьер-министром. Георг VI уловил настроение своего народа; в дневнике он написал: «Как мы можем сейчас говорить о мире с Германией после того, как они захватили и деморализовали народы стольких европейских стран? Пока Германия не готова жить в мире с соседями, она всегда будет представлять угрозу. Мы должны избавиться от ее воинственного духа, ее орудий войны и людей, наученных пользоваться ими»[154].

Впоследствии англичане, так же скептически относящиеся к политическим деятелям, как Бернард Шоу и Малькольм Маггеридж, сошлись во мнениях, что если бы летом 1940 года премьер-министром был бы любой другой, но не Черчилль, то Великобритания договорилась бы о перемирии с Гитлером. Шведский посол в Лондоне сообщил в Стокгольм, что несколько влиятельных членов парламента повторяли слова Батлера. Два посла его величества — Хор в Мадриде и лорд Лотиан в Вашингтоне — старались установить контакты с коллегами-нацистами, готовясь к дипломатическим «беседам».

В парламенте самым известным капитулянтом был Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании в годы Первой мировой войны. Старый валлиец, завидовавший Черчиллю, отказался войти в его правительство. Он планировал занять кресло премьер-министра и обратиться к противнику с просьбой о перемирии. «Я убежден, — сказал он, выступая в палате (и его мягкий голос звучал убедительно), — что правительство должно принимать во внимание любые мирные предложения... обсудить тех, кто стал причиной всех проблем нескольких последних лет». Он обнародовал свою точку зрения 28 июля в Sunday Pictorial: «Я предвидел нависшую катастрофу».

Если бы к его совету прислушались, продолжил он, это привело бы «к лучшему пониманию между рассеренными народами... и переустройству на мирный лад. Я хочу сказать, что в то время ситуация для обсуждения соответствующих условий была более благоприятной, чем сегодня, и, вероятно, будет через несколько недель»[155].

В Берлине Ллойд Джордж всерьез рассматривался в качестве возможного главы марионеточного правительства. Немецкие психологи уверяли фюрера, что Ллойд Джордж отражает настроения, царившие в Великобритании. Но ни он, ни Батлер, ни информаторы шведского посла больше не шли в ногу со своими соотечественниками. Каждый грамотный лондонец, похоже, читал книгу Guilty Men. Автор, скрывавшийся под псевдонимом Cato*, обвинил пятнадцать тори, в их числе Болдуина, Чемберлена, Галифакса и Хора, в пренебрежении нуждами обороны Англии.

Казалось, все англичане с презрением относились к любым предложениям о переговорах; в старой британской армии таких людей называли «несговорчивыми». Том Джонс, бывший заместитель министра, написал из Кливленда: «Все готовы к призыву на военную службу для выполнения любых обязанностей, и самое обидное, что мы не можем использовать всех»[156].

Падение Франции не только не лишило их мужества, но на самом деле подняло их боевой дух.

Своим энтузиазмом Черчилль заразил все королевство. Дюнкерк был поражением, но англичане увенчали его лаврами победы. Они всегда знали, что, в каком бы отчаянном положении они ни оказались, преимущество будет на их стороне. Они вспомнили старое правило: «Англия всегда проигрывает все сражения, кроме последнего». Они напоминали друг другу, что являются потомками англичан, которые, согласно Маколею, «зажгли костры от Эддистона до Берика, от Линна до залива Милфорд, предупреждая о приближении испанской армады, не падая духом и наблюдая, без страха, за мерцающими кострами Наполеона в Булони»[157].

Дороти Ли Сэйерс написала:

Это война! Англия, будь бдительна.
Не осталось союзников в этой войне,
нет надежды на помощь извне,
и не надо уговаривать нерешительных.
И на советах поставьте точку —
Англия выстоит и в одиночку[158].

Продавцы газет писали мелом на стенах своих киосков: «Мы в финале — играем на родной земле». Сомерсет Моэм, наконец достигший Ливерпуля, увидел, что люди не впали в уныние после разгрома французов, наоборот, все уверенно говорили, что «это не имеет значения; мы можем в одиночку расправиться с джерри»**, «страх перед вторжением? Нет и тени страха. Мы разобьем их. Это, конечно, займет время, но ничего, мы выстоим».

---

* Книгу, под псевдонимом Cato, написали три журналиста — Майкл Фут, Фрэнк Оуэн и Питер Ховард. (*Примеч. авт.*)

** Так называли немцев британские солдаты.

«Это была уже не та Англия, из которой я уехал несколько недель тому назад, — сделал вывод Моэм. — Она стала более решительной, более энергичной и более сердитой. Уинстон Черчилль вселил в народ свою непоколебимую решимость»[159].

В The New Yorker Молли Пэнтер-Доунес охарактеризовала общественный настрой как «разумно-решительный». 22 июня она пишет: «Отдельного англичанина, похоже, особенно не впечатлил тот факт, что теперь нет ничего между ним и военной машиной, какой еще никогда не видел мир. Возможно, это отсутствие воображения; а может, опять все та же твердая решимость, которая иногда приводит к героическим событиям, таким как Дюнкерк». К концу лета ее саму, похоже, подхватила буря эмоций. «Обычный человек великолепен в такие мгновения, как это», — написала она, и спустя две недели: «Не перестает удивлять спокойствие обычного человека». Она, как и Моэм, наконец поняла, что причина растущей решимости народа в новом премьер-министре. Она процитировала Times, которая на протяжении десяти лет продолжала считать Черчилля несостоятельным: «Господин Черчилль по-прежнему, в некоторых отношениях, сам по себе», — и заметила: «Эта одинокая личность продолжает внушать преданность и уверенность всем классам, что удавалось только великому Уильяму Питту* в 1759 году, в «год побед». Англия, казалось бы, нашла своего судьбоносного человека в тот критический момент, когда ее доброжелатели начинали опасаться, что судьба катится под уклон. Выдающийся лидер и решимость выдающегося народа вернули надежду и достоинство обществу, давно испытывавшему в них недостаток»[160].

Летом, после падения Франции, англичане в любой момент ожидали появление немецкой армии — и с моря, и с воздуха. В прошлом году немцы появились на польской границе; весной этого года, — на побережье Норвегии; в мае — прошли через Арденны; упали с неба в Роттердаме. Вот почему британцы считали, что находятся в смертельной опасности, и продолжали так считать, с разной степенью тревоги, до конца лета 1942 года. Черчилль, в свою очередь, полагал, что немцы *могут* прийти, и требовал соблюдать необходимую осторожность в случае их появления, но он не верил — ни тем летом, ни летом

* Уильям Питт-старший относится к числу тех деятелей, кто еще при жизни вызывает восхищение одних и ненависть других. Способный, решительный и целеустремленный, он на протяжении многих лет оказывал сильное влияние на внешнеполитический курс Англии. Экс-премьер Великобритании лорд Розбери, написавший одну из его биографий, отмечал, что Питт сумел окружить себя «непроницаемым туманом таинственности, не обнаруживая своих действительных помыслов ни словами, ни на бумаге». Вот что сказал Черчилль о своем великом предшественнике Уильяме Питте-старшем: «Все ощущали, что при Питте ошибки могут быть прощены, но нерешительность — никогда».

следующего года — что они придут. Вскоре после капитуляции Франции он сказал Колвиллу: «Гитлер должен вторгнуться и потерпеть неудачу. Если он потерпит неудачу, то двинется на Восток [в Россию]»[161].

Это заявление, может и не самым лучшим образом сформулированное, выражает основную мысль: Гитлер попытается вторгнуться в Англию и потерпит неудачу или выступит против своего партнера Иосифа Сталина. Исходя из этих соображения, в конце июня Черчилль пишет письмо Сталину в надежде установить с маршалом такие же отношения, какие он установил с Франклином Рузвельтом. Он передает письмо своему новому послу в Москве сэру Стаффорду Криппсу, социалисту; по мнению Черчилля, это назначение должно было произвести положительное впечатление на Сталина.

Проблема, объяснил в письме Черчилль Сталину, состоит в том, угрожают ли «притязания Гитлера на гегемонию в Европе интересам Советского Союза». Англии, конечно, угрожали. Черчилль признал, что отношениям между Лондоном и Москвой «мешают взаимные подозрения» (удивительно сдержанное высказывание), но теперь, в силу географического положения — они «не в Европе, а на ее оконечностях», — могут с двух сторон оспорить попытки на установление господства над Европой. На протяжении всей жизни Черчилля согревала мысль, что Великобритания была частью Европы, но не «в» Европе. Он не находил ничего смешного и не соответствующего действительности в газетном заголовке: «НА ЛА-МАНШЕ ТУМАН — КОНТИНЕНТ ОТРЕЗАН». Гитлер действительно отрезал континент. У Великобритании две цели, написал Черчилль Сталину, «спасти себя от нацистского господства» и «освободить остальную Европу» от нацистского господства. Письмо должно было убедить и успокоить Сталина. Однако он не ответил. Криппс сообщил, что Сталин, прочитав письмо, назвал клеветническим заявление о территориальных притязаниях Германии и выразил уверенность, что Германия не представляет опасности для России. После ухода Криппса Сталин приказал министру иностранных дел Вячеславу Молотову позвонить в Берлин и передать содержание разговора с Криппсом, жест, предназначавшийся для того, чтобы напомнить Гитлеру об искренних дружеских чувствах Сталина[162].

Черчилль не умел читать мысли Гитлера; о своих намерениях сокрушить большевистский Советский Союз Гитлер сообщил в своей автобиографии Mein Kampf. С не вызывающей сомнений откровенностью он написал: «Эта гигантская империя [Россия] на Востоке созрела для распада. Конец еврейского господства в России будет также концом России как государства». У Гитлера, в свою очередь, не было необходимости пытаться читать мысли Черчилля; он читал переписку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в середине июля Гитлер сказал своим военачальникам, что «надежды Британии связаны с Рос-

сией и Америкой». Он был прав. Гитлер заметил, что Великобритания «встала на ноги частично благодаря надеждам, связанным с Россией. Следовательно, заявил он, «если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду... В соответствии с этим рассуждением Россия должна быть ликвидирована. Срок — весна 1941 года»[163].

Его уверенность относительно Германии и России была достигнута благодаря удачному сочетанию холодной логики и интуиции. Таким был его подход ко всем проблемам. Решением какой бы проблемы Черчилль ни занимался, будь то геополитические проблемы, такие как континентальная гегемония или Средиземноморский театр, он всегда рассматривал ее с точки зрения художника; целое больше, чем сумма его частей. Он понимал, насколько важны детали и какое влияние они оказывают на стратегические проблемы в целом, и требовал серьезно вникать во все подробности. Самые очевидные и простейшие факты указывали на наличие стратегических проблем. Один факт, которым зачастую пренебрегают, рассказывая о летних месяцах 1940 года, лежал в основе планирования Черчилля на случай немецкого вторжения: день делился на дневные и ночные часы. Битва за Британию часто представляется как «битва за превосходство в воздухе». На самом деле это была битва за превосходство в воздухе *в светлое время суток*. Все менялось после наступления темноты. Ночные бомбардировщики — британские и немецкие — летали не опасаясь истребителей и не испытывая особого страха перед зенитным огнем, но поступались точностью наведения. Истребители поднимались в воздух только при полной луне, или почти полной, чтобы защищать свои бомбардировщики и высматривать самолеты противника. Армии могли маневрировать и сражаться ночью и днем. Но в конце июня немецкая армия была во Франции, в то время как британская армия — постепенно избавлявшаяся от хромоты — была в Англии. Черчилль, конечно, не мог знать, что немцы еще даже не рассматривали вторжение. Но он знал, что если они все-таки попытаются вторгнуться, то значительные силы могут прибыть на остров только по морю. Черчилль считал, что это маловероятно. Для того чтобы высадиться на рассвете, армада вторжения должна плыть ночью, а немецкие истребители в темное время суток не поднимались в воздух, и ночь принадлежала Королевскому флоту, самые большие корабли которого были оснащены радарами. Ночью Королевский флот мог, по усмотрению, охотиться на вражеские баржи и корабли. В записке Айронсайду от 7 июля Черчилль написал: «За исключением самых узких мест, было бы опасно и даже губительно бросать большую армию в морское сражение с нашими крупными вооруженными силами патрулирования»[164].

Черчилль информировал палату общин, что «военно-морской флот никогда не претендовал на то, что сможет помешать вторжению от-

рядов в 5—10 тысяч человек, неожиданно доставленных и высаженных в нескольких пунктах побережья темной ночью или туманным утром». Но они будут незамедлительно взяты в окружение подразделениями британской армии. Если они высадятся в Северной Англии или Шотландии, то окажутся в сотнях миль от Лондона, и в этом нет никакого смысла. Нет, немцы должны высадить неодолимую силу в пределах 100 миль от Лондона. Черчилль считал, что Гитлер — если он решит вторгнуться — попытается сменить британское правительство в Лондоне, заставив установить новое, более уступчивое правительство. Вермахт просто не в состоянии завоевать и оккупировать всю Великобританию, от Девона через Мидлендс до Шотландии, не потому, что немецкая армия испытывает недостаток в солдатах и танках, а потому, что Германии не хватит судов, чтобы просто попытаться перебросить такую огромную армию в Англию[165].

Если немцы предпримут попытку, Черчилль рассчитывал уничтожить их. 18 июня в парламенте он изложил суть своих идей: «Для того чтобы морская мощь проявила себя, особенно в современных условиях, силы вторжения должны быть крупными. Эти силы должны быть крупными, учитывая нашу военную мощь, чтобы вообще принести какую-либо пользу. Но если силы вторжения велики, тогда военно-морской флот сможет отыскать их, встретить и ударить по ним. К тому же следует помнить, что даже для пяти дивизий, как бы легко они ни были оснащены, потребовалось бы 200—250 кораблей, а при нынешней воздушной разведке и аэрофотосъемке было бы нелегко собрать такую армаду, выстроить ее и провести через море под мощным эскортом военных кораблей; весьма вероятно, что эта армада была бы перехвачена задолго до того, как она достигла побережья, и весь ее личный состав был бы потоплен в море или, в худшем случае, уничтожен вместе со своим снаряжением при попытке высадиться... Не должно возникнуть никаких трудностей ввиду нашего огромного превосходства на море»[166].

Прошлым летом у Гитлера хватило здравого смысла ввести свой торговый флот в Балтийское море, прежде чем напасть на Польшу, в отличие от Муссолини, поспешившего 10 июня напасть на Францию. Небольшой размер тоннажа германского торгового флота, приблизительно 1,2 миллиона тонн, был одним из четырех основополагающих фактов, на которых основывалась уверенность Черчилля в том, что, если немцы все-таки появятся в Англии, они потерпят поражение.

Первое. По оценке Черчилля, для того чтобы доставить на остров первую волну — 60—80 тысяч немецких солдат, потребуется почти 60 процентов германского торгового флота. Для доставки второй волны — 160 тысяч солдат, боеприпасы, танки и тяжелая артиллерия — потребуется намного больше судов, чем имеется в распоряжении Герма-

нии. Как было замечено, те же самые цифры, которые способствовали повышению оптимизма Черчилля, привели в смятение верховное командование ВМФ Германии.

Второе. У Германии не было специальных десантных кораблей для выгрузки танков и тяжелой артиллерии на необорудованный берег. Немцам требовалось захватить порт, чтобы выгрузить танки и оборудование. Если они зайдут в порт, то обнаружат, что британцы разрушили все портовые сооружения, заминировали вход в гавань, отрезав обратный путь, и на порт обрушится шквал огня британской артиллерии.

Третье. Позже Черчилль писал, что «мощь германских военно-воздушных сил, насколько нам было известно (а мы были хорошо информированы), не считая отдельных сосредоточений частей, превосходила по численности наши военно-воздушные силы в соотношении около 3:1. Хотя для борьбы с храбрым и искусным врагом условия были неравные, я все же был твердо уверен, что в нашем собственном небе, над нашей страной и над нашими водами мы сможем победить немецкую авиацию».

Четвертое. Королевский военно-морской флот был несравненно мощнее германского военно-морского флота. Почти тысяча «боевых кораблей вела постоянное бдительное патрулирование», написал Черчилль, и «уничтожить их могла только вражеская авиация, да и то лишь постепенно». Вторжение в Англию в 1940 году «требовало от немцев установления превосходства на море и в воздухе, а также огромных флотов специального назначения и большого количества десантных судов. Но превосходством на море обладали мы; господство в воздухе завоевали тоже мы; и, наконец, мы считали — и, как теперь выяснилось, вполне обоснованно, — что немцы не строили и не предполагали строить никаких специальных судов. Таковы были в основном мои идеи о вторжении в 1940 году». Тем не менее «следовало тщательно рассмотреть возможность вторжение через Канал, хотя и невероятную в то время»[167].

30 июня генерал сэр Эндрю Торн, командующий корпусом на юго-востоке Англии, сообщил Черчиллю, что, по его мнению, 80 тысяч немецких солдат будет высажено на побережье Кента, между Танет и Певенси, всего в 60 милях от Лондона. Черчилль, написал Колвилл, настроен «более оптимистично и считает, что флот отреагирует нужным образом». На тот случай, если немцам удастся ускользнуть от Королевского флота и добраться до берега, Черчилль приказал обеспечить максимально возможную защиту побережья в Восточном и Западном Суссексе, Кенте и Суррее. По его приказу были возведены защитные сооружения, доты и проволочные заграждения. Во время одной из инспекционных поездок Черчилль потребовал таблицы приливов и отливов и фаз Луны на ближайшие шесть недель. Он пони-

мал, что все будет зависеть «от быстрого и решительного нападения на высадившиеся на побережье силы, проскользнувшие мимо охраны на море», которые должны «находиться в состоянии высокой мобильности, готовые нанести стремительный удар», и эсминцев Королевского флота, устанавливающих минные заграждения и обстреливающих побережье в ночное время. Колвилл отметил, что генерал Торн, солдаты которого, как ожидалось, примут на себя самый сильный удар, считал, что «левое немецкое крыло можно захватить в Эшдаунском лесу, но он не видел, что может помешать правому крылу наступать через Кентербери на Лондон». Этому могли помешать мобильность и творческий подход к решению тактических задач. Выживание зависело от гибкости, интуиции, находчивости и творческого воображения (кто-то скажет: эксцентричности), качеств, которые отсутствовали у многих английских генералов и, конечно, у предыдущего правительства. Но не у Черчилля[168].

Согласно сводкам Британского метеорологического бюро, в июне Ла-Манш был спокойным, небо ясным, температура воздуха порядка 15 градусов, и британцы — включая высокопоставленных военных чиновников — были уверены, что скоро появятся захватчики. Все это в их дневниках и письмах. 12 июня Гарольд Николсон написал: «Скорее всего, Франция капитулирует и мы подвергнемся бомбежке и вторжению». «К сожалению, погода по-прежнему прекрасная», — написал в начале июля Айронсайд. Теперь, когда у немцев есть «аэродромы в 25 милях от нашего побережья», заметил Исмей, «вероятность вторжения в Великобританию», похоже, «вопрос нескольких недель». Том Джонс, находившийся в Кливленде, заметил: «Высказываются предположения о вторжении. Куда ни пойдешь, везде доты, дорожные заграждения и полевые укрепления». «Предположения» было ключевым словом на протяжении нескольких недель[169].

Большинство британцев испытывали страх. Однако позже Черчилль написал: «Конечно, те, кто больше знали, меньше боялись». Эти слова были написаны спустя много лет, но они отражают его настроение в течение 1940 года. Его частные разговоры и записки министрам в течение лета и осени 1940 года служат доказательством его уверенности в благополучном исходе.

Вечерами первозданная темнота опускалась на затемненную Великобританию. Окна пригородных поездов были выкрашены в черный цвет. Водители ползли со скоростью 20 миль в час. Ориентирами для автомобилистов служили полосы, сделанные белой краской на лондонских фонарных столбах. Несмотря на это, часто случались столкновения велосипедистов с автомобилями, а пешеходы натыкались на фонарные столбы. С целью ввести в заблуждение вторгшихся врагов, в сельской местности убрали надписи и указатели на дорожных стол-

бах и при въездах в населенные пункты, заодно сбив с толку местных жителей. В конце июня домовладельцы получили по почте официальные брошюры, в которых объяснялось, как себя вести, когда начнется вторжение. Почти ни у кого не было оружия, если не считать за оружие садовый инвентарь. Немецкие парашютисты, скорее всего, приземлились бы ночью. В речи, обращенной к Родной гвардии, премьер-министр заявил, что, если появятся нацистские парашютисты, «вы объясните им, что они приземлились не на птичий двор или кроличью ферму и даже не в загон для овец, а в клетку льва в зоопарке!»[170].

У Флит-стрит тоже нашелся совет. В Daily Express Бивербрук призвал сельских жителей дать достойный отпор немецким парашютистам. Daily Express озадачила многих, кто родился и вырос в более мирное время, указав, что любой молодой человек, умеющий играть в крикет, способен метать гранату. Вооружались гражданские лица, даже священнослужители, кто чем мог — в основном ружьями. Великобритания испытывала нехватку оружия. В ожидании винтовок из Америки члены Родной гвардии упражнялись на пиках, древках пик и метловищах. Женщинам объясняли, как делать коктейли Молотова; стариков учили, как выводить из строя танки — засыпать сахар в топливный бак или засовывать лом под траки.

В то время люди воспринимали войну как нечто личное, имеющее отношение непосредственно к каждому из них. В XXI веке гражданин не в состоянии противостоять современному ракетному оружию, но в 1940 году британец с оружием, даже примитивным, мог внести свой вклад в защиту острова. Если бы нацисты создали плацдарм для высадки десанта, то король Георг был готов возглавить движение Сопротивления. Король приказал оборудовать стрельбище в садах Букингемского дворца, где члены королевской семьи и конюшие ежедневно упражнялись в стрельбе из стрелкового оружия. Молодые принцессы ходили на занятия по учебным стрельбам вместе с родителями. Позже Клементина рассказала дочери, что у Елизаветы и Маргарет была «веселая жизнь, с множеством собак (хотя эти корги не слишком симпатичные) и пони [так!] и восхитительная мать». Восхитительная мать была метким стрелком. 10 июля Гарольд Николсон написал, что королева «сказала мне, что ее ежедневно обучают стрельбе из револьвера. Я выразил удивление, а она сказала: «Да, я не собираюсь сдаваться». Не могу описать, как она была великолепна... Мы победим. Я это знаю. У меня нет сомнений»[171].

Вторжение нацистов повлекло бы за собой немыслимое количество смертей. Это было время, когда при каждом расставании мужья и жены, матери и дети понимали, что, возможно, видятся в последний раз. Вита Сэквилл-Уэст написала: «Мы, должно быть, оба думаем, что можем уже никогда не встретиться». Николсон ответил: «Я совсем не боюсь... вне-

запной и достойной смерти. Чего я боюсь так это подвергнуться пыткам и унижениям»[172].

Пытки, безусловно, ждали тех, кто обладал специальными знаниями об обороне острова. Многие, не желая попадать в плен, имели при себе средства для совершения быстрого самоубийства. Спустя неделю после капитуляции Франции, когда правительство готовилось эвакуировать гражданских лиц из Кента и Суссекса, Николсон, в то время он работал в министерстве информации, написал Вите: «Думаю, что тебе следует носить с собой обычное канцелярское шило, чтобы при необходимости ты могла покончить с собой. Но как быстро и безболезненно принять смерть? Я спрошу у своих друзей докторов?» Спустя десять дней она написала мужу, что у нее есть свое средство. Вероятно, речь шла о яде, а не о шиле. Черчилль неоднократно клялся, что не сдастся живым; согласно Кэтлин Хилл, его «шилом» был цианид, спрятанный в колпачке авторучки, которую он всегда носил с собой»[173].

Британцы готовились, но точно не знали к чему — газ, вторжение, воздушная бомбардировка, парашютисты, все вышеупомянутое, вместе взятое? Они были готовы сражаться и умереть, но испытывали недостаток в боевых средствах. Войны ведут солдаты с оружием. В первые четыре недели после Дюнкерка у Великобритании было мало как солдат, так и оружия. Айронсайд, командующий войсками метрополии, включая ополчение, пытался организовать оборону острова. Он предложил «вооружить все население». 22 июня, в день подписания французами перемирия в Компьене, Айронсайд написал: «Даже самый надежный союзник начинает сомневаться, готов ли он [Черчилль] ко всяким случайностям, которые представляет себе. Я подумал об этом вчера, когда инспектировал бесконечную береговую линию в Восточной Англии»[174].

Никто не мог ничего знать заранее. На протяжении двух веков правительство его величества посылало войска во все уголки земного шара, в то время как в родной стране царил мир. Сражение при Куллодене, 16 апреля 1746 года, стало последней битвой на британской земле, когда армия герцога Камберлендского, сына короля Георга II, разбила армию претендента на британский престол, Красавчика, принца Чарли. Теперь, в июне 1940 года, страна казалась беззащитной. Гарольд Макмиллан вспоминал: «Мы остались не только в одиночестве, но еще и безоружные». Он, конечно, имел в виду армию, а не флот. Как отметил Черчилль, успех Дюнкеркской операции затмил тот факт, что солдаты оставили на французском берегу боеприпасы, свое оружие, артиллерийские орудия и танки. В Англии имелось вдвое меньше винтовок, чем требовалось для защиты острова. Эвакуация еще шла полным ходом, когда Соединенные Штаты согласились продать Великобритании — ключевое слово «продать» — 500 тысяч винтовок времен

Первой мировой войны, 80 тысяч устаревших пулеметов, 900 гаубиц и 13 миллионов боеприпасов. Несмотря на круглосуточную работу британских заводов, им бы не удалось восполнить потери быстрее чем за три месяца, а возможно, и полгода. Тем не менее за две недели, с огромным трудом, удалось полностью оснастить две дивизии. Черчилль отдал приказ вернуть домой бригаду, томившуюся в течение многих недель в Северной Ирландии. Что касается Родной гвардии, то реалисты в вооруженных силах — включая А.Дж.П. Тейлора*, служившего в Родной гвардии, — пришли к выводу, что если ополченцам даже удастся добраться в назначенные места сбора, то они будут уничтожены[175].

Черчилль сказал Колвиллу, что не испытывает никаких сомнений, готов на все, кроме бесчестных поступков. Был поднят вопрос относительно горчичного газа. Предполагалось, что немцы будут его использовать. Черчилль хотел их опередить. В записке Исмею он написал: «На мой взгляд, противнику нет никакой необходимости применять подобные меры. Он, конечно, примет их, если решит, что ему это выгодно». Были сделаны запасы иприта для распыления его с самолетов. Черчилль предложил «пропитать» газом побережье, и Колвилл написал в дневнике: «Полагаю, он не считает постыдным делом заражение немцев газом»[176].

Некоторые из его идей были довольно необычными. Он вспомнил, что елизаветинские англичане использовали против испанской армады «горящие корабли». Почему бы теперь не сделать нечто подобное? С началом боевых действий были уничтожены нефтехранилища на территории Франции, и сразу остро встал вопрос о заправке танков топливом. Дуврский пролив уже был заминирован. Допускалась возможность, что немцы могут надеть британскую униформу, и томми выдали новую униформу другого оттенка желтого. На крышках люков танковых башен нарисовали белой краской круги, в качестве опознавательных знаков для Королевских военно-воздушных сил. Военная разведка (ошибочно) считала, что люфтваффе могут высадить десант численностью 20 тысяч человек, и потому большие поля, даже засеянные, избороздили канавы длиной 400 ярдов. Все мосты в пределах 100 миль от Лондона подготовили к сносу[177].

Что касается Родной гвардии, то ей предстояло импровизировать. На важных перекрестках поставили канистры с бензином; идея состояла в том, чтобы, завидев приближающихся немцев, вылить бензин

---

* Т е й л о р Алан Джон Персиваль — английский историк, специализировавшийся на европейской дипломатии XIX и XX веков. Журналист и телеведущий, он стал известен миллионам благодаря своим телевизионным лекциям. Историк Ричард Овери назвал его «Маколеем нашей эпохи». Во время Второй мировой войны служил в ополчении и подружился с видными политическими эмигрантами из континентальной Европы — бывшим премьер-министром Венгрии графом Михаем Каройи и президентом Чехословакии Эдвардом Бенешем.

на дорогу, бросить гранату и спастись бегством. Из-за сложной конструкции взрывателя и трудоемкого процесса изготовления британские противотанковые мины не могли производить в необходимом количестве, поэтому вместо мин использовали формы для кекса, заполненные 8 фунтами TNT (тринитротолуол), с простейшим спусковым механизмом. Затем Черчилль вернулся мыслями к техническим нововведениям и научным проектам, которые будоражили его воображение. Он предложил разлить мазут в акватории порта и поджечь вражеские корабли. А нельзя ли проложить за дюнами трубопровод, к которому пустить горячий бензин и поливать им захватчиков? Можно, но что будет, если захватчики высадятся в другом месте или ветер понесет огонь и дым в сторону защитников, а именно это и случилось во время проверочных испытаний. Вот так обстояли дела в конце июня и в первых числах июля. В течение этого времени никто, в том числе и Черчилль, не знал, что немцы даже не приступали к составлению плана вторжения.

В адмиралтействе считали, что, по всей видимости, высадка вражеского десанта произойдет безлунной ночью, во время прилива, незадолго до рассвета. С началом нападения должны зазвонить церковные колокола по всей Англии. Высказывались самые разные предположения о сроках вторжения. 11 июля Гарольд Николсон написал в дневнике: «Они ожидают вторжение в эти выходные». И тут же добавил: «У меня нет ни минуты сомнения относительно этой войны. Я действительно верю, что везение Гитлера на этом закончится». 20 июля он заметил: «Полагаю, что Гитлер вторгнется в ближайшие несколько дней. У него есть для этого дела 6 тысяч самолетов... Мы знаем, что вторжение будет ужасным... Однако в воздухе витает некое приятное возбуждение». В действительности для этой операции немцы имели приблизительно 2500 бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков и истребителей[178].

Сообщения в СМИ подвергались цензуре, побережье и военные объекты были запретной темой. Газеты больше не сообщали о прибытии и отбытии судов. Под запрет попал даже прогноз погоды: зачем сообщать врагу, какой будет погода в Суссексе на следующей неделе? Спустя два месяца Николсон все еще ожидал нападения. 13 сентября он написал: «Во Франции сосредоточено большое количество кораблей и барж, и понятно, что кабинет ожидает вторжение в любой момент». Айронсайд считал, что это случится 9 июля. 12 июля сэр Алан Брук написал в дневнике: «Предполагалось, что это будет день вторжения!» 14 июля Колвилл поделился с дневником: «Зловещее затишье... и, похоже, der Tag [день] не избежать». В этот день, по словам Колвилла, даже Черчилль не казался таким уверенным, как обычно. 22 июля сэр Алан Брук, который всего день назад был назначен ко-

мандующим войсками метрополии вместо Айронсайда, войдя в зал заседаний военного кабинета, сказал, что ему, «по всей видимости, придется находиться рядом с премьер-министром, если начнется вторжение». Вечером, обедая с Черчиллем в «номере 10», Брук нашел, что Черчилль был «преисполнен удивительным мужеством, учитывая бремя, которое он несет». Черчилль, добавил Брук, «полон мыслей о будущем наступлении». В ближайшие пять лет эти слова в разных вариациях найдут свое отражение в его дневнике[179].

Обедая с тремя генералами в пятницу, 12 июля, Черчилль заявил, что в случае появления немцев ему бы хотелось, чтобы «отчаянно сражался каждый гражданин, и они сделают больше, если будут знать, что альтернатива — поражение». По словам Колвилла, в тот вечер Черчилль «довольно резко заметил, что в войну пощада дается не из-за сострадания, а чтобы не дать противнику сражаться до победного конца». В отличие от Франции, если бы на острове появились немцы, британские дороги не заполняли потоки испуганных беженцев (Черчилль называл их «беглецами»), поскольку бежать было некуда. Черчилль считал, что граждане будут сражаться, даже если у них будут только «косы и обломки кирпичей». Один из генералов заявил, что надо приказать населению оставаться дома, но Черчилль возразил, что они не подчинятся такому приказу. Затем, по словам Колвилла, Черчилль перешел к сути вопроса: «Он подчеркнул, что паника, вызванная вторжением (над которой мы прекратили насмехаться всего шесть недель назад), приносит огромную пользу: она способствует тому, что мы получаем лучшую атакующую армию, которая у нас когда-либо была, и сохраняет настрой каждого мужчины и каждой женщины на высоком уровне готовности. Поэтому он [Черчилль] не хочет ослабления тревоги и, хотя лично сомневается, что вторжение представляет собой серьезную угрозу, намерен создавать впечатление [о неотвратимости вторжения] и рассказывать о долгих и опасных вахтах и т. п., в своем воскресном радиообращении»[180].

В воскресенье, 14 июля, в день взятия Бастилии, спустя четыре дня после первого крупномасштабного сражения между люфтваффе и Королевскими военно-воздушными силами, Черчилль говорил со страной по Би-би-си. Британцы считали, что находятся в отчаянном положении, и Черчилль, как и обещал Колвиллу, не стал их разубеждать. Они понесли огромные потери во Франции и Фландрии. Их враг — самый жестокий в истории. Страны одна за другой были «разорваны на куски за несколько недель или даже дней чудовищной силой нацистской военной машины».

«Сейчас нам приходится сопротивляться одним и встречать все самое худшее, что только может сделать мощь и злобство тирана. Мы смиренны перед Богом, но мы осознаем, что служим ясной цели, и готовы защищать нашу родную землю против вторжения, которое ей

угрожает. Мы боремся одни, но не только ради себя. Здесь, в Городе-убежище, который хранит свидетельства развития человечества и который имеет большое значение для всей христианской цивилизации, окруженном морями и океанами, где правит флот, защищенный с неба силой и преданностью наших летчиков, мы ждем, не страшась встретить надвигающееся нападение. Может быть, вторжение начнется сегодня. Может быть — на следующей неделе».

Затем последовали слова, которые выразили его чувства и подарили британцам частицу надежды: «А может, оно так и не будет предпринято. Но мы, все вместе, должны быть готовы встретить внезапный страшный удар, или — что, возможно, будет более трудным испытанием — мы должны приготовиться к долгой вахте. Но будь испытание суровым или длительным или и тем и другим, мы не будем искать пути к соглашению, мы не допустим никаких переговоров; мы можем проявить милосердие, но не будем просить о нем»[181].

Немецкая военная машина обладает «чудовищной силой, но теперь в Великобритании полуторамиллионная армия, более миллиона защитников-добровольцев и «более тысячи военных кораблей под английским военно-морским флагом, патрулирующих моря, флот способен легко переместиться на защиту любой части Британской империи, которой могут угрожать; он также может защищать нашу связь с Новым Светом, откуда, по мере усиления борьбы, идет все бóльшая помощь». И нацисты должны знать, что «Гитлер еще не сталкивался с великой нацией, у которой сила воли была бы равна его собственной».

Если захватчик придет в Британию, он не увидит склонившегося в подчинении народа, как, увы, мы видели в других странах. Мы будем защищать каждую деревню, каждый поселок и город. В самом Лондоне, сражаясь за каждую улицу, мы истребим всю вражескую армию; мы лучше увидим Лондон в руинах и золе, чем приручeнным и порабощенным.

Тем не менее, сказал он, пробираясь «через темную долину, мы видим впереди солнечный свет». Вы должны понимать, сказал Черчилль, что «все сейчас зависит от жизненной силы британской расы в любой части мира, от всех солидарных с нами народов и от всех благожелателей в любой стране, делающих все возможное днем и ночью, от тех, кто жертвует всем, кто бесстрашен и вынослив, на пределе своих сил, и до самого конца... Это война безвестных воинов; но давайте все будем бороться, не сомневаясь в нашей вере или долге, и тогда черное дело Гитлера будет выметено из нашего времени»[182].

Фюрер предположил, что вторжение не понадобится. После падения Франции он считал, что война закончилась. На Востоке его пакт со Сталиным гарантировал мирные отношения до тех пор, пока одна из сторон не нарушит его, то, что собирался сделать Гитлер сразу по-

сле достижения соглашения с англичанами. Гитлер, приказав демобилизовать сорок дивизий, сказал рейхсмаршалу Герману Герингу, что придется пересмотреть все планы относительно войны: он достигнет «взаимопонимания» (Ubereinkommen) с британцами. По правде говоря, он ожидал, что Лондон проявит инициативу. Гитлер сказал Дино Альфьери, итальянскому послу в Берлине, что «не может себе представить, чтобы кто-то в Англии по-прежнему всерьез верил в победу». Генерал-полковнику Францу Гальдеру, начальнику штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта, он сказал, что «Англия в безнадежном положении. У них нет никаких шансов на успех». Его генералы были полностью согласны с ним. 30 июня Франц Йодль, начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, написал: «Окончательная победа Германии над Англией теперь только вопрос времени. Вражеские наступательные операции в крупных масштабах более невозможны»[183].

Фюрер предпочел прийти к соглашению, освободив вермахт от необходимости оборонять Западный фронт, когда напал на своего смертельного врага, Советский Союз. Он презирал Черчилля, но восхищался Британской империей; ее существование, по его мнению, имело важное значение для мирового порядка. (Все офицеры СС в обязательном порядке должны были посмотреть фильм «Ганга Дин»*; это пример, объяснил он, отношений между высшей и низшими расами).

Вот почему он был готов предложить Англии очень выгодные условия. Уверенный, что англичане понимают безнадежность своего положения, он отнесся к вызову Черчилля как к блефу и ожидал, что британцы в скором времени сами обратятся к нему. После четырехнедельного ожидания 19 июля, выступая в рейхстаге, он сделал первый шаг. После оскорблений в адрес Черчилля, он сказал: «Поверьте мне, господа, я питаю глубокое отвращение к подобного рода бессовестным политиканам, которые обрекают на гибель целые народы. У меня вызывает почти физическую боль одна только мысль, что волею судеб я оказался тем избранным лицом, которому придется наносить последний удар по структуре, уже зашатавшейся в результате действий этих людей». И продолжил: «В этот час я считаю долгом перед собственной совестью еще раз обратиться к здравому смыслу как Великобритании, так и других стран. Я считаю, что мое положение позволяет мне обратиться с таким призывом, ибо я не побежденный, выпрашивающий милости, а победитель, говорящий с позиций разума и здравого смысла». Он объяснил британцам, что, если не будет заключен договор, их ждут «великие страдания». А затем, обращаясь к Черчил-

* «Г а н г а Д и н» — американский фильм 1939 года, в основу которого легла стихотворная баллада Р. Киплинга о самопожертвовании индийца-водоноса, который ценой собственной жизни спасает английского военного.

лю, сказал: «Мистер Черчилль должен хотя бы единожды поверить моему предсказанию, что великая империя будет разрушена — империя, разрушать которую у меня не было намерения». Свою речь он закончил словами, в которых содержался намек на выгодные условия договора: «Я не вижу причины, по которым эта война должна продолжаться»[184].

Спустя час пришел ответ. Черчилль не соизволил комментировать предложение. «Я не собираюсь ни говорить что-либо в ответ на речь герра Гитлера, — сказал он, — ни поддерживать отношения с ним», — но диктор Би-би-си, позже его поддержало министерство иностранных дел, напрямую обратился к Гитлеру: «Позвольте вам сказать, что мы думаем здесь в Великобритании, об этом обращении, сделанном, по вашим словам, «с позиций разума и здравого смысла». Герр фюрер и рейхсканцлер, мы швыряем его обратно прямо в ваш зловонный рот!»[185].

В Риме граф Галеаццо Чиано написал в дневнике: «Поздно вечером, когда стали поступать первые спокойные отклики англичан на речь фюрера, у немцев возникло чувство трудно скрываемого разочарования». Берлин был всерьез потрясен, а Гитлер растерян. Германский Генеральный штаб всегда считал, что победить Великобританию можно только путем блокады ее морских коммуникаций. Хотя все великие державы тратят мирное время на разработку планов на случай войны с другими странами, включая ближайших союзников, немецкое Верховное командование не разрабатывало планов борьбы против Англии до июня 1937 года, и люфтваффе не занимались этим до 1938 года[186].

И те были только на бумаге. Как заметил А.Дж.П. Тейлор, у Гитлера были внешнеполитические амбиции, но не было никаких военных планов; он, по словам Лена Дейтона, историка и писателя, был «одним из самых успешных оппортунистов XX века», выдумывавших на ходу. Действительно, поразительный факт — военный историк Бэзил Лиддел Гарт назвал «одной из самых необычных особенностей истории», — что ни фюрер, ни его Генеральный штаб в Цоссене не изучали и даже не рассматривали вопросы, вытекающие из упорной воинственности Великобритании. Они не занимались этим ни когда началась война, ни спустя девять месяцев, когда капитулировали французы. Они решили тщательно продумать стратегию захвата европейских стран, включая Испанию, Балканы и своего итальянского союзника; они разработали планы сражений за Скандинавию и Советский Союз; они даже знали, как в случае необходимости одолеть Ватикан. Германский штаб руководства войной на море, ответственный за перевозку немецких войск в Англию, с прошлой осени занимался изучением проблемы вторжения, но не систематически. Армия и люфтваффе вообще не занимались. 27 мая штаб руководства войной на море представил план, озаглавленный «Исследование Англии»; это была не более чем памятная записка (много общих фраз и размытых

формулировок вместо реальных предложений) по вопросу о том, как величайшая армия, какую когда-либо знал мир, может подчинить Великобританию[187].

Для того чтобы попасть в Англию, вермахту предстояло пересечь Ла-Манш и Северное море. Гитлер боялся моря. «На суше я герой, а на воде трус», — однажды сказал он генерал-фельдмаршалу Герду фон Рундштедту. У нацистской Германии не было десантных кораблей, и она не планировала их строительство, поэтому для переброски немецких войск, если бы было принято решение о вторжении на остров, предполагалось использовать речные баржи. Эти плоскодонные баржи, 90 футов в длину и 20 футов в ширину, с максимальной скоростью 7 миль в час, не были предназначены для эксплуатации в море. Часть барж были самоходными, многие — несамоходными. В немецкой армии не было ни одного подразделения морских десантников. Для Генерального штаба мир ограничивался Европейским континентом. Этот мир заканчивался на западном побережье Франции. Целью большого весеннего наступления нацистов был Париж, последний шаг перед вторжением в Россию[188].

Королевский военно-морской флот занимал главное место в вооруженных силах Великобритании. Военное министерство считалось с мнением адмиралтейства, старейшего военного ведомства, основанного во времена правления Генриха VIII. Офицеры британской армии пользовались уважением, часто отмечались их заслуги, хотя армейские подразделения, разбросанные по всей Британской империи, зависели от военно-морского флота в части обеспечения поставок и подкрепления. Королевский флот связывал воедино, обеспечивал продовольствием и защищал отдельные части Британской империи. Крейсеры и эсминцы в Гибралтаре охраняли западную часть Средиземноморья, в то время как флот в Александрии — Центральное и Восточное Средиземноморье. Адмиралтейство возложило на флот метрополии, главная база которого находилась в Скапа-Флоу, почти в 500 милях к северу от Лондона, в далекой Северной Шотландии, охрану торговых судов в Атлантике и, самое главное, защиту Родного острова. Эсминцы играли ключевую роль в противодействии немецкому вторжению. Британцы начали войну более чем с восьмьюдесятью эсминцами для действий в Северном море и вокруг острова и с десятком эсминцев для операций в северной Атлантике. Эсминцы были быстрыми, могли маневрировать и стрелять, пробиваясь через армаду вторжения на скорости порядка 30,5 узла, и были жизненно необходимы для блокады Германии и выживания Великобритании. Но начиная с января немецкие подводные лодки, люфтваффе и немецкие мины лишили британцев чуть более двух десятков эсминцев. Эсминцев могло быть больше, но в 1938 году правительство Чемберлена в целях экономии приняло решение о прекра-

щении строительства этих кораблей. Вот почему Черчилль обратился к Рузвельту с просьбой о поставках эсминцев.

К концу июня сорок эсминцев, несколько крейсеров и два линейных крейсера из состава флота метрополии размещались в портах от Абердина до Росайта в Шотландии, вниз по побережью от Хала до Ярмута, от Дувра до Рамсгита на юго-востоке Англии. На юге и юго-западе военные корабли размещались в Портсмуте, Портленде, Плимуте, Фалмуте, Кардиффе и Суонси. Большие корабли действовали при поддержке более чем 900 противолодочных траулеров, канонерских лодок, минных тральщиков, торпедных катеров, минных заградителей. Около 200 корветов — канонерские лодки водоизмещением 1000 тонн, длиной 200 футов, вооруженные глубинными бомбами, — занимались эскортированием атлантических конвоев и при необходимости могли оказать помощь в случае вторжения. Для защиты острова имелось три авианосца; у немцев не было ни одного. В случае вторжения королевский флот должен был атаковать неприятеля в Ла-Манше, действуя под прикрытием 150 6-дюймовых орудий, установленных вдоль побережья Ла-Манша. За исключением подводных лодок, часть флота метрополии, которая осталась в Скапа-Флоу, была больше, чем весь немецкий военно-морской флот. Из восьмидесяти подводных лодок Гитлера пятьдесят предназначенных для блокады Великобритании представляли смертельную угрозу, но только в том случае, если будут продолжать охоту на британские торговые суда в экстерриториальных водах и западных подходах к британским портам. Черчилль ожидал, что Гитлер для вторжения использует одну-две дюжины подводных лодок. Даже если они причинят ущерб британским кораблям, Королевский флот и истребители и бомбардировщики Королевских ВВС будут преследовать их до полного уничтожения в узкой части Канала. Черчилль был уверен в своем военно-морском флоте. Британия по-прежнему правила морями, а Гитлеру предстояло пересечь море, чтобы добраться до Англии. В 1918 году Германия лишилась своих колоний и с ними притязаний на роль морской державы. За исключением командиров подводных лодок, которых боялись и уважали британцы и прославляли в Германии, военная слава предназначалась немецким солдатам и, если Герингу удавалось настоять на своем, немецким летчикам. В Германии морские офицеры занимали более низкое положение в обществе; считалось, что им не хватает самоуверенности, необходимой для участия в агрессивной войне. Поэтому, когда фюрер неохотно издал приказ «подготовиться к десантной операции против Англии и осуществить ее, если в этом возникнет необходимость» и поставил перед адмиралами на Бендлерштрассе задачу переправить вермахт через Ла-Манш, в ответе не было ни уверенности, ни энтузиазма, и на то были веские причины. Если люфтваффе не обуздает флот метрополии и британские истребители

и бомбардировщики, то любая воздушная победа в дневное время будет компенсирована, когда ночью появится Королевский флот, чтобы помешать вторжению с моря[189]. Британия владела большим количеством кораблей, и было крайне важно их уничтожить. Немцы не имели больших военных кораблей за пределами Балтики (и всего четыре в Балтийском море), чтобы противостоять британским эсминцам, значительно превосходящим в количественном отношении, и большим кораблям (крейсеры, линейные крейсеры и линкоры). Германский военно-морской флот начал войну, имея всего двадцать один эсминец, и дорого заплатил за апрельский успех в Норвегии, где потерял десять эсминцев. Итак, когда был поднят вопрос о поддержке вторжения в Англию, главнокомандующий кригсмарине*, гросс-адмирал Эрих Редер в конфиденциальной беседе с фюрером перечислил свои возражения против вторжения.

Он настоятельно советовал, чтобы вторжение было предпринято «только как последнее средство вынудить Англию пойти на заключение мира». И добавил, что «не может выступать в поддержку идеи вторжения в Англию, как в случае с Норвегией»[190].

Командующие другими родами войск тоже высказывали свои опасения. Верховное командование люфтваффе пришло к выводу, что «комбинированная операция с высадкой в Англии в качестве ее цели должна быть отклонена», и из Цоссена коротко сообщили, что «Генеральный штаб сухопутных войск не занимается вопросами вторжения в Англию, так как считает его осуществление невозможным». Но фюрер продолжал упорствовать, и в середине июля Oberkommando des Heeres, Верховное командование сухопутных войск (ОКХ), составило план операции под кодовым названием Seelowe — «Морской лев». Эта амбициозная стратегия предусматривала высадку в первой волне десанта 90 тысяч человек. К третьему дню планировалось доставить на английское побережье 160 тысяч человек. В общей сложности на острова следовало доставить 41 дивизию, в том числе шесть танковых и две воздушно-десантные. Перед каждой армией стояла своя задача: одна, к примеру, должна была наступать на Бристоль, отрезав Девон и Корнуэлл, в то время как вторая блокировать Уэльс. Мнение ОКХ, под влиянием железной воли Гитлера, полностью изменилось. Теперь генералы считали, что операция продлится не более месяца. Они действительно думали, что не возникнет никаких затруднений[191].

Если операция «Морской лев» по многим причинам вызвала ужас у Верховного командования кригсмарине, то практически по тем же причинам она вселила надежду Черчиллю. Только для высадки первой волны на таком широком фронте требовалось 1722 баржи, 1161 моторная лодка, 471 буксир и 155 транспортов. Редер заявил, что это

* Кригсмарине — официальное название германских военно-морских сил во времена Третьего рейха.

невозможно. Если бы даже удалось собрать такое большое количество судов и попытаться предпринять высадку войск на широком фронте и в крупных размерах, то вся экспедиция может быть потоплена англичанами во время переправы. Кроме того, сказал он, это подорвет экономику Германии, так как изъятие такого числа барж и буксиров расстроит всю систему перевозок по внутренним водам, от работы которой в значительной мере зависит экономическая жизнь. Он предложил использовать более узкий фронт десантирования и в меньших масштабах, чтобы минимизировать риск для флота. Генеральный штаб отклонил его предложение. В такой операции, объяснил Цоссен, немецкие солдаты могут не устоять против защитников острова.

На самом деле не было необходимости урегулировать разногласия между родами войск. Черчилль был прав, когда во время встречи в Бриаре сказал, что решающий момент наступит, когда Гитлер бросит свою авиацию на Великобританию. И он должен был наступить. Противник не станет пытаться переправляться через Канал, пока его военные самолеты не станут полновластными хозяевами дневного неба над Великобританией. Верховное командование вермахта понимало это. В документе, озаглавленном Die Weiterfuhrung des Krieges gegen England («Продолжение войны против Англии»), Йодль отметил, что «высадка в Англии может реально рассматриваться лишь после того, как германские военно-воздушные силы завоюют господство в воздухе»[192].

Прежде чем вторгаться в Англию, Гитлеру «нужно уничтожить английский военно-воздушный флот в пределах радиуса действия наших истребителей или хотя бы заставить его отступить на базы, расположенные в Средней Англии». Герман Геринг объявил, что у люфтваффе изменилось мнение; они могут это сделать, сказал он, причем без особых усилий.

В схватке, позже получившей название Битва за Британию, Черчилль представлял себе ожесточенную борьбу на побережье между пехотинцами под руководством адмиралов и генералов при поддержке бронетанковых войск и флота. Едва ли кто-либо задумывался о проблемах воздушной войны. Профессиональные летчики, конечно, являлись исключением, но их знания ограничивались воздушными боями 1914—1918 годов — поединками между людьми, управлявшими бипланами, изготовленными из дерева и ткани, и слушавшими свист ветра в проводах. Не вызывало сомнений, что предстоящий поединок будет намного сложнее. Однако самые влиятельные в этой области между войнами люди — Джулио Дуэ в Риме, лорд Тренчард в Лондоне, Уильям Билли Митчелл в Вашингтоне* и Герман Геринг в Берлине — сделали неправильное предположение.

* Дуэ Джулио — итальянский генерал. Развивал теорию воздушной войны, выдвинул идею проведения массированных бомбардировок городов противника с целью оказания морального воздействия и принуждения к капитуляции.

Они считали, что победа будет за военно-воздушными силами тех, кто первым начнет непрерывные массированные бомбардировочные атаки. Исходя из этого, люфтваффе сровняли с землей испанские города, итальянцы — эфиопские деревни, японцы — китайские города. Министерства авиации объяснили своим правительствам, что нет защиты от нокаутирующей бомбардировки с воздуха.

Стэнли Болдуин, выступая в парламенте в ноябре 1932 года, заявил, что нет никакой защиты против «воздушного террора». В эмоциональной речи, нехарактерной для него, он сообщил свое мнение палате общин и, следовательно, стране: «Я думаю, надо... чтобы обыватель понимал, что нет на земле такой силы, которая защитила бы его от бомбежки. Независимо от того, что ему говорят, бомбардировщик всегда достигает цели. Единственная защита — нападение, а это значит, что придется убивать женщин и детей быстрее, чем враг, если вы хотите спасти себя»[193].

Этого мнения придерживались и после падения Франции. Даже Черчилль считал, что победа зависит от наступательных действий авиации. 8 июля он сказал Бивербруку, что «единственный верный путь» к победе через «бомбардировки Германии». Речь шла о военных объектах. Не принимая в расчет чудовищный тезис Болдуина относительно убийства женщин и детей, разработчики военных планов сосредоточили внимание на военных предприятиях, электростанциях, сталелитейных заводах, сортировочных станциях и т. п., а не на жилых районах[194].

Военно-воздушные силы сыграли решающую роль в разгроме Польши, но после падения Варшавы уделялось мало внимания способам отражения воздушных ударов. Во время странной войны стратеги Королевских военно-воздушных сил, следуя теории, изложенной Дуэ в его футуристической книге «Война 19... года», предложили направлять флоты бомбардировщиков против промышленных объектов Рурской области. К их досаде, правительство его величества запретило неспровоцированные рейды в дневное время. Сбрасывали пропагандистские листовки над рейхом, в которых британцы обещали уничтожить немцев, но даже из этого не вышло ничего хорошего; бомбардировщики, без сопровождения истребителей, понесли такие тяжелые потери, что от этих рейдов пришлось отказаться. В ночь с 15 на 16 мая, когда танки Гудериана, захватив Седан, двинулись в направлении устья Соммы, сто британских бомбардировщиков совершили налет на промышленные

Тренчард Хью — маршал Королевских ВВС. Он утверждал, что жилые районы противника должны стать естественными целями, поскольку промышленный рабочий является таким же участником боевых действий, как и солдат на фронте. Эта доктрина нашла свое отражение в концепции ковровых бомбардировок.

Митчелл Уильям — генерал, командующий ВВС армии США. Активно пропагандировал доктрину Дуэ.

объекты в Рурской области. Официальная история Королевских военно-воздушных сил подтверждает, что бомбардировщики «не достигли ни одного из своих объектов». Экипажи, не обнаружив цели, сбросили бомбы и вернулись в Англию. Это должно было заставить маршалов остановиться и подумать. Но, по словам А.Дж.П. Тейлора, они продолжали считать, что с помощью «бомбардировки, без поддержки с земли и с моря, можно выиграть войну»[195].

Мало внимания уделялось сопровождению бомбардировщиков эскортами истребителей, и на то были причины: и британским, и немецким истребителям не хватало дальности полета для сопровождения бомбардировщиков на расстояние 1000 миль. Максимальная дальность и тех и других составляла 300—400 миль, то есть 150—200 миль туда и 150—200 миль обратно. Они могли находиться в воздухе приблизительно 90 минут, поэтому не имели возможности долетать до границ противника, не говоря уже о том, чтобы сопровождать бомбардировщики. Никто из командования бомбардировочной авиации не рассматривал возможность того, что Германия разгромит Францию и Бельгию, захватит их аэродромы — некоторые всего в 100 милях от Лондона — вместе с бомбардировщиками, пикирующими бомбардировщиками и истребителями. Хотя в конце 1930-х командование Королевских ВВС было уверено, что бомбардировщики — верный путь к победе и, следовательно, истребители играют второстепенную роль, не все разделяли это мнение. В 1937 году член кабинета сэр Томас Инскип, признавая неопровержимый факт, что нацистская Германия выигрывает в гонке бомбардировщиков, утверждал, что на самом деле это не имеет значения. «Цель наших военно-воздушных сил, — сказал он, — не в том, чтобы раньше нанести сильный удар, а чтобы помешать немцам победить нас». Другими словами, Королевским ВВС надо не побеждать, а просто избегать поражения. Для этого им нужны истребители. Министерство ВВС, потрясенное его высказыванием, было категорически против, но премьер-министр согласился с его доводами, и, к счастью для Британии, член Совета по делам авиации, главный маршал авиации, сэр Хью Даудинг был того же мнения.

Оглядываясь назад, «зануда» Даудинг — как называли его летчики — был настоящим героем Битвы за Британию, хотя его современники не спешили соглашаться с этим. Одна из причин крылась в тяжелом характере этого человека. Начиная с Трафальгарского сражения британцы ожидали, что их военными героями будут Нельсоны, а Даудинг был далек от их представлений. Высокий, худой, сдержанный, любитель изучать птиц в естественных условиях, вдовец, чья карьера пострадала от бестактности, оригинальных взглядов и полнейшего отсутствия умения вращаться в обществе. То, что он увлекался спиритизмом и был вегетарианцем, только усиливало мнение летчиков, что он человек со странностями. В середине 1930-х его возраст — во вре-

мя Первой мировой войны он был на десять лет старше германского воздушного аса фон Рихтгофена — давал ему право занимать самый высокий пост в Королевских ВВС, начальника штаба, но его коллеги маршалы отказали ему в этом. Они, наоборот, отвели ему второстепенную роль, или им так казалось, назначив командующим истребительной авиацией. Если война будет выиграна в результате воздушных бомбардировок, а они рассматривали только такой вариант, то истребителям достанутся крохи славы[196].

Не обращая внимания на них и их стратегию, Даудинг упорно преследовал свои цели. В своем штабе в Бентли-Прайори, особняке XVIII века в готическом стиле, расположенном в пригороде Лондона, он занимался организацией противовоздушной обороны страны, созданием системы аэростатного заграждения Лондона, руководил заменой истребителей-бипланов на монопланы, оснащенные двигателями Rolls-Royce V-12 Merlin, и сделал первые, исторические шаги в использовании в военных целях радиопеленгаторов, или радаров, как позже их назвали американцы.

К июлю 1940 года у Даудинга было приблизительно восемьсот одномоторных истребителей «Спитфайр» и «Харрикейн». Он разделил их на четыре авиагруппы — две обороняли самый важный район, а две прикрывали второстепенные районы. К второстепенным районам относились Корнуэлл, Уэльс и Шотландия, которые прикрывали 10-я и 13-я группы. Центральную часть острова защищала 12-я группа, а самую важную часть — Южную Англию — 11-я группа; в состав этих авиагрупп входили шестьсот «Спитфайров» и «Харрикейнов». Предполагалось, что немецкие баржи, скорее всего, произведут высадку либо к северу от устья Темзы, либо к западу от Дувра, или одновременно в обоих местах. Следовательно, целью Геринга был этот сектор. До начала вторжения ему следовало уничтожить 11-ю группу, поскольку она служила в качестве щита для Юго-Восточной Англии.

Но самым мощным щитом в предстоящие решающие месяцы было суждено стать радару. С самого начала Даудинг был одним из сторонников радаров. Перед назначением на пост командующего истребительной авиацией он руководил научными исследованиями и внимательно следил за опытами Роберта Уотсона-Уотта, ученого из Национальной физической лаборатории. Уотсон-Уотт убедил Даудинга и его окружение, что радиолучи отражаются от корпуса самолета. Но, проталкивая идею с радаром, Даудинг занял неправильную позицию в отношении хорошего друга Черчилля, профессора Фредерика Линдемана. За что позже поплатился. В отличие от англичан немцы, рассматривавшие радар как средство разведки, поручили их разработку флоту, а там дело практически застопорилось.

Еще до войны Даудинг верил в то, что радар может стать бесценным оборонительным оружием. В 1937 году по его приказу началась

работа по установке на юго-восточном побережье цепи стационарных береговых радиолокационных станций, с дальностью обнаружения порядка 50 миль и порядка 120 миль. К весне 1940 года Великобританию охватывала сетка радиолучей, как позже назвали ее англичане, «невидимый бастион» против вражеских самолетов. К счастью для британцев, Гитлер запретил расходовать средства на технологические исследования, поскольку считал, что они не будут способствовать достижению его цели — быстрой победе; к этим технологиям относился и радар. В июле 1940 года немецкий технический персонал даже не был уверен, для чего предназначены высокие башни, установленные вдоль побережья Великобритании, хотя многие подозревали, что это радарные башни. Таким образом, люфтваффе начали кампанию, не владея полной информацией.

Пятьдесят радарных станций наблюдали за небом над всем Островом, с севера Шотландии до Уэльса. Большинство станций, расположенные на восточном и юго-восточном побережье, были обращены к Северному морю и Ла-Маншу, в его самом узком месте, шириной всего в 21 милю. Передатчик, установленный на 360-футовой вышке, посылал радиосигнал в цель; обратный сигнал приходил на приемник, установленный на 240-футовой башне. Сидевший за мониторами в деревянных ангарах под вышками технический персонал сообщал по телефону информацию о расстоянии, направлении и размерах приближающихся нацистских самолетов в оперативный центр в Бентли-Прайори, где одетые в синюю униформу члены Женской вспомогательной службы военно-воздушных сил определяли местоположение самолетов на огромной настольной карте, передвигая лопаточками, какими пользуются крупье, цветные фишки, обозначавшие британские и немецкие самолеты. Офицеры Королевских ВВС радировали приказы в девять оперативных центров 11-й авиагруппы — зоны ответственности авиагрупп делились на секторы, каждый из которых имел свою базу с оперативным штабом, таким же, как и в штаб-квартире авиагруппы. Оттуда приказы радировались командирам эскадрилий истребителей. Немецкие летчики приходили в замешательство, слушая, как британские летчики получают новейшую информацию об их местоположении. Каким образом, задавались они вопросом, кто-то на земле может знать, где находятся немецкие самолеты и в каком направлении движутся? Они не понимали, что в Битве за Британию столкнулись с двумя противниками: летчиками Королевских ВВС в небе и радарными командами на земле[197].

Теперь британцы могли обнаружить самолеты противника, направляющиеся к побережью Великобритании, когда они находились еще на расстоянии 120 миль и летели на высоте до 30 тысяч футов. Поскольку волны, посылаемые радарами, отражались от земли и воды, низколетящие цели были им недоступны. Так что самолеты, прибли-

жавшиеся к Англии на малой высоте, могли пролететь незаметно для радаров. Точное вычисление времени, расстояния, набора высоты истребителя и его скорости было крайне важно и определило исход воздушного сражения над Ла-Маншем. Операторам на станциях секторов, получившим информацию из Бентли-Прайори, требовалось примерно пять минут, чтобы радировать приказы эскадрильям истребителей, а за это время немецкие истребители поднимались еще на 6—8 тысяч футов. «Спитфайру» требовалось почти пятнадцать минут, чтобы подняться на высоту 20 тысяч футов. Немцы, следовательно, имели фору порядка двадцати минут. «Практический потолок» (максимальная высота над уровнем моря, на которой возможен полет) и немецких, и британских истребителей, составлял 35 тысяч футов, а немецких средних бомбардировщиков — 26 тысяч футов. Мало того что операторы не могли «видеть» ниже определенных высот, так они еще теряли самолет из вида на огромных высотах. И все проблемы Королевских ВВС усугублялись тем, что эскадрильи люфтваффе могли за пять минут пересечь Канал в самом узком месте.

Против Королевских военно-воздушных сил готовились выступить три немецких Luftflotten (воздушный флот)*.

3-й Luftflotten базировался во Франции, 2-й Luftflotten — в Бельгии под командованием фельдмаршала Альберта Кессельринга и 5-й Luftflotten — на территории Дании и Норвегии. Из-за расстояния, которое надо было преодолеть 5-му, и недостаточной дальности полета лучшего немецкого истребителя «Мессершмитт» Bf-109, бомбардировщики 5-го Luftflotten должны были лететь без сопровождения. Таким образом, основная тяжесть немецкого нападения пришлась на 2-й и 3-й Luftflotten, в состав которых в общей сложности входило 750 бомбардировщиков, 250 пикирующих бомбардировщиков «Штука» (Юнкерс-87), 600 истребителей Bf-109 и 250 истребителей Bf-110 с двумя двигателями. 30 июня Герман Геринг разослал свои «Общие директивы по боевым действиям люфтваффе против Англии». Это был первый шаг, кодовое название Kanalkampf («Сражение над Каналом»), в борьбе за господство в небе над Ла-Маншем — «Действуя согласованно, воздушные флоты должны воевать, используя максимум сил. Их соединения должны атаковать заранее определенные группы целей».

Над Ла-Маншем, а не там, где, как думал Хью Даудинг, будет вестись борьба. Он считал, что сражения будут происходить над Юго-Восточной Англией, в зоне 11-й группы. Немцы держали наготове гидропланы — выкрашенные в белый цвет, с красными крестами для

* Люфтваффе состояли из Luftflotten, или воздушных флотов. Каждый воздушный флот включал в себя подразделения, оснащенные всеми типами самолетов, имел в своем составе пилотов, техников и зенитные батареи. Эти образования были сгруппированы по географическим районам.

спасения летчиков люфтваффе, сбитых над Ла-Маншем. Британские пилоты, оказавшись в воде, могли только надеяться, что британский катер или местный рыбак случайно обнаружат их, прежде чем они утонут, и многие утонули. Геринг планировал выманить в небо над Каналом «Спитфайры» Даудинга своими Bf-109, шедшими на большой высоте. Пикирующие бомбардировщики «Штука», истребители Bf-109, несущие одну 550-фунтовую бомбу, и истребители Bf.100, имевшие бомбовую нагрузку 2200 фунтов, должны были, используя тактику «ударил — убежал»*, атаковать Королевский флот, торговые караваны и порты, в которых они останавливались.

Налеты на корабли, по его мнению, позволят выманить британские истребители под удар немецких истребительных соединений. Еженедельно по Каналу проходили торговые суда, общей грузоподъемностью миллион тонн, в сопровождении Королевского флота. Хотя Битва за Британию отложилась в коллективном сознании как первая в истории крупнейшая схватка военно-воздушных сил — а так оно и было, — цель немцев состояла в том, чтобы добиться господства над морями, добившись господства в воздухе. Цель будет достигнута в июле, обещал Геринг, подготавливая почву для операции Adlerangriff («Орлиная атака») — массированной воздушной наступательной операции с целью уничтожения военных объектов, железнодорожных узлов, портовых сооружений, складов горючего и авиационных заводов и, в первую очередь, аэродромов, расположенных на побережье Великобритании[198].

Даудинг считал, что только радары и одномоторные истребители Королевских ВВС способны спасти Англию от уничтожения. Он отдал приказ истребителям по возможности избегать стычек с немецкими истребителями и сосредоточиться на большей опасности, которую представляли собой немецкие бомбардировщики. Этой тактики удержания в небе «Спитфайров» и «Харрикейнов» предстояло придерживаться до осени, когда ухудшение погодных условий исключило любую возможность морского наступления нацистов через Канал.

Операция Kanalkampf началась 10 июля, когда двадцать немецких средних бомбардировщиков в сопровождении порядка двадцати двухмоторных истребителей Bf-110 и сорока Bf-109 атаковали конвой в районе Дувра. Истребительное командование Королевских ВВС бросило в бой две эскадрильи (порядка 30 самолетов) «Харрикейнов».

* «У д а р и л — у б е ж а л» («Соколиный удар») — тактика ведения воздушного боя, основанная на преимуществе в высоте. Заключается в атаке противника с пикирования, с последующим уходом свечкой вверх. Противник, не имея достаточного запаса энергии, не может «достать» атакующего. Эта тактика позволяет вести эффективный воздушный бой с превосходящими силами противника, при условии наличия преимущества в высоте, скорости и скороподъемности.

В этот день немцы потеряли тринадцать самолетов, а англичане — семь, и это соотношение будет удерживаться на протяжении следующих двух месяцев. Тяжелая борьба — а эти первые схватки Королевских ВВС и люфтваффе были смертельными — продолжалась на протяжении целого месяца, по большей части над Каналом и южным побережьем Англии. Это было время пробы сил для обеих сторон, время маневров, изучения противника, изменения тактики.

А для Королевского флота это было время страшных потерь — от мин, подводных лодок, с воздуха. 4 июля «Штуки» атаковали и потопили у Портленда корабль ПВО Foylebank; погибли 170 из 300 членов команды. Немецкая подводная лодка потопила эсминец Whirlwind; погибли 47 человек. 18 июля были выведены из строя два противолодочных траулера и тральщик; 19 и 22 июля люфтваффе потопили патрульные корабли; погибло 11 человек. В том же месяце у берегов Англии затонули две английские подводные лодки; потери составили 77 человек. 26 июля эсминец Boreas был обстрелян люфтваффе; погиб 21 человек. На следующий день эсминец Wren был потоплен у Дувра и эсминец Codrington у Суффолка; погибли 36 человек. Воздушная атака на Дувр была настолько сильной, что командование вывело эсминцы из порта. Именно на это делал ставку Геринг. 29 июля эсминец Delight был тяжело поврежден у Портленда, отбуксирован в порт, где затонул в ночь с 29 на 30 июля; шесть погибших. Остальные члены команды спаслись, но, лишившись корабля, они фактически выбыли из строя. В июле Королевский флот потерял матросов больше, чем Королевские ВВС потеряли летчиков в течение следующих двух месяцев. Новых матросов можно было обучить за несколько недель, но строительство даже самой маленькой канонерской лодки занимало несколько месяцев.

Несмотря на тяжелые потери, Королевский флот не собирался без борьбы уходить из Дуврского пролива. Но Даудинг занял жесткую позицию в отношении патрулирования в дневное время для защиты торговых судов и эсминцев эскорта. Адмиралтейство неохотно запретило эсминцам выходить в пролив в дневное время. Торговым судам предоставили выбор: либо они заходят в Дувр в сумерки, либо следуют по Каналу без сопровождения.

8 августа на рассвете двадцать угольщиков* решили рискнуть.

Угольщики, построившись в колонну, двигались от острова Уайт — как обычно, и радиооператоры кригсмарине в Виссане, напротив Фолкстана, слышали, как угольщики и их корабли эскорта обменивались сообщениями о подготовке к проходу по Каналу. Последовала атака люфтваффе. Когда радиолокационная станция на острове Уайт

* У г о л ь щ и к, иногда углевоз — тип судна специальной конструкции, предназначенный для перевозки угля насыпью.

поймала сильную вспышку, сигнализирующую о приближении противника, более тридцати «Спитфайров» и «Харрикейнов» поднялись в воздух, чтобы прикрыть колонну. Однако генерал Йоханнес Финк, заманив истребители Королевских ВВС в ловушку, отправил «Штуки», которые меньше чем за десять минут потопили пять кораблей и повредили семь. Оставшиеся рассеялись, затем попытались собраться и снова подверглись нападению, на этот раз «Штук» в сопровождении Bf-109. Королевские ВВС потеряли шестнадцать самолетов, немцы почти вдвое больше.

Нападения на корабли продолжались в течение августа; возрастали людские потери и потери грузовых судов, танкеров, траулеров. В конце месяца эсминец его величества Esk подорвался на мине и затонул у берегов Голландии, забрав с собой на дно 130 членов экипажа. Скоординированные атаки люфтваффе и кригсмарине приносили результаты, но Геринг без особого рвения преследовал собственные цели. Обмену своих заменяемых самолетов на невозместимые британские корабли он предпочел славу, которая покрывала люфтваффе, когда его летчики высоко в небе вступали в бой с молодыми пилотами Королевских ВВС, и инверсионные следы выписывали героическую историю каждого дня. Немецкие самолеты, летевшие на высоте 26 тысяч футов, не топили корабли. Высшее немецкое командование армии и флота, как позже отмечал Черчилль, «сожалело, что Геринг не уделяет первостепенное значение морским целям, и выражало по этому поводу недовольство»[199].

В пятницу, 9 августа, Черчилль обедал в Чекерсе с Паундом, Исмеем, Иденом, Диллом и генералом сэром Арчибальдом Уэйвеллом. Черчилль, несмотря на угрозу вторжения, продолжал вынашивать планы наступления. После того как дамы удалились в гостиную, он подробно рассказал о плане де Голля относительно вторжения во французскую Северную Африку при поддержке Королевского флота в Дакаре. Черчилль философски отнесся к потерям в тот день в проливе. Англия, сказал он, должна продолжать использовать корабли прибрежной зоны в качестве приманки, хотя признал, что «количество уцелевшей приманки немного огорчает». Паунд, тоже нисколько не обескураженный положением дел, сказал, что у них «даже избыток каботажных судов»[200].

В течение июля Королевские ВВС потеряли 70 самолетов, а люфтваффе более 180, из них больше половины составляли бомбардировщики. Ни одной из сторон не был нанесен смертельный урон. В Великобритании царило хорошее настроение. Вся страна восхищалась героизмом британских летчиков. Молодые пилоты знали, что на них устремлены взгляды всех англичан; они были, по выражению Лиддела Гарта, «цветом военно-воздушных сил и национальными героями»[201].

С каждым днем немецкие налеты учащались. Позже тех, кто участвовал в воздушных сражениях, преследовали воспоминания не столько о пережитом страхе — они редко находились в воздухе больше де-

сяти—пятнадцати минут, — сколько о постоянном напряжении и хронической усталости. После трех-четырех вылетов летчики засыпали в кабине, стоило самолету приземлиться. И хотя они, возможно, не раз сталкивались со смертью, их усталость была столь огромной, что, когда опускались сумерки и становилось темно, они не начали тут же вспоминать ни о дневных боях, ни даже о своих победах. Они ждали последних новостей по Би-би-си и, под впечатлением хороших новостей и благодаря способности молодого организма быстро восстанавливать силы, направлялись в деревенский паб[202].

Вся Англия и вся Германия — на самом деле весь мир — с тревогой ждали ежедневные отчеты о результатах сражений. Казалось, вторжение неминуемо. «Номер 10» отвечал криками «ура!» на доклад министерства авиации: «Окончательные данные по сегодняшнему дню: 85 точно, 34 вероятно, 33 повреждены. Мы потеряли 37 самолетов, 12 пилотов убиты, 14 ранены». В субботу, 13 июля, вечером Колвилл написал в дневнике: «Уинстон сказал, что прошедшие четыре дня были самыми великолепными в истории Королевских ВВС. Эти дни были пробой сил: враг пришел и проиграл пять к одному. Теперь мы можем быть уверены в своем превосходстве»[203].

Черчилль верил этому. Он ссылался на цифры, которую ему сообщали, и никто сознательно не обманывал его. Фюрера тоже никто сознательно не вводил в заблуждение, но цифры, предоставленные командующими люфтваффе, разительно отличались от данных Королевских ВВС. Согласно информации люфтваффе, эти дни были одними из самых великолепных дней в истории люфтваффе и, следовательно, служили доказательством превосходства Германии. Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что эти сообщения ничего не стоили.

Командование Королевскими ВВС без вопросов признавало заявления своих летчиков относительно немецких трофеев. Британские отчеты о собственных потерях всегда были точными. Что нельзя сказать об отчетах люфтваффе. Сообщения о незначительных потерях люфтваффе и серьезных британских потерях служили как тонизирующее средства для повышения морального духа рейха, и немцы делали вывод, что их летчики выигрывают сражения.

Проблема обмана заключается в том, что обманщики обманывают сами себя. Именно это случилось с Верховным командованием люфтваффе. «Немцы, — как позже сказал Черчилль, выступая в парламенте, — стали жертвами собственного обмана». Немцы утратили представление о реальной статистике, которая к началу августа стала просто невероятной. В один из августовских дней Уильям Л. Ширер отметил: «Немецкие цифры британских потерь весь вечер росли. Сначала люфтваффе сообщили: 73 сбитых британских самолета против 17 германских, потом — 79 против 14, наконец, в полночь — 89 против 17. Сейчас, когда я подсчитал данные о потерях, поступавших время от

времени в течение дня, получилось, что англичане потеряли 111 самолетов. Люфтваффе врут с такой скоростью, что цифры не совпадают даже с их собственными подсчетами»[204].

В своем загородном имении Геринг изучил эти фиктивные данные, подсчитал число затонувших британских кораблей и объявил, что операция Kanalkampf — потрясающая немецкая победа. После капитуляции Франции ему доложили, что военно-воздушные силы Великобритании в первой линии насчитывают меньше 2 тысяч самолетов, из них 500—600 истребителей. В основном так и было — тогда. Рейхсмаршал записал данные в блокнот и положил его в карман. В конце каждого дня, после доклада о потерях, он отмечал их в блокноте. В разведывательной сводке люфтваффе от 16 августа он прочел, что с июля британцы потеряли 574 истребителя и, поскольку заводы поставили не более 300 самолетов, у них приблизительно 430 самолетов, из которых, вероятно, 300 пригодны к эксплуатации.

Поскольку остаток в его блокноте приближался к нулю, Геринг был уверен, что вторжение может скоро начаться. Однако немецкие летчики знали, что эскадрильи Королевских ВВС продолжают защищать небо над Великобританией. Рейхсмаршал ошибался. Он бы пришел в отчаяние, если бы увидел последние данные, предоставленные министерством авиационной промышленности Великобритании. Только в июле британские рабочие произвели 496 истребителей, в четыре раза превысив месячную норму до Дюнкерка. К концу августа Бивербрук предоставил 1081 истребитель и 500 после ремонта. Даудинг, похоже, закончит сражение в небе над Англией с большим количеством истребителей, чем располагал перед началом сражения[205].

Кроме того, ремонтом самолетов, сбитых над Великобританией, занималась Гражданская ремонтная организация (ГРО). Она работала настолько эффективно, что к концу лета треть истребителей Даудинга состояла из частей сбитых «Спитфайров» и «Харрикейнов». Благодаря изобретательности рабочих из ГРО, немецкие самолеты вновь поднимались в воздух, но уже как самолеты Королевских ВВС. 10 августа Колвилл написал в дневнике: «Бивербрук, сказал он [Черчилль], обладает большими способностями и, к тому же, жестокой беспощадностью. Никогда за всю свою жизнь он не видел «таких потрясающих результатов, как у Бивербрука». Изучив диаграммы производства самолетов, генерал сэр Генри Поунелл «согласился, что никогда не видел ничего подобного». Это, безусловно, был каторжный труд, с которого темпераментный канадец все время пытался уйти в отставку. А Черчилль не соглашался. 2 сентября в конце записки на имя премьер-министра Бивербрук написал: «Никто не знает, с какими трудностями я сталкивался». Черчилль ниже приписал: «Я знаю»[206].

Ликующий Геринг, положив перед Гитлером свои расчеты, заявил, что Королевские ВВС недееспособны. Рейх, сказал он, распоряжает-

ся небом над Der Bach (в переводе с немецкого — «Ручей», так немцы назвали Канал). И предложил готовиться ко второй фазе сражения: der Adlerangriff — «Орлиной атаке». Но Даудинг отметил в дневнике, что по-прежнему верит, что время на стороне Англии, «если только мы сможем продержаться». В тот день его летчики утверждали, что сбили шестьдесят немецких самолетов и, хотя у него, возможно, эти цифры вызывали подозрение, он был впечатлен умением, с каким молодые англичанки на радиолокационных станциях разбирались с направлением и дальностью атакующих. В конце концов, точные действия женской вспомогательной службы ВВС были крайне важны для победы Королевских военно-воздушных сил[207].

Летчики люфтваффе оставались такими же опасными. Их вышестоящее руководство — нет. Высшие офицеры совершали грубые ошибки, отличались неумелым руководством. Разведывательные данные, которые получал Геринг, ничего не стоили. Немцы имели весьма смутное представление о британской оборонительной системе; на начальном этапе они действительно не знали, где находятся ключевые британские аэродромы. Два завода «Роллс-Ройс», на которых изготавливали моторы Merlin, которыми оснащались «Спитфайры» и «Харрикейны», не подвергались бомбежкам, хотя их местонахождение не являлось секретом. На картах, которыми пользовались немецкие штабы, не было указано: какими аэродромами пользуется истребительная авиация, какими — бомбардировочная и какие аэродромы не используются. Важные приказы не доходили до места назначения. Метеосводки не заслуживали доверия. Сотрудники штаба работали медленно, допускали ошибки. Геринг собрал генералов и приказал, чтобы ни при каких обстоятельствах его не тревожили подчиненные, ждущие указаний. Хуже всего то, что у него не было четкой стратегии и он не определил приоритетность целей. После войны Адольф Галланд, один из его офицеров, написал, что «неудача в достижении какого-либо заметного успеха, постоянно изменявшиеся и явно несообразные приказы, абсолютно неправильная оценка ситуации командованием и несправедливые обвинения в наш адрес — все это оказывало большое деморализующее воздействие на нас, летчиков-истребителей, духовные и физические силы которых и так уже были на пределе»[208].

Британские радиолокационные станции вводили противника в заблуждение. Улавливая их сигналы, немецкие летчики сообщали о британских радиостанциях. Нацистская разведка решила, что это система связи летчиков Королевских ВВС с диспетчерами наземных служб, и 7 августа пришла к заключению, что, «поскольку британские истребители наводятся на цель с земли по радио, они привязаны к своим станциям наведения, и поэтому их мобильность ограниченна, даже если предположить, что наземные станции ограниченно подвижны. Как следствие, едва ли следует ожидать, что противник сможет за ко-

роткий срок сосредоточить крупные силы истребителей. Поэтому при нанесении массированных авиационных ударов по району цели можно рассчитывать на те же условия слабого противодействия истребителей, что и при атаках по рассредоточенным целям. Можно предположить, что в случае массированного налета в оборонительной системе противника неизбежно замешательство, приводящее к снижению эффективности его противовоздушной обороны»[209].

Начальник службы связи люфтваффе, один из немногих немцев, понимавших роль радаров, настаивал на том, что нападению на радиолокационные станции следует уделять первостепенное значение. Попытка, предпринятая накануне главного наступления на Великобританию, не имела успеха. В Дувре немцы раскачали опору радара, но сбить 360-футовую мачту почти не представлялось возможным; предприняв четыре попытки, летчики сообщили, что не смогли выполнить задание. Геринг предположил, что электронная аппаратура и технический персонал находятся глубоко под землей и, следовательно, не представляют опасности. (На самом деле они находились в деревянных ангарах под вышками.) Геринг, считая, что нанесение бомбовых ударов по радиолокационным станциям не имеет смысла, издал соответствующий приказ[210].

Тем не менее люфтваффе были все еще мощными, и огромные флоты отменных самолетов в численном отношении превосходили защитников два к одному. После операции Kanalkampf немцы составили план начала вторжения, кодовое название Adlertag («День орла») и приступили к операции Adlerangriff («Орлиная атака»). Фюрер, не знавший, что цифры Геринга не соответствуют действительности, уполномочил его начать операцию Adlerangriff. Согласно директиве фюрера, если позволят погодные условия и не возникнет непредвиденных обстоятельств, Adlertag был назначен на 5 августа. Британские офицеры разведки из Блетчли-Парка передали эту информацию Черчиллю, и в тот же день Даудинг опубликовал обращение: «Битва за Британию вот-вот начнется. Служащие ВВС Великобритании, судьба поколений в ваших руках».

6 августа рейхсмаршал назначил «День орла» на 10 августа, субботу. Однако из-за неблагоприятных прогнозов погоды начало операции пришлось перенести на вторник. Утром 13 августа 74 двухмоторных «Дорнье» и 50 Bf-109 поднялись в воздух. Но небо опять заволокли тучи, и Геринг отдал приказ вернуться. Днем небо расчистилось, и наступление началось. Проводить операцию должны были силы 2-го, 3-го и 5-го воздушных флотов. Командующим 2-м воздушным флотом был Альберт Кессельринг, самый талантливый из подчиненных Геринга. Солдаты Кессельринга называли его Улыбчивый Альберт (ему нравилось демонстрировать свои безупречно белые зубы). Ранним утром с радиолокационных станций Королевских ВВС, расположен-

ных на юго-восточном побережье, начали поступать тревожные сигналы в штаб Даудинга[211].

Среди ожидавших нападения на скалах Дувра находились американские военные корреспонденты, в их числе Х.Р. Никербокер, Эдвард Марроу, Хелен Киркпатрик, Квентин Рейнольдс, Уайтлоу Рейд, Вирджиния Коулз, Эрик Севарейд и Винсент Шиин. У всех было предчувствие неотвратимой беды. «Нарастало ощущение неотвратимой трагедии», — написал Шиин. Некоторые из них освещали разрастание глобального конфликта с 1931 года, с захвата японцами Маньчжурии. Рейх казался непобедимым. Послышался знакомый характерный гул «Мессершмиттов», «Хейнкелей» — рабочих лошадок люфтваффе — и «Дорнье», который превратился в рев, когда сверкающие крылья большой нацистской армады появились из ослепительной, залитой солнцем дымки над Каналом и приблизились к побережью, которое не видело захватчиков на протяжении нескольких веков. Опыт подсказывал журналистам, что следует ожидать очередное поражение демократии[212].

А затем они увидели, написал Шиин, как в воздух поднялась 21 эскадрилья — более 300 самолетов — «Спитфайры», «словно жаворонки, сверкая в солнечных лучах» и маневрируя, вышли на позицию для атаки. Раздалось «жужжание пикирующего истребителя... треск пулеметной очереди, за падающим на землю самолетом тянулся шлейф дыма, а из облаков появился белый купол парашюта, за длинные стропы которого держался раненый летчик». Журналисты, несомненно, видели большую группу истребителей, но она состояла, скорее всего, не только из «Спитфайров». В составе 11-й и 12-й авиагрупп в любой из дней было приблизительно 250 исправных «Спитфайров» и 320 «Харрикейнов»[213].

Эти сцены повторялись в течение первого дня и всей недели вдоль южного побережья Великобритании. Шиин пишет: «Я видел, что в каждом таком бою англичане одерживали победу, и в каждом таком бою противник значительно превосходил их в численном отношении». Неоднократно «пять-шесть истребителей вступали в бой с двадцатью—тридцатью немцами... Я видел это не один, а много раз». Вспоминая Испанию и Чехословакию, он написал: «Сражения за Дуврские скалы доказало, что британцы могут и будут сражаться за свою свободу, чего бы это ни стоило, и что будут делать это против значительно превосходящих сил... Они будут сражаться, они выстоят»[214].

Период с 24 августа по 6 сентября стал решающим для британской истребительной авиации. За пять недель борьбы, с 10 июля по 13 августа, тактика люфтваффе прошла проверку стратегией Даудинга. Его приказ по возможности избегать вступления в бой с немецкими истребителями сопровождения, любой ценой отвлекать их от прикрываемых бомбардировщиков и в первую очередь уничтожать именно

бомбардировщики, оправдала себя. В результате потери противника в бомбардировщиках оставались на высоком уровне и, что намного важнее, Королевские военно-воздушные силы продолжали уверенно отражать атаки противника, отодвигая угрозу вторжения.

Кессельринг сосредоточил большое количество «Мессершмиттов» в Па-де-Кале, самом северном регионе Франции. Он хотел уничтожить аэродромы 11-й авиагруппы сэра Кейта Парка, которая прикрывала Лондон, оставив столицу без защитника. Черчилль часто посещал базы Королевских ВВС в Станморе, Аксбридже, Дувре и Рамсгете. Это были ворота замка, из которого выходили последние защитники, оставляя за собой пребывающую в ожидании Англию. Колвилл пишет, что Черчилль не случайно регулярно посещал эти базы, считая, что через них «война вошла на его землю». Немцы действительно принесли войну в его дом[215].

В четверг, 15 августа, немцы решили устроить проверку сил командования истребительной авиации Королевских ВВС, нанеся удары одновременно со всех сторон. Впервые 5-му воздушному флоту люфтваффе, базировавшемуся в Норвегии и Дании, была отведена главная роль. Сто бомбардировщиков в сопровождении сорока двухмоторных Bf-110 направились на север Англии, к Тайнсайду, чтобы атаковать находившиеся там завод авиационных двигателей и химический завод. Расстояние от Дании не позволяло использовать одномоторные Bf-109 для прикрытия бомбардировщиков. Немцы дорого заплатили за отсутствие истребителей. Несколькими днями ранее Даудинг направил на север восемьдесят «Спитфайров», чтобы дать необходимую передышку и летчикам, и машинам. Они поднялись в небо, встречая нападавших. Немцы потеряли шестнадцать «Хейнкелей», шесть «Юнкерсов» Ju-88 — пятую часть своих бомбардировщиков — и семь Bf-110. Британцы обошлись без потерь. В люфтваффе этот день получил название der schwarze Donnerstag — черный четверг[216].

Однако борьба на юге в этот день сильно отличалась от борьбы на севере. Здесь немцы нацелились на аэродромы 11-й авиагруппы. В Эссексе и Кенте нападению подверглись аэродромы в Мартлшеме, Истчерче и Хокиндже; почти одновременно противник нанес удары по авиационным заводам в Рочестере и аэродромам истребительной авиации в Портленде, Уэст-Мэллинге, Кройдоне и Мидл-Уэллопе. В этот день обе стороны понесли тяжелейшие потери. До наступления сумерек немцы совершили 1786 вылетов, а суммарные потери составили 109 самолетов — беспрецедентная цифра!

В тот день Черчилль находился в Аксбридже, наблюдая за ходом борьбы из штаба 11-й авиагруппы. Садясь в свой лимузин, он сказал Исмею: «Не разговаривайте со мной. Я слишком взволнован». У него дрожали губы. Некоторое время они ехали в полном молчании. Затем Черчилль повернулся к Исмею и сказал то, что настолько «врезалось»

Исмею в память, что, придя вечером домой, он повторил слова премьер-министра жене[217].

Спустя пять дней, перед началом самого трудного и опасного периода в ходе борьбы, Черчилль, выступая в палате общин, обрисовал сложившуюся ситуацию, а затем, после длинной паузы, отдал дань уважения Королевским военно-воздушным силам: «Каждый дом на нашем острове, в нашей империи и во всем мире, за исключением домов преступников, благодарен британским пилотам, бесстрашным и неутомимым, стоящим перед постоянными сложными задачами и смертельной опасностью, которые своей доблестью и преданностью управляют течением Мировой войны».

А затем сказал слова, которые произвели такое сильное впечатление на Исмея: «Никогда еще в истории человеческих конфликтов не было случая, когда столь многие были так обязаны столь немногим».

Слова, ставшие бессмертными, но они были всего лишь прелюдией к главному, бомбардировочным операциям Королевских ВВС: «Каждое сердце обращено к сражающимся пилотам, чьи блестящие дела мы видим собственными глазами изо дня в день; но также мы не должны забывать, что все это время, ночь за ночью, месяц за месяцем, эскадрильи наших бомбардировщиков пробираются глубоко в Германию, и с помощью высочайшего навигационного мастерства находят свои цели во тьме, и наносят сокрушительные удары с избирательной точностью по всей машине нацистского технического и военного производства, часто выполняя свои задачи под мощным огнем и с тяжелыми потерями. Ни на кого другого не падает тяжесть войны сильнее, чем на дневных бомбардировщиков, которые, в случае вторжения, будут выполнять неоценимые задачи и чье неистовое рвение пока приходилось не раз сдерживать»[218].

В распоряжении бомбардировочного командования имелось более шестисот средних и легких бомбардировщиков на вэродромах к северу от Лондона. Черчилль не собирался слишком долго их сдерживать.

В пятницу, 16-го, Кессельринг продолжил оказывать давление. 5-й флот люфтваффе к участию в массированных дневных налетах больше не привлекался, но немцы совершили более 1700 боевых вылетов, подвергнув бомбовым ударам аэродромы и ангары летно-тренировочной школы в Брайз-Нортоне. В воскресенье немцы потеряли 71 самолет, почти 10 процентов от введенных в бой. Тем не менее после дня затишья противник, явно не обескураженный потерями, вновь перешел в наступление[219].

Геринг собрал командующих воздушными флотами в Каринхолле и приказал сосредоточить все внимание на авиационных и сталелитейных заводах. Спустя четыре дня он опять вызвал их в Каринхолл. «Мы достигли решительного периода в воздушной войне против Англии, —

заявил рейхсмаршал. — Важнейшей задачей является разгром авиации противника. Главной целью — уничтожение английских истребителей». Как и на прошлых совещаниях, он проявил удивительную неосведомленность. Геринг недооценил значение цепи радиолокационных станций Даудинга и тем самым обеспечил ей неприкосновенность в течение длительного времени, а его выводы относительно успехов люфтваффе не имели ничего общего с реальным положением дел[220].

Несмотря на это, командование истребительной авиации находилось в тяжелом положении. В отличие от противника у Великобритании не было неограниченных резервов квалифицированных летчиков. Летчики бомбардировочной авиации проходили переподготовку, чтобы летать на «Спитфайрах» и «Харрикейнах». В течение одной недели Даудинг потерял 80 процентов командиров эскадрилий. Один из них, никогда не летавший на «Харрикейнах», после трех взлетов и посадок повел свою эскадрилью в бой. Зачастую летчики встречались с противником, налетав не более десяти часов. В августе командование истребительной авиации сократило срок подготовки с шести месяцев до двух недель. Некоторые летчики никогда не стреляли из пушек и пулеметов, установленных на истребителях. Некоторые были совсем молодыми парнями[221].

Пилоты Королевских ВВС раздвинули пределы человеческой выносливости; они спали в кабинах своих самолетов между боевыми вылетами, бесстрашные и неутомимые, по словам Черчилля, «перед постоянными сложными задачами и смертельной опасностью». В последний день августа в сопровождении Клемми, Памелы и Колвилла он поехал в Аксбридж, в штаб 11-й авиагруппы сэра Кейта Парка, эскадрильи которого обороняли Юго-Восточную Англию. Он хотел поговорить с летчиками, послушать их рассказы. Вечером Колвилл написал в дневнике: «Премьер-министр был глубоко тронут тем, что увидел днем в Аксбридже»[222].

Парк мог заменить летчиков, но не аэродромы. Если бы немцы разбомбили его аэродромы, истребители не могли бы ни взлетать, ни приземляться; это позволило бы нацистам захватить господство в воздухе над Юго-Восточной Англией, и Гитлер мог начать вторжение. Для того чтобы защитить взлетные полосы, Парк приказал своим летчикам вступать в бой с противником как можно дальше от своих аэродромов, но, когда у немцев стало намного больше истребителей, чем бомбардировщиков, «Спитфайрам» и «Харрикейнам» 12-й авиагруппы пришлось прикрывать район 11-й авиагруппы, но и это не спасало — слишком мощным было вражеское наступление. Самолеты Кесселькринга совершали более тысячи боевых вылетов в день. Каждое утро со стороны моря появлялись Bf-109 и Bf-110, летевшие так низко над водой, что были практически недосягаемы для британских орудий. Они подвергали мощным ударам аэродромы, бомбили ремонтные ма-

стерские, ангары, уничтожали самолеты, отстраненные от полетов, стирали с лица земли аэродромные сооружения и обстреливали полосы, делая их непригодными для взлета и посадки самолетов. Особенно опасными были Bf-110 с бомбовой нагрузкой 2200 фунтов. Геринг планировал после уничтожения самолетов Королевских ВВС в воздухе и их аэродромов отправить свои Bf-110 в глубь страны на поиски военных и промышленных объектов.

Наземные службы Королевских ВВС работали не жалея сил, но они не успевали заделать воронки на взлетно-посадочной полосе, как налетчики шли на второй заход. С наступлением сумерек все британские коммуникации были парализованы, и, когда служебные здания были разрушены, вышла из строя вся система наземного управления. Британцы оставляли одну за одной передовые позиции. На десятый день нацистского наступления десяток «Юнкерсов» Ju-88 проскользнули через защиту британских истребителей и нанесли удар по заводу Vickers в Вейбридже, нарушив работу и причинив большие повреждения. Недельный выпуск бомбардировщиков «Виккерс-Веллингтон» снизился с 9 до 4[223].

Министр информации Дафф Купер сообщил премьер-министру, что моральный дух британцев «чрезвычайно высок», но народ не знал то, что знали его лидеры. Положение командования истребительной авиации было критическим. При Бивербруке британские заводы каждую неделю выпускали 115 и более новых истребителей — вдвое больше немцев, — но теперь немцы уничтожали намного больше самолетов. Резервы Даудинга сокращались. За последние два августовских дня немцы совершили 2795 боевых вылетов. Их основной целью попрежнему оставались аэродромы 11-й авиагруппы в Биггин-Хилл и Кенли. 1 сентября оба были разрушены. Ангары, ремонтные мастерские, служебные постройки, коммуникационные сети — все было полностью уничтожено. Из семи основных аэродромов 11-й авиагруппы шесть были разрушены. Однако Черчилль и Парк, посовещавшись, пришли к единому мнению, что немцы достигли максимального предела и «не смогут долго выдерживать такое напряжение»[224].

Невероятно, но немецкое командование не осознало важность успехов люфтваффе. Исключение составлял генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, один из высокопоставленных офицеров вермахта. Бок понимал, что ход сражения изменился. Занимаясь подготовкой к переезду штаба своей армейской группы из Франции в Польшу, он пытался внушить главнокомандующему, Вальтеру фон Браухичу, важность перемены. Бок настойчиво утверждал, что впервые люфтваффе начали добиваться некоторого реального прогресса[225].

Теперь ежедневно появлялось огромное количество немецких самолетов, угрожавших внутренней обороне Великобритании. Когда, побывав в очередной раз в штабе командования истребительной ави-

ации в Станморе, Черчилль обедал в Чекерсе с Даудингом, Линдеманом и Гортом, немцы бомбили Грейт-Мисседен, всего в 4 милях от Чекерса.

В первую неделю сентября Королевские ВВС находились в отчаянном положении. Летчикам Даудинга запрещалось преследовать самолеты противника над Каналом. Поскольку Даудинг испытывал недостаток в отдохнувших и переукомплектованных эскадрильях, он лишился возможности чередовать их. Всего за три недели он потерял 230 летчиков убитыми и ранеными — 25 процентов от имевшихся в его распоряжении летчиков. Если бы это продолжалось, то через неделю сила командования истребительной авиации прекратила свое существование как организованная боевая сила. Над всей системой противовоздушной обороны Юго-Восточной Англии нависла опасность уничтожения. Люфтваффе могли уже делать почти все, что хотели, над районом, который был намечен для проведения операции «Морской лев». Дейтон пишет, что если Геринг хотел добиться господства в воздухе над Южной Англией, то к 1 сентября оно «было почти достигнуто. Наступило то, что позже назовут «критическим периодом». Если бы командование люфтваффе продолжало наносить удары по аэродромам до полного их уничтожения, оно бы добилось господства в воздухе в этом районе». Маршал авиации Кейт Парк отметил, что «почти полная дезорганизация сделала управление нашими эскадрильями истребителей крайне затруднительным... Если бы противник продолжал мощные атаки (на летные поля и системы управления)... защита, которую обеспечивали Лондону истребители, оказалась бы в рискованном положении». Полковник авиации Питер Таунсенд считал, что «6 сентября казалось, что победа уже в руках у люфтваффе. За предыдущие две недели немецких налетов на аэродромы истребительное командование потеряло безвозвратно 295 истребителей (21 в день). 103 летчика погибли (около 7 человек в день). Еще 170 истребителей были серьезно повреждены». 7 сентября он сказал, что дивизии вермахта, танковые войска и артиллерия, «возможно, начнут высадку на британскую землю»[226].

Но главное событие, определившее исход воздушного сражения, произошло в ночь с 23 на 24 августа. Это было дело случая. Несколько «Хейнкелей» из 170 самолетов, получивших приказ разбомбить авиационный завод в Рочестере, потеряли ориентацию и, прежде чем вернуться на базу, сбросили наугад бомбы. Как оказалось, в это время они были над Лондоном. Они полетели домой, оставив за собой бушующие пожары в Бетнал-Грине и Ист-Хэме[227].

Гитлер не мог мириться с подобными ошибками. Он издал директиву, запрещавшую без его разрешения совершать атаки на Лондон. Гитлер издал этот приказ исходя из политических соображений, все еще надеясь усадить Черчилля за стол переговоров[228].

Черчилль немедленно воспользовался предоставленным шансом. Месяцем ранее он добился гарантии от министерства авиации, что, если немцы сбросят бомбы на жилые кварталы Лондона, командование бомбардировочной авиации будет готово ответить тем же на следующий день в Берлине. Ночью после ошибочного нападения немцев на Лондон — 25 августа — 81 двухмоторный «Веллингтон» и «Хемпден» отправился воевать в сердце рейха. Берлин был закрыт плотной облачностью, и найти город смогла только половина бомбардировщиков. Главными целями были железнодорожные станции и правительственные здания. Разрушения были незначительными. Бомба, сброшенная у железнодорожной станции Гёрлиц, привела к гибели десяти человек и временно приостановила работу компании «Сименс». Многие британские пилоты не смогли определить местонахождение целей и вернулись на базу с полной бомбовой нагрузкой[229].

На следующее утро Черчилль передал записку в штаб ВВС: «Теперь, когда они начали досаждать столице, я хочу, чтобы вы сильно ударили их, и Берлин — место для нанесения удара»[230].

С мая целью британцев были военные и промышленные объекты — единичные налеты на железнодорожные узлы, корабли на Рейне, на Кильский канал. Но до той воскресной ночи ни одной бомбы не было сброшено на столицу рейха. Уильям Л. Ширер пишет в своем дневнике: «Берлинцы ошеломлены. Они не верили, что такое может случиться. Когда эта война началась, Геринг их заверил, что этого не будет. Он хвастливо заявлял, что ни один вражеский самолет никогда не прорвется сквозь внешнее и внутреннее кольцо противовоздушной обороны столицы. Берлинцы люди простые и наивные. Они ему поверили. Тем сильнее их сегодняшнее разочарование. Надо видеть их лица, чтобы оценить его... Думаю, на простых берлинцев больше, чем первые жертвы, подействовал тот факт, что английские самолеты смогли беспрепятственно прорваться к центру Берлина. В первый раз война пришла к ним в дом»[231].

Косолапый нацистский министр пропаганды и бывший, с позволения сказать, журналист Пауль Йозеф Геббельс приказал, чтобы все газеты вышли под заголовком «EIGER ENGLISCHER AGRIFF» («ТРУСЛИВОЕ БРИТАНСКОЕ НАПАДЕНИЕ»). Бомбардировщики появились ночью 28 августа и следующей ночью, а после третьего ночного налета заголовки нацистских газет кричали: «ENGLISCHE LUFTPIRATEN UBER BERLIN!» («АНГЛИЙСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ НАД БЕРЛИНОМ»)[232].

В 1940 году вопрос с бомбардировкой городов оставался открытым. Согласно Гаагской и Женевской конвенциям — которые рейх обязался соблюдать, — запрещались нападения неизбирательного характера на гражданское население. В мае, когда на старинный университетский город Фрайбург-в-Брайсгау «Хейнкели» по ошибке сбросили бомбы,

что привело к гибели почти сотни женщин и детей, немцы возложили ответственность за это на Королевские ВВС. Немецкое бюро новостей сообщило о нем как о «вражеском налете на незащищенный город». Геббельс назвал его Kindermord in Freiburg (Убийством невинных во Фрайбурге), а предатель Лорд Гав-Гав* — «доказанным злодеянием»[233].

Люфтваффе всегда были противниками предоставления Лондону неприкосновенности. Приближалась осень 1940 года, немцам пока не удавалось завоевать господство в небе над Англией, и Геринг неоднократно просил Гитлера пересмотреть решение о неприкосновенности. Особенно сильное недовольство испытывали немецкие летчики-истребители. Адольф Галланд в своих послевоенных воспоминаниях пишет, что Лондон обладал «исключительным военным значением, представляя собой мозг и центральную нервную систему английского Верховного командования, а также являлся портом и центром поставок вооружений и их распределения». Далее он пишет: «Мы же, летчики-истребители, обескураженные поставленной задачей, которая была выше наших сил, все-таки с нетерпением и волнением ожидали в скором будущем бомбовых атак»[234].

Итак, Геринг, не осознававший, какой ущерб причинил Королевским ВВС, утверждал, что стратегический переход от истребителей над Дувром к бомбардировщикам над Лондоном может привести к желанной мирной конференции и, кроме того, сохранить репутацию люфтваффе. Геринг, позже написал Ширер, допустил ошибку, «сопоставимую по своим последствиям с ошибкой Гитлера, отменившего танковое наступление в Дюнкерке 24 мая». Адмирал Редер тоже был сторонником нападений на Лондон, рассматривая их в какой-то мере как способ сохранить свой флот, который, по его мнению, будет уничтожен при попытке вторжения. Если люфтваффе и угроза вторжения не могут заставить Черчилля сесть за стол переговоров, то, возможно, это смогут сделать напуганные лондонцы. 31 августа Гитлер санкционировал массированные налеты — днем и ночью на лондонские доки. Они должны были начаться через неделю[235].

4 сентября, выступая в берлинском Дворце спорта перед социальными работниками и медсестрами, Гитлер позволил себе едкие замечания в адрес британского руководства. Он назвал министра информации Даффа Купера Krampfhenne (что в переводе с баварского означает «старая истеричная курица») и сказал, что «болтовня мистера Черчилля или мистера Идена — уважение к преклонному возрасту не позволяет мне упомянуть о мистере Чемберлене — не означает для немецкого народа ровным счетом ничего. В лучшем случае это вызывает у него смех. — Затем он перешел к бомбардировкам. — Мистер

* Джойс Уильям — нацистский пропагандист, ведущий англоязычных передач германского радио, прозванный в Британии Лорд Гав-Гав.

Черчилль демонстрирует новое порождение своего ума — ночные воздушные налеты. Черчилль осуществляет эти налеты не потому, что они обещают принести значительный эффект, а потому, что его авиация не смеет летать над Германией в светлое время... В течение трех месяцев я не отвечал, так как верил, что подобному безумию придет конец. Но мистер Черчилль воспринял это как признак нашей слабости... Мы сотрем их города с лица земли!» Он закончил свое выступление словами: «Придет час, когда один из нас рухнет, но это будет не национал-социалистская Германия!». При этих словах женщины вскочили со своих мест и принялись скандировать: «Никогда! Никогда!»

Гитлер знал, что британцы задаются вопросом, когда начнется вторжение. Он сказал: «В Англии все полны любопытства и постоянно спрашивают: «Почему он не приходит?» Будьте спокойны, он идет! Будьте спокойны, он идет!»[236]

Однако у тех, кто знал фюрера и его византийский двор, создалось впечатление неуверенности в отношении намерений Гитлера. Выступление Гитлера озадачило графа Чиано. Что-то в этом было неправильное. Он написал в дневнике, что Гитлер казался «необъяснимо возбужденным»[237].

Так и было. Гитлер за шесть недель завоевал Францию. Теперь, спустя почти двенадцать недель после капитуляции Франции, англичане — их армия слабая, но восстанавливается, их флот рассредоточен, их военно-воздушные силы пали на одно колено — загоняли его в тупик. Он принял решение о стратегическом переходе к массированным бомбардировкам. Если это не сработает, придется вторгаться в Англию. Но время было не на его стороне. Черчилль понимал, что существует одно условие среди многих необходимых, но недостаточных для успешного вторжения в Англию, условие, которое неподвластно никому и не поддается точному прогнозированию. Согласно Объединенному разведывательному комитету*, для успешного вторжения немцам было необходимо «спокойное море и ограниченная видимость».

Осенняя погода, когда в Ла-Манше бушуют «суровые экваториальные штормы» (по выражению Черчилля), могла оказаться самым надежным союзником Англии. Осенью Северное море не подходит для плоскодонных речных барж, заполненных солдатами, артиллерией и танками. Зимой и того хуже. А с каждым днем зима становилась на день ближе. Но было только начало сентября[238].

---

* Объединенный разведывательный комитет — комитет в составе правительства Великобритании, координирующий работу разведывательных служб и служб безопасности (Секретная разведывательная служба, МИ-5, Центр правительственной связи, Военная разведка Великобритании) Соединенного Королевства.

6 сентября Объединенный разведывательный комитет подробно изучил большое количество отчетов, расшифровки сообщений «энигмы» и аэрофотоснимки. Все, казалось, свидетельствовало о готовящемся вторжении. Согласно расшифровкам сообщений «энигмы», во всей армии были отменены отпуска; офицеры в Нормандии получили карты английских прибрежных районов; завершилась переброска пикирующих бомбардировщиков из Норвегии во Францию; закончилось сосредоточение десантных средств в портах Ла-Манша. Специалисты сделали вывод, что через сорок восемь часов будут «особо благоприятные условия для вторжения». Информация о «крупномасштабном, организованном» движении военного транспорта на базы Ла-Манша позволило специалистам Объединенного разведывательного комитета сделать вывод о завершении последних приготовлений к вторжению. На следующий день, 7 сентября, руководитель комитета сообщил начальникам штабов, что вторжение неизбежно. В Блетчли-Парке отдел морской разведки пришел к выводу, что вторжение может начаться на следующий день. Последовал приказ: привести в боевую готовность все силы обороны Соединенного Королевства. Министерство авиации отдало приказ командованиям Королевским ВВС о приведении в боевую готовность, поскольку возможно появление немцев в течение двадцати четырех часов[239].

Днем в субботу, 7 сентября, небо было безоблачным. Герман Геринг и Альберт Кессельринг стояли на утесах мыса Блан-Не, напротив Белых скал Дувра, и наблюдали за огромным соединением люфтваффе, тысячей самолетов, треть из которых составляли бомбардировщики, пересекавшей Канал и направлявшейся к Лондону. Зрелище было впечатляющим! Огромная армада, летевшая на высоте почти 2 миль над уровнем море, казалось, заслонила солнце[24].

Королевские ВВС не знали, что целью являлся Лондон. В 16:00 Даудинг сидел за столом в Бентли-Прайори, когда ему доложили, что со стороны Кале приближается огромное соединение. Во время предыдущих налетов люфтваффе, включая последние несколько дней, налетчики разделялись, достигнув побережья, где британские истребители, патрулировавшие на высоте 25 тысяч футов, дожидались момента, чтобы атаковать. В тот день этот момент не наступил. Воздушная армада, волна за волной, пересекла восточное побережье Кента, у Дила, и устремилась к Лондону. «Орлиная атака» развивалась по намеченному плану; целью были промышленные центры на Темзе. Сначала немцы нанесли удар по Вулвичскому арсеналу, затем по докам королевы Виктории и принца Альберта, Западно-Индийскому доку, Коммерческому доку и Сурейским докам. За собой они оставили пылающую картину апокалипсиса. Потопленные корабли, искореженные мостики, опрокинутые краны и пожары, покрывавшие территорию 250 акров и служившие маяком для второго мощного налета. Много немецких бомб

упало на жилые кварталы Ист-Энда. Когда опустились сумерки, в Вест-Энде приняли эти пожары за потрясающий закат. Быстро пришло осознание жуткой правды: это был не закат солнца — горел Ист-Энд[241].

В конце весны 1940 года было принято решение, что колокола лондонских церквей, которые будили по утрам, сообщали вечером, что пора гасить свет и тушить огонь, и созывали верующих на воскресную службу на протяжении почти трех веков, теперь должны звонить только в случае неминуемого вторжения. Когда начальники штабов отдали приказ о приведении всех войск Великобритании в боевую готовность, этого было достаточно для добровольцев местной обороны — Родной гвардии. В 19:30 был передан кодовый сигнал «Кромвель», означавший «вторжение неминуемо». Несмолкаемый звон церковных колоколов предупреждал жителей королевства о нависшей угрозе. Люди держали наготове охотничьи ружья, пики, вилы, ножи, готовясь оказать сопротивление. Саперы взорвали ряд важных мостов. В царившем хаосе несколько человек погибли, напоровшись на установленные впопыхах минные заграждения[242].

Тревога была ложной. Немцы не появились с моря, но для лондонцев ужас пришел с неба. Высоко над Ист-Эндом поднимались в небо черные столбы дыма и багрового пламени, и не было ничего странного в том, что лондонцы решили, что скоро от их города останется только шлак и зола[243].

На следующий день командующий войсками метрополии Алан Брук, написав в дневнике о массированной бомбардировке и ночных пожарах, добавил, что «утром, придя в штаб, получил дополнительную информацию о грядущем вторжении». Он предсказал, что несколько следующих недель станут «самыми богатыми на события за всю историю Британской империи». На следующий день было полнолуние. Немцы не появились в полнолуние ни в июле, ни в августе. Они должны были появиться или в ближайшие десять дней, или рискнуть в октябре, когда погода, их союзник с июня, станет их врагом[244].

Черчиллю, чтобы помешать вторжению, выдержать блокаду и охотиться на подводные лодки, требовалось больше эсминцев. Помощь — весьма скромная — была наконец на подходе, и не бесплатная. С мая по конец августа позиция Франклина Рузвельта в отношении отправки Черчиллю истребителей претерпела изменения (незначительные), и на протяжении этих двенадцати недель Черчилль с возмущением говорил членам кабинета, что «хотя президент — наш лучший друг, никакой практической помощи от Соединенных Штатов мы так и не получили. Мы не ждали, что они окажут военную помощь [пришлют солдат и летчиков], но они не прислали даже необходимое количество эсминцев и самолетов». В какой-то момент, когда с финансами стало особенно туго, министр финансов Кингли Вуд предложил реквизиро-

вать у населения золотые кольца, чтобы собрать 20 миллионов фунтов. Черчилль одобрил план, но предложил реализовать его позже; не хранить 20 миллионов золотом, а «с целью посрамить американцев», если из-за отсутствия помощи с их стороны Англия лишится средств[245].

Черчилль упорно раз за разом обращался к Рузвельту с просьбой об эсминцах. Его письма Рузвельту становились все более отчаянными, записки сотрудникам — более презрительными из-за несвоевременности и качества американской помощи. Послу в Вашингтоне, лорду Лотиану, в июне: «Мы действительно до сих пор не имеем помощи из Соединенных Штатов, о которой бы стоило говорить». Мало того, в июне Генри Форд отказался собирать двигатели для британских самолетов из опасения, что это скажется на продажах новых автомобилей американцам, не говоря уже о том, что Англия не сможет оплатить заказ, как он, вероятно, думал. Июльскую телеграмму Рузвельту Черчилль закончил такими словами: «Сейчас для вас самым неотложным является вопрос поставки нам эсминцев, торпедных катеров и аэропланов, которые мы просили... Господин президент, это то, что необходимо сделать сейчас»[246].

Если первоначально Черчилль обращался к Рузвельту с просьбой о пятидесяти эсминцах, то затем он попросил тридцать—сорок эсминцев, а потом завел речь о шестидесяти. Он предупредил Рузвельта, что итальянцы, направив в Атлантику подводные лодки (у Муссолини было более сотни лодок, даже больше, чем у Гитлера), могут помочь немцам изолировать Англию. Он сообщил президенту, что за десять дней было потоплено десять британских эсминцев, а с начала войны Королевский флот потерял почти треть эсминцев. Черчилль связал эсминцы со своими стратегическими планами на следующий год: «Мы намерены иметь сильную армию, сражающуюся во Франции в кампании 1941 года». И наконец, он еще раз подчеркнул, насколько важно, чтобы Соединенные Штаты вовремя поставили эсминцы. «Сейчас для нас нет ничего важнее получения старых эсминцев... Мы можем очень быстро снабдить их нашими локаторами, и они заполнят брешь на первые полгода, пока не вступят в строй эсминцы, построенные нами уже в военное время. Если они вам понадобятся, мы возвратим их или их эквивалент при условии, что вы предупредите нас об этом за шесть месяцев. Ближайшие шесть месяцев имеют жизненно важное значение»[247].

В середине августа, спустя более трех месяцев после первой просьбы Черчилля относительно устаревших эсминцев, Рузвельт начал верить, что Великобритания может, определенно может, выстоять. Игнорируя изоляционистов и Акты о нейтралитете, он направил Черчиллю через Государственный департамент послание с предложением о заключении соглашения: что в случае чрезвычайного положения флот метрополии придет в Канаду и что в обмен на эсминцы Англия предоставит Соединенным Штатам несколько своих военно-морских баз. Переговоры о

передаче эсминцев нарушали закон о нейтралитете. В конце концов, Германия и Италия, с которыми Америка не находилась в состоянии войны, не получали таких дружеских предложений. Независимо от того, что нейтральные страны имеют право беспрепятственно торговать с любой воюющей страной, передача пятидесяти эсминцев в Великобританию была явным шагом США к войне, и Черчиллю это понравилось, в отличие от предложенных Рузвельтом условий. Черчилль сказал Колвиллу, что Рузвельт хочет получить «права на удержание» британского флота взамен эсминцев. Не таких он ожидал предложений. Черчилль надеялся на подарок, без каких-либо условий, о чем и сказал Рузвельту: «Я предпочел бы передачу баз в аренду как акцию доброй воли, а не в обмен на эсминцы». По словам Кадогана, предложенный Рузвельтом обмен «взбесил» Черчилля. В дневнике Кадоган коротко написал: «Черчилль говорит, что не расстроится, если мы не получим эсминцы». Но конечно, это было не так[248].

Черчиллю была невыносима мысль о том, что Рузвельт связывает свои эсминцы с гарантией, что в случае падения Англии ее атлантический флот уйдет на запад, в Канаду. В письме канадскому премьер-министру Уильяму Лайону Маккензи Кингу он пожаловался, что американцы хотят «получить британский флот и Британскую империю, без Великобритании». По сути, Соединенные Штаты, потеряв друга, получали флот. Такие же гарантии британцы хотели получить от французов. Однако Соединенные Штаты не были ни воюющей стороной, ни союзником, сражающимся вместе с британцами, в отличие от британцев, сражавшихся вместе с французами. 31 августа Черчилль скрепя сердце отправил Рузвельту довольно холодное письмо: «Вы спрашиваете, господин президент, представляет ли мое заявление в палате 4 июня 1940 года о том, что Великобритания никогда не сдастся, «твердую политику правительства Его Величества». Безусловно. Однако должен заметить, что эти гипотетические непредвиденные обстоятельства могут скорее относиться к германскому флоту или к тому, что от него останется, нежели к флоту Великобритании»[249].

Смелое, но небезосновательное заявление. У Великобритании были крупные корабли, включая авианосцы, и более девятисот небольших, но представлявших большую угрозу кораблей. У немцев не было ничего подобного. И наконец, нет никакой связи между американскими эсминцами и поражением британского флота. Соглашение было заключено.

Авансовый платеж за эсминцы принял форму британских военно-морских баз от Ньюфаундленда до Британской Гвианы, сданных американцам в аренду сроком на девяносто девять лет. Рузвельт, объясняя суть соглашения конгрессу, не смог отказать себе в удовольствии позлорадствовать по поводу удачно совершенной сделки: «Права на базы на Ньюфаундленде и Бермудах — подарки, великодушно сделан-

ные и охотно принятые. Остальные упомянутые базы были получены в обмен на пятьдесят наших устревших эсминцев». Первые восемь из устаревших эсминцев прибыли в Великобританию в начале сентября. Черчилль взял их. В тот момент он бы взял все, что угодно[250].

Все лето 1940 года военное министерство под руководством Энтони Идена круглосуточно занималось работой по восстановлению армии. К середине июля у Великобритании было 1 миллион 500 тысяч солдат; спустя пять недель Черчилль сказал, выступая в палате общин: «Вся британская армия — дома. Сегодня более чем у 2 миллионов человек, полных решимости, есть винтовки и штыки, и из них три четверти состоят в регулярных войсках. Никогда раньше во время войны у нас не было такой армии на острове. Вся наша страна встала против завоевателей, откуда бы они ни пришли: с моря или с воздуха». Черчилль, конечно, не мог открыто говорить о преобразованиях, связанных с обороной острова, но с каждой неделей усиливалась его уверенность относительно судьбы немцев, которые решатся ступить на британскую землю. К августу семь британских дивизий заняли позиции между Темзой и заливом Уош, где, по расчетам командующих, ожидалось вторжение. Но когда немцы начали собирать баржи во французских портах на Ла-Манше, стало ясно, что они могут высадиться на южном побережье, где было всего пять приведенных в полную боевую готовность дивизий и три резервных. К сентябрю положение улучшилось. К северу от Лондона дислоцировались четыре дивизии и одна бронетанковая бригада. На юге — девять дивизий и две бронетанковые бригады. Одна дивизия размещалась рядом с Лондоном, где, если немцам удастся продвинуться так глубоко, Черчилль собирался сражаться за каждую улицу. И две дивизии плюс шестьсот танков[251].

Теперь, когда «численность, боеспособность, мобильность и оснащенность вооруженных сил непрерывно возрастали», Черчилль чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы отправить в Египет почти половину лучших танков, 48 противотанковых орудий, 20 легких зенитных орудий «Бофорс» (крайне необходимых в Лондоне), 250 противотанковых ружей. Он сделал это для того, чтобы сдержать натиск итальянцев, чье давно ожидавшееся продвижение через границу Египта началось 13 сентября[252].

В августе, закрепив свой успех в Эфиопии, дуче привел свои армии в Британское Сомали, где посрамил британцев. Кипя от возмущения, Черчилль сказал Идену, что «понесенные потери не свидетельствуют о решительном сопротивлении». У Черчилля возникли сомнения в отношении командующего британскими войсками на Ближнем Востоке Арчибальда Уэйвелла. Однако, учитывая, что годовой бюджет на оборону Сомали составлял менее 900 фунтов стерлингов (3600 долларов), какое можно было ожидать сопротивление? Потери Уэйвелла при выводе войск из Сомали были незначительными, и взбешенный Старик,

по словам члена парламента Роберта Бутби, усмотрел в этом признак отсутствия боевого духа, о чем и сказал Уэйвеллу. «Кровавая бойня — не показатель хорошего тактика», — ответил Уэйвелл. Черчилль был не прав и понимал это. Обычно те, кто отстаивал свое мнение, вызывали его уважение, но Уэйвелл был исключением из правил[253].

13 сентября Муссолини вонзил кинжал в западный фланг Уэйвелла. В этот день генерал Родольфо Грациани, под командованием которого находилась 10-я итальянская армия — 80-тысячные отборные итальянские войска, пехотные, моторизованные, при поддержке 300 танков, — двинулся в восточном направлении из Ливии в Египет, застав врасплох войска Уэйвелла. С формальной точки зрения, пересекая египетскую границу, Муссолини вторгался в нейтральную страну, но дуче не вдавался в такие дипломатические тонкости. Египет получил независимость от Великобритании в 1922 году, и с 1936 года Египтом правил Фарук I. Король презирал британских защитников, которые, согласно англо-египетскому договору 1936 года, получили право держать войска в зоне Суэцкого канала на «случай войны, непосредственной угрозы войны или чрезвычайной международной ситуации». Фарук скорее восхищался фашизмом, особенно его итальянским вариантом, как и многие молодые офицеры египетской армии, включая Гамаль Абдель Насера и Анвара Садата. Антибританская, прогерманская, проитальянская и националистическая фракции египетского правительства не могли прийти к единому мнению относительно объявления войны вторгшимся итальянцам. Таким образом, его королевское величество не спускал зорких глаз с Фарука, а британские дипломаты и генералы управляли страной. Грациани воевал не с египтянами — многие приветствовали его присутствие, — а с британцами. В Грациани Муссолини нашел своего героя. Черчилль приказал Уэйвеллу отравить все водоемы, которые «мы не используем для собственных нужд», чтобы остановить наступление итальянцев. После шестидесятимильного наступления, продолжавшегося пять дней, итальянцы остановились в Сиди-Баррани, чтобы пополнить запасы. Затем, по непоятной причине, учитывая их преимущество, вместо того чтобы двинуться к Александрии и Суэцу, они построили укрепленный лагерь, к огромному облегчению английских солдат, которых значительно превосходили в численном отношении. Помимо 80-тысячной армии Грациани в Ливии у итальянцев был 150-тысячный резерв. Черчилль собирался прислать подкрепление Уэйвеллу[254].

Брук был прав, когда написал в дневнике, что Черчилль склонен к наступательной тактике. Премьер-министр приказал отправить в Египет 70 тысяч солдат; им предстояло проплыть почти 14 тысяч миль в течение пятидесяти дней вокруг мыса Доброй Надежды, поскольку Средиземное море, из-за итальянского флота, больше не было британским. Их послали не только для защиты Египта от итальянцев, но и

потому, что Черчилль хотел атаковать итальянцев в Ливии. Его личный секретарь, Джон Мартин, позже заявил, что отправка войск и танков в то время, когда Великобритании самой требовалась помощь, было актом храбрости со стороны Черчилля, Идена и начальников штабов[255].

Но это тоже было необходимо. Безопасность Британских островов со времен Наполеоновских войн была связана с безопасностью Средиземноморья. Битва за Британию и Битва за Египет были двумя сторонами одной медали. И в той и в другой требовалось одержать победу, а значит, следовало отправить танки и солдат.

13 сентября, в день наступления Грациани, Гитлер обедал с начальником штаба Верховного командования сухопутными войсками Гальдером, главнокомандующим сухопутных войск фон Браухичем, главнокомандующим кригсмарине Редером и Герингом, представлявшим люфтваффе. Данные воздушной разведки по-прежнему не соответствовали действительности: хотя за прошедшие пять недель не удалось полностью реализовать необходимые предварительные требования для начала операции «Морской лев», немецкие летчики подбили 1800 британских самолетов. (На самом деле было сбито около 500 истребителей Королевских ВВС.) Но, размышлял фюрер, уничтожение Королевских ВВС может оказаться лишним; если подвергнуть их столицу массированной бомбежке, то наверняка британцев охватит «массовая истерия», и вторжение можно будет отменить. Бомбардировка, начатая 7 сентября, продолжится[256].

После того как было принято решение подвергнуть бомбардировке Большой Лондон, Гитлер дал разрешение, по словам Йодля, «использовать крупные воздушные силы для ответного удара по Лондону». Это означало, что мирных жителей ждут невыносимые страдания. И это означало отмену стратегии Геринга, которая обещала принести успех[257].

Борьба в воздухе достигла апогея в воскресенье, 15 сентября, в день, который вошел в историю как День Битвы за Британию. «В тот день погода, казалось, благоприятствовала противнику», — написал Черчилль, и они с Клементиной поехали в Аксбридж, в штаб Парка. Их провели в оперативный центр, расположенный в бомбоубежище на глубине 50 футов под землей, который Черчилль сравнил с «небольшим театром», добавив: в котором «мы заняли свои места в бельэтаже». Все эскадрильи Парка ввязались в жестокий бой. Когда Черчилль, заметив тревогу на лице Парка, спросил: «Располагаем ли мы резервами?» — Парк тихо ответил: «Резервов больше нет». По словам Черчилля, «это была одна из решающих битв всей войны, и, подобно битве при Ватерлоо, она произошла в воскресенье». И она тоже закончилась победой Великобритании. В конце дня Черчиллю доложили, что немецкие потери составили 138 самолетов, а Королевские ВВС потеряли 26 самолетов, и, «хотя полученные после войны данные по-

казали, что потери противника в этот день составили всего пятьдесят шесть самолетов, 15 сентября явилось переломным моментом в Битве за Англию». Вечером, в послании Даудингу, Черчилль, в расчете на то, что это станет известно немцам, написал, что «используя незначительную часть всей силы», «разорвали в клочья отдельные волны жестокого нападения на гражданское население нашей родины». Два дня спустя, выступая в парламенте, он сказал, что «воскресная операция была самой блестящей и успешной из всех проводившихся до сих пор истребителями Королевских военно-воздушных сил»[258].

Немцы были сильно уязвлены. Верховное командование вооруженных сил вермахта (OKB) сообщило о «больших воздушных сражениях и больших потерях из-за отсутствия истребителей прикрытия». Дневные операции, с участием более трехсот немецких бомбардировщиков и тысячей боевых вылетов истребителей, были названы «исключительно невыгодными», связанными с тяжелейшими потерями налетчиков на обратном пути. Кроме того, силы вторжения не могли оставаться в состоянии боевой готовности, поскольку в результате ударов, наносимых британскими самолетами по портам на Ла-Манше, увеличивались потери немцев в десантных баржах и транспортах. Черчилль и его начальники разведки могли не знать, что это был конец «Морского льва». 17 сентября Гитлер отложил вторжение на неопределенное время на том основании, что приближалась зима и не удалось «одержать победу» над Королевскими ВВС. Фюрер переключил внимание на карты России. Немецкий штабной офицер выразил удовлетворение по поводу перспективы «настоящей войны»[259].

Горстка молодых людей в «Спитфайрах» и «Харрикейнах» заставила высшее немецкое командование изменить стратегию. Более четырехсот из этих летчиков прибыли из других стран; среди них были чехи (80), поляки (140), новозеландцы (120), канадцы (110), небольшая группа американцев, ирландцев, австралийцев, бельгийцев, южноафриканцев и один палестинец из британского протектората. Летчики вызывали у Черчилля восхищение. «Но это ужасно, — сказал он Колвиллу, — что Британская империя должна делать на это ставку». То, что Великобритания уцелела в День Битвы за Британию, 15 сентября, произошло как из-за изменения гитлеровской стратегии — от уничтожения Королевских ВВС к уничтожению британских городов, — так и благодаря британским радарам, истребителям Королевских ВВС и летчикам истребительной авиации. Как позже написал Черчилль, «история германского воздушного наступления на Англию — это история разногласий, противоречивых намерений и до конца не осуществленных планов. Три или четыре раза за эти месяцы противник менял свою наступательную тактику, причинявшую нам большой ущерб, и прибегал к какой-либо новой тактике». Таким образом, эта фаза Битвы за Британию не закончилась ни отступлением сторон, ни окончательным штурмом со

стороны Германии. Она не закончилась с пониманием британцев, что, не проиграв, они победили. Битва за Британию совпала и соединилась с новой битвой, битвой за Лондон, которая, хотя никто не знал об этом 15 сентября, фактически началась на прошлой неделе. С течением времени лондонцы, оглядываясь назад, установили дату начала битвы: 7 сентября. И вскоре дали ей название: Блиц[260].

Утром 8 сентября в Ист-Энде продолжали пылать пожары. В течение 274 лет — до этой недели — в Лондоне не было таких пожаров. Тонкий слой коричневато-желтой земли на глубине 7 футов в древней части города, окруженной римскими стенами, а позже во времена Средневековья крепостным валом, свидетельствует о Большом пожаре, начавшемся 2 сентября 1666 года. Сильный восточный ветер в течение пяти дней раздувал пожар, который уничтожил собор Святого Павла, 87 приходских церквей и более 13 тысяч домов. Примечательно, что в пожаре погибло всего двадцать человек. За пятнадцать лет Кристофер Рен построил пятьдесят две новые приходские церкви, и к концу XVII века почти закончил строительство нового собора Святого Павла, великолепный купол которого, обрамленный шпилями, возвышается над лондонским горизонтом. Одной из самых известных лондонских церквей является церковь Сент-Мэри-ле-Боу. Считается, что человек, родившийся в пределах слышимости колоколов Сент-Мэри-ле-Боу, — истинный кокни. Эти люди первыми испытали ярость немецкой атаки. В течение нескольких дней немецкие бомбардировщики не прикладывали усилий для точного определения промышленных объектов. Лондон, весь Лондон, стал объектом бомбардировок. Это было, сказал Черчилль, «испытанием самого большого города в мире, последствия которого никто не мог оценить заранее»[261].

На несколько футов ниже слоя гравия, который служит отметкой Большого пожара 1666 года, слой глины, ржаво-красной от окисленного железа, отмечает историю королевы-воительницы Боудикки, которая сожгла римский Лондиниум (совр. Лондон). Она наблюдала, как римляне пришли, чтобы захватить ее страну, и, увидев достаточно, убила захватчиков и сожгла город. На протяжении веков чума, оспа, сыпной тиф и холера уносили жизни лондонцев, и огонь был вечным врагом, но за эти почти девятнадцать веков, начиная с восстания Боудикки, не было такого врага, который бы совершал столь массовое убийство лондонцев и уничтожал город с помощью пожаров. А теперь пришел Гитлер, который обещал с воздуха сровнять с землей английские города, и в первую очередь Лондон.

Утром 8 сентября Черчилль с Клементиной приехали в Ист-Энд. «Трогательные небольшие государственные флаги Великобритании» развевались над горами щебня, которые до прошедшей ночи были домами. Они остановились у приюта, уничтоженного прямым попада-

нием, где погибли сорок мужчин, женщин и детей. Черчилль, явно взволнованный, приложил к глазам большой белый носовой платок. На какой-то момент Черчилль и жители объединились в молчании. Затем кто-то выкрикнул: «Когда вы собираетесь бомбить Берлин?» — «Доверьте это мне», — ответил Черчилль. Генерал Исмей вспоминал толпу, бросившуюся к Черчиллю с криками: «Мы знали, что вы приедете», «Мы верили в это». «Вы видите, он действительно переживает, он плачет», — сказала одна старая женщина. Затем этой толпой овладело более суровое настроение «Отплатите им! Пусть они испытают то же самое! Вы должны заставить их остановиться». Более миллиона жителей Ист-Энда вернулись в свои дома после эвакуации прошлой осенью, когда ожидалось, что в любой момент немцы могут начать массированные бомбардировки. Но нападений с воздуха не последовало, и они вернулись в свои районы, которые теперь рушились и горели. Они были ошеломлены и напуганы. Черчилль сказал собравшимся то, что они хотели услышать: он будет наносить ответные удары, но в основе его слов лежало глубокое понимание шаткости положения: Гитлер может уничтожить их дома, их город, но он может разгромить их только в том случае, если они падут духом. Началась проверка силы воли. На тот момент никто из европейцев не подвергался тяжелейшим испытаниям. Люфтваффе, двести бомбардировщиков в сопровождении четырехсот истребителей вернулись, когда Черчилль был еще в Ист-Энде. Он возвращался по узким улочкам, среди развалин домов. Склады рядом с доками продолжали гореть, изрыгая свое содержимое — горело зерно; огненной лавой вытекали расплавленный сахар и потоки горящего виски, горели ткани и продукты, взрывались банки с краской и боеприпасы[262].

В первый налет погибло более четырехсот жителей Ист-Энда. Тысячи стали бездомными. Однако на следующий день, в то время как продолжал гореть Ист-Энд, Черчилль обратился к адмиралу Паунду с просьбой помочь ему объяснить Рузвельту необходимость оборудовать соответствующим образом торговые суда, чтобы «было проще выгружать танки на побережье». Траспорты с танками появились только в 1942 году. Побережье, которое имел в виду Черчилль, было французским. Неделями ранее, когда его воздушные силы и страна находились в смертельной опасности, Черчилль сказал Колвиллу, что «к 1942 году мы добьемся превосходства в воздухе и будем готовы к крупномасштабным наступательным операциям на суше против Германии». Только оптимист мог делать подобные заявления. Но в самое тяжелое для Британии время, когда его авиация подвергалась ожесточенным атакам, Черчилль планировал наступательные операции[263].

Однако в первую очередь следовало обеспечить защиту Лондона от немецких воздушных армад. Это оказалось непростой задачей. Многие зенитные орудия были переброшены для защиты отдаленных аэродро-

мов и авиационных заводов. Для защиты Лондона имелось всего лишь 92 зенитных орудия, действие которых, как выяснилось во время ночных налетов с 7 по 9 сентября, было малоэффективным. Защиту Лондона обеспечивали и ночные истребители 11-й авиагруппы. Они сбили несколько самолетов противника. Лучи сотен прожекторов обшаривали ночное небо, умиротворяюще действуя на лондонцев, но не имели никакого тактического значения; они не могли достать самолеты, летевшие на высоте, превышающей 12 тысяч футов. Остро стоял вопрос о координации средств противовоздушной обороны. Разработка радиолокационного прибора для управления зенитным огнем — под кодовым названием Elsie — всего несколькими неделями ранее прошла стадию проверки. Только в начале 1941 года появились первые радиолокационные приборы управления огнем зенитных орудий (Черчилль называл их пушками). Аэростаты широко использовались в противовоздушной обороне в качестве заграждения: опасаясь столкновения с тросами и обшивкой аэростатов, немецкие самолеты были вынуждены подниматься выше, что снижало точность бомбометания, но немцы намеревались вселить ужас и не слишком заботились о точности попадания[264].

Черчилль приказал удвоить их количество за счет Шеффилда, Бирмингема и Ковентри, графство Уэст-Мидлендс. Это не помогло. Тогда он приказал установить зенитную батарею в Гайд-парке, «где люди могут услышать ее стрельбу». Наконец 10 сентября зенитные орудия отправили тысячи снарядов в ночное небо; следы трассирующих снарядов и лучи прожекторов сходились, пересекались, расходились, вспарывая темноту. Орудия стреляли вслепую, вели скорее заградительный огонь, чем по конкретным целям. Не пострадал ни один немецкий бомбардировщик. Зато самим орудиям был причинен ущерб. Но какофония успокоила лондонцев. На следующий день Гарольд Николсон написал в дневнике: «Заградительный огонь наших зенитных орудий чрезвычайно ободрил людей, хотя жители Ист-Энда все еще напуганы и сердиты»[265].

Для лондонцев (кроме тех немногих, что смогли сбежать в свои загородные дома) вторая неделя сентября возвестила о начале нового жуткого образа жизни и смерти. Немецкие бомбардировщики возвращались почти ежедневно утром и днем в течение следующего месяца и в течение семьдесяти шести ночей подряд, кроме 2 ноября, когда погодные условия не позволили самолетам подняться в воздух. Каждый вечер, примерно в восемь часов, лондонцы слышали действующие на нервы сигналы воздушной тревоги, которые они назвали «плачем виллис»; Черчилль сравнивал эти звуки с «рыданиями банши»*.

* В и л л и с ы — лесные духи, персонажи кельтского фольклора, б а н ш и — персонаж ирландского фольклора, женщина, которая, согласно поверьям, появляется возле дома обреченного на смерть и своими характерными стонами и рыданиями оповещает, что час его кончины близок.

По сигналу тревоги люди отправлялись в укрытие. Через несколько минут появлялись немецкие бомбардировщики, сея ужас в ночное время. Немцы сначала поджигали крыши, сбрасывая зажигательные бомбы с термитом, горящим при температуре 2 тысячи градусов. Огонь, вздымавшийся высоко вверх, служил сигнальным огнем для следующих волн самолетов, несущих фугасные бомбы большой мощности. Ослепительные вспышки взрывов, освещавшие огромный город, сопровождались характерными звуками и запахами налета — свистом бомб, оглушительными звуками их разрыва, резким запахом кордита и, позже, запахом газа, заполнявшим разрушенные дома, — и неугасимое адское пламя охватывало дома. Так продолжалось час за часом, и, когда на рассвете звучал сигнал отбоя, из домов и убежищ появлялись люди: «серые, взлохмаченные фигуры, — написал Малькольм Маггеридж, — словно с картины воскрешение мертвых — души, восставшие из могил»[266].

Они справились с ужасом бомбардировок, которых так боялся Стэнли Болдуин, считавший, что против массированных бомбардировок нет никакой защиты, и от которых он не планировал защищаться. Лондонцы выходили каждое утро на изувеченные улицы, покрытые дымящимся щебнем; тусклый косой взгляд солнца был обращен сверху на пепелища их домов, останки их соседей и членов семей. Они выходили, чтобы увидеть страшные сцены разрушения. На остовах домов качались сбитые трубы; дома, начисто лишенные фасадов, демонстрировали внутренние интерьеры, отчего напоминали детские разборные кукольные домики. Они выходили к неутихающим пожарам и зловонным водам, бегущим по сточным канавам. Они выходили к неразорвавшимся бомбам, прятавшимся под слоем земли и грязи и только ждавшим случайного толчка. Спотыкаясь, они брели по переулкам, засыпанным оконным стеклом. И каждое утро сотни тех, кто искал убежище на ночь или оставался во время налетов в своих квартирах, больше не появлялись на улицах — к концу года погибло порядка 14 тысяч человек[267].

Несколько раз люди, блуждавшие утром по развалинам, замечали грузную фигуру: премьер-министра, *своего* премьер-министра. Они называли его Винни, детское прозвище, которое он ненавидел, но теперь, в зрелом возрасте, полюбил. Обычно он был в шинели, с неизменной тростью и сигарой. Он мог появиться в компании Исмея, Клементины, своего брата Джека или члена парламента и давнего друга Брендена Брекена. Но главное, он был там вместе с ними.

Бертран Рассел — философ, пацифист, современник Черчилля — предсказал в 1936 году, что воздушная атака превратит Лондон в «один большой бедлам, больницы будут брать штурмом, транспорт перестанет работать, бездомные возопят о помощи, город сделается адом» и правительство «сметет лавиной ужаса». Британские фашисты

и коммунисты — «эти грязные коммунисты», кипятился Черчилль, опаснее фашистов, — в свою очередь, предсказали, что воздушные атаки на Ист-Энд и лондонскую бедноту приведут к революции или, по крайней мере, к изгнанию Черчилля, формированию нового правительства и мирным переговорам. Гитлер придерживался такого же мнения. Газета британских коммунистов The Daily Worker призывала рабочих выходить на улицы, чтобы продемонстрировать свое недовольство правительством и его политикой. Власти Лондона считали, что потребуются войска для поддержания порядка в убежищах, но больше всего их волновал вопрос ухода за ранеными и организация похорон огромного количества погибших. К этому они были готовы. В лондонских больницах были приготовлены 150 тысяч мест для раненых, но предполагалось, что этого будет недостаточно; по оценке имперского Комитета обороны в результате бомбардировки люфтваффе должно было погибнуть 600 тысяч и ранено более миллиона человек. За городской чертой были вырыты огромные ямы, которым предстояло стать братскими могилами. Власти заготовили тысячи гробов и напечатали миллион справок о захоронении потенциальных жертв налетов, но не позаботились создать достаточное количество убежищ, чтобы избежать этих жертв[268].

Это было больше чем нападение на город; это было нападение на дух 8 миллионов лондонцев. В своем выступлении по Би-би-си 11 сентября Черчилль сказал: «Эти бессмысленно жестокие, беспорядочные бомбардировки Лондона являются, конечно, частью плана вторжения Гитлера. Он надеется, убивая огромное количество мирных жителей, женщин и детей, что затерроризует и запугает людей этого могущественного имперского города... Мало он знает о духе британского народа и неуступчивом характере лондонцев»[269].

В своем выступлении он попытался подготовить британцев к худшему: «Если попытка этого вторжения вообще будет предпринята, то вряд ли она будет долго откладываться. Погода может испортиться в любое время. Кроме того, противнику трудно до бесконечности держать все эти скопления судов в ожидании, в то время как они каждую ночь подвергаются налетам наших бомбардировщиков и очень часто обстреливаются нашими военными кораблями, которые подстерегают их со стороны моря. Соответственно с этим мы должны считать следующую неделю исключительно важным периодом в нашей истории. Его можно сравнить с теми днями, когда испанская Армада приближалась к Ла-Маншу, или же с тем временем, когда Нельсон стоял между нами и великой армией Наполеона в Булони. Мы читали об этом в исторических книгах; однако масштабы нынешних событий значительно шире, и они будут иметь гораздо более важные последствия для жизни и судеб всего мира и его цивилизации, чем те славные былые времена»[270].

Он рассказал, что «вся проводимая им [Гитлером] в широком масштабе подготовка к вторжению неуклонно продолжается. Несколько сот самоходных барж движется вдоль берегов Европы из германских и голландских портов к портам Северной Франции, от Дюнкерка до Бреста и за Брестом — во французские порты в Бискайском заливе. Кроме того, торговые караваны, насчитывающие десятки судов, движутся, укрываясь то в одном, то в другом порту, через Дуврский пролив в Ла-Манш под защитой новых батарей, которые немцы установили на побережье Франции. В настоящее время значительное количество судов сосредоточено в немецких, голландских, бельгийских и французских портах на всем протяжении от Гамбурга до Бреста. И наконец, проводится некоторая подготовка к переброске на судах войск вторжения из норвежских портов». И никто, предупредил он, не должен «закрывать глаза на тот факт, что с присущей немцам основательностью и методичностью ведется подготовка к решительному всестороннему вторжению на наш остров и что оно может быть предпринято сейчас в Англии, Шотландии, Ирландии или сразу во всех трех местах»[271].

Черчилль пркрасно понимал, что имеется достаточно бомб, чтобы Лондон, особенно старые дома, был стерт с лица земли. Он понимал, что храбрость и «неуступчивый характер» британцев еще не подвергались полной проверке, не говоря уже об испытаниях. Предстояла война на истощение неизвестной продолжительности и необузданной жестокости. Сколько времени — сколько недель, может, месяцев, может, лет — люфтваффе смогут продолжать атаки? Он понимал, что лондонцы уверены в том, что за бомбардировками последует окончательный удар — вторжение. И если немцы не вторгнутся в этом году, то вполне могут сделать это в следующем.

Но лондонцы не сдавались. Они подверглись жесточайшему испытанию, но выстояли. Они, вероятно, по-разному называли бомбардировки, но слово, которое закрепилось за ними, было блиц.

Несмотря на затемнение и маскировку, Лондон был идеальным объектом для воздушных атак. С высоты 15 тысяч футов, даже в тусклом лунном свете, вся столица разворачивалась перед немецкими летчиками, словно на подробной карте. Люфтваффе использовали Темзу в качестве навигационного ориентира для выхода в центр Лондона и к лондонским докам. Большой изгиб реки выдавал присутствие огромных складов, Западно-Индийского дока и доков королевы Виктории и принца Альберта. Ясными лунными ночами большой латинский Крест святого Павла* был виден с высоты в тысячи футов и с расстояния в несколько миль, отмечая центр Лондона так же ясно, как «х» на карте место сокровищ.

* Собор Святого Павла находится на холме Ладгейт, самой высокой точке Лондона, и в плане имеет форму удлиненного латинского креста.

Темные, пустынные аллеи Гайд-парка и парка Сент-Джеймс служили ориентиром для выхода бомбардировщиков к нескольким объектам: Уайтхоллу, Букингемскому дворцу и зданию парламента[272].

На самом деле Черчилль уже в начале лета знал, что немецкие ночные бомбардировщики используют для наведения на цели что-то более точное, чем особенности ландшафта. В конце июня этому нашлось подтверждение: немцы использовали коротковолновую систему радионавигации для наведения самолетов на цель — кодовое название системы — Knickebein («Вывернутая нога»). Это было крайне неприятное известие. Система могла помочь Гитлеру выполнить обещание сровнять с землей английские города. Система Knickebein являлась модификацией системы Lorenz, разработанной в Германии в 1930 году и предназначенной для выполнения посадки в условиях недостаточной видимости и в ночное время. Но в отличие от системы Lorenz, в системе Knickebein вместо множества пересекающихся лучей имелся только один, который пересекал основной луч точно над целью.

Новая система, будучи более простой, была, кроме того, намного точнее, поскольку непрерывный сигнал излучался в секторе 3 градуса, что давало ошибку менее половины мили. Точность бомбометания зависит от навигационной точности: если бомбардировщик можно точно выводить на цель в ночное время и в условиях облачности, то бомбы будут сброшены точно на объект.

Двое из советников Черчилля по науке пришли к единому мнению: коротковолновые радиосигналы не изгибаются, повторяя кривизну Земли, и, следовательно, не могут служить эффективным навигационным ориентиром для дальнего наведения на цель. Именно Генри Тизарду британцы — включая командующего истребительной авиацией Хью Даудинга — должны быть благодарны за приведение в боевую готовность радаров в 1940 году. Сэр Генри был председателем научно-исследовательского комитета министерства авиации и одним из наиболее уважаемых ученых в Англии. В конце 1930-х Тизард упорно настаивал на строительстве радарных станций на побережье и доказывал их необходимость для координации действий летчиков Королевских ВВС. Тизард считал, и был абсолютно прав, что радар открывает широкие возможности для определения положения и направления движения самолетов противника. Он считал, и был не прав, как показал доктор Р.В. Джонс, что изменение скорости распространения радиоволн не может сказываться на точности определения навигационного параметра. Тизард был представителем старой школы астронавигации (комплекс методов определения навигационных параметров объекта, основанный на использовании электромагнитного излучения астрономических объектов). По оценке Тизарда, немецкий луч, о котором прошел слух, не мог улучшить систему дальней навигации.

Но в начале июня Джонс (ему было всего 28 лет), один из бывших оксфордских студентов Линдемана, продемонстрировал, к радости Линдемана, что немцы используют коротковолновую систему дальней навигации. Спустя несколько дней Джонс сообщил об этом Тизарду. Сэр Генри, как никто другой разбиравшийся в радиоволнах, выразил сомнение[273].

Тизард и Профессор враждовали на протяжении многих лет. Ссора произошла в 1935 году, когда оба работали в комитете ПВО, который возглавлял Тизард. Линдеман попал в комитет через Черчилля, тоже члена этого комитета. Тизард приводил доводы в пользу радара в прибрежной зоне, Линдеман приводил доводы в пользу увеличения количества истребителей. Правы были оба, но Линдеман, чувствуя себя проигравшим, вышел из состава комитета. В то время как Тизард продолжал работу над радаром, Линдеман сумел стать близким другом Черчилля и главным советником по науке. Тизард сохранил уважение научного сообщества, но не Черчилля. Профессор Линдеман понимал, что, если им с молодым доктором Джонсом удастся разобраться с системой Knickebein, это не только укрепит его положение, но и наконец поможет разделаться с давним противником — Тизардом.

Линдеман уговорил Черчилля выслушать молодого Джонса. 21 июня Черчилль собрал у себя Тизарда, Линдемана, Джонса, министра авиации Арчи Синклера и «отца» радара, Роберта Уотсона-Уотта. На протяжении двадцати минут присутствующие как завороженные слушали доктора Джонса. Он выдвинул гипотезу, что немецкие самолеты летят между двумя расположенными рядом излучателями, генерирующими два узких луча, которые, пересекаясь, образовывали узкую равносигнальную зону — навигационный луч, направленный точно на цель. Правый излучатель генерировал короткие сигналы с длинными паузами между ними. Если навигатор на борту бомбардировщика улавливал такой сигнал, он понимал, что самолет сместился вправо от необходимого курса. Левый излучатель передавал длинные сигналы с короткими паузами между ними, — уловив такой сигнал, навигатор понимал, что самолет сместился влево. В равносигнальной зоне, где оба луча принимались одновременно, сигналы накладывались на паузы и навигатор принимал равномерный, непрерывный сигнал, который означал, что самолет движется точно по направлению на цель. Джонс обратился с просьбой разрешить полевые испытания, которые, по его мнению, должны были доказать правильность его гипотезы. Даже Черчилль слушал не прерывая, и в благоговейной тишине Джонс приводил «цепь косвенных доказательств, будто в непревзойденных рассказах о Шерлоке Холмсе и месье Лекоке», как позже написал Черчилль[274].

Когда Джонс закончил выступление, никто не проронил ни слова. Черчилль выбрался из-за стола и сердито потребовал от министра ави-

ация принятия контрмер, который до этого момента только и делал, что приносил ему «документы, документы, документы!»[275]

Совещание закончилось. «Один крупный специалист», вспоминал Черчилль, «спросил, зачем немцам использовать луч, предполагая, что подобное возможно, когда в их распоряжении все обычные средства навигации». У собравшихся этот вопрос, похоже, «вызвал интерес». Черчилль не называет имени этого крупного специалиста, который упорно придерживался своей точки зрения и всего несколькими днями ранее отверг доводы Линдемана[276].

Это был Тизард. Прав или не прав был сэр Генри, результат был один: он шагнул в открытый люк. Будучи не в состоянии определить опасность немецких лучей, Тизард подал прошение об отставке. Черчилль не принял его отставку и вместо этого отослал Тизарда в Соединенные Штаты — с глаз долой, из сердца вон — во главе небольшой группы британских ученых. Перед ними стояла задача обсудить с американцами возможность обмена новыми технологиями. (Отъезд чуть не сорвался, когда Черчилль разволновался по поводу того, что американцы получат слишком много новых британских технологий.)

Перед отъездом в Америку Тизард создал комитет под названием MAUD (Military Application of Uranium Detonation» — «Военное применение уранового взрыва») для исследования возможности создания бомбы на основе урана-235. Два немецких физика-эмигранта, Отто Фриш и Рудольф Пайерлс, считали, что это возможно; Тизард не был так уверен. Тем не менее он включил в состав комитета шесть британских ученых; Фриш и Пайерлс, будучи иностранцами, да еще и эмигрантами, не могли входить в состав комитета. Итак, Тизард отправляется в Америку. В результате миссии сэра Генри компания Bell Labs приступила к серийному изготовлению для британцев резонаторного магнетрона (изобретение английских физиков) для использования в радарах дальнего действия. Но, помимо этого, успех миссии Тизарда заключался еще и в том, что его американские коллеги поняли, что Великобритания может выжить. Тизард был достаточно дальновиден и взял с собой отснятый материал фильма о воздушных боях с участием «Спитфайров» и «Харрикейнов», когда подбитые горящие немецкие самолеты падают на землю. Ему удалось заставить американцев изменить свое мнение. Черчилль уже давно предупреждал всех, что наука — хорошо это или плохо — выиграет войну, и в конечном итоге оказался прав. Но «Волшебная война», как ее называл Черчилль, сначала велась так же отчаянно между его волшебниками — Линдеманом и Тизардом, как и между его волшебниками и волшебниками Гитлера[277].

Узнав о существовании системы Knickebein (которую Королевские ВВС назвали «головной болью»), британцам следовало срочно придумать, как ее обезвредить. Не было смысла глушить ее, поскольку немцы просто изменили бы частоту. Следовало поступить хитрее, и в

августе они придумали противоядие, получившее название Aspirin («Аспирин»). Они усиливали один из двух излучаемых немцами сигналов и переизлучали его с намного большей мощностью, так что в итоге основной луч немного отклонялся или вправо, или влево и таким образом уводил немецкие бомбардировщики с курса. К концу августа Черчилль с удовольствием читал рапорты, в которых сообщалось, что все немецкие бомбы были сброшены на пастбища, в милях от намеченных целей, никому не причинив вреда. Этими целями были аэродромы, заводы, небольшие порты и города, где ошибка всего в несколько миль заставила противника сбросить бомбы на сельхозугодья, но в Лондоне не было никаких пастбищ и полей. Немецкая бомба, промахнувшись мимо Святого Павла или доков, взорвется не в сельской местности, а где-то в Большом Лондоне. В своих воспоминаниях Р.В. Джонс утверждает, что благодаря принятым британцами контрмерам «значительная часть бомб сбилась с пути», правда, он не говорит, куда они в результате упали[278].

Но даже без новой системы, немецкие ночные бомбардировщики едва ли могли промахнуться мимо Лондона, и немецкие дневные бомбардировщики не нуждались в этой системе. Большой Лондон, общей площадью 750 квадратных миль, был домом для почти 8 миллионов человек. Все самые важные коммуникационные центры Лондона находились неподалеку от собора Святого Павла: шесть железнодорожных вокзалов, телефонная станция на Вуд-стрит, Главпочтамт, Лондонская телефонная станция, Королевская биржа и Банк Англии. В ратуше, восстановленной после пожара 1666 года, размещались городские власти и пожарная охрана. В скором времени она опять сгорела. Теперь бомбы сбрасывали на улочки Старого Лондона, известные по детским стихам, такие как Шо-Лейн, где от прямого попадания бомбы в крышу пострадало здание Evening Standard Бивербрука. На следующий день в Evening Standard был напечатан рисунок Дэвида Лоу, на котором был изображен кокни, продающий газеты. Заголовок гласил: «ОТ БОМБЕЖКИ СИЛЬНО ПОСТРАДАЛА ШО-ЛЕЙН».

На Паддинг-Лейн, где в 1666 году с пожара в пекарне начался Великий лондонский пожар, опять полыхал огонь. Дома, построенные более чем за два века до основания Берлина, сильно пострадали или были разрушены. По разрушенным комнатам ветер носил тучи красной пыли от древних кирпичей, которая образует новый слой в лондонской почве, чтобы когда-нибудь поведать историю былых событий. Узкие, изогнутые переулки с небольшими магазинами и большими складами, построенными в XIX веке, сбегали из центра в Ист-Энд, где лондонские рабочие жили на еще более узких улочках, застроенных кирпичными домами, с множеством мюзик-холлов (которых в Ист-Энде было больше, чем в любой другой части Лондона) и старых

пивоварен. Работные дома снесли на рубеже веков, но в некоторых, самых бедных районах еще оставались диккенсовские трущобы. В этих районах вдоль Темзы — Силвертаун, Поплар, Миллуол, Степни и Вест-Хэм — стоял неистребимый запах дыма и пота, лошадей и сточных вод из деревянных и железных труб. Районы, чьи названия мелодично звучат на языке кокни и уходят корнями в Средневековье, были сожжены дотла: Майорис, получивший название от аббатства Майориссес Святой Марии, и Элефант-энд-Касл — от знаменитого постоялого двора XVIII века. Клемент Эттли был членом парламента от округа Лаймхаус, который в 1940 году пришел в такое же жуткое состояние, каким он предстает в фильме Д.У. Гриффита Broken Blossoms («Сломанные побеги»), снятом в 1919 году с Лилиан Гиш в главной роли. И в Уоппинге потомки ирландцев, переживших голод, которые сбежали в Лондон почти век назад, жили в мрачных трущобах*.

Там они и умерли[279].

Доки и расположенные по соседству склады обеспечивали почти четверть рабочих мест Большого Лондона, и там работало почти все мужское население Ист-Энда. В 1939 году более 50 тысяч торговых судов швартовались в доках для погрузки-разгрузки; через Лондонский порт проходило почти 40 процентов британской торговли. Порт был основой коммерческой жизни Лондона, и теперь жизнь в нем практически замерла.

В районе Хэмпстед, к северо-западу от центральной части города, проживало 25 тысяч евреев, и их было бы намного больше, но правительство, опасаясь роста проявлений антисемитизма, ограничило въезд в страну еврейским беженцам. Вот какого мнения по этому вопросу придерживался Джордж Оруэлл: «В Англии не существует того, что принято называть «еврейской проблемой». Евреи недостаточно многочислены или могущественны в обществе, они имеют сколько-нибудь заметное влияние только в так называемых «интеллектуальных кругах». В то же время все признают, что антисемитизм сейчас на подъеме, что он невероятно усилился в результате войны и что даже люди, считающие себя гуманитариями либерального склада, не обладают иммунитетом против этой болезни. Антисемитизм в нашем обществе не принимает диких форм (англичане, как правило, люди спокойные и законопослушные), тем не менее природа этого явления достаточно мерзка и при определенных обстоятельствах может привести к печальным политическим последствиям». Евреи, написал Оруэлл в дневнике, «не просто заметны, а делают все, чтобы обратить на себя внимание», так что в результате «вы выключаете радио, когда диктор начинает говорить о гет-

* Уолтер Джордж Белл, автор «Неизвестного Лондона», бродя по этому району в 1910 году, отметил «зловонные питейные лавки, неописуемо грязные и мерзкие, — естественные прибежища всевозможной скверны».

то в Варшаве». Ходили ложные слухи, что евреи монополизировали убежища и требовали полную компенсацию за поврежденные при бомбардировке дома и, похоже, вполне прилично питались, и никогда не вызывались отвечать за тушение пожаров. Эти мнения основывались на предубеждениях и старых предрассудках. Сотрудники министерства внутренних дел обследовали жилищные условия эмигрантов и пришли к выводу, что поведение евреев ничем не отличалось от поведения неевреев; «среди тех, кто добровольно эвакуировался из страха и истерии, нет группы, которая бы доминировала над другими»[280].

К северу от Сити небольшие районы Ислингтон и Сток-Невингтон. В этих районах в хороших домах, с ухоженными садиками на заднем дворе и территорией, достаточной для бомбоубежищ жили квалифицированные рабочие, служащие и заводское начальство. Отсюда было далеко до Ист-Энда, но не для немецких бомбардировщиков. В Большом Лондоне было более 14 тысяч небольших фабрик и заводов, на которых работала одна четвертая часть трудовых ресурсов; половина товаров, производимых в Англии, изготавливалась на этих предприятиях, находившихся в радиусе 20 миль от собора Святого Павла. Это был промышленный центр империи[281].

В 2 милях к западу от собора Святого Павла широкие улицы устремлялись к Вест-Энду и Вестминстеру. Более века назад Джон Нэш расширил Риджент-стрит, возвел Карлтон-Хаус-Террас, спроектировал парк Сент-Джеймс и превратил площадь Пиккадилли в пешеходный торговый центр, что позволило богатым людям, жившим в особняках эпохи Регентства, спокойно прогуливаться до своих частных клубов, бродить по парку Сент-Джеймс, ходить в театры на Пиккадилли и в магазины на Бонд-стрит[282].

В середине сентября немецкие бомбы взорвались на Риджент-стрит, во дворе Букингемского дворца и в парке Сент-Джеймс, любимом месте Черчилля для полуденных прогулок, где он всегда останавливался у озера, чтобы покормить уток, которые теперь улетели в более безопасные края. Члены парламента погасили зажигательную бомбу, попавшую в палату лордов. Вест-Энд пострадал, но не так сильно, как Ист-Энд. 15 сентября примерно пятьдесят жителей Ист-Энда, возмущенные грязными убежищами, вторглись в Вест-Энд. Кокни, подстрекаемые коммунистами, во главе с шестью беременными женщинами с младенцами на руках, вошли в Savoy, в подвале которого служащие гостиницы оборудовали прекрасное убежище с койками, чистым постельным бельем и умывальниками. Вызвали полицейских. Потрясенные постояльцы гостиницы и мрачные кокни встретились лицом к лицу в лобби. Управляющий гостиницы умело вышел из затруднительного положения, пригласив нежданных гостей в ресторан, где им подали чай. Инцидент был исчерпан; жители Ист-Энда спокойно покинули гостиницу и вернулись домой[283].

Разрушениям подвергся каждый квартал в Челси и Южном Кенсингтоне. Бомбы попали в вокзал Виктория. На южном берегу Темзы протянулся район Саутворк, в котором находится лондонская резиденция архиепископа Кентерберийского, Ламбетский дворец. Когда начались бомбардировки, обеспокоенный архиепископ обратился к Черчиллю, который заверил его, что приняты все меры для защиты дворца. Архиепископ спросил, что будет, если бомба попадет точно в цель. Черчилль ответил: «В этом случае, мой дорогой архиепископ, вам придется расценить это как божественный вызов»[284].

К востоку от Саутворка тянутся вдоль южного берега Темзы районы Баттерси, Гринвич и Вулидж. Первый бомбовый удар 7 сентября был нацелен на Вулиджский арсенал, занимавшийся производством бомб для Королевских ВВС.

Фасады лондонских домов каменные и кирпичные, но стропила, подкосы, стойки, балки перекрытия, внутренняя отделка, лестницы, полы — все это сделано из дерева, старого, сухого и легковоспламеняющегося. Темза являлась основным источником воды для борьбы с огнем. Во время отливов Темза мелеет, и иногда настолько существенно, что становится похожа на широкий ручей. Лондонская пожарная бригада — 1500 пожарных, 130 красных пожарных машин и грузовиков, оборудованных лестницами, — была значительно усилена за счет организации вспомогательной пожарной службы, в распоряжении которой было 3 тысячи небольших насосов. 20 тысяч мужчин и 5 тысяч женщин самых разных профессий — плотники, повары, няни, служащие, духовные лица — сформировали группы по пять человек на одну машину, которой могло быть даже лондонское такси. Степень сложности пожара определялась по количеству пожарных насосов, необходимых для борьбы с огнем. До войны пожар считался опасным, если требовалось тридцать насосов. Во время лондонского блица использование сотни насосов было обычным делом. 29 декабря стал для пожарных самым ужасным днем, получившим название Второй Большой лондонский пожар. В тот день пожарные и их добровольные помощники не столько боролись с огнем, сколько наблюдали, как центр Лондона превращается в пепел, поскольку в тот день уровень воды в Темзе был рекордно низким и ощущалась резкая нехватка воды[285].

17 сентября бомбы были сброшены на парк Сент-Джеймс. Взрывы раздались рядом с «номером 10» и министерством иностранных дел. Бомбардировке подвергся Букингемский дворец. Бомба попала в здание Музея мадам Тюссо; повсюду были разбросаны восковые руки и ноги, в том числе Гитлера. Немцы, сказал Николсон, «разрушили Бонд-стрит, приведя все в соответствие». Вест-Энд сравнялся по разрушениям с Ист-Эндом[286].

17 сентября была ночь полнолуния перед осенним равноденствием. К тому времени семья Черчилль в течение трех месяцев жила на Даунинг-стрит, 10 (первые четыре недели после назначения Черчилля премьер-министром они жили в Адмиралтейском доме). «Номер 10», как Белый дом, был и местом жительства, и местом работы национального лидера. На первом этаже находился зал заседаний правительства и личный кабинет премьер-министра, а также кабинеты и офисы сотрудников. На втором этаже — большой банкетный зал, к которому примыкала обшитая белыми панелями семейная столовая. На третьем этаже находились личные апартаменты: большие спальни с подъемными окнами, красные ковровые покрытия, камины. Зимой за каминными решетками весело плясал огонь. Довольно скромное, но очень приятное для проживания место[287].

К сожалению, дом, по словам Черчилля, был «шатким и небрежным итогом спекуляций подрядчика, чье имя он носит». С июня семья Черчилля проводила все больше времени в подвале, или в бомбоубежище, или за кухнями, в укрепленных комнатах со стальными ставнями. Но первая неделя блица показала, что «номер 10» является потенциальной смертельной ловушкой. Колвилл как раз входил в «номер 10», когда от взрыва по соседству, по словам Колвилла значительного, дом содрогнулся. Он зашел к Черчиллю, который заявил, что видел из окна спальни, как бомба попала в Букингемский дворец. Бомба, упавшая рядом с казначейством, привела к образованию трещин в восточной стене «номера 10». Еще одна бомба взорвалась как-то вечером, когда Черчилль принимал гостей в подвальной столовой. Он извинился, пошел в кухню и приказал поварам и кухонным работникам немедленно покинуть ее и спуститься в бомбоубежище. Спустя двадцать секунд после их ухода следующая бомба взорвалась между «номером 10» и казначейством. Кухня и кладовые были полностью разрушены[288].

Колвилл и Брекен сошлись во мнении, что это случилось «всего за несколько дней», как «номер 10» «стал жертвой» бомбардировки. Более безопасное место находилось на Сторис-Гейт, в двух кварталах от «номера 10», напротив парка Сент-Джеймс, под каменным правительственным зданием со скромной табличкой «ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО». Там располагался штаб военного кабинета премьер-министра. Это убежище, или, как его еще называют, бункер, фактически было подземным лабиринтом маленьких комнат, в одной из которых находилась спальня премьер-министра — кровать и стол с микрофонами: отсюда Черчилль несколько раз выступал по Би-би-си[289].

Бункер использовался в чрезвычайных ситуациях. Для обычной жизни первый этаж здания был превращен в квартиру с бетонными стенами и стальными ставнями на окнах. Там все было предусмотрено для комфортного житья, но, как вспоминает дочь Черчилля, Мэри, комнаты премьер-министра и Клементины выходили в коридор, в

котором находились рабочие кабинеты (всего 180 комнат), охраняемых морскими пехотинцами, и вид Уинстона, завернутого в банное полотенце, словно римский император в тогу, который шествовал из ванной в свою комнату, оставляя за собой на полу мокрые следы, приводил в смущение чиновников. А вот Черчилль нисколько не смущался. Он мог появиться нагим, не утратив достоинства, и иногда так делал[290].

После взрыва бомбы на Даунинг-стрит, 10 члены семьи, друзья и даже Чемберлен просили Черчилля найти более безопасное место. Наконец, уступив их давлению, в середине октября он воспользовался убежищем на станции метро «Даун-стрит». Благодаря предусмотрительности начальства транспортного управления, после закрытия станции в 1932 году ее переоборудовали в убежище. Это убежище, находившееся под улицей Пиккадилли на глубине 80 футов под землей, было самым глубоким, безопасным и удобным убежищем в Лондоне. Были учтены даже гастрономические пристрастия будущих постояльцев: черная икра, шампанское Perrier Jouet 1928 года и бренди 1865 года. Кроме того, кубинский консул передал 5 тысяч сигар для Черчилля. Той осенью Черчилль провел много ночей на Даун-стрит. Оставшуюся часть войны они с Клементиной провели в подземном убежище (вместе с почти 270 чиновниками, планировщиками и вооруженными солдатами). Клементина развесила на стенах старые фотографии. Уинстон был против: стены должны оставаться голыми. Она настояла. Он хотел подниматься на крышу во время налетов. Она была против: это слишком опасно. Он настоял[291].

В первую неделю блица более 5 тысяч жителей Ист-Энда, в основном женщины с детьми, сбежали из Лондона, некоторые в Гринвич-парк, Хэмпстед-Хит, а некоторые уехали по железной дороге в западном направлении. Жители графств, расположенных к юго-западу от Лондона, сравнили их с беженцами из Бордо во время падения Франции. Все их имущество и еда умещались в платках и наволочках. К концу месяца из районов, подвергавшихся особенно ожесточенным бомбардировкам, сбежало около 25 тысяч человек. Мужчины остались, хватаясь за любую работу, которую могли найти. Остались многие женщины, чтобы следить за своими мужьями. Средние слои лондонского общества и крупная буржуазия продолжали работать, где работали, и жили в своих домах. В отличие от парижан лондонцы не сбежали. Предсказание Бертрана Рассела не сбылось: не было всеобщей паники и смятения. Рассел, отказавшийся в мае от пацифизма, теперь в тысячах миль от Англии спокойно колесил на велосипеде между любовницей и расположенным в Кембридже, штат Массачусетс, Гарвардским университетом, где сверху падали только темно-красные осенние кленовые листья[292].

В лондонских убежищах царила дисциплина. Каждый вечер 8 тысяч человек собирались под виадуком Tilbury Arches в Степни. Они сами делились на группы: евреи, ирландцы, индийцы, негры из Вест-Индии, кокни. Каждая группа проводила ночь на своей территории; они спали на кучах мусора, сложенных картонных коробках, старых газетах, среди лошадиного навоза и луж стоячей воды. Планировщики, которые перед началом войны предупреждали о необходимости привлечения солдат для поддержания порядка, ошибались. Потребовался всего один столичный полицейский для контроля над длинной очередью, выстраивавшейся каждый вечер[293].

Такой была жизнь в уличных убежищах. Правительство тоже позаботилось о создании небольших личных убежищ, разработанных инженером Уильямом Патерсоном и названных по имени тогдашнего министра внутренних дел Великобритании Джона Андерсона убежищами Андерсона. Убежища Андерсона получили 15 тысяч лондонцев. Убежище представляло собой пустотелую конструкцию, которая собиралась из листов гофрированного оцинкованного железа. Убежище вмещало до шести человек и могло в какой-то мере защитить от шрапнели, но не от прямого попадания. Конструкцию заглубляли на 4 фута в землю и покрывали слоем земли. Но этими убежищами могли пользоваться только те, у кого был собственный сад. Для кокни они не представляли никакой ценности: в Ист-Энде были мощеные улицы. Лондонские бедняки с презрением относились к Андерсону и его убежищам; если бы хитрое изобретение предоставляло реальную защиту, его бы назвали убежищем Патерсона[294].

Глядя на Андерсона, лишенного чувства юмора и холодного, вспоминал виконт Энтони Хэд, «было невозможно представить, что когда-то он был ребенком. Он был полной противоположностью Уинстону, который способен на мальчишеские выходки»[295].

В августе 1939 года Андерсон с Чемберленом создали акт «Об исключительных полномочиях» (обороны), который предоставлял — как подобные акты во время Первой мировой войны — широкие полномочия правительству. Но в мае 1940 года Андерсон добавил новые, драконовские статьи (18B, 1A) в акт 1939 года, согласно которым допускалось задержание людей, подозревавшихся в сочувствии нацистам, тем самым лишив британцев прав, которые они имели со времен подписания королем Джоном Великой хартии вольностей. Андерсон утверждал, что поскольку задержанным по статье 18B не предъявлено обвинение в совершении преступления, а они схвачены, чтобы *предотвратить* преступление, то не требуется распоряжения о представлении арестованного в суд. Одним из первых был арестован сэр Освальд Мосли, аристократ, основатель Британского союза фашистов. То, что его жена Диана Милфорд-Гиннесс-Мосли тоже была арестована, явилось неприятной неожиданностью для семьи Черчилль,

поскольку Диана была кузиной Клементины. К концу года более тысячи британцев и сотни беженцев, сбежавших от Гитлера, были задержаны, тайно заключены в тюрьму, без предъявления обвинения и суда[296].

Андерсон был одним из самых заслуженных подхалимов Черчилля, «консервативным консерватором». До октября Черчилль держал его на должности министра внутренних дел, а затем включил в состав военного кабинета в качестве лорда — председателя совета, что значительно расширило его полномочия. Андерсон рьяно взялся за выполнение статьи 18В, отлавливая предполагаемых преступников. Черчилль подсознательно противился идее держать «политических противников в тюрьме на основании королевского приказа о заточении в тюрьму», но, пользуясь исключительными полномочиями, направил Андерсону записку: «Предоставьте мне список известных людей, которых вы арестовали». Спустя несколько дней он отправил Андерсону список «подозрительных личностей», проживавших в районах вероятного вторжения. Черчилль приказал сэру Джону сообщить через три дня, «какие меры вы считаете нужным принять».

Если положение подозреваемых обозревателей его не слишком интересовало, то положением лондонской бедноты он был всерьез озабочен. Он приказал, чтобы Андерсон решил проблему, связанную с дренажом. Но вскоре вопрос об улучшении конструкции убежищ отпал сам собой, когда правительство столкнулось с проблемой дефицита материалов; Англия могла строить или корабли, или убежища. Больше убежища Андерсона не делали[297].

Жители Ист-Энда возмущались своим бедственным положением. Николсон отметил глубину их негодования в дневниковой записи от 17 сентября: «Говорят, что на днях даже освистали короля с королевой во время посещения ими разрушенных районов. Клем Дэвис говорит, что если только у немцев хватит ума не бомбить районы к западу от Лондонского моста, то в стране может начаться революция»[298].

Но даже если немцы надеялись на восстание крестьян, то спустя несколько недель им пришлось расстаться с этой надеждой, когда эскадрилья «Штук» во время дневного налета сбросила три бомбы на Букингемский дворец. Король с королевой чудом остались живы. Эта атака показала, по словам Черчилля, что немцы «настроены серьезно». В том, что касается нападения на домашний очаг, королевская семья сравнялась с жителями Ист-Энда. «Я рада, что нас бомбили, — сказала королева. — Я чувствую, что теперь могу спокойно смотреть в глаза жителям Ист-Энда». Черчилль пришел в ярость, когда узнал, что правительственные цензоры запретили сообщать об атаке на дворец. «Болваны, идиоты, дураки, — кричал Черчилль. — Не медлите сообщить о нападении. Пусть простые лондонцы узнают, что они не одиноки, что король с королевой разделяют с ними все опасности»[299].

Несмотря на поддержку империи, жители Лондона, включая короля с королевой и премьер-министра, на самом деле были одиноки и беззащитны перед вражескими атаками с воздуха. Коммунисты распространили обращение к Черчиллю с призывом немедленно начать мирные переговоры. Гарольд Николсон написал в дневнике: «Не следует ожидать, что население большого города, просиживая все ночи, неделя за неделей, в убежищах, не утратит присутствия духа». В течение сентября на Лондон были сброшены тысячи тонн бомб; более шестисот лондонцев, в основном жители Ист-Энда, погибли в пожарах. Дома рушились, но лондонцы не теряли присутствия духа. В конце сентября Эдвард Р. Марроу почувствовал настрой этого народа. Ведя передачу с крыши Би-би-си, он сказал: «Я видел много флагов, развевающихся на домах. Никто не приказывал этим людям развешивать флаги. Они просто хотят, чтобы на их домах развевались государственные флаги Великобритании». И, добавил Марроу, «не было ни одного белого флага»[300].

Немецкие парашютные бомбы, которые на самом деле были 2200-фунтовыми морскими минами, сбрасываемыми с парашютом, привели к новым трагедиям. Точность при сбросе с большой высоты у них была крайне низкой, но они обладали невероятной разрушительной силой. Эти мины, предназначенные для поражения линкоров, разрушали старые дома, построенные из кирпича и дерева, в радиусе 600 ярдов. 21 сентября, во время обеда, Черчилль сказал лорду Горту и Хью Даудингу, что хотя он в принципе против того, чтобы отвечать тем же, но в ответ на каждую немецкую парашютную бомбу следует сбросить две на немецкий город. Горт согласился: «Это единственное, что они понимают»[301].

23 сентября начальник штаба военно-воздушных сил доложил военному кабинету, что отдал приказ направить сто тяжелых бомбардировщиков для нанесения удара по Берлину. Кроме того, пятьдесят средних и тяжелых бомбардировщиков были отправлены для нанесения ударов по немецким десантным баржам в портах на Ла-Манше. В тот вечер Черчилль сказал Колвиллу: «Запомните, никогда нельзя недооценивать противника и, когда начнется битва, надо сражаться до конца»[302].

Хотя заявленная им в начале октября политика не предполагала возмездия, на самом деле мишенью стало гражданское население Германии. Менее двух третей британских бомбардировщиков не смогли точно определить местонахождение заданных целей; остальные сбросили бомбы в радиусе 5 миль от цели; в какой-то мере это можно отнести за счет низкой точности попадания в ночное время. Целеведение было проблемой и в дневное время, а в ночное время оно было практически невозможным. При этом потери среди гражданского населения были значительными. В Рурской области, над которой

постоянно висел промышленный дым, попадание в цель было одно из десяти. Бомбометание было столь неточным, что Черчилль сказал Исмею: «Мы должны фактически вдвое увеличить количество бомбардировщиков, чтобы повысить точность попадания»[303].

Но даже если бомбардировке подвергались промышленные и военные объекты, то жертвы были и среди гражданского населения. На самом деле это было не чем иным, как возмездием. 16 октября военный кабинет распорядился, чтобы бомбардировочное командование приказало летчикам, в том случае, если сильная облачность не позволяет определить местонахождение заданных промышленных объектов, сбрасывать бомбы на ближайший город, включая Берлин. Бомбардировщики не должны возвращаться на базу с полным боезапасом. Если лондонцы не могут спокойно спать в своих кроватях, то не должны и берлинцы[304].

17 октября в курительной комнате палаты общин Черчилль, потягивая портвейн, отвечал на вопросы членов парламента, которые хотели знать, когда начнется возмездие. Роберт Кэрри, член парламента от Консервативной партии из Эклса, долго рассуждал о том, что общественность настаивает на неограниченных бомбардировках. Черчилль, молча слушал и пил портвейн, глядя поверх стакана на Кэрри, а когда Кэрри закончил свою пламенную речь, сказал: «Дорогой сэр, это война вооруженных сил, а не с гражданским населением. Вы и другие, возможно, хотите убивать женщин и детей. Мы хотим, и преуспели в этом, уничтожать немецкие военные объекты. Я уважаю вашу точку зрения. Но мой девиз — «Дело — прежде всего»[305].

Черчилль не находил удовольствия в убийстве женщин и детей. Но спустя три дня в секретной записке министру авиации Арчибальду Синклеру он написал, что весьма желательно сбрасывать на Берлин тяжелые бомбы[306].

Заявление Геринга и Геббельса, что воздушное пространство над Берлином не нарушалось, было опровергнуто вечером 24 сентября, когда Геббельс с товарищами были вынуждены прервать ужин в отеле Adlon и спуститься в подвальное бомбоубежище. Следующей ночью налет длился пять часов. «Англичанам следует делать это каждую ночь. Не важно, что разрушений будет немного. В прошлую ночь ущерб оказался невелик. Но психологический эффект огромный», — написал Уильям Л. Ширер. Немцы почему-то считали, что они могут бомбить Варшаву, Роттердам и Англию, а их бомбить не будут. К тому же немцы верили, что к осени война закончится[307].

Нацистское Верховное командование считало налеты всего лишь досадной неприятностью, и по большей части они были правы. Налеты с участием семидесяти, восьмидесяти, иногда девяноста бомбардировщиков Королевских ВВС приводили к незначительному ущербу, частично потому, что приходилось уменьшать бомбовую нагрузку за счет

топлива, которое требовалось для того, чтобы совершить 1200-мильный полет туда и обратно, а также по той причине, что ночью определение цели превращалось в игру угадайку. Тем не менее советское Верховное командование начало подумывать о том, что Англию не стоит сбрасывать со счетов. В середине ноября советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов встретился в Берлине со своим немецким коллегой Иоахимом фон Риббентропом, чтобы обсудить договор о торговле и послевоенном дележе трофеев. Черчилль в своих мемуарах («Вторая мировая война») пишет, что «хотя нас и не пригласили принять в нем [совещании] участие, мы все же не хотели оставаться в стороне». Воздушный налет Королевских ВВС заставил Молотова с Риббентропом спуститься в бомбоубежище, где, как позже Сталин рассказал Черчиллю, Риббентроп продолжал упорно доказывать Молотову, что с Англией покончено. «Если это так, — сказал Молотов, — то почему мы спустились в убежище и кто сбрасывает эти бомбы?»[308]

К середине октября почти 500 тысяч лондонских детей были эвакуированы в сельскую местность. Город, который они покинули, разрушался. Критическая ситуация сложилась на железной дороге: из шести основных лондонских вокзалов в обычном режиме работали только два — Паддингтон и Кингс-Кросс. Из-за повреждения канализационной системы нечистоты сливались прямо в Темзу, которая являлась основным источником питьевой воды. Черчилль понимал, что это может привести к катострафическим последствиям — почти век назад эпидемия холеры унесла тысячи жизней, и сейчас это могло повториться. Общественные убежища переполнены, царит антисанитария — есть все основания для вспышек дифтерии и гриппа. Острая нехватка стекла была еще одной из проблем, беспокоившей Черчилля. Дело шло к зиме, а в Лондоне, как в Средние века, дома были без окон. Проезжая мимо оранжереи, пострадавшей во время воздушных налетов, Черчилль распорядился собрать все стекла, которые можно будет использовать для застекления окон. «Способность простого народа всякой страны переносить лишения, когда он испытывает подъем духа», — написал Черчилль в воспоминаниях, — похоже, не имеет границ»[309].

Юмор преобладал над страхом. На полях для гольфа повесили новые правила. Разрешено свободное падение, когда мячик попадает в воронку от бомбы. Участники не штрафуются за игру вне очереди во время налетов. Для игроков в гольф опасность представляли британские противотанковые мины, установленные в прибрежных дюнах. Как-то вечером Черчилль рассказал своим гостям о гольфисте, который гонял мячик по берегу, покрытому галькой. «Он ударил клюшкой по мячу, и единственное, что после этого осталось, был мяч, который благополучно вернулся на «грин»[310].

Поскольку потери гражданского населения намного превосходили потери военнослужащих, по Ист-Энду ходила шутка: вступайте в армию и избежите войны. Ивлин Во язвительно заметил, что, если бы немцы действительно стремились сломить боевой дух британцев, им следовало сбросить на парашютах сотни марширующих духовых оркестров. Самым популярным фильмом года были «Унесенные ветром». Таксисты жаловались, что дороги усыпаны стеклом и у автомобилей постоянно лопаются шины. Но продолжали ездить. На магазинах без фасадов висели объявления: «Мы *широко* открыты для покупателей». Уличный продавец газет написал мелом на своем лотке: «Берлин заявляет, что сбросил на Лондон 1000 тонн бомб. И что?» Водевили и шоу-программы с обнаженными девушками в театре «Уиндмилл»* каждый день собирали зрителей, и танцовщицы, как обычно, высоко выбрасывали ноги в «Палладиуме» и «Принце Уэльском».

Швейцары отелей с гордостью рассказывали посетителям о количестве налетов. Уборщица из Ист-Энда, придя на работу в Сити, обнаружила, что офисное здание, в котором она много лет мыла полы, за ночь исчезло. «Думаю, что старик Гитлер хотел, чтобы я сменила работу», — язвительно сказала она. Г.Д. Уэллс, тридцатью годами ранее предсказавший воздушные налеты**, обедал с Сомерсетом Моэмом и леди Дианой Купер, когда появились бомбардировщики.

Уэллс отказался встать из-за стола, пока не доест сыр: «Я наслаждаюсь отличным обедом. Почему я должен его прервать из-за какого варвара в самолете?» Агата Кристи увидела в переулке рядом с домом фермера, который пинал ногами неразорвавшуюся бомбу. «Черт возьми, не может даже нормально взорваться», — сказал он в сердцах. У каждого британца была в запасе своя история[311].

Лондонцы утром шли на работу и возвращались домой к комендантскому часу, прекрасно зная, что на следующий день может не оказаться одного или другого, дома или работы. За ночь ситуация менялась. Если дом и работа пережили ночь, то железнодорожные пути

---

* Лондонский театр Уиндмилл (Windmill) был назван в честь мельницы, которая размещалась на месте современной центральной части мегаполиса еще во времена правления короля Карла II. В 1930-х годах театр нес убытки, и в программу шоу включили обнаженных девушек — «девушки из Уиндмилла» (как их потом стали называть) на сцене не двигались, а стояли неподвижно, изображая живые статуи. Затем режиссер сделал серию обнаженных живых картин, а позже он придумал, как обойти цензоров, включив в постановку танцующую обнаженную девушку. Танцовщица двигалась по сцене, прикрывая себя веером. В завершение девушка замирала в виде статуи и секунд на десять открывала обнаженное тело. С помощью этой уловки театр в очередной раз набрал популярность. История и сами создатели театра Уиндмилл вдохновили кинематографистов на создание четырех фильмов: Heart of the City (1945), Mystery at the Burlesque (1949), Secrets of a Windmill Girl (1966) и Mrs. Henderson Presents (2005).

** В романе «Война в воздухе».

или автобусный маршрут могли не пережить. И всегда была возможность, возвращаясь домой, встретить уполномоченного по воздушной обороне, который сообщал печальные новости — о гибели жены или мужа, сына или дочери. Лондонцы пешком или на велосипедах пробирались по улицам, засыпанным осколками и изрытыми воронками. Они стояли в очередях за продовольственными пайками и привычно вслушивались в грохот за горизонтом, не зная, о чьем появлении предупреждает бассо профондо, приносимый восточным ветром, об их пилотах или пилотах Геринга. В Ист-Энде те, у кого не было ни дома, ни работы, находили убежище под железнодорожными мостами, в подвалах пивоваренного завода и складов и в криптах, первоначально предназначавшихся для хранения угля[312].

Черчилль искал с ними встреч. Они были единственными европейцами, которые не пали духом, не сломились перед Гитлером. Черчилль, в широком, длинном пальто, в фетровой шляпе, надвинутой на лоб, мчался по городским улицам в бронированном автомобиле, который кто-то сравнил с огромным раскрашенным термосом. Он терпеть не мог громоздкие автомобили, но телохранителю удалось уговорить его. Черчилль выходил из машины, чтобы осмотреть место разрушения. Ходил по краю воронок от бомб, взбирался на кучи щебня. Сгорбившись, тяжело ступая, он шел по улицам, не обращая внимания на лужи и осколки кирпичей. Он искал людей. Черчилль, по словам Молли Пэнтер-Доунес, обладал «величайшим даром заставлять их забыть о дискомфорте, опасности и потерях и помнить, что они делают историю»[313].

В начале октября, выступая в палате общин, Черчилль сказал, что «за всю жизнь ко мне никогда не относились с такой добротой, как люди, которые больше всего страдали». Лондон, пообещал он, будет восстановлен, станет еще прекраснее, чем был. Но сначала «нас ждут долгие месяцы испытаний и страданий. Не только огромная опасность, но много неудач, много ошибок, много разочарований выпадет на нашу долю. Смерть и горе будут сопровождать нас на этом пути. Непреклонная решимость и мужество — единственная наша защита»[314].

Но перед выступлением Черчилль представил, под бурные аплодисменты, Рэндольфа, который выиграл дополнительные выборы в Престоне. В юности Черчилль мечтал, что однажды отец приведет его в палату общин, где он будет служить отцу, «принимая его сторону и оказывая поддержку». Этой мечте не суждено было сбыться: лорд Рэндольф впал в немилость, был вынужден уйти в отставку и рано умер от тяжелой болезни. Он оставил своему сыну, Уинстону, возможность привести своего внука, Рэндольфа, в палату общин. Аплодисменты, которыми приветствовали их пару, были для Уинстона свидетельством поддержки, они показали, что блиц и неудача в Дакаре не сказались на его популярности[315].

До падения Франции Дакар был ничем не примечательным портом во Французской Западной Африке. После падения Франции он приобрел стратегическое значение. Если бы немцы захватили Дакар и использовали его в качестве базы для подводных лодок и надводных рейдеров, этот порт представил бы серьезную угрозу английскому торговому судоходству и военным перевозкам по морскому пути вокруг Африки. Для того чтобы не допустить этого, военный кабинет решил провести операцию по освобождению Дакара и передать его в руки «Свободной Франции». Британская разведка указала, что вишистские силы едва ли окажут теплую встречу де Голлю, но на эту информацию не обратили внимания. Кроме того, «Свободная Франция» в Лондоне допустила утечку информации, и сведения об операции, возможно, просочились в Times. 23 сентября «Свободная Франция» подошла к Дакару, но ее ждал не теплый прием, а сильный огонь. Береговые батареи и линкор Richelieu открыли огонь, причинив повреждения британским крейсеру и линкору. После двух дней беспорядочной стрельбы было принято решение прекратить операцию «Угроза». Черчилль сообщил Рузвельту неутешительные новости. Позже Клементина назвала неудачу «классическим примером отсроченной надежды, заставившей болеть сердце». Однако после первого приступа сожаления Черчилль нашел положительное в отрицательном: Великобритания еще на что-то способна. Как в случае с Ораном, Черчилль доказал миру, а главное, Рузвельту, что Великобританию не стоит сбрасывать со счетов[316].

Джозеф Кеннеди думал иначе. Провал операции в Дакаре равносилен катастрофе, сообщил он в Вашингтон, а Черчилль теряет популярность (что не соответствовало действительности). В конце октября Кеннеди сбежал в Америку — первый посол, покинувший Лондон. Он якобы уехал по той причине, что хотел лично попросить Рузвельта об отставке, но ведь мог позвонить, а он попросту сбежал, оставив на произвол судьбы своих сотрудников. Своим бегством он навлек на себя ненависть лондонцев и заслужил прозвище «нервный Джо». Благополучно вернувшись домой, он тут же дал интервью газете Boston Globe, в котором сказал, что в Великобритании с демократией покончено, что британцы борются за сохранение империи, а не за демократию[317].

Если Кеннеди все представлялось в мрачном свете, то Черчилль был настроен оптимистично. Что касается лондонцев, сказал он Колвиллу, то «во мне есть то, что они искренне поддерживают, решимость победить. Через год-два они будут приветствовать меня». В письме Чемберлену, умиравшему мучительной смертью от рака кишечника, Черчилль написал: «Немцы совершили огромную ошибку, сконцентрировавшись на Лондоне, к облегчению наших заводов, и, пытаясь запугать народ, только разозлили его». Лондонцы предпочли, сказал Черчилль Колвил-

лу, «находиться в первых рядах, участвуя в битве за Лондон, чем беспомощно наблюдать за массовым убийством как в Пашендейле»[318].

В течение октября военный кабинет занимал важный вопрос: появятся ли немцы? Весь месяц «Ультра», условное обозначение, принятое британской военной разведкой для перехваченных и дешифрованных особо важных секретных сообщений, сообщала о продолжающейся подготовке к вторжению. Воздушная разведка подтвердила, что немцы отрабатывают варианты высадки солдат с кораблей на сушу под прикрытием искусственного дыма.

Согласно перехваченным и расшифрованным сообщениям, немцы планировали вторжение после 20 октября. Было ли это частью немецкой кампании по растространению дезинформации? Следовало действовать так, словно вторжение неизбежно; в противном случае это было бы нарушением воинского долга. Военно-морской флот патрулировал, Королевские военно-воздушные силы патрулировали, Блетчли-Парк слушал. Однако появилось ощущение, что вторжение не состоится, и причиной тому был Черчилль. 4 октября он телеграфировал Рузвельту: «Джентльмен снял одежду и надел купальный костюм, но вода становится холоднее, и воздух пахнет осенью. Мы сохраняем предельную бдительность»[319].

21 октября, выступая по радио с обращением к французскому народу, Черчилль бросил фразу, которая, возможно, говорила всего лишь о его растущем оптимизме: «Мы ждем давно обещанного вторжения. И рыбы — тоже». Эти дерзкие слова, конечно, вызвали уважение у нейтральных наблюдателей. В июньских и июльских выступлениях он мрачно допускал возможность вторжения и не уставал повторять, что они будут бороться до конца с непоколебимым мужеством и достоинством. Эти речи были предназначены для того, чтобы вдохновлять и воодушевлять, но, если бы Англия пала под нацистским сапогом, они бы послужили эпитатафиями, которые предстояло прочесть и обдумать будущим поколениям. Черчилль был известен остроумными высказываниями, и он никогда не упускал случая пошутить или ввернуть острое замечание, как это было, к примеру, во время октябрьского выступления, когда он сказал о давно обещанном вторжении, которого ждут не только люди, но и рыбы. Он произносил их не в кругу близких друзей в гостиной за портвейном, а всему миру, выступая по радио, в адрес самого сильного лидера и самой страшной военной силы на планете. Ему хватило одной фразы, чтобы выставить Гитлера на посмешище. Он унизил Гитлера, заявив, что «вы можете победить нас, но вам никогда, *никогда*, не сломить наш дух»[320].

Речь, записанная на французском и английском, была частично предназначена для того, чтобы заглушить страхи французов относительно того, что британцы вынашивают планы захватить их флот и колонии в Западной Африке. «Не думайте, что мы, англичане, стремимся захватить ваши корабли и колонии в Западной Африке. Мы

стремимся покончить с Гитлером и гитлеризмом. Раз и навсегда», — сказал Черчилль. Некоторым французам заявление Черчилля, что британцы ни на что не претендуют, показалось неискренним. В июле в Оране британцы пытались потопить французский флот, и совсем недавно предприняли попытку высадить силы «Свободной Франции» в Дакаре. Заканчивая выступление, Черчилль сказал: «Помните, что мы никогда не остановимся, никогда не устанем, никогда не сдадимся и что весь наш народ и империя поклялись очистить Европу от нацистской чумы и спасти мир от ужасов нового Средневековья... Мы преследуем его, как наши друзья за Атлантическим океаном и ваши друзья за Атлантическим океаном. Если он не сможет уничтожить нас, мы, конечно, уничтожим его, и всю его банду, и все их деяния[321].

Франция, как и вся Великобритания, верила, что «друзья» за Атлантическим океаном придут на помощь. Однако спустя девять дней Рузвельт, выступая в Бостоне, сказал: «Я говорил это раньше и скажу еще раз и еще раз: мы не собираемся посылать ваших мальчиков ни на какие иностранные войны». И не добавил привычной оговорки, «За исключением нападения». Даже если бы у Америки было желание сражаться — которого у нее не было, — она была слишком далеко. Черчилль закончил выступление словами, которые отражали его романтизм и эгалитарный дух республики, которым так дорожили французы: «Да здравствует Франция! Да здравствует движение простых людей во всех странах к овладению справедливым и истинным наследием, к более светлому и счастливому веку!»[322]

В тот вечер художник Поль Масе, в июне сбежавший из Бордо и живший в Хэмпшире, написал Черчиллю: «Каждое сказанное вами слово было подобно капле крови, поступающей в кровеносную систему при переливании». Слова Черчилля, возможно, лишились бы своего вдохновляющего воздействия, если бы был включен микрофон, когда он вошел в студию. Его встречал Жак Дюшен (псевдоним французского актера Мишеля Сен-Дени), французский эксперт на Би-би-си и переводчик. «Где моя речь для лягушатников?» — спросил Черчилль. Колвилл, сопровождавший премьер-министра, отметил, что Дюшен «выглядел огорченным»[323].

Благодаря «Ультра» Черчилль обрел уверенность, что вторжение не состоится или, по крайней мере, будет отложено до весны 1941 года. 28 октября Объединенный разведывательный комитет доложил, что, согласно данным фоторазведки, немецкие суда движутся в восточном направлении, из Ла-Манша и если так и будет продолжаться, то «уменьшается риск вторжения». Но со стороны подводных лодок по-прежнему сохранялась смертельная угроза. И немецкие бомбардировщики по-прежнему наносили ночные визиты.

С июля погибло более пятисот летчиков-истребителей Королевских ВВС, отражавших дневные налеты Геринга, но их жертвы не

пропали зря. К концу октября практически прекратились дневные бомбардировки, а в начале ноября Геринг полностью отказался от дневных налетов: с июля его потери во время дневных налетов почти в десять раз превысили потери во время ночных налетов. Ночное небо над Великобританией сулило безопасность немецким экипажам. Переход Геринга к ночным бомбардировкам и беспорядочное разбрасывание зажигательных средств по всему Лондону означали, что немцы отказались от бомбардировки военных объектов. Бомбы, которые регулярно сбрасывали на Берлин в дневное время, доказывали, что британцы тоже отказались от бомбардировки военных объектов.

В ноябре Черчилли начали проводить все выходные в Чекерсе. Это была последняя военная осень, когда семья собиралась вместе. Семнадцатилетняя Мэри проводила каникулы в Норфолке, у старых друзей семьи, Монтегю; блиц и угроза вторжения продлили ее каникулы. Она хотела вернуться в Лондон, но родители были категорически против, и она не посмела ослушаться. В сентябре ее отправили в Чекерс. Памела, ожидавшая появление первого ребенка, жила там с середины сентября. Доктор настоял на необходимости сопровождать ее. Он оставался в Чекерсе две недели, вспоминала Памела, чтобы провести «несколько спокойных дней» в разгар блица. Клементина считала, что Уинстон не в восторге от присутствия доктора, и выразила недовольство Памеле, на что та ответила: «Я никак не могу ускорить появление ребенка». Черчилль надеялся, что родится мальчик, которого назовут Уинстон, и его не обрадовало, что его кузина, герцогиня Мальборо, которая родила мальчика за несколько дней до родов Памелы, назвала его Уинстоном. «Памела и Рэндольф хотят назвать сына Уинстоном», — сказал Черчилль герцогине. «Откуда вы знаете, что у них родится мальчик?» — спросила герцогиня. «Если не сейчас, то позже. Я прошу вас дать сыну другое имя». Герцогиня назвала сына Чарльзом. Сын Памелы, Уинстон Спенсер Черчилль, «маленький» Уинстон, родился в Чекерсе в кровати под балдахином 10 октября 1940 года. Памела, очнувшись от наркоза, услышала бормотание: «Это мальчик, это мальчик». Старый Уинстон, вспоминала Памела, был рядом, для него это много значило[324].

Рэндольф провел выходные в Чекерсе с Памелой и своими родителями. Брат Черчилля, Джек, на шесть лет младше Уинстона, скромный и непритязательный, жил в это время в Чекерсе. Его лондонский дом разбомбили, и он жил где только мог, в том числе в «номере 10». Жена Джека, Гведелин (Гуни) Черчилль, долгое время была одной из самых преданных подруг Клементины, но в конце 1940 года, заболев раком, уехала на родину. Ее отсутствие по выходным лишило Клементину одной из связей с внешним миром, который она, в силу необходимости, покинула. Иногда по выходным в Чекерс приезжали Уинстон и старшая дочь Черчиллей, Диана. Дети Дианы, четырехлетний

Джулиан и двухлетний Эдвин, давали Черчиллю возможность вести себя как обычный дедушка, то есть большой ребенок, хотя и в жилете, обсыпанном сигарным пеплом. Он намного лучше Клементины, вспоминала Памела, знал, как рассмешить ребенка. Для Мэри Чекерс в течение недели был огромным мрачным домом, который оживал в выходные дни с приездом брата, сестер, родителей и их гостей[235].

Колвилл, как личный секретарь, часто бывал в Чекерсе. Его привлекала горячность Мэри, хотя он отмечал, что часто она бывала несколько излишне возбужденной, а временами раздражительной. Иногда он вместе с Клементиной и Мэри прогуливался по территории, и зачастую эти прогулки превращались в состязания по бегу между двумя молодыми людьми. Оставив Клементину, Мэри с Колвиллом мчались по лесным дорожкам, мимо древних дубов, и взбегали на вершины невысоких холмов. Она обычно побеждала: возможно, Колвилл был галантным кавалером, а может, из-за пагубной привычки к курению, он страдал одышкой, и последние метры давались ему с трудом. В присутствии отца Мэри вела себя тихо. Всем детям с раннего детства внушалось почтительное отношение к отцу. Но как-то во время семейного завтрака Мэри не сдержалась. Черчилль, удивленный и встревоженный скоростью, с которой немцам удалось разгромить Францию, заявил, что все произошло так быстро, словно немцы просто обошли Францию, чтобы бросить все силы против Великобритании. Молча выслушав отца, Мэри звенящим от напряжения голосом перефразировала слова, сказанные Черчиллем несколькими месяцами ранее в адрес молодых летчиков-истребителей Королевских ВВС: «Никогда прежде столь немногие не предавали так много столь многих»[326].

Рэндольф, ему не было еще тридцати, не отличался ни красноречивым молчанием, ни озорным юмором, которые были свойственны его сестре. В нем, вспоминал Колвилл, «сочетались самые непривлекательные черты характера: претенциозность, сварливость и глупость; но все же время от времени он высказывал меткие замечания и иногда мог быть весьма милым». Он много пил, вспоминал Колвилл, но выпивка не поднимала ему настроение. Однажды во время обеда он долго разглагольствовал о том, что Болдуин лишил империю величия. Мировое господство, сказал Рэндольф, высший идеал, и он уважает немцев за стремление к мировому господству. Аргументы Рэндольфа, написал Колвилл в дневнике, «заставили содрогнуться». Колвилл считал его одним из наиболее «неприятных» людей, которых он когда-либо встречал: «Шумный, самонадеянный нытик и откровенно неприятная личность... ничего от Черчилля, который обожает его». Отношение Рэндольфа к отцу настолько рассердило Клементину, что она пригрозила сыну, что запретит ему бывать в «номере 10», чтобы он не довел отца до сердечного приступа. Но, несмотря ни на что, Черчилль бесконечно любил Рэндольфа. В Чекерсе Черчилль чувствовал себя непринужден-

но среди близких друзей и членов семьи. Он любил поесть и выпить, причем качественный алкоголь, которого не было на Сторис-Гейт. Он понимал, насколько недолговечными могут быть радости семейной жизни в Чекерсе; игра в крикет на траве (он наблюдал за игрой), семейные прогулки и состязания в беге (он избегал физических упражений), бренди и воспоминания перед огромными каминами, даже тирады Рэндольфа. По всей вероятности, сказал Черчилль, немцы «считают, что я не настолько глуп, чтобы приезжать сюда. Я многим рискую. Тремя поколениями при внезапном налете»[327].

Его семья, хотя той осенью они часто собирались вместе, разваливалась. Брак Сары с актером, комиком и музыкантом Виком Оливером распался. Его выступления в «Палладиуме» всегда собирали полные залы. Но, являясь австрийским евреем, он решил бежать из Англии, пока не станет слишком поздно. Америка казалась австрийскому эмигранту и известному комическому актеру более безопасным местом. Саре, если бы он уехал в Соединенные Штаты, пришлось сопровождать мужа, но она не испытывала никакого желания покидать Англию и родителей. Вик остался в Лондоне, но летом 1941 года их брак распался, и Сара поступила на службу в Женскую вспомогательную службу военно-воздушных сил. Клементина целиком поддерживала решение Сары остаться в Англии, поскольку считала, что никто из «детей Черчилля» не должен покидать страну в трудный час. Когда Клементина узнала, что одну из ее племянниц отправляют в Канаду, ее лишили паспорта. Черчилль неодобрительно относился к эмиграции, называя ее «паническим бегством из страны»[328].

В любом случае эвакуация детей за границу закончилась 17 сентября, когда пассажирский пароход City of Benares, направлявшийся в Канаду, был торпедирован. Погибло семьдесят три из девяноста находившихся на борту детей и более двухсот взрослых, сопровождавших детей. Многие заняли места в спасательных шлюпках. Дети начали петь Roll out the Barrel, но, когда они дошли до слов We'll have a barrel of fun, пароход затонул. Затем море вступило в свои права, разбивая спасательные лодки. Спустя четыре дня Черчилль приказал Комитету обороны прекратить эвакуацию детей за границу[329].

С тех пор как почти два десятилетия назад Ирландская республиканская армия готовила на него покушение, Черчилль любил, чтобы оружие всегда было под рукой. Начиная с падения Франции он носил револьвер, но имел привычку положить его где-нибудь и забыть, где положил; в этих случаях он заставлял инспектора Томпсона дать ему один из своих револьверов. Схватив его револьвер и размахивая им, он восклицал: «Видишь, Томпсон, им никогда не взять меня живым». На самом деле он хорошо стрелял из винтовки и просто убийственно из своего «Кольта» 45-го калибра. В Чекерсе они с Томпсоном регу-

лярно тренировались в стрельбе в открытом тире, где Черчилль делал примерно по сто выстрелов из винтовки Mannlicher, револьвера Webley & Scott 32-го калибра и любимого «Кольта» 45-го калибра. Он был, вспоминал Томпсон, настолько метким стрелком, что у того, кто находился в радиусе поражения его оружия, просто не было шансов. Колвилл пишет об одном из таких тренировочных занятий: «Черчилль стрелял из винтовки Манлихера в цель с расстояния в 100, 200 и 300 ярдов. Затем стрелял из своего револьвера, не прекращая курить сигару, с похвальной точностью. Несмотря на возраст, тучность и отсутствие практики, он хорошо проявил себя... Он, похоже, всегда мысленно представляет, что сражается с немцами»[330].

Британцы в ожидании вторжения, а премьер-министр Великобритании ведет огонь по врагу. Черчилль жил с мыслью, что перестрелка с захватчиками будет его последней линией обороны. Лорд Джеффри Ллойд вспоминал, что «Уинстон был похож на зверя в джунглях, остро чувствующего опасность. Его стремление выжить было огромным вдохновляющим стимулом для страны и мира»[331].

«Для убийства гуннов лучше всего подходят пули дум-дум, — любил повторять Черчилль во время тренировочной стрельбы. Такая пуля, попадая в тело, разворачивается, значительно увеличивая раневое отверстие, и редко выходит наружу, совершая порой замысловатые блуждания по телу. Первоначально эти пули изготавливались в Дум-Дум, предместье Кальтутты, отсюда и пошло их название. Эти пули запрещены к применению во время войны, доказывал Рэндольф отцу. Он, безусловно, был прав. В 1906 году Черчилль заявил, что нельзя использовать эти пули против «цивилизованного противника». Нацисты лишились права называться «цивилизованным противником». Если немцы захватят меня, они «быстро разделаются» со мной, так почему я должен «проявлять к ним милосердие», в сердцах крикнул Черчилль[332].

Геббельс попытался использовать тренировочные стрельбы Черчилля в пропагандистских целях. Он достал фотографию Черчилля, которая обошла все британские газеты — Черчилль в костюме в полоску, с сигарой, зажатой в зубах, держит в руках пистолет-пулемет Томпсона с барабанным магазином (любимое оружие американских гангстеров)*.

* Изобретение полковника Томпсона на протяжении многих лет оставалось любимой игрушкой многих сильных мира сего. История гласит, что именно из пистолета-пулемета Томпсона 45-го калибра знаменитый чикагский гангстер Аль-Капоне расстрелял своего первого босса. Томми-ганы стали основными участниками нашумевшей на все Штаты «бойни в День святого Валентина» 14 февраля 1929 года в Чикаго. Это оружие может по праву считаться символом Америки 20—30-х годов — периода сухого закона и гангстерских войн. Название томми-ган (Tommy Gun) было придумано самим Томпсоном исключительно в рекламных целях и даже зарегистрировано в Trade Mark division of the Patent Office. Однако оно так легко вошло в гангстерский сленг, что авторство приписали самим гангстерам. Изначально Томпсон создавал свое оружие для армии США, однако имя и славу ему принесли мафиозные разборки.

Немцы выпустили листовку с фотографией, под которой была надпись: «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПО ОБВИНЕНИЮ В УБИЙСТВЕ. ГАНГСТЕР, КОТОРОГО ВЫ ВИДИТЕ НА ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ, ПОДСТРЕКАЕТ ВАС СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ УЧАСТВОВАТЬ В ВОЙНЕ, В КОТОРОЙ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО ОТВЕДЕНО ЖЕНЩИНАМ, ДЕТЯМ И МИРНЫМ ГРАЖДАНАМ». Тысячи листовок были сброшены над Великобританией. Но вскоре Геббельс понял, что добился «обратного эффекта» — популярность Черчилля резко возросла, и немцы прекратили сбрасывать листовки[333].

Во время воздушных налетов Черчилль, был ли он в «номере 10» или в Чекерсе, вел себя как подобало мужчине эпохи королевы Виктории, демонстративно пренебрегая опасностью. Он презирал опасность. «Смелость — главное человеческое качество уже потому, что гарантирует все остальные», — говорил Черчилль. В один из октябрьских дней он сидел в кабинете, когда помощники сообщили ему, что неразорвавшаяся двухтонная бомба в парке Сент-Джеймс угрожает всем на Даунинг-стрит. Черчилль поднял глаза от документов и сказал, что надеется, утки в парке не пострадают. Колвилл вспоминал, как во время одного налета они с Черчиллем переходили из «номера 10» в убежище. «Когда мы через арку вышли на улицу Короля Карла, то услышали свист двух падающих бомб. Я нырнул обратно под арку; бомба разорвалась на Уайтхолл. Черчилль между тем быстро шагал посередине улицы Короля Карла, воинственно вздернув подбородок и помогая себе при ходьбе тростью с золотым набалдашником. Мне пришлось бежать, чтобы догнать его... Я уверен, что при кораблекрушении он последним ступит в спасательную шлюпку»[334].

Он любил наблюдать за появлением вражеских бомбардировщиков и наслаждался звуками падающих и взрывающихся бомб и треском зенитных орудий. Он наслаждался этим спектаклем. Сорок лет назад Черчилль язвительно заметил, что «ничто в жизни так не воодушевляет, как то, что в тебя стреляли и промахнулись». При звуках сирены Черчилль мог остаться в метро или наблюдать за налетом. Он выбирал последнее[335].

Его выходки вызывали беспокойство Клементины, его кабинета и телохранителей. Инспектор Томпсон считал, что настойчивость, с которой Черчилль подвергал себя опасности, у него от Мальборо. При первом звуке сирены Черчилль надевал свою оловянную шляпу — так он называл стальную каску — и в «костюме сирены» или в одном из своих ярких халатов, а иногда и в том и в другом, выходил из убежища и поднимался на крышу или, если был в Чекерсе, выходил в сад, где ждал появления врага, или, как он любил говорить, «гулял под луной и смотрел фейерверк». Ему было очень неудобно в каске; когда он пристально смотрел в небо, она сползала на глаза, и он зашвыривал ее в кусты. Он мог жевать незажженную сигару, а мог и курить, вопреки всем правилам, запрещавшим курить по время воздушных налетов. Он

не обращал внимания на правила, если считал, что в этом нет необходимости. Камердинер, пытаясь помешать Черчиллю выходить во время налетов, спрятал его ботинки. Черчилль потребовал, чтобы их вернули. «Чтоб ты знал, — сказал он, — когда я был ребенком, няня никогда не могла помешать мне пойти гулять в сад, если я этого хотел. И Адольф Гитлер, конечно, не помешает мне это сделать»[336].

Его любимым местом, с которого можно было смотреть фейерверк, была плоская крыша казначейства. С крыши этого здания, расположенного напротив парка Сент-Джеймс, открывался великолепный вид на Лондон. Там, отложив противогаз, вооружившись сигарой и биноклем, он наблюдал за взрывами бомб. Он считал, через сколько секунд до него долетит звук упавшей бомбы. Пять секунд, одна миля. Его было очень трудно уговорить уйти с крыши[337].

Если он уходил с крыши, то требовал, чтобы помощники определили район бомбежки и подогнали машину, чтобы он мог поехать и осмотреть место действия. Во время одной из таких поездок взрывная волна от разорвавшейся поблизости бомбы подняла в воздух машину, в которой ехал Черчилль. Опустившись на землю, машина несколько ярдов проехала на двух колесах. Когда она наконец приняла нормальное положение, Черчилль сказал, что это только благодаря «моей туше». В другой раз Черчилль, министр труда Эрнест Бевин, Исмей и Джок Колвилл поехали в бронированном автомобиле. Все были изрядно под хмельком. Местом назначения был Рейнес-парк, где они надеялись увидеть зенитные орудия в действии. Полицейский остановил их машину, чтобы арестовать за езду со слишком ярким светом. «Go to Hell!» («Иди к черту!»), — выкрикнул один из пассажиров. Это не мог быть Бевин, поскольку он, родившись в деревне в Западной Англии и получив образование в государственной школе, произносил слова так, как было принято там, где он жил, пропуская гласные в словах. Он бы крикнул не «Go to Hell», а «G' to 'ell». Значит, это кто-то другой сказал констеблю, куда он должен идти. Колвилл был слишком молодым, Исмей — слишком вежливым. Остается всего один, кто мог послать бдительного констебля. Как бы то ни было, но они доехали до парка. Орудия молчали. Шел дождь, немецких самолетов не было, и Черчилль зашел в офицерскую столовую, где, потягивая виски с содовой, стал дожидаться фейерверка[338].

Инспектор Томпсон мало что мог сделать во время воздушных налетов, чтобы защитить премьер-министра от его собственных безрассудных поступков. В двух случаях на Уайтхолле Томпсону пришлось вытолкнуть Черчилля за дверь, когда рядом упали бомбы. В обоих случаях некоторые люди Томпсона были ранены. Черчилль, вне себя от гнева, не заметил раненых. Он «сквернословил, трясся и топал». «Не смей так делать!», — проорал он. Остальную часть «потока безобразных звуков», издаваемых Черчиллем, он не смог расшифровать. Проклятия, которыми осыпал его разъяренный Черчилль, можно охарактеризовать

не иначе, как «преступление против языка», написал Томпсон. Подобные вспышки были известны всем, кто работал с премьер-министром, от начальников штабов до секретарей. Но Томпсон не остался в долгу; он заявил Черчиллю, что тот ведет себя «эгоистично и глупо». Успокоившись, Черчилль, не извинившись, объяснил, почему создает опасные ситуации для Томпсона: «Я бы так не поступал, но знаю, как *тебе* это нравится». Последнее слово всегда оставалось за ним. После подобных сцен неизменно следовал продолжительный пристальный взгляд, говоривший о том, что вопрос закрыт, но только на его условиях. Что касается отношения Черчилля к профессиональным советам Томпсона, то с воем сирен он опять выскакивал за дверь и поднимался на крышу. Свое поведение он объяснял следующим образом: «Когда должен прийти мой час, тогда он и придет»[339].

Как-то вечером в начале октября, после позднего обеда в «номере 10» и зная, что на следующий день он должен выступать в палате общин, Черчилль, вместо того чтобы пойти спать, как сделало бы большинство шестидесятипятилетних мужчин, обремененных тяжелыми обязанностями, развил бурную деятельность. Как вспоминал сэр Фредерик Пайл, командующий зенитной артиллерией, сначала они поехали в Ричмонд, где грохотали пушки и падали бомбы. Черчилль, как всегда, отказался от каски. Примерно в одиннадцать ему доложили, что на аэродроме Биггин-Хилл готова для демонстрации новая система — управляемые радаром прожекторы. Черчилль не захотел уезжать из Ричмонда. «Звук этих орудий бодрит меня, я испытываю сильные чувства», — объяснил он Пайлу. Его все-таки удалось уговорить двинуться дальше, они сели в машину Пайла и сразу же потерялись. Через два часа блуждания в полной темноте по улицам они наконец добрались в назначенное место; немцы продолжали бомбить город — «Для меня это были наихудшие часы за всю войну», — написал Пайл. Ночь была дождливой и холодной, Черчилль попросил виски с содовой. Командир прожекторного подразделения ответил, что шансов достать здесь виски столько же, сколько воды в Сахаре, но он пошлет кого-нибудь в столовую, расположенную в 10 милях отсюда. Радар не работал, но виски принесли, правда без содовой. Старик отпил глоток, сморщился и сказал: «Боже, меня отравили. Это чистый виски»[340].

Демонстрацию воздушных мин тоже отменили, и Черчилль отправился домой. Бомбардировка продолжалась. К «номеру 10» они подъехали примерно в половине пятого утра. Черчилль вышел из машины, постучал в дверь тростью с золотым набалдашником и объявил: «Геринг и Геббельс пришли отчитаться». Он предложил Пайлу зайти перекусить сардинами и «Боврилом»*.

* Согласно официальной истории «Боврила», причиной его возникновения был выигрыш уроженцем Шотландии Джоном Лоусоном Джонстоном во время Франко-прусской войны контракта на поставку миллиона банок говяжьих

Но полная ложка «Боврила», залитого кипятком, в высоком стакане с каплей хереса была традиционным средством против лондонских холодов, а в сочетании с консервированными сардинами — основным продуктом питания британцев в годы войны. Черчилль с Пайлом закусили, и на рассвете Пайл удалился. Спустя несколько часов Черчилль, выглядевший неплохо после бессонной ночи, отправился в палату общин[341]. Личный врач Черчилля, Чарльз Уилсон, был среди тех, кого крайне тревожили поездки Черчилля во время налетов. Уилсон вспоминал, что летом и осенью 1940 года регулярно навещал Черчилля. Блиц продолжался, и Черчилль вызывал сильное беспокойство у врача. «Я наблюдал за ним, когда он вошел в свою комнату, — написал Уилсон, — хмуро глядя в пол, лицо мрачное, вид решительный, челюсти плотно сжаты... он нес на себе тяжесть всего мира и задавался вопросом, как долго он сможет выдерживать это и что можно сделать»[342].

Его поездки во время бомбежек были просто лекарством, которые он сам себе прописал. В ноябре Гарольд Николсон отметил, что у Черчилля появился здоровый румянец. «Он, похоже, стал лучше себя чувствовать. Щеки порозовели». Но особенно его поразили глаза Черчилля. Веки не носили следов усталости, под глазами не было ни мешков, ни морщин. «Но сами глаза серо-голубые, внимательные, сердитые, мечтательные и печальные... были глазами крайне озабоченного человека». Он *был* поглощен мыслями — о Гитлере, американцах и ночных бомбежках. Однако он был убежден, что все закончится на его условиях. Несмотря на опасности, поражения и мрачные перспективы выживания Великобритании, он был доволен. Не имея возможности заниматься делами, которые доставляли ему удовольствие, — рисовать и укладывать ряд за рядом красные кентские кирпичи в саду в Чартвелле, — он нашел новый источник радости. Причина румянца, отмеченного Николсоном, крылась в новом времяпрепровождении Черчилля, в фейерверках[343].

Его любовь к ночным поездкам не следует истолковывать как любовь к войне. Он ненавидел кровавую бойню войны. В 1898 году в сражении при Омдурмане в последней крупной кавалерийской атаке в британской истории Черчилль был вооружен маузером. В течение двух минут кровавого хаоса он застрелил по крайней мере трех дервишей. Из Судана он посылал письма матери, в которых называл войну «грязным делом». «Можно позолотить ее, но сквозь позолоту

консервов для французской армии, когда Наполеон III вдруг выяснил, что его войска не могут «маршировать на пустой желудок». Новый продукт первоначально назывался «Жидкая говядина Джонстона». В 1884 году Джонстон начал производить свою концентрированную «жидкую говядину» под названием «Боврил». Концентрат расфасовывался в бутылочки и при употреблении разводился в горячей воде, добавлялся в качестве приправы или намазывался на хлеб (из книги Светозара Чернова «Бейкер-стрит и окрестности»).

она проступит без прикрас», — написал он. Что касается войны, написал он в 1940 году, то «теперь все население, включая даже женщин и детей, противостоят друг другу в жестоком взаимном истреблении, и только близоруким клеркам позволено видеть списки погибших». Полезность войны — особый вопрос. Те, кто говорят, что войны ничего не решают, сказал он Колвиллу, говорят ерунду, поскольку все в истории улаживалось только с помощью войны. Когда стоял вопрос о сохранении большинства гуманистических традиций Запада, ответ, несмотря на весь ее ужас, давала война[344].

Инспектор Томпсон не мог помешать своему подопечному во время бомбежек подниматься на крыши, но он мог принять меры против убийства Черчилля. Понимая, что со времен его юности правила джентльменской войны претерпели изменения, Черчилль сказал Колвиллу: «Если позволено бомбить глав государств, то можно и стрелять в них?» Томпсон сосредоточил внимание на двух основных источниках опасности: коммандос и нацеленных воздушных налетах истребителей-бомбардировщиков. Прицельная бомбардировка Чекерса могла и не привести к гибели Черчилля, но Томпсон хотел полностью исключить эту возможность. Для того чтобы не допустить проникновения в Чекерс парашютистов, он расставил полицейских, местных и из Лондона, по всей территории, на крышах и в надворных постройках. Солдаты тоже были привлечены. Часовые стояли у ворот и патрулировали территорию. Пароли постоянно менялись. Каждая группа патрулировала определенный участок территории и в течение ночи время от времени, буквально на несколько секунд, освещали электрическими фонариками вверенную территорию, чтобы проверить, нет ли посторонних. Томпсон старался принять все возможные меры предосторожности. Этот заведенный порядок раздражал Черчилля. Вместе с ним война пришла в его сады. Она разрушила очарование. Создала атмосферу недоверия и подозрительности[345].

В небе кружились немецкие самолеты-разведчики, делая фотографии. «Хейнкели», летевшие в Лондон или из него, постоянно сбрасывали бомбы в опасной близости. Земля в Чекерсе была усеяна воронками от бомб, так что ни о каком случайном совпадении и речи не шло; понятно, что целью был дом. Использование немцами системы наведения по радиолучу заставило Черчилля задуматься о степени защищенности Чекерса. Он сказал Колвиллу, что готов рисковать, но не хотел бы стать «жертвой неправильных расчетов». Для того чтобы не стать жертвой неправильных расчетов, сказал Томпсон Черчиллю, с этого момента он должен делать то, о чем ему давно говорят, — ночевать в бомбоубежище. Черчилль ответил, что будет подчиняться требованиям, когда сочтет, что это действительно стоит делать. Это означало, написал Томпсон, что он «будет поступать как захочет, оставаться снаружи и наблюдать за небом». Морскому пехотинцу, ко-

торый, вторя Томпсону, сказал о необходимости соблюдать осторожность, Черчилль ответил: «Дайте мне знать, когда они начнут сбрасывать бомбы»[346].

В лунные ночи Чекерс был особенно не защищен от нападений с воздуха. С целью по возможности уберечь Черчилля, было предложено проводить выходные дни в Дитчли-Парке, графство Оксфордшир, в доме Нэнси и Ронни Три. Их дом, окруженный деревьями, находился в 30 милях к западу от Чекерса, вдали от маршрутов немецких самолетов. Нэнси и Ронни были наполовину американцами. Ронни вырос в Великобритании, а Нэнси в Ричмонде, штат Виргиния; она была вдовой Генри Филда — он был родом из Чикаго, из известной семьи предпринимателей. Ронни не был близким другом Черчилля, но, являясь членом парламента от Лестершира, давно поддерживал идею перевооружения, чем заслужил уважение премьер-министра. Дитчли-Парк находился всего в нескольких милях от Бленхейма, родового имения герцогов Мальборо. Первое посещение Дитчли пришлось на субботу, 9 ноября, — было полнолуние. Нэнси написала Черчиллю короткую записку, в которой предлагала «пользовался домом как своим собственным» в любое удобное для него время. Она, вероятно, не знала, что Черчилль не путешествует в одиночку. Дитчли заполнился до отказа[347].

Выходные, и в Дитчли, и в Чекерсе, начинались в соответствии с установленным порядком, как правило днем в пятницу, иногда в субботу утром. Сначала появлялись один или два полицейских из числа телохранителей Черчилля, чтобы осмотреть дом с чердака до подвала. Затем приезжали камердинер и горничная с огромным количеством багажа. Следом на грузовике подъезжал взвод солдат (35 человек), чтобы охранять Великого человека в течение ночи. За ними следовали личные секретари, стенографистки и гости; часто приезжали Профессор, Брекен и брат Джек. И наконец вечером появлялись Клементина с Уинстоном. Не успев появиться, он тут же требовал приготовить ему горячую ванну и мог пройти из своей гардеробной в ванную нагишом, к ужасу машинисток, недавно принятых на работу. По субботам и воскресеньям он оставался в постели до полудня, работая и диктуя, имея под рукой запас родниковой воды из Малверна. Затем был плотный завтрак, следом небольшая (но, конечно, не всегда) прогулка, после которой чай или, что более вероятно, виски. До половины седьмого он опять работал, после чего дремал в компании с грелкой. В 20:00 — обед. Хотя британцам теперь было трудно достать хорошее мясо, оно все же находило путь к столу Черчилля. Но на столе не было любимых им деликатесов, таких как свежие устрицы, черные трюфели, икра. Все британцы, включая Черчилля, испытывали недостаток продовольствия. Теперь его еда была не столь разнообразна, как обычно.

За ужином разговоры велись под шампанское. Каждую ночь из подвалов приносили шампанское Pol Roger (Черчилль отдавал предпочтение этому напитку урожая 1928 года)*.

За столом всегда господствовал Черчилль. Разговор с ним, написал его врач, был подобен игре в крикет: он бил битой, все остальные ловили. «Уинстон говорит, чтобы развлечься; он не думает о том, чтобы произвести на кого-то впечатление... Ему не требуется помощь, по крайней мере от женщин»[348].

После ужина наступало время для бренди, портвейна, сигар и фильмов. Первые показы состоялись в Дитчли. Среди любимых фильмов Черчилля были «Великий диктатор», премьера которого состоялась в октябре 1940 года, и «Унесенные ветром». Черчилль был по-мальчишески влюблен в Вивьен Ли, исполнительницу роли Скарлетт О'Хара. Его «покорила», сказал он, «сила чувств и переживаний» героев «Унесенных ветром». Оказалось, что этот фильм был одним из любимых фильмов Гитлера (наряду с фильмом It Happened One Night («Это случилось однажды ночью»)[349].

Выходные, проведенные с семьей и друзьями в Чекерсе или Дитчли, были для него источником неиссякаемого оптимизма. Мрачные мысли он оставлял при себе. Как-то вечером обед с Клементиной и Памелой проходил в молчании, каждый был погружен в свои мысли. Вдруг Черчилль, подняв голову и сделав выпад ножом как рапирой, заявил, что, когда наступит время, он надеется, они выполнят свой долг и заберут с собой одного-двух гуннов. «Но, — возразила Памела, — я не умею стрелять». Черчилль кивнул в сторону кухни. «Там есть ножи для разделки мяса, — прорычал он. — Возьмешь один и пустишь в дело. Ты всегда можешь забрать с собой одного гунна». Если немцы все-таки вторгнутся в Великобританию, позже сказал он, то «всегда можно взять одного с собой» — эти слова станут его лозунгом[350].

В течение осени на Лондон было сброшено огромное количество бомб: маленькие зажигательные и двухтонные «мины», спущенные на парашютах, которые уничтожали все и вся в радиусе тысячи ярдов; фугасные бомбы и бомбы, оснащенные взрывателем с временной задержкой. В безоблачную лунную ночь с 14 на 15 октября немцы сбросили тысячи зажигательных бомб, что привело к катастрофическим

* Французский винодельческий дом шампанских вин, один из последних великих винодельческих домов Шампани, находящийся в семейном управлении наследников Поля Роже и сохранивший свою независимость. В 1900 году французские власти положительно отнеслись к просьбе братьев использовать имя отца в своей фамилии, чтобы увековечить его память. С тех пор члены семьи носят фамилию Поль-Роже. Сэр Уинстон Черчилль считается безоговорочным поклонником этой марки шампанского. Он более 20 лет был в добрых дружеских отношениях с Одетт Поль-Роже, и в его память дом Pol Roger с 1984 года выпускает свой престижный кюве под названием Sir Winston Churchill.

последствиям для Лондона. В результате прямого попадания была разрушена станция метро «Балхам», где нашли убежище 650 человек; вход на станцию завалило; из-за прорыва водопроводных и канализационных сетей станцию затопило. Погибло по крайней мере шестьдесят лондонцев. Площадь Лестер-сквер превратилась в пустыню. Сильно пострадала улица Пэлл-Мэлл, был разрушен Carlton Club, Travellers Club, члены клуба оказались в западне. «Номер 10» пострадал еще сильнее в результате очередного попадания в казначейство.

В ту ночь более 400 немецких средних бомбардировщиков сбросили более 70 тысяч зажигательных средств на Лондон; разгорелось 900 пожаров. Теперь команду «в подвалы» во время налетов пришлось заменить командой «на крыши», где сообразительные домовладельцы держали ведра с песком и, действуя быстро, могли потушить очаг возгорания. Зажигательные бомбы заставили произвести изменения в системе пожаротушения. Почти 1400 местных пожарных команд были объединены в государственную пожарную службу; была разработана единая система обучения и тренировок и введена единая форма — мундир и брюки темно-синего цвете. Их обязанность заключалась в том, чтобы сидеть на крыше одному; из средств защиты у пожарного была только каска. Черчилль предвидел возможность полного разрушения города, но его вера в лондонцев оставалась незыблемой: «Скоро многие бомбы стали падать только на уже разрушенные дома и лишь подбрасывали в воздух старые развалины. На обширных пространствах уже нечего было жечь и разрушать, и все же люди устраивали себе там жилища и продолжали работать с необыкновенной изобретательностью и упорством»[351].

В этих условиях требовалось сохранять самообладание. Один человек с ведром песка мог справиться с зажигательной бомбой, но куда сложнее и опаснее было избавляться от невзорвавшихся бомб. Этим занимался корпус королевских инженеров. В своей работе по обезвреживанию и уничтожению бомб они пользовались простыми инструментами: дрелью, гаечным ключом и катушкой с веревкой. Получив доступ к взрывателю с помощью ключа и дрели, инженеры привязывали веревку к детонару, затем, разматывая веревку, отходили на безопасное расстояние и, дернув за веревку, вытаскивали детонатор. В обычных обстоятельствах обезвреженную бомбу отвезли бы на грузовике на болота Хакни, чтобы там взорвать. Но о каких обычных обстоятельствах могла идти речь, если сотни неразорвавших бомб лежали на крышах, в подвалах, на железнодорожных путях. 800-фунтовая бомба упала перед входом в собор Святого Павла и глубоко ушла в землю. В течение нескольких часов ее осторожно вытаскивали, затем отвезли на болота и взорвали; на месте взрыва осталась воронка шириной 100 футов. Одна бомба спустилась на парашюте на железнодорожный мост Хангерфорд, соединяющий берега Темзы. Она не взор-

валась, но прилипла к рельсам. Геринг душил Великобританию всеми мыслимыми и немыслимыми способами[352].

Неразорвавшиеся немецкие (и британские) бомбы составляли почти 20 процентов, но они отрезали большие участки железнодорожных путей, железнодорожные узлы, блокировали дороги и аэропорты, как и бомбы, оснащенные взрывателем с временной задержкой; в неделю сбрасывалось 3 тысячи тех и других. Они создавали столько проблем, что Черчилль приказал военному министру и министру снабжения в срочном порядке решить вопрос с обезвреживанием неразорвавшихся бомб. Со свойственной ему привычкой вникать в детали он сказал Энтони Идену, что узнал об американском буре для рытья траншей, с помощью которого можно вырыть траншею, на которую несколько человек вручную потратят два-три дня, всего за несколько часов. «Думаю, вам следует обсудить вопрос относительно заказа этих приспособлений для групп по обезвреживанию бомб. Суть дела в том, чтобы как можно быстрее достать и обезвредить бомбу»[353].

Однако добраться до неразорвавшейся бомбы было только первым шагом к обезвреживанию и уничтожению, который зачастую оказывался смертельным. Немецкие инженеры оснащали бомбы разными типами взрывателей, в том числе взрывателями-ловушками. Ловушки предназначались для того, чтобы вызвать срабатывание взрывателя от последующих внешних воздействий после падения авиабомбы. Обычно ловушками снабжались взрыватели замедленного действия, чтобы затруднить их обезвреживание. Срабатывать ловушки могли от самых разнообразных внешних воздействий: от сотрясения авиабомбы, при плавном изменении первоначального положения, при попытке вывернуть или извлечь взрыватель. Это, сказал Черчилль, «самое эффективное средство во время войны вследствие создаваемой временной неопределенности». Команды по обезвреживанию бомб знали, что если, приложив ухо к корпусу бомбы они услышали характерный звук таймера, у них оставалось менее пятнадцати секунд, чтобы найти укрытие. Самые мощные бомбы не оставляли никаких шансов на успешный исход. Позже Черчилль написал: «В сочинениях о наших трудных временах мы склонны злоупотреблять словом «самоотверженные». Его следует оставить для команд по обезвреживанию бомб»[354].

Несмотря на просьбы Клементины быть с сотрудниками помягче, Черчилль продолжал ворчать и злиться на подчиненных, вел себя бесцеремонно и часто придирался по мелочам. Как-то ночью Колвилл сообщил Черчиллю о двух неразорвавшихся бомбах на плац-параде Конной гвардии. «Они причинят нам ущерб, когда взорвутся?» — спросил лежавший в постели Черчилль. «Нет, — ответил Колвилл. «Если это всего лишь ваше мнение, то оно ничего не стоит. Вы никогда не видели, как взрывается неразорвавшаяся бомба. Меня инте-

ресует официальное сообщение». Он уделял внимание каждой мелочи. Как-то Черчилль заметил, что от флага на адмиралтействе остались одни лохмотья. Он написал первому лорду: «Уверен, вы можете заменить флаг над адмиралтейством. На меня производит гнетущее впечатление, когда я вижу этот потрепанный лоскут ткани каждое утро». Он жаловался на задержки, когда их не было, в последнюю минуту менял тщательно подготовленные планы и постоянно требовал от перегруженных работой сотрудников обеспечения личных удобств. Стуки во время укрепления «номера 10» приводили к вспышкам ярости. Его выводили из себя многие звуки. Бренчание колокольчика на шее коровы сводило его с ума. Во время пикников на природе секретари боялись, что может появиться корова, а еще хуже — стадо коров с колокольчиками, когда Старик собирается с мыслями. Если кому-то приходило в голову засвистеть в его присутствии, незамедлительно следовала столь бурная реакция, что помощники терялись в догадках, что творится у него в голове. Он издал приказ, запрещавший членам правительства свистеть в коридорах. Когда он слышал свист, прогуливаясь по парку Сент-Джеймс, идя по Уайтхоллу, или в любом другом месте, в любое время, он останавливал нарушителя — даже если это был маленький мальчик — и требовал немедленно прекратить свистеть. Его ненависть к свисту, сказал Черчилль, единственное, что у них общее с Гитлером[355].

Когда после приказа Черчилля прекратить стучать рабочие возобновили прерванную работу по установке защитных барьеров на Уайтхолле, премьер-министр чуть не лишился чувств. Его буйное поведение, написал Колвилл, можно объяснить катастрофами в Норвегии и Дюнкерке, потерями кораблей в Атлантике, угрозой вторжения. Но иногда, когда его сотрудники, особенно после получения неутешительной информации разведслужб, ожидали гневную вспышку, Черчилль удивлял их своим спокойствием. Исмей вспоминал августовское совещание, на котором обсуждалась роль флота метрополии в случае вторжения. Главнокомандующий флотом метрополии, адмирал Чарльз Форбс, сказал, что в случае вторжения его самые большие корабли не будут действовать к югу от Уэльса. Англия находилась в критическом положении, и ожидалось, что предложение спасти флот, проиграв войну, конечно, вызовет возмущение Черчилля. Исмей, слегка озадаченный заявлением Форбса, ожидал неизбежного взрыва. Его не последовало. Черчилль молча выслушал адмирала. Затем, глядя поверх очков со снисходительной улыбкой, он заявил, что никогда не замечал, чтобы Королевский флот обговаривал что-то заранее, потому что знает, что флот, когда начнутся боевые действия, не испытает ни секунды сомнений и предпримет все возможные усилия, если этого потребует ситуация, а она, конечно, потребует, если немцы переправятся через Канал[356].

Если от советов камердинеров и телохранителей можно было отмахнуться, не вдаваясь в объяснения, то советы высших должностных лиц требовалось по крайней мере обсуждать, проявляя здравомыслие, хотя конечный результат обычно был одним и тем же: Черчилль добивался своего. Октябрьский разговор с генералом Аланом Бруком свернул на тему о местопребывании генерала Перси Клегхорна Стенли Хобарта, танкового гения, ведущего себя непредсказуемо, чьи услуги были невостребованы. Хобо, как называли Хобарта танкисты, вышел в отставку и служил капралом в Родной гвардии. Брук считал, вспоминал Колвилл, что Хобарт слишком сумасбродный, чтобы призывать его из запаса, но Черчилль, цитируя генерала Вольфа, размахивавшего мечом, стоя на стуле перед премьер-министром Питом, заявил: «Вы не можете ожидать, что гений будет следовать общепринятым правилам поведения». Спустя несколько дней Черчилль встретился с Хобартом, который произвел на него хорошее впечатление. Черчилль потребовал, чтобы генерал Дилл, начальник имперского Генерального штаба, предоставил Хобарту командование танковой дивизией на этой неделе, если не в тот же день. «Запомните, — сказал Черчилль Диллу, — не только хорошие мальчики помогают выигрывать войны, но также подхалимы и подлецы». Дилл подчинился приказу, но возразил, что Хобарт «нетерпелив, вспыльчив, импульсивен, нетерпим и склонен принимать желаемое за действительное». Характеристика устроила Черчилля. Хобарт получил дивизию, фактически две. Спустя три года «игрушки» Хобарта — огнеметные танки «крокодилы» и танки-заградители, очищавшие дорогу от мин, — одними из первых бронемашин высадятся на побережье Нормандии. К тому времени Хобарт был уже посвящен в рыцари за услуги, оказанные короне[357].

В конце октября, пишет Колвилл, когда вторжение уже не казалось неминуемым, Черчилль частично изменил свое поведение. После вспышек, которые еще частенько случались, следовали не явные извинения, а щедрая оценка положительных качеств, таким образом потерпевшая сторона уходила, не утратив достоинства. Самые свирепые эпитеты он оставлял для врага. «Я не испытывал ненависти к немцам во время последней войны, — сказал он Исмею, — но теперь я ненавижу их, как... уховертку». Во время завтрака в Чекерсе он сказал, что «живой гунн — война в перспективе». Парашютные мины, отметил Колвилл, подвигли его на такое высказывание: «Становится все меньше и меньше доброжелательности к немцам». Однако его ненависть к немцам в целом несколько смягчалась, когда речь шла об отдельном солдате, моряке или летчике. Когда сэр Хью Даудинг выступил за стрельбу по немецким летчикам, прыгающим с парашютом, Черчилль не согласился, сказав, что летчики, прыгающие с парашютом, «как матросы, тонущие в море»[358].

Его было легко довести до слез. Черчилль мог заплакать при виде старого лондонца, бродящего среди дымящихся развалин своего дома; во время просмотра фильмов; из-за успехов — и неуспехов — его детей; во время крещения, когда пел хор. Хороший политик может использовать подобную чувствительность для дела, а он был опытным политиком. Ни один лидер на мировой сцене в то время не отваживался так часто вытирать слезы. А Черчилль мог. Простые горожане и пэры рассматривали проявление эмоций как доказательство глубины силы характера Черчилля, а не его слабости. Его правительство, единое и решительное, изменило прошлую политику. Каждое его слово, каждая слеза, каждый сердитый взгляд в ту страшную осень воспринимались как искренность Черчилля, для которого не существовало иной политики, кроме политики выживания.

В октябре Черчилль согласился возглавить Консервативную партию. Чемберлен, у которого обнаружили рак, в начале октября ушел из правительства, оставив тори без лидера. Черчиллю предложили занять пост лидера партии. Он согласился занять этот пост, как ни отговаривала его Клементина, правильно предсказавшая, что муж лишится большинства избирателей, которые видят в нем «выразителя мнения страны, вне зависимости от партийной принадлежности». Но если не он, то кто? Такого человека не было. Лидером мог быть или Черчилль, или какая-то столь незначительная личность, которая оставалась бы в тени Черчилля, потому что он уже был лидером — партии, Великобритании, империи. К тому же в свое время его отец, лорд Рэндольф, стремился занять этот пост, но потерпел неудачу. Черчилль, возможно, дав согласие занять этот пост, думал скорее об отце, чем о политических последствиях. Учитывая его сложные отношения с тори на протяжении многих лет, у него появлялась возможность взять верх над бывшими противниками. Всего год назад, в письме Клементины, он критиковал этих «грязных тори, которым хотелось бы изгнать меня из партии», потому что он имел смелость выступить против миротворцев[359].

Мэри написала, что у отца с матерью были споры по этому вопросу. В конечном счете он занял пост. Колвилл не придавал особого значения решению Черчилля стать лидером тори. Он написал в дневнике: «Премьер-министр пошел на собрание Консервативной партии, чтобы принять руководство партией». Черчилль, занимая чисто политический пост, попытался в приветственном слове не касаться политики, умный ход, обреченный на неудачу, поскольку рядом не было посторонних, которые могли бы оценить тонкости ораторского искусства. Он возглавил партию, объяснил Черчилль своим товарищам по партии, чтобы сохранить «величие Великобритании, империи и определенную историей нашу островную жизнь... Консервативная партия не позволит никакой другой партии одержать над ней верх в том, что касается жертвы

партийных интересов и партийных чувств». Это был его единственный политический просчет, допущенный в ту осень, который спустя почти пять лет привел к роковым последствиям[360].

Северное море и Ла-Манш были верными союзниками Англии. Летние туманы и легкие бризы уступили место «экваториальным штормам» и в том случае, если они будут частыми и достаточно сильными, заставят немцев, как считал Черчилль, отложить вторжение, оставив десантные баржи во французских портах. Старик был того же мнения, что британские моряки, которые на протяжении веков считали, что штормовая сезонная погода связана с периодом равноденствия. К счастью для Черчилля, древние мифы не ошибались в отношении погоды на Ла-Манше. Но ночное небо не давало надежды на передышку. К концу октября несколько снизились потери гражданского населения во время ночных налетов и значительно уменьшилось количество неразорвавшихся бомб. Черчилль спросил Исмея, связано ли это с тем, что «противник перестал их сбрасывать, или с улучшением нашего способа обезвреживания и уничтожения бомб». И с тем и с другим, последовал ответ. Немецкие бомбардировщики появлялись каждую ночь, но уменьшилось количество налетов. Люфтваффе сами выдохлись. Черчилль, имея в виду Гитлера и его воздушное наступление, заявил, что «человеческие силы не беспредельны»[361].

London Can Take It («Лондон выстоит!»), британский пропагандистский фильм, дал возможность американцам увидеть, как мужественно ведут себя лондонцы в своем сожженном городе. К концу ноября фильм шел в 12 тысячах американских кинотеатрах. Чарльз Линдберг — германофил, англофоб и изоляционист — из своего поместья на Лонг-Айленде высказал мнение, что подобные героические картины не повод для того, чтобы поддерживать Великобританию в борьбе, а уж тем более вступать в нее. Джо Кеннеди в том же месяце посоветовал голливудским продюсерам не делать подобных фильмов, поскольку они могут вызвать недовольство Гитлера. В конце октября и в ноябре люфтваффе бомбили другие британские города — Бирмингем, Бристоль, Шеффилд, Манчестер, Ковентри, Оксфорд, Саутгемптон и его портовые сооружения. Опрос общественного мнения, проведенный в ноябре Институтом Гэллапа, выявил, что всего 13 процентов лондонцев при звуке сирены прятались в убежище, в то время как 16 тысяч человек теперь жили в метро и под железнодорожными мостами[362].

27 октября Черчилль сообщил Рузвельту о серьезных финансовых проблемах и угрозе, нависшей над империей. Черчилль объяснил президенту, что только «сильнейшая концентрация наших флотилий» может отразить атаки подводных лодок и воздушные удары у западных подходов — «наш единственный оставшийся путь к выживанию». Од-

нако, чтобы сконцентрировать эсминцы на западных подходах, флот метрополии должен был сократить свое присутствие в Северном море или сократить количество эсминцев вдоль южного побережья Англии или в обоих местах. Запасы продовольствия истощаются, потери судов вызывают серьезные опасения, поскольку в последнюю неделю октября потери достигли почти 160 тысяч тонн, цифра, которая годом раньше считалась бы катастрофической месячной потерей. Черчилль объяснил Рузвельту, что для защиты Родного острова требуется много американской техники и что война, вероятно, охватит в 1941 году большие территории, включая Грецию и Турцию, подрывая и без того шаткое положение Великобритании в Восточном Средиземноморье. Свою телеграмму он закончил словами: «Дело мира в ваших руках»[363].

Прогноз Черчилля относительно Греции оказался совершенно верным, а вот со временем он ошибся. На следующий день, 28 октября, Муссолини, не посоветовшись с Гитлером, отдал приказ одиннадцати дивизиям, включая элитную Альпийскую дивизию, вторгнуться в Грецию с территории Албании. В численном отношении итальянцы во много раз превосходили греков, имели танки, которых не было у греков, и артиллерийские орудия. Но, пишет историк Джон Киган, Муссолини оснастил свою армию «новой дорогостоящей техникой» в ущерб боевой готовности, в особенности пехоты. Кроме того, для достижения победы солдатам Муссолини не хватало кое-чего крайне важного: мотивации. Они не знали, чем руководствуется в своих действиях дуче[364].

А все дело было в том, что Муссолини очень не любил греков и стремился утвердить влияние Италии на Балканах. Кроме того, он страстно желал показать Гитлеру, что Германия не единственная великая держава в Европе. Зять Муссолини, граф Чиано, написал в дневнике в ноябре 1939 года: «Для Муссолини невыносима сама мысль о Гитлере, ведущем войну, а тем более выигрывающем ее». Вторжение в Грецию покажет Гитлеру, что он, дуче, не fantoccini (марионетка). Помимо прочего, из этого можно было извлечь дополнительную выгоду — оккупация Греции обеспечит безопасные базы в непосредственной близости от британских объектов в Восточном Средиземноморье. Вторжение в Египет не принесло ожидаемых результатов: Муссолини не удалось захватить важнейшие трофеи — Александрию, Каир и Суэц. Для захвата трофеев его флот должен был вступить в полномасштабную битву с Королевским флотом. Французский флот был нейтрализован, и итальянский и британский Средиземноморские флоты были примерно равны. Итальянцы имели преимущество в подводных лодках и крупных боевых кораблях, британцы — в авианосцах, которых не было у Муссолини. Но если Муссолини стремился избежать решающей морской битвы, то Черчилль, в духе Нельсона, *приветствовал* бой. У Муссолини, казалось, были все основания надеяться на успех на море и, тем более, на суше.

В Западной пустыне итальянцы в численном отношении почти втрое превосходили британские войска под командованием Уэйвелла, и 180-тысячная итальянская армия стояла на полуострове Африканский Рог[365].

Но превосходство в численном отношении на суше не имело никакого значения без превосходства на море. Муссолини должен был попытаться вытеснить британцев из Средиземноморья при поддержке своих военно-воздушных сил и люфтваффе. Но дуче принял самое необдуманное решение, имевшее губительные последствия (после решения присоединиться к Гитлеру). Он решил поберечь свой флот и перебросить сухопутные войска в Грецию, где греки позволили итальянцам до изнеможения штурмовать горные цитадели. Гитлер узнал о наступлении Муссолини, когда ехал в бронированном поезде во Флоренцию на встречу с дуче. Поезд подошел к платформе, и Гитлер вышел из вагона на красную ковровую дорожку. Муссолини шагнул ему навстречу и объявил: «Фюрер, мы на марше! Сегодня на рассвете победоносные итальянские войска перешли греко-албанскую границу». После того как они пожали руки, первыми словами Гитлера, произнесенными спокойным тоном, были: «Последствия будут катастрофические»[366].

Черчилль узнал о вторжении Муссолини в Грецию утром 28 октября, когда Коллвил доложил, что итальянцы бомбили Афины. «Тогда мы должны бомбить Рим», — ответил Черчилль. Через несколько часов военный кабинет санкционировал бомбардировку Рима, не затрагивая Ватикан. «Мы ни в коем случае не может допустить, чтобы пострадал папа римский, — сказал Черчилль Колвиллу, — у него много влиятельных друзей». Хью Далтон, зная об удручающей неточности бомбометания британских бомбардировщиков, выразил надежду, что папа не пострадает. «Мне бы хотелось посоветовать старику спуститься в убежище и оставаться там в течение недели», — ответил Черчилль. Папа, возможно, имел влиятельных друзей, но Черчилль не был одним из них. Через несколько дней итальянская армия узнала, что у нее нет друзей — ни на небесах, ни на земле. Муссолини ввел в действие резервы, тем самым увеличив количество дивизий до пятнадцати, но чуть больше чем через четыре недели греки отбросили превосходящие силы итальянцев обратно в Албанию, откуда они пришли[367].

У греков был друг: Черчилль. И у них были гарантии Великобритании: обещание оказать военную помощь в случае угрозы греческому суверенитету, данное Чемберленом в 1939 году. Теперь, когда Великобритания находилась в столь тяжелом положении, эти обещания ничего не стоили. Но только не для Черчилля. На карту поставлено выживание Греции. И хотя на карту поставлено и выживание Великобритании, но есть весьма убедительная причина для того, чтобы сдержать обещание: честь. Великобритания подвела чехов. Она не могла подвести греков. «Мы окажем вам всяческую помощь, какая только в наших силах. Мы будем сражаться против общего врага и разделим общую победу», — сказал Черчилль

греческому премьер-министру Иоаннису Метаксасу, который сначала отказался из страха вызвать гнев Гитлера. У Черчилля, чтобы выполнить обещания, не было иного выбора как перебросить часть сил с Ближнего Востока в Грецию и на Крит. Остальные остались в Египте, чтобы дать отпор итальянцам, с сентября стоявшим лагерем в Сиди-Баррани[368].

Это решение не принимало в расчет основнополагающий принцип войны: не разбивать силы на части, если при этом возрастает вероятность уничтожения всех частей по отдельности. В своем дневнике Иден назвал переброску части сил из Египта в Грецию «стратегической недальновидностью». Иден, прибывший в Каир в середине октября, чтобы оценить наступательные возможности, 1 ноября телеграфировал Черчиллю: «Мы не можем отправлять из имеющихся ближневосточных ресурсов достаточное воздушное и сухопутное подкрепление, которое оказало бы решающее влияние на ход борьбы в Греции». Ответ Черчилля пришел на следующий день: «Сейчас ситуация в Греции имеет первостепенное значение. Нам хорошо известно о наших незначительных ресурсах». Все три командующих на Ближнем Востоке — генерал Уэйвелл, адмирал Каннингем и главный маршал авиации сэр Артур Лонгмор — разделяли мнение Идена. Черчилль не разделял. Уэйвелл и генерал Дилл поделились сомнениями, но не стали сообщать о них Черчиллю, который считал Уэйвелла и Дилла пессимистами и отнес бы их сомнения за счет присущего им консерватизма. Однако их положение обязывало сообщать Черчиллю все, и плохое и хорошее, вне зависимости от его реакции. Они решили перестраховаться, после того как Черчилль ясно дал понять, что недоволен их мнением по разным вопросам[369].

Накануне Дня Всех Святых Черчилль рано ушел спать; у него заболел желудок, и доктор Уилсон прописал ему касторовое масло, но 1 ноября он чувствовал себя хорошо и был в прекрасном расположении духа. В форме Королевских ВВС он отправился с инспекцией в Нортхолт, где базировалась эскадрилья «Харрикейнов», чьим почетным коммодором он был. Черчилль сказал Колвиллу, пока они ехали на базу, что его очень раздражают итальянцы — несколько итальянских летчиков были сбиты над Лондоном и взяты в плен — и он планирует регулярно бомбить Рим, как только сможет перебросить бомбардировщики «Веллингтон» на Мальту. Колвилл выразил надежду, что Колизею не будет причинен ущерб, на что Черчилль ответил, что не будет ничего страшного, если Колизей потеряет еще несколько кирпичей. Он процитировал строки из байроновской поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда»:

«Покуда Колизей неколебим,
Великий Рим стоит неколебимо,
Но рухни Колизей — и рухнет Рим...»*

* Перевод В. Левика.

Он никак не мог успокоиться и продолжал ругать итальянцев, которые имели наглость «направить бомбардировщики, чтобы бомбить нас». Он выразил сожаление, что не учил греческий язык, сокрушался, что Итон и Харроу не направляют летчиков-истребителей в Королевские ВВС, и предсказал сокрушительную победу Рузвельта на выборах. Он также предсказал вступление Америки в войну. Свой монолог Черчилль перемежал пением куплетов из песни Under the Spreading Chestnut Tree («Под раскидистым каштаном»). Он говорил, как ему нравится шмен-де-фер и какое удовольствие он испытывает за игровыми столами на Ривьере. «Я бы сейчас с удовольствием поужинал в Монте-Карло, — сказал он, — а затем пошел играть в азартные игры»[370].

Достаточно скоро он будет играть в азартные игры в Средиземноморье, в ливийской пустыне, в Греции, в небе над Мальтой, на Крите и в бухтах Таранто, где базировалась гордость итальянского флота. Черчилль собирался испытать удачу одновременно на нескольких фронтах. Он должен был знать, что, для того чтобы была какая-то надежда на успех, требуются неограниченные ресурсы, которых у него не было. Понимая это, он с мая неоднократно обращался к Рузвельту с просьбами о помощи. Накануне вторжения Муссолини в Грецию он в очередной раз сообщал о плачевном положении с ресурсами. Его озабоченность состоянием дел с ресурсами выразилась в резком ответе однокашнику по Харроу, Лео Эмери, Государственному секретарю по делам Индии, который предложил направить подкрепление Уэйвеллу. «Очень сожалею, — ответил ему Черчилль, — что приходится использовать такие выражения, как «азартная игра», в случае, когда требуется принимать необходимые меры предосторожности для жизни этой страны против намного превосходящих военно-воздушных сил». Он напомнил Эмери, что в Египет уже прибыли более 70 тысяч солдат и еще 53 тысячи должны прибыть к концу года. «Очень легко рассуждать, когда не нужно принимать во внимание ресурсы, транспорт, время и расстояние»[371].

Несмотря на пренебрежительный тон письма Эмери, несмотря на понимание, что, со стратегической точки зрения, Египет — и только Египет — рука, которую следует разыгрывать, он собирался разыгрывать обе руки — и Египет, и Грецию. Иден был направлен на Ближний Восток, в первую очередь, для того, чтобы понять, какие преимущества даст наступательная операция в Египте, — заставить Уэйвелла развернуть свою армию, получившую подкрепление, на запад, чтобы предвосхитить наступление итальянцев до появления на сцене немцев. Уэйвелл занял оборонительную позицию, но для Черчилля не существовало оборонительных позиций. Он отправил из Англии 70 тысяч солдат не для того, чтобы они просто сидели и ждали итальянцев. Он отправил их сражаться с итальянцами, и на британских условиях. Черчилль без особого уважения относился к итальянскому солдату. Он сказал Колвиллу, что «итальянцев сложнее поймать, чем убить». Чер-

чилль понимал, что пустыня в Северной Африке была тем местом, где следует решительно обойтись с итальянцами, и сосредоточил там силы. Затем планы изменились — в тот день, когда дуче вторгся в Грецию. Черчилль объяснил свое решение помочь Греции довоенным обещанием, данным Великобританией Греции, но на это решение в значительной степени повлияла его ненависть к Муссолини и итальянскому солдату. Он считал, что может победить дуче в любом сражении, где угодно, в любое время, так почему бы не в двух сражениях одновременно? Таким образом, спустя несколько дней после вторжения Муссолини в Грецию Черчилль предупредил Дилла: «Не забывайте — сделать максимум возможного для Греции»[372].

За два дня до начала Греческого крестового похода Муссолини, Черчилль, намереваясь вступить в бой с итальянцами в пустыне, телеграфировал короткие инструкции Идену относительно Каира и отъезда в Хартум: «Перед отъездом вы должны тщательно изучить с генералами возможности предвосхитить [итальянское] наступление... Их планы по отражению наступления путем оборонительного боя и нанесения контрудара кажутся мне отличными, но что будет, если враг не рискнет переходить в наступление до появления немцев? Ответ не отправляйте, но глубоко изучите вопрос и обсудите его по возвращении». В своих воспоминаниях Черчилль пишет, что ясно высказал свое мнение в записке Идену от 26 октября относительно того, что «любая крупномасштабная операция по предотвращению наступления в Западной пустыне будет иметь мою сильную поддержку». Однако в его воспоминаниях ничего не говорится о четких указаниях, которые он дал Идену, также содержавшихся в записке от 26 октября, о необходимости хранить молчание относительно планов в Западной пустыне до возвращения в Лондон. Черчилль, скорее всего перепутав события тех недель, пишет: «Во время предыдущих совещаний и бесед Идена с генералом Уэйвеллом, а также с генералом Вильсоном он спрашивал, какие действия предполагаются, если итальянское наступление не развернется. Под строгим секретом ему сообщили, что разрабатывается план нападения на итальянцев в Западной пустыне вместо того, чтобы ожидать, когда они сами начнут свое наступление против Мерса-Матрухи. Ни он, ни Уэйвелл не сообщали об этом плане ни мне, ни начальникам штабов. Генерал Уэйвелл просил военного министра не посылать никаких телеграмм на этот счет, а сообщить об этом нам устно по возвращении домой»[373].

Очень хорошо, но отсутствие информации из Каира является следствием указаний Черчилля Идену, данных в телеграмме от 26 октября. Черчилль, похоже, писал эти страницы воспоминаний, позволяя себе то, что Марк Твен называл «натяжками». С другой стороны, он часто говорил, что «история будет снисходительной ко мне, потому что я сам напишу ее». На самом деле, когда Иден в Каире ознакомился с планами Уэйвелла, Черчилль, памятуя о выполнении политических

обязательств перед Грецией, но не имея необходимой информации для принятия взвешенного решения, направил ресурсы в Грецию и на Крит. Он приказал отправить в Грецию три эскадрильи бомбардировщиков «Бленхейм» и два батальона на Крит, а следом, по возможности, 4 тысячи, чтобы освободить греческую дивизию на Крите для сражения дома против итальянцев. Телеграммы летали туда и сюда между Лондоном и Каиром. Иден выражал озабоченность, как и Уэйвелл, Каннингем и Лонгмор. Каннингем волновался, что отсутствие противолодочной защиты в бухте Суда сделает это место опасным для его кораблей. Черчилль считал, что военным кораблям надлежит искать опасность. Лонгмор, со своей стороны, опасался, что без зенитной поддержки и земляных насыпей его «Бленхеймы» будут подвергаться опасности во время стоянки на аэродромах Греции и Крита. Уэйвеллу требовалось подкрепление в Египет (и для запланированного наступления в пустыне, о котором Черчилль еще не знал). Посол в Египте, сэр Майлс Лэмпсон телеграфировал Идену, что переброска войск в Грецию «полное сумасшествие»; Черчилль отчитал его за эти слова. 3 ноября Черчилль написал Идену: «Греция, энергично сопротивляясь с разумной помощью из Египта и Англии, может обуздать захватчика... Верю, что вы уясните ситуацию, отказавшись от негативной и пассивной политики, и воспользуетесь позможностью, предоставленной нам. «Безопасность прежде всего» — прямой путь к поражению в войне. Пришлите мне свои самые первые предложения». Вот тогда Иден написал в дневнике: «Похоже, Греции теперь придается первостепенное значение. Стратегическая недальновидность»[374].

Иден, вернувшись в Лондон, 8 ноября наконец рассказал Черчиллю о планах Уйэвелла за обедом с устрицами и шампанским. Это был наступательный и, вполне возможно, блестящий план. В конце сентября 10-я армия Грациани, фактически не встречая сопротивления во время недельного марша на восток с территории Ливии, остановилась в Сиди-Баррани. Британцы не досаждали, и Грациани не знал, что делать дальше. Уэйвелл ожидал, что он попытается пройти 75 миль до конечного пункта на железнодорожной ветке Мерса-Матрух, а оттуда последние 145 миль до Александрии (вот почему Уйэвелл был против отправки войск в Грецию и на Крит). Вместо этого итальянцы расположились в нескольких больших лагерях по широкой дуге от моря у Сиди-Баррани до Бир-Софафи. В лагерях итальянские офицеры жили в таких комфортных условиях, словно специально для них был выпущен гид Мишлена*.

* М и ш л е н Андре — французский инженер и промышленник, выпускник Высшей школы искусств и ремесел, соучредитель компании по производству шин Michelin и создатель «Красного гида Мишлен». Первый гид был выпущен в 1900 году; представлял собой список различных мест, которые бы могли пригодиться путешественнику: отели, ремонтные мастерские, закусочные, платные автомобильные стоянки. В 1920 году в гид добавили рейтинг ресторанов.

Ординарцы расстилали на столах льняные скатерти ручной работы, для сервировки стола использовали тонкий фарфор; застилали кровати шелковыми простынями. Для солдат имелись значительные запасы пасты в ярких синих коробках и консервированные помидоры. Жизнь в лагерях протекала спокойно и безмятежно. Если бы итальянцы провели рекогносцировку, то узнали бы, что между правым флангом противника в Софафи и ближайшим лагерем был разрыв шириной 15 миль. Они этого не знали. А Уэйвелл знал. Уэйвелл и генерал Генри Мейтленд Джамбо Вильсон, командующий британскими войсками в Египте, считали, что могут незаметно провести войска и танки в эту брешь между лагерями и ударить сзади. Позже Черчилль написал, что «мурлыкал от удовольствия, как шесть котов», слушая подробности операции под кодовым названием «Компас», которая должна была начаться в первых числах декабря[375].

Ночью 2 ноября небо над Лондоном, не считая аэростатов заграждения и лучей прожекторов, пронзающих темноту, было пустым. Немецкие бомбардировщики не появились. Это была первая спокойная ночь с 7 сентября. Начиная с 10 июля немецкие потери в Великобритании составили 1300 самолетов и 2400 человек летного и технического состава. Недопустимые потери для Гитлера не только потому, что люфтваффе не победили Великобританию, но и потому, что потеря каждого самолета над Великобританией означала, что стало меньше на одного опытного летчика и экипажа для последней, решающей битвы, битвы не на западе, над Лондоном, а на востоке. В июле Гитлер принял решение напасть на Россию; 4 ноября он сказал генерал-лейтенанту Гальдеру: «Россия остается главной проблемой в Европе. Должно быть сделано все, чтобы быть готовым окончательно решить проблему». Кое-кто из высшего командования предполагал, что немецкие войска двинутся через Дарданеллы и Босфор, оттуда через нейтральную Турцию к Сирии, находившуюся под контролем Виши, далее на восток к иракским месторождениям нефти или на юг к Суэцу, чтобы там объединиться с Муссолини, если только он атакует превосходящие в численном отношении силы британцев на своем фронте. В случае успеха Великобритания была бы изгнана из Средиземноморья и Британская империя разрезана на две изолированные части. Эта стратегия требовалась в том случае, если у Гитлера было намерение сокрушить Англию. Но он сказал Гальдеру: «Мы можем войти в проливы только после поражения России»[376].

В тот день, когда Гитлер смотрел на восток, взгляд Черчилля был обращен на запад, прикован к морским путям в Атлантике, где с начала войны британский торговый флот потерял свое пятисотое судно, доведя потери до 2 миллионов тонн с лишним, что составляло более 10 процентов довоенного флота. В ноябре, впервые за войну, в Вели-

кобританию было доставлено менее миллиона тонн продовольствия; согласно данным министерства внутренних дел, требовалось ежемесячно импортировать по крайней мере 1,2 миллиона тонн продовольствия. Победа над «Хейнкелями» в небе над Лондоном не будет иметь никакого значения, если Великобритания будет страдать от голода из-за немецких подводных лодок. Тремя месяцами ранее Черчилль заявил в записке своим военачальникам: «Один военно-морской флот не может выиграть войну. Одержать победу можно только с помощью военно-воздушных сил. Поэтому наши основные усилия должны быть направлены на завоевание господства в воздухе. Истребительная авиация может защитить нас, но обеспечить победу может лишь бомбардировочная авиация. Следовательно, мы должны развивать именно тот вид авиации, который способен уничтожить промышленность Германии и научные учреждения, от которых зависит военный потенциал противника. Это вынудит его держаться на почтительном расстоянии от нашего острова. Никакого другого пути для ликвидации колоссальной военной мощи Германии в настоящее время нет». Он хотел, чтобы на Германию сбрасывалось как можно больше бомб и как можно чаще. «На Германию сбрасывается ничтожно мало бомб», — написал он Порталу и Синклеру. Однако реалии заставили Черчилля придавать больше значения западным подходам, чем изливать месть на Берлин. Ситуация с поставками настолько критическая, сообщил он Комитету обороны, что «использование военно-морских и авиационных баз в Ирландии значительно упростит наши проблемы, но было бы неразумно оказывать давление на Ирландию, пока ситуация не стала смертельной». Ирландский нейтралитет, если бы ситуация стала «смертельной», не стоил бы и ломаного гроша[377].

Все это Черчилль рассматривал 4 ноября, накануне президентских выборов в Соединенных Штатах. Колвилл предсказывал упорную борьбу. Черчилль — уверенную победу ФДР (так часто называли Франклина Делано Рузвельта). Черчилль оказался прав. Рузвельт значительно обогнал своего соперника Уэнделла Льюиса Уилки, набрав почти 55 процентов голосов избирателей и получив 449 голосов выборщиков против всего 82 голосов у Уилки. Черчилль отправил Рузвельту поздравительную телеграмму: «Я считал, что мне, как иностранцу, не подобало выражать мнение относительно американской политики, пока еще не закончились выборы, но теперь я думаю, вы не будете возражать, если я скажу, что молился о вашем успехе и искренне радуюсь ему. Это не значит, что я стремлюсь к чему-то большему, чем неограниченное, справедливое, свободное воздействие вашего ума на мировые проблемы, что сейчас стоят перед нами, решая которые обе наши страны должны выполнить свой долг. Мы вступаем в новый мрачный этап войны, которая, видимо, станет затяжной и будет все расширяться, и я надеюсь, что смогу обмениваться с вами

мыслями с полным доверием и доброй волей, которые возникли между нами с тех пор, как я возглавил военно-морское министерство в начале войны. Назревают события, которые не забудутся до тех пор, пока хоть в каком-то уголке земного шара люди будут говорить на английском языке. Выражая свое удовлетворение по поводу того, что народ Соединенных Штатов снова возложил на вас великое бремя, я должен выразить уверенность в том, что свет, которым мы руководствуемся, благополучно приведет нас в гавань»[378].

Рузвельт не ответил. Возможно, тон Черчилля показался Рузвельту излишне самонадеянным; может, он хотел напомнить Черчиллю, что тот находится в положении просителя, а может, просто забыл ответить. Спустя три недели Черчилль попросил лорда Лотиана «аккуратно поинтересоваться, получил ли президент мою телеграмму, которой я поздравил его с переизбранием». Эти недели, проведенные в ожидании сигнала — любого сигнала — из Америки, принесли массу разнообразных новостей, самые желанные из которых пришли 12 ноября, когда Черчиллю сообщили, что в ночь с 11 на 12 ноября британские летчики морской авиации уничтожили большую часть итальянского флота в Таранто[379].

Налет на Таранто, как удар, нанесенный, когда противник его не ждет, был столь неожиданным, столь удивительным по исполнению и результатам, что о каких-то ответных действиях не шло и речи. Британцы сделали невозможное: они торпедировали вражеский флот в гавани, имевшей незначительную глубину. Кроме того, это был первый в истории боевых действий удар палубной авиации по военно-морской базе. Разносчик газет ухватил суть налета, как это может сделать только уличный пострел: «Укокошили итальянский флот. Не будет больше макарон». Таранто, прятавшийся в пятке «итальянского сапога», был идеальным портом для вылазки в Центральное Средиземноморье, если адмирал действительно хотел совершить вылазку, чтобы вступить в борьбу. Но адмирал Доменико Каваньяри, начальник штаба военно-морского флота Италии, не испытывал подобного желания; он предпочел сохранить свой флот, а не бросать его в бой. Итак, в ночь с 11 на 12 ноября среди итальянских судов, стоявших в Таранто, были шесть линкоров и два крейсера. Британцы вели успешные действия против подводных лодок и эсминцев Муссолини, но тем не менее до этой ночи центральная часть Средиземного моря принадлежала итальянцам[380].

К утру 12 ноября море от Гибралтара до Александрии опять стало британским. Воздушные силы Королевского военно-морского флота достигли успеха с помощью всего двадцати одного торпедоносца-бомбардировщика «Фэйри Свордфиш» — биплан с металлическим силовым каркасом, обтянутым полотняной обшивкой, максимальная скорость которого составляла всего 138 миль в час. Несмотря на то что

эти самолеты устарели, они все еще могли причинить ущерб, если враг спал, а итальянцы крепко спали. «Свордфиши» стартовали с новейшего авианосца королевского военно-морского флота «Illustrious», с расстояния приблизительно 170 миль. Они летели низко, всего в 20 футах над водой, двумя группами, и их путь отмечали световые бомбы, сбрасываемые с летящих впереди самолетов. Когда «свордфиши» улетели, три из шести итальянских линкоров сидели на грунте; они выбыли из строя на шесть месяцев. Серьезный удар для итальянцев и лучшая новость осени для Черчилля. «Результат решительно изменит весь баланс морской мощи на Средиземном море. Он также окажет воздействие на общую ситуацию на морях по всему земному шару». «Сегодня у нас есть немного сахара для птиц», — пошутил Черчилль, направляясь в палату общин, где объявил, что «счел своим долгом немедленно довести эту замечательную новость до членов палаты». Он заявил, что «результат [операции] решительно изменит весь баланс морской мощи на Средиземном море. Он также окажет воздействие на общую ситуацию на морях по всему земному шару». Строго говоря, Черчилль был прав. Пройдет чуть более года, и урок Таранто, принятый к сведению или не принятый, окажет влияние на баланс военно-морских сил во всем мире. Такеси Наито, морской атташе при японском посольстве в Берлине, настолько серьезно воспринял этот налет, что полетел в Таранто, чтобы оценить размеры ущерба[381].

Посол Джозеф Кеннеди подал в отставку 6 ноября; Невилл Чемберлен умер 9 ноября; война застигла их врасплох и разбила мечты обоих. Кеннеди к тому времени уже вернулся в Соединенные Штаты и приводил в бешенство Рузвельта своими публичными высказываниями: он выступал с резкой критикой в адрес Англии, против вмешательства Соединенных Штатов и даже против Элеоноры Рузвельт. Рузвельт испытал несколько неприятных моментов, когда приехавший в выходные в Гайд-парк (родовое поместье Рузвельтов) Кеннеди разглагольствовал о несправедливости вашингтонских бюрократов. Когда он закончил, Рузвельт попросил его на минуту выйти из комнаты и, позвав Элеонору, сказал: «Я больше не желаю видеть этого сукина сына». Черчилль в своих воспоминаниях даже не упоминает об уходе Кеннеди[382].

Другое дело уход Чемберлена. Четыре месяца назад у него диагностировали рак кишечника. Чемберлен оставался в правительстве до начала октября, когда после тяжелой операции окончательно слег в постель. Он умер в полной уверенности, что Великобритания, оказавшаяся в этом положении в значительной степени из-за него и его правительства, под руководством Черчилля способна одержать победу. Черчилль, с разрешения короля Георга, до последних дней жизни Чемберлена присылал ему самые последние разведывательные данные,

поступок, свидетельствующий не только о великодушии, но и о проницательности, поскольку никаких политических дивидентов от избиения миротворцев было уже не получить. Великодушие приносило больше дивидендов. Кроме того, каждая немецкая бомба, сброшенная на Великобританию, категорически опровергала политику прежнего правительства. Черчилль, введя в правительство Чемберлена и лорда Галифакса, дал понять, что пришло время покончить с взаимными обвинениями. Он понимал, как понимал Линкольн во время национального кризиса, что намного предпочтительнее иметь людей, которые на все говорят «нет», — поскольку необходимость сохранения видимости национального единства исключает любое несогласие, — чем не иметь их и позволить свободно причинять вред.

Миротворцы, не смирившиеся с новым в политической жизни, едва ли могли причинить много вреда. Герцог Виндзорский был предан забвению на Багамах. Сэр Джон Рейт был отправлен в министерство транспорта, где и застрял. Галифакс служил в министерстве иностранных дел, к удовольствию Черчилля. И время Чемберлена истекло, который, что делает ему честь, отказался от своих убеждений в отношении политики умиротворения, когда покинул «номер 10». Немецкие бомбы не дали возможности его парламентским коллегам похвалить его, когда он последний раз пришел в палату общин, членом которой являлся на протяжении долгих лет — тем, кто в конечном счете не будет проклинать его. Здание парламента, расположенное на берегу Темзы, подвергалось таким ожесточенным бомбежкам, что заседания палаты общин пришлось проводить в административном здании англиканской церкви в Вестминстере. Там 12 ноября Черчилль произнес речь по случаю смерти Чемберлина, впечатляющую и в значительной степени искреннюю. Чемберлена, сказал он собравшимся членам палаты, отличала «любовь к миру, труд для мира, борьба за мир, поиск мира, не считаясь с опасностью и с потерей популярности». История, сказал он, «с ее мерцающей свечой», восстановит события прошедших лет и докажет «честность и искренность его действий» во время «величайшего мирового кризиса», когда «именно на судьбу Невилла Чемберлена выпала доля быть опровергнутым событиями, быть разочарованным в надеждах и быть обманутым порочным человеком»[383].

Политика умиротворения Чемберлена привела к тому, что с тех пор «миротворец» стало почти таким же страшным обвинением в британской и американской политике, как «предатель». Черчилль в своей речи попытался объяснить позицию Чемберлена, чтобы предотвратить неизбежные обвинения в его адрес. Благородный жест. Однако перед выступлением он показал текст речи Клементине, которая назвала его «очень хорошим». На это Уинстон ответил: «Это, конечно, так, но я мог сделать и наоборот». Похороны прошли 14 ноября в мрачном Вестминстерском аббатстве, с его холодными каменными стенами,

которые за прошедшие семь веков из-за оседавшей на них сажи приобрели цвет запекшейся крови. Внутри было холодно; в результате немецких бомбардировок аббатство лишилось многих оконных витражей. Черчилль и члены военного кабинета поддерживали концы покрова. Колвилл отметил, что взгляды некоторых выражали презрение и скуку. Черчилль плакал. Место похорон держалось в секрете, и членам парламента сообщили о нем за два дня до похорон, чтобы свести риск бомбардировки места сбора большого количества влиятельных лиц, занимавших высокое положение в государстве, к минимуму[384].

На той неделе Черчилль с лордом Лотианом (прибывшим из Вашингтона) работали над предложениями Рузвельту относительно американской помощи без каких-либо условий. Черчилль одобрил телеграмму Лотиана Рузвельту, в которой были подробно изложены потребности Великобритании, включая оказание помощи в защите трех ирландских портов* (при необходимости), помощь в защите Сингапура и, конечно, поставки продовольствия и вооружения. Телеграмма, по мнению Колвилла, «была предназначена для того, чтобы дать почувствовать Р. [Рузвельту], что если мы потерпим поражение, то за это будет отвечать Америка»[385].

Во второй половине дня 14-го, в четверг, Черчилль с Джоном Мартином готовились провести выходные в Дитчли, более безопасном месте, чем Чекерс в лунные ночи. Выехать собирались в четверг, а не, как обычно, в пятницу, поскольку Черчилль должен был тайно встретиться там с Лотианом, чтобы продолжить обсуждение вопросов, связанных с обеспечением поставок из Америки. Черчилль уже собирался уезжать, когда Мартину принесли срочное запечатанное письмо для премьер-министра, которое он тут же передал адресату[386].

В письме содержалась новейшая информация о налете люфтваффе, о котором военному кабинету стало известно за несколько дней. Информация основывалась на сведениях, добытых у взятых в плен немецких летчиков и подтвержденных расшифровками «Ультра». Немцы, педантичные во всем, включая кодовые названия, окрестили операцию Mondscheinsonate («Лунная соната»). Пока британцам не

---

* Черчилль, обеспокоенный непреклонной позицией ирландцев в отношении использования британцами трех ирландских морских баз, предложил военному кабинету прекратить субсидировать сельскохозяйственные продукты и не подвергать риску британские суда и британских моряков, доставляющих продовольствие в Ирландию. Согласно договору 1922 года, в составлении которого принимал участие Черчилль, британцы получили право использовать базы, но в 1939 году правительство Чемберлена, с поразительным отсутствием предвидения надвигающейся войны, отказалось от своих прав. 13 декабря Черчилль сообщил Рузвельту относительно новой позиции, занятой им по Ирландии. Великобритания, написал он Рузвельту, больше не будет помогать ирландцам, в то время как «де Валера вполне устраивает сидеть и смотреть, как нас душат» (C&R-TCC, 1:112—13). (*Примеч. авт.*)

было точно известно, где и когда будет совершено нападение, хотя во время допросов пленные летчики называли в качестве целей Лондон и Бирминген. В министерстве авиации считали, что, скорее всего, немцы начнут операцию где-то между 15 и 20 ноября — самый пик полнолуния. Письмо, которое Мартин вручил Черчиллю, содержало последнюю оценку места и времени, сделанную министерством авиации: Лондон, этой ночью[387].

К тому времени волшебники из министерства авиации, разобравшись с немецким лучом, наводящим на цель (система Knickebein), столкнулись с новым, намного более сложным немецким навигационным лучом, обеспечивающим точность ночного бомбометания, о которой Королевские военно-воздушные силы могли только мечтать. Система, получившая кодовое название X-Great («X-аппарат»), состояла из нескольких лучей Лоренца, один из которых был основным лучом радионаведения, а другие, излучаемые поперек основного луча, пересекали его над местами, отмеченными на навигационных картах, что давало летчику возможность определить свое точное местоположение. Эта система была объединена с «таймером», который автоматически сбрасывал бомбы в месте пересечения основного и вторичного лучей. Самолеты сбрасывали на цель бомбы с исключительной для того времени точностью в условиях плохой видимости и в ночное время. Но если что-то шло не так, то бомбы, предназначавшиеся для промышленных и военных объектов, поражали больницы, школы, жилые дома, церкви и убежища. В случае безупречного функционирования система причиняла ущерб производству Великобритании, в противном случае — подрывала моральный дух.

Сложность и дороговизна радионавигационной аппаратуры не позволили оснастить ею весь немецкий воздушный флот; этой системой оснастили самолеты Kampfgruppe 100 (100-я бомбардировочная группа). Kampfgruppe 100, сбрасывая зажигательные боеприпасы точно на цели, стала глазами следующих за ней эскадрилий люфтваффе. В 1940 году, узнав, что Германия может бомбить в ночное время, практически в любую погоду, в лунную и безлунную ночь, британские летчики-истребители, летавшие вслепую после захода солнца, впали в уныние. Зенитные орудия, грохот которых действовал успокаивающе на мирных жителей, не причиняли особого беспокойства немцам — потери Геринга в ночное время составляли менее 10 процентов. После наступления темноты защита Великобритании оставляла желать лучшего. Позже Черчилль вспоминал, что для него одним из самых черных дней за всю войну был день, когда он осознал роль немецкого луча. Он назвал его «невидимым прожектором». Спустя несколько лет он сделает попытку принизить его важность: «Немецкие летчики следовали за лучом, как германский народ следовал

за фюрером. У них просто не было ничего другого, за чем они могли бы следовать». Но в 1940 году не удалось избежать ни луча, ни Гитлера. Свет извращенной науки сиял над Лондоном, над всей Англией[388].

И неспециалисты, и лидеры считали навигационные лучи, используемые с такой целью и приводящие к такому потрясающему эффекту, футуристическими темными силами, воздушными проводниками смерти, невероятно жестокими и губительными. Британский правящий класс состоял в основном из викторианцев, которые к тому времени, когда Маркони передал первые радиосигналы через океан, уже закончили университеты. Черчиллю было 29 лет, когда братья Райт совершили первый полет. Для британцев электрификация была сравнительно новой роскошью, центральное отопление пока оставалось мечтой, а все связанное с полетами — тайной. Радио поражало не содержанием передач, а тем, что человеческие голоса удивительным образом передавались по воздуху. «Я не перестаю удивляться, слушая голос человека из Вашингтона, словно он находится рядом, в моей комнате», — написал Гарольд Николсон, прослушав выступление Рузвельта. Люфтваффе заменили удивление страхом[389].

«Специалисты» объяснили Молли Пэнтер-Доунес, что зенитные орудия, прожекторы и истребители решат проблему с немецкими ночными налетами. Одна из мер, предложенных специалистами, которая понравилась Черчиллю, заключалась в том, чтобы сбрасывать песок на немецкие самолеты, дабы засорить их двигатели. Идею не претворили в жизнь. Кое-кто из лондонских журналистов болтал, что найдено решение (не подлежащее разглашению) относительно ночных налетов. Не было ничего подобного. Реальное решение, когда оно будет найдено, написала Пэнтер-Доунес, развеет «мечту о некой уэллсовской или жюль-верновской машине, которая путем нажатия одной кнопки перехватит и собьет налетчиков»[390].

Решение на самом деле было просто фантастическим и действительно связанным с нажатием кнопки: в 1941 году «Бофайтеры» оборудовали поисково-прицельными радарами (AI Mk IV). К концу осени британцы уже успешно справлялись с немецкой системой X-Great. Но 14 ноября эффективное противодействие, названное Bromide, еще находилось в стадии разработки. В ночь первого полнолуния после осеннего равнодействия пострадает британский город, но это будет не Лондон[391].

Черчилль дочитал письмо, которое передал ему Мартин, когда подъехал к Гайд-парку. Премьер-министр, уверенный в том, что луч наведен на Лондон, приказал разворачиваться и возвращаться в подземный военный кабинет (бункер). Он отправил машинисток из «номера 10» в глубокие убежища в Доллис-Хилл. Джон Пек и Колвилл были отправлены в убежище на Даун-стрит, где они угощались икрой,

старым бренди и гаванскими сигарами и крепко спали. Черчилль, меривший шагами подземные помещения в ожидании налета, проявлял нетерпение. Он поднялся на крышу министерства авиации, чтобы не пропустить момент появления немецких самолетов[392].

Но самолеты так и не появились. Они направлялись к Ковентри, где разворачивалась операция «Лунная соната». Более четырехсот бомбардировщиков «Хейнкель-111», возглавляемые тринадцатью самолетами наведения из 100-й авиагруппы, взяли курс на центральные графства Великобритании. За более чем десять часов непрерывной бомбардировки на город было сброшено более 600 тонн зажигательных и фугасных бомб и парашютных мин. Немцы потеряли только один самолет, то ли из-за непредвиденного случая или ошибки пилота, а может, благодаря удачному выстрелу зенитной батареи. Ранее много зенитных орудий из Ковентри переправили в Лондон. Когда немецкие бомбардировщики подлетали к Ковентри, командование истребительной авиации подняло в воздух сто «Харрикейнов», чтобы встретить противника. Они ни разу не попали в цель[393].

К утру Ковентри был разрушен. Полностью выведены из строя газоснабжение, водопровод и железная дорога. Пожарные, не в состоянии что-то сделать, просто стояли и смотрели, как пожары уничтожили почти 100 акров в центре города. Погибло более пятисот человек. Серьезно пострадали авиационные заводы, разбросанные Бивербруком в городе и за его пределами, хитрый план, который, однако, не сумел учесть новую логику люфтваффе: обеспечить уничтожение конкретного объекта, уничтожая все вокруг. Одним из первых был разрушен собор Святого Михаила. Пережившие налет люди, оставшись без воды, утоляли жажду виски и пивом. Гражданские власти, оглядев мрачную толпу, испугались бунта и ввели комендантский час. Они напрасно беспокоились: жители Ковентри были слишком травмированы, чтобы поднимать бунт. Когда в город приехал король Георг, многие горожане, после перенесенного потрясения, не признали в высоком незнакомце своего короля[394].

Берлин объявил, что Ковентри выбыл из войны, и пообещал, что в скором времени другие города будут подвергнуты разрушительной бомбардировке с воздуха. Однако машиностроительное производство Ковентри, разрушенное на две трети, было восстановлено в течение нескольких недель. Черчилль, как и немцы, ошибся в одном. Он сказал де Голлю, что кровавая бойня в Ковентри, несомненно, поднимет «волну негодования» среди американцев и приблизит их к войне. На самом деле трагедия в Ковентри довела американцев до слез, но не приблизила не то что к войне, а даже к подготовке к войне.

Вскоре после воздушного налета маршал авиации сэр Филип Жубер почувствовал непреодолимое желание заставить замолчать прессу, что решение относительно немецких ночных налетов почти найдено,

словно руины Ковентри не разубедили оптимистов. В течение ноября и в декабре мощным ударам подверглись Бирмингем, Саутгемптон, Оксфорд и Кентербери. В некоторых случаях жертвы превысили жертвы Ковентри, но правительство не сообщало данные о потерях. Однако борьба не была односторонней; бомбардировка Берлина 14-го и 16-го числа привела к гибели более трехсот мирных жителей. Бомбардировщики достигали цели, как предсказывал Болдуин. Несколькими месяцами ранее Черчилль сказал Бивербруку, что единственный «верный путь к победе» — наступательные операции военно-воздушных сил. Он все еще верил в это. Но в конце 1940 года едва ли кого-то удовлетворяло состояние защитных мер против ночных налетчиков. Легкость, с какой огромное количество немецких бомбардировщиков долетают до целей, свидетельствует, сказал Черчилль, «о полном провале всех наших систем»[395].

Молли Пэнтер-Доунес считала Ковентри возмездием за налет Королевских военно-воздушных сил 8 ноября на Мюнхен, объект, не имевший стратегического значения, но столь важный для нацистов, город, в котором 8 ноября 1923 года произошел путч — неудачная попытка захвата государственной власти Гитлером. По мнению Колвилла, налет на Ковентри был ответом на британский успех в Таранто 11 ноября. Они оба ошибались. Ковентри, Мюнхен, Лондон, Берлин и Таранто были частью жестокого поединка — удар, ответный удар, еще удар.

После Ковентри Черчилль приказал Порталу составить план «по возможности самой разрушительной бомбовой атаки на выбранный немецкий город». В начале декабря Портал в общих чертах изложил свои предложения, которые спустя несколько дней были одобрены на закрытом заседании военного кабинета; план получил кодовое название Abigail («Абигейл»). Среди задач: «Мы должны в основном делать упор на пожары и выбрать тесно застроенный город, в котором воронки от бомб на улицах будут препятствовать работе пожарных и «поскольку мы хотим оказать влияние на моральный дух противника, мы должны попытаться разрушить большую часть города, поэтому выбранный город не должен быть слишком большим». Среди рассматриваемых городов были Мангейм, Франкфурт и Гамбург. Протокол заседания военного кабинета заканчивался рекомендацией не объявлять, что «это нападение делается в отместку за немецкие нападения на Ковентри... и не придавать ему впоследствии особой огласки». Гамбург, второй по величине город Германии, был исключен как слишком большой. В качестве объекта военный кабинет выбрал Мангейм. Удар был нанесен 16 декабря. Последствия были незначительные, погибло примерно тридцать человек, но это было только начало. В 1941 году, сказал Черчилль Колвиллу, наша задача, подвергнуть бомбардировке «каждый немецкий уголок Европы»[396].

В последний день ноябрь Черчилль отмечал свой шестьдесят шестой день рождения в Чекерсе в компании Клементины, детей, Бивербрука, Брекена и американской писательницы Вирджинии Коулз. Старик, как обычно, диктовал огромное количество записок в адрес министров, адмиралов и генералов. Как получилось, спрашивал он адмирала Паунда, что, имея больше американских эсминцев, количество пригодных к эксплуатации судов «уменьшилось с 84 до 77?». Он потребовал модернизировать процесс производства цемента, и не только потому, что цемент требовался для строительства убежищ, но и потому, что ему понравилась идея относительно огромных плавучих бетонных орудийных платформ. Он задал вопрос министру, почему солдатам запрещено «покупать дешевые овощи в районах, где они расквартированы». И разрешил «звонить в церковные колокола на Рождество, поскольку отступила угроза вторжения», и надо объяснить людям, добавил он, что колокола звонят, приглашая на службу, а не предупреждают о вторжении[397].

На следующий день, в субботу, 1 декабря, семья отправилась в приходскую церковь Эллесборо, расположенную рядом с Чекерсом, где крестили «маленького Уинстона». Прихожане остались после заутрени, чтобы посмотреть церемонию, и стали свидетелями слез, текущих по щекам Черчилля. «Бедное дитя, — прошептал кто-то рядом с Вирджинией Коулз, — родиться в таком мире, как этот»[398].

Гарольд Николсон, в середине лета решивший, что им с женой Витой осталось жить всего три недели, потребовал, чтобы жена пообещала ему, что будет носить с собой обычное шило. Однако тогда же он написал в дневнике: «Я думаю, что почти наверняка американцы вступят в войну в ноябре и, если мы сумеем продержаться до этого времени, все будет хорошо». Колвилл тоже возлагал надежды на ноябрь. «Если мы продержимся до ноября, то выиграем войну», — написал он 14 июня в дневнике[399].

Наступило 1 декабря. Ноябрь закончился. Они ошиблись в своих расчетах.

Погибло еще более 4600 мирных жителей. Всего к этому дню в результате налетов погибло более 18 тысяч британцев, в том числе 2 тысячи детей. Однако, несмотря на растущие потери, «было понятно, что остров будет держаться до конца», написал Черчилль, «пока не наступит зима с ее обычными штормами»[400].

Война всегда зависела от времени года. Зимой окапывались и ждали весенних дождей, за которыми наступало жаркое лето. Когда высыхали дороги, армии могли опять перейти в наступление и продолжать заниматься убийством. Немецкое вторжение было, естественно, отложено до весны, но современные самолеты летали в любую погоду. Современная война, или, по крайней мере, та ее часть, которая велась в небе, была всепогодным делом, и немецкие бомбы, падавшие сверху —

и убивавшие британцев, — убедительно доказывали, что наверху не зависят от метеорологических условий на земле. На высоте 26 тысяч футов всегда было ясно.

Любая помощь, оказанная Англии и Черчиллю непогодой в трудную минуту, компенсировалась растущими проблемами в Атлантике. Немецкие подводные лодки, топившие британские торговые суда быстрее, чем можно было заложить новые суда, пытались перекрыть западные подходы. В сентябре потери судов составляли 250 тысяч тонн, в октябре — более 300 тысяч тонн, почти 376 тысяч тонн в ноябре и 60 тысяч тонн за первую неделю декабря. Один конвой, шедший из Северной Америки на восток, потерял двадцать одно судно из тридцати. Экипажи подводных лодок называли эти месяцы Die Gluckliche Zeit (счастливое время). С июня единственной помощью, прибывшей из Америки для участия в сражениях в Атлантике, были пятьдесят устаревших эсминцев, которые оказались скорее обузой, чем находкой. В декабре, обедая с Иденом, Черчилль сказал, что от нескольких американских эсминцев «мало пользы», «они плохо построены». Позже в том же месяце он потребовал, чтобы адмиралтейство представило отчет о состоянии эсминцев, у которых «много дефектов», а потому от них «мало пользы». Эсминцы, были построены в основном в начале 1920-х, и их требовалось модернизировать, прежде чем спускать на воду. Американские эсминцы из-за отсутствия полубака получили название «гладкопалубные»; они не могли стрелять из носовых орудий в бурном море и при максимальной скорости хода. Наличие этих недостатков не сулило ничего хорошего в случае использования их в качестве кораблей эскорта в суровых условиях Северной Атлантики. Они были созданы для обеспечения береговой обороны, объяснил Черчилль Рузвельту, до эпохи пикирующих бомбардировщиков. Как корабли охранения в Северном море они будут «очень уязвимыми» целями для «Штук»[401].

В любом случае к концу года удалось полностью переоборудовать и подготовить к плаванию всего девять эсминцев. Остальные американские эсминцы, постепенно заходившие в британские порты, были в плачевном состоянии и нуждались в переоборудовании. Один, переименованный в эсминец его величества Льюис, настолько проржавел, что в апреле 1941 года все еще находился в ремонте, когда немецкая бомба вывела его из строя (не из боевых действий, поскольку он так и не успел принять в них участие) до 1942 года. Еще один находился в еще более плачевном состоянии, и его пришлось разобрать на запасные части. В период с мая по декабрь 1940 года Черчилль написал по крайней мере тридцать семь записок и писем своим сотрудникам и Рузвельту по поводу эсминцев и их удручающего состояния[402].

Но американцы обещали Черчиллю не только эсминцы. Современные винтовки, бомбардировщики B-17 и боеприпасы возглавляли

список, составленный Черчиллем. «Что насчет наших 20 торпедных катеров, 5 патрульных бомбардировщиков, 150—200 самолетов и 250 тысяч винтовок?» — допытывался Черчилль у Галифакса. «Куй железо, пока горячо», — поучал он Галифакса. Сэр Александр Кадоган по приказу Черчилля позвонил послу Лотиану и задал тот же вопрос: «Как дела с «другими дезидератами», обещанными нам?» Лотиан ответил Кадогану, что генеральный прокурор США отложил отправку торпедных катеров по крайней мере до января 1941 года и только один B-17 готов к вылету в Великобританию[403].

Черчиллю все это надоело, и он поведал Хью Далтону, что испытывает желание сказать Рузвельту: «Если вы хотите наблюдать за нашей борьбой за ваши свободы, то должны за это платить». Профессор, всегда готовый привести статистические данные, подлил масло в огонь: «Мы используем от одной трети до половины наших национальных усилий в борьбе с нацизмом». До сих пор вклад американцев — оплаченный — составлял «примерно одну двадцатую их национальных усилий». Американцы, напомнил Линдеман с бухгалтерской точки зрения, передают давно списанные эсминцы. За эти пятьдесят ржавых ведер Англия расплатилась правом использовать британские военно-морские базы, расположенные от Ньюфаундленда до Британской Гвианы, базами, которые американские военные корабли используют для защиты... Америки[404].

Черчилль обменял части Британской империи на устаревшие корабли. Базы в Атлантике были первым взносом Великобритании в передаче глобального превосходства Америке. В то время никто, включая Черчилля, полностью не отдавал себе в этом отчета. Выступая в парламенте, Черчилль попытался представить эту сделку как щедрый дар со стороны Британии: «Несколько месяцев назад мы пришли к выводу, что интересы Соединенных Штатов и Британской империи требуют, чтобы США имели средства морской и воздушной защиты Западного полушария... мы решили, без каких-либо просьб со стороны США, сообщить правительству Соединенных Штатов о том, что мы были бы рады предоставить им в пользование военные базы и аэродромы в наших трансатлантических владениях, в местах, которые они будут считать для себя нужными... и, конечно, речь не идет о передаче суверенитета...»[405]

На самом деле, британский суверенитет, выраженный в пенсах, шиллингах и золотых соверенах, стремительно таял. С начала войны Великобритания заплатила Соединенным Штатам наличными почти 4,5 миллиарда долларов (что соответствует примерно 160 миллиардам долларов в 2012 году) за продовольствие и материальные средства. Оставшиеся запасы золота и легкореализуемые американские ценные бумаги составляли в общей сложности менее 2 миллиардов долларов, сумма, накопленная с начала войны, главным образом за счет экспорта керамики, шотладского виски и южноафриканского золота. На не-

отложные нужды требовалось вдвое больше средств; в мирное время такое положение не обязательно оказалось бы катастрофическим, но американцы поставили условие — оплата наличными и без доставки. Великобритания отчаянно нуждалась в наличных деньгах для покупки материальных средств и в большем количестве судов для их доставки. «Это время было отмечено острой нехваткой долларов», — вспоминал Черчилль. Лорд Лотиан оценил положение, когда с предельной, несвойственной дипломатам откровенностью сказал вашингтонским репортерам: «Итак, ребята, Британия обанкротилась». Рузвельт предложил отправить в Кейптаун крейсер, чтобы забрать и привезти в Соединенные Штаты британское золото в слитках на сумму 20 миллионов долларов в качестве аванса за предоставленные услуги, предложение сродни тому, как если бы военнослужащий, не принимавший непосредственного участия в бою, снимал сапоги и часы с умирающего солдата[406].

Результатом совещаний по вопросам поставок и финансов, которые Черчилль с Лотианом провели в выходные дни в середине ноября, стало длинное письмо Черчилля Рузвельту. Письмо от 7 декабря, содержавшее девятнадцать пунктов, Черчилль назвал «самым важным из всех когда-либо написанных мной». Суть письма сводилась к двум моментам: господство на море, Британия проигрывала сражение; и деньги, которых у Британии почти не было[407].

Письмо было деловым и откровенным, в нем не было даже тени намека на просьбы и заискивания, как в предыдущих посланиях. Черчилль был вежлив, но тверд. Он подробно остановился на «смертельной опасности», состоящей в неуклонном сокращении тоннажа торгового флота. «Если сокращение тоннажа будет и дальше идти такими же темпами, то это приведет к роковым последствиям... Фактически у нас остался единственный путь на Британские острова — это северные подступы, на которые противник сейчас бросает все больше подводных лодок и самолетов дальнего действия, простирая свои действия все дальше». Для того чтобы устранить эту угрозу, он попросил «в качестве дара, займа или поставок передать значительное количество американских военных кораблей, и прежде всего эсминцев, уже находящихся в Атлантическом океане»[408].

В письме он выразил беспокойство относительно поведения ирландцев по вопросу предоставления баз «на южном и западном побережьях Эйре* для наших флотилий и, что еще более важно, для авиации, действующей к западу от Эйре в Атлантике». «Мы не можем вынудить народ Северной Ирландии против его воли выйти из состава Соединенного Королевства и присоединиться к Южной Ирландии. Но я не сомневаюсь, что если правительство Эйре проявит в период

* Э й р е — в 1937—1949 годах — официальное название Ирландии.

этого кризиса солидарность с демократическими странами мира, говорящими на английском языке, то можно было бы создать совет обороны всей Ирландии, в результате чего после войны в той или иной форме возникло бы единство всего острова».

Это должно было хорошо сработать в Америке, с учетом того, что значительная часть электората Рузвельта состояла из американцев ирландского происхождения, но посеять панику в Белфасте. Черчилль, более озабоченный чувствами американцев, чем ольстерцев, трижды направлял министра здравоохранения Малькольма Макдональда в Дублин к премьер-министру Имону де Валера с предложением об объединении Ирландии, если де Валера присоединится к Великобритании в борьбе против Германии. В 1938 году Макдональд, являясь Государственным секретарем по делам колоний и по делам доминионов, заключил торговое соглашение с Ирландией. Черчилль не принимал во внимание соглашение, но решил, что Макдональд именно тот англичанин, который найдет общий язык с ирландцами. Он ошибался. Де Валера трижды отвергал предложения Макдональда, заявляя, что Черчилль может не выполнить обещание[409].

В письме Рузвельту Черчилль поднял вопрос о возможности захвата Японией нефтяных месторождений в Голландской Ост-Индии. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, он только сказал, что, «по имеющимся сведениям, японцы готовят пять отборных дивизий для возможного использования в качестве заморского экспедиционного корпуса. А у нас на Дальнем Востоке сейчас нет сил, способных справиться с таким положением, если оно возникнет». И наконец, перейдя к вопросу о финансах, Черчилль дал волю своим чувствам. «Чем быстрее и больше вы сможете посылать нам вооружения и судов, тем скорее будут исчерпаны наши долларовые кредиты. Они и без того, как вам известно, сильно истощены в результате платежей, которые мы уже произвели... Близится момент, когда мы больше не сможем платить наличными за суда и другие поставки... я полагаю, вы согласитесь, что было бы в принципе неверно и невыгодно для обеих сторон, если бы в разгар этой борьбы Великобритания лишилась всех своих активов и оказалась раздетой до нитки после того, как победа будет завоевана нашей кровью». Заканчивая письмо, Черчилль выразил надежду, что Рузвельт расценит «это письмо не как призыв о помощи, а как сообщение о минимальных мерах, которые необходимо принять для достижения общей цели»[410].

Рузвельту было над чем подумать. Он получил письмо Черчилля, когда, находясь в двухнедельном отпуске, совершал плавание на крейсере Тускалуза в Карибском море. «Великий друг, — как пишет Черчилль в своих воспоминаниях, — вновь и вновь перечитывал это письмо, сидя в одиночестве в своем кресле на палубе, и в течение двух дней казалось, что он не принял никакого определенного решения.

Он был сосредоточен и молча размышлял». Черчилль ясно дал понять в письме: Великобритания потерпит поражение, Соединенные Штаты останутся в одиночестве и не готовыми к войне, изоляционисты склонят их к смертельно опасному нейтралитету, что может привести к примирению с Гитлером[411].

Рузвельту, чтобы избежать таких последствий, требовалось найти способ помочь американскому ставленнику до того, как он обанкротится. Он обдумывал возможное решение проблемы в течение нескольких месяцев под давлением Гарольда Икеса, который в августовском письме объяснил президенту, что, если «Великобритания падет», это плохо отразится на Америке, которая не послала эсминцы, чтобы предотвратить вторжение. «Мне кажется, — добавил Икес, — что мы, американцы, подобны домовладельцу, который отказывается дать или продать огнетушитель, чтобы выручить соседа, дом которого объят пламенем, и ветер дует в его сторону». Ко времени возвращения в Вашингтон Рузвельт понял, что нашел законный способ оказать помощь Великобритания: федеральный закон позволял отдавать в аренду собственность армии, если в ней не нуждалось государство. 17 декабря Рузвельт сообщил журналистам, не вдаваясь в подробности, свой план оказания помощи Великобритании. Для наглядности он привел пример (вариант примера, приведенного Икесом): «Представьте себе, что загорелся дом моего соседа, а у меня есть садовый шланг длиной 400—500 футов. Если он возьмет мой шланг и подсоединит к своему насосу, то я смогу помочь ему потушить пожар. Каковы мои действия? Я не говорю ему: «Сосед, этот шланг обошелся мне в 15 долларов, ты должен заплатить за него 15 долларов». Нет! Мне не нужны эти 15 долларов, я хочу, чтобы он вернул мне шланг после того, как потушит пожар». «Господин президент, — сказал один из журналистов, — прежде чем одолжить соседу шланг, вы должны его купить». Для выполнения британских заказов американским заводам придется работать во вторую и третью смены; Америка не сможет помочь Великобритании, работая в одну смену. Журналист был абсолютно прав. В своем рассказе Рузвельт не стал упоминать тот факт, что сосед нуждался не только в шланге, но и в пожарных[412].

12 декабря в Вашингтоне внезапно скончался лорд Лотиан, игравший столь важную роль в отношениях между Великобританией и Соединенными Штатами. Лотиан, последователь учения «Христианская наука», отказался от медицинской помощи, когда почувствовал недомогание. «Возмутительно, что Лотиан не позволил вызвать врача!» — воскликнул Черчилль. Смерть Лотиана создала политический вакуум в Вашингтоне в самый неподходящий момент. Черчилль должен был назначить нового посла, и быстро. Для этой работы подошел бы Ллойд Джордж, но только, сказал Черчилль Колвиллу, «если я смогу ему доверять». В противном случае, добавил Черчилль, «я всегда могу его уво-

лить». Но в ранге посла бывший премьер-министр попадает под начало Галифакса, который, утверждал Колвилл, «будет препятствием с точки зрения Л. Д.». Если же Галифакс отправится в Вашингтон, то в ссылке окажется еще один бывший миротворец. Черчилль остановил свой выбор на Галифаксе. Позже он написал: «Его высокое положение везде пользовалось уважением, но в то же время результаты его деятельности в предвоенные годы и то, как развивались события, привели к тому, что он был подвергнут осуждению и даже испытал враждебность со стороны Лейбористской партии нашей национальной коалиции». Черчилль сказал Колвиллу, что, если Галифакс останется в Великобритании, ему «никогда не удастся исправить свою репутацию миротворца» и что у него «нет будущего в этой стране». Если Соединенные Штаты не вступят в войну, сказал Черчилль, самое большее, на что может надеяться Великобритания, — это на невыгодный со всех точек зрения мир и что у него, Галифакса, «есть великолепное будущее в Америке», если ему удастся вовлечь в войну Соединенные Штаты[413].

В последние недели месяца, когда Рузвельт обдумывал свою стратегию в конгрессе, Черчиллю ничего не оставалось, как наблюдать за горящим Лондоном и размышлять над двумя вопросами: что именно собираются делать американцы и когда? куда собирается двигаться Гитлер и когда? В течение многих месяцев Испания и Гибралтар вызывали серьезную тревогу. «Ультра» недавно разгадала немецкую операцию под кодовым названием Felix («Феликс»), но об операции ничего, кроме названия, не было известно. Черчилль считал, что операция «Феликс» предполагает нанесение удара по Ирландии или Испании. Наиболее вероятно, сказал он Колвиллу, что по Испании, поскольку именно туда он и пошел бы, будь он Гитлером. Именно туда стремится Гитлер, но Франко, находящийся у власти во многом благодаря поддержке Гитлера и Муссолини, возражает. Если Гибралтар будет захвачен, сказал Франко Гитлеру, то испанскими войсками, а не немецко-испанской коалицией[414].

На самом деле генералиссимус не собирался нападать на Гибралтар. Британцы позволяли доставлять продовольствие испанцам только потому, что Испания сохраняла нейтралитет. Франко понимал, что стоит ему обеспечить немцам доступ к Гибралтару, как Лондон путем блокады заставит Испанию умирать от голода. Поэтому, несмотря на долг перед Гитлером, Франко решил, что лучше предвосхитить призыв Гитлера к оружию. Лучше всего, считал он, не принимать участие в войне. В конце ноября Черчилль телеграммой предупредил Рузвельта о возможности потерять Гибралтар и посоветовал Рузвельту предложить Франко «поставки продовольствия месяц за месяцем до тех пор, пока испанцы не вступают в войну». Потеря Гибралтара, сказал Черчилль Рузвельту, «станет тяжелой добавкой к нашему и без того серьезному положению на море»[415].

Если Гибралтар будет захвачен, то весь британский Средиземноморский флот окажется в ловушке, но только в том случае, если будет захвачен и Суэцкий канал. Франко, коварный, мысливший глобальными категориями, сказал фюреру, что если Германия захватит Суэцкий канал, тогда Испания захватит Гибралтар. Немецкий гроссадмирал Редер уже давно понял важность Суэцкого канала для Лондона и в сентябре пытался убедить Гитлера следовать той же стратегии. Захват Гибралтара *и* Суэца, доказывал Редер, откроет пути на Ближний Восток, и тогда «едва ли будет так уж необходимо атаковать Россию с севера». Черчилль не знал, что 13 декабря Гитлер отменил операцию «Феликс» и что 18 декабря подписал директиву, которая начиналась словами: «Германские вооруженные силы должны быть готовы сокрушить Советскую Россию в ходе скоротечной кампании до окончания войны против Великобритании». К 15 мая требовалось закончить всю подготовку к операции под кодовым названием «Барбаросса»[416].

Позже Черчилль написал, что, когда в мае 1940 года немцы сосредоточились на французской и бельгийской границах и затем хлынули через них, он понял, что «нам предстояло узнать, что такое тотальная война». Действительно, тотальная война пришла во Францию и велась в Атлантике и в небе над Англией. Но в декабре 1940 года в большей части континентальной Европы — и в Маньчжурии, и в Сомали — мир при посредничестве штыка был намного страшнее тотальной войны.

Сталин, который в прошлом году вместе с Гитлером участвовал в уничтожении Польши, переваривал балтийские, финские и румынские территориальные захваты. В декабре министр иностранных дел Молотов, пользовавшийся наибольшим доверием Сталина, вернулся из Берлина после переговоров с Риббентропом относительно того, как лучше поделить трофеи, включая скелет Британской империи. Черчилль назвал Молотова человеком «выдающихся способностей и хладнокровно беспощадным», чья невероятная живучесть в большевистском мире лжи, оскорблений, интриг и постоянной угрозы «личной ликвидации» способствовала тому, чтобы стать «агентом и орудием» такого лидера, как Сталин. Но Гитлер был еще большим лгуном и более безжалостным, более хладнокровным интриганом, чем Сталин и Молотов. Хотя в декабре Гитлер направил армии на запад, его взгляд был уже обращен на восток[417].

На Дальнем Востоке пошел десятый год, как японцы захватили Маньчжурию, поработив население под идеей паназиатского единства. «Япония ест Китай как артишок, лист за листом», — написал Черчилль в 1937 году. Теперь шел четвертый год китайско-японской войны на границе между националистическими войсками китайского генерала Чан Кайши и армиями японского генерала Хидёки Тодзио. 400-тысячные коммунистические силы Мао Цзэдуна заставляли им-

ператора дорого платить за китайскую недвижимость. Премьер-министр Японии, принц Фумимаро Коноэ, придерживавшийся умеренных взглядов, пытался утихомирить милитаристскую партию Тодзио, делавшую ставку на грубую силу при завоевании империи. Если бы верх одержал Коноэ, то большая часть Тихоокеанского региона могла бы жить в мире и спокойствии. Если бы сильнее оказался Тодзио, то пантихоокеанской войны было бы не избежать, хотя Черчилль считал, что Япония дважды подумает, прежде чем связываться с державой столь же могущественной, как Великобритания[418].

27 сентября в Берлине Германия, Япония и Италия подписали Трехсторонний пакт, согласно которому обязались оказывать взаимную помощь, если одна из трех договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо державы, которая в настоящее время не участвует в войне. Тем самым ось противопоставила себя остальной части мира. Позже Черчилль написал, что пакт «открывал более широкие горизонты», но представлял для него загадку относительно Бирманской дороги — 700 миль извилистой дороги от Лашио, бирманского города в 400 милях к северу от Рангуна, до Куньмина в провинции Юньнань на юго-западе Китая имели жизненно важное значение для националистической армии Чан Кайши. Британцы закрыли дорогу в августе, написал Алек Кадоган, в соответствии с соглашением между Англией и Японией о необходимости «специальных усилий для установления прочного мира на Дальнем Востоке». Япония не предпринимала усилий, ни специальных, ни каких-либо других, потому что действовала с позиции силы. Японские императорские армия и военно-морской флот, получавшие основную часть топлива из Америки — 7 тысяч баррелей нефти в год, — могли двинуться куда пожелают, чтобы привести свои угрозы в действие. Спустя почти три месяца, в октябре, Бирманскую дорогу вновь открыли, но возник вопрос: как на это отреагирует Япония? Если Токио ответит силой, то что сделают Италия и Германия? Нападут на Англию (снова)? И что сделает Америка?[419]

Держа в памяти эти вопросы и не имея в достаточном количестве боевых средств, чтобы отговорить японцев от необдуманных действий, Черчилль обратился к Рузвельту с предложением послать военную эскадру — «чем больше, тем лучше» — в Сингапур для предотвращения военных действий со стороны Японии. То, что демонстрация американской морской силы может спровоцировать японцев на решительные ответные действия против американцев, безусловно приходило в голову Черчиллю, понимавшему истинный смысл Трехстороннего пакта. *Держава, которая в настоящее время не участвует в войне*, являлась ключевой идеей пакта, разоблачавшей его как откровенную попытку оси предвосхитить вмешательство единственной импортирующей страны, еще не находившейся в состоянии войны: Соединен-

ных Штатов. Черчилль рассчитывал, что американский флот, пересекающий японские морские пути в Малайю и Индонезию, может стать причиной того, что Соединенные Штаты вступят в войну. Американский флот не пошел в Сингапур[420].

Весь год у Соединенных Штатов не было настроения решать сложные проблемы, подбрасываемые Черчиллем. Командующий военно-морскими силами адмирал Гарольд Старк (Бетти) не хотел отправлять свои корабли, находившиеся в безопасности в Пёрл-Харборе, в Сингапурский пролив для оказания помощи империи Черчилля. Но даже если бы захотел, то Америка еще была не готова к противоборству с Японией. Соединенные Штаты все еще боролись за выход из кризиса, наполовину осознавая, что приближается буря, и наполовину готовые, чтобы встретить ее. Америка пребывала в состоянии блаженного мира, на горизонте появился отблеск возрожденного экономического процветания. Если бы этот мир был нарушен, то никакое трехстороннее соглашение оси не могло помешать Америке вступить в войну, и при этом просьбы Черчилля не могли заставить Америку вступить в войну, если этот мир не был нарушен. Нельзя сказать, что Америку совсем не интересовали события в мире или, по крайней мере, в Европе. В 1940 году речь Рузвельта «кинжал в спину» собрала наибольшее количество слушателей. Миллионы италоамериканцев все еще считали дуче настоящим парнем. Американцы знали старую Европу, откуда приехали их родители, но Тихий океан — это совсем другая история. Для большинства американцев десятки островов — Гуам, Коррегидор, Уэйк, Мидуэй, Гуадалканал — были неизвестной землей. Только в последние недели 1941 года они — и большинство британцев — узнают, где находится Пёрл-Харбор[421].

Америка понемногу перевооружалась. С целью усиления глобального присутствия военно-морской флот США (160 тысяч офицеров и матросов, меньше итальянского и германского флотов) заказал восемь новых авианосцев. Срок сдачи — 1945 год. Армия, слабая, 500-тысячная (включая Национальную гвардию), проводила полевые испытания нового транспортного средства общего назначения (General Purpose vehicle, GP). Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах Уэнделл Уилки, а не изоляционист Роберт Тафт выступил против Рузвельта, дав понять миру, что ни одна американская политическая партия полностью не закопала голову в песок изоляционизма. Рузвельт утвердил законопроект о призыве в армию в мирное время; 800 тысяч человек были призваны в армию сроком на один год. Опустив слово «проект», когда объявлял о законе, Рузвельт назвал его возрождением «старого американского обычая трехсотлетней давности проводить смотр». Если верить его заявлению, что американские парни не будут отправлены за океан на войну, то возникает вопрос: где будут служить 800 тысяч человек, призванных в армию?[422]

С мая Черчилль безуспешно настаивал, приставал, просил Рузвельта присоединиться к нему в борьбе за выживание Великобритании. Его официальные письма Рузвельту, заполненные фактами и цифрами относительно британских потерь в воздухе и на море, производства оружия и финансов, за исключением длинного письма от 7 декабря, по тону были подобны письмам, которые девятилетний Уинстон писал из школы Сент-Джордж, ища одобрения матери и отца. В детстве Черчиллю казалось, что его отец «владел ключом от всего или почти от всего, имеющего ценность». В 1940 году этот ключ был у Рузвельта[423].

Черчилль добился властных высот только для того, чтобы сверху обозревать страну, оказавшуюся в критическом положении. Он был защитником королевства, которое, вполне возможно, в скором времени могло оказаться беззащитным. Победы Королевских военно-воздушных сил — ограниченные и без гарантии, что будут продолжаться, — давали ничтожную надежду на будущую победу. Позже Черчилль напишет об этих месяцах, что «это было время, когда в равной мере было хорошо и жить и умереть». В те декабрьские дни прогноз Черчилля, ставшего свидетелем гибели Франции, мог как осуществиться, так и нет; в середине июня, во время последнего полета из Франции, Черчилль, повернувшись к Исмею, спросил: «Вы осознаете, что нам, вероятно, осталось жить максимум три месяца?» Эти три месяца превратились в шесть, но при отсутствии союзника они просто явились отсрочкой смертной казни. Звездный час Британии уступил дорогу ее самым длинным ночам. Немцы не вторглись с моря, но, когда в апреле—мае Канал успокоится, когда сирень объявит о наступлении весны — и Hitlerwetter, — немцы, конечно, придут. Но Черчилль верил, что если немцы и появятся, то непременно потерпят неудачу[424].

6 декабря из североафриканской пустыни пришло известие, что британская имперская армия на марше и, в отличие от британского экспедиционного корпуса в июне, продвигается вперед. Сразу после полуночи началась операция «Компас», — план Уэйвелла по выдворению итальянцев из Западного Египта, — когда британские войска, танки и грузовики покинули Мерса-Матрух и двинулись на запад, к лагерям итальянцев в Сиди-Баррани, находившемся в 75 милях и двух днях пути от Мерса-Матруха, города на берегу лазурного моря, который был оживленным портом и центром по ловле губок еще до основания греками Кирены (находился на территории современной Ливии). Отсюда приблизительно в 500 году до н. э. персидские войска Камбиса II вышли в пустыню на поиски оазиса Сива, и это была первая остановка на древнем караванном пути в Судан. Камбис со всей своей армией бесследно исчез где-то в пустыне, может, в большом «песчаном море» на юго-западе, может, во впадине Катара, огромной, безводной впадине, дно которой покрыто песком и солончаками, од-

ной из самых ужасных географических особенностей планеты. В 331 году до н. э. Александр Великий, тоже в поисках оазиса Сива, прошел маршрутом Камбиса. Когда македонский царь пришел в оазис, оракул храма бога Амона в Сиве признал его новым фараоном Египта. Александр покинул оазис с верой в свою судьбу и завоевал мир. Спустя три века в Мерса-Матрухе (тогда он назывался Параитонион) любили проводить время божественная Клеопатра и ее возлюбленный Антоний.

Мерса-Матрух был связан с Александрией одноколейной железной дорогой, тянувшейся вдоль побережья рядом с дорогой, по которой шел Александр Великий. У британцев не было проблем с обеспечением поставок, но линии поставок итальянцев отстояли за сотни миль; это было их слабым местом. Согласно плану операции британский полевой командир, генерал-лейтенант Ричард О'Коннор переместил свои силы Западной пустыни — 30 тысяч человек, шестьсот пулеметов «Брен» и множество легких и тяжелых танков — из Мерса-Матруха в Сиди-Баррани, незаметно для противника. По обычаю сарацинов, тысячу лет назад понявших необходимость жить и умирать по законам пустыни, вдоль маршрута были спрятаны цистерны с топливом и водой для танков и солдат О'Коннора. Согласно плану О'Коннора, подойдя к стоянке итальянцев, его армия и танки должны были незаметно зайти с тыла к разрыву между лагерями Нибейва и Бир-Софари. Затем О'Коннор намеревался бросить свои танки и пехоту прямо на открытые фланги и атаковать с тыла — смелый маневр, учитывая, что в численном отношении итальянцы почти втрое превосходили силы О'Коннора.

Практика показывает, что для успеха атакующих сил их численность в месте атаки должна как минимум втрое превосходить силы соперника. Кроме того, к западу от Сиди-Баррани находились еще почти 150-тысячные итальянские войска. Исходя из этого 30-тысячная армия О'Коннора не имела практически никаких шансов на успех. О'Коннор планировал нанести одновременно удары с тыла и фронта. Его армия вполне могла занять место в военной истории рядом с 7-м кавалерийским полком Джорджа А. Кастера (битва при Литтл-Бигхорне, 1876 год), легкой кавалерийской бригадой (Балаклавское сражение, 1854 год) и частями АНЗАКа* в Галлиполи (1915 год)[425].

Еще одним врагом О'Коннора было расстояние. Как только он покинул Мерса-Матрух, с каждой милей он отдалялся от линий поставки. Большую часть территории Ливии занимает пустыня, за исключением

* АНЗАК — Австралийский и Новозеландский армейский корпус. В 1915 году корпус был расформирован, но термин остался и во время Второй мировой войны использовался для обозначения австралийских и новозеландских подразделений на всех театрах и во всех операциях. (*Примеч. авт.*)

узкой полосы вдоль побережья, где единственная дорога петляет от Бардии на востоке до Триполи на западе. Море песка и слоистого камня, бездорожье, местность, лишенная растительности, каких-либо особенностей ландшафта. Итальянцы в Ливии не испытывали проблем с поставками благодаря безопасным морским линиям снабжения между Италией и Ливией. Армия О'Коннора оказалась одна в пустыне, настоящее экспедиционное подразделение, полностью оторванное от всего, что поддерживало его.

Уэйвелл и О'Коннор знали, как воевать в пустыне, в то время как итальянцы знали, очевидно, только то, как располагаться лагерем в пустыне. Британцы понимали, что мобильность является ключом к успеху в войне в пустыне. В этой войне уничтожение сил противника намного важнее, чем сохранение территории, — удерживать территорию в пустыне все равно что удерживать участок воды в открытом океане. Ближайшая цель Уэйвелла состояла не в том, чтобы армия О'Коннора пересекла песчаные моря Ливии, а просто разбить итальянцев в Сиди-Баррани и, если дело пойдет хорошо, продвинуться на 25 миль на запад. И для того чтобы осуществить задуманное, требовались: хитрость, огромная удача, внезапность нападения и враг, не имеющий особого желания сражаться.

Они получили все, что требовалось. В течение ночи с 8 на 9 декабря пехота О'Коннора при поддержке танков «Матильда» проложила путь между лагерями Нибейва и Бир-Софари. Итальянский летчик заметил британцев и немедленно доложил о «внушительном количестве единиц бронетехники», но ему приказали представить отчет в письменном виде. Если он и представил письменный отчет, то на него то ли не обратили внимания, то ли не прочли. В два часа ночи 9 декабря войска О'Коннора обошли с тыла лагерь в Нибейве.

Это была настоящая имперская армия, состоявшая из англичан, индусов, сикхов, ольстерцев, горцев и новозеландцев. Два полка «Матильд» были готовы поддержать пехоту — для этого и создавались эти 26-тонные чудовища. «Матильды», отличавшиеся мощным для своего времени бронированием, обстреливали из 40-миллиметровых QF 2 pounder пушек (двухфунтовки) легкие итальянские танки, прикрывая имперскую пехоту. После завтрака, состоявшего из бекона, горячего чая и глотка рома на дорожку, солдаты О'Коннора оживились. Со стороны итальянских лагерей ветер принес запах свежезаваренного кофе и горячих булочек[426].

Британцы прервали их завтрак. Волынщики горцев Кэмерона сыграли сигнал к атаке; вопли волынок долетели до Нибейвы вместе с первыми выстрелами «Матильд». Танки двинулись вперед, за ними наступали горцы; под лучами утреннего солнца ослепительно блестели их штыки. Итальянцы яростно защищались с помощью пулеметов и гранат; генерал Пьетро Маллетти выскочил из палатки, начал стре-

лять и тут же был убит. Двадцать легких итальянских танков были превращены в груду дымящегося металла британскими «Матильдами», которые неуклонно двигались вперед и безжалостно давили итальянцев своими гусеницами. Менее чем за три часа все закончилось: лагерь был уничтожен, более 2 тысяч человек взято в плен. В 10 милях к северу ждали еще два лагеря. 1-й полк королевских фузилеров наступал на позиции итальянцев, гоня перед собой футбольный мяч. В итальянских лагерях выбросили белые флаги. В одном из лагерей британцы нашли пятьсот итальянцев, построенных в шеренги; перед строем стоял бригадный генерал, ожидавший какого-нибудь британского офицера, чтобы сдаться.

В течение двух дней танки и солдаты О'Коннора двигались вперед. 12 декабря были уничтожены все укрепления и, после обстрела «Матильдами» и крейсерами королевского флота, взят Сиди-Баррани. Успех был столь ошеломляющим и неожиданным; взятые в плен — 39 тысяч человек — превосходили в численном отношении победителей. Один британский командир батальона сообщил, что захватил «5 акров офицеров и 200 акров рядовых». Черчилль, в восторге от первых докладов, сослался на борьбу греков с итальянцами, когда сказал Колвиллу: «Что ж, нам не пришлось прибегать к помощи генерала Папагоса». Черчилль позвонил королю: «Мои скромные поздравления, сэр, с большой британской победой, большой имперской победой». «Впервые с начала войны мы смогли с полным основанием использовать слово «победа»[427].

О'Коннор продолжал двигаться на запад, к Бук-Буку, где, согласно первоначальному плану, следовало прекратить наступление. Уэйвелл в Каире получил сообщение: «Мы достигли второго Б в Бук-Буке». О'Коннор наступал, беря в плен все больше и больше итальянцев. Муссолини был в ярости. «Пять генералов взяты в плен и один убит», — сказал он Чиано[428].

Перед началом операции «Компас» Черчилль сказал Диллу, что Уэйвеллу следует действовать осмотрительнее и «не бросать в бой все имеющие силы». За неделю с начала операции Уэйвелл, — застенчивый, косноязычный Уэйвелл — которого всего несколькими месяцами ранее Черчилль считал несколько «глуповатым», превратился в героя. Черчилль узнал, что Уэйвелл написал две книги; не зная ни названий, ни темы, он приказал Колвиллу найти эти книги. Выяснилось, что молчаливый Уэйвелл был поэтом, историком, биографом и воином. В 1928 году он написал «Палестинские кампании» и только что издал свою последнюю работу «Алленби», в которой рассказал, как фельдмаршал виконт Алленби* во время Первой мировой войны сделал в

* В «Харперской энциклопедии военной истории» Р.Э. и Т.Н. Депюи говорится: «Действия Алленби в этой кампании [Палестинской] действительно выше всяких похвал. Четверть века спустя его достижения в пустыне превзойдет

Палестине то, что не удалось сделать ни одному британскому генералу в ту войну: полностью уничтожить противника при минимальных потерях со своей стороны.

Уэйвелл служил под началом Алленби на Ближнем Востоке и разделял точку зрения главнокомандующего: доверяйте подчиненным, давайте им четкие приказы и позволяйте им выполнять их. Демонстрируйте там, где это требуется, храбрость, моральную и физическую, но не из любви к опасности, а для того, чтобы выполнить тяжелую работу[429].

16 декабря О'Коннор пересек ливийскую границу. Черчилль телеграфировал Уэйвеллу: «Теперь ваша цель измотать итальянскую армию и насколько возможно очистить от нее африканское побережье». Его телеграмма Уэйвеллу от 18 декабря звучала следующим образом: «Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7» («Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам»). Черчилль рисковал всем, отправляя солдат и танки из Великобритании в Египет, когда вторжение казалось неизбежным. Он рисковал и пока побеждал[430].

К концу года налеты становились все ожесточеннее. 8 декабря бомба попала в здание палаты общин. На следующий день Генри (Чипс) Ченнон* увидел Черчилля, бродящего по развалинам.

«Неожиданно я столкнулся с Уинстоном Черчиллем, одетым в пальто с меховым воротником и курящим сигару... «Это ужасно», — заметил он... и я увидел, что он очень взволнован, поскольку любит Вестминстер». Ченнон, разглядывая дымящиеся руины древнего здания, заметил: «Хорошее попадание». Черчилль проворчал в ответ: «Здесь Кромвель подписал смертный приговор королю Карлу». Вечером Ченнон написал, что «почувствовал историческое значение этой сцены — Уинстон, оглядывающий давно предсказанное им разрушение места, которое он любил»[431].

В период с сентября до конца декабря Лондон перенес более 450 налетов; иногда в минуту сбрасывалось сто бомб. 29 декабря столица перенесла самый тяжелый налет. Это был воскресный день, наиболее предпочтительный для бомбардировки промышленных районов, когда склады с горючими материалами закрыты на выходные и нет дежурных,

---

лучший тактик Второй мировой войны Э. Роммель». Заслуги британского главнокомандующего были оценены по достоинству. Эдмунд Генри Алленби был произведен в фельдмаршалы, ему был пожалован титул виконта и 50 тысяч фунтов стерлингов. В военной истории Алленби считается самым выдающимся английским полководцем Первой мировой войны.

* Ченнон (1897—1958), американец по рождению, в 1935 году был избран членом британского парламента от Консервативной партии. Согласно Джоку Колвиллу, сэр Генри был «первой знаменитостью лондонского cafe's socity, другом леди Кунард и Р.О. Батлера. Его произведения отличались утонченностью и остроумием. (*Примеч. авт.*)

чтобы бороться с пожаром. Все было на стороне налетчиков. Резко упал уровень воды в Темзе; облачность была высокой, туман — тяжелым. 100-я бомбардировочная группа (K-grupp 100) поднялась в воздух с авиабазы в Бретани в 17:30 по местному времени и взяла курс на Лондон, на собор Святого Павла. За самолетами наведения следовали более двухсот бомбардировщиков с авиабаз, расположенных в Северной Франции. Налет продолжался всего два часа, но бомбардировщики сделали свое дело. Первый раз 100-я группа промахнулась на тысячу ярдов, сбросив бомбы на южный берег Темзы, рядом с Elephant and Castle. Остальные бомбардировшики сбросили бомбы точно на цель, Сити (финансовый квартал Лондона), так что в итоге пожары бушевали вдоль обоих берегов Темзы. Горела даже река[432].

Эдвард Р. Марроу начал передачу с крыши Би-би-си со слов: «Сегодня вечером бомбардировщики Германского рейха нанесли удар по Лондону, причинив наибольшую боль, поскольку удар пришелся по сердцу города. Собор Святого Павла, построенный сэром Кристофером Реном, с его огромным куполом, возвышающимся над столицей империи, продолжает гореть, пока я говорю с вами». Но собор Святого Павла, окутанный отвратительным черным дымом, не горел. По словам Марроу, нескольким пожарным, забравшимся под крышу собора, удалось справиться с зажигательными бомбами[433].

В других районах дела обстояли хуже. Немцы сбрасывали «хлебные корзины Молотова» — ротативно-рассеивающие авиационные бомбы (РРАБ)*.

Была разрушена ратуша и восемь церквей Рена. Улица издателей и книготорговцев Патерностер-Роу была уничтожена полностью, сгорело около 5 миллионов книг. Среди утраченных, невозместимых сокровищ был указ Вильгельма Завоевателя о предоставлении Лондону свободы. В Ист-Энде вспыхнуло более тысячи пожаров, когда градом посыпались зажигательные бомбы. Пожары не утихали в течение двух дней. «Бедный старый Лондон, — написал Гарольд Николсон, — поденщица среди столиц, и, когда ее зубы начали выпадать, она действительно выглядит больной». На следующий день, когда Черчилль с Клементиной осматривали разрушенные районы, к ним подошла старая женщина и спросила, когда закончится война. «Когда мы их разобьем», — ответил Черчилль[434].

---

* Зимой 1939/40 года советская авиация бомбила «белофиннов» РРАБ трех модификаций: РРАБ-3 массой до 250 кг, РРАБ-2 — до 500 кг, РРАБ-1 — до 1 т. За счет хвостового оперения бомба вращалась при падении, центробежной силой разбрасывая малые бомбы — фугасные, осколочные, зажигательные. Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов в одном из своих радиовыступлений заявил, что советские бомбардировщики не сбрасывают бомбы, а доставляют продовольствие голодающим финнам. Финны немедленно стали называть советскую кассетную авиационную бомбу РРАБ «хлебной корзиной Молотова» или «хлебницами Молотова».

Когда утром 30 декабря в Лондоне бушевали пожары, американцы, собравшись у радиоприемников, слушали, как Франклин Рузвельт в своих «Беседах у камина» рассказывает о положении в мире. Он подчеркнул необходимость охранять Атлантику, «где нашими соседями были и остаются англичане. На этот счет у нас с ними не было ни письменного договора, ни «устного соглашения». Однако мы верили, что сможем уладить все разногласия мирным путем, по-соседски, и это было подтверждено историей. В результате в течение более века Западное полушарие не знало агрессии ни со стороны Европы, ни со стороны Азии». И в конечном итоге, заявил Рузвельт, «ничто не ослабит нашей решимости помогать Великобритании». Зная, что многие избиратели родом из Ирландии и Италии, и им может не понравиться, что Америка собирается помогать Великобритании, Рузвельт сказал, что Ирландия и Италия — первая нейтральная, вторая «вынужденно ставшая сообщницей нацистов» — рано или поздно будут порабощены нацистской Германией. «В Азии великую оборону держит китайский народ — он ведет войну против японцев». Затем, как бы утверждая, что этим «сказано достаточно», он добавил: «В Тихом океане находится наш флот». Опасность исходит из Европы, где британцы сражаются в одиночку, и им необходимо оказать материальную поддержку. «По мере того как будут производиться самолеты, корабли, пушки и снаряды, правительство, исходя из рекомендаций своих военных экспертов, сможет определять, как их лучше всего использовать, чтобы обеспечить оборону нашего полушария. Вопрос о том, какую часть вооружений послать за границу, а какую оставить дома, мы должны решать исходя из общих военных потребностей. Соединенные Штаты должны стать военным арсеналом для всей мировой демократии. Для нас это неотложная и важная задача. Мы должны взяться за дело так же решительно и споро, с таким же патриотизмом и самопожертвованием, как если бы сами были в состоянии войны. Мы предоставили британцам большую материальную помощь и в будущем сделаем в этом направлении еще намного больше. Никакие преграды не заставят нас от этого отказаться... Их сила растет. Это сила людей, которые ценят свободу больше собственной жизни»[435].

Фразу «арсенал для всей мировой демократии» долго помнили по обе стороны океана. Это были дерзкие слова, обнадеживающие и многообещающие, но как быть с британской неспособностью платить за помощь? «Никакие преграды не заставят нас от этого отказаться». Но разве отсутствие у Британии наличных денег не являлось такой преградой? В последний день года Черчилль в телеграмме Рузвельту дал оценку «всего, что вы сказали вчера... особенно планов по оказанию нам помощи, без которой гитлеризм не может быть искоренен из Европы и Азии». Он опустил фразу, которая была в проекте теле-

граммы: «Запомните, господин президент, мы не знаем, что вы имеете в виду или, точнее, что Соединенные Штаты собираются делать, и мы боремся за наши жизни»[436].

Черчилль и британцы дожили до конца года, который Черчилль назвал «самым прекрасным, как и самым ужасным, годом в нашей длинной английской и британской истории». Этот год, как он написал позже, превзошел год испанской Армады, кампаний Мальборо, побед Нельсона над Наполеоном, даже всей Первой мировой войны. В течение 1940 года «наш небольшой древний остров... оказался способным вынести всю тяжесть и удары судьбы мира... В одиночестве, но при поддержке всего самого великодушного, что есть в человечестве, мы дали отпор тирану на вершине его триумфа»[437].

Он и его соотечественники, действительно не отступив и не дрогнув, бросили вызов тирану. Но пока не победили его.

Они сражались в новом 1941 году. В одиночку.

Глава 2

ПОРОГИ

1941 год

Вскоре после полуночи 1 января 1941 года Черчилль телеграфировал Франклину Рузвельту: «В этот момент, когда Новый год начинается в шторм, я чувствую, что мой долг от имени британского правительства, да и всей Британской империи, сказать Вам, господин президент, насколько сильно наше чувство благодарности и восхищения незабываемым заявлением, с которым Вы обратились в последнее воскресенье года к американцам и свободолюбивым народам на всех континентах». Он вновь поборол желание напомнить президенту, что он и британцы понятия не имеют, что именно собирается делать Америка, как и когда. Он не знал подробностей относительно билля о ленд-лизе, который будет внесен в палату представителей США, и, конечно, не мог знать содержания билля, когда он вышел из сената, *если он* вообще выходил из сената. Когда билль начал свой путь через конгресс, то делал это на условиях Вашингтона, а не Черчилля. Если бы на это потребовалось слишком много времени, то Великобритания обанкротилась бы, довольно печальное обстоятельство для величайшей империи в истории, а теперь с вермахтом, готовым пересечь Канал, к тому же и фатальное. Тем не менее в последний день старого года Черчилль, по мнению Колвилла, был в хорошем расположении духа. Телеграмма Рузвельту выявила это хорошее настроение, приняв форму праздничных приветствий, в которых он обошел молчанием очевидную истину, которую не мог выразить открыто: если 1940 год окажется последним мирным годом для Америки, то, может, 1941 год окажется первым годом надежды для Великобритании[1].

Хотя Черчилль заявлял, что у него «одна-единственная неизменная цель» — уничтожить Гитлера, те, кто работал с ним, часто не имели понятия, как он собирается достигнуть ее. «Его беспокойный ум», написал лорд Ноэль Аннан, который в 1941 году, будучи молодым человеком, работал в военном министерстве, «рождал одну идею за другой». Каждое утро, приходя на работу, Аннан задавался вопросом: «Инте-

ресно, какого кролика на этот раз вытащат из шляпы». Может, это будет «план Черчилля по высадке в Бордо или на Шпицбергене, Сардинии, в Северной Африке, на оконечности Суматры? Только Черчиллю было известно, в чем состояла цель этих экспедиций и как они могли избежать уничтожения превосходящими силами противника». Картами были чистые холсты, которые он усеивал булавками, и на которых рисовал стрелки — *свои* стрелки — в разных направлениях к желанным блестящим победам в неких отдаленных местах[2].

Побежденные континентальные государственные деятели, члены королевских семей и голландское, бельгийское и польское правительства в изгнании встречали Новый год в лондонских клубах, отелях и частных домах. Король Албании Зогу жил в отеле «Риц». Норвежский король Хокон обедал в ресторане отеля «Кларидж», где вечером в меню появлялись мясо, рыба и фрукты, недоступные большинству лондонцев. Королева Нидерландов Вильгельмина жила в «Кларидже» и, бродя по коридорам в шерстяном халате, останавливала незнакомых людей, чтобы узнать последние новости. Чехословацкий президент в изгнании Эдуард Бенеш поселился в столице империи, которая двумя годами ранее предала его, создал правительство Чехословакии в изгнании и возглавил его в ранге президента. Когда осенью король Румынии Кароль II, Король-плейбой, искал убежище, министерство иностранных дел отказало ему на том основании, что он содержал любовницу. Черчилль немедленно отреагировал, отправив записку в министерство иностранных дел: «Да, у него есть любовница... но с каких пор нравственный облик является помехой для предоставления убежища?» Кароль получил разрешение отправиться на Бермуды. Его несовершеннолетний сын, Михай, вступил на престол, остался в Румынии и ждал подходящего момента, чтобы расправиться с диктатором Ионом Антонеску. Ожидание было долгим. Короли Греции и Югославии появились позже весной, после вторжения вермахта в их королевства. Король греков Георг II поселился в «Кларидже». Петр, семнадцатилетний король Югославии, любил смотреть американские вестерны с балконов кинотеатров в Вест-Энде[3].

Польский премьер-министр в изгнании Владислав Сикорский большую часть времени проводил в Шотландии, где была расквартирована 20-тысячная польская армия. В то время как поляки проходили обучение в Шотландии, «свободные французы» томились в ожидании на юге Англии. Шарль де Голль — многие на Уайтхолле называли его «этот упрямец де Голль» — с июня 1940 года засел в своей убогой штаб-квартире. Хотя в октябре он создал «государство» «Свободной Франции» в Браззавиле, Французская Экваториальная Африка, на самом деле, чтобы добраться до французских колоний в Азии и Северной Африке, ему было достаточно просто подойти к старым картам, висевшим на стенах его кабинета. Де Голль, Вильгельмина, Бенеш,

Сикорский — все побежденные лидеры — мечтали о том дне, когда они победителями вернутся на родину. И Лондон должен был стать командным центром Свободного мира[4].

Более 600 тысяч детей из английских городов были эвакуированы в сельскую местность, но за границу их больше не отправляли. Они до конца оставались в Англии. Копию Великой хартии вольностей отправили в Вашингтон, но по распоряжению Черчилля британские произведения искусства остались в стране. «Спрячьте их в подвалах. Ни одно не должно пропасть. Мы должны победить», — заявил он. Теперь Лондон стал последней цитаделью для искусства империи, для высокородных беженцев с континента и простых людей, которые прибывали в город в течение двух лет, последней остановкой для многих из них, включая Черчилля[5].

Томас С. Элиот, ответственный за пожарную безопасность в издательстве «Фабер», где он работал редактором, в пяти словах отразил суть тяжелых испытаний, выпавших на долю народа: «История — ныне и Англия»*.

1 января Черчилль, возмущенный желанием Рузвельта утянуть в Америку оставшееся в Южной Африке британское золото, сказал Колвиллу, что любовь Америки к совершению удачных сделок может помешать ей стать добрым самаритянином, а это обернется фатальными последствиями для Великобритании. Он написал, а затем удалил из телеграммы, отправленной в канун Нового года, слова, отражавшие его недовольство политикой Рузвельта: «Я с удовольствием распоряжусь о погрузке золота на военные корабли, которые Вы сможете отправить в Кейптаун... Однако я считаю, что не должен забывать о своих обязанностях в отношении народа Британской империи, если, без малейших признаков, свидетельствующих о том, что наша судьба решается в Вашингтоне, мне придется расстаться с этим последним запасом, на который мы могли бы в течение нескольких месяцев покупать продовольствие». Так можно было сказать только другу. Рузвельт и Черчилль продолжали обмениваться телеграммами, хотя еще официально не оформили партнерство[6].

В последние часы первого дня Нового года Черчилль поднялся на крышу министерства иностранных дел вместе с новым министром иностранных дел Энтони Иденом. По мнению Колвилла, Иден был «тщеславным и временами истеричным». П.Дж. Григг, преемник Идена в военном министерстве, считал его «полным барахлом». Черчилль

* Из поэмы «Литтл Гиддинг», написанной Элиотом в 1942 году. Литтл Гиддинг — небольшая англиканская община, основанная Николасом Ферраром в 1625 году в графстве Хантингдоншир. Оплот англиканства и роялизма во время гражданской войны 1641—1649 годов, общину трижды посещал король Карл I. Деревню, появившуюся на ее месте, в 1936 году посетил поэт.

думал иначе и имел большие виды на Идена. Иден был бы рад остаться в военном министерстве после смерти лорда Лотиана и назначения Галифакса послом в Соединенные Штаты, но внял требованию Черчилля занять более высокую должность. Позже Иден вспоминал, что когда Черчилль предложил ему эту должность, то сказал, что «не повторит ошибку Ллойд Джорджа, оставшись на посту после войны, и преемник должен быть моим человеком». Спустя много лет все именно так и произошло[7].

Иден происходил из аристократической английской семьи. Со стороны отца в его роду был Роберт Иден, последний британский колониальный губернатор Мэриленда. Со стороны матери — семья Калверт и лорд Балтимор (рисунок его фамильного герба украшает флаг штата Мэриленд). Жена Идена упоминала Томаса Бекета в качестве дальнего родственника. В Первую мировую войну Иден был награжден Военным крестом и в 20 лет стал самым молодым начальником штаба бригады в английской армии. В Оксфорде он изучал русский, персидский и несколько арабских и китайских диалектов. Когда в конце 1935 года Болдуин сделал молодого военного героя и приобретающего влияние тори министром иностранных дел, Черчилль в письме Клементине написал: «Думаю, теперь ты увидишь легковесность Идена». Но Иден, не согласный с политикой умиротворения, в 1938 году ушел в отставку, чем вызвал уважение Черчилля. Черчилль готовил Идена в качестве своего преемника, поощрял и награждал; он научил его тому, что, возможно, не мог дать Идену собственный отец[8].

Итак, со своим будущим преемником Черчилль в ту ночь поднялся на крышу министерства иностранных дел. Воздух был пропитан запахом едкого дыма от десятков тлеющих пожаров. Над головой плыли рваные облака; шел холодный, мелкий дождь. Внизу раскинулся Лондон, погруженный в темноту более темную, чем во времена норманнов, когда скудный свет факелов из пропитанной смолой пакли отражался в Темзе и освещал Лондонский мост, указывая паломникам дорогу домой. Пристально вглядываясь в высокое, спокойное небо, изредка озарявшееся вспышками от выстрелов зенитных орудий, Черчилль и Иден задавались вопросом: что принесет новый год? Весь мир задавался тем же вопросом, хотя ответ был очевиден: он принесет бурю.

Некоторые в эти темные часы почувствовали грядущие возможности. Недавно повышенный в чине генерал-лейтенант Бернард Лоу Монтгомери, пятидесятитрехлетний кадровый солдат, командовавший союзным арьергардом при эвакуации из Дюнкерка, сын англиканского священника, верил в светлое будущее. Он командовал 5-м армейским корпусом, сменив на этом посту генерала Клода Окинлека, упрямого ольстерца, который, будучи командующим союзными войсками в Норвегии, просил и не получил тактической поддержки с воздуха, был вы-

нужден предпринять наступление и потерпел фиаско. Он ушел в полной уверенности, что войска, не имея достаточной поддержки, не могут вести бой. Окинлек, открыто возмущавшийся тем, что солдат бросают в бой без необходимой поддержки, главное, без непосредственной авиационной поддержки, заработал репутацию чрезмерно осторожного человека и неприязненное отношение со стороны Уайтхолла. В результате он был переведен в Индию, где начинал свою военную карьеру и научился бегло говорить почти на всех диалектах Индийского субконтинента. Предполагалось, что противник не будет использовать в своих интересах осторожность Окинлека, теперь в должности главнокомандующего войсками. Монтгомери не ладил с Окинлеком и приветствовал его перевод в Индию. Монти, как называли Монтгомери солдаты, считал, что у него отличные шансы на продвижение по службе, но его точку зрения не разделяли некоторые его начальники, считавшие его напыщенным и злобным, даже подлым. Он был вдовцом; четыре года назад жена умерла у него на руках от инфекции, вызванной укусом насекомого. В день похорон Монтгомери опоздал в штаб на совещание. «Господа, — сказал он подчиненным, — прошу простить мне минуту слабости». С тех пор он посвятил свою жизнь армии. «Неуживчивый характер» Монтгомери и его готовность применить газ в случае появления немцев произвели впечатление на Черчилля[9].

Впечатление на Черчилля произвел и сорокалетний герой Королевского флота капитан Луис (Дики) Маунтбеттен — правнук королевы Виктории, троюродный брат Георга V и двоюродный брат детей русского царя Николая II — был награжден орденом «За выдающиеся заслуги», когда в 1940 году сумел привести свой эсминец Kelly, торпедированный немецким торпедным катером, из Северного моря в порт. Черчилль продиктовал поздравительное письмо, а на копии приписал: «Я едва знаю его». Вскоре ситуация изменилась, поскольку Черчилль знал отца Маунтбеттена, принца Людвига фон Баттенберга, который в 1914 году, будучи первым морским лордом, работал с Черчиллем; он привел британский военно-морской флот в состояние готовности к войне. Наградой за службу стал вынужденный досрочный уход в отставку на волне германофобии, захлестнувшей Великобританию. Тогда Черчилль смолчал. Теперь, возможно, чтобы искупить свое молчание, или потому, что не мог отказать герою, тем более аристократу, Черчилль живо интересовался Маунтбеттеном, который был бесстрашным и дерзким. И удачливым: на протяжении четырнадцати месяцев его торпедировали, бомбили, обстреливали; его эсминец столкнулся с другим кораблем и прошел над плавучей миной. В начале нового года Маунтбеттен командовал эскадрой эсминцев в Средиземноморье, где такие небольшие военные корабли, как Kelly, терялись с пугающей регулярностью. Командование столь уязвимым кораблем, как и его манера ведения морских сражений, не оставляли шансов на

достаточно долгую жизнь, которая позволила бы добиться продвижения по службе[10].

Немного не дожил до Нового года Френсис Скотт Фицджеральд, а следом за ним в Женеве в начале января умер Джеймс Джойс. Вирджиния Вульф, давно страдавшая от приступов тяжелой депрессии, последовала за ними, наложив на себя руки. Немецкие бомбы разрушили ее лондонский дом. Доверяя свои мысли дневнику, Вульф написала: «Я думаю, мы живем без будущего. Так странно, прижавшись носами к закрытой двери». Глядя из окна на холмы, шпили и старые каменные стены Суссекса, она вспоминала печальные строки Уолтера де ла Мара: «Взгляд твой последний на все вещи прекрасные» — и в конце марта надела пальто, наполнила карманы камнями и утопилась в реке Оуз[11].

Большинство британцев — и в первую очередь Черчилль — видели будущее и были готовы бороться и умереть за него. Той зимой они поддались необъяснимым взрывам примитивных эмоций. «Давай еще!» — кричали в азарте лондонцы во время одного из налетов в начале января, бегая, словно безумцы, по улицам и «расправляясь» с зажигательными бомбами. Малькольм Маггеридж поймал себя на том, что наслаждается «звуком, видом и запахом этих разрушений... лицами свидетелей, причудливо освещенных огнем... казалось, будто поистине сбывается Книга Откровение Иоанна Богослова». Черчилль был един с лондонцами и Маггериджем. Каждая ночь, освещенная пламенем, давала еще одну прекрасную возможность жить или умереть, сделать шаг к тому дню, когда он сможет ознакомить Германию со своей версией справедливости[12].

Для многих молодых американцев, которые задавались вопросом, не окажутся ли они в числе этих 800 тысяч рузвельтовских призывников, необходимых для его «смотра», с наступлением нового года ситуацию прояснили местные призывные комиссии. Армия получила всех призывников; к призывникам в военно-морской флот и морскую пехоту предъявляются более высокие требования, чем к призывникам в армии, так что в случае вступления в войну Америка будет иметь некомплект матросов и солдат морской пехоты. В общем, почти миллион молодых американцев отправился в учебный лагерь, но пока еще не на войну. Те американцы, которые выбрали военную карьеру, обдумывали свои шансы на продвижение по службе. Дуайт Эйзенхауэр, пятидесятилетний подполковник армии США, до конца 1939 года служил в Маниле начальником штаба генерала Дугласа Макартура, командующего войсками США на Филиппинах. 1 января он был назначен начальником штаба 3-й дивизии. Эйзенхауэр сказал своему старому другу Джорджу Паттону-младшему, что способен командовать полком, но не питает особых надежд на то, что когда-нибудь достиг-

нет более высокого положения. Фамилия Эйзенхауэр появилась в списке из восемнадцати офицеров, способных командовать дивизией, составленном для генерала армии Джорджа Маршалла; Эйзенхауэр шел под номером восемнадцать[13].

Хотя в 1939 году Рузвельт приказал начальнику штаба армии Джорджу Маршаллу укрепить и усилить американские вооруженные силы к началу 1941 года, армия США занимала всего лишь семнадцатое место в мире; она была достаточно мощной, чтобы в случае необходимости справиться с Канадой или Мексикой, но недостаточно мощной для вермахта.

В Новый год французов мало интересовали последние новости из Лондона, Америки и любого места между ними. Мир, который французы знали и любили, исчез в июне прошлого года. В любом случае нацистские оккупанты были уверены, что французы почти ничего не знают о том, что происходит в мире. Погода была ужасной; стояли сильные морозы. На Ривьере сильный ветер принес холод и снег. Снежные заносы отрезали Марсель от остальной части Южной Франции. В Париже удлинились очереди за бесплатным питанием, и нехватка угля для каминов подписала приговор деревьям в городских парках. Парижанам оставалось только смотреть, как немецкие солдаты крадут продовольствие, прибывающее из Америки, Марокко и с юга Франции. Французы потерпели поражение и понимали, что в будущем их ждут только страдания, голод и рабство. 1 января Петен сказал соотечественникам, что в обозримом будущем «мы будем голодать». У старого маршала была, как и у всех остальных, продовольственная карточка. Он был побежденным[14].

А Шарль де Голль, находившийся в Лондоне, не был. Он постиг нерушимую силу мечты. 1 января де Голль обратился к народу Франции с просьбой оставаться в течение часа в закрытом помещении, символический, но впечатляющий протест, чтобы оставить пустыми улицы. Большинство французов никогда не слышали о де Голле до 18 июня прошлого года, когда, выступая из студии Би-би-си, этот второстепенный генерал объявил себя блюстителем и защитником чести Франции. Он сказал французам: «Что бы ни случилось, пламя французского Сопротивления не должно потухнуть и не потухнет».

Он был католиком правого толка; его ораторские навыки оставляли желать лучшего, однако превосходили его политические навыки. Он не принадлежал ни одной партии; он принадлежал Франции, точнее, был *выдуманным лицом* Франции, а учитывая изгнание, его присутствие было духовным. Плакаты с изображениями Черчилля, Гитлера, Муссолини, Сталина и Рузвельта висели на стенах в их странах, но правительство Виши уничтожило во Франции все изображения де Голля. Вишистские пропагандисты изображали его маленьким, толстым, уродливым неудачником. Французы не представляли, как он

выглядит на самом деле; они знали только его голос, пробивающийся через помехи в эфире — как немцы ни старались, но им не удалось до конца заглушить Би-би-си. Когда Наполеону было столько лет, сколько в 1941 году де Голлю, его жизнь почти подошла к концу; миф, окружавший его, сложился. Де Голль только начинал. Он призывал к сопротивлению, и в ночной темноте вспыхнула искра. В воспоминаниях он пишет: «Я чувствовал, что заканчиваю одну жизнь... В сорок девять лет я вступил в неизвестность, как человек, которому судьба указывала необычный путь». Черчилль придавал огромное значение тому, что делал де Голль, который наполнял французов волей к борьбе, внушал им необходимость бороться. Черчилль делал почти то же самое с британцами, погружая слушателей в туманы и мифы английской истории, в душу Англии. Но разница была, и серьезная. Британцы видели и общались со своим Винни. Де Голль, несмотря на то что французы не представляли себе, как он выглядит, завоевал их сердца. Черчилль признал это; Франклин Рузвельт — нет[15].

Берлин встретил 1 января в мрачном настроении. Несколькими месяцами ранее вермахт прорвал линию Мажино. Угольные печки, койки и продовольствие, достаточное, чтобы кормить 250 тысяч человек в течение года, были отправлены с линии Мажино в немецкие бомбоубежища, где граждане, основываясь на заверениях своих лидеров, предположили, что добытое нечестным путем будет пылиться в силу ненужности. Но теперь Берлин подвергался бомбардировкам королевских ВВС, и пыль заполнила бомбоубежища, проникая с улиц, на которых горели дома берлинцев[16].

Берлинцы заполняли бомбоубежища, но евреям вход был запрещен, фактически им был запрещен вход во все берлинские подвалы. Евреи испытывали свою судьбу на улице. Берлинцы были подавлены кровавым урожаем гитлеровских авантюр и растущим осознанием того, что их жизнь при нацистах не имеет ничего общего с жизнью, которой они когда-то жили и надеялись жить дальше. Тиргартен, безлюдный, темный, молчаливый, был усеян воронками от бомб. В новогоднем обращении Гитлер подверг резкой критике «этого преступника» Черчилля, который в течение трех месяцев по ночам бомбит немецкие города «и — берлинцам это хорошо известно — его основная цель — больницы». Гитлер пообещал, что ответит на «преступления Черчилля», и заверил немцев, что «война будет вестись до конца, пока все преступники, ответственные за свои деяния, не будут уничтожены». Он добавил, что «согласно желанию поджигателей войны — демократов, и их еврейских союзников, эта война должна продолжиться. Представители рушащегося мира надеются, что в 1941 году они смогут добиться того, чего не добились в прошлом. Мы готовы... Год 1941 принесет нам окончательную, величайшую победу в нашей истории». Уильям Л. Ширер покидал Европу, в которой провел пят-

надцать лет жизни, оказавшиеся «счастливыми — лично для меня, и для всех народов Европы», эти годы «были полны смысла и вселяли надежду, пока не пришли эта война, и нацистская зараза, и ненависть, и ложь, и политический бандитизм, и убийства, и резня, и невероятная нетерпимость, и страдания, и голод, и холод, и грохотание бомб, разносящих людей в домах на куски, грохотание бомб, разрушающих человеческие надежды и достоинство»[17].

Берлинцы, как и лондонцы, нашли способ, чтобы выразить свое презрительное отношение к происходящему. Немецкий военный марш Wir fahren, wir fahren, wir fahren gegen Engeland («Мы идем, идем, идем против Англии»), который прошлым летом бесконечно передавали по радио, когда британский экспедиционный корпус попал в окружение в Дюнкерке, был изменен: «Wir fahren, wir fahren, wir fahren, schon seit Jahren, mit langen weissen Haaren, gegen Engeland» (Мы маршируем, маршируем, маршируем; мы маршируем в течение многих лет; наши волосы поседели с течением времени, мы продолжаем идти в поход против Англии). Ширер приводит анекдот, который ходил по Берлину: «Самолет, в котором летят Гитлер, Геринг и Геббельс, терпит крушение. Все трое погибли. Кто спасся? Ответ: немецкий народ». Ширер, в отличие от Уайтхолла, понявший психологию нацистов, предсказал, что «Британия не выиграет эту войну, уморив голодом немецкий народ», поскольку «Гитлер, который никогда не был сентиментальным по отношению к негерманцам, позаботится, чтобы умер от голода каждый из 100 миллионов человек на оккупированной территории, прежде чем хоть один немец умрет. В этом мир может быть уверен»[18].

За исключением бесчисленных народов, населявших Британскую империю, Черчилль сам был не особо сентиментален по отношению к небританцам, и в частности, к французам, после капитуляции Франции. В новогоднем обращении Петен объявил французам, что проблемы с продовольствием на юге Франции связаны с британской блокадой. Он не сказал соотечественникам, что поставки продовольствия из Соединенных Штатов во Французское Марокко, предназначенные для оккупированной Франции, немцы — с согласия Виши — отправляют в Германию. Помутнение рассудка у Петена привело в бешенство Черчилля, который выразил свое недовольство Рузвельту. Когда спустя несколько недель Государственный секретарь США Корделл Халл выразил протест в связи с длительной британской блокадой Виши, Черчилль с возмущением сказал Галифаксу: «Не могу поверить, что правительство Соединенных Штатов хочет, чтобы мы просто ничего не делали и продолжали войну, беспрепятственно пропуская в Германию все эти грузы, не только продовольствие, но и резину и другие материалы военного назначения». Он высказал Рузвельту свое отношение по этому вопросу в присущей ему манере: «К примеру, есть французское судно... с 3 тысячами тонн резины на борту, кото-

рая, конечно, предназначена не для изготовления сосок на детские бутылочки». Все боеприпасы и материалы, объяснил он Рузвельту, «идут прямо в Германию и Италию». По мнению Черчилля, если для того, чтобы не допустить поступления в Германию материалов военного назначения, потребуется отрезать пути поставки продовольствия во Францию, то так тому и быть. Суда, необходимые для снабжения Великобритании, не могут заниматься доставкой продовольствия во Францию, сказал он Рузвельту, тем более что Черчилль не хотел, чтобы британцам, «помимо тяжелых бомбежек, которые, вероятно, скоро возобновятся, пришлось затянуть пояса и лишиться немногих оставшихся удобств, считая, что я не прилагаю максимум усилий против врага». Если британская блокада означает, что французы должны голодать, чтобы британцы могли жить, так на то и война[19].

Подводная блокада Великобритании привела к существенному исчезновению всех продуктов с полок кладовых. Все, включая кабинет, перешли на половинную норму довольствия (все, кроме важных персон, обедавших в ресторанах отелей «Кларидж», «Савой», «Риц» и других оставшихся целыми после бомбежек отелях). Городские жители, у которых были друзья в сельской местности, могли достать несколько яиц в месяц. Алек Кадоган был счастлив, когда купил десяток молодых курочек, но потом они перестали нестись. Индейки были в дефиците и дорогие. В неделю на одного человека приходилось менее фунта мяса с костями. Для страны, в которой на протяжении веков день начинался с бараньей отбивной и заканчивался куском жареного мяса, пудингом с говядиной и пирогом с почками, это было сродни катастрофе. Мало того что исчезли мясо и яйца, так исчезли и повара, дворецкие и судомойки в богатых и состоятельных семьях. Когда повара и прачки пошли работать на военные заводы, на кухнях и в прачечных Вест-Энда и в богатых загородных домах образовался дефицит прислуги. Молли Пэнтер-Доунес отметила заметный рост газетных объявлений, которые приносили в газеты «страдающие дамы», разыскивающие слуг, которым обещали, что они найдут «счастливую семью, огромную зарплату и безопасное место, где гарантированно ничего не будут знать о бомбежках». Слуги меньше занимались делами по дому, а больше починкой; летом 1941 года была введена система купонов на одежду, так что независимо от возможностей покупателя купить одежду за деньги не представлялось возможным. Каждый предмет одежды получил определенное количество «баллов» (к примеру, женское платье — 5 баллов, мужские брюки — 6); в год один человек мог купить одежду на сумму 48 баллов. Женщины до конца войны донашивали выходные платья. Замшевые заплатки на локтях мужских пиджаков делались теперь исключительно из практических соображений[20].

У жителей Ист-Энда, стоявших на социальной лестнице даже ниже тех, кто обслуживал богатых, не было необходимости беспокоиться

о дефиците одежды и говядины; они в любом случае не могли себе это позволить. Бедные ели Blitz soup, вязкую консервированную массу, навязанную министерством продовольствия, использовали в еду яичный порошок. Добропорядочным британским гражданам объяснили, что наблюдается дефицит требухи, а кур нет. В мясных магазинах появилась конина. Для ее покупки купоны не требовались, но она плохо продавалась. Как мусульмане отказываются употреблять в пищу свинину, так и британцы избегали употреблять в пищу конину[21].

Но из розничной продажи исчезло не только свежее мясо. В магазинах не стало шелковых чулок; большинству были не по карману табачные изделия; лезвия для бритья стали дефицитом; из магазинов исчезли ершики для чистки — женщины приспособились использовать их в качестве бигуди. После того как бомбы попали в газовый завод, начались проблемы с приготовлением чая. Требовался почти час, чтобы вскипятить воду. А вот проблема с жаркой мяса в отсутствие газа решилась сама собой, поскольку не было самого мяса. Вырисовывалась проблема, связанная с дефицитом угля, если поставки из Уэльса, с угольных шахт, в Лондон не увеличатся с существующих 250 до 410 тысяч тонн в неделю; по мнению Черчилля, ситуация сложная для понимания, учитывая затишье в блице и хорошее состояние железных дорог. При этом, согласно статистическим данным, британцы остались человечными и милосердными: почти 20 тысяч котов и кошек были спасены из разбомбленных зданий[22].

Согласно проведенным опросам, вдвое снизился процент разводов; сохранился уровень рождаемости, и популярность имени Уинстон для новорожденных мальчиков возросла более чем втрое*.

Как ни странно, но, учитывая скудный рацион питания и отсутствие центрального отопления, сократились случаи пневмонии и дифтерии. Снизился уровень преступности, что, по мнению Черчилля, было странно, учитывая широкие возможности для грабежа — «гнусного» преступления, с его точки зрения. В некоторых случаях можно было найти оправдание содеянному. Черчилль сказал министру внутренних дел Герберту Моррисону, что приговор — пять лет каторжных работ, вынесенный шести пожарным, пойманным на краже виски из горящего паба, не идет ни в какое сравнение «с приговорами — три и шесть месяцев, вынесенными за кражу драгоценностей». Пожарные, в конце концов, взяли виски для «собственного употребления», а не для личного обогащения. Старика бесил тупой бюрократический подход к делу. Когда лондонца оштрафовали на 100 фунтов за то, что он «без разрешения» расправился с бомбой замедленного действия, Чер-

* Среди тех, кто выбрал это имя, была молодая пара из Ливерпуля, Альфред и Джулия Леннон, которые назвали своего сына, родившегося 9 октября 1940 года во время налета немецкой авиации на Ливерпуль, Джон Уинстон Леннон. (*Примеч. авт.*)

чилль пришел в ярость. За что, спросил он Моррисона, оштрафовали этого человека? За то, что он спас свой дом. И приказал «наградить героя медалью Георга»*.

И когда, по всей видимости, «сумасшедшей женщине» присудили пять лет каторжных работ за сказанные ею слова, что «Гитлер хороший правитель и как человек лучше мистера Черчилля», Черчилль сказал Моррисону, что это «слишком суровый приговор»[23].

2 января Гарольд Николсон, прогуливаясь по Старому Лондону — все еще тлеющему после налета 29 декабря, — заметил небольшие группы угрюмых людей, стоявших у развалин. Он услышал, как те бормочут, что надо отомстить, чем сильнее и раньше, тем лучше. «Мы боремся с дьяволом, — написал вечером того дня Николсон, — и я не вижу, почему мы не должны бороться как дьяволы, чтобы они могли это увидеть». Во время прогулок он отметил едва различимый, но явно возросший скептицизм. Когда в ноябре во всех газетах было опубликовано известие о налете на Таранто, — на аэрофотоснимках были видны поврежденные итальянские корабли, — оно было встречено скептически, особенно представителями низшего социально-экономического класса, считавшими фотографии фальшивкой. Долгожданное известие, что греки нанесли поражение итальянцам в Албании, представлялось разносчиками газет как доказательство плачевного состояния британских вооруженных сил, поскольку разбитые греками итальянцы нанесли поражение англичанам в Британском Сомалиленде. Жители Ист-Энда сочли бессмысленными недавние победы, одержанные британцами над итальянцами в Северной Африке. Настоящий враг, Гитлер, продолжал бродить по Европе, спокойно и безнаказанно[24].

Лондонская беднота была настроена скептически, тем не менее социалистам не удалось разжечь в Силвертауне, Степни и трущобах Ист-Энда революционные пожары. Жители Ист-Энда сохраняли преданность общему делу, даже когда горели и рушились дома, в которых они снимали жалкие квартиры. Теперь большинство людей предпочитали оставаться дома во время бомбежек, с презрением относясь к андерсоновским убежищам, которые, по словам социалистов, «не могли защитить петуха от дождя». Убежища Андерсона, по крайней мере, не представляли угрозы для здоровья, в отличие от импровизированных убежищ под железнодорожными мостами. Констебль, посетивший такое убежище, сначала услышал, а затем увидел его: «Первое, что я услышал, был глухой гул, словно там находились животные, которые стонали и кричали. И затем... невероятное зловоние, пора-

* Медаль Георга — гражданская награда второго уровня в Великобритании и Британском Содружестве. Учреждена 24 сентября 1940 года королем Георгом VI во время «лондонского блица».

зившее меня. Сильнее, чем запах трупов, резкий, тяжелый и такой мерзкий, что меня вытошнило. Я видел обращенные ко мне лица, освещенные фонарями и свечами. Это напоминало картину ада». Кокни было отказано даже в том, чтобы получить удовлетворение от чтения в газетах о своем бедственном положении. Министр информации Дафф Купер запретил печатать сообщения о количестве жертв и местах, куда попали бомбы. Рабочие, которые узнавали новости из коммунистической, паникерской газеты Daily Worker, уже не могли это делать после 21 января 1941 года, когда министерство внутренних дел без предъявления обвинений закрыло редакцию газеты. Однако в газетных некрологах содержались подсказки, в них сообщалось о «внезапных» смертях жертв бомбардировки. Если в некрологах говорилось о множестве «внезапных» смертей в каком-то районе, не вызывало сомнений, что этот район подвергся сильной бомбардировке[25].

Уничтожение жалких трущоб Ист-Энда и Саутворка, Манчестера, Бирмингема и других промышленных районов вызывало ироническую реакцию жителей этих районов. Немцы избавили Великобританию от трущоб, сделали работу, которую правительство избегало делать в течение сорока лет. Лишившиеся домов лондонцы ждали в среднем пять месяцев, чтобы получить приемлемое жилье. Черчилль вкратце изложил Колвиллу план по оказанию помощи домовладельцам — до 1000 фунтов стерлингов (по курсу 2012 года около 55 тысяч долларов), и парламенту предстояло выполнить обещание. Черчилль приказал новоиспеченному министру труда Джону Рейту (до этого занимавшему должность министра транспорта) энергичнее продолжать работу по восстановлению разбомбленных районов. При этом Черчилль сказал Эдварду Бриджесу, секретарю кабинета министров, что «мы не должны позволить этим будущим послевоенным проблемам отнять силы, которые понадобятся, возможно, в течение нескольких лет для ведения войны». Кокни придется ждать десятилетие новых домов, бесперебойных поставок электроэнергии, угля, газа, воды и бензина. Ожидание качественной одежды и свежих, разнообразных продуктов затянется на десять лет. В начале 1941 года единственными товарами, регулярно поставляемыми британцам, были немецкие бомбы[26].

В своих воспоминаниях Черчилль сравнил 1940 год со «стрельбой в водопаде» и назвал начало 1941 года «борьбой в порогах». В январе 1941 года единственная надежда — ленд-лиз — обсуждалась на далеком берегу. Черчилль и Англия сражались в одиночку, о чем премьер-министр ясно дал понять, сформулировав тему своих воспоминаний о 1940 годе следующим образом: «Тема данного тома: как британский народ удерживал крепость в одиночестве до тех пор, пока те, которые до этого были наполовину слепы, не стали наполовину подготовленными».

В исторической памяти американцев 1941 год начался 7 декабря. Для Черчилля и Великобритании на самом деле весь год шла длительная и тяжелейшая борьба в порогах. Да, Великобритания сражалась при полной поддержке доминионов, а с учетом того, что четверть населения земли проживало в Британской империи, заявление, что Англия сражалась в одиночку, может выглядеть поспешным. Но в значительной степени это было именно так. Канада в результате отправила в Великобританию 90 тысяч летчиков; они сыграли важную роль в бомбардировке Германии. Но первая канадская эскадрилья бомбардировщиков приняла участие в боях только в середине 1941 года. Три канадские пехотные дивизии и две бронетанковые дивизии были готовы к бою, но разбросаны по империи, включая дивизию в Великобритании и батальон в Гонконге. Австралия предоставила четыре пехотные дивизии. В течение года по мере возрастания угрозы нападения японцев энтузиазм Канберры по поводу войны в Европе ослабевал. Новая Зеландия за два года направила за границу 50 тысяч солдат и 10 тысяч летчиков, но в начале 1941 года в боевой готовности находился только новозеландский корпус генерал-лейтенанта Бернарда Фрейберга. Южная Африка предоставила три дивизии, но только для базирования в Африке, где Эрмин Роммель в течение года серьезно измотал их. В начале 1941 года направленные доминионами войска, вместе с британскими войсками, в численном отношении значительно превосходили силы оси. После падения Франции Гитлер *демобилизовал* сорок дивизий, значительно больше, чем все вооруженные силы доминионов. Даже в конце 1941 года, после того как в течение месяцев шел спешный призыв на военную службу, силы Британской империи — девяносто девять дивизий — в численном отношении уступали вермахту. В начале 1941 года почти все гитлеровские войска находились в пределах 600 миль от Лондона[27].

Перспективы британцев в Средиземноморье и на Балканах, в случае появления на сцене немцев, выглядели сомнительными. В первых числах января больше 150 бомбардировщиков и истребителей люфтваффе базировались на Сицилии, всего в 100 милях и тридцати минутах лета от Мальты. Такая сила представляла угрозу для Средиземноморья от Французской Ривьеры до Северной Африки. Британцы могли противопоставить этой силе всего пятнадцать потрепанных «Харрикейнов», находившихся на Мальте, важнейшей части владений в Центральном Средиземноморье. Осажденная Мальта была окружена минными полями и итальянскими подводными лодками с моря и немецкой и итальянской авиацией с воздуха. Остров был Англией в миниатюре — изолированный и израненный, — но с двумя важными отличиями: немцы и итальянцы, а не Королевские ВВС господствовали в воздухе над Мальтой, и итальянский, а не Королевский флот окружал остров. Агрессивная стратегия, какой она была с прошлого

лета, требовала захвата острова итало-германскими силами — флотом Муссолини и гитлеровскими парашютистами.

Грозные немецкие войска были отправлены на Балканы. В середине января почти 500 тысяч немецких солдат — по заявлению Берлина, «туристы», взявшие с собой танки и артиллерию — заняли позиции на румынском берегу Дуная, снова, как во времена Римской империи, граница отделила цивилизованный мир от варваров. Это была награда Румынии за присоединение к оси, решение, продиктованное по большей части необходимостью. Уступив в 1940 году требованию Сталина относительно возврата Бессарабии и Северной Буковины и требованию Гитлера относительно возврата Северной Трансильвании Венгрии, румынскому диктатору, генералу Иону Антонеску, ничего не оставалось, как присоединиться к Гитлеру, чтобы сохранить то, что осталось от Румынии. Сталину не пришло в голову, что из 500 тысяч немецких солдат только около 20 тысяч нужны для обеспечения суверенитета Румынии. На другом берегу Дуная находились Югославия и Болгария. Болгария, по сути, была доиндустриальной страной. Ее лидеры и народ жили с уверенностью, что рано или поздно Гитлер или Сталин нарушит нейтралитет Болгарии. Куда бы Гитлер ни собирался направиться, ему требовалось пройти через Болгарию. Но дороги в Болгарии были в плохом состоянии, а железные дороги не предназначены для переброски современной армии. В отличие от Болгарии железная дорога связывала Югославию с Грецией, Венгрией, Румынией и Австрией. Гитлер нуждался в Югославии; Черчилль нуждался в Югославии. Гитлер мог захватить Болгарию; Черчилль не мог защитить ее. Черчилль сделал вывод, что немецкие «туристы» направляются на Балканы, к порогу Средиземноморья, это «поворот судьбы»[28].

Германское военно-морское командование, понимая, о чем думает Черчилль, подготовили осенью документ, в котором говорилось о том, что «борьба за африканские территории» является «основной стратегической целью германских военных действий... Она имеет решающее значения для исхода войны». Плохо управляемые итальянцы не могли одержать победу, сражаясь в одиночку, что подтвердили унижение от греков, потери в Таранто и борьба против О'Коннора в пустыне. Редер предупреждал, что если ось не оккупирует вишистскую Северо-Западную Африку (Марокко, Тунис, Алжир), то это в свое время сделают Черчилль и голлисты с помощью промышленных мощностей Америки. По этой причине германское военно-морское командование пришло к выводу, что Германия должна оккупировать Северо-Западную Африку. Британцам повезло, что Гитлер был сухопутным воином, который редко (за исключением того, что касалось подводного флота) прислушивался к советам своих компетентных адмиралов. Гитлер, глядя в сторону России, согласился только на полумеры — направить самолеты на Сицилию и войска в Румынию —

в ожидании некоего будущего набега на Балканы, скорее всего в Грецию, чтобы помочь своему незадачливому союзнику[29].

Черчилль в общих чертах обрисовал средиземноморскую стратегию в длинном меморандуме, адресованном Исмею и Комитету начальников штабов. Он видел три основные задачи, обратные тем, что видело германское военно-морское командование. Британцы должны удержать то, что имеют от Суэца до Гибралтара; вступить в бой и разгромить итальянский флот и выдворить итальянскую армию из Африки (что делает О'Коннор, захвативший накануне Бардию); не пускать немцев в Средиземноморье. В отличие от Гитлера, издававшего директивы, являвшиеся приказами, простыми и понятными, не допускавшими иного толкования, Черчилль обдумывал, проверял и обращался за советом к своим военачальникам. «Основной и важнейшей задачей наших операций за границей в первые месяцы 1941 года, — написал он, — должен быть скорейший разгром итальянских вооруженных сил в Северо-Восточной Африке». Тобрук должен стать базой, с которой можно будет руководить ливийскими операциями. Необходимо очистить Восточную Африку от итальянцев. Это обеспечит безопасность Суэцкого канала и юго-восточного побережья Средиземного моря.

В Западном Средиземноморье существовала возможность, что Франко откажется предоставить Гитлеру беспрепятственный проход к Гибралтару, и тогда Гитлер может попытаться прорваться в Испанию через неоккупированную Францию в нарушение июньских условий перемирия. Черчилль считал, что в этом случае «правительство Виши может переехать в Северную Африку и возобновить войну оттуда или уполномочит сделать это генерала Вейгана». Черчилль предложил Петену и Вейгану помощь Великобритании, если они примут такое решение. Это была несбыточная мечта. Лидеры Виши считали, что Германия выиграет войну; на самом деле они *хотели*, чтобы Германия выиграла войну. Как Вейган в Марокко ненавидел де Голля, так и де Голль ненавидел Вейгана и яростно ненавидел фашиствующего государственного деятеля Пьера Лаваля. Французы придавали больше значения личным чувствам, чем чувству национальной чести. В июне прошлого года Вейган и Петен упустили возможность сражаться за честь Франции. Они прекратили борьбу, но перед заключительным актом предательства пытались вытянуть последние резервы Королевских ВВС. С каждым месяцем Черчилль все больше разочаровывался во французах. Однажды он сказал Колвиллу, а в другой раз гостям во время завтрака, что передай Британия «эти самолеты Франции... война, возможно, была бы проиграна»[30].

Он не получил бы помощи в Западном Средиземноморье от вишистской Франции. А поскольку сотрудничество Лаваля с нацистами стало еще более очевидным, Черчилль сказал Колвиллу, что сожалеет об отсутствии Шарлотты Корде[31].

Для защиты Восточного Средиземноморья он предложил объединить силы Югославии, Греции и Турции. По сути, надеялся убедить Балканские страны, что связку пшеничных стеблей сломать труднее, чем один стебель. Пришло время перебросить часть сил Уэйвелла из пустыни в Грецию, не только для того, чтобы помочь грекам, но и для того, чтобы поддержать югославов и турок. «Возможно, позиция Югославии определится в связи с помощью, которую мы оказываем Греции», — написал Черчилль, как и позиция Турции. Он предложил помериться силами с Гитлером. Но греки поняли, что самый надежный способ спровоцировать Гитлера — призвать британские войска вступить в бой. Генерал Александр Папагос отбросил итальянцев в Албанию, и ситуация казалась многообещающей, но греки голодали. Зима, а не итальянская армия ослабила решимость греков. Муссолини мог усилить свои албанские легионы, а премьер-министр Метаксас не мог. Он отчаянно нуждался в ресурсах — танках, противотанковых орудиях, винтовках, самолетах, боеприпасах, продовольствии и одежде. Метаксас обратился за помощью к Соединенным Штатам, но конгресс только приступил к обсуждению билля о ленд-лизе, и Соединенные Штаты будут в первую очередь оказывать помощь Великобритании. Без помощи Метаксас не мог сокрушить итальянцев, тем более что полмиллиона немцев расположились на румынском берегу Дуная[32].

Черчилль оценил ситуацию в регионе и сделал вывод, что если немцы придут на помощь дуче в Грецию — через Румынию к Черному морю, а затем в Болгарию, — то Турция вступит в войну. «Если позиция Югославии останется твердой и ей не будут угрожать, если греки захватят Валону и укрепятся в Албании, если Турция станет нашим активным союзником, то, возможно, позиция России изменится в благоприятную для нас сторону. Всякому ясно, с какими неприятностями, если не со смертельной опасностью, должно быть связано для России продвижение германских войск к Черному морю или через Болгарию к Эгейскому морю. Только страх будет удерживать Россию от вступления в войну, и возможно, что сильный фронт союзников на Балканах наряду с растущим престижем английской армии, военно-морского и военно-воздушного флотов отчасти умерят этот страх». Британское присутствие, возможно, убедит Сталина объединиться с Великобританией, «однако мы не должны на это рассчитывать». Правильно. С учетом гитлеровских армий, расположившихся в Румынии, все эти черчиллевские «если» были маловероятны. Провокации Гитлера произвели столь ошеломляющее впечатление на югославское правительство, что оно даже отказалось в марте встретиться с Иденом, который прибыл в Грецию с просьбой принять предложение Черчилля об объединении усилий в борьбе с Гитлером. Ментаксас продолжал отделываться вежливым «нет» на предложение Черчилля об оказании военной помощи вплоть до своей внезапной

смерти в конце января, оставив генералу Александру Папагосу, герою сражения с итальянцами, обдумывать предложения Черчилля, которые он в конечном итоге принял в начале марта. Турки, со своей стороны, вообще не собирались откликаться на предложение Черчилля. С одной стороны у них был Гитлер, с другой — давний враг, Россия, а в их армии не было ни одного танка. На самом деле Энтони Иден хотел, чтобы Турция осталась нейтральной по той простой причине, что Великобритания не могла обеспечить военную защиту Анкаре, если бы турки присоединились к Британии[33].

Черчилль закончил меморандум прогнозом, повторив то, что сказал Колвиллу и в палате летом прошлого года: «Не приходится сомневаться, что Гитлеру больше, чем когда бы то ни было, необходимо сокрушить Англию или уморить ее голодом. Ни большая кампания в восточной части Европы, ни поражение России, ни захват Украины и продвижение от Черного до Каспийского моря не дадут ему — вместе или в отдельности — победоносного мира, если в это время силы английского военно-воздушного флота будут постоянно возрастать за его спиной и ему придется держать в узде целый континент с его голодным, озлобленным населением». Но британские военно-воздушные силы еще не были достаточно сильны, чтобы существенно изменить ситуацию. Это могли сделать армии и хорошо вооруженные союзники. Но у Черчилля не было армий, и он не имел союзников. Но даже если бы имел и создал единый балканский фронт, то не смог бы, в отличие от Гитлера, обеспечить своих друзей современным оружием. На самом деле у Черчилля ни для кого не было оружия, ни устаревшего, ни нового. У Великобритании, в условиях подводной блокады, с тающими на глазах наличными средствами не было иного выбора, как держаться до конца на острове и в Средиземноморье[34].

Поток черчиллевских меморандумов, многие из которых касались самых обычных, житейских вопросов, превратился в реку; некоторые его подчиненные настаивали на том, что в реку, вышедшую из берегов. Начальник имперского Генерального штаба сэр Джон Дилл, обедая как-то вечером с сэром Джоном Рейтом, который до войны был сторонником Чемберлена, сказал, что только «одна из десяти записок Черчилля является полезной — иногда даже очень». Министры впустую тратят огромное количество времени, сказал Дилл, на «глупые записки премьер-министра». Действительно, в некоторых черчиллевских записках рассматривают вопросы, которые обычно не имеют отношения к Величайшим историческим личностям, но Черчилль не был бы Черчиллем без этих записок. Он любил размышлять о тонкостях ведения войны, а затем писать записки, которые заставили Дилла в разговоре с Рейтом высказать язвительное замечание в адрес премьер-министра[35].

Среди интересовавших Черчилля вопросов был вопрос о том, на какой стадии находится разработка 4000-фунтовой бомбы, поскольку он хотел как можно скорее сбросить на рейх эту смертоносную бомбу. Захваченный идеей сбросить зажигательные бомбы на Шварцвальд, чтобы сжечь дотла все деревья, он предложил Королевским ВВС провести проверку оборудования в Ньеппе, где из-за засухи выгорел подлесок. Его вниманием завладела операция Razzle («Суматоха»), нацеленная на уничтожение зерновых культур в Германии, хотя большая часть сельскохозяйственных площадей находилась на востоке Германии, вне досягаемости Королевских ВВС. Он добивался от министра информации Даффа Купера более честного подхода к новостям, чтобы британцы могли верить тому, что читают в газетах и слушают по Би-би-си. Он настоял на том, чтобы пресса не сообщала о количестве жертв среди гражданского населения, объясняя это тем, что подобная информация может отрицательно сказаться на моральном духе пограничных войск, в которых, по его мнению, служили в основном британцы. Что касается продовольственной проблемы, то в одной из записок он сокрушался по поводу яичного кризиса, а в другой предложил решение: «На заднем дворе много отходов, которыми можно кормить домашнюю птицу и, следовательно, сохранять зерно». Он не забыл и сельскохозяйственных животных: «Следует отдать должное разведению кроликов... Они в основном питаются травой... так почему бы не разводить их в неволе?» Он пометил записку о кроликах «Действие в этот день». Он считал, что намного важнее накормить британцев, чем купить оружие, и требовал ввозить необходимое количество продовольствия «для поддержания оставшихся сил народа, даже если это несколько замедлит» наращивание военной мощи. Временами сквозь его холодность пробивалась жалость. Когда министр спросил, как лучше помочь тысячам бездомных, бродящим по Лондону, Черчилль предложил отправить их подальше от Лондона, где не будет воздушных налетов[36].

Прочитав отчет генерала, который приказал, чтобы каждый солдат в его дивизии регулярно совершал семимильную пробежку, Черчилль написал записку следующего содержания:

«Правда, что в этой дивизии все от генералов до рядовых совершают семимильный бег по пересеченной местности? Полковник и генерал не должны изнурять себя, пытаясь соревноваться с молодыми парнями в беге по пересеченной местности... Что за генерал в этой дивизии и пробегает ли он сам эти 7 миль? Если да, то он, возможно, намного полезнее на футбольном поле, чем во время войны. Бегал ли Наполеон семимилльный кросс в Аустерлице?.. По моему опыту... офицеры, имеющие высокие спортивные разряды, обычно не слишком успешны в достижении высоких званий»[37].

Записки Черчилля, сказал Дилл Рейту, наводят на мысль, что он «зачастую не способен оценить и понять главные проблемы». На са-

мом деле Дилл и Рейт были не способны оценить талант Черчилля схватывать суть всех проблем, не только очевидных для всех, но и очевидных только для него. Дилл ничего не ответил, когда Рейт спросил, не считает ли он, что Черчилль «сделал больше вреда, чем пользы, — то есть доставил больше неприятностей и огорчений тем, кто руководит войной». Рейт принял молчание Дилла за согласие. «Я уверен, — написал Рейт в дневнике, — что он [Дилл] сказал бы еще резче, чем я»[38].

То, что не видели Дилл и Рейт, но видел Черчилль, и было «главным вопросом»: победа над гитлеризмом. Что касается его записок, оказывающих пагубное воздействие на «тех, кто руководит войной», то Рейт позволил пристрастному гневу взять верх над логикой. Войной руководил Черчилль. При этом он пытался создать образ безжалостного главнокомандующего, извергая громы и молнии, частично в надежде вселить страх в сердца немцев — в чем он потерпел неудачу, — но в основном чтобы поднять моральный дух соотечественников. В этом он преуспел. Марджери Аллингем, британская писательница, автор детективных романов, написала американской подруге: «Господин Черчилль — настоящий бульдог, воплощение британской агрессивности и живое олицетворение истинного британца в борьбе, не останавливающегося ни перед чем. Он никогда не отпустит. Он так создан, что не может дышать, если отпустит. После боя он поползет, неузнаваемый, в крови, счастливый, сжимая в зубах сердце врага».

Посадив Черчилля в седло, написала она, «британский конь получил хозяина, который, он знал, будет намного безжалостнее, чем кто-либо в Европе»[39].

Французские моряки в Оране испытали черчиллевскую жестокость. Сотни тысяч немцев — в Дрездене, Гамбурге и Берлине — скоро оценят точность высказываний Аллингем. Через два года 40 тысяч немцев погибнет в результате трех ночных налетов Королевских военно-воздушных сил на Гамбург — такое количество британцев погибло в первый год бомбардировок люфтваффе. Черчиллю не доставляли удовольствия подобные методы ведения войны, но он считал, что для ведения войны необходима ярость. Его воспитание и почитание британской конституции гарантировали уважительные отношения с парламентом и начальниками штабов, отношения, которые исключали, в известной степени, односторонние действия, в которых бы присутствовала некая доля кровожадности, безрассудства или диктаторства. Однако, как он продемонстрировал в случае с Ораном, время от времени он вел себя так, словно существовало только его мнение. Он не был диктатором, но даже если был, то в начале 1941 года у него не проявлялись диктаторские наклонности. Он сказал Диллу: «Я сильно сомневаюсь в нашей способности воевать с немцами в любом месте на Европейском материке»[40].

Черчилль — не знавший наверняка о планируемом Гитлером предательстве Сталина — мог только предполагать, что немцы и русские договорились между собой относительно принятия более действенных мер в части обмена важными материальными средствами, чем Великобритания и Америка. Фактически за четыре месяца, прошедшие с тех пор, как Рузвельт согласился передать пятьдесят американских истребителей, только несколько были готовы к бою, и все они были переданы в обмен на территорию, принадлежавшую Великобритании. Американские материальные средства убили не слишком много немцев. И приветственные и вдохновляющие речи Рузвельта убили не больше немцев, чем речи Черчилля. Прошлогодний британский финансовый кризис не пошел на спад; с каждым днем положение ухудшалось. Росли потери в кораблях и судах. Американские заводы производили башни и танковые двигатели — а вместе с ними уменьшались денежные резервы Великобритании, — но все это будет напрасно, если груз не дойдет до Великобритании. Перед наступлением нового года Черчилль, Иден, Бивербрук и министр финансов Кингсли Вуд встретились, чтобы обсудить важный вопрос, связанный с поставками, — цену, затребованную американцами. По слухам из лондонского посольства, американцы были готовы «умыть руки», если Великобритания не потратит более 250 миллионов долларов — половину оставшихся денежных резервов — на «программу Б», производство оружия и боеприпасов в количестве достаточном, чтобы полностью вооружить десять дивизий, что потребуется не раньше 1942 года. Британцев намного больше интересовала «программа А», производство авиационных двигателей, танков и патрульных судов, в которых они отчаянно нуждались. В ходе встречи было решено сказать американцам, что если они будут настаивать на первоочередности «программы Б», то британцы откажутся от обеих программ[41].

В середине декабря Черчилль дал волю своему негодованию в телеграмме Рузвельту: «Если вы собираетесь «умыть руки», то есть не дать нам ничего, если мы не сможем заплатить... мы, конечно, не сдадимся», и, хотя Великобритания может жить, она «не в состоянии уничтожить нацистскую тиранию и дать вам время, которое требуется для перевооружения». Это письмо он тоже не отправил[42].

Черчилль, в знак благодарности, назвал свои воспоминания о 1941 годе «Великий союз»*.

Возможно, более подходящим названием, учитывая скромный, хотя и увеличивающийся поток материальных средств, поступающих из

* Выбрать «Великий союз» в качестве названия третьего тома военных воспоминаний очень по-черчиллевски: он выражает благодарность американцам за помощь в военное время и одновременно проводит сравнение между своим руководством войной и своего знаменитого предка, Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо, чей «Великий союз» разбил франко-баварскую армию при Бленгейме в 1704 году во время Войны за испанское наследство. (*Примеч. авт.*)

Америки, было бы «Великое состояние ожидания». Черчиллю в Лондоне был необходим американец, человек, занимающий высокое положение, человек, которому он мог бы доверять, человек, который бы понял, что действительно поставлено на карту. Рузвельту нужен был посредник в Лондоне, кто-то, чьим советам он мог доверять, человек, который мог проверить заявления Джо Кеннеди относительно упадка морального духа британцев, человек, который мог оценить, является ли Черчилль пьяницей, и понять, как он относится к Рузвельту. Они оба нуждались в человеке, который бы в силу своих способностей установил между ними контакт. В первую неделю января в Лондоне не было такого американца.

Но он был на пути в Лондон. Франклин Рузвельт отправил в Лондон человека, который производил впечатление среднего американца Джо. Это был Гарри Гопкинс, сын золотоискателя и коммивояжера из Айовы. Но Гопкинс не был средним американцем; он был самым доверенным советником Рузвельта, одинаково презираемым теми, кто ненавидел Рузвельта, и теми, кто любил президента, но, согласно биографу Гопкинса, Роберту Эммету Шервуду, «айовец сочетал в себе черты Макиавелли, Свенгали и Распутина». Гопкинс прибыл в Великобританию 9 января на гидросамолете. Министерство иностранных дел сочло его визит столь несущественным, что Черчиллю даже не передали телеграмму, извещавшую о его прибытии. Когда Черчилль узнал, что скоро в Лондон прибудет некий Гарри Гопкинс, он спросил: «Что за Гарри?» Но после того как Брэнден Брекен сообщил ему об особых отношениях между Гопкинсом и Рузвельтом, Черчилль, оценив значимость посетителя, приказал расстелить красные ковровые дорожки, если они уцелели после блица[43].

Одеваясь к обеду 6 января, в день, когда он написал длинный меморандум Исмею, Черчилль рассказал Колвиллу о «Ледисмите и о том, почему он всегда вспоминает 6 января». В тот же день утром он отправил короткое сообщение генералу сэру Яну Гамильтону, другу со времен службы в Индии: «Вспомнил тебя и Вэггон-Хилл*, когда 6 января принесло известие о боевом подвиге». В послании Гамильтону Черчилль пишет, что два месяца, которые он провел в Южной Африке в должности лейтенанта легкой кавалерии во время второй Англо-бурской войны, когда британцы прорвали бурскую осаду Ледисмита, стали «одним из самых счастливых воспоминаний». Гамильтон командовал бригадой конной пехоты, удерживавшей жизненно важный холм южнее Ледисмита, Вэггон-Хилл.

Рано утром 6 января 1900 года буры пошли в атаку на позиции Гамильтона. Эта часть позиции была слабо укреплена, и поражает, как

* Waggon Hill — бурское правописание. (*Примеч. авт.*)

Ян Гамильтон мог оставить ее в подобном виде. Но Гамильтон не сдавал позиций, сплотил войска и в течение шестнадцати часов, пока гроза не возвестила о победе, удерживал гряду; если бы ее не удержали, город наверняка тоже не устоял и история могла пойти совсем иначе. Британские войска прорвали осаду Ледисмита, и Черчилль, вечно спешащий, первым из легкой кавалерии въехал в освобожденный город[44].

На Вэггон-Хилл сражались люди XIX века в условиях XIX века. Для разведки и корректировки артиллерийского огня использовались воздушные шары. Из орудийных окопов раздавался грохот нарезных орудий. Сообщения передавали с помощью гелиографов. Оружие и все происходящее на поле боя было знакомо ветеранам сражений при Энтитеме, Колд-Харборе и Балаклаве*.

Однако Вэггон-Хилл считается одним из первых сражений XX века, не только в силу временного фактора, но и потому, что использовались пулеметы с водяным охлаждением, обложенные мешками с песком огневые точки и ряды стальной проржавевшей колючей проволоки, на которой висели тела молодых англичан и буров. В тот день вместе с ними умерла эпоха, на которую пришелся период их возмужания. Спустя четыре десятилетия об их сражении давно забыли, кроме тех немногих, еще живущих, кто сражался вместе с ними, и тех, кто, подобно Уинстону Черчиллю, жалел, что их нет рядом.

Боевой подвиг, о котором написал Черчилль Гамильтону, — взятие Бардии — незначительная операция против итальянцев на ливийском побережье, которая не шла ни в какое сравнение с операцией по снятию осады с Ледисмита. Когда Черчилль рассказывал невероятные истории Колвиллу, Франклин Рузвельт готовился выступить с посланием «О положении страны» перед членами конгресса США, тем самым давая Черчиллю еще одну причину вспоминать 6 января. В 14:03 по восточному стандартному времени Рузвельт начал свое выступление. В течение пятнадцати минут в выражениях, которые, несомненно, вдохновили Черчилля и привели в бешенство Гитлера и изоляционистов, он пообещал поддержку странам, борющимся против оси, и более того: «Я также буду просить нынешний конгресс утвердить полномочия и ассигнования, достаточные для производства дополни-

---

* Сражение при Энтитеме — сражение в ходе Гражданской войны в США 17 сентября 1862 года между федеральной армией (командующий Джордж Макклеллан) и армией конфедерации (командующий Роберт Ли). Самое кровопролитное однодневное сражение в американской истории.

Сражение при Колд-Харборе — одно из последних сражений Гражданской войны в Америке 31 мая — 12 июня 1864 года между федеральной армией Улисса Гранта и армией конфедерации под командованием генерала Ли. Вошло в историю как одно из самых кровавых сражений той войны.

Балаклавское сражение — 13 октября 1854 года. Одно из сражений Крымской войны 1853—1856 годов между союзными силами Великобритании, Франции и Турции с одной стороны и русскими войсками — с другой.

тельного вооружения и боеприпасов различных видов для передачи тем государствам, которые находятся в состоянии настоящей войны с государствами-агрессорами. Сегодня наша наиболее полезная и важная роль состоит в том, чтобы служить как их, так и нашим собственным арсеналом. Они не нуждаются в живой силе, но им для обороны нужно оружие стоимостью в миллиарды долларов. Настает время, когда они не смогут оплатить его полностью наличными. Мы не можем сказать им и не скажем, что им следует капитулировать по причине их неспособности заплатить за оружие, которое, как мы знаем, им необходимо. Я не рекомендую выделять им заем в долларах, которыми они будут расплачиваться за оружие, заем, который надо будет возвращать в долларах. Я рекомендую, чтобы мы создали для этих государств возможность продолжать получать военное имущество в Соединенных Штатах, включив их заказы в наши собственные программы. И практически все их военное имущество может, если настанет такое время, оказаться полезным для нашей собственной обороны. Прислушиваясь к советам влиятельных военных и военно-морских экспертов, решая, что именно представляется наилучшим для нашей собственной безопасности, мы свободны решать, какая часть произведенного имущества должна быть оставлена здесь и какая часть направлена нашим зарубежным друзьям, своим решительным и героическим сопротивлением предоставляющим нам время для подготовки нашей собственной обороны. То, что мы посылаем за рубеж, должно быть оплачено, причем оплачено в разумные сроки после завершения военных действий, оплачено аналогичным имуществом или же, по нашему выбору, различными товарами, которые они могут произвести и в которых мы нуждаемся. Давайте скажем этим демократическим странам: «Мы, американцы, жизненно заинтересованы в защите вашей свободы. Мы предлагаем вам нашу энергию, наши ресурсы и нашу организационную мощь для придания вам силы в восстановлении и сохранении свободного мира. Мы будем направлять вам во все возрастающем количестве корабли, самолеты, танки, пушки. В этом заключаются наша цель и наши обязательства»[45].

Так и было. Американские крейсеры не отправлялись в Кейптаун, чтобы вывезти оттуда британское золото. Рузвельт хотел принять участие в качестве черчиллевского секунданта в этой дуэли. В Грецию, Китай и в первую очередь в Великобританию отправились танки, одежда, продовольствие, оружие, боеприпасы и топливо на сумму в несколько миллиардов долларов. Сырая нефть, по цене приблизительно 1,15 доллара за баррель; автоматы Томпсона, примерно по 200 долларов; недавно прошедшие испытания полутонные разведывательные джипы — порядка 800 долларов за машину, и новые бомбардировщики B-17 по цене 276 тысяч долларов за каждый — эти американские поставки действительно имели большое значение[46].

Президентские слова — будучи реализованы конгрессом — облегчали острейшую финансовую проблему: отсрочка платежей за поставки давала Черчиллю выигрыш во времени. Но речь шла не просто о выигрыше времени для Великобритании. Рузвельт говорил о будущем Америки, которое будет иметь глубокие последствия для Черчилля и Британской империи. Свою речь, вошедшую в историю как речь о «четырех свободах», он закончил ссылкой на четыре основополагающих нравственных закона. Его речь была демонстрацией американского благородства и идеалов американской демократии. В ней не упоминалось о Черчилле и, за исключением двух ссылок на британский военно-морской флот, о Британской империи. Тем, кто, возможно, искал моральное основание для оказания помощи странам, выступающим против Японии и Германии, тем, кто спрашивал, к чему подобная щедрость, Рузвельт предложил свои «четыре свободы»:

«В будущем, которое стремимся сделать безопасным, мы надеемся создать мир, основанный на четырех основополагающих человеческих свободах.

Первая — это свобода слова и высказываний — повсюду в мире.

Вторая — это свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам избирает, — повсюду в мире.

Третья — это свобода от нужды, что в переводе на понятный всем язык означает экономические договоренности, которые обеспечат населению всех государств здоровую мирную жизнь, — повсюду в мире.

Четвертая — это свобода от страха, что в переводе на понятный всем язык означает такое основательное сокращение вооружений во всем мире, чтобы ни одно государство не было способно совершить акт физической агрессии против кого-либо из своих соседей, — повсюду в мире.

Свобода означает господство прав человека повсюду. Наша поддержка предназначена тем, кто борется за завоевание этих прав и их сохранение. Наша сила заключается в единстве наших целей.

Осуществление этой великой концепции может продолжаться бесконечно, вплоть до достижения победы».

Франклин Рузвельт открыл внушительную дверь, которую Америка не будет и не сможет закрыть. Он не стал сразу делать резких движений. Они с Америкой еще были не готовы. Но он объявил о своем намерении переделать мир по американскому образу и подобию. «Наша поддержка предназначена тем, кто борется за завоевание этих прав и их сохранение» — четкое заявление, не признающее морального релятивизма. Обычно Рузвельт одобрял создание коалиций, но в данном случае сделал исключение для распространения свободы в одностороннем порядке.

Он объяснил, что диктаторам не будет места в этом новом мировом порядке. Он определил, что эти четыре свободы будут «повсюду в

мире». Тем не менее он обещал поддержать Грецию, которой правил диктатор, и Китай, во главе с коррумпированным Чан Кайши. А как насчет демократических, либеральных империй типа Британской? Это Рузвельт обошел молчанием. В мире Черчилля «империя» и «свобода» были равноценными понятиями, если речь шла о Британской империи. Но не так было в мире Рузвельта, как, к огромному ужасу, узнал Черчилль в ближайшие месяцы и годы. Рузвельт объявил о своем намерении поддержать тех, кто получит и сохранит права: «Наша поддержка предназначена тем, кто борется за завоевание этих прав и их сохранение». Но в Британской империи такие права предоставляло правительство его величества. В Британской империи некоторые из тех, кто стремился обрести эти права, — Луис Бота, Майкл Коллинз, Махатма Ганди* — считались террористами.

Реакцию на речь Рузвельта можно было предвидеть. Влиятельная немецкая газета Deutsche Aligemeine Zeitung назвала ее «эксцентричными аргументами в пользу проигранного дела». Chicago Tribune заняла почти такую же позицию, мрачно заявив, что билль о ленд-лизе — «это законопроект разрушения Американской республики. Это инструкция по установлению неограниченной диктатуры, наделенной властью распоряжаться имуществом и жизнями американцев, постоянно вести войны и вступать в альянсы».

Ожидание Черчилля почти закончилось. Он еще не читал закон о ленд-лизе, но уже достаточно слышал, чтобы 9 января выразить свою благодарность Рузвельту в речи по случаю отъезда лорда Галифакса в Вашингтон в качестве нового посла его величества: «Я приветствую как счастливое событие тот факт, что в нынешний момент жесточайшего международного кризиса во главе Американской республики стоит знаменитый государственный деятель, обладающий многолетним опытом правительственной и административной деятельности, в чьем сердце горит пламя сопротивления агрессии и угнетению, чьи симпатии и характер делают его искренним и несомненным защитником справедливости, свободы и жертв зла, где бы они ни находились»[47].

Обещания Вашингтона затмили отъезд Галифакса. Но Черчилль нашел много добрых слов для раскаявшегося миротворца: авторитетный и деликатный человек, в компании которого находиться одно удовольствие, и большая честь заслужить его дружбу. Эдвард Галифакс, сказал Черчилль, «никогда не уклонялся от исполнения своих обязанностей». Новая должность, по мнению Галифакса, не сулила ему особых перспектив. Он сказал Алеку Кадогану о своем ощущении,

* Бота Луис — бурский военный и политический деятель; Коллинз Майкл — ирландский революционер, политический и военный деятель; Ганди Махатма — один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании.

что премьер-министр пытается избавиться от него. Надо было не иметь сердца, чтобы сказать Галифаксу, что он прав и что он, Кадоган, считает его назначение «серьезной ошибкой». А что касаемо чувств Галифакса к американцам, то он написал Стэнли Болдуину, что ему «никогда не нравились американцы, за исключением отдельных личностей. Я всегда считал их ужасными». Тем не менее Галифакс с готовностью приступил к новым обязанностям и действовал умело и дипломатично[48].

В речи по случаю отъезда Галифакса Черчилль не допустил ни одной ошибки. Он не обращался напрямую к президенту, но на следующий день за завтраком близкий друг и советник американского президента Гарри Гопкинс, только что прибывший в Лондон, услышал от Черчилля много добрых слов в адрес Рузвельта, льстивых слов, которые, несомненно, явились неожиданностью для Гопкинса. Он все сделал правильно, поскольку понял, что Гопкинс не является обычным гостем.

Прежде чем новые партнеры могли перейти к вопросам финансирования британской войны, Черчиллю предстояло завоевать Гопкинса, а Рузвельту — вести политическую борьбу. Рузвельт знал, что ни один критик не может утверждать, что закон о ленд-лизе подразумевает участие американских солдат в войне, которую ведет Великобритания. Ленд-лиз только поможет гарантировать получение Великобританией изготовленной в Америке продукции, но не американских солдат. Он хотел подтолкнуть Америку довольно близко к борьбе Черчилля, но не настолько близко, чтобы вступить в нее. Последняя война и последовавший за ней убогий мир (многие американцы относились к ним как к подачкам старушке Европе) были свежи в памяти Рузвельта. Он не был патриотом Европы и действительно верил, что европейские сферы влияния неуклонно ведут к войнам в Европе. Он понимал, что если хочет присоединиться к делу Черчилля, то должен четко сформулировать новые принципы — четыре свободы, — на которых можно базировать предложенную политику. Рузвельт действительно считал, что поражение Англии ставит под угрозу Америку, то есть угрожает ее интересам. Многие в конгрессе были не согласны с его мнением. Но у президента и конгресса было достаточно времени, чтобы решить проблему. Никто не мог заставить Америку торопиться.

Закон о ленд-лизе «порадовал» Черчилля, написал Колвилл в дневнике 11 января, добавив, что, по мнению Черчилля, ленд-лиз является, «по сути, открытым объявлением войны» или, «по меньшей мере, открытым вызовом Германии, чтобы она объявила войну, если посмеет». Однако премьер-министру были также хорошо известны настроения министра финансов Кингсли Вуда, который сказал Колвиллу 10 января: «С учетом этого законопроекта [ленд-лиз] нам будет

намного труднее противостоять стремлению американцев лишить нас всего, чем мы владеем, в оплату за то, что мы хотим получить»[49].

Закон о ленд-лизе пробивал себе дорогу через палату представителей и сенат США, и Черчилль понимал, что должен скрывать разочарование медлительностью американцев, и заставлял молчать своих коллег, которые были против сдачи в аренду Америке баз в Вест-Индии, считая это своего рода «капитуляцией». Черчилль знал, что плачевное состояние американских эсминцев и удар по национальной гордости из-за утраты баз в Вест-Индии в конечном счете не имеют особого значения. Истинное значение ленд-лиза, за что он был необычайно признателен, в том, что он на шаг приблизил Америку к войне. Ленд-лиз появился не потому, что Черчилль так успешно просил о помощи или перехитрил Франклина Рузвельта, — он этого не делал, — а потому, что Рузвельт, несмотря на огромный политический риск и серьезные разногласия, считал, что в интересах Америки помочь Великобритании, и полагал, что его соотечественники готовы вместе с ним пойти на этот шаг[50].

Рузвельт понимал, что, отстаивая ленд-лиз, он должен избегать заявлений, направленных на изоляционизм, что ему следует больше сосредоточиться на моральном аспекте войны, чем на оружии, необходимом Черчиллю, поскольку без согласия народа оружие никогда не будет производиться в достаточном количестве. Подталкивая Америку к войне или, по крайней мере, подготавливая к войне, он не мог заходить слишком далеко. Рузвельт поставил в трудное положение президента Гарвардского университета Джеймса Конанта, заставив свидетельствовать в поддержку ленд-лиза перед конгрессом и убедив его в необходимости принятия закона, поскольку в противном случае Америка рискует подвергнуться нападению, если Великобритания потерпит поражение.

Изоляционисты не соглашались с его доводами. Хотя они не были против оказания Великобритании незначительной помощи, по мнению Конанта, они хотели иметь гарантию, что принятие закона о ленд-лизе «не станет первым шагом на пути вступления Америки в войну». Они бы не получили гарантий даже в том случае, если бы Рузвельт был расположен дать их, а он не был расположен, сказал Рузвельт Конанту. Рузвельту удалось обезвредить изоляционистов, которые не могли позволить себе выказать слабость при защите, как не могли критиковать не требующие доказательств «четыре свободы». Они знали своих соотечественников. В 1941 году Америка не слишком интересовалась побежденной истиной и абсолютным злом. В 1930-х годах Америка отгородилась от европейских проблем, поскольку, как утверждали изоляционисты, опасность грозила извне[51].

Тяжелое положение Великобритании не слишком волновало изоляционистов, поскольку они видели в Великобритании все то, с чем

боролась Америка: глубокие классовые различия, имперская элита, ставшая богатой за счет колоний. Может ли это королевство, этот уединенный остров, эта Англия, называться демократической страной? Такие вопросы поднимались в ходе дебатов в конгрессе. Изоляционисты были настроены крайне решительно. По мнению членов американской изоляционистской группы «Америка превыше всего», Рузвельт попался на крючок обещания Черчилля *никогда* не вступать в переговоры с Гитлером об окончании войны[52].

Для многих американцев, и не только для членов изоляционистской группы, это была все та же старая Европа, повторение прошлого, когда Америка вступила в войну, а ей даже не вернули огромные кредиты, которые она предоставила союзникам для победы над кайзером. Все это понимал Черчилль. Он в достаточной степени уважал американцев, чтобы не вступать в дебаты. Вместо того чтобы пытаться воодушевить американцев, как он делал это со своими соотечественниками в 1940 году, Черчилль собирался вдохновить Гопкинса.

Черчилль знал, что его народ готов терпеть бомбардировки, но только до тех пор, пока верит в нечто большее, чем предстоящие ответные бомбардировки немецких городов. Британцы жаждали одержать полную победу над гитлеровскими армиями. И хотя он должен был обеспечить эту победу, местные жители всегда приветствовали его, когда он появлялся в районах, подвергшихся бомбардировке. Лондонцы, устанавливая на грудах разбитых кирпичей маленькие флажки Великобритании, заявляли Черчиллю, что полны решимости бороться до конца.

В тот год он посетил все основные промышленные города и порты Англии, Шотландии и Уэльса. Ему нравилось заскакивать на аэродромы, в казармы, на позиции зенитной артиллерии и береговой обороны и произносить тосты за защитников, желательно под виски. Если проходивший мимо рабочий протягивал ему руку, когда он шел по Сент-Джеймс-стрит в направлении Уайтхолла, Черчилль пожимал ее. Он понимал, что людям необходимо видеть и слышать его. Он понимал, как важны для лондонцев фотографии, сделанные во время его посещений районов, подвергшихся разрушительным бомбардировкам, фотографии, глядя на которые каждый из них будет чувствовать так, словно их Винни приходил к нему домой[53].

Он обладал удивительным умением выбирать время и место, чтобы запечатлеть на пленке символичный момент, как в случае с его посещением весной палаты общин после ночной бомбардировки здания палаты общин. У него в глазах стояли слезы, когда, глядя на разрушенное здание, он пообещал, ровным, но напряженным голосом, что восстановит палату. Однако стоило появиться фотографу, как его поведение изменилось. Фотография запечатлела сцену, поставленную

Черчиллем. Он снят в профиль на фоне разрушенного зала заседаний правительства, окутанного облаком пыли. Первое, что бросается в глаза, не разрушение, а упрямо выдвинутый вперед подбородок Черчилля. Его пристальный взгляд на подобных фотографиях всегда устремлен либо на потрясенную жертву бомбардировки, либо ввысь, на некоего невидимого врага, возможно, к высшей силе, хотя он мало верил в высшие силы. На всех фотографиях у него внимательный и оценивающий взгляд, словно он собирается изобразить увиденное на полотне. И невозмутимый, будто мысленно он одновременно и с жертвой бомбежки — будь то старая женщина, или разрушенное здание, — и где-то далеко. Это тяжелый взгляд обиженного человека, который полон решимости восстановить справедливость.

Посещение разбомбленной улицы, несколько слов, удачно принятая поза под вспышку или щелчок затвора фотокамеры, поза уверенного, невозмутимого человека — это все, что Черчилль мог предложить британцам во время затянувшегося блица. Он, конечно, не мог сообщить им данные о диспозиции морских и сухопутных сил, но мог сказать, что разделит с ними горе и страдания. И он говорил им: «Я ничего не обещаю и не гарантирую, за исключением того, что мы сделаем все от нас зависящее». И он ожидал, что они тоже сделают все возможное. Гарольд Николсон написал в дневнике: «Черчилль не пытается ободрить нас пустыми обещаниями». Черчилль знал своих соотечественников. Когда есть выбор — сообщить хорошие, но неверные новости или суровую правду, — он выбирал последнее, заявляя, что англичанам «она придется по вкусу»[54].

Бродя по городу, Черчилль, как и Николсон, слышал, как лондонцы шепотом грозятся отомстить врагу. В Берлине Тиргартен, отгороженный веревкой, усеивали воронки от бомб, которых становилось все больше и больше. Но Черчилль прекрасно понимал, что ущерб, причиненный британскими бомбардировщиками, измеряется уничтоженными станками и топливными складами. С сентября немцы сбросили на Великобританию намного больше бомб, чем Королевские ВВС на Германию. Но даже если бы они сравнялись по тоннажу сброшенных бомб, то точность попадания в цель Королевских ВВС не выдерживала никакой критики. Как и цена, заплаченная летными экипажами за столь неэффективные действия. В небе над Германией погибло больше летчиков Королевских ВВС, чем на земле погибло жителей Берлина. Очередное свидетельство неэффективности Королевской авиации приняло форму сообщения, пришедшего в последний день 1940 года из британского посольства в Будапеште. Американский военно-морской атташе в Берлине заявил, что британские воздушные налеты на Берлин причинили «незначительный ущерб». Черчилль нашел, что это сообщение самое неприятное из множества подобных «печальных известий». Вопрос точности бомбометания, сказал он сотрудникам, «вызывает у

меня серьезное беспокойство». И все же, хотя налеты Королевских ВВС не причиняли особого ущерба промышленному производству Германии, они поднимали моральный дух англичан компромисс, на который был вынужден согласиться Черчилль[55].

Со сборочных конвейеров сходили четырехмоторные бомбардировщики «Стирлинги» и «Галифаксы»; их бомбовая нагрузка составляла почти 7 тонн, в несколько раз превосходя бомбовую нагрузку бомбардировщиков люфтваффе «Дорнье» и «Хейнкелей». Тяжелые бомбардировщики «Авро-Ланкастеры» (готовые к летным испытаниям), максимальный боезапас которых составлял 10 тонн, несли, помимо десятков 30-фунтовых фосфорных бомб (еще не производились в достаточном количестве) и сотен зажигательных бомб, 4000-фунтовую бомбу (поступила на испытания осенью 1940 года). По мнению Профессора, атаки таких бомбардировщиков, основной целью которых были промышленные объекты Германии, имели важный побочный эффект: они должны были сломить моральный дух немцев. Гитлер, даже если он выйдет к Индии и Суэцкому каналу, проиграет войну, считал Черчилль, если Германия будет разрушена. В течение года Черчилль рассказывал друзьям и членам семьи, что он собирается сделать с немецкими городами; в выступлениях по радио он рассказывал это Гитлеру и немецкому народу. Черчилль предупреждал их: «Вы лезете вон из кожи, и мы приложим все силы. Возможно, скоро наша очередь; возможно, уже сейчас. Мы живем в страшную эру человеческой истории, но мы верим, что есть справедливость. Немцы должны перенести те же мучения на своей родине, какие они дважды за нашу жизнь причиняли своим соседям и всему миру»[56].

В Германии не многие принимали его всерьез. Гитлер с издевкой называл его «известным военным корреспондентом». Не секрет, что Черчилль любил похвастаться, и он с нетерпением ждал тот день, когда его «Ланкастеры» — сотни «Ланкастеров» — покажут всем, и в первую очередь Гитлеру, что это были не пустые угрозы. Черчилль настаивал на увеличении производства газовых авиабомб, необходимых для «нанесения ответного удара». Количество газовых авиабомб — 7 тысяч — указывает на то, что Черчилль отводил им стратегическую, а не тактическую роль[57].

Гитлер считал Черчилля препятствием к заключению мирного договоры и обещал «сбрасывать 100 бомб» в ответ на каждую британскую бомбу до тех пор, пока Великобритания не избавится от «этого преступника и его методов». Фюрер назвал выступление Черчилля перед англичанами «проявлением паралитической болезни или бредом алкоголика». Черчилль, слушая граммофонные записи напыщенных речей Гитлера, получал удовольствие; он запрещал удалять приветственные крики поклонявшихся фюреру фашистских орд. Черчилль

любил, расхаживая в халате по кабинету, повторять места, в которых Гитлер говорит о нем. Если бы Гитлер лучше разбирался в британцах, знал об их упорстве, то понял, что Черчилль и парламент будут стоять до конца. В разгар блица палата общин 341 голосом против 4 голосов отклонила предложение независимой Лейбористской партии относительно переговоров о перемирии. Учитывая традиционно сложные отношения между политическими партиями, это было удивительное заявление о намерении бороться и поддерживать Черчилля[58].

Однако многие, и в их числе Джок Колвилл (который приходил в ужас при одной мысли о победе нацистов), считали, что перспективы, которые даст компромиссный мир, предпочтительнее перспективы «измученной войной и экономическими проблемами Западной Европы; уничтожения наследия веков в искусстве и культуре; ухудшения здоровья нации от недоедания, нервного истощения и эпидемий; извлечения выгоды Россией и Соединенными Штатами из нашего бедственного положения; и, в конце концов, компромисс или пиррова победа». Такой сценарий был предложен военным историком и стратегом Бэзилом Лидделом Гартом, который считал, что Гитлер, имея в виду судьбу Наполеона и оскорбительность условий Версальского договора, будет воевать даже при условии разрушения Германии и всей Европы. Черчилль заявил, что эта «теория устарела и он [Гитлер], похоже, скорее готов для психиатрической лечебницы, чем для серьезных действий», Любопытно, что Черчилль в течение долгого времени был сторонником другой теории Лиддела Гарта — всегда атаковать более слабого из двух противников[59].

Что касается непосредственной угрозы со стороны Германии и решающего сражения, то, изучив в начале января расшифровки «Ультра», Черчилль пришел к выводу, что зимой вторжения не будет и весной, вероятно, тоже. Выяснилось, что немецкие войска с северного побережья Франции и Бельгии двинулись на юг и, следовательно, уменьшилась вероятность вторжения. Черчилль решил не делиться своими выводами с американцами, опасаясь, что это может ослабить усилия США по обеспечению поставок Великобритании. Кое-кто из военных советников Черчилля, ознакомившись с этой расшифровкой «энигмы», не согласились с его мнением и настаивали на неизбежности вторжения. Черчилль поощрял их стремление готовиться к подобной возможности — готовить больше танков, больше артиллерии, больше канонерских лодок, больше пехотных дивизий. Его только устраивало наращивание военной мощи, поскольку с июня прошлого года он намеревался использовать силы в другом месте. Черчилль, как министр обороны, объяснил военному кабинету, что опять хочет усилить Уэйвелла на Ближнем Востоке, направив ему войска и танки из Великобритании. Черчилль обладал искусством убеждения, но не диктаторскими полномочиями; военный кабинет должен был одобрить

наращивание сил на Ближнем Востоке, а руководство сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами стремилось удержать войска на острове. Черчилль настаивал на боевых действиях в Северной Африке, кроме того, он хотел заманить Гитлера в Северную Африку. Черчилль сказал Колвиллу, что «не видит, как вторжение [в Англию] может оказаться успешным, и теперь, просыпаясь утром... чувствует себя так, словно выпил бутылку шампанского и рад, что наступил новый день». Поскольку немцы, похоже, не собирались появляться в пределах его видимости, высадившись на британское побережье, Черчилль убеждал, что надо сражаться с итальянцами до тех пор, пока Гитлер не придет им на помощь. Тогда он сможет сражаться с немцами[60].

Той зимой Черчилль ограничился на Европейском континенте несколькими неточными бомбардировками и множеством высказываний в адрес Гитлера. Он обращался с просьбами к Рузвельту. Писал огромное количество записок, посещал заседания военного кабинета, держал короля в курсе дел, ждал помощь из Америки и наступление лучшей погоды для бомбардировки. Метеоусловия имели как положительные, так и отрицательные последствия. Одни и те же штормы не позволяли как немецким ночным налетчикам подниматься в воздух, так и британским бомбардировщикам. В первые недели нового года стояла мерзкая погода. Континент от Москвы, где столбик термометра упал до 25 градусов по Цельсию, до дуврского побережья был во власти снега, дождя со снегом и сильного мороза. Снежные бури обрушились на Южную Францию, а оттуда двинулись на северо-запад через Бретань, затем, перебравшись через Канал, в Великобританию и в Атлантику, где обрушились на союзнические конвои. В Центральной Франции наблюдалась самая сильная метель за пятьдесят лет, в Венгрии — самая холодная зима более чем за сто лет. Голодающие испанцы теперь замерзали. В Бельгии на человека в день приходилось меньше 2 унций* мяса. В Варшаве от сыпного тифа умирали дети; в городе не было хлеба, потому что Сталин с Гитлером поделили между собой весь польский урожай пшеницы.

К концу января количество жертв среди гражданского населения Великобритании с начала блица достигло 30 тысяч человек, половина общих потерь Великобритании с начала войны. Было уничтожено почти 500 тысяч жилых помещений и домов. С конца сентября немцы потеряли около 600 самолетов и экипажей, менее 2 процентов самолето-вылетов. Но, несмотря на относительно незначительные потери, немцам не удалось многого добиться. По крайней мере, им не удалось причинить серьезный ущерб британской авиапромышленности[61].

Воздушный блиц 1941 года, позже написал Черчилль, делится на три стадии. Первая стадия — январское затишье. Лондонцы называли

---

* В английской системе мер веса 1 унция = 28,349 г. (*Примеч. ред.*)

относительно чистое небо «затишьем в блице». Затишье только усиливало тревогу, заставляя гадать, где и когда люфтваффе нанесут следующий удар; в эти недели, позже написал Черчилль, мы пытались «заглянуть в будущее и оценить наши испытания». Он попросил командование военно-воздушных сил, Бивербрука и руководителей разведки определить, связано ли временное затишье исключительно с ненастной погодой, или у немцев истощились силы для нанесения ударов с воздуха, или, что самое неприятное, это связано с более зловещими планами, осуществление которых намечено на весну. Черчилль потребовал предоставить ему полную информацию обо всем, что касалось немецких пилотов, двигателей, подготовки, самолетов и бомб. Профессор, получив информацию из разных ведомств, оценил статистические данные относительно немецких сил, которые со временем становились все более противоречивыми. Когда Черчилль созвал совещание в Чекерсе, чтобы прояснить ситуацию, никто не понимал, что хочет знать премьер-министр[62].

Ясно было только одно: Макс Бивербрук решит любую проблему, связанную с авиацией. У Бивербрука было лицо горгульи, канадский акцент и абсолютная преданность Черчиллю. У него была астма, и он продолжал угрожать уходом в отставку, когда что-то выводило его из равновесия, а это случалось часто. Черчилль отказывался принимать его отставку. Крестовый поход Бивербрука в министерстве авиационной промышленности в середине 1940 года с целью увеличения производства истребителей, по мнению главного маршала авиации Жубера, «посеял панику», но, «несомненно, он сделал самолет, который выиграл битву за Британию». К началу 1941 года значительно увеличилось количество эскадрилий бомбардировщиков и истребителей Королевских ВВС, но воздушный флот люфтваффе в численном отношении намного превосходил 3 тысячи готовых к бою британских самолетов. Разрыв сокращался исключительно благодаря Максу.

Всех британцев удивляло чистое небо, и они, конечно, были уверены, что это затишье перед бурей. Разве раньше перед тем, как Гитлер наносил удар, не устанавливалось затишье на несколько дней или недель? Молли Пэнтер-Доунес заметила, что лондонцы, похоже, наслаждались «последними неделями относительного покоя перед приближающимся хаосом». Ожидалась химическая война. Но что именно имелось в виду под *химической* войной? Эпидемии, чума и другие невообразимые болезни, причиной которых станет фантастическое оружие? Распространился слух, что завоеватели заставят английских женщин рожать немецких детей, а английских мужчин подвергнут стерилизации. (Правда была намного страшнее. Летом прошлого года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер составил Sonderfahndungsliste GB, «Специальный поисковый список по Великобритании». Шесть батальонов Einsatzgruppen — эсэсовские охотники-убийцы — должны

были разместиться в шести самых крупных британских городах, чтобы обеспечить поимку и отправку в Германию в качестве рабов всех здоровых англичан призывного возраста.)[63]

Паранойя проникла в официальные круги. Сэр Джон Андерсон, лорд — председатель совета, оказывал давление на беженцев из Европы, включая евреев, которые сбежали от нацистов, не захватив с собой документы*.

Сотни людей задержали и присоединили к тысячам других неангличан, которые с лета томились в лагерях. Артур Кестлер, раскаявшийся бывший коммунист, который прибыл в Великобританию без надлежащих документов, был упрятан в тюрьму Пентонвиль; он провел за решеткой почти два месяца, и за это время был опубликован его роман Darkness at Noon («Слепящая тьма»). «Это было ужасное время, — вспоминал актер Пол Хенрейд. — Мы подпрыгивали от каждого звонка в дверь... мы жили в постоянном страхе. Когда придет наш черед?» Однако большинство задержанных — за исключением ярых фашистов, таких как Освальд Мосли, — были освобождены в ближайшие месяцы. Страх Хенрейда стал бы еще сильнее, если бы он знал, что Гиммлеру были известны имена тех, кто сбежал в Англию; их фамилии были в Sonderfahndungsliste GB. Их требовалось найти и убить. Страх и паранойя охватили Ирландию после того, как немецкие самолеты в начале января сбросили свой груз на ирландские фермы. Однотонная парашютная бомба залетела в еврейский квартал Дублина и попала в синагогу; Геббельс заявил, что это сделали британцы, чтобы опорочить Германию в глазах ирландцев[64].

Страх англичан породил бдительность, и это устраивало Черчилля. В начале года его самая неотложная проблема состояла не в том, чтобы не позволить немцам высадиться в Англии, — он не верил, что они предпримут вторжение. Наиважнейшей проблемой являлась проблема доставки продовольствия и боеприпасов. С октября прошлого года подводные лодки на западных подступах потопили более 150 британских судов, в среднем 70 тысяч тонн в неделю. Отвратительная январская погода способствовала уменьшению потерь, но в начале февраля, когда Геринг в отпуске наслаждался своими игрушечными поездами**

---

* С 1933 года министерство внутренних дел Великобритании предоставило иммиграционный статус 200 тысячам евреев из Европы, в то время как США приняли 160 тысяч евреев. См. *Clarke P.* The Last Thousand Days of the British Empire. New York: Bloomsbury Press, 2008. P. 409. (*Примеч. авт.*)

** В имении Геринга Каринхолл нашлось место не только «трофейным» произведениям искусства со всей Европы, но и любимым игрушкам рейхсмаршалла, макетам железных дорог. Первый макет был устроен на чердаке между 1933 и 1938 годами. Однако движущимися составами дело не ограничилось. Геринг и тут задействовал авиацию. К потолочным балкам крепились самолеты, которые могли сбрасывать деревянные бомбы на проходящие внизу составы.

и ворованными предметами искусства, адмирал Редер попросил Гитлера усилить подводный флот адмирала Дёница за счет нескольких десятков из примерно двухсот геринговских четырехмоторных дальних многоцелевых бомбардировщиков «Фокке-Вульф-200».

Крейсерская скорость гордости геринговского воздушного флота составляла 220 миль в час, бомбовая нагрузка — до 4400 фунтов, и он имел дальность полета, позволявшую ему вылететь из Норвегии, облететь Британские острова и приземлиться в оккупированной Франции. Бомбардировщики, утверждал Редер, могут служить в качестве разведчиков и поражать суда, прокладывающие путь в порты. Гитлер удовлетворил просьбу, и результат сказался незамедлительно. В феврале немецкие подводные лодки потопили британские корабли общим водоизмещением 320 тысяч тонн, включая 86 тысяч потопленных немецкими самолетами. Потери в судах были настолько велики, и столь незначительным было прикрытие портов с воздуха, особенно в ночное время, что предлагалось посадить в кабины истребителей кошек. Идея состояла в том, чтобы летчики Королевских ВВС (получавшие дополнительные порции моркови для улучшения зрения) стреляли в том направлении, куда смотрят кошки, которые ночью видят намного лучше людей. Если у кого-то была идея получше, то было самое время предложить ее, поскольку Великобритания, учитывая потери в судах и разрушенные порты, чувствовала себя как никогда изолированной. «Смертельная угроза нашему существованию терзает мне душу, — написал Черчилль. — Судьба 1941 года будет решаться на море»[65].

Черчилль не знал, что у Дёница всего двадцать две подводные лодки во французских портах на Атлантике и что он может одновременно отправить в море порядка дюжины лодок. Эти месяцы давали немецкому военно-морскому флоту наилучшую возможность выжать жизнь из Великобритании, но у Дёница для этого не хватало лодок. Однако он достаточно близко подошел к тому, чтобы править морями, и, когда сообщение об очередной гибели судна достигло Черчилля, он раздраженно перебил Колвилла (который назвал сообщение тревожным): «Тревожное? Ужасное. Если так будет продолжаться, нам придет конец»[66].

Сейчас вспышка Черчилля может показаться преувеличенной, но не тогда. В ближайшие месяцы в битве за Атлантику решалась судьба Великобритании. Немецкие подводные лодки охотились на британские корабли, которые находились вне зоны действия британских воздушных патрулей. Не имея достаточного количества кораблей для перевозки продовольствия и оружия, Черчилль оказался перед тяжелым выбором: продовольствие или оружие. Если Франклин Рузвельт

Управление ими осуществлялось с общего пульта, бомбы крепились посредством электромагнитов. Но, главное, был смоделирован горный ландшафт вокруг стенда, откуда поезда обстреливала игрушечная артиллерия.

не расширит американскую зону патрулирования в Восточной Атлантике, то британские потери будут возрастать. Рузвельт, к разочарованию Черчилля, отказался подвергать свой флот дополнительным опасностям.

Плававшие на поверхности стальные монстры наводили ужас не меньший, чем подводные лодки. Линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц», проходившие последние испытания в Балтийском море, вырисовывались в качестве двух фюреровских весенних орудий разрушения. Водоизмещением почти 42 тысячи тонн каждый, линкоры имели восемь 15-дюймовых орудий, приводились в действие тремя турбинами Blohm & Voss и дюжиной паровых котлов Wagner, имели мощность 138 тысяч лошадиных сил и скорость хода 30 узлов. Точность их оптических приборов наведения намного превосходила точность британских оптических приборов, и они могли обогнать и обстрелять любой британский линкор. Но в начале 1941 года Черчилль ничего не знал о «Бисмарке»; местонахождение этих кораблей держалось в секрете. Позже Черчилль написал, что «Гитлер не мог бы эффективнее использовать два своих линкора, чем держать их в состоянии полной боевой готовности в Балтийском море, с тем чтобы время от времени просачивались слухи о предстоящем в ближайшее время рейде. Это вынуждало нас сосредоточить в Скапа-Флоу или поблизости от него фактически все новые корабли, которыми мы располагали, и давало ему преимущество в том смысле, что за ним оставался выбор момента для действий, причем он был бы избавлен от напряжения, связанного с необходимостью быть постоянно наготове. Так как корабли должны время от времени проходить текущий ремонт, мы фактически не имели возможности сохранять за собой достаточное превосходство. Любая серьезная авария полностью лишила нас этой возможности». Торговые суда союзников (британские, голландские, норвежские и канадские) ходили в сопровождении столь незначительных эскортов и настолько регулярно подвергались атакам, что команды не убирали спасательные шлюпки, чтобы ими можно было воспользоваться в любой момент[67].

Вот таким тяжелым было положение на море и в воздухе в первые два месяца 1941 года. С мая прошлого года условия жизни на Европейском континенте, от Польши до Франции, только ухудшались. В будущем — если бы Черчиллю удалось втянуть в войну Соединенные Штаты — там должны были состояться решающие сражения. Но до тех пор Черчилль мог только изредка с помощью выступлений по радио пытаться поднять моральный дух порабощенных европейцев, как он это делал в 1940 году в отношении соотечественников.

Безнадежная задача. Гитлер похоронил надежды всех тех, кого завоевал. Гитлер владел западной половиной Европы, Сталин — восточной половиной. Они были партнерами. Сталин был верным и на-

дежным спутником рейха с тех пор, как Гитлер двинулся на запад, сокрушая империалистические демократии. Сталин обязался поставить в Германию в наступающем году тонны зерна и нефти. Гитлер, в свою очередь, обещал увеличить поставки стали и средств производства в Россию. Срок первой поставки немецкой стали — середина 1941 года.

В новогоднем поздравлении Муссолини Гитлер, в частности, написал относительно России: «Я не предвижу какой-либо инициативы русских против нас, пока жив Сталин, а мы сами не являемся жертвами каких-либо серьезных неудач... Я хотел бы добавить к этим общим соображениям, что в настоящее время у нас очень хорошие отношения с СССР». Немецкая разведка не могла обнаружить и намека на какие-либо советские «инициативы» против Германии, поскольку они даже не рассматривались. Советы думали только о расширении торговли с Германией и увеличении влияния в Восточной Европе, хотя советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов в ходе ноябрьских переговоров с Риббентропом проявил жадность и несговорчивость. Молотов потребовал увеличения влияния СССР на Балканах. Он потребовал вывода немецких войск из Финляндии и признания Германией того факта, что Болгария входит в сферу влияния СССР. Он также потребовал, чтобы Гитлер обнародовал все свои планы, имеющие отношение к Балканам и Греции[68].

Эти наглые требования привели Гитлера в бешенство, поскольку ему была необходима свобода действий в регионе, особенно в Болгарии, чтобы защитить свой южный фланг от ожидаемых британских действий в Греции, и по другой важной причине, которую он, конечно, не раскрывал Сталину. В июле прошлого года он сказал командующим, что весной собирается напасть на Россию. Вот почему Болгария приобрела важное стратегическое значение. Она не только защищала немецкий южный фланг от британцев, в случае их высадки в Греции, но и прикрывала южный фланг фронта от Сталина. Для того чтобы отвлечь Сталина от Центральной Европы, Гитлер соблазнял Сталина заманчивыми перспективами для России при дележе расчлененной Британской империи, предлагая присоединиться к Трехстороннему пакту в качестве четвертого партнера. Однако Англия продолжала вести борьбу, и Гитлер пока не мог предъявить труп Британской империи.

Сталин хотел разделить с Гитлером господство в Центральной и Восточной Европе. Черчилль считал, что Гитлер никогда не собирался делиться властью, и в июне прошлого года пытался убедить в этом Сталина. Гитлер ясно дал понять в Mein Kampf, что судьба Германии — на Востоке. «Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России. В этом случае мы должны были, препоясавши чресла, двинуться по той же дороге, по

которой некогда шли рыцари наших орденов». Он написал, что «правители современной России — это запятнавшие себя кровью низкие преступники». Гитлер всегда считал, что германскому народу для своего существования необходимо Lebensraum, жизненное пространство на востоке, то есть в России. Вот почему в середине 1940 года он приказал главному командованию сухопутных войск (ОКХ) приступить к планированию операции по вторжению в Россию и в декабре одобрил план ОКХ (план «Барбаросса»), согласно которому в середине мая Германия должна была напасть на СССР и предполагалось, что через пять месяцев, до наступления зимы, она будет праздновать победу[69].

Логика предательства по отношению к Сталину была понятна только Гитлеру и некоторым — но далеко не всем — из его ближайшего окружения. Черчилль, как и летом прошлого года, попытался установить со Сталиным такую же связь, как с Рузвельтом, но потерпел неудачу. Сталин не верил предупреждениям из Лондона, считая, что Черчилль просто хочет разжечь ссору между Россией и ее хорошим другом Германией. В любом случае у Черчилля не было точной информации, подтверждающей его подозрения. Не было ее и у американцев в начале года. Американский дипломат Джордж Кеннан позже написал, что «мы, американские дипломаты в Берлине, не сразу поняли, что, согласно логике Гитлера, невозможность захватить Британию неизбежно означает необходимость вторжения в Россию». На это намекали источники Уильяма Л. Ширера в Берлине, но Ширер, вместе с остальной частью мира, предположил, что сначала Гитлер должен завоевать Англию. В конце 1940 года Ширер поведал свои размышления о перспективах Гитлера в развязывании войны с Америкой или Россией: «Я твердо убежден, что он действительно рассматривает [эти варианты] и если он победит в Европе и Африке то в конце концов начнет войну, если мы не будем готовы отказаться от нашего образа жизни». После победы в Европе, написал Ширер, Гитлер «нападет на Россию, вероятно, прежде чем займется Северной и Южной Америкой». Тем не менее «гитлеровская Германия никогда не будет господствовать в Европе, пока держится Великобритания»[70].

Черчилль придерживался того же мнения. Но он понимал, что Гитлер, чтобы сокрушить русских, мог создать новые тяжелые бомбардировщики и, возможно, даже ракетное оружие. Он мог построить корабли, подводные лодки и современные десантные суда. И тогда фюрер может повернуть свои армии на запад, в направлении Великобритании. Черчилль готовил британцев к такой возможности и готовил свои армии. Теперь ход был за Гитлером. Если он появится в Англии весной, то Черчилль и его армии, усиливающиеся с каждой неделей, будут готовы. Если Гитлер не появится в Англии, то придет день — возможно, через пару лет, — когда Черчилль придет в Европу. Такой был план. Но Черчилль столкнулся с множеством неизвестных.

Он понял, что Гитлер возьмет курс на восток, но отсутствие контринтуитивного мышления и точной разведывательной информации не позволяло ему понять искаженную гитлеровскую логику. Ему оставалось только ждать.

Черчилль не мог, кроме как в воздухе, впрямую вступить в бой с Гитлером, но мог сделать это косвенно. Летом прошлого года он одобрил предложение по финансированию и вооружению тех среди завоеванных народов, кто был достаточно смел, чтобы восстать против нацистских тюремщиков, оказывать сопротивление любым способом и с помощью любого оружия. Он подбадривал тех, кто был слишком боязлив, чтобы нанести удар по врагу; многие прислушивались к его словам, и со временем многие вступали в борьбу. Во время Битвы за Британию он приказал Исмею «подготовить ряд операций, проводимых специально обученными войсками типа охотников, способных создать атмосферу террора вдоль занятого противником европейского побережья, в основном проводя политику безжалостного уничтожения и немедленного исчезновения», чтобы «мы могли нанести внезапный удар... истребить и захватить в плен гарнизон гуннов и удерживать этот район вплоть до завершения всей подготовки к осаде или захвату штурмом, а затем уйти... оставив за собой гору немецких трупов». Это было грязное, но необходимое дело[71].

В это же время Хью Далтон, глава военно-экономического министерства, занимавшегося, в числе прочего, скрытой «черной» пропагандой (обман и дезинформация), убедил в необходимости «организовать на оккупированных территориях движения, сравнимые с шинфейнерами в Ирландии, китайскими партизанами, борющимися против Японии, испанскими повстанцами... в период кампании Веллингтона или, и это следует признать, нацистскими организациями, созданными почти во всех странах». Социалист Хью Далтон назвал предложенную организацию «демократическим интернационалом». Организации предстояло «использовать самые разнообразные методы, включая военный и промышленный саботаж, волнения и забастовки среди рабочих, постоянную пропаганду, террористические акты, направленные против предателей и немецких лидеров, бойкоты и бунты». Далтон считал, что эта организация должна быть «полностью независимой», не должна подчиняться обычным ведомственным правилам и контролю, даже со стороны военного министерства. Мало того, что это специальное подразделение должно было действовать самостоятельно, без надзора со стороны какого-либо министерства, но, по мнению Далтона, успех ее будущих действий зависел от «фанатичного энтузиазма»[72].

Черчилль горячо поддержал план Далтона. Если фанатизм необходим в борьбе с гитлеризмом, то пусть начнется хаос. Если это не ока-

жется эффективным, то Далтон и его друзья-социалисты возьмут вину на себя. В июле 1940 года Черчилль пригласил Далтона присоединиться к нему и его «обычным вечерним гостям» — Профессору и Брекену, — чтобы довести план до ума. За обедом премьер-министр предложил Далтону, главе военно-экономического министерства, которое Черчилль называл «министерством неджентльменских военных действий», возглавить «новое орудие войны», отдел специальных операций (SOE — Special Operations Executive). По окончании встречи Черчилль напутствовал Далтона словами: «А теперь подожгите Европу»[73].

Хотя эта фраза долго цитировалась в качестве доказательства намерения Черчилля разбить Гитлера, биограф Далтона, Бен Пимлотт, отмечает печальную иронию этих слов, учитывая явную военную слабость Великобритании в то время. Многие из окружения Черчилля не разделяли энтузиазм Далтона. Министерство иностранных дел стремилось избежать скандалов в Европе, а не разжигать их; обман друзей и нейтралов мог когда-нибудь привести к нежелательным последствиям. И вскоре после назначения министром информации Брэнден Брекен, давний политический противник Далтона, развернул свою кампанию неджентльменских слухов, направленных на SOE и Далтона. Брекен стремился дискредитировать SOE, чтобы объединить «черную» пропаганду SOE с «белой» (в основном правдивой) пропагандой министерства информации. Это была просто обычная борьба за сферы влияния. Ходили самые невероятные слухи. В определенных кругах говорили, что SOE «кишит психами, коммунистами и гомосексуалистами». Т.Э. Лоуренс, шептали на Уайтхолле, одобрил бы этот «культ тесной дружбы с крестьянскими партизанами»[74].

Генерал Окинлек и маршал авиации Портал пожаловались Черчиллю, что SOE, в отличие от разведки, «мошеннический, не несущий ответственности за свои действия, коррумпированный» отдел. Однако, каким бы неподобающим ни казался отдел таким благородным господам, как Окинлек и Портал, Черчилль был готов на все, если речь шла о кровавых убийцах-нацистах. Далтон разместил свой секретный отдел на Бейкер-стрит[75].

Далтоновские саботажники, бойцы Сопротивления и члены их семей платили страшную цену, когда попадали в руки нацистов. На Уайтхолл ежедневно поступали сообщения о репрессиях нацистов против тех, кто бросил им вызов. Когда польские патриоты убили этнического немца, гестапо схватило сто шестьдесят заложников и семнадцать расстреляло. Наказание за пение польского государственного гимна — смерть. Наказанием для двух норвежских членов профсоюза, у которых хватило духа публично высказать мнение об условиях труда, стала смерть. Восемнадцать голландских бойцов Сопротивления пели свой государственный гимн, когда их вели на казнь. Чтобы дать понять голландцам, что они не забыты, британские бомбардировщи-

ки сбросили сотни фунтов чая в пакетиках с запиской: «Привет из Свободной Голландской Индии. Не падайте духом. Голландия возродится». С созданием SOE Черчилль придумал более действенный способ помочь голландцам — и всем европейцам, — чем сбрасывать пакетики с чаем. За четыре следующих года SOE забросил в Европу около пятисот агентов, в том числе шестьдесят женщин (тринадцать из которых были схвачены гестапо, подвергнуты пыткам и убиты). Если женщины могли заниматься шпионажем и при необходимости убивать, то Черчилль хотел, чтобы они там шпионили и убивали. Агенты SOE, отправленные с благословления Черчилля на оккупированные территории обучать местных жителей, устраивать массовые беспорядки, шпионить и убивать, говоря современным языком, увеличили боевые возможности. Британцам, конечно, ничего не было известно о деятельности SOE[76].

Отношения Черчилля с британцами основывались на доверии; он просил их верить в него. В течение 1941 года он не мог много дать своим соотечественникам, разве что вдохновляющие речи, мрачные позы и знаменитый жест V — символ победы. «V кампания» началась в январе, когда Виктор де Лавеле, бельгийский беженец и руководитель бельгийского сектора Би-би-си, призвал бельгийцев, писавших на стенах и тротуарах «RAF» (Королевские военно-воздушные силы), писать букву V — в знак демонстративного неповиновения. Знак завоевал популярность. На французском языке он означал Victorie (победа); на фламандском (один из трех государственных языков Бельгии) — Vrijheid (свобода); на нидерландском — Vryheid (свобода); на сербском — Vitestvo (героизм); на чешском — Vitezstoi (победа). Но нацисты, с предсказуемым высокомерием и поразительной глупостью, тоже использовали этот символ. Берлинское радио поставило в заслугу Германии эту кампанию, отметив, что V появляется во всех европейских странах, куда пришли немцы. На самом деле, пытаясь подстроить V под себя, нацисты сами загнали себя в угол: немецким солдатам оставалось только улыбаться и отдавать честь, когда бельгийцы, голландцы или французы показывали этот жест. В июле «полковник Бриттон» (помощник редактора Дуглас Ритчи) передал по Би-би-си сообщение от Черчилля европейцам оккупированных стран: «Поднимайте два пальца в знак победы как члены огромной армии. Делайте это и в темное время суток, и днем». Всякий раз, когда Черчилль поднимал в знак победы два пальца, щелкали затворы фотоаппаратов. Он использовал этот жест до конца дней в тяжелые моменты для страны и лично для него[77].

К досаде сотрудников, Черчилль, зажав сигару между указательным и средним пальцами, часто поднимал руку в победном жесте ладонью к лицу — британский вариант американского поднятого среднего пальца, — вместо того чтобы развернуть руку ладонью наружу. Но как бы он ни повернул руку в победном жесте, толпа выла от восторга,

поскольку премьер-министр велел Гитлеру убираться прочь. Настолько сильной была связь, что, потеряй Черчилль голос, хватило бы двух его поднятых пальцев. Радиостанция Би-би-си стала начинать свои трансляции на оккупированную Европу и остальную часть мира первыми тактами Пятой симфонии Бетховена, поскольку первые четыре ноты соответствуют в азбуке Морзе букве V — точка, точка, точка, тире. Полковник Бриттон призвал жителей оккупированной Европы выстукивать знак на бокалах и кофейных чашках, каждый раз, когда в помещение входят немцы. Немцы не могли предпринимать никаких ответных действий, поскольку утверждали, что сами развернули эту кампанию[78].

Совершая поездку по Америке в 1940 году, Дафф Купер обнаружил, что большинство американцев, с которыми он встречался, имеют ошибочное представление о Великобритании. Американцы считали, что доминионы по-прежнему остаются колониями Великобритании, примерно как тринадцать колоний*.

Практически каждый встреченный Купером американец считал, что в войне между индуистами и мусульманами виноват Лондон и что британцы должны уйти из Индии. Купер пришел к мнению, что Великобритания проигрывает не только войну в Европе, но и пропагандистскую войну в Америке. Черчилль думал, что знает американцев. Он написал много газетных очерков, сборник эссе и три крупных произведения — биографию своего предка герцога Мальборо, историю Первой мировой войны и невероятно захватывающую книгу о своей юности My Early Life («Мои ранние годы»). В 1939 году он издал сборник эссе Step by Step («Шаг за шагом»), в котором объяснил, как в течение 1930-х годов Европа пришла к войне. Но большинство американцев не читали книг иностранных политиков, чтобы составить свое мнение или согласиться с мнением автора. В конце 1920-х, приезжая в Америку с лекциями, Черчилль собирал трех-пятитысячную аудиторию, значительное количество, особенно в то время, когда большинство американцев мало интересовали события, происходящие за океаном (впрочем, Черчилль тоже в то время не ставил задачу предупреждать человечество об опасности тоталитаризма; он хотел продать свои книги и статьи)[79].

Американская пресса в течение двух десятилетий отмечала стиль Черчилля, остроумие и литературные способности, а в апреле 1923 года его портрет появился на обложке журнала Time. В конце 1930-х Черчилля, изгоя в своей партии, много слушали в Америке, и часто его

* Тринадцать колоний — это британские колонии в Северной Америке, которые в 1776 году подписали Декларацию независимости и официально объявили о непризнании власти Великобритании, что привело к созданию Соединенных Штатов Америки и Войне за независимость США.

слова оказывались пророческими. В 1938 году в статье в Saturday Evening Post он призывал к созданию Соединенных Штатов Европы. И конечно, он предсказал ужасы, которые ждут Европу. Однако вплоть до декабря 1941 года большинство американцев, согласно опросам общественного мнения, проводимым Институтом Гэллапа, не интересовались ни событиями, происходившими в дальних странах, ни предсказаниями Уинстона Черчилля относительно наступления нового Средневековья. В 1941 году Чарльз Линдберг выступал на стадионах, куда стекались сотни тысяч людей, чтобы послушать его изоляционистские речи, и всегда начинали свистеть, когда Линди (так друзья называли Линдберга) упоминал имя Черчилля. Американцы поняли простую истину: если Америка вступит в войну, их сыновья будут воевать и десятки тысяч погибнут.

Черчилль, может, и был наполовину американцем, но он был настоящим англичанином, к тому же английским аристократом. Одеваться ему помогали слуги. Он носил массивные карманные часы Breguet* — называл их «луковицей» — на тяжелой золотой цепочке, тянувшейся по жилету, что придавало ему вид папаши Уорбакса**, и это в то время, когда большинство американцев не могли позволить себе ни жилет, ни золотые часы, ни золотую цепь для часов.

Черчилль нуждался в поддержке рабочего класса Америки, но его слабым местом было его прошлое. До 1940 года американцы видели в Черчилле не блестящего политика, а человека, от которого можно ожидать чего угодно, импульсивного, остроумного, иногда точного в предсказаниях, но в конечном счете ненадежного. «Большая часть ранней его карьеры напоминала игру «Змеи и лестницы», — вспоминал А.Дж.П. Тейлор, — и в тех случаях, когда он поднимался по лестнице, он, казалось, находил повод ползти вниз». Он вдохновлял Великобританию с тех пор, как стал премьер-министром, но Великобритания по-прежнему балансировала на краю пропасти. Учитывая его неоднозначное прошлое, он мог оказаться человеком, от толчка которого она свалится в пропасть[80].

Журнал Time в первом январском номере за 1941 год назвал Черчилля, ранее считавшегося ненадежным, «Человеком года» за 1940 год. Черчилль, объявили редакторы, обладает, как Ленин и Гитлер, ораторским талантом. С помощью слова эти три гиганта изменили ход истории, двое в плохую сторону, а один, Черчилль, в хорошую, и он одержал победу в этой борьбе: «Он [Черчилль] дал соотечественникам то, что обещал: кровь, тяжелый труд, пот, слезы и еще одно — невероятное мужество». Некоторые читатели написали письма, в которых

* Среди известных исторических личностей, носивших часы Breguet, были Вашингтон, Веллингтон, Наполеон, Мария-Антуанетта. (*Примеч. авт.*)

** Папаша Уорбакс — персонаж комикса Гарольда Грея Little Orphan Annie («Маленькая сиротка Энни»).

выразили удивление. Черчилль — человек года? Почему не Гитлер? Гитлер мог претендовать на звание «Человек года» не из-за чудовищности преступлений, совершаемых им с 1939 года, а потому, что Гитлер, по мнению многих американцев, восстановил Германию. Рейхсфюрер построил сеть автобанов, которую американцы взяли за образец при строительстве сети автотрасс в Америке. Теперь он весьма энергично разрушал старый порядок. Автор письма из Нью-Джерси написал: «Если Англия победит... мир утратит возможность, чтобы им управлял самый умный человек со времен Моисея». Хотя сравнение Гитлера с библейским пророком, освободившим евреев от тирании, сейчас звучит как жуткая ирония, многие американцы не считали Гитлера — и всю Германию — врагом. И они задавались вопросом, заслуживают ли Великобритания и Черчилль их помощи и не находятся ли они на грани поражения, когда любая помощь придет слишком поздно[81].

Для того чтобы получить ответы на эти вопросы, Рузвельт отправил в Лондон Гарри Гопкинса. Он прибыл в Лондон 9 января в сопровождении Брэндена Брекена, который встретил его в городе Пул, расположенном на южном побережье Англии. Гопкинс зашел в свое посольство, расположенное на площади Гросвенор (Grosvenor Square), чтобы узнать последние новости, а затем пошел в Claridge's. Черчилль отправил Брекена встречать Гопкинса по вполне понятным причинам. Брекен был другом Черчилля и посредником на протяжении почти двух десятилетий. Он, как и Черчилль, был оптимистом, но без перепадов настроения и депрессий. Когда Старик впадал в хандру, Брекен мог вытащить друга из этого состояния. К тому же он был министром информации и обладал самым широким спектром знаний. Если Брекен присутствовал на совещании, написал Колвилл, то «не было необходимости в справочной литературе». Через несколько часов после прибытия Гопкинса Брекен назвал Гопкинса «самым важным гостем, когда-либо посещавшим остров». Чрезмерная оценка значимости Гопкинса, учитывая свойственную Брекену восторженность, кажется предсказуемой, однако к его мнению прислушались, и в первую очередь Черчилль[82].

Памеле Черчилль Гопкинс показался «маленьким сморщенным существом с потухшей сигаретой в уголке рта, которое куталось в большое пальто». У него было мрачное, морщинистое лицо. Его одежда выглядела так, словно никогда не встречалась с утюгом; мятая фетровая шляпа была обычно низко надвинута на лоб. «В его хрупком и болезненном теле горела пылкая душа», — написал Черчилль. Он был специалистом в части оказания помощи и улучшения условий жизни, вдовствовал четыре года и был склонен к цинизму. С декабря 1938 года он занимал пост министра торговли, с которого ушел в отставку в сентябре 1940 года по состоянию здоровья (у него было заболевание желудочно-кишечного тракта). Когда Рузвельт узнал, что

Гопкинс потерял жену и брошен на произвол судьбы в Вашингтоне, он пригласил его с дочерью Дианой в Белый дом, где Гопкинс мог жить и работать. Диане отвели небольшую комнату на третьем этаже, а комнату Гопкинса отделял от покоев босса только холл[83].

Утром 10 января Брекен привел Гопкинса на Даунинг-стрит, 10. В ожидании премьер-министра Гопкинс, прихлебывая из стакана херес, отметил разбитые стекла и ветхость дома. Вскоре появился «круглый улыбающийся краснолицый джентльмен». «Добро пожаловать в Англию», — сказал он, протянув толстую, но сильную руку. Они перешли в небольшую столовую, где за обедом проговорили более трех часов. Черчилль объяснил свое желание как можно скорее встретиться с президентом, и Гопкинс передал его просьбу Рузвельту. Гопкинс спросил Черчилля, испытывает ли он неприязнь к американцам, поскольку в некоторых кругах ходят слухи, что Черчиллю не нравится Рузвельт. Черчилль ответил, что знает, кто распространяет эти слухи — враг Великобритании, Джо Кеннеди, и, чтобы доказать теплые чувства к Рузвельту, Черчилль попросил секретаря принести копию телеграммы, которую он послал по случаю переизбрания Рузвельта (на которую Рузвельт не ответил)[84].

Черчилль сказал Гопкинсу, что Греция, вероятна, потеряна и что Великобритания применит газ, если это первым сделает Гитлер. «У нас тоже есть смертоносные газы, — сказал Черчилль Гопкинсу, — и мы используем их, если нас припрут к стене». Что касается гуманитарной помощи, Черчилль заявил, что он против того, чтобы кормить народы, завоеванные Гитлером, поскольку это только облегчит Гитлеру работу по управлению порабощенным населением. И наконец, он сказал Гопкинсу, что не собирается ничего скрывать от американцев. Черчилль погрешил против истины; никто не собирался делиться с американцами содержанием межведомственных телеграмм с пометкой «Секретно». К концу обеда между ними установились дружеские отношения, и Черчилль настоял, чтобы Гопкинс провел выходные вместе с ним в Дитчли[85].

В Дитчли они были предоставлены сами себе; Ронни Три уехал в свой избирательный округ, а его жена — она была членом женской добровольной службы — вместе с передвижной столовой отправилась в Портсмут, который прошлой ночью подвергся немецкой бомбардировке. За обедом, на котором, по воспоминаниям Колвилла, «господин Гопкинс вел себя очень мило и с достоинством», светская беседа и шампанское способствовали установлению непринужденной атмосферы. Гопкинс рассказал последние новости о герцоге Виндзорском, губернаторе Багамских островов, который недавно встречался с Рузвельтом на борту президентской яхты. Герцог, по-видимому, очень хорошо говорил о короле (факт, тронувший Черчилля), но Гопкинс сказал, что «герцог окружил себя недостойными людьми». Виндзор —

забытый, но, увы, не ушедший — водит компанию с пронацистски настроенным шведом; в Америке это вызовет негативную реакцию[86].

Разговор зашел о потребностях Великобритании. Гопкинс, написал Колвилл, предположил, что программа ленд-лиза «вызовет громкие споры, но он испытывает уверенность, что ей обеспечен успех». Затем зашел разговор — вернее, Черчилль его завел — о политике. Черчилль убедительно объяснил Гопкинсу, что социализм никуда не годится, что шовинизм еще хуже и что в сочетание они дают «вариант итальянского фашизма», худшее, что когда-либо было придумано человеком. Черчилль мог не знать, что Гопкинс придерживался левых политических взглядов. Противники президента, консерваторы, ненавидели Гопкинса даже больше, чем Рузвельта. В любом случае Гопкинс приехал не для того, чтобы вести разговор о политических убеждениях[87].

К ужину прибыли гости: маркиза де Каса Мори (Фрида Дадли-Уорд), Оливер Литтлтон и профессор Брекен, который, поговорив с Гопкинсом, сообщил Черчиллю, что Гопкинс сказал ему, что его миссия состоит в том, чтобы посмотреть, в чем нуждается Великобритания. Рузвельт, объяснил Гопкинс Брекену, полон решимости предоставить Великобритании все необходимое для победы. Но Гопкинс не сказал Брекену, что намерения Рузвельта зависели от его (Гопкинса) докладов президенту, что в Великобританию стоит вкладывать деньги. И Гопкинс не сказал, что Рузвельт, чтобы утихомирить своих генералов, проследит, чтобы военная техника, отправленная на первых стадиях ленд-лиза, была устаревшей[88].

В тот вечер в Дитчли обеденный зал освещался только свечами, установленными на люстре под потолком и в настенных бра. В центре стола, покрытого простой белой скатерью, стояли четыре позолоченных подсвечника с тонкими желтыми восковыми свечами. Еда, отметил Колвилл, «в соответствии с обстановкой, хотя я замечаю некоторую попытку быть более умеренными в еде после того, как лорд Вултон [министр продовольствия] подверг резкой критике переедание». Вултоновская критика не распространялась на шампанское Черчилля[89].

После ужина, когда мужчины остались одни, они перешли к делу. Гопкинс отдал дань уважения речам Черчилля, которые, по его словам, «оказали сильнейшее влияние на все классы Америки. Во время заседания кабинета президент распорядился включить радиоприемник, чтобы все могли послушать выступление Черчилля». Его слова «тронули и порадовали» Черчилля. Он сказал, что плохо помнит, о чем говорил летом прошлого года, но его переполняло чувство, что «для нас будет лучше погибнуть, чем увидеть триумф этого самозванца». Когда во время Дюнкерка, сказал Черчилль Гопкинсу, он обратился к кабинету, то понял, что министры хотят услышать от него единственную вещь: что бы ни случилось, они должны продолжать борьбу. И он это сказал[90].

Затем Черчилль завел разговор на одну из двух любимых тем, о будущем (прошлое было второй любимой темой). Он заявил, что после войны не сможет возглавлять правительственную партию, действующую против лидеров оппозиции, которые столь преданно сотрудничали. Он надеется, что национальное правительство будет действовать в течение двух-трех лет таким образом, чтобы усилия всей страны были направлены на общее дело — послевоенное восстановление. Он сказал, что закон о ленд-лизе, с которым он ознакомился утром, заставил его почувствовать, что «мы становимся свидетелями рождения нового мира». Затем он описал будущее, каким оно ему представляется. Социалисты всех стран объединятся, предсказал он, и тогда новый мир станет миром коммунизма и нищеты (в 1945 году, выступая в палате общин, он скажет: «Врожденное достоинство социализма — равное распределение нищеты»). Но если новый мир построят немцы, то там будет править тирания и грубая сила. Он заявил, что Великобритания не стремится к территориальным завоеваниям, а просто хочет вернуть свободу тем, у кого ее отняли нацисты. Он хочет добиться свободы для английских йоменов, которые заслужили право чувствовать себя по ночам в безопасности в своих домах. Он произносил эти слова множество раз за обедами и ужинами в присутствии многочисленных гостей, некоторые из которых, как Колвилл, неоднократно слышали их. Гопкинса не столько интересовало будущее, сколько политические убеждения, но он вежливо слушал Черчилля[91].

Черчилль спросил, что об этом думает Гопкинс. Колвиллу ответ американца запомнился как «медленный, обдуманный, с паузами... разительный контраст с непрерывным потоком красноречия», который Черчилль излил на присутствующих. Гопкинс, по воспоминаниям Колвилла, сказал, что есть два вида людей: те, что говорят, и те, что действуют. Президент, как и премьер-министр, относятся ко вторым. Гопкинс утверждал, что Рузвельт настойчиво стремится к одной цели — уничтожению Гитлера. В отличие от Колвилла, пересказавшего ответ Гопкинса, Оливер Литтлтон точно запомнил реакцию и слова Гопкинса. «Гарри Гопкинс молчал почти минуту — и каким долгим показалось это молчание, — а затем, с преувеличенно протяжным произношением жителей Среднего Запада, он сказал: «Что ж, господин премьер-министр, я не думаю, что президенту будет наплевать на ваших крестьян». Литтлтон подумал: «Господи, что-то пошло не так»[92].

Гопкинс сделал паузу и продолжил: «Видите ли, мы заинтересованы только в том, чтобы этот чертов сукин сын Гитлер получил по заслугам»[93].

Черчилль, пораженный, «торопливо объяснил, что откровенно говорил и просто хотел, чтобы Гопкинс понял, что мы думаем о будущем. Он согласен с тем, что основной и наиважнейшей целью является уничтожение «этой грязной свиньи».

Что касается будущего, то Рузвельт, по словам Гопкинса, высказал примерно ту же идею, что Черчилль, но Рузвельт отказывается слушать тех, кто слишком много говорит о послевоенных задачах. Любопытное замечание, если учесть, что в своем обращении к нации на прошлой неделе Рузвельт — свидетель, а не участник нынешних тяжелых испытаний — связал помощь Великобритании с видением (своим видением) послевоенного мира. Рузвельт, по сути, объявил о намерении выиграть и войну и мир, несколько высокомерно, учитывая, что Черчилль и Англия сражались в одиночку. Черчилль заслужил право размышлять о будущем (хотя он не сказал ничего подобного Гопкинсу). Затем Черчилль, Гопкинс и остальные гости — с бренди и сигарами — прошли в кинозал, чтобы посмотреть немецкие выпуски новостей. Кадры встречи в марте 1940 года на перевале Бреннер Гитлера и Муссолини, отметил Колвилл, «вызывали больше смеха, чем то, что делал Чарли Чаплин в «Великом диктаторе». Черчилль, всегда уходивший последним, пошел спать около двух часов ночи. Несмотря на нескончаемые монологи Черчилля, Колвилл сделал вывод, что премьер-министр убедил Гопкинса в том, что некоторые члены британского правящего класса были людьми дела, а не слова[94].

На следующий день Черчилль продолжил проталкивать свои идеи. Вечерним гвоздем программы был фильм «Ночной поезд в Мюнхен», за которым последовали разговоры, сопровождавшиеся большим количеством выпивки; атмосфера была менее официальной и более непринужденной, чем накануне. Черчилль был в приподнятом настроении: немецкие силы вторжения, согласно расшифровкам «энигмы», сделанным в тот день, двигались в Южную Францию — явное доказательство того, что вторжение отложено, по крайней мере до весны. Черчилль решил не делиться этой новостью с Гопкинсом. Судьба южноафриканского золота оставалась неясной, и Черчилль спросил Гопкинса, что американцы планируют делать со всем золотом, которое они собрали? Делать зубные коронки? Гопкинс ответил, что они пристроят безработных охранять золото. Поздно вечером, уверенный в том, что в ближайшее время немцы не появятся в Англии, да еще после пары бокалов бренди, Черчилль заявил Гопкинсу, что хотя и неправильно говорить, что Великобритания будет приветствовать вторжение, но так считают и он сам, и британцы. Колвилл написал в дневнике: «Думаю, на Гопкинса это должно было произвести впечатление»[95].

И он не ошибся. На следующий день Гопкинс написал Рузвельту: «Люди здесь, начиная с Черчилля, замечательные, и, если одно мужество может победить, в результатах можно не сомневаться. Однако они отчаянно нуждаются в нашей помощи. Черчилль олицетворяет правительство во всех смыслах этого слова, он определяет большую стратегию, а нередко решает и частные вопросы; рабочие доверяют ему; армия, флот и воздушные силы до единого человека поддержи-

вают его... Черчилль хочет встретиться с Вами, и как можно скорее... Я уверен, что такая встреча между Вами и Черчиллем совершенно необходима — и притом в ближайшее время, так как бомбежки продолжаются и Гитлер не ждет решений конгресса»[96].

Но Рузвельт не хотел встречаться с Черчиллем до тех пор, пока его конгресс не одобрит закон о ленд-лизе. Что касается слухов в Вашингтоне (распространяемых, по мнению Рузвельта, Джо Кеннеди) относительно того, что Черчилль питает личную неприязнь к Рузвельту, то Гопкинс заверил президента, что ни о какой неприязни Черчилля «к Вам и Америке не может идти и речи». «Господин президент, — добавил он, — этот остров сейчас нуждается в нашей помощи, во всем, что мы можем дать ему»[97].

14 января Черчилль, Клементина, Гопкинс, доктор Уилсон, Джон Мартин, военный помощник Черчилля Томми Томпсон и чета Галифакс сели в поезд на вокзале Кингс-Кросс, чтобы совершить пятисотмильную ночную поездку до Терсо, самого северного города и самой северной железнодорожной станцией в Британии. Оттуда Галифакс должен был отплыть в Америку на борту новейшего британского линкора King George V, гордости Королевского флота. По воспоминаниям Мартина, они прибыли на рассвете, за окнами «выла снежная буря и расстилалась безлюдная ледяная пустыня, покрытая снегом». Черчилль, в целях борьбы с холодом, добавил к арсеналу лекарственных средств утренний виски. Конечным пунктом их путешествия был Скапа-Флоу, куда они добрались из Терсо на борту линкора King George V. На следующее утро Галифакс отправился на линкоре в Америку, а остальные вместе с Черчиллем и Гопкинсом — в Эдинбург, а оттуда в Глазго, где 17 января Черчилль сказал портовым рабочим (и Гопкинсу): «В 1941 году мы не нуждаемся в больших армиях из-за океана. То, что нам требуется, — так это оружие, корабли и самолеты». Черчилль понимал, что в 1942 году положение может полностью измениться, но зачем было заглядывать так далеко?[98]

Вечером, во время обеда, Гопкинс произнес тост, ставший одним из лучших в XX веке: «Я думаю, что вы хотите знать, что я собираюсь сказать президенту Рузвельту по возвращении. Я процитирую вам один стих из Библии: «...куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом»*, и добавил: — До конца». Черчилль прослезился. Слова Гопкинса, написал в дневнике доктор Уилсон, «были подобны веревке, брошенной утопающему»[99].

Первые недели 1941 года принесли Черчиллю хорошие новости только из Северной Африки. Его бодрое настроение, отметил Колвилл в конце года, связано с известиями о первых победах британцев над

* Книга Руфь 1: 17.

итальянцами в начале декабря в Западном Египте, во время операции «Компас». Его настроение улучшалось с каждым новым сообщением об отступлении итальянцев, сначала в Северной Африке, затем о разгроме империи Муссолини в Восточной Африке. Отправляя солдат и танки, считавшиеся необходимыми для защиты Родного острова, в Африку, он наконец принял бой с врагом. В своих воспоминаниях Черчилль написал: «Хотя нашим друзьям в Америке, откуда к нам приехали с визитом несколько генералов, наше положение внушало большую тревогу, а весь остальной мир считал вторжение в Англию вполне вероятным, сами мы сочли себя вправе отправить за море все войска, перевозку которых могли обеспечить имевшиеся в нашем распоряжении суда, и вести наступательную войну на Среднем Востоке и в Средиземноморском районе. Именно здесь находился стержень нашей будущей окончательной победы, и именно в 1941 году начались первые знаменательные события»[100].

События начались 6 декабря 1940 года, когда О'Коннор приступил к операции «Компас». К новому году он проделал 50 миль на запад от Сиди-Баррани и подошел к Бардии, собираясь выполнить приказ Черчилля «измотать итальянскую армию и насколько возможно очистить от нее африканское побережье». Бардия не была просто лагерем в пустыне. Возвышавшаяся над гаванью, защищенная со стороны берега почти двадцатимильной полосой траншей и укреплений, она считалась самым укрепленным портом в Ливии. Командовавший обороной Бардии генерал Аннибале Бергонцоли, ветеран Гражданской войны в Испании и настоящий боевой генерал, имел в подчинении почти 45 тысяч человек. Бергонцоли радировал Муссолини: «Мы в Бардии, и здесь останемся». К тому времени у О'Коннора осталось всего две дюжины тяжелых танков. Он понимал, что его пехоте предстоит тяжелая работа, которая была возложена на 6-ю австралийскую дивизию, недавно прибывшую из Палестины. 3 января, после ночного воздушного обстрела Бардии и окружающих укреплений, австралийцы, перейдя в наступление, кричали в едином порыве: «Мы идем, чтобы увидеть волшебника, удивительного волшебника из страны Оз». Они прорвали проволочные заграждения и хлынули в траншеи. Круша все на своем пути, они пробились в центр города. Три английских линкора подплыли к городским стенам и подвергли город усиленному обстрелу. На рассвете 4 января все закончилось. Бергонцоли сбежал ночью в Тобрук. Он, можно сказать, выполнил обещание, данное дуче. Почти все его 45 тысяч солдат остались в Бардии, но только в качестве британских военнопленных[101].

5 января, после взятия Бардии, Черчилль телеграфировал Уэйвеллу: «Сердечные поздравления с Вашей второй блестящей победой, столь необходимой в этот поворотный момент. Вы постучали, и Вам отворили». Он пришел в такой восторг от взятия Бардии, что объявил

5 января Днем Бардии. Победы были столь редки, что от такого по природе восторженного человека, как Черчилль, можно было ожидать подобную реакцию[102].

Слово «победа», заметил Колвилл, исчезнувшее из обихода британцев, вернулось на Уайтхолл, Флит-стрит, в Чекерс, Букингемский дворец и Ист-Энд. Черчилль призвал Уэйвелла преследовать противника. Линкольн тоже призывал к этому генерала Джорджа Мида после победы над Ли при Геттисберге. Черчилль видел возможность нанести итальянцам больший урон не в пустыне, а в Греции. Черчилль сменил приоритеты сразу после Нового года. То, что он ранее дал Уэйвеллу, теперь он забрал у него. Он ясно дал понять это в телеграмме от 11 января: «Ничто не должно помешать взятию Тобрука, но решение правительства Его Величества оказать грекам максимально возможную помощь означает, что после взятия Тобрука все другие операции на Среднем Востоке должны будут рассматриваться как второстепенные»[103].

Победы над итальянцами утвердили Черчилля во мнении, что, сражаясь с двумя противниками, имеет смысл «подумать, не удастся ли уничтожить своего самого сильного противника посредством уничтожения его самого слабого союзника, и благодаря этому может появиться масса политических, экономических и географических преимуществ и сыграть свою роль». Во время Первой мировой войны он применил свою стратегию к слабейшему союзнику Германии, Турции; его целью был пролив между азиатской частью Турции и Европой — Дарданеллы. Сэр Генри Вильсон, бывший начальник имперского Генерального штаба, сформулировал свою *философию* вторичных театров: «Чтобы закончить войну, надо бить немцев, а не турок... Вся история учит нас, что операции на второстепенных и маловажных театрах войны не оказывают влияния на главном фронте, лишь ослабляя занятые на нем силы». Принцип Вильсона нельзя рассматривать в отрыве от времени и места. В 1915 году он был не прав, поскольку убийство немцев превратилось в войну траншей, кровавую мясорубку на истощение. План Черчилля по захвату пролива Дарданеллы предлагал стратегическую альтернативу бойне во Фландрии. План был хороший, но выполнение оказалось не на высоте, что привело к провалу Галлипольской операции[104].

Теперь Черчилль опять наносил удары более слабому противнику, но, убивая итальянцев в Африке, не причинял никакой боли гитлеровскому рейху. Убийство итальянцев в пустыне не было стратегической альтернативой; это был бой второстепенного значения, который истощал силы Черчилля, которые ему могли понадобиться, когда, возможно, придется сражаться не только с немцами, а вести войну на два фронта. Стратегия нанесения удара по более слабому из двух противников имеет по крайней мере один недостаток: более сильный может нанести ответный удар. Черчилль ожидал, что Германия поступит так в Греции или в Северной Африке.

Но 10 января был нанесен удар по Средиземноморью. В этот день, в разгар ошеломляющего наступления О'Коннора в Ливии, с авианосца Illustrious, сопровождавшего конвой из Александрии на Мальту и находившегося примерно в 100 милях к востоку от острова, поднялись истребители «Фулмар» (Fairey Fulmar) и ринулись в погоню за двумя итальянскими торпедоносцами. Но это были ложные цели. Почти три дюжины немецких «Юнкерсов» «Ju 88» и пикирующих бомбардировщиков «Штука», которые базировались на Сицилии, атаковали Illustrious, сбросив шесть бомб на полетную палубу. Охваченный огнем Illustrious с трудом дотащился до Мальты, где еще раз подвергся бомбовой атаке. Жизненно важный авианосец выбыл из строя почти на год. Во время атаки серьезные повреждения получил крейсер Southampton, который на следующий день был затоплен. Менее чем за десять минут горстка немецких летчиков отобрала контроль над Центральным Средиземноморьем у Великобритании. Уэйвелл в Каире, вместе со своими кораблями, самолетами, танками и солдатами в течение нескольких минут был отрезан от Лондона. Подкреплению предстояло опять проделать 14 000-мильный путь. Черчилль получил сообщение, когда находился с Гарри Гопкинсом в Дитчли и произносил речь о войне[105].

В Ливийской пустыне британцы не сталкивались с подобными бедствиями. Уэйвелл, несмотря на противостоящие ему четырнадцать итальянских дивизий и Черчилля с его балканскими планами, приказал О'Коннору продолжать наступление. Тобрук, в 60 милях от Бардии, пал 21 января; австралийцы, снова возглавлявшие атаку, на этот раз были в противогазах, поскольку им пришлось пробиваться сквозь песчаную бурю, что отняло у них больше сил, чем взятие Тобрука. Итальянцы оказали столь незначительное сопротивление, что служивший в Палестине австралиец сказал: «Полиция в Тель-Авиве оказывала более серьезное сопротивление, чем итальянцы». Большие группы итальянцев пытались сдаться любому человеку в форме, в том числе репортеру агентства Associated Press. Один австралийский командующий сказал толпе будущих пленных, что сейчас он занят и не могли бы они прийти завтра. Австралийцы спустили итальянский флаг и подняли вместо него широкополую шляпу (часть обмундирования австралийской армии), и заменили название виа Муссолини на виа Нед Келли*.

Большее унижение трудно представить[106].

Несмотря на новые балканские приоритеты Черчилля, О'Коннор был полон решимости преследовать итальянцев. 29 января Дерна,

* Келли Нед — австралийский разбойник, известный дерзкими ограблениями банков и убийствами полицейских. Предания о «подвигах» Неда Келли, где он предстает как «благородный разбойник», появились еще при его жизни и стали неотъемлемой частью австралийского фольклора. Отношение к Неду Келли в стране неоднозначное: часть австралийцев считает его безжалостным убийцей, часть — символом сопротивления колониальным властям и воплощением национального характера.

в 100 милях к западу от Тобрука, сдалась без боя. Итальянский гарнизон сбежал вместе с итальянскими фермерами, поселившимися в этой зеленой, плодородной части побережья. Среди австралийцев ходила шутка: итальянцы сбежали из Киренаики в надежде добраться до Рима под защиту гвардии Ватикана. Черчилль не мог удержаться от колкого замечания в адрес дуче. Это история, задумчиво произнес он, «упадка и разрушения Итальянской империи... но будущему Гиббону не придется так долго писать ее, как писалась первая история»[107].

О'Коннор продолжал наступать в западном направлении, все больше углубляясь внутрь страны. Его 7-я бронетанковая дивизия захватила форт в Мечили, но итальянцы, бросив танки в Триполи, ушли по дороге, идущей вдоль побережья, которая вела на юг между Дерной и Бенгази. О'Коннор надеялся обойти и заблокировать итальянцев у Беда-Фомма, южнее Бенгази. Он хотел окружить и взять в плен маршала Грациани, генерала Бергонцоли и всех остальных. Британцам потребовалось тридцать часов, чтобы преодолеть 150 миль по пересеченной пустынной местности. Они пришли в Беда-Фомм 5 февраля, всего за полчаса до появления в поле зрения первых итальянских колонн. И хотя далеко не все танки О'Коннора добрались до Беда-Фомма, итальянцы оказались в очень затруднительном положении. Итальянская танковая тактика (как и французская) позволяла, чтобы только один из тридцати итальянских танков был оснащен радиостанцией. Вступив в сражение, итальянские танкисты не могли быстро реагировать на стремительно меняющуюся картину боя[108].

Завязалась ожесточенная перестрелка, продолжавшаяся более суток, и итальянцы потерпели жестокое поражение. Сцена приобрела причудливый вид, когда торговцы-арабы начали бродить по полю боя и продавать свежие яйца обеим сторонам. Итальянские командующие бросали в бой экипаж за экипажем и только наблюдали, как они горят в своих танках. Те, кто выжили, были взяты в плен, а те немногие, которым удалось сбежать, затерялись в пустыне. За недолгую историю танковой войны ни одному танковому подразделению не удавалось покрыть такое расстояние в условиях бездорожья и резко пересеченной местности за столь короткое время, как это сделала армия победителя О'Коннора. Черчилль считал, что наступление О'Коннора займет большую часть февраля, но 7 февраля все закончилось. Итальянская армия в составе десяти дивизий потерпела поражение в Восточной Ливии; британцы уничтожили 400 итальянских танков и взяли в плен 130 тысяч человек. Британские войска одержали полную победу в Киренаике[109].

О'Коннор, чтобы еще больше унизить Муссолини, радировал Уэйвеллу о капитуляции Бергонцоли открытым текстом: «Лиса убита у всех на виду». Грациани бежал на запад с остатками своей ливийской армии, уменьшенной вдвое, до 125 тысяч солдат, чтобы вскоре ока-

заться запертым в Триполитании, не представляя ни для кого угрозы, никем не уважаемый, даже бедуинами, которые безнаказанно отобрали обугленные корпуса танков, в которых остались обгоревшие трупы молодых итальянских танкистов. После победы в Ливии Иден, перефразируя знаменитое высказывание Черчилля, заявил: «Никогда так много не было отдано столь немногим». Муссолини — Черчилль назвал его «коварным, жестоким, злобным итальянцем» — пристально смотрел из Рима на руины своих североафриканских амбиций[110]. Путь к Триполи и центру Итальянской Северной Африки был открыт. Первый из стратегических приоритетов Черчилля — очистить Африку от итальянцев — был почти выполнен. О'Коннор, стремясь продолжить наступление, отправил в Каир помощника, чтобы убедить Уэйвелла в необходимости преследовать итальянцев. Но Уэйвелл, которому было известно о балканских планах Черчилля, приступил к планированию новой весенней кампании. На стенах его штаба уже висели карты Греции, а не Ливии. Почти 60 тысяч лучших солдат под командованием Джамбо Вильсона упаковали свое снаряжение и приготовились к морскому путешествию. Когда в конце января скоропостижно скончался греческий премьер-министр Метаксас, его преемник, Александрос Коризис, принял предложение Черчилля о помощи. Вскоре Филипп Ним заменил О'Коннора и принял командование Нильской армией.

Когда осенью прошлого года Уэйвелл представил свои африканские планы, Черчилль «мурлыкал от удовольствия, как шесть котов». «Он был в восторге», — написал в своих воспоминаниях Исмей. «Войны выигрывают превосходящей силой воли, — заявил Черчилль, — и теперь мы вырвем инициативу у соперника и навяжем ему нашу волю». Черчилль, написал Исмей, всегда был склонен «считать цыплят до того, как они вылупились из яйца». Но результаты Уэйвелла и О'Коннора превзошли даже самые смелые предположения Черчилля[111].

6 февраля Гитлер поручил человеку, которого отправлял в Северную Африку, поднять настроение побежденным итальянцам. Этим человеком был генерал-лейтенант Эрвин Роммель, который в мае прошлого года, успешно командуя 7-й танковой дивизией, молниеносно вывел ее к Ла-Маншу. В Африке Роммелю предстояло командовать небольшим механизированным соединением, состоявшим из двух дивизий: танковой и легкой моторизованной. Его восемьдесят новых танков были быстрее и надежнее британских танков, но у Уэйвелла было значительное превосходство в средних и тяжелых танках, если только Уэйвеллу не прикажут сделать нечто необъяснимое, такое как перебросить танки в Грецию, на Крит или в какое-то другое место. Роммель назвал свое соединение Африканский корпус. Если переброска танков и солдат 15-й танковой дивизии пройдет как планируется, то в середине мая он будет в полной боевой готовности. Его задача

была сродни задачи О'Коннора, но с обратным знаком — удерживать фронт в Триполитании и, по возможности, разведывать обстановку в восточном направлении. Ожидалось британское наступление на Триполи: основные принципы военной доктрины призывали развивать успех. Приказы Роммеля были направлены на сдерживание ожидаемого наступления и уклонение от любого генерального сражения в Киренаике с численно превосходящими британцами. Хотя Роммель был из тех генералов, которые выполняют приказы, но в то же время он считал, что его основная задача вести борьбу с врагом. Он не знал ничего прекраснее, чем хорошо спланированный, отлично проведенный бой — наступательный, не оборонительный. Сейчас его приказы вступали в противоречие с его любовью к действию, но думающий солдат всегда найдет способ обернуть события в свою пользу, как любил говорить Черчилль[112].

В тот день, когда Гитлер инструктировал Роммеля, О'Коннор получил приказ отправить оставшиеся танки на восток в Каир, на ремонт. Тот день не подходил для того, чтобы отдавать приказ о ремонте; это было одно из тех незначительных на вид событий, которые во время войны сильно влияют на будущее, хотя командующие ни с той ни с другой стороны не могли в то время предсказать последствия. Приказ, казалось, был вполне разумным. Британская 7-я бронетанковая дивизия уменьшилась до бригады, нескольких десятков танков. Любые танки нуждались в ремонте, если бы к тому времени они проделали путь почти в 500 миль на восток, туда, откуда начинался их путь; до войны британские планировщики не продумали вопрос транспортировки танков на грузовых платформах на поле боя и с поля боя. В Ливии не было железных дорог; британские танки преодолевали огромные расстояния своим ходом. Итак, танки Роммеля направились в Северную Африку, а танки Уэйвелла — в Каир. Спустя несколько месяцев Черчилль назвал это решение «недальновидным»[113].

На той неделе в Восточной Африке английские колониальные войска уверенно двигались в направлении еще одной цели Черчилля — изгнания итальянцев с Африканского Рога. Первым объектом Черчилля была Абиссиния (современная Эфиопия), где герцог Аоста командовал слабой, плохо вооруженной армией. Иден во время октябрьского визита в регион встречался в Хартуме с Уэйвеллом, императором Хайле Селассие и южноафриканским премьер-министром Яном Смэтсом, который направил более 30 тысяч южноафриканских солдат в пустыню воевать за Лондон. Селассие, первый из мировых лидеров, нашедших убежище в Лондоне после падения его режима, вернулся в Хартум, чтобы сказать всем, кто слушал, что для него пришло время стать первым лидером, который вернет свою столицу, и он может это сделать, если его солдаты будут лучше вооружены и будет более профессиональное командование. Иден и Смэтс согласились помочь, но по разным при-

чинам. Иден, под давлением Черчилля, искал связь между арабской и африканской частями мусульманского мира, единую политическую цель, которая компенсирует растущее антибританское исламское присутствие в Иерусалиме и Багдаде. Смэтсу требовалась победа, чтобы преодолеть сопротивление бурских националистов, не испытывавших любви к Англии. Смэтс, сражавшийся сорок лет назад на стороне буров, оценил по достоинству британский взгляд на мир. Он верил в Британскую империю и, как один из создателей Устава Лиги Наций, верил во всемирный совет, предназначенный для исправления зла. Будучи глубоко религиозным человеком — у него всегда был с собой экземпляр Нового Завета, — он считал, что страны имеют моральное право вести войну против стран, виновных в очевидных этических мерзостях, таких как Германия при Гитлере. Он поддерживал интервенционистскую политику Черчилля, частично по той причине, что интервенция влечет за собой экономические выгоды. В конце концов, Великобритания и Франция, используя мандаты Лиги Наций, открывают новые пути в Восточное Средиземноморье и на Ближний восток. Дело Селассие правое; Смэтс его поддержал[114].

Командование войсками Селассие принял человек, имевший опыт войны в пустыне, подполковник Орд Уингейт, действовавший не по правилам, рискованно, подобно генералу Чарльзу Джорджу Гордону в Судане и Лоуренсу Аравийскому, имевшему авантюрный склад, которого прославлял Киплинг и который нравился Черчиллю, ему самому была присуща завидная доля авантюризма. Уингейт появился в Хартуме в начале ноября с чемоданом, в котором лежал миллион фунтов стерлингов. Имея стартовый капитал и твердую уверенность в том, что именно он тот человек, который вновь посадит на трон Льва из колена Иудова, Уингейт собрал небольшое войско. В эту разношерстную команду входили 800 человек из суданского пограничного батальона, приблизительно 800 абиссинских солдат и около 70 британских коммандос. Уингейт — знаток Библии и довольно чудаковатый человек — назвал свой отряд «Сила Гедеона»[115].

Общее командование британскими войсками было возложено на генерала Алана Каннингема, младшего брата адмирала сэра Эндрю Брауна Каннингема, командующего Средиземноморским флотом. Каннигем был отличным пехотинцем и всегда готовым вступить в бой. Сэр Джон назвал Восточно-Африканскую кампанию «эпизодом из «Красавчика Жеста»*, изобилующим лихими колонистами, скачущими на верблюдах, длительными переходами по пустыне, поднятыми ятаганами, перестрелками, в общем, колониальными скандалами, борьбой между колониальными войсками за колониальное превосходство.

---

* «Красавчик Жест» — американский фильм 1939 года с Гарри Купером в главной роли.

Просто XIX век. Черчилль был доволен, и не в последнюю очередь публичным унижением, нанесенным дуче. Между прочим, учитывая, что в 1941 году в Италии выпуск продукции на душу населения был сродни выпуску продукции на душу населения в Великобритании веком *ранее*, эта кампания действительно имела отношение к XIX веку и была легкой прогулкой для Черчилля[116].

20 января Хайле Селассие и Уингейт пересекли границу в том месте, где Голубой Нил низвергается из Эфиопии в Судан. Колонна Уингейта, до смешного слабая, все же прошла 300 миль по Эфиопскому нагорью до столицы Эфиопии, Аддис-Абебы. Две индийские дивизии перешли границу к северу от Голубого Нила в направлении Гондара. На следующий день суданские оборонительные силы пересекли границу Эфиопии южнее Голубого Нила. 11 февраля войска Каннингема, южноафриканская и африканская дивизии, перешли из Кении в Южную Эфиопию и Итальянский Сомалиленд. Итальянцы так быстро бежали с юга Абиссинии, что войска Каннигема не могли за ними угнаться. Итальянцы поспешно отступали, престиж Великобритании повышался[117].

События в пустыне и Восточной Африке дали возможность сообщить хорошие новости Гопкинсу, который задержался в Англии до начала февраля, и Уэнделлу Уилки, прибывшему в конце января. Уилки — кандидат от Республиканской партии, проигравший на ноябрьских выборах, высокий, крепкого телосложения мужчина, произносивший «Амьюрика» вместо «Америка». Он активно выступал против социальных программ Рузвельта, называя их «азбучным супом», и провел кампанию против рузвельтовских программ по оказанию помощи под лозунгом «Вам не победить Санта-Клауса». Его появление в Лондоне в качестве неофициального посла Рузвельта сообщило миру, что «Амьюрика» действует как одно целое. Изоляционисты могли оспорить этот факт, но Рузвельт был в процессе спихивания их со сцены. Уилки привез записку от Рузвельта, написанную от руки:

«Дорогой Черчилль,
Уэнделл Уилки доставит вам это письмо. Он [Уилки] не вмешивает политику в общее дело. Думаю, эти стихи адресованы народам наших стран:

Плыви вперед, корабль державный!
Плыви, союз могучий, славный!
Связав навек с твоей судьбой
И страх и веру, род людской
Следит с надеждой за тобой!

Всегда Ваш
Франклин Д. Рузвельт»

Строки Генри Вордсворта Лонгфелло — личные, символичные, очень много значившие для Черчилля. Он поместил письмо в рамку

и показывал гостям как вещественное доказательство настоящей дружбы[118].

В начале февраля приехал Джон Гил Уайнант, которого Рузвельт направил в Лондон в качестве посла вместо Джо Кеннеди. Бывший губернатор Нью-Хэмпшира, Уайнант, хоть и родился в Нью-Йорке, был человеком угрюмым и молчаливым — качества характера, которые часто связывают с уроженцами Гранитного штата (неофициальное название Нью-Хемпшира). Гарольд Николсон считал, что Уайнант «очень застенчив», но имеет «превосходный характер», «нескладный, но обаятельный» и обладает «реальным авторитетом». К его образованию было не придраться: школа Святого Павла и Принстонский университет. Один из первых сторонников программы Нового курса, в награду за это он возглавил Совет по социальной защите. Рузвельт сказал Джеймсу Конанту, президенту Гарвардского университета, что Уайнант установит хорошие отношения с Лейбористской партией Великобритании, которая почти наверняка «будет у власти по окончании войны»[119].

Уайнант, высокий, долговязый, считал, что только темные костюмы являются единственной подходящей одеждой для джентльмена. На фотографиях он похож на сильно уставшего Эйба Линкольна. Уайнант был безумно счастлив, когда отмечалось его сходство с Линкольном. Но сходству с Линкольном он был в значительной степени обязан глубокой печали в глазах, которая объяснялась, скорее всего, тем, что он был очень несчастлив в браке. Спустя несколько недель после прибытия в Лондон он влюбился в Сару Черчилль, «невинный» роман, по словам Колвилла, но он был обречен с самого начала, невинный или нет. Не так-то просто было женатому американскому послу встречаться с замужней женщиной, которая к тому же была дочерью премьер-министра. Сара была замужем за Виком Оливером, который был намного старше ее — привычка, сопровождавшая ее всю жизнь. «Возможно, я искала замену отцу», — написала Сара, выйдя замуж за Оливера. Уайнант был на пятнадцать лет моложе Черчилля, но из-за угрюмого выражения лица он казался на десять лет старше Старика. Через несколько дней после прибытия в Лондон он вернул все службы американского посольства на площадь Гросвенор, 1 из загородного поместья, куда год назад после первой бомбежки удрал Кеннеди[120].

Черчилль доверял Уайнанту до такой степени, что позволял править те места в текстах своих речей, которые могли показаться американцам вмешательством в их дела. Черчилль приглашал Уайнанта на выходные в гости, как и других американцев, находившихся той зимой в Лондоне, — Уильяма Аверелла Гарримана, Уильяма Дикого быка Донована, Гопкинса и Уилки. В 1941 году практически все выходные Черчилль принимал у себя американцев. Ему действительно нравилось проводить время в их компании, и он отдавал должное их откровенности. К тому же он понимал, что должен позволить им видеть, как он руководит во-

енными действиями. Р.О. Батлер написал, что Уайнант и другие американцы «хорошо реагируют на демонстрацию решимости». Именно этого Черчилль и добивался, а потому, вероятно, усиленно приглашал американцев в гости на выходные. В их присутствии он часто рассуждал о решимости и отмщении, о войне и мире[121].

Гарри Гопкинс уехал из Англии 8 февраля, убежденный в решимости Черчилля и неизбежности вторжения. Черчилль в мрачных красках описал Гопкинсу сцену высадки немцев на побережье. Гопкинс изложил свои соображения Рузвельту: «Самое главное замечание, какое я должен сделать, заключается в том, что большинство членов кабинета и все руководители Англии считают — вторжение неизбежно. Они днем и ночью напрягают все усилия, чтобы подготовиться к его отражению. Они верят, что вторжение может произойти в любой момент, но не позже 1 мая». Действительно, так считали многие военные и члены кабинета, но не Черчилль. По его мнению, самый верный способ для Гитлера проиграть войну — вторгнуться в Англию, которая даст отпор, и он потеряет и корабли, и людей, высадившихся на побережье. Но это было предположение, которое Черчилль не хотел проверять. Но если немцы все-таки вторгнуться на остров, то британцы готовы дать отпор. Спустя две недели после первой встречи с Черчиллем Гопкинс телеграфировал Рузвельту: «Дух народа и его решимость сопротивляться вторжению выше всяких похвал. Как бы свирепо ни было вторжение, Вы можете быть уверены, что они будут сопротивляться, и сопротивляться эффективно. Немцам придется сделать больше, чем убить здесь несколько сотен тысяч человек, прежде чем они смогут победить Великобританию». На самом деле, под влиянием разговоров с Черчиллем, Гопкинс считал, что Гитлеру придется убить их всех[122].

8 февраля 1941 года палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о ленд-лизе 260 голосами против 165, в какой-то мере благодаря молодому конгрессмену из Техаса и восходящей звезде Демократической партии Линдону Бэйнсу Джонсону. Теперь требовалось, чтобы закон одобрил сенат, а результат был непредсказуем. На следующий день Черчилль, учитывая победы в Африке и успешные переговоры с Гопкинсом и Уилки, обратился к Великобритании и Америке. Это было его первое выступление по радио за пять месяцев и первое с сентября 1939 года, когда британский лидер мог говорить о военных победах, пусть даже незначительных. Зная, что его слушают в Америке, он начал с хороших новостей: «Серия побед в Ливии безвозвратно уничтожила власть итальянцев на Африканском континенте... Мы все питали надежду, и я верил, что удастся... унизить следующего пришедшего за тем, про которого Байрон сказал, что «Он был как все земные боги: / Из бронзы — лоб, из глины — ноги».

Что касается Гитлера, сказал Черчилль, то встает вопрос: «Что этот коварный человек... готовит в течение зимних месяцев? Какое новое коварство замышляет?» Будет ли это «фаза еще более яростных нападений» на Англию? Какой будет новая форма атаки, которой он подвергнет наш островной дом и крепость; такой, которая не вызовет сомнений, что это все, что стоит между ним и мировым господством?» Затем Черчилль сделал удивительное заявление, учитывая, что благодаря «Ультра» он думал совсем иначе: «Нацистское вторжение в Великобританию осенью прошлого года было бы более или менее импровизацией. Гитлер не ставил под сомнение, что, когда Франция сдалась, мы тоже должны сдаться; но мы не сдались. И он вынужден снова думать. Теперь вторжение будет поддержано намного более тщательно подготовленным снаряжением и оборудованием для десантных судов и всего того, что планировалось и изготавливалось в течение зимних месяцев. Мы должны быть готовы встретить газовые атаки, атаки с использованием планеров и парашютистов, решительно и умело».

Начиная с июня он объяснял военачальникам, что страх вторжения способствует повышению бдительности у британцев. Где бы он ни выступал, он всегда тщательно подбирал слова. Он никогда не говорил британцам, что Гитлер приближается, а только, чтобы они были готовы к его появлению. Британцам было почти ничего не известно из газет и радиопередач о передвижениях немецких войск на Европейском континенте и развертывании британских войск на Родном острове. Все было покрыто мраком неизвестности. Поэтому, когда они услышали, что их премьер-министр говорит о газовых атаках и необходимости сражаться на побережье, они, понятное дело, весьма обеспокоились, чего и добивался Черчилль.

Черчилль, предупреждая о вторжении, высказывал часто повторяемые предположения: «Он [Гитлер] может произвести ужасные разрушения в странах Балканского полуострова; он может прорваться на просторы России, дойти до Каспийского моря; он может подойти к воротам Индии. Это все ему не поможет. Он может распространить свое зло по Европе и Азии, но это не предотвратит его гибель».

Это было и очередное предупреждение Сталину, и сигнал Гитлеру, что британские разведывательные службы знают о его намерениях. У Черчилля были слова и для болгар; он посоветовал им не повторять ошибок Первой мировой войны, когда они «присоединились в проигрывающей стороне». На этот раз, сказал Черчилль, «я думаю, болгары не собираются повторить ту же ошибку». Затем он поделился мечтой относительно Балкан: «Конечно, если бы все балканские народы объединились и действовали сообща, с помощью Великобритании и Турции, то германской армии и военно-воздушным силам понадобилось бы много месяцев, чтобы собрать достаточно сил для

победы над ними». Однако на тот момент, согласно «Ультра», немцы уже собрали необходимые силы для разгрома Греции[123].

Обойдя молчанием неспособность предпринять реальные действия против Германии, Черчилль обрушил на слушателей поток хороших новостей, связанных с итальянцами. В тот день на рассвете три линейных крейсера адмирала Джеймса Соммервилла подошли к Генуе и подвергли «жесточайшему обстрелу» морскую базу. Казалось, что Соммервилл так же легко расправился с итальянцами, как Дрейк с Картахеной. «Все правильно, — заявил Черчилль, — итальянцев следовало заставить почувствовать, в какое тяжелое положение поставил их диктатор Муссолини; и если бы канонада в Генуе разнеслась по побережью, отозвалась эхом в горах, достигла ушей наших французских товарищей, охваченных горем и страдающих, то это могло бы подбодрить их и дать им почувствовать, что друзья — решительные друзья — рядом и что Британия правит морями». *Правит морями?!* Британия в Средиземноморье и Атлантике и, что самое мучительное, на подходах к Родному острову отнюдь не правила морями. У Британии на самом деле впервые в ее истории были серьезные основания бояться моря[124].

Черчилль ничего не сказал о Японии. Хотя три дня назад Алек Кадоган сообщил Идену, что министерство иностранных дел прослушало «несколько очень неприятных телефонных разговоров, из которых следует, что японцы, похоже, собираются напасть на нас». В течение года ходило много слухов о нависшей японской угрозе, но Черчилль столкнулся с более чем достаточными проблемами в Европе, чтобы заниматься тем, что происходило в далеком Тихоокеанском регионе, и у него для этого не было ни сил, ни средств[125].

Черчилль закончил выступление чтением строк из Лонгфелло, которые Рузвельт прислал ему с Уилки, после чего непосредственно перешел к изъявлению благодарности «великому человеку» Рузвельту. Адресуясь к страхам американцев, что ленд-лиз в один далеко не прекрасный день приведет к отправке их мальчиков за океан, Черчилль заявил, что «мы не нуждаемся в доблестных войсках, которые формируются по всему Американскому Союзу. Мы не нуждаемся в них ни в этом году, ни в следующем году, ни в любом другом году». Он нуждался в оружии, самолетах и, особенно, в кораблях, но не нуждался в армиях. Эта война, заявил он, отличается от Первой мировой войны, когда «Америка отправила 2 миллиона солдат через Атлантику. Это не война огромных армий, обстреливающих друг друга огромным количеством снарядов... Судьба этой войны, — сказал Черчилль, — будет решаться на океанах, в воздухе и, прежде всего, на этом острове. — И далее: — Мы не будем проявлять слабость и нерешительность, мы не устанем и не будем отчаиваться. Ни внезапное нападение, ни продолжительные испытания не смогут ослабить нас». Последняя фраза

стала одним из самых известных высказываний Черчилля: «Дайте нам пушки, и мы закончим работу»[126].

На первый взгляд это заявление кажется наглой ложью, учитывая, что Германия правила на суше, что только армии могли ее победить. Однако на Черчилля — и многих его генералов — оказал влияние опыт, полученный в Первой мировой войне, когда многочисленные армии мерились силами в течение четырех лет вдоль пятисотмильных траншей. Затяжная позиционная война привела к застойному характеру Первой мировой войны. Сражения между армиями — такие, как битва на Сомме и при Пашендейле, — заканчивались немыслимым кровопролитием. Войны с тех пор изменились, и хотя Черчилль умом это понимал, но нутром не прочувствовал. Даже после того, как весной прошлого года немцы, используя новую тактику и новое оружие, за шесть недель пронеслись к победе по Франции, как сейчас британские танки пронеслись по Ливии, Черчилль по-прежнему был убежден, что, если в Европе сойдутся огромные армии, положение на фронтах стабилизируется и начнется кровопролитие. В течение трех последующих лет это убеждение лежало в основе его взглядов. Он считал, что если немцы вторгнутся в Англию, они будут уничтожены в морях, на побережье и на полях сражений. Он считал, что, если британцы, численно слабые, слишком скоро вернутся в Европу, то они тоже будут уничтожены. Поэтому он искал другие способы поставить Германию на колени. Летом прошлого года он сказал своим военачальникам, что военно-воздушные силы единственный верный путь к победе, но это осталось непроверенным предположением, поскольку Великобритания испытывала нехватку самолетов. Ни Королевский флот, ни Королевские воздушные силы, ни порознь, ни вместе, не могли сокрушить немецкую армию, а единственным путем к победе Британии было уничтожение немецкой армии. Для этого Черчиллю требовались солдаты, во много раз больше, чем могли собрать Великобритания и доминионы. В этом ему могли помочь только две страны: Соединенные Штаты и Советский Союз, но ни одна из них не была готова сражаться с вермахтом. Черчилль был прав, когда предположил, что западная цивилизация или исчезнет, или спасется в приближающемся мировом пожаре. Но у него не было подходящей стратегии, чтобы принять вызов.

Ян Смэтс, слушавший его выступление в Южной Африке, телеграфировал: «Каждое выступление по радио — битва». Необычно все, что имеет отношение к речам Черчилля, и не в последнюю очередь скорость, с какой они обычно писались или диктовались машинисткам, когда удавалось выбрать время между неотложными делами. На протяжении всей его жизни критики говорили о напыщенности его речей и склонности к преувеличению. После Дюнкерка положение Англии было настолько тяжелым, что ни о каком преувеличении не

могло идти речи; после сорока лет в парламенте у него, наконец, был достаточный по размерам холст, чтобы наносить на него яркие краски. Он опроверг высказывание Теодора Драйзера в романе «Сестра Керри»: «Как это верно, что слова — лишь бледные тени того множества мыслей и ощущений, что стоит за ними». Его слова отбрасывали собственные тени, и они были длинными и глубокими. Он показывал, что яркая речь может изменить ход истории. Но мощное оружие, в котором тогда нуждались Черчилль и Гитлер, могло намного быстрее изменить ход истории[127].

На предупреждение Черчилля о вторжении сразу отреагировали министры доминионов, которые в телеграммах на Уайтхолл выразили беспокойство по поводу судьбы Родного острова. Министр доминионов, виконт Кранборн, послал Черчиллю копию телеграммы, подготовленной им для правительств доминионов, в которой он обрисовал все за и против немецкого вторжения. Черчилль ответил ему, не скрывая недовольства: «Зачем понапрасну волновать доминионы, если нет уверенности в немецком вторжении?» И потом, даже если они появятся, добавил Черчилль, то в течение недели будут отрезаны от снабжения и лишены связи. Королевские бомбардировщики уничтожат места высадки и десантные средства. Кроме того, в резерве «у нас есть 30 дивизий и тысяча танков», чтобы «отбросить» захватчиков. Миллион членов Родной гвардии готовы «бороться с парашютистами». Эта информация предназначалась только для Кранборна; Черчилль не видел смысла сообщать ее в доминионы, где, скорее всего, произойдет ее утечка. В ответе Черчилля наиболее впечатляюще прозвучала информация о количестве дивизий: тридцать. Когда в марте военный министр Дэвид Маргессон предложил ограничить подкрепление в Египет двумя дивизиями, Черчилль резко ответил: «Я не разделяю мнение, что можно выделить только две дивизии из той огромной силы, собранной теперь в метрополии. Мы не должны придавать слишком большое значение обороне». Десять месяцев назад регулярная армия Черчилля в Англии состояла из промокших и невооруженных уцелевших после Дюнкерка солдат. Теперь у него была армия, конечно уступавшая в численном отношении гитлеровской, но самая настоящая армия[128].

15 февраля Черчилль снова отправил Идена и Дилла в Каир и Грецию. Их задача состояла не в том, чтобы заставить Уэйвелла продолжать победное наступление в Ливии, а чтобы заставить его начать подготовку к запланированному Черчиллем наступлению на Балканах; балканскую стратегию Черчилль обрисовал в длинной телеграмме, отправленной Уэйвеллу. Черчилль написал, что, поскольку вторжение немцев в Грецию почти не оставляет сомнений, будет необходимо отправить из Египта в Грецию «по меньшей мере четыре дивизии, включая одну бронетанковую». Черчилль выразил надежду, что «если Греция с нашей помощью сможет в течение нескольких месяцев сдерживать

наступление германских войск, то шансы на вмешательство Турции увеличатся». Но если события в Греции пойдут не так, как планируется, то «мы должны любой ценой удержать Крит». Амбициозный план, если учесть, что у Черчилля не было достаточно средств, чтобы бросить вызов Гитлеру не только в Западной Европе, но и в любом другом месте. Премьер-министр также приказал Уэйвеллу «принять все возможные меры предосторожности для обеспечения безопасности двух наших посланников, учитывая мерзкие привычки макаронников и гуннов»[129].

А в это время за океаном Франклин Рузвельт пытался протащить через сенат закон о ленд-лизе. Изоляционисты были категорически против. Сенатор от Монтаны Бертон Уиллер, близкий друг Джо Кеннеди и один из основателей изоляционистского комитета «Америка — прежде всего», заявил, выступая по радио, что Рузвельт собирается «погубить каждого четвертого американского парня». Рузвельт назвал его обвинение «самым бесстыдным и антипатриотическим заявлением из всего, что было сказано публично на памяти моего поколения». Уиллер, отдыхая в доме Кеннеди в Палм-Бич, отказался говорить на эту тему. Он не обязан. Бесстыдное это заявление или нет, но он так считает.

Хотя цель американских изоляционистов состояла в том, чтобы построить «крепость Америку», мощную и неприступную систему обороны от внешнего врага, чтобы гарантировать свою безопасность и не вмешиваться в международные конфликты, такие люди, как Уиллер и Кеннеди, понимали, что для того, чтобы завоевать сердца американских родителей, не надо объяснять сложные геополитические проекты, а следует подчеркивать вероятность гибели их сыновей ради защиты старого, коррумпированного имперского строя. Неопровержимая логика: если Америка будет втянута в войну, американские парни будут гибнуть. Все — Черчилль, Рузвельт и даже американские изоляционисты — считали, что цена жизни Британии скоро будет исчисляться в долларах США. Хотя эта перспектива вызывала раздражение изоляционистов, но кое-как они могли с этим смириться. А вот то, что цена жизни британцев, возможно, в скором времени будет исчисляться в жизнях американцев, этого они не могли допустить. А Черчилль мог.

Черчилль, доказывая необходимость помощи со стороны Америки, обходил молчанием вопрос цены, не говорил ничего такого, что имело бы отношение к империализму, всего того, что могло намного усложнить задачу Рузвельту. В личном письме Галифаксу он написал: «Удивительно, как Кеннеди удается до сих пор убеждать всех, что мы добьемся большего успеха с Соединенными Штатами, сохраняющими нейтралитет, чем с воюющими на нашей стороне». Публично он не мог высказать подобное мнение. Гопкинс предупредил Черчилля, что Рузвельт ведет борьбу за ленд-лиз с изоляционистами и «любое действие со стороны Великобритании, которое позволит предположить,

что Соединенные Штаты будут в конечном итоге воевать на британской стороне, окажется губительным» для ленд-лиза и поставок, столь необходимых Черчиллю[130].

Черчилль сказал Колвиллу, что его обескураживает тот факт, что Рузвельт идет на поводу общественного мнения, но на самом деле он понимал, что Рузвельт ведет народ в том направлении, на котором он остановил свой выбор. Это было реальное руководство, а не дешевое манипулирование, поскольку стадо могло только в том случае прийти в намеченный пункт назначения, если им управлял искусный пастух. Черчилль не мог давать советы Рузвельту и не мог вмешиваться в отношения президента с народом. Учитывая его характер и власть, которой он был наделен в Великобритании, такое положение дел расстраивало Черчилля, и он говорил об этом членам военного кабинета, но никогда не обсуждал эту тему с Рузвельтом. Черчилль любил давать советы, но неотправленные послания Рузвельту в конце года свидетельствуют о другой важной черте его характера: умении, когда этого требуют обстоятельства, держать язык за зубами[131].

Джо Кеннеди и Чарльз Линдберг выступали против ленд-лиза. Линдберг отказывался проводить различие между Германией и Великобританией с точки зрения нравственных норм и, в традиции Болдуина и Чемберлена, предостерегал провоцировать Германию. Он неоднократно заявлял, что не хочет, чтобы Германия или Великобритания одержали победу, что «для Европы будет бедствием», если победит одна из этих сторон — любопытный ход мысли, если учесть, что когда-нибудь одна из сторон должна будет одержать победу. Что касается Гитлера, сказал он, то «я чувствую, что должен сохранять позицию абсолютного нейтралитета». Он считал, что война должна закончиться переговорами о мире, а не победой Британии, которая может быть получена только путем вторжения в Германию, что приведет к «упадку, голоду и болезням» в Европе. Америка, заявил он, не должна быть «полицией мира»[132].

Джо Кеннеди, надеясь восстановить свое положение в правящих кругах, не упоминал Гитлера и призвал Америку заняться вопросами собственной обороны. Ленд-лиз, заявил Кеннеди, создает определенные конституционные проблемы, но в целом помощь Великобритании хорошее дело. А затем озвучил свои истинные чувства журналистам. Некий «анонимный американский государственный деятель» (почти наверняка Кеннеди) сказал британскому писателю Джону де Корси, что многие американцы считают, что «американский народ обманут» и что увеличение помощи Великобритании «приведет к инфляции и банкротству многих американцев». Анонимный государственный деятель был возмущен тем фактом, что американцы, выразившие несогласие с господином Черчиллем, были названы изоляционистами, а слово «изоляционист» утратило «основную часть своего значения и стало руга-

тельством». Из-за выступлений в конгрессе и анонимных язвительных замечаний «нервный Джо» закончился как политик[133].

В начале февраля Джеймс Конант, выступая перед сенатской комиссией по иностранным делам, призвал прекратить «молча попустительствовать политике, которая может привести к уничтожению на этом континенте образа жизни, свободного от принуждения». Конант назвал этот конфликт не столько империалистической, сколько «религиозной войной», которую ведут «люди, фанатично преданные философии, отрицающей все предпосылки нашей веры». И затем Конант, один из главных научных советников Рузвельта, напомнил стране, что фашисты «вооружены современной наукой». Спустя несколько дней после выступления Конант был на пути в Лондон, куда его отправил Рузвельт для выяснения, насколько хорошо вооружена современной наукой Великобритания[134].

Chicago Tribune продолжала тенденциозно высказываться о Рузвельте и ленд-лизе. Американцы слушали изоляционистов, но стали меньше прислушиваться к ним и даже меньше реагировать на их выступления. Изоляционисты, написал писатель и политический обозреватель Уолтер Липпман, «вынудили Соединенные Штаты заключить сепаратный мир и отказаться в дальнейшем от связей с другими демократиями, чтобы сделать мир безопасным для демократии». Ленд-лиз, написал он, гарантирует, что «страна переходит от больших обещаний, выполняемых хитро и частично, к реальным делам, честно и открыто заявленным»[135].

Рузвельт сделал важные заявления. Его «арсенал демократии» потряс Америку. Еще больше потрясли его «четыре свободы». К концу февраля опросы общественного мнения, проведенные Институтом Гэллапа, показали, что 55 процентов американцев считали, что Великобритания стоит того, чтобы ее спасали. Черчилль убедил Рузвельта, а Рузвельт заключил сделку с конгрессом. Но сенат тянул с одобрением закона о ленд-лизе, и, согласно опросам общественного мнения, проводимым в течение зимы Институтом Гэллапа, почти 80 процентов американцев были против отправки армий за океан.

Любопытно, что в своих воспоминаниях Черчилль не доверяет Эдварду Р. Марроу привести американцев на борт его тонущего судна. Черчилль и Рузвельт использовали такое средство связи, как радио, для того, чтобы пропагандировать свои взгляды (прошло всего семь лет с первой рузвельтовской беседы у камина), но они понимали, что не могут слишком часто выступать по радио. К счастью для Черчилля, американцы настраивали приемники на Си-би-эс и слушали Марроу, журналиста, который, по мнению Эрика Севарейда, оказал мощное воздействие на людей, был «влиятельным и убедительным». Репортажи Марроу из Лондона были настолько проникновенными, что Эд Марроу был одним из первых, кого Гарри Гопкинс разыскал по при-

бытии в Лондон. Марроу рассказывал о бедственном положении народа во время войны. Он был, написал Севарейд, «до настоящего времени величайшим диктором, говорившим на английском языке» и «Босуэллом великого города». Репортажи Марроу служили для того, чтобы изменить представление американцев о британцах как миротворцах и империалистах на образ мужественных защитников свободы. После ночных бомбардировок Марроу в радиорепортаже рассказал, что, когда он «в семь утра шел домой, окна в Вест-Сайде были красными от отражавшегося в них огня и капли дождя на оконных стеклах были как капли крови». Ни одному американскому изоляционисту было не под силу создавать такие яркие образы, оказывающие мощное влияние на людей[136].

Однако Черчилль достаточно хорошо представлял Америку, чтобы понимать, что этих образов, как бы ни было велико их воздействие, недостаточно для того, чтобы вовлечь Америку в войну. Как-то один из гостей на обеде в «номере 10» предположил, что бомбежка Афин немцами может оказаться «удачной с нашей точки зрения, поскольку потрясет американское общественное мнение». Чувства американцев, возразил Черчилль, не являются «типичными», и подобные налеты на древние, прекрасные города не больше ужаснут американцев, чем налеты на беззащитные города, включая Лондон, в то время самый разрушенный город в мире. Черчилль понимал, что Америка не вступит в войну до тех пор, пока сама не станет жертвой нападения[137].

Большая часть разведывательных данных, которые получал Черчилль (помимо «Ультра» и некоторых отдельных сообщений), можно было интерпретировать по-разному. Много информации было на уровне слухов, в которых таились намеки на немыслимые деяния. Поговаривали, что в Румынии маршал Антонеску — диктатор с сентября и союзник Гитлера с ноября — «творит садистские зверства невиданной жестокости». Антонеску подавил мятеж своих бывших союзников из фашистской Железной гвардии, все еще мощной румынской силы. Колвилл написал в дневнике, что железная гвардия собирала в одном месте евреев, загоняла их в скотобойни и убивала «в соответствии с еврейскими ритуальными убийствами животных». Антонеску был настолько предан Гитлеру, что фюрер одобрительно отозвался о нем в новогоднем приветствии Муссолини: «Генерал Антонеску понял, что будущее возглавляемого им режима, да и его собственное, зависит от нашей победы. Из этого он сделал ясные и прямые выводы, которые значительно подняли его в моих глазах». Черчилль сделал собственные выводы относительно румына. Он приказал Идену сообщить Антонеску, что подтвердились слухи о массовых убийствах и «мы считаем, что он и его ближайшее окружение лично отвечают за жизнь и здоровье людей»[138].

Все чаще приходили слухи из оккупированных стран. За шпионаж, измену и преступления против рейха следовала смертная казнь через повешение, и немцев, которые занимались шпионской деятельностью против Британской империи, тоже ждала смертная казнь через повешение. В конце концов, это была война. Британцы повесили двух немецких шпионов сразу по окончании старого года. Но немцы в отмщении поднялись до новых, невообразимых высот. Польские священники, сбежавшие из Варшавы в Ватикан, сказали, что немцы, похоже, планируют «истребить» всех поляков. Другой казавшийся нелепым слух, уже из Германии, достиг Соединенных Штатов. Немецкие врачи свозят на автобусах в лес десятки тысяч «сумасшедших и калек» и там их убивают. Time в статье, озаглавленной «ЭВТАНАЗИЯ?», коротко упомянула этот слух, но снабдила предисловием, что британцы признались, что придумывали и распространяли подобные слухи во время Первой мировой войны. Уильям Л. Ширер наткнулся на эту историю несколькими месяцами ранее и записал в дневник до отъезда из Берлина. Учитывая немецкую цензуру, передавать по радио новости было невозможно. Ширер боялся, что его расстреляют, если гестапо найдет его дневник[139].

Теперь мир знает, что слухи, давно просачивавшиеся с Европейского континента, предвещали невообразимый ужас. В период между 1935 и 1941 годами Гитлер пригласил мир стать свидетелем того, как рейхстаг проталкивает законы, которые сначала лишили евреев привилегий, затем прав, следом гражданства, а потом и статуса человеческого существа. В конце 1940 года за окном потемнело, и ставни плотно закрылись, когда в начале 1941 года многие западные журналисты покинули Берлин. Ожидалось усиление актов насилия со стороны нацистов, но никто тогда не знал и не мог вообразить, до каких темных глубин человеческой порочности дойдет дело. В январе 1939 года Гитлер пообещал, что новая европейская война будет означать конец для еврейской расы в Европе. В январе 1941 года он повторил угрозу. Если «евреи ввергнут остальной мир в войну, то все евреи доведут до конца свою роль в Европе». Он ясно дал понять свои намерения. Но следует помнить, что даже человек с таким богатым воображением, как Черчилль, не мог тогда представить абсолютное зло, которое готовит и скоро явит миру рейх.

Несмотря на все существующие опасности для мира, Черчилль пытался представить, каким мир будет после войны. За обеденным столом обсуждалось много тем — вторжение, американцы, новый фильм Чарли Чаплина, необходимость бомбить каждый уголок гуннов в Европе, но Черчилль часто переводил разговор на тему о послевоенном мире. Как-то вечером в Чекерсе он поделился своей концепцией Совета Европы, состоящего из пяти стран — Англия, Франция, Италия, Испания и Пруссия (старая Пруссия, объединившая в прошлом веке все немецкие княжества) и четырех конфедераций — Северная, Средне-

европейская, Балканская и Дунайская. Эти девять субъектов, наделенные высшей судебной властью и при наличии высшего экономического совета для решения вопросов, связанных с валютой и торговлей, будут управлять делами Европейского континента. Не будет никаких репараций, никаких военных долгов и требований, предъявляемых к Пруссии, хотя, кроме сил воздушной обороны, Пруссия на протяжении ста лет будет иметь не вооруженные силы, а только полицию. Англоговорящий мир будет существовать отдельно от совета и, однако же, оставаться на связи. И англоговорящий мир будет править морями в качестве награды за окончательную победу. Россия так или иначе (Черчилль не вдавался в детали) впишется в реорганизацию Востока. Таким был его «большой проект». Однако, сказал Черчилль Колвиллу, он не может обнародовать подобные идеи, когда «каждый крестьянин в Европе жаждет крови немцев и когда сами англичане требуют уничтожить или кастрировать всех немцев»[140].

За обеденным столом у Черчилля всегда находилось время, чтобы поговорить о послевоенном устройстве мира. На публике он говорил только о победе. Любые публичные обсуждения послевоенного мира явились бы отвлекающим фактором, вызвали споры лейбористов, либералов, консерваторов относительно преимуществ политики каждой из партий, их взглядов на образование, общественные классы, работу и жилищный вопрос. В военное время ничего хорошего из этого не могло получиться. Когда речь о послевоенном устройстве мира, которую Гарольд Николсон произнес перед членами частного клуба, была позднее опубликована, Черчилль «совершенно вышел из себя». Николсон говорил о федерации мира, о необходимости предоставления экономических льгот британским колониям и необходимости помогать продовольствием странам, освободившим себя. «На каком основании, — спросил Черчилль министра информации, — господин Николсон утверждал, что мы предлагаем «новое мировое правительство» и «федерацию»?» Заместитель министра не должен был высказывать свое мнение по таким вопросам, написал Черчилль, «особенно когда я резко осудил несколько попыток обнародовать послевоенные задачи». Николсон испугался, что потеряет место, но Черчилль сменил гнев на милость после того, как Николсон объяснил, что речь не предназначалась для публикации. Успокоившийся Николсон написал в дневнике: «Уинстон не способен на подлость, вот поэтому мы его так любим»[141].

На самом деле всем была хорошо известна склонность Черчилля к мелким придиркам и то, что временами его поведение было отвратительным, но Николсон избежал его гнева, возможно, потому, что принес пылкие извинения. Николсон больше не предпринимал неудачных попыток публично вторгаться в сферу послевоенных политических вопросов. Во время публичных выступлений Черчиллю приходилось следить за речью, поскольку многие слова, которые он любил использовать,

имели совсем другое значение за океаном. В Америке «класс» было грязным словом, а «империя» напоминала о старом порядке в Старом Свете — том самом порядке и мире, которыми дорожил Черчилль[142].

Его видение послевоенной Англии являлось еще одной темой для обсуждения. Во время посещения Харроу в конце 1940 года он сказал ученикам из аристократических семей, которые в свое время будут управлять империей: «Когда война будет выиграна, а она, конечно, будет выиграна, одна из наших задач добиваться создания стабильного общества, и если преимущества и привилегии до настоящего времени имели немногие, то теперь должны будут получить более широкие слои населения». Черчилль сказал Колвиллу, что сейчас молодые люди из разных слоев общества геройски сражаются в небе и по окончании войны они должны взять бразды правления в свои руки. Если его слова подхватит американская пресса, считал Черчилль, то это только пойдет на пользу делу. Позже в 1941 году он позволил Идену открыто говорить о послевоенном устройстве мира. Но Иден больше походил на мстительных версальских миротворцев 1919 года, чем на того, кто мог быть проводником черчиллевской идеи о великодушии в мире. Германия, заявил Иден, наихудший хозяин, которого когда-либо знала Европа, «в прошлом веке она пять раз нарушала мир и никогда больше не должна иметь возможности вновь сыграть эту роль». Точка зрения Идена соответствовала настроению масс, требовавших крови, но Черчилль сказал Колвиллу, что представляет себе «воссозданную европейскую семью, в которой у Германии будет отличное место. Мы не должны позволить ненависти и злобе затенить наше видение будущего. Было бы намного полезнее попытаться отделить пруссаков от южных немцев». Эти его слова отражают уверенность англичан в том, что Пруссия являлась инкубатором немецкой воинственности. Действительно, Пруссия почти целый век была кузницей генералов, но верно и то, что национал-социализм зародился на юге в Баварии[143].

Выводы Идена о послевоенном статусе Германии — по сути, Германия в качестве военнопленной — были использованы в статье, опубликованной сэром Робертом Ванситартом, блестящим мыслителем, противником всего немецкого, который в 1930-х годах, будучи членом парламента от Консервативной партии, был одним из союзников Черчилля в палате общин. Ванситарт, советник министерства иностранных дел, не проводил различия между немцами и нацистами и хотел после войны отгородиться от них и чтобы они выживали как могли. «Ваша политика означает не что иное, как истребление 40 или 50 миллионов человек», — написал Черчилль Ванситарту. Черчилль хотел «больше говорить о нацистах и меньше о немцах». Когда Черчилль узнал, что Ванситарт собирается выступить по радио с речью, которая, по-видимому, будет пропитана ненавистью, он запретил выступление,

точнее, пока не узнал, что Ванситарт собирается говорить с французами на французском языке. Это позволительно, решил Черчилль, поскольку «для французов... его [Ванситарта] личное мнение имеет реальную привлекательность и ценность»[144].

Французы были раздавлены. Они были слишком напуганы, чтобы ненавидеть. Лидер сопротивления, Жорж Бидо, позже написал, что «Париж в 1941 году был парализован; потребовалось много времени, чтобы найти людей способных и готовых рискнуть жизнью ради смутной, маловероятной победы». Чем плохо, решил Черчилль, если Ванситарт поддержит мечты французов об отмщении? Если вместо страха французы будут испытывать ненависть, то их будет поддерживать мысль об убийстве угнетателей[145].

На обеде в «номере 10» один из гостей задал вопрос, сколько времени займет стерилизация немцев. По воспоминаниям другого гостя, Чарльза Ида, редактора газеты Sunday Dispatch, «Уинстон вернул присутствовавших на обеде в реальность, заметив, что, если такие люди, как его гости, продукт высочайшего уровня цивилизации, способны обсуждать подобные темы... это дает представление о том, что немцы были бы готовы и хотели сделать с нами, если бы у них была такая возможность». Если ненависть Ванситарта просочится в сердца добропорядочных англичан, то они превратятся в бездушных убийц, с которыми британцы сейчас ведут борьбу. Для Черчилля это было сродни поражению и, значит, неприемлемо[146].

Черчилль не давал воли ненависти во время публичных выступлений и, как правило, в частных беседах. Он сказал Гопкинсу, что ни к кому не испытывает ненависти и считает, что у него нет врагов — «кроме Гитлера». Собеседникам за столом он неоднократно говорил, что «гнев — это пустая трата энергии». Однако сгоряча, после очередной жестокой атаки люфтваффе, Черчилль частенько изливал свою ненависть в узком кругу — в целом на фрицев и в частности на Гитлера. Он «кастрировал бы их всех» и разбомбил бы «каждый их угол» в Европе. Может возникнуть вполне справедливый вопрос, не алкоголь ли подогревал его гнев, но в случае Черчилля это риторический вопрос. Он мог разгневаться в любое время суток, с утра до вечера, и пил он каждый день, с утра до вечера, и он всегда быстро успокаивался. Он понимал разницу между жестокостью, вызванной военной необходимостью, и жестокостью, вызванной патологической ненавистью. Часто, перед отходом ко сну, он говорил секретарю (или тому, кто еще бодрствовал в поздний час) о необходимости европейцам, включая немцев, жить вместе в согласии после войны. Его врагом был гитлеризм, а не немцы[147].

Находился ли Черчилль перед микрофоном или беседовал с близкими друзьями, он точно знал, когда следует дать волю праведному гневу. Когда Клементина в марте на обеде в честь Джеймса Конанта

сказала, что народ такой страны, как Великобритания, где пожилые дамы давали чай и сигареты сбитым немецким летчикам, никогда не сможет возненавидеть немцев, Черчилль резко ответил, что до окончания войны британцы будут ненавидеть своих врагов, и это не вызывает сомнений. Последняя сброшенная немцами на Хендон бомба — 4000-фунтовая — убила порядка восьмидесяти мирных жителей, сказал Черчилль. Эта чудовищная бомба, которую невозможно было представить еще два года назад, шокировала цивилизованный мир. Черчилль, как военачальник, не мог одобрять подобную трусливую тактику, чтобы не уронить себя в глазах уважаемого гостя. Он должен был казаться решительным, но не кровожадным.

Другой гость, присутствовавший в тот день на обеде, Чарльз Ид, высказал предположение, что у британцев достаточно высокая точность бомбометания, так что мирное население не испытывает на себе ужасы бомбардировок. Зная, что это не так и что мирные жители Германии платят высокую цену, Черчилль перевел разговор на другую тему. Возможно, поэтому он не сказал Конанту, что у британцев уже есть свои 4000-фунтовые бомбы. Когда разговор коснулся требований англичан ответить ударом на удар, Черчилль повторил то, что сказал в курительной комнате палаты общин осенью прошлого года: «Дело — прежде всего». По словам Ида, Клементина рассмеялась и сказала: «Ты — кровожадный», замечание, которое премьер-министр не совсем понял, и его пришлось повторить несколько раз[148].

В своих воспоминаниях об этом обеде Ид намекает на еще одну тему разговора, но по понятным причинам не ухватывает сути. Когда зашел разговор о немецкой 4000-фунтовой бомбе, его вопрос, не содержит ли она «какие-то новые взрывчатые вещества», вызвал оживленную дискуссию среди прилично выпивших гостей. Новый вид вооружения, даже слух о чем-то новом, вызывает ужас. Смертоносные лучи, магнитные мины, плавающие на поверхности моря, огромные новые бомбы — как отличить реальность от вымысла? Ид отмечает, что в какой-то момент в процессе разговора Профессор, размышляя об уране, сказал: «Идет постоянный процесс деление ядер урана. Так почему уран остается на земле?» В то время большинство людей в Великобритании и Америке никогда не слышали об уране, и даже в научных кругах очень немногие знали о его физических свойствах[149].

Конант знал. Химик по образованию, он работал под началом Вэнивера Буша в NDRC (National Defense Research Committee — Национальный исследовательский комитет обороны США), перед которым стояла задача проведения научных исследований с целью использования новейших открытий в области науки и техники в вооруженных силах США. Комитет отчитывался непосредственно перед Рузвельтом и проводил исследования урана. Всего несколько недель назад два физика из Калифорнийского университета в Беркли открыли новый

94-й элемент, который назвали плутоний. Конант знал об огромной энергии, которая выделяется при делении ядра изотопа урана-235, хотя считал возможность использования этой энергии скорее научной фантастикой, чем научным фактом. Профессор считал иначе, отчасти по той причине, что комитет MAUD (Military Application of Uranium Detonation» («Военное применение уранового взрыва»), созданный сэром Генри Тизардом в прошлом году для исследования возможности создания бомбы на основе урана-235, продолжал информировать Линдемана о своих успехах. MAUD пришел к выводу, что при достаточном финансировании через четыре года ядерная бомба мощностью примерно 2 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте могла, только могла, быть создана. 2 тысячи тонн равнялись бомбовой нагрузке трехсот «Ланкастеров». Это была страшная сила.

Спустя несколько дней, обедая вдвоем с Конантом, Линдеман вернулся к теме урана. Конант недавно обедал в Оксфорде с французским физиком, который считал, что в будущем на атомной энергии будут работать электростанции и, возможно, даже подводные лодки. Поэтому, когда Профессор начал разговор об уране, Конант, вспомнив слова француза, ответил, что когда-нибудь будет найдено какое-то применение урану, но что он и его коллеги-ученые из NDRC (Национальный исследовательский комитет обороны США) «считают неразумным... тратить драгоценное время ученых, учитывая нависшую угрозу со стороны Германии, на проект, который, возможно, не повлияет на исход войны»[150].

При этих словах Линдеман, перегнувшись через стол, сказал: «Вы упускаете возможность создания бомбы огромной мощности». Линдеман объяснил, что речь идет о самоподдерживающейся реакции. Конант ответил, что исследования урана в Соединенных Штатах и, скорее всего, в Великобритании проводятся с целью использования ядерной реакции в отдаленном будущем, а не для создания катастроф. Миссия Конанта в Англии заключалась главным образом в организации лондонского центра, где американские и британские ученые будут делиться секретами, в основном относительно усовершенствования радиолокационных взрывателей, бомбардировочных прицелов и радаров. Однако, когда Линдеман неожиданно намекнул, что британцы испытывают интерес к разработке атомной бомбы, Конант понял, что его сделали причастным к секретнейшей информации. Он понял, что для подобной информации должны быть установлены соответствующие каналы связи, и в скором времени. Линдеман, в свою очередь, знал, что Конант — напрямую или через своего начальника Вэнивера Буша — докладывает президенту, но он не знал, что Рузвельт не испытывает особого интереса к этим исследованиям и его редко информируют по техническим вопросам, включая радар и важную роль, которую он сыграл в Битве за Британию[151].

Конант сообщил об откровениях Линдемана Бушу. Через несколько недель Рузвельт назначает Буша директором нового, секретного Управления научных исследований и разработок; Конант назначается его заместителем. В октябре британцы передают американцам отчет MAUD, и вскоре устанавливаются партнерские отношения[152].

Тема, поднятая Линдеманом, вышла за рамки обмена научными секретами с американским коллегой. У Профессора действительно был страннолюбивый характер; многочисленные недруги прозвали его «Барон Берлин», возмущенные его тевтонскими корнями. Его хулители пустили слух, что он еврей, на что Уинстон Черчилль ответил, что его это не волнует и даже если это и так, то он не видит, почему его это должно волновать. На самом деле, написал Колвилл, Профессор «испытывал презрение к евреям и цветному населению», но самую глубокую ненависть он испытывал к Германии, не только к нацистам, а ко всем немцам и всему немецкому. Он разделял стремление Черчилля разгромить Германию, но не разделял мечту Черчилля о восстановлении Германии после войны. Линдеману послевоенная Германия виделась мертвой. И в уране он видел средство для осуществления своего желания[153].

Черчилль понимал, что подобное оружие еще больше усилит ненависть и, значит, тем более необходимы видение и план послевоенного устройства мира. В то же время он считал, что любое оружие, которое поможет раньше закончить войну, — горчичный газ, бактериологическое оружие, убийства и саботаж SOE (отдел специальных операций), даже такое футуристическое и подлое, как устройство для организации управляемой самоподдерживающейся цепной реакции ядерного деления, — принесет огромную пользу. Однако на данный момент вполне достаточно обычных бомб. Линдеман, по просьбе Черчилля, приступил к работе над документом относительно наилучшего способа нанесения ударов с воздуха по немецким городам. После выводов Профессора и их реализации в «Галифаксах», «Ланкастерах» и бомбардировщиках B-17 должно было пройти три года до осуществления его мечты о разрушении Германии[154].

В своих выступлениях Черчилль пытался дать слушателям надежду и порабощенным народам на Европейском континенте, и сжимающимся от страха в британских бомбоубежищах. То, что он регулярно говорил англичанам, весной в радиообращении он сказал полякам:

«Все европейские народы и государства, чья культура и история делали их частью общей жизни христианского мира на протяжении веков, когда пруссаки были не лучше племени варваров и Германская империя не более, чем скоплением княжеств Пумперникелей*, теперь стонут под жесточайшим игом Гитлера и его нацистской банды.

* П у м п е р н и к е л ь — выдуманное Чарльзом Теккереем название одного из мелких немецких княжеств.

Каждую неделю его расстрельные команды заняты на дюжине земель. В понедельник он расстреливает голландцев; во вторник — норвежцев; в среду ставит к стенке французов и бельгийцев, в четверг должны пострадать чехи... чтобы заполнить его отвратительный список расстрелов. Но всегда, каждый день, есть поляки... Настанет день, возможно, раньше, чем мы сегодня смеем надеяться, когда безумная попытка установить прусское господство на расовой ненависти, на бронемашине, на тайной полиции, на чужеземном надсмотрщике и на еще более грязных предателях пройдет, как страшный сон.

И в то утро надежды и свободы... все благородные и бесстрашные в Новом и Старом мире будут приветствовать восставшую к жизни Польшу»[155].

В данном случае его слова обманули ожидания, поскольку ни один из западноевропейских народов, завоеванных Гитлером, не пострадал больше, чем поляки. Поляки умирали от голода быстрее, чем их мог расстрелять Гиммлер. Гитлер с Гиммлером пока еще не заняли земли, расположенные восточнее, на которые могли переселить поляков, хотя пришли к выводу, что для этого как нельзя лучше подойдет Сибирь. Не имея места, куда можно было бы переселить поляков (а затем и всех славян, живущих к западу от Урала), рейх определил их на работу по подготовке сельской местности для миллионов немецких воинов-фермеров, которые захотели бы переехать туда, чтобы начать новую жизнь и заводить прекрасных немецких детей. Поляки, по крайней мере те из них, что были католиками, трудились на немцев как рабы. Но более 3 миллионов из довоенного 34-миллионного населения Польши были евреями. Для них еще не началась самая зловещая из программ Гиммлера, но поляки, и христиане и евреи, уже не видели в будущем ничего напоминающего черчиллевское «утро надежды и свободы». Скорее они видели мрак, рабство и невыразимое зло[156].

Ни один оратор не мог ввернуть словечко так искусно, как это делал Черчилль, но иногда у него выходило не слишком удачно. «Блестящая фраза — настоящий черчиллевский тиран, — написал в дневнике Роберт Мензис, премьер-министр Австралии, — столь привлекательна на его взгляд, что занимает место реальных фактов». «Княжества Пумперникели» относится к таким фразам, перед которыми Черчилль не мог устоять, но, наверно, должен был в этом случае[157].

Любопытно, что в радиообращении к полякам он не упомянул Сталина, который по договоренности с Гитлером в 1939 году отхватил часть Польши. К тому времени Черчилль был убежден, что следующей жертвой Гитлера будет Россия, причем скоро. Это был неподходящий момент для критики Русского Медведя за его разграбление Польши, поскольку в любой момент самого Медведя могли покалечить, что обеспечило бы Черчиллю нового союзника и небольшую передышку британцам. Поляки, со своей стороны, понимали, что, нападет или нет Гитлер на

Сталина, их положение не станет лучше. Черчилль говорил горячо и убедительно, такими же словами он вдохновлял соотечественников, которых затем вдохновляло зрелище пленных немецких летчиков, обломки бомбардировщиков люфтваффе, лучи прожекторов, разрезающие мрак, треск зениток. Но у поляков ничего этого не было. Слова Черчилля всего лишь свидетельствовали о том, что, находясь вдали, он не забыл их.

Мензис большую часть года провел в Лондоне. Хотя он поддерживал Черчилля, но знал, что избирателей на родине больше волнует вопрос, связанный с австралийскими войсками. Его политическая оппозиция в Канберре считала, что ему очень уютно в Лондоне, что он даже больше британец, чем британцы. Мензис хотел играть более значимую роль в лондонском правительстве, включая постоянное место в военном кабинете, чем непрерывно донимал Черчилля. Хотя Мензиса, как и Яна Смэтса, часто приглашали на заседания военного кабинета, Черчилль был ограничен законом — счастливое совпадение, учитывая его несогласие с требованием Мензеса, — запрещавшим предоставлять постоянное место в военном кабинете представителю Содружества наций. Тем не менее Черчилль считал Мензиса достойным уважения и достаточно интересным человеком, чтобы спонсировать его членство в Другом клубе, где приятный собеседник ценился больше, чем его политические взгляды*.

Но постепенно Черчилль стал разочаровываться в Мензисе. Австралиец, вспоминал виконт Энтони Хэд (в то время полковник, работавший над военными планами), взялся «диктовать свои правила Уинстону» и указывал ему на ошибки в стратегии и политике. После неприятного разговора, состоявшегося между Черчиллем и Мензисом в Чартвелле, австралиец собрался уезжать. Клементина обратилась к Мензису: «Господин Мензис, вы должны расписаться в гостевой книге», а Черчилль буркнул: «Да, и вы знаете, как подписаться — И. Христос»[158].

Вторая фаза блица 1941 года — «тур люфтваффе по портам» — начался в середине февраля с налетов на Портсмут, подряд в течение четырех ночей; серьезно пострадали доки, и был полностью разрушен центр города. Затем наступила очередь Плимута, и Плимутский камень, скала, к которой причалили в 1620 году пилигримы, высадившиеся с корабля «Мэйфлауэр», был разбит вдребезги. В поле зрения Геринга попали Халл, Бристоль, Мерсисайд, Суонси и Глазго. Удивительная способность Геринга находить конвои в открытом море и

* В 1911 году Черчилль организовал Other Club (Другой клуб), собравший вокруг себя независимые умы, которым было под силу подняться над узкими партийными рамками. Это объединение было полной противоположностью консервативному клубу Карлтона.

наносить удары по портам в подходящее время (для Германии) склонила Черчилля к мысли о том, что немцы получают информацию от шпионов. На самом деле несколькими годами ранее немцы взломали код английского торгового судна и теперь просто отслеживали английские корабли по радиосигналам. За последние дни февраля и первые дни марта в пределах видимости земли на дно опустились почти 150 тысяч тонн; с начала войны третья худшая неделя с точки зрения потерь судов. «Напряжение в море растет», — телеграфировал Черчилль Рузвельту[159].

Президент не ответил.

Летом прошлого года «Спитфайры» и «Харрикейны» помогли не пустить немцев в Великобританию, но теперь Черчилль отдавал предпочтение бомбардировщикам, а не истребителям. Несмотря на протесты командования истребительной авиации, Черчилль, как министр обороны, требовал больше бомбардировщиков. Он понимал, что британские ночные истребители сбивают незначительное количество немецких самолетов и это будет продолжаться до тех пор, пока бортовые радары — он называл их «щупальца» — не станут намного эффективнее. Немцы, заметило командование истребительной авиации, прекратили дневные налеты в октябре прошлого года. Следовательно, увеличение количества истребителей не приведет к увеличению сбитых немецких самолетов, а вот увеличение количества бомбардировщиков приведет к значительным потерям противника. И Черчилль обратился в министерство авиации и к Бивербруку[160].

Бивербрук, хотя и не настолько, как Черчилль, верил в бомбардировочную войну, подчинился. Это было правильное решение, принятое в нужный момент, поскольку к концу 1940 года, учитывая растущие потери в бомбардировщиках и количество бомбардировщиков, нуждавшихся в ремонте (при остром дефиците запасных частей), бомбардировочное командование могло теперь обеспечить примерно вдвое меньше вылетов по сравнению с летом 1940 года. Тоннаж бомб, сброшенных на Германию, составлял всего треть от тоннажа, сброшенного в сентябре. Королевские военно-воздушные силы не причиняли ущерб рейху. К январю заводы Бивербрука начали удовлетворять требования Черчилля. В середине января первые бомбардировщики «Ланкастер» — тяжелые четырехмоторные бомбардировщики, оснащенные двигателями «Роллс-Ройс Мерлин», с бомбовой нагрузкой 6 тысяч тонн — совершили пробные полеты. У немцев не было самолетов по вооружению, радиусу действия и бомбовой нагрузке соответствующих «Ланкастеру». Эти бомбардировщики явились орудиями разрушения, которые были необходимы Черчиллю для реализации стратегических приоритетов; он, не скрывая, неоднократно заявлял, что хочет, чтобы тяжелые бомбардировщики совершили «самый опустошительный налет из этой страны на родину нацистов»[161].

Бивербрук воспринял его слова как задачу выполнить обещание, данное Черчиллем, и решил ее таким способом, который не понравился никому, кроме премьер-министра. Сотрудники Бивера обижались, что он не раскрывал карты, и ни истребительная, ни бомбардировочная авиация не были довольны своей судьбой. Но ему никто не мог отказать. Он изменял производственные графики, разделял авиационные заводы на более мелкие составляющие и рассеивал их по всей стране, чтобы их не могли найти люфтваффе. Он дал лицензию на производство в США моторов «Роллс-Ройс Мерлин», а заодно на «Спитфайры» и «Харрикейны» (британцы должны были платить наличными за конечный продукт). Гарольд Макмиллан считал Бивербрука «наполовину сумасшедшим, наполовину гением... который думает только о своей нынешней работе и совершенно забыл о прежних делах, газетах и женщинах». Бивербрук действовал инстинктивно; в ход шли уговоры, лесть, обман. Рэндольф предостерегал жену, Памелу, подпадать под обаяние Бивербрука, поскольку «ничто так не занимает Бивербрука, как распоряжаться чужими жизнями, разводить и сводить людей, как он считает нужным». В деловых отношениях со всеми (включая Черчилля) Бивербрук действовал с умом, граничившим с хитростью, однако Черчилль, по воспоминаниям Памелы, «испытывал огромное уважение к Бивербруку, оценивал по достоинству его проницательность, хитрость и способности». Производственные графики на клочках бумаги и списки того, что ему требовалось в данный момент, всегда лежали в его карманах, на тот случай, если Черчилль задаст вопрос, а премьер-министр довольно часто задавал вопросы. Уже за одно это Черчилль уважал Бивербрука — удачное сочетание полезности и дружбы на протяжении трех десятилетий. В Черчилле Бивербрук нашел героя, которого искал с детства, — великого человека, оценившего его таланты и принявшего в свой ближний круг. Бивербрук в ответ платил Черчиллю исключительной преданностью, хотя, когда они расходились во мнениях — а это случалось часто, — Бивербрук упорно стоял на своем[162].

К концу февраля 8-й корпус О'Коннора, которым теперь командовал Филипп Ним, удерживал ливийский фланг, в 500 милях к западу от Каира. На Африканском Роге Уингейт и Каннингем продолжали преследовать итальянцев. Все шло хорошо. Гарольд Николсон назвал африканские кампании «ерундовыми». Он написал в дневнике, что не вызывает сомнений, где находится реальная угроза: «Мы знаем: близится Большое наступление... Когда улучшится погода, они могут обрушиться на нас с такой силой, о которой мы даже не подозреваем. Большинство наших городов будет разрушено». Ожидая худшее, Николсон закончил запись в дневнике словами: «Ну, если они попробуют, пусть пробуют. Окончательная победа все равно будет за нами»[163].

1 марта Гитлер обеспечил себя право прохода в Югославию и Грецию, когда Болгария, проигнорировав предостережение Черчилля, сделанное им 9 февраля, присоединилась к оси. У болгар не было выбора. С осени прошлого года Гитлер добивался, чтобы Югославия и Болгария присоединились к Тройственному пакту, как и Венгрия с Румынией, унижая и упрашивая, с той целью, чтобы сделать их нацистским орудием. Болгария держалась дольше, чем Венгрия и Румыния, но все-таки сдалась. Король Борис правил страной, которая была единственным настоящим другом России в Европе, давним хорошим другом. Царь Николай II был крестным отцом Бориса; шестьдесят лет назад Россия помогла Болгарии освободиться от османского ига. Эти связи категорически не устраивали Гитлера, поскольку если бы Борис и Сталин укрепили их, то Гитлеру было бы отказано в прямом транзите в Грецию. Фюрер сделал Борису такое же предложение, какое сделал осенью прошлого года Антонеску, — обеспечение защиты. Понятно, что отказ от подобного предложения привел бы к проблематичным отношениям с рейхом. Борис оказался перед выбором между двумя нежелательными решениями: освободить дорогу вермахту или быть сметенным с дороги[164].

У Бориса, миролюбивого человека, которому нравилось коллекционировать бабочек и возиться с автомобильными двигателями, хватило бы решительности сказать «нет» Гитлеру, но его армия не могла поддержать его. Ни одна армия в Европе не могла поддержать лидера, отказавшего Гитлеру. Если бы Болгарию, как Великобританию, защищал океанический противотанковый ров, то Борис, возможно, продержался бы дольше. Кроме того, министры Бориса были настроены прогермански, его жена — проитальянски, а его народ — прорусски. Самым безопасным для Бориса было принять предложение Гитлера, что он и сделал 1 марта. Теперь Гитлер контролировал оба берега Дуная при впадении его в Черное море и планировал навести семьсот понтонных мостов[165].

6 марта пошел третий месяц путешествия ленд-лиза по конгрессу; американский сенат почти месяц обсуждал закон о ленд-лизе. В тот день на обеде в честь Конанта в «номере 10» Черчилль выглядел усталым и сердитым. Обед проходил в напряженной тишине, пока Конант не высказал «агрессивное» мнение. Черчилль сразу оживился и перевел разговор на ленд-лиз. «Закон необходимо утвердить», — раздраженно сказал он, недовольный вялым темпом законодательной деятельности. Конант вспоминал, что «раздражение Старика росло по мере разговора». А Черчилль продолжал: «Как поведет себя Рузвельт в случае непринятия закона? Что произойдет в Соединенных Штатах, если закон будет отклонен? Президент уйдет в отставку? И кто станет президентом, вице-президент?»[166]

Слова Черчилля потрясли Конанта. «Неужели у него действительно такое глубокое незнание американской конституционной системы?» — спросил себя Конант. Выпускник, а ныне президент Гарвардского университета, опасаясь разозлить Черчилля, спокойно объяснил, что американский президент, в отличие от британского премьер-министра, не уходит в отставку, потерпев серьезную политическую неудачу, и что американский парламентаризм отличается от британского. Ободренный захваченной на мгновение инициативой, Конант перевел разговор на американские армии, которые в будущем придут на помощь британцам. «Мы не нуждаемся в ваших солдатах, — сердито заявил Черчилль, — дайте нам пушки, и мы закончим работу». В этот момент Конант понял то, о чем давно было известно присутствовавшим на обеде: у господина Черчилля была привычка приводить цитаты из своих речей даже в случайных разговорах. Черчилль заявил Конанту, что в Англии никто и никогда публично не просил Америку вступать в войну. Конант понял Черчилля буквально, но считал, что «господин Черчилль с коллегами не полностью откровенны» и склонны говорить одно, а думать другое, хотя «ни один государственный деятель не обязан быть абсолютно откровенным». Конант сделал вывод, что Черчилль «позволил себе» эти высказывания во время обеда, «возможно, бессознательно, а может, сознательно, для моего же блага».

Конант еще не знал, что Черчилль, когда есть зрители, всегда устраивает представление. Он не любил неопределенность и не мог, по словам Джона Кигана, «долго скрывать истинные чувства». Его вспышка привела к желаемому результату. Конант помчался в отель и — «встревоженный выступлением Черчилля» — написал письма жене и коллегам, в которых спросил: «Почему не принимается закон о ленд-лизе? Почему ФДР не выступает с очередным радиообращением к стране?»[167].

У Рузвельта не было в этом необходимости. Конант, находившийся три недели за океаном, не знал, что победа Рузвельта в сенате из возможной стала бесспорной. Очевидно, посольство в Вашингтоне информировало Черчилля не лучше, чем друзья Конанта. Как бы то ни было, но 8 марта сенат 60 голосами против 31 одобрил закон о ленд-лизе. Рузвельт подписал его 11 марта. «Законопроект — это глоток жизни», — сказал Черчилль Уайнанту. Но не такой сладкий глоток, как он думал. New York Times сообщила, что, по словам президента, первая помощь, отправляемая британцам и грекам, не будет слишком большой в денежном выражении, поскольку большая часть военных материалов была признана устаревшей и «не стоила тех денег, которые были израсходованы много лет назад»[168].

Таким образом, первые поставки вооружения в Великобританию состояли из ненужного хлама, давно списанного из бухгалтерских книг. Британские летчики обучались в Америке, а американские летчики, в том числе женщины, перегоняли бомбардировщики в Велико-

британию. Еженедельно в британские порты доставлялось топливо и боеприпасы. Рузвельт, передавая англичанам устаревшие эсминцы, объяснил американцам, что они совершают очень удачную сделку. Для Черчилля это тоже была выгодная сделка, поскольку конгресс сразу выделил 7 миллиардов долларов. В 1941 году это была значительная сумма, львиная доля которой предназначалась Великобритании. В день утверждения законопроекта дюжина танкеров и рефрижераторных судов, как и было запланировано, отплыла в Англию. В мирное время такая флотилия могла, совершая рейсы туда и обратно, обеспечивать топливом и продовольствием небольшой город. Но в начале 1941 года подводные лодки отправили на дно много британских транспортов[169].

Получив полсотни устаревших эсминцев, Черчилль сделал вид, что весьма доволен. В палате общин он заявил, что «правительство и народ Соединенных Штатов фактически написали новую Великую хартию вольностей, которая не только имеет отношение к правам и законам, на которых может быть возведена процветающая цивилизация, но и закрепляет... обязанность свободных людей и свободных народов, где бы они ни были, делить бремя и ответственность за их выполнение». Позже в том же году, когда в Великобританию прибыли десятки тысяч тонн американской материальной помощи, Черчилль сказал на ежегодном обеде в день лорд-мэра, что закон о ленд-лизе должен расцениваться как «самый бескорыстный акт за всю историю». Ленд-лиз был началом, но достаточным для того, чтобы Черчилль заключил, что впредь за спиной сражающейся Великобритании будет Америка, а не Атлантический океан. Это не гарантирует победу Британии, но делает почти невозможным ее поражение — почти, но не полностью, поскольку американским производственным мощностям еще предстоит достигнуть уровня, который сможет гарантировать сохранение жизни Великобритании. Гарри Гопкинс сказал Черчиллю, что, по его мнению, Америка достигнет необходимого уровня через восемнадцать месяцев. Черчилль считал, что Америке потребуется по крайней мере два года, чтобы выйти на необходимый уровень производства. Что касается Гитлера, то он сказал японскому министру иностранных дел, что это произойдет в лучшем случае через четыре года[170].

Если британцы продолжали терять суда в таком же темпе, как в феврале, когда потери составили почти 320 тысяч тонн, то два года были бы слишком большим сроком. Однако в марте положение еще больше ухудшилось. В первую неделю потери составили порядка 150 тысяч тонн, более чем вдвое превысив средние потери за любые три недели войны, и при таких темпах легко достигли 400 тысяч тонн за месяц. Импортные возможности Великобритании — валовая вместимость ее флота, доков и складов — упали с 43 миллионов тонн (1939 год) до 29 миллионов тонн, уровень 1917 года. Атлантический

океан, предсказал в начале года Черчилль, станет основным полем сражения в 1941 году. Он назвал это тяжелое испытание битвой за Атлантику с той же целью, с какой назвал летом прошлого года приближающееся сражение Битвой за Британию, чтобы сосредоточить внимание правительства и народа на самой непосредственной угрозе их существованию. Но в 1940 году Королевские военно-воздушные силы могли поднять в небо достаточное количество «Спитфайров» и «Харрикейнов» для борьбы с люфтваффе, а в марте 1941 года у королевского флота не было ни кораблей, ни оружия, ни новейших радаров, необходимых для того, чтобы противостоять подводным лодкам Денница. Как и бомбардировщикам «Фокке-Вульф-200», которые Редер позаимствовал у Геринга, когда тот был в отпуске; вернувшись из отпуска, Геринг потребовал их обратно. Британские потери в кораблях из-за немецких самолетов начали сокращаться, и это продолжалось в течение весны и осени. Вспомнив о своих бомбардировщиках, Геринг совершил грубую стратегическую ошибку. Но в марте германский военно-морской флот и люфтваффе подвергали атакам морские пути в Великобританию[171].

Продолжающиеся успешные действия немцев против британских судов и предполагаемое увеличение потерь, написал Черчилль в воспоминаниях, «единственное, что действительно пугало меня во время войны». К тому времени немецкие подводные лодки и бомбардировщики потопили 15 процентов от тоннажа довоенного торгового флота Великобритании, составлявшего 18 миллионов тонн. С выборов в Америке был потоплен миллион тонн. Норвегия добавила тысячу судов и почти 3 миллиона тонн к союзническому торговому флоту, но норвежский флот нес такие же потери, как британский. Если половина оставшихся британских судов была бы потоплена, то Великобританию ждал голод. Жизнь зависела от конвоев, перевозивших зерно. Через несколько месяцев сокращение вдвое импорта зерна привело бы, согласно теории Мальтуса*, к сокращению вдвое численности населения Великобритании.

Это было проще простого. В течение первых семи месяцев 1941 года Черчилль просил Рузвельта расширить американскую зону патрулирования в Атлантике, вооружить американские торговые суда (в нарушение закона о государственном нейтралитете 1939 года) и проводить демонстрацию силы вблизи Азорских островов (где безнаказанно дозаправлялись и перевооружались немецкие подводные лодки). По

---

* Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский священник и ученый, демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения приведет к голоду на Земле. Мальтус утверждал, что рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или несчастьям (войны, эпидемии, голод).

мнению Черчилля, ленд-лиз должен был способствовать вступлению Америки в войну[172].

Рузвельт хотя и был готов помочь, но не был готов воевать. Сдерживаемый противоречивым общественным мнением, он шел по избранному пути той же причиняющей муки походкой, которую демонстрировал, опуская себя в целебные источники в Уорм-Спринг, штат Джорджия. Там он делал осторожные, причинявшие боль шаги, боясь оступиться и упасть. Он делал героические успехи в целебных источниках Джорджии и в военной политике, но, с точки зрения Черчилля, Рузвельт слишком медленно двигался в направлении Гитлера.

Рузвельт направил в Лондон Аверелла Гарримана в качестве посла по особым поручениям с большими полномочиями, с целью выработать все меры, которые Америка могла бы предпринять, кроме войны, чтобы не дать погибнуть Британским островам. Гарриман отчитывался непосредственно перед Рузвельтом и Гопкинсом, минуя Государственного секретаря Корделла Халла (к растущему недовольству Халла). Кроме того, Гарриман совещался непосредственно с Черчиллем, в обход министерства иностранных дел. Строго говоря, ленд-лиз имел отношение не к иностранным делам, а к национальной безопасности США и, для Великобритании, к проблеме национального выживания. Выбор Рузвельта был блестящим. Гарриман представлял класс капиталистов, а не идеологический класс Демократической партии. Он окончил школу в Гротоне и Йельский университет. Гарриман был бизнесменом и политиком. Промышленные магнаты прислушивались к мнению Гарримана. В ноябре ему исполнялось 50 лет, и он никогда не испытывал недостатка в том, в чем всегда испытывал недостаток Черчилль: в деньгах, и не просто в деньгах, а в *капитале*. Он одевался соответственно ситуации. Если Энтони Иден был самым безупречно одетым англичанином, то Гарриман всегда носил элегантные, темные, сшитые на заказ костюмы, которые выгодно подчеркивали его высокую, статную фигуру. Он, конечно, понравился Памеле Черчилль, и у них завязался роман[173].

Молодой Аверелл расширил железнодорожную империю отца, Э.Г. Гарримана, и, основав финансовую группу, занялся финансированием различных отраслей экономики, в том числе нефтедобывающей и судостроительной. Он был председателем Совета директоров Union Pacific Railroad (американская компания, владеющая самой большой сетью железных дорог в США) и владельцем банковской фирмы W.A. Harriman & Co, которая после слияния с Brown Brothers стала называться Brown Brothers Harriman. Прескотт Буш, выпускник Йельского университета, зять Джорджа Герберта Уокера, президента W.A. Harriman & Co, до ее слияния с Brown Brothers Harriman, стал младшим партнером Гарримана. Вместе, Гарриман с Бушем, понесли

незначительные потери в тот год, когда американское правительство арестовало немецкие счета. Но для Гарримана эти потери, как и Великая депрессия, были всего лишь выбоинами на пути к богатству. У него были две дочери от первого брака. Одна из них, Кэтлин, быстро подружилась с Памелой Черчилль, и вскоре они сняли на двоих квартиру в Лондоне, когда Рэндольф был в Каире. Первый брак Гарримана закончился разводом. Второй раз он женился на Мари Нортон Уитни, бывшей жене Корнелиуса Вандербильта Уитни, сына Гертруды Вандербильт Уитни, основавшей Музей американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Таким образом, его положение было столь же основательным и надежным, как умершего кузена Черчилля, Джона Санни Спенсера Черчилля, 9-го герцога Мальборо, первого мужа Консуэло Вандербильт, которая теперь жила главным образом в Палм-Бич; ее дом во Франции конфисковали нацисты. Сын Санни, Берт, восстановил Бленхейм. Таким образом, Гарриман и Черчилль были членами одной большой счастливой англо-американской семьи, с той лишь разницей, что одна сторона была богатой и жила в мире, а другая была близка к банкротству и подвергалась бомбежкам[174].

Гарриман взялся за работу с Бивербруком, чтобы Черчилль гарантированно получил то, что ему требовалось. Поскольку Бивербрук большинство выходных дней проводил с Черчиллем, Гарриман тоже стал по выходным постоянным гостем в Дитчли и Чекерсе, так было проще улаживать дела и с Бивербруком, и с Гопкинсом, вернувшимся в Вашингтон. Гарриман и Гопкинс были хорошими друзьями на протяжении почти восьми лет; они познакомились в поезде, когда ехали в Вашингтон в самом начале осуществления рузвельтовского Нового курса. Странные отношения — безукоризненно одетый магнат и потрепанный социальный работник — и весьма удачные для Черчилля[175].

Черчилль убедил Гарримана, как в свое время Гопкинса, в неизбежности вторжения. Во время второго визита Гарримана в Чекерс Черчилль дал мрачную оценку ситуации. Времена призывают к «сдерживающим действиям», сказал он, а не к «новым мощным ударам». Гарриман ответил, что самый мощный и необходимый удар примет форму объявления войны Соединенными Штатами, которое он полностью поддерживает. Именно это и хотел услышать Черчилль[176].

Существуют только две важнейшие стратегические задачи, сказал Черчилль Гарриману: защита Родного острова и Суэцкого канала. Потеря одного может привести к потере другого и проигрышу в войне (хотя в тот момент Черчилль направлял войска с Родного острова и из Египта для нанесения мощного удара на Балканах). Он внушал мысль о неизбежности вторжения не только американским гостям, но и британцам. Прибытие Гарримана в Лондон совпало с возобновлением бомбежек, и Черчилль принялся объяснять Гарриману, в каком тяжелом положении оказалась Великобритания. Пустынное побере-

жье не вязалось с угрозой вторжения, и Черчилль придумал, как внушить Гарриману страх перед Гунном. Он позволил Гарриману присутствовать на секретных заседаниях военного кабинета, связанных с Битвой за Атлантику, — большая честь, особенно с учетом того, что новости все время были весьма неутешительные. Но этого мало. Под вой сирен Черчилль как-то поднялся вместе с Гарриманом на крышу министерства авиации, после чего Гарриман уже не сомневался, что Гитлер может уморить голодом и сжечь Великобританию. Как Черчилль и предполагал, Гарриман вскоре сообщил об этом президенту[177].

Черчилль сказал Гарриману, как уже говорил Гопкинсу, Уилки и Уайнанту, что очень хочет лично встретиться с Рузвельтом. На смену зиме пришла весна, а от Рузвельта так и не было ответа.

В начале марта команда Черчилля на Балканах, во главе с Иденом, пришла к выводу, что у них есть хорошая возможность добиться успеха в Греции, но при условии, что в Грецию будут направлены войска, которые займут выгодные позиции. Четыре месяца назад Иден считал, что подобное предприятие в Греции является «стратегическим безумием». Теперь он делал вид, что все прекрасно, телеграфируя из Афин, что, несмотря на определенные риски, операцию следует продолжать. Идеен сообщил, что генерал Папагос и греки, похоже, настроены решительно. Сражаться и, возможно, проиграть, написал Иден, предпочтительнее, чем вообще не вступать в борьбу. Иден, Уэйвелл и Дилл пришли к общему мнению, что, если британцы прибудут в Грецию и займут позиции до того, как появятся немцы, «есть хороший шанс остановить их». Они также считали, что «если немцы появятся раньше, то большей части наших сил, возможно, удастся отступить без особых потерь». Однако Дилл считал, что положение в Греции «хуже, чем мы думали», но не заострял на этом внимание Черчилля. Как бы там ни было, но 7 марта военный кабинет одобрил проведение операции в Греции. В протоколе записаны слова Черчилля: «Мы должны идти вперед с добрым сердцем». Войска Уэйвелла, которые действительно шли вперед, все больше брали на себя символическую роль, воплощая в жизнь решение Черчилля действовать надлежащим образом. Генералы, такие как Уэйвелл, не хотели посылать солдат в бой ради политической символики. Однако Уэйвелл, как и Дилл, явно не выражал свои опасения Черчиллю. Итак, военный кабинет принял «печальное решение» (как назвал его Иден) о боевых действиях в Греции. Решение было принято, но тут Иден сообщил Черчиллю, что генерал Папагос, который всего неделю назад, казалось, был настроен решительно, теперь «лишился мужества». Колвилл в дневнике высказал опасения, что «наши войска окажутся в опасном положении». Черчилль боится за исход дела, написал Колвилл, и чувствует, что «его нам навязали», отчасти чтобы сохранить престиж Великобрита-

нии в глазах американцев, а отчасти потому, что Иден, Дилл, Уэйвелл и Каннингем — даже после предупреждения об опасности отвлечения ресурсов — «так упорно настаивали на нем». На самом деле, Иден и компания, измотанные Черчиллем, только выполняли то, на чем премьер-министро настаивал в течение многих месяцев[178].

10 марта Черчилль сообщил Рузвельту о принятом решении: «Хотя у нас, конечно, было большое искушение попытаться развивать наступление от Бенгази в сторону Триполи и мы еще, возможно, используем значительные силы на этом направлении, однако мы все же сочли своим долгом встать на сторону греков, которые заявили о своей решимости сопротивляться германским захватчикам, даже если им придется сражаться в одиночку. Наши генералы Уэйвелл и Дилл, сопровождавшие Идена в его поездке в Каир, после самого тщательного обсуждения этого вопроса с нами, считают, что мы имеем достаточно шансов на успех»[179].

Надежды на успех в Греции были связаны в значительной степени не с Уйэвеллом или Папагосом, а с Югославией (и, как отметил Иден, с тем, чья армия первой войдет в Грецию). Черчилль заявил Рузвельту: «При этих условиях кардинальное значение приобретают действия Югославии. Ни одна страна никогда не имела еще таких шансов на успех в войне. Если она нападет на итальянцев с тыла в Албании, то это может повлечь за собой неизмеримые по своей важности последствия в течение ближайших недель». Он опять гипотетически рассуждает, что будет, *если так, а затем вот так, тогда возможно это.* На самом деле у югославов не было реальных шансов на успех, поскольку у них не было достаточно сил, чтобы использовать в своих интересах эту так называемую возможность, которая могла представиться. Югославская армия насчитывала более миллиона человек, но это была армия конца XIX века. Она имела на вооружении меньше сотни танков времен Первой мировой войны. Югославские ВВС были слабые в численном отношении. Югославам даже в голову не приходило, что несколько немецких танковых дивизий у их границ дают им какой-то шанс. Черчилль это понимал, и довольно скоро это понял Рузвельт. Полковник Билл Донован, разобравшись на месте с ситуацией, доложил президенту, что хотя он, Донован, уважает югославов за их боевой дух, но они, как любая маленькая европейская страна, не смогут остановить Гитлера. Из более полного и более точного отчета Черчилля Рузвельт бы узнал об опасениях адмирала Каннингема, что без прикрытия с воздуха его флот окажется беззащитным в греческих водах, и страхе Лонгмора за свои слабые во всех отношениях военно-воздушные силы, и страхе Джамбо Вильсона за свои поредевшие ряды. Из этого отчета Рузвельту стало бы известно о переживаниях Уэйвелла, связанных с переброской его 60 тысяч лучших солдат из Ливии на Балканы[180].

В Северной Африке дела обстояли следующим образом: Эрвин Роммель собирался двинуть свои танки на восток, в направлении Египта; Черчилль начал перемещать свои лучшие войска из Ливии в Грецию, заменив их необученным подкреплением.

Март начался с болгар, присоединившихся к Тройственному пакту, и Черчилля, объявившего, что если в ближайшее время не удастся одержать победу в Битве за Атлантику, то это сулит беду. После принятия закона о ленд-лизе хлынул поток обнадеживающих новостей, и конец марта ознаменовался большой военно-политической удачей.

В Восточной Африке британские войска продолжали наступление в направлении порта Массава на Красном море, где базировались несколько итальянских военных кораблей и тридцать пять грузовых судов. Черчилль телеграфировал Идену в Каире, что, если итальянцы затопят свои корабли, «мы будем считать, что освобождены от обеспечения продовольствием итальянского населения Эритреи и Абиссинии». Гарольд Николсон был не так уж не прав, когда назвал ерундовыми кампании в Восточной Африке и большинство побед в Ливии. Однако Африканские кампании — сэр Джон Киган называет их «полетами его [Черчилля] стратегического воображения» — поднимали моральный дух Великобритании и укрепляли решимость Черчилля вести войну до победного конца[181].

Реальная угроза была в Восточном Средиземноморье — в Греции, на Крите и в Сирии — и в Западной пустыне. Заканчивался март, на этих фронтах было затишье, но только потому, что Роммель разведывал обстановку. 25 марта итальянские корабли вышли в море, чтобы атаковать британские военные транспорты, следующие в Грецию. Муссолини, под давлением немцев, требовавших перехватить и потопить британские суда, принял вызов.

Командованию Королевского флота заранее было известно об этой операции; летом прошлого года британские дешифровщики расшифровали итальянские коды. Адмирал Каннингем, с главной базы в Александрии, отдал приказ четырем крейсерам и девяти эсминцам подкарауливать итальянский флот. Сам Каннингем вышел в море из Александрии 27 марта с эскадрой и авианосцем Formidable. Два флота встретились у мыса Матапан, самой южной точки материковой части Греции, вечером 28-го. Итальянский командующий, адмирал Анжело Иакино, находившейся на борту линкора Vittorio Veneto, разделил свой флот на три эскадры, одну из которых британцы обнаружили и в ходе преследования причинили повреждения Vittorio Veneto и крейсеру Pola, который в результате попадания торпеды потерял ход. Адмирал Иакино, полагая, что основные силы Каннингема еще находятся в Александрии, направил два крейсере и два эсминца на помощь Pola. Британцы увидели подходившие корабли с помощью

радаров, которых очень не хватало итальянцам. Британские линкоры осветили прожекторами море, открыли огонь из своих орудий, и в считаные минуты вся итальянская эскадра затонула вместе с более чем 2400 матросами и офицерами. Черчилль, в восторге от новостей, сказал Колвиллу, что теперь британцы, «порвав итальянский бумажный флот», могут спокойно переправить войска в Грецию[182].

Последние важные известия месяца пришли из Югославии. Болгария присоединилась к Гитлеру, Турция решила не вступать в войну, и Югославия стала последней надеждой Черчилля на создание своего Балканского фронта. В конце марта Колвилл написал: «Дипломатическая борьба за душу Югославии достигает своего пика и меняется с головокружительной скоростью». Черчилль знал, что Гитлер, если не поможет дипломатия, использует другие средства, чтобы заполучить Югославию. Принц-регент Югославии Павел понял, что оказался в опасном положении. Павел, сказал Черчилль Колвиллу несколькими неделями ранее, похож на человека, оказавшегося в клетке с тигром, который «старается не дразнить зверя, когда приближается обычное время кормежки». Павел пытался потянуть время. Но время вышло. Загипнотизированный речами Гитлера на встрече в начале месяца и понимая несостоятельность своей позиции, Павел (которого Черчилль в насмешку называл «принц Паралич») подавил свои чувства и чувства своих соотечественников. Он тайно отправил своих министров ночным поездом в Вену, где 25 марта они подписали Тройственный пакт. Кадоган предсказал это несколькими днями ранее, когда написал в дневнике: «Югославы, похоже, продали души дьяволу. Все эти балканские народы — нестоящие люди. Бедняжки». Узнав, что они наконец связали свою судьбу с Гитлером, он написал: «Сбиваются в кучу... слабые, глупые, простофили». Через несколько часов после подписания пакта Черчилль телеграфировал посланнику в Белграде Рональду Кэмпбеллу: «Не допускайте, чтобы между Вами и принцем Павлом или министрами образовалась брешь. Продолжайте надоедать, понукать и приставать. Требуйте аудиенций. Не принимайте ответа «нет». Цепляйтесь за них, указывайте им на то, что немцы уже считают покорение Югославии непреложным фактом. Теперь не время для упреков или величественных прощальных жестов. Однако в то же время Вы не должны упускать из виду ни одно из тех средств, к которым мы, возможно, вынуждены будем прибегнуть, если убедимся, что нынешнее правительство Югославии уже связало себя безвозвратно». Он имел в виду государственный переворот[183].

Когда о подписании соглашения объявили в Белграде, в городе вспыхнуло восстание; почву подготовили агенты SOE с помощью денег и влияния. «Хорошие новости, — написал Кадоган. — В Белграде государственный переворот». Петр, семнадцатилетний принц, был объявлен королем. Принц Павел сбежал в Афины. «Великий день, —

написал Колвилл 27 марта. — Революция в Белграде полностью изменила ход событий и превратила ночь в рассвет. Премьер-министр был вне себя от радости» до такой степени, что сообщил Гопкинсу телеграммой все хорошие новости, пришедшие из Восточной Африки и Белграда: «Вчера был великий день»[184].

Это был ложный рассвет. После подтверждения сообщений из Югославии Черчилль сделал вывод: «Следует ждать дурные вести». И он был прав. Гитлер не мог смириться с обманом и революцией в течение одной недели. Черчиллевские специалисты по ведению неджентльменской войны в SOE произвели переворот, но поджег Югославию Гитлер. Сообщения из Югославии привели его в ярость. Время для псевдодипломатии прошло. Он сообщил генералам свое решение, обойдясь без привычного многословия: «Я решил уничтожить Югославию»[185].

24 марта Роммель, дожидавшийся восемь недель, пока полностью соберется его армия, решил предварительно прощупать британские позиции в районе Эль-Агейлы, в 400 милях к западу от Барбии и в 500 милях к востоку от Триполи, у границы между Киренаикой и Триполитанией. Черчилль принял всерьез сообщение, которое Уйэвелл прислал в Лондон тремя неделями ранее, что немцам, прежде чем предпринять серьезное наступление, понадобится накопить силы и что имеющиеся у немцев трудности «делают маловероятной возможность крупномасштабного наступления до конца лета». Уэйвелл ошибся в оценке противника. И Роммель ошибся в Уэйвелле. Роммель предположил, что найдет в Эль-Агейле большую британскую армию, которая готовится продолжить наступление в западном направлении. Вместо этого он нашел настолько плохо подготовленную армию, что даже не было смысла в разведке боем. Роммель был не из тех, кто упускает возможность ввязаться в драку. Несколько недель назад О'Коннор сообщил миру, что «лиса убита у всех на виду», но новый лис незаметно подкрался к курятнику и обнаружил настежь открытую дверь. И Роммель вошел. Он сделал это в нарушение приказов немецких командующих и вопреки пожеланиям генерала Гарибальди, которому формально подчинялся. Только на прошлой неделе Берлин приказал Роммелю избегать общих наступательных действий до прибытия в начале мая 15-й танковой дивизии. Черчилль тоже считал, что крошечная армия Роммеля не обладает достаточной силой, чтобы до середины мая представлять реальную угрозу. Вот почему, получив сообщение о действиях Роммеля, Черчилль телеграфировал Уэйвеллу: «Я полагаю, что вы ждете, пока черепаха достаточно далеко высунет голову, чтобы затем отрубить ее». Такое же сообщение он отправил в мае 1940 года французскому главнокомандующему Жоржу, когда перешедшие в наступление немецкие танки создали угрозу французским флангам[186].

Роммель, нанеся несколько прощупывающих ударов, 13 марта перешел в наступление в двух направлениях, к Бенгази и Дерне. Черчилль не принял во внимание характер противника. Генерал Филипп Ним, командующий Западной армией, не изучил ни противника, ни местность. Уже было слишком поздно, когда Ним сообщил Уэйвеллу, что эскарп южнее Бенгази не защищает его фланг. Ниму следовало провести разведку местности до наступления Роммеля[187].

В Восточной Африке положение было лучше: к 30 марта британцы заняли всю Эритрею. Война там закончилась, в значительной степени благодаря потрясающей кампании Уингейта, которая не принесла ему продвижения по службе: он слишком отличался от генералов старой школы в Каире и Лондоне. Вскоре, в результате нервного расстройства, он пытался покончить с собой, перерезав себе горло. Наградой за роль в завоевании Эфиопии стало изгнание в Бирму. Но менее чем через год его качества, не вписывавшиеся в общепринятые нормы и правила, сослужили хорошую службу Черчиллю в борьбе против нового врага, намного более опасного, чем итальянцы[188].

Победа над Аостой в Эфиопии, уничтожение итальянского флота и «возвращение души» Югославии позволили Колвиллу написать в дневнике, что «замечательные выходные стали кульминацией недели побед». На выходные они приехали в Чекерс, где Черчилль, одетый в халат, «провел большую часть времени, вышагивая — довольно легко — взад и вперед по Большому залу под звуки граммофона (под военные мелодии, вальсы и самые известные песни в исполнении духового оркестра) в глубокой задумчивости»[189].

Черчилль в задумчивости бродил по комнатам, потому что 26 марта, согласно «Ультра», следом за подписанием югославами соглашения с Гитлером (за несколько часов до государственного переворота в Югославии), несколько немецких дивизий и моторизованная пехота расположились от югославской границы до Южной Польши. И, что важнее всего, три из пяти танковых дивизий разместились в Румынии. Таким образом, когда «Ультра» обнаружила, что приказ выдвигаться был отменен после восстания в Белграде, стал понятен смысл передвижения немецких войск. Следующей целью Гитлера была Россия, пока наглые югославы не ослушались его. Кроме того, доклад Объединенного разведывательного комитета включал информацию о том, что немцы удлинили и укрепили взлетно-посадочные полосы на нескольких польских аэродромах, чего они не делали, подчеркнул Кадоган, для люфтваффе[190].

30 марта Черчилль телеграфировал Идену, который находился с Диллом в Афинах, что в результате югославского переворота и «недавно полученной точной информации» (расшифровка «энигмы»), похоже, «Медведю осталось недолго ждать». Из приказов и контрприказов, обнаруженных «Ультра», Черчилль отчетливо понял, что немцы нацелились на юго-восток в направлении Балкан и на восток в на-

правлении России. «Как я понимаю, бандит сконцентрировал многочисленные танковые силы... чтобы внушить страх югославам... Как только он убедился, что Югославия присоединилась к оси, он переправил три из пяти дивизий в направлении Медведя, считая, что оставшихся будет достаточно для того, чтобы покончить с делами в Греции». Черчилль отметил, что «все выглядит так, будто тяжелые [немецкие] войска будут использоваться на Балканском полуострове». В тот же день он телеграфировал Уильяму Фаддену, исполняющему обязанности премьер-министра Австралии (премьер-министр Роберт Мензис был в это время в Лондоне): «Немецкие планы расстроены [Белградским переворотом], и мы можем вновь питать надежду на формирование Балканского фронта с Турцией... Результат неизвестен, но выигрыш увеличился, а риски несколько уменьшились». На самом деле Турция ничего не выигрывала, принимая британскую сторону, и не предпринимала никаких шагов. Если Гитлер в ярости бросит свои силы на Балканы, угроза Британии станет реальностью[191].

В то время Колвилл не понимал причины, почему Черчилль верит в то, что Медведь вскоре подвергнется травле, и Старик прочел «короткую лекцию о разных захватчиках России, в основном о Карле XII». В 1700 году шведский король Карл XII одержал победу над русской армией в битве при Нарве. Вместо того чтобы использовать преимущество против армии Петра I, Карл повернул на Польшу, грубая стратегическая ошибка, отнявшая у него четыре года и большую часть армии и позволившая Петру провести радикальную реформу армии. Когда в конце десятилетия Карл решил снова испытать силы в России, Петр был готов к сражению и в 1709 году, разбив шведскую армию, получил прозвище Великий. Колвилл не зафиксировал на страницах дневника, хотел ли Черчилль, рассказывая историю, сравнить неподготовленного Сталина, его армию, лишившуюся лучших офицеров, с Петром в 1700 году и Карла в 1709 году, импульсивного и самонадеянного, с Гитлером[192].

Ужасающей была борьба на Западном фронте в мае—июне 1940 года, но столкновение между Германией и Россией привело к борьбе, какой еще не знал мир. 3 апреля Черчилль взял на себя просчитанный риск и отправил личное письмо Сталину (как летом прошлого года) через британского посла в Советском Союзе сэра Стаффорда Криппса. Черчилль не ссылался на свой секретный источник и, со свойственной ему прямотой, высказал предельно ясно и честно свое мнение: «Я располагаю достоверными сведениями от надежного агента, что, когда немцы сочли Югославию пойманной в свою сеть, то есть после 20 марта, они начали перебрасывать из Румынии в Южную Польшу три из своих пяти танковых дивизий. Как только они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко поймет значение этих фактов»[193].

Криппс своевременно получил письмо. И не передал его Сталину. Криппс был преданным социалистом и, возможно, был более обеспокоен реакцией Сталина на письмо, чем сутью самого письма. Перед войной, обращаясь к лондонцам, Черчилль так отозвался о Криппсе: «Есть сэр Стаффорд Криппс, который находится в классе сам по себе. Он желает, чтобы британцы были завоеваны нацистами для того, чтобы убедить их стать большевиками. Это, похоже, кружной путь. И их не ждет просветление в конце пути». Черчилль отправил социалиста Криппса в Москву, давая понять Сталину, что он готов забыть прошлые обиды. Но Сталин то ли не получил, то ли проигнорировал предупреждение Черчилля[194].

Предположив, что его первое письмо вручили или, потратив время на шифровку и расшифровку, скоро передадут, Черчилль на следующий день отправил еще одну телеграмму Криппсу. Он объяснил Криппсу, как изложить вопрос, и приказал особо подчеркнуть, что немец пятится к Балканам и у русских есть время «укрепить свои позиции». Криппс опять ничего не сделал. Он принял одно из самых необъяснимых и глупых решений, сделанных дипломатами во время войны: «сидел на письмах» почти две недели. Когда Черчилль узнал об этом, он прояснил Идену свою позицию: «Я придаю особое значение вручению этого личного послания Сталину. Я не могу понять, почему этому противятся. Посол не сознает военной значимости фактов. Прошу Вас выполнить мою просьбу». Упрямец Криппс, получив выговор от Идена, все равно не передал письмо. Иден предупредил советского посла Ивана Майского о вероятности немецкого нападения. Таким образом, несмотря на поведение Криппса, Сталин был предупрежден Майским. А между тем внимание Черчилля было опять обращено на Балканы[195].

Когда Черчилль первый раз пытался предупредить Сталина, надвигающееся сражение в Греции, а не возможный поворот событий в России был самым безотлагательным вопросом. Если бы югославы не восстали, 60-тысячная армия Черчилля в Северной Греции, возможно, столкнулась с намного меньшей немецкой армией. С другой стороны, если бы югославы не восстали, то немцы перебросили через послушную Югославию свои войска и в любом случае обошли британцев с флангов. Множество расшифровок «Ультра» с полной определенностью указывали на то, что в первые дни апреля британские войска и АНЗАК, прибывающие в Грецию, вскоре будут атакованы значительно превосходящей силой[196].

Правый фланг Джамбо Вильсона, алиакмонская линия, начинался от Салоник на Эгейском море и простирался почти на 50 миль к северо-западу до Монастира. К северо-востоку от британской линии шесть греческих дивизий второй греческой армии сформировали линию Метаксаса, от Эгейского моря на запад до болгарской долины

Струмы, древний путь вторжения во Фракию. На западе первая греческая армия сражалась с итальянцами на Албанском фронте. Фронт тянулся от Эгейского до Ионического моря через горные перевалы и по бездорожью. Именно такой фронт имел в виду Фридрих Великий, когда произнес: «Защищать все означает не защищать ничего». В начале марта Иден изложил проблему в телеграмме военному кабинету: «Военная проблема — единство времени и места». В начале апреля войскам требовалось больше времени, чтобы подготовиться[197].

Но у них его не было.

Лондон и мир ждали известий о немецких слабых силах — испытывавших недостаток в продовольствии, бензине и боеприпасах, — наступавших в восточном направлении против Уэйвелла в Киренаике. Лиги Ливийской пустыни, так блестяще отобранные О'Коннором у Муссолини, снова превратились в поле боя. Но на этот раз на поле боя вышли немцы. «Кажется наиболее желательным, — телеграфировал Черчилль Уэйвеллу 2 апреля, — остановить немецкое наступление на Киренаики». Любой «отпор» немцам будет иметь «далекоидущие последствия для нашего престижа». Отпор не победа, но после Норвегии и Дюнкерка «отпор будет иметь определенное значение»[198].

2 апреля, в день, когда Черчилль отправил телеграмму, танки Роммеля смяли оборону и прорвали линию фронта Нима. Уэйвелл приказал направить бригаду 7-й австралийской дивизии из Каира в Ливию, чтобы остановить кровотечение. Не имело никакого значения, где столкнутся лучше вооруженные томми и австралийцы с немцами, в Египте или в Греции: для них все сложилось бы одинаково на всех военных театрах. Черчилль заставил Уэйвелла дать отпор двум армиям вторжения — одной, намеревавшейся вторгнуться в Грецию, и другой — в Египет. Уйэвелл, возможно, имел шанс, если бы выступил против одной из немецких армий. Но у него имелось мало шансов, когда он разделил армии, чтобы сражаться в двух направлениях[199].

Черчилль, еще до того как узнал о передислокации австралийцев, понял значение, как военное, так и политическое, наступления Роммеля. Он телеграфировал Идену в Афины: «Намного важнее потери территории [в Северной Африке] мысль, что мы можем сталкиваться с немцами и что их появления достаточно, чтобы отбросить нас на много миль. Это может привести к большим бедам на Балканах... Рано или поздно нам придется сражаться с гуннами»[200].

Они сражались с гуннами в Ливийской пустыне и неважно проявили себя. Черчилль, правильно предположив, что Роммель превзошел сам себя, попытался подбодрить Уэйвелла: «Если эту пустышку, которая наступает на вас, можно отрезать, у вас будет длительное преимущество». Конечно, если войскам Роммеля «удастся пробиться вперед, они постепенно уничтожат результаты ваших побед»[201].

Роммель прорвался вперед. Испытанную в боях 6-ю австралийскую дивизию отозвали в Каир, чтобы подготовить к переброске в Грецию. Ее замена в пустыне — 9-я австралийская дивизия — не имела достаточно опыта, чтобы остановить Роммеля. 3 апреля сообщение о том, что Уэйвелл приказал эвакуировать Бенгази, достигло Лондона. Словно злобный киномеханик крутил в обратную сторону бобину с фильмом о победах О'Коннора: Марса-Брега, Беда-Фомм, теперь Бенгази, все места, захваченные британцами в начале года, за несколько дней были отданы Роммелю. Уэйвелл объяснил Черчиллю, что, в связи с ситуацией, будет необходимо отступить к Дерне.

Отпор превратился в бегство.

Роммель, испытывавший недостаток в танках и бензине, приказал, пустить танки впереди всех подразделений, машины должны идти сзади, чтобы подымать как можно больше пыли, создавая впечатление, что движется большая танковая армия. Уловка сработала. Томми и недавно прибывшие австралийцы 9-й дивизии, думая, что по крайней мере две танковые дивизии, немецкая и итальянская, — всего шестьсот танков — идут в наступление, беспорядочно отступали к Дерне. Австралийцы, никогда не терявшие чувство юмора, назвали это бегство Бенгазийским гандикапом. Роммель написал жене, что «британцы из кожи вон лезут, чтобы удрать»[202].

Британское командование сломалось; войска, не получавшие приказов, не знали, то ли стоять, то ли сражаться, то ли отступать. Они бежали, покрывшись желтой пылью, их форменные рубашки, пропитанные потом, были жесткими, как наждачная бумага. Их лица приобрели болезненный желтоватый оттенок. Бежали взводы, батальоны, полки. Ним пытался восстановить порядок. Но не смог. Уэйвелл вылетел из Каира и понял, что Ним потерял контроль. Вызвали О'Коннора, но было уже слишком поздно. Дерна пала вечером 6 апреля. Британские подразделения так поспешно покидали город, что нортумберлендские стрелки только тогда поняли, что происходит, когда мимо них с грохотом промчалась 9-я австралийская дивизия. О'Коннор и Ним бежали одними из последних, в темноте, на машине, в Тимими, примерно в 100 милях к востоку. Увы, герой операции «Компас» сбился с дороги и выехал прямо к Дерне и немцам. За считаные минуты машину окружили люди, кричавшие на иностранном языке. Водитель предположил, что это киприоты, поскольку у британцев многие водители грузовиков были киприотами. Но когда О'Коннор увидел направленные на них немецкие пистолеты-пулеметы, он понял, что их водитель жестоко ошибался относительно киприотов. О'Коннор и Ним провели следующие три года в Италии в качестве военнопленных[203].

Лондонцев не посвящали в события, происходившие в пустыне. И они не знали о сосредоточении войск в Греции. Что касается планов Уэйвелла, то 3 апреля Колвилл написал: «Премьер-министр очень

обеспокоен». Беспокойство Черчилля было связано не только с продолжавшейся в Африке борьбой Уэйвелла с Роммелем, но и с тем, что британцы питались только слухами о развертывании британских сил в Греции. «Я должен информировать общественность, что мы отправили многочисленные силы в Грецию», — телеграфировал Черчилль Уэйвеллу. Американскую прессу обежал слух, объяснил он, но британская пресса до сих пор хранит молчание по просьбе министерства внутренних дел. Даже полковник Донован проболтался, похвалив Великобританию, отправившую войска из Египта в Грецию, за смелость. Британцам ничего не остается, как спрашивать: «*Что* за войска, *откуда* отправлены и *куда*?» Для Черчилля пришло время рассказать правду своим йоменам*[204].

4 апреля Черчилль телеграфировал Уэйвеллу: «Неделю назад я предупредил страну, что не следует надеяться на продолжение непрерывных успехов и мужественно встречать невзгоды». Поэтому, добавил он, «будьте абсолютно уверены, что мы поддержим вас в несчастье даже сильнее, чем в счастье». Он был верен своему слову, взяв на себя риск по отправке конвоя (кодовое название черчиллевский «Тигр») из шести транспортов, перевозивших почти триста новых танков по Средиземному морю из Гибралтара в Александрию под прицелом орудий люфтваффе. Он назвал эти транспорты своими «тигрятами». Когда одно судно при подходе к Мальте подорвалось на мине и затонуло, «мой тигр сломал коготь», сказал Черчилль Колвиллу. Хотя он возлагал большие надежды на оставшихся «тигрят», им удалось добраться до Александрии только в начале мая, и они могли вступить в бой не раньше конца мая, поскольку не оборудованные специальными фильтрами танки не были приспособлены для действий в пустыне и часто выходили из строя из-за поломок двигателей. А до тех пор Уэйвеллу предстояло обходиться тем, что имел и чего было явно недостаточно[205].

Потеряв Дерну, Черчилль утвердился во мнении, что Тобрук, в 100 милях к востоку, является ключевой позицией. Из этого города британцы могут выйти, чтобы встретить авангард Роммеля, а затем, отступив, запереть слишком рассредоточенных немцев между эскарпом и морем. «Браво, Тобрук! — телеграфировал Черчилль Уэйвеллу. — Мы считаем жизненно важным, что Тобрук может рассматриваться как ворота для вылазок». План был хорош на бумаге. Стараясь подбодрить Уэйвелла, Черчилль сообщил ему, что «Тобрук — ваша лучшая база для наступательных операций... Все свидетельствует о том, что они [немцы] ужасно нуждаются во всем. Хорошо бы набраться мужества»[206].

Роммель, собираясь захватить Тобрук, когда будет время, проехал мимо города. К 10 апреля он проехал почти 300 миль по британской территории.

---

* Й о м е н ы — в феодальной Англии свободные мелкие землевладельцы, которые самостоятельно занимались обработкой земли.

Десятью днями ранее, 31 марта, Черчилль сказал Колвиллу, что совершенно уверен в том, что Германия нападет на Югославию перед Грецией или перед Турцией. Он был только отчасти прав. 6 апреля Гитлер напал и на Югославию, и на Грецию[207].

Белград первым подвергся ударам в качестве наказания за дерзость. Немецкие бомбардировщики, вылетавшие с румынских аэродромов, весь день курсировали в небе, не встречая сопротивления. Они появлялись в течение двух следующих дней, сотни бомбардировщиков, сбрасывавших тысячи тон бомб, достаточных, чтобы похоронить под обломками более 17 тысяч жителей города. Корреспондент Си-би-эс Сесил Браун сообщил с места событий: «За несколько часов разрушен целый квартал и тысячи погибших... беженцы, устремившиеся из Белграда, заполнили дороги». Испуганные животные сбежали из белградского зоопарка. Огромный медведь, не понимая, что творится, бросился, задыхаясь от дыма, на берег Дуная. Позже Черчилль, имея в виду Сталина, написал: «Медведь... был не единственным медведем, который не понимал, что происходит»[208].

Вермахт, пройдя походным маршем от венгерской границы до Белграда, потерял всего 150 человек убитыми, при неисчислимых тысячах убитых, раненых, пропавших без вести и взятых в плен югославах. Сибиэсовский Браун, которого немцы арестовали как шпиона, но вскоре выпустили, видел этих «молодых убийц, решивших истребить сербов». Нацисты пристреливали югославов, «как Вы никогда бы не стали пристреливать собаку, даже бешеную». Югославы не сдавались; они отправляли на фронт боеприпасы на телегах, запряженных волами, которые «двигались со скоростью 4 мили в час, в то время как 22-тонные нацистские танки неслись в бой на скорости 40 миль в час». Браун с ужасом наблюдал, как сербы совершают национальный акт «самоубийства, бросая вызов Гитлеру и Новому порядку». Это было не сражение, а резня[209].

Как только немцы расправились с Югославией и вышли в долину Вардара, британские войска, Австралийско-новозеландский корпус и греческие войска на юге были обречены. Если бы немцы атаковали только из Болгарии, то греки и британцы, занимавшие выгодные позиции, были готовы дать отпор. Но поскольку немцы атаковали из Болгарии и Югославии, союзники оказались отрезаны друг от друга, запад от востока. В течение восемнадцати дней охваченные с флангов превосходящими силами противника — более чем четыре к одному — британцы вели ожесточенные арьергардные бои, пройдя почти 250 миль от Салоник до Олимпа, затем до Лариссы, Фермопил и от Фив до Афин. И все это время немецкая пехота, танки и самолеты наносили мощные удары по их флангам[210].

Арьергардные бои в Фермопилах, в которых в основном участвовали австралийцы и новозеландцы, были столь же героическим и бес-

полезным подвигом, как бой в Фермопилах в 480 году до н. э. царя Леонидаса и его трехсот спартанцев против десятитысячной армии персов. За прошедшие века рельеф местности изменился, не в пользу британских защитников. В древние времена проход между горами и морем был шириной всего около дюжины ярдов. С тех пор проход расширился более чем на милю. Немцы, как персы, подошли с севера. Британцы, австралийцы и новозеландцы, как спартанцы, заняли позиции в проходе и на склоне, который стал кроваво-красного цвета, когда на него упали первые лучи солнца. Немцы наступали; грохот танковых дивизий был слышен за несколько миль. Для того чтобы вести огонь, требовалось разместить орудия и пулеметы по всему склону над древним проходом. Солдаты австралийско-новозеландского корпуса так и сделали и, закрепившись на позициях, на какое-то время остановили немцев. Но британский левый фланг повис в воздухе. Уэйвелл спросил греков, не могли бы они прикрыть незащищенный фланг[211].

Они не смогли. Настолько стремительным было немецкое наступление, что, пока Черчилль выговаривал Уэйвеллу, что не получает «известий о том, что происходит на нашем фронте в Греции», бой уже закончился. 20 апреля Черчилль в телеграмме Идену в Каир спросил, удастся ли удержать Фермопилы в течение трех недель, чтобы задержать немцев и дать «стабилизироваться положению в Ливии». Эта задержка, написал Черчилль, позволит прислать подкрепление в Грецию из Египта. Он попросил у Исмея карту фермопильской позиции[212].

Ему не стоило беспокоиться. Фермопилы пали, но не через три недели, а через три дня.

Георгий II, греческий король, предположил, что теперь «обязанность Уэйвелла срочно принять меры по эвакуации своей армии». Уэйвелл и Вильсон согласились с ним. 21 апреля с таким же предложением выступили Черчилль и военный кабинет. Командующим должно быть ясно, сказал Черчилль, что главное, эвакуировать солдат, «не экономя транспортные средства». Австралийские и новозеландские солдаты, объяснил Черчилль военному кабинету, «безупречно вели арьергардные бои против значительно превосходящих сил». Они «добавили еще одну славную страницу» в свою историю. Они, возможно, достойно вели арьергардные бои, но все оказалось напрасно. Спартанцы, по крайней мере, сдерживали персов достаточно долго, чтобы афинский флот устроил засаду у Саламина, где одержал победу над захватчиками, сбежавшими на родину. На этот раз сбежали защитники. Когда томми сели на корабли, греки осыпали их цветами, как тогда, когда они прибыли в Грецию. Затем корабли отправились в плавание, унося на борту побежденных воинов[213].

20 апреля Гитлер отпраздновал свой пятьдесят второй день рождения в специальном поезде Amerika, стоявшем на запасном пути у тунеля в Австрийских Альпах, чтобы исключить появление любого не-

дружелюбного самолета. Но небо было чистым, и фюрер наслаждался великолепием весенних Альп, последней победой и похвалами, воздаваемыми толпой важных шишек из ОКВ, располагавшихся в своем поезде в другом конце туннеля. Гитлер повел себя удивительным образом, когда приказал, чтобы после капитуляции греческой армии — она должна это сделать, как и все его противники, — были освобождены все военнопленные. Так он отдавал дань наследникам традиций гоплитов, храбрым воинам, которые встретились в бою с современными тевтонцами, более храбрыми и более многочисленными. Гитлер не искал сражения. Он считал, что военные действия в Греции навязал ему бешеный пес Черчилль, у которого хватило безрассудства отправить свои скудные армии, чтобы помешать планам фюрера на Балканах[214].

После отвода британских и греческих войск с левого фланга генерал Трасивулос Цакалотос, командующий греческой 1-й армией, понял безнадежность своего положения в западной части страны. Цакалотос во время переговоров с командующим дивизией СС на своем фронте, попросил, чтобы ему разрешили сдаться немцам, и только немцам; несмотря на то что Цакалотос понимал, что для него война закончена, он не собирался сдаваться итальянцам, считая, что они этого не заслуживают. Муссолини, видя, что его собираются лишить возможности принять участие в переговорах, отправил представителя в Берлин, и Гитлер в очередной раз удовлетворил просьбу своего неумелого союзника. В ожидании ответа фюрера дуче продолжал атаковать Цакалотоса, в результате чего потерял еще 6 тысяч человек, и это в то время как война в Греции (или, по крайней мере, ее немецко-греко-британская часть) закончилась несколько дней назад. В итоге дуче спрятался за немцев, а британцы сбежали на Крит, опять оставив свое имущество[215].

Греция капитулировала 27 апреля. Ночью флаг со свастикой развевался над Акрополем. Всего за три недели Гитлер разгромил югославов, греков и британские экспедиционные войска. Черчилль поделил и перераспределил ближневосточные ресурсы, прекрасно зная — он сам сказал об этом Гопкинсу в январе, — что Греция, скорее всего, потеряна. С тех пор историки язвительно критикуют его за безрассудную с военной точки зрения авантюру в Греции. Это не совсем так. На самом деле это было политическое решение, подкрепленное (в недостаточной степени) военными средствами. Великобритания выполняла обязательства по отношению к Греции, чего не сделала по отношению к Чехословакии. Поступая подобным образом, Черчилль демонстрировал свойственное ему стремление действовать «по справедливости» из лучших побуждений, но зачастую не в том месте и в самое неподходящее время. Он обладал живым умом, но иногда в его голове рождались невероятные фантазии под влиянием эмоций, выдаваемых за размышления. Греция была тем самым местом, где Черчилль должен был потерпеть трагическую неудачу[216].

Роммель прогрохотал мимо Тобрука, и австралийцы затаились в нем, отрезанные от мира, словно это была единственная в мире крепость на острове, изолированность которой была неуместна. Таким образом, рухнул черчиллевский план использования Тобрука в качестве «ворот для вылазок». В Тобруке солдаты двух австралийских дивизий, 9-й и 7-й, осажденные, но время от времени получавшие помощь с моря, выглядывали из окопов, из которых они всего тремя месяцами ранее выгнали итальянцев. И там — вместе с индийцами, поляками и британцами, всего более 22 тысяч человек — находились в осаде более восьми месяцев. Лорд Гав-Гав назвал их «тобрукскими крысами». Город окружали траншеи, заграждения из колючей проволоки и минные поля. Как в Первую мировую войну, любой, кто показывался днем, едва ли доживал до вечера. В Канберре начали всплывать воспоминания о Галлиполи. Австралия отправила на Ближний Восток три лучшие дивизии, и теперь их собирались принести в жертву черчиллевской стратегии войны в пустыне. В февральской речи Черчилль сказал «о любви к нам, которая исходит из доминионов». Если учесть, что их лучшие войска скрывались в пустыне, а на горизонте возникла угроза со стороны японцев, то нельзя винить австралийцев в том, что они исчерпали любовь к королю, империи и Черчиллю. Австралия хотела вернуть домой своих солдат[217].

В конце апреля из пустыни пришла одна хорошая новость. Роммель, похоже, наконец забрался слишком далеко. Оказавшись почти на 300 миль восточнее Бенгази, Роммель со своими итальянскими помощниками, как и предсказывал Черчилль, слишком оторвался от своих баз снабжения. Роммелю нужен был Тобрук, чтобы пополнить запасы и продолжить движение в направлении египетской границы. У него едва ли оставались какие-то запасы, кроме воли и решимости. А Уэйвелл утратил и волю и решимость; он устал, и Черчилль знал это. Силы Уэйвелла — особенно его танки — были в худшем состоянии, чем у Роммеля. Отправив армию в Грецию, британцы фактически усилили Роммеля и поплатились за это. Черчилль пошел на риск в Греции и Северной Африке не только из-за обещаний, данных Греции, и из-за того, что Александрия, Каир и Суэц были конечными целями Роммеля, но и потому, что весь мир с пристальным вниманием следил за военной доблестью британцев. Черчилль имел в виду американское общественное мнение, когда сказал Идену, что война в пустыне должна продолжаться хотя бы ради того, чтобы разрушить представление, «что мы не можем столкнуться с немцами и одного их вида достаточно, чтобы отбросить нас на много миль». На самом деле их появления было достаточно, чтобы заставить британцев отступить на много *сотен* миль. Битва за Киренаику закончилась, еще раз. И Греция была потеряна[218].

На той неделе в Америке Чарльз Линдберг, выступая в Сент-Луисе, Нью-Йорке и Чикаго, говорил, что американское оружие убивает

ни в чем не повинных европейцев, что никакое оружие не поможет Англии сравняться с Германией, что британцы потеряли не только Грецию, но и право рассчитывать на справедливость и престиж и проиграли войну[219].

В конце апреля Стаффорд Криппс наконец передал черчиллевское предупреждение о движении немецких войск советскому министру иностранных дел Молотову, который, в свою очередь, передал его Сталину. Ответ Сталина был таким же, как ответ на попытки Черчилля установить дружеские отношения, предпринятые в прошлом году: он не ответил. Черчилль обозлился, больше на Криппса, чем на Сталина. Тем не менее он оставил Криппса послом, поскольку в «годы пустынного одиночества» Криппс поддержал Черчилля в отношении угрозы со стороны Гитлера и необходимости перевооружения.

К концу апреля Гитлер сокрушил Югославию и Грецию, и перед ним открылась дорога на восток к Уралу через бескрайние пшеничные поля, зеленеющие под кобальтовым небом. Завоевание Балкан привело к переносу срока начала операции «Барбаросса» с середины мая на середину июня; оправданная задержка, по мнению фюрера, поскольку вызывающее поведение югославов не могло остаться безнаказанным. Для реализации наказания потребовалось определенное время, но Гитлер считал, что у него есть время, необходимое для нанесения удара по России. Однако, пишет Уильям Ширер, решение фюрера «выместить свою злобу на маленьком балканском государстве, осмелившемся выказать непослушание, явилось, вероятно, самым роковым решением в карьере Гитлера». А все потому, что, если бы Гитлер не справился с русскими до конца октября, на поле битвы появлялся самый страшный союзник России: зима[220].

Но Гитлер принял решение не в вакууме; на него повлиял организованный британцами переворот в Белграде и сосредоточение британских войск в Греции. Стоит отметить, что благодаря Королевскому флоту Великобритания смогла доставить армии в Грецию. Морская держава доставила солдат по Средиземному морю и забрала их оттуда. Когда годом ранее Черчилль заявил, что Королевский флот не может выиграть войну, но может проиграть ее, он имел в виду роль военно-морского флота в уничтожении подводных лодок. Для Черчилля Греция была сокрушительным поражением, но Королевский флот продемонстрировал важную роль морской державы, доставив тысячи солдат на побережья, дружественные и недружественные. Если Черчилль смог доставить армию в Грецию, то смог бы в один прекрасный день доставить более многочисленную армию во Францию, Италию или Французскую Северную Африку.

Но в конце апреля 1941 года набег в Грецию явился единственным наиболее катастрофическим решением за его карьеру, даже более ка-

тастрофическим, чем решение о проведении Дарданелльской операции в 1915 году. Его балканская стратегия завершилась бегством. Британцам не понадобилось столько судов, чтобы убраться из Греции, сколько потребовалось, чтобы доставить в Грецию свои войска. Джамбо Вильсон вернулся в Египет; новозеландская дивизия под командованием сэра Бернарда Фрейберга была переброшена на Крит. В период с 24 по 30 апреля с побережья было вывезено более 40 тысяч британцев, новозеландцев и австралийцев; в ходе эвакуации было потоплено несколько плавучих госпиталей. «Штуки» потопили транспортное судно Slamat. Оставшихся в живых семьсот человек подобрали два эсминца, которые, в свою очередь, были атакованы немецкими пикирующими бомбардировщиками; погибли практически все. Среди эвакуируемых были палестинские евреи, югославы, греки и киприоты. Флот адмирала Каннингема, лишившийся более двух дюжин судов, был плохо готов к тому, чтобы защищать следующую цель Гитлера, Крит. Греция присоединилась к Норвегии и Дюнкерку в списке бесславных британских эвакуаций, фактически самых бесславных на сегодняшний день, поскольку если с французского и норвежского побережья эвакуировали 90 процентов людей, то почти 30 процентов остались в Греции, убитыми или взятыми в плен[221].

Британская пресса реагировала на информацию о грядущих событиях, получаемую от министерства информации, с почтительной сдержанностью. Кое-кто в американской прессе пытался представить события в радужном свете. Согласно Time, «*хотя* кампания была проиграна, но после того, как стали известны подробности битвы за Грецию, есть признаки того, что, возможно, Греческая кампания войдет в историю как одна из самых блестящих тактических операций вооруженных сил Британской империи». Кроме того, «хотя гитлеровских солдат пока не удалось остановить, эта битва показала, что если когда-нибудь британцы будут противостоять немцам, находясь примерно в равных условиях, то у Великобритании есть хороший шанс на победу»[222].

У Черчилля имелись некоторые соображения на этот счет. Создать югославо-греко-турецкий «бастион» не получилось, и теперь нейтральная Турция, неспособная защитить себя, столкнулась с двумя потенциальными врагами — Германией и Россией. В своих воспоминаниях Черчилль настаивает на том, что если бы Уйэвелл воспротивился отправке части его войск из Северной Африки в Грецию, то военный кабинет наверняка принял бы во внимание его мнение. Объясняя в палате общин причины разгрома в Греции, Черчилль сослался на право вето Уэйвелла. Действительно, в середине марта Уэйвелл в телеграмме Черчиллю написал, что «очень удачно», что Иден и Дилл были в Каире, когда «должны были приниматься трудные и опасные решение». Уэйвелл добавил: «Я уверен, решения были правильными, хотя они принесут нам новые риски и неприятности». Однако телеграммы Чер-

чилля Уэйвеллу не оставляют сомнений в том, что Черчилль поставил своего ближневосточного командующего в трудное положение. Уэйвелл мог либо согласиться с пожеланиями Черчилля, либо пойти против его воли и навлечь на себя гнев премьер-министра. Излюбленной тактикой Черчилля, когда кто-нибудь из старших офицеров ставил под сомнение его мысли по военным вопросам, было перевести разговор с военных целей на политические, таким образом поставив упрямого командующего — который не разбирался во всех этих политических играх — в безнадежное положение. Уэйвелл был хорошим, сильным солдатом, но Черчилль был еще более сильным политиком[223].

В конечном итоге сбылись прогнозы Уэйвелла о новых рисках и неприятностях. После разгрома Греции открылась дверь для Сталина, чтобы повернуть в сторону Дарданелл, или для Гитлера, для того же самого, или для обоих, чтобы действовать сообща. Черчилль долго «обрабатывал турок», пытаясь переманить на свою сторону, но признался в телеграмме Криппсу, что турки «не поддаются из страха». Турки, действительно, боялись, и не без причины, что Гитлер, или Сталин, или оба скоро положат конец их суверенитету. Этого требовала логика войны. Сокрушив Турцию, Гитлер мог принять решение нанести удар по Ираку, или направиться через Сирию к Суэцкому каналу, или и то и другое. Немного утолив аппетиты Сталина по усилению влияния в Болгарии и Румынии (традиционные сферы влияния России), Гитлер мог благополучно воплощать в жизнь средиземноморскую стратегию, имея союзника на восточном фланге. Эта стратегия, подчеркивали планировщики военно-морского флота, необходима для того, чтобы одержать победу над Великобританией. Гитлер был готов опустошить величайшую империю в истории, одержать победу там, где Наполеон потерпел поражение. Он готовился предпринять следующий шаг, к острову, который считал важным для осуществления плана: этим островом был Крит. План, для которого важен был Крит, получил кодовое название «план Барбаросса». На Крите у британцев было три аэродрома, с которых они могли совершать налеты на нефтяной район Плоешти, в Румынию. Гитлер нуждался в этой нефти, поскольку для наступления на Москву ему требовалось топливо, и он собрался на Крит воевать с британцами, но в первую очередь он шел для того, чтобы защитить свой фланг[224].

В начале апреля Молли Пэнтер-Доунес написала в The New Yorker: «В прошедшие две недели лондонцы вслушивались в неестественную ночную тишину и задавались вопросом, что замышляется». Ответ на вопрос они получили в середине мая. Вернулся блиц, в своем третьем воплощении. Люфтваффе опять наносили удары по крупным английским городам. 16 апреля более пятисот немецких бомбардировщиков до рассвета бомбардировали Лондон. Во время налета Колвилл

помчался в американское посольство в бронированном автомобиле Черчилля, чтобы проконсультироваться с Уайнантом. Бомбы, написал Колвилл, «сыпались, как град». На следующее утро разрушенный город выглядел именно так, как предсказывали в конце 30-х, когда миротворцы утверждали, что немецкие бомбардировщики доведут дело до конца. Адмиралтейству нанесли очередную рану. Горел Сент-Джеймсский дворец. Остин Томпсон, священник церкви Святого Петра на Итон-сквер, стоя на ступенях церкви, зазывал людей в укрытие; бомба стерла с городского пейзажа и священника, и его церковь. Была разрушена Старая церковь Челси, сильно пострадали Джермин-стрит и Мейфэр. Сильным атакам подверглись Пэлл-Мэлл, Пиккадилли и Риджент-стрит. Мостовые и тротуары были усеяны осколками стекла. Из совершивших налет немецких бомбардировщиков — более пятисот — была сбита всего дюжина[225].

Утро было ясным, и на улицах показались любители достопримечательностей, а среди них Памела Черчилль в обществе Аверелла Гарримана; Колвилл видел, как эти двое (их роман был в самом начале) бродили по пострадавшему от бомбежки плац-параду Конной гвардии. Черчилль пробрался через тлеющие завалы и в 11:30 открыл совещание Военного кабинета. Он поразил Кадогана, заметив, что после повреждений, полученных Адмиралтейством, с его места за столом стало лучше видно колонну Нельсона, которая осталась неповрежденной. Большая часть столицы не разделила счастливую судьбу колонны. Днем по городу пронесся холодный ветер с дождем, создавший атмосферу запустения в разбомбленном городе[226].

В конце апреля карта Европы выглядела так, словно зловещий спрут выпустил на нее черные чернила, залившиеся почти в каждый угол Европейского материка. Гитлер не тронул только Швейцарию, Португалию и Швецию; каждая была надежным дипломатическим каналом взаимодействия с миром. Кроме того, Швейцария предоставила сейфы для хранения его украденного золота, а Швеция обеспечила непрерывный поток железной руды. Испания находилась в его лагере, но, опасаясь лишиться продовольственных поставок — и обречь на голодание свой народ, коварный Франко пока не собирался предоставлять вермахту свободный проход к Гибралтару, хотя Гитлер, если бы захотел, мог пройти через Испанию, не спрашивая разрешения Франко. Карта Европы, за небольшим исключением, окрасилась в черный цвет. Вся... но без упрямого острова.

27 апреля Черчилль отправил Идена в палату общин, чтобы он взял на себя ответственность за поражение в Греции. Согласно власти, традиционно предоставляемой британскому министру иностранных дел, можно было ожидать, что после такой провальной кампании ему придется расплачиваться за свои действия, хотя Черчилль убедился, что при Идене министерство иностранных дел уже не ведет себя с той

надменной независимостью, как вело себя более столетия, со времен Палмерстона*.

Черчилль «не испытывал любви к министерству иностранных дел», написал Колвилл, и «подозревал их в проведении собственной политики» и в том, что они «капитулянты и склонны к социализму». Он «не доверял их мнению». Однако Черчилль был доволен работой Идена, и министр иностранных дел был всецело предан Черчиллю. Но, несмотря на это, Черчилль отвел ему роль «мальчика для битья», словно Иден на самом деле инициировал неудачный ход событий на Балканах. Однако в конце дня палата проголосовала в поддержку правительства — 477 голосов против 3[227].

Спустя несколько месяцев, к удивлению Колвилла, Черчилль заявил, что с самого начала «инстинктивно испытывал сомнения» относительно Греческой кампании. Грекам, сказал Черчилль Колвиллу, следовало посоветовать прийти к соглашению с Гитлером, по возможности, на наилучших для них условиях. Он утверждал, что вина за провал Греческой кампании лежит на военном кабинете и, особенно, на Дилле. Колвилл описал инцидент так, словно не помнил, каким даром убеждения обладал Черчилль. Но 27 апреля Черчиллю было непросто обвинять правительство в греческой трагедии, поскольку всем было прекрасно известно, что премьер-министр и был правительством. Вечером того же дня Черчилль, впервые после 9 февраля, когда он произнес знаменитую фразу «Дайте нам пушки», выступил по радио, чтобы объяснить последнее из серии ужасных событий[228].

Длинный список проблем продолжал расти. Как и в каждом выступлении начиная с мая прошлого года, он предложил поддержку нуждавшимся в ней мужественным людям: «На прошлой неделе меня спросили, известно ли мне о тех тревожных настроениях, которые якобы царят повсюду в нашей стране из-за тяжелой ситуации на большинстве фронтов. Я тогда подумал, что, пожалуй, лучше мне лично встретиться с согражданами, чтобы оценить степень «тревожности» их настроений. Мне представилась возможность посетить несколько крупных городов и морских портов, довольно серьезно пострадавших от бомбардировок, а также ряд районов, население которых, практически лишившись средств к существованию, оказалось в очень тяжелой ситуации». Но то, что он увидел, придало ему «оптимизма и новых сил». «Когда покидаешь Уайтхолл с его нескончаемым суматошным гулом и напряженной гнетущей атмосферой... — сказал Черчилль, — то будто выходишь из парилки на мостик боевого корабля. Свежий воздух — отличное тонизирующее средство, которое я рекомендую в больших дозах всем, кто страдает повышенной возбудимостью». Он «с удивлением обнаружил,

* Генри Джон Темпл, лорд П а л м е р с т о н был трижды министром иностранных дел (1830—1834; 1935—1941; 1846—1851)) и дважды премьер-министром (1855—1858; 1859—1865).

что моральный дух населения выше всего именно там, где неистовая злоба беспощадного врага причинила наибольший ущерб и где на долю мужчин, женщин и детей выпали самые суровые испытания». Все это в целом «торжество жизни над смертью — самое наглядное подтверждение правильности того цивилизованного и легитимного общественного порядка, к которому мы всегда стремились, убедительное доказательство эффективности свободных демократических институтов. Это лучшая проверка на прочность наших местных органов власти, а также наших вековых традиций и обычаев социальной жизни». Он твердо уверен в том, сказал Черчилль, что «все испытывают неимоверное удовлетворение от осознания того, что они стоят плечом к плечу с нашими бойцами в смертельной схватке за правое дело, которая обязательно увенчается победой. Это поистине самый героический период в нашей истории, и все нынешнее поколение британцев непременно покроет себя неувядаемой славой». Он высказал предположение, что все англичане чувствуют то же, что и он.

Многие испытывали подобные чувства. Когда Уэнделл Уилки, проводя неофициальный опрос во время визита в Англию, спросил рабочего, поддерживает ли он войну и хочет ли довести ее до конца, рабочий ответил: «Гитлер еще жив, не так ли?» — и вернулся к работе. Жители Халла с гордостью говорили о пережитых бомбардировках, и сообщили американскому журналисту, обозревателю The New Yorker, А.Дж. Либлингу, что их город пострадал намного сильнее, чем Ковентри. Халл, расположенный всего в 25 милях от Северного моря и являвшийся самым близким к Германии британским портом, регулярно подвергался бомбардировкам; он был единственным из крупных британских портов и городов, который принял на себя такие тяжелые удары. Во время блица ни один мэр ни одного британского города не просил у Уайтхолла ни особой защиты, ни помощи в ее организации. Лондонцы, конечно, не стеснялись говорить, что могут обратиться за помощью. Однако Черчилль несколько поторопился заявить, что «своей выдержкой и усердием мы сумели заслужить доверие народа Соединенных Штатов. Никогда за всю историю наши заокеанские друзья не относились к нам с таким восхищением и уважением», поскольку явное большинство избирателей до сих пор не ответили на вопрос о вступлении в войну за Великобританию. И лучи славы не озаряли Европейский континент. Однако слова Черчилля не слишком обнадежили порабощенных европейцев, жизнь которых действительно была сопряжена с опасностью. Тем не менее поляки и голландцы, французы и норвежцы, чехи, бельгийцы, словаки, хорваты, сербы, а теперь и греки — все понимали, что Черчилль единственный из европейских лидеров будет продолжать бороться с Гитлером. Но также хорошо они понимала, что он не может бороться в одиночку слишком долго[229].

Черчилль вышел в эфир не только для того, чтобы поблагодарить британцев, но и чтобы объяснить неудачи на Балканах. Понизив голос, он перешел к Греции и сказал британцам: «Балканы содрогнулись под мерной поступью сотен тысяч безжалостных гуннов. Югославия пала... Греция сокрушена. Ее победоносная албанская армия оказалась в окружении и сдалась». Далее он переключился на Африку, где события приняли столь же ужасный поворот: «Пока в Греции и вообще на Балканах происходили все эти печальные события, наши войска в Ливии потерпели досадное поражение и понесли серьезные потери. Немцы начали наступление раньше и большими силами, чем рассчитывали наши генералы». Строго говоря, так оно и было. Хотя Черчилль не ожидал, что Роммель так рано перейдет в наступление; в начале марта «Ультра» обнаружила, что Роммель будет готов на несколько недель раньше, чем предполагали британцы. Сомнения Уэйвелла были мало связаны со скоростью наступления и численностью немцев в Греции и Северной Африке. Он полагал, что на любом фронте они будут действовать со свойственной немцам быстротой и силой. Больше всего он был озабочен делением своих сил. Однако во время выступления Черчилль, не называя имен, упрекнул командующего в решении отправить танки в Каир, когда будущие события — во время принятия решения будущее было неопределенным — доказали, что их следовало оставить в Ливии. «Единственная британская бронетанковая бригада, которой надлежало удерживать линию фронта до середины мая, оказалась почти сразу разгромлена, а все входящие в ее состав боевые единицы были полностью уничтожены превосходившими силами немецких бронетанковых частей». Не останавливаясь на подробностях, Черчилль только сказал, что британцы потерпели очередное поражение[230].

Затем он предложил «на некоторое время свернуть с того тернистого пути, по которому мы с вами идем вслед за своей судьбой, чтобы немного повеселиться над одним забавным происшествием»: «Полагаю, вы читали в газетах о том, что итальянский диктатор в специальном воззвании поздравил итальянскую армию с той великой победой, которую она одержала в Албании над греками, увенчав себя лаврами бессмертной славы. По своей нелепости и глупости этот поступок, безусловно, бьет все рекорды. Подумать только, побитый шакал Муссолини, который ради спасения собственной никчемной головы сделал Италию вассалом гитлеровской империи, теперь, отчаянно виляя хвостом, трусит рядом с немецким тигром и визгливо тявкает не только от неуемной жадности — это еще можно понять, — но еще и, как выясняется, в знак ликования по поводу своего выдающегося военного триумфа»[231].

Затем он перешел к «бандиту». Что касается Гитлера, то Черчилль повторил то, что сказал в январе Исмею: «Гитлеру не спастись от ка-

рающей руки возмездия! Он не укроется от правосудия ни на Ближнем, ни на Дальнем Востоке. Для победы в этой войне ему придется либо покорить наш остров, завоевав его, либо навсегда перерезать ту спасительную нить, которая пролегла через Атлантику, крепко связав нас узами дружбы с Соединенными Штатами». Он предложил оценить силы, «которые на нынешнем этапе противостоят общему врагу», которые свидетельствуют о «неминуемом поражении Гитлера», и заявил: «Злобных гуннов не так уж много — менее 70 миллионов. Некоторые из них наверняка еще могут излечиться от нацистской заразы; остальные, к несчастью, обречены на гибель... Численность населения Британской империи и Соединенных Штатов составляет почти 200 миллионов человек (это если учитывать только жителей Британии, США и британских доминионов). Англоговорящие народы безраздельно властвуют на океанских просторах и в скором времени обязательно добьются преимущества в воздухе. Они очень богаты, у них огромный технический потенциал, они производят больше стали, чем весь остальной мир, вместе взятый»[232].

Черчилль ничего не сказал о третьем возможном пути к победе для Гитлера, помимо вторжения и блокады. Стратегия, которую в течение десяти месяцев отстаивали, хотя и робко, адмирал Редер и Франц Гальдер (начальник штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта), учитывала намерение Гитлера обмануть Москву. Гальдер предложил до вступления американцев в войну разорвать на части Британскую империю, начав в Средиземноморье. Затем он советовал нанести удар по Ираку и Сирии, в то время как японцы нанесут удар по Гонконгу и Сингапуру. Цель: изгнать Великобританию из Азии. В этом случае Соединенные Штаты пересмотрят мнение относительно необходимости поставки вооружения в Великобританию для становившейся все более бесполезной борьбы. Англия, обнаружив, что отрезана от доминионов, от иракской и персидской нефти и не имея возможности использовать Суэцкий канал, будет готова к гибели. Именно этого больше всего боялся Черчилль[233].

Он предпочел оскорбление полной откровенности. Никто не возразил против того, что он назвал Муссолини шакалом, но его ссылка на злобных гуннов вызвала протест со стороны Кордера Кэчпула, человека, отказавшегося воевать в Первую мировую войну, пацифиста, который в открытом письме Черчиллю написал, что слова премьер-министра «не соответствуют истине и что они пропитаны языческим духом и противоречат тому, чему учил Иисус, — милосердному отношению к грешникам». Кэчпул предсказал, что «если будет преобладать этот дух» у британцев и их лидеров, то «нынешнее поколение исчезнет без малейшей надежды узнать новый, лучший мир, ради которого люди сейчас подвергаются страданиям», Черчилль не ответил Кэчпулу[234].

Черчилль закончил выступление строками из стихотворения Артура Хью Клафа «Не говори, что пользы нет в борьбе», которые, «как мне кажется, очень уместны в нынешней ситуации. Я уверен, что со мной согласятся всюду, где звучит английская речь и развевается знамя свободы:

Пока устало бьет волна
О неприступность темных скал,
Рождает моря глубина
Огромный, самый страшный вал.
Зарю дарует нам восток,
И солнце прогоняет тень:
Взгляни на запад — близок срок,
Когда там воссияет день![235]

На западе была Америка, где для отправки по ленд-лизу в Великобританию было собрано огромное количество зерна, сухого молока, яичного порошка, консервированной свинины и рыбных консервов. Но в течение месяца не прибыло ни одного судна. Хотя Черчилль на людях заявлял, что неудачи укрепляют решимость и, так или иначе, в определенный момент превращаются в ступени, ведущие к победе, но, получая дурные известия при закрытых дверях, вел себя, как ведут дети, артисты и гении: начинал дуться. Каждое новое поражение он называл самым мрачным, самым опасным, самым пугающим, самым ужасным. Но он никогда не дулся долго и никогда не боялся. На ужине в компании близких друзей и членов семьи он мог, надувшийся, с трясущимися губами, ворча и бросая сердитые взгляды, пресечь все разговоры. Роберт Мензис, премьер-министр Австралии, отметил в дневнике невероятные переходы Черчилля во время бесед от состояния глубокой задумчивости до сильного возбуждения. «Премьер-министр во время разговора погружает себя (и вас) в уныние по поводу некоего мрачного аспекта войны... только для того, чтобы одержать победу над собой, расхаживая по комнате с горящими глазами. В каждом разговоре он достигает момента, когда явно наслаждается войной: «Счастье в том веке, в котором живешь... Почему мы мы считаем историю прошлым и забываем о том, что мы делаем ее?» Черчилль мог быть капризным, раздражительным, грубым и непоседливым, но он никогда не разделял мнения, что за чередой неудач неизбежно последует поражение. Мензис написал в дневнике: «Он не допускает мысли о поражении»[236].

После поражения от Роммеля в Ливии Черчилль телеграфировал Уэйвеллу: «Нам, видимо, не повезло». И, словно безответственный человек, проигравший всю зарплату, добавил: «Надеюсь, что впоследствии мы поправим дела». У него была способность видеть красоту там, где другие видели грязь. Если бы Великобритания не отправила войска в Грецию, сказал Черчилль кабинету, «Югославия не была бы теперь явным врагом Германии». Да, югославские партизаны сковы-

вали действия нескольких немецких дивизий до конца войны, но жертвы в Греции, более 16 тысяч лучших британских солдат, погибших и взятых в плен, ставшие результатом этой кампании, не дают права говорить об этом плане как об удачно выбранной стратегии. Удача не оставила Уэйвелла; его оставил Черчилль[237].

С июня прошлого года, когда Черчилль публично обсуждал неудачи, когда обещал, что опасности будут увеличиваться, его выступления имели важные последствия, поскольку с каждой фразой он добавлял немного раствора в фундамент общественного доверия вплоть до выступления 27 апреля. Почти целый год он объяснял министрам, что не хочет ослабления напряженного состояния по поводу возможного вторжения. И оно не ослабевало. Напряжение было таким сильным, написала Пэнтер-Доунес, новости из Греции и Северной Африки такими сбивающими с толку и такими плохими, что утренние газеты «были все равно что бомба, лежащая на столе во время завтрака»[238].

27 апреля после выступления Черчилля ужинать сели только в десять вечера, после которого, по воспоминаниям генерала сэра Алана Брука, Черчилль «был в отличной форме... и продержал нас до половины четвертого утра». Его отличная форма, возможно, предназначалась для того, чтобы замаскировать увеличивающиеся страдания, поскольку через несколько часов после его выступления по радио расшифровка «энигмы» подтвердила, что немцы направляются на Крит и предполагается захват аэродромов силами парашютистов. Информация была настолько важной, что Черчилль посоветовал начальникам штабов тайно переправить подлинники генералу Фрейбергу, командующему силами союзников на Крите. Черчилль считал, что Фрейберг, однажды заверивший, что при получении убедительных разведданных развернет свои силы, чтобы заманить в засаду и уничтожить немецкие воздушно-десантные подразделения и немецкие подразделения, доставленные морским путем, если их до этого не потопит Королевский флот, окажутся отрезанными на побережье. Если удастся осуществить задуманное, то расшифровка окажется настоящей находкой. В противном случае Крит падет, следующей целью станет Египет и, учитывая нынешнее состояние дел, никто не сможет гарантировать защиту Египта. Потеря Египта и Суэцкого канала, сказал Черчилль членам военного кабинета, «будет для Великобритании первой катастрофой, следом только успешное вторжение и окончательное завоевание» Родного острова[239].

Если Роммель доберется до Каира, то предстоит эвакуация из Северной Африки, и тогда Норвегия, Дюнкерк и Греция будут выглядеть как учения. Согласно директиве военного кабинета от 28 апреля, составленной Черчиллем, следовало составить эвакуационные планы, причем оговаривалось, что не допускается никаких намеков относи-

тельно этих планов. Но до того как начнется отступление, «сдача офицерами и солдатами будет считаться допустимой только в том случае, если потери подразделения или армии превышают 50 процентов». Согласно принципу Наполеона, сдача возможна, если «солдат схвачен один и без оружия. Но генералы и штабные офицеры, застигнутые врагом врасплох, должны использовать для самообороны свои пистолеты». Черчиллю нравился наполеоновский принцип относительно сдачи невооруженного солдата. Если бы Уэйвелл прочел автобиографию Черчилля «Мои ранние годы», то узнал, что Черчилль однажды применил этот принцип к себе, когда, безоружный, оказался под прицелом бурских винтовок. В рассказе об этом случае Черчилль изо всех сил старался объяснить читателю, что у него не было под рукой пистолета, так что он был и окружен, и разоружен[240].

В директиве говорилось, что «каждый, кто сумеет убить гунна или даже итальянца, сослужит хорошую службу». Затем, перейдя непосредственно к теме эвакуации, Черчилль установил, что «будет абсолютно невозможно найти суда для перевозки десятой части огромной массы людей и материальных средств, собранных в Нильской долине». Все корабли Королевского флота не смогут вывезти их оттуда, и на этот раз не придется рассчитывать на помощь яхт, траулеров и рыбачьих лодок, как это было в Дюнкерке. Очевидно, британцы могли бежать на юг, через Судан в Кению. Те, кто выживут, выйдут из войны. С учетом того, что нет реального выхода, боевой план призывал — как на Родном острове — стоять до конца[241].

Директива была написана таким языком, что становится ясно, что имел в виду Дилл, когда сказал Рейту, что «только одна из десяти записок Черчилля является полезной». С точки зрения Уэйвелла директива была пустой тратой бумаги. Он не нуждался в человеке, который бы объяснял ему, как выполнять свой долг. Черчилль завидовал возможности Уэйвелла добиться славы. Он признался Колвиллу, что «отказался бы от нынешней должности — и даже от сигар и алкоголя» ради возможности возглавить сопротивление в Египте[242].

Между тем Фрейберг на Крите получил и переварил расшифровки «энигмы», но Секретная разведывательная служба, основываясь на стандартных процедурах, запретила ему действовать на основании информации, полученной из единственного источника без подтверждения хотя бы еще одним источником. Бюрократическая бессмыслица, поскольку в «Ультра» поступала информация из первоисточника и, следовательно, была заслуживающей доверия и не требовала проверки. Впоследствии Фрейберг утверждал, что реальная цель директивы состояла в том, чтобы сорвать план по обороне трех критских аэродромов ради сохранения секрета «Ультра». Если бы аэродромы оказались слишком хорошо защищены, немцы могли сделать вывод об утечке секретной информации. Тем не менее Фрейберг решил, что предпри-

мет ряд мер по укреплению обороны вокруг аэродромов. Проблема состояла в том, что самый западный аэродром, в Малеме, рядом с британскими кораблями, стоящими на якоре в бухте Суда, находился в 70 милях к западу от аэродрома в Ретимноне, который, в свою очередь, находился в 80 милях к западу от третьего аэродрома, в Гераклионе. Впервые с начала войны британский командующий заранее точно знал, кто и когда направляется в его сторону. Однако его силы были подорваны в Греции, он испытывал нехватку в солдатах и внутренних коммуникациях для обеспечения эффективной, скоординированной обороны Крита, с помощью или без помощи «Ультра».

30 апреля Макс Бивербрук ушел из министерства авиации. У него было больше врагов в Королевских ВВС, чем в люфтваффе. Теперь от него было больше вреда, чем пользы, поскольку он был готов и горел желанием противоречить Рузвельту, который мог навредить Черчиллю. Макс считал, что американцы хотят отнять все, что удастся, у Великобритании, включая оставшееся золото и, после победы в войне, ее внешние рынки — империю. Он предложил направить миссию в Соединенные Штаты, чтобы напрямую поговорить с народом об осторожности, которую проявляет Рузвельт, и нежелании американского правительства выполнять обещания, данные Великобритании, обещания, которые были напечатаны в газетах Макса. «Американское правительство... просит луну, — написал он Черчиллю, — и, похоже, не хочет платить шесть пенсов»[243].

Поездка Макса в Соединенные Штаты могла только причинить вред Черчиллю и всему делу. У Макса было достаточно врагов в Лондоне, и не хватало еще завести их в Америке. Черчилль, изыскивая способы оставить Макса в деле и в кабинете, 1 мая назначает его государственным министром. Эта должность, не определявшая конкретный круг обязанностей, создала проблему, поскольку Макс совал нос во все дела разных отделов и, естественно, приобрел врагов в лице начальников этих отделов. Однако отсутствие обязанностей освободило время для того, чтобы служить Черчиллю в качестве друга, партнера, подающего реплики, и инкубатора сомнительных идей. Британцы, не слишком понимая неустойчивость положения, встретили эту новость на ура, поскольку считали, что Бивербрук, учитывая его способности налаживать производство, будет контролировать производство военной продукции. Многие полагали, что британское военное производство — и черчиллевское управление им — оставляют желать лучшего. Военное производство выигрывает войны, а британские предприятия занимаются выпуском продукции, согласно Флит-стрит, находясь в состоянии дремоты. В пятницу руководители закрывают предприятия и проводят выходные за городом; только на нескольких заводах работают в три смены. Sunday Express: «Мы понимаем, что ведем борьбу за жизнь, находясь в тисках

смерти?» Давать себе отдых, возмущалась газета, «возмутительно». Daily Mail: «Когда мы собирается начать работать на победу в войне? Когда запустим фабрики, заводы и верфи на полную мощность?» По мнению прессы, правительству требовалась встряска, радикальная встряска. Молли Пэнтер-Доунес написала, что новая должность даст возможность Бивербруку «нанести удар по неэффективности и ведомственным проволочкам, в тех местах, где это имеет место». Хотя британцы с подозрением относились к «канадскому акценту» Бивербрука, его «методам», его преданности тори, даже к его лицу «уличного мальчишки», они знали, что он именно тот человек, который приведет в чувство бюрократов, внесших путаницу в производство всего, от танков до консервов[244].

Май оказался весьма оживленным месяцем. Беда, пришедшая с воздуха, в Атлантике и в Восточном Средиземноморье. Ужасающие потери в кораблях в Атлантике; диаграмма, на которой отслеживались потери, выглядела как «температурная кривая при волнообразной лихорадке», написала Молли Пэнтер-Доунес. Блиц 1941 года вступил в третью, самую кошмарную фазу: Лондон подвергался ударам более жестоким, чем в 1940 году. Лондонцы жили в домах без крыш, в сырости и грязи. Часы при переходе на летнее время перевели вперед на час, и вечером у лондонцев появилась возможность дольше обозревать окружающие разрушения. Правительство могло предложить им незначительную помощь. Когда член парламента попросил Черчилля «не быть глухим» к проблеме, связанной с оказанием помощи гражданам, пострадавшим от бомбежек, Черчилль ответил, что прочистит уши. Но лондонцы не жаловались. Они скорее с удовольствием, написала Молли Пэнтер-Доунес, будут «снова и снова терять дома, только чтобы услышать, что берлинцы только что получили такую же большую посылку из ада» от Королевских ВВС, как они — от люфтваффе. За двенадцать месяцев количество погибших британцев приблизилось к 47 тысячам[245].

Гибралтар был последней точкой опоры Британии на континенте. Тобрук находился в осаде. Понятно, что следующей целью Гитлера был Крит. Правительство Виши не могло помешать прохождению немецких войск через Францию в Испанию, если это требовал Берлин. Оно не могло ничего сделать, если Берлин настаивал на переброске войск в Сирию перед наступлением в Ирак, где авангард немецких летчиков и войска готовились совместно с иракским премьер-министром захватить нефтяные месторождения Мосула. Франклин Рузвельт, как обычно, не реагировал на просьбы Черчилля относительно более агрессивной роли Соединенных Штатов. Май начался с обычного вопроса: «Где и когда Гитлер или один из его приспешников нанесет следующий удар?»[246]

Ответ был дан на восходе 1 мая. Иракцы нанесли удар накануне вечером. Алек Кадоган коротко написал в дневнике: «Грязные иракцы нанесли нам удар в Хаббании. Нам разрешено бомбить». Кадоган, постоянный заместитель министра иностранных дел, в чьи функции входила формулировка юридических деталей и нюансов ведения войны, столкнулся при входе в парламент с Черчиллем. «Итак, сегодня вечером вы заполучили еще одну войну», — буркнул Черчилль, прежде чем исчезнуть в коридоре. Но Ирак имел второстепенное значение. Иракцев возглавлял Рашид Али аль-Гайлани, который после организации переворота в марте назначил себя премьер-министром и отправил в изгнание пробританского регента. Теперь Рашид, в нарушение долгосрочного договора 1930 года, который предоставлял Великобритании право беспрепятственного прохода по территории Ирака и позволял иметь авиабазы в Хаббании, нанес удар, и его войска окружили британские авиабазы. Иракский порт Басра был дверью в Персию. Из Басры в Великобританию поступала нефть. Черчилль не мог позволить Ираку вести себя столь дерзко, и не только из опасения потерять нефтяные месторождения Мосула, но и потому, что сам, будучи министром по делам колоний, двадцать лет назад, воскресным утром в Каире принимал участие в создании Ирака. Он с нежностью вспоминал этот день, проведенный в компании Т.Э. Лоуренса и принцев Хашимитского королевства, когда принял решение править новорожденными государствами, Трансиорданией и Ираком[247].

Однако, чтобы избавить Ирак от Рашида и немецкой угрозы, ему требовалось еще больше ослабить ближневосточные силы Уэйвелла. Уэйвелл, справедливо опасаясь дальнейшего сокращения своих войск, предложил договориться с Рашидом, надеясь, что удастся решить вопрос мирным путем. Черчилль и военный кабинет не приняли во внимание мнение генерала. Битва началась с нанесения ударов Королевскими ВВС с осажденной базы Хаббания, затем перекинулась в Фаллуджу, к западу от Багдада. Далее 10-я индийская дивизия начала наступление из Фаллуджи на Багдад, обратив в бегство Рашида. Командовал 10-й дивизией генерал-майор Уильям Билли Слим, о котором Черчилль как-то в шутку сказал: «Не могу поверить, что от человека с такой фамилией может быть много пользы». Слим был не просто полезен; он умел перебрасывать войска быстро и на большие расстояния — талант, который пригодится ему, когда он будет срочно направлен в Бирму. Берлин направил группу офицеров для оказания помощи Рашиду. Иракские пулеметчики, не разобравшись, расстреляли самолет немецкого командующего при подлете к Багдадскому аэропорту. Несколько немецких эскадрилий, которые Гитлер направил в Ирак, вернулись домой, чтобы больше не возвращаться. Британцам потребовался всего один месяц, чтобы вернуть Багдад, и еще три дня, чтобы сформировать новое иракское правительство[248].

В своих воспоминаниях Черчилль коротко остановился на Иракской кампании, назвав ее «быстрым и полным успехом». Однако он отметил, что Гитлер упустил огромную возможность. «В распоряжении немцев были воздушно-десантные силы, которые бы обеспечили им... Сирию, Ирак и Персию с их нефтяными месторождениями». Из Персии, а персидский шах был высокого мнения о фюрере, Гитлер мог направиться в Индию. Но его взгляд был прикован к России. Даже перспектива получения иракской и персидской нефти, даже перспектива поднять флаг со свастикой над Суэцким каналом не могли заставить его принять другое решение[249].

И хотя его взгляд был устремлен на восток, Гитлер собирался закрепить свои успехи в Греции и Северной Африке. Вот почему на Крите Черчилля ждало еще одно средиземноморское сражение. Учитывая плачевное состояние сил Фрейберга, трудно было рассчитывать на успешную оборону Крита. Но если логика была против него, Черчилль шел вразрез с логикой. Когда в конце апреля расшифровки «Ультра» показали, что немцы планируют атаковать Крит, Черчилль телеграфировал Уэйвеллу: «Из нашей информации совершенно ясно, что скоро ожидается нападение на Крит... Это прекрасная возможность уничтожить немецкие парашютные войска». Остров, подчеркнул Черчилль Уэйвеллу, надо оборонять во что бы то ни стало. Но скоро Черчилль отказался от фантазии относительно уничтожения парашютистов и взглянул в лицо фактам. Он сообщил военному кабинету — но ничего не сказал Фрейбергу, — что, по его мнению, оборона Крита в конечном счете безнадежное дело. Потеря Крита приведет к установлению немецкого контроля в небе над восточной частью Средиземноморья, а это «самая большая угроза, с которой мы столкнемся»[250].

Глядя на карту Восточного Средиземноморья, становится понятно, почему Гитлер собрался на Крит. Этот самый большой и самый южный из греческих островов расположен в центре Восточного Средиземноморья, и в пределах досягаемости находились Тобрук, Александрия, Афины и Румыния. Британские бомбардировщики могли долететь с Крита до румынских нефтяных месторождений в Плоешти; немецкие бомбардировщики могли совершать с Крита налеты на Александрию. В случае потери Крита возникала смертельная угроза британским морским путям в Александрию. Тобрук, уже осажденный Роммелем, становился уязвимым для массированных немецких воздушных налетов. Потеря морской базы в бухте Суда вынуждала корабли Королевского флота пересекать восточную часть Средиземного моря под прицелом люфтваффе. Но, глядя на карту, можно понять, что Крит представлял наибольшую трудность для организации нападения. Этот длинный узкий остров протянулся на 200 миль с запада на восток и в самом широком месте достигает 35 миль. Большую часть острова занимают три горных хребта высотой от 5 до 8 тысяч футов, отделяя южное побережье

от северного побережья. Едва ли следовало ждать вторжения с моря, поскольку большую часть изрезанной береговой линии занимали не песчаные пляжи, а скалистые утесы. К тому же у немцев не было соответствующих десантных средств для быстрой высадки армий на мелководье. Оставался воздушный вариант нападения, и в этот короткий промежуток войны немцы предприняли воздушно-десантную операцию.

План операции предложил генерал Курт Штудент, командующий элитным 11-м воздушно-десантным корпусом. В 1940 году во время вторжения в Нидерланды 7-я воздушная дивизия Штудента, 7. Flieger-Division, доказала полезность парашютистов, сбрасываемых в тыл противника, для организации диверсий и преследования противника. На Крите Штудент предложил отвести парашютистам ведущую роль. Целью Штудента, согласно «Ультра», были три аэродрома британских ВВС, являвшиеся ключами к Криту. Геринг, опозорившийся в небе над Англией, ухватился за план Штудента, надеясь с его помощью восстановить свой престиж и захватить новую территорию для Гитлера[251].

На протяжении всей зимы Черчилль считал, что Крит можно успешно защищать в случае нападения, но до получения расшифровок «Ультра» он ничего не знал о смелом плане Штудента. Но он точно знал, что потеря Крита приведет к изоляции Суэцкого канала и Уэйвелла, перспектива столь угрожающая, что он телеграфировал Рузвельту: «Я чувствую, что Гитлер может довольно легко получить огромное преимущество, а мы так заняты, что едва ли можем что-то сделать, чтобы остановить его наступление»[252].

Он впал бы в еще большее уныние, если бы Гитлер выбрал более значимую цель. Если цель Гитлера состояла в том, чтобы укрепить свои позиции в Северной Африке, отрезать британцев в Восточном Средиземноморье и затем разгромить их на Крите, в Сирии и Западной пустыне, то первый удар следовало наносить по Мальте, а не по Криту. Черчилль и Муссолини давно поняли, что тот, кто сохраняет контроль над Мальтой, тот получает контроль над восточно-западными морскими путями поставок в Каир для британских армий и путями поставок оси в Северную Африку. Гитлер тоже это понимал. Когда Муссолини вторгся в Албанию, Гитлер заявил, что если дуче намерен захватить Средиземноморье, то для этого самой подходящей целью являются Мальта и Крит. Ближайшие военные советники уговаривали Гитлера отправить воздушные силы Штудента на Мальту. Когда Кейтель и Йодль показали Штуденту план, он отказался на том основании, что Мальта лучше укреплена, чем Крит. Это было не так, но Гитлер и Штудент не имели точной информации, которая, возможно, заставила бы их изменить свое мнение[253].

В мае 1941 года Мальта была не менее важна для британцев. За год воздушный флот на острове — несколько эскадрилий «Харрикейнов» — почти не увеличился. Итальянский флот понес тяжелые потери в Та-

ранто и у мыса Матапан, но все равно был больше, чем британский флот в Гибралтаре и Александрии. У Муссолини было больше подводных лодок, чем у британцев кораблей всех типов. Но итальянские адмиралы, действовавшие фактически независимо от дуче, не хотели, чтобы их корабли принимали участие в решающем сражении за Средиземноморье. По сути дела, они не хотели терять корабли, даже если бы это помогло выиграть войну. В результате фюрер принял решение позволить люфтваффе подвергнуть усиленному обстрелу Мальту. В период с января 1941 по июль 1942 года люфтваффе и итальянские военно-воздушные силы сбросили на остров с населением 270 тысяч человек огромное количество бомб. Мальта пострадала от бомбежек больше, чем любое другое место в Европе. Мальтийцы научились жить в пещерах, выдолбленных в известняке. Черчилль убедил членов палаты общин принять план по оказанию помощи Мальте, подобный предложенной им схеме компенсации британцам, чьи дома были разрушены в результате бомбардировок. Палата общин даже не сочла нужным отреагировать на это предложение. Если бы во время блица жертвы среди гражданского населения были пропорциональны жертвам на Мальте, то погибло бы 800 тысяч британцев. Но мальтийцы не сдавались[254].

В далеком Западном Средиземноморье дела обстояли не лучше. 24 апреля Черчилль телеграфировал Рузвельту: «Испания и Португалия могут в любой момент лишиться способности противостоять растущему немецкому давлению, и мы лишимся якорной стоянки в Гибралтаре. Для этого немцам не придется перебрасывать многочисленную армию через Испанию, а достаточно завладеть батареями, для обслуживания которых хватит нескольких тысяч артиллеристов и технического персонала». Потеря Гибралтара незамедлительно скажется как на операциях Королевского флота в Средиземноморье, так и в Восточной Атлантике и будет иметь катастрофические последствия. Азорские острова, в 950 милях от Португалии, и острова Зеленого Мыса, в 350 милях от западного побережья Африки, были прекрасными районами сосредоточения подводных лодок. Острова имели такое же стратегическое значение в Атлантике, как Мальта в Средиземноморье. Если бы Германия получила контроль над островами Атлантического океана, то ее подводные лодки могли патрулировать в южной части Атлантического океана и, что вызывало наибольшую тревогу Черчилля, разместиться на маршруте конвоев у мыса Доброй Надежды. На протяжении многих месяцев немецкие подводные лодки тайно заходили в бухты островов для незначительного ремонта. Черчилль просил Рузвельта проводить разведывательные полеты палубной авиации для защиты британских конвоев в районе Азорских островов и островов Зеленого Мыса[255].

Время, как всегда, было не на стороне Черчилля. Он сказал Рузвельту, что британцы готовы захватить острова в Атлантическом океане, если Гитлер захватит Испанию или Португалию, но, чтобы раз-

вернуть войска, потребуется больше недели. Он попросил президента «направить в эти районы американскую эскадру с дружеским визитом». Гарриман, полностью согласный с Черчиллем в оценке нависшей угрозы, несколькими днями ранее отправил телеграмму Рузвельту: «Английские войска обессилены. Я полагаю, что в наших собственных интересах задействовать ваш военно-морской флот, пока не стало слишком поздно»[256].

Рузвельт отклонил просьбу о демонстрации военно-морской силы вблизи Азорских островов, отклонил просьбу о разведывательных полетах, отклонил все просьбы и предложения Черчилля. Отказ президента, отметил Колвилл, угнетающе подействовал на Черчилля. 3 мая Черчилль — «Я еще никогда не видел его таким мрачным» — продиктовал Колвиллу телеграмму, адресованную президенту, «обрисовав в мрачных красках, к чему приведет крах на Ближнем Востоке». Ирак падет, Турция и восточный египетский фланг — Палестина — окажутся в угрожающем положении. Ближневосточное командование потерпит неудачу. В этой телеграмме в свойственной ему манере он предсказывал будущее, и оно было мрачным. Черчилль коротко обрисовал Колвиллу, Исмею и Гарриману — как сделал это в телеграмме Рузвельту — картину мира, которым правит Гитлер, а Соединенные Штаты и Великобритания вынуждены согласиться на ужасный, фатальный мир[257].

Черчилль должен был испытывать сильное отчаяние, если, информируя президента о ситуации, добавил следующее: «Таким образом, если вы не можете занять более передовые позиции [в Атлантике] сейчас или в ближайшее время, огромная вероятность того, что чаша весов может склониться не в нашу пользу. Господин президент, я вижу единственную возможность справиться с растущим пессимизмом... если Соединенные Штаты немедленно присоединятся к нам как воюющая держава». Вот до чего дошло дело: британский премьер-министр просил Америку объявить войну[258].

Он сказал почти те же слова Рузвельту в прошлом году, когда силы Франции были на исходе: «Декларация, в которой было бы сказано, что Соединенные Штаты в случае необходимости вступят в войну, могла бы спасти Францию». Его новая просьба была связана с более серьезной проблемой, проблемой выживания. Рузвельт опять отказал. Он нуждался в поддержке, чтобы дать Черчиллю то, в чем нуждался британский премьер-министр, и в итоге Черчилль, как обычно, обнаружил, что отчаянно нуждается во времени и материальных ресурсах.

Лунной ночью 10 мая люфтваффе начали бомбежку Лондона и продолжали сбрасывать на него фугасные и зажигательные бомбы до рассвета 11 мая*.

* 550 бомбардировщиков сбросили на Лондон 708 тонн фугасных и 86 700 зажигательных бомб.

Англо-ирландский поэт Луис Макнис договорился, что проведет ночь в куполе собора Святого Павла. Он написал, что вскоре после появления налетчиков «большие желтовато-коричневые облака дыма окружили собор, полностью скрыли реку, и мы в куполе, «Классический остров» в более чем романтичном аду. Это, бесспорно, было самое удивительное зрелище, какое я когда-либо видел».

В ту ночь Черчилль был в Дитчли. Он смотрел фильм Marx Brothers («Братья Маркс») и наводил справки о повреждениях, причиненных Лондону, когда ему доложили, что звонит герцог Гамильтон, его давний друг, и хочет срочно поговорить с ним. Черчилль попросил Брэндена Брекена принять сообщение от герцога. Через несколько минут Брекен вернулся и сообщил премьер-министру: «Гесс прибыл в Шотландию». Черчилль решил, что это шутка. Но хлынувший вскоре поток сообщений подтвердил слова Гамильтона. Рудольф Гесс, заместитель фюрера, третий человек в Третьем рейхе, член гитлеровского тайного совета и кабинета министров, заместитель Гитлера по партии, друг Гитлера — возможно, его единственный настоящий друг на протяжении более двенадцати лет — спустился на парашюте в Шотландию. Благодаря везению или умению Гесс приземлился буквально рядом с поместьем герцога. Так началась эта невероятная история[259].

Никто не знал, что делать с этим известием. Памела Черчилль, которая была в те выходные в Дитчли, вспоминала, что секретари, которые были необходимы для связи Черчилля, «что бы там ни происходило», с внешним миром, не могли собрать никакой информации о приключении Гесса. Все, кто был в Дитчли, — Памела, секретари, Черчилль — «понятия не имели, что происходит» и могли только удивляться и строить предположения, уж «не самое ли это важное событие за всю войну», а может, «Германия разваливается». Этот эпизод с Гессом не оказал никакого влияния на ход истории, но момент, когда они впервые услышали о его появлении, «был очень волнующим»[260].

Непосредственная задача Гесса состояла в том, чтобы встретиться с герцогом Гамильтоном, с которым он познакомился в 1936 году на Олимпийских играх; Гесс предполагал, что Гамильтон является поклонником Гитлера. Бредовая миссия, предпринятая исключительно по собственной инициативе, состояла в том, чтобы привести войну к мирному завершению. Зная о том, какую ненависть Гитлер испытывает к русским (но не посвященный в планы вторжения), Гесс полагал (отчасти потому, что так сказал его астролог), что они с Гамильтоном могут установить мир с помощью многочисленной антивоенной фракции, которая, считал Гесс, существовала в Великобритании. В разговорах с врачами и членами кабинета Гесс подчеркивал, что Гитлер глубоко переживает, что приходится топить британские корабли и бомбить британские города. Фюрер, уверял Гесс, считает самым трудным от-

давать приказы, необходимые для ведения этой безжалостной войны с Великобританией. «Я решил, — сказал Гесс, — Черчилль назвал это «лейтмотивом», — что если Англия узнает об этом, то, возможно, она будет готова прийти к соглашению». Другими словами, как только Англия поймет, каким на самом деле добрым и внимательным человеком является Гитлер, она пойдет навстречу его пожеланиям[261].

В своих воспоминаниях Черчилль пишет, что не придал особого значения появлению Гесса, хотя был взволнован, как и все, когда пришли первые сообщения о прибытии Гесса. Очень скоро стало понятно, что Гесс — сумасшедший. То, что это психически больной человек, было настолько очевидно, что Черчилль считал несправедливым, что оставшуюся часть жизни он проведет в тюрьме. Гесс, который когда-то был близок к Гитлеру, написал Черчилль, «по-моему, искупил вину своим исключительно самоотверженным и отчаянным поступком, вдохновленным бредовыми благими побуждениями. Он явился к нам по доброй воле и, хотя его никто на это не уполномочивал, представлял собой нечто вроде посла. Это был психопатологический, а не уголовный случай, и именно так его и следует рассматривать»[262].

Необычность этого случая захватила воображение всего мира, как захватила Черчилля. Спустя несколько дней после появления Гесса в Шотландии Рузвельт, обедая с Самнером Велсом, Гарри Гопкинсом и Робертом Шервудом, спросил Велса, встречался ли он когда-нибудь с Гессом. Встречался, ответил Велс, и описал Гесса как человека фанатично преданного Гитлеру и несколько глуповатого. Они обсудили полет Гесса. Рузвельт немного помолчал, а затем задал вопрос, которым задавались все: «Интересно, что стоит за этой историей?» Несколько месяцев спустя этот же вопрос Бивербруку и Черчиллю задал Сталин (который не доверял британцам). Все это было так странно, и объяснение, что Гесс сумасшедший, казалось слишком надуманным. Черчилль, или Гитлер, или оба, должно быть, замышляли что-то недоброе[263].

Несчастный случай с Гессом предоставил Черчиллю возможность причинить вред за счет Гитлера. Гесс был заключен в лондонский Тауэр, Гитлер точно не знал, что говорил его протеже британцам, и Черчилль сказал Рузвельту: «Мы думаем, лучше всего дать прессе возможность высказаться и пусть немцы теряются в догадках». Гитлер не только терялся в догадках, но пребывал в невероятном волнении с того момента, когда к нему по поручению Гесса прибыли два его адъютанта, которые передали письмо с объяснением Гесса и сообщили, что Гесс уже отбыл. Адъютантов немедленно арестовали. Гитлер сказал своему архитектору, Альберту Шпееру, что боится, как бы Черчилль не использовал этот случай для того, чтобы убедить союзников Германии, что рейх проводит дипломатическое зондирование намерений Великобритании в отношении мирных переговоров. «Кто мне поверит, — сказал он Шпееру, — что Гесс полетел туда по собствен-

ной инициативе, что это не какие-то козни за спинами моих союзников?» Япония может изменить политический курс. Люди будут смеяться. Он несколько оживился, когда подумал, что Гесс мог упасть в Северное море и утонуть. После известия об успешном приземлении Гесса Гитлер придумал объяснение: он объявил, что его старый друг сошел с ума. Кроме того, он проконсультировался со своим астрологом, который прославился предсказаниями счастливых знамений, гадая на чайной заварке[264].

Черчилль знал, что Гитлер пользуется услугами астрологов, и однажды сам обратился к предсказателю. В какой-то момент он попросил удивленного предсказателя рассказать ему, что говорит Гитлеру его предсказатель. Спустя много лет он рассказал об этом своему другу, предупредив, что «это только между нами»[265].

Гесс, к несчастью, учитывая его судьбу, обладавший хорошим здоровьем, прожил еще сорок шесть лет, проведя все эти годы в тюрьме. В 1944 году его жена подала на развод, указав причину: «дезертирство и безумие»[266].

В тот год полет Гесса был одной из двух заокеанских историй — до 7 декабря, — которые произвели огромное впечатление на молодых американских парней. Второй была история об охоте на немецкий линкор «Бисмарк». Американский очеркист и спортивный журналист Роберт В. Кример истратил почти столько же чернил на описание этих историй, сколько на описание базовых ударов Джо Ди Маджо в своих воспоминаниях Baseball and Other Matters in 1941 о том незабываемом бейсбольном сезоне. «Гесс и «Бисмарк» в моем незрелом уме, и в умах других, не особо обременяющих себя мыслями американцев, — написал Кример, — уравновесили нацистские победы на Балканах и в Северной Африке».

11 мая было прекрасное воскресное утро — яркое солнце, безоблачное небо, а в Лондоне еще догорали пожары после ночного налета немецкой авиации. Почти три тысячи мертвых лондонцев лежали под завалами; это был самый сильный налет с начала блица. В Вестминстерском аббатстве отменили службы. Церковь Сент-Мэриле-Боу была разрушена, колокола разбились о землю. Сильно пострадал Вестминстерский зал Уильяма Руфуса. Коллвилл смотрел с Вестминстерского моста, как вдоль набережной пылают пожары. Биг-Бен принял удар, но часы продолжали идти и звенеть. Комната для дебатов в палате общин, в северной части Вестминстерского дворца, к глубокому огорчению Черчилля, в результате прямого попадания была полностью разрушена.

В письме Рэндольфу Черчилль оплакивал потерю палаты, где он работал на протяжении почти сорока лет. С сентября члены парламента бродили по темным залам, освещаемым фонарями-молниями; стекла в окнах, выходивших на Темзу, были давно выбиты, и оконные

проемы забили досками; гобелены сняли. Даже курительная комната закрывалась раньше, чтобы дежурные успевали вернуться домой до начала бомбардировки. Палата разрушена, сообщил Черчилль сыну, но парламент продолжает работать, «не утратив в шторм присутствия духа». Несколько дней назад он закончил выступление в старой палате словами: «Я испытываю уверенность, что нам не следует бояться бури. Пусть ревет и бушует. Мы справимся». Это были последние слова, которые он там произнес. Спустя десятилетие палата общин была восстановлена[267].

В тот воскресный вечер, записал Колвилл, на Флит-стрит пожелтевшие, тлеющие листы бумаги падали на землю, словно листья в ветреный осенний день. В это время Гесс был на пути в Тауэр. Лондонцы сидели в таких же темных, как тюремная камера Гесса, домах в ожидании ночного налета. Не вызывало сомнений, что Гитлер готовит Великобританию к финальной атаке. Лондонцы полагали, что худшее впереди[268].

Через несколько дней после появления Гесса Черчилля настигли более важные события. Он был отчасти прав, когда сказал Уэйвеллу, что, по его мнению, вторжение на Крит предоставит хорошую возможность уничтожить парашютистов. Сброшенные в тыл или прямо на позиции британцев, немецкие десантники поняли, что оказались в меньшинстве и отрезаны от поддержки. Если бы Королевский флот — под прикрытием нескольких самолетов маршала авиации Лонгмора — смог не подпускать к побережью немецкое подкрепление, парашютисты были бы обречены.

Мертворожденная надежда. Британцы оставили столько солдат и боевой техники в Греции, что на Крите обнаружилось, что не хватает солдат, зенитных орудий и необходимой радиосвязи между подразделениями. 30-тысячная союзная армия и 10-тысячная греческая армия, хотя и превосходили в численном отношении предполагаемую немецкую армию, находились в невыгодном положении, поскольку были вынуждены защищать все аэродромы и порты вдоль северного побережья, в то время как немцы могли сконцентрировать силы по своему усмотрению и использовать эффект внезапности. Кроме того, их положение усугубляли такие факторы, как сложный рельеф местности, большие расстояния и единственная дорога вдоль побережья. Одним словом, союзные войска, как обычно, оказались в проигрышном положении. В воздухе положение было еще хуже. Военно-воздушные силы Лонгмора на Крите состояли из десятка «Харрикейнов» и пары десятков устаревших самолетов. Командующий авиацией не осознал необходимость объединения авиационной поддержки с наземными операциями, то, что уже в течение двух лет блестяще осуществляли немцы. Поэтому несколько самолетов Лонгмора не согла-

совывали свои действия с пехотой Фрейберга, а Королевский флот не имел прикрытия с воздуха. Черчилль посоветовал перебросить десяток «Харрикейнов» с Мальты. Но это бы ничего не изменило. Немецкий воздушный флот на юге Греции, менее чем в 150 милях от Крита, включал 280 бомбардировщиков, 150 пикирующих бомбардировщиков, 180 истребителей, 500 транспортных самолетов и 80 планеров, которые доставляли 750 парашютистов[269].

Сражение началось 19 мая, когда пикирующие бомбардировщики подвергли тяжелейшей бомбардировке британские суда в бухте Суда; затем немецкие истребители уничтожили большую часть жалкого британского воздушного флота. Рано утром 20 мая немецкие парашютисты — почти 4 тысячи человек — приземлились на аэродроме Малеме и в районе бухты Суда. Сэр Джон Киган назвал это «первой большой парашютной операцией в истории». Аэродром Малеме обороняли три батальона новозеландцев, ветеранов кампаний в пустыне и в Греции. Новозеландский лейтенант записал, что почувствовал, когда увидел спускавшихся с неба парашютистов: «На фоне голубого утреннего критского неба, сквозь серо-зеленые оливковые ветви, они казались маленькими куклами, которых дергают за веревочки», и «эти красивые куклы означали повторение всего того ужаса, который мы недавно испытали в Греции». Австралийская бригада обороняла аэродром Ретимнон, в 70 милях к востоку, и всего несколько британских батальонов готовились оборонять аэродром в Гераклионе[270].

К концу дня 20 мая вторая волна, почти 4 тысячи парашютистов, приземлилась в районе Ретимнона и Гераклиона. Черчилль телеграфировал Рузвельту: «Сражение за Крит началось хорошо». Началось хорошо, но так продолжалось всего несколько часов. За ночь немцы, рассеянные по острову, сосредоточили силы. Новозеландский батальон по непонятным причинам отступил с ключевой позиции — холма рядом с аэродромом Малеме. 21 мая немцы захватили аэродром Малеме. Начиная с полудня на аэродром стали непрерывно прибывать транспортные самолеты «Юнкерсы» Ju-52, доставлявшие 5-ю горнострелковую дивизию — 5 тысяч человек; больше половины «Юнкерсов» Ju-52, отправленных на Крит, не вернулись домой. Британские зенитные орудия сбили всего несколько самолетов; остальные разбились при посадке на побережье, разрушенные аэродромы и вспаханные поля. К вечеру 21 мая на Крите не осталось британских самолетов. Пехота Фрейберга была рассеяна и не могла координировать действия. Ночью 21 мая Королевский флот отогнал немецкие транспортные средства — в основном это были реквизированные греческие рыбацкие лодки и небольшие каботажные судна — имевшие на борту 7 тысяч солдат. Но утром появились «Штуки». Флот понес большие потери, написал Колвилл, «в том числе [крейсеры] «Глостер» и «Фиджи». Более 700 из 800 членов команды «Глостер» пошли на дно вместе

с кораблем». В ответ на стенания Колвилла по поводу потерь флота Черчилль буркнул: «Как вы думаете, для чего мы строим корабли?» Известие о том, что Королевский флот отогнал немецкие транспортные средства, вызвало приятное оживление, но невозможность подойти с моря не явилась препятствием для немцев, поскольку солдат доставляли по воздуху. Спустя тридцать шесть часов Черчилль был вынужден сообщить президенту: «На Крите ожесточенное сражение». Слово «ожесточенное» не давало представления о сложившейся ситуации. Выстраивалась последняя линия обороны[271].

Немцы сражались так, словно Крит был тевтонским священным местом, бросаясь в бой, написал Колвилл, «с безрассудной храбростью». Они сражались так яростно, поскольку, потерпев неудачу, не смогли бы спастись. В случае поражения британцы всегда имели возможность эвакуироваться морским путем и, как известно, преуспели в этом. Немецкие парашютисты появились на острове, чтобы так или иначе остаться там. Их собратья в люфтваффе контролировали небо, и парашютисты захватили аэродромы. Британцы взорвали взлетно-посадочные полосы, но немцы удержали и восстановили летные поля. В течение следующих семи дней немцы доставляли на остров по воздуху ресурсы и подкрепление, а «Штуки» подвергали атакам британские и греческие войска, пытавшиеся геройствовать. Захватив аэродромы, немцы, на самом деле, завладели Критом. Но какой ценой обошлась эта победа парашютистам Штудента: погибли 5 из 9 тысяч парашютистов. Гитлер сказал Штуденту, что цена слишком высока, чтобы оправдать организацию операции такого значения. Тревогу вызвали и большие потери «Юнкерсов» Ju-52 — «рабочих лошадок» люфтваффе. Они были необходимы Гитлеру, чтобы доставлять продовольствие и вооружение, когда его армии проникнут далеко в глубь России[272].

28 мая британцы продолжали удерживать порт Сфакиа на южном побережье острова, но в конце концов его используют для той же цели, что Дюнкерк и Нарвик. В тот день армия Фрейберга начала пробираться через горы к Сфакии, преследуемая немецкими горными войсками. К концу сражения, спустя три дня, британская армия потеряла более 1700 убитыми и 2 тысячи ранеными. Почти 12 тысяч британских и греческих солдат стали пленными рейха. Спустя всего десять дней после того, как Черчилль сообщил Рузвельту об «ожесточенном» сражении, Крит был потерян, и британцы опять были вынуждены бежать морским путем с поля боя после жестокого поражения. Среди жертв люфтваффе был эсминец Маунтбеттена Kelly. Более половины команды погибло, когда эсминец пошел на дно, но Маунтбеттен был среди оставшихся в живых. За период с 21 мая по 2 июня потери Королевского флота, атакованного с воздуха, составили: 3 потопленных крейсера и 4 получивших повреждения, 6 потопленных эсминцев и 8 получивших повреждения, и более 2 тысяч убитых офи-

церов и матросов. Получили повреждения линкоры Warspite, Valiant и авианосец Formidable. За всю войну не было морского сражения, в котором бы Королевский флот понес такие огромные потери. Все британские суда немецкая авиация уничтожила в дневное время. Геринг достиг в небе над Критом того, чего не сумел достигнуть в небе над Британией: превосходства в воздухе. Он восстановил свою репутацию[273].

21 мая, на второй день сражения за Крит, еще одни зловещие новости достигли «номера 10». Линкор «Бисмарк», похоже, готовился к походу в Атлантику. Рейды в Атлантику таких линкоров, как «Бисмарк» и «Тирпиц», были столь же опасны, если не более опасны, для британского флота, как подводные лодки. Немецкие подводные лодки вызывали ужас и у членов команд, и у пассажиров, находившихся на борту британских судов; это были чудовища, скрывавшиеся в морских глубинах, о появлении которых извещало пламя, вырывавшееся из недр невезучего торгового судна. «Бисмарк» был самым настоящим чудовищем. Капитан танкера или грузового судна, заметив «Бисмарк», понимал, что его судно обречено. Эскорты конвоев (эсминцы и корветы) были созданы специально для охоты и уничтожения подводных лодок, но их орудия и глубинные бомбы были бесполезны против крупных боевых кораблей. «Бисмарк», не обнаруженный британскими разведывательными самолетами, которым не хватало радиуса действия для патрулирования над Центральной Атлантикой, мог догнать любой конвой и был невосприимчив к обстрелу эскорта. «Бисмарк», если бы захотел, мог пробиться через конвой; он мог протаранить 5000-тонное грузовое судно, словно это была гребная лодка.

Январский рейд линкоров «Шарнхорст» и «Гнейзенау» привел к потере одного конвоя — за один день было потоплено десять судов — более 115 тысяч тонн груза. В результате британцы прониклись огромным уважением к надводным кораблям кригсмарине и получили две проблемы вместо одной. Определить местонахождение линкоров было довольно трудно, но что делать, если они будут обнаружены? У Черчилля было два варианта решения проблемы, и оба неподходящие. Он мог преследовать немцев и подвергнуть опасности побережье или оставить немцев в покое и подвергнуть опасности конвои. Ему не хватало боевых кораблей, чтобы одновременно быть в двух местах. Англичане и прежде попадали в подобные ситуации; когда в 1804 году Наполеон принял решение «тревожить англичан бесчисленными ложными атаками». Направив часть французского флота в Британскую Вест-Индию, он надеялся, что флот метрополии кинется в погоню за недостижимым, тем самым позволит основной части его флота произвести высадку сил вторжения на британский остров. Возникал вопрос: Гитлер изучал морскую тактику Наполеона или только его Русскую кампанию? Кроме

того, Черчилль боялся, что сам факт появления немецких крупных боевых кораблей в экстерриториальных водах заставит Америку задуматься, стоит ли рисковать своими торговыми судами ради поставок в Великобританию, не говоря уже о риске, которому будет подвергаться ее устаревший Атлантический флот, вынужденный защищать эти суда. Позже он написал, что «одновременное появление на просторах Атлантического океана всех этих мощных быстроходных кораблей явилось бы чрезвычайно тяжелым испытанием для наших военно-морских сил». В январе «Шарнхорст» и «Гнейзенау» положили начало испытаниям. Предполагалось, что «Бисмарк» закончит начатое[274].

Вечером 21 мая «Бисмарк» и тяжелый крейсер «Принц Ойген» в сопровождении шести эсминцев вышли из фиорда возле норвежского города Берген под командованием адмирала Гюнтера Лютьенса, сурового, лишенного чувства юмора ветерана Первой мировой войны. Благодаря готовности атаковать превосходящие силы противника и умению выходить из боя победителем он заработал репутацию блестящего, храброго тактика. Командование операцией, первой для «Бисмарк», под кодовым названием «Рейнбург» («Рейнские учения») гроссадмирал Редер, ни секунды не раздумывая, поручил Гюнтеру Лютьенсу. Лютьенс, полный роковых предчувствий, сказал товарищам-офицерам, что операция «Рейнбург» станет его «смертельным плаванием». Адмирал обеспечил себе место в этой операции благодаря превосходному командованию тяжелыми крейсерами «Шарнхорст» и «Гнейзенау» во время январской операции. Согласно первоначальному плану эти крейсеры должны были принять участие в операции «Рейнбург» вместе с «Бисмарк», но после совместного «океанского вояжа» они проходили ремонт во французских портах. Таким образом, в операции «Рейнбург» принимали участие только «Бисмарк» и «Принц Ойген» (назван в честь принца Евгения Савойского, союзника герцога Мальборо в сражении при Бленхейме). Эти два корабля, стоявшие на якоре в Бергенском фиорде, стали привлекательной целью для Королевских ВВС. Если бы британские самолеты были в небе, Лютьенс получил бы отличную возможность еще до того, как снялся с якоря, увидеть, как сбылось его роковое предчувствие. Но облачность и туман позволили немцам беспрепятственно выйти в Северное море. Лютьенс так спешил оказаться в открытом море, пока не улучшилась погода, что «Бисмарк» дозаправки не сделал[275].

Британцы, ожидая поспешный уход, надеялись, что удастся проследить за немецкими кораблями. Если «Бисмарк» и «Принц Ойген», до того как их обнаружат, выйдут в Северное море, то Королевскому флоту останется только гадать, по какому из четырех путей они направятся в Атлантику. Два из четырех находились в зоне воздушного патрулирования Королевских ВВС к северу от Оркнейских островов; третий — между Фарерскими островами и Исландией, в зоне действия

британских самолетов-корректировщиков. Лютьенс остановил свой выбор на четвертом, самом длинном пути, через Датский пролив, заполненный плавучими льдами, между Гренландией и Исландией. Это был его январский путь следования, и он принял решение пройти по нему еще раз. Когда 22 мая облака над Бергеном разошлись, одинокий «Спитфайр» с грохотом пронесся всего в нескольких футах над водой. Летчик бросил быстрый взгляд вокруг, взял курс домой и передал радиограмму: «Бисмарк» ушел.

Черчилль пришел в волнение. В тот момент какие-то из одиннадцати конвоев находились в открытом море, а какие-то готовились покинуть британские порты. Один из них с 20-тысячным подкреплением следовал на Ближний Восток к Уэйвеллу в сопровождении двух крейсеров, с которыми бы легко расправился «Бисмарк». Если пересекутся пути «Бисмарк» и военного транспорта, война в Африке будет проиграна. Следовало обнаружить местоположение «Бисмарк» и утопить.

Рано утром 22 мая эсминцы сопровождения стали один за другим отставать от идущих намного быстрее «Бисмарк» и «Принц Ойген». Оставшись в одиночестве, Лютьенс до полудня шел на всех парах на север, затем повернул на северо-запад, готовясь двинуться по Датскому проливу, в это время года затянутому туманом и заполненному недавно оторвавшимися айсбергами. Незадолго до полуночи немецкие корабли вошли в пролив. Если бы Лютьенсу продолжала сопутствовать удача, то примерно через тридцать часов он вырвался в Атлантику. Это была самая опасная часть операции; в это время года ширина судоходной части пролива составляла в самом широком месте всего тридцать миль, и если британцам повезет, то их радар мог засечь немецкие корабли. Им повезло. Два крейсера, «Норфолк» и «Саффолк», заняли позиции в Датском проливе. Ни один из них не мог сравниться с «Бисмарк» или с «Принц Ойген». Их задача состояла в обнаружении немцев и следовании за ними по пятам до появления на поле битвы линейного крейсера «Худ» (назван в честь адмирала Сэмюэла Худа, участника Войны за независимость США и Французских революционных войн) и новейшего британского линкора «Принц Уэльский». Линкор, вооруженный десятью 14-дюймовыми орудиями, был построен для охоты и уничтожения практически любых плавсредств. Спущенный на воду в 1920 году крейсер «Худ», вооруженный восемью 15-дюймовыми орудиями, был гордостью Великобритании — его боялись даже немецкие матросы. Когда Черчилль узнал, что «Худ» вступит в бой с «Бисмарк», то, довольный, пошел спать[276].

По приказу адмирала сэра Джона Тови, командующего флотом метрополии, «Худ» и «Принц Уэльский» вышли из Скапа-Флоу 22 мая через несколько минут после полуночи и взяли курс на Датский пролив. Им предстояло охранять три подхода к Атлантическому океану. Если Лютьенс выберет один из них, то на его пути встанет «Худ».

В противном случае немцы и британцы, по всей видимости, встретились бы и вступили в схватку в южной части Датского пролива. Получив неутешительное сообщение от летчика «Спитфайра», Тови вышел из Скапа-Флоу на флагманском линкоре «Король Георг V» во главе флотилии, состоявшей из авианосца «Викториес», четырех крейсеров и семи эсминцев. Тови собирался взять под контроль выходы в Атлантику восточнее Исландии. Кто-то должен был столкнуться с немцами. Таков был план.

Если бы «Бисмарк» не попал в сеть, Черчиллю потребовалась помощь Рузвельта. Он телеграфировал президенту: «Вчера, 21 мая, «Бисмарк» и «Принц Ойген» находились в Бергене. Низкая облачность не позволила организовать воздушный налет. Сегодня выяснилось, что они вышли в море. Предполагаем, что противник собирается провести широкомасштабный рейд в Атлантике. Если мы их потеряем, то ваш военно-морской флот наверняка сможет обнаружить их и поделиться данными с нами... Если вы поделитесь с нами данными об их местонахождении, нам останется доделать начатое дело». Американцев смутила просьба стать глазами Великобритании в Атлантике, поскольку гроссадмирал Редер ясно дал понять, что намерен открывать огонь по любому американскому военному кораблю, который, по его мнению, «совершает военные действия», сообщая британцам о местонахождении немецких кораблей в экстерриториальных водах. Редер был прав. Международное право запрещает оказание помощи воюющим со стороны нейтральных государств. Но в начале апреля Рузвельт — еще один неуверенный шаг к военным действиям — объявил, что отныне американская «зона безопасности» будет простираться в Атлантике на восток до 26° западной долготы. Он также объявил, что если американские суда обнаружат немецкие военные корабли, то сообщат координаты местоположения на открытой частоте, понимая, что это может спровоцировать военные действия со стороны Германии, которые, вероятно, приведут (Черчилль надеялся) к объявлению Америкой войны Германии[277].

Черчилля устроило бы критическое положение на море, и фактически он вскоре попытался создать необходимый инцидент. Заявление Рузвельта означало расширение зоны патрулирования американских кораблей, но эта зона не охватывала самые горячие районы боевых действий, таким образом, у американских кораблей уменьшалась возможность встретиться с немцами. Рузвельт заключил договор с датским правительством в изгнании о строительстве авиабаз в Гренландии. Если бы базы были готовы к эксплуатации в конце мая, это, возможно, облегчило бы Черчиллю поиск «Бисмарк»; но базы не были готовы. В любом случае Датский пролив не входил в зону патрулирования флота Соединенных Штатов. Британские корабли сами должны были найти «Бисмарк».

Это сделал «Саффолк». Вечером 23 мая он заметил два немецких корабля и передал радиограмму, прежде чем скрылся в тумане. «Норфолк», тоже скрывшись в тумане, получил сообщение «Саффолк». Адмирал Уильям Уйэк-Уокер руководил действиями обоих кораблей с «Норфолк» и, стремясь установить визуальный контакт, приказал «Норфолк» подойти к краю полосы тумана, оказавшись под оптическими прицелами «Бисмарк». «Бисмарк» в ярости открыл огонь, но Уокер успел спрятаться в тумане. Утопить «Бисмарк» выпало крейсеру «Худ».

Вице-адмирал Ланселот Холланд, заместитель командующего флотом метрополии, находился на борту «Худ», который получал сообщения с «Саффолк» и «Норфолк»; крейсер был на расстоянии приблизительно 300 миль и шел на такой большой скорости, что эсминцы сопровождения в конце концов отстали от него. Приблизительно в 20:00 командир «Худ», Ральф Керр, сообщил команде, что в проливе замечены немцы. Был отдан приказ подготовить боевое снаряжение — спасательные жилеты, фонари и каски — и переодеться в чистое белье. Подняли боевые флаги, что свидетельствовало о том, что крейсер идет в бой. Вскоре после полуночи — это было уже 24 мая — члены команд «Худ» и «Принц Уэльский» заняли свои боевые посты. «Бисмарк» был примерно в 180 милях к северу[278].

Черчилль, обедая в Чекерсе, потребовал, чтобы ему немедленно докладывали все новости. На позднем обеде, как обычно проходившем в «чисто мужской компании», написал Колвилл, присутствовали брат Черчилля, Джек, Колвилл, Гарриман и Исмей. Хотя Черчилль и его гости находились под впечатлением ужасных новостей с Крита, разговор, по воспоминаниям Исмея, «шел исключительно о надвигающемся морском сражении». Они просидели почти до трех утра, даже Черчилль не засиживался так поздно, в надежде получить хоть какие-то сообщения из адмиралтейства. Но их не было. Черчилль вспоминал, что «делать было нечего, и я пошел спать... я так устал, что спал крепко. Я был полностью уверен в первом лорде адмиралтейства адмирале Паунде, и мне нравилось, как он действует. Я проснулся в Чекерсе около 9 утра с тем странным волнением, которое испытываешь в начале дня, когда ожидаются важные известия, хорошие или плохие»[279].

Пока Черчилль спал, в Атлантическом океане начался последний решающий поединок линкоров. Все закончилось меньше чем за восемь минут. За несколько минут до 6:00 «Худ» и «Принц Уэльский», изменив курс, оказались восточнее и южнее «Бисмарк» и «Принц Ойген», чтобы лучи восходящего солнца осветили приближающиеся немецкие корабли. Первым шел «Принц Ойген», который британцы ошибочно приняли за «Бисмарк», шедший вторым и казавшийся меньше. «Принц Уэльский», основная часть команды была неопытной, и «Худ» открыли огонь по «Принц Ойген», но снаряды не достигали цели. Между тем «Бисмарк» спокойно нацеливался на «Худ». Один из 8-дюймовых сна-

рядов «Принц Ойген» попал в среднюю часть «Худ» и вызвал сильный пожар. Капитан Керр, поняв, что ошибся с выбором цели, приказал начать разворачиваться, чтобы дать возможность вступить в дело кормовым башням главного калибра. Но было слишком поздно.

«Бисмарк» открыл огонь по «Худ», но первые снаряды не долетели до крейсера. «Худ» еще не завершил разворот, когда был накрыт вторым залпом с «Бисмарк». Офицер на «Принц Ойген» увидел падающие в воду снаряды и решил, что они не попали в цель. Но через пару секунд высоко в небо ударил гигантский фонтан огня, а через несколько секунд раздался оглушительный взрыв. За доли секунд «Худ» окутали клубы дыма, и большие части корабля взлетели в небо. Через несколько минут дым рассеялся. «Худ» ушел на дно. Из 1412 членов команды спаслись только трое. Они нашли друг друга в воде среди обломков крейсера, мазутных пятен и десятков пустых спасательных плотов. «Худ» забрал с собой на дно адмирала Холланда, капитана Керра и остальных членов команды. Проснувшись утром в Чекерсе, Черчилль узнал новости, хуже которых было трудно вообразить: «Худ» затонул, «Бисмарк» на свободе. Черчилль зашел в спальню Гарримана. Перед открывшим глаза Гарриманом стояло привидение, одетое в желтый свитер поверх короткой ночной рубашки, выставив на обозрение голые ноги. «Чертово сражение продолжается, — пробормотал Черчилль. — «Худ» затонул, чертовская неудача»[280].

В то утро в Чекерсе воцарился мрак, но известие о гибели «Худ» не вызвало слез у Черчилля. У него могли вызвать слезы известия о жертвах среди животных из лондонского зоопарка и рассказы о героических делах давно минувших дней. Слезы подступали к.его глазам при виде мирных жителей, пострадавших от бомбежек; это были ни в чем не повинные люди. Известия о гибели солдат или моряков во время сражений могли повергнуть его в гнев, иногда подвигнуть к принятию поспешных решений, но никогда не вызывали слезы. Узнав о гибели крейсера «Худ», он отправился на поиски Клементины, Сары и Вика Оливера, которых нашел в гостиной. Вик играл на рояле сонату Бетховена, которую Черчилль принял за похоронный марш. «Никаких похоронных маршей в моем доме», — буркнул Черчилль. Все присутствующие, кроме Черчилля, рассмеялись. «Это не похоронный марш, — сказал Оливер. — Это Appassionata». Черчилль, сердито глядя на него, ответил: «Можете говорить что заблагорассудится, но я знаю, что это похоронный марш». Вик совершил ошибку, взяв еще несколько аккордов. «Прекрати! Прекрати! — крикнул Черчилль. — Я уже сказал, что не желаю слушать похоронный марш». Черчилль успокоился, только когда Сара подбежала к Вику и попросила сыграть другую пьесу[281].

В то утро, но чуть позже, Черчилль узнал, что «Принц Уэльский» принял на себя несколько ударов. Один из снарядов пробил боевую

рубку и вышел, не разорвавшись, но погибли все, кто там находился. Командир корабля капитан Лич отдал приказ об отступлении, но, прежде чем уйти, «Принц Уэльский» дал четыре залпа. Черчилль, кипя от негодования, сказал Колвиллу, что это «наихудшее из того, что случилось с 1914 года, когда Траубридж упустил «Гёбен». Черчилль ругал адмиралтейство, первого лорда адмиралтейства за действия в Атлантике, а затем переключился на Каннингема, ругая его за то, что он не стал рисковать своими кораблями, чтобы заблокировать вторжение на Крит. Черчилль требовал рисковать, а не проявлять осмотрительность. Однако Каннингем рискнул своими кораблями и разогнал флот вторжения. Он высадил на Крит тысячи британских солдат, и с 24 мая его корабли, подвергавшиеся непрерывным атакам, готовились забрать их с острова. Он понес чудовищные потери. Каннингем обеспечил себе место в истории Королевского флота. В своих воспоминаниях Черчилль наконец отдал ему должное и включил эпизод, как нельзя лучше характеризующий личность адмирала. Эвакуация с Крита протекала тяжело, это была опасная работа для моряков, которых постоянно атаковали самолеты люфтваффе. Один из штабных флотских офицеров обратил внимание адмирала Каннингема на то, что флот уже и без того понес большие потери, и выразил сомнение в том, нужно ли подвергать британские корабли еще большему риску. Каннингем ответил: «Флоту нужно три года, чтобы построить корабль, но триста лет, чтобы построить традицию; мы не должны подвести армию»[282].

24 мая отмечался День империи*.

В этот день миллионы школьников по всей Империи освобождались от занятий; это был день рождения королевы Виктории, и школьники прославляли королеву, отдавали честь национальному флагу Соединенного Королевства и пели патриотические песни. Поколения детей слушали вдохновенные речи и рассказы о героических делах прошлого, о победах Роберта Клайва в Индии, о Джеймсе Вольфе и победе в битве при Квебеке, о Чарльзе Джордже Гордоне, известном под именем Китайского Гордона или Гордона Хартумского, о Мальборо и Нельсоне. В 1941 году в Великобритании не праздновался День империи. На следующей неделе Черчиллю предстояло сообщить новости о «Худ» палате общин, но в тот вечер в Чекерсе он позволил себе развлечься. Недавно Старик настоял, чтобы в доме оборудовали кинозал. В тот вечер его настроение несколько улучшилось благодаря Марлен Дитрих, исполнявшей главную роль в фильме Seven Sinners («Семь грешников»).

---

* В следующем десятилетии его переименовали в День Содружества, и сначала его отмечали 10 июня, в день рождения королевы Елизаветы, а затем во второй понедельник марта. К тому времени, когда Черчилль отмечал свой девяностый день рождения, первоначальное значение этого дня быстро исчезало из коллективной памяти. (*Примеч. авт.*)

Тем не менее он продолжал испытывать гнев по отношению к Каннингему и адмиралам, преследовавшим «Бисмарк». «Спасение Крита обойдется ценой потери половины Средиземноморского флота», — раздраженно сказал он Колвиллу. На самом деле, с учетом растущих потерь Каннингема на Крите, с начала года Средиземноморский флот уменьшился почти вдвое. Черчилль был не прав, приписывая неуверенность — другими словами, трусость — Каннингему, и был не прав в отношении адмирала Уэйк-Уокера, находившегося на борту «Норфолк», и командира «Принц Уэльский» Лича. Лич был абсолютно прав, отдав приказ об отступлении «Принц Уэльский». Уэйк-Уокер и Лич отступили, но не из-за отсутствия боевого духа, а чтобы выжить и вступить в следующий бой. Это было правильное решение[283].

У Черчилля на этот счет было иное мнение. Мертвенно-бледный, он хотел предать военному суду этих командиров, но адмиралы Паунд и Тови убедили его, что офицеры действовали правильно. Спустя годы его гнев поутих, и он написал в воспоминаниях, что решение Уэйк-Уокера было, «несомненно, правильным».

По крайней мере, три 14-дюймовых снаряда, выпущенные «Принц Уэльский», попали в «Бисмарк», вызвав утечку топлива и отказ носового радара. В адмиралтействе еще не знали об этом. Теперь Лютьенс понял, что его решение обойтись без дозаправки в Бергене было фатальным. У «Бисмарк», получившего повреждения, не хватало топлива, чтобы вернуться на базу, и ему пришлось отправиться в порт в оккупированной Франции. «Принц Ойген», не получивший повреждений, направился в Брест. Операция «Рейнские учения» закончилась. Ночью Черчиллю доложили, что утром Королевский флот даст сражение, но рано утром 25 мая «Бисмарк» исчез с радара «Саффолк». По воспоминаниям Колвилла, крушение черчиллевских надежд привело к тому, что 25 мая стало одним из самых мрачных дней. В следующие два дня, за 1200 морских миль, происходило поистине историческое преследование в экстерриториальных водах. Черчилль с удовольствием сам бы поучаствовал в погоне и, особенно, уничтожении вражеского корабля, но ему пришлось довольствоваться наблюдением из военной комнаты адмиралтейства, сильно мешая работе. «Бывший военный моряк» никогда не слышал о корабельной артиллерии, участвовавшей в сражении. В адмиралтействе он занимался в основном тем, что втыкал булавки в настенные карты. В тот день он всем надоел до смерти[284].

Утром в понедельник, 26 мая, летающая лодка «Каталина», пилотируемая американцем, наконец обнаружила пропавший более тридцати часов назад «Бисмарк». «Король Георг V» под командованием Тови бросился в погоню за «Бисмарк». К охоте присоединился линкор «Родней». Черчилль, засевший в адмиралтействе, наблюдал за разворачивающейся сценой погони; адмиралы требовали информацию у подчиненных, и Черчилль раздражал абсолютно всех. Он настаивал,

чтобы Паунд приказал Тови продолжать преследование, даже если придется отбуксировать «Король Георг V» из-за отсутствия топлива. Паунд не нуждался в советах; он был старым опытным моряком, считавшим, что место капитана на мостике[285].

Позднее в этот же день торпедоносцы-бипланы «Суордфиш» и «Арк Ройял» атаковали «Бисмарк», вызвав повреждение рулевого механизма и заклинив рули. Лютьенс отправил радиограмму: «Корабль неуправляем. Будем драться до последнего снаряда. Да здравствует фюрер!» Рано утром 27 мая Тови приказал кораблям, участвовавшим в погоне, подойти ближе. «Бисмарк», потерявший управление, был обречен, но еще мог стрелять; последние залпы он выпустил по «Родней» и «Король Георг V». Сотни британских снарядов обрушились на раненый линкор, орудия которого уже молчали. Британские наводчики видели пламя, бушевавшее в трюмах. Корабль раскачивался под ударами, но не тонул. Команда пыталась затопить судно, открыв кингстоны, но оно оставалось на плаву. Сражение, если так можно было назвать происходившее, длилось больше шести часов. К 10:30 британский крейсер «Дорсетшир» выпустил уже 250 снарядов с расстояния 3 миль и, приблизившись, выпустил две торпеды, поразившие «Бисмарк». Лютьенс, сбылось его предчувствие, погиб вместе с 2100 из 2200 находившихся на борту. Потопление «Бисмарк», как ни странно, укрепило уверенность в том, что линкоры правят морями. Для того чтобы потопить «Бисмарк», потребовалось оперативное соединение из линкоров, эсминцев, крейсеров, подводных лодок, самолетов, бомб, снарядов и огромного количества торпед, но, даже будучи поврежденным, он продолжал огрызаться[286].

Британские эсминцы недолго занимались поиском оставшихся в живых и, опасаясь появления подводных лодок, вскоре ушли, оставив в воде сотни немцев. Во всяком случае, так было официально объявлено. С Крита уже пришло известие, что люфтваффе обстреляли беззащитных британских моряков с затонувших кораблей; Дики Маунтбеттен вскоре подтвердил эти слухи. Обе стороны, похоже, отказались от соблюдения джентльменских правил ведения войны. В конце дня испанский крейсер, прибывший к месту гибели «Бисмарк», увидел лишь сотни трупов, покачивающихся на волнах[287].

В тот день, выступая в парламенте, Черчилль ничем не мог порадовать собравшихся. Крит был на грани, Каир и Суэцкий канал — поставлены под удар. Правительство Виши в Сирии приветствовало появление немецких советников. Роммеля, казалось, было не остановить. Порты и Лондон с марта подвергались жестоким бомбардировкам. Лесли Хор-Белиша, либерал, бывший член правительства Чемберлена, который считал, что способен лучше Черчилля руководить войной, высказал нелестные замечания в прессе относительно «темпов наших военных усилий». Старый марксист Гарольд Ласки положительно оце-

нил деятельность Черчилля как «военного лидера». Но в то же время Ласки — с его густыми бровями, шикарными усами, длинным носом и очками в роговой оправе — привел доказательства слабости Черчилля как премьер-министра, указав на узкие места производства и отсутствие соответствующих планов эвакуации в случае вторжения. Daily Mail прямо спросила: «Когда мы узнаем, что наконец покончено с искусно выполненными отступлениями? Что-то здесь не так. Великобритании нужны новые идеи. Она, безусловно, нуждается в радикальной перестановке на домашнем фронте». Черчиллю была необходима победа, и потопление «Бисмарк» предоставило ему эту победу, или он так думал[288].

В полдень 27 мая, когда Черчилль выступал в палате общин, Брекен передал ему записку. Черчилль, пробежав ее глазами, сказал: «Я только что получил известие, что «Бисмарк» потоплен». Он сделал паузу, чтобы понять, какое впечатление эта новость произвела на членов палаты. «Они казались довольными», — позже написал он[289].

Это было не совсем так. Немцы потеряли линкор; Черчилль потерял Крит. Полным ходом шла очередная эвакуация — скорее бегство, чем отступление. Британская пресса не стала, как в случае с Грецией, пытаться найти этому оправдание. Оппозиционные члены парламента на протяжении мая не стеснялись высказывать мнение, что Черчилль и его коалиционное правительство не в состоянии выиграть войну. Поражение за поражением свидетельствовали об ошибках Черчилля как военного стратега. Он по-прежнему считался блестящим оратором, поднимавшим боевой дух англичан, но не зарекомендовал себя как опытный воин. Он «переживает спад популярности», написал в дневнике Генри Ченнон, «и многие его враги, долгое время молчавшие, опять заговорили»[290].

Основным критиком был Лесли Хор-Белиша, который вскоре после того, как Черчилль объявил о потоплении «Бисмарк», перевел обсуждение на другую тему, касающуюся Крита, заявив, что фиаско на Крите в значительной степени произошло из-за отсутствия зенитных орудий на острове. Он высказал справедливое замечание. Подготовка Крита к обороне велась из рук вон плохо. Черчилль, предупрежденный о том, что Хор-Белиша собирается поднять вопрос о зенитных орудиях, был готов отразить удар. В этой дискуссии он мог применить одну из своих излюбленных тактик — «заманить и подменить». Не зря лучший друг Черчилля, Фредерик Эдвин Смит (покойный лорд Биркенхед), как-то сказал, что Черчилль потратил лучшие годы своей жизни на составление экспромтов. В ответ на критику Черчилль заявил, что Хор-Белиша, отвечавший почти три года при Чемберлене за вооруженные силы, привел их в «плачевное» состояние. Хор-Белиша возразил, что на самом деле он советовал Чемберлену провести модернизацию армии. Черчилль бесцеремонно прервал Хор-Белишу: «Я не возлагаю всю вину на своего достопочтенного

Друга, но не думаю, что он прав, когда... выдвигает себя в качестве арбитра и судьи и с таким презрением говорит об усилиях тех, кто получил его тяжелое наследство». Услышав ропот в рядах членов парламента, Черчилль повысил голос: «Никаких встречных обвинений»[291].

Черчилль продолжил: «Достопочтенный джентльмен сказал что-то об отсутствии взаимных обвинений, но его чрезвычайно яростные нападки и враждебные высказывания причинили большой вред». Он изложил суть вопроса, как он его понимал. «Возникает вопрос, что произойдет, если позволить врагу наступать и занимать, без потерь со своей стороны, самые важные стратегические объекты? Предположим, мы не стали входить в Грецию и не пытались защитить Крит. Где бы сейчас были немцы? Могли бы они... уже захватить Сирию и Ирак и готовиться к наступлению в Персию?.. жизненно важно упрямо идти против вражеской воли». Некоторые члены парламента придерживаются мнения, что вступать в борьбу можно только будучи уверенными в победе, что «противоречит всей военной истории» и «демонстрирует абсурдность подобной точки зрения». Черчилль мастерски перевел стрелки с себя на Хор-Белишу, который не имел никакого отношения к поражению на Крите. При этом Черчилль обошел жизненно важный вопрос, почему британские заводы работают не в полную силу. Он не нашел время для объяснения, почему такой слабой была противовоздушная оборона на Крите, хотя ответ был очевиден — имелось всего несколько зенитных батарей[292].

Хотя он был прав, когда сказал Хор-Белише, что в любом случае надо вступать в бой, уверен или нет в победе, но уже больше года, навязывая свою наступательную доктрину, он добивался только поражений. В августе прошлого года Черчилль сказал Колвиллу, что за три месяца его пребывания на должности премьер-министра «все пошло не так и он объявляет исключительно о неудачах». В течение следующих десяти месяцев неудачи только множились. Ничто не срабатывало против немцев, как и в отношении американцев. Усилия, направленные на то, чтобы заставить Америку вступить в войну, пока не увенчались успехом. У Черчилля участились перепады настроения. Его сильно тревожила судьба оставшихся на Крите 1200 королевских морских пехотинцев. Это позор, сказал он Колвиллу, ответственность за который несет все ближневосточное командование. Он начал подозревать, что его генералам, и даже членам кабинета, не хватает боевого духа. Черчилль считал, что они все отвечают за неудачи[293].

Черчилль сильно устал. Спустя три дня после потопления «Бисмарк» Клементина уговорила его отдохнуть несколько дней в Чартвелле. Дом был закрыт, прислугу уволили. Это был отдых в спартанских условиях. В первый вечер после обеда Черчилль встал из-за стола, сделал пару шагов и лег на пол рядом со столом. Пока Клементина и Колвилл играли в триктрак, он дремал, не обращая внимания на стук костей о доску.

Поездка задумывалась как необходимая передышка для Клементины и для Черчилля. Но погода была дождливой, холодной и ветреной, и Черчилль, по словам Колвилла, проявлял беспокойство, был погружен в раздумья и выглядел встревоженным. На следующий день он уехал в Лондон. Он был постоянно недоволен сотрудниками, и даже Клементина однажды утром вызвала у него приступ раздражения. Во время завтрака он помрачнел, написал Колвилл, «когда увидел, что К. взяла немного его любимого меда из Квинсленда, чтобы подсластить ревень». Черчилль, который всегда разговаривал со своим рыжим котом, с золотыми рыбками и утками, теперь разговаривал сам с собой. Его здоровье было столь же переменчиво, как настроение. В начале марта он простудился, выздоровел и снова простудился, простуда перешла в бронхит, а нюхательный табак* только усугубил положение[294].

Он не проявлял великодушия по отношению к коллегам, особенно к Идену, который после нескольких месяцев, проведенных по приказу Черчилля на Балканах, подвергся критике со стороны прессы и парламента. Черчилль и не думал защищать Идена. Объектом его нападок был Уэйвелл, Королевский флот и «взвинченный и склочный» де Голль. Раздражение вызывала привычка Рузвельта следовать за общественным мнением, а не формировать его. Отчаянно нуждаясь в том, чтобы Америка вступила в войну, и расстроенный ее инертностью, Черчилль сказал Рузвельту: «Надеюсь, вы простите меня, если я скажу, что испытываю тревогу... Но что бы ни случилось, вы можете быть уверены, что мы будем сражаться, и я уверен, что мы сумеем, по крайней мере, защитить себя. Но что в этом хорошего?»[295]

Он вмешивался в вопросы, которые было бы лучше оставить другим. «Мы с Джоном Пеком пришли к общему мнению, что премьер-министр не помогает правительственной машине работать без сбоев, — написал в дневнике Колвилл. — Он поощряет инициативу, но часто вмешивается, хотя было бы лучше, если бы он не делал этого». Но разве мог Черчилль дать передышку своим подчиненным, когда Гитлер не давал ее Великобритании? Бомбардировки с апреля до начала мая были такими же жестокими, как осенью прошлого года. Связано ли возобновление бомбардировок с подготовкой к вторжению? Учитывая шаткое положение в Средиземноморье, то, что Гитлер и Сталин пока оставались союзниками, а на Ла-Манше установилась хорошая весенняя погода, британцам оставалось только ждать ответ[296].

Словно для того, чтобы подтвердить их худшие страхи, в оставшиеся майские недели Лондон не подвергался бомбардировке. В мире

* Осенью предыдущего года шестьдесят членов Другого клуба сдали по фунту стерлингов и купили Уинстону золотую табакерку, которая, как известно, принадлежала адмиралу Нельсону, одному из черчиллевских героев. Вдыхая запах из золотой табакерки, романтик испытывал почти духовные переживания. И Уинстон часто нюхал табак. (*Примеч. авт.*)

опять установилось напряженное затишье — так Черчилль назвал ситуацию, возникшую перед сентябрем 1939 года. Небо было чистым, не считая случайных немецких самолетов-разведчиков, гудевших где-то в вышине. Это была тревожная тишина. Бивербрук сказал газетному магнату лорду Камроузу, что «немцы начнут полномасштабное наступление против нас... в ближайшие дни». Он подчеркнул: «В ближайшие дни» — и добавил, что, по его мнению, вторжение неминуемо и, хотя некоторые думают иначе, «я знаю, что прав»[297].

Люфтваффе не появились в Лондоне ни в конце мая, ни в начале июня и в течение почти трех лет не совершали массированных налетов. Время от времени случались ночные налеты в ответ на черчиллевские бомбардировки немецких городов, но люфтваффе двигались на восток. Англичане, каждую ночь ожидавшие налетчиков, не знали, что блиц закончился в ту ужасную ночь с 10 на 11 мая.

В течение многих недель Черчилль обдумывал, какую выгоду можно извлечь из серьезного германо-американского инцидента в экстерриториальных водах, и наконец 28 мая он заставил адмиралтейство способствовать созданию такой ситуации. «Бисмарк» потопили, но «Принц Ойген» остался на свободе, и Черчилль в «секретной записке» первому лорду адмиралтейства изложил свой план. Поиск «Принц Ойген» «является вопросом первостепенной важности. Соединенные Штаты непременно должны принять в нем участие. Было бы очень хорошо, если бы его [«Принц Ойген»] обнаружил американский корабль, поскольку немецкий корабль, возможно, откроет огонь по американскому кораблю, тем самым создав инцидент, за который правительство Соединенных Штатов будет благодарно»[298].

Рузвельт, который не испытал бы благодарности за подобный инцидент, накануне сделал важный шаг в направлении войны. Он «объявил о введении на всей территории страны чрезвычайного положения и потребовал всемерного укрепления обороны с использованием всех возможностей». Он приказал расширить зону патрулирования в Атлантике в восточном направлении настолько, насколько это требуется для обеспечения безопасной доставки необходимых грузов в Великобританию. Расширяя зону патрулирования в восточном направлении, Рузвельт, казалось, приглашал вступить в бой. Более 85 миллионов американцев слушали выступление своего президента, на тот момент самая многочисленная аудитория радиослушателей в американской истории. Выступление президента прервало игру «Бруклин Доджерс» на бейсбольном стадионе Эббетс-Филд*; это был единственный случай, когда

* Эббетс-Филд — бейсбольный стадион, располагавшийся в Бруклине (Нью-Йорк), был построен в 1913 году на деньги Чарльза Эббетса, владельца клуба Главной лиги бейсбола «Бруклин Доджерс». В 1960 году стадион был сне-

игра Главной лиги бейсбола была прервана в связи с выступлением президента в прямом эфире.

«Дамы и господа, — прозвучал над стадионом голос диктора, — президент Соединенных Штатов». Происходило нечто значительное. Рузвельт был достаточно здравомыслящим человеком, чтобы понимать, насколько весомее прозвучат его слова благодаря тому, что из-за его выступления был прерван матч. «Всем нам совершенно ясно, что, если наступление гитлеризма не остановить сейчас, Западное полушарие скоро окажется в пределах досягаемости для нацистских орудий разрушения». Он не предлагал Америке мериться силой — как это делала Англия, — но ясно дал понять, что Гитлера необходимо остановить. Он подвинул Америку на шаг ближе к войне[299].

Рузвельт, зная, какое впечатление производят на американцев кинохроники горящего Лондона, пытался внушить соотечественникам мысль о необходимости срочного принятия мер, утверждая, что немецкие бомбардировщики обладают достаточной дальностью полета для бомбардировки Восточного побережья Америки. Рузвельт, конечно, преувеличил возможности немецких самолетов: бомбардировщики, кроме «Фокке-Вульф Fw-200 Кондор» (использовался в качестве самолета дальней морской разведки и дальнего бомбардировщика), обладали довольно ограниченной дальностью полета. Рузвельт знал, что никакие «орудия разрушения» в ближайшее время не будут доставлены воздушным путем. Представив страшный, но неосуществимый воздушный сценарий, Рузвельт перешел к вопросу об Атлантике. Целью держав оси является установление мирового господства, сказал Рузвельт, но им «никогда не достичь своей цели без контроля над морями... а чтобы ее выполнить, им необходимо победить Великобританию. Тогда они могли бы диктовать свои условия Западному полушарию. Никакие фальшивые аргументы, никакая игра на чувствах, никакие лживые заверения вроде тех, которые Гитлер давал в Мюнхене, не заставят американский народ поверить, что вождь нацистов и его партнеры по оси ограничатся победой над Британией; мы знаем, что после этого они обрушатся на наше полушарие». Его слова дышали силой. «Под угрозой оказалось бы даже наше право на вероисповедание. Нацисты не признают никакого бога, кроме Гитлера; истинного Бога они отрицают так же неистово, как коммунисты». Рузвельт был готов начать стрельбу, защищая международное право. Угроза нападения внутри расширенной патрульной зоны отныне рассматривалась как нападение на Америку[300].

Черчилль хорошо понимал, что скрывается за словами президента. Проблема Рузвельта состояла не в том, чтобы спровоцировать инци-

---

сен, а на его месте построен жилой комплекс, ныне носящий имя звезды бейсбола Джеки Робинсона, первого чернокожего игрока Главной лиги бейсбола, чей дебют состоялся на Эббетс-Филд 15 апреля 1947 года.

дент, а в том, чтобы избежать его. В любом случае «Принц Ойген» без приключений вернулся в Брест; ему не досаждали британцы, и его не обнаружили американцы. Черчиллю предстояло дожидаться другого подходящего случая, чтобы заставить Америку вступить в войну.

Когда в Египте перегруппировали войска, эвакуированные с Крита, Уэйвеллу стало ясно, что ближневосточные силы — флот, армия и авиация — настолько обескровлены, что не будет предприниматься никаких наступательных стратегических операций. Пришло время окопаться и ждать немцев из Сирии в Тобрук, где уже окопались австралийцы — окопались и находились в осаде[301].

Черчилль думал иначе и сказал Уэйвеллу, что «все должно быть направлено на уничтожение сил в Западной пустыне». Наступательную операцию под кодовым названием «Боевой топор» (Battleaxe) планировалось начать в середине июня. Однако к 1 июня из оставшихся от 60 тысяч солдат, которых в марте Уэйвелл отправил в Грецию, не удалось полностью укомплектовать ни одного подразделения, больше батальона. Потери составили две полные дивизии. Более 4 тысяч человек были убиты, 8 тысяч ранены и 21 тысяча попали в плен в Греции и на Крите, включая морских пехотинцев, оставленных на побережье.

Позже Черчилль написал, что Северная Африка и Балканы были просто двумя театрами военных действий, являясь частью более крупного театра военных действий — Средиземноморского, — который, в свою очередь, был частью Европейского театра военных действий, с Атлантическим театром с одной стороны и Российским, после июня 1941 года, с другой. Выступая в палате общин, Черчилль подчеркнул, что операции, предпринятые из лучших побуждений на ограниченных театрах военных действий (Норвегия, Греция, Крит, Северная Африка), которые закончились поражением, вовсе не означают поражения в войне. Хотя годом раньше он сказал британцам, что поражения и эвакуации не ведут к победе. Начиная с Нарвика Великобритания не знала ничего, кроме поражений и эвакуаций[302].

Июнь начался с одной небольшой победы, но опять за счет сокращения армии Уэйвелла. На протяжении недель на Уайтхолл поступали донесения, что правительство Виши позволяет немцам проходить в Ирак через Сирию. Когда в мае вооруженные силы правительства Виши выступили против присутствия войск «Свободной Франции» и британских войск в Палестине и Трансиордании, Черчилль предложил Уэйвеллу атаковать военные корабли Виши, пришвартованные в сирийских портах, «убивая не колеблясь всех, кто противостоит нам». В начале июня, стремясь не допустить увеличения немецкого присутствия в Сирии, войска Уэйвелла и «Свободной Франции» вырвали Сирию у Виши. В течение недели между войсками Виши и «Свободной Франции» шла небольшая гражданская война, но в конечном итоге британцы заняли

Дамаск. В письме Рэндольфу Черчилль сообщил, что Сирия больше не находится «в руках лягушатников». Де Голль заявил, что Черчилль фактически украл Сирию. Черчилль не обратил внимания на слова де Голля, а Колвиллу сказал, что ему «до смерти надоел» этот француз. Он будет повторять это с завидной регулярностью на протяжении следующих четырех лет[303].

Поскольку в начале июля события в Северной Африке неуклонно приближались к кульминации, Роммель и Редер решили, что наступает момент, когда можно разобраться с британцами в Восточном Средиземноморье. Редер составил план, предусматривавший наступление на Александрию и Суэцкий канал совместно с Роммелем, который будет наступать в восточном направлении из Западной пустыни. Уступив ОКВ в части необходимости продолжения «Барбаросса» — они не смогли убедить Гитлера отложить русский гамбит, — они доказывали, что отвод в Египет менее одной четверти сил, предназначенных для советского фронта, поможет нанести гибельный удар по британцам на Ближнем Востоке. Черчилль больше месяца ожидал такого согласованного наступления, предупреждая Рузвельта и военный кабинет, что потеря Египта равносильна потери Родного острова. Черчилль регулярно озвучивал этот вопрос, вызывавший его беспокойство, как и проблему, связанную с «поворотом судьбы», как он позже назвал Средиземноморье[304].

6 июня Гитлер приказал командующим вермахтом уничтожать всех большевистских комиссаров. «Любой немецкий солдат, нарушивший международное право, будет прощен. Россия не участвует в Гаагской конвенции и поэтому не имеет права на ее покровительство», — заявил он. Ненависть помешала Гитлеру принять правильное решение. В тот самый момент, когда он мог расправиться с британцами в Средиземноморье, он отверг план Редера и Роммеля. Гитлер считал, что намного важнее уничтожить, если потребуется, всех славян, большевиков, комиссаров, судей, врачей, учителей и, главное, в первую очередь, всех евреев в Восточной Европе[305].

Приближалось лето, и потери в кораблях намного превышали британские возможности восполнить их. То, что в Вашингтоне с февраля проводились секретные переговоры британского и американского штабов, затрагивавшие весь круг военных вопросов, вселяло оптимизм, но не способствовало сохранению ни одного торгового судна. Американцы перевели в Атлантику с Тихого океана три линкора и авианосец «Йорктаун», что было бы хорошим подспорьем для черчиллевских конвоев. К сожалению, адмирал Старк, не согласный с решением, удерживал эти корабли у Восточного побережья Америки, что делало их бесполезными для британцев. Если Гитлер нападет на Россию, а Черчилль считал, что так и случится, то не будет по ночам

тревожить Великобританию, но ситуация быстро изменится, если Гитлер быстро и решительно победит Сталина. В этом случае американцы могут пересмотреть свое решение относительно поддержки Черчилля, и тогда Гитлер выиграет войну, нанеся решающий удар по Великобритании. Всегда существовала возможность, что какое-то неожиданное событие, где-нибудь, может изменить точку зрения Америки, во благо или во вред европейской стратегии Черчилля.

Черчиллю была необходима победа в сражении с немцами, стратегическая победа, нечто большее, чем беспорядочные боевые действия в Ираке, Сирии и Восточной Африке. Хотя ему не терпелось разобраться с Норвегией — где у Гитлера теперь было семь дивизий, — Черчилль увидел наилучшую для себя возможность на том же театре военных действий, что и Роммель, в Северной Африке. Черчилль отправил новые танки в Египет, хотя знал, что английские танки оснащены пушками малых калибров с откровенно слабой баллистикой (по огневой мощи они уступали однотипным немецким машинам) и имеют тенденцию ломаться. 15 июня Уэйвелл, чьи силы были подорваны операциями в Греции и на Крите, перешел в контрнаступление — приступил к операции «Боевой топор». Роммель, чьи войска стояли у Тобрука, был готов к наступлению британцев. Наступление сразу не задалось. Утром 17 июня, согласно Черчиллю, «все пошло не так». К вечеру стало ясно, что операция «Боевой топор» потерпела полный провал. Все закончилось рядом с ущельем Халфайя, где Роммель установил 88-миллиметровые пушки, которые открыли огонь по британским танкам; уцелел всего один танк. Оставшиеся в живых британцы назвали это место «ущельем адского огня». И снова британцы были вынуждены бежать. Они бежали на восток, от своей цели, Тобрука, который был в 60 милях к западу и все еще находился в осаде. Уэйвелл, прилетев на фронт из Каира, нашел свою армию в полномасштабном отступлении. К тому времени Роммель вдвое сократил численность британских сил. Уэйвеллу ничего не оставалось, как согласиться с мнением своих командующих об отступлении. Почти тысяча британских солдат было убито и взято в плен. Горизонт застилали черные клубы дыма от более чем двухсот британских танков, горевших как маленькие нефтеперерабатывающие заводы. Дверь в Египет открылась, и Роммель переступил через порог[306].

Для Уэйвелла это означал конец. 21 мая Черчилль в телеграмме Уэйвеллу похвалил его за командование армиями, но отметил, что чувствует, как он устал после столь долгого напряжения сил, а потому «на этом театре нужен свежий глаз и свежая рука». Черчилль нуждался в спасителе Нила, который, как Нельсон, давший обещание королю, выследит и уничтожит врага[307].

Всего полгода назад Черчилль сказал министрам: «В Уэйвелле мы получили победителя». Теперь Черчилль нуждался в новом победите-

ле, лидере, который вступит в бой с Роммелем. Он остановил свой выбор на генерале сэре Клоде Окинлеке, командующем в Индии. Черчиллю «не слишком нравилась его [Окинлека] позиция в Норвежской кампании в Нарвике. Он как будто был склонен придавать слишком большое значение безопасности и надежности, хотя ни того ни другого на войне не существует, и довольствоваться удовлетворением того, что он считал минимальными требованиями». Но Норвегия была чуть ли не импровизированным гамбитом, без координации действий авиации и флота. Теперь Черчилль был полон решимости предоставить новому командующему все необходимое для войны в пустыне. А Уйэвелл сменил Окинлека в Индии. Колвилл высказал мнение, что Уэйвелл может обидеться и откажется от должности командующего в Индии. Черчилль обсудил этот вопрос, когда они вечером прогуливались в парке. Если просто уволить Уэйвелла, сказал Черчилль, «это вызовет много разговоров и критики». Он не хотел, чтобы Уэйвелл «слонялся по Лондону». По счастью, Индия была так же далеко от Лондона, как любое место на земном шаре. Когда Дилл предположил, что Уэйвелл «использует ручку», чтобы после войны написать историю со своей точки зрения, Черчилль ответил, что «тоже может использовать свою ручку и готов держать пари, что продаст больше книг». Если Дилл считал Уэйвелла жертвой черчиллевской стратегической безрассудности, то сам Черчилль сказал Колвиллу, что «на самом деле никогда особенно не верил» в Уэйвелла, который, по его мнению, во многих случаях действовал слишком медленно; Линкольн тоже сказал о генерале Джордже Макклелане*, что «он страдает от медлительности». И Линкольн, и Черчилль возлагали огромные надежды на победы, которых никак не удавалось добиться. Но если Линкольн великодушно поддерживал Макклелана (который фактически бездействовал), то Черчилль, направив Уэйвеллу подкрепление в 1940 году, с тех пор только отбирал у него войска[308].

Дилл неодобрительно отнесся к увольнению Уэйвелла, но с еще большим недовольством он отнесся к назначению Окинлека. Уэйвелл, сказал он Колвиллу, «имеет вдвое больше мозгов, чем Окинлек». Первым показательным — и самым роковым — решением Окинлека было назначение генерал-лейтенанта Аллана Каннингема, брата адмирала, командующим недавно переименованной и в скором времени усиленной 8-й армией. Каннингем командовал армиями, очистившими Сомалиленд от итальянцев. Он был прекрасным пехотинцем, но ничего не понимал в танковой войне. Окончательное изменение в ближневосточном командовании начальники штабов сделали, когда назначили Артура Теддера главным маршалом авиации вместо Артура Лонг-

* Макклелан Джордж Бринтон — (1826—1855) — генерал-майор американской армии в годы гражданской войны. (*Примеч. ред.*)

мора. Как оказалось, одно из самых неожиданных повышений за всю войну. Теддер верил в непосредственную боевую авиационную поддержку пехоты и танков; его точку зрения разделял Дики Маунтбеттен, который сказал Черчиллю 21 июня, что «никакая военно-морская и военная операция не может быть предпринята без мощного прикрытия с воздуха». Теддер разработал тактики «воздушного ковра» — так называемый «теддеровский ковер», когда выкладка «воздушного ковра» предшествует наступлению пехоты и танков. Армия при поддержке авиации наступает быстрее, продвигается дальше, как испытал на себе Лонгмор в случае с Роммелем. Теддер фактически позволил армии управлять своими самолетами в тактических операциях, то, что никогда не одобрял Лонгмор. Но у Теддера была та же проблема, что и у Лонгмора; ему не хватало самолетов[309].

Черчилль сказал Окинлеку, что ожидает от него наступления, и в ближайшие два месяца. Окинлек ответил, что его армии будут готовы не раньше осени. Черчилль возмутился, но отступил. У него не было выбора. Ближневосточные силы оголились до такой степени, что вопрос заключался не в том, чтобы наступать, а как лучше обороняться. Если Старику возражали, как это сделал Окинлек, то он мог отступить; к тем, кто ему не возражал (как Уэйвелл), он относился без должного уважения. Ему нравились бойцы.

После провала операции Уэйвелла 21 июня за обедом в Чекерсе собрались: Клементина, Мэри, посол Гил Уайнант с женой, Констанс, Колвилл, Томми Томпсон и Идены. Черчилль взял слово — он редко отказывался выступать — и стал рассуждать о России. Несколько дней назад Стаффорд Криппс сказал Идену, что Россия слабая и «едва ли выдержит против Германии больше трех-четырех недель». Дилл считал, что русские продержатся шесть-семь недель. Черчилль, изучив расшифровки «энигмы», заявил на обеде, что «Россия, безусловно, подвергнется нападению и, конечно, потерпит поражение». Однако Черчилль заявил, что готов сделать все, чтобы помочь Сталину. Несколько дней назад он сказал военачальникам, что немцы, по его расчетам, скоро начнут войну с Россией за бакинскую нефть и украинскую пшеницу и что Британия должна «воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставит эта война». Самое большое преимущество, какое можно получить, — это оказать русским помощь, в которой они нуждаются. Уайнант согласился с Черчиллем и сказал, что Соединенные Штаты тоже помогут Сталину. Когда Колвилл предположил, что поддержка Советов может оказаться проблематичной, учитывая давнюю ненависть Черчилля ко всему, что связано с большевиками, Черчилль ответил, что, «если Гитлер вторгнется в ад, я произнесу панегирик в честь дьявола»[310].

После ужина Иден и Колвилл пошли с Черчиллем побродить по саду. Несколько дней назад Колвилл записал в дневнике, что насту-

пила жаркая, солнечная погода; цветут рододендроны, жара «тропическая, и воздух напоен ароматом цветов». Иден, разглагольствовавший на какую-то тему, сделал шаг назад, «упал в глубокую ха-ха* и врезался в колючую проволоку».

Они хохотали и бродили по залитому лунным светом лесу, как древние люди, и, как древние люди, были сильные духом. Хорошо жить в такое прекрасное время, сказал Черчилль Колвиллу и добавил: «Вы переживете много войн, но никогда не будет такого прекрасного времени, как сейчас». Старик, в последнее время читавший Колвиллу лекции о разных вторжениях в Россию на протяжении истории, забыл сказать, что на этой неделе отмечалась годовщина вторжения Наполеона в Россию в 1812 году**.

Когда они вернулись домой, Черчилль распорядился, чтобы его ни при каких обстоятельствах (конечно, кроме вторжения в Великобританию) не будили до восьми утра[311].

Небо было спокойным, немецкие самолеты не появлялись. Спокойно спали порты и Лондон.

В тысячах миль к востоку рычали двигатели более 3600 немецких танков. Заряжающие вложили фугасные снаряды в более чем 7200 орудий, и офицеры готовились скомандовать «пли!». Более 600 тысяч моторизованных транспортных средств, чьи двигатели, работавшие на холостом ходу, выпускали выхлопные газы, стелившиеся вдоль фронта, который растянулся почти на 900 миль, от Балтики через оккупированную Польшу до Черного моря. Стояла солнечная, прохладная погода. Немецкая восточная армия, Ostheer, 153 дивизии, находилась в состоянии боевой готовности. Более 3 миллионов саперов-штурмовиков и пехотинцев (включая четырнадцать дивизий румынских пехотинцев) залегли в неглубоких канавах и за железнодорожными насыпями. Солдаты проверяли свои винтовки Маузера и нервно подтягивали ремешки касок. Они выкуривали последнюю эрзац-сигарету и делали последний глоток эрзац-кофе — настоящий табак и кофе пропали из их пайков несколько месяцев назад. Если все пойдет как планировалось, война закончится полной победой, и Рождество они будут уже справлять дома, в кругу семьи[312].

В нескольких милях в тылу паслись в бескрайнем море трав почти миллион вьючных лошадей — почти 5 тысяч на дивизию. Лошадей

---

* Х а - х а — канава, внешняя сторона которой пологая, а внутренняя — отвесная, чтобы в сад не забредал скот. (*Примеч. авт.*)

** Геббельс в дневнике упомянул 21 июня как годовщину вторжения. Гитлер, чтобы избежать сравнения, позже назвал в качестве годовщины 23 июня. Историк Уилл Дюрант написал, что Наполеон перешел границу России — реку Неман — 23 июня. За пять лет до этого, в 1807 году, царь Александр I и Наполеон на реке Неман поклялись в вечной дружбе Франции и России и вражде к Англии. (*Примеч. авт.*)

запрягали в повозки, заполненные пайками, снарядами, палатками и одеждой. Дальше в тылу Einsatzgruppen, группы эсэсовцев-убийц, стояли у грузовиков в ожидании команды начать наступление и выполнять приказ Гитлера: убивать комиссаров, евреев, интеллигенцию, большевиков любого возраста и националистов любых вероисповеданий. А в далеком тылу, в рейхсканцелярии, ходил взад и вперед по комнате и ждал Гитлер[313].

В 700 милях от советской границы, в Кремле, спал Иосиф Сталин. Он был настолько уверен в надежности отношений с Гитлером, что несколько недель назад приказал перебросить советские войска с укрепленных оборонительных рубежей дальше на восток. Тем самым он хотел заверить Гитлера, что развертывание советских войск не носит провокационный характер, и показать, что доверяет ему. В течение этих недель немцы провели более восьмидесяти разведывательных полетов над советской территорией. Берлин отверг обвинения в свой адрес, заявив, что это провокация со стороны Британии, которая стремится создать напряженные отношения между Германией и ее другом Советским Союзом. Сталин удовлетворился объяснением.

В течение весны Сталин получал подробную разведывательную информацию о запланированном предательстве Гитлера из различных источников, в том числе от американцев в начале июня и от своего руководителя службы внешней разведки, который за несколько месяцев до вторжения представил сценарий немецкого нападения на Россию с трех сторон, почти точно совпавший с немецким планом. Сталин не обращал внимания на эти предупреждения, как и на предупреждения Черчилля в апреле и начале июня. Когда 15 июня лучший разведчик Сталина в Токио, Рихард Зорге, сообщил в Кремль точную дату начала плана «Барбаросса», Сталин, с подозрением относившийся к разведчикам, отмахнулся от этой информации. Что касается торговых отношений с Германией, глава военного министерства Германии позже написал, что «русские выполнили свои обязательства по поставкам накануне нападения». В течение весны Советы развернули на границах более тридцати пяти новых дивизий, но опять, чтобы не провоцировать Гитлера, они не были приведены в полную боевую готовность. Сразу после полуночи 22 июня немецкий дезертир сообщил, что вторжение начнется в 4 утра. Информацию передали в Кремль, где ее сразу отвергли. В два часа ночи, после того как были перерезаны телефонные линии, советское командование наконец позволило объявить полную боевую готовность. За несколько минут до четырех утра более 2600 «Мессершмиттов», «Штук» и «Юнкерсов» поднялись в воздух с аэродромов в Польше, Восточной Пруссии и Румынии. В Берлине на Вильгельмштрассе Риббентроп коротко информировал советского посла Владимира Деканозова, что в данный момент немецкие войска в Польше и на советской границе принимают «военные контрмеры»[314].

Спустя несколько минут после появления в небе немецких самолетов немцы начали самый мощный в истории артиллерийский обстрел. Почти 3 миллиона немецких солдат перешли в наступление по всей линии фронта. Вспышки от залпов тяжелых орудий были бы видны из космоса, но в то время человечество еще не обладало такими возможностями. За эти несколько минут в дыму от выстрелов исчез нацистско-советский договор о дружбе.

Немецкие войска были разделены на три группы армий — «Север», «Центр» и «Юг» — под командованием фельдмаршалов Вильгельма Риттера фон Лееба, Федора фон Бока и Герда фон Рундштедта, которые подчинялись главнокомандующему сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу. Каждая группа армий следовала историческим путем вторжения в европейскую часть России. Группа армий «Север» должна была наступать через Прибалтику, захватить ее и конечную цель — Ленинград. Группа армий «Центр» должна была пройти по маршруту Наполеона до Минска, а оттуда двинуться на Москву. Группа армий «Юг» должна была нанести удар по «хлебной корзине» России, Украине; ее маршрут ограничивали с севера Припятские болота — территория сравнимая с территорией Индианы или Португалии — и Карпатскими горами с юга[315].

Немцам противостояли почти 3 миллиона русских, 120 из 230 советских дивизий. Советская пехота действовала при поддержке самых многочисленных в мире, но в основном самых неапробированных воздушных сил — 10 тысяч самолетов-истребителей — и почти 24 тысяч танков разных классов, при этом планировалось, что ежемесячно с конвейера будут сходить 1700 новых, быстроходных, смертоносных танков Т-34 — если заводы переживут нападение Германии. Сэр Джон Киган написал: что касается материальной части, то «положение Сталина как главнокомандующего соответствует, если не превосходит положение Гитлера». Однако всего годом раньше была предпринята попытка пополнить поредевшие из-за сталинских чисток ряды, и в результате почти пятьсот советских офицеров получили генеральские звания. Новоиспеченные генералы еще не успели зарекомендовать себя. Хуже того, когда началось наступление, они и миллионы солдат, которыми они командовали, спокойно спали на своих позициях. Черчилль тоже крепко спал, как и Сталин. То, что Сталин был застигнут врасплох, доказывает, что он пребывал в бездействии в течение достаточно длительного периода. Позже Черчилль написал: «Война — это по преимуществу перечень ошибок, но история вряд ли знает ошибку, равную той, которую допустили Сталин и коммунистические вожди... До тех пор мы считали их расчетливыми эгоистами. В этот период они оказались простаками... И если брать в качестве критерия стратегию, политику, прозорливость и компетентность, то Сталин и его комиссары показали себя в тот момент Второй мировой войны абсолютно не-

дальновидными». В течение следующих четырех лет почти 10 миллионов русских солдат и, по крайней мере, 15 миллионов русских гражданских лиц заплатили жизнью за сталинскую недальновидность[316].

«Утро было чудесным, — написал 22 июня в дневнике Гарольд Николсон, — в воздухе витал аромат роз и сирени». Джок Колвилл планировал, если не будет никаких срочных дел, провести несколько часов на природе. Его планам не суждено было сбыться. Только рассвело, когда Колвилла разбудил телефонный звонок из министерства иностранных дел. Учитывая распорядок дня Черчилля, Колвиллу пришлось дожидаться восьми утра, чтобы сообщить премьер-министру о нападении. Черчилль выслушал новости с мрачной улыбкой и приказал Колвиллу «сообщить руководству Би-би-си, что он будет выступать сегодня в девять вечера». В первый момент его радость была столь огромной, что он послал в спальню Идена своего камердинера с серебряным подносом, на котором лежала сигара и записка: «Немецкие армии вторглись в Россию»[317].

Гарольд Николсон, выслушав новости, написал в дневнике, что настроен «не столь оптимистично... И если, как, скорее всего, и будет, Гитлер за три недели победит Россию, то откроет дорогу к нефти, в Персию и Индию». В первый момент Гил Уайнант решил, что это «подстроенное дело между Гитлером и Сталиным» и Черчилль с секретарями (до него долетал их смех) «смеются... с презрением». Но они смеялись скорее от облегчения[318].

Несколькими днями ранее, обремененный поражениями, уставший от злословия заднескамеечников, Черчилль, прогуливаясь по саду в Чартвелле в компании рыжего кота, размышлял о судьбе Тобрукского гарнизона и возможной судьбе Египта. За обедом Черчилль извинился перед котом, сидевшим на стуле по правую руку от него, за отсутствие сливок. На той неделе он сказал Идену, что теперь «носит медали» за Дарданеллы, Нарвик, Дюнкерк, Грецию и Крит. По дороге в Чартвелл Черчилль попросил остановить машину, чтобы украдкой взглянуть на Францию, но, словно для того, чтобы подчеркнуть оторванность Великобритании, туман скрыл Европейский континент[319].

Все изменилось, когда Гитлер предал Сталина. Год со дня подписания французами перемирия Черчилль смотрел на восток и видел спасение в том случае, если русские смогут избежать поражения. Поражение России приведет к поражению Великобритании. Но Россия, при поддержке Великобритании, может протянуть достаточно времени, чтобы неторопливые американцы произвели все необходимое для того, чтобы Черчилль продолжал войну. А еще лучше, если Америка распространит закон о ленд-лизе на Сталина. Одержавшая победу Россия совсем другое дело. Идеологический противник на протяжении двадцати лет едва ли изменит свои взгляды, но гитлеровский гам-

бит решит этот спорный на данный момент вопрос. Итак, Черчилль принял решение, не продумав политику в связи с утренним поворотом событий, не говоря уже о стратегии реализации этой политики. Он хотел обнять нового боевого товарища.

Зная историю сталинских погромов и массовых убийств, слово «союзник» в данном случае казалось неуместным. Этот человек, на самом деле, был чудовищем. Сталинская коллективизация в начале 1930-х в Украине привела к смерти от голода по меньшей мере 5 миллионов крестьян и к казни тысяч за сокрытие государственной собственности — выращенного ими зерна. В сталинских сибирских ГУЛАГах находилось почти 2 миллиона заключенных, в основном политических, которые работали на строительстве дамб, железных дорог и каналов. Вокруг Москвы в братских могилах лежали убитые православные священники, университетские профессора, врачи, адвокаты, троцкисты и другие враги государства. Черчилль считал Советский Союз «смертельным врагом цивилизованной свободы» — «вплоть до появления Гитлера». Но в середине 1930-х Гитлер выступал, а Сталин действовал. К тому времени, когда Сталин вторгся в восточную Польшу в 1939 году, он уже был палачом века, возможно всех времен. С 1917 года Черчилль стремился уничтожить большевистскую Россию, «задушить при рождении» это «угрюмое, зловещее государство». Теперь советские люди и британцы, Сталин и Черчилль сражались против общего врага. В тот вечер Черчилль пытался убедить Великобританию — и себя, что надо отбросить прежние разногласия. Это было непросто, поскольку в глазах доброй половины его соотечественников безбожник Иосиф Сталин был большим злом, чем Адольф Гитлер[320].

22 июня на завтраке присутствовал Стаффорд Криппс, и Черчилль замучил посла, называя русских «варварами» и доказывая, что коммунистов ничего не связывает «даже с самым низменным типом людей». Криппс, вспоминал Колвилл, «забавлялся, благосклонно слушая его». Черчилль испытывал сильный подъем духа. Со вчерашнего дня у него полностью изменилась точка зрения. Если вчера он говорил, что Россия скоро проиграет войну, то теперь он ставил пятьсот к одному, что Россия будет сражаться, «сражаться до победного конца», в течение двух лет. После завтрака Черчилль начал готовить речь и посвятил этому занятию оставшуюся часть дня. Эта длинная речь была одновременно поэтичной, возвышенной и впечатляющей, обещавшей спасение свободного мира и уничтожение Гитлера. Такую речь не смогла бы создать ни одна современная группа спичрайтеров; Черчилль создал словесные образы, которые, как и все гениальные произведения искусства, были более реальными, чем сами события, и вызывали яркие воспоминания. Колвилл вспоминал, что Черчилль пересматривал текст, вносил исправления и добавлял последние штрихи, как он делал, когда занимался рисованием, до девяти вечера, до начала передачи. Он стремился, как и в

случае со своими картинами, воздействовать не только на умы слушателей, но и на их воображение[321].

Вторжение в Россию, заявил Черчилль, один из «решающих моментов войны». Гитлер, сказал он «злобный монстр, ненасытный в своей жажде крови и грабежа» и «кровожадный беспризорник», который находит удовольствие, «перемалывая человеческие жизни и растаптывая жилища и человеческие права миллионов людей». Немецкую военную машину «нужно кормить не только плотью, но и нефтью». И хотя он не упоминал о «безоговорочной капитуляции», но четко и ясно изложил свои условия войны и мира. У нас, сказал Черчилль, «одна-единственная неизменная цель. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима». И: «Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока, с Божьей помощью, не избавим землю от самой тени его и не освободим народы от его ига». Он напомнил слушателем, что «за последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я», но, сказал он, «все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем». Не называя Сталина, он заявил, что «прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает». И затем перешел к описанию борьбы: «Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся — да, ибо бывают времена, когда молятся все, — о безопасности своих близких, о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где есть место исконным человеческим радостям, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую вымуштрованную послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще не зажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им кажется, более легкую и верную добычу. За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий».

«Это не классовая война, — сказал он, — а война, в которую втянуты вся Британская империя и Содружество Наций, без различия расы, вероисповедания или партии». И для того, чтобы британцы

больше не сомневались в том, стоит ли сражаться и умирать за Сталина и его безбожников коммунистов, он заявил, что «вторжение в Россию — это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова». А потому «опасность, угрожающая России, — это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам»[322].

Он не только нашел добрые слова для злодея; он реабилитировал его и снабдил крыльями и ореолом. Старая балканская поговорка (одна из любимых поговорок Рузвельта) гласит, что по мосту через бездну допустимо идти рука об руку с сатаной. Именно это и проделал Черчилль[323].

Гарольд Николсон назвал эту речь «шедевром». Хотя Черчилль нарисовал картину, что будет в том случае, если Россия потерпит поражение — и Китай, Европа и Индия — «он создал у нас впечатление, что мы собираемся выиграть эту войну». Тем не менее Николсон считал русских «некомпетентными и корыстными»[324].

Черчилль в очередной раз продемонстрировал способность говорить убедительно и вдохновенно, но на этот раз внес некоторые коррективы. Сэр Джон Киган отметил вторжение в Россию как момент, когда черчиллевская «кампания дерзких слов» начала уступать дорогу «борьбе грубых фактов». Началось настоящее убийство — в масштабах, которых не мог вообразить даже Сталин[325].

Поразительное предательство Гитлером партнерских отношений парализовало Сталина и многих высших офицеров. Вскоре после нападения старший офицер отправил радиограмму начальству, что его подразделение подвергается обстрелу. «Что нам делать?» — спросил он. «Вы, должно быть, сошли с ума», — ответили ему и отругали, что он задает вопросы на открытой частоте. И только когда немцы продвинулись на 20 миль в глубь территории, Сталин начал понимать, что происходит, и только вечером советское правительство сообщило своим гражданам, что Германия вторглась на их родину. Сообщил о нападении Молотов, а не Сталин. Из Москвы не последовало никакой официальной реакции на речь Черчилля. В течение недели потрясенный Сталин оставался на даче, а за это время три гитлеровские группы армий прошли 200 миль по советской территории. Когда Молотов попросил его вернуться в Кремль, Сталин ответил: «Ленин оставил нам огромное наследство, а мы, его наследники, все испортили»[326].

Сталин был настолько потрясен, что только 3 июля обратился к народу. Когда он говорил, было слышно, как дрожит его голос и звенит стакан, когда он делал несколько глотков, чтобы промочить горло. К тому времени Финляндия присоединилась к Германии, и фронт увеличился еще на 600 миль, от Балтийского моря до Петсамо на Баренцевом море. Финны атаковали на северном фланге, румыны — на южном, а немцы — в центре[327].

Фюрер повернул на восток, и нависшая угроза вторжения в Великобританию исчезла — на данный момент. В своих воспоминаниях

Черчилль, узнав о гитлеровском вторжении, выразил радость двумя словами: «Вперед на восток!» Но все-таки утром 22 июня его ухмылка была ухмылкой мрачной решимости, поскольку он понимал, что если русские не станут первыми европейцами, упорно сражающимися против вермахта, то Великобританию ждут фатальные последствия. Русские не победят немцев (они не смогут), но они *должны* продолжать борьбу. Как бы ни развивались события на русском фронте в течение следующих нескольких месяцев, Черчилль упорно стоял на своем. В августе на совещании военного кабинета он предположил, что, если «Германия приостановит военные действия в России и Соединенные Штаты не предпримут дальнейших шагов по вступлению в войну, существует опасность, что война может повернуться против нас». Сразу за «паузой» последует поражение России, то, чего больше всего боялся Черчилль. «Пауза» — это передышка для Гитлера, но не для Англии. Спустя несколько недель Черчилль телеграфировал Рузвельту, что «как только Гитлер стабилизирует Русский фронт, он начнет собирать, возможно, пятьдесят—шестьдесят дивизий на западе для вторжения на Британские острова». На западе у Гитлера действительно были мощные силы, хотя люфтваффе отправились на восток и во французских портах находилось незначительное количество барж вторжения. Но все могло измениться[328].

Следовательно, сказал Черчилль министрам, Великобритания должна быть готова отразить вторжение. Он делал так отчасти потому, что дополнительной выгодой от подготовки к вторжению было создание сил, которые он мог развернуть в другом месте. Спустя несколько дней после того, как Гитлер предал Сталина, Черчилль послал две записки своим министрам. В первой он изложил суть стратегии вторжения. В ней он сообщил Диллу и Исмею, что 1 сентября подходит для того, чтобы объявить, что следует обеспечить наивысшую эффективность обороны. Необходимо объяснить, добавил он, что следует сохранять предельную бдительность. Испытывая тревогу относительно вторжения, «все будут работать с удвоенной энергией». А затем перешел к истинной сути вопроса: «Это, однако, не должно мешать отправке необходимого подкрепления на Ближний Восток»[329].

Во второй записке вступили в противоречие логика, интуиция и воображение, то, что делало Черчилля Черчиллем (и постоянно приводило в замешательство его генералов, а теперь и его американских друзей). В записке он сообщил Диллу и военному министру Дэвиду Маргессону, что успех немецких парашютистов на Крите выявил новую угрозу: «Нам следует ожидать спуска с воздуха, возможно, четверти миллиона парашютистов, доставленных планерами за один раз». Это было сродни его заявлению, которое он сделал осенью прошлого года, что 500 тысяч немецких солдат могут быть доставлены в Англию морским путем за один раз. У Черчилля не было точных данных от-

носительно количества немецких парашютистов, погибших на Крите, но он знал, что из 9 тысяч погибла примерно половина; примерно половина из пятисот «Юнкерсов» Ju-52, доставивших парашютистов на Крит, была уничтожена. Это потребовалось для захвата трех аэродромов. «Юнкерс» Ju-52, используемый для гражданских целей, мог взять на борт семнадцать пассажиров. «Юнкерсы» в качестве пассажирских самолетов использовала немецкая авиакомпания Lufthansa («Люфтганза»); личным самолетом Гитлера сначала был «Юнкерс», а уже затем «Фокке-Вульф-200». «Юнкерс» Ju-52, используемый для военных целей, мог взять на борт около дюжины парашютистов. Следовательно, потребовалось бы по меньшей мере 21 тысяча «Юнкерсов», чтобы доставить за один раз 250 тысяч парашютистов на все английские аэродромы. С 1931 года в Германии было изготовлено порядка 3 тысяч этих самолетов. Но Черчилль не мог поверить, что Гитлер испытывает острую нехватку самолетов; фюрер, вероятно, имеет огромный подземный авиазавод. Черчилль приказал весь «без исключения» вспомогательный персонал Королевских ВВС — 500 тысяч человек — вооружить «винтовкой, автоматом Томпсона, пистолетом, пикой или булавой» на случай появления врага. Если враг не появится, то в распоряжении Черчилля оказалось бы оружие, изготовленное в Америке, которым он мог обеспечить свою армию в тот день, когда они отважатся вернуться в Европу[330].

Этот день, сказал он Рузвельту в июле, наступит в 1943 году, после того как Германия и Италия подвергнутся морской блокаде и «непрерывным, все возрастающим по силе воздушным бомбардировкам. Эти меры сами по себе могут вызвать внутреннее потрясение или крах». Заявление отразило суть черчиллевской военной стратегии и его веру в военно-воздушные силы. Кроме того, добавил Черчилль, «нужно разработать планы оказания помощи завоеванным народам путем высадки освободительных армий, когда сложится подходящая для этого обстановка. Для этой цели нужно будет располагать большим количеством не только танков, но и судов, которые могли бы перевозить их и выгружать прямо на берег». Черчилль выразил уверенность, что Рузвельту не составит особого труда построить суда, «необходимые для выгрузки танков». В ближайшие недели Черчилль ясно дал понять, где он предполагает, когда придет этот день, совершить высадку: в Норвегии и Французской Северной Африке. А пока, сообщил Черчилль Рузвельту, он собирается отправить свои танки в Киренаику для борьбы с немцами и итальянцами. Телеграммы Черчилля Рузвельту в первые недели после вторжения в Россию предопределили разногласия относительно стратегических приоритетов, которые омрачат англо-американское партнерство в последующие три года. Джордж Маршалл и его военные советники не оспаривали требование Черчилля относительно танков, тем более что с Гитлером сражался Черчилль,

а не американцы. Это были его «орудия», которые он мог использовать так, как считал нужным. Маршалл и его планировщики в течение многих месяцев разрабатывали стратегию на тот случай, если гражданское руководство США отправит армию Соединенных Штатов на войну. План Маршалла был самый простой: переправить американские армии в Англию, а оттуда в Европу по самому короткому и прямому пути, через Канал и во Францию[331].

Но вторжение в Россию внесло свои коррективы. Теперь Сталину были нужны танки. Черчилль потребовал, чтобы Великобритания сделала для России то, что Рузвельт сделал для Великобритании, — обеспечила поставки оружия, и не только потому, что это был наилучший способ помочь России, но и потому, что это был наилучший способ не подпустить волка к Великобритании. Он знал человека, который способен решить эту задачу. Через неделю Бивербрук возглавил министерство запасов и снабжения, которое вместе с министерством авиационной промышленности и министерством труда сформировало трехногого зверя, который направил энергию на удовлетворение материальных потребностей вооруженных сил. Бивербрук незамедлительно отдал приказ о строительстве новых заводов, обязательном введении ночных смен и привил сотрудникам министерства чувство безотлагательности, которого у них, по его мнению, явно не хватало. Министерство в основном имело дело с армией. Когда в январе Черчиллю потребовались бомбардировщики, Бивербрук выполнил эту задачу. Теперь Черчиллю понадобились танки для Сталина. Бивербрук занялся производством танков и в ближайшие месяцы убедил американцев во много раз увеличить производство. «Некоторые принимают наркотики, — сказал Черчилль Колвиллу, — а я принимаю Макса»[332].

К середине июля к Сталину вернулось самообладание, достаточное для того, чтобы попросить Черчилля создать «фронт против Гитлера на западе (Северная Франция) и на севере (Арктика)». Благодаря этому, утверждал Сталин, «военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено». Затем, то ли потому, что он еще не до конца пришел в себя, то ли просто не был информирован о британском общественном мнении, Сталин заявил, что «создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии»[333].

Итак, Сталин начал кампанию за создание второго фронта. Через несколько недель он обратился к Черчиллю с просьбой «создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с Восточного фронта 30—40 немецких дивизий и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября с. г. и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков (малых или средних)». Мне кажется, на-

писал Сталин Черчиллю, что «Англия могла бы без риска высадить 25—30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР». Черчилль испытывал не только нехватку транспортных средств для отправки тридцати дивизий — более 450 тысяч солдат — в Россию, но и нехватку самих дивизий. Благодаря черчиллевской программе перевооружения, появившейся из «страха перед вторжением», летом Черчилль имел в Англии тридцать готовых к бою дивизий. Сталин хотел забрать все.

Требование Сталина, позже написал Черчилль, было «почти невероятным» и указывает на то, что этот «человек мыслит в отрыве от реальности». Криппс, всегда стремившейся помочь Советам, предложил Черчиллю в знак солидарности отправить несколько британских дивизий, чтобы они сражались бок о бок с русскими. Черчилль с иронией отнесся к просьбам Криппса и Сталина, поскольку не далее как в прошлом году во Франции был второй фронт. И всего за три месяца до вторжения Гитлера в Россию Черчилль настаивал на создании фронта на Балканах, добиваясь, чтобы Сталин предпринял оборонительные шаги. Но Сталин, считавший, что обезопасил себя пактом с Гитлером, решил занять выжидательную позицию до окончания событий во Франции и на Балканах. Теперь он уже не мог занимать позицию стороннего наблюдателя: вермахт уничтожил все договоренности. После призывов Криппса предпринять «сверхчеловеческие усилия», чтобы помочь русским, Черчилль сказал ему: «Не наша вина, что Гитлер смог уничтожить Польшу, прежде чем направил войска против Франции, и уничтожил Францию, прежде чем направить их против России». Что касается «сверхчеловеческих усилий», то «вы подразумеваете, как я полагаю, такие усилия, которые преодолевают пространство, время и географию. К сожалению, мы всем этим не располагаем»[334].

Когда Криппс дал понять, что Советы имеют все основания не доверять британцам из-за отказа Черчилля отправить в Россию солдат и вторгнуться во Францию, Черчилль — который все еще злился на Криппса из-за отказа передать Сталину предупреждение о готовящемся немецком вторжении — язвительно ответил: «Мы действовали с абсолютной честностью. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы помочь им... подвергая себя опасности... когда наступил весенний период вторжения». Было «крайне глупо» отправлять в Россию две-три дивизии, эти войска были бы символической жертвой, «разнесенной в пух и прах». Советы, сказал он Криппсу, «сами себе уготовили судьбу, когда пактом с Риббентропом натравили Гитлера на Польшу и таким образом начали войну». То, что советское правительство «обвиняет нас в попытке завоевания территорий в Африке или в том, что мы стараемся получить преимущества в Персии за их счет, или что мы готовы «сражаться до последнего русского солдата», на меня со-

вершенно не действует. Если они питают какие-либо подозрения в отношении нас, то только потому, что в душе они сознают свою вину и упрекают себя»[335].

В ближайшее время о втором фронте не могло быть и речи. Черчилль не мог выполнить просьбы Сталина, а начальники штабов не смогли бы даже в том случае, если бы этого хотел Черчилль. Сейчас просто немыслимо, сказал Черчилль Криппсу, рассматривать вопрос о возвращении во Францию, поскольку «наши генералы убеждены в том, что это закончится кровопролитными боями» и в результате может привести «к проигрышу битвы за Атлантику, а также к голоду и гибели Британских островов». Британские экспедиционные войска вытеснили в 1940 году из Франции, а затем в 1941 году всего за несколько недель из Греции и с Крита. Черчилль больше не мог допустить, чтобы подобное повторилось. У Гитлера, сообщил Черчилль Криппсу и Сталину, «сорок дивизий в одной только Франции». К тому же «все побережье более года укреплялось с чисто германским усердием и ощетинилось орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и береговыми минами». Любой десант приведет к кровопролитному поражению, а «небольшие набеги лишь к неудачам и причинят больше вреда, чем пользы. Все закончится тем, что им [немцам] не придется перебрасывать ни одной из частей с вашего [русского] фронта». Что касается фронта на Балканах, то нам потребовалось семь *недель* для переброски в Грецию всего двух дивизий. «Самое большое, что мы в силах сделать в настоящее время», — сказал Черчилль Сталину, — это послать «подводные лодки для перехвата германских транспортов вдоль арктического побережья... и минный заградитель с различными грузами в Архангельск... Мы также изучаем в качестве дальнейшего шага возможность базирования в Мурманске нескольких эскадрилий британских самолетов-истребителей»[336].

Начальникам штабов он приказал использовать менее традиционные способы для оказания помощи русским — «устройте ад при свете солнца». Черчилль отправил любимых коммандос поджигать склады в Норвегии и взрывать мосты в Италии. Результаты были настолько невпечатляющими, что Черчилль потребовал, чтобы военный кабинет не давал прессе никакой информации о десантно-диверсионных операциях. Если Европейский материк пылает, то по приказу Гитлера, а не Черчилля. И Сталин остался в одиночестве, один на один со своими надеждами, как Черчилль, когда пылала Англия[337].

В сентябре Гарриман, Бивербрук и Гопкинс приехали в Москву для координации спасательных работ. Решался вопрос о поставках по ленд-лизу в Советский Союз. По поводу Гопкинса Черчилль сообщил телеграммой Сталину, что он «может относиться к нему с полнейшим доверием: он Ваш друг и наш друг». Черчилль, хотя и не желал жертвовать британскими войсками во Франции, тем не менее стремился

показать себя другом Сталина. Когда начальники служб сказали, что «нет возможности выделить [для Сталина] ни гребных лодок, ни винтовок, ни Tiger Moth...* без серьезного ущерба» для Англии, Черчилль ответил, что надеется, все отрасли выделят все необходимое.

В оставшуюся часть года он составил цепочку из трех человек — наподобие той, что составляют при пожаре, чтобы передавать ведра с водой. Он выхватывал у Рузвельта боеприпасы, в которых отчаянно нуждался, и вместе с танками и оружием отправлял Сталину, используя арктические конвои и иранские железные дороги. Для того чтобы подбодрить Сталина, он сообщил, что «предстоящей зимой Германии придется испытать ужасную бомбардировку. Еще никто не испытывал того, что им предстоит»[338].

На Сталина это не произвело впечатления. Он дважды напомнил Черчиллю, что Гитлер уже наносил более «ужасные» удары по русским солдатам и мирным жителям, чем собирается нанести Черчилль через несколько месяцев. Красная армия, и без черчиллевских обещаний «ужасной зимы», стояла между Гитлером и Москвой. Стремясь вдохновить армии на борьбу, Сталин объявил о своем отношении к сдаче в плен. В какой-то степени его слова перекликаются со словами Черчилля, когда создалось угрожающее положение в Египте. В приказе Сталина, в частности, говорилось: «Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам». Но если Черчилль допускал возможность сдачи в плен в тех случаях, когда солдат один и безоружен, то Сталин объявил, что тех, кто «предпочтут сдаться в плен, — уничтожать всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи». Чтобы ни у кого не было сомнений на его счет, Сталин, когда на седьмой день после вторжения группа армий «Центр» заняла Минск, вызвал в Москву Дмитрия Павлова, генерала, отвечавшего за оборону города. Павлов и его заместители покорно прибыли в Кремль, где их судили, признали виновными в некомпетентности и без долгих рассуждений расстреляли. При Сталине защита отечества обрела новое, невиданное значение. Когда он узнал, что немцы использовали десятки тысяч стариков, женщин и детей в качестве «живых щитов», он сказал: «Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, посылают вперед своих войск делегатов от занятых ими районов — стариков, старух, женщин и детей — с просьбой к большевикам сдать Ленинград и установить мир. Говорят, что среди ленинградских большевиков нашлись

* «Тайгер Мот» — биплан, разработанный фирмой de Havilland. Служил основным тренировочным самолетом Королевских ВВС Великобритании до 1952 года.

люди, которые не считают возможным применить оружие к такого рода делегатам. Я считаю, что если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожить в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов»[339].

Жители Минска, возможно, думали иначе; после сдачи города немцы уничтожили тысячи горожан. От Балтийского до Черного моря шла война на уничтожение; разрушениям подвергались молочные фермы, зернохранилища, фабрики и заводы матушки России. Жители Белоруссии, Украины и Прибалтики оказались между двумя неумолимыми и безжалостными армиями — самыми большими в истории — под командованием двух неумолимых и безжалостных диктаторов[340].

Черчилль не мог публично критиковать Сталина за близорукость. Его гнев был направлен против того, кто совершил ошибку, которая на общем фоне была довольно незначительной. Он не мог простить Криппсу историю с апрельской телеграммой, в которой предупреждал Сталина о немецком вторжении. Осенью, когда следовало заботиться о более важных делах, он все еще продолжал злиться на Криппса. Когда он узнал, что Сталин сказал Бивербруку, что не может вспомнить, что его «когда-нибудь предупреждали», это было уже слишком. С ошибки Криппса прошло уже полгода, и немцы были на подступах к Ленинграду и Москве. То, что Сталин не обратил внимания на заслуживающее доверия предупреждение, было неприятно, но наглость Криппса, не считавшего нужным передать предупреждение, приводила Черчилля в бешенство на протяжении многих месяцев. Черчилль сказал Идену, затем в Москве, что Криппс должен нести «огромную ответственность за свое упрямство, помешавшее обсуждению этого вопроса». Если бы Криппс «выполнил распоряжение, более чем возможно, что между мной и Сталиным выстроились какие-то отношения»[341].

А вот это едва ли. На пути отношений стояла не грубая ошибка Криппса, а недоверие Сталина к Великобритании. В июле 1940 года Криппс передал Сталину предупреждение Черчилля о немецких планах относительно востока, которые Сталин не принял в расчет и, самое удивительное, передал в Берлин, чтобы продемонстрировать преданность Гитлеру. Пребывая в качестве посла в Москве, Криппс внимательно изучал советский режим, которым, скорее всего, восхищался. И это неудивительно, учитывая его убеждения, слишком левые даже для его Лейбористской партии. Криппс был адвокатом. По мнению многих, лучшим в Великобритании. Но Черчилля мало заботили его таланты в области юриспруденции; Криппс не любил шумные компании, а Черчиллю нравились компанейские люди. Посол производил впечатление сурового, если не мрачного человека. Он был очень религиозным человеком и вегетарианцем, сочетание, которым заработал себе прозвище Христос и Морковь. Несколько лет спустя,

заметив проходившего мимо Криппса, Черчилль (Криппс это не слышал) сказал: «Там, помимо благодати Божей, идет Бог». Многие в кругу Черчилля считали, что Криппс впустую растрачивает таланты в Москве, и считали, что лучше бы он занимал пост в правительстве, где мог пригодиться его высокий интеллект. Но Черчилль был не согласен с этим мнением и назвал Криппса «безумцем в стране безумцев, и будет жалко отзывать его»[342].

22 июня война переместилась на восток, и снизилась цена, которую британцы должны были заплатить в ближайшие месяцы за то, чтобы сохранить свою родину. Цена, которую должны были заплатить русские, не поддавалась исчислению, но Сталин дал понять, что за ценой не постоит. Черчилль верил, что Сталин собирается бороться до конца. Бросает в дрожь, когда читаешь о требованиях, которые Сталин предъявлял к своему народу, и угрозах, которые он высказывал в адрес тех, кто не приносил требуемую жертву; его показательные процессы, погромы и ГУЛАГи являлись проявлениями того, кем он был на самом деле, — хладнокровным убийцей. Он убивал, чтобы захватить власть, и убивал, чтобы удержать ее. Никто из коллег никогда не писал о Дядюшке Джо, как писали о Черчилле его коллеги, что Сталин был обманщиком и хвастуном. Сталин не обладал ни черчиллевским красноречием, ни тем, что можно было бы назвать благородством характера. Он не видел необходимости ни в том, чтобы вдохновлять свой народ, ни в том, чтобы просить народ отдать свои «кровь, тяжкий труд, пот и слезы». Однако, несмотря на различия в характерах, политике и духовности, и глубокие различия, Черчилль нашел в Сталине союзника, который, как и он, был готов убивать немцев до победы над Гитлером. В последующие три года многие в Вашингтоне и Лондоне считали, что Сталин, как большевики в Первой мировой войне, прекратит борьбу, если сможет найти удовлетворительный выход. Черчилль никогда так не думал.

За несколько дней до вторжения Гитлера в Россию в журнале Time была опубликована статья под заголовком «НЕУБИЙСТВЕННАЯ ВОЙНА» — «самое удивительное во Второй мировой войне не скорость, не распространение, не тактические возможности — а относительная неубийственность». Это оказалось огромным заблуждением; за четыре недели в России погибло «под напором стали и огня» больше солдат и мирных жителей, чем за прошедшие двадцать два месяца войны на Европейском, Средиземноморском и Африканском театрах. И это было только начало[343].

Сталин нуждался в британской и американской помощи для восполнения потерь в технике. Перспективы у него были довольно печальными, учитывая, что за первые семь месяцев после немецкого вторжения американцы поставили в Россию всего пять бомбардировщиков. Но не американские самолеты имели решающее значение для

выживания Сталина. Решающую роль играли миллионы советских пехотинцев, которых вооружали, одевали и кормили Америка и Великобритания, при поддержке тысяч танков. Сталин понимал, что такое война на истощение; солдаты будут до последнего вести бой за каждую улицу, каждый дом. Недалек тот день, когда Черчилль будет обладать достаточным количеством самолетов — изготовленных на американских заводах и поставленных в Англию, — чтобы уничтожать немецкие города и их жителей. «Мы превратим Германию в пустыню, да, да, именно так, в пустыню», — сказал Черчилль Колвиллу. А у Сталина были людские ресурсы, неограниченные, чтобы убивать немецких солдат; единственное, что требовалось Сталину и Черчиллю, — это время. Америка, похоже, была все ближе к вступлению в войну, но в начале года Черчилль предупредил Гарри Гопкинса, что, несмотря на планы перевооружения, Америке потребуется как минимум полтора, а то и два года для работы на полную производственную мощность. Следовательно, Америка будет в полной боевой готовности самое раннее в середине 1942 года, а это слишком поздно, если Гитлеру удастся к Рождеству 1941 года одержать победу над Сталиным[344].

20 июля в Чекерсе был устроен обед в честь Гарри Гопкинса, который несколько дней назад прилетел в Англию на «Боинге» B-17*.

Гопкинс привез ветчину, сигары и президентское обещание помощи, но не привез приглашение на встречу с Рузвельтом, которой так жаждал Черчилль. Этого одного было достаточно, чтобы вогнать премьер-министра в тоску, но, как бы он ни был расстроен отсутствием у Рузвельта желания встретиться с глазу на глаз, он не мог говорить об этом при Гарри. Но он мог выместить свое недовольство, говоря на обычные темы — о Гитлере и Муссолини, о желании отомстить им и о том, что он обязательно осуществит свое желание. Черчилль с Гопкинсом просидели за разговорами почти до трех часов ночи, и, как обычно, больше говорил Черчилль. Колвилл вспоминал, что «когда Уинстон заговорил о том, что он сделает с нацистскими лидерами после войны — и с нацистскими городами во время войны, — Гопкинс сказал, что он — Уинстон — читал только те отрывки из Библии, которые подходили ему, и они взяты из Ветхого Завета»[345].

Наконец Черчилль получил долгожданное приглашение. «Как-то днем в конце июля в сад на Даунинг-стрит пришел Гарри Гопкинс,

---

* Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») — первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Название «Летающая крепость» придумал Ричард Вильямс, репортер Seattle Times, когда увидел, как из ангара выезжает самолет, ощетинившись пулеметами. Бомбардировщику B-17 посвящена одна из самых популярных песен Второй мировой войны: Coming In On A Wing And A Prayer (русская версия «Бомбардировщики»).

и мы вместе сидели на солнышке. В разговоре он сказал, что президенту очень хотелось бы со мной встретиться в какой-нибудь уединенной бухте». Гопкинс связался по телефону с президентом. Черчилль был настолько взволнован, что начал разговор с упоминания «некой встречи», прежде чем понял, что разговор ведется по открытой линии. Согласно Колвиллу, он был в приподнятом настроении[346].

Время и место встречи — кодовое название «Ривьера» — были согласованы: 9 — 10 августа, Арджентия, Ньюфаундленд. 5 августа газеты с обеих сторон Атлантического океана, отметив исчезновение из столиц Черчилля и Рузвельта, сделали вывод, что где-то в северо-западной части Атлантики состоится секретная встреча лидеров двух держав. United Press назвало ее «свиданием на море». Хотя сотрудники Черчилля и Рузвельта держали встречу в полном секрете, пронырливые журналисты знали о ней или думали, что знали. Американские репортеры решили, что 5 августа видели президента на палубе яхты «Потомак» в заливе Баззардс. Но человек, сидевший в шезлонге и махавший платком, был агентом секретной службы. 5 августа на рассвете Рузвельт перешел с яхты Potomac на крейсер Augusta, который взял курс на север, к Ньюфаундленду[347].

3 августа Черчилль выехал на поезде в Скапа-Флоу в компании Гопкинса (только что «вернулся смертельно усталый из России»), Гарримана, Кадогана из министерства иностранных дел и личных секретарей (машинисток не было, поскольку решили, что для женщин это слишком тяжелая поездка). Среди сопровождавших Черчилля был и Профессор, который недавно был пожалован титулом лорда Червелла Оксфордского, — на зависть врагам среди оксфордских шишек, — Оксфордского, поскольку река Червелл протекает через Оксфорд, чтобы встретиться к югу от центра города с Темзой. Инспектор Томпсон совершал поездку вооруженный надежным «Кольтом». Черчилль не взял с собой камердинера; его обязанности — тяжелейшие — Старик возложил на сыщика. Должным образом были представлены военные: Дилл, Дадли Паунд, армейские полковники и полковники авиации, а также Йен Джейкоб, который в военное время сопровождал Черчилля в большинстве поездок. Свита, написал Колвилл, которой «наверно, позавидовал бы кардинал Уолси»*.

На завтрак в поезде подали стейк из говяжьей вырезки и пирог со свежей малиной и смородиной. Черчилль пил шампанское. Джейкоб вспоминал, что Червелл считал на логарифмической линейке (по просьбе Черчилля), сколько шампанского Старик выпил за всю свою

* Кардинал Томас Уолси (или Вулси) — канцлер Английского королевства в 1515—1529 годах, архиепископ Йоркский с 1514 года, кардинал с 1515 года. До 1529 года считался самым могущественным человеком в Англии после короля Генриха VIII, держал в своих руках всю внешнюю и значительную часть внутренней политики.

жизнь, учитывая, что он «ежедневно за обедом пил прекрасное шампанское на протяжении последних двадцати лет». Ответ Червелла — намного меньше, чем вмещает железнодорожный вагон, — не слишком разочаровал Черчилля. Он пребывал в прекрасном настроении[348].

4 августа во второй половине дня они отплыли из Скапа-Флоу на «Принц Уэльский», чьи раны, нанесенные «Бисмарк», исчезли под слоем серой краски. Командиром корабля был Джон Лич, на которого Черчилль обрушил свой гнев после преследования «Бисмарк». Корабль направлялся к Ньюфаундленду, соблюдая полное радиомолчание. Если бы Черчиллю потребовалась медицинская помощь, пришлось бы обращаться к судовому врачу. Клементина умоляла его взять с собой доктора Уилсона, но Уинстон наотрез отказался. Брэнден Брекен, недавно возглавивший министерство информации, предложил Черчиллю взять с собой операторов и министерских журналистов, чтобы заснять важную, хотя, конечно, скорее символическую встречу. Черчилль с восторгом поддержал эту идею. Это было морское путешествие, и каждый его жест будет снят на пленку, поэтому он выбрал для поездки из своего довольно обширного гардероба одежду на морскую тематику, включая темно-синюю шинель Королевского флота — клубная одежда Royal Yacht Squadron* — и фуражку.

Он с пыхтением поднимался и спускался по трапам, ходил по нижней палубе «Принц Уэльский», напоминая деловитого капитана буксира. 5 августа после ужина посмотрели Pimpernel Smith («Смит-Пимпернель») с Лесли Говардом. На море усилилось волнение, и корабль стал испытывать качку. Черчилль, рассматривая путешествие как временную передышку, ушел в свою каюту, чтобы почитать перед сном роман С.С. Форестера о приключениях капитана Горацио Хорнблауэра[349].

Корабль шел на запад, и Черчилль размышлял о своих перспективах в Западной пустыне, где его войска терпели поражение от Роммеля. Он продиктовал записку в адрес начальников штабов, убеждая их «найти способ вернуть артиллерии ее решающую роль на поле боя, роль, которой она лишилась в результате появления танков с тяжелой броней». Отец танков** питал сомнения относительно своих детищ, но после уроков Франции и Западной пустыни ему следовало знать, что умелое использование большого количества танков значит намного больше, чем толщина их брони.

---

* Яхт-клуб Royal Yacht Squadron был основан в 1815 году и позиционирует себя как «самый престижный яхт-клуб в Великобритании, а возможно, и во всем мире». Покровителем клуба является королева Елизавета II, а адмиралом — принц Филипп.

** В 1917 году Черчилль стал министром вооружения. Он развернул широкое производство танков и получил прозвище «отец танков», после того как эта техника хорошо зарекомендовала себя на полях войны. Он часто выезжал на фронт во Францию, участвовал в планировании операций.

Множество танков при поддержке истребителей могли захватить практически любую позицию. Повестка дня предстоящей конференции включала вопрос о танках, тысячах танков, изготовленных в Америке. Но сколько танков должно было отправиться в Великобританию, где Черчилль мог использовать их там, где считал необходимым, и сколько в Россию, где они были еще более необходимы?[350]

И Черчилль решил, что на встрече с Рузвельтом ему понадобится Бивербрук. Бивер, астматик, страдавший клаустрофобией, одинаково ненавидел холодную кабину бомбардировщика и тесную каюту на корабле. Тем не менее он проделал путь до Ньюфаундленда на самолете. Самолет, на котором летел Артур Первис, глава британского совета по поставкам, вскоре после взлета врезался в гору; Первис и все, кто летел с ним, погибли. Утрата Первиса была «невосполнимой», как позже написал Черчилль. Когда об этом стало известно, Бивербрук «никак не прокомментировал сообщение. Это была война». На Бивербрука, уставшего, не любимого как американцами, так и Первисом, свалилось бремя пополнения запасов, бремя, осложненное длинным черчиллевским списком необходимого; эти листы он отделил красной кожаной закладкой, на которой были вырезаны слова: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете»*.

Инспектор Томпсон, увидев надпись, заметил, что это доброе предзнаменование. Черчилль согласился: «Да, я надеюсь, что это доброе предзнаменование, поскольку мне много надо попросить»[351].

Но его интересовали не только поставки. Черчилль планировал попросить Рузвельта совершить необходимые дипломатические шаги — и военные, если понадобится, — связанные с размещением американских войск, самолетов и кораблей на Азорских островах и островах Зеленого Мыса. Сделать так — значит нарушить суверенитет Португалии, но Черчиллю уже было не до дипломатических тонкостей. И, учитывая шаткое положение Великобритании в Азии, он хотел попросить Рузвельта выступить с экстраординарным заявлением в адрес Японии: немедленно прекратить дальнейшую территориальную экспансию, ибо в противном случае Соединенные Штаты вступят в войну. Его мотив был прозрачен. Любой взрыв, направленный американцами против Японии, только усилит шаткое положение Великобритании на Дальнем Востоке. Он считал, что данный момент как нельзя лучше подходит для того, чтобы заставить Японию действовать немедленно, вопреки ее желанию. А чтобы ни Рузвельт, ни Государ-

* В Евангелии от Матфея (7: 7—8) сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». То же самое говорится и в Евангелии от Луки (11: 9): «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам». Одним словом, добивайтесь своего, ваше упорство будет вознаграждено.

ственный департамент не смогли уменьшить накал угрозы, сам взялся за составление текста[352].

6 августа Рузвельт и Черчилль спешили к выбранному месту встречи, все еще не известному журналистам. В тот день редакторы одной из самых читаемых американских газет, Brooklyn Eagle, сделали вывод, что встреча действительно состоится, хотя бы потому, что «американские и британские официальные лица не способны опровергнуть» слухи. Спустя два дня вечером Черчилль смотрел фильм That Hamilton Woman*, в котором проглядывается параллель между Наполеоном и Гитлером.

Главные роли в фильме, Горацио Нельсона и Эммы Гамильтон, исполнили Лоуренс Оливье и Вивьен Ли, поженившиеся год назад в Санта-Барбаре. Фильм, который очень нравился Черчиллю (он даже поздравил Александра Корду, продюсера и режиссера, с успехом картины), рассказывает о романе Нельсона и Эммы Гамильтон, жены британского посла в Неаполитанском королевстве. В 1941 году Черчилль пять раз посмотрел фильм, и пять раз Нельсон одерживал победы. Черчилль, по воспоминаниям Кадогана, «прослезился» в тот момент, когда смертельно раненному адмиралу Нельсону сообщают, что сражение выиграно. Когда закончился фильм и зажегся свет, Черчилль обратился к нескольким членам экипажа, задержавшимся в кают-компании: «Господа, я подумал, что вас заинтересует этот фильм, поскольку в нем показаны великие события, подобные тем, в которых вы принимаете участие». Кадоган ушел спать, оставив Черчилля и Гопкинса за игрой в триктрак. Удача сопутствовала Черчиллю; он обыграл американца, и его выигрыш составил порядка 200 долларов[353].

Босс Гарри, от которого Черчилль требовал миллиарды, как известно, проявлял себя скорее как ловкий торговец, нежели игрок. В это время Рузвельт находился на борту судна, стоявшего на якоре в бухте Арджентия, которая в результате обмена миноносцев на территорию за несколько месяцев превратилась из собственности британской короны в одну из самых больших военно-морских баз США.

Когда 9 августа на рассвете «Принц Уэльский» бросил якорь в заливе Пласентия, инспектор Томпсон сказал Черчиллю, что предстоящая встреча с Рузвельтом, безусловно, оставит свой след в истории. «Да, — ответил Черчилль, — и особенно если я получу то, что хочу». Дилл не напрасно настаивал на съемке. Фильм, вышедший спустя несколько недель после состоявшейся встречи, очистил общественное сознание от всякого рода подозрений, которые часто появляются из-за подобных секретных встреч. В момент истины возникла какая-то проблема с кинокамерой, и звук не записался, поэтому не удалось зафиксировать для потомства приветствия, которыми обменялись Черчилль с Рузвельтом[354].

* В русском прокате название фильма «Леди Гамильтон».

Рузвельт стоял возле трапа, опираясь на руку своего сына, Элиота, одетого в армейскую униформу. Президент был в летнем деловом костюме. Он широко улыбался, но мудштука не было; его отсутствие означало, что президент не собирается ни на что отвлекаться. Черчилль вскарабкался по трапу, великолепный в своей военно-морской форме. Фуражка низко надвинута на лоб. В левой руке пара перчаток, что позволяет ему не снимать фуражку и, соответственно, не позволяет сфотографировать его, когда он приветствует президента, держа в руках головной убор. Немного наклонившись и почти подобострастно ссутулившись, он протянул правую руку президенту, оказавшемуся чуть ли не на голову выше Черчилля. Колвилл пишет, что Черчилль был прекрасно осведомлен о различиях между конституционно-правовыми статусами премьер-министра и президента; британский премьер-министр был первым министром короля, но, в отличие от американского президента, не являлся главой государства и главнокомандующим. Черчилль всегда считал, что Рузвельт выше его по рангу. Он вручил Рузвельту рекомендательное письмо от Георга VI. В неофициальной обстановке Черчилль и Рузвельт не нуждались в представлении, поскольку уже встречались в Лондоне в 1918 году на обеде в Грейс-Инн (Gray's Inn)*; в то время Рузвельт был помощником министра военно-морского флота.

К сожалению, Черчилль не сохранил воспоминаний о встрече с американцем, хотя, возможно, Рузвельт вызывал у него какие-то смутные, малоприятные воспоминания. Но Рузвельт не стал вдаваться в воспоминания, и за завтраком они перешли к обсуждению черчиллевского списка желаний[355].

У Рузвельта, впрочем, тоже было желание. Он не ставил никаких особых условий и высказывал его открыто. Но если Черчилль хотел привезти со встречи в Арджентии американские гарантии помощи в виде крупных денежных сумм, то Рузвельт хотел привезти в Америку нечто более значительное — совместное заявление о послевоенных целях. В течение многих месяцев они оба избегали открыто высказываться по поводу послевоенного устройства мира, но через несколько часов после обмена взаимными приветствиями Черчилль приступил к работе над совместным заявлением, отчасти чтобы опровергнуть «все россказни о моих реакционных взглядах деятеля Старого Света и об огорчениях, якобы причиненных этим президенту». В воспоминаниях он с гордостью написал, что «документ, который стал впо-

* Судебные инны — традиционная форма самоорганизации адвокатского сообщества в Англии и Уэльсе. Каждый полноправный адвокат (барристер) должен вступить в одну из четырех юридических корпораций, или палат — Линкольнс-Инн, Грейс-Инн, Миддл-Темпл либо Иннер-Темпл. Их здания занимают обширную территорию на стыке границ Сити, Вестминстера и Холборна, преимущественно вокруг Темпла и судного двора.

следствии называться Атлантической хартией, по своему содержанию и духу был английским произведением, изложенным моими собственными словами»[356].

10 августа — в воскресенье — Черчилль с Рузвельтом позволили фотографам сделать несколько снимков. Рузвельт в сопровождении штабных офицеров и нескольких сотен американских моряков поднялись на борт «Принц Уэльский». Черчилль лично составил сценарий проведения богослужения, написал, какие будут исполняться гимны и в каком порядке. У него, как было отмечено, на глазах выступили слезы, когда они все вместе запели O God, Our Help in Ages Past (стихотворное переложение 90-го псалма). «Это было великое мгновение. Но почти половине из певших моряков суждено было вскоре погибнуть», — написал Черчилль в воспоминаниях[357].

По окончании церемоний Черчилль, Гарриман, инспектор Томпсон и Алек Кадоган сели в вельбот, который доставил их на берег. Шел дождь. Томпсон отметил, как изменилось поведение Черчилля, «как только мы вышли на берег». Впервые после года «тяжелейших разочарований и неудач, когда-либо выпадавших на долю одного человека», Черчилль, казалось, позволил себе «утопить в глубине океана, который мы пересекли», все проблемы. Он безостановочно говорил, пыхтел сигарой и, когда дождь усилился, просто «прикрыл сигару рукой и продолжал говорить, говорить и пыхтеть». Такое поведение Черчилля, по словам Томпсона, свидетельствовало о том, что он пребывал в приподнятом настроении. Кадоган вспоминал, что они провели несколько часов гуляя по берегу и Черчилль, «как школьник, получал огромное удовольствие, бросая камешки с обрыва в воду. Он был оживлен; пока все шло хорошо. Но после двух завтраков, обеда и воскресной службы с президентом Черчилль ждал какого-нибудь знака, некоего подтверждения того, чего он больше всего надеялся получить от этой встречи. И вскоре получил. В воскресенье, во второй половине дня, Черчилль узнал от лейтенанта военно-морских сил США, что Рузвельт сказал «абсолютно ясно и безоговорочно, что вы величайший государственный деятель, которого когда-либо знал мир». Теперь Рузвельт мог не сомневаться, что его желание относительно совместного заявления будет удовлетворено[358].

В окончательном варианте Атлантическая хартия содержала восемь пунктов, включая заявление, что Соединенные Штаты и Великобритания «не стремятся к территориальным или другим приобретениям» «после окончательного уничтожения нацистской тирании». Эти слова доставили особое удовольствие Черчиллю, поскольку получилось, что Америка, нейтральная держава, сделала, по его словам, «поразительное», «воинственное» заявление о намерении. Четвертый пункт имел отношение к свободной торговле; они обязались «стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны, великие или малые,

победители или побежденные, имели бы доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического процветания этих стран». Учитывая долгую историю американского протекционизма и британской свободной торговли, Великобритания не нуждалась в подобных напоминаниях, и Черчилль высказал недовольство заместителю госсекретаря Самнеру Уэллсу. В 1920-х и начале 1930-х американцы считали тарифы и протекционизм лучшей защитой от торговых блоков, среди которых блок Британской империи (с ее политикой предпочтения имперских товаров) был самым большим*.

Президент и Уэллс, чтобы успокоить Черчилля и доминионы, которые торговали с Лондоном на особых (льготных) условиях, согласились внести изменения в четвертый пункт, добавив слова «соблюдая должным образом свои существующие обязательства». Переговоры по четвертому пункту выявили понимание послевоенной экономической политики Рузвельта. Экономическая безопасность Соединенных Штатов могла быть достигнута только за счет Британии и установления с ней особых отношений.

Беспокойство Черчилля вызывал и восьмой пункт в первоначальной редакции. В нем звучал призыв к миру после войны, но не говорилось, как сохранять этот мир. Он добивался включения в декларацию о намерениях с целью обеспечения мира создание всемирной организации — нечто вроде Лиги Наций — во главе с англоговорящими странами. Учитывая полное фиаско, которое потерпела Лига Наций, многие в Америке были против создания каких-либо международных коалиций. Тем не менее Рузвельт предложил новую формулировку восьмого пункта (установление более широкой и надежной системы всеобщей безопасности), которая устроила Старика; из нее следовало, что после войны Соединенные Штаты «будут разделять с нами управление миром до установления лучшего порядка»[359].

Третий пункт вызывал у Черчилля особую досаду, поскольку из содержащегося в нем семени должен был, скорее всего, вырасти горький плод. В этом пункте гарантировалось «право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить» и «восстановление суверенных прав и самоуправления тех народов, которые

* В течение 1930-х годов британцам удалось создать свой собственный экономический блок — зону стерлинга, включавшую в себя торговую модель имперских преференций, дававшую преимущества странам Британской империи. Зона стерлинга — британские колонии и страны Содружества, включая Канаду, Австралию и Южную Африку, — появилась после выхода Британии из золотого стандарта в 1931 году и позволила защитить экономику Британии от самых тяжелых последствий экономической депрессии. Черчилль не собирался так вот запросто согласиться на разрушение этой оборонной системы. Он вынудил Рузвельта подписать Атлантическую хартию с существенно измененными положениями о свободном доступе к рынкам.

были лишены этого насильственным путем». Черчилль считал, что это имеет отношение к странам, завоеванным Гитлером, но в течение следующего года он начал понимать, что этот пункт «интерпретируется шире», чем хотели они с Рузвельтом или, по крайней мере, чем этого хотел он. Арабы, позже сказал он Рузвельту, могут понять Атлантическую хартию как руководство к действию, чтобы «выслать евреев из Палестины». Этого бы он не потерпел, поскольку, как он говорил, «я твердо придерживаюсь сионистской политики, одним из авторов которой я являюсь». Больше всего его беспокоило, что в британских колониях в Африке и Индии недовольные существующим положением используют Атлантическую хартию в качестве основания для отделения от империи. Первоначальный вариант, предложенный Рузвельтом, трактовался именно так. Но об этом не могло быть речи. И в Арджентии Черчилль настоял на такой формулировке третьего пункта (восстановление прав, а не предоставление), которое его удовлетворило. Оливер Харви, личный секретарь министра иностранных дел Энтони Идена, назвал Атлантическую хартию «очень расплывчатым документом». Иден, написал Харви в дневнике, считает, что Рузвельт «очень быстро разобрался с премьер-министром». Но Черчилль считал подписание Атлантической хартии не более чем символическим жестом двух лидеров, это был ни к чему не обязывающий лист бумаги, не ратифицированный ни конгрессом, ни парламентом. «В данном случае глупо прилагать излишние усилия, настаивая на своем», — сказал Черчилль Л.С. Эмери[360].

Кадоган невероятно, по оценке Черчилля, концентрировал внимание на деталях формулировок Атлантической хартии; «Слава богу, что я взял тебя с собой», — сказал Черчилль Кадогану. «Эти несколько слов, и то, как они были сказаны, являлись доказательством его искренности. Я был глубоко тронут и раздулся от гордости», — написал Кадоган в дневнике. Подобная сентиментальность была не свойственна Кадогану, которого инспектор Томпсон считал «самым холодным» из всех известных ему англичан, он был способен «взглядом испепелить крупье». Прошло пятнадцать месяцев в тех пор, как Кадоган написал в дневнике, накануне вступления Черчилля в должность премьер-министра: «Никчемный Уинстон... Я абсолютно не уверен в У.С. Ч.». Теперь он был уверен[361].

Черчилль уехал домой с тем, ради чего приехал, — с обещанием значительного увеличения поставок продовольствия, горючего и оружия. Кроме того, Рузвельт пообещал заменить в Исландии британские войска на американские и патрулировать небо и море к западу от Исландии, тем самым освободив пятьдесят британских военных кораблей для патрулирования северо-западных подходов. К тому же Рузвельт пообещал Черчиллю предъявить ультиматум японцам. Черчилль в записках кабинету и Клементу Эттли с особым удовольствием под-

черкнул, что *он* [Рузвельт] внял предостережению. 14 августа народы обеих стран и остальной мир узнали о подписании хартии[362].

В тот же день «Принц Уэльский» отправился домой; море попрежнему бушевало. Вечер прошел за игрой в триктрак (Черчилль рисковал, но выиграл) и просмотром фильма с Лорелом и Харди* и мультфильмов с Дональдом Даком.

17 августа «Принц Уэльский» встретил караван из семидесяти трех грузовых судов и танкеров, направлявшийся в Англию. Черчилль, разглядывая в бинокль палубы, заполненные самолетами и «пушками», назвал это зрелище «приятным». 18 августа «Принц Уэльский» прибыл в Скапа-Флоу. Единственный британский премьер-министр, рискнувший встретиться за границей с лидером иностранного государства, вернулся домой, размахивая бесполезным листком бумагом. Но он вернулся с тем, что окажется столь же ценным, как обещание Рузвельта относительно поставок огромного количества оружия, — растущей любовью и доверием американского президента. Дружба росла и крепла, но, как в любой дружбе, случались тяжелые моменты, иногда очень тяжелые. Черчилль вернулся домой довольным, отдохнувшим и полным энтузиазма. Когда они возвращались на поезде из Шотландии, вспоминал Кадоган, Старик был «весьма энергичен и, допив бенедиктин, спустя десять минут потребовал бренди. Официант напомнил ему, что он пил бенедиктин. Он [Черчилль] ответил: «Я помню, но хочу немного бренди, чтобы привести себя в порядок»[363].

19 августа он вошел в штаб, «широко улыбаясь», как отметил Колвилл, и «еще в морской одежде». Его переполняли эмоции, когда он сообщил кабинету, что Арджентия «символизирует... выступление мировых сил добра против сил зла». И добавил, что «американские морские офицеры не скрывают стремления вступить в войну». Йен Джейкоб, который вел записи на совещаниях американских и британских военных руководителей — Черчилль на них не присутствовал, — пришел к противоположному мнению. В дневнике он написал, что «ни один из американских офицеров не выявил ни малейшего желания вступить в войну на нашей стороне». Американцы, «похоже, считают, что война может быть выиграна нами без потерь на море». Однако Черчилль с Рузвельтом вынашивали план изменения хода войны на море, возможно всей войны. Рузвельт, объяснил Черчилль кабинету, не имеет ничего против «инцидента» в экстерриториальных водах и готов «вести войну без объявления». У Черчилля не было никаких письменных свидетельств, подтверждавших обещания президента, не считая Атлантической хартии, которая была не чем иным, как крючком с восемью зазубринами, на который Рузвельт мог насаживать империю, жестко или мягко[364].

* Лорел Стэн и Харди Оливер — американские киноактеры, комики, одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино.

Почти сразу по возвращении в Лондон Черчилль узнал, что Рузвельт не сдержал слово относительно обещанной угрозы в адрес Японии. «Львиный рык [Рузвельта] в Арджентии обратился в блеяние ягненка», — написал его биограф Джеймс Макгрегор Бернс. Рузвельт попытался выиграть время, ведя переговоры с японцами; процесс, который Хью Далтон назвал «довольно бессмысленными переговорами». Несколько человек, присутствовавших на конференции в Арджента, сказали Далтону, что «с мая или июня мнение в Соединенных Штатах изменилось» и, соответственно, у Рузвельта уменьшились шансы ввести Америку в войну. Что касается обещания резкого увеличения объема поставок, то, согласно последним данным, начиная с первого квартала 1941 года наблюдается снижение промышленного производства; освоено всего 2 миллиарда из семи, запланированных по программе ленд-лиза, и если Россия потерпит поражение, то этого явно будет недостаточно[365].

Тем временем ситуация в России с каждым днем становилась все хуже. Согласно «Ультра», нацисты проводили «массовые расстрелы [почти 40 тысяч] людей, которых Берлин называл то «евреями», то «еврейскими грабителями», то «еврейскими большевиками». Гитлеровские армии, казавшиеся всемогущими, рвались к Ленинграду и Москве. Гитлер приказал «стереть Ленинград с лица земли». Вскоре он приказал сделать то же самое с Москвой. Ситуация в России была настолько ужасной, что Черчилль хотел просить Сталина уничтожить нефтяные месторождения, если станет ясно, что поражения не избежать. Он даже дошел до того, что сказал членам военного кабинета: «Мы должны быть готовы подвергнуть бомбежке нефтяные месторождения, если русские сами не уничтожат их»[366].

«Мы еще не объявили [о вступлении в войну] и не принимали участие в боевых действиях, — говорилось в передовой статье New York Times от 2 сентября. — Но мы заняли позицию, которая в конечном счете должна заставить нас принять непосредственное участие, если наша нынешняя политика не окажется достаточной для уничтожения Гитлера. Позиция, с которой мы теперь не можем отступить... позиция, с которой подавляющее большинство американцев не имеют желания отступать». Никто всерьез не рассчитывал, что «нынешняя политика» уклонения от войны с Германией и осуществление поставок продовольствия, а также оружия в Великобританию приведет к поражению Гитлера. По сути, New York Times объявила: мы заняли позицию, которая в определенный момент приведет к войне, и не собираемся с нее отступать[367]..

Следуя этой логике, Америка была кораблем, дрейфующим в направлении войны, но Черчиллю этого было недостаточно. Черчилль считал своей первоочередной задачей за оставшуюся часть года

убедить Рузвельта вступить в войну. Когда его просьбы остались без внимания, он разработал план. Как-то вечером Черчилль, Уайнант и Гарриман за выпивкой завели разговор о том, какую выгоду Великобритания извлечет из «инцидента» в экстерриториальных водах в случае немецкого нападения на американский корабль. Американское правительство — по крайней мере, конгресс — будет потрясено и не испытает ничего, кроме благодарности, узнав, что Уинстон Черчилль придумал тактический ход для ускорения распространеия войны за счет Америки. Его просьба, чтобы американские корабли обнаружили местонахождение и настигли «Бисмарк», была попыткой опозорить янки. Как и просьбы об американских военно-морских патрулях у Азорских островов. В течение весны и лета Рузвельт не попадался на черчиллевскую приманку, и на то были серьезные основания. У президента не было решения проблем, которые бы возникли в результате столкновения американского военного корабля с враждебным немецким кораблем в неподобающем месте с катастрофическими последствиями. Рузвельту только и оставалось надеяться, что ничего страшного не произойдет в экстерриториальных водах до тех пор, пока американский флот и сами американцы не будут готовы, в военном и моральном отношении, к войне[368].

Уже в Арджентии Рузвельт сам поднял вопрос об «инциденте» в экстерриториальных водах и сказал Черчиллю, что Соединенные Штаты планируют, чтобы в каждом конвое, идущем в сопровождении американских военных кораблей, было по крайней мере одно американское торговое судно под американским флагом. Это был явный вызов Гитлеру; если он атакует американское торговое судно под охраной американских военных кораблей, то столкнется с последствиями. И снова казалось, что Рузвельт дает Черчиллю то, что он хочет[369].

Инцидент произошел 4 сентября, когда американский эсминец «Грир», который должен был доставить почту на американскую базу в Исландии, установил гидроакустический контакт с подводной лодкой. «Грир» сообщил британцам местоположение лодки и дожидался прибытия британских эсминцев. Они не появились. Но когда лодка атаковала «Грир» двумя торпедами, от которых он уклонился, то эсминец, в свою очередь, контратаковал ее девятнадцатью глубинными бомбами. Этот потенциально опасный случай закончился тем, что «Грир» благополучно прибыл в порт назначения. 11 сентября в очередной беседе у камина Рузвельт воспользовался случаем, чтобы подвинуть Америку еще ближе к непосредственному участию в европейской войне. Объявив Германию виновной в «пиратском акте», он сказал, что «в морской зоне нашей самообороны американские военные корабли и американские самолеты больше не будут дожидаться, пока нацистские подводные лодки, затаившиеся под водой, или нацистские корабли-налетчики на поверхности первыми нанесут свой

смертельный удар... наши патрульные корабли и самолеты будут защищать торговые суда, занятые перевозками в водах, которые мы относим к сфере своей обороны, независимо от того, под каким флагом они плавают. Мы будем защищать их от подводных лодок и от кораблей-налетчиков». Отодвинув американскую сферу обороны дальше на восток, Рузвельт на самом деле объявил «необъявленную войну» в Центральной Атлантике. Однако, как и в конце апреля, он не направил свои военные корабли в горячие районы боевых действий — к северо-западным подходам, Азорским островам и западноафриканскому побережью, — где существовала наибольшая опасность для британских конвоев, следовавших на Ближний Восток[370].

«Попирая все требования человечности, нацисты стремятся мечом покорить весь мир и установить в нем свое вечное господство, — сказал Рузвельт соотечественникам. — Настало время, когда вам и мне, осознав жестокую необходимость, нужно сказать им: «Нам известны ваши планы: вы хотите обречь наших детей и внуков на жизнь в условиях террора и рабства. Вы уже прямо угрожаете нашей безопасности. Дальше вы не пройдете». Соединенные Штаты «не стремились к открытым военным столкновениям с Гитлером», заявил Рузвельт, но «мы не так держимся за мир, чтобы ради него позволять нападать на наши торговые и военные суда при выполнении ими законной миссии». В итоге Рузвельт обратился к конгрессу с просьбой внести поправку в закон о нейтралитете, позволяющую вооружать американские торговые суда, которые могут оказаться в районе боевых действий. Конгресс, учитывая просьбу Рузвельта, по сути добивался суверенитета морей от лица Америки — фактически еще одно объявление войны. Предложенные Рузвельтом меры были дорогостоящими, но теперь Америка платила охотно. Во втором полугодии, в отличие от первого, наметился подъем производства. В сентябре американское правительство вкладывало 1,8 миллиарда долларов в неделю в военное производство, больше, чем было потрачено в разгар Первой мировой войны. С каждой новой просьбой к конгрессу, с каждым новым обращением к американцам, с каждым новым контрактом на поставку самолетов и танков Рузвельт приближался к войне, слишком быстро, с точки зрения американских изоляционистов, но недостаточно быстро, по мнению Черчилля[371].

17 октября имел место второй, более серьезный инцидент, чем в случае с «Грир». В этот день немецкая подводная лодка торпедировала американский эсминец «Кирни», сопровождавший североатлантический конвой; погибло 11 человек. Пролилась кровь, но конгресс по-прежнему безмолвствовал, и Америка сохраняла спокойствие.

31 октября немецкая лодка потопила гладкопалубный четырехтрубный американский эсминец «Рубен Джеймс» и вместе с ним 115 из 159 членов команды. Такого рода инцидент мог стать поводом для

начала войны. В телеграмме, направленной Рузвельту, Черчилль выразил сочувствие по поводу понесенных потерь. Но «Рубен Джеймс» не стал «Лузитанией» Второй мировой войны*.

Теперь Черчилль понял, что только намного более серьезный инцидент, чем потопление небольшого военного корабля, — который к тому же находился в зоне риска, — заставит Америку вступить в войну. На следующий день, выступая перед членами кабинета, он допустил, что Рузвельт столкнулся с «трудностями... в силу медленных изменений в американском общественном мнении и особенностей американской конституции. Никто, кроме конгресса, не может объявить войну. Но президент имеет право вести военные действия без объявления войны»[372].

После того как был потоплен «Рубен Джеймс», Черчилль понял, что Америка объявит войну на своих условиях, в свое время, по своим причинам, или не объявит вообще. Он сообщил военному кабинету, что «за последние двенадцать месяцев американское общественное мнение под его [Рузвельта] влиянием изменилось до такой степени, которую никто не мог предвидеть». Кроме того, сказал Черчилль, американский «военный флот сопровождает атлантические конвои и, наконец, американцы заняли твердую позицию в отношении японцев» — хотя не такую твердую, как Рузвельт обещал в Арджентии. Черчилль объяснил, что «с его стороны будет серьезной ошибкой оказывать давление на президента Рузвельта, чтобы он повлиял на общественное мнение». Мало того что это будет серьезной ошибкой, это еще и бесполезно. Не следует оказывать давления на американцев и их президента. Черчилль несколько раз говорил о том, что готов обменять шестимесячные поставки на непосредственное объявление пойны. Ему пришлось удовлетвориться поставками, поскольку Америка пока не желала вступать в войну, ни с объявлением, ни без объявления[373].

Выступая 11 сентября, Рузвельт для пущего эффекта произнес фразу, которая произвела огромное впечатление на американцев: «Когда вы видите гремучую змею, изготовившуюся для броска, надо бить ее, не дожидаясь, пока она ужалит». Это был просто оборот речи, дерзкий и эффектный, но Черчилль был в восторге. Однако к 1 ноября гремучая змея ужалила уже несколько раз: пострадали американские военные корабли «Грир», «Кирни», «Рубен Джеймс». Погибли американские моряки. Рузвельтовская угроза была явной, не вызывающей сомнений, но его действия отличались от слов: Америка подверглась нападению и никак не отреагировала[374].

* «Лузитания» — британский трансатлантический пассажирский лайнер был торпедирован германской подводной лодкой 7 мая 1915 года в районе, обозначенном кайзеровским правительством как зона подводной войны. Судно затонуло за 18 минут в 13 километрах от берегов Ирландии. Погибло 1198 человек из 1959 бывших на борту.

Вернемся в май. Спустя несколько дней после потопления «Бисмарк» Черчилль направил Рузвельту телеграмму, в которой поблагодарил за объявление чрезвычайного положения в Атлантике и за обещание увеличения поставок, доставляемых на американских судах, на Ближний Восток. Он закончил телеграмму подсчетом линкоров в Атлантике: Великобритания и Германия потеряли в Атлантике крупные корабли, но Германия не могла позволить себе потери. Ликуя по поводу потопления «Бисмарк», Черчилль написал, что «это окажет важное влияние на японцев. Я рассчитываю, что они снова возмутся за решение своих задач». На самом деле японцы занимались этим уже довольно продолжительное время[375].

В прошлом году Черчилль (после того как американцы отказали ему в просьбе побряцать оружием от его имени в Тихом океане) планировал отправить «Худ» и эскадру крейсеров и эсминцев в Сингапур, чтобы показать флаг и заставить японцев задуматься. Теперь этот вариант не рассматривался; немцы уничтожили «Худ». В конце октября Черчилль, в качестве сдерживающего фактора для японцев, отправил линкор «Принц Уэльский» для соединения в Коломбо с линейным крейсером «Рипалс». Он сообщил Рузвельту о миссии «Принц Уэльский» и в общих чертах обрисовал стратегию в Тихоокеанском регионе: «Нам необходимо в настоящий момент принять общие меры устрашающего характера. Самое лучшее иметь что-то, что может поймать и убить»[376].

Черчилль подвела его любовь к Королевскому флоту. 35 000-тонный быстрый линкор не мог поймать самолет, и только высочайшая точность стрельбы и удача могли помочь в уничтожении самолета. Даже после победы в Таранто, после атак на «Саутгемптон» и Illustrious, после разгрома флота Каннингема у Крита Черчилль не мог признать, что самолет, вооруженный всего одной торпедой или одной 500-фунтовой бомбой, способен уничтожить его быстрые линкоры. То, что на такое могут быть способны азиаты, не согласовывалось с его верой в англичан и их военные корабли и их значимостью в ведении дел в мировом масштабе. Черчилль «приписывал линкорам», вспоминал Йен Джейкоб, «возможности... которыми они больше не обладали»[377].

Черчилль разделял мнение старых адмиралов военно-морских сил западного мира — включая британское адмиралтейство, — что вероятность успешного сбрасывания бомб с высоты в несколько тысяч футов на палубу движущегося линкора весьма незначительна. Что касается торпед, то воздушная торпедная атака может оказаться опасной в открытом океане, но на флотах мира и среди военно-морских летчиков бытовало мнение, что на мелководье торпедные атаки не имеют успеха. Торпеды, сброшенные с самолетов, падают в воду и опускаются более чем на 100 футов, прежде чем подняться до нужной глубины; попадая на мельководье, они просто зарывались в тину и песок и не представляли угрозы. Тем не менее в ноябре прошлого года в Таран-

то британцы успешно провели такую операцию. На адмирала Исороку Ямамото и его планировщиков воздушно-морских операций произвел впечатление налет на Таранто; особое внимание они обратили на глубину, на которой действовали торпеды, — местами всего сорок футов, — как в гавани Пёрл-Харбор, где располагалась база Тихоокеанского флота Соединенных Штатов. Некоторые члены американского правительства сделали выводы из операции, предпринятой морской авиацией в Таранто. Адмирал Гарольд Старк, начальник штаба военно-морских сил, предложил адмиралу Джеймсу Ричардсону, командующему Тихоокеанским флотом, базировавшимся на Гавайях, натянуть сети в гавани Пёрл-Харбор. Ричардсон, считавший, что сети только помешают его кораблям, не последовал совету Старка[378].

Черчилль хотя и не извлек особого урока из Таранто, но не забывал о возможных последствиях. В начале года он спросил Идена, что планируется относительно 22 тысяч канадцев японского происхождения, проживающих в Британской Колумбии. «Это, безусловно, дело канадского правительства, но было бы интересно узнать, имеются ли соответствующие силы в той части доминиона. Примерно тридцать лет назад, когда были антияпонские восстания, японцы показали себя настолько сильными и хорошо организованными, что были в состоянии получить полный контроль». Сыновья и дочери этих иммигрантов выросли и стали добропорядочными канадскими гражданами; молодая пара в Виктории (столица Британской Колумбии), господин и госпожа Хаяши, назвала родившегося в 1941 году сына Уинстоном Черчиллем Хаяши. Черчилль поднял вопрос о японских канадцах на десять месяцев раньше Рузвельта, который только в конце ноября затребовал из Бюро переписи населения США списки с фамилиями и адресами более чем 125 тысяч японских американцев — «маленьких желтых друзей Гитлера», как назвал их Time, — проживавших на Западном побережье Америки[379].

Черчилль считал, что ни один фланг нельзя оставлять незащищенным. Однако, когда Исмей предложил укрепить гарнизон в Гонконге, Черчилль резко осадил его: «Абсолютно неправильно. Если Япония вступит с нами в войну, нет ни малейших шансов удержать Гонконг или освободить его». Вопрос обо всех имперских потерях в Тихоокеанском регионе будет «решаться на мирной конференции после войны», которая, вероятно, будет выиграна Великобританией. Когда дело дошло до планирования непредвиденных ситуаций в Тихоокеанском регионе, Черчилль допустил ошибку. Спустя несколько недель после наведения справок о канадском фланге Черчилль приказал Исмею «доложить об уровне квалификации орудийных расчетов батарей 15-дюймовых орудий и прожектористов в Сингапуре. Они оснащены радарами?». Судя по вопросу, Черчилль считал, что японцы появятся с моря. Некоторые тактические положения требуют творческого,

контринтуитивного подхода; это был именно тот случай. Черчилль должен был развить тему, поинтересовавшись, может ли японская пехота преодолеть предположительно непроходимые джунгли полуострова Малакка, чтобы напасть на Сингапур. На самом деле новый командующий в Сингапуре, генерал-лейтенант Артур Эрнест Персиваль, приказал выяснить, нельзя ли «прокрасться в Сингапур с черного хода», и пришел к выводу, что на Малакке нужно больше авиабаз, самолетов, танков и солдат. Лондон не отреагировал на его слова; все равно лишних ресурсов не было. На случай, если японцы появятся с суши, Лондон выбрал для Малакки тактику выжженной земли*.

Но даже при успешной реализации этой тактики полуостров Малакка протянулся, словно гостеприимные сходни, прямо до планшира острова Сингапур[380].

Расовые предрассудки исказили стратегическое видение Черчилля. Когда в январе Гарри Гопкинс высказал мнение, что инцидент, который сможет заставить США вступить в войну, будет спровоцирован Японией, Черчилль ответил, что Токио удержит от этого уничтожение в Таранто итальянского флота, который казался столь мощным на бумаге. «Судьба страшно наказывает тех, кто играет опираясь на несомненные факты», — сказал Черчилль Гопкинсу. Он считал, и был прав, что командование итальянских военно-морских сил предпочтет скорее сохранить свой флот, чем вступать в борьбу с британцами. Итальянцы заплатили за свою осмотрительность, когда британские моряки и летчики нанесли «мощные удары». Черчилль просто не мог представить, что могут нанести подобные удары по американскому или британскому флоту. Но японцы действительно извлекли урок из Таранто и собирались воплотить его в жизнь. «Япония очень подумает, — сказал Черчилль Исмею, — прежде чем объявит войну Британской империи»[381].

В апреле японский министр иностранных дел Ёсукэ Мацуока прибыл в Москву для подписания советско-японского пакта о нейтралитете, который был выгоден обеим сторонам; но Ёсукэ и Сталин ничего не знали о готовящемся предательстве Гитлера. Несколькими неделями ранее Мацуока встретился с Гитлером, который, вместе с Риббентропом, прозрачно намекал, что нападение японцев на Сингапур будет выгодно как Германии, так и Японии, поскольку разделит британские силы и отобьет у американцев охоту вступать в войну против Германии и Японии. К тому же Риббентроп намекнул на планы фюрера относительно России, дав понять, что, если Япония удержит сталинские войска в Азии, Германия сумеет быстро разделаться с Россией, врагом Германии и Японии. Но министр иностранных дел рей-

* Тактика выжженной земли — полное уничтожение любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении, чтобы они не достались противнику.

ха, откровенный головорез, не умел формулировать мысли в выражениях, которые были бы понятны опытному дипломату. И Мацуока отправился в Москву в полной уверенности, что Германия, Япония и Советский Союз будут долгие годы жить в мире и каждая империя станет проводить самостоятельную мирную политику.

21 июля правительство Виши согласилось с требованиями Японии относительно строительства воздушных и военно-морских баз в южной части Французского Индокитая. Спустя четыре дня Рузвельт ввел эмбарго на экспорт нефти в Японию и заморозил все японские активы в США. Несколькими месяцами ранее США ввели эмбарго на поставку в Японию металлического лома, но слишком поздно для китайцев, убитых в течение последнего десятилетия с помощью японских снарядов и танков, на которых, возможно, стояло клеймо «Сделано в США» (кроме того, американский металлолом пригодился при строительстве военно-морского флота Японии). На следующий день Великобритания последовала примеру Америки, а 26 июля голландское правительство, находившееся в изгнании в Лондоне, ввело против Японии экономические санкции. Япония, лишившись нефти из Голландской Ост-Индии, — часть этой нефти была настолько чистой, что не нуждалась в очистке, — не смогла бы использовать завоеванные территории и защищать свою империю. В понедельник, 28 июля голландские колониальные власти в Батавии (современная Джакарта) потребовали прекратить всякую торговлю и расчеты с Японией. Правда, у острова Таракан двум японским танкерам, в которые только что закончили закачивать нефть, позволили уйти в Японию. Американский дипломат предложил поставить рядом датчик уровня нефти и часы; каждое падение уровня японской нефти приближает решающий момент[382].

В ноябре 1940 года в Сингапуре начались секретные, неофициальные переговоры британцев, австралийцев и голландцев с целью составления планов в ответ на немецкие налеты в Тихом океане и нападения японцев. Вторая встреча состоялась в Батавии, а следующая — в феврале 1941 года в Сингапуре, на которой американские военные присутствовали в качестве «наблюдателей». На совещании в апреле американцы были уже полноправными участниками переговоров. Но к середине ноября 1941 года — после целого года переговоров — все еще не был разработан план ответа на японскую агрессию. Договориться удалось только об одном — о необходимости проведения разведывательных полетов для отслеживания действий японских военно-морских сил в Южно-Китайском море. Полеты ничего не дали. На свет так и не появился план на случай нападения японцев[383].

Япония нуждалась в нефти Голландской Ост-Индии, в бирманском рисе и малайском олове и каучуке, но, чтобы получить это, японцам требовалось определить местоположение и уничтожить американский

и британский Тихоокеанские флоты. Определить местоположение первого не представляло труда: в конце ноября американский флот стоял на якоре в Пёрл-Харборе. Не сложно было определить и местоположение британского флота, поскольку никакого флота не было. Учитывая растущие потери в Средиземноморье, британцы были не в состоянии сконцентрировать в Азии военно-морские силы, которые бы по праву могли называться флотом.

Когда замаячила перспектива войны в Тихоокеанском регионе, рассуждения Черчилля в течение 1941 года, за исключением последних трех недель года, были зачастую противоречивыми и даже наивными. В воспоминаниях он признался в этом, написав, что не претендует на знание Японии, древней и современной, и что его знания об этой стране ограничиваются чтением газет и несколькими книгами. Однако он был солидарен с Бисмарком, который убеждал государственных деятелей представить себя на месте врага, стать «другим человеком». Для того чтобы представить такое и понять мотивы противника, требуются знания. Черчилль никогда не страдал от отсутствия воображения, но в случае с Японией у него не хватало знаний. Черчилль, как викторианец, не слишком интересовался меланезийской расой, черной и желтой расами[384].

Его знаний было достаточно для того, чтобы понимать, что он не хочет воевать с Японией. Год назад он сказал Рузвельту, что если японцы двинутся к Сингапуру или Голландской Ост-Индии, то «у нас на сегодня нет сил на Дальнем Востоке, способных справиться с такой ситуацией». Несколькими месяцами ранее он сказал военному кабинету, что нападение японцев на голландские колонии «будет означать войну с нами». Он не считал, что им представится хорошая возможность наказать японцев, о чем и сказал Исмею. Но, как и в случае с Грецией, им, возможно, придется воевать, чтобы не уронить честь. Позволить японцам захватить голландские владения означает «согласиться с тем, что мы будем отрезаны от Австралии и Новой Зеландии и они расценят наше согласие как дезертирство». Но он не видел, чтобы японцы ускоряли кризис. В начале года Черчилль сказал Гопкинсу, что, учитывая перспективу столкнуться с англо-американским сопротивлением, японцы на это не пойдут. Он цеплялся за это мнение, хотя Гопкинс достаточно ясно сказал ему, что Америка, скорее всего, не ввяжется в войну с Японией за голландские интересы и британские тоже. На апрельском совещании военного кабинета Черчилль выразил сомнение по поводу вступления Японии в войну, если Гитлеру не удастся вторгнуться в Великобританию. В записках начальникам штабов и Идену Черчилль утверждает, что японцы «вряд ли пойдут на это, понимая, что тем самым вовлекут в войну Соединенные Штаты». В июле он повторил мнение, высказанное в апреле: «Повторяю, я убежден в том, что Япония не объявит нам войну ни в дан-

ный момент, ни в том случае, если Соединенные Штаты вступят в войну на нашей стороне». И если Япония примет предложение Гитлера и нападет на британские азиатские владения, то, сказал Черчилль, «я уверен, что Соединенные Штаты объявят войну»[385].

С какой стати? Не было никаких соглашений, которые бы обязывали Соединенные Штаты поступать подобным образом. И кому объявлять войну? Японии *можно*, но не обязательно, и, уж конечно, не Германии, где Черчилль так нуждался в Америке. Хотя в конце октября Черчилль обещал Рузвельту объявить войну Японии в течение часа после начала японо-американского кофликта, Рузвельт не давал подобного обещания в случае вторжения японских армий в Сингапур или Гонконг. Акция японцев против американцев — в течение всего года Черчилль ясно давал понять, что не ожидает этого, — не обязательно заставит Америку принять участие в войне Черчилля против Гитлера. К этому могут привести только два события. Во-первых, военные действия Гитлера, направленные против Америки, хотя он уже трижды нападал на американский военно-морской флот, и это не привело к объявлению войны. А во-вторых, если Гитлер объявит войну Америке, чтобы поддержать своего азиатского союзника, Японию, в случае ее нападения на Америку. Но даже для Черчилля была понятна абсурдность второго варианта, поскольку только дурак или сумасшедший мог объявить войну Америке, не находившейся в состоянии войны. Тем не менее Черчилль долгое время придерживался мнения, что «безумие — это такое заболевание, которое в военное время дает преимущество внезапности»[386].

Благодаря сотрудникам Блетчли Черчилль уже в августе знал, что Йозеф Зепп Дитрих, генерал войск СС и один из самых старых, близких друзей Гитлера, заверил японского посла в Берлине — от имени Гитлера, — что «Германия немедленно объявит войну в случае столкновения Японии с Соединенными Штатами». Позже в ходе войны Гитлер докажет свое сумасшествие, но в 1941 году он был на вершине успеха. Учитывая его коварство и патологическую страсть к вранью, его обращение к японцам, переданное через Дитриха, означало все и ничего. Фюрер мог присоединиться к японцам, если они затронут британские или американские интересы, а мог и не присоединиться[387].

В ноябре Черчилль сказал членам военного кабинета, что объявление войны Японии «даст повод антибританской партии [американским изоляционистам] заявить, что Соединенные Штаты вновь втягивают в британскую колониальную войну». К тому времени он понял, что только нападение на Америку может заставить ее вступить в войну[388].

В течение большей части 1941 года Черчилль придерживался мнения, что Япония обладает достаточным здравомыслием, чтобы хотеть и намеренно провоцировать Америку вступить в войну, мнение, которое разделяли американские изоляционисты. В конце октября Тгі-

bune Роберта Маккормика* заявила, что Япония «не может напасть на нас» и что «японский флот не в состоянии нанести удар по Пёрл-Харбору».

Черчилль понимал, что введение Рузвельтом запрета на продажу нефти Японии, по сути, относится к военным действиям, с чем не мог смириться военный министр Японии, Хидэки Тодзио, в силу национальной гордости. В середине октября Тодзио стал премьер-министром (оставаясь военным министром), и военная фракция в Токио заняла главенствующее положение, отодвинув всех умеренных. Если речь шла о выживании Японии, для Тодзио не существовало никаких преград; он был готов преодолеть любые расстояния и уничтожить любые объекты, включая Пёрл-Харбор. Маккормику, спрятавшему голову в песок, можно простить ограниченный кругозор. Но Черчилль должен был понимать, что Тодзио не смирится с существующим положением вещей. На протяжении многих лет американская нефть приводила в движение японский флот. Теперь нефть могла поставлять только Голландская Ост-Индия. А чтобы захватить голландские нефтеперегонные заводы, сначала следовало захватить Сингапур[389].

Черчилль считал японцев послушным и уступчивым народом, который, однажды предупрежденный о последствиях агрессии, учтет это предупреждение. Хью Далтон так изложил суть рассуждений Старика: «Премьер-министр считает, что японцы не начнут с нами войну, потому что он крайне серьезно предупредил их относительно дальнейшей агрессии в Тихом океане»[390].

То, что Черчилль говорил о японцах как о маленьких детях и предположил, что его «крайне серьезные предупреждения» могут заставить японцев отказаться от намерений по созданию великой азиатской империи, и еще предположил, что стратегический план Японии зависит от успешного вторжения Гитлера в Великобританию, выдает опасную англоцентристскую наивность. Великобритания была Родным островом Черчилля; Британская империя, включая страны Содружества, охватывала весь земной шар, и в этом смысле Великобритания была единственной в мире мировой державой. Захват Англии был важен для Гитлера, но не для Тодзио. Для японцев Сингапур имел большее значение, чем Лондон.

Военно-морская база в Сингапуре — 26 квадратных миль защищенных якорных стоянок — стояла на перекрестке морских путей поставки ресурсов, в которых больше всего нуждалась Япония, — голландская ост-индская нефть и малайский каучук. Более года назад гитлеровская стратегия потерпела неудачу, когда Гитлер пытался про-

* Маккормик Роберт — чикагский медиамагнат, владелец газеты Chicago Tribune. Был категорически против вступления США во Вторую мировую войну и усиления контроля государства и федеральной власти после объявления Нового курса Рузвельта.

бить головой неприступную стену британской крепости. Другое дело Сингапур. Он символизировал возможности Британской империи, это была одна из самых больших гаваней в мире, но крепостью он не был. Тодзио рассматривал его в качестве перспективной цели.

В течение ноября Черчилль с Рузвельтом обменялись немыслимым количеством телеграмм, в которых обсуждали и обдумывали вопросы, связанные с Японией. Британцы получили доступ к американской разведывательной информации Magic («Магия»), (дешифровка японских дипломатических сообщений). Согласно дешифровкам Magic, Япония могла принять чрезвычайные, но неуточненные меры, если ее требования — включая установление японской гегемонии в Китае — не будут удовлетворены. Тем не менее в Вашингтоне продолжались американо-японские переговоры, и Рузвельт информировал Черчилля о ходе переговоров. Японский посол Номура и посол по особым поручениям Сабуру Курусу предложили Государственному секретарю Корделлу Халлу модус вивенди, временное соглашение, которое «могло предоставить японскому правительству возможность повлиять на общественные настроения в Японии в поддержку... всесторонней программы мира». По мнению Рузвельта, предложения не соответствовали «основным американским принципам» и требованиям. «Я не очень надеюсь на успех, — телеграфировал Рузвельт Черчиллю 24 ноября. — Мы все должны быть готовы к реальной проблеме, возможно скоро»[391].

В воскресенье, 30 ноября, Черчиллю исполнилось 67 лет. Теперь ему оставалось всего три года до библейских 70 лет, и по любым меркам, библейской или страховой, он был стариком. Он и выглядел стариком. Лицо в глубоких морщинах; на щеках нездоровый румянец. Сутулость стала более явной. С его лица не сходило хмурое выражение; в тот год фотографам редко удавалось застать на его лице другое выражение. Ночью, когда уже наступил его день рождения, прежде чем пойти спать, Черчилль телеграфировал Рузвельту — который был моложе его почти на восемь лет — и снова, как в мае, понимая, какие «трудности конституционного порядка» стоят перед Рузвельтом, попросил президента — окольным путем — объявить войну, на сей раз Японии. План, как обрисовал его Черчилль, состоял в том, что Рузвельт скажет японцам в тот момент, который сочтет «подходящим и который может наступить очень скоро», о том, что «всякий дальнейший акт агрессии со стороны Японии вынудит Вас поставить перед конгрессом самые серьезные вопросы или что-нибудь в этом роде». Черчилль, как он это сделал в мае, принес извинения Рузвельту за то, что позволил себе «навязывать Вам такой курс, но я убежден, что он мог бы в корне изменить положение и предотвратить прискорбное расширение войны»[392].

Поздравления с днем рождения прибыли со всего мира. Король с королевой прислали поздравление, которое вызвало бы негодование у составителя открыток Hallmark*: «Поздравление с днем рождения от нас обоих».

Черчилль почтительно поблагодарил их величества за «чудесное поздравление, которое я получил и прочитал с большим удовольствием». Бивербрук прислал довольно эмоциональное поздравление: «Это письмо содержит поздравление с днем рождения от упрямого коллеги и преданного сторонника... Те, кто служил Вам, прославятся уже тем, что будут известны как люди Черчилля». И от Гарри Гопкинса: «Дорогой Уинстон. С днем рождения. И сколько же Вам лет?»[393]

Дилл прислал поздравление, джентльменский жест, учитывая, что двумя неделями ранее Черчилль произвел его в фельдмаршалы, а затем отправил в отставку. На протяжении длительного времени у них были непростые отношения; Дилл не хотел противоречить Черчиллю, который не желал прислушиваться к предостережениям Дилла относительно подавляющего превосходства Германии в России, которую, по мнению Дилла, ожидало поражение. То, что Диллу исполнилось 60 лет, пенсионный возраст для офицеров регулярной армии, позволило Черчиллю на законном основании отправить его в отставку**.

Черчилль принял решение, не посоветовавшись с Иденом. Когда Иден, считавший, что Черчилль недооценивает Дилла (премьер-министр называл его «заторможенным»), выразил огорчение в связи с отставкой Дилла, Старик ответил, что не посоветовался с ним, поскольку знал, что он не согласится. Вот так он вел дела. Когда подчиненный не соглашался с его мнением, Черчилль начинал придираться к нему. Когда подчиненный сдавался без борьбы, Черчилль высказывал сомнения относительно его боевого духа. Пару месяцев назад Колвилл отметил, что Черчилль воткнул нож в спину Диллу, а в конце ноября недрогнувшей рукой провернул нож в ране[394].

---

* «Холлмарк» — американский бренд, специализирующийся на производстве открыток, сувенирной продукции и т. п. Основан в 1910 году Джойсом Клайдом Холлом. Ему принадлежат эти слова: «Если человек начинает свое дело с единственной целью «делать деньги», у него мало шансов разбогатеть. Но если он на первое место ставит стремление служить людям и обеспечивать высокое качество товаров или услуг, то деньги сами найдут к нему дорогу. Производить первоклассные товары, нужные людям, — гораздо более сильный залог успеха, чем желание стать богатым».

** Черчилль планировал сделать Дилла фельдмаршалом и отправить его в Бомбей, утешительный приз для старого солдата, но после Арджентии, где Дилл легко наладил отношения с американцами, особенно с Маршаллом, в конце декабря Черчилль взял с собой свежеиспеченного фельдмаршала в Вашингтон на союзную конференцию, после которой Дилл остался в Вашингтоне в качестве главы британской военной миссии при Объединенном штабе союзников. По оценке Маршалла и Рузвельта, Дилл был одним из талантливейших людей военного времени, который способствовал созданию подлинно рабочих отношений между американцами и британцами. (*Примеч. авт.*)

Командующий войсками метрополии, пятидесятисемилетний ирландец, сэр Алан Брук, сменил фельдмаршала сэра Джона Дилла на посту начальника имперского Генерального штаба. В скором времени Брук станет самым известным представителем семьи Брук из Колбрука, семьи, издавно прославившейся военной службой британской короне. Двадцать шесть членов ее ольстерского клана сражались во время Первой мировой войны; двадцать семь — приняли участие во Второй мировой войне. Бруки олицетворяли дух Кухулина, знаменитого героя ирландских мифов; они жили, чтобы бороться.

Посвященный в рыцари за героизм, проявленный во время эвакуации из Дюнкерка, сэр Алан Брук любил отдыхать на природе и изучать птиц в естественных условиях. По мнению Бернарда Монтгомери, он показал себя «величайшим солдатом из всех солдат, представленных странами» во время войны. Брук написал в дневнике, что опасается черчиллевской «импульсивности, азартности и стремления любой ценой следовать собственным путем». Брук (Бруки для друзей) был не из тех, кто регулярно посещает церковь, но, узнав о назначении на пост начальника имперского Генерального штаба, он, «поддавшись порыву, встал на колени и молил Бога направлять и поддерживать» его в работе с Черчиллем. У его нового начальника было свое представление о Бруке. «Знаю я этих Бруков, — сказал Черчилль Исмею, — упрямые ирландцы, и нет ничего хуже, чем иметь с ними дело». На самом деле старший брат Алана, Виктор, был лучшим другом Черчилля в Индии. Алан Брук, как Черчилль, всегда четко выражал свое мнение. Во время обсуждений если он был с чем-то не согласен, то обычно говорил: «Я категорически против», и зачастую его слова сопровождались треском сломанного карандаша. В военном министерстве его прозвали «полковник шрапнель». В нем соединилось благоразумие и строгость; его одновременно боялись и любили солдаты. Он не любил яркого проявления чувств, поэтому ему не нравились близкие друзья Черчилля, особенно Бивербрук. Как-то вечером в Чекерсе Брук «испытал отвращение», видя, как Бивербрук вливает в себя «один стакан виски за другим... Чем больше я узнавал его во время войны, тем больше не любил и не доверял ему». Для Брука самообладание было долгом, для Черчилля — препятствием к радостям жизни. Оба были склонны унижать не слишком умных людей; оба, испытав ужасы Первой мировой войны (Брук на Сомме), были противниками стратегических инициатив, которые могли привести к позиционной войне и повторению кровопролития. Оба были упрямы. Брук тоже прислал поздравление с днем рождения[395].

Джок Колвилл не поздравил с днем рождения, поскольку был занят тем, что зарабатывал 2 шиллинга в день в качестве пилота-стажера в Королевских ВВС. Черчилль, несмотря на возражения Идена, в сентябре наконец удовлетворил просьбу Колвилла пойти служить в авиацию. Когда они прощались, Черчилль, пожимая руку Колвиллу,

напутствовал его словами: «Я очень привязан к вам; мы все, Клемми и я, особенно. До свидания. Да благословит вас Бог!» Колвилл ушел с «комом в горле, чего у меня не было уже очень давно». Через несколько недель кто-то, обладавший большим влиянием, добился, чтобы Колвиллу повысили зарплату до 400 футов стерлингов в год, именно столько он получал, работая у Черчилля[396].

Л.С. Эмери, выступая в этот день на Би-би-си, сказал, что Черчилль «воплощает в себе дух старой Англии, с ее непоколебимой уверенностью в себе, ее мрачным весельем, ее неизменным чувством юмора... ее несокрушимым упорством»[397].

На той неделе Тодзио пригрозил, что перережет Бирманскую дорогу, собираясь активизировать налеты на провинцию Юньнань. Чан Кайши обратился за помощью к Черчиллю. Премьер-министр был вынужден отказать в помощи. Как он объяснил Рузвельту, Великобритания «занята в другом месте». Связана, занята, все упиралось в одно — у него не хватало средств для решения собственных проблем, не говоря уже о Чан Кайши. Черчилль, вечный оптимист, был рад, что император Хирохито «проявляет сдержанность», хотя «проводимое нами совместно эмбарго вынуждает японцев сделать выбор между войной и миром». Он был прав, но Тодзё, а не поэтически настроенный Хирохито примет окончательное решение. Черчилль, не желая расставаться с убеждением, что японцы будут следовать разумной политике в Тихоокеанском регионе, закончил послание Рузвельту словами: «Я считаю, что Япония скорее втянется в войну постепенно, чем решится начать ее сразу»[398].

В свой день рождения он сообщил военному министерству, что война с Японией «уменьшит наши шансы победить Германию». Нам следует проводить такую политику, сказал он, чтобы «не допустить войну с Японией». Но выбор — война или мир в Тихоокеанском регионе — полностью зависел от Японии[399].

У Черчилля было много поводов быть благодарным судьбе; он был здоров, Клементина и дети тоже. Мэри, которой было всего восемнадцать, записалась во Вспомогательную территориальную службу и была зачислена в зенитную батарею в районе Энфилда. Рэндольф вернулся в Каир из Западной пустыни. Ему присвоили звание майора и назначили ответственным за связь с прессой, что позволило ему по ночам играть в азартные игры (он всегда был в проигрыше), выпивать и ухаживать за женщинами. К отцу Рэндольф испытывал «любовь и глубочайшее восхищение». Диана, очень нервная, подверженная приступам депрессии, стала уполномоченной по гражданской обороне и, по воспоминаниям Сары, ходила в брюках и на высоких каблуках. Кроме того, в течение нескольких месяцев она дежурила у постели мужа, Дункана Сэндиса, серьезно пострадавшего в автомобильной аварии; у него были повреждены обе ноги. Во время Норвежской операции Сэндис служил в зенитном полку в Норвегии, получил ранение и, до

того как попал в аварию, надеялся вернуться на поле боя. После выздоровления он вернулся к работе над проектами, связанными с радарами, зенитными установками и ракетами. Черчилль хотел назначить Сэндиса заместителем министра иностранных дел, ответственная должность, но Сэндис не обладал необходимой квалификацией для этой должности. Иден был категорически против. Тогда Черчилль нашел для Сэндиса место в военном министерстве. Это был столь вопиющий факт непотизма, что Джон Пек (один из секретарей Черчилля) предложил Колвиллу 5 фунтов, если тот посоветует Старику сделать Вика Оливера министром информации[400].

Вик Оливер — к тому времени они с Сарой уже развелись — прислал поздравление с днем рождения. Со временем Клементине стал нравиться Вик, но Черчилль даже не потрудился лучше узнать его. После развода с Оливером Сара поступила на службу в Женские вспомогательные военно-воздушные силы и работала в отделе аэрофотосъемки. Она мечтала стать актрисой, но не обладала особым талантом и, когда поняла, что никогда не станет звездой, рассталась с Виком. К чему она действительно испытывала тягу, так это к хорошему вину и крепким напиткам, но, в отличие от своего отца, не обладала способностью много пить и продуктивно работать. Она была упряма, как отец, и Черчилль называл ее «мулом». Черчилль испытывал гордость (о чем сказал членам семьи) по поводу секретной работы дочери, но, не считая редких встреч в Чекерсе, в тот год Сара — как и все дети — редко видела отца. Клементина, впрочем, тоже редко видела мужа[401].

Клементину выручала работа. Она была движущей силой Фонда помощи России, который за годы войны собрал для России более 8 миллионов фунтов стерлингов, в основном благодаря рабочим, хотя несколько богатых тори выписали чеки более чем на 200 тысяч фунтов стерлингов. По словам Мэри, ее мать «безумно уставала, физически и морально» от «напряженной общественной и семейной жизни». Мэри, упоминая о напряженной семейной жизни, дает понять, что Клементина страдала от нервных перегрузок и что отношения между родителями мало походили на те, что принято называть нормальными. В тот год Черчилль был «полностью поглощен событиями государственной важности» и все проблемы, связанные с детьми, переложил на Клементину. Он даже был не в курсе бурного, но непродолжительного романа Мэри с неким молодым человеком. У него было мало времени для решения семейных проблем, да он и не стремился найти для них время. Каждый вечер Клементина одевалась к ужину, но ее муж редко появлялся к ужину[402].

Самый ценный подарок ко дню рождения прибыл из Северной Африки. На прошлой неделе Окинлек показал Роммелю, что некоторые британские генералы умеют воевать. Операция под кодовым названи-

ем «Крусейдер» («Крестоносец») была самым мощным наступлением из предпринимавшихся британцами в пустыне. Войска под командованием генерала Алана Каннингема, героя Эфиопии, должны были прорвать позиции Роммеля, растянувшиеся на 50 миль, от его штаба в Бардии до Сиди-Омара. Затем Каннингем собирался перебросить часть сил на северо-запад, чтобы вовлечь Роммеля в детально спланированный бой, который, в случае успешного завершения, должен был заставить Роммеля отступить на запад и уйти из Киренаики. В каждой армии было приблизительно по 115 тысяч солдат, семьсот танков Каннингема почти в два раза превосходили количество танков, имевшихся у Роммеля; к тому же на стороне британского генерала был эффект внезапности. Из-за непрекращающихся дождей немецкие разведывательные самолеты не поднимались в воздух; Роммель понятия не имел, что британцы собираются перейти в наступление. 17 ноября Роммель собирался напасть на Тобрук в тот самый момент, когда из тумана неожиданно появились британцы. Шок испытали и те и другие.

Каннингем ошибался, считая, что Роммель поведет себя в соответствии с его планом и попадется в расставленную ловушку. Но Роммель не попался, поскольку в течение почти двух дней не верил, что британцы действительно перешли в наступление, и был полон решимости захватить Тобрук. Когда Роммель повел себя совсем не так, как ожидалось, Каннингем совершил грубую ошибку, рассредоточив свои танки по пустыне. Роммель наконец понял, что британцы перешли в наступление, сосредоточил свои танки, развернул, и 23 ноября в грандиозном танковом сражении, которого до этого еще не видела пустыня, его танки прорвали линию британской обороны. Британцы стали отступать на восток. Немцы тоже двинулись на восток. Началась такая неразбериха, что томми смешались с немцами, и все вместе понеслись как одержимые к египетской границе, а затем еще 15 миль за нее. Если бы Каннингем был оптимистом, то, возможно, решил, что ему удалось окружить немцев и что Роммель готов принять смерть. Но он был пессимистом и потерял контроль над сражением[403].

Его вернул Окинлек. 25 ноября он освободил Каннингема от занимаемой должности, приказал перегруппировать 8-ю армию и продолжать боевые действия. В течение четырех дней Окинлек расчистил коридор к Тобруку. На следующей неделе Каннингем был госпитализирован в Каир; согласно официальному объявлению, он страдал от «истощения». Роммель отступил в пустыню, перевооружился и вернулся. Накануне дня рождения Черчилля, вскоре после того, как 8-я армия установила контакт с осажденными в Тобруке войсками, Окинлек телеграфировал премьер-министру: «Поздравляю вас с днем рождения, коридор к Тобруку чистый и безопасный. Тобрук испытал облегчение, как и я»[404].

Теперь Родной остров был превращен в крепость. Более тысячи танков — три полностью оснащенных танковых дивизии — дислоцировались в 100 милях от Лондона, готовые заполнить побережье и порты в случае высадки немцев весной следующего года. Спустя два дня после дня рождения Черчилль, выступая в палате общин, сказал: «У нас есть несколько миллионов человек, которые будут сражаться до смерти, если страна подвергнется вторжению, но которых мы не можем обеспечить необходимым количеством винтовок, хотя наши винтовки исчисляются уже миллионами. Поэтому мы вооружим их пулеметами, пистолетами-пулеметами Томпсона, пистолетами, гранатами и бомбами, а если не хватит этого, то мы не колеблясь вручим им пики и булавы. В конце концов, вооруженный человек может добыть себе винтовку»[405].

Но у Черчилля были другие планы на свою постоянно растущую армию. С июня 1940 года он был уверен, что немцы не будут вторгаться на остров, и создавал армию в ожидании дня, когда они высадятся во Французской Северной Африке, и того дня, когда пересекут Канал, чтобы вести войну на Европейском континенте. В течение года военные инженеры проектировали искусственные гавани — названные Черчиллем Mulberries («Тутовые ягоды»). С верфей один за другим сходили корветы и эсминцы. Со сборочных конвейеров сходили тяжелые бомбардировщики «Ланкастер». Черчиллевской конечной целью была Европа. Когда придет время, он появится там, обеспечив превосходство в кораблях, танках, самолетах и солдатах, и принесет с собой искусственные гавани.

Палата общин и король решительно поддерживали Черчилля, хотя британская армия пока еще не одержала значимой победы над Гитлером. Фактически в 1941 году Черчилль не мог похвастаться ничем, кроме поражений, да еще несколькими диверсиями своих коммандос. Удалось, правда, уничтожить «Бисмарк», но это была скорее символическая, чем стратегическая акция. И Окинлеку удалось продолжить операцию «Крусейдер», но Роммель пока еще не потерпел поражение. Гарольд Николсон чувствовал себя не в своей тарелке, когда Черчилль, ликуя, сообщал членам палаты об успехах Окинлека. Ливия имеет второстепенное значение, написал Николсон. «Москва может пасть, Япония может выступить против нас. Франция может присоединиться к оси. Мы можем быть разбиты в Ливии». Если произойдет любое из перечисленного, написал он, «я чувствую, это негативным образом отразится на репутации Уинстона»[406].

Его репутация не пострадала, даже когда нехватка свежих овощей, сахара, угля и одежды стала ощущаться столь же остро, как нехватка побед. Британцы, подвергавшиеся ударам с 1940 года, поддерживали своего Винни, который, по словам Николсона, «являлся воплощени-

ем воли народа». Однако его политические противники придерживались мнения, что одно или два поражения, подобных поражению в Греции или на Крите, будут означать его конец. Христос и Морковь Криппс нацелился на свое законное, как он считал, место в кабинете, возможно даже во главе нового правительства, если Черчилль проиграет еще одно сражение[407].

Кэтлин Хилл составила список тех, кто прислал воздравления. Почти 120 человек со всего мира поздравили Черчилля с днем рождения; среди них были короли, королевы и европейские монархи, команда эсминца «Черчилль» и ученики Харроу. Пришли поздравления из доминионов, от чиновников высшего и среднего уровня. Короткое поздравление пришло от Уайнанта, свое уважение выразил Уэйвелл, находившийся в Индии, и «этот осел» де Голль. Прислали поздравления Иден, Эттли, большая часть членов кабинета и махараджа Непала. Даже от Сталина пришло поздравление. А вот Франклин Рузвельт не поздравил премьер-министра с днем рождения[408].

Черчилль испытывал недостаток только в том, чего желал больше всего, — чтобы его американские собратья сражались на его стороне. Америка помогала ему, но не стояла рядом. До Нового года оставалось четыре недели, и у него не было серьезных оснований считать, что Америка вступит в войну до окончания года. Потратив почти два года на просьбы, уговоры, лесть, понукания и предупреждения Рузвельта, он почти ничего не достиг. Черчилль, как и другие, обращавшиеся с просьбами к Рузвельту, слышал волшебные слова, но не получал ответы на свои вопросы. Хотя отношения с Рузвельтом были неоднозначными, но довольно многообещающими, чтобы поддерживать надежды Черчилля на спасение. Рузвельт по-прежнему придерживался политики «любая помощь, кроме войны». Для Черчилля это было недопустимо. Он стремился, чтобы их отношения строились на принципе «победа или смерть». Для таких отношений существует слово «альянс»[409].

В первые дни декабря самый надежный и беспощадный союзник Сталина, зима, застал немцев врасплох. Первый снег выпал 6 октября, рано даже для Москвы, и явился предвестником суровой зимы. Но немцы продолжали наступать. 2 декабря немецкий разведывательный батальон проник в Химки, пригород Москвы. 4 декабря температура упала до минус 17 градусов; резкие порывы ветра со снегом, который царапал кожу, словно острые металлические опилки, забивал глаза. На следующий день температура упала еще на два градуса, резина потрескалась, а бензин превратился в желе. Движение танков застопорилось. Немецкие солдаты, находясь в видимости Москвы, замерзали в летней униформе, поскольку начальник гитлеровского штаба, Альфред Йодль, решил, что выдача зимней одежды подвергнет сомнению

обещание рейха одержать победу над Россией до наступления зимы. Красная армия, перейдя в контратаку 5 декабря, заставила немцев отступить от Москвы. Это была настоящая контратака, хотя немцы отступили всего на несколько десятков миль. Немцы окопались. Для тысяч немцев в серой летней униформе эти окопы стали могилами. За первую неделю декабря 2 тысячам немецких солдат ампутировали обмороженные конечности. Испытания для вермахта только начинались[410].

В течение первой недели декабря Черчилль регулярно звонил в Блетчли с вопросом о расположении Объединенного флота Японии. Императорский линейный флот, под командованием вице-адмирала Тюити Нагумо, исчез на необъятных просторах Тихого океана. Другой японский флот, по слухам, находился в Южно-Китайском море, но где, никто не знал. Каждый раз, задавая вопрос, Черчилль слышал в ответ: разведывательной информацией не располагаем. Японский флот исчез.

Глава 3

ВОДОВОРОТ

1942 год

В начале декабря 1941 года Черчилль узнал, что владеет устаревшей информацией о событиях на Дальнем Востоке. Что там будет, мир или война? Он не имел права голоса в этом вопросе, и ему оставалось только ждать, а он ненавидел состояние бездеятельности, когда требовалось то, чего ему не хватало, терпение.

Наступили самые длинные ночи, когда вездесущее однообразие английской зимы проникало сквозь холодные каменные полы и старые деревянные балки в дом в Чеверсе. Телохранитель Черчилля, Уолтер Томпсон, вспоминал, что, когда зарядили зимние дожди, в старом доме создалась «странная и неприятная» атмосфера. Домашний персонал пытался создать уютную и теплую рождественскую атмосферу, насколько позволяли жесткие ограничения, наложенные войной, и отсутствие эффективного централизованного теплоснабжения. В будние дни Черчилль ночевал в Лондоне, в подземном штабе, где в его маленькой комнате помещался только стул, небольшой стол, обогреватель и полуторная кровать с электрической грелкой для ног. Голые лампочки свисали с бетонного потолка; за восемнадцать месяцев стены пожелтели от сигарного дыма. В Чекерсе было намного уютнее, чем в этом сыром полутемном подвале. Слуги расставили по всему дому вазы с сосновыми ветками и ветками остролиста. Зимой в старых английских домах холоднее, чем на улице, и дом в Чекерсе не являлся исключением. Горничные топили камины валлийским углем, за исключением большого зала и спальни Черчилля. Он требовал, чтобы в этих помещениях топили дровами — ему нравилось шевелить кочергой дрова в камине, молча глядя в огонь[1].

Приближался любимый Черчиллем праздник, рождественские каникулы, и в Чекерсе слуги установили в большом зале рождественскую ель, украсив ее стеклянными игрушками, свечами и фигурным печеньем, специально испеченным для этого случая. На всякий случай, если ель загорится, оставили в зале пару ведер с водой, в которые

опустили привязанные к метловищам большие губки — любимые губки Черчилля, которые позаимствовали у Старика (без его ведома). Черчилль, ворча, спустился вниз, босиком, в купальном халате, и потребовал у первого слуги, с которым столкнулся, чтобы ему немедленно вернули банные принадлежности[2].

Благодаря заботам друзей винный погреб в Чекерсе никогда не пустовал, и его содержимое способствовало подъему праздничного настроения. Шампанское Pol Roger подавали к каждому приему пищи. Друзья подарили коньяк Napoleon в таких количествах, что его, по словам Памелы, хватило бы судовой команде «на двадцать лет войны». Камердинер Черчилля, Фрэнк Сойерс, держал под рукой спиртовку, чтобы греть черчиллевский бокал с коньяком, и этот ритуал повторялся два-три раза за вечер. Среди подарков, приходивших со всего мира, было много коробок с сигарами. Кубинское правительство в этом отношении не скупилось; Черчиллю присылали ящики, набитые сотнями самых лучших гаванских сигар. Министерство финансов определило огромный размер акциза на сигары; Черчилль, возмутился, но заплатил. Профессор, лорд Червелл, настаивал, чтобы Черчилль отказался от сигар, поскольку боялся, что немецкие агенты в Гаване могут отравить табак. Проверка продуктовых подарков и сигар была поручена молодому Виктору Ротшильду, 3-му барону Ротшильду, химику из МИ-5 и специалисту по обезвреживанию взрывных устройств. Никаких ядов в продуктах и сигарах Ротшильд не обнаружил, но Профессор просил Черчилля не курить сигары Romeo y Julietas. Старик, невзирая на предостережения, блуждал по залам своей крепости, с сигарой и стаканом виски. У него было все, что необходимо, чтобы встретить опасность в стенах этого дома — семья была в безопасности, еды и напитков вволю и хорошая компания[3].

В выходные после дня рождения Черчилль пригласил в Чекерс Аверелла Гарримана с дочерью Кэтлин, корреспондентом Newsweek. Кэтлин была близкой подругой Памелы, и, поскольку через несколько дней был ее день рождения — ей исполнялось 24 года, — Черчилль предложил отпраздновать его за городом в компании Гила Уайнанта и всех тех людей, которые обычно бывали у него в гостях; устроить небольшую передышку в напряженном ритме войны. Черчилль подписал Кэтлин книгу своих воспоминаний о Суданской кампании The River War (в русском переводе «Война на реке», издательство «Эксмо»). Хотя ее день рождения выпал на воскресенье, отмечали в субботу, 6 декабря, в День святого Николая, покровителя моряков (купцов и детей). Вся Великобритания отмечает этот день; детям дарят подарки; праздничные службы проходят в Кентерберийском соборе и в сотнях небольших церквей, построенных в честь Николая по всему побережью, с которого англичане отплыли, чтобы построить империю, и с которого они теперь отплывали, чтобы защитить ее. Памятуя

о зимних бурях, британские моряки в часовнях на берегу и на борту кораблей обращались к Николаю с просьбой защитить детей и моряков в море.

6 декабря Клементина рано ушла спать, как и остальные члены семьи, все, кроме Черчилля. Он составил несколько записок по продовольственной проблеме — за исключением вооруженных сил, нормы продовольствия упали до самого низкого уровня; этого не хватало для поддержания здоровья и физических сил, чтобы работать полную смену на военных заводах. Черчилль все еще работал, когда позвонил Брук, сообщивший, что японские транспортные суда и военные корабли *возможно* направляются в Сиамский залив к перешейку Кра или к Бангкоку. А может, это блеф, точно никто не знает. В любом случае Великобритания не сможет остановить такой флот. Черчилль сразу связался с аналитиками из Блетчли, в надежде, что они смогут определить местоположение японского флота[4].

Они не смогли. Японский флот оставался невидимым.

После дня рождения Черчилля больше интересовало не местоположение японского флота, а другой вопрос. На той неделе Сталин ловко подвел Великобританию к тому, чтобы она объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии. Два последних государства пытались, но не смогли избежать войны, сдавшись на уговоры Германии и России. Финляндия, после вторжения Сталина в 1939 году желавшая отомстить — и вернуть границы до 1939 года, присоединилась к оси после вторжения Гитлера в Россию. Хотя Черчилль считал, что Финляндия выбрала «омерзительных» партнеров, и ему был противен Антонеску, он сказал военному кабинету, что хочет, чтобы было «запротоколировано, что, по его мнению, объявление войны Финляндии (а также Венгрии и Румынии) не поможет ни нам, ни русским. Единственным оправданием является то, что это необходимо для того, чтобы удовлетворить русское правительство». Черчилль бросил Сталину кость — три кости, — поскольку не мог достаточно быстро поставить самолеты и танки, в которых нуждался Сталин. Самое главное, он не мог открыть второй фронт в Европе. Вместо этого он приказал Идену отправляться в Москву, чтобы успокоить Сталина[5].

Он продолжал обдумывать ситуацию, с которой они с Рузвельтом могли в скором времени столкнуться в Азии. Если японцы нападут на британские или голландские владения, Великобритания вступит в новую войну. Что станет делать в этой ситуации Америка? Почти полгода Черчилль добивался у Рузвельта прямого ответа. Президент так его и не дал. Тогда Черчилль сказал Гарриману, что в случае нападения Японии Великобритания не будет объявлять войну «в течение часа», как обещал ранее, а подождет, пока Рузвельт примет «определенные действия при подобных обстоятельствах». Тогда, и только тогда Великобритания «в течение минуты» объявит войну Японии[6].

Лидеры двух стран договорились, что будут действовать в качестве партнеров в таком исключительно рискованном предприятии, как создание атомной бомбы. Когда несколькими неделями ранее американские физики подтвердили выводы комитета MAUD относительно реальности создания такой бомбы, Рузвельт выделил несколько миллионов из дискреционных фондов Вэниверу Бушу и его ученым-атомщикам. Буш с ближайшими помощниками создали такую завесу тайны вокруг себя и своей работы, что в течение многих месяцев американская пресса сообщала, что в университетах приостановлены работы по исследованию атома, за исключением работ по «искусственному получению радиоактивных элементов для использования в медицине». Буш, по просьбе Рузвельта, рассказал Черчиллю о решении создать бомбу и предложил совместный англо-американский проект под кодовым названием Mayson. Черчилль ответил: «Не вижу необходимости заверять Вас в нашей готовности сотрудничать с администрацией США по данному вопросу». Он назначил Джона Андерсона — «безжалостного человека» — главным администратором проекта с британской стороны, а лорда Червелла научным консультантом. Атомный проект предоставил Червеллу возможность посрамить своих противников в академии. Кроме того, у него появился реальный шанс расправиться с самым ненавистным врагом, Германией[7].

Утром 7 декабря, подгоняемый сообщением о японских военно-морских силах в Сиамском заливе, Черчилль составил сообщение о том, как можно пригрозить Японии, и отправил его Рузвельту. Он предложил Рузвельту сообщить Токио, что британцы и голландцы воспримут любое вторжение японских сил из Индокитая в Таиланд как нападение на сферу их интересов, что «приведет к военным действиях, ответственность за которые будет возложена на Японию». Двумя днями ранее Галифакс сообщил, что Рузвельт наконец согласился предупредить японцев, хотя никаких гарантий президент пока не дал. Учитывая состояние боевой готовности британских сил на Дальнем Востоке, черчиллевское предупреждение японцам было не чем иным, как размахиванием пустыми ножнами[8].

В августе в Арджентии Рузвельт сказал Черчиллю, что может вести войну без объявления войны. Эти слова — вызов (во всяком случае, вызов конгрессу США) — давали Черчиллю надежду, но Рузвельт не мог бросить вызов конгрессу, и Черчилль прекрасно это понимал. Рузвельт бросил вызов Гитлеру, направив американские войска в Исландию; он наложил эмбарго на Японию и прилагал усилия к пересмотру Актов о нейтралитете. Президент вызвал сильное недовольство у многих в армии, отправив Черчиллю новейшие американские танки на том основании, что Великобритания, в отличие от Америки, ведет войну. Рузвельт осторожно прокладывал путь к войне, несмотря на то что это могло негативно сказаться на отношении к нему рабочего класса, со-

ставлявшего ядро его избирателей. Осенью конгресс пригрозил сорвать его планы по вооружению торговых судов, если он не объяснит Джону Л. Льюису, председателю Объединенного профсоюза шахтеров Америки, что забастовка шахтеров будет приравниваться к измене, поскольку без угля не может быть стали, а без стали — танков для британцев и автомобилей «бьюик» и «форд» для американцев. Рузвельт настоятельно рекомендовал Льюису прекратить забастовку, и Льюис не подвел президента. В течение нескольких месяцев Рузвельт предпринял много важных шагов, однако фельдмаршал Дилл так отозвался об Америке: «Я никогда не видел страны столь неготовой к войне и столь терпимой»[9].

7 декабря гостями на завтраке у Черчилля были леди Александра Мэри Кадоган, герцогиня Мальборо, с несовершеннолетним сыном Джоном Джорджем Вандербильтом Генри Спенсером Черчиллем, маркизом Бландфордом, внуком Консуэло Вандербильт и будущим 11-м герцогом Мальборо. Юный лорд Бланфорд был на четверть американцем (Черчилль — наполовину). Четвертым гостем был Гил Уайнант, который, как и Черчилль, верил, что идет война за свободу, а не за привилегии. По дороге в столовую Уайнант столкнулся с Черчиллем. Премьер-министр спросил Уайнанта, как он думает, будет война с Японией или нет. Будет, ответил Уайнант. Тогда Черчилль «с невероятной горячностью» спросил, объявит ли Америка войну Японии, если Япония объявит войну Великобритании. Уайнант ответил, что объявить войну может только конгресс. Черчилль на мгновение задумался, и в это мгновение Уайнант понял, в чем причина его мрачного настроения. Если Япония нападет на сферу британских, а не американских интересов, то Черчиллю придется вести две войны, в одиночку. Судьба Британии, понял Уайнант, «зависит от того, что выпадет, орел или решка»[10].

Вечером 7 декабря мрачный Черчилль ужинал в компании Уайнанта и Гарримана. На ужине также присутствовали помощник Черчилля Томми Томпсон и его личный секретарь Джон Мартин*.

Черчилль показался Гарриману усталым и подавленным. «Поиск японских флотов ничего не дал. Он несколько минут сидел за столом, обхватив голову руками». Гарриман узнал то, о чем члены семьи знали уже давно: в зависимости от событий, случившихся в течение дня, будь то известие, что его любимого лебедя съел барсук, или сообщение о болезни старого друга, Черчилль приходил в столовую мрачнее

---

* Личный секретарь почти всегда обедал с Черчиллем, чтобы получить, оценить и сообщить информацию, считавшуюся жизненно важной. Руководители на таких обедах — сам Уинстон, Гарриман, Дилл, Гопкинс и другие — зачастую забывали упомянуть в своих мемуарах второстепенных помощников, которых британцы называли работягами, поскольку они всегда были рядом и являлись по первому зову. (*Примеч. авт.*)

тучи, и члены семьи молча ждали, когда у него сменится настроение. Как правило, это случалось после пары бокалов шампанского. Черчилль начинал цитировать Маколея или рассказывать истории из своей жизни[11].

Этот вечер преподнес сюрпризы. Вскоре после девяти Черчилль встал из-за стола и включил приемник. Сквозь атмосферные помехи пробивался голос диктора Би-би-си Альвара Лидделла, сообщавшего последние новости. Что-то о нападении японцев на британские корабли в Голландской Ост-Индии и на американские корабли в каком-то другом месте. Черчилль с гостями, пропустив начало передачи, застыли в молчании. Но тут на пороге комнаты появился дворецкий со словами: «Японцы напали на американцев». Томпсон, прервав его, сказал, что ему послышалось, будто диктор сказал, что американцы подверглись нападению у «реки Чжуцзян». Получалось, что японцы находились в устье третьей по длине китайской реки после Янцзы и Хуанхэ, примерно в 150 милях от Гонконга. А как туда попали американские корабли? В это время Лидделл повторил сообщение: американские корабли подверглись нападению на Гавайях. Какие корабли? Какого рода нападение? Черчилль и его гости вновь застыли в молчании[12].

Затем Черчилль вскочил и выбежал из комнаты, на ходу прокричав, что собирается выполнить обещание относительно объявления войны Японии в течение часа, если Япония нападет на Соединенные Штаты. «Подождите, — воскликнул Уайнант, — вы не можете объявить войну по радио». Черчилль остановился, вопрошающе глянул на Уайнанта и спросил: «И что я должен делать?» Затем повернулся к Джону Мартину и рявкнул: «Немедленно свяжите меня по телефону с президентом».

Сначала Уайнант поговорил с Рузвельтом, который подтвердил факт нападения, но опустил подробности, не только потому, что не знал размеров трагедии, но и потому, что разговор велся по незащищенной линии. Трубку взял Черчилль. «Господин президент, это японцы?» «Да, — ответил Рузвельт. — Они напали на нас в Пёрл-Харборе. Теперь мы в одной в лодке»[13].

Хотя Черчилль не знал, где точно на огромных тихоокеанских просторах находился японский флот, но теперь мог с уверенностью сказать, где он был несколько часов назад. Он еще не знал, что японцы бомбили Гонконг. И Сингапур. И высадились рядом с Гонконгом, и, за час до нападения на Пёрл-Харбор, генерал-лейтенант Томоюки Ямасита высадил войска в Кота-Бару, в 400 милях к северу от Сингапура. В это время японские бомбардировщики были на пути из Формозы в Манилу. В Вашингтоне у Франклина Рузвельта, после страшного известия о сотнях, а может, и тысячах погибших на Гавайях, — а может, и всех, — о потерях тихоокеанских линкоров, отпала необходимость в политических играх; закончился долгий, призрачный путь

президента и его страны к войне. Со смертью почти 2500 молодых американских моряков, морских пехотинцев и солдат — их война продлилась ровно столько, сколько времени уходит на то, чтобы выкурить одну сигарету «Лаки Страйк» или поцеловать, прощаясь, симпатичную девушку, — Черчилль наконец получил западного союзника. Но только в другой войне и против другого врага.

В воспоминаниях Черчилля есть глава, посвященная декабрьским событиям 1941 года, под названием «Пёрл-Харбор!». Он использовал в названии восклицательный знак не для того, чтобы подчеркнуть потрясение, испытанное Америкой от ужасающего нападения японцев на морскую базу, а чтобы передать свое глубокое облегчение. Он написал, что поздно вечером, после всех переговоров, подумал: «Итак, мы в конце концов победили». В ту ночь он лег спать очень довольным, и сон его был «спокойным и счастливым». Запись в дневнике Брука от 7-го числа показывает разницу между ним — штабным офицером — и Черчиллем, государственным деятелем, оценивавшим события с точки зрения их последствий в мире. «Вся наша работа последних 48 часов впустую! Японцы сами обеспечили участие американцев в войне»[14].

Черчилль был настолько обрадован известиями из Пёрл-Харбора, что в первую очередь, вот уж удивительно, решил поделиться ими с Имоном де Валера. После наступления полночи, уже 8 декабря, он составил телеграмму ирландскому премьер-министру, странный выбор, учитывая двадцатилетнюю историю неприязненных отношений между ними. Черчилль написал премьер-министру Ирландии: «Сейчас Ваш шанс. Сейчас или никогда. «Вновь нация»*. Я готов встретиться с Вами в любое время».

В прошлом году Черчилль сказал Рузвельту, что готов рассмотреть вопрос об объединении Ирландии, если де Валера даст возможность Королевскому флоту использовать три ирландских порта, а еще лучше если будет воевать на стороне союзников. Черчилль предложил де Валера «дорожную карту» для движения к единой Ирландии[15].

Черчилль долгое время считал Ирландию своенравной дочерью империи, для которой всегда горела свеча в окне. Де Валера не разделял энтузиазма Черчилля по поводу семейной встречи; он никогда не отвечал на попытки примирения. Наоборот, он попросил японского консула и немецкого министра оставить своих сотрудников и посольства в Дублине. Хотя Черчилль отправлял своих подчиненных в Дублин, чтобы добиться от ирландского правительства согласия присоединиться к союзникам, и постоянно обдумывал вопрос силового захвата ирландских портов, в течение трех лет он редко упоминал де

---

* «Вновь нация» «A Nation Once Again» — ирландская патриотическая песня. В результате опроса, проведенного Всемирной службой Би-би-си, эта песня является одной из самых популярных песен в мире.

Валера и только в конце 1944 года телеграфировал Рузвельту, указав, что необходимо «сделать что-то для Польши» и «сделать что-то для де Валера». Многие сыновья Ирландии добровольно служили в Королевских военно-воздушных силах, в Королевском военно-морском флоте и британской армии, но ирландская дочь не собиралась возвращаться домой. Как понял Черчилль, проанализировав новости с Оаху, мгновенная победа была лишь вопросом времени, неслыханных денежных средств и немыслимых жертв. Он смотрел в будущее и видел там возможность сохранить и усилить Британскую империю, даже те ее части, вроде Ирландии, которые Лондон давно потерял[16].

К утру 8 декабря события в Азии затмили донкихотские инициативы Черчилля относительно Ирландии. Он ложился спать с четким представлением о далеком горизонте, но не заметил пропасть прямо перед собой. К северу от Гонконга 25-тысячные японские войска ночью перешли реку Шам-Чунь и вторглись на арендованные Британией территории, где менее 2 тысяч солдат индийской и шотландской армий занимали оборону вдоль слишком растянутого фронта. Вынужденные отступить на 4 мили к острову Гонконг, они соединились с тремя индийскими батальонами и двумя канадскими — «Королевские стрелки» и «Виннипегские гренадеры», — отправленными в конце октября для усиления гарнизона, несмотря на то что несколько месяцев назад Черчилль предупреждал, что Гонконг падет, с подкреплением или без него. Канадцы в Гонконге знали, что японцы, расположившиеся лагерем на материке, должны не осаждать, а взять город; результат был предопределен, защитники были в меньшинстве, и не было надежды на подкрепление[17].

Когда Черчилль проснулся утром 8 декабря, японские войска под командованием генерал-лейтенанта Ямаситы высадились в северной части Малаккского полуострова, разгромили оказавший ожесточенное, но бесполезное сопротивление малочисленный контингент британских ВВС и создали плацдарм. В течение дня японская пехота и легкие танки пересекли перешеек Кра, шириной 40 миль, и вышли к Андаманскому морю — то есть японцы вышли к Бенгальскому заливу и Индийскому океану. Британские силы на перешейке состояли из двух недоукомплектованных индийских дивизий, менее 160 устаревших самолетов и без танков. Только они стояли между японской армией и коротким переходом по полуострову к Сингапуру. В море всего несколько эсминцев с линкором «Принц Уэльский» и линейным крейсером «Рипалс», недавно занявшие позицию в проливе Джохор, стояли между японским военно-морским флотом и Сингапуром, где Дафф Купер, недавно назначенный министром-резидентом, был разбужен воем сирен, грохотом зенитных орудий и взрывами японских бомб. Ему ничего не оставалось, как попытаться заснуть[18].

Еще одна японская армия известила о своем прибытии на Филиппины, когда, спустя приблизительно четыре часа после нападения на Пёрл-Харбор, японская авианосная авиация нанесла удар по острову Минданао, в 600 милях к югу от Манилы. После этой атаки можно было с уверенностью сказать, что дальнейшим воздушным атакам и высадке, скорее всего, подвергнется остров Лусон, самый важный для Филиппин с экономической и политической точки зрения, на котором находится столица государства — Манила. Генерал Дуглас Макартур проснулся в своих апартаментах в отеле «Манила» и ему тут же доложили о нападении на Оаху. События последующих нескольких часов показали, что Макартур, хотя знал о нападении на Пёрл-Харбор и прекрасно понимал, что Филиппины — стратегические ворота в Малайю — являются истинной целью японцев, был захвачен врасплох, катастрофически и непростительно[19].

Разлад отношений между Макартуром, начальником штаба Ричардом К. Сазерлендом и руководителем воздушными операциями Льюисом Бреретоном привел к тому, что фактически все американские военно-воздушные силы на Дальнем Востоке оставались на аэродроме Кларк-Филд, когда спустя более девяти часов после нападения на Пёрл-Харбор двести японских бомбардировщиков и истребителей, базировавшихся на Формозе, налетели и в течение часа уничтожили аэродром и все, что на нем было, — самолеты, топливо и ангары. Чуть позже на той неделе New York Times сообщила, со слов Макартура, что нанесенный ущерб был незначительным. На самом деле Макартур лишился воздушного прикрытия. На следующий день японские бомбардировщики разрушили военную судоверфь в Кавите, в 8 милях от Манилы. Погибли пятьсот американских и филиппинских солдат. Адмирал Томми Харт, командующий слабым азиатским флотом США, наблюдал из Манилы, как его якорная стоянка исчезает под облаками черного дыма. Он отдал приказ оставшимся кораблям своего флота перейти в воды Голландской Ост-Индии. 10 декабря японцы начали высаживаться на Лусоне. Макартур не смог оказать никакого противодействия ни с моря, ни с воздуха. Армия Макартура, 30 тысяч американцев и втрое больше плохо обученных филиппинцев, попала в окружение и была отрезана от подкрепления[20].

Спустя несколько дней после нападения на Пёрл-Харбор и Манилу начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл вызвал в Вашингтон Дуайта Эйзенхауэра, недавно получившего звание бригадного генерала. Первое задание, полученное Эйзенхауэром, заключалось в решении проблемы поставок Макартуру. Новый помощник около часа размышлял над проблемой и пришел к выводу, что положение безнадежное. У армии не было ничего, что она могла бы послать Макартуру, а военно-морской флот для того, чтобы перебросить солдат и все необходимые ресурсы на Филиппины, испытывал недостаток и в кора-

блях, и в боевом духе. Единственное, что мог порекомендовать Эйзенхауэр — создать базы в Австралии, с которых можно будет совершать набеги. Никакое подкрепление не могло быть доставлено Макартуру[21].

Утром 8 декабря Рузвельт продолжил разговор с Черчиллем по телеграфу с повторения фразы, что они теперь в одной лодке, добавив, что «это судно не должно и не может быть потоплено». Не слишком удачное выражение, учитывая, что японцы, посетившие Гонолулу и Манилу, не оставили достаточного количества британских и американских судов для того, чтобы организовать преследование, не говоря уже об уничтожении, японского военно-морского флота. Спустя несколько часов конгресс объявил войну (382 голоса за, 1 против), но только Японии. Когда Рузвельт выступал в конгрессе, он не упомянул ни Черчилля, ни Гитлера. Япония ввергла Америку в войну, но не против Гитлера[22].

Днем 8 декабря Черчилль отправился в палату после полудня, держа в руке свернутые утренние газеты, с помощью которых расчищал путь сквозь толпу, собравшуюся на улицы, для себя, Клементины и Памелы. Из дневника Николсона: «Уинстон входит в палату, ссутулив плечи, с выражением мрачной решимости на лице». Премьер-министр объявил членам парламента, что военный кабинет, посовещавшись, объявил войну Японии. Он сказал о том, что придется столкнуться с новыми опасностями. «Когда мы думаем о безумном честолюбии и жадном аппетите, ставших причиной этого огромного и печального распространения войны, нам только и остается думать, что гитлеровское безумие поразило японский ум и что следует уничтожить корень зла вместе с его отростками». Черчилль напомнил палате, что «некоторые лучшие корабли из состава Королевского флота прибыли на Дальний Восток в самый подходящий момент». Эти слова предназначались для американцев, поскольку после потери флота в Пёрл-Харборе, «Принц Уэльский» и «Рипалс» обеспечивали военно-морское присутствие союзников в западной части Тихого океане, возможно, во всем Тихом океане. Корабли сигнализировали Вашингтону черчиллевское стремление внести свой вклад в дальневосточную войну. В Токио видели в кораблях то, чем они были на самом деле, — объекты нападения[23].

В то утро Черчилль отправил личное письмо японскому послу, в котором очень вежливо объявил о состоянии войны между их странами. Некоторые его коллеги сочли эту ноту излишне вежливой. Позже Черчилль написал, «но, в конце концов, когда вам предстоит убить человека, ничего не стоит быть вежливым». В тот же день он сказал королю Георгу, что рассчитывает отправиться в Вашингтон, конечно, только в том случае, если «президент Рузвельт даст согласие, а я не сомневаюсь, что даст», и добавил, что отсрочит визит до тех пор, пока не прояснится ситуация с Германией и Италией (пока еще ни одна из

них не объявила войну Америке). Но он не умел ждать и отправил в Вашингтон телеграмму с просьбой встретиться с Рузвельтом, чтобы «в целом рассмотреть план войны». Рузвельт не ответил на телеграмму, но сказал Галифаксу, что, вероятно, удастся собраться в районе 7 января. Черчилля это не устраивало, но он ничего не мог поделать. Следующий шаг должен был сделать Рузвельт[24].

Иден, собираясь уехать из Скапа-Флоу в Москву, считал крайне неразумным, что в такое сложное время они с Черчиллем одновременно покинут страну. Кроме того, он полагал, что Сталин, который никому не доверял, решит, что Черчилль и Рузвельт хотят сговориться у него за спиной. Он позвонил Джону Уайнанту, чтобы высказать свои сомнения, но тот сказал, что, насколько ему известно, встреча пока не назначена. Оливер Харви, парламентский секретарь Идена, написал в дневнике: «Премьер-министр настоящий безумец; он пребывает в таком возбужденном состоянии, что самые дикие планы кажутся разумными». В конце дня Иден отплыл, несколько успокоенный, считая, что король, Уайнант и военный кабинет добьются, чтобы Черчилль остался дома. Черчилль не собирался отказываться от поездки, но приглашения от Рузвельта так и не было. Гитлер тоже безмолвствовал[25].

Пришло время Черчиллю развернуть карты тихоокеанских островов и архипелагов, которыми давно никто не пользовался и многие из которых высокопоставленные британские чиновники, включая премьер-министра, никогда не видели. Черчилль любил карты не только за практическую ценность, но и за то, что они будоражили его воображение. Карты и морские диаграммы переносили его в дальние страны, вызывали в воображении героические события давно минувших дней. Это создавало проблемы, когда он — регулярно — вмешивался в работу военных планировщиков. Энтони Хэд, награжденный за Дюнкеркскую операцию, младший штабной офицер, занимавшийся военным планированием, вспоминал, как Черчилль, ткнув пальцем в Филиппины, заявил, что вот этот остров — по мнению Черчилля, он являлся частью Голландской Ост-Индии — «населен драконами». Свои знания (или их отсутствие) он черпал из писем Клементины, совершившей семь лет назад четырехмесячный круиз в Ост-Индию.

Фактически каждая остановка во время ее путешествия, Рангун—Сингапур—Борнео, подверглась или вскоре подвергнется нападению японцев. Из Сингапура Клементина посоветовала Уинстону взять в адмиралтействе карту новой британской военно-морской базы, расположенной между островом Сингапур и материком. Если бы он прислушался к ее совету, то понял, что для защиты материковой части Малайи не предусмотрено никаких оборонительных сооружений; Уэйвелл обратил на это его внимание всего за несколько недель до решающего сражения за Сингапур. Клементина побывала на острове Комодо, где принимала участие в охоте на «дракона». Расстояния, которые

приходилось преодолевать в Тихом и Индийском океанах, захватывали воображение — 14 тысяч миль и пятьдесят дней пути от Лондона до Калькутты через Кейптаун, 8 тысяч миль и три недели пути от Сан-Франциско до Бомбея. Черчилль упомянул «огромные пространства», толком не представляя, насколько необозримыми были водные пространства в этой части мира. Все европейские и североафриканские театры военных действий и большая часть района боевых действий в Атлантике находились в пределах 1300-мильного радиуса от Берлина; новейшие британские и немецкие бомбардировщики могли вылететь с базы на закате и вернуться обратно к завтраку. Если в 1914 году войска доставляли в окопы по железной дороге в несколько этапов, то теперь можно было перебросить все армии с одного конца Европейского континента на другой. Современные технологии позволили сократить время и расстояние на континенте. Но на необозримых просторах Тихого океана могла разместиться вся Европа, Средиземноморье, Ближний Восток и Северная Африка, причем несколько раз[26].

Черчилль ожидал, что на этих просторах «Принц Уэльский» и «Рипалс» преподнесут урок японцам, как это могла сделать только величайшая в мире морская держава, научившаяся этому задолго до того, как капитан Альфред Тайер Мэхэн изложил на бумаге свои соображения по этому вопросу*.

Японцы, как британцы, были знакомы с принципом Мэхэна, что на океанских просторах — где крепости и морские базы находятся на сотнях и даже тысячах миль друг от друга — сначала необходимо уничтожить вражеский флот, а уж потом захватывать крепости и оборонительные сооружения. По сути, это вариант принципа, изложенного прусским военным философом Карлом фон Клаузевицем, что первой целью командующего является уничтожение вражеских армий, а не захват оборонительных сооружений. По мнению Мэхэна, уничтожение вражеского флота практически гарантировало успех любой наземной операции. Черчилль написал об этом в «Истории англоговорящих народов», где объяснил капитуляцию Корнуоллиса в Йорктауне неспособностью Королевского флота помешать французскому флоту отрезать Корнуоллиса от его подкрепления: «Морская держава в очередной раз решила проблему, но и французская блокада, возможно, хорошо преуспела в британской войне на истощение». В это время американские колонисты прошли по суше 400 миль и замани-

* Мэхэн Альфред Тайер (1840—1914) — американский военно-морской теоретик и историк, контр-адмирал (1906), один из основателей геополитики. Одновременно с английским военно-морским теоретиком и историком Ф.Х. Коломбом обосновал теорию «морской мощи», или «морской силы». Согласно этой теории, завоевание господства на море признавалось основным законом войны и целью, обеспечивающей победу над противником и завоевание мирового господства.

ли в ловушку в Йорктауне армию Корнуоллиса, который понял, что попал в безвыходное положение, и был вынужден капитулировать. Сингапур оказался в аналогичном положении. Японские войска, высадившиеся в 400 милях к северу, решительно перемещались по полуострову Малакка. Пока «Принц Уэльский» не обнаружил и не уничтожил вражеские корабли, Ямасита мог получать подкрепление[27].

На протяжении почти двух веков безопасность Британской империи обеспечивали большие корабли, деревянные до конца XIX века, весом несколько сотен тонн, которые приводились в движение энергией ветра, вооруженные гладкоствольными пушками, огневая мощь которых была способна расщепить вражеский корабль. В середине девятнадцатого века Джеймс Брук, провозгласивший себя раджой Саравака, расположенного в северной части Борнео, написал в Лондон, что, имея «фрегат... небольшое войско и юнион-джек, он может «контролировать всех злодеев по соседству». Он был прав. В XIX веке военные корабли имели на борту все необходимое для того, чтобы отговорить колониальные державы и недружественные местные племена беспокоить британцев в их территориальных водах[28].

В 1942 году водоизмещение двух линкоров было почти таким же, как водоизмещение всего основного линейного флота Нельсона в Трафальгарском сражении. В XX веке британские военные корабли имели железный корпус, толщиной более фута, к 1942 году их оснастили радарами и огромными двигателями, вырабатывающими электроэнергию, достаточную для того, чтобы осветить небольшой город. Большинство судов были вооружены 14-дюймовыми и 15-дюймовыми пушками, которые были способны стрелять 1500-фунтовыми снарядами на расстояние более 20 миль. «Нельсон» и «Родней» были вооружены 6-дюймовыми орудиями. Эти большие корабли, и в первую очередь «Принц Уэльский», были стальными иглами и железными нитями, сшившими одеяло империи и обеспечивающими безопасность морских путей, связывавших империю с Лондоном. Черчилль пристально рассматривал Тихий и Индийский океаны исключительно с точки зрения морских путей из Лондона в Индию и, в меньшей степени, в Британскую Малайю, Австралию и Новую Зеландию. На протяжении двух десятилетий Черчилль и адмиралтейство уделяли мало внимания отдаленным архипелагам, вырванным у Германии после Первой мировой войны, — архипелагу Бисмарка и его самому большому острову Новой Британии, северо-восточной части Новой Гвинеи, и двум крупным островам архипелага Соломоновы острова, Бука и Бугенвиль. Над остальными Соломоновыми островами Великобритания в 1893 году установила протекторат, и с тех пор Лондон практически не обращал на них внимания[29].

Чего нельзя сказать о Токио. Соломоновы острова растянулись в южной части Тихого океана, как брошенные командой корабли-призраки, забытые и незащищенные. На островах оставались только тузем-

цы, вооруженные мачете, и несколько британцев, владельцев плантаций кокосовых пальм; остальные англичане перебрались в Австралию. Архипелаги в западной части Тихого океана — Маршалловы острова и Марианские острова — являлись территорией Германии, пока после Первой мировой войны не перешли Японии (в то время союзник Великобритании). Япония также управляла Каролинскими островами, которые вместе с Маршалловыми и Мариинскими островами создали буфер на пути между Токио и Новой Гвинеей. Эти цепи островов являлись идеальными площадками для будущих нападений в Тихом океане. Японцы давно поняли важное значение Соломоновых островов. Их захват приводил к изоляции Австралии; только теперь это с ужасом осознали в Канберре, но до сих пор не поняли в Лондоне. Лондонцы фактически ничего не знали об одном из этих владений, которое долгое время игнорировала Корона, гористом, рассеченном реками и ручьями, с малярийными болотами и непроходимыми джунглями — Гуадалканале, острове из архипелага Соломоновы острова, расположенном в южной части Тихого океана. Черчилль взял на заметку эти далекие острова, но не потому, что южная часть Тихого океана в скором времени могла стать местом тяжелейших испытаний для доминионов, а потому, что морские пути из этих районов были крайне необходимы для транспортировки подкрепления на театр военных действий, которому он уделял большое внимание: Северная Африка. «Не думаю, что Тихий океан вызывал сильное беспокойство Черчилля, — написал Марк Бонем-Картер, сын давней подруги Черчилля, Вайолет Бонем-Картер. — Он мыслил континентальными категориями»[30].

Вот почему Черчилль обиделся на австралийцев за то, что они упорно сопротивлялись его требованию увеличения австралийских войск. Если лондонцы не жалуются на то, что их убивают, сказал он доктору, почему это делают австралийцы при виде одной-единственной вражеской бомбы? Однако теперь Австралия, имевшая дома всего три сухопутные дивизии, опасалась не только за свою безопасность, но даже за выживание. Черчилль заверил нового премьер-министра Австралии, Джона Кертина, что «Принц Уэльский» будет охранять Австралию от японских налетов.

Когда сначала он предложил отправить «Принц Уэльский» в Сингапур, адмиралтейство, опасаясь, что в Атлантике может появиться «Тирпиц», «выразило категорическое несогласие». «Им двигало раздражение к нам из-за истории с «Бисмарк», и он считал, что «Принц Уэльский» доставит японцам немало хлопот», — вспоминал Йен Джейкоб. Однако «сравнение было не слишком удачным, поскольку не для японцев, а для нас пути в Атлантике имели жизненно важное значение, и возможная угроза этим путям требовала постоянной защиты». Черчилль был настолько уверен в том, что «Принц Уэльский» является грозной сдерживающей силой, и настолько уверен в резуль-

тате, что приказал, чтобы о прибытии корабля в Кейптаун «сообщили врагу» в радиопередаче. Японцы должным образом отреагировали на это сообщение. «Рипалс» уже находился в Сингапуре. «Принц Уэльский» проследовал в Сингапур самостоятельно, без сопровождения эсминцев. Черчилль слишком поздно сказал адмиралтейству, что сожалеет об отсутствии эскорта. «Это тот случай, когда «безопасность превыше всего». Но сама по себе задача, стоявшая перед «Принц Уэльский» противоречила его требованию. Черчилль обсуждал возложенную на «Принц Уэльский» миссию в нескольких телеграммах, в том числе Кертину и Сталину, в которых использовал те же слова, которые сказал Рузвельту о «Принц Уэльский»: «Очень важно иметь то, что может настигнуть и уничтожить любой японский корабль»[31].

Адмирал Том С.В. Филлипс, командовавший «Принц Уэльский», согласился с черчиллевской оценкой линкора с одной оговоркой. Японский флот, сказал Филлипс военному кабинету, из более новых и устаревших кораблей, как и британский флот, но новейшие и самые лучшие британские корабли, такие как «Принц Уэльский», действуя вблизи британских азиатских территорий «под прикрытием самолетов береговой авиации», окажутся более чем равносильным противником для японцев. 8 декабря в районе Сингапура не было никакого прикрытия береговой авиации. Несколькими месяцами ранее Черчилль отговорил своих военачальников направлять на Дальний Восток «слишком большие силы», заявив, что «политическая ситуация на Дальнем Востоке, похоже, не требует усиления военно-воздушных сил». Дальневосточная стратегия Черчилля, вспоминал Йен Джейкоб, основывалась на предположении, что, «если японцы вступят в войну, это заставит вступить в войну американцев, и мы выиграем войну, а затем нам ничто не помешает вернуться; вот так он видел эту проблему, и во многих отношениях это было разумное мнение». Таким образом, поскольку ситуация на Дальнем Востоке стала неопределенной, а затем полностью изменилась, Черчилль принял решение не отпускать военно-воздушные силы далеко от дома. Если бы он упорно придерживался стратегии не укреплять Дальний Восток людьми, самолетами и кораблями, он бы не отправил «Принц Уэльский» в Сингапур. Но он отправил, да еще без прикрытия с воздуха. Черчилль посоветовал Адмиралтейству отправить вместе с «Принц Уэльский» авианосец. Но когда выяснилось, что такой возможности нет, Черчилль с адмиралтейством решили отправить линкор без всякого сопровождения[32].

Как и предполагали британцы, японцы ждали появление «Принц Уэльский» в Южно-Китайском море, только это были не японские корабли, которые мощный британский военный корабль мог настигнуть и уничтожить, а японские самолеты. 8 декабря во второй половине дня «Принц Уэльский», «Рипалс» и четыре устаревших эсминца

вышли из Сингапура, чтобы перехватить японские транспорты, которые должны были высадить войска на полуостров Малакка. Филлипс отправился в ливень без зонтика. Он понимал это, и, хотя адмиралтейство впрямую не приказывало ему выходить из Сингапура, он повел себя как истинный английский адмирал — вступил в борьбу.

Макс Бивербрук и его помощник Джордж Малкольм Томсон* расценивали миссию «Принц Уэльский» как «полную ерунду».

Бивер считал многие черчиллевские планы — Грецию, Крит, а теперь и задачу, стоявшую перед линкорами, — полнейшей ерундой и начал подыскивать подходящую замену премьер-министру на случай, если Черчиллю будет выражен вотум недоверия или он погибнет. Бивербрук расходился с Черчиллем по вопросу Северной Африки и был сторонником открытия второго фронта в Европе. Вскоре после начала операции «Барбаросса» он уверенно заявлял, что с серьезной помощью со стороны англичан и американцев Сталин продержится намного дольше, чем несколько недель, и даже, возможно, одержит победу. В ноябре Бивербрук помог организовать первые поставки в Москву. А вот в отношении Черчилля у него были сомнения. Он «не испытывал особого уважения к уму Черчилля» и стратегической проницательности, вспоминал Томсон, но уважал Черчилля «как человека, которого нам сам Бог послал». Тот факт, что Черчилль отправил «Принц Уэльский» в Атлантику, только укрепил Бивера в его мнении о Черчилле. Сэр Йен Джейкоб был такого же мнения: «Черчилль излишне горячий и активный человек. Он считает, что каждое мгновение должно что-то происходить» и «отчаянно стремится влезать во все дела». Черчилль «не был стратегом-теоретиком», который «рассматривает все варианты и находит наилучший, будучи уверен, что все пройдет как намечено и что необходимые силы сосредоточены в нужном месте»[33].

Проблема состояла в том, что адмирал Том Филлипс был стратегом-теоретиком. Он был кабинетным адмиралом, заместителем начальника штаба военно-морских сил, мыслителем, по мнению многих, мозговым центром адмиралтейства. Он был во многом схож с Черчиллем: подвержен приступам гнева, любил вмешиваться в оперативные планы; считал, что британские адмиралы недостаточно агрессивны; преклонялся перед линкорами. Он впервые выступал в роли командующего флотом в ходе Дальневосточной операции и, хотя в прошлом году высказал несогласие с решением Черчилля разделить ближневосточные силы Уэйвелла между Грецией и Египтом, с готовностью принял программу действий в Сингапуре. Зная об отсутствии прикрытия с воздуха в Малайе, Филлипс, безусловно, понимал, на-

* Томсон Джордж Малкольм, шотландский журналист, служивший во время войны помощником лорда Бивербрука. В 1970-х годах завоевал репутацию талантливого историка и романиста. (*Примеч. авт.*)

сколько безрассудной является операция в Сингапуре. Но у него появлялся шанс прославиться. Адмирал был очень маленького роста — ему приходилось вставать на ящик, чтобы вести наблюдение с капитанского мостика; адмирал Джеймс Соммервилл назвал его «карманным Наполеоном». Филлипсу было прекрасно известно об ущербе, причиненном большим кораблям в Таранто и Пёрл-Харборе, когда эти суда находились на якорной стоянке. «Принц Уэльский» под его командованием мог резко менять курс на скорости почти 35 миль в час, разрывая небо и все, что находилось в нем, с помощью разнообразного вооружения. Однако любому садовнику, когда-либо спасавшемуся от осиного роя, известно, что размеры и маневренность не всегда помогают достичь успеха[34].

Японцы, как Черчилль и Филлипс, не сомневались в своих военных талантах. В Пёрл-Харборе они показали, что способны справиться с линкорами самых мощных в мире флотов. Когда дело дошло до бортовых торпедных и бомбовых атак против больших кораблей, японцы поняли то, что до сих пор не постигли англичане и американцы: рейд в Таранто и потопленный крейсер «Саутгемптон» отметили приближение к концу эпохи линкоров. 7 декабря стало последним днем этой эпохи[35].

9 декабря Черчилль в общих чертах обрисовал военному кабинету свой план относительно «Принц Уэльский» и «Рипалс»: «скрываться на океанских просторах и вести себя» подобно «слонам-отшельникам», вызывая «ощущение неминуемой опасности». В это время «Принц Уэльский», под флагом Филипса и под командованием Джона Лича (которого Черчилль хотел отдать под суд в мае прошлого года), шел в направлении малайского побережья в сопровождении четырех устаревших эсминцев и линейного крейсера «Рипалс». Капитан «Рипалс» Уильям Теннант сказал Сесилу Брауну, находившемуся на борту американскому репортеру: «Мы отправляемся на поиски неприятностей. Думаю, мы найдем их»[36].

У Сайгона, более чем в 400 милях оттуда, японские наземные экипажи занимались приведением в боевую готовность бомбардировщиков дальнего действия «Мицубиси» Nell и нескольких дюжин бомбардировщиков-торпедоносцев Betty. Черчиллю и адмиралтейству было известно, что японцы занимались строительством аэродромов в Индокитае, но, позже написал Черчилль, имелись «веские основания» — расстояние 400 миль — считать, что «Принц Уэльский» будет находиться «вне зоны действия бомбардировщиков-торпедоносцев береговой авиации». Удивительный пример ошибочных рассуждений, учитывая, что всего два дня назад японские летчики преодолели расстояние почти 300 миль от авианосцев до Пёрл-Харбора. Что стоило лучшим летчикам в мире преодолеть лишнюю сотню миль? Черчилль, некогда назвавший японцев «тихоокеанскими макаронниками», позже напи-

сал, что «в то время мы и американцы сильно недооценивали эффективность японцев в воздушной войне»[37].

Моряки, находившиеся на борту двух британских линкоров, конечно, недооценивали японцев. Когда во второй половине дня 9 декабря Сесилу Брауну сказали, что, похоже, где-то поблизости впереди японский линкор, три крейсера и по крайней мере четыре эсминца, Браун пошутил, что хотел бы взять такси, чтобы вернуться в Сингапур. «Ерунда, это же японцы, — ответил офицер, — нет повода для волнений». В разговор вмешался другой офицер: «Японцы не умеют летать. Они не видят ночью и плохо обучены». Разговор подхватил еще один офицер, заявивший, что у японцев «есть хорошие корабли, но они не могут стрелять прямо». На самом деле японцы довольно активно вели себя в Тихоокеанском регионе, в то время как офицеры, которые вели этот разговор на борту «Рипалс», не сделали ни одного выстрела за первые двадцать семь месяцев войны. Черчилль, похоже, думал так же. Несколько месяцев назад, когда во время завтрака зашел разговор о японских самолетах, он сказал, что, «по нашему мнению, они не очень хорошие»[38].

Утром 10 декабря, в 11:07 в Малайе — 3:07 в Лондоне, Браун написал в блокноте: «Вражеский самолет приближается... к боевым постам». В 11:14 он заметил девять японских самолетов на высоте около 12 тысяч футов. «И они на подходе», — записал он. Волна бомбардировщиков-торпедоносцев пошла на снижение. «Слава Провидению», «Рипалс» увернулся от девятнадцати торпед, сообщил капитан адмиралу Филлипсу. Но следующая торпеда попала в центр корпуса, Брауна бросило на палубу. Корабль начал кренится, крен быстро увеличивался. Через минуту капитан отдал приказ оставить корабль и, выдержав секундную паузу, добавил: «Да пребудет с вами Бог»[39].

В полумиле от «Рипалс» «Принц Уэльский», жертва двух торпедных атак, потеряв рулевое управление, медленно погружался в воду. Лежа на палубе «Рипалс», Браун видел, как десяток морских пехотинцев прыгнули за борт и их затянуло под корабль, к винтам. Матрос прыгнул с мачты и попал прямо в дымовую трубу. Браун в ужасе смотрел, как сотни человек прыгали в море, но никак не мог заставить себя последовать за ними. Наконец, бросив последний взгляд на часы — они остановились в 12:35, — он вскочил и прыгнул за борт. Оказавшись в воде, по которой расползались пятна мазута, он вместе с капитаном Теннантом и сотнями матросов старался отплыть как можно дальше от «Рипалс», чтобы не уйти вместе с кораблем на дно. Окровавленные, измазанные в мазуте, они молча смотрели, как корабль, задрав в небо нос, «словно церковный шпиль», накренился и ушел под воду, забрав с собой больше половины команды. Но «Рипалс» захотел забрать больше людей в последнее путешествие, и Браун с ужасом наблюдал, как нескольких матросов затянуло в воронку

от тонущего корабля. «Принц Уэльский» последовал за ним примерно через час, вместе с адмиралом Филлипсом и стоявшим на мостике капитаном Личем. Вместе с ним на дно Южно-Китайского моря опустились более пятисот членов команды. Позже подошли британские эсминцы, которые подняли на борт Брауна и остальных оставшихся в живых моряков[40].

Позже Аверелл Гарриман сказал: «Он [Черчилль] направил эти два линкора в Сингапур, чтобы помочь. Ему очень хотелось принять участие в Тихом океане. Он понимал, что основную роль там будут играть Соединенные Штаты, но он хотел, чтобы Великобритания внесла свою лепту». Черчилль попытался и потерпел неудачу[41].

На рассвете 10 декабря Черчилль отправил сообщение Энтони Идену. Правительство, по его словам, ожидает, что в течение двух дней Гитлер объявит войну Соединенным Штатам. Он также сообщил Идену, что, согласно сообщениям, полученным из Северной Африки от Окинлека, Роммель отступает на запад. Он отметил «великолепные успехи русских», которые заставили немцев «перейти к обороне или отступать». В общем, «у нас здесь весело». Веселье закончилось, когда Черчилль, лежа в постели, снял трубку зазвонившего телефона, стоявшего в изголовье кровати. «Звонил начальник военно-морского штаба. Его голос показался мне странным. Он кашлянул и поперхнулся, и сначала я не мог разобрать, что он говорит. «Премьер-министр, я должен сообщить вам, что «Принц Уэльский» и «Рипалс» потоплены японцами, по-видимому в результате воздушного налета. Том Филипс утонул, — вспоминал Черчилль. — За всю войну я не получал более тяжелого удара». После разговора, лежа в постели, он «полностью осознал весь ужас этого известия. В Индийском и Тихом океанах не было английских или американских линкоров, за исключением американских кораблей, уцелевших после нападения на Пёрл-Харбор, которые спешно возвращались в Калифорнию». У него не было необходимости сверяться с картой, чтобы понять, что происходит в Тихом океане: «Япония господствовала над всеми этими огромными водными просторами, а мы были слабы и беззащитны повсюду»[42].

На этих просторах японцы действовали быстрее и яростнее, чем какая-либо воинственная нация в истории. 7 и 8 декабря японским летчикам потребовалось всего несколько часов, чтобы потрясти фундаменты трехвекового британского, голландского и американского империализма. В течение нескольких дней фундаменты дали трещину. После потери «Принц Уэльский» Черчилль сказал британцам, что союзники смогут предпринять наступательную операцию через шесть месяцев, а до этого времени, с американским флотом, базирующимся в Сингапуре, город и база смогут продержаться. Но не было никакого американского флота. В западной части Тихого океана, кроме не-

скольких эсминцев и крейсера «Хаустон», не было военно-морских сил США. Черчилль не понимал, что судьба Сингапура — в значительной степени из-за недооценки Лондоном противника — решится, вероятнее всего, в течение нескольких недель. А Гонконгу в качестве британского владения осталось пребывать, вероятно, в течение нескольких дней. «Японское восходящее солнце, — написала Молли Пэнтер-Доунес, — посылает свои как никогда острые лучи в сторону империи, над которой никогда не заходило солнце»[43].

Инспектор Томпсон молча смотрел, как Черчилль «в течение двух дней, после потопления «Принц Уэльский» и «Рипалс», хандрил, плакал и сидел, уставившись в пространство». Томпсон никогда не видел, чтобы военные потери приводили его в такое угнетенное состояние. Переживания Черчилля были сродни переживаниям императора Августа, который, получив известие о поражении его полководца Вара в Тевтобургском лесу, когда отборные римские легионы были поголовно истреблены германцами, в отчаянии воскликнул: «Квинтилий Вар, верни легионы!» Черчилль, как римлянин, отправил гордость своей империи сражаться с врагом, которого почти не знал, сильно недооценивал и заплатил за это жестокую цену. Томпсон вспоминал, как Черчилль постоянно бормотал себе под нос: «Я не понимаю, что случилось. Я не понимаю»[44].

Больше года он перетасовывал свою армию и военно-морской флот, как когда-то давно в лондонском доме отца бросал в наступление по персидскому ковру свою армию из 1500 игрушечных солдатиков. В книге «Мои ранние годы» он вспоминает, что его решение начать военную карьеру было «полностью связано» с отправкой «пехотных дивизий и кавалерийских бригад» в бой, когда он был ребенком. Эти учебные кампании позволили ему изучить «благородную военную профессию» (Уинстон разыгрывал сражения с «противником», младшим братом, армия которого, по настоянию Уинстона, состояла из «смешанных» войск и испытывала нехватку артиллерии). Игрушечные солдатики, позже вспоминал Черчилль, «изменили ход моей жизни». Эти оловянные легионы, вручную отлитые и раскрашенные (только британские солдаты, никаких колонистов и иностранцев) были изготовлены германской фирмой Heyde и французской фирмой C.B.G. Mignot. Сегодня для коллекционеров они бы представляли большую ценность за искусную работу и были бы бесценны за связь с маленьким Уинстоном Черчиллем, но они давно утеряны. Дочь Черчилля, леди Сомс, объясняет это тем, что родители Уинстона не видели необходимости в том, чтобы хранить детские вещи сына. «В детстве на него не возлагали особых надежд... Они не считали своего ребенка вундеркиндом». В то время у молодого человека из аристократической семьи, не обладавшего особыми талантами, не было иного выбора, как военная карьера. Если бы лорд Рэндольф стал свидетелем про-

валов в Греции и на Крите, осады Тобрука, потопления «Принц Уэльский», надвигающейся угрозы Гонконгу, Сингапуру, Бирме и Индии, он бы принял решение запретить сыну играть в солдатики. Взрослый Уинстон манипулировал армиями и флотами как неопытный фокусник; он перетасовывал их, а Гитлер и Тойо заставляли их исчезнуть[45].

Черчилль, узнав о судьбе своих военных кораблей, поспешил в палату общин, чтобы сделать короткое заявление. На следующий день он подробно рассказал о событиях на разных фронтах и уточнил обстоятельства, связанные с потерей «Принц Уэльский». Николсон коротко написал в дневнике: «Палата подавлена», потеря «Принц Уэльский» «ошеломила нас». Члены палаты ожидали, что Черчилль объяснит, как удалось потерять корабли. Вместо этого он сказал: «Эти корабли пришли в нужное место в нужное время и полностью подходили для поставленной перед ними задачи». Оба корабля затонули, сказал премьер-министр членам палаты, в результате бомбовых и торпедных атак, «выполненных умело и решительно». Уничтожено семь японских самолетов, сказал Черчилль, но не уточнил, с помощью артиллерии или истребителей. Адмирал сэр Роджер Кейс — старый, больной, но не утративший ясности ума — поднялся с места и попросил, чтобы Черчилль подтвердил, что «линкоры по-прежнему являются основой морской мощи государства и что «Принц Уэльский» так же хорошо защищен от подводных и воздушных атак как «Бисмарк». Старый адмирал, похоже, ничего не знал о Пёрл-Харборе. Однако он повторил свой вопрос: «Корабли действовали без поддержки истребителей наземного и корабельного базирования?» Спикер палаты посчитал вопрос адмирала несущественным[46].

Кейс настаивал. Черчилль поначалу уходил от ответа, затем сам переформулировал вопрос, спросив Кейса, не пытается ли тот намекнуть, что адмирал Филлипс «не соблюдал необходимые меры предосторожности». Конечно нет, ответил Кейс. Другой член палаты общин напрямую спросил, кто сбил семь японских самолетов — британская артиллерия или британские самолеты? Черчилль наконец ответил: «Они были сбиты зенитным огнем». У Британии «было определенное количество самолетов» для удовлетворения собственных нужд, объяснил Черчилль, но тем не менее она направила в Сингапур «несколько месяцев назад подкрепление, которое была в состоянии выделить». На самом деле этих самолетов было недостаточно для защиты военных судов. Это произошло не по вине адмирала Филлипса, а по вине тех, кто приказал ему войти во вражеские воды без поддержки с воздуха, то есть премьер-министра, и с согласия военного кабинета и адмиралтейства[47].

В своих воспоминаниях Черчилль заявлял, что «судьба сыграла злую шутку» в трагической потере кораблей. Однако Черчилль сам поспо-

собствовал судьбе, будучи слишком долго сторонником своей идеи линейных кораблей и их мифической мощи. Потеря любимых кораблей привела его к осознанию стратегической важности отправки самолетов, с аэродромов или авианосцев, против тяжелых судов; он, несомненно, перестал преклоняться перед линейными кораблями — «огромными крепостями из стали», как он их называл в 1923 году (The World Crisis. Т. 1). На постройку линкора требовалось пять лет, а снарядить авианосец можно за несколько месяцев. На следующий день, верный своему часто высказываемому девизу — только вперед, Черчилль с воодушевлением принял идею авианосцев. Спустя несколько дней после потери «Принц Уэльский» он продемонстрировал способность быстро учиться, когда 13 декабря, одобрил предложение адмирала Паунда направить оперативное соединение из четырех авианосцев под командованием Джеймса Соммервилла в Индийской океан. «Я согласен, что адмирал Соммервилл должен вернуться домой, — сказал Черчилль Паунду, — чтобы организовать подобную военную операцию». Эти слова говорят о том, что, хотя Сомервилль использовал авианосцы в Средиземном море на протяжении двух лет для доставки истребителей на Мальту и в Александрию, но крупномасштабная, скоординированная операция с использованием авианосцев — «подобная форма боевых действий» — была новой и необычной для Черчилля и адмиралтейства. Британцы оказались способными учениками, но японцы разработали эту тактику уже несколько лет назад и на прошлой неделе продемонстрировали свои навыки в этом виде военных операций[48].

На протяжении всей его жизни критики упрекали его, с одной стороны, что он слишком долго придерживался устаревших позиций, а с другой стороны, что он был оппортунистом, всегда готовым изменить свое мнение. Таковым он и был, и, как сам любил говорить, «я лучше буду прав, чем последователен». Марго Асквит, в 1908 году назвала его человеком «сиюминутных убеждений»*.

Однако Рэб Батлер относил склонность Черчилля менять точку зрению за счет «независимости идей» и его «вечной проверки, оценки и поддержки новых идей». Чем больше критики высказывалось к его адрес, тем несговорчивее он становился. В военных кругах заговорили о его невменяемости, когда во время Первой мировой войны он отстаивал такое новое оружие, как танк, который называл «сухопутным кораблем». Однако в те годы военное руководство, может, и не продемонстрировало невменяемость, зато проявило большую глупость. После письма действующего полковника британской армии в газету The Evening Standard, в котором он выражал протест против механизированных кавалерийских бригад и настаивал на том, чтобы

* Асквит Марго — жена Герберта Генри Асквита, премьер-министра с 1908 по 1916 год, и мать Вайолет Бонем-Картер. (*Примеч. авт.*)

танкисты носили шпоры, у карикатуриста Дэвида Лоу появился персонаж, полковник Блимп*[49].

Черчилль, человек крайне дальновидный, который мог предвидеть те революционные изменения характера боевых действий, которые внесет танк, не смог, даже при наличии неопровержимых доказательств, признать, что линкоры безнадежно устарели. Спустя несколько дней после того, как затонул «Принц Уэльский», консерватор Черчилль предложил военному кабинету сформировать совместный британо-американский военный флот, состоящий из четырех новых линкоров с 16-дюймовыми орудиями, и более старых американских кораблей в «количестве достаточном для ведения боевых действий». Он просто не понимал, что операции подобного рода остались в прошлом. Хотя он никогда не мог заставить себя полностью отказаться от прошлого, даже когда этого требовали обстоятельства, он принял новое, в случае с отправкой авианосцев в Индийский океан, буквально в одночасье[50].

В тот год журнал Time не назвал Черчилля «человеком года». В 1941 году Сталин претендовал стать «человеком года», но его кандидатуру отклонили по «моральным причинам». Сталин, заключив в 1939 году пакт с Гитлером, открыл фюреру ворота; теперь этот удачный, с его точки зрения, ход «сыграл злую шутку с Иосифом Сталиным». Однако Союз американских индейцев назвал Сталина «выдающимся воином 1941 года» и послал ему головной убор из перьев. Time назвал «человеком года» Франклина Рузвельта, «поскольку страна, которой он управляет, борется за надежды всего мира». Рузвельт, «заметная фигура года и века», привел Соединенные Штаты на «свидание с судьбой». Он заставил Америку понять, «какой она может быть и, следовательно, будет». У Черчилля, сообщил Time, «не было великих моментов в 1941 году». Действительно, Черчилль дважды захватывал Киренаику — но только потому, что «терял ее между этими захватами». Он «потерпел неудачу» в Греции и на Крите. Британские армии «продолжали проигрывать кампании» под его руководством. Однако Time смягчил удар: Черчилль «был человеком года, десятилетия и, если одержит победу, всех времен»[51].

Новости с Дальнего Востока не сулили ему ничего хорошего. Новости из Америки, особенно от Франклина Рузвельта, настораживали. Не было ни одной положительной новости. 11 декабря Черчилль попрежнему не имел ответа Рузвельта на просьбу о встрече. Вопрос ре-

* Полковник Блимп — ограниченный консерватор, живущий памятью о великом прошлом Британской империи и не замечающий, что мир вокруг меняется. Пытаясь со своей колокольни судить об этом мире, герой Дэвида Лоу произносит длинные монологи, изобилующие несуразностями и внутренними противоречиями. Сам Лоу называл его олицетворением тупости, но добавлял при этом, что «тупицы бывают очень милы».

шил Гитлер, когда в этот день объявил войну Соединенным Штатам. Бенито Муссолини последовал его примеру. С балкона дома на площади Венеции в Риме дуче назвал Рузвельта «величайшим обманщиком», который вверг Америку в войну с помощью «дьявольского упрямства». Муссолини пообещал, что «силы «Стального пакта» готовы нанести еще «более сокрушительный удар» по своим врагам. «Итальянцы! — крикнул он. — Восстаньте еще раз и будьте достойны этого исторического часа. Мы победим!» Его приспешники награждали его одобрительными возгласами и аплодисментами. Но тысячи римлян, собравшиеся на площади внизу, молча слушали Муссолини. Они не желали ни этой войны, ни этого врага[52].

И они были правы. Гитлер и Муссолини, совершенно не обращая внимания на индустриальную мощь Америки, объявили войну Соединенным Штатам. Конгресс Соединенных Штатов немедленно отплатил услугой за услугу. Америка вступила в войну. В 15:05 Рузвельт подписал декларацию об объявлении войны Германии. Минутой позже он подписал декларацию об объявлении войны Италии. Вот тогда наконец и появился черчиллевский «Великий союз». Гарольд Николсон написал жене: «Мы не можем проиграть, если Америка с нами», однако «в Лондоне нет ни одного американского флага. Какие же мы странные»[53].

В июне прошлого года, накануне вторжения немцев в Россию, Черчилль сказал Джоку Колвиллу, что русские, скорее всего, быстро потерпят поражение. К осени он изменил свое мнение. В конце октября, поинтересовавшись у начальника военной разведки, насколько высоки шансы Москвы потерпеть поражение до наступления зимы, Черчилль заявил: «Я склонен думать, что у них равные шансы». Теперь Красная армия перешла в наступление. 11 декабря Черчилль сообщил палате общин, что зимнее стремительное наступление не только заставило немцев остановиться на подступах к Москве, но и «нанесло удар по немецкой армии и по немецкому народу, чертовски сильный удар, который почти не имеет аналогов в военной истории». И декабрь, добавил он, является «не концом зимы... а началом». Поскольку русские «привыкли к суровости своего климата», немецкие захватчики смогли найти лишь жалкое пристанище на этой мерзлой земле, и, таким образом, сказал Черчилль палате общин, русский гамбит Гитлера оказался «одной из самых великих ошибок в истории»[54].

Теперь, когда Гитлер объявил войны, заявил Черчилль, необходимо немедленно встретиться с Рузвельтом. Однако он уже обращался с подобной просьбой, в которой ему было отказано. Он отправил еще одну телеграмму Рузвельту. «Очень хочу» обсудить ситуацию с Виши в Северной Африке. На самом деле он желал обсудить все. И на этот раз Рузвельт дал ему то, что он хотел. «Я с радостью приму вас здесь, в Белом доме», — телеграфировал он в ответ[55].

За одну ночь Рузвельт оказался вовлечен в войну на двух океанах, а Черчилль на шаг приблизился к американцам, несколько изменившим свое отношение к британцам. Когда лорд Вултон, министр продовольствия, предложил пересмотреть норму выдачи продовольствия, Черчилль ответил, что при поддержке Америки «наше положение сильно улучшилось» и, таким образом, «нам больше не нужно ничего из себя изображать, чтобы завоевать расположение Соединенных Штатов, мы теперь в одной лодке, и они едят лучше, чем мы». Когда один из военачальников посоветовал и дальше бережно относиться к Америке, Черчилль, хитро улыбнувшись, ответил: «О, это мы с ней так говорили, когда ухаживали за ней, а теперь, когда она в нашей власти, мы совсем по-другому будем с ней общаться»[56].

Через двадцать четыре часа после получения приглашения от Рузвельта Черчилль, Бивербрук, Гарриман, первый лорд адмиралтейства Дадли Паунд и маршал авиации Чарльз Портал уже ехали на север в личном поезде премьер-министра, направляясь к реке Клайд, где их ждал линкор «Дюк оф Йорк» — одного класса с «Принц Уэльский» — чтобы доставить в Америку. Вместе с Черчиллем в Америку отправился недавно вышедший в отставку фельдмаршал Дилл (Алан Брук остался, чтобы укомплектовать личным составом свой новый штаб) и личный врач Черчилля, Чарльз Уилсон (Клементина настояла, чтобы Уинстон взял его с собой). Кроме того, на борту находились восемьдесят помощников и два десятка криптографов; все черчиллевские телеграммы требовалось кодировать перед отправкой и расшифровывать входящие сообщения для премьер-министра. Мэри сопровождала отца в поездке на поезде, но Атлантику вместе с ним не пересекала. Утром 13 декабря, попрощавшись с Мэри — она последней сошла с корабля, — Черчилль с «Дюк оф Йорк» направились в Атлантику[57].

В Северной Атлантике бушевал шторм. Эсминцы, сопровождавшие «Дюк оф Йорк», которых бросало на волнах словно лодки, отстали. Море было настолько бурным, что большую часть пути «Дюк оф Йорк» прошел с задраенными люками. Большинство пассажиров, включая премьер-министра, страдали от морской болезни, но у доктора Уилсона не было лекарств от тошноты и вялости. Черчилль в письме к Клементине (это было самое длинное письмо после письма, которое он отправил ей в 1936 году во время поездки в Марракеш) жаловался, что вынужден проводить основную часть времени в каюте, но признался, что дополнительная доза Motherill's Tavel Remedy спасает от сильных приступов морской болезни. На море такое сильное волнение, написал он, что двое сломали руки и ноги. Перефразируя Сэмюэла Джонсона, он написал, что «находиться на корабле в такую погоду — все равно что быть в тюрьме, да еще и иметь все шансы утонуть»[58].

Ему никогда не нравились ограничения, связанные с морским путешествием, но это было худшее из всех. Однако во время этих путе-

шествий у него было то, что он очень любил: хорошая компания, вкусная еда, крепкие напитки и хорошие фильмы. Лейтенант Бивербрука, Джордж Малькольм Томсон, вспоминал, как «однажды вечером смотрели фильм The Sea Hawk («Морской ястреб»), в котором, как мне помнится, на британский военный корабль напали пираты. На палубе этого корабля происходило какое-то немыслимое количество событий, и я запомнил, что Черчилль, как обычно, был в халате и, как обычно, хорошо поужинал. И я помню, как он вскочил и закричал: «Мы побеждаем, мы побеждаем!»[59]

На самом деле, где бы они ни сражались, на воде или на суше, не считая небольшого кусочка Северной Африки, они проигрывали. И американцы тоже. На той неделе New York Times сообщила: «Победы американских летчиков: потоплены линкор, крейсер и эсминец». The Times не уточняла, где именно в Тихом океане произошли описанные героические события. На самом деле американские летчики не только не потопили японский корабль, но даже не определили его местонахождение[60].

Но одна хорошая новость все же была; «Дюк оф Йорк» принял радиограмму: Окинлек за тридцать дней сумел достичь в Ливии того, чего годом ранее за шестьдесят дней достигли Уэйвелл и О'Коннор. Войска оси в Бардии, где Роммель в ожидании взятия Тобрука разместил свой штаб, были окружены. Роммель под напором превосходящих сил противника (у него было в четыре раза меньше танков) поспешно отступал на запад, в направлении Бенгази, на который в сочельник предъявит свои требования Окинлек. Спустя несколько дней Роммель занял позиции в Эль-Агейле, в четырех сотнях миль к западу от Тобрука. Это было организованное, но все же отступление, первое отступление Роммеля. В Ливийской пустыне опять сменился хозяин. Но в этот раз врагами, которые отступали в Киренаике, были не итальянцы, а немцы. Учитывая изменчивый характер битвы и находчивость Роммеля, Черчилль поборол желание объявить от имени короля, как он сделал это годом ранее, еще один День Бардии[61].

Находясь на борту корабля, Черчилль узнал от Идена, который был в Москве, что Сталин не расстался с мечтой о территориальных захватах, притом что вермахт занял большую часть западных территорий России. Черчилль сообщил Идену, что, несмотря на то, что Великобритания была «вынуждена» объявить войну Венгрии, Румынии и Финляндии, военный кабинет откажется удовлетворять новые требования Сталина в отношении послевоенных границ. Хотя поражение Сталина летом будущего года казалось таким же возможным, как потенциальная победа, Черчилль хотел, чтобы после войны Россия сохранила свои территориальные приобретения в Восточной Польше, Румынии и Финляндии. Что же касается трех стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии, — которые в 1918 году вышли из состава развалив-

шейся царской империи, то Сталин хотел вернуть их обратно. В телеграмме Эттли Черчилль написал: «Требования Сталина в отношении Финляндии, Балтийских стран и Румынии [sic] напрямую противоречат первой, второй и третьей статьям Атлантической хартии, которую Сталин подписал. Не может быть и речи о том, заключать нам или нет подобное соглашение, тайное или публичное, прямое или косвенное, без предварительного согласования с Соединенными Штатами». Черчилль сказал Идену, что «обратиться к президенту Рузвельту с его [Сталина] предложением означает встретить отказ, который может повлечь за собой проблемы для обеих сторон»[62].

Зачастую, в неофициальной обстановке, в тяжелейшие для Британии моменты, Черчилль делился с друзьями и ближайшими соратниками видением послевоенного мира. Слова «после войны» звучали в популярных песнях и часто использовались Черчиллем за обеденным столом, в телеграммах Рузвельту, в обращениях к народу. Но официально рассуждать на темы о послевоенном мироустройстве до тех пор, пока жив Гитлер, а Европа не достигла «сияющих вершин» свободы, никому не приходило в голову. Он заслужил право размышлять о том, что будет «после войны», однако ни разу в течение первых пятнадцати месяцев в качестве премьер-министра Черчилль не говорил об этом публично. Затем, проведя с Рузвельтом несколько часов в Арджентии, они приступил к разработке Атлантической хартии, которая превратилась в двустороннее соглашение о международных гражданских правах и англо-американский план послевоенного мира. Достигнув договоренности (не посоветовавшись со Сталиным) по тексту соглашения, Черчилль с Рузвельтом представили миру Атлантическую хартию[63].

Но если Черчилль с Рузвельтом считали долгом сформулировать свое видение послевоенного мира, то почему этого не мог сделать Сталин? Сталин, чьи границы были нарушены и чья столица теперь находилась в осаде, очевидно, считал абсолютно обоснованными свои требования относительно стран Балтии. Что касается желаний Сталина, то «никто не может предвидеть, какой будет расстановка сил... в конце войны», телеграфировал он Идену, хотя, скорее всего, чаша весов склонится в пользу англо-американского блока, и он выйдет из войны менее «истощенным», чем Сталин, который будет нуждаться в англо-американской помощи для восстановления страны больше, чем американцы и британцы в Сталине. Тем не менее сталинские требования заставили Черчилля насторожиться, хотя подобно обитателям платоновской пещеры, он мог видеть только тени за пределами ближайшего будущего, нацеленного исключительно на уничтожение Гитлера. Он не мог с точностью определить, что задумала Москва, но это его не слишком беспокоило. Всегда следует помнить, сказал он Идену, что большевики — «крокодилы», которые понимают только силу. Спустя годы он сказал своему внуку, Уинстону Спенсеру Черчиллю,

что он точно *знал* — когда Сталин впервые упомянул послевоенные границы, — где прорастут семена раздора нового европейского конфликта, и добавил, что с начала 1942 года он рассматривал каждое стратегическое решение в войне против Гитлера под двумя углами: «Как быстрее покончить с войной и как помешать медведю завладеть миром»[64].

Возможно, высказывая эти соображения, Старик хотел представить себя в более выгодном свете. Однако, учитывая фаустовскую сделку, которую заключили со Сталиным Черчилль с Рузвельтом, кажется маловероятным, что требования Сталина неожиданно пробудили у Черчилля мысли о возможных послевоенных проблемах. Это, в конце концов, был Иосиф Сталин, бывший соратник Гитлера, бандит, который в юности грабил банки из марксистских соображений, и затем, уже, исходя из собственных соображений, инициировал массовые убийства. Почему Черчилль с Рузвельтом в течение трех лет не смогли разработать совместные планы относительно возможных, даже предполагаемых, последствий для Европы от их союза с советским диктатором? Они оба в самых жестких выражениях предупреждали о последствиях для мира в случае победы Гитлера. С нравственной точки зрения Сталин был меньшим из двух зол; он убивал своих политических оппонентов, потому что они противостояли ему, а не из-за их происхождения. Гитлер-победитель убивал всех подряд. Таким образом, уничтожение гитлеризма являлось главной целью англо-американо-советского альянса, хотя у каждого из трех лидеров была своя политическая программа и каждый по-своему представлял послевоенный мир. Политическая программа Сталина, очевидно, не соответствовала положениям Атлантической хартии и не совпадала с надеждами Черчилля относительно европейских демократических сфер влияния, которые, самое главное, будут удерживать Пруссию (но не всю Германию) на уровне аграрной страны, в буквальном смысле этого слова.

Удивительно не то, что в конце 1941 года Черчилль предвидел будущие проблемы со Сталиным, а то, почему бы он мог думать иначе. Черчилль был хорошо осведомлен об истории отношений России с Европой. В июне прошлого года Черчилль рассказывал Колвиллу о вторжении в Россию шведов в 1700 году и Наполеона в 1812 году. Теперь, дважды, в течение жизни одного поколения, напали на Россию. Россия — азиатская страна, одной ногой стояла в Европе, и западные европейцы постоянно наступали на эту ногу. Защита западных границ России была основной темой внешней политики России на протяжении двух веков — царской, ленинской и сталинской. Москва всегда стремилась создать буферную зону между собой и Западной Европой. В то время как Запад создал «санитарный кордон» между собой и москвичами. Поляки исторически платили высокую цену за свое географическое положение по отношению к требованиям безо-

пасности России, и они снова заплатили эту цену, когда Гитлер и Сталин заключили пакт 1939 года. Подписывая этот пакт, Сталин верил (и ошибался, как он понял в июне), что расширил свою зону безопасности. Он стремился с помощью войны вновь обрести эту зону и раз и навсегда уничтожить эту угрозу со стороны Германии. Он часто говорил об этом в течение последующих трех лет. Он связывал все военные решения с русскими территориальными притязаниями и немецкой угрозой. Он никогда не отказывался от своих намерений и держался за свои позиции, как написал Джеймс Макгрегор Бернс, «мертвой хваткой». Для Сталина поражение Германии и восстановление русской безопасности были двумя сторонами одной медали. Черчиллю требовалось одно — поражение Гитлера. Его цели и цели Сталина были схожими, но не одинаковыми[65].

Существовало одно важнейшее отличие. Сталин считал, что, если Гитлера убьют или свергнут, скорее всего, прусские офицеры, которых Гитлер презирал, Запад достигнет соглашения с новой Германией без Гитлера, а затем, вместе с Германией, выступит против России. Бредовое убеждение, но тем не менее очень сильное. На самом деле Черчилль считал Гитлера промежуточным врагом; Германия, по его мнению, должна была быть частью европейской семьи, которой предстояло снова занять свое место за столом, после того как с Гитлером будет покончено. Сталин, однако, считал Германию извечным врагом России, теперь еще более, чем когда-либо, заслуживающим уничтожения. Когда не станет Гитлера, был уверен Сталин, Запад снова будет считать Москву и коммунизм злейшими врагами, статус, который закрепился за ними с революции 1917 года. На протяжении всей войны в основе отношений Сталина с союзниками лежала его уверенность в том, что Черчилль с Рузвельтом не были и никогда не будут настоящими друзьями России.

Со своей стороны, Черчилль и Рузвельт никогда до конца не верили Сталину. На протяжении последующих трех лет они взвешивали каждое решение, учитывая возможность того, что Россия может выйти из войны, как это сделали большевики в 1917 году. Они утаили от Сталина информацию об «Ультра» (хотя передавали расшифровки «Ультра» как информацию, полученную от надежных «агентов»), и, конечно, не включили Сталина в проект атомной бомбы. И если Черчилль не слишком доверял Сталину, то его *верность* Сталину не вызывала сомнений и не ослабевала на протяжении всей войны. В черчиллевской системе нравственных ценностей верность, в отличие от доверия, являлась понятием абсолютным. Даже когда Сталин заявлял о масштабах своих территориальных притязаний в 1943 и 1944 годах, Черчилль сохранял ему верность, телеграфируя Рузвельту в апреле 1944-го: «Мне кажется, [Советский Союз] больше лает, чем кусается». Даже когда победа стала очевидной и Сталин ужесточил территори-

альные требования — в ущерб свободе этих территорий, Черчилль оставался преданным партнером. После Ялты, в начале 1945 года, Черчилль сказал в палате общин, что русские «хозяева своего слова. Мне не известно ни одно правительство, которое выполняло бы свои обязательства, даже в ущерб самому себе, более точно, нежели русское советское правительство»[66].

Почему два таких блестящих политика, как Черчилль и Рузвельт, учитывая их недоверие к Сталину, были настолько верны идеологическому врагу, который почти двадцать лет терроризировал собственный народ и объявил капитализм своим смертельным врагом? Потому, написал Черчилль в своих мемуарах, что у них не было достойной альтернативы. «Рузвельт с Черчиллем прекрасно знали о тирании и продолжавшемся терроре в Советском Союзе», — позже написал Гарриман. Но им были нужны Сталин и миллионы русских, которых он мог направлять на борьбу против гитлеровской военной машины. Сталин, при поддержке Запада, мог помочь Америке выиграть время, необходимое для вооружения. Для англичан каждый день сражений на Русском фронте уменьшал перспективы немецкого вторжения на Родной остров. И наконец, Рузвельт с Черчиллем искренне верили, что словесные обязательства нерушимы; они все-таки были джентльменами. По ходу войны они пришли к твердому убеждению, что смогут справиться с Дядюшкой Джо (между собой они называли Сталина Дядюшка Джо), как они справлялись друг с другом — с помощью упорства (Черчилль) и обаяния (Рузвельт). Однако они никогда не могли по достоинству оценить этого человека. «Не следует считать Сталина бандитом... и мужланом», — написал тремя годами ранее американский журналист и писатель Джон Гантер. Сталин читал Платона, изучал Гражданскую войну в США, он умный человек, наделенный политическим чутьем. Однажды он распустил группу большевистских писателей, сказав им «читать Шекспира, Гете и других классиков, как это делаю я». У него было чувство юмора, которым Гитлер не обладал. Он был, возможно, одним из самых искушенных политиков из стран оси и союзников. Однако Черчилль и Рузвельт верили, что он был мягким, податливым и легко обучаемым[67].

Гарриман позже вспоминал, что уверенность Черчилля и Рузвельта в том, «что они знают, как находиться в хороших отношениях со Сталиным», основывалась на их убежденности в том, что он не обладает достаточной информацией; Гарриман признался, что был такого же мнения. Он написал в воспоминаниях, что, несмотря на «жесткие разговоры», которые были у него во время «жестких переговоров», «так до конца и не избавился от привлекательной идеи», что со Сталиным можно поладить. Бивербрук пытался доказать свою преданность Сталину, осуществляя по требованию Сталина ленд-лизовские поставки в Советский Союз, в которых остро нуждалась Британия.

Черчилль опасался, что щедрость Бивербрука в результате обескровит Британию. Все участники, американские и британские, думали, что смогут справиться со Сталиным. На самом же деле Дядюшка Джо не относился к людям, с которыми можно справиться. Он скорее относился к разряду укротителей людей[68].

В том месяце Иден, трезво оценив требования Сталина, сказал военному кабинету, что Советы так или иначе получат страны Балтии. У Черчилля было иное мнение по этому вопросу. Еще не пришло время определять границы, сказал он Идену, и вообще, такие вопросы «будут решаться только на мирной конференции, когда мы выиграем войну». Затем он обратился к Идену, чья поездка в Москву на тот момент была самым важным событием в его карьере. Старик посоветовал своему эмиссару «не быть грубым со Сталиным». Вопрос о границах даже не поднимался. Такой была политическая и нравственная позиция Черчилля в отношении Восточной Европы, позиция, которую со временем разрушили события и Сталин[69].

Запертый, по воле погоды, в своей каюте на борту «Дюк оф Йорк», Черчилль надиктовал три длинные записки, в которых сообщил военному кабинету и начальникам штабов свои планы относительно Европы и Азии в 1942 году и планы на 1943 год, подчеркнув «выгоду, которую мы получим, если объявим сейчас о наших намерениях направить освободительные армии в Европу в 1943-м». Эти слова предназначались не только для руководства Британии, но и для Рузвельта с его советниками. В своих записках Черчилль ни разу не упомянул возможность отправки больших союзнических армий в Европу в 1942 году; он прекрасно понимал, что это невозможно. Однако американцы уже думали об открытии осенью второго фронта в Европе. Сталин просил об этом с июля. На несколько месяцев Черчилль превратился в объект критики со стороны американцев, Сталина и британских левых. Они обвиняли его в нежелании открыть второй фронт, хотя на самом деле, по совету военачальников, он не хотел открывать его раньше времени. Он безуспешно пытался объяснить свою позицию — союзникам в течение 1942 года, критикам — оставшуюся часть жизни[70].

Пока Черчилль был в море, Адольф Гитлер удовлетворил любопытство всех тех, кто в течение нескольких дней гадал, кто сменит фельдмаршала Вальтера фон Браухича на посту главнокомандующего немецкой армией и руководителя Верховного командования сухопутных войск (ОКХ). Учитывая, что Германия была сухопутной державой, ОКХ традиционно было основным выразителем мнения в вермахте до 1938 года, когда Гитлер создал и возглавил новую структуру Верховного командования вермахта (ОКВ). С этого времени штабные офицеры ОКХ, которых Гитлер ненавидел за аристократическое происхождение, уже не обладали прежним влиянием. ОКВ фактически, в

котором хватало гитлеровских холуев, планировало и руководило операциями на всех военных театрах, кроме России, где ОКХ осуществляло руководство немецкими армиями на Восточном фронте под надзором и к удовольствию ОКВ. Гитлер получал удовольствие, стравливая друг с другом две военные структуры. Фон Браухич, которому не хватало силы и смелости спорить с Гитлером, пришедшим в ярость от стратегия Браухича, предлагавшего сначала взять Москву, а уже затем кавказские нефтяные месторождения, вышел в отставку[71].

Гитлеру было очевидно, что только один немец обладает необходимым военным талантом, чтобы занять место Браухича, который, как он позже сказал Геббельсу, был «трусом и дураком». Итак, 19 декабря фюрер назначил себя главнокомандующим немецкой армией. Он уже был Верховным командующим немецкими вооруженными силами, но на уровне главнокомандующего принимались не только стратегические, но и тактические решения. Началась чистка рядов; Рундштедта, Гудериана и Эриха Гепнера, еще год назад считавшихся танковыми гениями, отстранили от командования, Бок вышел в отставку. Фельдмаршал Вильгельм Кейтель остался начальником штаба Верховного командования вооруженными силами, впечатляющее название, противоречившее его истинному положению человека без собственного мнения при Гитлере. Франц Гальдер, оставшийся начальником штаба ОКХ, надеялся служить в качестве противовеса растущему губительному влиянию Гитлера на армию. Гальдер относился к тем профессиональным солдатам, которые вызывали неприязнь Гитлера. Неприязнь была взаимной: Гальдер, более преданный армии и Германии, чем Гитлеру, ненавидел фюрера, но долг требовал, чтобы он служил на совесть. Гальдер, бесцветный, похожий на профессора, хранил армейские традиции и был одним из немногих в высших эшелонах, который считал своей обязанностью (и имел достаточно силы воли) указывать Гитлеру на стратегические ошибки. Однако впоследствии Гальдер рассказал историку, что он приносил пистолет на совещания в рейхсканцелярии с намерением избавить Германию от мерзкого австрийца, но, «как человек и христианин», не мог заставить себя сделать это. Но даже если бы и сделал, то свиноподобный Геринг занял бы место Гитлера, а если бы свергли Геринга, то бразды правления принял бы третий человек после Гитлера (и преемник Рудольфа Гесса), жестокий, умный и амбициозный Мартин Борман, если бы еще более жестокий и еще более амбициозный Генрих Гиммлер не оспорил это право. Ни один убийца в одиночку не мог разрушить нацистскую государственную машину[72].

Решение Гитлера было равносильно рузвельтовскому «перехватыванию» повседневной работы у Маршалла и черчиллевским попыткам навязывать решения Бруку. Но если раздражительный Гитлер не допускал инакомыслия, то Черчилль (хотя часто бывал раздраженным)

поощрял обмен мнениями между собой и генералами, в результате которого, в пылу спора, рождались более разумные решения. Гитлер, приняв на себя руководство армейским аппаратом, не только положил конец любым дебатам, но внес больший раскол в командную систему; в немецких вооруженных силах появились «вотчины», докладывавшие напрямую Гитлеру, таким образом, Гитлер, и только Гитлер владел всей информацией. Тем самым он лишил себя совета экспертов, которые могли бы дать ему наилучший совет. Но Гитлеру, который подозревал многих из них, казалось, что он более эффективно сможет достигнуть своей цели, если заставит своих генералов бродить в потемках. Как выяснилось позже, это было катастрофическое решение, но в тот момент оно казалось невероятно удачным, и, как написала Молли Пэнтер-Доунес, «идея Гитлера как сумасшедшего командующего, изображенного Чаплином, который быстро перестает справляться с катастрофой, не так популярна, как раньше, поскольку некоторые из этих предполагаемых чудачеств в конечном итоге оказались вполне здравыми идеями». Если уж кто-то на той неделе плохо справлялся с катастрофическим положением, так это Черчилль с Рузвельтом на Дальнем Востоке[73].

22 декабря, в конце дня, после почти десятидневного пребывания в бушующем море, Duke of York причалил в Хэмптон-Роудс* в устье Чесапикского залива.

Планировалось, что они поплывут до реки Потомак, но с Черчилля было уже достаточно. Он полетел в Вашингтон на военном самолете в сопровождении нескольких помощников. Когда самолет заходил на посадку над Потомаком, все прильнули к иллюминаторам и, «замерев от восторга», смотрели на то, что не видели уже более двух лет: «восхитительный вид залитого светом города». Когда самолет приземлился на военно-морской базе Анакостия, Черчилль увидел Франклина Рузвельта, который сидел на заднем сиденье большого черного седана, стоявшего на прединангарной бетонированной площадке. Президент переехал реку, чтобы лично приветствовать гостя. Широкий, словно неподготовленный жест; Рузвельт умел производить впечатление. Никто, особенно Черчилль, не мог устоять перед его обаянием. Что касается Рузвельта, то прибытие иностранного лидера было событием, которое нельзя пропустить; ни один американский президент не летал на самолете во время президентского срока, не говоря уже об умении управлять самолетом, в отличие от Черчилля, который умел управлять самолетом. Рузвельт наблюдал из своего лимузина, как премьер-министр Великобритании вышел из аэроплана в

* Хэмптон-Роудс (Hampton Roads) — собирательное название портов и якорных стоянок в устье Чесапикского залива.

вашингтонскую ночь, словно свидетельствуя, что в воздухе запахло переменами[74].

Черчилля разместили на том же этаже, где находились частные покои президента; Гопкинс жил в рабочем кабинете Линкольна. Редкий случай, когда иностранный гость удостаивался такой чести. Позже вечером два лидера встретились в кабинете Рузвельта на втором этаже, где Черчилль передал Рузвельту наброски трех стратегических документов, которые он составил во время путешествия. В целом документы были пророческими: Черчилль предвидел морскую войну против Японии, пока союзные сухопутные войска будут отвоевывать острова, что послужит стартовой площадкой для наступления на Токио. Он предполагал наносить удары по периферии Германии до тех пор, пока русские и англо-американские армии не смогут зажать Берлин с востока и запада. Он видел необходимость контроля над Атлантикой как залог любого европейского нападения. Он видел стратегическую ценность в очистке Северной Африки и предъявлении прав на Средиземноморье, чтобы вывести Италию из войны до начала наступления в Европе. Рузвельт был знаком с основными моментами, изложенными Черчиллем в этих документах, поскольку Черчилль изложил их в письме, отправленном Рузвельту в конце октября, на которое президент не ответил. Годом ранее, на секретных переговорах в Вашингтоне (известны как переговоры ABC-1), американские, британские и канадские армейские высокопоставленные чины разработали стратегию совместных действий в случае вступления Соединенных Штатов в войну против Германии и Японии. Согласно плану сначала требовалось нанести поражение Германии, начав с воздушных бомбардировок и морской блокады, а затем перебросить часть американского Тихоокеанского флота в Атлантику. Это джентльменское соглашение, надеялся Черчилль, будет закреплено в течение последующих нескольких дней, поскольку он опасался, что, если Япония приведет Америку в бешенство, американские военачальники могут изменить стратегию, решив сначала разгромить Японию, а не Германию, что повлечет ужасные последствия для Британии, если Гитлер расправится с русскими раньше, чем объявятся янки[75].

Кодовые названия для операций, на которые надеялся Черчилль, встречались в изобилии в планах Черчилля, многие из них он выбрал сам. Операция «Акробат» — наступление, с помощью которого Окинлек мог за несколько недель «завладеть Триполи», а его танки стабилизировать ситуацию «на границе Туниса». У Черчилля не было желания преследовать Роммеля по всей Северной Африке; он хотел разбить немецкие танковые войска и затем расправиться с пехотой Роммеля, когда она будет прижата к побережью. Однако с каждым днем становилось все яснее, что Окинлек, испытывавший нехватку продовольствия и чьи солдаты устали до изнеможения, долго не про-

держится. Это ставило под угрозу надежды Черчилля на вовлечение американцев в войну в пустыне. Когда Окинлек приступил к операции «Крусейдер», Черчилль сказал в палате общин, что результат битвы в пустыне, как в морском сражении, можно определить через несколько часов. Битва длилась уже более месяца, и, хотя Роммель отошел к границе Триполитании, 8-й армии Окинлека под командованием генерала Нила Ричи не хватало танков, чтобы покончить с Роммелем. Таким образом, операция «Акробат» могла закончиться, так и не начавшись. Тем не менее Окинлек сообщил Черчиллю именно те новости, которые были необходимы премьер-министру: немцы «под сильным давлением», доложил Окинлек, и посоветовал Черчиллю «проталкивать «Акробат». Окинлек был уверен, что в середине февраля сможет перейти в наступление[76].

Операция Whipcord, наиболее оптимистичный план Черчилля, основывалась на убеждении, что после взятия Триполи британцы смогут сразу «перепрыгнуть» на Сицилию, «пока не пройдет потрясение от сражения» в Северной Африке. Если удастся завладеть Сицилией, остатки немцев и итальянцев в пустыне, скорее всего, поймут, что оказались в безвыходном положении. Это, в свою очередь, подготовит почву для «Гимнаста», операции по захвату французской Северной Африки, с согласия правительства Виши или без него, которая завершится высадкой британских — и, хочется надеяться, американских — сил под командованием героя Дюнкерка, Гарольда Александера, у Дакара и Касабланки. Для поддержки Окинлека Черчилль приказал направить несколько транспортных судов с 18-й британской дивизией, вместе с эскадрильями истребителей, противотанковыми орудиями и сотней новых американских танков в Каир через мыс Доброй Надежды. Несколькими днями ранее он заявил Комитету обороны, что, согласно «руководящему принципу», «никакие ресурсы», предназначенные для операций в Северной Африке, «не должны направляться в другие места»[77].

Его стратегические размышления были частью грандиозных стратегических планов, разработанных годом ранее. Он всегда рассматривал Европейский военный театр в виде сжимающегося вокруг Германии кольца, посредством морской блокады на Северном море и Восточной Атлантике, и на суше, от Французской Северной Африки на восток к Каиру, на север, через Багдад до Кавказа, с восточным периметром кольца, очерченным 1800-мильным советским фронтом. Черчилль хотел испытать кольцо на море, в воздухе и на земле, пока не найдет слабые места, а затем воспользоваться выбранной стратегией. Он хотел сражаться сразу на всех фронтах, стратегия, которая приводила в ужас его военных советников (и которая будет приводить в ужас его американских союзников на протяжении последующих трех лет). «Черчилль — величайший военный гений в истории, — сказал

Исмей Авереллу Гарриману. — Он может использовать одну дивизию сразу на трех фронтах». Редактор дневников Брука, Артур Брайант, написал, что «до конца 1941 года у Британии не было реальной стратегии, позволявшей выиграть войну», и она просто пыталась избежать поражения, сражаясь «неистово, всеми силами, которые у нее имелись, делая все, на что она была способна, чтобы удержать своих европейских врагов в кольце из соленой воды и песка». Но в отличие от прошлого года у Черчилля теперь был союзник, способный предоставить неограниченное количество людей и оружия. Рождественская конференция, в ходе которой обсуждались все эти вопросы, носила кодовое название «Аркадия» — подходящее название, учитывая, что Аркадия — страна мира и благоденствия, но в то же время в ней есть храм Зевса. В Вашингтоне Черчилль нашел утешение, а в Рузвельте — Зевса, поскольку больше не было сомнений в том, кто создаст молнии, которые уничтожат Гитлера. Оставался вопрос, который не давал покоя Черчиллю: кто решит, где и когда метать молнии[78].

Макс Бивербрук считал, что бесчисленное количество черчиллевских операций отвлекает от реальной войны, в России, где, по его мнению, британские танки и войска могли принести больше пользы, чем в Северной Африке. Генерал Джордж Маршалл тоже считал Африку второстепенным театром; он хотел высадиться на побережье Франции в 1942 году. Дуайт Эйзенхауэр мыслил в том же направлении, но отдавал предпочтение другому театру военных действий. «Я настаивал, что решающее значение имеет Дальний Восток, — отметил он в дневнике, — и никакие второстепенные военные действия не стоит предпринимать до тех пор, пока там не будет приведено в соответствующий вид воздушное и водное пространство. Вместо этого мы предпринимаем [операции] «Магнит», «Гимнаст» и т. д.». Эйзенхауэр, не любивший бумажную работу, написал в дневнике, что «отдал бы все, чтобы вернуться на поле боя». Но Аверелл Гарриман разделял точку зрения Черчилля и видел стратегическую значимость Турции и Ближнего Востока, тогда как другие, особенно Бивербрук, этого не понимали[79].

Генерал сэр Алан Брук, всего три недели назад занявший должность начальника имперского Генерального штаба, соглашался с Черчиллем, что первоочередной задачей является освобождение Северной Африки и Средиземноморья, но только в том случае, если туда будут переброшены огромные силы, что не представлялось возможным, учитывая переброску с Ближнего Востока на Дальний Восток, и растущие потери транспортных судов в Атлантике. В течение двух веков британские генералы рассматривали все операции с точки зрения военно-морской стратегии, необходимой для поддержания сухопутных войск. В отличие от континентальных держав Британии не требовалась огромная регулярная армия (4- или 5-миллионная) для защиты своих границ; с этим справлялись Северное море и Ла-Манш. Британская армия всегда была,

вследствие островного положения Великобритании, экспедиционной, зависящей от Королевских военно-морских сил. Брук был генералом «соленых вод». Он понимал, что установление союзниками контроля над Средиземноморьем приведет к сокращению маршрута поставок на Ближний Восток — с 14 тысяч миль вокруг мыса Доброй Надежды до менее чем 4 миль через Средиземное море, — благодаря чему на миллион тонн возрастет объем поставок, что соответствует 200 грузовым судам. Эти «освободившиеся» суда можно будет использовать для поставки в Британию большего количества вооружения и продовольствия и для переброски американских войск в Британию и на Дальний Восток. До тех пор пока не будет установлен контроль над Средиземноморьем, союзники обречены нести тяжелые потери в кораблях. Брук поддерживал предложения Черчилля относительно операций в Средиземноморье еще по одной причине. Он эвакуировался из Дюнкерка и не имел ни малейшего желания возвращаться во Францию до тех пор, пока в его распоряжении не будет армий, необходимых для ведения боевых действий в Европе[80].

Брук был согласен с Черчиллем относительно необходимости возвращения во Францию и средиземноморской стратегии, но что касалось желания Черчилля сражаться в Норвегии, на Дальнем Востоке и в Африке одновременно, то Брук понимал, что Британии — всей империи — не хватит людей и вооружения, в особенности судов, чтобы осуществить большую часть черчиллевских операций. Но Брук был в Лондоне, тогда как Черчилль, в Вашингтоне, полностью завладел вниманием президента и его военачальников. Рузвельт согласился с операциями «Акробат», «Гимнаст» и «Магнит», планом по замене британских войск, расположенных в Северной Ирландии, четырьмя или более американскими дивизиями, чтобы освободить британские войска и отправить их в Северную Африку. Подробностями операций должен был заняться недавно созданный Объединенный комитет начальников штабов, в состав которого вошли американские и британские командующие всеми родами войск и их представители. Первые совещания привели Дилла в замешательство, и он телеграфировал Бруку, что американцы не имеют плана действий и не ведут протокол. Дилл сделал вывод, что «на данный момент Соединенные Штаты не имеют, повторяю, не имеют ни малейшего представления о том, что значит война, и их вооруженные силы не готовы к войне больше, чем это можно было бы себе представить»[81].

Если Черчилль видел возможности в Северной Африке, то Рузвельт видел их в Китае, что вносило еще большую путаницу. Чан Кайши зависел от Бирманской дороги, единственной связи с внешним миром, по которой доставлялись топливо и боеприпасы для армии Чана. Если японцы перережут дорогу, с Чаном будет покончено. Вся союзническая оборона Бирманской дороги состояла из нескольких

эскадрилий истребителей королевских военно-воздушных сил в Бирме и порядка семидесяти наемников из американского добровольческого военно-воздушного подразделения (American Volunteer Group, AVG), чьи несколько эскадрилий истребителей были поделены между Куньминем и Бирмой. Американским наемникам платили по 500 долларов за каждого убитого японца. Американские самолеты Curtiss-Wright P-40B Tomahawks украшали акульи пасти. «Летающими тиграми», как называли себя американцы, командовал бригадный генерал Клэр Шеннолт (служил в Воздушном корпусе армии США, затем был заведующим кафедрой истребителей в Тактической школе Воздушного корпуса, в 1937 году вышел в отставку, служил советником Чан Кайши во время японо-китайской войны). Жена Чан Кайши, Сун Мэйлин, называла американцев своими «летающими ангелами». Их было мало, они испытывали нехватку резервных экипажей и боеприпасов, но с Пёрл-Харбора они были единственной союзнической силой, доставлявшей неприятности японцам[82].

Во время пребывания Черчилля в Вашингтоне Арчи Уэйвелл, по просьбе Рузвельта, был назначен верховным главнокомандующим на Дальнем Востоке. В его круг обязанностей входило удержание Малайи и координация действий с Чаном по защите Бирманской дороги Чаном; считалось, что бирманцы ненавидели китайцев так же сильно, если не сильнее, как британцев. По мнению Уэйвелла, эта задача была не под силу армии Чана; Черчилль считал Китай второстепенным театром военных действий. Черчилль рассматривал защиту Бирмы исключительно с точки зрения защиты Индии, а не для того, чтобы спасти Бирму и защитить Чана и его маршруты поставок. Командование американскими, британскими, голландскими и австралийскими вооруженными силами (ABDA) (American-British-Dutch-Australian Command), которое возглавил Уэйвелл, должно было по возможности скорее приступить к работе в Батавии, столице Голландской Ост-Индии.

Уэйвеллу, по сути, пришлось принести себя в жертву. Ни Черчиллю, ни британским военачальникам не пришлась по вкусу эта идея, но позже Черчилль написал, что «было очевидно, что мы должны были удовлетворить пожелания американцев». Таким образом Черчилль избежал первой размолвки в партнерских отношениях, которых он так долго добивался. Черчилль и Рузвельт понимали, что должны приспособиться друг к другу, как партнеры в беге парами (правая нога одного связана с левой ногой другого), когда личные качества направлены на решение общей задачи. Разные стратегические, политические и военные цели не должны мешать решению общей задачи. Они понимали, что не могут использовать слабые места друг друга и не могут вступать в соперничество. Они понимали, что должны действовать сообща, говорить в унисон, поскольку их враг в Берлине и новый друг

в Москве являются непревзойденными мастерами в деле использования слабых сторон противника. То, что на раннем этапе сотрудничества удалось избежать ссоры, вовсе не означало, что между ними не будет ссор и размолвок, но было понятно, что два этих лидера вполне доверяют друг другу, чтобы справиться с ними в дальнейшем. А их впереди будет много[83].

24 декабря, в начале шестого вечера, Рузвельт с Черчиллем прошли в южную галерею Белого дома. Президент щелкнул выключателем, и на новогодней елке, тридцатифунтовой живой ели, высаженной на южном газоне, вспыхнула гирлянда из разноцветных лампочек. Рузвельт приказал открыть ворота, и за ограждением газона собралась толпа. После короткого заявления Рузвельта Черчилль добавил от себя несколько слов, которые Би-би-си передала в Лондон. Во время выступления Черчилля из окон Белого дома сочился мягкий золотистый свет, что показалось бы удивительным большинству британцев и практически каждому европейцу, даже немцам-победителям, чей лидер отдал приказ о введении светомаскировки по всей Германии. Черчилль в своей рождественской речи просто сказал, что по крайней мере на одну ночь каждый дом «во всем англоговорящем мире должен стать ярко освещенным островком счастья и мира. Пусть у детей будет вечер радости и смеха. И пусть подарки от Санта-Клауса доставят им радость». Затем были напитки, ужин, затянувшийся допоздна, и, уже лежа в кровати, он составлял речь, которую произнес спустя два дня в конгрессе. Таким было Рождество 1941 года, прошел еще один год, и только начиналась новая война. Теперь гирлянда на рождественской елке перед Белым домом вспыхнет только в 1945 году[84].

В Берлине Адольф Гитлер запретил петь рождественские песни, кроме O Tannenbaum («Ах, елочка!»). Елки олицетворяли растущую мощь арийской расы. Свастика, а не ангел или крест увенчивали новогодние елки берлинцев, но таких было не много, поскольку те, кому повезло достать елку, использовали ее для растопки. Пришла зима, угля не было. Не хватало продуктов питания, несмотря на украденное продовольствие у бельгийцев, поляков, французов и голландцев, которые к концу 1941 года ели вареные луковицы тюльпанов. Берлинцы приветствовали друг друга словами «Ach, das leben ist shwer» («Жизнь тяжела»). Для немецких солдат в России жизнь была тяжелой, жестокой и короткой. Советские пропагандисты тайно провозили в Германию тысячи рождественских открыток с изображением замерзшего поля с рядами деревянных крестов, увенчанных немецкими шлемами, и надписью «Жизненное пространство на Востоке[85].

Вскоре после того, как Черчилль обратился к американским детям, три сотни моряков из «Свободной Франции» высадились на островах Сен-Пьер и Микелон, старейшей и самой малочисленной французской колонии, расположенной вблизи Ньюфаундленда. Острова принад-

лежали Виши, и Рузвельт, который надеялся привлечь Виши к сотрудничеству с Западом, хотел, чтобы острова остались в собственности Виши. Но правительство Виши установило на Сен-Пьере радиопередатчик с целью, как написал Черчилль, «распространения вишистской лжи и яда» и, вполне возможно, «чтобы передавать сообщения немецким подводным лодкам, которые охотились за американскими кораблями». Министр иностранных дел Корделл Халл оказывал давление на Канаду, требуя прекратить работу радиостанции, но Оттава, не желая обидеть Петена, отказалась. Однако де Голль увидел возможность одержать символическую победу над вишистскими прислужниками и, до отъезда Черчилля в Америку, сообщил ему о своих планах по захвату островов. Черчилль сначала поддержал его, но, после того как Халл выразил крайнее неодобрение, сообщил де Голлю, что категорически против его плана. Де Голль все равно начал действовать. Его войска прибыли на канонерских лодках и без боя захватили острова. Победители подняли свой флаг, украшенный Лотарингским золотым крестом. Британцы приободрились. Канадцы вздохнули с облегчением, им удалось выйти сухими из воды. Американцы были в ужасе, точно так же, как и вишистская Франция. Разъяренный Халл (поскольку это было прямым нарушением доктрины Монро) назвал де Голля и его сторонников «так называемыми свободными французами», тем самым вызвав неприязнь между Америкой и французами любых политических убеждений в тот самый момент, когда Черчилль понял, что необходимо срочно добиваться расположения Виши в Северной Африке. Ведь если союзники когда-нибудь вступят в бой от Египта до Марокко, Туниса и Алжира, сговорчивость, а лучше сотрудничество вишистского режима будет куда более важно для успеха, нежели пара бригад смутьянов де Голля[86].

Де Голль в очередной раз все испортил. Однако оказалось, что он и его солдаты были единственными французами, желавшими умереть в борьбе против Гитлера, и этим он заслужил уважение и (сдержанную) поддержку Черчилля. Корделл Халл относился к де Голлю с ледяным равнодушием, граничащим с презрением. В качестве наказания за наглость Халл — «так называемый министр иностранных дел», как его окрестили многие американские издания, — настоял на исключении «свободных французов» из списка стран-союзниц, которые должны были 1 января подписать присягу на верность друг другу*.

* Декларация Объединенных Наций (Декларация двадцати шести государств) была подписана 1 января 1942 года во время проведения Первой Вашингтонской конференции. Название «Объединенные Нации» для союзников по антигитлеровской коалиции предложил в декабре 1941 года Рузвельт. Декларация Объединенных Наций от 1 января 1942 года послужила основой для будущей Организации Объединенных Наций. Во время войны термин «Объединенные Нации» стал синонимом для союзников по антигитлеровской коалиции.

Черчилль убеждал внести в список «свободных французов», но Халл, при поддержке Рузвельта, одержал победу. Черчилль избежал еще одного конфликта, и Франция, свободная или нет, официально не состояла в союзе, известном в Вашингтоне как Объединенные Нации.

На протяжении целого столетия Гонконг вел имперский британский образ жизни. Гонконг был построен на доходы от продажи опиума и пиратства и фактически управлялся из офисов крупнейшей Гонконгской и Шанхайской банковской корпорации»*.

Гонконг был зоной свободы и беспошлинной торговли, сердцем Британской империи на Дальнем Востоке, готовым торговать с любым капитаном любой национальности, который мог и хотел прибыть туда, включая деда Франклина Рузвельта по материнской линии, Уоррена Делано-младшего, который заработал и потерял несколько состояний на торговле опиумом. Дочь Делано, Сара, которая попала в Гонконг во время Гражданской войны в США, внушила своему сыну, Франклину, романтические представления о Гонконге и Китае и их роли в мире. Гонконг готовился выступить в новой роли. 8 декабря менее 8 тысяч шотландцев, англичан, индийцев, канадцев и местные китайцы были окружены более чем 30-тысячными японскими войсками. Когда японцы перешли с материка и отрезали водоснабжение, битва была окончена. Защитники Гонконга понимали, что Лондон считает город тактической позицией, которую нужно удерживать как можно дольше, чтобы задержать японцев и выиграть время для укрепления более важного города, Сингапура.

Несмотря на черчиллевский приказ, адресованный защитникам Гонконга, сражаться, если возникнет необходимость, «за каждый дом» и его призыв «сражаться до конца», губернатор Гонконга, сэр Марк Янг, капитулировал 25 декабря. Это было первое колониальное владение, потерянное британцами на Тихом океане. Победителя взяли в плен тридцать миссионеров Маринолла** и заставили смотреть, как японские пехотинцы закалывают штыком дюжины связанных по рукам и ногам британских и канадских военнопленных.

---

* Гонконгская и Шанхайская банковская корпорация — одна из крупнейших финансовых групп всего Азиатско-Тихоокеанского региона и один из старейших банков мира; штаб-квартира расположена в гонконгском округе Сентрал. В преддверии японского вторжения в Гонконг (1941 год) штаб-квартира Корпорации переехала в Лондон и вернулась обратно только в 1946 году (во время оккупации японцы использовали здание головного офиса под штаб военного правительства Гонконга).

** Миссионеры Маринолла — это представительство американских епископов в миссионерской среде, идея которого возникла в 1911 году. С тех пор ежегодно возникают новые очаги христианской жизни там, где раньше вообще не существовало католических приходов, или там, где есть католики, но нет священников.

Пленников избивали резиновыми дубинками и заливали им «в горло воду, пока они не захлебывались». Японцы насиловали евразийских, китайских и белых женщин. Трех британских медсестер сначала изнасиловали, потом закололи штыками, а затем сожгли. Спустя три дня японские солдаты — Time назвала их «мужчинами-карликами» — гордо прошли по городу триумфальным маршем. К тому моменту их братья из 25-й армии Ямаситы захватили треть Малайского полуострова на пути к своей цели — Сингапуру. Эту крепость, сказал Черчилль Уэйвеллу, «надо удержать любой ценой»[87].

26 декабря Черчилль выступил на заседании конгресса США. Слушатели в Британии, где Би-би-си вела радиопередачи без поддержки со стороны корпораций, были удивлены, узнав, что речь их премьер-министра передается при поддержке компании по производству зубной пасты. Хотя подобные культурные различия между двумя странами подтверждают высказывание Бернарда Шоу, «две страны, разделенные общим языком», Черчилль считал язык объединяющим фактором и, собираясь продемонстрировать американцам прекрасное владение языком, потратил более двенадцати часов на составление речи. Расслабившись, словно находился в кругу друзей и родственников (он мог проследить свою американскую родословную до пятого колена, до офицера, служившего под началом Вашингтона), Черчилль заговорил, не задумываясь о том, подходящий ли сейчас момент для шуток: «Я не могу не обратить внимания: если бы мой отец был американец, а мать — англичанка, а не наоборот, — я мог бы выступать перед вами как член конгресса. В этом случае я выступал бы перед вами не в первый раз и мой голос был бы вам знаком». Своими аплодисментами собравшиеся дали ему то, за чем он и пришел: одобрение. Подогревая внимание к своей теме — возмездию, он не видел необходимости воодушевлять американцев; Япония уже сделала это за него. Он не видел необходимости рассказывать американцам о возможности огненных бурь в их городах, 4000-фунтовых бомбах, которые способны стереть с лица земли их парламент, соборы и семьи, поскольку им не грозили массированные атаки со стороны немцев и японцев. На самом деле Lloyd's of London (Лондонский Ллойд или просто Ллойд — известный рынок страхования) ставил девяносто девять к одному на то, что атлантическое побережье подвергнется разрушениям[88].

В зале установилась абсолютная тишина, когда Черчилль сказал: «Если бы мы держались вместе после последней войны, если бы мы приняли меры по обеспечению нашей безопасности, это проклятие не настигло бы нас снова. Не обязаны ли мы ради самих себя, наших детей, измученного человечества убедиться, что подобная катастрофа не настигнет нас в третий раз?» Он подверг жесткой критике виновных в злодеяниях, используя привычные слова и фразу: «негодяи», которые распространили свою «чуму» и «пойдут на любую жестокость

и предательство». Черчилль яростно критиковал «мерзких предателей» и «хвастливого Муссолини... прислужника и раба, жалкое орудие воли своего господина». Затем, схватившись за лацканы пиджака, медленно подался вперед и произнес фразу, которая заставила вскочить весь конгресс, включая изоляционистов. Японцы, сказал он, «возможно, не понимают, что мы за люди. Возможно, они не понимают, что мы не перестанем противостоять им, пока не преподадим урок, который они и мир никогда не забудут»[89].

New York Times (под заголовком «Черчилль предсказывает мощное наступление союзников в 1943 году») назвала речь, которая продолжалась более тридцати минут, «типичной» для Черчилля, «полной искрометного юмора, жесткого осуждения тоталитарных врагов, стойкого мужества и неопровержимых фактов». Однако некоторые из так называемых неопровержимых фактов Черчилля были не такими уж неопровержимыми. Говоря о «победе [Окинлек] в Ливийской кампании», Черчилль заявил: «Если бы мы переправили и разделили наши постепенно растущие ресурсы между Ливией и Малайей, в них бы все равно нуждались в обоих местах». Несмотря на то что осенью он призвал британских начальников штабов не отбирать у Окинлека часть наступательных сил, несколькими днями ранее он приказал 18-й дивизии, которая в тот момент находилась на пути в Суэц, отправиться в Сингапур. Затем, за день до выступления перед конгрессом, он приказал Окинлеку «немедленно предоставить» для защиты Сингапура тяжелую артиллерию, зенитные орудия, грузовики, сотню новых американских танков и четыре эскадрильи истребителей (порядка сорока восьми самолетов), все, в чем Окинлек в скором времени будет остро нуждаться. Брук написал в дневнике, что Окинлек «воевал теми силами, которые были ему доступны... не подозревая, что скоро ему подрежут крылья», поскольку Черчилль перебросит людей и технику на Дальний Восток. Черчилль смотрел на это под другим углом зрения. Сокращение войск, сказал он Окинлеку, можно провести, «не подвергая риску «Акробат», наступление на Тунис через Триполи. И с «Гимнастом», сказал он своему генералу, теперь все в порядке, поскольку Америка вступила в войну. Он добавил: «Наш успех на Западе будет сведен к нулю, если Сингапур падет». И он был абсолютно прав[90].

Ночью он проснулся от «томительной» жары в спальне. Он подумал, что, наверно, заело в максимально открытом положении терморегулятор радиатора отопления, неудобство централизованной системы отопления, знакомое американцам, но не британцам. Черчилль попытался исправить ситуацию, открыв окно, но раму заело. Он поднапрягся, пытаясь справиться с рамой, и почувствовал боль в левой руке и в груди. В воспоминаниях он написал: «Я немного надорвал себе сердце». На самом деле, как уверил на следующее утро Черчилля доктор Уилсон, он пережил небольшой сердечный приступ. И хотя

друзья и семья Черчилля считали воспоминания Морана* предвзятыми и зачастую неточными, он был хорошим врачом.

В данном случае Моран правильно диагностировал проблемы с сердцем у Черчилля, в результате чего Черчилль нашел новую тему для размышлений: свой пульс. Каждый раз, когда Уилсон мерил ему пульс и прослушивал сердце, Черчилль требовал подробный отчет, но предупреждал врача, чтобы он не сообщал плохие новости. Несколько раз Уилсон заставал Черчилля, который украдкой проверял пульс. Доктор сказал, чтобы тот не обращал внимания на частоту биения сердца, но это было бесполезно. Черчилль не прислушался к совету доктора, и, когда его самодиагностика продолжилась, Уилсон пошел на обдуманный риск: он убедил Черчилля немного сбавить обороты, не объясняя, что с ним случилось и что на самом деле ему следовало несколько недель соблюдать постельный режим. Уилсон понимал, что это напугает Черчилля и, самое главное, напугает американцев и британцев[91].

Спустя два дня после сердечного приступа Черчилль сел в специальный поезд и покатил на север, в Оттаву, чтобы поблагодарить премьер-министра Маккензи Кинга и канадский народ за их помощь. Доктору Уилсону казалось, что Черчилль ничего иного и не ждал от доминионов и на самом деле принимал канадцев как должное, особенно осторожного и трудолюбивого Маккензи Кинга, который был склонен к таким шаблонным высказываниям, как «в политике главное избегать ошибок»[92].

Канада поплатилась за свою верность. Большинство торговых судов и крейсеров канадцы отдали в распоряжение правительства его величества; многие канадские корабли пошли ко дну. Теперь канадцы в Гонконге были либо взяты в плен, либо убиты. Черчилль больше всего был благодарен за канадскую помощь в отношении вишистской Франции. Хотя Канада, как и Америка, официально признала Виши, большая часть канадцев разделяли неприязнь Черчилля к марионеточному правительству. Когда 30 декабря он выступал в канадском парламенте, то, отдавая себе отчет, что еще больше разозлит Кордел-

---

* Впервые опубликованы в Британии под названием Churchill: The Struggle for Survival, 1940—1965 («Черчилль: Борьба за выживание, 1940—1965») (Constable and Company, 1966). В США опубликованы под названием Churchill, Taken from the Diaries of Lord Moran («Черчилль в дневниках лорда Морана») (Houghton Mifflin Company, 1966). Посвященный в рыцари в 1942 году, сэр Чарльз стал первым лордом Мораном в январе 1943 года. Книга написана в стиле дневниковых записей. Моран не был свидетелем многих, описанных в книге событий. Энтони Монтегю Браун, который был секретарем Черчилля после войны, позже заявил (в интервью 15 ноября 1980 года), что представить Черчилля ведущим серьезный политический разговор с Мораном так же сложно, как представить его «обсуждающим состояние своего пищеварительного тракта со своими военачальниками». Браун подверг сомнению «обсуждения, разговоры и цитаты, которые он [Моран] приписывал людям». (*Примеч. авт.*)

ла Хала, отдал должное боевому духу Шарля де Голля. Он напомнил присутствующим предсказание, сделанное Вейганом перед падением Франции: «Через три недели Англии свернут шею, как цыпленку». После паузы, пристально глядя в зал, он воскликнул: «Ай да цыпленок! Ай да шея!» Его слова заставили всех присутствовавших в зале встать. Это была его самая веселая речь за восемнадцать месяцев; канадцам она понравилась, и Черчилль понял это. Перед тем как покинуть парламент, Черчилль позировал для фотографа Юсуфа Карша. Он принял привычную позу и взял сигару. Юсуфу сигара показалась лишней, кроме того Черчилль на всех своих портретах позировал с сигарой. Карш подошел и выдернул сигару изо рта премьер-министра. Его лицо налилось гневом; сейчас Черчилль был больше похож на боксера, чем на государственного деятеля, и Карш успел запечатлеть этот момент. Фотограф назвал свою знаменитую фотографию «Рычащий лев». Когда Черчилль успокоился, Карш сделал еще одну фотографию, но уже благодушного Черчилля, почти ангельское лицо озаряла улыбка. Клементина назвала этот снимок «удачным»[93].

Поблагодарив тех, кто принял на себя обязательства (хотя и пообещав им еще много «темных и утомительных месяцев поражений», прежде чем они одержат победу), Черчилль 31 декабря покинул Оттаву. Температура воздуха упала до 18 градусов ниже нуля. В вагоне царила мрачная атмосфера. Когда часы пробили полночь, поезд мчался на полной скорости по долине реки Гудзон, Черчилль вошел в вагон прессы с бокалом шампанского в руке. Подняв бокал, сказал: «За 1942 год. Он станет годом тяжелого труда — годом борьбы и опасностей, долгим путем к победе. Давайте пройдем его благополучно и с честью»[94].

В сотне миль к югу огромная веселая толпа собралась на Таймс-сквер. Только полицейские, стоявшие парами на углах площади, и большой белый транспарант с надписью «Помните о Пёрл-Харборе» свидетельствовали об уникальности этого торжества. За несколько мгновений до полуночи, когда светящийся шар начал спускаться с крыши здания New York Times, Люси Монро, официальная солистка Американского легиона, запела The Star-Spangled Banner («Усыпанное звездами знамя»). Толпа сначала слушала молча, но вскоре стала подпевать. В Вашингтоне настроение было не радостным. В канун Нового года солдаты 3-го кавалерийского полка в поисках диверсантов обследовали территорию вокруг акведука, который снабжал столицу питьевой водой из Западного Мэриленда. Одни пехотинцы с винтовками с примкнутыми штыками, заряженными боевыми патронами, патрулировали мосты через Потомак, а другие оцепили Белый дом. Такого количества солдат на вашингтонских улицах не было с лета 1864 года, когда генерал Конфедерации Джубал Эрли стоял на подступах к городу[95].

В Лондоне толпа, собравшаяся у собора Святого Павла, когда часы пробили полночь, запела Auld Lang Syne («Старые добрые времена»).

Колокола лондонских церквей молчали, как они молчали уже более полутора лет. Затем неожиданно, перед тем как разойтись, люди запели She'll Be Coming 'Round the Mountain («Она придет из-за горы») и, нервно поглядывая на небо, побрели по темным улицам домой. Гарольд Николсон не отважился выйти на улицу; он слушал радио, когда Биг-Бен пробил полночь. В дневнике Николсон написал: «И вот 1941 год закончился... Это был грустный и страшный год». Окутанный темнотой Лондон мог послужить моделью для картины «Разрушение» — четвертой картины из серии пяти картин Томаса Коула под названием «Путь Империи». Америка вступила в войну, и шансы на то, что Лондон никогда не будет похож на последнюю картину Коула — «Опустошенность», увеличились[96].

Генерал сэр Алан Брук, оглядываясь на прошлый год, просил помощи у Бога, чтобы справиться «с Черчиллем в трудные времена, которые, я вижу, ждут меня впереди». Что касается положения с доминионами, то, по мнению Брука, «дела наши не так уж плохи. Мы потеряли не больше четверти империи». Если оценивать в квадратных милях, то он явно преувеличил потери. Если же оценивать с точки зрения общественного доверия, особенно тех жителей империи, которые обитали на Дальнем Востоке, то он был прав. Учитывая скорость, с которой японцы строили свою новую империю на обломках Британской старой империи, расчетам Брука было суждено претвориться в жизнь, и довольно скоро. Он был абсолютно прав в отношении прогнозов, связанных с определенными сложностями, присущими работе с Черчиллем[97].

Теперь Черчилль работал в двух мирах: один был в Лондоне, где записки «Сделать сегодня» немедленно приносили результаты, а другой, новый мир действия (и бездействия) был миром комиссий, ищущих согласия. У Черчилля, Рузвельта и Сталина была общая цель — победа, но, когда они приступили к составлению Декларации Объединенных Держав, начинались проблемы. Когда советский посол в США, Максим Максимович Литвинов, по настоянию Сталина, выступил против упоминания «религиозной свободы», Рузвельт (истинно верующий человек) прочел послу лекцию «о его душе и опасности гореть в адском огне». Рузвельт также напомнил Литвинову, что «религиозная свобода» может означать и свободу от религии. Сталин одобрил включение этого пункта в декларацию. Ничего другого нельзя было ожидать от объединения христианской республики, парламентской демократии и кровожадного диктатора-безбожника[98].

Сталин хотел, чтобы в декларации было отражено положение, много значившее для него. В первом пункте декларации говорилось: «Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные и экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это правительство находится

в войне». Поскольку Советский Союз не был в состоянии войны с Японией, последние слова этого пункта освобождали Сталина от необходимости объявлять войну Японии. Рузвельт в целом был доволен документом, но его не устраивало название — Объединенные Державы. Он придумал более звучное название: Объединенные Нации. Решив поделиться своим предложением с Черчиллем, президент прошел по коридору в его комнату, где премьер-министр, собираясь принять ванну, расхаживал по комнате абсолютно голый. Не придав никакого значения наготе Черчилля, Рузвельт предложил изменить название Объединенные Державы на Объединенные Нации. Черчилль согласился, добавив, что Байрон использовал те же самые слова в «Паломничестве Чайльд Гарольда». Позже Черчилль сказал королю Георгу, что он был первым британским премьер-министром в истории, который встретил главу государства в голом виде. Рузвельтовские «Объединенные Нации», написал Черчилль, «значительно лучше», чем «Объединенные Державы»[99].

12 декабря New York Times напечатала список двадцати пяти* воюющих стран-союзниц.

Индии — ее войска сражались в Северной Африке, Малайе, Ираке и Персии — не было в списке, опубликованном в Times. Для Черчилля имело смысл исключение Индии из списка; Индия, в конце концов, была частью Британской империи, и Лондон диктовал внешнюю политику Индии. Черчилль уже много месяцев давал понять, что любые изменения в колониальном статусе Индии могут иметь место только после войны и что он не может, на законном основании, диктовать условия послевоенному парламенту, в котором он и его коалиционное правительство не будут играть никакой роли. Но Рузвельт добился включения Индии в декларацию и дал указание Халлу добиться согласия британцев по этому вопросу. Халл, с готовностью убежденного антиимпериалиста и еще не остывший от гнева после событий в Сен-Пьере (к которым, по его мнению, Черчилль приложил руку), взялся за решение задачи. Военный кабинет выступил против включения Индии, согласившись с мнением Черчилля. Галифакс, желая избежать проблем с американцами, сказал Черчиллю, что участие Индии в составлении Версальского договора двумя десятилетиями ранее может стать прецедентом для включения ее в союзный договор и таким образом Рузвельт будет спокоен. Компромисс был достигнут: Индию включили в список стран-союзниц, но без каких-либо упоминаний о предоставлении суверенитета. Черчилль уступил

* США, Объединенное Королевство, СССР, Китай; Австралия, Бельгия, Чехословакия, Канада, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Эль-Сальвадор, Греция, Гватемала, Гаити, Гондурас, Индия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Польша, Южная Африка и Югославия. (*Примеч. авт.*)

Рузвельту как в случае с Индией, так и по вопросу исключения из списка стран-союзниц «свободных французов»[100].

Он в очередной раз пошел на уступку, когда Рузвельт потребовал, чтобы Соединенные Штаты первыми подписали договор, затем Великобритания, Советский Союз и Китай. Для Рузвельта эмоциональная значимость Китая подкреплялась стратегическими соображениями. Эта страна с почти пятимиллионным населением, сказал он Черчиллю, выйдет из войны вооруженной и готовой заполнить вакуум, созданный поражением Японии. Лучше вежливо обращаться с китайцами сейчас, чем столкнуться с ними потом. Китай для Черчилля был союзником, но «не мировой державой, такой, как Великобритания, Соединенные Штаты или Россия». Но Рузвельт так решительно настаивал на статусе Китая, что Черчилль телеграфировал Уэйвеллу: «Если бы я мог в одном слове выразить урок, который мне преподали Соединенные Штаты, то это слово было бы «Китай». И Китай занял четвертое место в списке.

Но в том, что касалось знания языка, президент уступал Черчиллю. Рузвельту не нравилось название, которое предпочитала пресса, — Вторая мировая война, и он предложил придумать новое, более поэтичное название. В Белый дом хлынул поток предложений, и Генри Луис Менкен составил список предложенных названий, среди которых были «Война на выживание», «Необходимая война», «Сумасшедшая война», «Война против тиранов», «Дьявольская война», «Ад». Любое из тех названий было применимо к данной войне, но пресса упорно отстаивала название «Вторая мировая война». Черчилль тоже предложил свой вариант: двумя словами он выразил Рузвельту название для войны; в паре слов он выразил наследие миротворцев и изоляционистов: «Ненужная война»[101].

После почти двухнедельных дебатов, 5 января, не желая больше злоупотреблять гостеприимством Рузвельта, но еще не готовый вернуться домой (американские и британские военачальники только приступили к работе), Черчилль принял приглашение администратора программы ленд-лиза Эдварда Стеттиниуса провести несколько дней в его доме на берегу моря, во Флориде. Старику нужна была передышка, Рузвельту и Гопкинсу тоже нужно было передохнуть — от Черчилля. Элеонора Рузвельт позже вспоминала: «Я заботилась о создании комфортных условий [для Черчилля], но всегда радовалась, когда он уезжал, поскольку знала, что моему мужу потребуется отдых, ведь он работал в обычные часы вдобавок к необычным часам работы, которые предпочитал Черчилль». Эти совещания так утомили Гарри Гопкинса, что он лег на неделю в Вашингтонский военно-морской госпиталь, чтобы провести неделю в постели[102].

Самолет Маршалла, на борту которого находились Черчилль и около дюжины его сотрудников, приземлился на маленьком аэродроме в

Уэст-Палм-Бич. Оттуда на машинах они отправились на юг, в Помпано, где местным жителям объяснили, что шумиха в доме Стеттиниуса вызвана приездом английского инвалида по имени мистер Лобб. По приезде мистер Лобб сразу отправился на пляж, где он плескался в теплых водах океана и плавал голышом, пока кто-то не заметил большую акулу. «Они сказали, что это была голубая акула, — позже написал Черчилль, — но быть съеденным голубой акулой так же неприятно, как и любой другой». Инспектор Томпсон приказал ему выйти на берег, но Черчилль отказался выходить из воды. Акула, медленно описав большой круг, уплыла. «Моя туша, — крикнул Черчилль тем, кто был на берегу, — отпугнула ее, и она уплыла подальше в океан». Однако с этого момента он держался на мелководье, «наполовину погрузившись в воду, как гиппопотам в болоте». Черчилль, принимавший солнечные ванны, по словам Томпсона, «выглядел словно огромный, общительный и слегка перекормленный ребенок».

Рузвельт прислал личного шеф-повара, чтобы тот приготовил для Черчилля clam chowder*, но Черчилль отдавал предпочтение боврилу, который запивал шампанским.

Он курил сигары, выпивал, купался и резвился в волнах в солнечной, отделенной от остального мира Южной Флориде, такой далекой от войны. Это был его первый отпуск за три года. И хотя в начале января американцы совсем не представляли, какие проблемы их ожидают в будущем, Черчилль, покачиваясь на волнах прибоя во Флориде, «без сомнения» знал, что их ожидало, — «время страданий» и «разочарований и неприятных сюрпризов». Он говорил об этом британцам уже почти два года и сказал то же самое американцам несколькими днями ранее. Он знал, что по приезде в Лондон — это его совсем не радовало — ему придется снова говорить королю, парламенту и британцам, что худшее еще впереди. После пяти дней виски, горячих ванн и теплой Флориды Черчилль позвонил Рузвельту, сообщив, что возвращается в Вашингтон. Памятуя о просьбе Джона Мартина соблюдать осторожность при разговорах по незащищенной телефонной линии, он прошептал: «Я не могу сказать вам, как мы приедем, но мы поедем на пуф-пуф, понимаете? *Пуф-пуф*»[103].

Миссис Рузвельт пригласила на обед в предпоследний день пребывания Черчилля в Белом доме особого гостя — Луиса Адамича. Уроженец Словении, Адамич к 1942 году стал одним из самых популярных американских писателей, творчество которого вызывало противоречивые мнения. Его прогрессивные идеи нашли отклик в антиимпериалистическом Государственном департаменте США, некоторые служащие которого имели левые взгляды. Первая леди прочла и оста-

* Клэм-чаудер — традиционный американский крем-суп из морепродуктов.

лась довольна последней книгой Адамича Two-Way Passage, и она наверняка знала, что Черчиллю в компании писателя будет некомфортно. Адамич пытался продвинуть свою теорию, что Америка должна стать лидером послевоенной европейской политической реконструкции, отправив «квалифицированных» либеральных мыслителей-экспатриантов вроде него в Старый Свет, чтобы привить его жителям менее шовинистический взгляд на мир, чтобы нежелательные элементы не могли влиять на события. Главным среди этих нежелательных элементов был «югославский орел» Дража Михайлович и его 150 тысяч четников (в основном сербского происхождения), которые почти семь месяцев вели жестокую борьбу с гитлеровскими оккупационными войсками, связывая действия десяти немецких и болгарских дивизий. Михайлович считался героем на Западе, и Черчилль тоже считал его героем. А вот Адамич поддерживал партизан, во главе которых стоял хорват Иосип Броз, социалист, практически неизвестный в Америке. Сторонники называли его Тито (Черчилль, привычно путавший имена, звал его Тоти). Что касается других европейских элементов, Адамич считал, что Советы никому не будут угрожать после войны. Другое дело Британия, которая была следующей после Михайловича в списке нежелательных элементов Адамича, и после войны следовало исключить ее влияние, особенно на Балканах. Чета Рузвельт, находясь под впечатлением книги Адамича, дала ее Черчиллю. Книга вызвала у него отвращение[104].

В своих воспоминаниях об обеде в Белом доме Адамич назвал Рузвельта «живым, сообразительным, невероятно обаятельным, подвижным», само очарование. Даже Фала, маленький шотландский терьер Рузвельта, которая бегала по комнате, обнюхивая ботинки и выполняя трюки, удостоилась похвалы Адамича. Черчилля Адамич назвал «великим лидером и... дьяволом» и отметил, что он был как «огромный живот» с толстой сигарой, воткнутой в его «огромную, круглую рожу»; его глаза «умные, безжалостные и беспринципные». Когда Адамич спросил, как ему понравился Two-Way Passage, Черчилль пробурчал: «Я ч-читаю вашу книгу и нахожу ее интрр-ресной». Адамич, похоже, приписывает Черчиллю заикание, и, хотя у него были сложности с произнесением свистящего «с» (у него была легкая шепелявость), он не заикался. В любом случае Адамич сделал правильный вывод еще до того, как подали десерт, что Черчилль никогда не примет его утопическую схему или что-то подобное. На его поведение, написал Адамич, влияли «многие источники раздражения... Я был ужасным раздражителем, но меня пригласил Ф.Д. Р., и он был вынужден терпеть меня. Это было видно по тому, как он вел себя... Он что-то бормотал, чего я не понимал. Он украдкой смотрел на меня, полузакрыв глаза, с засунутой в рот сигарой и прислонясь спиной к стене». Это напоминало Черчилля, возмущенного, скучающего, который, как дает понять Адамич, изрядно выпил.

Можно было справедливо предположить, что Черчилль не будет предлагать его кандидатуру для вступления в члены Другого клуба[105].

Следует помнить, что Черчилль в первые недели сотрудничества не мог с уверенностью сказать, кто из тех, с кем он встречался, войдет в историю как гигант, а кто (вроде Адамича) отправится в мусорную корзину. Джордж Маршалл остался начальником штаба армии, но, если бы ответственность за Пёрл-Харбор была возложена на высшие чины военного командования, Маршалла могли отправить в отставку. Черчилль отправил бы своих Верховных командующих в отставку после такого сокрушительного провала. Насколько же в таком случае можно доверять мнению Маршалла? Начальник флота, адмирал Гарольд (Бетти) Старк, хотя официально и не обвиненный в том, что позволил Пёрл-Харбору случиться во время своего дежурства, через несколько месяцев назначен командующим военно-морскими силами США в Европе (которых не было) и направлен в Лондон в качестве личного представителя президента, где он, как фельдмаршал Дилл в Вашингтоне, хорошо справлялся с обязанностями. Черчилль еще не слышал об Эйзенхауэре, Паттоне и Брэдли. Он знал о репутации Дугласа Макартура, но в те первые недели выяснилось, что Макартур — первый кандидат на место командующего американскими войсками, в Европе или Азии, скорее всего, примет геройскую смерть на Филиппинах, и скоро. Адмирал Эрнест Кинг, главнокомандующий ВМС США (вместо Старка, как виделось Кингу), был недоволен Маршаллом, и ему не терпелось вступить в войну с Японией. Можно ли было заставить Кинга — вспыльчивого, жесткого, не являвшегося поклонником Британской империи — понять, что сначала следует разобраться с Германией. Черчиллю ничего не оставалось, как наблюдать и ждать. И хотя Адамич на какое-то время сошел со сцены, его присутствие рядом с Рузвельтом не стоило сбрасывать со счетов.

Черчилль не мог не учитывать и миссис Рузвельт, которой «было позволено присутствовать на таких послеобеденных беседах в Белом доме». Это, как вспоминает один из черчиллевских секретарей, «сильно раздражало Уинстона», поскольку в Англии после обеда женщины удалялись, позволяя мужчинам вести разговоры в чисто мужской компании. В Чартвелле был круглый обеденный стол (по требованию Уинстона, чтобы избежать ненужной иерархии), но после обеда за ним редко оставались женщины. Черчилль, по воспоминаниям Колвилла, «не слишком любил женскую компанию»[106].

Правда, для некоторых делал исключение. Одним из таких исключений была леди Диана Купер, а другим — Вайолет Бонем-Картер, дочь премьер-министра Асквита. И, кроме того, Клементина. Но Клементине никогда не приходило в голову присоединиться к мужчинам, сидевшим за бокалом старого Napoleon, и не потому, что она считала, будто ей там не место, или потому, что запрещал Черчилль — чего он

никогда не делал, — а потому, что ее политические взгляды настолько явно склонялись в сторону левых, что, если бы она стала решительно отстаивать свое мнение в кругу близких друзей мужа, это могло вызвать неловкое молчание. (И хотя Черчилль был либеральным тори, как и его отец, Клементина в душе была эдвардианским либералом, ближе к традиционной Либеральной партии.) К тому же ей не слишком нравились ближайшие приятели Черчилля — ирландец Брекен и канадец Бивербрук, которого она уважала за самолеты, которые он строил, но он неизменно вызывал ее раздражение. Вот почему она не принимала участия в разговорах после ужина и, тем более в разговорах на политические темы. Когда она принимала гостей, будь то завтрак или обед, Клементина, чувствуя настроение мужа, уводила разговор от любой темы, которая могла бы рассердить или утомить его. Если разговор переходил на политику, миссис Черчилль оставляла свое мнение при себе. Что же касается любви Элеоноры Рузвельт к общению с такими гостями, как Адамич, или к участию в мужских разговорах, Черчилль был достаточно проницательным, чтобы понять, что первая леди не просто выполняла обязанности хозяйки дома, но была политическим деятелем, имевшим влияние на мужа, который уважал и прислушивался к ее мнению. Черчилль, находясь в президентском доме в качестве гостя и проникавшийся все большей любовью к Рузвельту с каждым танком и самолетом, сходившим со сборочного конвейера, был готов мириться с политическими высказываниями Адамича и миссис Рузвельт[107].

Франклин Рузвельт в ходе «Аркадии» снабжал Черчилля всем необходимым, и даже больше. Почтительное отношение Рузвельта к Британии в том, что имело отношение к военным вопросам, было понятно, учитывая, что Британия сражалась уже более двух лет, в то время как американцы проигрывали на протяжении двух недель. Были и разногласия: Маршалл хотел, чтобы союзные операции начались с высадки на побережье Франции в 1942 году, в то время как Черчилль имел виды на «Гимнаста», высадку в Северной Африке. К большому удивлению (и облегчению) Черчилля, когда Окинлек, казалось, был готов увязнуть в пустыне, Рузвельту пришла идея операции «Супер-Гимнаст» — оккупация, при первой возможности, Французской Северной Африки силами 100-тысячной американо-британской армии. Но если Эйзенхауэру идея «Гимнаста» казалась неудачной, то тому, кому Маршалл поручил высадку американских войск, — генерал-майору Джозефу Стилвеллу — она казалась провальной. Стилвелла — солдаты прозвали его Кислый Джо — выбрали после того, как его фамилия возглавила составленный для Маршалла список самых талантливых американских генералов. Дневниковые записи Стилвелла, которые относятся к операции «Гимнаст», проливают свет и на обоснован-

ность его прозвища, и на его нетерпимость к англичанам. «Гимнаст», написал он, имеет все шансы стать «бездонной пропастью», которую тяжело содержать и еще тяжелее сохранить. Это «сумасшедшая авантюра. Вся чертова операция — просто безумие». Рузвельта — «дилетанта в военных вопросах, с его причудами, фантазиями и детскими суждениями» — «англичане просто облапошили»[108].

Из-за недостатка кораблей и десантных судов осуществить операцию «Гимнаст» удалось бы в лучшем случае только через несколько месяцев. На самом деле за две недели, учитывая, что Окинлек завяз в пустыне, возможность осуществления «Гимнаста», хоть супер, хоть простого, испарилась. Стилвеллу было приказано забыть о Северной Африке и вместо этого отправляться в Китай, где Чан, которого Стилвелл считал «сумасшедшим мелким мерзавцем», ждал помощи, обещанной Рузвельтом. Однако другой помощи, кроме как от Стилвелла, Чану ожидать не приходилось. Что же касается военной техники, американцы увеличили производство танков «Грант» и «Шерман» до 45 тысяч единиц в 1942 году (для сравнения: с мая 1940 года всего было произведено 4200 единиц). Рузвельт предложил построить вдвое больше военных самолетов в 1942 году — 45 тысяч, — чем США и Британия вместе произвели за два предыдущих года. Невероятное количество, в четыре раза превышающее объем производства Германии и Японии, вместе взятых. Геббельс высмеял эти проекты, назвав их «сумасшедшими»[109].

Когда на встрече американцы сказали, что смогут перепрофилировать под военное производство 15 процентов американских автомобильных заводов, Бивербрук ответил, что 100 процентов автомобильных заводов Британии были перепрофилированы, и подтолкнул Рузвельта установить планку выше. Президент так и сделал; 1 января он приказал американским автомобильным заводам остановить производство к концу февраля. В течение нескольких недель активно обсуждалась нехватка новых автомобилей, в то время как резина, 90 процентов которой поставлялось из Малайзии и Индонезии, попала под нормированное распределение. В Соединенных Штатах не было фабрик по производству синтетической резины, чтобы решить проблему дефицита резины. Скоро американцы поняли то, что британцы знали уже давно; без пары покрышек, спрятанных в гараже, семейный автомобиль долго не протянет. Поездки по железной дороге — вот уже пятьдесят лет американцы отдавали предпочтение «пульманам» в качестве средств передвижения — стали доступны только солдатам и бизнесменам, занятым в военном деле. А затем были реквизированы и самолеты — 434 машины. К весне нормирование бензина, скорее способ сохранить шины, чем топливо, распространилось по Восточному побережью Соединенных Штатов, а в следующем году и по всей стране. После этого стало ясно, что американцы из центральной части страны не смогут больше отды-

хать на Восточном и Западном побережье, даже если их машины с «лысыми» шинами смогли бы их туда доставить. Но уже летом большинству американцев это не казалось странным, поскольку к Восточному побережью Америки регулярно прибивало останки кораблей и разложившееся тела — «урожай» немецких подводных лодок[110].

Рузвельт был согласен, что нужно раскачать американскую производственную машину на полную мощность, но в начале нового года сложно было представить себе равномерный гул бесконечных фабрик Америки. Америка, испытавшая унижение с Гуамом, Уэйком, Пёрл-Харбором и Манилой, рвалась в бой, но вряд ли была к нему готова. Но еще больше Черчилля волновало то, что американцы, включая англофобов типа адмирала Эрнеста Кинга и Стилвелла, и тысячи добровольцев, которые толпились у призывных пунктов, хотели драться с японцами, и чем скорее, тем лучше.

Но ущерб, нанесенный в Пёрл-Харборе, не давал им этого сделать. Атака японцев была настолько разрушительной, что оперативное авианосное соединение, которое было послано оказать помощь пяти сотням морских пехотинцев, оставшимся на Уэйке, развернулось и отправилось домой, когда их командующий, контр-адмирал Фрэнк (Джек) Флетчер решил, что топливо важнее, чем оказание помощи морским пехотинцам. Когда министр военно-морских сил США Фрэнк Нокс спросил Черчилля, что бы он сделал с таким предусмотрительным адмиралом, Черчилль придержал язык из уважения к новым союзникам. Перед тем как сдаться в плен, обреченные морские пехотинцы на Уэйке нанесли максимально возможный ущерб японскому флоту — вывели из строя крейсер и потопили миноносец с помощью легкой артиллерии. Американцы были настолько унижены событиями последнего месяца, что одним из первых действий Кинга в качестве нового командующего военно-морскими силами было изменение аббревиатуры главнокомандующего флотом США с CINCUS (Commander-in-Chief-of-the-US)* на COMINCH (Commander-in-Chief), поскольку первое вызывало негативные ассоциации.

Между тем Макартур и его армия были готовы разделить судьбу Джеймса (Джима) Боуи и его техасцев при осаде Аламо**.

Этого американцы стерпеть не могли, особенно если бы узнали о желании Вашингтона поддержать Британскую империю, пожертвовав

---

* Cinc произносится так же, как sink — тонуть.

** Боуи Джим — американский авантюрист, герой Техасской революции. С началом техасской борьбы за независимость Боуи возглавил местное ополчение в боях за Консепсьон и так называемой «битве за сено» в 1835 году. В 1836 году Боуи руководил защитой миссии Аламо в Сан-Антонио. Все защитники осажденной крепости погибли в бою. Боуи был прикован к постели болезнью, однако перед смертью, как гласит предание, успел разрядить свои пистолеты в ворвавшихся в его комнату мексиканцев. Его фамилию выбрал своим псевдонимом музыкант Дэвид Боуи.

Макартуром. Черчилль дал понять военному министру Генри Стимсону, что если американская озабоченность Тихим океаном в целом и Филиппинами в частности станет помехой в осуществлении стратегии «сначала Европа», которая находится в разработке уже несколько месяцев, то в результате война может быть проиграна на обоих военных театрах еще до того, как Америка вступит в войну на одном из них. Но дело в том, что Стимсон как раз презирал адмирала Кинга и верил в стратегию «сначала Европа». Говорят, что Стимсон, в попытке переубедить Черчилля, сказал об армии Макартура: «Бывают времена, когда солдаты должны умирать». Итак, быть Европе первой[111].

Но даже такое недвусмысленное заявление, как «сначала Европа», звучало по-разному для разных людей. Договориться о том, где, когда и как атаковать Германию, предстояло недавно сформированному Объединенному комитету начальников штабов, в который входили: Джордж Маршалл, начальник штаба сухопутных войск США; адмирал Гарольд Старк, военно-морские силы США в Европе; адмирал Эрнест Кинг, руководитель военно-морскими операциями; и генерал-лейтенант военно-воздушных сил США Генри (Хэп) Арнольд. Со стороны Великобритании: стареющий первый морской лорд, сэр Дадли Паунд; сэр Чарльз Портал, королевские ВВС; и генерал сэр Алан Брук, начальник имперского Генерального штаба. Слово «имперский» вызвало отторжение у Маршалла и Кинга еще до того, как они встретились с Бруком. О создании Объединенного комитета начальников штабов было официально объявлено в феврале 1942 года, и члены комитета встретились весной. К тому времени они полностью разошлись во мнениях относительно того, что означает «сначала Германия» или «сначала Европа». К лету эти разногласия стали первой проверкой союза на прочность.

В свой последний вечер в Вашингтоне Черчилль ужинал с Рузвельтом и Гопкинсом перед отлетом в Норфолк, штат Виргиния. Утром он поднялся на борт Boeing Clipper, чтобы за три часа долететь до Бермудских островов, где его ждал Duke of York. Черчиллю полет понравился. Погода была чудесной, напитков и еды было в изобилии. Большой самолет летел на высоте 8 тысяч футов, со скоростью 145 миль в час. Черчилль даже сам некоторое время управлял самолетом. Вспомнив об ужасном морском путешествии, он уговорил капитана самолета, Келли Роджерса, доставить его и нескольких членов его штаба в Англию. Все остальные поплыли на корабле. Воздушное путешествие чуть не закончилось катастрофой, когда на рассвете следующего дня, после восемнадцатичасового полета, Роджерс вывел самолет из зоны низких облаков и понял, что он сбился с курса. По времени они должны были уже увидеть побережье Англии, но внизу было бескрайнее море. И они летели и летели. Черчилль вспоминал, что после нескольких минут неловкой тишины Роджерс сообщил, что поворачивает строго на север,

и «через полчаса, на протяжении которых самолет то входил в облачность, то выходил из нее, мы увидели Англию и вскоре очутились над Плимутом, где, обходя аэростаты воздушного заграждения, благополучно приземлились». Впоследствии Черчиллю стало известно, что «если бы мы шли прежним курсом еще пять-шесть минут до того, как повернули на север, то мы оказались бы над немецкими батареями в Бресте. Ночью мы слишком отклонились к югу. Кроме того, в результате произведенного нами решительного изменения курса мы подошли к месту посадки не с юго-запада, а с юго-востока, то есть со стороны противника, откуда не ожидали нашего появления. В результате о нас сообщили как о вражеском самолете, приближающемся со стороны Бреста, и командование истребительной авиации отдало приказ шести «Харрикейнам» сбить нас. К счастью, они не справились с заданием». Через пять недель, проделав путь в 9 тысяч миль, Черчилль вернулся домой в целости и сохранности, став первым руководителем страны, совершившим трансатлантический перелет[112].

Черчиллю гораздо больше понравились места, где он останавливался, — особенно Марракеш и Ривьера, да почти все места, где было теплее, чем в Англии, — чем само путешествие, особенно на военном корабле и маленьком самолете, где так не хватало хорошей еды и мягких постелей. О своем воздушном путешествии он позже написал: «Должен сказать, я был достаточно напуган», когда видел внизу бескрайний океан и был в тысяче миль от земли. «Путешествие через Атлантику всегда внушало мне ужас». Всего двумя годами ранее считалось безумием пытаться зимой пересечь Северную Атлантику на самолете, когда погода особенно непредсказуемая. Тот факт, что американские бомбардировщики теперь летали в Британию с остановкой на Ньюфаундленде или в Исландии, объясняется необходимостью дозаправки. Ночью, если небо было ясным, летчики определяли курс по звездам. Высокая облачность могла привести к катастрофе. Самолет, сбившийся с курса, чаще всего падал, и шансов на спасение у пассажиров было крайне мало. Так что пересечение Атлантики было настолько опасным, что самолеты-бомбардировщики доставляли в Европу по морю, на кораблях — способ передвижения, который Черчилль считал неоправданно медленным. Старик был крайне нетерпелив[113].

Вскоре после возвращения Черчилля в Лондон стало известно о его проблемах с сердцем, главным образом из-за того, что он не умел держать язык за зубами. Он сказал Идену, что его «немного беспокоит сердце» и что ему бывает тяжело дышать, когда он пытается танцевать. Иден сказал об этом своему парламентскому секретарю Оливеру Харви, который написал в дневнике: «Доктора сказали ему [Черчиллю], что у него не все в порядке с сердцем и ему нужно отдыхать». Харви сказал Идену, что следует быть готовым к тому, чтобы взять

бразды правления в свои руки, если Черчиллю станет хуже. Харви также отметил, что, больной или здоровый, Черчилль никогда не отказывался от эдвардианского обеда: «Сегодня за обедом он выпил кружку пива, три бокала портвейна и три бренди, как делал это в течение многих лет». Тем не менее Черчилль впал в уныние. Гонконг был сдан, Сингапуру грозила опасность. И Роммель снова появился из ниоткуда, выполз, как змея из-под камня. Иден, после того как выпил со Стариком, написал в дневнике: «Уинстон был усталым и подавленным... Он не испытывает иллюзий в отношении палаты общин, утверждая, что большая часть тори его ненавидит... он был бы только счастлив передать бразды правления кому-нибудь другому». Как бы то ни было, но Идену было еще рано думать о кресле премьер-министра (это произойдет, но только спустя тринадцать лет). Черчилль, хотя и делился с Иденом мрачными мыслями, не собирался уходить в отставку[114].

В первый день на родной земле, читая газету в поезде, который следовал в Лондон, Черчилль, повернувшись к доктору Уилсону, устало сказал: «Там, похоже, полнейшая неразбериха». Так оно и было. Эттли предупредил телеграммой, чтобы он не надеялся на триумфальную встречу в Лондоне. Эттли доложил, что, когда первый лорд адмиралтейства, А.В. Александер, попытался рассказать членам палаты общин подробности обстоятельств, в которые попал «Принц Уэльский», поднялся шум и спикера прервали. В палате «неспокойно», написал Эттли, а общественность и пресса «встревожены» положением дел на Дальнем Востоке, обвиняя правительство в недостаточной готовности. Еще большее беспокойство Эттли вызывал тот факт, что палата — как Evening Standard и Daily Mail — «испытывала серьезные опасения» относительно Индии, особенно относительно политической ситуации в стране. Доходили слухи из других концов земли; австралийцы, по словам Эттли, были настроены «крайне негативно». Черчилль, да и весь мир, хорошо знал об этом. Премьер-министр Австралии Джон Кертин, опасаясь вторжения японцев, заявил в статье, опубликованной в Melbourne Herald, о намерении своего народа, «несмотря на наши традиционные связи с Соединенным Королевством», искать защиту у Соединенных Штатов. В сущности, отношения между Австралией и империей определялись Вестминстерским статутом*, который Австралия ратифицировала только в 1942 году, при этом, чтобы оправдать участие в войне, действие закона распространили на период с 3 сентября 1939 года, в день объявления Лондоном войны.

* Вестминстерский статут — акт парламента Великобритании от 11 декабря 1931 года, установивший правовое положение доминионов и их взаимоотношения с Великобританией. Статут был применен к существовавшим на тот момент доминионам: Австралия, Канада, Южная Африка, Новая Зеландия. (*Примеч. авт.*)

Черчилль не забыл обиды. Несмотря на то, что он часто выражал благодарность доминионам за участие в войне, несмотря на его любовь к теплым странам, Черчилль никогда не приезжал в Австралию, даже когда век высоких скоростей сделал это путешествие похожим на послеобеденный сон в садовом кресле[115].

Многие члены парламента всех политических мастей и многие представители прессы, тори и лейбористы, призывали провести радикальные изменениям в правительстве. Некоторые задавались вопросом, может ли Черчилль по-прежнему управлять страной в качестве премьер-министра; многие считали, что он не оправдал себя в качестве министра обороны. Депутаты, похоже, были готовы восстать. Черчилль относил эту критику за счет «длинной, неизмеримой череды бед», исходившей от Японии, и убеждения, которое разделяли многие британцы, что союз с Америкой означает, что «больше нет угрозы» выживанию Родного острова. Убеждение, которое позволило думать, что «любой критик, дружелюбно или недружелюбно настроенный, может указывать на совершенные ошибки». Самой большой ошибкой, по мнению критиков, было то, что Черчилль учредил и занял пост министра обороны, но, заняв его, не добился ничего, кроме поражений. Они хотели, чтобы он ушел с этой должности. Но министерства обороны в том виде, в каком оно имелось в Америке, в Британии не было. Министерство обороны, по сути, состояло из самого Черчилля. Если он уходит с должности, то теряет каналы связи с начальниками штабов, а это недопустимо. Его критики понимали, что он вдохновил народ и создал свой «великий союз», но ценой отдаления от австралийцев, боявшихся за свою жизнь, и от индийских националистов, которые, как и многие американцы, включая Рузвельта, считали Черчилля империалистом старой закалки. Он вернулся домой, и у него возникло впечатление, что «вокруг меня нарастают волны общественного мнения, сбитого с толку, недовольного, смущенного, обескураженного, хотя и несколько поверхностно судящего обо всем». Он твердо решил встретить критику с поднятой головой, предупредив народ, что впереди его ждет еще немало поражений, а затем потребовать от палаты общин вотум доверия. Это был умный ход, который критики должны были ожидать, учитывая черчиллевскую военную и политическую философию: когда атакуют — контратакуй[116].

20 января, когда Черчилль готовился выступить с обращением к своим согражданам, Адольф Гитлер выступил перед своим народом. К тому моменту, отметил Геббельс, любое упоминание о Черчилле в немецкой прессе сопровождалось ссылкой на то, что он ничего не смыслит в стратегии, является пешкой в руках евреев и пьяницей. Гитлер превзошел Геббельса: «Этот болтун, этот пьяница Черчилль, чего он достиг в жизни? Это лживое существо, этот первостатейный бездельник. Если бы не было этой войны, в будущие века, вспоминая

о нашем веке, обо всех нас и обо мне говорили бы как о создателях мира. Но если бы не было этой войны, кто бы говорил о Черчилле?.. одном из самых мерзких личностей в мировой истории, который способен только разрушать...»

Затем Гитлер похвастался тем, чем уже хвастался в 1940 году: учитывая судьбу Третьего рейха, выбранные им слова звучат пророчески и иронично: «Правда в том, что однажды они назовут его разрушителем империи, скажут, что он, а не мы уничтожили ее»[117].

В тот день, 20 января, Рейнхард Гейдрих, правая рука Гиммлера в СС и заместитель имперского протектора Богемии, созвал конференцию в пригороде Берлина Гросс-Ванзее. Несколько месяцев назад Геринг потребовал от СС «окончательного решения еврейского вопроса». Пятнадцать нацистских чиновников и членов СС собрались, чтобы договориться об уничтожении 11 миллионов евреев, которые проживали на территории Европы и Советского Союза. «Европа будет очищена от евреев с запада до востока» — заявил Гейдрих. Оберштурмбаннфюрер (подполковник) СС Адольф Эйхман, тридцатишестилетний технократ, вел протокол. Позже Гейдрих отредактировал протокол, вставив туда слова, которые нацисты использовали для обозначения акций по уничтожению евреев, партизан и коммунистов. Формулировка «Смерть по естественным причинам» означала смерть из-за изнурительного труда и голода. «Отправлены на восток», в отношении массовой депортации евреев в гетто на территории оккупированной Польши, а затем в газовые камеры в Бельжец, Треблинку, Собибор и Аушвиц. «Специальные акции» и «соответствующая обработка» — расстрелы без суда и следствия расстрельными командами и смерть от отравления газом в специально оборудованных грузовиках айнзацгрупп*, на Востоке, после начала операции «Барбаросса». Были расстреляны сотни тысяч украинских евреев, их тела свалили в общие могилы, которые все еще продолжают находить. Участники Ванзейской конференции были настолько уверены в победе, что их список еврейского населения включал Ирландию (4 тысячи человек) и Англию (330 тысяч человек). Столь эффективной была нацистская машина смерти, что Эстония, это особо отметили, уже была «очищена от евреев»[118].

За три недели до начала Ванзейской конференции — Черчилль только приехал в Оттаву — два чешских диверсанта были сброшены на парашютах с британского бомбардировщика «Галифакс» в Чехословакию. Они направлялись в Прагу, где находился штаб Гейдриха, которого ненавидели все чехи. Эти чехи прошли подготовку в отделе специальных

* Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD) — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса». (*Примеч. пер.*)

операций Хью Далтона. Их миссия, санкционированная чешским правительством в изгнании, заключалась в преследовании Гейдриха до тех пор, пока не представится возможность его уничтожить[119].

Сэр Стаффорд Криппс, получив разрешение покинуть Москву, вернулся в Лондон 23 января. Он еще не был готов уйти в отставку. Левые убеждали его, что он является лучшим преемником Черчилля, а Черчилля надо гнать из кабинета, но даже некоторые правые считали эту меру чрезмерной. Геббельс тоже считал, что Криппс предназначен для «номера 10», откуда, считали в Берлине, он будет заниматься большевизацией Англии. Криппс был мрачным человеком, неважным оратором; его единственной слабостью, похоже, были сигары, но в начале войны он объявил, что отказывается от сигар в качестве символической жертвы. Говорят, что Черчилль, узнав об этом, пробормотал: «Плохо дело, это была его последняя связь с человечеством». Через два дня после возвращения Криппса премьер-министр предложил ему место министра снабжения, где он будет служить под началом Бивербрука, если Черчилль сможет убедить Бивера занять пост министра промышленности. Таким образом, Криппс оказался бы в правительстве, но вне военного кабинета и, что еще хуже, под началом Бивербрука, которого Криппс терпеть не мог. Криппс, осторожный и искушенный политик, отложил свое решение до вотума доверия в палате общин[120].

В начале 1942 года Криппс был самым перспективным кандидатом на место премьера; двумя другими кандидатами были Иден и министр труда Эрнест Бевин. Но Иден и Бевин были чрезвычайно преданы Черчиллю; представить, что они предадут его и коалиционное правительство, было невозможно. Эттли, глава Лейбористской партии и оппонент Черчилля, тоже ставил верность правительству выше собственных амбиций. Криппсу очень хотелось занять место премьер-министра, но он не собирался предпринимать какие-либо действия, пока не будет уверен в основательной поддержке.

Бивербрук тоже считал себя претендентом на это место. У него были поклонники, и главным среди них был он сам. Аверелл Гарриман вспоминал, что Бивербрук «зимой 1942 года, когда все шло из рук вон плохо... считал, что Черчилль не удержится у власти и у него [Бивербрука] появится шанс стать премьер-министром». Бивербрук, несомненно, обладал некоторыми качествами военного лидера; ни у кого не вызывали сомнения и его организаторские способности. Но у него был невыносимый характер, и ему, в отличие от Черчилля, никогда бы не удалось пробудить в англичанах воинственный дух. И он, конечно, понимал это, о чем свидетельствует письмо, в котором он ругает Черчилля за политику в Северной Африке: «Волны неустанно бьются о скалистое побережье Нью-Брансуика. То тут, то там особенно сильные волны злобно обрушиваются на скалы. Это называется «ярость». Это — я». Его

лучшие качества, как написал его биограф Кеннет Янг, проявились в качестве помощника и друга Черчилля. Черчиллю нравился его острый ум, и Старик использовал его в качестве «точильного камня, на котором заострял свои знаменитые высказывания». Худшие качества Бивера немедленно проявились, окажись он у руля. В конце концов тридцатилетняя дружба взяла верх над амбициями; Бивер публично отказался участвовать в борьбе за высокий пост и в письме Черчиллю заявил о своей преданности «лидеру нации, спасителю нашего народа». Однако прошло немного времени, и он начал нашептывать лейбористам, что Черчилль скоро покинет пост. Он делал это за спиной Черчилля, прекрасно осознавая, что подобные разговоры могут больно ударить по его старому другу. Черчилль знал об интригах Бивера. Эрнест Бевин говорил об отношениях Черчилля и Бивербрука: «Он [Черчилль] похож на человека, который женился на шлюхе; он знает, что она — шлюха, но все равно любит ее»[121].

Ни один из этих претендентов, как Черчилль с 1940 года, не заслужил того публичного уважения и популярности, которые были необходимы, чтобы управлять в военное время. Его критиковали палата общин и пресса, но Черчилль «решил не отступать ни на шаг». У него было три безусловных преимущества, и он знал об этом. В 1940 и 1941 годах он показал себя защитником народной воли; в отличие от Чемберлена он любил и почитал палату общин как неотъемлемую часть английской жизни, и, несмотря на критиков, заменить его в сердцах англичан не мог никто. Спустя годы Брайан Гарднер, ветеран Флит-стрит, историк, написал: «Большинство британцев были готовы и дальше вести войну с человеком, которого они знали, которого многие любили, с человеком в «костюме сирены», с сигарой, пальцами, сложенными буквой V, и ухмылкой». Его смещение вызвало бы неудовольствие. В палате общин понимали это[122].

Лидером тех, кто нападал на Черчилля, был член парламентской партии лейбористов Эньюрин (Най) Бивен, сорокачетырехлетний пьяница из Северного Уэльса, чьи речи были похожи на пенящиеся и бурлящие потоки, сбегающие с горы Сноудон. Он был членом редакции газеты The Tribune, изданием левого толка, основанный пятью годами ранее Стаффордом Криппсом. Бивен, как ему казалось, раскрыл суть проблемы в статье, напечатанной в The Tribune по возвращении Черчилля: «У многих начинает возникать вопрос: так ли хорош Черчилль в военных делах, как хороши его речи?»[123]

Бивербрук, который старался привлечь в свои газеты молодых, перспективных интеллектуалов левого толка, был наставником Бивена в 1930-х годах. Из-за того, что Бивену недоставало жесткости, Бивербрук считал, что он может стать Лениным для Англии, однако, по его мнению, Бивен любит жить на широкую ногу, и это мешает ему уверенно следовать по ленинскому пути. Однако, как и Криппс, Бивен

противостоял политике умиротворения в конце 1930-х и в тот момент с неохотой признавал Черчилля единственной подходящей кандидатурой (как и Криппс), но скорее не как спасителя империи, а как защитника от социалистического опыта Советского Союза. Это не было патриотизмом в том смысле, в котором понимал его Черчилль, это была «гибкая» защита левых от иностранных течений и сложных философско-политических систем, таких, которые могут понравиться только интеллектуалу. Когда Колвилл позже написал, что Черчилль «ненавидел казуистику», он имел в виду Бивена. Хотя Черчилль «считал парламентскую оппозицию источником жизненной энергии британской политики, но форма, в которой Эньюрин Бивен преподносил это, казалось, ничем не способствует достижению нашей главной цели — победе в войне». Но Черчилль считал, что не стоит тратить время на личную неприязнь, и как-то сказал своим коллегам в палате: «Ненависть, которая у меня еще осталась — а ее осталось немного, — я лучше приберегу для будущего, чем для прошлого». Он называл это «разумным и бережным расходованием желчи». Черчиллю нравилось находиться в компании тех, с кем он был не согласен, но он провел границу между собой и Бивеном не из-за взглядов Бивена, а потому, что Черчилль сомневался в его патриотизме*.

Непростительный грех[124].

Бивер был депутатом от Тредегара, шахтерского города, расположенного в Западном Гвенте. В этом городе местные хирурги занимались главным образом вывихами, переломами и раздробленными костями шахтеров, и мужчины здесь умирали в основном от туберкулеза и пневмокониоза, который убил отца Бивена. Дед Бивена установил железную ограду вокруг кладбища, место для которого было выбрано в середине XIX века далеко от города; на каждом могильном камне значился 1849 год, когда в долине бушевала холера. Северный Уэльс юношеских лет Бивена был местом, где мало у кого после сорока были свои зубы, где чистой воды было так мало, что ванная считалась роскошью, где «коровьими лепешками останавливали кровь». Там, чтобы избавиться от угольной пыли, попавшей в глаза, шахтеры вылизывали друг другу глаза. Там, в Эббу-Вейле, Бивен пообещал себе войти в правительство, чтобы обеспечить современное медицинское обслуживание своему народу. Когда он говорил, что у него на сердце, он не рисовал картины шторма, собирающегося вдалеке, и не обещал залитых солнцем лугов; он говорил о том, что было здесь и сейчас, и его слова и фразы обрушивались на слушателей подобно сильному ветру с градом. Бивен (как Рузвельт, но не Черчилль) говорил со своими слушателями, а не обращался к ним. Слушатели Черчилля на-

* Когда в 1960 году Черчиллю сообщили о смерти Бивена, он пробормотал несколько уважительных слов, затем сделал эффектную паузу и спросил: «Вы уверены, что он умер?» (*Примеч. авт.*)

слаждались его фразами, словно получая их из какого-то далекого космического источника, а Бивен бил словом по своим слушателям. Его густые черные волосы были обычно взъерошены, у него был немного отвисший подбородок, а темные глаза светились гневом, решимостью и непреклонностью. Спустя годы Черчилль назвал Бивена «проклятием для страны в мирное время и досадным неудобством во время войны». Однако Бивен заслужил уважение многих своих врагов тем, что в нем не было ни капли фальши. Когда он хмурился, что делал особенно часто в присутствии Черчилля, то был похож на Джона Л. Льюиса, бывшего шахтера, а теперь председателя Объединенного профсоюза шахтеров Америки. Черчилль, когда смотрел на Бивена в палате, видел в глазах уэльсца «огонь непримиримой ненависти». Действительно, до конца жизни Бивен упорно преследовал цель ни больше ни меньше как уничтожение партии консерваторов[125].

Черчилль никогда не спрашивал, почему Бивен и его сторонники так ненавидели его и его соратников тори. «Он [Черчилль] не обладал способностью читать мысли людей, — позже написал его врач, — иногда даже казалось, что ему это неинтересно». Черчилль обещал британцам одержать победу над Гитлером. Но теперь они хотели большего; они хотели получить от него некоторых пояснений относительно целей политики тори в мирное время, о военных целях Черчилля они уже прекрасно знали. Британцы решил, что если Америка вступила в войну, то на победу уже можно надеяться, а значит, наступил наилучший момент, чтобы обсудить послевоенный жилищный вопрос, вопросы здравоохранения и социального страхования. Черчилль, как и в 1940 году, считал, что преждевременно вести разговоры о послевоенном мире и что они могут привести только к ненужным разногласиям. Через три года выяснилось, что он сильно заблуждался; британцы любили своего Черчилля-воина, но хотели знать, каким будет Черчилль в мирное время: старым тори или старым либералом[126].

На трехдневные дебаты в палату пришел старый воин. Скептики сказали свое слово, в их числе были Джон Уордлоу-Милн, Герберт Уильямс, граф Уинтертон, все консерваторы, Эмануэль (Мэнни) Шинвелл, старый радикал из Глазго, и Рэд Клайсайдер, грубый и прямолинейный патриот, у которого была по крайней мере одна общая черта с Черчиллем — он терпеть не мог напыщенного интеллектуализма. Но в этот день у Шинвелла не было ничего общего с Черчиллем. Гарольд Николсон счел нападки Шинвелла на Черчилля «безжалостными». Рэндольф, вернувшийся из Каира, яростно выступил в защиту своего отца и атаковал «с наибольшей жестокостью» тех, кто оскорблял отца. Николсон считал Рэндольфа «милым и храбрым», но, как и у Боба Бутби, у Николсона «появилось смутное ощущение, что Рэндольф может зайти слишком далеко». Памела на галерее «смущенно поеживалась» во время выступления мужа. Но у Рэндольфа по-

явился шанс сделать для отца то, что не смог сделать Уинстон для своего отца, умершего слишком рано, — проявить солидарность. Но Рэндольф остался Рэндольфом, он использовал высокую трибуну для пустых, напыщенных речей. Николсон отметил, что Черчилль выглядел «смущенным».

В конце концов отец пришел на помощь сыну, после того как Арчибальд Саутби прервал Рэндольфа, заявив, что раз Рэндольф находится в Лондоне, а не в Ливийской пустыне, то не может называть себя солдатом. Позже Черчилль нагнал Саутби в коридоре и, размахивая кулаком перед лицом парламентария, прокричал: «Ты назвал моего сына трусом. Ты — мой враг. Больше не смей разговаривать со мной». Рэндольф, как позже написал Колвилл, был талантливым журналистом, «прирожденным оратором, остряком». Он легко находил друзей, но еще легче их терял. У него было «богатое воображение и оригинальные идеи», но он «пристрастился к алкоголю» и часто вел себя «крайне оскорбительно». Он «ругался со своим отцом», но был предан ему, как и отец сыну. Саутби напрасно нападал на Рэндольфа и дал понять, что он не был храбрым солдатом. Рэндольф был храбрым солдатом. Его выступление в тот день в палате, насмешки ровесников и осознание того, что он всегда будет находиться в тени отца, заставили его через несколько месяцев поступить добровольцем в недавно сформированную специальную воздушно-десантную службу, а затем принимал участие в чрезвычайно опасной операции — для установления контакта с партизанами Тито англичане сбросили на парашютах миссию в горах Югославии. Рэндольф, как и его отец, решил заслужить уважение своей страны на поле боя или погибнуть[127].

На следующий день Черчилль начал дебаты с обращения, которое Николсон посчитал «гениальным и самоуверенным»; премьер-министр поздравил своих оппонентов с искусным витийствованием. Но обаятельный, не желающий ссориться Черчилль в заключительной части речи уступил место решительному Черчиллю: «Я не прошу прощения. Не буду извиняться. Не буду давать обещаний. И ни в коей мере я не собираюсь преуменьшать... угрозу, нависшую над нами». Он заявил, что уверен в окончательной победе. На этом, сказал он, я закончу. Два дня назад Николсон сказал, что «на самом деле нет никакой настоящей оппозиции». Старик настоял на голосовании. Членов парламента пригласили пройти к коридор для голосования. Итоги голосования: 423 к 1 в поддержку правительства; единственным оппозиционером оказался Джеймс Макстон, еще один старый представитель Красного Клайдсайда*.

* Красный Клайдсайд — период массового подъема и радикализации рабочего движения Великобритании в целом и Шотландии в частности. Длился с начала 1910-х до начала 1930-х годов. Свое название получил от области распространения — конурбации Клайдсайд.

Бивен воздержался. Десятки других не смогли проголосовать; они находились за пределами метрополии, в военной форме[128].

И хотя он сильно недооценил настроения в народе и в палате общин, Бивен продолжал нападки. The Tribune дала себе волю 30 января: «Было бы чудесно, если бы господин Черчилль произвел несколько изменений в своей команде, но будет ужасной ошибкой предположить, что только от этого ситуация сильно улучшится... Это не Национальное правительство, а Черчилль — не Национальный лидер. Он важно расхаживает в той маске, но на самом деле настаивает, что война должна вестись в соответствии с принципами партии тори. Британской империи конец. И ничто не может спасти ее. Да и кто захочет? Не те миллионы, что страдали под ее игом. Они будут рады увидеть ее распад... И нам потребуется не тот настрой, которым дышат речи последнего имперского оратора — Уинстона Спенсера Черчилля»[129].

29 января, после того как палата проголосовала за вотум доверия, Гарольд Николсон остановился у телеграфного аппарата, установленного в лобби, и прочел на выползающей из него ленте, что «немцы заявляют, что вошли в Бенгази». Рэндольф Черчилль был там и сказал Николсону, что только половина подкрепления Роммеля достигла берегов Африки: хоть одна хорошая новость, если бы это соответствовало истине. На самом деле Роммель получил абсолютно все, в том числе шестьдесят новых танков[130].

Прошло около недели после того, как Роммель — его войска были переименованы в танковую армию «Африка» — предпринял незначительное наступление у границы с Триполитанией. То, что Роммель смог предпринять наступление, было связан с азиатской стратегией Черчилля. Когда Черчилль забрал у Окинлека людей и оружие в надежде спасти Малайю, у 8-й армии не осталось ни одного шанса на победу над Роммелем. А если учесть, что Королевский военно-морской флот направился в Средиземное море, то сокращение сил Окинлека ставило под вопрос его способность защититься от Роммеля. На самом деле операции Окинлека «Крусейдер» было суждено сорваться в самом начале из-за событий, которые произошли на море десятью неделями ранее. 12 ноября британский авианосец «Арк Ройал», который возвращался домой после того, как доставил самолеты на Мальту, подвергся торпедной атаке в 25 милях от Гибралтара. Погиб всего один член команды, более 1500 выжили: готовая команда для нового авианосца, только нового авианосца не было. Две недели спустя линкор «Бахрам» был торпедирован около Триполи. «Бахрам» и более 800 человек команды пошли на дно так быстро, что командир немецкой подводной лодки, атаковавший линкор, решил, что англичанам удалось уйти, когда через несколько минут после атаки поднял перископ и увидел только водную гладь.

Через несколько дней, поскольку никакого торжественного объявления о потопленном корабле из Берлина не последовало, британцы поняли, что немцы не знают о гибели «Бахрам». Черчиллю, конечно, это было известно, но он молчал до окончания голосования. 19 декабря Черчилль узнал, что шесть итальянских водолазов-подрывников на небольших подводных аппаратах (он назвал «человеко-торпеды») проникли на якорную стоянку в Александрии и прикрепили мины к кораблям «Королева Елизавета» (на борту находился Эндрю Каннингем) и «Вэлиент». Водолазов взяли в плен, но два самых больших корабля в восточной части Средиземноморья уже лежали на дне. Полгода британцев держали в неведении, не сообщая о диверсионной операции в Александрии. Черчилль и пресса уже более года преуменьшали достижения итальянского флота. Time напечатала фотографию: вид с кормы нескольких итальянских эсминцев с надписью: «Британцы обычно видят их так». Однако итальянцы, с помощью бомбардировщиков «Штука», которые базировались на Сицилии, к концу декабря свели британский флот, находившийся в восточной части Средиземного моря, до нескольких эсминцев и легких крейсеров[131].

В конце декабря Гитлер направил Роммелю десять кораблей с топливом и продовольствием и авиационный корпус с русского фронта. В то время и Черчилль, и Гитлер считали, что Роммель находится в «смертельной опасности». Затем, в последние дни уходящего года, британское оперативное соединение из трех крейсеров и четырех эсминцев, отправленное на поиски немецких транспортов снабжения Роммеля, заплыло на минное поле. За несколько минут три крейсера получили повреждения; один из эсминцев получил повреждения, другой взорвался и потонул со всей командой; в живых остался один член команды. Таким образом, удачливый капитан немецкой подводной лодки, шесть итальянских боевых пловцов и не отмеченное на картах минное поле уничтожили почти весь британский военно-морской флот в восточной части Средиземного моря. Королевскому флоту больше была не нужна самая большая якорная стоянка в восточной части Средиземного моря. Ему бы хватило и небольшой бухты. Теперь у Черчилля практически не было возможности перерезать линии поставки Роммелю в восточной части Средиземноморья[132].

В середине января необходимые Роммелю поставки прибыли в Триполитанию, куда успешно отступил Роммель. Рэндольф ошибался: ни одно немецкое судно не пострадало. Мальта была отрезана и подвергалась непрерывным воздушным атакам; ее сильно поредевший воздушный флот не мог ни защитить остров, ни помешать Роммелю получать подкрепление. Он отступил перед Окинлеком, но, если говорить точнее, он *сбежал* и перевооружился. Теперь в опасности был Окинлек, хотя опасность отступала на второй план перед тишиной, которая стояла в пустыне, где армии окопались и наблюдали друг за

другом с расстояния, немного превышавшего радиус действия зенитных орудий.

Ночи были холодными. Изредка шли дожди. Зацвели низкорослые кустарники. Крошечные цветы выползали из-под потрескавшихся камней, когда солнце, цвета чая с ромашкой, отбрасывало смутные тени на песок. Каждый вечер, в девять часов, обе армии настраивали радио на волну немецких новостей из Белграда только для того, чтобы послушать грустную песню о любви, которую передавали в конце каждого выпуска, песню под названием «Лили Марлен». В основе текста песни малоизвестное стихотворение, написанное в годы Первой мировой войны, под названием «Песня молодого солдата на посту». Стихотворение, положенное на музыку, первоначально носило название «Девушка под фонарем». Затем композитор изменил мотив песни на более маршевый, и в 1939 году песня была записана в исполнении берлинской певицы Лале Андерсен. В ней рассказывается о солдате, который хочет встретиться со своей возлюбленной под фонарем, стоящим у казармы. Роммелю песня нравилась, Геббельс ее терпеть не мог, а фрау Геринг напевала ее на вечеринках нацистских «шишек». Британские томми, не знавшие немецкого языка, сочинили свои слова. Услышав эту песню хоть раз, ее трудно забыть, она постоянно крутится в голове. Черчилль ненавидел песню, поскольку ее сочинили немцы[133].

21 января Роммель провел разведку боем, как почти годом ранее. В течение нескольких часов первые британские войска, столкнувшиеся с танками Роммеля, потерпели поражение, как и годом ранее. Теперь пришло время отступать британской армии, на этот раз под командованием генерала Ричи. Хороший солдат и бывший штабной офицер при Алане Бруке, Ричи никогда не командовал корпусом, не говоря уже о действующей армии. Тем временем Окинлек заменил свою опытную 7-ю бронетанковую дивизию на фронте Роммеля недавно прибывшей, неопытной 1-й бронетанковой дивизией, которая теперь отступала с тяжелыми потерями перед наступающими немцами. Окинлек уже не мог использовать порт Бенгази для поставок своей армии; Роммель сровнял его с землей во время декабрьского отступления из города.

29 января, как узнал Николсон из телеграфной ленты, Роммель вернулся. Вспоминая о предостережениях, сказанных Черчиллем в палате двумя днями ранее, Николсон вечером сделал короткую запись в дневнике: «Действительно серьезные бедствия». К 5 февраля немцы прошли 200 миль от Бенгази до окрестностей Газалы, где остановились. Британцы окопались за оборонительной линией длиной около 40 миль, Газала—Бир-Хакейм. Роммель был примерно в 40 милях от Тобрука, который, как сообщил Окинлек в Лондон, он намерен покинуть, если Роммель атакует. В этот раз осады не будет. Черчилль не возражал против его плана, но в последующие несколько дней, осно-

вываясь на неточной информации, расшифрованной «Ультра», обязал Окинлека нанести ответный удар в течение нескольких недель. Когда Черчилль узнал, что армия Окинлека не будет готова нанести такой удар до июня, он описал ситуацию как «недопустимую», добавив, что «так решат и Рузвельт, и Сталин, и все остальные»[134].

Окинлек мог отступить перед Роммелем, но у Артура Персиваля, командующего в Сингапуре, такой возможности не было. Он оказался в ловушке. Враг Персиваля, генерал-лейтенант Томоюки Ямасита с начала декабря показывал, на что он способен на Малайском полуострове. Теперь пришел черед Персиваля проявить характер. Ямасита считал свою 23-ю армию, перед которой стояла задача взять Сингапур, настолько хорошо подготовленной к войне в джунглях Малайи, что для решения этой задачи будет достаточно трех из ее пяти дивизий. В течение трех лет он воевал с китайскими партизанами и усвоил их тактику быстрых, сделанных тайком, передвижений, которой обучал своих солдат. В прошлом году он провел полгода в Германии, где изучил гениальную тактику блицкрига — танки на острие атаки, близкая поддержка с воздуха, мощные удары. Ямасита и боевой дух японцев произвели неизгладимое впечатление на Гитлера[135].

Ямасита начал кампанию 8 декабря, когда бомбы с десятков японских самолетов упали рядом с отелем Raffles в Сингапуре. В то утро его войска высадились в два приема в 400 милях к северу от Сингапура, в Сингоре (совр. Сонгхла) и Патани, по обе стороны от тайско-малайской границы. Британцы давно ожидали подобный удар, но в первую очередь им предстояло решить дипломатическую проблему. Когда британские войска прибыли на границу Таиланда, тайские пограничники отказались их впустить. Не подозревая о событиях, которые разворачивались в Пёрл-Харборе, и не желая ускорять политический кризис (подобное вторжение не понравилось бы американцам), британцы развернулись и двинулись на юг. Ямасита, в свою очередь, совершил отвлекающую высадку десанта на юге, около Кота-Бару, рядом с аэродромом, чтобы заставить Королевские ВВС защищать аэродром и отвлечь их от своих транспортов и главных сил на севере. Через несколько часов он захватил аэродром. К вечеру несколько британских эскадрилий истребителей в этом районе сократились вдвое, и между Ямаситой и Сингапуром теперь стояли только неопытные индийские войска. Легкие танки 5-й дивизии Ямаситы разгромили индийцев, некоторые из которых никогда не видели танков. Отсюда следует вывод, что британцы не разворачивали танки для защиты северо-восточной части Малайи. Захват аэродрома в Кота-Бару оставил без поддержки несколько оставшихся британских самолетов в северной части Малайи. Эти потери и потеря «Принц Уэльский» сделали Сингапур легкой добычей, и Ямасита жаждал завладеть ею[136].

Британский план «Б» в Малайе предусматривал тактику выжженной земли, то, что Черчилль советовал Сталину в отношении русских нефтяных месторождений. В Малайе были богатейшие месторождения олова и каучуковые плантации. Более 40 процентов каучука ввозилось в Британию из Малайи; Малайя давала более половины мировой добычи олова. Следовало уничтожить все оборудование для добычи олова. Этого сделано не было. Первые подразделения 5-й дивизии Ямаситы, которые вошли в Кота-Бару, не только нашли большие запасы риса и топлива, но и обнаружили, что отступавшие в панике британцы не отключили генераторную станцию, не говоря уже о том, чтобы ее разрушить. Через неделю, пройдя через перешеек Кра, японцы разрушили британский аэродром Виктория-Пойнт в Британской Бирме. Этим ударом Ямасита отрезал Сингапур от подкрепления по воздуху из Европы и Индии[137].

В течение декабря 5-я и 18-я дивизии Ямаситы — первая наступала по восточному побережью, а вторая освобождала западное — обнаружили брошенные плантации каучуковых деревьев и шахты по добыче олова. Они нашли британские грузовики, заправленные горючим, готовые доставить олово и каучук в порт, где доки, которые должны были быть демонтированы, теперь готовились принять японские грузовые суда. Когда японцы захватили Пенанг, то нашли там небольшую флотилию из канонерских лодок в прекрасном состоянии, которые использовали для рейдов на британские береговые позиции. Они добрались до продовольственных складов и казны с 250 тысячами долларов. Они нашли радиостанцию в рабочем состоянии и на Рождество передали по радио пожелание «счастливого Рождества и несчастливого Нового года» жителям Сингапура, которые ничего не знали о своем ужасном положении, поскольку британская цензура скрывала информацию о местонахождении японцев. В день захвата Пенанга британская пресс-служба сообщила репортерам, что «новостей нет». На самом деле всех европейцев эвакуировали с Пенанга, оставив местное население защищаться своими силами. Захватчики, написал Сесил Браун, «взялись за старое... то есть грабили продовольственные магазины... насиловали местных женщин». Через неделю японцы обошли с фланга Куала-Лумпур, столицу Малайзии и железнодорожный узел страны. Железная дорога находилась в рабочем состоянии. Во время отступления британцы показали себя с наилучшей стороны — вели себя так, словно были интендантами у японцев. К концу декабря Ямасита прошел половину пути до Сингапура[138].

В Сингапуре генерал-лейтенант Артур Эрнест Персиваль и почти 90 тысяч человек — в том числе 17 тысяч австралийцев, 33 тысячи британцев и 40 тысяч индийцев — готовились, в случае необходимости, разрушить город и военно-морскую базу и сражаться, согласно приказу Черчилля, среди развалин до последнего солдата. Однако надежда

Черчилля, что Сингапур под командованием Персиваля сможет продержаться в течение шести месяцев, мгновенно испарилась, когда, вернувшись в Лондон из Вашингтона, он «с чувством мучительного удивления» узнал от Уэйвелла, «там не было никаких постоянных укреплений, которые прикрывали бы военно-морскую базу и город со стороны суши». «Мне никогда не приходило в голову, что знаменитая крепость не защищена с тыла кольцом постоянных фортов. Я не могу понять, как могло случиться, что я не знал об этом, — написал Черчилль Исмею. — Должен признаться... Я даже не мог представить... что горловина крепости... не укреплена полностью от нападения с севера». Почему, когда два года он настаивал на необходимости защищать Сингапур, не были построены оборонительные сооружения? «Ничем нельзя оправдать тот факт, что имеются только батареи, обращенные к морю... Я предупреждаю вас, что это будет одним из величайших скандалов, если все раскроется». На самом деле Сингапур не был «крепостью», как Гибралтар. Остров Сингапур, длиной 27 миль и шириной 13 миль, покрыт холмами и холмистыми грядами. У Черчилля сложились ошибочные представления о рельефе местности и о «крепости». Решающее сражение на полуострове было единственным способом не впустить японцев на остров, а вместо этого британцы отступили к крепости, которая не могла обеспечить защиту, на которую они рассчитывали[139].

В этом был виноват Артур Персиваль. Этот мыслитель, планировщик демонстрировал незаурядные умственные способности, когда служил штабным офицером у Дилла в 1930-х годах. Однако, как адмиралу Тому Филипсу, ему не хватало боевого опыта. Штабные офицеры ведут сражения в комнате карт. Дилл отправил Персиваля в Сингапур, хотя большая часть британских военных больше верила в то, что у генерала должен быть сильный характер, а не развитый интеллект; как правило, это приводило к печальным последствиям. «Солдаты часто бывали отважными воинами, — написал Т.Э. Лоуренс, — но их генералы так же часто отдавали по глупости то, что те приобретали по неведению». Но это был случай, когда характер и боевой дух превзошли блестящий, методичный ум. После Первой мировой войны Персиваль служил в Ирландии, сначала в качестве командира рота, а затем начальника разведывательного отдела Эссекского полка, где Ирландская республиканская армия (ИРА) объявила за его голову награду в 1000 фунтов стерлингов. ИРА объявляла награду за многие головы, в том числе за голову Черчилля, но случай с Персивалем стоял особняком — это было личное дело. Этого человека презирали и ненавидели не только за то, что он пытал ирландских мятежников, но потому, что ему это нравилось. Для защиты Сингапура требовался план, который у Персиваля был, и характер, которого у него не было.

Сингапур, не считая колониальных зданий, отеля Raffles, английских клубов и полей для гольфа, не был образцом чистоты и порядка.

Британцы называли его городом «чинков, выпивки и вони». Большинство из 750 тысяч малайцев и китайцев, жителей Сингапура, жили в грязи и нищете. Рынки на открытом воздухе; кровь, стекающая в неглубокие сточные канавы со свиных туш, подвешенных на крюках; вонь и грязь. С середины декабря в городе была введена светомаскировка, и после захода солнца городскую тишину нарушал только скрип повозок, запряженных волами, вывозивших нечистоты из города, и редкие выстрелы зенитных батарей. Однако жители Сингапура, особенно китайцы, жили ни о чем не беспокоясь, уверенные в том, что британцы защитят их. На самом деле к середине января большинство британских официальных лиц покинуло Сингапур, включая Даффа Купера, которого Черчилль в начале декабря назначил министром-резидентом. Вверив судьбу города армии, Купер с женой Дианой уехали в Лондон 13 января. Леди Диана, прежде чем пройти в самолет, выпила в баре «джин-слинг», и это было весьма кстати, поскольку не успели они выйти из здания аэропорта, как над головой появились японские бомбардировщики. Китайские друзья отвели Куперов в бомбоубежище, полностью сделанное из стекла. «Удачный конец нашей миссии в Сингапуре», — позже написал Купер[140].

1 февраля японцы находились в 12 милях от города, но жители Сингапура находились в полном неведении из-за британской цензуры. Неделю британцы сдерживали напор, но к вечеру 17 февраля последние британские солдаты покинули материк по насыпной дороге через дамбу и взорвали ее, как только добрались до острова. Этот взрыв был не более эффективен, чем тактика выжженной земли; японцам потребовалось всего несколько часов, чтобы восстановить дорогу. Вскоре первые отряды Ямаситы, тощие призраки в рваной униформе и шлемах с прикрепленными ветками и банановыми листьями, двинулись к Сингапуру. Черчилль, пытаясь воодушевить защитников, телеграфировал Уэйвеллу в Батавию: «У 18-й дивизии есть шанс войти в историю» (18-я дивизия первоначально предназначалась для действий в Египте, но по приказу Черчилля была переброшена в Сингапур). «На кону честь Британской империи и британской армии». Требовалось немедленно разработать план превращения Сингапура в «цитадель», и Черчилль составил план из десяти пунктов, который направил Объединенному комитету начальников штабов. В числе прочего он предлагал использовать все мужское население «на строительстве оборонительных сооружений», подчеркнув, что «следует применить при этом самые строгие меры принуждения с тем, чтобы использовать на этих работах всех, кого можно снабдить лопатами и кирками». Он приказал «обороняться до последней капли крови, ни о какой капитуляции не может быть и речи». «Командиры и старшие офицеры должны умереть вместе со своими солдатами». Начальники штабов направили эти приказы Уэйвеллу, кроме приказа о смерти вместе с

солдатами. Но Черчилль отправил телеграмму Уэйвеллу, в которой повторил приказ сражаться до последнего и погибнуть вместе со своими солдатами[141].

Затем, слишком поздно, Черчилль и начальники штабов приказали эвакуировать, по возможности, больше солдат в Рангун. Но к тому моменту Персиваль и его армия (втрое превосходили японцев) уже вступили в бой с врагом. Персиваля поддерживали с воздуха всего две дюжины устаревших истребителей; у японцев было более пятисот современных самолетов. 18-я дивизия высадилась в Сингапуре словно для того, чтобы попасть в плен. Японцы решили судьбу города, когда захватили внешние источники питьевой воды и перекрыли к ним доступ. Однако у японцев были слишком растянутые линии поставок. Массированное наступление Персиваля, такое, как приказывал Черчилль, могло бы все изменить, но Персиваль уклонился от битвы. У британцев хватало противотанковых орудий и снарядов, чтобы дважды уничтожить каждый японский танк, но высшему командованию не хватило решимости вступить в бой с японцами. Некоторые солдаты Персиваля — включая военного художника Филипа Менински — хотели продолжить сражаться, но пришли в замешательство, когда поняли, что карты, которыми их снабдили, были картами острова Уайт. Австралийская 8-я дивизия, чьи четыре бригады находились в северной части острова, быстро отбросила врага в море, но, когда коммуникации были прерваны, командующий дивизией не захотел умирать вместе с солдатами и сбежал из Сингапура на лодке, оставив солдат в безнадежном положении[142].

Сингапур пал 15 февраля. Это можно было предсказать — слишком мало защитников, слабый командующий, деморализованный гарнизон и смекалистый враг. Черчилль еще в начале января понимал, что поражение неизбежно, хотя думал, что неизбежное случится через несколько месяцев, а не недель. Ближе к полудню Персиваль с шестью офицерами встретились с Ямаситой на заводе Ford Motor. Японский генерал, получивший в Токио прозвище «малайский тигр», потребовал безоговорочной капитуляции. Он блефовал; у Ямаситы закончилось горючее и боеприпасы, а потери были столь велики, что японцы понимали: наступление захлебнулось. Однако Персиваль решил, что у него нет выбора: сбежал командующий австралийской 8-й дивизией, дезертировали индийские и малайские войска, в городе почти не осталось питьевой воды. Итак, для защитников Сингапура все закончилось командой: руки вверх, оружие на пол».

Японский журналист написал, что видел, как в лагерь для военнопленных под звуки волынок шла группа шотландских горных стрелков. К его удивлению, шотландцы не выглядели опечаленными и, несмотря на поражение, сконфуженными. Необъяснимое поведение с точки зрения японцев. Какое-то время после капитуляции государ-

ственные флаги Великобритании продолжали развеваться над общественными зданиями, словно напоминания о далеком прошлом. Потом японцы их сорвали. Без малейшей иронии победители переименовали город в Сенан — в переводе с японского «Свет юга». Ночь накрыла сцену хаоса. Двумя днями ранее захватчики убили многих врачей, медсестер и пациентов госпиталя, располагавшегося в пригороде. Теперь победители взялись за китайцев, живших в Сингапуре (более 5 тысяч человек), и вскоре по всему острову были расставлены копья с насаженными на них отрубленными головами. Узнав о поражении, Брук написал в дневнике: «Если армия не может сражаться лучше, чем делает это сейчас, мы рискуем потерять нашу империю!» Черчилль не преувеличивал, когда спустя несколько дней сообщил Рузвельту, что падение Сингапура было ««худшей катастрофой и крупнейшей капитуляцией в британской истории»[143].

Японцы были настолько уверены, что город всегда будет принадлежать им, что отправили крупнокалиберные морские орудия «Виккерс» на другие участки Тихоокеанского театра. Они были знакомы с принципом действия этих орудий; с 1910 года завод «Виккерс» изготавливал 14-дюймовые орудия для японского военно-морского флота. Японцы разработали новейшие корабельные орудия, взяв за основу английские «Виккерс», и, справедливости ради, следует отметить, что в то время лучшими были корабельные орудия фирмы «Виккерс». Быстроходный смертоносный японский линейный крейсер Kongo, который прикрывал декабрьскую высадку к северу от Сингапура, был вооружен орудиями «Виккерс». Британцы построили Kongo для Японии в 1913 году. Королевский флот обучил целое поколение японских офицеров искусству артиллерийской стрельбы. «Дядя Сэм и Британия были крестными родителями новой Японии», — позже написал Черчилль, добавив, что меньше чем за два поколения японцы сменили самурайский меч на линкоры. Британцы хорошо обучили японцев, и теперь английские пехотинцы и моряки пожинали плоды этой учебы от Явы до Сингапура[144].

Сингапур, который англичане за 123 года превратили из рыбацкой деревушки в финансовую столицу Южной Азии, был потерян всего за семь дней. Британские и австралийские военнопленные вскоре были отправлены на север, на берега реки Квай, в Таиланд, где их использовали на строительстве железной дороги, длиной 250 миль, из Бангкока в Тамбузаят. Более 13 тысяч погибло в течение следующих трех лет от японских пуль и штыков, от недоедания и страшных тропических болезней. Выжившие назвали эту дорогу «дорогой смерти». Однако большинство индийских солдат не разделили эту судьбу. Более 30 тысяч индийских военнопленных — они называли себя Индийской национальной армией — объявили о своей преданности индийскому националисту и фашисту Субхасш Чандра Босу и Токио, которое фи-

нансировало Боса. Они восстали против Лондона и присоединились к японцам на пути к их следующей цели: Бирме. Персиваль выжил в плену. Вернувшись после войны домой, он стал «бывшей персоной», его не приглашали на празднования, связанные с победой, его сторонились, написал сэр Джон Киган, «из-за неправильного руководства Малайской кампанией, которое привело к катастрофическим последствиям. Черчилль так и не смог простить его[145].

При свете солнца японцы творили ад, что способствовало полету фантазии Йозефа Геббельса. «Если бы я был англичанином, — написал он в дневнике, — я бы опасался за судьбу империи... Были времена, когда мы считали, что существование Британской империи необходимо для благоденствия Европы. Но это время прошло... Черчилль упустил шанс, который мы дали англичанам. Англии придется дорого заплатить за ошибку своего политика». Что же касается политического будущего Черчилля, Геббельс с Гитлером сошлись во мнении, что «можно предположить, что его ждет провал на политической арене»[146].

Многие в Лондоне соглашались с этим. Большинство верило, что будущее поражение такого масштаба положит конец политической карьере Черчиллем. Но не так уж много частей империи было потеряно.

Еще со времени своей поездки в Америку Черчилль знал о серьезных проблемах в Сингапуре. Японцы, сказал он канадцам в декабре 1941 года, обрушили на британцев «водопад катастроф». Он предупреждал, что впереди будет много горя и страданий, и это время наступило. Черчилль сообщил о потере Сингапура 15 февраля по радио, эта передача облетела весь мир. Гарольд Николсон написал, что Черчилль взывал к «национальному единству, а не критике, по примеру Невилла Чемберлена». Британцам, «слишком нервным и раздраженным, чтобы от них можно было отделаться изящными фразами», речь понравилась. «А что еще он мог сказать?» — написал Николсон. Двумя днями ранее Черчилль направил дело в палату общин и быстро закрыл его, сказав, что официального расследования причин капитуляции Сингапура проводиться не будет (как в случае большинства военных неудач с 1939 года), чтобы «не выдвигать скороспелых взаимных обвинений в тот момент, когда мы подавлены этой трагедией, и скорбим о неудаче». Никакого официального расследования никогда не проводилось. Обвинениями обменивались все, на улицах, в пабах и в палате общин, где Черчилль в тот день, в ответ на вопросы о том, как и почему такое произошло в Сингапуре, «стал раздражительным и довольно грубым». Гарольд Николсон опасался, что «изменение общественного мнения лишит Уинстона его легенды»[147].

Британцы, написала Молли Пэнтер-Доунес, хотя открыто критиковали Черчилля — годом ранее это казалось невероятным — «не хотели потерять мистера Черчилля, но и войну не хотели проиграть». Би-би-си

и пресса потчевали британцев успехами в Западной пустыне и Сингапуре, когда там были одни неудачи. Они были сыты по горло увеличенным нормированием — 2 пинты молока на взрослого в неделю, строгие ограничения на бакалею и сухофрукты. Они испытали потрясение на той неделе, когда немецкие линейные крейсеры «Шарнхорст» и «Гнейзенау» вместе с «Принц Ойген» выскользнули из Бреста и в дневное время успешно прошли по усеянному минами Ла-Маншу, мимо британских радаров (немцы их заглушили) и береговых орудий (не могли прицелиться из-за сгущающегося тумана). Все три корабля немного пострадали от мин, но тем не менее благополучно прибыли вечером в немецкий порт на Северном море. Торпедоносцы-бомбардировщики, которые могли бы остановить немецкие корабли, отправились в Александрию для предотвращения будущих действий со стороны итальянских водолазов-подрывников. Шесть торпедоносцев-бомбардировщиков «Фэйри Суордфиш» отправленные, чтобы перехватить эти корабли, были сбиты, как и четыре средних бомбардировщика «Хэмпден». Наперекор слухам, Адмиралтейство не было захвачено врасплох, поскольку давно подозревало, что немецкие корабли могут попытаться ускользнуть. Черчилль заявил, что говорил об этом в палате общин, чтобы британцы понимали, что «наши дела ведут не полные дураки и тупицы». Однако побег немецких кораблей и падение Сингапура привели британцев к мысли о необходимости начать все сначала, но уже с новым составом кабинета, в который должен войти сэр Стаффорд Криппс, написала Пэнтер-Доунес, со свойственной ему той «прямотой высказываний», которую «народ давно и тщетно пытался услышать от премьер-министра»[148].

Криппс в течение месяца ждал, когда народ потребует его введения в состав правительства, но по-прежнему опасался служить под началом Бивербрука.

В январе правительство Черчилля получило поддержку, но военные неудачи в феврале и растущая напряженность в политических кругах заставили Черчилля в середине февраля реструктурировать правительство и военный кабинет. Он сократил военный кабинет с девяти до восьми членов. Одним из первых был уволен военный министр Дэвид Маргессон. Черчилль не слишком хорошо обошелся с этим преданным тори, вспоминал лорд Джеффри Ллойд: «Должен признаться, я никогда до конца не смог простить Черчилля за то, что он уволил моего старого друга лорда Маргессона, который был его большим другом». На самом деле Маргессон был предан Черчиллю, но большим другом не был. Маргессон, парламентский координатор при Чемберлене, безжалостно расправлялся с тори, которые были не согласны с чемберленовской политикой умиротворения, делал все возможное, чтобы не допустить Черчилля в правительство. Но, хотя Маргессон был преданным чемберленовским стражем порядка, он по-

мог справиться с опасениями и тори, и лейбористам, когда Чемберлена сменил Черчилль. С того момента он верно служил Черчиллю, и с начала 1941 года в качестве военного министра — должность, к которой он не стремился, но от которой не смог отказаться, когда Черчилль предложил занять ее.

Военный кабинет — несмотря на название — был административным органом, меньше занимавшимся стратегией, а больше корректировкой инструкций, изданием приказов и учетом солдат и материального обеспечения. Учитывая, что Черчилль был министром обороны, работа Маргессона была чисто символической и сводилась чаще к ловле дротиков, чем к их метанию, причем в основном черчиллевских, судя по запискам Черчилля Маргессону. В одной из последних, написанных после капитуляции Сингапура, Черчилль возмущался готовностью британских офицеров открыто обсуждать — признавать! — провал в обороне: «Они, похоже, оправдывают себя в самых мягких выражениях. Они вообще занимаются защитой крепости, а не возрождением бушманитов»*[149].

Маргессон не обладал организаторскими способностями; при Чемберлене у него отлично получалось держать партию в узде. Он больше года преданно служил Черчиллю только для того, чтобы быть уволенным в первых рядах, вспоминал лорд Ллойд; Черчиллю «нужен был козел отпущения для всех неудач в Западной пустыне, не мог же он сам признаваться в этих неудачах». В своих воспоминаниях Черчилль просто отметил, что Маргессон «перестал быть военным министром». Маргессон впервые узнал об уготованной ему участи от своего постоянного заместителя, Перси Джеймса Григга, который был личным секретарем Черчилля в бытность его министром финансов. Черчилль попросил Григга взять на себя работу Маргессона, но государственный чиновник с карьерными притязаниями медлил, поскольку переход с государственной службы на должность министра означал потерю всех пенсионных накоплений. Черчилль настаивал. Григг вступил в должность «в качестве акта патриотизма», вспоминал Малькольм Маггеридж, хотя подозревал, что «Уинстону нужна была марионетка, а не военный министр». Так и случилось. Позже Брук написал: «Провидение было милостиво ко мне во время войны, поставив во главе военного кабинета П.Дж. [Григга]». Григг служил до конца войны. Когда он вышел в отставку, вспоминал Маггеридж, его финансы были «на нуле» и Черчилль «с ним больше не общался»[150].

---

* Ссылка на доктора Франка Бухмана, американского лютеранского священника, переехавшего в Англию и создавшего Оксфордскую группу, чтобы проповедовать свое учение об общении с Богом посредством частых, искренних исповедей — «греши и говори», согласно Time (18 января 1943 года). Основы движения анонимных алкоголиков были заложены в конце 1930-х годов членами Оксфордской группы. (*Примеч. авт.*)

Совершив перестановки в кабинете, Черчилль ждал решения Бивербрука относительно должности министра снабжения; в середине февраля, к удовольствию Черчилля, Бивербрук дал согласие. Но не прошло и двух недель, как Бивербрук решил отказаться. Он был болен, давно страдал от астмы. В последнее время его состояние настолько ухудшилось, что он рассматривал возможность полетов на большой высоте, чтобы у него очистились легкие и он смог немного поспать. Он настолько тяжело дышал, что Черчилль во время заседания принял его свистящее дыхание за мяуканье кота и приказал, чтобы «кто-нибудь прекратил это кошачье мяуканье». Бивербрук был на грани того, что Черчилль позже неоправданно назвал «нервным срывом». Клементина воспользовалась случаем, чтобы посоветовать мужу в письме: «Мой дорогой, попробуй избавиться от этого микроба, который, многие люди боятся, есть у тебя в крови, — изгони этого демона и посмотришь, не станет ли воздух чище. Тебе будет не хватать его энергии, его гения, но в Криппсе ты сможешь найти новый источник силы». Черчилль последовал ее совету и принял отставку Бивербрука. Криппс вошел в новый состав кабинета в качестве лорда — хранителя печати и лидера палаты общин[151].

Со стороны могло показаться, что Черчилль, считавший назначение Криппса своим политическим поражением, «подставил ножку» Криппсу, который не обладал гибкостью, а умел только спокойно обсуждать правовые вопросы, что не имело никакого значения в палате, состоявшей из шумных вольнодумцев. Вскоре Черчилль отправил Криппса в Индию, чтобы тот убедил Ганди заверить в верности Британии в обмен на гарантию получения Индией статуса доминиона после войны. Десять лет назад Ганди и Национальный конгресс отвергли подобное предложение. Теперь, когда Ганди убеждал индийцев не сражаться за Британию, а сдаться на милость японцев, миссия Криппса была обречена на провал. Таким образом, Криппс, по словам историка и парламентария Роя Дженкинса, занял номинально высокое положение, но это была только «видимость». Перед отъездом в Индию Криппс, романтизировавший сталинскую Россию, предсказал, без каких бы то ни было доказательств, что война будет (успешно) завершена за год. Британцы пристально следили за предсказаниями своих политиков; общественному деятелю, давшему обещание, следовало сдержать его[152].

Черчилль тоже давал обещания: что Крит будут защищать до последнего, что Сингапур удержат, что немцев и итальянцев выгонят из Северной Африки. Почти два года Черчилль говорил своей семье, своим секретарям, ученикам Харроу, что «это величайшие дни нашей страны». Времена были великими для Черчилля, но не потому, что Англия побеждала, — побед-то как раз и не было, — а потому, что Англия сражалась с Германией, а теперь и с Японией до последней капли крови. Однако Молли Пэнтер-Доунес в феврале написала, что,

хотя британцы верили Черчиллю, потому что раньше он говорил им только правду, «вызывало беспокойство, что хорошая речь может увлечь оратора так же, как и аудиторию». Черчилль понял это и теперь обещал только больше жертв, больше поражений и больше неудач, и выполнял свои обещания[153].

Благородная борьба за выживание Британии сделала эту войну великой для Черчилля. Его вера в праведность цели и мужество простых англичан была безмерной. Призывая сохранять патриотизм, который уже должен был истощиться, он заслужил преданность почти 50 миллионов британцев, собиравшихся у радиоприемников дома и в пабах, в клубах Вест-Энда и на складах Ист-Энда. Несмотря на потерю Сингапура, на возобновившееся наступление Роммеля на Египет, несмотря на невыполненные обещания, согласно социологическим опросам, 79 процентов британцев поддерживали Черчилля. Эти люди, верившие, что за мир можно заплатить любую цену, четыре года назад радовались тому, что Англия предала Чехословакию. Тогда его слова не нашли отклика в их душах. Если бы они послушались его тогда, им бы не пришлось слушать сейчас, как он говорит о новых бедствиях, как напоминает о том, что ожидает, что они будут сражаться не жалея себя, чтобы защитить свою страну.

Теперь они внимательно слушали, и Черчилль убеждал их, что судьба человечества на чаше весов, и распалял их чувства, поддерживая их решимость своим красноречием и оптимизмом. Таким образом, с июня 1940 до начала 1942 года, в тот момент, когда поражение и порабощение их родного острова казалось сначала неизбежным, потом возможным, а потом опять очень даже возможным, звезда Черчилля всходила все выше, соперничая с темной звездой Гитлера, чьи речи, хоть и на другом языке и другой направленности, в самых разных местах насаждали убийственную антиутопию. Фюрер и Тодзио были двумя чингисханами, стремившимися разрушить все, чем дорожил цивилизованный мир. Черчилль решил сохранить это, и сохранить с улыбкой на губах, показывая знак V. «Удивительно, как он умудряется сохранять такой довольный вид, несмотря на огромную ношу, которую он несет на своих плечах», — сказал Алан Брук, который тоже нес тяжелую ношу, будучи начальником имперского Генерального штаба, которому Черчилль поручил разработать стратегию борьбы до окончательной победы[154].

В передаче, предназначенной для Рочестерского университета — расположен в Рочестере, штат Нью-Йорка, где его дедушка, Леонард Джером, был юристом, до того как добился успеха на Нью-Йоркской бирже, — Черчилль удивлялся, как Гитлеру удалось сделать, чтобы «народы падали поверженными один за другим, а остальные только изумленно зевали и болтали», пока тоже не оказывались в рабстве. Теперь «старая львица со своими детенышами стоит напротив охот-

ников, вооруженных смертельным оружием и охваченных безумным, разрушительным гневом». Станет ли львица последней жертвой? «О нет! — заявляет Черчилль. — Звезды пророчат избавление человечеству». Не так-то просто остановить прогресс человечества. Не так-то просто загасить огонь свободы[155].

В палате общин, на следующий день после нападения на Пёрл-Харбор, он нарисовал ту же картину: «В прошлом у нас был мерцающий свет, в настоящем свет, который горит ровным пламенем, а в будущем свет, который озарит всю землю и море. И пусть Гитлер потушил свет во всей Европе, у Черчилля был собственный источник света[156].

Но будет ли его достаточно, чтобы осветить дорогу к победе, — сомнений возникало все больше, по мере того как Роммель отвоевывал пустыню, с каждым кораблем, который топили немецкие подводные лодки, и с каждым новым налетом японцев. 12 февраля Алек Кадоган написал в дневнике: «Самый черный день войны... У нас нет ничего, кроме поражений и неумения, а японцы убивают наших мужчин и насилуют наших женщин в Гонконге». Погода была отвратительной, еды было мало, курицы перестали нестись. Он написал: «У меня заканчивается виски, и нет никакой возможности найти какое-нибудь спиртное. Но если так будет продолжаться дальше, то это уже не важно». Кадоган написал эти строки за три дня до падения Сингапура[157].

19 февраля авианосное ударное соединение адмирала Тюити Нагумо нанесло удар по порту Дарвин в Австралии, причинив достаточный ущерб, чтобы порт перестал существовать в качестве базы снабжения. Пять авианосцев Нагумо успешно преодолели тысячи миль из северной части Тихого океана до Австралии. Этот рейд был предназначен для того, чтобы уничтожить остатки австралийской уверенности. Премьер-министр Кертин хотел, чтобы его войска срочно вернулись домой. Говоря о войсках, он имел в виду закаленную в боях 7-ю дивизию, которая в тот момент направлялась с Ближнего Востока в Австралию. К тому моменту японцы начали наступление на Бирму из Таиланда, и их целью был Рангун. Черчилля больше волновала Бирма, чем паранойя австралийцев, ведь Бирма была последним рубежом между японцами и Индией. 19 февраля Черчилль попросил Кертина позволить перебросить 7-ю дивизию для защиты Бирмы. Кертин отказал, будучи уверен в том, что если Сингапур потерян, то 7-я дивизия необходима для защиты Австралии. Рузвельт с Черчиллем считали иначе; по их мнению, японцы не станут рисковать, посылая десятки тысяч солдат за 4 тысячи миль морем с Явы в Австралию. Но для Кертина бомбардировка Дарвина подтвердила худшие опасения. Рузвельт послал два сообщения Кертину, в которых подчеркнул стратегическое значение Бирмы и необходимость австралийской помощи для ее защиты. Кертин стоял на своем. На следующий день Черчилль, после того как он повторил свою прось-

бу и до того как от Кертина пришел ответ, направил конвой в Бирму. Спустя два дня он сообщил об этом Кертину, чем только подтвердил надменность, которую Кертин приписывал командующим в Лондоне. Кертин, в бешенстве, настаивал на том, чтобы конвой вернулся из Бирмы в Австралию. Черчилль отступил. Рангун не будет защищать ни один австралиец. 7-я дивизия отправилась домой, чтобы присоединиться к 90 тысячам американских солдат, которых Рузвельт направил Кертину, армия, которая к лету сделает Австралию одним из самых защищенных мест на планете[158].

24 февраля Уэйвелла вызвали в Бомбей из Голландской Ост-Индии. К нему присоединился крошечный воздушный флот Бреретона, к тому времени насчитывавший две дюжины самолетов. Голландский адмирал Конрад Эмил Ламберт Хелфрих заменил Томми Харта, «хорошего шкипера в сильный шторм», не потому, что Харт потерпел неудачу, — для достижения цели ему не хватало кораблей, — а потому, что голландцы собирались не позволить японцам захватить Яву. Флот Хелфриха состоял из пяти крейсеров, включая американский «Хьюстон» (на котором Рузвельт однажды совершил приятное путешествие), британский «Эксетер» и десять эсминцев. В определенных обстоятельствах это могло оказаться внушительной силой, но в Сурабае, Индонезия, продовольствия становилось все меньше, и к ним направлялась огромная японская армада; союзнический флот удерживала на плаву только надежда, он был один и, как «Принц Уэльский», без прикрытия с воздуха[159].

Неудачи не могли не отразиться на Черчилле. 27 февраля Мэри Черчилль поведала дневнику: «Папа в крайне затруднительном положении. Он не очень хорошо себя чувствует — и измучен, испытывая на себе постоянное сокрушительное давление событий». В тот день в Яванском море события в очередной раз повернулись против Британии и ее союзников. Готовясь к нападению на Яву, два японских военно-морских оперативных соединения, каждое из которых охраняло около пятидесяти транспортов и было сильнее всего союзнического флота, подошли к северному побережью Явы. Небольшой флот Хельфриха, которым командовал в море голландец контр-адмирал Карел Доорман, находившийся на пути к Сурабае, получил сообщение о приближении японских транспортов. Доорман на крейсере «Де Рётер» направился на перехват, надеясь нанести японцам повреждения до подхода тяжело вооруженных японских боевых кораблей контр-адмирала Такэо Такаги. В 16:00 противники встретились и начали стрелять с расстояния около 6 миль. Черчилль был прав, когда говорил, что исход морской битвы решается за минуты, но эта растянулась на восемь часов. Американский общественно-политический еженедельник сделал удивительные выводы: «Японцы наказаны... Потоплен японский тяжелый крейсер. Еще один японский крейсер, «Могами»,

ушел, объятый пламенем. Повреждение получило 8-дюймовое орудие третьего крейсера. Пожары вспыхнули на трех японских эсминцах, которые, по-видимому, пошли ко дну... Бомбардировщики союзников доложили о еще двух японских крейсерах. Ударам подверглись по крайней мере 17 японских транспортов»[160].

Прекрасные новости, если бы они были правдой. На самом деле не потонул ни один японский военный корабль и только один получил незначительные повреждения. Адмирал Доорман утонул вместе со своим обреченным кораблем, а за ним, к полуночи, последовала половина его флота.

Через несколько дней после битвы британский Perth и американский «Хьюстон» зашли в залив Бантан и в отчаянии атаковали значительно превосходящие японские силы. Оба крейсера были уничтожены. Позже, в тот же день, Exeter (герой битвы в декабре 1939 года у Ла-Платы, где затонул немецкий корабль «Граф Шпее») и два эсминца попытались покинуть Яву. Все три корабля были потоплены. Японцы завладели Яванским морем, не потеряв ни одного корабля. Уничтожение союзнического флота стало настоящим бедствием, особенно для голландцев, которые были главной силой в Ост-Индии на протяжении трехсот лет. Британцы бежали в Бирму и Индию, где надеялись перегруппироваться. Но японцы опередили их. 28 февраля японцы высадились на Яве. Восемь дней спустя они завладели островом и взяли в плен более 90 тысяч голландцев и тысячи британцев, австралийцев и американцев. После захвата Явы союзное командование ABDA Уэйвелла было ликвидировано[161].

В Рангуне командование исчезло месяцем ранее. В начале февраля эвакуация Рангуна, продолжавшаяся с рождественских налетов, резко ускорилась. 20 февраля беженцы и транспортные средства заполнили дорогу на север. Тысячи плыли в маленьких лодках по реке Иравади. Вооруженные бандиты — дакойты — нападали на убегающих жителей, британцев и бирманцев, грабили и убивали. Сбежали пожарные, полицейские и весь британский дипломатический корпус. Британский чиновник написал, что на улицах не было никого, кроме «воров, невменяемых преступников и прокаженных». Почему-то 5 тысяч преступников были выпущены из тюрьмы. После захода солнца Рангун превращался в «город проклятых». Прокаженные, бродячие собаки и сумасшедшие дрались за куски протухшей еды на мусорных свалках и в глухих переулках. Предприниматели и оставшиеся бирманские солдаты претворяли в жизнь тактику выжженной земли, уничтожая фабрики, аптеки, продовольственные склады. Несколько «летающих тигров» — последних защитников города — отправились из этого ада на север, на британскую военно-воздушную базу в Магуэ[162].

В конце февраля Черчилль отправил в Рангун генерала Гарольда Александера, который служил во Франции под началом Брука и был

последним старшим офицером, покинувшим пляж в Дюнкерке. «Если мы не можем послать армию, — позже написал Черчилль, — мы, по крайней мере, можем послать одного человека». Алекс, аристократ, ольстерец, был воином и человеком чести, но двадцать лет назад два его преподавателя в штабном колледже решили, что он «пустышка». Монти с Бруком, возможно, не заметили, что Александер не особо интересовался планированием, потому что любил сражаться. Во Франции в 1940 году он проявил то, что британские генералы «всегда считали особым талантом... умение отступать и эвакуироваться». Этот талант помог спасти британскую армию. Кроме того, он обладал дипломатическими способностями, что сослужило хорошую службу Черчиллю и делу союзников. В Бирме Черчиллю требовался командующий и армия. Он имел командующего в лице Александера, а вот армии у него не было. Британские колониальные силы в Бирме вряд ли можно было назвать корпусом, не говоря уже об армии. Индийская дивизия, дислоцированная на противоположном берегу реки Ситаун, к востоку от Рангуна, подверглась ударам 15-й японской армии, состоявшей всего из двух небольших дивизий, это около 16 тысяч человек. Единственная бирманская дивизия, которая находилась неподалеку, понесла потери из-за дезертиров, которые бежали не из-за трусости, а потому, что ненавидели британцев. Всего одна британская танковая бригада удерживала Рангун. Вот такой была «армия» Александера. Он прибыл в Рангун 5 марта только для того, чтобы доложить о потере города и возглавить хаотичное бегство из столицы на север, в Пром (Пьи). Рангун, объятый пламенем и покинутый, пал 8 марта[163].

Японцы воспользовались портом, чтобы доставить еще 20 тысяч человек, и усиленная 15-я армия вскоре вышла из Рангуна в дельту Иравади, самую плодородную дельту в Британской империи, источник зерна и риса, жизненно важных для Бенгалии. Дельта на протяжении пятидесяти лет обеспечивала Бенгалию рисом в необходимом количестве; голода в Индии не было уже более пятидесяти лет, частично благодаря соотношению бирманского избыточного риса и потребностей Бенгалии. Японцы нарушили эту связь, унесли щедрые дары Иравади для потребления Токио и уничтожили то, что не смогли унести. Потеря дельты, невиданные циклоны в Бенгалии в том году и засуха привели к росту цен и дефициту риса и зерна в Бенгалии, вне зависимости от появления там японцев в ближайшее время. Японцы намеревались ни много ни мало выгнать британцев из Бирмы, начав с Рангуна, в шести сотнях миль к югу от границы с Ассамом. Александер в срочном порядке назначил генерал-лейтенанта Уильяма (Билли) Слима командовать недавно сформированным Бирманским корпусом в надежде отбросить захватчиков. Слим был настоящим солдатом; в прошлом году он участвовал в подавлении восстания в Ираке. Но Бирманский корпус существовал только на бумаге. Британцы

отступили под напором японцев, Александер двинулся на север, в Пром, а Кислый Джо Стилвелл, командовавший шестью недоукомплектованными, не испытывавшими особого желания воевать китайскими дивизиями, прикрывал его восточный фланг[164].

Присутствие ненавистных китайцев на Бирманской земле привело к тому, что еще больше бирманцев дезертировало и вступило в японскую армию. Через неделю после падения Рангуна Александер и Стилвелл впервые встретились в крошечном колониальном городке на склоне горы, около Мандалая, в деревне, которую британцы назвали город Мэй. Генералы не понравились друг другу. Стилвелл, легко отличавший представителей высшего класса по культуре речи, позже сказал: «По-азительно!». Александер «посмотрел на меня так, словно я только что вылез из берлоги»*.

Но если для борьбы с японцами требовалось объединенное командование, Стилвелл был рад действовать сообща. Он хотел не только удержать город Таунгу, но и атаковать. Однако Чан, что привело Стилвелла в ярость, все никак не решался отдать приказ своим китайским силам к югу от Мандалая, пока не стало слишком поздно, и в результате к концу месяца японцы захватили Таунгу. Стилвеллу с Александером осталось принять одно решение: куда бежать — в Китай или в Индию. Стилвелл отправил половину своих китайских войск на Бирманскую дорогу, а вторую половину на север, в Мьичину, у индийской границы, единственный город, откуда по воде можно было добраться из Индии в Китай. Японцы преследовали войска Стилвелла на Бирманской дороге и истощенные войска Александера на западном берегу реки Иравади. Бирма была обречена[165].

Японцам потребовался весь апрель, чтобы завершить захват Бирмы, Александер со Слимом за это время отступили в Ассам, а большинство китайских солдат Стилвелла сбежали в Чунцин вместе с сотнями бирманских дезертиров. Стилвелл, которому предложили вылететь в Ассам на военном самолете вместе с ближайшими помощниками, решил идти в Ассан вместе со 114 солдатами пешком; им предстояло преодолеть расстояние 214 миль, вдоль Иравади и через высокие горные перевалы. Его солдаты не смотрели в небо, когда пролетал самолет; союзников в небе не было. Переход занял почти три недели. Александер, Слим и Стилвелл добрались до границы Ассама, обогнав японцев и приближающиеся муссонные дожди.. Когда 17 мая Александер прибыл в Калеву, пограничный город на реке Чиндуин, у него

---

* Черчилль написал об англичанах своего поколения, которые либо могли, либо не могли произнести букву «р». В своей книге «Мои ранние годы» он описал попытку командира 4-го гусарского полка, Джона Брабазона, сесть на поезд. Подождав какое-то время на платформе, Брабазон обратился к начальнику станции, чтобы узнать, где его поезд. Узнав, что поезд уже ушел, полковник сказал: «Ушел? Найдите мне д-угой». (*Примеч. авт.*)

было всего две дюжины артиллерийских орудий и столько же грузовиков. Это было самое долгое отступление в британской военной истории. Почти треть его армии, первоначально состоявшей из 30 тысяч человек, выбыла из строя или дезертировала. Стилвелл не потерял ни одного солдата, но его маленький отряд прибыл в Ассам полуголодным, с висевшими на хвосте японцами. Через три дня пришли муссонные дожди. Бирманская дорога была потеряна, как и вся Бирма, имперское наследие лорда Рэндольфа Черчилля, которое он преподнес королеве Виктории в качестве подарка на новый 1886 год[166].

Вину за потерю Бирмы и провал первой совместной Китайско-американско-британской операции разделили между всеми участниками. В письме Черчиллю Чан с горечью написал: «За всю свою жизнь, имея длительный военный опыт, я не видел ничего сравнимого с этим плачевным, неподготовленным состоянием, беспорядком и деградацией в военной зоне в Бирме». Подобные слова не были способны внушить Черчилля любовь к генералиссимусу. Стилвелл сообщил в Вашингтон, что, по его мнению, британцы скорее потеряют Бирму, чем будут обязаны Китаю за ее спасение. Но в это время Соединенные Штаты тоже пережили унижение, когда 11 марта Дуглас Макартур сбежал из Манилы в Австралию. Планы союзников относительно операции «Гимнаст» (вторжения во Французскую Северную Африку) сгорели в огне Рангуна, и Рузвельт с Черчиллем пришли к единому мнению, что «операции «Гимнаст» не будет». Рузвельт отметил что по иронии судьбы Стилвелл и Александер, назначенные командующими «Гимнаста», вместо этого встретились в Бирме, откуда их выгнали японцы. Александер, застрявший в Ассаме и прекрасно понимавший, что такое безвыходное положение, назначил командующим остатками бирманского корпуса Билли Слима, а сам вернулся в Лондон. Рузвельт, который не вмешивался в эту борьбу, выразил соболезнования Черчиллю: «Мне никогда не нравилась Бирма и бирманцы... Мне бы хотелось, чтобы вы бросили их в сковороду... и они бы там тушились в собственном соку». Черчилль в записке Рузвельту предположил, что теперь для японцев будет самым мудрым отправиться по Бирманской дороге в Китай и «сделать предложенное Вами»[167].

Японцы вскоре так и сделали, преследуя измотанную армию Чана до провинции Юньнань. Затем японцы остановились. У них не было ни приказов из Токио, ни стратегического плана, несмотря на их колоссальные победы.

Несколькими неделями ранее, в начале марта, Иден и Алек Кадоган заподозрили, что Черчилль начал выдыхаться. Его самый верный друг, Брэнден Брекен, и его вечный политический критик, Стаффорд Криппс, пришли к общему мнению, что Идена следует сделать заме-

стителем министра обороны. Кадоган с Иденом отметили, что на протяжении нескольких недель «война не двигалась ни в одном направлении. Военный кабинет не работал... Никто не стоит у руля (возможно, из-за состояния здоровья премьер-министра)». На самом деле сам альянс плыл по течению, без руля и ветрил. В марте, апреле и мае Черчилль с Рузвельтом обменивались телеграммами и письмами, которые, собранные вместе, подтверждали пессимистический настрой Идена и показывали, что эти лидеры преследуют разные цели, военные и политические, но нет средств достижения этих целей, вместе или поодиночке. Казалось, что альянс — это одни разговоры без действий[168].

Это были недели, когда японские армии прокатились по Бирме, Яве и Филиппинам, где 75 тысяч американских и филиппинских солдат, попавших в ловушку в Батаане, сдались 9 апреля и отправились в плен, где половина из них погибла. Спустя месяц пала крепость Коррехидор. 23 марта, меньше чем через месяц после высадки, японцы захватили Андаманские острова, расположенные в 300 милях от тайского и бирманского побережья Бенгальского залива. Ничего, кроме океана, не отделяло острова от Цейлона.

Тем временем Сталин начал проявлять интерес к договору со своими союзниками, который узаконит советские довоенные границы, что было совершенно неприемлемым для Рузвельта и Черчилля, поскольку оба были уверены, что подобные вопросы надо решать на послевоенной мирной конференции. Однако Черчилль начал понимать практическую выгоду от изменения точки зрения, поскольку у Америки с Британией пока не было планов относительно облегчения сталинской ноши, кроме отправки небольших арктических конвоев, которые регулярно подвергались атакам немецких подводных лодок. Рузвельт считал, что способен успокоить Сталина, и так же считал Черчилль. «Думаю, Вы не обидитесь, если я скажу, что считаю, что могу справиться со Сталиным лучше, чем Ваше министерство иностранных дел и мой Государственный департамент. Сталин ненавидит всех Ваших высших чиновников. Он думает, что я ему нравлюсь больше, и я надеюсь, что он продолжит так думать»[169].

В течение марта основным вопросом, интересовавшим адмиралтейство, был вопрос: где авианосное ударное соединение адмирала Нагумо? Черчилль считал, что это вопрос времени, незначительного количества времени, когда Нагумо атакует Цейлон с моря и с воздуха, чтобы установить полный контроль над Индийским океаном. Затем японцы перережут морские пути к Персидскому заливу и от Суэцкого канала к Индии, и под угрозой окажутся поставки Сталину из Басры, поставки британцев в Индию и Чан Кайши в Китай. Черчилль очень боялся потерять доступ персидской и иракской нефти, и, похоже, его страх мог материализоваться. Две этих страны, которые обороняли британские колониальные войска, теперь оказались между

армиями Тодзио и Гитлера, который весной наверняка собирался вторгнуться на Кавказ и, в случае успеха, окажется в непосредственной близости к Ближнему Востоку. Роммель, похоже, готовился начать наступление на Каир. Если он туда попадет, дорога на Багдад будет открыта. Войска, которые Черчилль надеялся использовать на левантийско-каспийском фронте, отправились в Индию. Защита северного пути к месторождениям нефти в Мосуле, телеграфировал Черчилль Рузвельту, «теперь зависит от успехов русской армии». Несколько месяцев назад он обрисовал проблему Колвиллу: «Если Гитлер получит контроль над иракской нефтью и украинским зерном... не все наши плимутские братья смогут вынести это испытание». Ближний Восток был единственным военным театром, который подвергался опасности со стороны немцев и японцев, и его защита выпала на долю британцев, у которых не хватало людей, чтобы отбросить Роммеля, и кораблей, чтобы отбросить японцев. На смену марту пришел апрель, а вопрос остался прежним: где Нагумо?[170]

Четыре месяца назад Луис (Дики) Маунтбеттен, обычный капитан, к тому же неудачник — потерял свой корабль на Крите — был назначен на должность командующего и вскоре заменил адмирала Кейса в качестве руководителя объединенных операций. Черчилль приказал Маунтбеттену и его небольшой команде заняться планированием рейдов на Европейский континент и координацией действий Королевского ВМФ, Королевской морской пехоты, армии и Королевских ВВС во время проведения рейдов. Черчилль сказал, чтобы он думал только о нападении и приступал к составлению списка боевой техники и людей, которые потребуются для полномасштабного вторжения во Францию: специальные десантные суда, близкая поддержка с воздуха, водонепроницаемые танки, корректировщики огня, аэрофотосъемка. Черчилль продвинул его по службе в обход более опытных офицеров Королевского военно-морского флота, сделав контр-адмиралом и посадив в Объединенный комитет начальников штабов, где, как позже написал Брук, Дики «зачастую попусту растрачивал свое и наше время». Затем Черчилль — объясняя это тем, что характер взаимодействия между видами вооруженных сил в объединенных операциях требует широких жестов, — настоял на том, чтобы Маунтбеттену присвоили звание генерал-лейтенанта армии и маршала Королевских ВВС. В результате Маунтбеттена теперь ненавидели еще несколько дюжин старших по званию офицеров всех родов войск. От Черчилля он получил прозвище triphibian, слово, придуманное Черчиллем и отражающее положение дел, — действующий на суше, на море и в воздухе, — и вскоре ему нашлось место в словарях Уэбстера[171].

Март закончился первой значительной операцией Маунтбеттена в качестве руководителя объединенных операций, рейдом коммандос на

Сен-Назер, порт в устье Луары. Сухой док в Сен-Назере, построенный для французского пассажирского лайнера «Нормандия» (который сгорел в прошлом месяце), был одним из самых больших в мире и самым большим на атлантическом побережье; в доке было достаточно места для ремонта «Тирпиц», второго линейного корабля класса «Бисмарк». «Тирпиц» два месяца стоял на якоре в Тронхеймс-фьорде, недосягаемый для британских самолетов. Однако для Германии дорого обошлась безопасность линейного крейсера. Стоявший на якоре «Тирпиц» не представлял опасности для британских конвоев. Черчилль с Маунтбеттеном считали, что если разрушить сухой док в Сен-Назере, негде будет проводить ремонт «Тирпиц» и, значит, выходить в Атлантику будет слишком рискованно. Британцы разработали дерзкий план. В сопровождении эсминцев, миноносцев, канонерских лодок и 250 коммандос один из пятидесяти устаревших американских эсминцев «Кэмпбелтаун», с заложенным зарядом взрывчатки, войдет ночью в устье Луары и протаранит ворота сухого дока. По плану одна группа должна была обеспечить безопасность территории вокруг «Кэмпбелтаун», когда он причалит к берегу, уничтожить находящиеся неподалеку шлюзы, насосные станции и топливные баки, а другая группа коммандос — уничтожить портовые сооружения. Затем канонерские лодки должны были забрать членов команды и коммандос и убираться оттуда ко всем чертям. Затем, если все пойдет по плану, «Кэмпбелтаун» должен был взорваться, полностью уничтожив док.

«Кэмпбелтаун» протаранил ворота дока в 1:34 ночи, всего на четыре минуты позже запланированного. Все шло по плану, кроме одного: ожидаемый взрыв эсминца «Кэмпбелтаун» не произошел. Но когда коммандос, выжившие и не попавшие в плен, сбежали, немцы, с присущей им педантичностью, приступили к обследованию «Кэмпбелтаун». Все утро специалисты обследовали судно, а в это время офицеры и солдаты фотографировались на палубе, чтобы послать фотографии девушкам, дожидавшимся их дома. Взрыв произошел ближе к полудню, когда на борту было порядка четырехсот немцев. Погибли все. Док был уничтожен. Ожидаемый эффект — достигнут. Гитлер настолько дорожил «Тирпиц», что позволил только два выхода в Северное море для преследования союзнических конвоев, а затем и вовсе запретил отправлять его в Атлантику. «Тирпиц» два года простоял в норвежских фьордах в ожидании вторжения в Британию, которого так и не дождался. В ноябре 1944 года бомбардировщики Avro Lancaster, вооруженные 5-тонными бомбами, потопили «Тирпиц».

Сен-Назерский рейд не имел особого значения для битвы за Атлантику, он всего лишь не дал возможности «Тирпиц» выйти в Атлантику, но, как охота на «Bismarck», он привлек внимание американцев и британцев. Черчилль, в подражание богатому, образному стилю повествования Томаса Маколея, назвал рейд «блестящим и героиче-

ским» и «славным подвигом». Коммандос, написал он, «были готовы ринуться в драку», что и сделали «под убийственным огнем». Он смаковал эту небольшую блестящую победу[172].

В Северной Африке и Азии у Черчилля ничего подобного не происходило. Роммель расположился напротив 8-й армии Ричи всего в 40 милях к западу от Тобрука. В свободное время немцы получали подкрепление. Не вызывало сомнений, что он собирается атаковать; единственный вопрос — когда. В Азии и в Тихоокеанском регионе японцы завоевывали все на своем пути. В России немцы наверняка перейдут в наступление весной, и танки заполнят украинские дороги, которые ведут на восток и на юг к Сталинграду и дальше на Кавказ, а потом в Ирак и Персию. Почти три месяца прошло с того момента, как Черчилль предупредил палату общин о надвигающихся катастрофах; и вот они пришли. Сталин с Рузвельтом, преследуя разные цели и руководствуясь разными мотивами, подстрекали Черчилля к действию. Сталин не только хотел закрепить свои границы 1939 года; он настаивал на открытии второго фронта. Рузвельт требовал принять решение, где и когда будут воевать американские солдаты, поскольку прошло четыре месяца с Пёрл-Харбора и американские избиратели начинали задаваться вопросом: что, если пройдет еще шесть месяцев, прежде чем американские солдаты перейдут в наступление? Франклин Рузвельт не хотел, чтобы промежуточные выборы в ноябре прошли без американских парней, которые сражаются где-то с немцами.

Словно в насмешку над британской армией, в ночь, когда коммандос Маунтбеттена проникли в Сен-Назер, адмирал Нагумо во главе флота из пяти современных авианосцев, четырех линкоров, нескольких крейсеров и эсминцев вошел в Бенгальский залив, направляясь к Цейлону. Адмиралтейству больше не требовалось гадать, куда делся японский адмирал. Королевский военно-морской флот был меньше японского и состоял из четырех старых линкоров, трех небольших авианосцев, небольшого количества крейсеров, нескольких эсминцев и множества неопытных моряков. Корабли командующего флотом, адмирала Джеймса Соммервилла, ветерана Средиземноморских операций, базировались на секретной базе (кодовое название порт Т на атолле Адду (самый южный атолл Мальдивских островов), а не в Коломбо или Трикомали, где Нагумо надеялся найти и уничтожить британский флот. К счастью для Соммервилла, после четырехдневного плавания к югу от Цейлона в поисках Нагумо он вернул свой флот в порт Т для дозаправки. Когда Нагумо появился в первый день Пасхи, 5 апреля, он не нашел Соммервилла, но в последующие несколько дней обнаружил британское 100 000-тонное торговое судно, авианосец, два крейсера и эсминец и всех отправил на дно. Британцы и японцы понесли потери в самолетах, примерно по пятьдесят с каждой стороны, но общие британские потери были во много раз больше японских.

У Черчилля в Индии осталось всего четырнадцать тяжелых бомбардировщиков. У Нагумо — почти девятьсот (к началу операции была тысяча) летчиков и самолетов, и этого было более чем достаточно, чтобы уничтожить британский или американский флот полностью, в зависимости от того, какой из них Нагумо найдет первым. Адмирал Сомервилл был вынужден уйти из Индийского океана и искать пристанище у восточных берегов Африки, оставив Бенгальский залив — и Индию — полностью незащищенными[173].

Великобританию выгнали из Индийского океана. Но, в это трудно поверить, Нагумо тоже оттуда ушел. Адмирал опять скрылся в неизвестном направлении. Черчилль был уверен, что Нагумо скоро вернется, чтобы закончить дело. 7 апреля Черчилль (по непонятной причине решил, что американский флот теперь «определенно превосходит вражеский флот в Тихом океане») попросил Рузвельта использовать свой флот, чтобы заманить японцев обратно в Тихий океан. Трудно сказать, чем руководствовался Черчилль, но Рузвельт не стал информировать его о том, что соотношение японских линкоров к американским — одиннадцать к нулю, а авианосцев — десять к четырем. Пятый авианосец «Уосп» и новейший американский линкор «Вашингтон», который адмирал Кинг хотел базировать в Тихом океане, направили в Британию, чтобы переправить истребители «Спитфайр» на Мальту, — непосильная задача для истощенного Королевского флота. Символичным для союзнического флота, находившегося в плачевном состоянии, был тот факт, что американского адмирала, находившегося на «Уоспе», смыло волной за борт где-то в Атлантике и его не нашли. Когда адмирал Каннингем отправил конвой из Александрии на Мальту — на острове почти не осталось топлива и продовольствия — все корабли потонули. Брук признался в дневнике: «Это были черные дни»[174].

Положение союзнического флота на всех океанах было отчаянным. И это было ясно по черчиллевскому тону, когда 15 апреля он предупредил Рузвельта, что британское положение угрожающее, и если флот адмирала Ямамото не потерпит поражение, ввязавшись в бой, то «нет причин, почему бы японцам не доминировать в западной части Индийского океана. Это повлечет за собой наше полное поражение на Ближнем Востоке». В телеграмме Рузвельту от 17 апреля он заявил: «Нельзя допустить объединение японцев с немцами». Черчилль имел в виду объединение сил Роммеля с японскими силами; наиболее вероятный сценарий: японский флот наносит удар по Басре, а Роммель прорывается в Багдад. Если японцы захватят Басру и расположенный неподалеку иранский порт Абадан — там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, — абаданскую нефть не удастся вывезти из Ирана, прекратятся поставки в Россию и, предупредил Черчилль Рузвельта, британцы не смогут «удерживать наши позиции на море и на суше». Позже Брук написал, что со стра-

тегической точки зрения Абадан был куда важнее Египта, поскольку потеря Египта не обязательно означала потерю Абадана, но потеря Абадана означала потерю Египта. Однако, как позже понял Аверелл Гарриман, британцы были настолько растянуты по миру, что единственная защита, которую Черчилль мог предоставить Абадану, состояла из шести устаревших бипланов и несколько зенитных орудий. Если Гитлер прорвется из Северной Африки или с Кавказа (если он захватит этот район, что он намеревался сделать к концу лета), то завладеет Абаданом и всей Персией[175].

Рузвельт, в ответ на черчиллевские мрачные прогнозы, заявил, что у него «еще более тяжелое» положение в Тихоокеанском регионе, и подчеркнул, что американский флот снабжает и защищает Австралию и Новую Зеландию. Недосказанным остался очевидный факт: Америка делала это, потому что Лондон не мог. Кроме того, Рузвельт отрицал возможность взаимодействия стран оси, считая, что если это и будет возможно, то в «отдаленном будущем». Его заявление было настолько же беспочвенным, насколько предположение Черчилля о превосходстве американского флота в Тихом океане[176].

С декабря Черчилль (и Брук) считал, что любое взаимодействие Германии с Японией продлит войну на годы и приведет к урегулированию путем переговоров, а это будет означать конец правительства Черчилля, если не всей Британской империи. Нас ждут тяжелые испытания, не раз говорил Черчилль Джоку Колвиллу[177].

Однако, как потом оказалось, адмирал Нагумо сам облегчил азиатскую «ношу» Черчилля. Нагумо, единственный из японских командующих, считал, что приказы императора следует понимать буквально. Японцам был не свойствен творческий подход в постоянно изменяющихся условиях на поле боя. Японскому флоту нравилось разделять свои силы, что приводило к очень сложным операциям, требовавшим идеальной координации действий. Японцам нравилась диверсионная тактика, связанная с заманиванием врага в ловушку и срывом вражеских планов, но отсутствие тактической гибкости мешало им быстро и энергично реагировать в случае нарушения их собственных планов. Изменения, естественно, не учитывались в планах, и японские командующие их всячески избегали. Самым ярким примером упущенных возможностей из-за четкого следования генеральному плану является ситуация в Пёрл-Харборе, когда 7 декабря японские летчики не стали возвращаться в Пёрл-Харбор, чтобы уничтожить склады с топливом и ремонтные базы. Атака предполагалась, но не была запланирована, и, самое главное, не было приказа[178].

Адмирал Ямамото планировал в конце апреля направить авианосцы в Коралловое море, чтобы прикрыть запланированное вторжение на Тулаги, Соломоновы острова и в Порт-Морсби, расположенный на юго-восточном побережье острова Новая Гвинея. Если японцы

одержат победу в Новой Гвинее, Австралия будет изолирована, и это станет важным шагом на пути Ямамото к достижению главной стратегической цели: созданию неприступной преграды из воздушных и морских баз по всему периметру великой восточноазиатской сферы взаимного процветания — блок азиатских народов, возглавляемый Японией и свободный от западных держав, — прежде чем американцы смогут перевооружиться, чтобы оспорить это. Когда южная часть Тихого океана окажется у него в руках, Ямамото планировал захватить Алеутские острова, расположенные в северной части Тихого океана, и острова Мидуэй, в 1100 милях к западу от Пёрл-Харбора. И его круг замкнется. Это был дерзкий план.

Двадцать лет назад пятидесятивосьмилетний адмирал учился в Гарварде и служил военно-морским атташе в Вашингтоне в конце 1920-х. Во время пребывания в Гарварде и Вашингтоне он проникся уважением к американцам и научился играть в такую жестокую игру, как покер. Он не был азартным игроком, но умел определять выигравшую руку. Захватив Порт-Морсби и Тулаги, он собирался закрыть американцам вход в южную часть Тихого океана, построив аэродром на острове Гуадалканал (протекторат Великобритании.) Для этого его оперативные соединения в Порт-Морсби должны были найти и уничтожить американский флот, который наверняка примчится в Коралловое море для решения спорного вопроса. Американцы едва ли смогут оказать серьезное сопротивление; два из четырех авианосцев в Тихом океане находятся на Гавайях, а значит, в Коралловом море будет всего два авианосца. У японцев явно было больше шансов одержать победу, учитывая их превосходство в силе и опытных летчиков. Ямамото имел преимущество, и, что было особенно приятно, он сам этого добился[179].

Затем Франклин Рузвельт предпринял дерзкое — хотя в значительной степени символичное — предприятие. В начале апреля Рузвельт направил два из четырех своих авианосцев, которые должны были приблизиться на расстояние 500 миль от побережья Японии для нанесения авиационного удара по Токио. Шестнадцать средних бомбардировщиков B-25 Mitchell под командованием подполковника Джеймса Дулиттла, взлетев с американского авианосца «Хорнет», атаковали территорию Японии. Самолеты Дулиттла нанесли незначительный ущерб, но Ямамото, возмущенный оскорблением, нанесенным его императору, решил, что пришло время «уничтожить» американский Тихоокеанский флот. Он приказал одновременно практически провести операции на островах Мидуэй и в Коралловом море. Нападение Дулиттла было именно такой диверсией, которую Черчилль требовал от Рузвельта, и она оказала желаемый эффект на японцев. Рузвельт, возбужденный успехом Дулиттла, телеграфировал Черчиллю: «У нас хорошо получилось в Японии» — и добавил, что надеется, это заставит японцев вывести свои «крупные корабли» из Индийского океана.

Вот почему президент назвал возможность объединения стран оси на Ближнем Востоке, чего опасался Черчилль, «маловероятной». Но маловероятной эта перспектива будет только в том случае, если японский флот совершит необъяснимую ошибку[180].

Именно такую ошибку и совершил адмирал Нагумо, когда после разгрома британцев в Индийском океане отправил три своих авианосца в Японию для проведения ремонта. Обменявшись самолетами с британцами в Индийском океане — каждая сторона потеряла порядка пятидесяти, — Нагумо вышел победителем только благодаря тому, что у британцев почти не было самолетов, а у Нагумо их по-прежнему оставалось много. Корабли Нагумо, как обычно, не получили повреждений. К середине апреля от Королевского флота практически ничего не осталось, а немногие уцелевшие суда отправились в Восточную Африку. У американцев положение было не лучше. Отчаяние Черчилля в течение тех недель было полностью оправдано. Однако, вместо того чтобы закончить работу, Нагумо, у которого рано проявились симптомы того, что позже японцы назовут «болезнью победителей», решил вернуться домой и произвести косметический ремонт кораблей. Черчилль жаловался, что его генералы зачастую подвергают себя неоправданному риску. В этом случае Нагумо подверг себя неоправданному риску.

Его решение имело катастрофические последствия, когда в начале мая японские авианосцы встретились с американцами в сражении в Коралловом море. Это была первая схватка авианосцев в истории и первая морская битва, в которой участники не видели друг друга. Один американский авианосец был потоплен и один получил повреждения. Один японский легкий авианосец затонул — первая потеря японцев в войне, — и два тяжелых авианосца получили повреждения. Потери американского флота были намного серьезнее, чем потери японцев. Но Ямамото бездействовал, а потому упустил возможность и проиграл битву. Позже Черчилль написал, что, если бы у японцев было на два-три авианосца больше, когда они вошли в Коралловое море, американцы бы их не победили. Ямамото давно считал, что для того, чтобы достигнуть соглашения с Америкой, Японии нужно уничтожить американский Тихоокеанский флот в течение шести месяцев с начала войны или придется столкнуться с последствиями перевооружения Соединенных Штатов. Хотя битва в Коралловом море была возможностью, упущенной Ямамото, вскоре ему представилась очередная возможность. Он планировал провести решающее сражение на рассвете 6 июня — шесть месяцев без одного дня с Пёрл-Харбора. Место битвы — у атолла Мидуэй[181].

В телеграммах, которыми Черчилль и Рузвельт обменивались зимой и весной 1942 года, они обсуждали почти каждую проблему транспортировки груза и людей и, можно сказать, стали экспертами в этом во-

просе, профессионально оценивая вес судна, груза и вместимость, необходимые для доставки людей из одного места в другое. Когда Черчилль попросил задействовать американские корабли для переброски 40 тысяч солдат в Индию, Рузвельт согласился, но объяснил Черчиллю, что это повлечет за собой нарушение множества планов: конец «Гимнаста»; невозможность отправки американских войск в Британию для вторжения в Европу в 1942 году; прекращение поставок боеприпасов и вооружения в Китай; сокращение помощи русским, которые, по словам Рузвельта, «убивают больше немцев... чем вы и я, вместе взятые». Он заявил, что в 1942 году Америка сможет перевезти только 90 тысяч человек, но надеется в 1943 году вдвое увеличить это число. Черчилль, потрясенный этим заявлением, ответил, что Рузвельт может решить проблему, если «отдаст приказ увеличить грузоподъемность в два или в три раза к 1943 году», словно Рузвельт был фокусником, способным одним взмахом волшебной палочки увеличить грузоподъемность судов. Черчилль сказал, что если эти показатели нельзя улучшить, то «об улучшении ситуации [в Европе] до 1944 года и речи быть не может»; это, очевидно, означало, что все разговоры о крупномасштабном вторжении в Европу в 1942 или 1943 году были всего лишь разговорами. В этом случае, написал он, союзников ждет «множество опасностей, которые последуют за продлением войны». Транспортировка превратилась в игру нулевым результатом. Рузвельт ответил подробнейшим отчетом о будущей грузоподъемности американских судов, который заканчивался словами: «Таким образом, несмотря на потери, общая вместимость транспортов Соединенных Штатов к июню 1944 года будет составлять 400 тысяч человек». Поскольку эти цифры были известны только двум лидерам и их ближайшим помощникам, пресса по обе стороны Атлантики и Сталин продолжали требовать немедленного открытия второго фронта в Европе. Нехватка транспортов и неготовность американцев, а не Черчилль, которому пресса приписывала нерешительность в этом вопросе, были причинами, по которым второго фронта не могло быть в 1942 году и, скорее всего, в 1943[182].

Рузвельт не с потолка взял «400 тысяч человек»; по оценке Объединенного комитета начальника штабов, такое количество американских солдат требовалось для успешного вторжения в Европу. Рузвельт точно определил, когда эти войска будут готовы, — к июню 1944 года, и этот факт часто игнорируют те, кто обвинял и обвиняет Черчилля в том, что вторжение в Европу не состоялось раньше. Но весной 1942 года Черчилль с Рузвельтом знали, что они не могут просто «переждать» два года. Они должны сражаться вместе. Но где и когда?

Сэр Стаффорд Криппс прибыл в Дели 22 марта. Следующие три недели он вел долгие переговоры с лидерами Национального конгресса Ганди, предлагая автономию в будущем. Это предложение основы-

валось на обещании Военного кабинета предоставить Индии после войны статус доминиона в обмен на полную поддержку Британии в войне против Японии. Статус доминиона фактически означал независимость. Переговоры зашли в тупик. Если политика — искусство компромисса для достижения цели, то Ганди, не отступавший ни на шаг, не приблизился к своей цели. Он упорно настаивал на том, что присутствие британцев в Индии — приманка для японцев, которые, скорее всего, вторгнутся в Индию, если британцы не уйдут. Он требовал или немедленной независимости, или, по крайней мере, национального правительства. Несколько недель назад Чан пытался убедить Ганди в необходимости вести борьбу с японцами, поскольку японцы ненавидели миротворцев больше, чем тех, кто вел войну, и никого не щадили, как показали последние убийства в Сингапуре и резня в Нанкине в 1937 году. Японцы не пощадят никого, предупредил Чан, останутся британцы или уйдут. Ганди вежливо его выслушал; генералиссимус вернулся домой, потерпев неудачу. Ганди понимал, как позже написал Джордж Оруэлл, что, «если ты не готов отнять жизнь, ты должен быть готов ее потерять». Ганди понимал, что ненасильственное противостояние японскому вторжению может стоить миллионов жизней. Криппс приводил те же аргументы, что и Чан, и тоже потерпел неудачу. Черчилль иного не ожидал. Позже он написал: «Несмотря на напряженную борьбу за жизнь день за днем и на четыреста миллионов беспомощных людей, которых необходимо защитить от ужасов японского завоевания, я смог принять эту новость, которую считал возможной с самого начала. Я знал, как горько будет Стаффорду Криппсу принять провал своей миссии, и мне хотелось успокоить его». По возвращении в Лондон Криппс узнал, что его имя, а не Черчилля, связывали с миссией и ее провалом[183].

Первая серьезная политическая ссора Рузвельта с Черчиллем произошла из-за Индии и империи. Рузвельт считал, что может откровенно говорить с Черчиллем почти обо всем, включая (тут он ошибался) Индию. Черчилль, из вежливости, держал Рузвельта в курсе успехов Криппса или их отсутствия. Когда переговоры сорвались, Рузвельт, не стесняясь в выражениях, обвинил Черчилля. У этих людей были абсолютно разные долгосрочные цели. Помимо поражения Гитлера Черчилль больше всего хотел сохранить Британскую империю, включая, естественно, Индию, — цель неприемлемая для Рузвельта, убежденного антиимпериалиста. «Сохранить» для Черчилля означало «защитить». Для Рузвельта это означало «удержать». 11 апреля Рузвельт отправил личное письмо Черчиллю через Гарри Гопкинса, в котором обрисовал свою позицию относительно Индии с точки зрения тринадцати колоний и Георга III. Рузвельт предлагал Черчиллю подумать о том, что Индия могла созреть для преобразований, как в свое время американские штаты — от колоний к свободной феде-

рации и, наконец, к статусу национального государства. Черчилль в своих мемуарах мягко высказывает свое мнение о размышлениях Рузвельта: «Президент мысленно вернулся к американской Войне за независимость... Я, со своей стороны, нес ответственность за сохранение мира и безопасности на Индийском континенте, который является домом для одной пятой населения земного шара. Наши ресурсы были незначительными, а силы максимально напряженными». Если бы в конце послания Рузвельт не добавил провокационное замечание, вопрос, возможно, был бы закрыт. Но он написал: «Почти все здесь разделяют мнение, что дела зашли в тупик из-за нежелания британского правительства признать право индийцев на самоуправление. Считаю, что должен откровенно сказать Вам об этом, и я знаю, Вы поймете, почему я так делаю»[184].

Черчилль пришел в ярость, считая, что Рузвельт вмешивается не в свое дело. Он думал, что его реакции на отповедь Рузвельта в декабре во время личной встречи было достаточно, чтобы расставить все точки над i относительно Индии, но Рузвельт опять вернулся к этому вопросу, теперь в письме. Письмо пришло в Чекерс в три утра в воскресенье, Гопкинс и Черчилль еще не ложились спать. Читая письмо президента, Черчилль читал послание, он ругался в голос, и эхо разносило его слова по большому дому. Успокоившись (немного), он заявил, что давно убежден в том, что навязывание индусами политической воли миллиону индийских мусульман приведет к беспорядкам и резне и в тот момент, когда поблизости притаились японцы, Ганди и сторонники его движения «Вон из Индии!» готовы мирно принять врага, тем самым облегчив японцам путь на Ближний Восток. Между тем Мусульманская лига выступала с требованием создания независимого Пакистана. Если согласиться с требованиями Ганди, то придется согласиться и с требованиями Мусульманской лиги. Но пока шла война, Черчилль не хотел соглашаться с требованиями ни той ни другой стороны. Для защиты Индии от Японии требовались военные действия, а не политические. Индия была бедной, жизнь там была тяжелой — простой индиец зарабатывал менее 15 долларов в год и жил в среднем около 27 лет. Однако, если бы не Лондон, Индия была бы намного беднее, а если туда придут японцы, то, по мнению Черчилля, страна превратится в безлюдную пустыню[185].

Если его отставка, сказал Черчилль Гопкинсу, положительным образом скажется на действиях альянса и американском общественном мнении, он готов уйти в отставку, но даже в этом случае он уверен, что кабинет продолжит прежнюю политику в отношении Индии. Убедительная, но пустая угроза, поскольку весь свободный мир считал Черчилля героем войны. Рузвельт не мог позволить себе оказаться человеком, который заставил Уинстона Черчилля уйти в отставку. Рузвельт, позже вспоминал Гарриман, «был за разрушение Британ-

ской империи, но Черчилль не собирался этого делать... Индийский вопрос следовало обсуждать, но не с Черчиллем» — Гопкинс понял это после черчиллевской страстной речи и телеграфировал об этом Рузвельту[186].

Черчилль написал Рузвельту письмо, выдержанное в спокойном тоне, в котором сообщил президенту, что серьезные разногласия между ними «разобьют мне сердце и, безусловно, глубоко ранят обе наших страны в момент такой серьезной битвы». Он попросил Рузвельта сохранить в тайне эту переписку — косвенный, но вполне определенный намек, что кабинет взорвется, если узнает о рузвельтовской отповеди. Однако Черчилль, по всей видимости, не ухватил некоторые нюансы рузвельтовских размышлений: президент хотел сражаться за выживание Британии, но не за ее интересы, то есть Британскую империю. «Подул ветер перемен» — вспоминал Кристофер Сомс, позже ставший зятем Черчилля, — но Черчилль этого пока не заметил»[187].

В течение нескольких месяцев Ганди и Индийский национальный конгресс призывали к стачкам. Движение «Вон из Индии!» вышло на улицы. Десять батальонов британских и индийских солдат, которые должны были убивать японских солдат, погрязли в борьбе с индийскими националистами; погибло более тысячи индийцев. Когда все закончилось, Ганди был посажен британцами под домашний арест в небольшом дворце в Пуне; его заместитель Джавахарлал Неру и тысячи сторонников движения «Вон из Индии!» были арестованы и посажены в тюрьму до конца войны. Ганди утратил связь с реальностью, когда посоветовал не только индийцам, но чехам и евреям в Европе принять свою судьбу: «Я предвижу необходимость гибели сотен, если не тысяч человек для умиротворения диктаторов. Страдающим не обязательно при жизни увидеть результаты борьбы». Интересное заявление, учитывая, что Гитлер уничтожил уже более 6 миллионов евреев, несколько сотен тысяч чехов, голландцев и французов и по крайней мере, 20 миллионов поляков и русских. 19 апреля Йозеф Геббельс написал в дневнике то, что с таким же успехом мог написать Черчилль: «Ганди дал интервью, в котором опять призывал к ненасилию. Он дурак, чья политика рассчитана только на то, чтобы принести Индии еще больше несчастий»[188].

Много лет спустя Черчилль откровенно написал: «Народ Индостана... прошел через эту войну на плечах нашего маленького острова». С 1942 года защита Индии обходилась Британии ежедневно почти в миллион фунтов стерлингов, сумма, зафиксированная контрактами, составленными в Индии по завышенным ставкам и довоенному инфляционному валютному курсу. По сути, вице-король и Индия выставляли Лондону счета за защиту Индии. Черчилль сообщил вице-королю, лорду Линлитгоу, что правительство его величества оставляет за собой право предъявить встречный иск после войны. Однако для

Черчилля факт, что больше миллиона индусов и мусульман «*вызвались* служить» (курсив Черчилля), чтобы защитить Индию, перекрыл все критические замечания в адрес имперской политики правительства его величества со стороны Рузвельта, Ганди и любого другого. Преданность, а не британская имперская мощь связывала Индию с Лондоном. В ответ, написал Черчилль, Лондон «активно защищал» Индию от «ужасов и опасностей мировой войны»[189].

В переписке Рузвельт с Черчиллем продемонстрировали способность говорить о личном, когда это требовалось, — передавали наилучшие пожелания супругам или несколько слов поддержки, если товарищ одного из них оказывался в затруднительном положении. Почти сразу после эпизода с Индией Рузвельт подарил Черчиллю марку, которая не выпускалась в Аргентине с августа прошлого года. В этом жесте был весь Рузвельт — корректный, сдержанный, символичный, как и его беседы у камина. Черчилль ответил с типичной черчиллевской претенциозностью: отправил Рузвельту собрание сочинений Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля[190].

В воспоминаниях Черчилль подверг резкой критике позицию старого друга. В ответ на заявление президента, что британцам просто нужно уйти из Индии, он написал: «Я счастлив, что события [война против Японии] сделали подобный безумный шаг невозможным». Идеализм — это хорошо, продолжал Черчилль, но не «идеализм за счет других людей и без учета последствий разрушений и потерь, обрушившихся на миллионы обычных семей». Разрушения и человеческие потери обрушились на Индию в 1946 году и привели в 1947 году к разделению на Пакистан и Индию, после убийства тысяч индусов и мусульман и миллионов, которые были вынуждены переселиться в другие районы[191].

Гопкинс приехал в Лондон не для того, чтобы обсуждать Индию; он сопровождал генерала Джорджа Маршалла, прибывшего ознакомить Черчилля и британских военачальников с американской стратегией в Европе. План Маршалла, составленный Эйзенхауэром, был прост. Операция Sledgehammer («Кувалда») должна была ослабить давление на русских, которые, как считал Эйзенхауэр, скоро окажутся в отчаянном положении. Несколько дивизий должны были высадиться на побережье Франции около Шербура, на полуострове Котантен. В этом плане, телеграфировал Рузвельт Черчиллю, «мое сердце и мысли». Но Черчиллю план не понравился. Он сказал Рузвельту, что операцию следует предпринять только в том случае, если Россия будет выигрывать, а не проигрывать, поскольку, если Россия «находится в отчаянном положении, мы не поможем ни ей, ни себе, если потерпим фиаско»[192].

Маршалл впервые столкнулся с привычкой Черчилля поздно ложиться спать и с его длинными монологами, в этот раз о Гражданской

войне в Америке и Первой мировой войне. Брук отметил, что Маршалл «очевидно, не привык поздно ложиться спать, и ему это совсем не нравилось!». Маршалл сказал Бруку, что обычно он уходит с работы около шести часов вечера, затем совершает небольшую прогулку верхом, далее следует ранний ужин и что он встречается с Рузвельтом раз в месяц или в полтора. Брук ответил, что он был бы счастлив, если бы не видел Черчилля хотя бы шесть часов. Несмотря на поздние бдения и черчиллевские отступления от темы, в ходе переговоров британцы явно стали склоняться в пользу высадки в Европе в этом году. В любом случае проблему решило отсутствие транспортов и десантных судов; американцы не могли доставить в Британию даже три дивизии. Это означало, что британцы будут в авангарде любого вторжения, и следовательно у британцев было право вето на любое подобное предложение. Кроме того, хотя британские проектировщики создавали искусственные гавани для обеспечения войск на побережье, они отставали от графика как минимум на год. К тому же не предпринималось никаких усилий по изготовлению танков, предназначенных для расчистки минных полей и для огнеметных танков. Но больше всего Брука беспокоило, что десантные суда, имевшиеся в Британии, могли доставить на побережье первой волной всего 4 тысячи человек, сила столь незначительная, что будет сразу уничтожена.

Это был самый серьезный вопрос, на который у Маршалла не было ответа. Брук написал в дневнике, что, хотя Маршалл показался «обаятельным человеком и держался с большим достоинством... благородным человеком... на меня не произвели впечатления его умственные способности». Когда Брук выразил удивление по поводу того, что Маршалл ничего не сказал относительно того, что союзники будут делать после высадки — пойдут на восток, на юг или на север, — Маршалл промолчал, и Брук был потрясен, когда Маршалл сказал, что «о стратегии он еще даже не думал». Тем не менее Маршалл уехал в Вашингтон в полной уверенности, что британцы приняли его предложение совершить высадку в этом году. На самом деле Черчилль согласился только на то, чтобы обдумать его предложение[193].

Черчилль проделал с Маршаллом то, что Брук с британскими военачальниками регулярно проделывали с Черчиллем, предлагавшим план, который им категорически не нравился: выражали энтузиазм, а затем тщательнейшим образом изучали предложение. Исмей, заметив черчиллевский маневр, сказал военачальникам: «Наши американские друзья отправились домой, ошибочно считая, что мы согласились и на операцию «Раундап», и на «Кувалду»... Думаю, нам стоит сказать правду, всю правду, напомнив американцам об ужасах последней войны и о поражении в 1940 году, и объяснить Маршаллу, что вторжение может быть предпринято только в том случае, если у нас будет «железная уверенность» в успехе»[194].

Джордж Маршалл, как все солдаты, не доверял политикам. Но апрельская встреча с Черчиллем развеяла его недоверие; Маршалл считал, что нашел в Черчилле настоящего политика, человека, которому он может верить. В свою очередь Черчилль нашел в Маршалле человека, которого мог уважать, человека, который говорил правду, не задумываясь о политической цене вопроса. Черчилль испытал раскаяние, когда Маршалл спустя несколько недель после отъезда из Англии понял, что британцы не собираются высаживаться во Франции в 1942 году. Политик обманул солдата. Однако Черчилль заявил в мемуарах, что не собирался вводить Маршалла в заблуждение, а только хотел приободрить его и подтвердить готовность Британии открыть второй фронт. Но Маршалл, ожидавший услышать правду, поверил тому, что сказали британцы. В дальнейшем он докажет, что его не так просто обвести вокруг пальца[195].

17 апреля, в тот день, когда Маршалл с Гопкинсом покинули Лондон, операция «Гимнаст», вторжение во Французскую Северную Африку, о которой не вспоминали в течение двух месяцев, снова заявила о своем присутствии, как крот в аркадной игре. На сей раз курок спустило правительство Виши, которое на той неделе возглавил Пьер Лаваль, ненавидимый и Гитлером, и Рузвельтом, и Черчиллем. Но Лаваль был таким прогерманским французом, о каком фюрер мог только мечтать. Петен, старый и немощный, вернул Лаваля в правительство в качестве вице-премьера. Через несколько дней Лаваль показал, кто главный, когда начал сотрудничать с гестапо в поиске и отправке евреев на восток, тех евреев, которые сбежали из Центральной Европы во Францию — оккупированную и неоккупированную. Американская политика в отношении вишистского режима мгновенно изменилась. Американского посла при вишистском правительстве, адмирала Уильяма Лихи, отозвали; через несколько недель Рузвельт назначил Лихи начальником личного штаба[196].

Нейтральный, если не радушный прием французскими североафриканцами любого англо-американского вторжения всегда имел первостепенное значение для Рузвельта. На протяжении двух лет он не прислушивался к своим коллегам-либералам и продолжал иметь дела с Виши. Его намерения были понятны. Считая, что рано или поздно американские парни высадятся на Французской земле или на Французской колониальной земле, Рузвельт надеялся заполучить Виши в союзники, когда этот день наступит. Президент считал, что Французская Северная Африка может не подчиниться приказам Лаваля и что Петен, теперь номинальный глава правительства, может полететь в Алжир, чтобы объединить французов-патриотов. Непредсказуемой личностью был адмирал Жан Дарлан, который оставался в правительстве Виши командующим всеми французскими вооруженными силами. Он давно ненавидел англичан, и он возненавидел их еще больше после того, как Черчилль уничтожил его любимые корабли в Оране,

куда Дарлан отправил их, чтобы они не достались немцам. В Вашингтоне презирали Дарлана. Черчилль назвал Дарлана «морским жуликом», но даже после Орана Дарлан поклялся, что французский флот никогда не попадет в руки немцев, и эту клятву пока не нарушил. Тем не менее Черчилль считал: слово адмирала ничего не стоит, звучит несколько иронично, учитывая, что Черчилль напал на Дарлана в Оране. С военной точки зрения Дарлан, а не Лаваль, был загадкой, которую требовалось отгадать. Отправит адмирал свой флот сражаться с американцами и британцами, если они подойдут к побережью вишистской Северной Африки? С точки зрения Брука, в этом вопросе не было никакой ясности, это было политическое минное поле, от которого военные предпочитали держаться подальше. Начальник Генерального штаба считал, что от смены режима в Париже ничего не изменится с точки зрения появления новых возможностей в Северной Африке. И он был абсолютно прав. Черчилль планировал, если «Гимнаст» снова будет в игре, отправить Дики Маунтбеттена в Вашингтон, чтобы тот шепнул Рузвельту о достоинствах этого плана в надежде, что Рузвельт — несмотря на оппозицию в лице Маршалла и Кинга — вторично одобрит североафриканский план[197].

27 мая Черчилль телеграфировал Рузвельту: «Дики объяснит Вам сложности 1942 года... и обрисует планы высадки на севере Норвегии». Черчилль добавил, что он одобряет наступление на Роммеля и что южноафриканский премьер Ян Смэтс вместе с Окинлеком «выражают большую уверенность в результате». Он закончил словами: «Мы не должны позволить себе забыть о «Гимнасте». Это было не то, что хотел услышать Рузвельт. Маршалл — который изо всех сил старался собрать как можно больше кораблей для сосредоточения сил в Британии — отчетливо понял, что Черчилль с Бруком ввели его в заблуждение. А теперь Черчилль предлагал отвлекающий удар вместо согласованной высадки во Франции. В телеграмме Черчилль, по крайней мере, был честен; Маунтбеттен должен был объяснить Рузвельту «практические сложности», как их видел Черчилль, связанные с «Кувалдой»[198].

Выбор Дики был неслучаен. Он был проамериканцем и, как Рузвельт, обаятельным и знатного происхождения. Маунтбеттен был героем морских сражений, и Рузвельт, морской волк, с огромным уважением относился к героям морских сражений. Через неделю, к ужасу Маршалла и Кинга, Маунтбеттен почти убедил президента в опасности проведения «Кувалды» и в разумности сделанного Черчиллем выбора в пользу «Юпитера», вторжения в Северную Норвегию, которого Брук пытался избежать на протяжении нескольких недель. К тому моменту даже Черчилль стал неохотно признавать, что вторжение в Норвегию в 1942 году связано с большим риском. Но операция «Юпитер», по сути, была инструментом давления на переговорах, козырем, который можно было обменять на что-то более значительное,

вроде операции «Гимнаст». В начале июня Маунтбеттен почти убедил Рузвельта, чей выбор теперь был сведен на нет: «Гимнаст» или ничего. Маршалл с Кингом смотрели на ситуацию под другим углом: Тихий океан, в конце концов, тоже был театром боевых действий. Они требовали от Рузвельта действий в том направлении. Никакой хитрости в отношениях Черчилля с Рузвельтом не было, хотя Маршалл с Кингом думали иначе. Для проведения операции «Раундап» требовалось три вещи: достаточное количество солдат, достаточное количество десантных судов и искусственные гавани, в противном случае вторжение во Францию в 1942 или 1943 году могло закончиться катастрофой. Рузвельт это понимал. Его следовало только подтолкнуть в нужном направлении; Черчилль с Дики это сделали.

В апреле путь Гопкинса с Маршаллом домой проходил через Северную Атлантику, где пятьдесят девять американских грузовых судов, которые должны были отправиться в Мурманск, стояли на якоре в шотландских и исландских портах. Причин для этого было много — нехватка судов сопровождения, перегруженные порты, длительное ожидание конвоев — но на самом деле все объяснялось просто: подводные лодки адмирала Дёница выигрывали битву за Атлантику. С января было много сражений вблизи Восточного побережья Америки. У Дёница было порядка 250 лодок, 90 ежедневно патрулировали океан — более 50 в Атлантике, более 20 в Средиземном море и более дюжины охотились на конвои в Арктике. 12 января Дёниц — американские каботажные суда находились в пределах его видимости — начал операцию Paukenschlag («Удар в литавры») у Восточного побережья Америки. Командиры подводных лодок назвали несколько следующих месяцев «вторым счастливым периодом», ссылаясь на то, что шедшие с включенными ходовыми огнями американские корабли — необъяснимо — вдоль ярко освещенного Восточного побережья Соединенных Штатов были легкой добычей. Владельцы отелей по всему побережью от Нью-Джерси до Майами не выключали освещение в надежде привлечь туристов. Бессмысленная попытка! Отсутствие самолетов и поездов в любом случае не позволяло добраться туда.

Немецкие подводные лодки обнаружили свои цели, резко выделявшиеся на фоне ярко освещенной береговой линии. Такое положение дел американский военный историк Сэмюэл Элиот Морисон назвал «одной из самых предосудительных ошибок» местных властей и американских военных во время войны. Только в середине апреля приказали выключить освещение. Американский военно-морской флот, корабли береговой охраны и воздушные патрули приступили к работе, но американский флот, не усвоивший уроки, которые немцы преподали Королевскому военно-морскому флоту, никак не мог решить вопрос с прибрежными конвоями для защиты судов, следовавших из

Мексиканского залива в Новую Шотландию, куда приходили и откуда уходили атлантические конвои. Капитаны были обязаны поставить в известность Галифакса. Подводные лодки поджидали их на участке от Нового Орлеана до канадских приморских провинций. В январе только у канадского побережья было потеряно тридцать торговых судов и почти вдвое больше в феврале. Черчилль с Пёрл-Харбора объяснял подчиненным, что война будет выиграна только в том случае, если союзники не будут совершать ошибок. Американцы совершали ошибки; немецкие подводные лодки действовали «практически безнаказанно в американских водах», и Черчилль пришел к неутешительному выводу, что «мы фактически оказались перед угрозой затяжки войны на неопределенное время»[199].

На конференции в Арджентии американцы обещали увеличить годовой объем морских перевозок почти в семь раз, до 8 миллионов тонн. В течение семи месяцев жители от Лонг-Айленда до восточного побережья Флориды регулярно видели зарево от горящих в море нефтяных танкеров; Черчилль назвал это время «периодом ужасного истребления судов вдоль американского побережья». Военно-морской флот Соединенных Штатов был настолько не готов к подобным испытаниям, что Британия направила в помощь через Атлантику несколько эсминцев (из числа пятидесяти эсминцев, которые американцы прислали англичанам в обмен на базы). Только в середине апреля американский корабль сумел потопить немецкую подводную лодку. К маю количество горючего, которое доставлялось в Новую Англию из Мексиканского залива, резко сократилось до 10 процентов. Но если жителям Новой Англии было достаточно просто надеть еще один свитер, русским войскам требовалось оружие, обмундирование и транспорт. Черчилль пытался помочь. Сталин отчаянно нуждался в запасных частях для ремонта «Харрикейнов», присланных из Британии. Черчилль приказал Королевским ВВС демонтировать несколько «Харрикейнов» и отправить необходимые запасные части морем в Россию. Этот жест произвел впечатление на Гарримана, который отметил, что американские военно-воздушные силы никогда не пошли бы на такую жертву. Но Сталин нуждался не в жестах, а в поставках. Если немецкие подводные лодки будут уничтожать арктические конвои при отходе от побережья Америки, Красная армия начнет летнюю кампанию без второго фронта во Франции и без средств поддержания собственного фронта. В период с середины апреля до середины июня двадцать три из восьмидесяти четырех кораблей, покинувшие американские порты и направлявшиеся в Мурманск, были потоплены. Семнадцать укрылись в Шотландии. Сталин обвинил Британию в «краже» товаров, предназначавшихся для Красной армии»[200].

Далее ситуация ухудшилась. Когда в конце июня было потоплено двадцать два из тридцати четырех судов одного конвоя, Черчиллю

пришлось приостановить отправку арктических конвоев на два месяца. Это привело Сталина в бешенство, Черчилль попал в затруднительное положение, и еще больше распалило британских сторонников немедленного открытия второго фронта, на которых героические действия Красной армии произвели такое сильное впечатление, что один лондонский издатель использовал свои скромные запасы бумаги, чтобы напечатать роман Толстого «Война и мир», который был распродан за несколько дней[201].

Опустошение на море подчеркнуло важность «волшебной войны». Во втором полугодии 1942 года британские потери в торговых судах несколько уменьшились, благодаря усовершенствованным радарам, помощи, предоставляемой воздушными патрулями с баз, находившихся в Исландии и Гренландии, американскому присутствию в Атлантике и сокращению немецких воздушных нападений на каботажные суда после вторжения в Россию. Как бы то ни было, но общие потери в 1941 году составили более 4 миллионов тонн. Потери могли быть и больше, но 9 мая 1941 года англичанам удалось захватить немецкую подводную лодку U-110 и немецкую шифровальную машину «энигма» вместе с журналами кодов. Британский эсминец сопровождения «Бульдог» атаковал немецкую подводную лодку, и ее командир Фриц-Юлиус Лемп, поняв, что его лодка обречена, приказал покинуть судно. Но U-110 не затонула. Абордажная команда «Бульдог» осмотрела лодку и забрала все, что смогла унести, в том числе журнал кодов и шифровальную машину «энигма». Лодку взяли на буксир, но ее не удалось дотащить до базы, она затонула. Немцы считали, что команда подводной лодки утонула вместе с секретами. У британцев теперь была немецкая шифровальная машина «энигма», причем не копия, а оригинал. Только спустя семь месяцев Черчилль сообщил об этом Рузвельту. К началу 1942 года слишком участились «случайные» перехваты немецких подводных лодок — это объяснялось тем, что британцы взломали немецкий код, что, по мнению командования армии и люфтваффе, не представлялось возможным — и немецкие криптографы добавили еще один ротор в «энигму», увеличив количество возможных комбинаций кодов с миллионов до триллионов. Армия и люфтваффе сохраняли верность устаревшей трехроторной модели. Ошибочное решение, поскольку Алан Тьюринг и его помощники в Блетчли приступили к разработке вычислительной машины для взлома «энигмы» с высокой скоростью вычисления. В конце концов, в алфавите не так уж много букв[202].

Тем не менее благодаря четвертому ротору в «энигме» кригсмарине получил значительное преимущество в Атлантике. Помимо этого, немецкая служба радиоперехвата (Beobachtungsdienst) взломала код британского торгового флота, что позволило немцам слушать пере-

говоры союзнических конвоев, включая сообщения о местонахождении немецких подводных лодок. Точность британской информации вызывала сильное беспокойство Дёница, но преимущество было на его стороне. Он знал то, что знали британцы, но британцы не знали того, что знал он. Четвертый ротор в «энигме» привел к новым потерям торгового флота союзников. В период с января по июнь 1942 года немецкие подводные лодки отправили на дно 600 кораблей, 8 тысяч моряков и 3 миллиона тонн грузов, около трети общего тоннажа, потерянного с 1939 года. Общие потери (британцев, союзников и нейтралов) за первые три месяца 1942 года увеличились, написал в дневнике Александр Кадоган, с 420 тысяч тонн в январе до 835 тысяч тонн в марте. В трюмах 7000-тонного грузового судна, такого как американский «Либерти», перевозился груз, для которого потребовалась бы сотня грузовых железнодорожных вагонов. Таким образом, потеря одного судна была равносильна потере грузового поезда в милю длиной, а перевозимого им продовольствия, одежды и топлива хватило бы для того, чтобы в течение трех недель обеспечивать жизнь небольшого города или трех армейских дивизий. Хотя к 1945 году с американских верфей сошло 2700 кораблей серии «Либерти», в середине 1942 года немцы топили их намного быстрее, чем им удавалось построить[203].

Однако Гитлер, опасавшийся британского вторжения в Норвегию и нарушения поставок железной руды из Швеции, мало использовал свой подводный флот. Фюрер, позже написал Черчилль, «пожертвовал блестящими возможностями в Атлантике и сконцентрировал в норвежских водах все имевшиеся надводные корабли и много ценных подводных лодок», заявив, что Норвегия является зоной, в которой «решится судьба нынешней войны».

Он разместил еще четыре пехотные дивизии в Норвегии, теперь общее их количество достигло одиннадцати, то есть более 120 тысяч человек. Они сидели в ожидании англичан, которые так и не пришли. Хотя Черчилль использовал Северную Норвегию в качестве инструмента давления на переговорах, она шла первым пунктом в перечне черчиллевских целей, и Бруку об этом было хорошо известно. Но три британских военачальника, в отличие от немецких военачальников, занимавших аналогичные должности, сумели договориться и объединиться против последней сомнительной схемы своего лидера. Немцам следовало предпринять полномасштабное наступление в Атлантике, но Гитлер, не считаясь с Дёницем, отправил свои ресурсы не только в Норвегию, но и к Канарским островам, в надежде потопить флот вторжения, который так и не появился. Если бы он сосредоточил свои силы в Атлантике, потери союзников были бы куда более серьезными. Но и без этого Черчилль назвал атаки подводных лодок «худшим злом». Летом Россия отчаянно нуждалась в поставках, и это стало худшим злом для Сталина[204].

Несмотря на потери торговых судов, Черчилля радовал тот факт, что американцы добывали нефти в двадцать раз больше немцев. Америка обладала огромными нефтяными запасами. Война когда-нибудь могла свестись к тому, у кого было больше нефти. Были задействованы огромные объемы производственных мощностей, но только в качестве дополнения к способности Америки качать и поставлять нефть. Британские заводы остановили производство, если бы не американская нефть. Танки никуда бы не отправились без топлива. У Соединенных Штатов было достаточно возможностей, чтобы качать нефть, строить заводы, выпускать танки и самолеты. Но существовала проблема нехватки судов для доставки нефти, продовольствия и оружия в Великобританию и Россию. В мае, во время «второго счастливого периода», всего шесть немецких подводных лодок, действовавших в Мексиканском заливе, смогли потопить шестьдесят шесть кораблей, более половины — нефтяные танкеры. Союзники не могли позволить себе терять танкеры с такой скоростью и рассчитывали — и надеялись — помочь России. Корабли, как теперь считал Гопкинс, были важнее груза. Через несколько недель после событий в Мексиканском заливе немецкие подводные лодки потопили в течение семи дней 400 тысяч тонн — скорость, сказал Черчилль Рузвельту, «беспрецедентная в этой войне и прошлой войне, которая, если сохранится, превзойдет все существующие планы по возмещению потерь»[205].

Если союзники смогут решить проблему с подводными лодками, проблема с топливом решится сама собой. Но у Гитлера проблема с топливом не могла решиться сама собой. Для наступления ему требовалось больше топлива и больше продовольствия.

Нефтяные месторождения Плоешти — Черчилль называл румынскую нефть основой немецкой мощи, — расположенные к северу от Бухареста, приносили Германии примерно 60 процентов от общего импорта сырой нефти, достаточно для поддержания немецкой экономики в мирное время, но недостаточно для вермахта. Поскольку количество топлива, которое потребляли механизированные войска Германии, превышало ее скромные возможности по его производству, решение топливной проблемы Гитлера лежало на востоке, на Кавказе или даже на Ближнем Востоке. Каждый из почти 4 тысяч танков вермахта на советской территории потреблял невероятное количество топлива, даже если стоял без движения, — больше 22 тонн за восемь недель. Только гитлеровским танкам требовалось несколько сотен тысяч тонн горючего, чтобы добраться до Кавказа и захватить его. На огромных просторах Украины не было заправочных станций, таких как в Бельгии, где немецкие танкисты могли заправить машины. Но не только танкам требовалось горючее; его требовалось в тысячу раз больше гитлеровским механизированным подразделениям, в состав которых входило более 600 тысяч транспортных средств[206].

По приказу Гитлера самолеты люфтваффе были сконструированы таким образом, чтобы летать на синтетическом топливе, которое производилось из угля на двух больших заводах в Лейпциге и Щецине. Но у Гитлера не хватало мощностей для производства топлива в таком количестве, чтобы обеспечить наступление армии. Нефтяные месторождения в Баку — если он их захватит — обеспечат необходимую мобильность, но только через два года, когда будут построены новые автобаны и железные дороги, которые свяжут Кавказ с Великой Германией. Нефтяные месторождения в Северном Ираке, вблизи Мосула, предоставляли те же возможности, что и месторождения в Румынии или на Кавказе, но после неудавшегося переворота Рашида в 1941 году Гитлер отбросил мысли о Мосуле. Более того, в августе 1941 года британцы закрыли дверь в Иран, когда британские и индийские силы вторглись в Иран из Басры, в то время как советские войска хлынули с севера. Эта война, если ее можно так назвать, длилась всего шесть дней, на день дольше, чем отборочные матчи по крикету. Британцы потеряли 22 человека убитыми. Когда шах Реза покинул страну, Черчилль посадил его двадцатидвухлетнего сына, Мохаммеда Реза Пехлеви, на Павлиний трон*.

Но в начале 1942 года, когда британских и советских войск там почти не осталось, двери Ирака и Ирана никто не охранял. Если Гитлер прорвется через Баку с севера или через Суэц с юга, он легко может завладеть нефтяными месторождениями Ближнего Востока. Но Гитлер это не планировал, по веским, как ему казалось, причинам. Чтобы добраться до Ирака и Ирана с севера, ему придется пройти через Баку, то есть взять Баку. Но если он возьмет Баку, его топливная проблема будет решена и отпадет необходимость двигаться дальше. Однако в феврале, когда Роммель направлялся к Каиру, а японцы — к Индийскому океану, адмирал Редер убедил Гитлера в реальной стратегической значимости Ближнего Востока, не потому, что он являлся потенциальным источником топлива для Германии, а потому, что он был необходим Британии: оттуда британцы брали нефть, и здесь они были наиболее уязвимы. Редер в записке Гитлеру точно угадал опасения Черчилля и Брука: «Суэц и Басра — это западные столбы британских позиций на Востоке. Если они падут под давлением оси, последствия для Британской империи будут катастрофическими»[207].

Редер с Роммелем давно предлагали план «Юг», согласно которому Германия и Япония должны были встретиться в Басре или Тегеране. Британия зависела от персидской** нефти, необходимой для ведения

* Павлиний трон — золотой трон Великих Моголов, вывезенный из Индии персидским Надир-шахом в 1739 году и с тех пор ставший символом персидской монархии.

** В 1935 году Персия была переименована в Иран. Чтобы избежать возможной путаницы в официальной переписке, Черчилль приказал использовать в военное время название Персия, а не Иран во всех документах, имевших отношение к Ирану. (*Примеч. авт.*)

войны, и персидских железных дорог для осуществления поставок в Россию.

Если страны оси захватят Персию, Британия потеряет свой основной источник нефти. В начале года Черчилль сказал Исмею: «Недостаток топлива, который уже ощущается в Германии и в завоеванных ею странах, заставит Германию захватить бакинские и персидские нефтяные месторождения, необходимое условие для успешного вторжения на Британские острова». Брук, разделяя мнение Черчилля, написал в дневнике: «Все [британские] силы на море, на суше и на Ближнем Востоке полностью зависят от абаданской нефти... Если мы потеряем персидскую нефть, мы неизбежно потеряем Египет». Потеря Египта означала потерю империи и поражение в войне[208].

В начале 1942 года Гитлер наконец признал этот факт и, изменив свое мнение, одобрил южный план Редера, включая ту часть плана, которая подразумевала обеспечение безопасности средиземноморского фланга посредством захвата или уничтожения Мальты. Таким образом, в марте и апреле немцы сбросили в два раза больше бомб на Мальту, чем они сбросили на Лондон во время лондонского блица 1940 года. Но бомбы — это только часть тех испытаний, которые выпали на долю мальтийцев. Лондон не мог снабжать остров продовольствием, и возникла реальная угроза голода. «Кроме всего прочего, была еще и Мальта, — позже написал Исмей. — Потерять ее было бы так же болезненно, как потерять кусочек самой Англии»[209].

Если Мальта падет, Роммель сможет пополнять запасы, когда захочет, и, нанеся удар по Каиру, направится в Ирак. Но пока Роммель не добрался до Басры, Гитлер мог рассчитывать только на русскую нефть. Сталину придется сражаться за свою нефть в одиночку. Черчилль не имел возможности повлиять на это. Но он придумал способ лишить Гитлера нефти: Сталина можно убедить (если победа будет не на его стороне) уничтожить свои нефтяные скважины. В Берлине ходили слухи, что британские коммандос уже находятся в Баку и только ждут приказа, чтобы взорвать русские нефтяные скважины. Потрясенный этим сообщением Геббельс написал в дневнике: «Как это похоже на них! Они [англичане] уже зарекомендовали себя во всем мире как разрушители чужой собственности». Черчилль вскоре отказался от этой идеи, но не потому, что Сталина мог оскорбить этот план, а потому, что они с Рузвельтом испытывали нехватку кораблей для восполнения дефицита поставок нефти. В любом случае Сталин не собирался избавляться от своих нефтяных месторождений. Диктатор вызвал Николая Константиновича Байбакова, заместителя народного комиссара нефтяной промышленности СССР. Приставив к виску Байбакова указательный палец с оттопыренным большим пальцем, Сталин сказал: «Если не сможешь уберечь нашу нефть от немцев, тебя расстреляют. И когда мы выгоним захватчика, если мы не сможем восстановить производство, мы опять тебя расстреляем»[210].

Сталин понимал, что единственная надежда России на спасение в истощенности немецких солдат, техники и топливных запасов. Стратегическое видение Черчилля тоже основывалось на истощении. Он собирался внести свою лепту в создание стального кольца вокруг рейха, которое будет постепенно сжиматься, пока внутри не останется ничего, кроме разбомбленной гитлеровской канцелярии, — предпочтительно, чтобы внутри был мертвый фюрер. Германия, уязвимая для морской блокады, поскольку ее флот слишком малочисленный, чтобы прорваться в дальние моря для обеспечения необходимыми ресурсами, должна расширить территории, чтобы поддержать себя, и этот процесс, если Россия будет оказывать сопротивление, через какое-то время приведет к уничтожению Германии. Черчилль изложил свою точку зрения в записке начальникам штабов, в которой рассмотрел потери Королевских военно-воздушных сил, но его слова в равной мере относились к танкам, артиллерии и солдатам (особенно русским): «Как генерал Грант во время последней кампании, мы можем позволить себе отдать два за один, учитывая огромные поставки в будущем». Черчиллю было 13 лет, когда он прочел воспоминания Улисса Гранта о гражданской войне, и в течение пятидесяти лет мысль о том, что врага можно взять измором, как это сделал Грант, не оставляла Черчилля. Но Грант провел свою последнюю кампанию в Питерсберге, а у Черчилля с Рузвельтом это была первая совместная кампания. Вопрос, который мучил Черчилля на протяжении всего 1942 года: сможет ли американская индустрия максимально увеличить объемы производства, прежде чем немецкие армии вступят на Кавказ?[211].

Но если Исмей, Дилл и многие американские планировщики окажутся правы в своих прогнозах относительно победы Германии над Советским Союзом, то у Гитлера проблемы с топливом и продовольствием разрешатся сами собой. Потеря бакинской нефти нанесет серьезный вред русской промышленности и сельскому хозяйству; дальнейшее сопротивление будет бессмысленным. За этим последует голод. И тогда Гитлер-победитель двинется на запад, в Англию.

Черчилль как-то сказал Колвиллу, что май его самый нелюбимый месяц. Но по крайней мере, стояла погода, подходящая для сражений, особенно на Европейском континенте, где в 1942 году можно было предпринимать наступательные действия только двумя способами: рейды «ударил-убежал» и бомбардировки Королевских ВВС. Каждый раз, когда Черчилль вызывал Брука поздно ночью, начальник штаба предполагал, что старик придумал еще одну сомнительную стратегию, невыполнимую и слишком дорогостоящую. Как правило, это происходило в выходные, когда Черчилль был в Чекерсе, вспоминал сэр Йен Джейкоб; компания, которая собиралась у Черчилля в Чекерсе, всегда вызывала у штабных офицеров «тревожные предчувствия», особенно

если присутствовал Дики Маунтбеттен с очередными планами. В штабе эти обсуждения называли «полуночным безумием». В такие дни Черчилль разбрасывал идеи как огромный дуб желуди, некоторым из которых было суждено прорасти, но большинству — погибнуть. Вторжение в Норвегию — операция «Юпитер» — вызывало неизменный интерес Черчилля по той простой причине, объяснил Черчилль Бруку, что «Гитлер развернул карту Европу, начав с Норвегии, и он [Черчилль] начнет сворачивать ее с Норвегии». Арчи Уэйвелл, жертва черчиллевских стратегических осечек в Северной Африке, считал, что «Уинстон всегда ожидал, что из пустой шляпы появится кролик». Теперь Черчилль смотрел на Мадагаскар. Если японцам удастся им завладеть, это будет означать потерю всего Индийского океана. К тому же Мадагаскар был французской колонией, всецело преданной Виши, особенно после того, как Черчилль разбомбил французский флот в Оране в июле 1940 года. Хорошая возможность остановить японцев (японцы вроде не планировали туда идти) и отобрать часть французских колоний Виши[212].

Так британцы и сделали. 5 мая в Диего-Суаресе, на северной оконечности Мадагаскара, высадилась 5-я группа коммандос. Рейд явился полной неожиданностью. Однако войска Виши на острове, вдохновленные словами адмирала Дарлана, который призвал никогда не забывать об Оране, развязали партизанскую войну и сражались с британцами на протяжении нескольких месяцев. Оглушительный успех рейдов в Сен-Назере и на Мадагаскаре ободрил Черчилля с Маунтбеттеном, который, будучи руководителем объединенных операций, строил планы довольно далеко от пристального взора военачальников, но достаточно близко от Черчилля, возбуждая его желание действовать[213].

К маю русские уже шесть месяцев находились под беспощадным артиллерийским обстрелом немецкой армии. У Красной армии было преимущество: короткие пути снабжения, по которым катились новые танки Т-34, огромные стальные чудовища с 76-миллиметровыми пушками и, самое главное, с наклонной броней. В мире не было танков такой конструкции. Защищенность танка вдвое увеличилась за счет наклонной брони; снаряды противотанковых орудий отскакивали от брони Т-34 словно горох. Русские остались в игре не только благодаря Т-34, но и новобранцам, шагавшим по заснеженным дорогам, и казалось, им нет числа. Еще осенью немцы поняли, что, когда Красная армия лишалась дивизии, даже армии, почти сразу появлялась новая. В конце февраля, когда в Европе властвовала зима, Гитлер сказал Геббельсу, что «снег вызывает у него физическое отвращение». В марте Геббельс написал в дневнике: «Закончится когда-нибудь зима? Неужели наступил новый ледниковый период?» Теперь Гитлер понял, что истощенность немецких войск — «катастрофа», которая в свое время погубила Наполеона. Под напором реальности Геббельс был

вынужден обратиться к немецким гражданам с призывом пожертвовать солдатам теплую одежду[214].

Фюрер ждал прихода весны, надеясь, что с капелью вольется новая кровь. Объявив войну Америке, он сказал: «В начале зимы мы только начнем наступление; к лету нас уже будет не остановить». Типичное гитлеровское хвастовство, но в Москве, Лондоне и Вашингтоне к нему отнеслись серьезно. К концу весны 1942 года Рузвельт, Маршалл, Исмей и Дуайт Эйзенхауэр считали, что осенью Россия либо потерпит поражение, либо потребует мир, как это сделало новое советское правительство в начале 1918 года. Брук с Черчиллем думали иначе, и на то у них была веская причина: после кровавой резни, длившейся почти год, когда около миллиона солдат с обеих сторон было убито и ранено, ни Гитлер, ни Сталин не захотят прекращать борьбу, рискуя потерять уважение в глазах собственного народа и исчезнуть с политической арены не без помощи разочарованных пособников. Нет, дело будет доведено до конца, или Москвой, или Берлином[215].

Весна не принесла облегчения жителям России, на долю которых выпало больше страданий, чем всем остальным, особенно ленинградцам, находившимся в блокаде с конца августа и испытывавшим нехватку угля и продовольствия; к началу мая погибло более 200 тысяч человек. Гитлер приказал уничтожить город и убить 9 миллионов жителей, включая 6 миллионов беженцев, которые надеялись укрыться в Ленинграде. Вермахт получил приказ не принимать капитуляцию города, даже если ее будут предлагать. Композитору Дмитрию Шостаковичу удалось бежать вместе с семьей и чемоданом, в котором были ноты почти законченной Седьмой симфонии, Ленинградской. Он был одним из немногих, кому это удалось.

Город находился в окружении немецких армий и трех финских корпусов; единственной связью города с Большой землей была Дорога жизни, проходившая по льду Ладожского озера, спасавшая жителей блокадного города от голодной смерти. Но, несмотря на это, каждый день от голода умирало более 2 тысяч человек. Так продолжалось в течение девяти месяцев, пока советским войскам не удалось отвоевать узкий коридор. Серьезные повреждения получили системы водоснабжения и канализации. В городе бушевали эпидемии. Тяжелая немецкая артиллерия и авиация бомбили город днем и ночью. Ко времени окончательного снятия блокады в январе 1944 года в общих могилах было похоронено более миллиона жителей, больше, чем за всю войну погибло гражданских и военных лиц Великобритании и Америки, вместе взятых. Даже доктор Геббельс не мог без содрогания слушать истории о кровавой бойне и каннибализме; в дневнике он признался, что отчет русского перебежчика, в котором сообщалось, что «большая часть населения питается так называемым студнем из человеческого мяса... настолько отвратительно, что во время чтения

начались желудочные спазмы». В ту ужасную зиму 1942 года сотни тысяч русских людей, от Ленинграда до Черного моря, страдали от голода. Даже если бы больше ни один русский не умер из-за гитлеровских планов на Востоке — а погибнет почти 20 миллионов, — Ленинград весной 1942 года станет для Иосифа Сталина необходимым оправданием, чтобы уничтожить и сжечь Германию, вернув ее в далекое прошлое охотников-собирателей[216].

Но у него не хватало для этого средств. Черчилль смог пообещать только три конвоя по двадцать пять или тридцать пять кораблей раз в два месяца. И даже это обещание вскоре окажется невыполнимым. Полярный день становился все длиннее, более двадцати часов, и немецкие воздушные и морские силы, базировавшиеся в Норвегии, просто ждали, пока в поле зрения попадет более крупный объект. В результате, написал Брук в дневнике, танки и снаряжение, в которых Британия отчаянно нуждалась в Северной Африке, отправлялись на дно Северного Ледовитого океана. Рассерженный Сталин снова и снова требовал, чтобы Черчилль с Рузвельтом сдержали обещание оттянуть немецкие войска с русского фронта за счет вторжения во Францию. Но у Черчилля с Рузвельтом было недостаточно кораблей даже для переброски американских солдат в Британию. Каждый корабль, уходивший в Россию, уменьшал количество кораблей, необходимых для операции «Болеро», сосредоточения американских сил в Британии для подготовки рывка через Ла-Манш. Каждый корабль, отплывавший из Америки в Британию, уменьшал количество кораблей для перевозки людей и танков в Каир, необходимых Черчиллю для создания резервов против Роммеля и, в случае необходимости, для обеспечения поставок на Ближний Восток и в Индию. Когда-нибудь последние сражения войны в Европе произойдут на суше. Однако, как Черчилль объяснил Молотову, война будет выиграна или проиграна на море. «Все, — сказал Черчилль Рузвельту, — зависит от флота»[217].

В прошлом году гитлеровские генералы советовали фюреру не вести войну на два фронта, что являлось кошмаром для всех прусских стратегов. Но пока все его рискованные мероприятия заканчивались благополучно. На самом деле он вел войну на одном фронте, Восточном. Он не спускал глаз с Норвегии, Северной Африки, Атлантики, Средиземного моря и упрямого острова Мальта. Но на востоке у него не было врага за спиной. В декабре он столкнулся с двумя врагами на своем фронте — зимой, разрушительницей армий, и Красной армией. Но этим врагам не удалось к маю уничтожить вермахт. Распутица в начале весны, сезон дождливой погоды, сдерживала наступление армии столь же эффективно, как холодная зима, хотя на север с Черного моря уже начала распространяться теплая и сухая погода. В начале мая немецкая линия фронта на севере России проходила у

Ленинграда; болота еще были покрыты льдом, и продолжал идти снег. В центральной части России линия фронта шла на восток от Смоленска, охватывая Ржевско-Вяземский выступ. Дороги там развезло, но через месяц они высохли. Согласно Директиве фюрера № 41 от 5 апреля, «необходимо, не предпринимая активных действий на центральном участке фронта, добиться на севере падения Ленинграда». Украинский фронт проходил восточнее Орла, Курска и Харькова — где образовался выступ — к Азовскому морю. В этом секторе генерал Федор фон Бок командовал гитлеровской группой армий «Юг», состоявшей из шести немецких армий, три из которых были танковыми, и двух вспомогательных. Через несколько недель эта группа армий — слишком громоздкое соединение — была разделена на две группы армий, «А» и «Б», перед каждой из которых была поставлена своя задача. На Украине уже была весна, «неистовая русская весна», по образному выражению Игоря Стравинского, которая «выглядит так, словно вдруг взорвалась вся земля». Зазеленели березовые рощи и дубравы, и из сырой земли начали выглядывать грибы. Украинские реки вздулись от тающего зимнего снега и весенних дождей[218].

На юге, у Черного моря, три немецкие армии под командованием Эриха фон Манштейна контролировали большую часть Крыма. Ostheer (германская армия на Востоке) пока не удалось захватить Ростов, Керченский полуостров и Севастополь. Это собирался сделать Манштейн. Но главное наступление планировалось в украинском секторе, где группа армий «Юг» (включая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю танковую армию) должна была прорваться на восток к Донецкому бассейну и Воронежу, расположенному на берегу Дона (Бок получил приказ обойти Воронеж). Затем 4-я танковая армия должна была двинуться на юг, оставив Дон с левого фланга, дойти до его излучины, в 60 милях от Сталинграда и Волги — последней естественной преграды Сталина. В директиве говорилось: «В любом случае следует попытаться достигнуть самого Сталинграда или же, по меньшей мере, подвергнуть его воздействию нашего оружия в такой степени, чтобы он перестал служить военно-промышленным и транспортным центром». Конечная цель группы армий «Юг», после уничтожения Сталинграда, наступление на юг между Волгой и Доном в направлении Северного Кавказа. Части немецких сил, сосредоточенных в районе Черного моря, было приказано двигаться строго на юг, взять Ростов-на-Дону и продолжить наступление к нефтяным месторождениям Баку. Жизненно важно для успешного проведения операции, чтобы после форсирования Дона эти огромные армии наступали на Кавказ плечом к плечу, Волга с одного фланга, Черное море — с другого, на фронте шириной 800 миль. Как только будет взят Кавказ, война на Востоке закончится. В результате, сказал Гитлер Геббельсу, Россия «будет для нас тем, чем Индия для Британии»[219].

Гитлер назвал свою наступательную операцию «Блау». Сталин, как годом ранее, получил надежную разведывательную информацию относительно гитлеровских планов и, как годом ранее, не обратил на нее внимание. Он считал, что любые действия в украинском секторе являются отвлекающими ударами, основное наступление немцы планируют на Москву. Как годом ранее, события показали, что Сталин ошибался. Подготовка к операции «Блау» началась в Крыму 8 мая, когда немцы перешли в наступление на Керченском полуострове. Все закончилось через неделю. Немцы взяли в плен 170 тысяч русских солдат, которые, выполняя приказ Сталина, стояли насмерть. Но немцам не удалось захватить Севастополь. Затем, 12 мая, Красная армия перешла в наступление с Барвенковского выступа в направлении Харькова — почти 650 тысяч солдат, тысяча самолетов, 13 тысяч орудий и 1200 танков. Автором контратаки, получившей одобрение Сталина, был командующий Семен Тимошенко и первый секретарь ЦК Украины Никита Хрущев. В течение трех дней советские войска гнали немцев на запад и оголили свои фланги. Хотя гитлеровские генералы призывали к фронтальной обороне Харькова, фюрер назвал советское наступление «незначительным» и отказался вносить изменения в генеральный план. Вскоре выяснилось, что он был прав, когда армии Паулюса и Эрвина фон Клейста зашли с флангов и через неделю окружили советскую армию. У Сталина не было резервов, которые бы он мог перебросить на этот участок фронта. 22 мая стало ясно, что советские войска потерпели полное поражение; почти 240 тысяч советских солдат попали в плен, русские потеряли большую часть орудий и все танки. Хрущев, которого Сталин вызвал в Москву, чтобы тот объяснил, почему все пошло не так, решил, что его расстреляют. Хрущев остался жив, но не потому, что Сталин проявил милосердие, — ему было чуждо милосердие, — а потому, что Сталин верил в мотивирующую силу страха[220].

В Харьковском и Керченском сражениях Сталин потерял более 410 тысяч человек убитыми и взятыми в плен, до начала операции «Блау». Учитывая, что очень немногим красноармейцам удастся выжить в немецких лагерях смерти, русские потери в мае в два раза превысили общие потери армий в Гражданской войне в Америке и составили половину потерь Британии и доминионов за четыре года Первой мировой войны. Гитлер, тщательно изучавший Клаузевица, придерживался его авторитетного мнения, что сначала следует уничтожить вражескую армию, а уже потом захватывать города. К концу мая для немцев были открыты все дороги на восток и на юг[221].

Несколькими месяцами ранее Черчилль высказал мрачное предположение, которое король Георг записал в дневнике: «Если к весне с Россией будет покончено и Германия возобновит здесь блицкриг, всем нашим надеждам на победу и помощь Соединенных Штатов будет не

суждено сбыться, если только Америка к тому времени не пришлет нам сотни самолетов и т. п. ...» Король, скорее всего, перепутал блицкриг с блицем, но не в этом дело; Гитлер перейдет в наступление на Британию, когда Сталин будет вне игры, а Америка в нее еще не вступит[222].

31 мая Рузвельт телеграфировал Черчиллю: «Мне кажется, что русские находятся в крайне затруднительном положении и оно может ухудшиться в последующие несколько недель»[223].

Пессимизм Рузвельта был частично обусловлен двухдневными переговорами с советским министром иностранных дел Молотовым, который прибыл в Вашингтон из Лондона 29 мая с требованием немедленно открыть второй Европейский фронт и увеличить поставки по ленд-лизу, в противном случае Россия окажется в ужасном положение, и это еще мягко сказано. Что касается второй просьбы (поставки), то Рузвельт объяснил, что каждый корабль, который уходит в Россию, сокращает список кораблей, необходимых для переброски солдат в Британию для осуществления операции по высадке во Франции. Чтобы успокоить Молотова, Рузвельт согласился сделать официальное заявление (текст продиктовал Молотов) после возвращения Молотова в Москву: «В ходе переговоров была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». В этом вопросе Рузвельт проявил политическую дальновидность, поскольку знал, что Черчилль считает открытие фронта в 1942 году стратегически невозможным. Президент перебросил мяч на половину поля Черчилля. Как позже написал Гарриман, Рузвельт считал, что Советскому Союзу второй фронт требуется только для того, чтобы поднять боевой дух своих солдат, только и всего. Поднять советский боевой дух — это единственное, что мог позволить себе Рузвельт, поскольку, как он сказал Молотову, немецкие подводные лодки мешают осуществлять поставки в Советский Союз. Гарриман понимал, что заявление Рузвельта «обеспечит занятость целого поколения... историков, которые будут воспевать его достоинства в бесчисленных книгах и журналах». Однако масштаб этого события следует рассматривать в контексте времени, а в то время заявление Рузвельта помогло сохранить союз, несмотря на то что все это напоминало «потемкинскую деревню»[224].

Молотов провел неделю в Лондоне перед поездкой в Вашингтон. Там они с Иденом обсудили мирный договор об оказании взаимопомощи во время войны и в течение двадцатилетнего послевоенного периода и достигли договоренности относительно того, что вопрос о границах будет обсуждаться после победного окончания войны. Черчилль был готов изменить свою давнюю позицию по этому вопросу и удовлетворить требования Сталина относительно довоенных границ и стран Балтии. Позже Черчилль написал: «Мое мнение относительно

стран Балтии не изменилось, но я чувствовал, что больше не смогу настаивать на нем». Корделл Халл был категорически не согласен и в телеграмме Уайнанту, которую одобрил Рузвельт, угрожал разорвать все отношения, если Британия удовлетворит требования Сталина. Для Халла на кону были положения Атлантической хартии. Кроме того, он настаивал на том, что все пограничные вопросы должна решать после войны новая всемирная организация (он яростно отстаивал необходимость создания такой организации). Союз был на грани развала. И Рузвельт сказал британцам, что устное обещание второго фронта «должно снизить дипломатическое давление на Англию» в отношении послевоенных границ. Иден внес предложение, и, к его удивлению и облегчению, Молотов согласился. Это были мастерски проведенные переговоры: русские и американцы остались довольны, и союз продолжил свое существование[225].

После обещания, данного Рузвельтом, Молотов вернулся в Лондон для официального подписания соглашения о взаимопомощи. Он вернулся с новым требованием: британцы должны в письменном виде гарантировать открытие второго фронта. Черчилль попытался объяснить Молотову, что Британия в Восточной Европе и Северной Африке сдерживает почти половину истребителей и треть бомбардировщиков люфтваффе. Тридцать три дивизии оси бездействуют в Восточной Европе, и более одиннадцати, включая две танковые дивизии, сражаются в Северной Африке. То, что Британия и Америка не открывают второй фронт в том виде, о котором говорит Сталин, не означает, что они не стараются оттянуть гитлеровские войска. Союзники, может, и не убивают много немцев на западе, рассуждал Черчилль, но эти немцы не убивают русских. Молотов вежливо выслушал его, но все равно потребовал гарантий. И, чтобы удовлетворить и американцев и русских, Черчилль составил коммюнике, которое Молотов мог отвезти в Москву. Оно повторяло обещание Рузвельта, констатируя, что «была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». Молотов, получив эти обещания, решил, что американцы и британцы дали ему то, что он хотел от них получить. На самом деле они не дали ему ничего. Понимание необходимости второго фронта и действия в этом направлении — совершенно разные вещи. Черчилль, чтобы уточнить (не вполне искреннее) обещание, написал памятную записку Сталину, в которой подтвердил свою уверенность в необходимости второго фронта: «Мы готовимся к высадке на континент в августе или сентябре 1942 года». Далее Черчилль пояснил, что пока это предварительное решение, без каких-либо гарантий: «Одним словом, мы ничего не можем обещать по этому вопросу». Молотов уехал из Лондона в Москву 10 июня, передал письмо и изложил соображения Черчилля Сталину, который не согласился ни с одним из черчиллевских объяснений[226].

Молотов с сопровождающими лицами остановился в Чекерсе, где Молотова и двух его помощников охраняли два здоровых русских охранника и обслуживали две (тоже здоровые) русские горничные. Охранники проверяли спальни на наличие прослушивающих устройств — «адских машин» — как называл их Черчилль. Один револьвер лежал на прикрованном столике Молотова, второй — под подушкой дипломата. Горничные молча сидели на стульях за дверью своих хозяев днем и ночью. Все это показалось Черчиллю весьма необычным. Он, со своей стороны, тоже постарался сделать для русских незабываемым этот визит. Они наблюдали его на отдыхе, если это можно было назвать отдыхом. В Чекерсе у него была возможность расслабиться, и сделать это в компании, которую выбирал он сам (русские были исключением из этого правила)[227].

Дневниковые записи и письма посетителей Чекерса проливают свет на то, как вел себя Черчилль: никто не был таким напряженным на отдыхе, как Черчилль. Чем тяжелее оказывалась прошедшая неделя, тем явственнее обнаруживалась потребность в выходном в духе «Алисы в Стране чудес», как это называл Брук. Вот это и вызывало те самые «тревожные предчувствия», о которых говорил Йен. Позже Брук написал, что у него не осталось «счастливых воспоминаний» об этих долгих выходных, когда каждый вечер «растягивался до утра». Старик расслаблялся с неистовой энергией, и всегда доля юмора и хорошего настроения была обратно пропорциональна тому, что можно было ожидать от человека, который только что пережил тяжелую неделю, а большинство недель с мая 1940 года приносили ужасные новости[228].

Неделя, когда Молотов нанес первый визит, не была исключением. Когда Иден с русскими обсуждал подробности соглашения, Эрвин Роммель выгнал британскую 8-ю армию. 26 мая Роммель совершил отвлекающий маневр: пока штурмовые подразделения имитировали фронтальный штурм Эль-Газали, Роммель совершил марш-бросок на юг вдоль британских минных полей и вышел в районе Бир-Хакейма. Ричи не был готов к бою. Хуже того, хотя он превосходил Роммеля в танках, 700 к 560, он не сосредоточил их в одном месте, чтобы нанести удар по роммелевскому головному отряду. Роммель, как обычно, сосредоточил свои танки. Он собирался за день прорвать линии Ричи, но столкнулся с генералом Уильямом (Штурмовиком) Готтом и его 13-м корпусом и бригадой Свободной Франции. Готт и французы дали Роммелю отпор, который еще никто не давал ему в Северной Африке. Лису Пустыни потребовалось десять дней, чтобы расправиться с воинственными французами, которые после этого стали называть себя боевыми французами. Но к тому моменту Ричи утратил контроль над битвой[229].

И вновь ветер пустыни повернул против Черчилля, который, судя по дневниковым записям его коллег, был крайне возбужден, узнав об

очередном поражении. Долгие разговоры были тем способом, вспоминал Джон Мартин, с помощью которого Черчилль «очищал свою голову». Он говорил за столом, он говорил на ходу. Его сотрудники пришли в восторг, когда он настоял, чтобы в Чекерсе установили кинопроектор: «Мы думали, если он посмотрит вечером хороший фильм, то потом отправится спать, — вспоминал Джон Мартин. — Ничего подобного; он не собирался ложиться спать после просмотра фильма»[230].

В выходные он проявлял удивительную способность одновременно работать, расслабляться и буйствовать. Как-то вечером за ужином он сообщил гостям, что надеется, победа положит «конец кровопролитию», и продолжил: «Должен признаться, мне хотелось бы увидеть, как Муссолини, этого любителя рассуждать о величии Древнего Рима, задушат, как Верцингеторига* по древнему римскому обычаю».

Гитлера он сослал бы на какой-нибудь далекий остров, «хотя не стал бы осквернять остров Святой Елены». Вскоре Черчилль ужесточил позицию относительно судьбы Гитлера, заявив кабинету министров, что «этот человек — главная движущая сила зла. Его следует посадить на электрический стул, который, вне всякого сомнения, можно получить по ленд-лизу». Он любил пересыпать разговоры за столом и выступления словами, которые были в ходу у московских пропагандистов, подвергавших нападкам буржуазный Запад (до создания альянса), такими как «гиена», «лакей», «простофиля», «низкопоклонник», «приспешник». Увидев подобные слова в «Правде», англичане представляли беснующихся «красных», но Черчиллю они подходили. Его зачастую абсурдные замечания можно было неверно истолковать как смешные мечты веселого старика. Но это было не так. Гопкинс был прав больше, чем предполагал, когда язвительно заметил, что Черчилль, скорее всего, читал только Старый Завет[231].

Вместе с Молотовым в Британию пришла весна — подходящее время для вторжения. Британцам запретили ездить на южное побережье, как в два прошедших года. Ходили слухи, что союзники собирают армию на побережье и готовятся перепрыгнуть через Ла-Манш. Союзники ничего подобного не делали. На самом деле Черчилль сказал Молотову, что Англия готова отразить гитлеровское вторжение и продолжать борьбу, если Красная армия будет разбита и Москва капитулирует. Это был его ответ на вопрос Молотова: какую позицию займет Англия в случае разгрома Красной армии. С помощью «хороших карт» Черчилль попытался объяснить, что мы предпринимаем, а также пределы и характерные особенности военных возможностей островной

* Верцингеторига — вождь кельтского племени арвернов в Галлии. Во время Галльской войны Верцингеториг возглавил восстание галльских племен против Цезаря в 52 году до н. э. Восстание было подавлено. Верцингеториг был доставлен в Рим, где провел пять лет в заключении, а после участия в триумфальной процессии в 46 году до н. э. был задушен.

державы. Черчиллю стало понятно, что Сталин с Молотовым не понимают, что союзники не смогут выиграть на суше, если не победят немцев на море. Он сказал Молотову, что уверен в победе союзников, но если Красная армия будет разбита, Гитлер нападет на Великобританию[232].

Он ожидал, что в этом случае десятки тысяч человек встанут на защиту страны. «Лучше, — сказал он Колвиллу в июле прошлого года, — утопить этот остров в крови, чем капитулировать». То же самое в отношении русских сказал своим запуганным подчиненным Сталин, когда в выходные отдыхал на даче. Русские беспрекословно подчинялись его приказу «стоять насмерть!», поскольку в это время в его стране продолжалась кровавая бойня. В Бергхофе, гитлеровской резиденции в Берхтесгадене, во время выходных не поднималась тема защиты родины. Фюрер с ближайшими помощниками пили чай с булочками. Гитлер рассуждал о Римской империи, евреях и христианстве (и как его «лживость и лицемерие» подорвали развитие нордической расы). Вечерами фюрер совершал прогулки по горным тропам, высказывая мнение по различным вопросам своей немецкой овчарке по кличке Блонди и ближайшим соратникам — Геббельсу, Гиммлеру, Борману и Герингу. Они никогда не обсуждали возможность поражения. И на это была причина: они побеждали[233].

В ночь с 30 на 31 мая — когда Рузвельт в телеграмме Черчиллю выразил глубокую озабоченность относительно русского фронта — Королевские военно-воздушные силы нанесли мощнейший удар по Германии. Черчилль надеялся, что эта демонстрация силы, которая привела к значительным разрушениям, подчеркнет обоснованность его заявления, что воздушный фронт является настоящим вторым фронтом. В ту ночь более 1100 британских тяжелых бомбардировщиков подвергли бомбардировке Кельн. Наступил непродолжительный период операций, в которых задействовали тысячи бомбардировщиков. Командующий британской бомбардировочной авиацией Артур (Бомбардировщик) Харрис, столкнувшись с нежеланием американцев увеличить поставки бомбардировщиков B-17s в Британию (самолеты скапливались на аэродромах), решил осуществить массированную бомбардировку в ночное время, чтобы показать американцам эффективность наступательной британской стратегии. Для осуществления столь масштабного плана Харрису пришлось, помимо опытных летчиков, использовать новобранцев. Он почти три года ждал возможности нанести по Германии удар такой силы. Осенью 1940 года, изучая разрушения, причиненные люфтваффе Лондону, он процитировал фразу из Ветхого Завета своему начальнику, маршалу авиации Чарльзу Порталу: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Теперь, по мнению Харриса, пришло время немцам пожинать бурю. Портал ве-

рил, что Королевские ВВС могут поставить Германию на колени — и довести войну до конца, — скорее всего, в конце 1943 года. Черчилль был далеко не уверен в этом. Хотя он часто говорил о желании заставить немцев истекать кровью, но относительно стратегической эффективности бомбардировок Германии высказал Порталу сомнение в их эффективности, хотя, добавил он, «это лучше, чем ничего». Он считал, что бомбардировки нужны для того, чтобы показать русским, что британцы не бездействуют. В ходе этого налета был достигнут требуемый результат, и Черчилль, надеясь, что в будущем удастся сделать еще больше, заявил: «Это доказательство растущей мощи британской бомбардировочной авиации, а также образец того, что Германия будет получать в каждом городе, с этого момента и до конца»[234].

Прошло больше пятнадцати месяцев с тех пор, как он попросил лорда Червелла разработать ответную бомбардировочную стратегию. Прошло меньше пяти месяцев, как Бомбардировщик Харрис получил звание маршала авиации и привнес в бомбардировочную авиацию свою концепцию стратегических бомбардировок, которая строилась не на точности, а на масштабах бомбардировок. Стратегия, продиктованная необходимостью, поскольку точностью британские ночные налетчики не отличались; в цель попадало менее четверти сброшенных бомб. Харрис, конечно, предпочел бы иметь скальпель, но у него была дубина. Среди неумышленно пораженных британскими самолетами объектов был родной дом Томаса Манна. Более известный как «Дом Будденброков», он стоял в Любеке, портовом городе на берегу Балтийского моря, почти двести лет. Фактически 80 процентов старого города было разрушено за счет того, что Геббельс назвал «британской жаждой к разрушению». Манн, укрывшись в небольшом доме в Калифорнии, выступая по радио, сказал, обращаясь к Германии: «Я помню Ковентри и понимаю, что за все приходится платить». Такие же чувства испытывал Бомбардировщик Харрис[235].

Через несколько дней после бомбардировки британское министерство информации отправило в Россию тысячи пропагандистских листовок: «Мы потеряли 44 самолета во время налета на Кельн, но готовы отдать наши жизни, как вы отдаете свои, чтобы уничтожить фашизм. Фашисты не смогут выстоять в этом аду, который мы устроим им сообща». Но с точки зрения Сталина, когда в России почти 2 миллиона немцев наступали на Ленинград, Москву, Сталинград и нефтяные месторождения Кавказа, британцы действовали недостаточно энергично и несли незначительные потери[236].

За два дня до бомбардировки Кельна более 950 бомбардировщиков подвергли бомбардировке Эссен. Выбор пал на этот город по той причине, что в нем было много деревянных домов и складов, которые могли стать легкой добычей для зажигательных бомб. Спустя месяц тысяча самолетов Харриса наведалась в Бремен. Бомбардировщики

летели потоком, и на обратном пути этот парад смерти тянулся от объекта через все Северное море. Точность попадания удалось немного повысить посредством самолетов наведения, оснащенных самыми современными навигационными системами, которые летели впереди и отмечали объекты с помощью сигнальных ракет. Следующая волна самолетов сбрасывала зажигательные бомбы, отмечая зону, на которую бомбардировщики сбрасывали фугасные авиабомбы. Это приводило к страшным разрушениям. Общаясь с журналистами, Харрис заявил: «Дайте мне тысячу бомбардировщиков каждую ночь, и я к октябрю закончу войну. Дайте мне 20 тысяч, и я закончу ее за одну ночь». Массированные налеты Королевских ВВС произвели впечатление на американцев, Харрис этого и добивался. Увеличились поставки самолетов B-17s и количество американских летчиков. Гражданское население Германии поставили в известность, что, пока русские и британские солдаты не представляют угрозы для немцев, британские бомбардировщики будут бомбить немецкие города. Однако Харрис понял, что его ночные потери, более 5 процентов, слишком высокие, а его ресурсы слишком незначительные по сравнению с этими потерями. Ему требовалось, чтобы американцы приняли участие в налетах, но пока американская 8-я воздушная армия не спешила принять участие в бомбардировке немецких городов[237].

Бомбардировку Кельна многие британцы и американцы связывали с рейдами люфтваффе по Бедекеру*.

Рейды получили такое название из-за того, что Геринг решил наносить удары по объектам национального достояния Великобритании, отмеченным в справочнике-путеводителе Бедекера, включая Бат, Кентерберийский собор, Бери-Сент-Эдмундс и Ипсуич. Британцы шутили, что немецкие летчики берут в рейд экземпляр справочника Бедекера. Это было время, написала Молли Пэнтер-Доунес, когда «дом рядом с особняком Энн Хэтэуэй был скорее... неприятным соседством... нежели престижным». Британские ВВС быстро ответили на рейды по Бедекеру. В Америке New Republic, обсудив вопрос, не было ли это возмездием, пришла к выводу, что бомбардировка Кельна не была актом возмездия, но союзникам следует в будущем всесторонне рассматривать этот вопрос, чтобы избежать действий, которые «могут запятнать нашу военную репутацию и низвести нас на уровень нацистов»[238].

Американцы и британцы еще не до конца поняли, как низко нужно пасть, чтобы встать на один уровень с нацистами. Через несколько дней после бомбардировки Кельна Берлин продемонстрировал, что

---

* Бедекер Карл — немецкий издатель, основал в 1827 году в Кобленце издательство путеводителей по странам и городам мира. Известным при жизни его сделали непревзойденная достоверность и качество путеводителей, носящих его имя («бедекеров»), быстро ставшее нарицательным для изданий такого вида.

значит настоящая хладнокровная месть, и мстили они даже не за Кельн. Геббельс и его фюрер уже некоторое время обдумывали наилучший, наиболее эффективный способ конфискации имущества осужденных — и расстрелянных — за изменнические действия и речи и просто расово неполноценных. Когда Геббельс предположил, что конфискация велосипедов «террористов» станет предупреждением для будущих смутьянов, Гитлер «назвал это предложение замечательным» и приказал ввести его в действие. Невероятные по жестокости акты насилия в отношении гражданских лиц (такие, как расстрел сотни заложников за одного убитого немца) за действия против рейха были хорошо известны на Западе — имелись фотографии повешенных, расстрельных команд, вагонеток с трупами истощенных людей в Варшаве. Немецкая месть была столь быстрой и ужасной, что некоторые советники Черчилля по специальным операциям предостерегали его против отдельных прямых действий (убийств и крупных диверсий) на континенте до вторжения союзников, чтобы защитить мирных жителей от немецкого возмездия. Однако Черчилль призывал отдел специальных операций «поджечь Европу». В реализации подобного рода приказов, как всегда, решающее значение имело время[239].

Этот урок усвоили в Лондоне после того, как Рейнхард (Вешатель) Гейдрих, гений, стоявший за «окончательным решением еврейского вопроса» и заместитель начальника гестапо, был убит в Праге бойцами чешского Сопротивления, обученными в Британии и сброшенными с британского самолета на парашютах в Чехию пятью месяцами ранее. 27 мая бомба, брошенная одним из диверсантов в «мерседес» Гейдриха, раздробила Гейдриху позвоночник. Он прожил одну мучительную неделю, прежде чем умереть ужасной смертью от заражения крови. Немецкий министр юстиции — Гитлер — решил наказать злодеев. Незамедлительно было казнено более 1300 чехов. Участники покушения спрятались в одной из пражских церквей, где все они были убиты. Более 3 тысяч евреев из «привилегированного» концентрационного лагеря в Терезиенштадте были отправлены в лагеря смерти на восток. Геббельс, в тот день, когда на Гейдриха было совершено покушение, арестовал 500 евреев в Берлине; более 150 из них были расстреляны в ночь, когда умер Гейдрих[240].

Затем рейх поднял массовое убийство на уровень, которого не ожидал никто, включая Черчилля. Утром 9 июня батальон добровольческой дивизии СС окружил чешский поселок Лидице. На следующий день мужчин и юношей старше 16 лет, всего 172 человека, отводили за амбар группами по десять человек и расстреливали. Расстреляли нескольких женщин, а оставшихся — почти 200 человек — отправили в трудовые лагеря в Германию. В местной больнице немцы нашли четырех рожениц. Новорожденных убили, а женщин отправили в трудовой лагерь. Около 90 детей из Лидице было отправлено в Германию,

и тех детей, чье арийское происхождение не вызвало сомнений у немецких экспертов, передали в добропорядочные немецкие семьи. Перед уходом из Лидице немцы сожгли все строения и бульдозерами сровняли с землей, включая кладбище. По приказу Берлина операцию в Лидице сняли на фотопленку. Геббельс назвал эти фотографии своей Gemäldegalerie («картинной галереей»). Затем Геббельс опубликовал подробности Лидицкой операции, чтобы больше ни у кого не возникало желания убивать гитлеровских любимцев. Подобное не могли вообразить даже брекенские гении дезинформации в самые мрачные моменты[241].

Лидице, заявил Геббельс, — это отправление правосудия, а не месть за Кельн. Однако, добавил он, если союзники не прекратят массированные бомбардировки немецких городов, «он уничтожит всех немецких евреев» На самом деле тремя месяцами ранее он написал в дневнике, что по крайней мере 60 процентов евреев, отправленных на восток, следовало «ликвидировать», а оставшиеся 40 процентов сделать рабами. Надо сказать, что маленький доктор оказался человеком слова[242].

В течение более пятидесяти лет не была до конца раскрыта роль Британии в покушении на Гейдриха. Хью Далтон, главу отдела специальных операций, считавшегося «болтуном», который может пообещать Черчиллю то, что не сможет выполнить, держали в неведении в тени его подчиненные в чешской секции. Нет свидетельств, что Черчилль санкционировал операцию; отдел специальных операций существовал обособленно от других ведомств, что позволяло ему «правдоподобно отрицать» очевидное. Черчилль не упоминает в воспоминаниях о войне ни покушение, ни Гейдриха[243].

За десять месяцев до событий в Лидице Черчилль заявил по радио, что «тысячи, буквально тысячи» русских были уничтожены немцами. Он говорил словами британских генералов, но его настоящий источник информации был непогрешим. Немецкие командиры, с их склонностью к точному учету, посылали радиограммы в Берлин и, следовательно, в Блетчли. Тысячи жертв именовались «еврейскими мошенниками» и «евреями-большевиками». Этим Черчилль решил не делиться с общественностью. Он предупреждал, что убийства «только начало» и что «голод и эпидемии будут следовать по кровавой колее, оставляемой танками Гитлера». Фюрер, заявил он, убивает даже своих тевтонских предков. Европа не видела такой «методичной, беспощадной резни» с XIII века, со времен нашествия монголов. От Украины до стран Балтии, от еврейских гетто в Варшаве до Голландии и оккупированных Франции и Бельгии с каждым днем преступления становились все чудовищнее. В октябре прошлого года лагерь для политических заключенных Аушвиц, в 40 милях от Кракова, расширили, чтобы он мог принять десятки тысяч заключенных, в основном евреев. Новый лагерь, Биркенау, строился не как исправительно-трудовой лагерь, а как лагерь

смерти. В конце 1941 года эсэсовцы провели испытания действия газа «Циклон-Б» на евреях и русских военнопленных в лагерных подвалах. Довольные полученным результатом, эсэсовцы приступили к строительству газовых камер и крематориев. В середине 1942 года Запад узнал от тех немногих, которым удалось сбежать из Аушвица, о массовых убийствах. В то время их рассказы было невозможно проверить. У этого преступления, по словам Черчилля, еще не было имени. Но геббельсовская «картинная галерея» показала его лицо[244].

12 июня Черчилль понял, что необходимо встретиться с Рузвельтом. Им предстояло решить проблемы, возникшие в ходе апрельского визита Маршалла, определить задачи для армий и обсудить Tube Alloys («Трубные сплавы»), проект создания атомной бомбы. Что касается последнего, то обсуждать было почти нечего; не поставив в известность Черчилля, американцы готовились заключить контракт на весь канадский уран (пройдет почти год, прежде чем Черчилль узнает о масштабах американских операций с ураном). В любом случае в британском казначействе не было денег на создание атомной бомбы, даже если бы британцам удалось достать уран. Американцы взяли на себя ответственность за ядерные исследования и действовали весьма активно. В Вашингтоне и Лондоне было хорошо известно, что немцы пытаются использовать тяжелую воду — завод по производству тяжелой воды находился в Норвегии и был расположен рядом с гидроэлектростанцией — в качестве замедлителя для получения элемента 94 (плутония) из урана. Несколько месяцев назад Геббельс написал в дневнике пророческие слова: «Исследования в области атомного уничтожения продвинулись настолько, что их результаты, возможно, будут использоваться в этой войне... Удастся добиться огромных разрушений... Нам важно опередить всех, поскольку тот, кто использует это новшество в войне, имеет больше шансов на победу»[245].

Черчилль спешил встретиться с Рузвельтом, чтобы обсудить не только будущее ядерных исследований и сроки открытия второго фронта, но и морское сражение, которое началось 4 июня в Тихом океане. В январе Черчилль заявил, что американцы смогут восстановить превосходство в Тихом океане к маю или июню; оптимистичное заявление, не подкрепленное доказательством. Он попросту не принял к сведению тот факт, что адмирал Ямамото уже доказал: он является самым смелым и удачливым военно-морским стратегом столетия, если не всех времен. Правильнее было бы считать, что если американцы построят еще больше больших кораблей, то Ямамото их тоже потопит.

Однако черчиллевские предчувствия оправдались утром 4 июня у острова Мидуэй. В тот день Ямамото собирался захватить Мидуэй и уничтожить американский флот, который, по его предположению, будет искать его флот. Как обычно, Ямамото разработал сложный

план, который зависел от того, будут ли американцы делать именно то, что он от них ожидал. В операции участвовали пять японских оперативных соединений МВС; в этом случае японский флот был сильнее, чем Королевский Атлантический флот и Флот метрополии, вместе взятые, и, конечно, превосходил американский флот, отправленный на его поиски. Одно японское соединение направилось к Алеутским островам, подвергло обстрелу военно-морскую базу Датч-Харбор и захватило острова Атту и Кыска. Четыре японских соединения направились к острову Мидуэй: в авангарде 16 подводных лодок, 12 транспортов с 5 тысячами солдат, два линкора, крейсеры и эсминцы. За ними шли крупные корабли: ударное соединение Пёрл-Харбора Нагумо из четырех тяжелых авианосцев, которых надежно прикрывали крейсеры, следом шли семь линкоров, на одном из них был поднят флаг Ямамото. Всего в операции участвовало более 160 японских боевых кораблей и судов для обеспечения прикрытия высадки. Нападение на Алеутские острова, которое должно было отвлечь силы адмирала Честера Нимица, началось на восходе 3 июня. У Ямамото все шло как планировалось, и вечером он готовился приступить к выполнению двух последних этапов: захватить остров Мидуэй, пока американцы (предположительно) направятся на север в погоне за недостижимым, а затем развернуть свой флот, чтобы нагнать и уничтожить флот Нимица. Но дешифровщикам Нимица удалось взломать японский код, благодаря чему Нимц точно знал, куда направляется Ямамото со своими основными силами: на Мидуэй[246].

Пока Ямамото шел к Мидуэю, Нимиц подготовил засаду к северо-востоку от острова, куда бросил основные силы: авианосцы Hornet, Yorktown и Enterprise, крейсеры и эсминцы. Он не направил туда линкоры, которых у него попросту не было. Поначалу для японцев все шло хорошо. 4 июня сразу после рассвета они начали бомбить Мидуэй, а затем уничтожили 43 палубных торпедоносца и бомбардировщика Devastator, которые имели несчастье обнаружить японский флот. 60 американских пикирующих бомбардировщиков, которые вылетели с Мидуэя вместе с самолетами с американских авианосцев, не смогли установить местонахождение кораблей Ямамото. Вскоре после десяти утра, в течение пары минут Ямамото думал, что выиграл битву и войну. Он приказал своим бомбардировщикам перевооружиться и заправиться, чтобы снова атаковать Мидуэй. Для того чтобы сбивать низколетящие американские торпедоносцы, самолеты Ямамото кружили над его кораблями на незначительной высоте от уровня моря, вместо того, чтобы защищать их с воздуха. Но никто из японских командующих этого не заметил. Затем, в 10:26, три десятка пикирующих бомбардировщиков «Даунтлесс» с «Энтерпрайз» с высоты 14 тысяч футов заметили четыре японских авианосца, самые большие объекты и гордость флота Ямамото. На палубах авианосцев творилось что-то

невообразимое: заправлялись самолеты, были открыты бензопроводы, валялись бомбы и торпеды. Американские Пилоты ВМС США спикировали на японские авианосцы. За шесть минут ход войны в Тихом океане изменился: на полетных палубах трех авианосцев Ямамото горело топливо и взрывались бомбы, включая авианосц «Акаги», который принимал участие в атаке на Пёрл-Харбор, Дарвин, Коломбо и Рабаул, порт на острове Новая Британия, который, после его захвата в январе, служил японцам базой для военных операций в южной части Тихого океана[247].

Шесть минут. Именно такие моменты, являясь поворотными моментами судьбы, доставляли особое удовольствие Черчиллю.

Черчилль отправил Рузвельту телеграмму с «самыми искренними поздравлениями». Битва, написал он, «действительно изменила ход войны на море». Он опять преувеличивал, но в этом случае был прав. Ход войны в Тихом океане изменился настолько сильно, что теперь Черчилль волновался, что адмирал Кинг, которого полностью поддержат все американцы, сможет уговорить Рузвельта сначала покончить с японцами, прежде чем браться за немцев. Кинг, который именно так и думал, обратился за помощью к Маршаллу, и они приступили к разработке планов, в которых на первое место выдвигалась тихоокеанская стратегия. Рузвельт отверг их предложение. Несмотря на это, Маршалл планировал отправить в пять раз больше солдат Макартуру, чем в Британию, и уже отправил часть самолетов B-17s, которые предназначались для Британии, в Тихий океан. Американские военачальники были готовы отказаться от «Европы в первую очередь». Эта пугающая перспектива — в сочетании с последними действиями Роммеля — заставила Черчилля в той же телеграмме просить Рузвельта о встрече: «Я чувствую, что должен приехать и увидеться с Вами»[248].

Ситуация в Африке вызывала беспокойство. Роммель сделал недельную паузу в начале июня, после того как обошел с тыла южный фланг Ричи и заставил 8-ю армию начать беспорядочное отступление. Если первоначально британцы превосходили Роммеля в танках, то к середине июня у немцев уже было вдвое больше танков, чем у британцев. Тобрук, в котором находились 35 тысяч солдат, в основном южноафриканцев, по большей части неопытных, находился всего в 30 милях в тылу Ричи. Штаб сообщил гарнизону Тобрука, что если события будут развиваться так, как они развиваются сейчас, то следует эвакуироваться, а не обороняться. Однако Ричи не удалось ни эвакуировать город, ни обеспечить его защиту. Он потерял контроль над ситуацией и над битвой. Окинлек считал, что Ричи будет придерживаться плана отступления и эвакуации; Черчилль считал, что Окинлек будет удерживать город. Тремя месяцами ранее Окинлек разозлил Черчилля, когда заявил, что не будет готов атаковать до середины июня. Когда Роммель нанес первый удар в конце мая, возник

вопрос: а будет ли готов Окинлек обороняться к середине июня? Ответ не вызывал сомнений, когда 13 июня Роммель перешел в наступление, заставив армию Ричи откатиться дальше на восток[249].

Итак, фортуна была благосклонна к американцам в Тихом океане, а британцам не везло в пустыне, и Черчилля волновал вопрос, не отразится ли негативным образом подобное положение дел на стратегии «Европа в первую очередь». Хотя Рузвельт упорно отвергал планы своих военачальников относительно войны в Тихом океане, планов для нанесения удара в Европе до сих пор не было. Рузвельт хотел, чтобы хоть что-то было сделано по этому вопросу. Спустя много лет Маршалл сказал Сэмюэлу Элиоту Морисону, что «вынес один важный урок из 1942 года: политические лидеры должны «что-то делать»; они не могут позволить, чтобы создалось впечатление, что они ведут еще одну «странную войну». Но подводная война не была странной, и союзники ее проигрывали. Роммеля, казалось, не остановить. Россия вновь стояла на краю бездны, и Гитлер думал, что осталось только подтолкнуть ее. Через три дня после поздравления Рузвельта с победой на Мидуэе Черчилль был готов вернуться в Вашингтон[250].

Лидерам двух стран нужно было понять, где атаковать немцев и как сделать это наилучшим образом. Их отчаявшийся союзник в Москве хотел знать не только где и когда, но, главное, как скоро это произойдет. 16 июня, перед тем как отправиться из Лондона в Вашингтон, Черчилль написал письмо королю Георгу, в котором попросил короля назначить Идена — «выдающегося министра» — сформировать новое правительство, если он [Черчилль] погибнет во время поездки. Затем Черчилль с сопровождающими, их было несравнимо меньше по сравнению с январской поездкой, покинул столицу. Вместе с премьер-министром в Вашингтон отправились доктор Уилсон с запасом снотворного, Гастингс Исмей, Джон Мартин, стенографист Патрик Кинна, камердинер Фрэнк Сойерс с черчиллевским запасом виски и инспектор Томпсон с револьвером, капитан Томми Томпсон, помощник Черчилля, и генерал Д.Дж. Стюарт, начальник отдела военного планирования. Вскоре после прибытия в Странрар, город на юге Шотландии, поздним вечером 17-го, они поднялись на борт Boeing, капитаном которого был все тот же Келли Роджерс, который привез Черчилля домой с Бермудов. Черчилль, помахивая тростью с золотым набалдашником, в комбинезоне siren suit* и черной шляпе «гамбург» был крайне оживлен. Но, вспоминая, каким долгим и опасным был январский полет домой, Брук услышал, как Черчилль напевает любимую песню томми во время Первой мировой войны: «Мы здесь, потому что мы здесь, потому что мы здесь...»[251].

* Комбинезон из плотной темной ткани, который быстро надевался и снимался, использовался во время воздушной тревоги. (*Примеч. ред.*)

Они летели на высоте 5 тысяч футов над землей, достаточно высоко, чтобы увидеть красный отблеск заходящего на горизонте солнца. Брук, впервые совершивший трансатлантический перелет, был в полном восторге. Незнакомый с жаргоном летчиков, он написал в дневнике, что он хорошо спал «после того, как посетил пилота в его водительском отсеке на мостике». Они пересекали часовые пояса, и Брук, не переводивший стрелки часов, высчитывал, когда придет время завтрака. Черчилль не сверялся ни с часами, ни с солнцем, только с собственным желудком. Во время войны, в длительных поездках, подобных этой, Черчилль ел, «когда ему об этом напоминал желудок», вне зависимости от того, что ему подсказывало время или солнце. Томми Томпсон вспоминал, что во время того путешествия, когда самолет приблизился к берегам Америки, пассажиры обсуждали «целесообразность ланча или чая перед прибытием». Черчилля спросили об этом, и он «легко решил проблему, заявив, что пришло время для «виски на высоте». Сойерс принес напитки. Капитан Роджерс пролетел над окутанным туманом островом Нантакет и взял курс на Вашингтон. Черчилль занял свое обычное место в кресле второго пилота. Три часа спустя, когда Роджерс снижался над Потомаком, Черчилль, увидев монумент Вашингтона — Черчилль всегда выполнял обязанности штурмана, — сказал Роджерсу, что «будет весьма некстати, если все закончится тем, что мы врежемся именно в этот объект из всех, в которые мы вообще могли бы врезаться». После почти 27-часового перелета самолет совершил посадку на зеркальную гладь реки Потомак. На борту наступило время приема пищи по «желудочному времени». Поужинав, они вышли из самолета в зловонный неподвижный воздух вашингтонского летнего вечера, признак приближающейся жары, из-за которой все президенты Соединенных Штатов, начиная с Джона Адамса, предпочитали уезжать за город. Именно так поступил Рузвельт, уехавший в свое родовое поместье Гайд-Парк на реке Гудзон[252].

Черчилль со свитой провел ночь 18 июня в британском посольстве. Роммель провел эту ночь, давая указания своим инженерам — у британцев они называются «саперами» — относительно британских минных полей перед Тобруком. В тот день его танки прорвали линии Ричи, который стоял в 30 милях к югу от Тобрука. Когда две недели назад его линия Газалы была прорвана, Ричи решил стоять там до конца. Лучше бы он решил уйти из Тобрука и отступить к египетской границе. Именно это пытался теперь сделать Ричи, поскольку здесь его линии тоже были прорваны. Но в этот день битва так быстро сместилась в восточном направлении, что Тобрук попросту обошли. К ночи город был окружен, отступить или пополнить запасы было уже невозможно. Три дня назад Черчилль в разговоре с Окинлеком выразил надежду, что он надеется, что Тобрук удастся удержать. У Роммеля были другие планы.

19 июня, когда Черчилль отправился в Гайд-Парк, Роммель — путь через минные поля был расчищен — направился прямо к Тобруку[253].

Черчилль приехал в Гайд-Парк с меморандумом, который он составил для Рузвельта. В нем он утверждал, что любая попытка вторжения во Францию в этом году «не имеет шанса на успех, если только немцы не будут совершенно деморализованы, что абсолютно безосновательно». Что же делать, спрашивал он Рузвельта, в той манере, в которой задавал вопросы себе: «Есть ли у американского штаба план? Где они собираются нанести удар?» Что относительно транспортов и десантных судов? У Рузвельта не было ответов. Операция «Болеро», концентрация военных сил в Британии, должна продолжиться, но, сказал Черчилль, следует подумать о нанесении удара в каком-нибудь другом месте, не во Франции. Как представлялось Черчиллю, в качестве альтернативы можно рассматривать операцию на севере, в Норвегии («Юпитер») или в Северной Африке («Гимнаст»). Два дня на берегу Гудзона прошли в непринужденных разговорах. Рузвельт обдумывал черчиллевский меморандум, но не делал никаких комментариев. Неофициально, на словах, он согласился обмениваться информацией по проекту атомной бомбы. Но что более важно — он обещал финансировать весь проект. Однако, как Черчилль понял через несколько месяцев, американцы, по причинам безопасности (или по политическим причинам, которые скрывались за безопасностью), намеревались обмениваться только той информацией, которую Британия могла использовать, создавая оружие на собственной земле. Поскольку Британия не могла построить объекты для создания атомной бомбы, американцы начали утаивать информацию[254].

Черчилль с Рузвельтом вернулись в Вашингтон рано утром 21 июня. Позже в то же утро, когда Рузвельт, Черчилль и Исмей разговаривали в кабинете президента, вошел помощник Рузвельта и вручил ему телеграмму. Рузвельт прочел ее и протянул Черчиллю. В ней говорилось: «Тобрук капитулировал. 25 тысяч солдат взято в плен». Черчилль, решив, что это, должно быть, ошибка, отправил Исмея разобраться. Вскоре Исмей вернулся; он не только подтвердил капитуляцию Тобрука, но и сообщил Черчиллю, что большая часть оставшегося в Александрии британского флота отошла в южную часть Суэцкого канала, чтобы избежать нападения люфтваффе, которого можно было ожидать в любой момент. Черчилль, как ни странно, молча выслушал Исмея. Позже он написал, что испытал сильное потрясение, узнав о потере Тобрука, но еще сильнее его потрясло поведение армии. Сингапур, а теперь Тобрук погубили репутацию британской армии. «Одно дело — поражение, — написал он, — но другое дело — бесчестье». После минутной паузы Рузвельт спросил: «Чем мы можем помочь?» Черчилль попросил президента отправить столько новых «Шерманов», сколько может себе позволить. Рузвельт вызвал Маршалла, который

сообщил, что несколько сотен новехоньких «Шерманов» направляются в американские танковые дивизии. Он добавил, что крайне неприятно забирать их у своих солдат, но если Британии они необходимы, то они отправятся туда. Спустя несколько дней триста новых танков, многие настолько новые, что были без двигателей, погрузили на пять грузовых судов. На шестое судно погрузили двигатели. Когда это судно потопили немецкие подводные лодки, Рузвельт отправил еще одно. Помимо этого президент отправил британцам сотню 105-миллиметровых самоходных орудий. Этот жест Черчилль запомнил на всю жизнь. Но в тот момент, учитывая талант Роммеля в ведении танковой войны и плачевное состояние британской армии в пустыне — нехватка людей, техники и боевого духа, — он думал о том, успеют ли американские танки прибыть вовремя, чтобы спасти Каир[255].

Через четыре дня Роммель уже был в Египте; 25 июня он взял Мерса-Матрух, всего в 140 милях от Александрии. В тот день вечером Окинлек приехал на фронт, отставил Ричи от должности и принял на себя командование 8-й армией. Жители Каира и Александрии были в таком же бедственном положении, как распадающаяся 8-я армия. Охваченные паникой александрийцы устроили ажиотаж в Барклайс банке. Торговцы в Каире за несколько часов продали все чемоданы. Каирские улицы были усыпаны пеплом — британское высшее командование сжигало секретные документы. Роммеля ждали, и скоро. Тем временем Окинлек отвел свою потрепанную армию на 70 миль восточнее, под защиту песчаной гряды, протянувшейся на 40 миль от Эль-Аламейна, на побережье Средиземного моря, до границы впадины Катара, естественное препятствие, которому даже Роммель не решился бы бросить вызов. Роммель тоже сделал паузу. Он собирался подождать и нанести фронтальный удар, как только прибудет подкрепление. А пока будет выжидать подходящего момента, расположившись к западу от Эль-Аламейна — всего 60 миль к западу от Александрии и 140 миль к северу от Каира — с дюжиной танков, готовых к бою[256].

Именно тогда Бенито Муссолини решил, что его присутствие необходимо на поле боя. Девиз Муссолини — «Il Duce ha sempre ragione» («Муссолини всегда прав»). К концу июня он был уверен, что Роммель, который выжидал подходящий момент у Эль-Аламейна, пойдет на Александрию, а потом на Каир. Маршал империи — высший военный чин в Италии, который Муссолини создал специально для себя, — отправился в Дерну, где восхитительный белоснежный жеребец, которого специально подготовили для триумфального входа в Каир, ожидал в стойле своего знаменитого ездока. Великолепный в своей кипенно-белой форме, Муссолини провел смотр войск в Бардии, более чем в 200 милях от зоны боевых действий. Там он ожидал приглашения Роммеля. Но Роммель перестал отвечать на сообщения Муссолини. Приключения Муссолини закончились в Бардии. Роммель, чьи войска

были стянуты в Эль-Аламейн, ждал обещанные танки, топливо и солдат, которые были ему нужны, чтобы отправиться в Александрию и в Ирак. Но криптографы Королевских ВВС читали переписку Роммеля с Берлином, и в результате, когда Берлин сообщил дату отправки немецких транспортов снабжения из Италии в Тобрук, британские летчики завели двигатели. У крыс пустыни еще была надежда[257].

Вскоре после того, как Черчилль узнал о катастрофе в Тобруке, Гарри Гопкинс предложил ему встретиться с двумя американскими генералами, о которых президент и Маршалл были высокого мнения: генерал-майор Марк Кларк и генерал-майор Дуайт Эйзенхауэр. Всего два года назад оба были подполковниками. Оба получили повышение в основном благодаря тому, что заслужили полное доверие Маршалла. Эйзенхауэр, ему было 51 год, и он был старше Кларка на пять лет, меньше года назад получил звание бригадного генерала. Через несколько дней он прибудет в Лондон уже в звании генерал-майора и в течение года получит третью и четвертую звездочки на погоны. Его полевой опыт ограничивался штабной работой: он был начальником штаба 3-й дивизии на учениях в Луизиане летом прошлого года, где на него произвела огромное впечатление смелая тактика 2-й бронетанковой дивизии Джорджа Паттона, которая строилась на мобильности и факторе внезапности. Однако Эйзенхауэр показал Маршаллу, на что способен вскоре после Пёрл-Харбора, когда получил приказ помочь своему старому начальнику, Дугласу Макартуру. Эйзенхауэр с задачей не справился, но не потому, что не приложил должных усилий; просто в тот момент ему нечем было помочь. С этого времени он работал у Маршалла заместителем начальника штаба оперативно-планового управления, до прошлой недели, когда Эйзенхауэр — друзья называли его Айк — наконец не получил высшую командную должность: верховного командующего экспедиционными силами, которые формировались в Британии. Кларк поедет в Лондон в качестве заместителя Эйзенхауэра.

Черчилль, расстроенный новостями из Тобрука и измученный вашингтонской жарой, встретился с двумя генералами в своей «комнате с воздушным охлаждением», в которой он жил в январе, через холл от комнат Гопкинса. Это был командный центр Гопкинса, где он исполнял президентские приказы. Важных гостей Белого дома не случайно размещали рядом с Гопкинсом — Гарри было проще управлять событиями, как в этот день, когда он организовал встречу Черчилля с двумя генералами[258].

Черчилль слушал, как Кларк и Эйзенхауэр обсуждают перспективы вторжения через канал в 1943 году. Они пришли к Черчиллю после первой встречи с Рузвельтом, где основной темой беседы была операция «Раундап», полномасштабное вторжение во Францию в 1943 году. Чер-

чилль дал возможность высказаться американцам, а сам по большей части молчал. После катастрофы в Тобруке его мысли были заняты в основном Северной Африкой; кроме того, назначение Лаваля главой правительства вновь сделало актуальной операцию «Гимнаст». Перед отъездом Эйзенхауэра в Лондон стало ясно, что американским начальникам штабов тоже следует отправиться в Британию для дальнейших переговоров со своими британскими коллегами. Объединенному комитету начальников штабов в Вашингтоне удалось договориться только о необходимости встречи в Лондоне. Черчилль тоже планировал присутствовать на этих встречах — если не председательствовать — и был готов покинуть Вашингтон 25-го числа. Как и в январе, он знал, что дома его не ждет радостная встреча. Об этом его предупредили американские газеты, пестревшие заголовками: «Недовольство в Англии», «Падение Тобрука может вызвать смену правительства», «Черчиллю будет выражено недоверие»[259].

Вместо того чтобы сразу отправиться в Лондон, Черчилль с Исмеем, Маршаллом и преданным Сойерсом поехали на поезде в форт-Джексон, Южная Каролина, где присутствовали на боевых стрельбах недавно сформированной американской пехотной дивизии. После того как новобранцы продемонстрироли свое умение, Черчилль спросил Исмея, что он об этом думает. Исмей ответил: «Было бы убийством ставить этих солдат против континентальных войск». — «Ошибаетесь, — ответил Черчилль. — Они быстро научатся, и из них выйдут отличные солдаты»[260].

Вечером 25 июня Черчилль со свитой в сопровождении Аверелла Гарримана (который прихватил несколько шарфов и виргинскую ветчину для Клементины) вылетели в Балтимор. Следующим утром (по их часам было время завтрака) они приземлились в Ботвуде, Ньюфаундленд, чтобы заправить самолет и позавтракать так, как большинство британцев могли только мечтать: «превосходным лобстером с шотландским виски». На той неделе, чтобы успокоить большинство лондонцев, которые не могли себе позволить платить 2—3 фунта (10 или 15 долларов) за еду в общественных местах, правительство установило максимальную стоимость блюда в ресторане — 5 шиллингов (около 1 доллара США). План не сработал; владельцы бизнеса просто добавляли в счет накладные расходы и в три раза увеличили цену на вино. Хуже того, виски, на который давно была установлена норма — одна бутылка виски в месяц, — теперь стал таким дефицитом (спиртные напитки были необходимы для производства бездымного пороха), что даже постоянные покупатели не могли купить положенную бутылку у местных продавцов. В Британии никто не голодал, но очень немногие британцы могли позволить себе есть лобстеров, запивая их выдержанным шотландским виски[261].

С 1940 года в Британии было разрушено почти 700 тысяч домов. 6 миллионов британцев жили без канализации. В Лондоне более 300 тысяч домов, один из восьми, получили повреждения. Были разрушены водопроводные магистрали. Подвалы разрушенных домов превратили (после того как вынесли тела погибших) в бассейны для сбора дождевой воды. Когда британцы предложили прибывшим американцам использовать казармы в качестве Генерального штаба, американец, осматривая помещения, к своему ужасу обнаружил открытую канализацию, а учитывая, что строительство казарм было закончено в 1860 году, там не было системы отопления. Десятки миллионов жителей Европейского континента (и несколько тысяч британцев, живших в метро) были бы счастливы, если бы предложили там жить. Американский офицер не мог представить, как их штаб будет там работать в зимнее время[262].

В стране не хватало угля и, значит, во всей стране будут холодные печки. Когда Черчилль прилетел домой, в парламенте шло обсуждение введения норм на потребление угля, что означало еще меньше угля для обогрева жилых домов и угольного газа для заводов и фабрик. Между тем более 30 тысяч шахтеров было призвано в армию, но граждане, требовавшие открытия второго фронта, одновременно требовали, чтобы шахтеры вернулись домой добывать уголь. Люди требовали уголь; они требовали второй фронт; они требовали хоть каких-то побед. И они требовали рыбу. Свежий лосось и треска исчезли с прилавков рыбных магазинов. Британцы замерзали в своих домах, в их рационе не было рыбы, в неделю им полагалось два яйца и две тонкие отбивные котлеты, и в буфетах почти не осталось виски. Изголодавшись по сахару, они стояли в очередях за дешевыми леденцами, «словно», написала Молли Пэнтер-Доунес, «это была манна небесная». Но они были готовы переносить любые трудности, лишь бы их лидеры одержали победу. «Люди испытывали замешательство», написала Пэнтер-Доунес, с того момента как Роммель взял Тобрук «так легко, словно отобрал игрушку у ребенка». Газеты твердили британцам, что «все идет хорошо». Но это было не так. Но, заметила Пэнтер-Доунес, британцы оставались верны себе, «они ворчали на своих лидеров, сидя в пабах, но были готовы сражаться за них до последнего вздоха»[263].

Кое-кто в парламенте не разделял их решимость. По возвращении домой Черчилль узнал, с каким заявлением выступил в палате общин член парламента от Консервативной партии сэр Джон Уордлоу-Милн: «Воздавая должное героизму и стойкости Королевских вооруженных сил в исключительно трудных обстоятельствах, палата не доверяет центральному руководству войны». Адмирал флота сэр Роджер Кейс, как и Лесли Хор-Белиша, поддержал Уордлоу-Милна. Когда 27 июня Черчилль пришел в зал заседаний кабинета, чтобы продумать план защиты в парламенте, Эньюрин Бивен был погружен в работу по от-

тачиванию нападок в парламенте. Консерваторы пребывали, заметил Черчилль, в «довольно мрачном настроении»[264].

Черчилль занимал «номер 10» почти 26 месяцев, во время которых страна не знала ничего, кроме поражений. Он был уверен, что переживет вотум недоверия, и сказал помощнику Рузвельта, что, по его мнению, максимум двадцать членов парламента выступят против него. В других обстоятельствах этого было бы достаточно, чтобы низложить правительство, но не национальную коалицию. Однако Черчилль понимал, что дальнейшие поражения недопустимы. «Всего несколько переходов, еще одна удача, — позже написал он, — и Муссолини с Роммелем вместе вступят в Каир или в его развалины. Все висело на волоске... и кто мог предсказать, куда склонится чаша весов?»[265].

Дебаты прошли в первые два дня июля. Черчилль молчал весь первый день, но всем сразу стало ясно, что у оппозиции нет шансов на успех. Первый бунтарь, Уордлоу-Милн, шотландский консерватор, хорошо изложил суть дела. Проблема, сказал он, в том, что Черчилль одновременно является премьер-министром и министром обороны. Он предложил снять Черчилля с поста министра обороны и назначить главнокомандующим человека, который будет отдавать все свое время делу победы в войне и нести полную ответственность за вооруженные силы Великобритании». Черчилль часто говорил близким друзьям, что в течение часа уйдет в отставку, если возникнут сомнения в его деятельности. Выдвиженцем Милна был герцог Глостерский, полный и слегка глуповатый брат короля, который меньше всех на острове подходил для этой должности. Во время выступления Уордлоу-Милна по залу пробежал шепот: «Да он же дурак». Гарольд Николсон написал в дневнике, что Уордлоу-Милн начал хорошо, но при упоминании герцога по залу пробежала «волна смущения». Уордлоу-Милн, написал Николсон, «на самом деле был дураком». Молли Пэнтер-Доунес сравнила предложение Уордлоу-Милна со старой детской песенкой про герцога Йоркского*: «Судя по тому, как его приняли в палате... детская песенка как нельзя более подходит для военных походов, возглавляемых королевской особой».

Черчилль не мог ожидать большей помощи со стороны Уордлоу-Милна[266].

Давний друг Черчилля адмирал Кейс — хотя и превратился, по мнению Черчилля, в старого маразматика — примкнул к Милну. Старый адмирал ясно дал понять, что не одобряет военные усилия, предпринимаемые начальниками штабов, но, что удивительно, не выступал за отставку Черчилля, поскольку, по его заявлению, это будет «самой настоящей катастрофой». Один из членов парламента отметил,

---

* На русском языке известна как «Королевский поход» в переводе С.Я. Маршала:

что, по словам адмирала, Черчилль вмешивался в работу всех родов войск, но недостаточно активно. К счастью для Уинстона, сэр Роджер Кейс выдвигал обвинения, которые вступили в противоречие с выступлением Джона Уордлоу-Милна, что укрепило позицию Черчилля и подорвало силы оппозиции[267].

На следующий день Эньюрин Бивен показал, что почти не уступает Черчиллю в парламентских боях (Черчилль приводит его выступление в четвертом томе своих воспоминаний о войне, но не называет имени; столь сильна была его антипатия к Бивену). Он начал свое выступление со слов: «Премьер-министр выигрывает одни дебаты за другими, проигрывая одну битву за другой». Затем, после эффектной паузы, он произнес наиболее запоминающееся критическое замечание в адрес Черчилля: «В стране говорят, что Черчилль сражается в дебатах, как на войне, и на войне, словно участвует в дебатах». К несчастью для оппозиции, Бивен, как и Милн, предложил сомнительное решение. По его мнению, командовать британскими войсками должны французские, польские и чешские генералы, которые бежали из своих стран в Лондон. Понятно, что палата даже не стала обсуждать столь абсурдное предложение. Затем Бивен нанес удар по британской армии в целом, заявив, что «она погрязла в классовых предрассудках. Если бы фельдмаршал Эрвин Роммель служил в британской армии, он до сих пор ходил бы в сержантах». Нелепое заявление, учитывая, что Роммель был выходцем из верхнего слоя среднего класса и долго служил в имперской армии, где начал службу с кандидата в офицеры, и закончил Данцигскую военную школу. Заявление Бивена относительно прогнившей классовой структуры британского общества соответствовало истине. Черчилль признал этот факт почти два года назад, когда сказал Колвиллу, что мальчики, выпускники обычных средних школ (публичные школы в Америке), которые выиграли Битву за Британию (более 70 процентов в истребительной авиации), заслуживают управлять страной после войны. Черчилль, старый реформатор, был искренен в своих чувствах, но, поскольку не выражал личные чувства публично, позволил Бивену выдать эту мысль как свою собственную[268].

Хор-Белиша выступал последним, но старый либерал так ничего и не вынес из своей неудачной критики годом ранее, когда пытался обвинить Черчилля в сдаче Крита, но вместо этого привлек внимание к собственному, отнюдь не блестящему пребыванию в правительстве Чемберлена в качестве военного министра. Тогда Черчилль обратил слова Хор-Белиши против него самого и то же самое сделал опять. Дважды за тринадцать месяцев Хор-Белиша давал Черчиллю шанс отыграться, и дважды Черчилль им воспользовался. Когда Хор-Белиша поднял вопрос о многочисленных проблемах, связанных с танком «Черчилль» (разработанным и произведенным при Чемберлене), Черчилль повернул ситуацию в свою пользу, заметив, что танку дали это

название, только когда стало известно об этих проблемах. С проблемами справились, добавил он, и танк удастся успешно использовать в войне. Далее Черчилль, написал Гарольд Николсон в дневнике, перешел к объяснению концепции войны на истощение. В скором времени у британцев будет больше оружия, людей и танков, чем у немцев, и, хотя Роммеля еще не загнали в угол, численное превосходство в какой-то момент должно изменить ход войны. К концу выступления, понимая, что оппозиция сама нанесла себе смертельные раны, голос Черчилля звучал «бодро и весело»[269].

Затем началось голосование. В итоге 475 человек проголосовали за правительство Черчилля, 25 — против. Черчилль пережил самые сильные парламентские нападки за войну, и он оказался прав, когда в Вашингтоне предсказал, чем закончится для него парламентская инициатива. 25 голосов — столько парламентариев выступили против Питта Младшего в 1799 году, когда Наполеон готовился господствовать на море и на суше. Питт объявил себя единственным человеком в Англии, способным победить маленького корсиканца, и получил вотум доверия парламента. Однако для Черчилля июльское голосование было скорее предупреждением, чем победой.

Через несколько дней после прибытия в Британию Дуайт Эйзенхауэр понял, что большинство американцев в Лондоне считают, что война в Европе будет проиграна в течение нескольких недель, если Сталину не удастся отразить удар Гитлера по русским нефтяным месторождениям и Дону. Мопс Исмей придерживался того же мнения и сказал Гарриману, что с Красной армией будет покончено «через три недели», хотя Гарриман заметил, что Исмей говорит это уже более двенадцати месяцев. Но в этот раз события, казалось, должны были разворачиваться в соответствии с мрачным сценарием Исмея. К началу июля Эйзенхауэр считал положение русских настолько отчаянным, что предложил еще раз вернуться к рассмотрению операции «Кувалда», план вторжения в Европу через Канал. «Даже неудачное наступление» во Франции, сказал он своему помощнику, капитану Гарри Бутчеру, будет «оправданным», если принесет облегчение русским. Черчилль и его военачальники были категорическими противниками операции «Кувалда» по той простой причине, что она была обречена на провал и не принесла бы никакого облегчения русским. Бутчер написал в дневнике: «Если Германия расправится с русской армией и получит богатые нефтяные месторождения, Соединенные Штаты сначала нанесут удар по Японии и оставят ли Германию на потом?» Трудно сказать, когда будет это «потом». Именно этого и опасался Черчилль. Но если не операция «Кувалда», то что?[270]

Гарольд Николсон так представлял политические последствия: «Если русские потерпят поражение, они и их друзья здесь скажут, что

это произошло из-за того, что Черчилль отказался открывать второй фронт. Я очень боюсь, что Черчилль едва ли сохранит свое положение в случае поражения русских»[271].

Маршалл с Кингом прибыли в Лондон в середине июля для решения вопроса, связанного с открытием второго фронта. Они привезли меморандум Рузвельта, в котором президент изложил свои приоритеты и умозаключения. События, которые разворачивались в России и в Северной Атлантике, позволили Рузвельту понять, что делать что-то было уже поздно. Однако вопрос о том, что же делать, остался, и, как семь месяцев назад, нужно было решить, что же все-таки делать. Рузвельт, хотя видел возможные достоинства операции «Гимнаст», поддерживал Маршалла и Стимсона, считавших, что вторжение в Европу необходимо и предпочтительнее будет сделать это до выборов в Америке. «Рузвельт всегда опасался, что американская общественность уделяет слишком большое внимание Тихоокеанскому театру военных действий, вспоминал Аверелл Гарриман, «и они заставят его поступиться политикой «Европа в первую очередь». Но если к Европе сейчас было не подобраться, то Северная Африка — Маршалл считал ее второстепенным театром военных действий — была подходящей политической альтернативой; появлялась возможность несколько облегчить положение Сталина. Президент дал ясно понять Маршаллу, что хочет, чтобы американские солдаты начали принимать участие в боевых действиях до 3 ноября, дня выборов. Также он дал понять, что, если союзники не предпримут никаких действий в 1942 году, это негативным образом отразится на моральном состоянии дома и в Великобритании. Необходимо удержать Ближний Восток, написал Рузвельт, чтобы не допустить возможности «объединения усилий Германии и Японии и потерю Индийского океана», а также Египта, Сирии, Суэца и иракской нефти. Следует рассмотреть операцию «Кувалда», посоветовал он, но, если даже мы не будем воплощать ее в жизнь, следует выбрать другую цель. Одним из способов защитить Ближний Восток, предположил он, будет проведение совместной операции «в Марокко и Алжире, с намерением зайти в заднюю дверь роммелевской армии». Это был возрожденный «Гимнаст». Военный министр Стимсон назвал рузвельтовского «Гимнаста» «тайным ребенком, родившимся во время войны». С помощью телеграмм и личных встреч Черчиллю удалось убедить Рузвельта. Но Маршалла ему пока не удалось убедить, и Рузвельт, несмотря на свои указания Маршаллу, оставил за ним последнее слово[272].

Когда Объединенный комитет начальников штабов в Лондоне готовился выбрать цель, чтобы уменьшить давление на Сталина, положение советского лидера ухудшилось. Летом прошлого года немцы обошли и отрезали Севастополь, самую большую советскую морскую

крепость на Черном море. Почти сто лет назад, во время Крымской войны, Севастополь выдержал 329-дневную британо-французскую осаду, время достаточное для того, чтобы Лев Толстой, в то время молодой русский подпоручик артиллерии, успел написать три рассказа о жизни в осажденном городе. Если в первом рассказе Толстой прославлял героизм смелых защитников города, то последний, написанный после сдачи Севастополя, пронизан разочарованием и острым неприятием бесчеловечной бессмысленности войны. Толстой и большая часть царской армии покинули город. Гитлер, когда в начале июня четырнадцать его дивизий наконец подошли к Севастополю, взял город через двадцать три дня. На этот раз эпитафию Севастополю написал Борис Войтехов, корреспондент «Правды»: город объят пламенем, советские эсминцы покидают порт, их палубы и трюмы забиты женщинами и детьми, последние защитники города, безоружные, бросаются в море и плывут навстречу неминуемой смерти*.

Спастись удалось немногим; почти 90 тысяч защитников города были убиты или взяты в плен. Гитлер завладел черноморским побережьем, от Ялты до Керчи, протяженностью 200 миль. Севернее гитлеровские армии наступали по Донецкому коридору[273].

К 7 июля группа армий «Б» достигла Дона, напротив Воронежа. Согласно апрельской директиве Гитлера, теперь эта армия должна была направиться на юг по западному берегу реки к ее излучине, где всего 60 миль разделяет Дон и Волгу, и Сталинград. Но командующий армиями группы «Б» Федор фон Бок, чувствуя естественное нежелание солдат оставлять в покое важный в стратегическом отношении железнодорожный узел, такой как Воронеж, приказал 4-й танковой армии перейти Дон и войти в Воронеж. Операция, сказал он Гитлеру, займет всего несколько дней. В это время 6-я армия Паулюса начала наступление по западному берегу Дона и с каждой милей уходила все дальше и дальше от танкового прикрытия[274].

Британской прессе положение Сталина представлялось по меньшей мере ужасным. Она была почти незнакома с фактами, а с теми, что у нее были, обращалась небрежно и постоянно призывала к открытию второго фронта, лучше раньше, чем позже, а лучше немедленно. Призыв «Второй фронт сейчас» был написан на стенах по всей Британии. Это была работа агитаторов-лейбористов, которые, по мнению Черчилля, были не кем иным, как «дураками и мошенниками». Неудовлетворенность работой Черчилля распространялась из парламента на заводы и в вооруженные силы. Теперь шотландские и валлийские коммунисты поддерживали лондонскую интеллектуальную элиту, уверенные, что

* Об обороне Севастополя Борис Войтехов написал очерк под названием «Так уходил Севастополь», и в нем нет и намека на приведенные автором книги картины осажденного города.

Черчилль сам является такой же катастрофой, какие происходят под его началом. Газеты Бивербрука, хотя по-прежнему поддерживали премьер-министра, теперь делали упор на моральной стороне борьбы, необходимой для оказания помощи России, как британцы, которые, отмечала Молли Пэнтер-Доунес, «не могли или не хотели признать существование какой-то замены скорейшему открытию второго фронта на континенте». Весна — это время года, написала Пэнтер-Доунес, когда «англичане возвращаются к мыслям о вторжении». Но этим летом британцев волновало не то, когда немцы подберутся к Англии, а когда англичане вступят на континент. Британцы ждали, написала Пэнтер-Доунес, демонстрации «прежней национальной способности к блестящей импровизации, наподобие пиратских налетов, которые часто происходили и иногда вершили историю Англии»[275].

Уже несколько месяцев Маунтбеттен занимался разработкой подобного налета — в качестве цели был выбран Дьеп, стратегический порт на северо-западе Франции. Но Черчилль давно понимал, что в 1942 году не удастся совершить важную в стратегическом отношении высадку в Европе, хотя весь год надеялся, что она состоится в 1943-м году. Однако к июлю стало ясно, что и в 1943 осуществить высадку будет проблематично. Эйзенхауэр написал в мемуарах: «У нас стали появляться сомнения... что удастся предпринять мощное фронтальное наступление в начале весны 1943 года, и, поскольку начинать крупную операцию через Английский канал осенью того года было крайне безрассудно, мы начали понимать, что осуществить широкомасштабное вторжение невозможно до весны 1944 года». Эйзенхауэр нехотя заключил, как Рузвельт, что союзники могут войти во Францию не раньше весны 1944 года, когда помогать русским будет уже поздно. Основной вопрос, который теперь занимал военных планировщиков, сможет ли высадка в Северной Африке или где-нибудь еще улучшить ситуацию в России. Помощник Эйзенхауэра Гарри Бутчер был уверен, что немецкая и японская «индустриальная мощь», вместе с каучуком и нефтью из Малайи, Голландской Ост-Индии и Бирмы, положит конец «Британской империи в том виде, в котором мы ее знали» и заставит Соединенные Штаты занять «оборонительную позицию, оказавшись, по сути, в одиночестве». Time расставил все точки над i: «Гитлер побеждает в России». Если Красная армия не будет сражаться лучше, чем она делает это сейчас, «Россию ждет поражение. Германия выиграет Вторую мировую войну в Европе... Союзники таким образом упустят свой наилучший шанс победить Германию и выиграть Вторую мировую войну»[276].

Пришло время сражаться англо-американцам; если они не будут сражаться, то проиграют войну в Европе. Раздумывая над подобным ужасным сценарием, Рузвельт в начале июля приказал Кингу и Мар-

шаллу помнить о трех «основных принципах», когда в Лондоне они сядут за стол переговоров с британскими начальниками штабов: «ускорить принятие решений; скоординировать наши действия; атаковать и обороняться, а не только обороняться». Американские и британские штабы так стремились взяться за дело, что устроили неформальную встречу 19 июля в отсутствие Черчилля. Это было ошибкой. Черчилль, как министр обороны и в силу возложенной на него ответственности, хотел присутствовать на первой встрече. Подобное нарушение протокола привело Черчилля, который был в Чекерсе, в бешенство. Там, в присутствии Гопкинса, он расхаживал взад-вперед по огромному залу и зачитывал британские законы ведения войны. Закончив читать страницу, он вырывал ее из книги и бросал на пол. Затем, после двухдневных заседаний с британцами, 19-го числа, американцы неохотно согласились, что в 1942 году не удастся вторгнуться в Европу. Спустя три дня они согласились, что теперь целью является Северная Африка. 24 июля операция «Гимнаст» была переименована в «Факел», начало наступления — конец октября. Это означало, что американские солдаты окажутся в зоне боевых действий до выборов; для Черчилля и Брука это был первый шаг на пути к очистке Средиземноморья. Но Эйзенхауэр — который через несколько недель получит третью звезду на погоны и будет назначен командующим операцией «Факел» — видел все в ином свете, нежели Рузвельт и Черчилль. Подобно Маршаллу, Эйзенхауэр считал эту операцию второстепенной по сравнению с «Раундапом», единственное достоинство заключалось в «удержании» немцев после того, как вермахт одержит победу над Красной армией. Поражение Красной армии в конце июля казалось Эйзенхауэру неизбежным. По мнению Айка, «Факел» был колоссальной ошибкой. День, когда Рузвельт одобрил операцию, Эйзенхауэр в разговоре с помощником назвал «самым черным днем в истории»[277].

27 июня Рузвельт телеграфировал Черчиллю: «Я не могу не выразить того мнения, что прошедшая неделя представляла собой поворотный пункт всей войны и теперь мы вступаем на наш путь плечом к плечу». На самом деле они были близки к тому, чтобы начать толкаться плечами. Британские и американские начальники, военные и политические, пришли к соглашению в определении цели, но по разным, возможно, противоречивым причинам. В ближайшие недели стало ясно, что не определены ни конкретные цели в Северной Африке, ни стратегия развития успеха. Сомнения вызывал даже состав сил вторжения. Рузвельт хотел, чтобы американцы осуществляли всю сухопутную часть операции, частично в силу политической необходимости — президент был крайне заинтересован в том, чтобы его партии участвовали в боевых действиях, частично из-за его уверенности в том, что североафриканские французы ненавидят англичан и радуш-

но примут американцев. Он сказал Черчиллю, что если британцы хотят атаковать алжирцев, то они должны будут это сделать через неделю после того, как американцы высадятся на Атлантическом побережье Марокко. Роль британцев в операции, настаивал Рузвельт, должна ограничиваться поддержкой с моря и с воздуха. Это поразило Черчилля. Зная, что Рузвельт сказал об этом своим, Черчилль попытался убедить Эйзенхауэра уговорить президента одобрить по-настоящему совместную англо-американскую операцию. Ему удалось это сделать спустя несколько недель, но его влияние на Рузвельта уменьшалось. Черчилль понял: Гарриман сказал президенту, что «он [Черчилль] будет на вторых ролях и делать только то, что вы ему прикажете»[278].

Что касается Шарля де Голля и отведенной ему роли во вторжении, Рузвельт видел во французе обычного солдата, проявлявшего бонапартистские амбиции, хотя ни в действиях, ни в словах де Голля ничто не выдавало желания стать военным диктатором. Эйзенхауэр понял то, что не смог понять Рузвельт: Виши ненавидели де Голля за то, что не сдался, когда они сдались, и потому, что он обладал качествами, которым не обладали приверженцы Виши, — он был патриотом и мужественным человеком. Рузвельт просто не понял этого, и в результате Вашингтон приказал Эйзенхауэру «ни при каких обстоятельствах» не сообщать французу об операции «Факел». У Черчилля тоже были проблемы с де Голлем, но они явились следствием попыток наладить сотрудничество с упрямым французом и не были направлены против него[279].

Черчилль видел, что основной недостаток первоначального плана «Факела» обусловлен страхом Маршалла, что, если они продвинутся слишком глубоко в Средиземноморье — особенно в Алжир, — его армию могут отрезать. Новость о нежелании американцев атаковать алжирцев произвела эффект разорвавшейся бомбы, сказал Черчилль президенту и попросил, чтобы британцы приняли участие в операции в Алжире и американские войска были перемещены из Марокко с целью облегчить наступление из Алжира на восток, до конечной цели — Туниса. Рузвельт какое-то время обдумывал предложение, но узнал, что Эйзенхауэр полностью согласен с Черчиллем. К середине сентября Рузвельт согласился перебросить 10 тысяч человек на восток, где боевые действия начнутся одновременно с высадкой в Марокко. Для Черчилля с Бруком открылись возможности, которых они давно добивались. По мнению Брука, о втором фронте на континенте не могло идти речи, пока Мальта находится в осаде, а Тунис удерживают силы оси. Черчилль, размышлявший о выведении Италии из войны до нанесения удара по немецкому южному флангу, был убежден, что если «Факел» не будет включать в себя удар из Алжира по Тунису, с обязательным захватом Туниса, то есть риск оказаться в безвыходном

положении. Черчиллю удалось добиться своего по вопросу об Алжире, но американцы с британцами продолжали обсуждать детали и цели «Факела» до конца сентября; это заставило помощника Эйзенхауэра, Бутчера, написать в дневнике: «Пытаться следить за эволюцией «Факела» все равно что пытаться следить за шариком в игре с тремя наперстками»[280].

Во время июльских заседаний американские и британские военачальники присматривались друг к другу, и сделанные выводы не имели никакого отношения к национальности. Дадли Паунд, первый морской лорд, по мнению Брука, был «старой развалиной» и «ему давно следовало уйти в отставку». Шестидесятичетырехлетний Паунд настолько часто засыпал во время заседаний, что вместо него председательствовать на заседаниях стал Брук. «Он [Паунд] спал 90 процентов времени», — написал Брук в дневнике, — а в оставшиеся 10 процентов никто не понимал, что он хочет доказать». Брук не знал, что сонливость Паунда связана с опухолью мозга. Начальник Генерального штаба считал американской копией Паунда адмирала Эрнеста Кинга, «расчетливого и высокомерного», отдающего предпочтение «операциям в Тихом океане». Кинг был давно известен своим вспыльчивым нравом и пристрастием к алкоголю. Он дал зарок не пить во время войны виски, но это, отметил Брук, не относилось к шампанскому и вину, а выпив, Кинг приходил в сильное возбуждение и вел себя агрессивно. Кинг присоединился к Черчиллю и Эйзенхауэру в бруковском пантеоне тех, кому не хватало стратегического видения. У Маршалла, по мнению Брука, тоже «не было стратегического видения, он сосредоточил внимание на создании сил, но не на их использовании». Однако Маршалл разделял стойкую веру Брука в стратегию «Европа в первую очередь», хотя они разошлись во мнениях, где и когда наносить удар. Они оба не спускали глаз с адмирала Кинга. Что касаемо сильных сторон других американских игроков, то Брук считал Эйзенхауэра «неспособным понять реальную стратегию». Командующий ВВС американской армии Хэп Арнольд «интересуется только авиацией», а генерал Марк Кларк «крайне амбициозный и беспринципный». Однако все вместе американцы, позже сказал Брук, «само дружелюбие»[281].

Что касается Черчилля, то он был не слишком высокого мнения о собственных начальниках штабов и высокопоставленных офицерах. О начальниках штабов он как-то сказал своим гостям за завтраком, что «я вынужден вести современную войну древним оружием»[282].

Американские военачальники были такого же невысокого мнения о стратегическом видении своего начальника, как британские военачальники о Черчилле. Маршалл крайне настороженно относился к политикам. Он поклялся никогда не смеяться над шутками Рузвельта и сдержал клятву. Маршалл, хотя был полностью предан Рузвельту и

уважал Черчилля как политика, в первую очередь хранил верность своим войскам. Он не видел достоинства в смерти. Он тяжело переживал гибель солдат, но для него было особенно невыносимо, что причины, которые привели к их смерти, были политическими; «Факел», по его мнению, был связан с политикой[283].

Хотя в апреле Брук (и Черчилль) создали у Маршалла ложное впечатление, что согласны вторгнуться во Францию в 1942 году, генералы отлично поладили в профессиональном плане, вспоминал сэр Йен Джейкоб. И это несмотря на «резкую, отчужденную, высокомерную» манеру поведения Брука; согласно Джейкобу, он говорил быстро, властно и самоуверенно. Кроме того, Брук, вспоминал Джейкоб, во время разговора высовывал язык, как змея, облизывая губы, — дурная привычка, которая отвлекала слушателей от его слов. Если у Брука было чувство юмора, то он хорошо его скрывал[284].

По сравнению с Бруком угрюмый Джордж Маршалл был шутником. Он — к счастью для альянса — не знал о дневниковых записях Брука, в которых тот презрительно отзывался о своем американском коллеге. Брук назвал Маршалла «великим человеком, джентльменом, прекрасным организатором, но уж точно не стратегом». Брук назвал «ничтожнейшими» стратегические способности Маршалла. Маршалл, в свою очередь, примерно так же думал о Бруке. Он сказал Гопкинсу, что, хотя Брук «мог бы стать хорошим солдатом, ему не хватает мозгов Дилла». Брук, относившийся ко всему критически, был нацелен исключительно на победу в войне. Спустя годы, когда он готовил дневники к публикации, то постарался объяснить большинство своих критических замечаний, выделив их курсивом. К тому времени Маршалл был умирающим стариком, и давняя писанина Брука не могла умалить вклад Маршалла в американскую и европейскую историю. Эйзенхауэр к тому времени стал президентом, и это поразило Брука, написавшего: «Во время первой встречи он не произвел на меня большого впечатления... и если бы мне тогда сказали, какое его ожидает будущее, я бы ни за что не поверил»[285].

Брук был сторонником равноправия; он критиковал всех, американцев и британцев, и больше всего — Маунтбеттена и Черчилля. Черчилль, сделал вывод Брук, «никогда не сомневался в том, что он [Черчилль] унаследовал военный гений своего великого предка герцога Мальборо!». Но он был не в состоянии «понять стратегическую концепцию в целом, и ему приходилось изучать детали!». Как все, кто имел дело с Черчиллем, Брук усвоил, что «с ним невозможно спорить», и если он даже уступал в каком-то вопросе, то затем «отказывался от всего, с чем согласился»[286].

Особенно жестоким нападкам Брука подвергся Дики Маунтбеттен, которого начальник Генерального штаба считал «ужасным занудой», который «всегда говорит о пустяках и тратит попусту чужое время».

Маунтбеттен «страдает от отчаянно нелогичных рассуждений», написал он в дневнике, «вечно сбивающих с толку»[287].

В начале лета пересеклись пути Эйзенхауэра и Бернарда Монтгомери. За несколько недель до июльских встреч Эйзенхауэр нанес визит вежливости Монтгомери, который командовал 3-й дивизией на юго-востоке Британии. Айк совершил ошибку, когда закурил сигарету «Честерфилд», пока ждал, когда Монти закончит заседание штаба. Аскетичный Монтгомери (убежденный противник табака и алкоголя) почувствовал запах табачного дыма и крикнул, что, кто бы там ни был, он должен немедленно затушить сигарету. Эйзенхауэр подчинился, и это был его первый урок в отношении воинственных англичан: Монти нравилось, чтобы все делали так, как он сказал, и никак иначе. Как и на поле боя, где он предпочитал, чтобы боевые действия разворачивались в строгом соответствии с его хорошо продуманными планами. А Черчилль любил цитировать наполеоновский принцип: глупо пытаться сформировать «картину» битвы, поскольку Божий промысел легко может спутать все планы. Черчилль столкнулся с аскетизмом Монтгомери в прошлом году, когда после инспектирования войск Монтгомери у Брайтона он отправился вместе с Монти в отель Royal Albion, где Черчилль предвкушал насладиться хорошим виски и сигарой. Монти отказался от выпивки, заявив, что не пьет и не курит и, более того, находится в отличной физической форме. Черчилль ответил, что он пьет и курит и находится в отличной физической форме[288].

Трезвенник Монтгомери, в своих мятых вельветовых брюках и неуставном свитере с высоким завернутым воротником, был не из тех, кто часто сидел за черчиллевским обеденным столом, но он хорошо показал себя во Франции и Дюнкерке. Монтгомери был эгоистичным и грубым человеком, но отличным воином, за что его уважал Черчилль. В конце июля казалось невероятным, что Эйзенхауэр, Монтгомери и Черчилль, абсолютно не схожие по характеру, в ближайшее время будут руководить жизненно важными военными операциями в непосредственной близости друг к другу ради общего успеха. В последнюю неделю июля Черчилль, которого беспокоили события на Ближнем Востоке и в Кремле, собирался нанести визит в оба этих места. Эйзенхауэр приступил к планированию кампании в Северной Африке. В это время Монти, на юго-востоке Британии, томился в ожидании маловероятного немецкого вторжения и еще более маловероятного повышения в должности и отправки в зону активных боевых действий.

14 июля гитлеровская армия на Восточном фронте занимала Воронежский плацдарм, но 4-й танковой дивизии группы армий «Б» потребовалась неделя, чтобы взять город. Они дорого заплатят за эту задержку при смене сезонов. В это время 6-я армия Паулюса в соответствии с первоначальным планом наступала в южном направлении

по западному берегу Дона. Немецкие войска продвинулись на 140 миль дальше по сравнению с летом прошлого года, но из-за задержки 4-й танковой армии в Воронеже и быстрого наступления армии Паулюса на юг группа армий «Б» слишком растянулась. К тому моменту Сталин отменил приказ «стоять до последнего» и позволил Красной армии отступать, что уменьшило шансы советских солдат оказаться в окружении и попасть в плен. В результате, хотя немцы взяли в плен более 90 тысяч солдат в Донецком коридоре со времени своей победы под Харьковом, в пять раз больше русских солдат отступили, чтобы продолжить борьбу. Тем не менее к началу августа германская армия прошла еще 150 миль. Ростов-на-Дону, ворота на Кавказ, пал, а с ним прервалась последняя связь по железной дороге с бакинскими нефтяными месторождениями. Для Сталина это было личным оскорблением; в 1908 году он ограбил поезд Ростов—Москва, чтобы помочь делу революции. По этой же причине он ограбил Тифлисский банк в родной Грузии, оставив три трупа. Ростов и Грузия были дороги его сердцу. Теперь они принадлежали Гитлеру.

На юге части 1-й танковой армии группы армий «А» 5 августа подошли к Ставрополю, в сотне миль от предгорий Кавказа. 9 августа, промчавшись по Кубанской степи, немецкие танки находились уже в пределах видимости нефтяных вышек Майкопа. Вдали, на северо-востоке, группа армий «Б», без Бока, которого Гитлер отправил в отставку за задержку в Воронеже, продолжила наступление и вскоре достигла северной части излучины Дона. 6-я армия Паулюса уверенно направлялась к Волге и Сталинграду. В Москве, Лондоне и Вашингтоне задавались одним вопросом: немцы обойдут Сталинград стороной или попытаются взять его? На самом деле 23 июля Гитлер издал Директиву № 45, приказ, который сэр Джон Киган назвал «самым ужасным из всех, изданных за его подписью». Фюрер приказал группе армий «Б» захватить и удерживать Сталинград, пока группа армий «А» перейдет в наступление, которое должно закончиться захватом Кавказа. Для Советского Союза Сталинград имел важное стратегическое значение, вот почему Гитлер в апрельской директиве приказал стереть его с лица земли. Но уничтожить позицию не то же самое, что удержать ее. Сталинград имел для Гитлера символическое значение, поскольку был назван в честь большевистского соперника. Приняв решение нанести символическое поражение Сталину, фюрер отрекся от Клаузевица[289].

Сталин позволил своим войскам отступать с того момента, как немцы пересекли Дон, но пять дней спустя Гитлер издал директиву о взятии Сталинграда; в ответ Сталин издал приказ: все имеющиеся в распоряжении силы бросить в Сталинград и «ни шагу назад»*.

* Приказ № 227 «Ни шагу назад!», подписанный Сталиным, был издан 28 июля 1942 года, в период тяжелейшего военного кризиса после поражения советских войск под Харьковом и сдачи Ростова-на-Дону.

«Умереть — но не отступать» — было приказано войскам на берегах Волги[290].

Западные ежедневные газеты вносили изменения в карты Русского фронта, по мере наступления немцев на восток. Требовалось много черных чернил, чтобы отметить территорию, захваченную немцами. Однако карты не отражали реальную ситуацию. Группа армий «А» растянулась по 500-мильному фронту и, хотя наступала по всему фронту, не могла удержать территорию. Танковые передовые части давно обогнали пехоту, которая преодолевала в день 9—15 миль. Еще дальше в тылу транспорты снабжения с трудом двигались по дорогам, не предназначенным для движения современного транспорта. В результате, написал сэр Джон Киган, фронт был настолько широким, что в некоторых местах всего несколько сотен немцев «удерживали» десятки миль земли. Западные читатели, всерьез принимавшие все сообщения, были встревожены тяжелым положением на Восточном фронте. Однако сталинские генералы считали, что не все так плохо, и у них еще есть возможности[291].

Когда вотум недоверия остался позади, а решение в пользу «Факела» было принято, Черчилль переключил внимание на Египет и на Сталина. Опираясь на расшифровки «Ультра», он уже несколько недель подталкивал Окинлека атаковать Роммеля, чего, по мнению Брука, делать не следовало. С помощью «Ультра» Черчилль мог заглядывать своим генералам через плечо, словно был с ними на поле боя, изучая разведывательные донесения. Но иногда «Ультра» ошибалась. Черчилль принял (расшифрованные) просьбы Роммеля о подкреплении за чистую монету, в то время как некоторые в Блетчли предупреждали его, что Роммель может преувеличивать свои потребности, чтобы заставить Берлин шевелиться. Один раз Черчиллю удалось поддеть Окинлека цитатой из шифровки люфтваффе, согласно которой у немцев было в два раза меньше танков в Африке, чем думал Окинлек, опиравшийся на данные своей разведки. Но в Блетчли ошиблись; в шифровке говорилось только о тех немецких танках, которые были на фронте Окинлека. Роммель, после того как предпринял несколько тщетных попыток атаковать позиции Окинлека в Эль-Аламейне в первые недели июля, перешел в оборону и ждал обещанное подкрепление. За июньскую победу над Ричи Гитлер присвоил ему звание генерал-фельдмаршала и прислал маршальский жезл. Узнав, что Гитлер посылает ему маршальский жезл, Роммель, как говорят, ответил: «Лучше бы он послал мне дивизию». Оценив ситуацию в Северной Африке, Черчилль пришел к выводу, что там требуется его присутствие[292].

Стояла задача попасть в Египет, не подхватив в пути какую-нибудь болезнь. Для того чтобы избежать встречи с немцами, придется по-

тратить на перелеты порядка пяти дней — сначала на юг, от Гибралтара до Такоради, порт британской колонии Золотой Берег (совр. Гана), а затем три перелета в Центральной Африке. Требовалось сделать несколько прививок (некоторые начинали действовать только через десять дней), поскольку предстояло совершить поездку, как говорил Черчилль, по «тропическим, малярийным районам». Доктор Уилсон и военный кабинет умоляли Черчилля отказаться от этой идеи. Но надо же, чтобы именно в ту неделю стало известно о величайшем открытии в области медицины. Два американских врача, приехавшие в Лондон из Университета Джонса Хопкинса, рассказали Гарри Бутчеру за несколькими бутылочками портвейна о новом лекарстве «под названием пенициллин, которое получают из хлебной плесени». Такое лекарство сделало бы путешествие Черчилля безопаснее, но еще не было налажено массовое производство. Черчиллю стоило отказаться от поездки, учитывая опасность со стороны африканских насекомых и немецких истребителей[293].

Но тут американский летчик, двадцатишестилетний капитан Уильям Вандерклут, перегонявший бомбардировщики по ленд-лизу в Великобританию, предложил дерзкий план: отправиться из Англии в Гибралтар поздно вечером на четырехмоторном бомбардировщике B-24, утром заправиться в Гибралтаре, затем, вылетев в сумерки с Гибралтара, пролететь над испанским Марокко, взять курс на юг, ночью лететь над пустыней, затем повернуть на восток, взяв курс на Каир. Предстояло совершить 2000-мильный перелет. Полностью заправленный Liberator мог лететь порядка 17 часов со средней скоростью 240 миль в час.

Черчиллю идея понравилась и понравилось само средство передвижения, модифицированный B-24 Liberator под назва́нием Commando. Бомбодержатели сняли и в средней части самолета установили восемь кресел. В хвосте самолета соорудили две койки, чтобы высокопоставленные пассажиры могли отдохнуть. В общем, постарались создать комфортные условия, хотя в данном случае едва ли можно было говорить о комфорте. Самолет не отапливался, был негерметичным, на большой высоте требовалось надевать кислородную маску — еще один источник волнения доктора Уилсона, который опасался, что холодный, разреженный воздух может сказаться на сердце. Черчилль, не разделявший опасений Уилсона, попросил команду обслуживания обеспечить его такой кислородной маской, которая позволила бы ему курить сигару. Требование, естественно, удовлетворили. Предложенный Вандерклутом маршрут позволял долететь до Каира за 23 часа, вместо того чтобы провести пять дней среди «центральноафриканских жуков». Если они могут долететь до Каира, то почему бы им не долететь до Москвы? Черчилль еще не встречался со Сталиным и чувствовал, что личная встреча — наилучший способ установить отношения и разрядить обстановку. Черчилль принял решение: он полетит

в Каир. Когда 31 июля Сталин пригласил Черчилля в Москву, в маршрут внесли изменение, и теперь он включал Кремль. Полет тяжелый даже для молодых летчиков, был очень утомительным для старика с избыточным весом, больным серцем и хроническим бронхитом, который в качестве лекарства использовал нюхательный табак и виски, запасы которого Сойерс спрятал в бомбовом отсеке Commando[294].

Брук вылетел из Британии в Каир ранним утром 1 августа, через Мальту. Путешествие было слишком опасным, чтобы Брук с Черчиллем летели на одном самолете. В прошлом году Иден с Диллом летели через Мальту в Грецию и чуть не улетели в море. Немецкие и итальянские истребители рыскали в поисках следовавших в сопровождении «Спитфайров», одиноких британских бомбардировщиков, на борту которых, предположительно, находились важные персоны. Прибывший на Мальту Брук столкнулся с «немыслимыми» разрушениями, нехваткой продовольствия и топлива; в гавани плавали обломки судов, население было на грани голода. Столь острой была нехватка топлива, что генерал-губернатор Мальты Джон Стендиш Горт был вынужден ездить по острову на велосипеде. Горт казался «подавленным»; он со своим небольшим гарнизоном ждал в этой «тихой заводи» окончательный удар немецких войск, неизбежность которого была продиктована хорошо продуманной стратегией. Решение о совместном немецко-итальянском вторжении было принято в апреле, но за несколько дней до приезда Брука — британцы этого не знали — Гитлер, не забывавший о том, во что ему обошлось вторжение на Крит, отложил вторжение на Мальту, поскольку Роммель, похоже, самостоятельно мог добраться до Каира[295].

Черчилль покинул Лондон сразу после полуночи, 1 августа. Телеграмма от Дилла из Вашингтона настигла его на летном поле; в нем говорилось: «Американцы считают, что проведение «Факела» исключает возможность осуществления «Раундапа» в 1943 году». Совсем не это Черчилль хотел услышать, учитывая, что после Каира он отправлялся в Москву, чтобы сообщить Сталину о невозможности открытия второго фронта в Европе в 1942 году; свою трудную миссию он сравнил с «доставкой глыбы льда на Северный полюс». Он не был готов сообщить, что операции не будет и в 1943 году. Но польза от телеграммы все-таки была: она покажет Сталину, что не Черчилль единолично, а британцы вместе с американцами принимают решение о втором фронте. А чтобы аргументы звучали убедительнее, Рузвельт, по просьбе Черчилля, приказал Авереллу Гарриману встретить Черчилля в Каире и поехать с ним в Москву[296].

Черчилль с телеграммой Дилла поднялся на борт Commando. В бомбовом отсеке лежали коробки с сухим пайком; места для кухни не было, так что о горячем завтраке нечего было и мечтать. На маленькой газовой походной плитке можно было вскипятить воду для чая и

для черчиллевской грелки. Вместе с Черчиллем поехали Томми Томпсон, врач Черчилля, инспектор Томпсон, Сойерс, Йен Джейкоб, два секретаря и Александр Кадоган, представлявший министерство иностранных дел. Иден остался в Лондоне. Клементина приехала проводить мужа и наблюдала, как «огромный бомбардировщик, с ревом и скрежетом, мерцая голубыми огнями» взлетел в ночное небо. Commando низко летел над неосвещенной Южной Англией, миновал Лендс-Энд, и над Атлантикой поднялся на высоту 15 тысяч футов и пролетел 1500 миль до Гибралтара. Черчилль сказал Бруку, что хочет использовать накладную седую бороду, чтобы его не узнали вражеские агенты, проникшие на Гибралтар. День он провел в Гибралтаре и вечером вылетел в Каир. Перед рассветом Черчилль выбрался из бомбового отсека, сел в кресло второго пилота и, посмтрев вниз, увидел «в сизой дымке рассвета извивающуюся бесконечную серебряную ленту Нила»[297].

Он впервые увидел реку более сорока лет назад, и, хотя в то время еще не занимался рисованием, его описание свидетельствовало о человеке с художественным вкусом: «Голубая шелковая нить, протянувшаяся по огромному коричневому тканому полотну; и хотя эта голубая нить в течение половины года была коричневой... картину, написанную в красно-коричневых тонах, оживляли небольшие мазки зеленого». В Каире покрытые побелкой бетонные постройки в зелени; западная окраина города тянулась к пирамидам в Эль-Гизе. Роммель, на прошлой неделе опять подвергший испытаниям линии Окинлека, находился всего в 140 милях к северо-западу. И вот сюда прибыл Черчилль, страшно довольный тем, что благополучно добрался до места[298].

Он приехал не для того, чтобы хвалить Окинлека, но еще не решил, стоит ли снимать его с должности. Черчилль был уверен в двух вещах: 8-й армии нужен новый командующий (Окинлек принял командование после отставки Ричи) и Окинлек должен вернуться в Каир, чтобы принять командование всем ближневосточным фронтом, протянувшимся от Тегерана до Эль-Аламейна. Брук пребывал в твердой уверенности, что Окинлек утратил доверие 8-й армии, что он плохо разбирается в людях и его следует заменить. Черчилль, не столь уверенный в этом, пригласил Яна Смэтса, генерала, которого очень уважал, на совещание в Каир. Из Индии прибыл Уэйвелл, чтобы сообщить Черчиллю с Бруком, как развиваются события на этом театре военных действий. Черчиллю стало ясно, что Уэйвелл и Окинлек настолько заняты непосредственной угрозой своим фронтам, что оставили Ирак и Иран без внимания, и это при том, что немцы двигались к Баку и Кавказу. Брук уже несколько недель доказывал необходимость смены командования. Черчилль предложил назначить новое командование в Багдаде, которое будет называться ближневосточным. Черчилль «всегда считал, что название Средний Восток для Египта,

Леванта, Сирии и Турции было выбрано неудачно. Это Ближний Восток. Персия и Ирак представляют Средний Восток; Индия, Бирма и Малайя — Восток; а Китай и Япония — Дальний Восток... но гораздо большее значение, чем перемена названий, имеет необходимость разделить существующее командование на Среднем Востоке, которое было слишком разнородным и громоздким. Теперь наступило время произвести это изменение в организации». Встал вопрос: кто и где будет командовать[299].

Окинлек решил свою судьбу, порекомендовав генерал-лейтенанта Томаса Корбетта на должность нового командующего 8-й армией. Корбетт, по мнению Брука, был «человеком незначительным» и «абсолютно не подходил» для этой должности, что явилось лишним доказательством того, что Окинлек не разбирается в людях. 8-я армия была истощена. Войска, сказал Черчилль военному кабинету, готовы отступить к дельте Нила, если их будут атаковать. Вечером 3 августа Черчилль допоздна проговорил с Бруком, убеждая начальника Генерального штаба, что Окинлеку необходимо вернуться в Каир, чтобы принять командование Средним Востоком, а во главе 8-й армии поставить нового командующего. Это заставило Брука написать в дневнике: «Именно об этом я говорил ему с самого начала!» Черчилль предложил командование Бруку, что было крайне для него соблазнительно, поскольку во Франции он «почувствовал вкус командования формированием во время войны». Однако он понимал, что не подходит для этой роли, поскольку не имеет опыта ведения войны в пустыне, о чем и сказал Старику[300].

6 августа, побывав на фронте с Окинлеком и побеседовав с Корбеттом, которого нашел приятным, но бесхарактерным, Черчилль принял решение освободить Окинлека от командования в Каире и направить его в Багдад. Затем планы изменились. Черчилль предложил должность Окинлека Бруку, который, как и Маршалл, хотел принять командование подобным театром военных действий, но был достаточно честен с собой, чтобы понимать (как тремя днями ранее, когда получил предложение командовать 8-й армией), что ему не хватает опыта ведения боевых действий в пустыне. Что еще важнее, Брук не был эгоистом и не хотел перекладывать на чужие плечи груз ответственности работы с Черчиллем. Начальник штаба сделал вывод (ему не пришлось долго убеждать в этом Черчилля), что самое лучшее, что он может сделать для Англии, — это оставаться рядом с Черчиллем, что бы ни случилось. Черчилль телеграфировал военному кабинету, немедленно выехать сюда Гарольду Александеру, чтобы заменить Окинлека. Но Александер только что был назначен командующим британскими силами в операции «Факел» и уже начал разрабатывать план операции вместе с Эйзенхауэром. Что касается 8-й армии, то Брук отдавал предпочтение Монтгомери, которого поддерживал на

протяжении многих лет. Черчилль считал более удачной кандидатуру Уильяма («Штурмовика») Готта, человека, который вместе со «свободными французами», в мае удерживал Роммеля в течение недели, тем самым спас армию Ричи и, возможно, Каир. Брук считал, что Готт устал и ему нужно отдохнуть, а не принимать новое командование. Черчилль, который провел часть дня с Готтом, думал иначе. Премьер-министр добился своего. Штурмовик Готт принял командование 8-й армией. Бернард Монтгомери должен был заменить Александера в «Факеле», и Лондон сообщил Эйзенхауэру об этих изменениях[301].

На следующий день Черчиллю сообщили о гибели Гота; его самолет был сбит, когда генерал летел с фронта в Каир, чтобы принять горячую ванну и несколько дней отдохнуть. Черчилль с Бруком, огорченные и расстроенные потерей Готта, начали искать ему замену и остановились на Бернарде Монтгомери. Черчилль, чтобы Эйзенхауэр не решил, что его британские союзники никак не могут принять решение, отправил телеграмму в Лондон с просьбой не сообщать Эйзенхауэру о назначении Монтгомери. Но Монтгомери уже прибыл на доклад в штаб Эйзенхауэра. Пришлось Исмею сообщить Эйзенхауэру, что Монтгомери тоже направляется в Египет и что командование в операции «Факел» осуществляет другой, третий по счету, британский генерал. Эйзенхауэр, когда ему сообщили об этих заменах, сказал Исмею: «В вашей армии, похоже, много Веллингтонов. Скажите честно, британцы серьезно относятся к «Факелу»?»[302]

Черчилль относился серьезно. 8 августа он отстранил Окинлека от командования, предложив генералу в качестве утешительного приза новое командование Средним Востоком в Багдаде. Эта сфера действий сейчас меньше, чем Средний Восток, признался Черчилль, учитывая, что сейчас правительство не может выделить много войск для Ирака и Персии, но «через несколько месяцев она может стать ареной решающих операций». Довольно странно, что Черчилль предложил Окинлека командующим в Ираке, учитывая их с Бруком неуверенность в Окинлеке и опасения, что Гитлер может нанести удар по Ираку с Кавказа. Но после нескольких дней раздумий Окинлек отказался. По мнению Брука, Окинлек повел себя «как обиженная кинозвезда», вместо того чтобы выполнить свой долг и принять на себя командование, где «более чем вероятно, мог восстановить репутацию командующего». Но Брук знал прекрасно: 10-я армия в Ираке была, как ни печально, не готова отразить немецкую атаку, и у британцев не имелось резервов, которые можно было бы направить в Ирак. Если Гитлер прорвется к Ираку, 10-й армии не останется ничего, как подчиниться судьбе. Понимая это, Окинлек отправился в Индию и вышел в отставку. Черчилль, испытав облегчение от принятого решения, пошел на берег, где, как он позже рассказал Гарольду Николсону, «разделся и плескался в волнах. Я еще никогда так хорошо не купался»[303].

Черчилль сообщил в письме Клементине об изменениях в командовании и с уважением отозвался о Смэтсе: он «придавал мне твердости, когда я был склонен проявить мягкосердечность, особенно когда мне приходилось действовать сурово в отношении людей, которые мне нравились». Спустя три месяца он примерно то же самое сказал Гарольду Николсону в отношении отставки Окинлека, объяснив, что ему было очень тяжело объявлять Окинлеку об отстранении от должности, но «Окинлек воспринял этот удар с достоинством солдата. Черчиллю, возможно, действительно очень нравился Окинлек, но он сообщил ему об отставке письмом, а не при личной встрече[304].

«Вот как он это сделал, — вспоминал Боб Бутби, — написал «Вы освобождены», подписался красными чернилами, а под подписью поставил инициалы У.С. Ч. Когда он кого-то увольнял, никогда не благодарил. Не припомню, чтобы он хоть кого-нибудь за что-то благодарил». На Уайтхолле увольнение Черчиллем называлось «награждение увольнением». Бутби был частично прав, поскольку на его воспоминания повлияло собственное увольнение из правительства. В начале 1941 года его обвинили в вымогательстве денег у чехов, которые обращались к нему за помощью в получении вкладов, конфискованных британским правительством после Мюнхена. Бутби, в начале 1930-х претендовавший на место премьер-министра, заимел много врагов среди тори, когда выступал против Чемберлена. В 1941 году, выдвинув в качестве разумного основания историю с чешскими вкладами, эти враги решили от него избавиться. Бутби хорошо выступал в свою защиту в палате против обвинений в мошенничестве, чем снискал расположение Черчилля в этом деле. В тот день, вернувшись из палаты, Черчилль сказал Колвиллу, что «в мире есть вещь, которую он считает гнусной, — преследование людей». Тем не менее Черчилль не пришел на помощь Бутби, и тот защищался в одиночку. Он сумел сохранить за собой место в палате общин, но лишился должности в министерстве продовольствия. «Я не смог простить этого Черчиллю. Он разрушил мою карьеру во время войны», — позже вспоминал Бутби[305].

Однако есть в истории Бутби нечто общее со всеми воспоминаниями тех, кто не поладил с Черчиллем. Бутби не простил Черчилля, но понимал, что черчелливская «бессердечность и холодность помогли ему стать великим лидером». У Черчилля был свой странный способ благодарить тех, кто ему служил. После войны он включил Бутби, ярого сторонника единения Европы, как одного из первых пяти делегатов от Британии в Совет Европы в Страсбурге. Затем Черчилль способствовал получению Бутби рыцарского звания. До конца жизни Черчилля они обедали вместе.

Окинлек входил вместе с Бутби, Маргессоном, Уэйвеллом, Диллом, генералом Аланом Каннингемом, доктором Тизардом и адмиралом Дадли Нортом в черчиллевский список тех, кто, по его мнению,

не обладал необходимыми качествами. Черчилль считал, что большинству его адмиралов и генералов не хватает смелости, и уволил нескольких, поскольку обладал большими полномочиями и непримиримым характером, когда чувствовал недостаток решимости. Адмиралы Королевского военно-морского флота, однажды сказал Черчилль Паунду, «похоже, абсолютно не способны действовать». Еще хуже, что некоторые — включая, считал Черчилль, Эндрю Каннингема на Крите — боятся «понести большие потери», вместо того чтобы вступить в бой с врагом. Они «увиливают» от выполнения долга, сказал Черчилль Колвиллу. Черчилль был настолько деспотичным, что Гитлер сказал своим генералам, что им повезло работать под началом такого разумного лидера, как он, а не под началом эксцентричного Черчилля[306].

Боб Бутби считал, что черчиллевская безжалостность в отношении подчиненных обусловлена не какой-то скрытой склонностью к злонамеренности, а исключительно необходимостью одолеть Гитлера. Черчилль и сам так считал; в письме, упоминая об отставке Окинлека, он сообщил, что изменения в Каире «были необходимы для победы». Что касается Бернарда Монтгомери, который 10 августа спешно отправился в Египет к новому месту назначения, Черчилль сказал Клементине: «Монтгомери... смелый и энергичный солдат», которого «не любит его окружение, но враг его тоже не любит»[307].

Пока Черчилль решал дела с Окинлеком, на острове в южной части Тихого океана, о котором немногие слышали в Лондоне и Вашингтоне, произошли важные события. Рано утром 7 августа почти 10 тысяч американских морских пехотинцев из 1-го и 5-го полков 1-й дивизии морской пехоты высадились на побережье острова Гуадалканал, где японцы почти закончили строительство аэродрома, с которого собирались атаковать американские суда, направлявшиеся в Австралию. У большинства морских пехотинцев были «Спрингфилды», винтовки времен Первой мировой войны. Они быстро очистили побережье и на следующий день захватили аэродром. Они лишились большой части снаряжения и продовольствия, поскольку 8 августа адмирал Фрэнк (Джек) Флетчер под командованием которого уже затонуло два авианосца, увел свои корабли домой, объяснив это необходимостью дозаправки (то же самое он проделал в декабре с пехотинцами на острове Уэйк), чем заслужил глубокую неприязнь морских пехотинцев и кличку Фрэнк Всегда Заправка Флетчер. Однако морские пехотинцы хотели удержать позиции. Америка сделала первый шаг на пути к Токио. Действия американцев на Гуадалканале заставили Черчилля вернуться к мысли, которая преследовала его с января: продолжат ли американцы свой путь к Токио в ущерб Европейскому фронту?[308]

Поздно вечером 10 августа Черчилль отправился из Каира в Тегеран, первый этап путешествия в Москву и «визита в логово людоеда», как неделю назад назвала это путешествие Клементина в письме мужу. В своих воспоминаниях Черчилль написал: «Я размышлял о своей миссии в это угрюмое, зловещее большевистское государство, которое я когда-то так настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть до появления Гитлера считал смертельным врагом цивилизованной свободы. Что я должен был сказать им теперь? Генерал Уэйвелл, у которого были литературные способности, суммировал все это в стихотворении, которое показал мне накануне вечером. В нем было несколько четверостиший, и последняя строка каждого заканчивалась словами: «Не будет второго фронта в 1942 году».

Брук изложил свое мнение о Москве в дневнике: «Лично я считаю, что наша политика с русскими была неправильной с самого начала и все началось с Бивербрука. Мы заискивали перед ними», даже не просили информацию о советском «производстве, войсках, планах и т. п. В результате они нас презирают, не приносят нам никакой пользы, а только пытаются получить пользу от нас»[309].

Три самолета B-24 «Либерейтор» должны были доставить их в Москву, включая Брука, маршала авиации Теддера, Кадогана из министерства иностранных дел и Арчи Уэйвелла, который говорил по-русски. Слишком большая группа, написал Брук, а все потому, что Черчилль считал, что присутствие генералов, адмиралов и маршалов «придаст ему больше значимости»[310].

Гарриман прибыл в Тегеран за два дня до Черчилля и использовал это время для инспектирования иранских железных дорог. Он пришел к выводу, что «ничего хуже не видел», а он в этом разбирался как никто другой. Когда Черчилль прибыл 11 августа в Тегеран, Гарриман предложил, чтобы армия Соединенных Штатов приняла на себя руководство железными дорогами для ускорения поставок по ленд-лизу для Сталина. Черчилль предложил обсудить этот вопрос осенью. Гарриман полетел в Москву вместе с Черчиллем на Commando. Маршрут самолета проходил восточнее Каспия, чтобы избежать встречи с немецкими истребителями. В самолете стоял такой гул, что они обменивались записками, если хотели что-то сказать[311].

Брук со своей группой летел в другом B-24, но, когда один из двигателей отказал, им пришлось вернуться в Тегеран. На следующий день Брук с компанией поднялись на борт американского самолета DC-3, который русские получили по ленд-лизу и оборудовали мягкими креслами и персидскими коврами. Они летели на север и должны были дозаправиться к западу от Баку. К удовольствию Брука, самолет спугнул тысячи водоплавающих птиц, когда низко пролетал над дельтой Волги. Затем самолет взял курс на север вдоль побережья Каспийского моря, Кавказ был всего в 20 милях к западу. Лежавшая внизу долина, между

морем и горами, была главной линией наступления из России в Иран. Немцы наступали с севера, и Брук ожидал увидеть огромное количество окопов, противотанковых заграждений и бетонных укреплений. Но ничего не увидел. «Задняя дверь, похоже, была настежь открыта для немцев, которые прошли через нее, чтобы атаковать русские южные пути снабжения, — написал он, — и, что важнее, атаковать ближневосточные нефтяные месторождения в Персии и Ираке!»[312]

По пути в Москву Черчилль узнал, что конвой из одиннадцати кораблей, направлявшийся из Гибралтара на Мальту, в результате атаки немецких подводных лодок и самолетов потерял восемь кораблей и авианосец сопровождения. Три оставшихся корабля доставили на Мальту 12 тысяч тонн продовольствия и топлива. Это была помощь, но какой ценой. Черчилль был недоволен не только потерей кораблей, но и потому, что знал, что Сталин потребует восстановить арктические конвои, для которых сейчас попросту не хватало судов[313].

После десятичасового перелета из Тегерана Черчилль прибыл в Москву во второй половине дня 12 августа. Его встретил Молотов; они сели в пуленепробиваемую машину и на большой скорости помчались на дачу, которая располагалась в 20 километрах от Москвы. Там, приняв горячую ванну, Черчилль заметил, что все в гостевом доме было «подготовлено с тоталитарной расточительностью». Через три часа Черчилля отвезли в замаскированный Кремль. Сталин был одет в серую крестьянскую блузу из грубого сукна, подпоясанную красивым кожаным ремнем ручной работы, и брюки из той же ткани, заправленные в сапоги. У него были желтые глаза, лицо в оспинах, плохие зубы и жесткие седые усы. Гарриман подумал, что он выглядит значительно старше и хуже, чем в прошлом году. Маршал Советского Союза и Черчилль были примерно одного роста, около 5 футов и 7 дюймов; Черчилль на дюйм выше. Черчилль смотрел в глаза собеседнику, взгляд Сталина был устремлен вдаль, словно он не слушал то, что ему говорили. Но он слушал. Гарриман описал три встречи, которые имели место в последующие три дня, как «жаркие и холодные» — очень жаркие и очень холодные[314].

Первая встреча, длившаяся три часа, началась на мрачной ноте, когда Черчилль, сразу перейдя к делу, заявил, что второго фронта во Франции в этом году не будет. Любая попытка открыть сейчас второй фронт окажется провальной и не поможет России. Скорее всего, в результате все войска на побережье будут уничтожены. Но в 1943 году, сказал Черчилль, союзники будут готовы высадить на побережье двадцать семь дивизий, половина из которых танковые.

Сталин, сообщил Гарриман Рузвельту, «принял это предложение в штыки». Сначала он прочел Черчиллю лекцию о необходимости рисковать, чтобы выигрывать войны, и затем заявил, что «не следует так бояться немцев». Черчилль, сохраняя хладнокровие, ответил, что бри-

танские налеты на Германию были успешными и что с участием американцев Германия будет превращена в руины. Тут Сталин несколько оживился, посоветовав подвергать борбардировке не только фабрики и заводы, но и жилые дома. Черчилль не согласился, сказав, что разрушения «домов рабочих» были побочным результатом бомбардировок промышленных объектов. Затем Черчилль перешел к обсуждению операции «Факел», которая, заявил он, фактически была вторым фронтом. Затем, чтобы проиллюстрировать свои разъяснения, Черчилль «нарисовал крокодила и объяснил Сталину с помощью этого рисунка, как мы собираемся нанести удар в мягкое брюхо крокодила и одновременно в его злобную морду». Сталин проявил большой интерес к операции и задал множество вопросов, перед тем как назвать операцию «Факел» обоснованной с военной точки зрения. А потом добавил: «Дай бог, чтобы это предприятие удалось». Странно было услышать такое от лидера атеистической диктатуры (он учился в духовной семинарии, прежде чем посвятил себя революции и убийствам). После нескольких сталинских вопросов об Африканской кампании (в том числе о необходимости привлечения де Голля) встреча закончилась. В целом начало было продуктивным[315].

На следующий день встреча была назначена на поздний вечер, чтобы Брук, Теддер и Кадоган успели добраться до Москвы. Совершив одиннадцатичасовой перелет из Баку, они появились на черчиллевской даче к ужину. Судя по записям, на всех произвело впечатление богатое убранство дачи, мраморные полы, деревянные панели, бесчисленное количество комнат, огромный аквариум с тропическими рыбками (которых Черчилль захотел покормить) и кусты малины со спелыми ягодами в окруженном стеной саду. Но больше всего их поразила еда, разнообразная и обильная, какой они не видели за последние три года. По мнению Кадогана, все это было «довольно пошло». Перед ужином Черчилль рассказал Теддеру о встрече со Сталиным, назвав его «крестьянином», с которым можно иметь дело. Теддер обмер; все, кроме Черчилля, знали, что комнаты напичканы жучками. Теддер написал записку и протянул Черчиллю; она гласила: «Méfiez-vous» («Осторожно»). В Кремле, предупредил Теддер Черчилля, тоже полно жучков. Тогда Черчилль повернулся к стене: «Мне сказали, что русские вообще не человеческие существа. Они стоят в шкале природы ниже орангутангов. [sic] Теперь пусть запишут и переведут на русский»[316].

Вскоре после десяти вечера 13 августа Черчилль отправился в Кремль на вторую встречу со Сталиным. Она оказалась ужасной. Гарриман предвидел это. В прошлом году, когда они с Бивербруком привезли договор о ленд-лизе в Москву, их первая встреча со Сталиным прошла хорошо, но во время второй встречи Сталин был агрессивен, груб и всех оскорблял. Он был таким и в этот раз, когда начал читать меморандум, в котором, по словам Гарримана, было «множество об-

винений» в адрес Черчилля, отказавшегося открыть второй фронт в 1942 году. Сталин потребовал, чтобы фронт был открыт в этом году. Черчилль поступил мудро, пообещав ответить в письменной форме, чтобы приостановить поток взаимных обвинений. Но Сталин продолжал давить на Черчилля, требуя больших жертв со стороны западных держав. Ежедневно погибает 10 тысяч* русских, заявил Сталин. А что делают британцы?

Черчилль принялся расхваливать бомбардировочную кампанию Королевских военно-воздушных сил и пообещал, пока идет война, «разбомбить практически все дома в немецких городах». На это Сталин улыбнулся, но отметил «нежелание» британцев воевать. На самом деле он просто боялся. Он обвинил британцев в краже ленд-лизовских поставок и проворчал, что британцам для разнообразия стоит попробовать сражаться, как это делают русские. Черчилль ответил, что «прощает это замечание только из уважения к мужеству русских солдат». Гарриман, вспомнив прошлогодний опыт, передал Черчиллю записку, в которой просил не принимать Сталина слишком серьезно. Но Черчилль нанес ответный удар и стал говорить так быстро, что переводчик не поспевал за ним. «Вы сказали ему? — спрашивал Черчилль переводчика, и опять: — Вы ему это сказали?» Он хотел, чтобы Сталин услышал каждое его слово. Британцы и американцы не были трусами, и скоро они это докажут. Они с Рузвельтом готовы пожертвовать во Франции 150 тысячами человек, если решат, что это поможет России. Но безрассудством никому не поможешь. «Вы сказали ему это?» — спрашивал он после каждой паузы. По мнению Гарримана, это было «самое блестящее» выступление Черчилля, во время которого он не раз напомнил Сталину о пакте с Гитлером. Сталин наконец облокотился на стол и сказал: «Ваши слова не имеют никакого значения. Что имеет значение, так это ваш боевой дух». Атмосфера стала менее напряженной. Сталин пригласил Черчилля и Гарримана поужинать с ним следующим вечером. В полночь встреча закончилась. Черчилль, ужасно злой, шел по кремлевкским коридорам, «не глядя по сторонам. Он зажег спичку о кремлевскую стену и на ходу закурил сигару»[317].

Черчилль продержал Гарримана до утра, анализируя перемены в поведении Сталина. «Мне кажется наиболее вероятным, — сказал Черчилль, — что его комиссары в политбюро обладают большей властью, чем предполагали на Западе», и они настояли на том, чтобы Сталин занял более жесткую позицию. Гарриман предсказал, что завтра Сталин опять будет в хорошем настроении.

---

* С учетом общих потерь, мирных граждан и военных это не было преувеличением. Каждые три месяца русских умирало больше, чем американцев во всех войнах в американской истории. (*Примеч. авт.*)

Вечером Сталин устроил обед на сорок человек в Екатерининском зале Кремля. Прием, по мнению Гарримана, был менее пышным, чем тот, на который они с Бивербруком были приглашены в прошлом году. Позже Черчилль написал: «Рассказывают глупые истории о том, как эти советские банкеты переходят в попойки. Все это неправда». Вообще-то по большей части так оно и было. Брук назвал банкет «оргией» из девятнадцати перемен и бесконечных тостов; в течение первого часа было поднято более десяти тостов. Стол ломился под тяжестью всевозможных закусок, рыбы, цыплят и молочных поросят. Помощник Сталина генерал Климент Ворошилов напился до бесчувствия, как и в декабре на обеде в честь Идена. Когда Ворошилов чокался со Сталиным, Брук был уверен, что генерал видит не один, а шесть бокалов. Но тосты закончились, как и банкет. Обмен шутками был дружеский, но с подтекстом. Сталин вспомнил замечание, которое сделала леди Астор во время визита в Москву: «Ну что же, с Черчиллем теперь покончено». Маршал сказал Черчиллю, что не согласился с ней, сказав: «Я не уверен. В критический момент английский народ может снова обратиться к старому боевому коню».

Это понравилось Черчиллю, и он спросил Сталина, простил ли он его за то, что он был вдохновителем интервенции против Советской России. «Все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит Богу», — ответил Сталин. Банкет продолжался более четырех часов. Они покинули Кремль в начале второго ночи, и Черчилль, все еще раздосадованный переговорами, которые имели место накануне, сказал Кадогану, что не понимает, что он здесь делает, и планирует вернуться в Лондон, не повидавшись со Сталиным. «Он был, — сказал Кадоган доктору Уилсону, — словно бык на арене, доведенный до бешенства уколами пикадоров»[318].

Но когда он встретился со Сталиным, все прошло хорошо, как и предсказывал Гарриман. Встреча состоялась в семь вечера, в сталинской квартире в Кремле. Стол был накрыт, бутылки откупорены, и снова началось дружеское подшучивание. Черчилль не удержался и упрекнул Сталина в том, что он заключил пакт с Гитлером. Сталин, в свою очередь, спросил, почему британцы пытались сбросить бомбу на Молотова, когда тот был в Берлине в 1940 году. Черчилль ответил: «Во время войны нельзя пренебрегать никакими возможностями». Сталин, расстроенный отменой арктических конвоев, спросил: «Разве у английского флота нет чувства гордости?» Черчилль заверил Сталина, что все делается правильно; он отвечает за свои слова, поскольку «много знает о флоте и морской войне». «Это означает, — вмешался Сталин, — что я ничего не знаю». В ответ Черчилль произнес монолог о разнице между морской державой и сухопутной державой; в мае он уже объяснял это Молотову. Встреча затянулась. Черчилль, который планировал поужинать в этот вечер с польским генералом Владисла-

вом Андерсом, приехавшим в Россию в поисках пропавших без вести тысяч польских офицеров, послал генералу записку с сообщением, что их встреча отменяется. Сталин с Черчиллем разговаривали — и пили — до полуночи, обмениваясь историями и информацией. Черчилль рассказал Сталину, что британцы планируют высадку на французском побережье, в Дьепе; Сталин предложил поделиться с британцами чертежами новой ракеты (он этого так и не сделал). В час ночи подали молочного поросенка. Сталин предложил Кадогану вместе атаковать жертву, а когда Кадоган отказался, Сталин обрушился на жертву в одиночку. Черчилль ушел в три часа ночи с «раскалывающейся от боли головой» (это единственное упоминание о действии алкоголя в его мемуарах). На рассвете он улетел в Тегеран[319].

Он вернулся в Каир 17 августа, придя к выводу, как он позже сказал в палате общин, что Сталин «человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже грубый в своих высказываниях... Однако он сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и народов, и особенно для великих людей и великих народов... Я надеюсь, что заставил его поверить в то, что мы будем верными и надежными соратниками в этой войне, но это в конце концов доказывается делами, а не словами»[320].

Ранним утром 19 августа Луис Маунтбеттен начал самую крупную военную операцию 1942 года, операцию в Дьепе, на земле, на море и в воздухе, в которой было задействовано 5 тысяч, по большей части, канадских пехотинцев, при поддержке тридцати танков «Черчилль». Об этой операции Черчилль рассказал Сталину во время визита в Москву. В Каире Черчилль ждал доклады о результатах. Результаты были ужасными — почти тысяча убитых и 2 тысячи взятых в плен. Черчилль и начальники штабов, одобрившие операцию в Дьепе, несли ответственность за неправильную оценку ситуации Маунтбеттеном.

В первом докладе после боя, дошедшем до Черчилля, Маунтбеттен сообщал, что «у вернувшихся солдат отличный боевой дух... Все, кого я видел, находятся в форме». Учитывая количество погибших и взятых в плен, увидеть он мог немногих. Основываясь частично на ошибочных разведывательных данных, Черчилль телеграфировал военному кабинету: «Результаты полностью оправдывают тяжелые потери». И только спустя недели, когда стали известны реальные цифры потерь, Черчилль понял всю безрассудность этой затеи. Однако с политической точки зрения операция сыграла важную роль, поскольку доказала неоправданность проведения каких-либо операций на Европейском континенте в 1942 году. Даже если бы у союзников было необходимое количество десантных судов для вторжения, а у них не было, результаты Дьепа убедительно свидетельствовали о том, что для подобных операций требуется более значительная огневая мощь, больше танков,

специальных танков для расчистки минных полей и парашютистов для подрывных работ в тылу врага. Это подтверждало утверждение Брука (и Эйзенхауэра), что удержать плацдарм высадки можно только с помощью массированных воздушных бомбардировок немецких позиций и при наличии путей подвоза к побережью. Это говорило о необходимости огневой поддержки с моря в тот момент, когда войска достигнут побережья, и после высадки посредством заградительного огня ликнкоров с дальнего расстояния, а не канонерских лодок с близкого расстояния. Учитывая, что американская 8-я воздушная армия только делала первые шаги, а десятки военных кораблей, необходимых для поддержки любой крупномасштабной высадки, были разбросаны по Атлантике, выполняли функции эскорта конвоев, из Дьепа можно было сделать только один вывод относительно второго фронта: никакие дальнейшие высадки не могут рассматриваться по крайней мере в течение года. Это было понятно любому разумному человеку, но, как несколько дней назад узнал Черчилль, Сталин таким человеком не был[321].

Черчилль любил говорить, что оценивает результаты, а не людей. Кровопролитие в Дьепе могло стоить Маунтбеттену карьеры, и стоило бы, не будь он черчилевским любимцем. Черчилль безжалостно избавлялся от тех, кто ему не нравился, но это не относилось к Маунтбеттену. К концу лета штаб командования комбинированными операциями Маунтбеттена насчитывал более 350 человек, включая десятки американцев. Штаб из небольшого подразделения превратился в феодальное владение Дики. Хотя по бумагам вице-адмирал, генерал-лейтенант и маршал авиации Маунтбеттен отчитывался перед начальниками штабов, на самом деле ему была дарована неслыханная власть, которой он пользовался почти единолично. Брук был невысокого мнения о его командных способностях и еще более низкого мнения о его планах. Однако Дики удалось очаровать многих, включая Франклина Рузвельта, которому, как бывшему моряку и потомку моряков, нравился внешний вид Дики. Леди Эмеральд Кунард, знаменитая своими блестящими приемами, не любила Дики и сказала Джоку Колвиллу, что Маунтбеттен «был одним из самых скучных людей, которых она знала; он думал, что может спрятать необразованность (он не читал книг) под внешней привлекательностью». Но в ближайшие месяцы Черчилль назначит Дики командовать намного более важными театрами военных действий, сначала в Бирме, позже в Индии. Он заслужил доверие Черчилля и, самое важное, его полную преданность. Это все, что ему было нужно[322].

Позже Черчилль написал, что из Дьепа был вынесен важный урок и что канадцы погибли не зря. Но британским военачальникам не требовалась катастрофа, подобная Дьепу, чтобы извлечь урок; им полагалось планировать, а не экспериментировать. Всем, включая Черчилля, ко-

торый в этом случае не уделил обычного внимания мельчайшим подробностям, было хорошо известно, что Маунтбеттен нарушил принципы огневой поддержки и превосходящей силы. Операция полностью провалилась, и множество жизней, принесенных в жертву в попытке осуществить эту операцию, не соответствует достигнутым результатам. Брук обсуждал план операции по меньшей мере на двух штабных совещаниях и не высказывался против плана высадки в Дьепе. И только когда стали известны точные списки погибших, Брук признался в дневнике, что «для подобной операции» общие потери — 3 из 5 тысяч человек — «слишком тяжелые». Обычно Брук сразу обрушивался с критикой на Маунтбеттена, но в этот раз не стал. Как и Черчилль, который в первую очередь подумал о том, что его новый командующий 8-й армией, Бернард Монтгомери, мог приложить руку к планированию этой провальной операции, прежде чем отправиться из Англии в Каир. Но это было не так. На самом деле операция изначально была назначена на начало июля, но из-за ненастной погоды и немецких атак с воздуха ее пришлось отложить. Монтгомери посоветовал забыть об этом плане и никогда к нему не возвращаться. Монтгомери не нес никакой ответственности за Дьеп, а Маунтбеттен избежал этой ответственности. Но Бивербрук сильно переживал из-за смерти своих друзей-канадцев и до конца жизни ненавидел Дики Маунтбеттена[323].

После почти тридцати шести месяцев войны единственный генерал, которому Черчилль не мог не отдать должного, был не британец, а Эрвин Роммель, которого он назвал «великим генералом», выступая перед невероятно удивленными членами палаты общин. В то лето британское правительство провело опрос с целью выяснить мнение общества об армии, которое, написала Молли Пэнтер-Доунес, никогда не согласовывалось с количеством наград, полученных Королевским военно-морским флотом и Королевскими военно-воздушными силами. В числе прочего домовладельцев просили назвать имя «выдающегося генерала». Правительство считало, что респонденты назовут имя британского генерала. Но большой процент опрошенных ответил: «Роммель». Англии и Черчиллю нравились «первоклассные исполнители». Но этим ограничивалось черчиллевское уважение к Роммелю. Перед отъездом из Каира он приказал Александеру и Монтгомери «захватить и уничтожить при первой возможности немецко-итальянскую армию под командованием фельдмаршала Роммеля»[324].

Вечером 23 августа Черчилль, доктор Уилсон и Гарриман вылетели на «Коммандо» из Каира в Гибралтар. Брук со своим штабом вылетел спустя пятнадцать минут на B-24 «Либерейтор». Четырнадцатичасовой перелет проходил над пустыней, Французской Северной Африкой до моря, где из-за низкой облачности они летели всего в 30 футах над Средиземным морем. По мнению капитана, они уже должны были

увидеть Гибралтар, но над водой висел тяжелый туман. Гибралтар не просматривался. Черчилль сел на место второго пилота, как он всегда делал при заходе на посадку. Взглянув в иллюминатор, он высказал опасение, что они могут врезаться в Гибралтар. Вандерклут, занятый управлением самолета, пробормотал несколько успокоительных слов. Через несколько тревожных минут, вспоминал Черчилль, «туман рассеялся и впереди возвышалась гибралтарская скала». Вандерклут посадил самолет, и охранники Черчилля, опасаясь попыток покушения, настаивали, чтобы он остановился в доме губернатора и никуда не выходил. Черчилль отказался, заявив, что хочет осмотреть крепость и для этого представится американским туристом, у которого болят зубы (повязка закроет половину лица). Но он остался в доме губернатора и во время завтрака дал понять, что лучше бы остался в Египте, на фронте, главным образом потому, что согласно «Ультра», через несколько дней Роммель собирается перейти в наступление. Но он был премьер-министром, а не фельдмаршалом, и его место было в Лондоне, а не на передовой. Вечером, в бешенстве оттого, что приходится лететь не на фронт, а с фронта, он сел в самолет[325].

Роммель атаковал 31 августа. «Что мне требовалось, — позже написал Монтгомери, — так это битва, которая будет вестись в соответствии с моими представлениями». Так и случилось. Роммель хотел обойти 8-ю армию с южного фланга, по Катарской впадине, точно так, как он обошел фланг армии Ричи в Газале тремя месяцами ранее. Монтгомери, ожидая от него подобной тактики, укрепил позиции у хребта Алам-эль-Хальфа, развернув там большую часть артиллерии, 400 танков и пехотную дивизию. Роммель ожидал, что Монтгомери предпримет контратаку, а он в это время обойдет фланг Монтгомери и нанесет удар в центр 8-й армии. Монтгомери разгадал план Роммеля, и немец телеграфировал своему средиземноморскому командующему, фельдмаршалу Альберту Кессельрингу: «Свинья атаковать не будет». На самом деле Монтгомери, всего две недели назад принявший командование — Черчилль назвал 8-ю армию «смелой, но сбитой с толку», — не был готов атаковать, но был готов защищать свою территорию. Монтгомери издал приказ, в котором указал, что в случае атаки противника отступления не будет: «Мы будем сражаться на тех позициях, которые занимаем, и, если не удержим их живыми, останемся на них мертвыми». К 3 сентября Роммель понял то, что понимали те, кто давно знал Монти: Бернард Монтгомери сражается только на своих условиях. 4 сентября Роммель нанес удар по позициям Алам-эль-Хальфы. Две армии снова стояли друг напротив друга, запыленные и воинственные, но между этим противостоянием и всеми остальными начиная с 1941 года было два существенных отличия. Королевские ВВС достигли превосходства в воздухе, а триста «Шерманов» добавили мощи армии Монтгомери. Роммель, отчаянно нуж-

давшийся в людях, топливе и танках, обещанных Гитлер, был вынужден отступить[326].

Черчилль был в восторге от блестящей обороны 8-й армии, но, будучи по натуре нетерпелив, настойчиво просил Брука, чтобы Монтгомери как можно скорее нанес удар. Черчилль, написал Брук в дневнике, «всегда думал о генералах и их репутации и никогда не нападал до тех пор, пока полностью не прояснял все вопросы». Монти, будучи еще не готовым переходить в наступление, защищал свои позиции, и от Роммеля, и от Черчилля. И Черчилль тоже понял то, что понял Роммель у Алам-эль-Хальфы[327].

В начале октября от Сталина приходили сообщения, на основании которых можно было сделать вывод об ухудшении положения Красной армии. У люфтваффе в России было преимущество два к одному. Сталин требовал по пятьсот истребителей в месяц — более 10 процентов американской продукции, — чтобы исправить положение. Превосходство люфтваффе косвенно подтверждало заявление Сталина, что британские бомбардировки Западной Европы не уменьшат давление на Россию. Американцы еще не сбросили ни одной бомбы на Германию, в то время как люфтваффе в начале октября уничтожили большую часть Сталинграда.

Уже месяц 6-я армия Паулюса сражалась в черте города; были разрушены завод «Красный Октябрь» и тракторный завод. Все, что требовалось от Паулюса, чтобы обеспечить победу Гитлеру, — это дойти до берегов Волги и удерживать свои позиции. Черчилля вновь стала мучить мысль, что Сталин может заключить сепаратный мир с Германией. Монтгомери пока не был готов атаковать в пустыне. Танки, в которых он нуждался, отправились в Россию, но этого было недостаточно, чтобы успокоить Сталина, который требовал 8 тысяч танков *в месяц*, больше, чем производилось в Америке. В Атлантике немецкие подводные лодки отправляли на дно больше кораблей, чем союзники могли обеспечить замену. Из-за необходимости использовать все доступные эсминцы для защиты флота, готового отплыть из Америки в Британию для участия в операции «Факел», конвои в Россию больше не отправлялись. Сталин, которому требовалось 500 тысяч тонн поставок в месяц (порядка семидесяти грузовых судов), снова обвинил Британию, как уже делал это летом, в краже продовольствия, оружия и снаряжения, в котором нуждалась Красная армия. Словно для того, чтобы усилить сталинскую паранойю, британцы с американцами отменили октябрьский конвой в Мурманск, и это после просьб Сталина об увеличении помощи. Ситуация в Средиземноморье была не лучше. На Мальте запасов еды оставалось меньше чем на две недели; по этому поводу Брук написал в дневнике: «Одному Богу известно, как нам удастся сохранить Мальту». Тем временем Черчилль давил на

Брука, чтобы он заставил Александера и Монтгомери перейти в наступление, которые, по оценке Брука, еще не были к этому готовы. В дневнике Брук написал: «Он [Черчилль] страдает обычной болезнью: ужасное нетерпение перейти в наступление»[328].

Пока Черчилль ждал, как развернутся события в Египте, в Лондон с трехнедельным визитом прибыла Элеонора Рузвельт. Как и Гарриман, она привезла виргинскую ветчину. Во время ее пребывания в Лондоне они с Клементиной совершали осмотры (тщательные и утомительные) пострадавших домов, авиабаз и бомбоубежищ. Во время встречи с темнокожими американскими солдатами ей «понравилось, что их офицер, белый, настаивал, что его солдаты — лучшие в армии». Первая леди, политическая активистка, относилась к тем женщинам, которых мужчины черчиллевского поколения обычно обходили стороной, в отличие от суфражисток, прокладывающих себе путь в мужских профессиях, для которых они не подходили. Черчилль понимал, что миссис Рузвельт важная политическая фигура, и не только потому, что является женой президента. Согласно опросу, проведенному Институтом общественного мнения Гэллапа, на двух американцев, считавших, что первая леди слишком много говорит, приходилось трое, которые «одобряли ее решимость и способность говорить ясно и отчетливо». Элеонора Рузвельт постоянно давала советы мужу по политическим вопросам, включая вопросы, связанные с совместной службой черных и белых в армии Соединенных Штатов. Ее настойчивость в этом вопросе принесла плоды. Джордж Маршалл заверил Рузвельта, что в составе войск, отправленных в Британию, будет 10 процентов афроамериканцев[329].

Это соотношение вызвало недовольство многих белых американских солдат, служивших вместе с чернокожими. Иден пытался убедить Эйзенхауэра остановить приток чернокожих солдат, но не потому, что правительство Великобритании или британцы были расистами, а потому, что белые американцы постоянно избивали черных американцев на лондонских улицах. А учитывая дефицит жилья в Лондоне, разместить отдельно черных и белых американцев не представлялось возможным. Эйзенхауэр всего лишь выполнял приказ вышестоящего начальства: «по возможности предоставить неграм отдельное место проживания», но во всех остальных отношениях с ними следовало обращаться как с белыми солдатами. Но на самом деле это было не так. Белые и черные американские солдаты питались раздельно. Из Америки в штаб приехали чернокожие американки для работы в столовых Красного Креста, обслуживавших черных. Британцы по большей части относились с большей симпатией к черным, чем к белым американцам, особенно это касалось офицеров (все офицеры были белыми), многие из которых отказывались обедать в ресторанах, где обслуживали черные. Британские крестьяне особенно хорошо относились к черным.

Один владелец паба, возмущенный поведением белых американцев, вывесил в окне паба табличку: «Вход только для британцев и цветных американцев». Но в Лондоне, чтобы угодить американцам (у которых водились деньги), многие рестораны закрыли двери для черных американцев, невольно закрыв двери и для британцев. Слух о том, что черного служащего из министерства по делам колоний отказались обслуживать в его любимом ресторане, после жалобы американских офицеров владельцу дошел до правительства, и Черчилль, узнав об инциденте, сказал: «Ничего бы не случилось, если бы он принес банджо, тогда бы они подумали, что он из оркестра»[330].

Что-то другое, а не точное исследование повлияло на мнение Черчилля обо всех народах, кроме англоговорящих. Он, вместе с западной прессой и большей частью англоязычного мира, разделял снисходительное отношение к людям не англосаксонского происхождения. Черчиллевские записки, его замечания за обеденным столом, даже его публичные выступления насыщены ссылками на «япошек», «макаронников», «лягушатников» и «гуннов», зачастую в сочетании с такими прилагательными, как «грязные», «мерзкие», «отвратительные», «противные». Его друзья, члены семьи и коллеги тоже не стеснялись в выражениях; дневниковые записи сэра Александра Кадогана пестрят ксенофобскими шуточками с унизительными ссылками на людей всех национальностей, кроме англичан, — и это постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании, который во время войны отвечал за юридические нюансы и точность формулировок в юридических документах, включая Атлантическую хартию. Кадоган считал славян «беднягами», иракцев «мерзкими», японцев «обезьянами». Человек прогрессивных взглядов, обычно вежливый Гарольд Николсон, который в разговорах о Японии называл жителей этой страны японцами, после того как японцы начали наносить поражения британцам в Азии, стал называть их «обезьянами». Лорд Червелл ненавидел евреев. Даже Клементина вела себя не лучше. В конце 1941 года в письме Уинстону, который находился в то время на борту линкора «Герцог Йоркский», направлявшегося в Америку, она написала: «Мой дорогой Уинстон — пусть Господь хранит тебя и вдохновит на создание хороших планов с президентом. Мир сейчас ужасен, в Европе бесчинствуют нацистские свиньи, на Дальнем Востоке желтые японские гниды... С любовью и мыслями о тебе, *Клемми*». Такие были времена[331].

Черчилль называл людей африканского происхождения «неграми» и не любил их. Однажды, в конце жизни, он спросил своего врача, лорда Морана, что происходит, когда черные заражаются корью; видна ли сыпь? Когда Моран ответил, что среди чернокожих очень высокий процент смертности от кори, Черчилль ответил: «Ну, их еще много осталось. Они быстро плодятся». Когда во время его второго премьерства кабинет обсуждал новые законы об ограничении индий-

ской имммиграции, Черчилль предложил лозунг: «Сохраним Англию Белой»[332].

Первая леди прибыла в Англию в сложный период с точки зрения расовых отношений. Обычно она говорила то, что думает. Но, к облегчению военного министра Стимсона, в Британии она вела себя «очень сдержанно». Она приехала улучшить боевой дух, а не реформировать вооруженные силы. А вот Черчиллю она высказывала то, что думает. Когда во время ужина в «номере 10» первая леди спросила, почему он сначала поддержал Франко, а когда Франко оказался фашистом, не поддержал лоялистов во время Гражданской войны в Испании, Черчилль проворчал, что в случае победы лоялистов первыми лишились бы своих голов такие люди, как она и ее муж. Миссис Рузвельт ответила, что ее не слишком волнует, осталась бы ее голова на плечах или нет. «А я не хочу потерять свою голову», — буркнул Черчилль. Клементина не очень помогла делу, когда сказала, что миссис Рузвельт права. Черчилль начал злиться, и Клементина разделила спорщиков, заявив, что дамам пришло время отправиться в гостиную и оставить мужчин наедине с бренди и сигарами. О своем опыте общения с Черчиллем миссис Рузвельт впоследствии написала: «Мне было нелегко общаться с премьер-министром»[333].

Поведение Черчилля можно извинить, учитывая события, которые разворачивались в Атлантике и в пустыне, хотя, честно говоря, он обращался с миссис Рузвельт так, как и с любым другим гостем. Об обедах с Черчиллем Гарольд Николсон написал: «Уинстону плохо удавалось заставить людей чувствовать себя непринужденно... Он надевал маску скуки или безразличия, словно говоря: «Эти люди мне наскучили, и я отказываюсь быть вежливым». Однако неожиданно Черчилль «переставал думать о чем-то постороннем, выражение менялось, выходило солнце». Первая леди увидела, как «вышло солнце» в Чекерсе, когда Черчилль играл со своим двухлетним внуком, маленьким Уинстоном. «Они сидели на полу, — позже написала она, — и играли. Сходство было поразительным». Эта сцена напомнила ей историю об одной даме, которая, увидев Черчилля с маленьким Уинстоном, сказала Черчиллю об их сходстве. Черчилль, смерив ее взглядом, ответил: «Вы ошибаетесь, я похож на любого малыша». Черчилль показал первой леди комнату, которую собирался переделать в соответствии со специфическими потребностями ее мужа, который, как надеялся Черчилль, скоро посетит Англию[334].

В ночь полнолуния, с 23 на 24 октября, в Эль-Аламейне британцы начали артподготовку, в которой приняла участие почти тысяча артиллерийских орудий. Артподготовка, продолжавшаяся до раннего утра, дала Эрвину Роммелю понять, что Бернард Монтгомери готовится к бою. С первыми лучами солнца шотландские стрелки издали ста-

ринный боевой клич, когда звуки их волынок разорвали тишину. На рассвете они двинулись в наступление, а когда наступил день, 190 тысяч, 1400 противотанковых орудий и почти тысяча танков 8-й армии смели линии Роммеля на шестимильном фронте. Танки остановились, пока саперы расчищали узкие полосы — достаточные для прохода танков — на минном поле роммелевского фронта, на котором было заложено около полумиллиона мин. Вскоре стало ясно, что у британцев не хватает саперов и миноискателей. Но во всем остальном перевес был на стороне британцев. На северном, береговом окончании немецких линий (подлинная цель Монтгомери) британцы превосходили XV танковый корпус в численном отношении примерно шесть к одному, и в танках, и в людях. Танковую армию «Африка», более половины которой составляли итальянцы, британцы превосходили, в людях и танках, в численном отношении почти два к одному. Кроме того, несколько недель назад Роммель взял отпуск по болезни и в это время отдыхал на больничной койке в Земмеринге, милом городке, расположенном на поросших соснами склонах в южной части Австрийских Альп, который был от войны дальше, чем какой-либо европейский город. Около полудня Гитлер позвонил Роммелю, чтобы сообщить новости из Северной Африки. «Положение очень плохое, — сказал фюрер. — Не хотите вернуться обратно?[335]

В пустыне Роммеля замещал генерал Георг Штумме, он предположил, что британцы будут атаковать южную часть его линий, в 30 милях от моря. К такому выводу он пришел отчасти потому, что там была более подходящая местность, отчасти потому, что Монтгомери разместил там макеты танков и автомашин и приступил к строительству ложного трубопровода. У Штумме, в свою очередь, не хватало топлива, чтобы перебросить танки с севера на юг и обратно. Ему пришлось сражаться там, где он находился в данный момент. К середине дня, под непрекращающимися атаками британских истребителей и массированным огнем артиллерии Монтгомери, Штумме оказался полностью отрезан почти от всех своих сил и командующих, на севере и на юге. В конце дня Штумме умер от сердечного приступа. Полевые орудия Монтгомери нанесли огромный ущерб немецким танкам. Артиллерии, как годом ранее утверждал Черчилль, наконец нашлось место в битве в пустыне. Прибывший 25 октября Роммель сумел восстановить свой фронт, чтобы сдержать натиск Монтгомери. Роммель поместил итальянскую пехоту между немецкими механизированными соединениями, отчасти для того, чтобы защитить итальянцев, отчасти чтобы быть уверенным, что они не покинут поле боя. Однако, не получив подкрепление, ему ничего не останется, как отступать. Больше всего он нуждался в топливе. Он послал радиограмму Гитлеру, это сообщение было быстро рашифровано в Блетчли и передано Монтгомери[336].

В Лондоне Черчилль, которому не терпелось узнать последние новости, без конца приставал к своим генералам. Первые два дня Черчилль просто спрашивал у Брука, как идут дела у Монтгомери. Когда Монтгомери остановился, тон Черчилля изменился. Он подготовил язвительную телеграмму Александеру, в которой просил ответить, почему провалилась наступательная операция — к такому выводу Черчилль пришел после непринужденного разговора с Иденом за бокалом виски, а не после совещания с военными советниками над картами. Брук написал об этом неприятном моменте в своих воспоминаниях: «Что, спросил он [Черчилль], делает сейчас мой Монти, допустивший провал плана? (Монти всегда был «мой Монти», когда оказывался в немилости)». Почему, спросил Черчилль, Монтгомери «сказал нам, что он уложится в семь дней, если собирался сражаться вполсилы?». Для Черчилля на кону стояло больше, чем фронт в пустыне. Дополнительные выборы показали высокий процент недовольных существующим правительством, ошеломляющий, но символичный упрек. Черчилль убедил Криппса, угрожавшего отставкой, остаться спикером до окончания битвы в пустыне, чем бы она ни закончилась, победой или поражением. После поражения в пустыне Черчилль, скорее всего, станет известен миру как бывший премьер-министр[337].

Монти сражался семь дней, и через семь дней ему нечего было предъявить, кроме почти 8 тысяч раненых и 2 тысяч убитых, включая сына первой настоящей любви Черчилля, случившейся почти пятьдесят лет назад, Памелы Плоуден. 8-я армия не смогла прорваться через минное поле, которое стало нейтральной зоной. Монтгомери отправил британские и австралийские танки на минное поле, последствия напомнили кровопролитие Первой мировой войны. Командиры дивизий советовали ему прекратить сражение и перегруппироваться. Он не сделал ни того ни другого и пригрозил уволить тех, кому недостает необходимого в данной ситуации боевого духа, и заменить их настоящими солдатами. Он понимал, что если не смог одержать победу с помощью быстрых, дерзких ударов, то возьмет врага измором. Он мог позволить себе обменять свой танк на танк противника и одного своего солдата на вражеского солдата, пока не одержит победу. И продолжал бросать своих солдат и танки в пасть врага. Следующие несколько дней должны были стать решающими для Черчилля, для Британии и для войны в целом.

Если Монтгомери потерпит поражение, «Факел» не сможет принести успех, по крайней мере, как это запланировано, если британская 8-я армия завязнет в Ливии, в 1600 милях от союзных сил вторжения. В этом случае Гитлер на Русском фронте получит несколько бесценных недель, если не месяцев, для наступления на Кавказ, и его войска войдут в Сталинград. Если Монтгомери потерпит поражение или падет Сталинград, стратегия «Европа в первую очередь» может превратиться

для американцев в стратегию «Возможно Европа». Безвыходное положение или поражение при Эль-Аламейне будут иметь тяжелейшие политические и военные последствия. Черчилль сказал Бруку, что кресло премьер-министра займет кто-то другой, если Роммелю удастся удержать позиции в пустыне. В этом случае сэр Стаффорд Криппс — который в личных беседах постоянно осуждал действия Черчилля, но как лидер палаты был вынужден объяснять поражения парламенту, — возможно, стал бы устраивать вегетарианские обеды в своей новой резиденции на Даунинг-стрит, 10. Все зависело от Монтгомери. Черчиллю было «крайне тяжело справиться с волнением», сказал Брекен доктору Уилсону, поскольку мир ждал новостей из пустыни[338].

30 октября, благодаря дешифровкам «Ультра» и советам своих помощников, Монтгомери перенес основной удар с побережья примерно на 10 миль к югу. Монтгомери не любил подобного рода импровизации, но это сработало. Роммель, который перебросил свои войска на север, чтобы отразить первый удар Монтгомери, ослабил южный сектор. К тому моменту у Лиса Пустыни осталось меньше четырехсот танков, способных участвовать в сражении, и почти закончился запас горючего. Два корабля с топливом для Роммеля были потоплены при подходе к Тобруку, опять же благодаря «Ультра». Монтгомери наседал. Его новозеландцы прорвали линии Роммеля 2 ноября. Роммель перешел в яростное контрнаступление, но, осознав, что ведет борьбу на износ и может только потерпеть поражение, приказал отступить. В начале следующего дня он повернул на запад. Все очень надеялись, позже написал Черчилль, что пришел момент «разгромить» армию Роммеля. Роммель испытывал те же чувства, когда наступал к Триполи. Но к концу осени начались дожди. Вместо того чтобы сражаться с плохой погодой и размытыми дорогами в пустыне, Монти, после бесцельной двадцатичасовой погони, приказал устроить однодневный привал. Британские летчики-истребители, следовавшие за немцами и сообщавшие о вражеских передвижениях, были крайне удивлены. А как же последний, решающий удар? Где 8-я армия?[339]

Сразу после начала отступления Роммель получил категорический приказ Гитлера: «Стоять насмерть, не сдавать ни пяди земли». Победят сильные духом, считал фюрер, и не в первый раз в истории, и «своим солдатам вы должны сказать, что есть всего два пути — к победе или к смерти» Муссолини, не разобравшись в ситуации, послал Роммелю телеграмму, поздравив с «успешной контратакой». Генерал Вильгельм Риттер фон Тома назвал приказ Гитлера «сумасшествием». Роммель сделал двадцатичасовую остановку, чтобы соблюсти дух, если не букву приказа. Затем Лис Пустыни с несколькими дюжинами танков — за которыми вскоре последует в десять раз больше танков — двинулся в Ливию. Они оставили за собой почти 6 тысяч мертвых немцев и итальянцев; их трупы уже высохли и почернели. Британские

офицеры разведки ходили среди трупов и вытаскивали из карманов открытки и любовные письма из дома, написанные на немецком и итальянском, адресованные сыновьям, любовникам и мужьям: «Мы так рады, что ты теперь в прекрасном Египте»; «Да защитит тебя святой Доминик». Пришла ночь, и никому не нужные письма разлетелись по пустыне, словно хотели последовать за оставшимися в живых[340].

Черчилль, которому новости из Египта (собственноручная поздравительная записка короля) подняли настроение, сказал 6 ноября за завтраком, что Роммеля оторвали от его позиций, как молюска от камня. Взмахнув рукой так, словно в ней был зажат нож, Черчилль сказал: «Что происходит с молюском, если оторвать его от камня? Он умрет». Но Роммель не случайно получил прозвище Лис Пустыни. Он убежал, чтобы прийти в себя и на следующий день вступить в бой, и опроверг высказывание Макиавелли, что лисица боится волков. Итальянская пехота была не столь удачлива, как ее механизированные немецкие собратья. Для собственной эвакуации немцы отобрали весь имевшийся у итальянцев транспорт. «Итальянцев, — сказал Черчилль в палате общин 10 ноября, — оставили умирать в безводной пустыне или сдаваться, что они и делают». Битва за Египет была выиграна[341].

В последний день октября британские корабли атаковали глубинными бомбами немецкую подводную лодку U-559 и заставили всплыть на поверхность в районе Порт-Саида. Команду взяли на борт несколько британских катеров, в то время как трое британских моряков перешли на борт подводной лодки и прошли в радиорубку. Разыгралась почти та же сцена, что в прошлом году с подводной лодкой U-110. U-559 наполнилась водой и затонула, забрав с собой двух британских моряков. Но третьему удалось спастись, вместе с шифровальными книгами и «энигмой» с четырьмя роторами, усовершенствование, над которым в Блетчли почти год ломали голову. Теперь у британцев был ключ к расшифровке сообщений Дёница. Имея коды на этот месяц, в Блетчли начали читать немецкие радиограммы, когда союзники приступили к осуществлению операции «Факел», высадке десанта на побережье Северной Африки. Но позже в том месяце в Берлине сменили коды, и союзники лишились преимущества; волшебники Блетчли вновь оказались в тупике. Трофейная машина «энигма» гарантировала успех, раньше или позже, но позже не устраивало. Теперь у Дёница в Северной Атлантике было более двухсот подводных лодок. В течение следующих шести месяцев более сотни подводных лодок Дёница ежедневно патрулировали Северную Атлантику — в два раза больше, чем в начале года. В ноябре только британские потери составили 710 тысяч тонн, худший месяц за всю войну; было потоплено 117 кораблей, что намного превышало возможности восполнения потерь[342].

На политическом фронте Криппс ушел с должности лидера палаты общин и наконец принял предложение, сделанное в начале года Черчиллем, заняв должность министра авиационной промышленности. Энтузиазм Криппс вспыхнул в феврале, но горел недолго: Эль-Аламейн убил его энтузиазм вместе с надеждой возглавить страну после войны. Криппс, по мнению американского еженедельника, оказался «некомпетентным в политике», и Черчилль отправил его на второстепенную работу. Иден занял должность лидера палаты, сохранив должность в министерстве иностранных дел. Бивербрук, под началом которого Криппс отказался служить, вернулся в Лондон после лета, проведенного в Америке, где искусно проталкивал идею второго фронта, одновременно защищая Черчилля от нападок за нежелание открыть второй фронт в этом году. Бивер вернулся в правительство и снова стал частым гостем в «номере 10»[343].

6 ноября, когда Черчилль за завтраком приводил пример с моллюсками, флот вторжения «Факела» — более 650 транспортов, танкеров, плавучих госпиталей, 172 военных корабля и 90 тысяч человек — направился к африканскому побережью. Армада провела в море больше двух недель. Корабли пришли из Канады, Хэмптон-Роудс и Британии и разбились на три оперативные группы. Западная группа высаживала 34 тысячи солдат Паттона на Атлантическом побережье Марокко. 5 ноября центральная и восточная группы прошли Гибралтар на пути в Оран и Алжир. Ожидалось, что немецкие подводные лодки устроят армаде горячий прием, но время шло, и ни один вражеский перископ не появлялся в поле зрения. Немцы, как узнали британцы из дешифровок «Ультра», не знали, что армада двинулась к побережью Африки. Из Блетчли пришли потрясающие (хорошие) новости, что немцы не планируют ни разрушать, ни блокировать Гибралтар — ключ ко всей операции, поскольку союзникам предстояло идти по проливу, чтобы сначала высадить, а потом доставить подкрепление центральному и восточному соединениям. Но, как узнал Черчилль несколько раньше в этом году в Египте, в Блетчли тоже ошибались.

Эйзенхауэр написал в мемуарах: «Британский Гибралтар сделал возможным вторжение в Северо-Западную Африку». Так оно и было, поскольку к началу ноября 1942 года союзникам не удалось захватить подходящего места ни в Европе, ни в Средиземноморье, с которого можно было бы осуществить вторжение в Северную Африку. В Гибралтаре была прекрасная глубокая гавань, где корабли союзников могли заправляться и перевооружаться, и небольшое летное поле, на котором за несколько недель до вторжения уже находились десятки самолетов — четырнадцать эскадрилий истребителей по шестнадцать самолетов в каждой — и цистерны с топливом. К ужасу Эйзенхауэра,

взлетно-посадочную полосу от Испании отделяла всего лишь проволочное заграждение, к которому «буквально приникли... агенты оси». Испанское правительство тоже приникло — к Гитлеру. Для высадки войск в Оране и Алжире союзным кораблям предстояло пройти 30 миль между Испанией и Испанским Марокко, то есть по Гибралтарскому проливу, ширина которого в некоторых местах составляет всего 10 миль. Если испанские орудия, размещенные по обеим сторонам пролива, откроют огонь по кораблям, «Факел» погаснет. Эйзенхауэр мог только надеяться, что испанцы и французы не будут ввязываться в битву в Северной Африке и что страны оси решат, что в Гибралтаре собираются силы для освобождения Мальты (они, кстати, так и подумали). Как бы то ни было, но стратегия требовала, чтобы страны оси подвергли Гибралтар бомбардировке. Каждый вечер Эйзенхауэр ждал налетов, но их не было. Каждый вечер солдаты союзников ложились спать в 25-мильных туннелях, вырытых в твердой известняковой породе, и каждое утро они просыпались «озадаченными, даже пораженными», обнаружив, что ни один немецкий самолет не атаковал Гибралтар[344].

На ранней стадии планирования операции «Факел» узкий участок пролива американцы считали настолько опасным, что отказывались посылать свои корабли в Средиземное море, чтобы они не оказались в ловушке в этом внутреннем море. Но Черчилль никогда не руководствовался принципом «безопасность прежде всего». Секретность, а не безопасность — вот о чем в первую очередь думали британцы. Черчилль с Бруком считали, что американцы, не имея опыта подобных операций, могут испугаться и сорвать всю операцию. Страх американцев и их способность хранить секреты были не единственными вопросами, беспокоившими англичан. Черчилль ожидал, что итальянцы направят свой флот, который все еще представлял опасность: шесть линейных кораблей и несколько десятков кораблей прикрытия. Эйзенхауэр — ошибочно — считал, что у немцев есть два авианосца, которые будут угрожать союзному флоту вторжения. Дарлан с французским флотом были, как всегда, непредсказуемы[345].

Ответа на еще один мучительный вопрос не было даже накануне вторжения: знают ли немцы и итальянцы о том, куда и когда направляются союзники? Брук считал штаб Эйзенхауэра «заметно прохудившимся в том, что касалось информации и секретов». Никто не гарантирован от неожиданностей. В конце сентября британская разведка узнала, что тело британского офицера, погибшего при крушении самолета у берегов Испании, вынесло на испанский берег. У офицера были с собой письма, в которых содержалось достаточно скрытых ссылок на вторжение, чтобы немцы могли понять, где оно будет происходить, если испанцы передадут тело немцам. Но испанцы передали тело британцам, которые сделали вывод (на основании того, что

между пуговицами и петлями находился песок), что письма из карманов, скорее всего, не вынимали. Эпизод не только вызвал беспокойство в Лондоне, но и послужил стимулом для фантазий в штабе командования комбинированными операциями, где родилась идея ввести в заблуждение немцев, подбросив на европейское побережье тело с заведомо ложной информацией. В следующем году британцы именно так и поступят, предприняв операцию с метким названием Mincemeat («Мясной фарш»)[346].

Главная проблема Эйзенхауэра, когда его армия подошла к африканскому побережью, была не военной, а политической. Позже он написал, что операция «Факел» была «самой необычной операцией вооруженных сил в сфере международной политики; мы вторгались в нейтральную страну, чтобы создать друга». Подобные действия обычно не способствовали установлению дружеских отношений. Американцы давно поняли, что их шансы на успешное вторжение значительно возрастут, если на их стороне и на территории Северной Африки во время высадки будет некий авторитетный француз, способный объединить провишистов и антивишистов и, что еще важнее, 230 тысяч вишистских солдат и их офицеров. Но союзники мало задумывались о том, кто бы это мог быть. Петен или кто-нибудь из правительства Виши не подходил; американцы, отозвавшие своего посла в апреле, больше не признавали Виши легитимным правительством. Теплые отношения американцев с Виши вызывали возмущение многих людей во Франции, особенно «свободных французов», однако де Голля, который сплотил вокруг себя французов, американцы презирали и даже не посвятили в операцию «Факел». Представители адмирала Жана Дарлана сообщили американскому дипломату в Алжире, Роберту Мерфи, что немцы подозревают, что в скором времени что-то произойдет на марокканском побережье и, когда это произойдет, они, немцы, собираются оккупировать Французскую Северную Африку. Мерфи с Эйзенхауэром решили, что Дарлан, возможно, хочет «сотрудничать» и предоставит союзникам французский флот. Однако в Вашингтоне и Лондоне Дарлану доверяли не больше, чем любому другому французу, кроме Лаваля. Затем, почти накануне вторжения, американцы узнали о генерале Анри Жиро, смелом и достойном человеке. Он попал в плен, когда Франция сдалась, бежал из немецкой крепости в вишистскую Францию, где ему разрешили жить под домашним арестом после того, как он поклялся в верности Виши. Он был выше де Голля по званию, и его любили французы. Он выглядел с головы до пят настоящим солдатом — высокий, решительный, прямой. Но, кроме того, он был тщеславным и глупым[347].

7 ноября Эйзенхауэр тайно, на подводной лодке и самолете, доставил Жиро на Гибралтар, и в тот вечер, когда флот вторжения подошел к побережью, Жиро призвал французов присоединиться к силам

союзников в Северной Африке и сделать вместе с союзниками первый шаг на пути к освобождению Франции. Жиро охотно поддержал этот план, но с двумя оговорками. Считая, что затронута его честь и честь его страны, он должен занять пост главнокомандующего всей операцией, включая американские и британские войска, и одновременно осуществить вторжение во Францию. Эйзенхауэр, застигнутый врасплох, поблагодарил генерала за помощь, но объяснил, что выполнить его условия не представляется возможным. Жиро оставался непреклонен; «Генерал Жиро не может согласиться с подчиненным положением в этом командовании — этого не поняли бы мои соотечественники, а моя честь как солдата оказалась бы запятнанной», — заявил он. Они проговорили до позднего вечера, но Эйзенхауэру так и не удалось объяснить Жиро, что француз не может командовать союзными экспедиционными войсками, в составе которых не было ни одного француза. Позже Эйзенхауэр написал, что это были «самые огорчительные переговоры за всю войну»[348].

Тем вечером в Лондоне советский посол в европейских правительствах в изгнании устроил прием. На приеме чешский дипломат отвел одного из коллег де Голля в сторону и прошептал: «Сегодня ночью». Де Голля разбудил телефонный звонок, из которого он узнал, что англо-американские войска собираются высадиться на Французской земле. Его реакция была вполне объяснимой: «Я надеюсь, вишисты отбросят их в море! Не следует лезть во Францию, словно банда ночных грабителей»[349].

В это время Черчилль был в Чекерсе. С начала октября из дешифровок «Ультра» было известно, что фельдмаршал Улыбчивый Альберт Кессельринг — чей Luftflotte 2 (2-й воздушный флот) чуть не поставил в безвыходное положение истребительное командование в 1940 году — знал, что британцы готовятся к какой-то большой операции, но не знал где и когда, а потому не мог развернуть свои самолеты для достижения наилучшего эффекта. Многие в немецком высшем командовании были убеждены, что союзники направятся в Северную Норвегию, что могло произойти, если бы Черчилль сумел настоять на операции «Юпитер». В 1940 году адмирал Редер утверждал, что Черчилль нанесет удар по французской Северной Африке, но Гитлер с армейскими подхалимами из ОКВ не обратили внимания на его слова. Большинство в Берлине считали, что зоной нападения будет Средиземноморье, а не южное побережье. Зачем высаживаться там, если целью является борьба с немецкой армией в Европе? Армии сражались в ближнем бою, на суше, а не из-за морей. Именно таким был аргумент Джорджа Маршалла, пока Брук с Черчиллем — два морских стратега — не переубедили его в ходе непрекращающегося спора.

Таким образом, пока немцы с итальянцами изучали подходы с моря к Сардинии, Сицилии и Мальте, более 300 транспортных и во-

енных кораблей союзников, пройдя проливы, взяди курс на юг. Центральная оперативная группа, состоявшая из американских 1-й пехотной и 1-й бронетанковой дивизий, направлялась в Оран. Восточная, англо-американская оперативная группа — 23 тысячи британских и 10 тысяч американских солдат — направлялась в Алжир. Часть Алжирской группы — численностью немногим более дивизии и названная британской 1-й армией — получила приказ после высадки наступать на восток и преодолеть 450 миль до Бизерты и Туниса. Командующий этой армией, генерал-лейтенант Кеннет Андерсон, был прямым, резким, суровым шотландцем, склонным к скептицизму, граничащему с пессимизмом. Немногословному шотландцу его солдаты дали прозвище Солнечный. Рассчитывая получить подкрепление по мере продвижения на восток (в конце концов, 90 процентов сил «Факела» были у него в тылу), Андерсон пришел к выводу, что может добраться до Туниса за две недели, прежде чем немцы успеют укрепить город и обсудить проблему. Первые часы вторжения определенно оправдали нехарактерный для него приступ оптимизма. Только один американский транспортный корабль получил повреждения, после того как его торпедировала далеко в море случайная подводная лодка. Находившиеся на его борту солдаты не растерялись, быстро забрались в десантные плавсредства и направились к берегу, до которого оставалось 100 миль. Несмотря на неопытность экипажей десантных судов, алжирская высадка следующим утром прошла лучше, чем ожидали планировщики[350].

Сара Черчилль, служившая в Женской вспомогательной службе военно-воздушных сил, занималась расшифровкой снимков, полученных при аэрофотосъемке, на авиабазе в Медменхэме, достаточно близко к Чекерсу; она могла доехать до Чекерса на попутных машинах, чтобы провести выходные с родителями. Она приехала в Чекерс вечером 7 ноября и нашла отца в гардеробной, где Сойерс подбирал ему вечерний костюм, а Черчилль пытался с помощью пары щеток для волос уложить оставшиеся на голове волосы. Повернувшись к Саре, он сказал «Ты знаешь, что в эту минуту шестьсот сорок два корабля приближаются к побережью Северной Африки?» — «Шестьсот *сорок три*», — ответила Сара. «Откуда ты знаешь?» — спросил Черчилль. «Я уже три месяца только этим и занимаюсь», — ответила Сара. «Почему ты мне не сказала?» — спросил Черчилль несколько обиженно. «Насколько я знаю, существует такая вещь, как секретность», — ответила Сара. Он засмеялся и пересказал этот разговор за ужином. Спустя несколько часов, когда отец и дочь сидели у камина, часы в большом зале пробили час ночи. В этот момент британские солдаты, включая Рэндольфа, начали высадку на алжирском побережье[351].

Они практически не встретили никакого сопротивления. Именно на это надеялись планировщики. «Факел» был дерзким и чрезвычайно

рискованным планом. Ни один из американцев никогда раньше не участвовал в подобных операциях, и мало кто из них когда-либо принимал участие в боевых действиях. Никогда до этого не предпринимались десантные операции, при которых требовалось пересечь океан, чтобы добраться до цели. За исключением вторжения на Гуадалканал в августе, «Факел» был первой широкомасштабной морской десантной операцией, проводимой американскими войсками за последние 45 лет. В Алжире все прошло хорошо, хотя два британских эсминца были потоплены в гавани, пока пытались высадить американских рейнджеров. Бои закончились ближе к полудню, и во второй половине дня, ближе к вечеру, город сдался. «Ну, вот мы и здесь, — написал Рэндольф отцу, — в целости и сохранности». Козырная карта из африканской колоды находилась в руках союзников. Они получили ее благодаря тому, что Черчилль с Бруком настояли на вторжении в Алжир[352].

Эйзенхауэр через адмирала Каннингема получил сообщение из Алжира: «Дарлан хочет начать переговоры». По счастливому для союзников стечению обстоятельств адмирал Жан Дарлан, командующий вооруженными силами Виши, был в Алжире, где навещал недавно заболевшего полиомиелитом сына. На прошлой неделе, перед отъездом Эйзенхауэра из Лондон, Черчилль сказал ему: «Если бы я встретил Дарлана, то, несмотря на ненависть к нему, я бы с радостью прополз милю на руках, если бы это смогло заставить его присоединить свой флот к союзническим силам». Каннингему Черчилль сказал, не выбирая выражений: «Хоть в задницу Дарлана целуйте, но заполучите французский флот»[353].

В Оране вишисты оказали упорное сопротивление. Два британских корабля, пытавшиеся высадить американских солдат в гавани, попали под шквал огня корабельной и береговой артиллерии и затонули. Битва длилась весь этот день и следующий. Защитники ожидали приказов, но от Петена не было никаких известий. По сути, Америка воевала против народа, который был ее союзником с того времени, когда Лафайет помог Джорджу Вашингтону укрепить позиции Соединенных Штатов. Доктор Геббельс считал, что вся Северо-Африканская кампания была «борьбой между Сити и Уолл-стрит за французские колонии». Эдвард Р. Марроу и многие его собратья-корреспонденты в Северной Африке испытывали подобные подозрения. Американская политика, написал Марроу своему другу, «выглядит как своего рода любительский империализм, цель которого сделать континент безопасным для National City Bank»*[354].

---

* National City Bank был основан в 1812 году. В середине XIX века банк совершил свой первый большой вклад в развитие промышленности в глобальном масштабе: в 1866 году состоялась прокладка трансатлантического кабеля, детища Фредерика Гисборна и Сайруса Филда, основателей Нью-Йоркско-Ньюфаундлендской и Лондонской телеграфной компании. После принятия Закона о

8 ноября во время обеда Черчилль сообщил де Голлю о высадках (о которых де Голль уже знал). Однако Черчилль, верный своему майскому обещанию сохранить Мадагаскар для французов, передал управление островом Свободной Франции. Американцы, к огорчению Черчилля — и, особенно, Идена, — продолжали игнорировать де Голля. Более того, обнаружив Дарлана в Алжире, они начали активно обхаживать его. Рано утром 9 ноября Эйзенхауэр посадил Марка Кларка и генерала Жиро на разные самолеты до Алжира в надежде, что Кларк убедит Дарлана передать свой флот союзникам, а Жиро уговорит вишистов сложить оружие. Дарлан не смог отказать Кларку, когда американец появился на его вилле. А командующие Виши в Оране проигнорировали Жиро; они принесли присягу верности Петену. Учитывая, что де Голля игнорировали американцы и ненавидели вишисты, только Дарлан и оставался возможным миротворцем. Он был наихудшим из всех возможных вариантов[355].

9 ноября немцы предложили Петену отправить людей и самолеты в Тунис для того, чтобы «помочь» Виши защитить свою суверенную территорию. У Петена не было иного выбора, кроме как оказать эту «услугу». Первые немцы прибыли в Тунис по воздуху в тот же вечер, и следом за ними — эскадрильи «Штук» и «Мессершмиттов». Затем, морем, пришли танки Mk-IV — 25-тонные рабочие лошадки немецкой армии, вооруженные 75-миллиметровыми орудиями, более смертоносные, чем любой американский или британский танк, и управляемые опытными экипажами, которые приобрели опыт на Русском фронте. Морем пришла и тяжелая артиллерия — немецкие 88-миллиметровые зенитные орудия, самые смертоносные из существующих полевых орудий[356].

На марокканском побережье, где войска Паттона высадились в трех местах — Сафи, Федале и Мехдии, — погода и десантные суда причинили столько же беспокойства, сколько противник. Море, на котором в течение недели бушевал шторм, успокоилось за несколько часов до высадки, но не окончательно Первый урок, полученный прежде, чем десант высадился на берег, заключался в том, что американские десантные суда того времени — «боты Хиггинса» — безнадежно устарели. Они были сделаны из фанеры, не имели носовой аппарели, и при высадке солдаты просто перепрыгивали через борт. Десятки американцев утонули, прыгая в бурные воды; Паттон вытянул по крайней мере одно тело из прибоя. Танки и грузовики сметало с хлипких плоскодонных барж. Уклонившись от встречи с противником и

федеральной резервной системе в 1913 году становится первым общенациональным банком с филиалами за рубежом. После войны банк сыграл важную роль в осуществлении Плана Маршалла.

не потеряв ни одного корабля на океанских просторах, Паттон потерял больше танков и грузовиков во время высадки, чем за день боя с защитниками[357].

У войск Паттона было пять часов, чтобы совершить высадку в темноте, не привлекая внимания. Американский военный историк Сэмюэл Элиот Морисон, офицер на одном из крейсеров прикрытия, написал, что ночь была тихой, не было видно ни огонька, африканский берег был «укутан облаками и безмолствовал». Бриз доносил с берега «запах горящих угольев и иссушенной жаром травы». Прошел час, за ним другой. Затем луч французского прожектора скользнул в сторону моря. За несколько минут дюжины французских военных кораблей — эсминцы, крейсер и подводные лодки — пошли в наступление на флот союзников. Американский адмирал Кент Хьюит подал условный сигнал к началу наступления: «Мяч в игре!» И началось! Затрещали пулеметы, загрохотала тяжелая артиллерия, ослепительные вспышки орудийных залпов осветили небо. В течение нескольких часов новый французский линкор Jean Bart, еще не полностью, но способный использовать свои 15-дюймовые пушки, вел ожесточенный бой с американским линкором «Массачусетс». К концу дня Jean Bart превратился в обгоревшую развалину, а семь французских военных кораблей вместе с тремя французскими подводными лодками и тысячами французских моряков покоились на дне Атлантического океана. Джордж Паттон наблюдал за ходом сражения с палубы американского корабля Augusta; десантное судно, на котором Паттон должен был добраться до берега, разнесло в щепки ударной волной от выстрела орудий Augusta. Эйзенхауэр не знал, что происходит в Марокко. У него прервалась связь с Паттоном и флотом, когда ударные волны от выстрелов тяжелых орудий «Augusta» вывели из строя еще и все радиооборудование[358].

Войска Виши устроили «горячий» прием сошедшим на берег 34 тысячам солдат Паттона; сопротивление было отчасти спровоцировано решением Рузвельта обратиться к французским вишистам в Марокко за несколько часов до высадки Паттона на побережье: «Мы пришли разбить и изгнать ваших врагов. Верьте нашим словам... Мы заверяем вас в том, что, как только угроза вам со стороны Германии и Италии будет ликвидирована, мы тотчас же покинем вашу территорию», тем самым дав защитникам время на подготовку. В Рабате генерал-губернатор Огюст Поль Ноге — на кону была его честь — приказал атаковать захватчиков. Под командованием Ноге в протекторате находилось по крайней мере 60 тысяч человек, включая несколько сотен летчиков-истребителей. К счастью для солдат Паттона, французские летчики, прибывшие на побережье Федалы, не были лучшими кадрами вишистских военно-воздушных сил и не нанесли никакого урона союзникам, промахнувшись мимо места высадки. Самолеты военно-морских сил Соединенных Штатов и некоторые зенитные орудия Патто-

на обрушили всю мощь на авиацию Виши. На поле боя царил полнейший хаос. Любопытные арабы бродили среди руин, а неопытные американские солдаты стреляли при каждом шорохе, те, кто потерял оружие при высадке, прятались за деревьями. Некоторые войска оснастили новым оружием. Алан Брук присутствовал в июне на испытаниях этого нового оружия, которое американцы назвали базукой. Первый выстрел из базуки по французскому танку, произведенный в порыве гнева, прошел мимо цели и сразил ближайшее рядом дерево. Связь между танками Паттона отсутствовала — батареи сели еще во время путешествия по морю. Войска связи были в полном замешательстве. Согласно плану Паттон должен был занять Касабланку с согласия горожан, а не завоевывать город, по той простой причине, что мог оказаться не в состоянии захватить город, если силы Виши окажут серьезное сопротивление неопытным американцам. Учитывая это, Черчилль предупредил Рузвельта: «Первая победа, которую нам нужно одержать, состоит в том, чтобы избежать боя». Но к полудню 8 ноября Паттон находился в самой гуще кровопролитного боя, и все шло не по его плану[359].

На следующий день Эйзенхауэр, отчаянно пытаясь переманить Дарлана на сторону союзников, открыл для себя факт, давно известный Черчиллю: «Французы всегда прикрывали законом любые предпринятые ими действия». Французские генералы, написал позже Эйзенхауэр, представили свою капитуляцию в 1940 году как «акт повиновения преданных солдат законным приказам своего гражданского командования». Честь таким образом была сохранена. Черчилль, рассказывая парламенту о переговорах с Дарланом, прямо сказал: «Всемогущий Господь в Своей бесконечной мудрости не посчитал нужным создать французов по образу и подобию англичан». Стремление французов найти законное оправдание — «эта особая форма французского менталитета» — проистекала из веры в то, что «непрерывная цепь законных приказов» избавляет тех, кто находится в этой цепи, от любых взаимных обвинений. Петен занимает главенствующее положение, и настолько сильно среди французов это легалистическое мышление, сказал Черчилль парламенту, что «если бы адмиралу Дарлану пришлось застрелить маршала Петена, то он, без сомнения, сделал бы это от имени маршала Петена»[360].

10 ноября, до того как Паттон перенес сражение на улицы Касабланки, адмирал Дарлан отдал приказ о прекращении огня на всем театре военных действий. Петен, используя *свою* власть, немедленно отменил приказ и уволил Дарлана[361].

На следующий день, в нарушение перемирия, подписанного в 1940 году, Гитлер вторгся в неоккупированную Францию. Это полностью освобождало Дарлана от ограничений, наложенных законом и галльской честью. Поскольку Петен теперь фактически был немец-

ким пленником, приказы Дарлана имели законную силу, достаточную для того, чтобы передать Северную Африку и французский военно-морской флот союзникам. В то утро командующий войсками войск Виши в Касабланке вышел к войскам Паттона с белым флагом. Этот флаг свидетельствовал только о прекращении огня, а не о сдаче или капитуляции. Но он положил конец военным действиям. Благодаря Дарлану Паттон, пообещавший Рузвельту и Маршаллу, что покинет побережье «или завоевателем, или трупом», остался на суше. Теперь, вместе с Дарланом, Эйзенхауэр получил политическую пилюлю с ядом. Француза одинаково поносили и в Вашингтоне, и в Лондоне. Хотя Дарлан отдал приказы, обеспечившие Касабланку и Оран, он пока не отдал самый важный приказ — приказ французским флотам в Тулоне и Дакаре направиться в Северную Африку.

Ночью 8 ноября, в годовщину Пивного путча 1923 года, Адольф Гитлер выступил с ежегодным обращением к закадычным друзьям-коричневорубашечникам в Мюнхене. Фюрер выступал в «Левенбройкеллере», поскольку «Бюргербройкеллер» сильно пострадал от взрыва бомбы во время неудавшейся попытки покушения на его жизнь в 1939 году. Гитлер сообщил аудитории, что Сталинград, «важный пункт, ведь там мы отрезаем транспортные пути... Туда стекалась вся пшеница из гигантских областей Украины, Кубани, там добывалась марганцевая руда. Там находился гигантский перевалочный пункт. Я хотел захватить это... мы люди скромные, нам много не надо, мы это и получили; там остались... несколько незначительных очагов Сопротивления». Он пообещал, что в скором времени город будет стерт с волжских берегов. Некоторые спрашивают, сказал Гитлер, «почему же вы не сражаетесь там? Да потому, что я не хочу иметь там второй Верден... Время не имеет значения. По Волге теперь не ходит ни одно судно — вот что самое главное!». Преувеличение, но не откровенная ложь. Потеряв двадцать дивизий за пять недель тяжелейших боев в центре Сталинграда, два дня назад 6-я армия Паулюса вышла к Волге в северной части города. 4-я танковая армия была всего в 2 милях от южного берега, захват которого обеспечил бы полное окружение внутренней части города. И первые доклады из Северной Африки внушали оптимизм — ожесточенное сопротивление французов на всем побережье, немецкие подкрепления для отправки в Тунис. Гитлер не сказал, что через 36 часов должна начаться операция «Антон» — оккупация вишистской Франции. Судя по всему, Третий рейх по-прежнему был на подъеме. Фактически во время выступления Гитлера, и когда его поезд отправился в его штаб, расположенный в Восточной Пруссии, и когда его верные «коричневые рубашки» с важным видом расхаживали в сигаретном дыму по залитым пивом полам «Левенбройкеллера», Третий рейх подошел к поворотному моменту[362].

В ту ночь и на следующее утро над Волгой стелился ледяной голубой туман, предвестник жестоких морозов, которые очень скоро превратят реку в мост до Сталинграда. В 50 милях к северу и югу от Сталинграда второй по важности человек в Красной армии после Сталина — маршал Георгий Константинович Жуков — собрал два огромных войска, из восьми пехотных и четырех танковых армий. Теперь Жуков ждал. В некотором смысле, Гитлер сказал правду своим мюнхенским друзьям, когда заявил, что время не имеет значения. Жуков не был ограничен временем, тогда как для немцев в Сталинграде оно уже заканчивалось.

Когда 11 ноября немцы ворвались в неоккупированную Францию, они направились прямо в Тулон, где командующие французским флотом дожидались приказа потопить флот — два линкора, несколько тяжелых крейсеров, шестнадцать подводных лодок, восемнадцать эсминцев — и тем самым лишить нацистов флота, который мог помочь им в завоевании Средиземноморья. Только Дарлан мог отдать этот приказ. Он пообещал в 1940 году, что никогда не позволит французскому флоту попасть в немецкие руки. В тот день он сдержал свое обещание. Он приказал французскому флоту покинуть Тулон и направиться в Африку, примкнуть к союзникам. Французские командующие в Тулоне, все еще верные Петену, предпочли остаться в Тулоне. Немцы окружили порт. Даже если бы французские капитаны решили подчиниться приказу Дарлана, любая попытка сделать это привела бы к тому, что немцы захватили бы флот — что они, кстати, планировали сделать. Почти две недели французские военные корабли стояли на якоре. 27 ноября Гитлер нанес свой удар. Менее часа ушло у немецких солдат и танков на то, чтобы прорваться на военно-морскую базу и направиться к верфи. Однако этого времени было больше чем достаточно, чтобы французские командующие, теперь уверенные в том, что их предали, отдали приказ потопить суда. Почти весь флот был отправлен на дно. Дарлан, при всех своих недостатках, сдержал обещание[363].

Реакция на обхаживание Дарлана и последующий «брак по расчету» была незамедлительной и яростной, как в Британии, так и в Америке, где рузвельтовские либералы, как позже написал Черчилль, были «взбудоражены... по сути, как им казалось, сделкой с одним из наших злейших врагов». Миллионы британцев, написала Молли Пэнтер-Доунес, «были убеждены, что умиротворение вишиста и мюнхенца выглядит одинаково, и не важно, каким красивым словом это будет называться». Черчилль, в свою очередь, считал, что военные преимущества, достигнутые благодаря приказу Дарлана о прекращении огня, перевешивали политический риск. Однако в телеграмме Рузвельту он выразил мнение, что сделка с Дарланом, «возможно, только времен-

ная мера для достижения цели». Рузвельт публично защищал Эйзенхауэра, Черчилль — нет. Выступая на закрытом заседании парламента, он назвал Петена «старым капитулянтом». Рузвельт не счел нужным посоветоваться с британским правительством относительно Дарлана, сказал Черчилль парламенту. Тем не менее с точки зрения достижения военных целей и сохранения солдатских жизней «генерал Эйзенхауэр был прав», обхаживая Дарлана, признал Черчилль, но публично не высказывался в поддержку Эйзенхауэра. Поскольку американцы в конце концов настояли на том, чтобы «Факел» был полностью американской операцией, пусть теперь варятся в собственном соку. Сталин, вечный прагматик, высказал свое мнение по данному вопросу следующим образом: «Военная дипломатия должна использовать для военных целей не только Дарланов, но и черта с его бабушкой». Кроме того, Сталин обронил фразу, которую услышали в Лондоне: «Перемены к лучшему»[364].

Польза от Дарлана действительно оказалась временной, поскольку в канун Рождества Дарлан, который за тот год успел нажить врагов в лице де Голля, вишистской Франции, Черчилля, Эйзенхауэра и Гитлера, был застрелен молодым французским монархистом Фернаном Бонье де Ла Шапелем. Шапель, хотя проходил подготовку в отделе специальных операций (SOE), действовал не по приказу Лондона. Его судили, признали виновным и расстреляли через сутки с небольшим. Покров тайны вокруг убийства сгустился еще больше, когда стало известно, что глава МИ-6 Стюарт Мензис, впервые покинувший Англию во время войны, обедал всего в нескольких сотнях ярдов от дома Дарлана. По слухам, последнее, что сказал Дарлан: «британцы окончательно меня сделали». Независимо от того, приложили англичане руку к убийству или нет, уход Дарлана освободил союзников от необходимости объяснять свою связь с адмиралом с сомнительной репутацией. В своих воспоминаниях Черчилль признался, что Дарлан — фашист и англофоб, в течение двух лет принимавший неправильные решения, — в конце концов принял верное решение, позволившее союзникам получить опорный пункт в Северной Африке. Если бы он приказал оказывать сопротивление союзническим войскам, «Факел» мог потерпеть неудачу. А вопрос, вынашивал Дарлан в то время планы править Французской Северной Африкой под защитой союзников или нет, после его смерти уже не имел значения. Он заслуженно снискал репутацию высокомерного, вероломного отступника, но его последняя смена убеждений наконец привела его на правильную сторону. «Пусть покоится с миром, — написал Черчилль о Дарлане, — и будем благодарны за то, что нам никогда не приходилось сталкиваться с теми испытаниями, которые сломили его»[365].

Смерть Дарлана не повлияла на положение Жиро, командующего французскими силами в Северной Африке, но освободила место за

столом для де Голля и «свободных французов» — во главе стола, если де Голль реализует свои амбиции. Его ненавидели в Вашингтоне, где Корделл Халл называл «свободных французов» проститутками. В телеграмме Черчиллю Рузвельт с сарказмом спросил: «Почему бы де Голлю не пойти воевать? Почему бы ему не двинуться к западу от Бразавиля? У него уйдет масса времени, чтобы добраться до какого-нибудь оазиса». Но, несмотря на заносчивость, де Голль оставался для Черчилля и британцев символом французской отваги, героем, который на протяжении трех лет хотел воевать с немцами и получил эту возможность. За две недели до убийства Дарлана Иден спросил де Голля, смог бы он достигнуть какого-либо соглашения с властями Французской Северной Африки, если бы Дарлан исчез со сцены. Де Голль ответил «да». И Дарлан действительно исчез. Для того чтобы британцев (и, следовательно, де Голля, перед которым у британцев теперь были обязательства) не исключили из североафриканской политики, Черчилль назначил Гарольда Макмиллана (с одобрения Рузвельта) британским министром-резидентом в штабе союзников в Северной Африке, где, как надеялся Черчилль, он будет служить противовесом рузвельтовскому человеку в Марокко, Роберту Мерфи. Макмиллан, как сообщил Черчилль Рузвельту, «питает самые дружественные чувства к Соединенным Штатам, и его мать родом из Кентукки». На самом деле его мать была из Индианы, и, хотя Макмиллан, как Черчилль, был наполовину американцем, он был британцем до мозга костей и тори. Черчилль просто обеспечил себе место в политической игре в Северной Африке. Учитывая упрямство Шарля де Голля, это должна была быть рискованная, нарушающая все планы азартная игра[366].

10 ноября 1942 года на традиционном обеде у лорд-мэра в Мэншн-Хаус Черчилль сказал две фразы, вошедшие в историю. Обращаясь к победе Монтгомери в пустыне, Черчилль заявил: «Это еще не конец. Это даже не начало конца, но, возможно, это конец начала». Затем, назвав себя «активным помощником» Франклина Рузвельта в «великом предприятии», осуществляемом во Французской Северной Африке, Черчилль поспешил развеять любые сомнения о своей подчиненной роли в альянсе. «Позвольте мне, однако, прояснить ситуацию... Мы намерены отстоять свое. Не для того я стал первым министром короля, чтобы способствовать ликвидации Британской империи». Произнося эти слова, Черчилль, похоже, подтвердил, раз и навсегда, свой статус убежденного империалиста, который не мог осознать или для него была невыносима простая истина — заканчивалась эпоха европейского колониализма, и Франклин Рузвельт всячески содействует ее окончанию. Черчилля попросили сформировать правительство только для одной цели: чтобы выиграть войну. Он был убежден, что по окончании войны Британия вернет себе территории, захваченные странами оси, как

и Америка ожидала вернуть Гуам и остров Уэйк. Если будущие события потребуют реорганизации Британской империи, британский народ примет решение по этому вопросу. Черчилль закончил свое выступление словами, подтверждавшими его веру в Англию и в империю: «Мы здесь, мы выстоим, надежная скала в этом дрейфующем мире»[367].

Для Черчилля Британская империя была вариантом наилучшего из всех возможных миров немецкого философа Готфрида Лейбница. Однако это чувство сформировало только часть его мироощущения. Он был таким же патриотом Европы, как патриотом Британии, и его готовность выстоять в одиночку против Гитлера являлась выражением этого патриотизма и защитой правды, как ее понимал Черчилль: Европа была колыбелью западных политических и художественных традиций, защитать которые, после падения Франции, выпало на долю Британии. В «годы пустынного одиночества» он предупреждал об опасности, которую Гитлер представлял для Европы и, соответственно, для Великобритании и Британской империи. Даже когда началась война, здравомыслящие люди, такие как Болдуин и Галифакс, верили, что смогут сохранить империю, достигнув соглашения с Гитлером, то есть путем умиротворения Гитлера. Черчилль думал иначе. Британия вступила в войну, чтобы вернуть свободу Европе. Однако он понимал, что, если Британия выйдет из войны победительницей, она, возможно, уже не будет прежней.

Погибали все империи, кроме Британской, действовавшей как парламентская демократия, — факт, который, по мнению Черчилля, оправдывал ее существование. Как-то он сказал Колвиллу, что навсегда запомнил слова отца, что «только британцы сумели совместить империю и свободу». Конечно, существовало неравенство, но он хотел его исправить. В разговоре с Эттли он заметил, что старый порядок меняется и «показной блеск и тщеславие должны уйти». Он сказал Идену, что в Египте «при нашем попустительстве появилось слишком много толстых, наглых партийных деятелей» и что со временем богатые паши и землевладельцы будут вынуждены платить налоги по тем же ставкам, что богачи в Британии. Ставки Черчилль планировал оставить высокими, чтобы финансовое бремя войны не легло на британский рабочий класс. Он рассматривал в качестве лозунга послевоенной реконструкции: «Еда, дом и работа для каждого». Но для его кузенов по ту сторону Атлантики слова «империя» и «свобода» были антонимами. Элеанора Рузвельт написала о Черчилле: «Он гуманный человек и нравится мне, но я не хочу, чтобы он управлял миром». Черчилль понимал, написал Колвилл, что «в Вашингтоне республиканизм и антиколониализм были устоявшимися понятиями и ни один американец не задумывался над их смыслом»[368].

Черчилль верил, что диаспора англоговорящих народов, начиная с XVI столетия, привела к появлению уникальной империи в истории,

империи, написал он, основанной на принципе согласия и добровольного объединения независимых государств под короной». Он был согласен с Аристотелем: о человеке можно судить по его правлению — к этому можно добавить, что о нации можно судить по ее правлению. Его империя была империей общих демократических идеалов, общих рисков и общих побед. Его народ был могучим дубом в лесу народов, но этот дуб отбрасывал благотворную тень, в которой могли найти защиту и подняться менее цивилизованные народы. Возглавив в 1940 году партию тори, он повторил слова отца, которыми поделился с Колвиллом, что британцы «единственные из всех народов в мире... сумели совместить империю и свободу. Среди всех народов мы единственные совместили демократию и традиции». Он считал империю синонимом демократии и достойной долголетия — даже вечной жизни — независимо от того, какие жертвы потребуются от него самого, британцев и королевских колониальных армий[369].

За год до выступления в Мэншн-Хаус Черчилль обратился к ученикам Харроу: «Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника»[370].

Он не сдался в 1942 году, когда поражение было в порядке вещей. Даже с участием Америки (в течение одиннадцати месяцев Клементина регулярно напоминала Черчиллю, что Америка принимает участие, но *не совсем*) ему все еще не хватало военной мощи, чтобы уничтожить своих врагов. Что оставалось Черчиллю, кроме оптимизма? Темные дни двух прошедших лет не располагали к оптимизму, но он всегда находил светлые моменты. Уныние настигало его после очередных военных неудач, случавшихся с удручающим постоянством, но он не позволял себе надолго впадать в уныние. Неудачи, вспоминала его дочь Мэри, не лишали его самообладания[371].

Вступление Америки в войну создало впечатление неизбежности победы союзников; однако к концу 1942 года Британия все еще балансировала на острие ножа. Теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что Эль-Аламейн и острова Мидуэй были поворотными пунктами; что Гитлер ошибся при разворачивании своих подводных лодок; и ошибся, не стерев Мальту с лица земли. Заканчивался 1942 год, и Черчилль упорно настаивал на том, что кольца из стали и бетона, которые Германия с Японией возвели вокруг своих завоеваний, следует регулярно проверять до тех пор, пока не удастся найти уязвимые места, и воспользоваться ими. В воздухе Королевские ВВС прорвали немецкое кольцо, а теперь и на земле, в Северной Африке, союзники проверяли кольцо на прочность, и Сталин занимался этим в городе, названном в его честь. И на Гуадалканале американцы не собирались ослаблять хватку.

Незадолго до наступления Монтгомери в Эль-Аламейне Черчилль ответил на просьбу Энтони Идена высказать свое мнение о докладе Министерства иностранных дел относительно послевоенной организации четырех великих держав — Великобритании, Китая, Советского Союза и Соединенных Штатов. Черчилль посоветовал Идену не делать поспешных выводов относительно того, кто войдет в состав этих великих держав. «Мы не можем сказать, с какой Россией и с какими русскими требованиями нам придется столкнуться, — и добавил: — Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств». Что касается Китая, то «я не могу считать правительство Чунцина представителем великой мировой державы. [Китай], конечно, выступит на стороне Соединенных Штатов при любой попытке ликвидировать Британскую империю». В общем, сказал Черчилль Идену, он отдает предпочтение «Соединенным Штатам Европы*, способным защитить себя от всех угроз».

Однако, заметил он, как ни приятно рассуждать на подобные темы, «война имеет преимущественные требования на ваше и мое внимание». Он закочил свой монолог такими словами: «Я надеюсь, эти теоретические исследования будут поручены тем, для кого время тянется медленно, и что мы не станем пренебрегать рецептом тушеного зайца из кулинарной книги миссис Гласс, который начинается со слов: «Сначала поймайте зайца»[372].

В ознаменование славных дел Монтгомери (и перед высадкой союзников в Северной Африке) Черчилль приказал, чтобы церковные колокола звонили по всей стране в следующее воскресенье, 8 ноября. Брук, Клементина и дочь Мэри пришли в ужас. Клементина «яростно» протестовала против его решения («совершенно справедливо», считала Мэри); Брук «умолял» Черчилля подождать, пока силы «Факела» не обеспечат полный контроль над побережьем. Начиная с 1939 года слишком часто многое шло не так, и не стоило давать ложную надежду. Черчилль прислушался к их советам, но через несколько дней поступил по-своему. 12 ноября англо-американская армия захватила побережье Северной Африки, и восточные части уже двигались к Тунису. К тому времени Монтгомери выпроводил Роммеля и взял в плен столько итальянцев, что хватило бы на шесть дивизий[373].

Церковные колокола звонили в воскресенье, 15 ноября. После трех лет надежд наконец в Эль-Аламейне была одержана пусть небольшая,

---

* Хотя Черчилль часто говорил о «Соединенных Штатах Европы», он не уточнял, будет ли эта организация свободной конфедерацией или федеральной системой, государства-члены которой будут связаны конституцией. Он только намечал контуры предполагаемого послевоенного устройства Европы, не вдаваясь в детали, как и в случае, когда отстаивал идею «единой» послевоенной Европы.

но победа. Царило приятное возбуждение, написала Молли Пэнтер-Доунес, «волна эмоций... что делает этот момент чем-то похожим на те моменты летом 1940 года. Но есть большая разница. В 1940 году дни были мрачными. Сегодня, хотя здравомыслящие британцы понимают, что впереди обязательно будет еще много мрачных дней, впервые в поле зрения показались разумные причины для надежды»[374].

Джордж Оруэлл в эссе, написанном в 1942 году, заметил, что «из прошлой войны по-настоящему запечатлелись в народной памяти четыре названия: Монс, Ипр, Галлиполи и Пашендейл — катастрофы. Названия великих битв, сокрушивших в конце концов германские армии, широкой публике неизвестны». Нет, написал Оруэлл, «популярных стихотворений о Трафальгаре или Ватерлоо... Самое волнующее английское батальное стихотворение — о кавалерийской бригаде, атаковавшей на неправильном участке»[375].

Эль-Аламейн не только запечатлелся в общей памяти, но стер старые воспоминания. Черчилль увидел в Монтгомери своего Веллингтона, генерала столь же безжалостного в гонке за победой, как он сам. В 1940 году Молли Пэнтер-Доунес сравнила Черчилля и его влияние на британский боевой дух с правлением Питта в 1759 году. В 1942 году Черчилль проиграл все сражения, прежде чем наконец одержал победу в пустыне. Заканчивался год, и никто не сравнивал Эль-Аламейн и 1942 год с Ватерлоо и 1815 годом или с 1759 годом, «годом побед» Питта и Вольфа в Квебеке, Королевского флота над французским флотом в Киберонском заливе и при Лагосе, и Минденским сражением, где англо-прусская пехота и артиллерия положили конец мечтам французов о гегемонии на континенте. «Наши колокола скоро износятся от празднования побед», — хвастливо заявил другу Хорас Уолпол* в 1759 году.

Летом 1759 года в Чатемских доках был заложен 3500-тонный военный корабль, и на следующий год, в честь *судьбоносного года* Британии, корабль получил название ее величества корабль «Виктория». В конце 1759 года Дэвид Гарик** сочинил Heart of Oak («Сердце из дуба») — хвалебную песню кораблям и морякам Королевского военно-морского флота.

Когда 1942 год близился к концу, последняя строфа поэмы Гаррика стала подходить ко всем родам войск правительства его величества:

---

* Уолпол Хорас — английский писатель, основатель жанра готического романа. Младший сын премьер-министра, главы партии вигов Роберта Уолпола.

** Гаррик Дэвид (1717—1779) — английский актер, драматург, директор театра Друри-Лейн. По словам Сэмюэла Джонсона, «профессия сделала Гаррика богатым, он сделал профессию уважаемой в обществе». Похоронен в Вестминстерском аббатстве, в так называемом Уголке поэтов.

Через океаны и пустыни
Они шли за свободой
И, умирая, завещали нам
Свою свободу и славу.

В самом начале 1942 года Черчилль пообещал британцам еще более жестокие разочарования и катастрофы. Месяц следовал за месяцем, и он, безусловно, выполнил данное обещание — и в Сингапуре, и в Бирме, и в пустыне Северной Африки. Год, конечно, не был победоносным, но был годом *с победами*. И этого было достаточно.

В тот год Черчилль, единственный из «Большой тройки», совершал путешествия через океан — дважды в Вашингтон, один раз в Москву. «Большая тройка» — словосочетание, которое может вызвать в воображении огромный военный фургон, запряженный тройкой благородных коней. Однако, пока Черчилль, Рузвельт и Объединенный комитет начальников штабов делали неуклюжие попытки идти в упряжке, Сталин скакал в одиночестве. В действительности большую часть 1942 года так называемая «Большая тройка» была больше похожа на «Большую двойку» плюс один. В военных усилиях союзников, позже написал Джордж Кеннан, было меньше единой, скоординированной стратегии и больше одновременных действий: американцев и британцев на западе, Сталина на востоке[376].

Сталинские военачальники не советовались с британцами и американцами; они советовались со Сталиным. В свою очередь, Сталин оказывал непрерывное давление на союзников — требуя больше военной техники и второй фронт; Рузвельт с Черчиллем добросовестно пытались выполнить его требования. Русский фронт оказывал почти гравитационное влияние на решения Рузвельта и Черчилля, подобно тому как луна оказывает влияние на приливы и отливы. Можно сказать, что Русский фронт находился на Луне, поскольку Сталин практически не позволял информации просачиваться наружу. Рузвельт, уверенный, что сможет справиться с Дядюшкой Джо, еще ни разу с ним не встречался; Сталин, в свою очередь, отказывался покидать Россию ради встречи с союзниками и не доверял британцам. В декабре британский посол в Москве, Кларк Керр, сообщил Черчиллю, что Сталин не только не верит, что американцы и британцы сдержат свое обещание открыть второй фронт, но и «боится, что мы собираем огромную армию, которая может однажды развернуться и объединиться с Германией против России». «Большая тройка», хотя поддерживалась письмами и телеграммами Черчилля к Рузвельту и Сталину, по большей части оставалась безличной лингвистической выдумкой до тех пор, пока Черчилль не совершил паломничество в Вашингтон и в Москву. Тогда и только тогда «Тройка» стала настоящей. Путешествия, которые Черчилль предпринял в тот год, были настолько опас-

ными, что генерал Дуглас Макартур предложил наградить его Крестом Виктории*: «Ни один из тех, кто его носит, не заслуживает его больше, чем он, — сказал Макартур одному британскому офицеру, — хотя бы по той причине, что такие путешествия — через чужие, вражеские территории — могут быть обязанностью молодых пилотов, но для государственного деятеля, обремененного мировыми проблемами, это акт вдохновляющего мужества и отваги»[377].

Черчилль нашел путь к славе в тот год, когда воевал в одиночку после капитуляции французов, герой-одиночка. «Бог знает, где бы мы были без него, — написал Брук в дневнике в конце 1941 года, — но бог знает, куда мы пойдем с ним». В 1942 году Черчилль укрепил свой союз, однако, словно фундамент старого деревенского дома, он требовал постоянного обновления и укрепления. Создав и укрепив союз, он нашел путь к победе. *Вот куда* они шли.

Он любил «приставать, ворчать и говорить колкости». В своей речи в парламенте, сразу после высадки войск в ходе операции «Факел», он назвал себя «шилом». «Мои трудности, — признавался он, — в том, чтобы найти в себе терпение и самообладание и ждать достижения результатов в течение долгих тревожных недель». На самом деле он не особо старался терпеть и сдерживаться; он был слишком нетерпелив. Он сказал члену Комитета обороны, что значение имеют только действие и результаты: «Легко говорить, что все было продумано. Самая суть дела в том, было ли что-нибудь сделано». В Ливийской пустыне кое-что было сделано[378].

«И теперь наконец-то — написал Брук в дневнике, — наметились изменения к лучшему...»[379]

---

* Крест Виктории — высшая военная награда Великобритании, вручается за героизм, проявленный в боевой обстановке. Крестом Виктории могут быть награждены военнослужащие всех званий и родов войск, а также гражданские лица, подчиняющиеся военному командованию.

Глава 4

ВСТРЕЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Ноябрь 1942 — декабрь 1943 года

Спустя несколько дней после высадки десанта в Северной Африке Черчилль был склонен полагать, что операция «Факел» будет завершена к Рождеству. Его уверенность разделял и Алан Брук, написавший в дневнике, что дешифровщики подразделения «Ультра» указывали на то, что, если их расчеты верны, это будет отличной возможностью «в короткие сроки оттеснить противника к морю». Ободренный такой перспективой Черчилль начал работу над «сверхсекретной запиской» в Комитет начальников штабов. Среди перечисленных им целей значились: к Рождеству «завершить операцию «Факел»; к марту «вовлечь Турцию в войну»; к июню нарастить контингент англо-американских сил в Великобритании; к июлю создать группу десантных судов и завершить «подготовительный этап операции «Раундап». И наконец, в августе или сентябре «действовать». Таков был план[1].

12 ноября воздушно-десантные войска высадились в городе Бон, в 200 милях к востоку от Алжира и в сотне миль от Туниса, куда в то время осуществлялась переброска немецких войск. Британские командующие на небольших моторных катерах скользили вдоль побережья Туниса впереди небольшой по численности британской 1-й армии под командованием генерала Андерсона, которая днем ранее начала свое стремительное движение к Тунису. За несколько дней Андерсону удалось продвинуться достаточно далеко, но из-за нехватки подвижных составов и локомотивов тормозилась переброска танков и припасов, что замедляло общую скорость передвижения армии. Ситуация с транспортом усугубилась, когда поздней осенью зарядили дожди, из-за чего дороги сильно раскисли. Андерсон, пытаясь увеличить скорость передвижения и одновременно защитить фланги, разбил армию на три части, но в результате оказался в ситуации, которую можно было бы сравнить с попытками расколоть кокос не штыком, а вилкой.

Фельдмаршал Альберт Кессельринг, командующий немецкими операциями в Средиземном море, уже отправил головной отряд в Ту-

нис, и к концу месяца там находилось 20 тысяч немецких солдат, а также туда были переброшены «Юнкерсы», бронетанковые войска и артиллерия; силы немцев были равны армии Андерсона по численности, но превосходили его бойцов по опыту. Остальные солдаты под командованием Эйзенхауэра находились в Оране и Марокко и фактически бездействовали, поскольку американцев не покидало опасение подвергнуться гитлеровскому удару с тыла посредством переброски военно-воздушных сил вермахта и десанта через территорию Испании. Полковник Ян Якоб написал в дневнике, что главнокомандующие армией Соединенных Штатов «рассматривали Средиземноморье как некую черную дыру, войти в которую означало бы подвергнуть себя опасности». На той неделе Маршалл сказал Рузвельту, что страны оси могут избрать один из трех вариантов дальнейших действий: завоевать Испанию, пройти через Кавказ или напасть на Великобританию, и первый казался наиболее вероятным. Соответственно, самым важным для Эйзенхауэра была безопасность. 23 ноября Брук в своем дневнике пожаловался, что «в Северной Африке наблюдается очень медленный прогресс», и обвинял в этом неспособность Эйзенхауэра «справиться со стоящей перед ним военной ситуацией». К тому времени союзники произвели высадку десанта численностью 250 тысяч человек, что удвоило их контингент в регионе. И при этом только Андерсон продвигался вперед. Черчилль, не имея возможности подтолкнуть Эйзенхауэра к более активным действиям, обрушился с критикой на Брука. Он сказал начальнику Генерального штаба Великобритании, что «операция «Факел» должна быть трамплином, а не диваном»[2].

Успех в Тунисе зависел от двух факторов — смелой инициативы (в отсутствие иного, помимо продвижения Андерсона, прогресса в Тунисе) и продолжения поставок ресурсов из Соединенных Штатов. «Факел» мог погаснуть из-за любого приказа о переброске американских солдат, самолетов или кораблей на Тихоокеанский театр военных действий. Соединенные Штаты уже отправили больше сухопутных и морских сил в Тихоокеанский регион (460 тысяч), чем в Великобританию или Северную Африку, где служили в общей сложности 380 тысяч американских солдат, большинство из которых находились в тылу. Организовать переброску войск или техники в Великобританию было сложной задачей. За тот месяц подводные лодки в Атлантическом океане потопили более 100 кораблей союзников, более 720 тысяч тонн тоннажа, и на тот момент это была самая крупная потеря за месяц. Черчилль, в попытках объяснить Сталину то, чем на самом деле была чревата немецкая морская блокада, написал: «Вам, обладателям столь обширных территорий, трудно понять, что мы [Великобритания] можем жить и сражаться только в зависимости от того, насколько нам открыт доступ к морским путям». Успехи немецких подводных лодок,

сказал Черчилль Сталину, были «сдерживающим фактором» в англо-американском планировании. И каждый военный корабль Соединенных Штатов, отправленный в Тихий океан, облегчал немецким подводным лодкам задачу по уничтожению вражеского флота. Спустя всего несколько дней после начала операции «Факел» морское сражение в Тихом океане подстегнуло американцев к более активным действиям против Японии на море, и это в то время, когда, как сказал Черчилль Сталину, союзники испытывали нехватку в военных кораблях для подкрепления высадки десанта в ходе операции «Факел» и для сопровождения конвоев в Арктике, от которых так зависел Сталин[3].

12 ноября, два дня спустя после речи Черчилля в Мэншн-Хаус, резиденции лорд-мэра, американские ВМС и японские императорские морские силы вновь сошлись в сражении в проливе Айрон-Боттом-Саунд у берегов острова Гуадалканал. С августа японцы направляли быстроходные военные корабли и войска («Токийский экспресс»)* из Рабаула к Гуадалканалу, в 4 тысячах миль от пролива Нью-Джорджия, и с августа американский флот противостоял «Токийскому экспрессу».

В середине октября в Токио осознали, что пришло время уничтожить американцев у Гуадалканала. План японцев предполагал обстрел аэродрома морских пехотинцев для поддержки десантных сил, которые должны были высадиться в светлое время суток, приблизительно 13 ноября. В это время американцы подтягивали свои силы для подкрепления контингента. Благодаря наблюдателям с берега американцы узнали о передвижении японского флота и были наготове, когда 12 ноября в сумерках японцы подошли к берегам Гуадалканала. Американский историк Сэмюэл Элиот Морисон, занимающийся исследованием морских сражений, позже написал, что последующее сражение (фактически их было два, второе началось спустя сутки после напряженного молчания) «напомнило о битвах между Англией и Голландией XVII века, когда каждая из сторон беспощадно наносила удары другой до полного ее потопления». Обе стороны сражались беспощадно. Когда сражение было окончено, обнаружилось, что американцы понесли ужасающие потери, а по сути, это было тактическое поражение. Но японские адмиралы из опасения, что, возможно, на подходе могут быть еще более крупные американские силы, побоялись продолжить наносить удары по аэродрому до полного его уничтожения. Вместо этого они развернулись и направились к берегам Японии и таким образом отдали стратегическую победу в руки американцев.

* «Токийский экспресс» — название, данное союзниками легким силам военно-морского флота Японской империи, доставлявшим подкрепление в виде войск, оружия и боеприпасов армейским силам, действующим на островах вокруг Новой Гвинеи и Соломоновых островах в течение кампании на Тихом океане во время Второй мировой войны.

Цена этой победы для Соединенных Штатов была ужасной: один линкор, несколько крейсеров и эсминцев получили повреждения, два крейсера и шесть эсминцев были потоплены и более 1600 матросов убиты. Вот такой ценой была одержана эта победа[4].

Несколько дней спустя Черчилль направил Рузвельту телеграмму с поздравлениями по случаю победы. Вскоре после этого Рузвельт объявил: «Похоже, мы наконец смогли достигнуть переломного момента в этой войне». Но Черчилль пока предпочел придерживаться перестраховочной формулировки «конец начала». После окончания войны был обнародован перехваченный в то время документ японского императорского флота, который оправдывал энтузиазм Рузвельта: «Можно сказать, что успех или поражение в деле обретения контроля над Гуадалканалом будет развилкой на пути, который приведет их или нас к победе»[5].

Американцам удалось пойти по тому пути, который должен был привести к успеху. Но Алан Брук и маршал военно-воздушных сил Портал опасались, что, если американцы сейчас сделают выбор в пользу того, чтобы любой ценой преследовать японский флот до Токио, подвергая его неистовым обстрелам, они сделают это ценой Европейского театра военных действий. По мнению Портала, из-за того, что американцы рассматривали Северную Африку не как трамплин в Европу, а как тренировочную площадку для отработки механизма сдерживания, они не видели противоречия в том, чтобы направлять ресурсы из Великобритании в Тихоокеанский регион. Для Черчилля все обстояло иначе. Он пообещал Сталину открытие второго фронта в 1943 году, и первоначальные успехи операции «Факел», по его оценке, давали надежду на то, что это обещание сможет воплотиться на практике[6].

Позже в России, когда эта ноябрьская неделя была позади, вермахт и Красная армия стояли уже у иной развилки на другом пути. На рассвете 19 ноября маршал Жуков отдал приказ армиям, находящимся под его командованием, нанести удар по немецкому флангу к северу от Сталинграда. На следующий день его войска застряли к югу от города. Затем обе армии быстрыми темпами двинулись к излучине Дона, в 30 милях от Сталинграда. Жуков видел расположение немецких войск у Сталинграда — это было не стальное кольцо, а «хрупкая оболочка». При поддержке артиллерийских залпов из более чем 200 тысяч орудий действия немцев померкли под ожесточенным огнем, а миллионное советское войско прорвалось сквозь плохо экипированные, деморализованные румынские, венгерские и итальянские силы, прикрывавшие фланги Паулюса, убив и захватив в плен более 300 тысяч союзников Гитлера. К 21 ноября Паулюс и остатки 6-й армии оказались запертыми в руинах Сталинграда. У Паулюса был выбор: либо остаться и сражаться, либо попытаться прорваться к Дону, к западу

от города, а затем соединиться с группой армий «Дон» под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Но гениальность плана Жукова заключалась в том, что он предполагал не создание узкого кольца, которое Паулюс мог бы с легкостью прорвать и ускользнуть, а формирование широкого кольца вокруг немцев. Когда величайший немецкий стратег Манштейн попытался пробиться сквозь кольцо, чтобы освободить Паулюса, ему удалось приблизиться к Сталинграду на 35 миль, прежде чем его остановили. В середине декабря Гитлер, месяцем ранее заявивший миру о том, что 6-я армия никогда не покинет Сталинград, повторил свой приказ. И Паулюс, не имевший возможности вырваться из кольца Жукова, повиновался. У него не было другого выбора[7].

Сталин, как обычно, не сообщил точных сведений ни Черчиллю, ни Рузвельту о расположении и мощи Красной армии (привычка, которая приводила Черчилля и Рузвельта в ярость, учитывая, что Сталин постоянно умалял масштабы усилий, предпринимаемых Великобританией). Только те, кто сражались среди руин Сталинграда, знали, как проходило сражение, и знали они немного. Они могли видеть происходящее вокруг себя лишь в радиусе нескольких футов. Из советских громкоговорителей до солдат Паулюса доносилось, что каждые семь секунд умирает один немецкий солдат. В этой крупнейшей в истории битве огонь был столь плотным, что на территории, площадь которой не превышала площадь Манхэттена или Кенсингтона, среди полуразрушенных зданий на усеянном трупами клочке земли площадью в несколько квадратных миль сражалось больше солдат, чем во всем Тунисе. Гниющие внутренности убитых и остатки жизнедеятельности живых вызвали вспышку тифа и дизентерии, уносивших жизни так же, но не столь милосердно, как шквальный огонь. Сталинград был похож на коллапсирующую звезду, стягивающуюся к неимоверно сжатому радиусу, это был ужасающий ад, из которого ничто не могло ускользнуть. Один из выживших немцев написал, что город был «огромным котлом», местом «вездесущего слепящего дыма...поднимающегося над языками пламени»; «ночами кровопролитий в зареве пылающего огня, когда воздух раздирался от воя собак», когда испуганные псы бросались в Волгу и, как обезумевшие, пытались перебраться на ту сторону, где были русские. Те, кто ждал новостей из Сталинграда в Лондоне и Вашингтоне, должны были набраться терпения; сначала об исходе битвы объявлялось в Москве и Берлине. Проигравшая сторона оглашала результаты сражения под звуки похоронного марша, а победитель — под торжественный марш[8].

Всю последнюю неделю ноября Дуайт Эйзенхауэр осуществлял переброску Генерального штаба из Гибралтара в Алжир. Эйзенхауэр, заместитель начальника штаба сухопутных войск армии США Марк

Кларк и сопровождающие лица разместились в отеле St. George и на двух виллах. В результате Эйзенхауэр находился примерно в 300 милях к западу от линии фронта союзников, который начинался от Средиземного моря, примерно в 50 милях западнее порта Бизерта, и шел к перевалу Кассерин в Атласских горах в западной части Туниса. Там, где маргаритки и красные маки проглядывали среди камней, украшая открытую ветрам местность, лопаты были бессильны против каменистой почвы, а из-за рельефа местности найти укрытие было почти невозможно.

На северном краю фронта передовые отряды под командованием Андерсона были уже всего в нескольких десятках миль от Туниса. С высот, располагавшихся к западу от города, британские разведчики наблюдали за происходящим на равнинах, которые когда-то были колониями Древнего Рима. Вдалеке высились башни тунисских минаретов. До основания Туниса здесь, на берегу моря, были руины Карфагена. Римляне пришли сюда 2100 лет назад, желая разрушить Карфаген, и им это удалось, но лишь после долгого морского сражения и битвы за каждый дом. Если бы немногочисленная армия Андерсона вошла в Тунис, эта битва закончилась бы очень быстро. Поход к Тунису затягивался, но Черчилль по-прежнему был уверен, что Андерсон возьмет город к Рождеству и что Монтгомери вскоре разгромит Роммеля, и, преисполненный самых благородных чувств, начал кампанию, необходимую для следующего этапа действий союзников: операцию «Раундап» — завоевание Франции. Действительно, на той неделе Монтгомери оттеснил Роммеля к Эль-Ахее, располагавшейся на полпути к Триполи. До этого дважды, в 1941 и 1942 годах, Роммель начинал отсюда контратаку и оттеснял британцев, которым удавалось прорваться к Каиру. На этот раз из-за нехватки танков и топлива, ему этого не удалось. После недолгого противостояния Лис Пустыни бежал к западу, преследуемый Монтгомери, который теперь двигался к Триполитании, цветущему саду африканской империи Муссолини. 2 декабря Черчилль, воодушевленный подвигами Монти, сказал Рузвельту, что «шансы успешно осуществить операцию «Раундап» могут существенно возрасти» после успехов в Северной Африке и с учетом стойкости русских под Сталинградом[9].

Джордж Маршалл тоже был настроен оптимистично. Он заявил Рузвельту, что Тунис будет занят через две-три недели, «если двух дивизий [Андерсона] будет достаточно для выполнения этой задачи» и если страны оси не осуществят какой-то неожиданный маневр. Эта поражающая профессионализмом оценка неизбежно вызывает два вопроса. Что планируется делать, если немногочисленных сил Андерсона все-таки окажется недостаточно для того, чтобы захватить Тунис, и что, если страны оси все-таки осуществят внезапное нападение? Ни на один из двух вопросов ответа не было. В то же время более сотни

тысяч американских солдат находились в резерве в глубоком тылу, за армиями Андерсона, бездействуя в ожидании удара оси через территорию Испании[10].

Из-за возникшего энтузиазма в отношении операции «Раундап» Черчилль начал разделять точку зрения Маршалла, но разошелся во мнениях с Аланом Бруком. Черчилль четко дал понять Бруку, что операция «Факел» должна стать трамплином, но трамплином куда? В Западную Францию? В Южную Францию? На Сардинию, Сицилию, в Италию или на Балканы? И Черчилль, и Брук видели возможности, открывающиеся перед ними на Сицилии и Сардинии для того, чтобы обеспечить господство в небе над Средиземным морем и большей частью Южной Европы, и в результате с помощью бомбежек они смогли бы заставить Муссолини выйти из войны. Кроме того, расчеты Брука всегда были направлены на получение непосредственной выгоды для союзников: переброска войск в Египет по Средиземному морю позволила бы сократить время, затрачиваемое на обходной путь, на несколько тысяч миль, а также получить существенную добавку к флоту в виде десятков кораблей. А операция «Юпитер», целью которой был захват Северной Норвегии, что в свою очередь способствовало бы безопасному проходу конвоев в Арктике и было бы выгодно Сталину, отходила в его расчетах на второй план. Относительно Сицилии и Сардинии Черчилль сказал Бруку: «Вы не должны думать, что сможете так легко отделаться, заполучив свои «сардины»... Нет, мы должны открыть Западный фронт». По мнению Брука, любые разговоры об открытии второго фронта на Европейском континенте были преждевременны. У Великобритании было достаточно солдат, но не хватало продовольствия и топлива для переброски их на континент, да и судов для высадки солдат на берег тоже не хватало. Америка еще не была готова к тому, чтобы взять на себя руководство военными действиями в воздухе, на море и уж точно не на территории Франции. Продвижение операции «Болеро» по наращиванию контингента США в Великобритании фактически замедлилось, но Черчилль, равно как и Рузвельт, которому напомнил об этом Черчилль, прекрасно понимал, что без «Болеро» не будет «Раундапа».

Стремясь осуществить нападение на всех фронтах, Черчилль проявлял две неизменные черты: нетерпеливость и гибкость перед лицом изменчивой фортуны. Его вера в оппортунистический подход к реализации стратегии — атаковать более слабого из двух противников, если более сильный не может вступить в бой, — не ослабла ни после провала в Греции в 1941 году, ни после провала Дарданелльской операции в 1915 году. Сегодня Италия была слаба и становилась слабее день ото дня. Если она утратит свои позиции в Африке, то будет обречена на поражение. Черчилль, что было характерно для него, последовательно сочетал в своем стратегическом мышлении политиче-

ский и военный аспекты. Он разделял точку зрения Клаузевица, но все больше расходился во взглядах с американцами, которые придерживались других максим Клаузевица: избегать обходов с фланга и не мешкать с нападением на врага, если представляется удачная возможность и *если* — важная оговорка Клаузевица — ваши армии равны или превосходят по численности силы врага. Очевидно, что такие условия на Европейском континенте пока не представились.

Но Сицилия была многообещающей. Для Муссолини военные и политические последствия были бы намного тяжелее, если бы союзники намеревались захватить не Сардинию, а Сицилию. Хотя с чисто военной точки зрения (а американцы исходили именно из нее) Сардинии было что предложить. Опять же, она была в два раза ближе к югу Франции и северу Италии, нежели Сицилия. Если бы бомбардировщики союзников базировались там, то они были гораздо ближе к целям в Европе и, кроме того, было гораздо проще осуществить нападение на Тоскану — откуда можно было отрезать Рим и большую часть итальянского «сапога» от Германии, и в результате не было бы необходимости в битве за кусок территории длиной 300 тысяч миль, от «мыска итальянского сапога» до столицы. Но Черчилль назвал Сардинию «этот ничтожный выбор». Только Сицилия («заманчивый приз») стоила того, чтобы за нее побороться. В своих взглядах на значение Сицилии Брук и Черчилль расходились не слишком сильно. Для Брука взятие Сицилии было необходимо для того, чтобы Великобритания вновь обрела контроль над Средиземноморьем; Сардиния не могла предоставить такой возможности. Для Черчилля Сицилия была первым этапом в кампании, которую планировалось проводить к северу от острова, двигаясь к Вене через Италию (которая будет раздавлена после навязывания ей тяжелейших условий мирного договора), Балканы и Люблянский перевал через Юлийские Альпы в Австрию, но — и это самое важное — только в том случае, если Турция вступит в войну на стороне союзников, чтобы обеспечить защиту Балканского фланга. План Черчилля поражал наивностью: вывести из войны Италию, чтобы затем соблазнить Турцию вступить в нее[11].

Рузвельт понимал стратегические выгоды нападения на Германию с юга и сообщил об этом Черчиллю в телеграмме от 11 ноября. Он предложил, чтобы Черчилль и он вместе со своим высшим военным руководством начали планирование следующих за операцией «Факел» действий, которые бы включали «дальнейшие шаги с целью нанесения удара по Сардинии, Сицилии, Италии, Греции и другим территориям на Балканах, включая возможность того, что удастся заручиться поддержкой Турции для осуществления нанесения удара через Черное море по немецкому флангу». Черчилль с энтузиазмом отреагировал на предложение Рузвельта. Он, в свою очередь, предложил Рузвельту после укрепления позиций в Северной Африке «нанести мощный удар

в подбрюшье оси в короткие сроки». Именно в этом заключалась стратегия, которую он в августе представил Сталину. И именно тогда Франклин Рузвельт озвучил воодушевляющие предложения по данному вопросу[12].

Черчилля не нужно было уговаривать. Но было необходимо убедить генералов под его командованием и их коллег из Соединенных Штатов. Помимо отсутствия у итальянцев желания продолжать войну (как полагал Черчилль), в подбрюшье Европы не было ничего мягкого. Апеннины простирались на север через Италию к Альпам, где от Франции до Словении рельеф благоприятствовал ведению боевых действий с применением оборонительной и партизанской тактики, о чем узнали на собственном опыте несколько немецких и болгарских дивизий в Югославии и Муссолини в Греции. Позже, говоря о Люблянском перевале, Эйзенхауэр сказал своему военно-морскому адъютанту, что он скорее отправится к черту, чем отправит свою армию «на перевал, название которого я даже не могу произнести». Адмирал Кинг считал, что Средиземноморье — это тупик, место, куда, если американские корабли и прибудут, то будут обречены на потопление. «Мягкое подбрюшье, — написал Сэмюэл Элиот Морисон, — как оказалось, содержало кости Апеннин, было заковано в панцирь из непробиваемых бронетанковых войск Кессельринга и омрачено тенью крыльев самолетов люфтваффе»[13].

Маршалл всегда выступал за то, чтобы действовать прямо из Великобритании через Ла-Манш, не только потому, что это было кратчайшее расстояние между двумя точками, а потому, что побережье Северной Франции и Исторических Нидерландов было действительно «мягким» и отлично подходило для перемещений вдоль него большого количества бронетехники, что продемонстрировали немцы в 1940 году. Маршалл намеревался нанести удар напрямую из Великобритании еще в 1943 году. Однако для этого у него было недостаточно войск; операцию «Факел» начали за счет операции «Болеро», сосредоточения американских войск в Англии. Номинально Рузвельт поддерживал Маршалла, хотя всего несколько месяцев назад президент нехотя признал, что из-за нехватки судов и не имея окончательного решения относительно проведения операции «Факел», возможность проведения какой-либо операции во Франции исключается до 1944 года. Несколькими днями ранее Рузвельт отправил телеграмму Черчиллю и заверил Маршалла, что всецело поддерживает стратегию по проведению действий через Ла-Манш; и это действительно было так, но конкретной даты в планах у Рузвельта не было. Составитель биографии Рузвельта Джеймс Мак-Грегор Бернс пишет, что «тактическое развитие событий вышло на первый план, оттеснив его [Рузвельта] стратегическое планирование» и что у Рузвельта «не было четкого плана ведения битвы». Тем не менее в своей ноябрьской телеграмме Чер-

чиллю Рузвельт четко дал понять, что вариант нанесения удара в подбрюшье — наиболее вероятный ответ на вопрос, что последует за Северной Африкой[14].

Таким образом, Рузвельт предложил Черчиллю его же излюбленную схему, в то время как Черчилль — Маршаллу любимую стратегию Брука, который был в ужасе от перспективы преждевременной высадки десанта в любой точке на Европейском континенте. Безусловно, новая волна энтузиазма Черчилля по поводу «Раундапа» (даже несмотря на то, что операция была задумана ради того, чтобы задобрить Сталина) никоим образом не умерила его желание осуществить нападение на Италию. Ведь можно провести обе операции. Мысли о Северной Норвегии также не покидали Черчилля, не забывал он и об Эгейском море. Ведь можно было действовать на всех направлениях сразу.

Роберт Шервуд позднее писал, что те, кто обвинял Черчилля в нерешительности или даже напрямую в трусости относительно вторжения во Францию (как это делал Сталин, практически прямым текстом, в ходе визита Черчилля в Москву), мыслили слишком прямолинейно и упрощенно. За три месяца до того, как операция «Факел» была свернута, Черчилль сказал Рузвельту, что Великобритания с готовностью одобрит кандидатуру Маршалла в качестве командующего операцией «Раундап». Черчилль сказал это, прекрасно осознавая, что у Маршалла в голове была лишь одна-единственная стратегия: нанести удар прямо по Франции. Шервуд написал: «Это назначение самого ярого сторонника открытия второго фронта вряд ли означало, что Черчилль намеревался забыть о нем [«Раундапе»] навсегда». Он не пытался сделать это, хотя также начал озвучивать правду, какой она ему представлялась, заключавшуюся в том, что катастрофическое поражение на побережье Франции «было бы единственно возможным событием, которое могло бы привести нас к поражению в этой войне». Это умозаключение являлось очевидным и верным. Поражение на побережье Франции могло бы привести если не напрямую к поражению, то к тому, что Маршалл и Кинг направили бы все ресурсы США на Тихоокеанский театр военных действий. В то же время Гарри Гопкинс заявил собравшимся в Мэдисон-сквер-гарден, что второй фронт будет открыт, «а если нужно, то и третий, и четвертый, для того чтобы взять немецкую армию в кольцо нашей стальной атаки». И Черчилль был настроен именно так. «Раундап» должен был стать одной из *нескольких* операций. Черчиллевские идеи создания сразу нескольких фронтов были источником неутихающего беспокойства Брука, который в своем дневнике написал: «Сейчас он склонен предпочесть Сардинии и Сицилии возможность вторжения во Францию в 1943-м!» Тем временем Эйзенхауэр склонялся *к* Сардинии, где увязли три немецкие дивизии. Но, к удивлению Брука, в своем «очень плохом плане» Эйзенхауэр «никогда не заходил дальше высадки десанта на побережье»[15].

В день, когда Рузвельт отправил телеграмму, где говорил о подбрюшье (11 ноября), Черчилль выступил перед палатой общин с заявлением о том, что союзники в грядущем году соберут огромную силу и направят ее против Гитлера в Западной Европе. Он не назвал конкретных дат, когда планировалось осуществить наступление, и не уточнил, что значит «огромная». Он сказал, что вторжение будет осуществлено только тогда, когда «с течением времени» Германия будет деморализована (предположительно, из-за взбучки, которую ей зададут русские и ВВС Великобритании). Он сказал: «Кроме того, сначала требуется получить необходимое преимущество, прежде чем начинать подготовку к удару такого масштаба». Он подчеркнул, что «планирование и подготовка подобных операций может показаться нерасторопностью с нашей стороны, но на самом деле это очень важный этап». Газета New York Times написала об этом на следующий день под заголовком «Черчилль пообещал нападение через Ла-Манш». На самом деле он не давал такого обещания, но джинна уже выпустили из бутылки. С тех пор то, что союзникам не удалось пересечь Ла-Манш в 1943 году, приписывали нежеланию Черчилля и обвиняли его в невыполнении обещания, которое он никогда не давал, и, по иронии судьбы, с конца ноября 1942 года именно Черчилль (наравне с Маршаллом) был самым активным сторонником того, чтобы «Раундап» начали как можно скорее[16].

Американские военные подозревали, что Черчилль любил ввязываться в «эксцентричные операции», успех которых зависел от боевого духа, эффекта неожиданности и скорости. Так и было на самом деле, и отчасти потому, что британская армия не могла сойтись с боевой машиной вермахта на равных, а американцам еще только предстояло продемонстрировать свои навыки ведения боя. Корделл Халл и другие высшие военные чины США (и «Свободная Франция») также подозревали Черчилля в том, что он вынашивал имперские замыслы насчет Восточного Средиземноморья. Однако у него таких планов не было. Он нанес удары по вишистским «интриганам» в Сирии и Мадагаскаре, чтобы обеспечить защиту поставок нефти через Суэцкий канал и Ближний Восток, ведь от них зависел вклад Великобритании в ведение войны. Маршалл также подозревал, и был прав, что Черчилль хотел сначала обезопасить Средиземное море, прежде чем планировать высадку десанта во Франции, поэтому, по оценкам Маршалла, в дальнейшем осуществление стратегии прямого удара по Франции затягивалось. А сейчас начальник Маршалла, главнокомандующий, подталкивал Черчилля к осуществлению его «подбрюшной» стратегии. Однако подход Рузвельта к делу войны был таким же, как в политике; ему нравилось позволять событиям развиваться естественным путем, пока выбор не станет самоочевидным. К декабрю так и не стало очевидно, какую же стратегию предстояло избрать. Было ясно, что на-

стало время, когда Черчилль, Рузвельт и начальники двух штабов должны собраться и решить, в пользу какой из них делать выбор[17].

Новости из Северной Африки только подстегивали к тому, чтобы провести подобное совещание как можно скорее. 1 декабря получившие подкрепление войска Кессельринга после стычки с передовыми отрядами Андерсона заставили британцев отступить. Танки должны были занимать центральное место в битве за Тунис, а танки Андерсона, американские M3 Lee и более новая версия — M3 Grant устарели — недостатком являлось отсутствие вращающейся башни с основным орудием; при попадании крупного снаряда заклепки не выдерживали и экипаж буквально засыпало осколками брони и болтами, а размеры танка делали его легкой мишенью. Эти танки не шли ни в какое сравнение с немецким танком Panzer Mk IV с его 75-миллиметровой пушкой. Неделю спустя генерал Дитер фон Арним принял командование 5-й танковой армией в Тунисе, на тот момент численный состав которой равнялся 25 тысячам, при этом еще четверть миллиона итальянцев и немцев были на подходе из Европы и приближалась армия Роммеля. Годом ранее в Киеве искусное расположение танков Арнима привело к тому, что русская армия оказалась в кольце. Он собирался после того, как соединится с Роммелем, уничтожить американцев и британцев в Тунисе. Спустя неделю после своего прибытия в Тунис он перешел в наступление[18].

К облегчению Черчилля и Брука, Кессельринг не мог заставить себя начать операцию, которая определенно должна была улучшить положение немцев в Северной Африке и стереть Мальту с карты мира. Конвой из четырех британских кораблей прибыл на Мальту в конце ноября, что позволило Бруку написать в дневнике: «Слава богу! Это хоть немного сможет защитить остров». Кроме того, конвой обеспечил некую защиту и для проведения операции «Факел», поскольку удержание Мальты — откуда британская авиация и подводные лодки могли нападать на немецкие войска и осуществлять поддержку транспортов — было крайне важно для успешного проведения операции. Многие из находившихся в Тунисе бойцов Кессельринга были готовы к операции по захвату Мальты. И если бы Кессельринг мыслил не как генерал-фельдмаршал люфтваффе, а как адмирал и его армия высадилась на Мальте, то знамя со свастикой уже, вероятно, развевалось бы над Валлеттой, а Роммель беспрепятственно получал подкрепление и продовольствие и был бы не как сейчас, далеко от Бенгази, а уже двигался к Багдаду. Но Кессельринг, как Геринг в Битве за Англию (а теперь и в Сталинграде), возлагал надежды на своих летчиков и бомбардировщики. Многие из немецких летчиков сложили головы на Крите, но еще больше погибли на Русском фронте. Руководители рейха не осознавали всей важности Мальты: «Мы должны честно сказать немецкому народу, что не заинтересованы в завоевании Маль-

ты», — писал Геббельс несколькими месяцами ранее. И это тоже правда. Сейчас, на исходе года, Геббельс признался в своем дневнике: «Те, кто были хорошо осведомлены, ясно видели, что Роммель не может ничего сделать, если у него не будет топлива. Это было решающим моментом». За два года британцы уже хорошо это усвоили, и именно поэтому они отправляли на Мальту конвой за конвоем, десятки кораблей, обрекая экипажи на верную смерть. Сейчас базирующиеся на Мальте подводные лодки уничтожали корабли с поставками для Роммеля, и в результате Геббельс с горечью признал, что «мы потеряли большую часть наших поставок», а «ситуация во Французской Африке вовсе не радует»[19].

Не радовала и ситуация в России, где, как заметил Геббельс с довольно странным подтекстом, «у нас некоторые проблемы со Сталинградом». Он также выразил свои чувства по поводу грядущих рождественских праздников: «Я буду рад, когда весь этот рождественский балаган закончится. Невозможно спокойно заниматься серьезными делами». А сосредоточиться не получалось, поскольку люди «в эти праздничные дни слишком сильно впадали в сентиментальную веру в сверхъестественное». В списке важных дел Геббельса значилось «уничтожить всех представителей еврейской расы в Европе и, возможно, во всем мире». Еврейская раса, писал Геббельс, «подготовила эту войну; она виновница всех бед, от которых страдает все человечество. Евреи должны заплатить за это преступление»[20].

В середине декабря в ответ на заявления польского правительства в изгнании о том, что 2 миллиона польских евреев были отправлены на кораблях на верную смерть, Энтони Иден выступил с обращением перед членами палаты общин, зачитав отрывок из декларации союзников, в которой осуждалась «эта зверская политика хладнокровного уничтожения», и дал «торжественное обещание сделать все, чтобы ответственные за эти преступления лица не смогли избежать возмездия». После того как Иден произнес речь, в палате общин воцарилась редкая для этого места тишина, это была минута молчания в память о погибших евреях из стран Европы. «Зверский» — слово, редко используемое в сдержанных политических речах в XXI веке, кажется, низводит варварские действия нацистов к их жестокой первобытной природе. Однако Джордж Оруэлл позже заметил, что «зверский» — одно из клише, которым злоупотребляли в 1930-х и начале 1940-х годов, в результате политический дискурс деградировал до болтовни. За пределами Великобритании слова Идена мало кто услышал. В газете New York Times, не на первых полосах, была опубликована небольшая статья (на протяжении всего времени, что длилась война, в New York Times ни одной передовицы не было посвящено тяжелому положению польских евреев). В Великобритании правительство Польши в изгнании, возглавляемое Сикорским, поддерживало эту тему в британской

прессе, которая пережила сокращение объемов печати новостей на 20 процентов, но всегда исправно находила местечко для того, чтобы поместить статью с вестями из Варшавы. Геббельс также вспоминал о том, какие эмоции его переполняли, когда он слушал речь Идена, и был оглушен последовавшей за ней тишиной: «Англичане — евреи среди арийцев», а деятельность в палате общин «очень напоминала еврейскую торговлю». А об Идене Геббельс написал в дневнике «Этот надушенный министр иностранных дел Англии — из него высекается хорошая фигура среди всех этих типов из синагоги. Все его образование и его сознание можно охарактеризовать как чисто еврейские»[21].

В декабре в Лондоне в Вест-Энде в театрах шло тридцать пьес, вдвое больше, чем в прошлом году. В Лондоне была мода на все русское. В театре «Сент-Джеймс» шел «Месяц в деревне» Тургенева; из-за наплыва желающих и для их удобства открыли вторую билетную кассу. Над магазином «Селфридже» развевался советский флаг; в магазине были почти такие же пустые полки, как в московском ГУМе. В Лондоне пылали такой любовью к России, что советского посла Ивана Майского сделали почетным членом литературного клуба «Атенеум», а в театре «Уиндмилл» полуобнаженные танцовщицы в казачьих папахах, с красными звездами в пупках танцевали, исполняя своеобразную оду России, «Московские вечера».

Патриотизм британцев нашел отражение в кинематографическом дебюте Ноэля Кауарда в качестве режиссера фильма In Which We Serve («В котором мы служим»). Основанный на героических подвигах остававшегося до последней минуты на борту судна Дики Маунтбеттена, капитана корабля британских ВМС «Келли», потопленного в прошлом году, фильм, в котором снялся сам Кауард, мгновенно обрел популярность среди британцев, хотя кто-то из британских военных моряков метко изменил название ленты на «В котором мы тонем». Бивербрук возненавидел этот фильм из-за того, что в первых кадрах на волнах среди обломков злосчастного корабля и трупов матросов качается вышедший в 1939 году номер принадлежавшей ему газеты Daily Express с заголовком «В этом году войны не будет». Time назвал фильм «первой действительно великой картиной, отражающей события Второй мировой войны». Кауард отметился и в Вест-Энде, где его последняя пьеса Blithe Spirit («Неугомонный дух»), комедийная история о привидении, полтора года собирала множество зрителей в театре «Савой» и заставляла лондонцев смеяться над напоминанием о войне. Кауард, наравне со старыми друзьями королем Георгом VI и Уинстоном Черчиллем, был одним из немногих британцев, популярных и в Вест-Энде, и в Ист-Энде, хотя никто не мог затмить Черчилля по популярности[22].

Накануне своего дня рождения Черчилль выступил по радио с обращением. В последний раз он делал это в мае, когда объявил бри-

танцам о том, что ситуация ухудшится, прежде чем дела пойдут на поправку. Сейчас, когда союзники продвигались к Тунису, он использовал возможность выступить по радио, чтобы объявить Муссолини о том, что Италия будет следующей страной, которая ощутит на себе гнев союзников. «Прекрасная земля Италии», пообещал он, вскоре будет подвергнута «длительному и сокрушительному воздушному удару». Действительно, прошлой ночью ВВС Великобритании сбросили на промышленные зоны в Турине двухтонные бомбы. Черчилль назвал Муссолини «гиеной», «ведущей себя абсолютно непристойно», и посоветовал итальянцам свергнуть дуче (которого Черчилль называл «рабом» и «орудием»), если они хотят спасти свою «прекрасную землю» от разрушительных ударов в будущем. Он пообещал очистить Африку от вражеских сил «в ближайшее время». О том, как будет развиваться ход войны в будущем, он сказал следующее: «Я ничего не обещаю... Я не знаю ничего, что давало бы мне право надеяться на то, что война не продлится долго или что впереди нас не ожидают горькие кровавые годы». Великобритания продолжит воевать, сказал он, «ибо ее сердце преисполнено храбрости, а совесть ее чиста». Он процитировал Киплинга, чье творчество так любил:

> И если ты своей владеешь страстью,
> А не тобою властвует она,
> И будешь тверд в удаче и несчастье,
> Которым, в сущности, одна цена[23].

Обращаясь к британцам, он справедливо заметил, что победа в битве при Эль-Аламейне не означала победу в войне. Приближалось Рождество, и было принято решение, что только дети должны получить подарки. Однако Молли Пэнтер-Доунес написала в The New Yorker, что «даже у детей не будет полноценного рождественского праздника: игрушки почти невозможно достать, они некачественные и ужасно дорогие». Журналисты в личных колонках наперебой давали советы родителям, отчаявшимся найти хотя бы подержанные игрушки, трехколесные велосипеды или кукольные коляски. Новые игрушки купить было невозможно. Те жители Лондона, которые собирались завернуть в подарочную бумагу пайки чая или сахара для того, чтобы подарить их друзьям и членам семьи, оказались нарушителями закона, так как министерство продовольствия постановило, что отдавать кому-либо пайки запрещается; Черчилль прокомментировал это как «алогичное и противоречащее здравому смыслу решение», удар по «добрососедству и дружбе». Министерство торговли было намерено снизить количество выпускаемых талонов на ткани для британцев с 61 до 40 в год, что составляло примерно 13 талонов на простое платье или мужской пиджак — выбор в магазинах одежды был небогатым. Для того чтобы сэкономить на ткани и материалах, изготавливали

только однобортные пиджаки с тремя пуговицами и без пуговиц на рукавах. На жилетах могло быть не более двух карманов. Однако из-за новостей из Пустыни дефицит продовольствия, одежды и игрушек усилился еще больше. Британцы были настроены оптимистично, хотя, как писала Молли Пэнтер-Доунес, «недавно было сделано несколько официальных заявлений, в которых выносилось предупреждение, что крепостная стена, которую они охраняют, — все те же белые скалы Дувра, и их неизбежно попытаются атаковать, когда Гитлер решит, что внимание общественности обращено в какую-либо другую сторону»[24].

Внимание детей, играющих на улицах беднейших кварталов Лондона в футбол, было в основном обращено на автомобили, часто проезжавшие мимо, и не потому, что машина могла помешать игре, а потому, что автомобилями можно было пользоваться только для правительственных целей, а у большинства жителей Ист-Энда никогда не было ни машины, ни работы в органах государственной власти. Когда автомобиль проезжал по Ист-Энду или по неприглядным улочкам Манчестера, Йорка, Глазго, Ливерпуля или Бирмингема, это могло значить только одно. Дети бросали игру и смотрели, в чей же дом направляются служащие в униформе с ужасными новостями из Северной Африки. Победа Бернарда Монтгомери привела к тому, что число таких визитов резко возросло. Автомобили государственных служащих колесили по улицам Мейфэра, Челси и Найтсбриджа, ведь скорбные вести настигали и представителей высшего класса. «Британия разделена на классы, — сказала Памела Черчилль-Гарриман спустя несколько лет, — но не чувствует этого разделения». Джентри прошли через то же, что и все остальные; их сыны воевали и умирали в Пустыне, как и сыны жителей Ист-Энда[25].

Памела вспоминала, что рождественские праздники в тот год были если не самыми веселыми, то, по крайней мере, наименее мрачными за прошедшую войну, частично из-за ощущения умиротворения, которое у нее появилось, когда она узнала, что ее браку с Рэндольфом пришел конец, и, хотя Аверелл Гарриман выставил Рэндольфа рогоносцем, в разрыве не были виноваты ни она, ни Рэндольф. «Я постепенно начала осознавать, что между Клемми и Рэндольфом лежало глубокое противоречие, и на самом деле Черчилль души не чаял в своем сыне и делал все возможное, чтобы помочь ему или наделить его всеми благами, какими он мог». Черчилль жил ради своего сына — «как и для любого англичанина, для него сын или старший сын был всем», в то время как Клемми отдавала всю свою жизнь Уинстону; в результате вскоре после свадьбы Памела «ощутила неимоверный антагонизм... глубокие разногласия между Клемми и Рэндольфом». Однажды Рэндольф сказал ей, что его мать ненавидит его и что он знал об этом с тех пор, как Клементина пришла в Итон и ударила его по

лицу на глазах других мальчиков. Памела «происходила из обычной английской семьи» и считала подобное заявление «преувеличенным и бессмысленным». Однако «шли месяцы и годы, и я начала осознавать, что в его словах действительно была правда... для Уинстона много значил его старший сын, и единственное, что стояло между Уинстоном и Клемми, был Рэндольф». Уинстон вопреки возражениям Клементины обратился к офицерам, под чьим командованием служил Рэндольф, и сказал: «Я бы хотел, чтобы мой сын уехал со мной на три дня», после чего забрал его с места несения службы, для того чтобы сын сопровождал его в поездке во Францию, Каир и Тегеран. Частое отсутствие Рэндольфа на службе привело к тому, что старшие по званию стали на него «точить зуб», а Клементина, в свою очередь, выражала недовольство Черчиллю, так как опасалась, что в конечном счете критика может обрушиться на ее мужа.

«Очень сложно понять Клемми, — вспоминала Памела, — потому что она мне очень нравилась. Она относилась ко мне с теплом, но была очень странной женщиной. Она посвятила всю свою жизнь служению Уинстону», как и Рэндольф. Памела, когда ей было всего двадцать один год, наблюдала за битвой между Рэндольфом и Клементиной за любовь Черчилля, битвой, которая, с точки зрения Памелы, была бессмысленной, потому что любовь Черчилля к жене и сыну была абсолютной и безусловной, как и любовь к Памеле и ее маленькому сыну. «Я помню, как вошла в его рабочий кабинет и сказала Уинстону, что мы хотим развестись. Он замечательно отреагировал. Он сказал: «Никогда не забывай не только о том, что мы все на твоей стороне, но и о том, что ты мать моего внука». Он имел в виду маленького Уинстона, с которым обожал играть на полу в своей резиденции в Чекерсе. «Уинстон ладил с маленькими детьми лучше, чем Клементина, — вспоминала Памела. — Клемми достаточно прохладно относилась к своим внукам... у нее и правда не было никакой привязанности к младшим домочадцам»[26].

В середине декабря, когда Роммель отступал, а наступление союзников столкнулось с препятствиями в виде закаленных в бою немцев, дождей в пустыне, грязи и перевалов высоко в горах, Черчилль и Рузвельт начали планировать событие, которому суждено было стать первой встречей «Большой тройки». Пришло время, когда следовало принять окончательное решение по определению будущих стратегических целей в 1943 году. Первым пунктом на повестке дня стоял поиск средств, с помощью которых можно было бы уничтожить немецкие подводные лодки и получить контроль над Атлантикой. Прежде чем планировать какие-либо операции на Европейском континенте, было необходимо одержать победу в войне на море. И сколько солдат и судов ВМС выделить для операций на Тихоокеанском театре во-

енных действий? И что делать с Жиро и де Голлем? Наконец, важным вопросом были дальнейшие действия после очистки Северной Африки от войск стран оси.

Черчилль высказал предположение, что Исландия или Северная Африка могла бы стать отличной площадкой для конференции, но Рузвельт отверг вариант с Исландией из-за «плохого климата» и высокой вероятности обледенения крыльев самолетов (он летал в последний раз накануне избрания на первый срок и не любил летать ни в хорошую, ни в плохую погоду). Обоих лидеров устроил вариант с Северной Африкой. Они пригласили Сталина, но тот отказался, вполне оправданно сославшись на то, что сейчас его главная забота — Сталинград. Сталин тоже боялся перелетов, но сказал, что его должны информировать о всех решениях, которые будут приняты Черчиллем и Рузвельтом, вне зависимости от того, где они решат встретиться. Он также посоветовал своим союзникам не забывать об обязательстве в отношении открытия второго фронта в Европе в 1943 году[27].

Они решили, что местом проведения встречи, кодовое название Symbol (Символ), станет Касабланка в недавно освобожденном Французском Марокко. Поскольку встреча посвящалась обдумыванию военной стратегии, Рузвельт дал поручение Гарриману информировать Черчилля о том, что президент не желает, чтобы на встрече присутствовали министры иностранных дел. То есть он хотел, чтобы Государственный секретарь Корделл Халл воздержался от участия в конференции. Такое предложение со стороны Рузвельта поставило Черчилля в неловкую ситуацию: Черчилль работал в связке с Энтони Иденом. Гарриману пришлось убеждать Черчилля не приглашать Идена не потому, что Идену было нечего сказать, а потому, что Рузвельт пытался дистанцироваться от Халла, который был «волевым, упрямым и несговорчивым» и, скорее всего, стал «помехой на конференции». Черчилль нехотя согласился. Оскорбленный Халл пожаловался Гарриману, что президент не информирует его о происходящем. Это была правда; Франклин Рузвельт был сам себе Государственный секретарь. Однако же отсутствие Идена на конференции не умерило энтузиазма Черчилля. Он предложил Рузвельту, чтобы они взяли псевдонимы Дон Кихот и Санчо Панса, но официальные лица Великобритании заявили, что подобного рода псевдонимы могут вызвать желание у циничных представителей прессы назвать все предприятие донкихотством. Черчилль согласился и отправил Рузвельту телеграмму с предложением путешествовать инкогнито «как адмирал Q и господин P, с тем чтобы запутать врага... Мы должны проявлять осмотрительность». Хотя Черчилль согласился на то, что Иден не будет его сопровождать, он сообщил Гарриману, что с ним прибудут «несколько личных секретарей», военные картографы и «один или два представителя секретариата Генерального штаба»[28].

Накануне Рождества Эйзенхауэр уведомил Рузвельта и Черчилля о том, что из-за зимних дождей операцию в Тунисе придется приостановить на два месяца. По иронии судьбы, из-за немцев британские передовые отряды были оттеснены к холму Лонгстоп, с которого был виден Тунис. Кессельринг и Арним вышли из этой гонки победителями. Брук написал в дневнике: «Я боюсь, что Эйзенхауэр как генерал безнадежен. Он полностью погружен в политику и совсем забыл о своих военных обязанностях; боюсь, частично это связано с тем, что он плохо разбирается в военном деле». Свои чувства к Черчиллю Брук выразил в следующих словах: «Возможно, его самый большой недостаток заключается в том, что он никогда не может охватить все детали стратегической задачи одновременно. Он всегда фокусирует внимание на отдельных частях целого, в результате у него нет всеобъемлющего представления о проблеме в целом». Однако Брук, рассуждавший столь хладнокровно, как Стэффорд Криппс, подобно Криппсу, не мог постичь премьер-министра. Черчилль не учился ораторскому искусству в военном училище, где офицеров обучают тому, как отделять эмоции от стратегического планирования; не обучался он и адвокатскому делу в суде. Он получил свое образование в палате общин, где оппоненты бросались острыми как ножи словами с целью обезоружить оппонента, загнав его в угол и доказав всю несостоятельность его аргументации. Спустя четыре десятка лет подобных словесных упражнений в палате общин Черчилль мог обращаться с Бруком, прибегая к лести, преуменьшая его заслуги или отчитывая за неудачи. На самом деле у Черчилля была сильно развита интуиция и логическое мышление; он был наделен взглядом художника, который видел ситуацию под мириадами углов, видел ее как в целом, так и в мельчайших деталях. Он изучал всю ситуацию, внимательно просматривая ее на предмет интереса, и если находил зацепку, то останавливался и тщательно взвешивал все за и против, но для Брука этот процесс казался слишком медленным. Благодаря деятельности Брука у Черчилля проявилась еще одна черта. Аргументировав свою точку зрения, словно компромисс был воплощением зла, а высшие военные чины слишком глупы, чтобы осознать безупречность и всю мудрость занимаемой им позиции, он соглашался с их мнением, если ему не удавалось убедить их в правильности своих доводов. Брук не осознавал этого, когда дело касалось стратегического мышления Черчилля, который мог одновременно оценить последствия нескольких стратегических, политических и военных шагов. Бруку казалось, что его просто подталкивали к самому практичному из вариантов[29].

И Брук принял такое решение накануне встречи в Касабланке. Он убедил мастера аргументации в правильности своей позиции, в результате чего вскоре после наступления Нового года британцы смогли прийти к стратегическому консенсусу, чего не удалось сделать амери-

канцам. Рузвельт предупредил своих генералов, что британцы прибудут в Касабланку с готовым планом и будут «его придерживаться». Так они и сделали, но после того, как Брук убедил Черчилля умерить зародившийся энтузиазм насчет операции «Раундап». Когда Черчилль, аргументируя свою позицию, сообщил Бруку о том, что «мы пообещали сделать это Сталину, когда были в Москве», Брук ответил: «Нет, *мы* не обещали!» Брук с трудом убедил Черчилля в том, что ситуация в 1943 году позволит развернуть операцию лишь на одном театре военных действий — на Средиземноморском. И именно такую позицию британцы готовились озвучить в Касабланке. Надо сказать, Черчилль столь тщательно подготовился к конференции, что ему пришлось плыть на круизном лайнере ВМС Великобритании Bulolo для того, чтобы вместить весь штат секретарей и криптологов, сопровождающих его в поездке в Африку. Он заявил Гарриману, что возьмет с собой несколько человек, на самом деле он взял с собой практически всех[30].

До того как Черчилль отправился в Касабланку, в механизме принятия военных решений произошел сбой из-за запутанного политического дела. В конце года давнего друга Черчилля Ноэля Кауарда, работающего под прикрытием возглавляемого Брекеном министерства информации, должны были посвятить в рыцари, поскольку его друг, король Георг, считал необходимым отметить его заслуги, однако Черчилль не был склонен разделить мнение короля. Черчилль выступил против посвящения Кауарда в рыцари, поскольку тот был оштрафован правительством на 200 фунтов стерлингов за то, что потратил более 11 тысяч фунтов стерлингов во время поездок в Америку, что являлось нарушением законов об обращении с валютой. Это была огромная сумма, превышавшая совокупный доход средней британской семьи за десять лет[31].

Спустя семьдесят лет некоторые средства массовой информации приписали нежелание Черчилля допустить посвящения в рыцари его «гомофобному» складу ума, однако никто из его ближайшего окружения не подтвердил этого, несмотря на то что в своих дневниках они отражали критическое отношение ко всем окружающим, включая даже тех, кто не занимал высокого положения в обществе. Знал ли Черчилль, кто был в его кругу гомосексуалистом, а кто нет? «Я не думаю, что ему было до этого дело», — вспоминал Джок Колвилл. Черчилль прекрасно знал о гомосексуальных наклонностях некоторых лиц, регулярно вращавшихся в кругах театралов Вест-Энда, нескольких преподавателей университетов, множества военных и героев, служащих в военно-морских силах, а также об ориентации своего бывшего секретаря Эдди Марша, друга Боба Бутби и Т.Е. Лоуренса, которому Черчилль был предан даже после его смерти. Уинстон и Клементина иногда обедали с У. Сомерсетом Моэмом (для друзей просто Уилли),

для которого на склоне лет сидеть за одним обеденным столом с Черчиллем было «огромным удовольствием». Ивлин Во (у которого было несколько гомосексуальных связей в Оксфорде) всегда был желанным гостем в доме Черчилля. Черчилль был признателен ему за то, что Во присматривал за Рэндольфом, когда они вместе служили в Югославии. Черчилль стоял во главе одиозной аристократии (как охарактеризовал его британский историк Рой Дженкинс) и правил Англией, ведя жизнь, заполненную лакеями, садовниками, шампанским, надушенными платками и шелковым розовым бельем, постоянно окруженный свитой, состоящей из женщин и самых эксцентричных англичан, включая его мать, отца и сына, которым нравилась подобная жизнь. Окружение Черчилля считало запрещенный в Великобритании гомосексуализм опасным, но не аморальным, и единственный вред от него заключался в связанных с ним политических скандалах, которые могли быть преданы огласке. Гомосексуалисты могли представлять угрозу безопасности, сказал однажды Черчилль одному из своих личных секретарей, не только из-за опасности шантажа, но потому, что они могут чувствовать себя чужими по отношению к общепринятым нормам поведения в обществе, как «черный в стране белых или белый в стране черных»[32].

И хотя Черчилль мало заботился о сексуальных предпочтениях людей, он частенько мог позволить себе остроты на тему гомосексуализма. О Томе Дриберге, скандально известном протеже Бивербрука, члене парламента от Лейбористской партии, известном тем, что он многократно соблазнял молодых людей, Черчилль сказал: «Это человек, который посеял разврат в месте, и без того имеющем плохую репутацию». Когда в курительной комнате он узнал, что Дриберг женился на не слишком привлекательной женщине, Черчилль сказал: «Геям выбирать не приходится». (Игра слов: английская поговорка «Beggars can't be choosers» («Бедным выбирать не приходится») обыгрывается с использованием созвучного слова bugger — гомосексуалист: Buggers can't be choosers.) Однако, когда на кону были серьезные вопросы, как в случае с посвящением Кауарда в рыцари, Черчилль опирался только на факты.

Черчилль выступил против посвящения в рыцари, потому что серьезно относился к вопросу соблюдения правительственных указов. Он возмущался (но платил) высокими акцизными сборами на кубинские сигары, которые, несмотря на все препятствия, исправно заполняли коробки для хранения сигар. Он не умел эффективно управлять своими собственными средствами, но всегда исправно платил налоги (правда, если видел лазейку в законе о налогах, всегда этим пользовался). В условиях острой нехватки налоговых поступлений, угля и продовольствия Черчилль не мог допустить, чтобы Ноэля Кауарда, которого оштрафовали за растрату колоссальной суммы, равняющей-

ся заработку средней семьи за десять лет, на утоление своих прихотей в Америке, посвятили в рыцари*[33].

В случае с личным врачом Черчилля, сэром Чарльзом Уилсоном (посвященным в рыцари в прошлом году), ситуация обстояла иначе. Хотя Черчилль никогда не называл Уилсона своим другом, как это было с Кауардом, доктор не совершал противозаконных деяний, которые могли бы нанести вред Черчиллю или Англии. В день празднования Нового года доктор Уилсон стал пэром и 1-м бароном Мораном.

Черчилль собирался отбыть из Касабланки в Лондон 11 января, но из-за ненастья отъезд пришлось отложить на сутки. Он использовал это время, чтобы написать гневную записку сэру Генри Тизарду, который рекомендовал, чтобы Королевские ВВС приступили к дневным бомбардировкам для увеличения точности попадания. Черчилль ответил, что «в связи с тем, что большую часть наших неудач мы можем списать на неточный зенитный обстрел, применение которого днем приведет к более точным попаданиям по целям, бомбардировщикам, которые будут выполнять задания в дневное время, придется летать на очень большой высоте», что может, в свою очередь, привести к снижению процента точных попаданий. Это была сложная тактическая головоломка. Американцы, уповавшие на оборонительную огневую мощь их одиннадцати 50-миллиметровых орудий на «летающих крепостях», избрали тактику дневных рейдов. Однако, хотя они почти не проводили рейдов над Францией и Нидерландами и не осуществили ни одного над Германией, они несли огромные людские потери. За полгода до этого, 4 июля, шесть американских бомбардировщиков в честь Дня независимости США приняли участие в дневном рейде над немецкими аэродромами в Голландии; ни один из самолетов не попал по целям, а назад вернулись только четыре воздушных судна. Черчилль полагал, что ночные бомбардировки — самый лучший и надежный способ ослабить мощь Германии. Пятьсот американских бомбардировщиков базировались в Восточной Англии, и он хотел, чтобы они бомбили Германию с воздуха ночью, даже если такой тактический маневр потребует переобучения американских военнослужащих. Черчилль собирался сообщить американцам о своем несогласии с проведением дневных бомбежек на предстоящей встрече в Касабланке. Он также собирался спросить американцев, когда же наконец они начнут бомбить территорию Германии[34].

Непрекращающиеся противоречия между профессором Линдеманом (лордом Червеллом) и Тизардом только портили всю работу и мешали Черчиллю. Сэр Генри искал возможности зарыть топор войны

* Кауард все же был посвящен в рыцари в 1969 году. (*Примеч. авт.*)

и пойти на мировую с Червеллом, но тот не собирался налаживать отношения*.

Черчилль сказал Тизарду, что его предложение о бомбежках «вопрос количества», и дал ему указание подготовить доклад с расчетами. Однако не Тизард, а Червелл сопровождал Черчилля в Касабланку, и никто не мог произвести более точные расчеты, нежели Профессор. Червелл ставил целью сломить моральный дух немцев, уничтожить дома, лишить крова мирных жителей. Они с Черчиллем, конечно, планировали и уничтожение промышленных объектов Германии, но из-за неточных бомбовых ударов — как днем, так и ночью — оказалось, что нанести смертельную рану немецкой промышленности не так-то просто. Однако Червелл знал, что, пока бомбы падают на город, они разрушают дома и, следовательно, влияют на моральный дух народа. Он продвигал эту стратегию еще годом ранее в своей работе Dehousing Paper. Черчилль был всецело на его стороне. Поэтому не оставалось сомнений в том, что расчеты Тизарда никогда не сойдутся с расчетами Червелля и что предложение сэра Генри когда-либо воплотится в жизнь[35].

К тому времени, когда война шла уже более трех лет, британцы сбросили 70 тысяч тонн бомб на Германию, что эквивалентно 6 тысячам вылетов тяжелых бомбардировщиков «Ланкастер»; тоннаж более чем в четыре раза превышал тоннаж сброшенных на Великобританию бомб в ходе операции «Блиц» в 1940 году. Через полгода общее количество бомб, сброшенных на Германию по приказу бомбардировочного командования ВВС Великобритании, удвоилось. Но американской 8-й воздушной армии еще только предстояло продемонстрировать свою мощь. Штаб 8-й воздушной армии располагался в Уайкомбском аббатстве, школе для девочек, в гравфстве Бакингемшир. Спустя несколько месяцев после того, как ученицы и учителя покинули здание, 8-я армия заняла бывшую школу и не только разместила здесь свои карты, авиационные секстанты и логарифмические линейки. Командующий 8-й воздушной армией генерал-майор Карл Спаатс (его имя Черчилль произносил как Спотс) и большинство военнослужащих из 8-й армии были отозваны в Северную Африку, и в результате американцы за несколько ночных рейдов сбросили меньше бомб на Германию в последние месяцы 1942 года, чем люфтваффе сбросили на Лондон в первую ночь блица. Это было неприемлемо для Черчилля, собиравшегося серьезно поговорить на конференции в Касабланке с американским генералом Айрой Икером, который верил в непобедимость военно-воздушных сил США. «Американцы вели войну уже более года, — писал впоследствии Черчилль, — но пока не сбросили ни одной бомбы на Германию во время дневных налетов»[36].

* В сентябре 1959 года лорд Червелл заявил коллеге, что он наконец «зарыл топор войны с Тизардом... Но, — добавил профессор, — я знаю, где найти топорище». Тизард погиб в следующем месяце (Moran. P. 813). (*Примеч. авт.*)

Он постоянно говорил Комитету начальников штабов о своем желании сбрасывать бомбы на Германию и о своих подозрениях относительно того, что бомбардировка не будет иметь ни «решающего» влияния, ни служить «гипотетическим и пространным» целям, поставленным маршалом воздушных сил Порталом и представителем бомбардировочного командования Гаррисом. «Это очень спорный вопрос, — написал он в записке Порталу, — станут ли бомбежки определяющим фактором в этой войне». Хотя Черчилль попытался убедить Сталина в том, что война в воздухе может стать не просто вторым фронтом, а эффективным вторым фронтом, Сталин отверг подобную интерпретацию понятия «второй фронт» (хотя Эйзенхауэр поддержал эту идею; полноценным вторым фронтом войну в воздухе посчитал и Геббельс, когда бомбежки привели к возрастающему количеству человеческих жертв). Причиной того, что Черчилль не мог определиться со своим отношением к воздушным бомбардировкам, являлся тот факт, что если военно-воздушным силам не удастся превратить Германию в руины, то это придется делать огромным англо-американским армиям. Он давно подозревал, что в один прекрасный день высадку десанта на Европейский континент все-таки придется осуществить, но военно-воздушные силы, как в этом пытались убедить Портал и Гаррис, давали надежду на то, что армию удастся сохранить (хотя и ужасающей ценой потерь экипажей бомбардировщиков). В одной из своих противоречивых записок Порталу Черчилль заявил, что, даже если «все немецкие города станут по большей части непригодными для проживания, это не означает, что военная мощь будет ослаблена или что военная промышленность не будет продолжать работать». На самом деле Черчилль опасался, что Гитлер разбросает военное производство по Восточной Европе, таким образом сделав его независимым от ситуации в Германии и защищенным от ударов.

В конечном счете его опасения оправдались. В ходе войны немецкое производство танков, самолетов, артиллерии и подводных лодок возрастало от года к году и пошло на спад только в течение последних трех месяцев (хотя темпы производства, безусловно, сократились из-за бомбежек). Черчилль видел внутреннее противоречие в аргументации, представляемой теми, кто выступал в поддержку стратегических бомбардировок. С одной стороны, ювелирная точность (что было недостижимо) не была нужна для того, чтобы сокрушить моральный дух немцев, но она была необходима для того, чтобы уничтожить немецкую промышленность. У него не было иного выбора, кроме как продолжать бомбежки. *Возможно*, это подорвет боевой дух, *возможно*, удары попадут по целям, объектам военной промышленности. Какими бы ни были результаты, боевой дух британцев должен был укрепиться. Британцы не скрывали своего желания отомстить. К концу войны эти усилия обошлись Великобритании в 11 тысяч сбитых само-

летов и 55 тысяч погибших; потери американцев составили 8 тысяч сбитых самолетов и 26 тысяч погибших членов экипажей. Что касается Спартса, впоследствии командующего американскими военно-воздушными силами в Европе и полагавшего, что эти силы в одиночку способны расправиться с Гитлером в 1944 году, Черчилль сказал Гаррису, что этот американец «человек недалекого ума». Гаррис, учитывая его отношение к бомбардировкам и огромные потери в рядах Королевских военно-воздушных сил, ответил с нескрываемой иронией: «Вы его переоцениваете»[37].

Государства, сохранявшие нейтралитет, создавали препятствия для уничтожения немецкой промышленности. Швеция, Швейцария, Португалия и Испания вели активную и выгодную торговлю с Германией, что ввергало союзников в отчаяние. Почти 100 процентов вольфрамовой руды в Европе, важнейшего сырья для производства бронированных стальных пластин, поступало с Иберийского полуострова. Половина добываемого вольфрама экспортировалась в Германию, и эта торговая политика приводила к гибели британских подданных. Вот почему Черчилль уже на протяжении двух лет рассматривал возможность силового захвата Азорских островов, если португальский диктатор Антонио Салазар не согласится предоставить право совершать дозаправку воздушных и морских судов на этих островах. Если бы самолетам союзников была разрешена посадка на Азорских островах, то защита с воздуха конвоев стала бы вдвое эффективнее. Салазар продолжал игру на два фронта до конца 1943 года, но — после того как Черчилль пригрозил отобрать острова — он наконец предоставил возможность осуществлять дозаправку и право на посадку воздушных судов союзников. Когда Салазар возразил против того, чтобы на Азорских островах были размещены базы американских войск, Черчилль вновь пригрозил непосредственным нападением, телеграфировав Идену: «Нам нет необходимости рассыпаться в любезностях перед этими нейтральными странами, которые надеются избежать возмездия без каких-либо проблем, да еще и чем-нибудь поживиться»[38].

Нейтральные страны получали огромные выгоды от торговли с Германией. Шведы снабжали рейх железной рудой, рыбными консервами и подшипниками. Швейцария экспортировала Гитлеру оружие и боеприпасы, а также промышленные алмазы, используемые для изготовления инструментов и бомбовых взрывателей. После того как британцы и американцы надавили на швейцарцев и заставили свернуть поставки оружия в Германию, страна обещала пересмотреть свою торговую политику, но в результате увеличила на 50 процентов объемы поставок товаров. Шведы проявили упорство, когда их пытались заставить сократить объемы торговли с Германией, писал Дин Ачесон, в то время занимавший должность заместителя Государственного секретаря, однако «швейцарцы были вдвое упрямее». Нейтральные стра-

ны заявляли, что к такой торговой политике их подтолкнул инстинкт самосохранения; сказать «нет» Германии означало подвергнуть себя опасности. Даже Франко, фашист, придерживающийся враждебного нейтралитета, открыто заигрывавший со странами оси, всегда был настороже. Союзники поставляли в Испанию продовольствие, чтобы спасти население страны от голода и чтобы Франко оставался на своей позиции. За этими поставками крылись неприятные последствия. Американская пресса обрушилась с критикой на Черчилля за то, что он ведет соглашательскую политику, когда из Государственного департамента просочились сведения о том, что он раздумывал над предложением Франко увеличить объемы поставок продовольствия и нефти в обмен на незначительные уступки Испании, включая сокращение объемов экспорта вольфрама в Германию. Лорд Червелл предложил план, как развернуть нейтральные страны против немцев. Согласно его плану надо было тайно ввести ботулический токсин в рыбные консервы, которые шведы поставляли в Германию. «Даже небольшого количества было бы достаточно, чтобы уничтожить все человечество», — сказал впоследствии один из секретарей Черчилля[39].

Отношение к нейтральным странам было весьма своеобразным. Союзники рассматривали оккупированные немцами страны в качестве объектов для ведения экономической и военной борьбы. Граждане этих стран стали жертвами нападения с двух сторон, со стороны нацистов и британских военно-воздушных сил, наносящих бомбовые удары, которые не всегда попадали в намеченные объекты, вне зависимости от того, была ли эта бомбардировка Голландии, Норвегии, Франции или Германии. Однако нейтральные страны, такие как Ирландия, Португалия, Швеция и Испания, были защищены от британских бомб и от кровавых последствий войны. Нейтральные страны можно было убедить осуществлять политику, выгодную союзникам, дипломатическими способами, но их нельзя было силой заставить придерживаться этой политики. В то же время нейтральные страны предоставляли квалифицированных рабочих, сырье, станки и отливали пули, которые убивали американских и британских солдат. Имон де Валера (который называл войну «чрезвычайной ситуацией») занимал нейтральную позицию, послушно интернируя немецких и британских пилотов, совершавших вынужденную посадку в Ирландии (и американцев, пока не была достигнута соответствующая договоренность).

Швейцарцы предоставили Великобритании лицензию на производство 20-миллиметровых пушек «Эрликон», известных своей разрушительной мощью, но одновременно продавали пушки и боеприпасы в Берлин. И Токио, и Берлин заключили несколькими годами ранее соглашение со Швейцарией относительно производства новых видов вооружений. Таким образом, «Мессершмитт» Bf-110, вооружен-

ный пушками «Эрликон», атаковал британский фрегат, на котором использовалась в качестве зенитного орудия модификация этой пушки. Из крупных нейтральных государств только Турция рискнула навлечь на себя гнев Гитлера, приостановив поставки хрома в Германию, правда, сделала это только в середине 1944 года, когда поражение Гитлера не вызывало сомнения, и только после угрозы союзников организовать экономическую блокаду. Нейтральные страны нельзя было убедить действовать разумно с помощью бомбардировщиков B-17; их невозможно было наказать, когда они отказывались выполнять требования, с помощью бомбардировщиков B-17s. Если бомбардировщики разрушали один из гитлеровских заводов по производству боеприпасов, то Гитлер мог обратиться к швейцарцам, чтобы восстановить потери, и к шведам, чтобы получить металл для новых пушек. Черчилль был вынужден признать, что в стальном кольце вокруг Германии были трещины[40].

11 января, в тот день, когда Черчилль начал обдумывать планы Тизарда по нанесению бомбовых ударов, газета Sunday Dispatch заявила о возможности того, что «одна маленькая бомба может уничтожить весь Берлин... бомба, на месте взрыва которой образовалась бы воронка диаметром 25 миль, а взрывной волной было бы уничтожено все живое в радиусе сотен миль от места взрыва... В качестве взрывчатого вещества в этой бомбе используется уран». Правительство Великобритании не сочло нужным комментировать столь нелепую журналистскую идею, опубликованную явно в погоне за сенсацией[41].

Черчилль использовал этот день для беглого ознакомления с 300-страничным документом сэра Уильяма Бевериджа Social Insurance and Allied Services («Социальное страхование и союзнические услуги»). В ноябре документ был представлен в парламенте и в декабре издан в качестве правительственного информационного документа*.

В течение нескольких недель отчет Бевериджа обсуждался в британской и американской прессе. Черчилль не принимал участия в обсуждении содержания отчета, поскольку объем этого документа отбивал у Уинстона всякое желание его читать.

Беверидж был один из ведущих специалистов по вопросу страхования безработных; он закончил магистратуру в Оксфорде и был давним другом Черчилля со времен его членства в Либеральной партии, когда Уинстон и Ллойд Джордж попросили Бевериджа подготовить первый всеобъемлющий план по государственному страхованию.

* В Великобритании обнародование такого рода доклада, как отчет Бевериджа, означает попытку правительства всесторонне проанализировать (при этом не всегда оговаривая конкретные сроки) и, возможно, принять меры по выполнению отдельных или всех изложенных в докладе рекомендаций (*Примеч. авт.*)

В 1942 году его доклад, более известный как «отчет Бевериджа», стал одним из программных документов по проведению реформ в социальной сфере, а Manchester Guardian назвала его «важным и блестящим документом». В отчете подчеркивалась необходимость введения социального страхования для создания всеобщей системы социального обеспечения, включая пособия по безработице, инвалидности, пособия многосемейным, пенсионные выплаты и пенсии для вдов, и универсальной, всесторонней, свободной национальной службы здравоохранения.

Черчиллю не понравилось то немногое, что он прочел, не потому, что он был против идеи реструктуризации аппарата по обеспечению социальной защищенности, а потому, как он заявил членам военного кабинета, что не хочет обманывать народ «ложными надеждами и светлыми видениями утопии и «Эльдорадо». Кроме того, он высказал предположение, что Великобритания окажется практически на грани банкротства по окончании войны, Соединенные Штаты будут сильным конкурентом, а британцы «очень рассердятся, если почувствуют, что их одурачили или провели», когда давали обещания, а затем их не выполнили. Однако Беверидж, предвидя возражения со стороны консерваторов, заявлял, что страховые выплаты компаниями в государственную казну повысят конкурентоспособность британских промышленных товаров на мировом рынке[42].

Беверидж смог убедить некоторых членов Консервативной партии, но далеко не всех. Гарольд Николсон считал, что Бевериджу доставляло удовольствие «сеять хаос в правительстве и расшатывать конституционные устои» своими радикальными планами. «Он был тщеславным человеком», — написал Николсон. Обычная стратегия консерваторов в таких случаях, написал он в дневнике, «сначала в целом позитивно принять доклад, а затем разнести его в пух и прах». Многие члены палаты пришли к выводу, что план Бевериджа является «стимулом для бездельников». Жена Николсона, Виктория Сэквилл-Уэст высказалась по этому вопросу в тоне, который не удивил тех, кто считал, что британский высший класс не особо сочувствует простому народу: «Я за то, чтобы образование было не таким ужасным, ограниченным и глупым, за то, чтобы средства расходовались на 1) дополнительное образование, 2) на повышение оклада преподавателей, но я *против* того, чтобы раздавать деньги просто так, ведь они все равно этого не оценят» (курсив Виктории Сэквилл-Уэст)[43].

Черчилль пока воздерживался от публичных высказываний, каким он видит послевоенный курс. Хотя уже со времени Пёрл-Харбора он знал, что в один прекрасный день война завершится победой. В ноябре он сказал своим соотечественникам, что «конец начала» у них в руках; сейчас британцы пытались понять, какого курса будет придерживаться правительство после того, как будет одержана победа в

войне. Особенно их интересовало, что собираются делать консерваторы, так как, со слов лейбористов, партия, которую в разное время возглавляли Болдуин, Чемберлен и Черчилль, ввергла Великобританию в экономическую депрессию, политику соглашательства и, в конечном итоге, в войну. При этом сомнения британцев в верности курса тори не развеивались, несмотря на заявления лейбористов, хотя они сами приложили все усилия для того, чтобы как можно дольше оттягивать момент перевооружения, и проголосовали против частичной мобилизации всего за четыре месяца до того, как Гитлер вторгся в Польшу.

Более двух лет британцы бодро распевали The Lambeth Walk, когда спускались в метро, услышав вой сирен. Каждую ночь 6 тысяч лондонцев спешили укрыться в убежище; в разгар блица их было 150 тысяч, а в прошлом году — 10 тысяч. Однако, согласно опросам, 6 тысяч человек постоянно проживали в бомбоубежищах. Двухгодовалые дети, никогда не жившие в обычном доме, проводили жизнь в подземелье. Британцы любили Черчилля, и любая попытка сместить его с должности непременно вызвала бы их возмущение, но придет день, когда они изменят свое мнение и перейдут на другую сторону. Им захочется узнать, что их ждет на другой стороне, и станут не интересны черчиллевские «сияющие вершины». По возвращении из Касабланки и после более детального прочтения «отчета Бевериджа» Черчилль заявил членам военного кабинета, что этот документ «является важной частью плана послевоенного восстановления государства». Он в очередной раз озвучил мнение относительно того, что правительство может и должно изменить социальную структуру, и способно это сделать, не впадая в доктринерский социализм, который он так ненавидел[44].

Однако, не сообщая британцам всех своих планов, он упустил возможность публично объявить, что его дело — послевоенное восстановление Британии. Он считал важными некоторые части «отчета Бевериджа», но одновременно рассматривал его как обузу для военного дела. Но Эттли и лейбористы видели в «отчете Бевериджа» план проведения будущей политики, которому они намеревались следовать. Многие британцы, достигшие тридцатилетнего возраста, не принимали участия в голосовании, не имели возможности выбирать лидеров. Их терпение было не бесконечным.

Перед отъездом в Касабланку, как, впрочем, и всегда, Черчилля занимал вопрос поставок продовольствия в страну. Британцы не умирали с голоду, но нехватка продовольствия негативно сказывалась на работоспособности заводских рабочих и сельских тружеников. 12 января Черчилль составил записку, в которой нашло отражение самое тяжелое последствие перебоев с поставками: продовольственный кризис. Он написал в записке, адресованной министерству сельского хозяйства и рыболовства: «Пожалуйста, подготовьте мне план по увели-

чению количества яиц». Нельзя ли выделить часть из миллионов тонн ячменя и овса, выращиваемого и импортируемого, на «разведение кур», чтобы увеличить производство яиц? Записка была схожа с теми, что он уже многократно отправлял на протяжении почти трех лет, сочетавших отчаяние и призывы к здравомыслию. Несколько месяцев назад в Великобританию совершил визит администратор программы ленд-лиза Эдвард Стеттиниус. По окончании визита он сообщил, что леса вырубались ради получения древесины и расширения фермерских земель. Поля для гольфа и парки вспаханы и превращены в сельскохозяйственные угодья. Болота осушены. И тем не менее пайки становились все меньше и меньше. Стеттиниус обратился к американцам по радио и через газеты, попросив представить, что не одна шестая, треть их живут в Новой Англии и что их выживание зависит от поставок, которые поступают к ним из-за океана, кишащего немецкими подводными лодками. Перед отъездом из Великобритании Стеттиниус задал своему коллеге вопрос, какой подарок будет уместен в качестве благодарности за гостеприимство*.

«Что-нибудь из еды», — прозвучало в ответ[45].

Черчилль покинул резиденцию на Даунинг-стрит, 10, лишь ненадолго задержавшись, чтобы приласкать своего кота Смоки и проинструктировать Элизабет Лейтон, дабы убедиться, что его питомец не будет страдать от одиночества во время отсутствия хозяина. Затем Черчилль направился на военный аэродром близ Оксфорда, где уже ждал его личный самолет «Коммандо» B-24, на котором он в августе летал в Каир и Москву, чтобы совершить девятичасовой перелет в Касабланку. Конечно, поездка держалась в строжайшем секрете, но появление Черчилля на аэродроме не могло остаться незамеченным. Гарриман и Исмей, летевшие вместе с Черчиллем, уже находились на неосвещенном аэродроме, когда увидели «вдалеке колонну из лимузинов, один из которых ехал впереди остальных с ярко горящими фарами», и это при необходимости соблюдать светомаскировку. Ослепляя светом фар, колонна с воем сирен подъехала прямо к самолету. Черчилль, под псевдонимом «коммодор военно-воздушных сил Франкленд», вышел из своей машины, «одетый в форму коммодора авиации, которая едва ли могла кого-то обмануть». Настоящий коммодор

* Как большинство американцев, наносивших визит Черчиллю, Стеттиниус привез домашнюю ветчину, приготовленную на собственной ферме. Когда он узнал о том, что максимальный вес багажа для провозки на борту трансатлантического самолета авиакомпании Pan American, вылетающего из Нью-Йорка, составляет 40 фунтов, он срезал жир с ветчины. В Лондоне коллега сказал ему: «Эд, если уж было так необходимо, лучше бы ты оставил дома свою обувь, но никак не жир с ветчины». Черчилль, поблагодарив Стеттиниуса за крохотный кусочек ветчины, заглянул в пакет, улыбнулся и сказал, чтобы он больше никогда не обрезал жир с ветчины. (*Примеч. авт.*)

авиации воскликнул: «Боже мой! Единственной ошибкой, которую они совершили, было то, что они не напечатали о поездке в местных газетах!» Телохранитель Черчилля пытался быстрее провести премьер-министра на борт самолета, но тот задержался на взлетно-посадочной полосе и не спеша докурил сигару. Коммодор авиации Франкленд сядет в самолет, только когда будет готов, и ни минутой раньше[46].

Спустя несколько минут ожили и взревели четыре огромных двигателя Pratt & Whitney, и самолет с драгоценным грузом на борту взмыл навстречу ночи. Командир поднял самолет на высоту 7 тысяч футов. В середине зимы в салоне самолета было довольно холодно. После августовских полетов самолет оборудовали неким подобием системы отопления, и это хитроумное приспособление, работавшее на керосине, было установлено рядом с пассажирскими креслами. Отопительное устройство чуть не превратило Черчилля в Икара. Посреди ночи он проснулся от острой боли в ступне — раскаленный докрасна нагревательный прибор пылал жаром совсем рядом с ногами. Воздух был пропитан парами керосина. Опасаясь, что могут загореться одеяла, Черчилль растолкал Портала. Маршалл авиации оценил обстановку и согласился с Черчиллем. Они отключили систему отопления и продолжили полет в холоде, не сумев больше сомкнуть глаз. Все пассажиры самолета оделись и закутались в одеяла, все, кроме Черчилля, на котором была только шелковая ночная рубашка. «Ставший на четвереньки, — вспоминал лорд Моран, личный врач Черчилля, — он смотрелся довольно забавно с оголенным большим белым задом»[47].

Перед отбытием в Касабланку пассажирам выдали парашюты, дополнительную одежду, валюту всех стран, над которыми они будут пролетать, а также записки на арабском с обещанием вознаграждения любому, кто обеспечит держателю записки право безопасного выезда из страны.

Ранним утром самолет вынырнул из высоких облаков и начал снижение над побережьем Марокко, к западу от Касабланки. Внизу по спокойным волнам медленно скользили фелуки, а в гавани были пришвартованы десятки яхт, удерживаемые якорем, чтобы не могли вернуться в родную Италию, Грецию или Францию. На суше зеленеющие пятна финиковых пальм, апельсиновых деревьев и оливковых рощ обрисовывали окраины города, в котором минареты многочисленных мечетей вонзались острыми вершинами в небо, а красные черепичные крыши белокаменных домов выглядели так, словно над ними разорвался мешок с плодами граната и его содержимое рассыпалось по окрестностям. Далеко на юго-востоке снежные вершины Атласских гор, позолоченных утренним светом, бросали свои зазубренные тени в сторону моря. По ту сторону гор Бернард Монтгомери теснил немецкие войска, возглавляемые Эрвином Роммелем, к западу, через

Триполитанию в направлении Туниса. После приземления в аэропорту Медины Черчилль привел в смятение своих телохранителей, решив прикурить сигару и подождать прямо на летном поле прибытия самолета В-24, на котором летел Исмей. Секретный характер всей миссии улетучивался вместе с дымом сигары. Когда Исмей спустился по трапу самолета, он пришел в ужас, увидев Черчилля, стоявшего под открытым небом, облаченного в голубой костюм авиатора. Исмей воскликнул: «Любой дурак поймет, что перед ним коммодор авиации, притворяющийся премьер-министром!»[48]

Касабланка казалась оазисом ярких красок — отрада для художника — после серой и безжизненной лондонской зимы. Ожидая многого от Касабланки, Черчилль распорядился, чтобы Сойерс взял с собой кисти, краски и палитру. В своем письме Клементине Черчилль отметил, что погода действительно резко отличалась от английской: «Сразу стало понятно, что дожди идут редко, а температура воздуха такая, какой бывает теплым майским днем»[49].

Минул год с его отдыха во Флориде. Минул год, а второй фронт в Европе так и не был открыт. Ошибочная высадка десанта в Дьепе в августе 1942 года только укрепила его сомнения в этом вопросе и, к удовлетворению большинства начальников Объединенного комитета штабов (за исключением Джорджа Маршалла), продемонстрировала тщетность попыток открыть второй фронт в 1942 году. Однако Сталин ожидал, что Черчилль и Рузвельт воспользуются встречей и договорятся открыть второй фронт в 1943 году. Но к моменту приземления в Касабланке Черчилль уже принял решение отложить начало операции «Раундап» до 1943 года, согласившись с доводами начальника Генерального штаба Брука; не последнюю роль сыграло и усиление войск Кессельринга, наступавшего на Тунис. Черчилль прилетел, имея в запасе аргументы в пользу продолжения боевых действий в Средиземноморье. Это была единственная стратегия, проведение которой они могли себе позволить на тот момент. Тем не менее Черчилль всегда был открыт для новых предложений, если они могли помочь в деле перенесения театра военных действий на территорию Германии. Он объяснял своим военачальникам, что, если уроки Дьепа, непредсказуемость погоды и неурядицы, связанные с тыловым обеспечением, приведут к тому, что союзники потребуют гарантий успеха, перед тем как принять решение о наступательных действиях, они обнаружат, что не способны и не хотят предпринимать вообще никаких действий[50].

Для проведения встречи Дуайт Эйзенхауэр распорядился освободить отель «Анфа» и восемнадцать близлежащих коттеджей. Отель находился в нескольких милях от Касабланки и довольно близко от пляжа, так что на его территории было слышно бормотание волн. Черчилль наслаждался прогулками вдоль берега, а если море было

спокойно — заходил в воду. Когда штормило, Черчилль, наблюдая за волнами прибоя, которые достигали почти 15-футовой высоты, начинал понимать, почему так много судов потерпело крушение, причаливая к берегу. Один из коттеджей был оставлен за де Голлем, на случай если он прибудет на конференцию. Позже в New York Times появилась заметка: «Большая территория гостиничного комплекса по периметру обнесена двумя рядами колючей проволоки, на которой висят консервные банки. Если бы какой-нибудь отчаянный храбрец отважился подойти к заграждению, его изрешетили бы пулеметной очередью или он попал на штык одному из нескольких сотен американских пехотинцев, которые, одетые в шлемы, несут караул на крышах коттеджей и патрулируют тенистые тропинки на территории отеля». И все-таки нашелся один шестидесятивосьмилетний бывший моряк, страдавший от лишнего веса, у которого хватило на это безрассудства. Однажды вечером, вернувшись с прогулки по побережью, водитель высадил Черчилля и его телохранителя Уолтера Томпсона на противоположной стороне от входа на территорию отеля, по эту сторону колючей проволоки. Черчиллю не хотелось обходить весь периметр, и, окинув взглядом заграждение, он нашел решение. «Мы можем перелезть здесь, Томпсон!» — воскликнул он и начал заносить ногу над проволокой. Томпсон услышал, как щелкнул ружейный затвор, а потом кто-то крикнул: «Стоять!» Незваных гостей держали на мушке четыре солдата. «Это Черчилль!» — закричал Томпсон. Солдаты опустили оружие, в ужасе, что едва не застрелили британского премьер-министра, и проклиная того, кто чуть не заставил их сделать это[51].

13 января прибыли фельдмаршал Джон Дилл и военачальники Рузвельта. К тому времени Дилл заслужил уважение Маршалла более, чем кто-либо из британцев. Даже в список участников конференции, составленный Бруком, он был занесен как представитель американской стороны. При этом Дилл за несколько недель до конференции сообщил Бруку стратегические цели и планы генерала Маршалла, которые он узнал благодаря дружбе с Маршаллом. Так что на встречу Брук прибыл во всеоружии, имея собственные планы и зная планы Маршалла. Вечером Брук встретился с Черчиллем и во время беседы особо подчеркнул, что, хотя американская сторона и некоторые члены британского Объединенного комитета выступали за то, чтобы высадить десант не на Сицилии, а на Сардинии, он настаивает на обратном и, соответственно, собирается изложить американцам свои доводы. Он пытался получить от Черчилля заверения, что британская делегация будет придерживаться единой позиции. И Черчилль заверил его в этом.

В Северной Африке, от Каира до Касабланки, у Великобритании было размещено больше сухопутных и военно-воздушных сил, чем у Соединенных Штатов. Кроме того, британские войска в одиночку па-

трулировали Средиземное море, там, где американцы опасались показываться. Правительство Великобритании раздражало, что Франклин Рузвельт не признавал этого в обращениях к американскому народу. Позже Иден написал, что был «обеспокоен тем фактом», что в заявлениях Рузвельта «не было ни единого слова об участии Великобритании в операциях», главным образом из-за того, что британцы якобы «крайне непопулярны в Северной Африке». Помощник Эйзенхауэра Марк Кларк — по оценке Брука, «очень амбициозный и беспринципный человек» — намеревался использовать эту легенду в своих целях. Он привел в ярость Брука, распространив слух о том, что французы не будут воевать в Северной Африке бок о бок с британцами. Но уважение Брука к Эйзенхауэру выросло, когда тот под благовидным предлогом сместил Кларка с поста своего помощника и отправил командовать тылом. Однако, если оставить в стороне политические выходки Кларка и Рузвельта, до тех пор пока американцы не бросили на борьбу с Гитлером больше солдат и не добились лучших результатов, чем Эйзенхауэр к тому моменту, козыри были у Черчилля. Он намеревался использовать их на конференции в Касабланке: следующая цель — Сицилия, за ней — Италия. У планируемой Сицилийской кампании уже было кодовое название: Husky («Хаски»)[52].

Президент прибыл 14 января во второй половине дня, после пятидневного путешествия на гидросамолете «Боинг» с остановками в Майами, Тринидаде и Бразилии, а также совершив 18-часовой перелет через Атлантику в Батерст, поселение, расположенное в устье реки Гамбия в Западной Африке. Оттуда в Касабланку его доставил военно-транспортный самолет С-54. Лечащий врач Рузвельта — адмирал Росс Макинтайр — волновался за здоровье своего пациента, так же как и Моран за Черчилля. Макинтайр всегда держал под рукой лекарство из наперстянки на тот случай, если из-за полета на высоте 2500 метров у Рузвельта случится приступ стенокардии. Перелеты были опасны для Рузвельта. Американскую прессу проинформировали об этом отчаянном путешествии всего за десять дней до отлета президента. Журналисты сгорали от нетерпения: «Франклин Рузвельт, обладающий потрясающим мастерством творить историю, вновь вписал себя в ее анналы, совершив головокружительный драматический ход. Ни один американский президент со времен Авраама Линкольна не отправлялся в места, где шли военные действия. Никогда за всю историю Америки президент не покидал страну в военное время. Ни один американский президент никогда не был в Африке. Ни один американский президент не путешествовал на самолете». А сейчас, как написали несколько недель спустя в Time, Франклин Рузвельт, 32-й президент Соединенных Штатов, «совершил все это за один раз». Это было так же верно, как и то, что Рузвельт и его команда прибыли в Касабланку, не будучи готовыми к встрече с Черчиллем[53].

Это стало ясно уже 14 января во время предварительных переговоров и за неофициальным ужином. Маршалл и Кинг заявили о своем желании начать «полномасштабную» войну на Тихом океане, а не вести боевые действия только против Японии. К удивлению Брука, Кинг предложил сконцентрировать 70 процентов военных усилий на Тихоокеанском театре военных действий и лишь 30 процентов — на Европейском. Брук заметил, «что это было сложно назвать научным подходом к разработке военной стратегии».

Брук знал, что предстоит сложное обсуждение Сицилийской операции, но полагал, что его полностью поддержит все британское командование. Тем не менее кое-кто в штабе и один из адмиралов, Дики Маунтбеттен, не разделяли общее мнение. Маунтбеттен считал наиболее подходящей целью Сардинию. Он пересек комнату и подошел к Гарри Гопкинсу, чтобы наедине с ним обсудить преимущества Сардинии. Этот раскол в британском командовании мог создать проблему, если бы Маунтбеттен не переключился в разговоре с Гопкинсом на свою излюбленную тему — о боевых кораблях изо льда и машине Руба Голдберга*.

Маунтбеттен уверял, что взрывчатку нового типа можно заложить в старую подводную лодку и направить прямо к отвесному берегу, в каком-нибудь месте побережье Франции. Взрыв, заявил, Маунтбеттен, «расчистит путь во Францию». Затем, вместо того чтобы посылать десант на штурм хорошо укрепленного порта (такого, как Дьеп), британские силы могут воспользоваться полученным проходом. Маунтбеттен, должно быть, не знал, что подобный метод уже применялся в 1864 году во время Гражданской войны в Америке. Взрыв огромной мины, заложенной под оборонительные линии конфедератов, привел к образованию огромной воронки, куда хлынули солдаты северян. Гопкинс вежливо выслушал Дики и охарактеризовал его как «смелого и изобретательного человека», которого британское командование недооценивает. Только время покажет, что стало бы с неуязвимыми ледяными дредноутами и взрывающимися подводными лодками Маунтбеттена[54].

На ужине в тот вечер король, который на время войны решил отказаться от крепких напитков, выпил довольно много вина и был, по словам Брука, «навеселе». Черчилль, не зная, в каком состоянии находится король, пытался спорить с адмиралом, пока Георг, «хриплым голосом и активно жестикулируя, давал Рузвельту советы по поводу

---

* Голдберг Рубен Люциус — американский карикатурист, скульптор, писатель, инженер и изобретатель. Известен серией карикатур, в которых фигурирует так называемая «машина Руба Голдберга» — чрезвычайно сложное, громоздкое и запутанное устройство, выполняющее очень простые функции (например, огромная машина, занимающая целую комнату, двигает ложку с едой от тарелки до рта человека).

того, как лучше расчленить Французскую империю и как эффективнее вести войну в целом и на Тихом океане в частности. Обсуждение продолжалось до самого утра при свете свечей, поскольку электрическое освещение выключили после воздушной тревоги. Непередаваемое зрелище: при свечах военные и политические лидеры англоговорящего мира беседовали на марокканском побережье, пока огромные армии воевали или стояли лагерем в песках в 500 милях от этого места[55].

В течение следующей недели Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании собирался пятнадцать раз для того, чтобы выработать военную стратегию на следующий год. Рузвельт и Черчилль каждый вечер ужинали вместе и подолгу беседовали с глазу на глаз. В ходе одной из таких встреч Черчилль напомнил Рузвельту, что вопреки их джентльменскому соглашению по разработке ядерного оружия, которое было заключено прошлым летом, британцев фактически исключили из программы по созданию атомной бомбы. Гарри Гопкинс заверил Черчилля, что эту проблему решат, как только Рузвельт вернется в Вашингтон. Каждый вечер члены Объединенного комитета кратко информировали лидеров о ходе дневных дискуссий, которые сначала шли не очень продуктивно. Брук назвал ситуацию, сложившуюся в течение первых нескольких дней переговоров, «безнадежной», потому что «американские штабисты не соглашались с тем, что Германия была основным противником, поскольку хотели сначала разгромить Японию!». Они также были не согласны с англичанами в том, что касается Бирмы; американцы хотели, чтобы Соединенные Штаты и Великобритания нанесли по ней сконцентрированный удар с тем, чтобы вновь открыть Бирманскую дорогу и оказать поддержку войскам Чан Кайши, в то время как британцы выступали за то, чтобы потянуть время, пока у них не будет достаточно солдат и вооружения для проведения мощного наступления. Боевые действия в воздухе стали еще одним поводом для споров: Черчилль высказал генералу Айре Икеру свое недовольство тем, что 8-я американская воздушная армия действовала недостаточно активно, но после часовой беседы снял свои возражения по поводу дневных налетов, главным образом потому, что Икеру удалось убедить его в необходимости круглосуточных бомбежек. При этом предполагалось, что американцы будут совершать налеты в дневное время, а Королевские военно-воздушные силы — ночью. Эта идея Черчиллю понравилась, и позднее в интервью группе американских журналистов он пошутил: «Нет ничего лучше круглосуточного обслуживания»[56].

Для того чтобы изложить свой план по захвату Туниса, на самолете из Алжира прибыл Эйзенхауэр. Он предложил, чтобы 2-й корпус под командованием генерал-майора Ллойда Фредендалля нанес удар в восточном направлении, в сторону моря, чтобы вбить клин между армиями Арнима и Роммеля. Брук раскритиковал эту идею, указав на

ее самый очевидный недостаток: Монтгомери и 8-я армия все еще находились в 500 милях к востоку, после прорыва 2-й корпус может оказаться в ловушке между войсками Арнима и Роммеля. Скорее всего, это приведет к тому, что силы Фредендалля на юге и Андерсона на севере будут разбиты поодиночке. Предложение Эйзенхауэра не было одобрено, и он вернулся в Алжир. Тем не менее, учитывая необходимость координации действий британских 1-й и 8-й армий, а также французских и американских сил, было очевидно, что следовало выбрать Верховного главнокомандующего. Им стал Эйзенхауэр. Позже Брук написал, что у него «не было ни тактического, ни стратегического опыта», но благодаря тому, что «его повысили до заоблачных высот Верховного главнокомандующего», он мог «решать свои политические проблемы». Брук считал, что назначение Эйзенхауэра, которое польстит американцам, позволит британским командующим добиться успеха на поле боя и вернуть «необходимый напор и скоординированность, которых так не хватало». Эйзенхауэр, имевший на погонах всего три звезды, по званию был младше трех британских генерал-лейтенантов — Александера, Теддера и Каннингема. Маршалл, который не был впечатлен успехами Эйзенхауэра в Тунисе, сказал Рузвельту, что «не повысит Эйзенхауэра до четырех звезд до тех пор, пока для этого не будет чертовски хорошей причины». Он имел в виду военную сторону дела. С точки зрения Рузвельта, это был хороший политический ход: повышение Эйзенхауэра покажет американскому народу, что Соединенные Штаты берут на себя военное командование. Через две недели Рузвельт представил кандидатуру сенату, и 11 февраля Айк получил свою четвертую звезду[57].

Несмотря на то что Рузвельт по-прежнему придерживался стратегии Маршалла броска через Ла-Манш, он был достаточно оптимистично настроен в отношении инициативы Черчилля по осуществлению Сицилийской операции и понимал ее сильные стороны. После пяти дней споров Объединенный комитет начальников штабов пришел к таким же выводам. Члены комитета пришли к общему мнению по поводу восьми главных стратегических задач. Брук позднее написал, что ведущую роль в достижении этой договоренности сыграл Дилл. Он предупредил Брука и Маршалла, что, если окончательное решение позволят принять Рузвельту и Черчиллю, они «могут заварить такую кашу...». В итоговом соглашении говорилось о том, что сначала необходимо нанести поражение Германии. Соответственно, приоритетной целью была борьба за контроль над Атлантикой. Второй задачей, решение которой было тесно связано с первой, являлось предоставление любой возможной помощи России. План по захвату Сицилии стоял на третьем месте, а за ним следовало планомерное наращивание американских сил в Великобритании с целью проведения учений по отработке высадки на полуострове Котантен (операция

«Раундап»), запланированной на август 1943 года, но в меньшем масштабе. Это была своеобразная подачка Маршаллу. Пятой в списке шла задача возвращения южной части Бирмы — на что согласились британцы — с целью расчистить пути снабжения сил Чан Кайши и ослабить давление японцев на фланг войск Макартура по мере того, как он двигался на север (операция получила название «Анаким» и была запланирована на конец 1943 года). Это решение было принято, чтобы удовлетворить Рузвельта и короля. Черчилль не верил в то, что Китай сыграет хоть сколько-нибудь важную роль в разгроме Японии. В любом случае, даже если британское командование и считало, что возвращение Бирмы позволит быстрее одержать победу над Японией, у него для этого не хватало сил. В 6-й статье соглашения указывалось на необходимость изучения нефтяных потребностей и промышленного потенциала стран оси для более эффективного планирования авиационного удара, призванного нанести им как можно более тяжелый урон и подорвать индустриальную мощь Германии (что, как считали Спаатс и Гаррис, могло положить конец войне в 1943 году). В следующей статье ставилась цель захватить морской и воздушный контроль над Северной Африкой и Средиземноморьем. Наконец, в последних положениях соглашения оговаривалось то, что все вопросы, связанные с Турцией, будет решать Великобритания. Как позднее писал Сэмюэл Элиот Морисон, целиком этот план, содержащий восемь пунктов, оказался «стратегическим меню, которое союзники просто не смогли переварить». По его словам, это был тот случай, когда у штабистов «глаза хотели больше, чем могли переварить их желудки»[58].

Черчилль так хотел, чтобы Турция со своими сорока пятью (плохо вооруженными) дивизиями вступила в войну, что известил военный кабинет о своих планах посетить Каир сразу после конференции, для того чтобы проконсультироваться с Александером, который должен был в скором времени начать наступление на Тунис. Затем Черчилль собирался отправиться в Турцию и встретиться с президентом страны Исметом Иненю. Однако военный кабинет был против: путешествие было долгим и опасным, а Черчилль был нужен в Лондоне. Черчилль ответил, что все равно поедет, и приказал Идену договориться с турками, чтобы они прислали в Каир приглашение посетить их страну, где Черчилль рассчитывал получить его.

У Черчилля и Рузвельта оставалось последнее незавершенное дело. Оно было связано с генералом Жиро и де Голлем. Черчилль распорядился, чтобы накануне его дня рождения по радио передали призыв: «Франция вновь поднимется с колен!» Но вот поднимется ли вместе с ней де Голль? Черчиллю было хорошо известно мнение Рузвельта по этому поводу, который считал французов труднопреодолимым препятствием на пути продвижения американской политики, которая не предполагала сколько-нибудь важную роль Франции, или Француз-

ской империи, или де Голля, или кого-то, кто его заменит, в войне (и, если на то пошло, в послевоенном мире). Рузвельт в течение нескольких месяцев искусно избегал официального признания де Голля, говоря о том, что носителем суверенитета Франции является только ее народ.

Но французы, чья страна была оккупирована немцами, не могли согласиться на такой сценарий. В отличие от Сикорского и Бенеша, которые были лидерами правительств в изгнании, де Голль был лидером всего лишь нескольких воинских частей в изгнании. Черчилль два с половиной года соглашался с тем, чтобы де Голль выполнял эту роль, и поддерживал его, но 10 декабря на секретном заседании палаты общин он заявил: «Мы не должны позволить убедить себя в том, что генерал де Голль является преданным другом Великобритании». Как раз наоборот, де Голлю было свойственно «традиционное неприятие» англичан, «укоренившееся в сердцах французов», а за собой, куда бы он ни шел, «де Голль оставлял след англофобии». Стратегия Черчилля была ясна: представляя де Голля в невыгодном свете, он подготавливал палату общин к тому, чтобы убрать француза с политической арены, если этого потребуют американцы. Резкая критика де Голля свидетельствовала об изменении характера отношений Черчилля и Рузвельта и незаметной на первый взгляд потере того влияния, которое Великобритания имела среди союзников. Сразу после убийства Дарлана Роберт Мерфи, человек Рузвельта в Северной Африке, поддержал Жиро при его выдвижении на роль гражданского и политического лидера в регионе. Позже Иден написал, что де Голль знал о том, что он не вписывается в сценарий американцев, и «начал подозревать, что правительства Великобритании и США хотят у него за спиной заключить соглашение с Жиро». Иден пришел де Голлю на помощь, взяв с него обещание встретиться с Жиро, однако последний отказался под довольно неубедительным предлогом, что убийство Дарлана создало «неблагоприятную атмосферу» для такой встречи. Создавшаяся напряженность, вызванная всей сложностью политической ситуации в Северной Африке (Дарлан, Марк Кларк, Мерфи и их всевозможные интриги), заставила Идена позднее заметить: «Не я один чувствовал физический и психологический груз. По мере того как шли месяцы, мы все должны были поддаться ему, даже премьер-министр»[59].

Де Голль оказался очень упрямым французом. Рузвельт и Черчилль переубедили Жиро: он согласился встретиться с де Голлем в Касабланке для того, чтобы положить начало их сотрудничеству в гражданской и военной сферах. Но де Голль отказался, сказав Идену, что он согласится встретиться с Жиро с глазу на глаз, возможно в Чаде, но не в Касабланке, где такая встреча могла только подтвердить подчиненный статус Франции. На кону стояла честь французов. Иден

попытался зайти с другой стороны: он сказал де Голлю, что президент хочет встретиться с ним в Касабланке. Де Голль снова отказался, мотивируя свой отказ тем, что, если бы Рузвельт хотел встретиться с ним, они могли бы сделать это в Соединенных Штатах. Иден сообщил об упрямстве де Голля Черчиллю, и премьер-министр предупредил, что если де Голль откажется прийти на встречу, то потеряет все шансы на то, чтобы играть хоть сколько-нибудь значимую роль в Алжире, даже второстепенную, на которую рассчитывали американцы. Содержание его послания было примерно следующим: «Соглашайтесь на встречу, или правительство Его Величества не будет больше иметь с Вами дел». Рузвельт, которому удалось убедить Жиро в необходимости прийти к соглашению с де Голлем, телеграфировал Идену: «У меня есть жених, но где его невеста?»[60]

В течение недели де Голль не соглашался на встречу, но наконец согласился встретиться и 22 января прибыл в Марокко. Вечером того же дня он встретился с Черчиллем. «Я довольно жестко вел с ним разговор», — сказал Черчилль лорду Морану, глядя, как де Голль спускался с холма, на котором располагалась резиденция. Но потом добавил: «Франция без армии не Франция. Де Голль — это дух этой армии, последний представитель нации воинов». Моран спросил Черчилля, слышал ли он саркастическое замечание Рузвельта о том, что де Голль считает себя потомком Жанны д'Арк. Черчилль ответил, что слышал и «его не удивляет», что де Голль был таким непокорным и высокомерным, но, со слезами на глазах, «де Голль считает, что Англия нанесла Франции тяжелое оскорбление тем, что помогла ей. Для него невыносима мысль, что Франция нуждалась в помощи». Скорее это были черчиллевские слезы, как и чувства, которые британский премьер-министр через два дня выразил в письме Клементине, когда написал, что «шуткой де Голль разрядил обстановку на конференции». «Он думает, что он Клемансо (забыв на определенное время о Жанне д'Арк)». О лидерах Франции, включая де Голля, Черчилль писал Клементине: «Они ненавидят друг друга намного больше, чем немцев». По его словам, они «беспокоятся о власти и своем месте больше, чем об освобождении страны»[61].

Де Голль встретился с Жиро 23 января, а затем, как обычно, сделал загадочное заявление: «Мы встретились. Мы поговорили». Рузвельт встретился с обоими, но по отдельности. Жиро и американский президент беседовали без охранников, но, когда на виллу Рузвельта прибыл де Голль, группа секретной разведывательной службы Великобритании (при этом многие из агентов были вооружены автоматами Томпсона) заняла позиции, прячась за кустами и шторами. Такого рода союз между упрямыми французами, как казалось, стал свершившимся фактом, хотя контуры единого руководства Франции, которое с огромным трудом создавалось, оставались настолько неопределен-

ными, что можно было сказать, что такого руководства и вовсе не существовало. Более того, ни Лондон, ни Вашингтон не признавали официальную роль этого руководства ни на территории Французской империи, ни во Франции, где де Голля считали национальным героем[62].

24-го числа, в солнечный и очень жаркий день, сразу после полудня де Голль и Жиро заключили союз, — Иден и Рузвельт назвали его «браком поневоле», — пожав друг другу руки во время церемонии на лужайке перед виллой Рузвельта. На церемонии присутствовали Рузвельт (без головного убора) и Черчилль (в фетровой шляпе). Также на церемонии было пятьдесят донельзя удивленных репортеров, которых привезли из Алжира. Они не знали, кто примет участие в этой встрече. Одним из журналистов был Сэмми Шульман, невысокий нагловатый оператор, которого Рузвельт знал уже десять лет. Через месяц Рузвельт рассказал вашингтонским репортерам, что было дальше. «Я заранее разработал план вместе с Сэмми. После того как нас сфотографировали вчетвером, Сэмми Шульман перед толпой репортеров спросил: «О, господин президент, можно нам сфотографировать, как генералы жмут друг другу руки?» Я перевел то, что сказал Сэмми, Жиро, и он ответил: «Mais, oui», встал и протянул де Голлю руку. Черчиллю и мне потребовалось пять минут, чтобы убедить де Голля подняться и пожать руку. Нам удалось заставить их сделать это. Если вы когда-нибудь увидите эту фотографию, посмотрите на выражение лица де Голля»[63].

Выражение кошачьего довольства на лице Черчилля свидетельствует о том, что в этом представлении де Голлю отводилась роль жертвы. Снимки четырех лидеров и де Голля с Жиро, которые сделал Сэмми, являются одними из самых известных фотографий военного времени. Но то, что на них запечатлено, не соответствует правде: на самом деле де Голль не соглашался ни на что более существенное, чем рукопожатие с Жиро. Рузвельт потешался над де Голлем, но последнее слово в Касабланке осталось все-таки за французом. Его свободные французские силы насчитывали 50 тысяч человек, в то время как под командованием Жиро было в пять раз больше солдат, которые раньше подчинялись Виши. Тем не менее в Северной Африке именно де Голль и его люди олицетворяли собой французскую армию. Армия де Голля была сформирована в ответ на создание коллаборационистского правительства, формально они были мятежниками, выступавшими сначала против потерпевшей крах Третьей республики, а затем против правительства Виши, которое считало их обычными разбойниками. Шарль Моррас, роялист, которому на тот момент было уже за семдесят, глашатай режима Виши, поэт, полемист и советник Петена провозгласил «де Голля предателем, который ведет за собой отбросы общества». Это высказывание голлисты восприняли как комплимент. Свободные французские силы по своей воле никогда бы не стали слу-

жить под началом бывших соратников Виши, и, несмотря на то, что Жиро был храбрым и достойным человеком, многие из его офицерского корпуса таковыми не являлись. Сам Жиро следовал воле американцев, что было оскорблением национальной гордости французов, и до сих пор не отменил антиеврейские законы и не освободил пленников-голлистов. Рукопожатие ничего не изменило и ничего не значило. Этот «брак» лишний раз подтвердил старую французскую поговорку, популярную во французской кавалерии: «Опасайся женщин, когда они перед тобой, лошадей, когда они позади тебя, и своих лидеров, где бы они ни были»[64].

Через несколько мгновений после того, как Сэмми сделал фотографии, Рузвельт, заглядывая в записи, в общих чертах рассказал о решениях, принятых в течение прошедших десяти дней. А затем добавил фразу, прозвучавшую как гром среди ясного неба: союзники потребовали «безоговорочной капитуляции» от оси. Позже Гопкинс вспоминал, как президент рассказывал ему, что эта фраза «просто пришла ему в голову», когда он сравнивал, насколько сложно было добиться встречи Жиро с де Голлем и встречи Роберта Э. Ли с Улиссом С. Безоговорочная Капитуляция Грантом*.

«А в следующую секунду, — сказал Рузвельт Гопкинсу, — я произнес эту фразу». Рузвельту вообще-то было не свойственно делать односторонние заявления, тем не менее нельзя сказать, что это была чистая импровизация. На самом деле за пару дней до этого Черчилль сообщил военному кабинету, что они с Рузвельтом обсуждали данный вопрос и решили, какими будут условия «безоговорочной капитуляции» для Германии и Японии. Члены военного кабинета настояли на том, что эти условия должны распространяться и на Италию. Черчилль понимал, что такого рода информацию следует держать в секрете. Но Рузвельт дал ей просочиться в прессу. Черчилль в своих мемуарах немного поддел Рузвельта, когда упомянул о том, как Рузвельт объяснил, что эти слова пришли ему в голову: «Я не считаю, что это откровенное заявление в какой-то мере ослабляет тот факт, что эта фраза была в президентских записях»[65].

Аверелл Гарриман вспоминал, что в тот вечер на ужине «Черчилль был возмущен», причем не столько тем, что Рузвельт заявил о политике «безоговорочной капитуляции» во всеуслышание, а тем, «как он это сделал». Слова «безоговорочная капитуляция» в разных местах воспринимались по-разному. Для британцев и американцев они означали, что с Гитлером, Тодзио или Муссолини не будет сделки наподобие той, что была заключена с Дарланом. Это означало, что война

* Термин «безоговорочная капитуляция» был впервые применен в мировой практике Улиссом Грантом при осаде форта Донелсон. Поскольку начальные буквы этого словосочетания U. S. (unconditional surrunder) совпадали с инициалами генерала, то Грант получил прозвище Безоговорочная Капитуляция.

не закончится перемирием, которое позволит Германии перегруппировать силы для новых злодеяний в будущем. Это означало, что договор, подобный «Четырнадцати пунктам Вильсона» — неточный и допускающий всевозможные интерпретации, — не будет рассматриваться в ходе переговоров. Да и переговоров фактически не будет. «Безоговорочная капитуляция» показала Сталину, что американцы и британцы намерены воевать до победного конца. Кроме того, было ясно, что от него они ждут того же. Уже больше года перспектива заключения Сталиным сепаратного мира с Гитлером являлась поводом для беспокойства англичан и американцев[66].

Черчилля подвела память, когда в 1948 году он рассказал биографу Рузвельта Роберту Шервуду, что впервые услышал слова «безоговорочная капитуляция» из уст президента на конференции. Подвела память и Эрнеста Бевина, когда в 1949 году, будучи министром в лейбористском правительстве Клемента Эттли, он подверг жесточайшей критике Черчилля и политику «безоговорочной капитуляции» из-за неоправданных расходов, связанных с восстановлением Германии. Тогда Черчилль ответил Бевину то же, что сказал Шервуду, — он впервые услышал эти слова из уст президента в Касабланке. И только позднее Черчилль вспомнил о телеграмме военному кабинету, отправленной в январе 1943 года. Столь противоречивые воспоминания стали причиной серьезной путаницы в отношении этого вопрос[67].

Острая критика и споры сопровождали это выражение с того момента, как Рузвельт произнес его. Эйзенхауэру оно не нравилось, потому что не было конкретного определения слова «безоговорочная», и, когда придет время заключать перемирие и принимать капитуляцию, он, Эйзенхауэр, окажется из-за этого в неприятном положении. Пресс-секретарь Эйзенхауэра Гарри Бутчер написал, что «в штабе вооруженных сил с тем, как упорно настаивали на «безоговорочной капитуляции» Черчилль и Рузвельт, не связывали ничего, кроме проблем... Еще не было капитуляции, принятой без каких-либо условий». Позднее Эйзенхауэр несколько раз просил руководство страны дать точно определение этого термина, но они этого так и не сделали. Сталин заявил, что он не нуждался в том, чтобы с ним консультировались по поводу решений, принятых в Касабланке; его нужно было лишь о них известить, что и было сделано. Он не делал никаких официальных заявлений по поводу «безоговорочной капитуляции» до своей ежегодной майской речи, когда он дал понять, что, пока два союзника Советского Союза не сдержат свои обещания по поводу открытия второго Европейского фронта летом 1943 года, любые разговоры о «безоговорочной капитуляции» так и останутся разговорами. Тем самым он ловко обернул ситуацию в свою пользу. В конце года Сталин заявил Гарриману, что замечание Рузвельта «было неудачным». Через два года Геббельс использовал его в целях пропаганды, убеждая немцев в необхо-

димости сражаться до последнего, поскольку противник не оставляет им иного выхода. Гарриман позднее вспоминал, что «для Геббельса эта фраза была манной небесной». К концу 1943 года у Черчилля тоже появились сомнения, и он рассказал о них Сталину. Содержание этой беседы держалось в секрете до самого окончания войны. Открыто Черчилль никогда не открещивался от политики «безоговорочной капитуляции»[68].

После пресс-конференции Черчилль убедил Рузвельта на день отложить отъезд в Соединенные Штаты, чтобы отправиться вместе в Марракеш, «самое красивое место на всей земле». Он сказал президенту, что Марракеш — это «Париж Сахары», куда столетиями прибывали караваны из Центральной Африки. Здесь торговцев обманывали на рынках и развлекали в самых лучших публичных домах на всем Африканском континенте. Лидеры двух государств (Макмиллан назвал их императорами Запада и Востока) отправили большую часть войск вперед по воздуху. Президент, Черчилль и несколько их помощников на машинах отправились в 150-мильное путешествие. По обеим сторонам дороги, на расстоянии в несколько десятков ярдов друг от друга, стояли в карауле американские солдаты из дивизии Паттона; было бы куда разумнее, если бы они сражались в Тунисе, а не стояли в почетном карауле в Марокко. В Марракеше высокие гости остановились на вилле Тейлора, оазис с апельсиновыми и оливковыми деревьями, окруженный высокой стеной, где жил американский вице-консул Кеннет Пендар. Над домом возвышалась узкая трехэтажная башенка. Черчилль приказал, чтобы Рузвельта и его инвалидное кресло отнесли наверх, дабы президент мог полюбоваться Атласскими горами на закате, когда солнце опускается в Атлантический океан и далекие снежные вершины постепенно меняют цвет от белого до розового к кроваво-красному. В тот вечер Черчилль с Рузвельтом насладились «веселым» застольем после того, как составили совместную телеграмму Сталину, в которой поздравили его с успехами под Сталинградом. В телеграмме они также кратко изложили решения, принятые в ходе конференции, но единственное, что представляло интерес для Сталина, — это обещание высадки десанта во Франции[69].

Когда на следующее утро Рузвельт уезжал домой, Черчилль проводил его до аэродрома в вельветовых тапочках и в халате с красно-зелено-золотым драконом. В течение нескольких часов он пролежал в таком виде в кровати под толстым светло-голубым шелковым покрывалом в комнате, освещенной множеством свечей. Затем вызвал Брука и объявил, что они «отбывают» сегодня в шесть вечера. Брук привык к тому, что, приходя по вызову к Черчиллю, мог застать его в постели или выходящим из ванны, Черчилль мог одеваться при нем, не переставая рассказывать о новой идее, родившейся у него во время купания. В этот раз Бруку очень хотелось, чтобы они задержались в

Марракеше на пару дней. Он надеялся, что у него будет долгожданный отдых и возможность понаблюдать за птицами на склонах холмов. Но Черчилль был непреклонен. Брук попытался обернуть ситуацию в свою пользу, сказав, что день, проведенный за мольбертом, станет передышкой, столь необходимой премьер-министру. Но ничто не могло поколебать решения Черчилля. «Мы уезжаем в шесть», — заявил он, не выпуская сигару изо рта. «Куда?» — спросил Брук. «Я еще не решил, — ответил Черчилль, — либо в Лондон, либо в Каир, зависит от того, что скажут турки»[70].

И они отправились в Каир. Перед отлетом Черчилль провел несколько часов в башне, где нарисовал единственную за войну картину, пейзаж, который он потом подарил Рузвельту. После захода солнца черчиллевский «Коммандо» и самолет сопровождения B-24 с Бруком и штабными офицерами на борту вылетели с аэродрома близ Марракеша в восточном направлении. Им предстоял ночной перелет до Каира. Когда они поднялись на высоту более 14 тысяч футов и пролетали над горами, температура внутри самолетов опустилась ниже нуля, а грохот двигателей заглушил разговоры. В самолете Черчилля были сделаны окна, и в салоне стояли мягкие кресла. Он мог, по крайней мере, иногда выглядывать в иллюминатор, чтобы посмотреть, где самолет находится в данный момент времени, а вот Бруку и всем, кто находился на борту Liberator — «Освободитель» (это название закрепилось за самолетом в Королевских ВВС, а затем уже было принято и в ВВС армии США), ничего не оставалось, кроме как считать заклепки в корпусе самолета. На рассвете, после одиннадцатичасового перелета, самолеты приземлились в Каире. Через некоторое время Черчилль и его сопровождение прибыли в дом британского посла Майлса Лэмпсона. Его жена Жаклин предложила им завтрак. Брук хотел сначала принять душ, но Черчилль воскликнул: «Нет! Сначала завтрак, а потом душ!» Миссис Лэмпсон проводила их в обеденный зал и спросила премьер-министра, не желает ли он выпить чашечку кофе. «С утра я уже выпил два стакана виски с содовой и выкурил две сигары», — ответил премьер-министр и попросил бокал белого вина, который осушил одним глотком. Он хорошо себя чувствовал и был готов к работе[71].

Утром в субботу, 30 января, Черчилль с сопровождающими лицами, к которым присоединился Александр Кадоган, британский дипломат, взошли на борт самолетов и вылетели в Турцию, в город Адана, расположенный на побережье Средиземного моря близ сирийской границы. Выбор пал на Адану по той причине, что Анкару сочли слишком опасным местом и слишком привлекательным объектом для люфтваффе. Кстати, именно из-за опасности немецких бомбежек Турция опасалась присоединяться к союзникам. В тот самый момент,

когда Черчилль и Брук летели на север вдоль средиземноморского побережья, Гитлер повысил Паулюса до звания фельдмаршала; фюрер исходил из соображения, что еще никогда ни один немецкий фельдмаршал не сдавался в плен. Этим он дал понять Паулюсу, что он должен сражаться до последнего под Сталинградом или уйти с честью, пустив себе пулю в лоб. После того как всего за один месяц было убито более 100 тысяч солдат его армии, которая к тому же была расколота надвое, у Паулюса просто не было сил, чтобы продолжать сражаться. В ту же ночь его штаб сдался, но остатки армии продолжали оказывать сопротивление. А в это время в Адане Черчилль сел в поезд и проехал несколько миль до того места, где его в личном поезде ждал президент Иненю. Сильный дождь превратил окружающую равнину в море грязи. Ливень был такой силы, что турецкие солдаты, которые должны были охранять Черчилля, спрятались под импровизированный навес из одеял. Такое пренебрежительное отношение к обязанностям возмутило Брука. После того как поезда «состыковались», два военачальника — один, настроенный дружелюбно, но вынужденно сохранявший нейтралитет, а другой уверенный в себе — приступили к переговорам. Ситуация напоминала встречу Гитлера и Франко в Андае в октябре 1940 года. Результаты тоже были во многом схожи, хотя Брука в определенной степени удовлетворил тот факт, что турки, похоже, «скорее склонялись к тому, чтобы принять сторону союзников»[72].

Турки опасались двух возможных последствий альянса с союзниками: возмездия со стороны Германии и непредсказуемой реакции Советов по окончании выигранной ими войны. Ведь цари на протяжении двух столетий жаждали заполучить Дарданеллы и проход из Черного моря в Средиземное море (Иненю воевал против британцев в битве при Галлиполи в 1916 году). Черчилль сказал, что вполне возможен вариант проведения Советским Союзом «империалистической политики», но в этом случае лучшей защитой для Турции как раз и будет пакт с Великобританией и Соединенными Штатами. Черчилль также предположил, что послевоенный Всемирный совет, в отличие от Лиги Наций, будет обладать достаточной военной силой для того, чтобы разобраться с государствами, сбившимися с истинного пути. Черчилль говорил по-французски (или, как заметил Кадоган, только ему одному ведомом французском), произнося английские слова на французский манер и для пущего эффекта активно жестикулируя. Кадоган написал, что на английском его аргументы звучали очень убедительно, но Черчилль поступил очень мудро, избрав такой способ общения с турками, якобы не специально, не оказывая давления на турок, которые, как написал Кадоган, «решительно не желают быть втянутыми в войну». Немцам были известны все эти подробности переговоров благодаря тому, что они прослушивали турецкие линии связи. Брук охарактеризовал встречу как «очень успешную»[73].

Но она таковой не являлась, если только в том смысле, что при благоприятном отношении Турции средиземноморская стратегия Брука имела больше шансов на успех, чем при неблагоприятном. Однако нельзя сказать, что встреча оказалась полностью провальной. Турки приняли предложение британцев о содействии в модернизации их армии и согласились на размещение большого количества боевой техники и вооружения на юго-востоке Турции на тот случай, если они понадобятся в Сирии, Ираке или самой Турции, на которую Гитлер мог напасть, несмотря на ее нейтралитет. И все же одна из восьми приоритетных задач, определенных в Касабланке, не была решена.

Черчилль, вернувшись 2 февраля в Каир, узнал, что в этот день остатки армии Паулюса, в том числе 23 генерала и более 90 тысяч солдат, сдались под Сталинградом. Сейчас они были на пути в советские лагеря для военнопленных. Только 5 тысяч немцев сумели пережить плен, единственные, кто остался от армии Паулюса, численность которой первоначально составляла 450 тысяч человек. На следующий день кремлевские колокола известили о победе. В Берлине вещание на немецком радио сначала было прервано приглушенной барабанной дробью, а затем последовало объявление, что 6-я армия «потерпела поражение при численном превосходстве противника и неблагоприятных для наших войск обстоятельствах». После этого сообщения прозвучала вторая часть Пятой симфонии Бетховена. Обычная программа радиовещания была прервана на три дня. Вскоре немецкие генералы заметили серьезные перемены в поведении Гитлера. «Его левая рука тряслась, — писал генерал Гейнц Гудериан. — Он начал сутулиться, его взгляд стал неподвижным, а щеки покрылись нездоровым румянцем. Он стал более раздражительным, легко терял самообладание, приобрел склонность к вспышкам злости и непродуманным решениям». Позднее Гитлер сказал одному из своих докторов, что бессонными ночами его преследовали видения, где на картах были отмечены последние позиции его армий до того, как они были разгромлены[74].

Сталинградская битва была единственным мощным военным поражением в истории Германии, но не последней из бед, которые с начала года начали преследовать немецкую армию на Восточном фронте. На Балтике в середине января Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда. После осады, продолжавшейся 515 дней, и огненного дождя из снарядов 6 тысяч немецкий орудий, не прекращавшегося весь год, русские проложили узкий сухопутный мост в город. На Кавказе группа армий «А», от которой к тому моменту осталась только одна армия, была отброшена на 200 миль назад к Ростову. В середине февраля советские войска взяли город, отрезав немцев, оставшихся на южном побережье Азовского моря. В 200 милях к северу армии маршала Эриха фон Манштейна отступали на запад от Дона и были выбиты из Харькова и Курска. С тех пор как в ноябре

советские войска форсировали Волгу, они прошли уже 250 миль, преодолев Дон и несколько его притоков. Они находились всего в 50 милях восточнее Днепра. Маршал Жуков просил у Сталина больше людей, оружия, танков и самолетов, и он их ему предоставил. Теперь Жуков одерживал одну победу за другой. Сталин, как и Черчилль, изучавший историю Гражданской войны в Соединенных Штатах, стал рассказывать западным гостям, что Жуков — его Джордж Макклелан, только Жуков не проиграл ни одной битвы (генерал Макклелан тоже просил президента Линкольна об увеличении поддержки и получил ее, но он вел себя излишне мягко по отношению к конфедератам и не одержал ни одной победы)[75].

Новости из России привели Черчилля в прекрасное расположение духа. 2 февраля он поужинал в британском посольстве, посмотрел фильм, как британские войска входят в Триполи, а затем почти до полуночи рассуждал на одну из своих излюбленных тем — Омдурманское сражение 1898 года в Судане. Рэндольф, находившийся в отпуске, присоединился к отцу. Александру Кадогану, который сидел между Черчиллем и Рэндольфом, сын премьер-министра показался «ужасным молодым человеком. Он был кошмаром для всех нас, начиная с Касабланки». Отец и сын ворчали и огрызались друг на друга весь вечер. Если бы Кадоган чаще бывал в Чартвелле, он бы знал, что так ужины проходили всегда, если за одним столом собирались отец и сын. Рэндольфа сопровождал (и присматривал за ним) Билл Дикин, который до войны был научным консультантом Черчилля, а теперь служил в звании капитана в Управлении специальных операций. Черчилль только что узнал от Дикина, что, пока сербские войска под командованием Михайловича сдерживали войска стран оси в Сербии, на севере, в Хорватии и Словении, тем же занимались крестьяне, школьные учителя и интеллигенция под руководством Тито, но без поддержки американцев или британцев. После того как Черчилль запросил доклад по данной проблеме, который Дикин подготовил за два дня, он развернул британскую внешнюю политику в неожиданном для всех направлении[76].

Тито был коммунистом, но он уничтожал немцев и их хорватских марионеток из Усташи*, а значит, ему стоило оказывать помощь.

То, что он также воевал против четников** Михайловича и сторонников короля Петра, было проблемой, поскольку Лондон поддерживал возвращение монарха.

---

* У с т а ш и — хорватская ультраправая террористическая организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году в Италии.

** Ч е т н и к и — название сербского национального движения. В различные исторические периоды движение принимало разные формы. В частности, в Королевстве Югославия четниками назывались ветеранские организации и специальные подразделения югославской королевской армии, которые стали основой для создания Драголюбом Михайловичем своего монархического и националистического партизанского движения.

Так события развивались на Балканах, где в течение столетий не прекращались кровавые этнические междоусобицы и где множество народов, как однажды сказал Черчилль, создавали больше истории, чем могли переварить. Всего через несколько дней после того, как Черчилль ознакомился с предложениями Дикина, он запросил у Эйзенхауэра несколько бомбардировщиков дальнего действия B-24, способных долететь до северной части Югославии и доставить помощь партизанам Тито. В апреле капитан Дикин был десантирован на территорию оккупированной немцами Хорватии, чтобы установить отношения с только что приобретенным и самым неожиданным союзником — Иосипом Броз Тито[77].

3 февраля Черчилль собрался лететь в Триполи, чтобы поздравить генерала Бернарда Монтгомери, который, как и Жуков, просил подкрепление и одержал победу. Вечером того же дня передовые части Монтгомери пересекли границу Туниса: Триполитания, богатейшая колония Италии, пала. Поколение эмигрантов с Сицилии и материковой Италии вымостили здесь дороги, посадили виноград и оливковые рощи; они построили ирригационные системы, достойные древнеримских акведуков, для орошения своих угодий. Это была последняя колония Италии в Африке. Дуче, император, под властью которого когда-то находилось более 1,2 миллиона квадратных миль африканской земли, потерял здесь все. После этого в одном из американских еженедельников написали: «Из того, что напоминало бы итальянцам об их потерянной империи, остался только песок, поднимаемый горячим ветром над Средиземным морем»[78].

Согласно договоренностям, достигнутым в Касабланке, Александер и британцы теперь подчинялись Эйзенхауэру. Генри Мейтленд (Джамбо) Вильсон заменил Александера на посту главнокомандующего войсками на Ближнем Востоке. Спустя две недели по прибытии в Тунис Александер принял командование сухопутными войсками союзников на этом театре военных действий. По мнению Черчилля, это было удачное стечение обстоятельств, поскольку Алекс никак не мог ухудшить положение, учитывая, что Эйзенхауэр пока не добился никаких особых успехов. Результаты, достигнутые Эйзенхауэром, были столь незначительными, что Джордж Маршалл позднее выразил Черчиллю свое удивление по поводу того, что в Касабланке британцы не потребовали для себя ведущей роли в операциях в Северной Африке. В своих воспоминаниях Черчилль написал, что такая идея никогда не приходила ему в голову. На самом деле Черчиллю Эйзенхауэр начал нравиться, и даже очень. Каннингем командовал морскими силами, Теддер — воздушными, а Александер — сухопутными, и Черчилль, с договоренностью о вторжении на Сицилию, получил все, что желал, предоставив Рузвельту то, что хотел президент, — американского главнокомандующего. Гарольд Макмиллан очень точно ухватил суть дан-

ной ситуации, написав позднее, что британцы будут командовать американцами, как «греческие рабы руководили операциями императора Клавдия». Эйзенхауэр, которого Брук презирал за то, что он никогда не командовал даже батальоном на поле боя, привнес одну очень ценную вещь — он ратовал за здоровые отношения между союзниками. Эйзенхауэр предупреждал своих подчиненных: «У каждого есть право на свое собственное мнение. Вы можете назвать другого офицера сукиным сыном, но, как только я услышу, как кто-то из американских офицеров назовет своего товарища тем британским сукиным сыном, я его выгоню». В будущем ему понадобится все расположение британских войск, которое он мог завоевать благодаря тому, что, будучи главнокомандующим, не отдавал предпочтение американцам, поскольку американские войска в Тунисе продемонстрируют полнейшую неготовность воевать с немцами[79].

Четвертого числа Черчилль прибыл в Триполи. После осмотра гавани с борта катера он наблюдал за тем, как в порту пришвартовалось первое судно снабжения. Благодаря тому, что британцы захватили этот порт, им удалось сократить линии снабжения 8-й армии почти на 1200 миль. В тот же день Черчилль и Брук провели смотр 51-й дивизии, реинкарнированной бывшей 51-й дивизии, которая капитулировала во Франции. Солдаты дивизии, которые прибыли в Африку «бело-розовыми» неопытными новичками, превратились в «загорелых воинов, закаленных в боях и одержавших победы в ходе наступления британских войск». Черчилль, стоя на высокой трибуне, наблюдал за солдатами, маршировавшими под звуки волынок. Брук, не скрывая слез, повернулся к Черчиллю, у которого тоже навернулись слезы на глаза. «Можно было почувствовать глубочайшее облегчение, — позже написал Брук, — от осознания того, что победа стала вполне реальной перспективой»[80].

На следующий день Черчилль с сопровождающими отбыли в столицу Алжира, чтобы совершить, как было запланировано, короткую остановку для встречи с Эйзенхауэром и адмиралом Эндрю Брауном Каннингемом («ABC — Andrew Browne Cunningham); поздно вечером они вылетели в Лондон. Кадоган, который уже познал все тяготы длительных путешествий в неотапливаемом бомбардировщике, написал в дневнике, что его больше никогда не удастся «протащить по миру в таких отвратительных условиях. Не думаю, что премьер-министр когда-нибудь заглядывал в наш самолет, а потому никогда не поймет, как там ужасно»[81].

Эйзенхауэр по опыту знал, что можно ожидать от приезда Черчилля. До того как он покинул Лондон, чтобы принять на себя командование операцией «Факел», они с Черчиллем регулярно встречались по четвергам за ужином и часто обсуждали свои дела, проводя выходные дни в Чекерсе, где из-за привычки Черчилля работать допоздна Эй-

зенхауэру частенько приходилось оставаться на ночь. Айк понимал, что прибытие Черчилля сулит ночные посиделки, затянувшиеся за полночь ужины, и опасался этого. Кроме того, ходили слухи, что убийцы — немецкие, арабские или вишистские — планировали избавить мир от «человека с большой сигарой». Таким образом, его присутствие в Алжире не сулило Эйзенхауэру ничего, кроме головной боли. Он хотел, чтобы Черчилль как можно скорее покинул город. «Будучи в безопасности в Лондоне, — написал помощник Эйзенхауэра, коммандер Гарри Бутчер, — Черчилль, который стоил целой армии, здесь, в Алжире, был мишенью, и, следовательно, его присутствие накладывало на всех большую ответственность»[82].

Но Черчилль приехал. Обед, устроенный в доме Эйзенхауэра, на котором также присутствовали Жиро и генеральный резидент в Марокко Поль Ноге, бывший сторонник Виши, который еще три месяца назад пытался оттеснить армию Паттона к морю, как водится, затянулся. Ужинали на вилле Каннингема, находившейся через дом от виллы Эйзенхауэра. Черчилля назвали «человеком, приехавшим на обед». На самом деле, сказал Черчилль Бруку, ему хотелось быть человеком, приехавшим на день, или на пару дней, или даже больше. Однако было запланировано, что в полночь Черчилль улетит в Лондон, чтобы не подвергаться риску в дневное время. Поздно вечером Черчилль с сопровождающими отбыли на аэродром Мезон-Бланш. Попрощавшись с хозяевами на взлетно-посадочной полосе, они заняли места в двух B-24. Лорд Моран выпил снотворное и лег спать. Брук надел пижаму, а поверх натянул летный костюм на меху. На борт загрузили карты, схемы и внушительный запас напитков[83].

Но вылет отложили. Обнаружилась неисправность одного из двигателей черчиллевского Liberator. После двух часов безуспешных попыток запустить двигатель пилот решил отложить ремонт до утра. Пассажиры вышли, самолет закрыли. Морана, который крепко спал, оставили внутри. Около двух часов ночи обитатели виллы Эйзенхауэра и Каннингема проснулись от стука в дверь. Уинстон вернулся. Капитан Бутчер и американцы решили, что Черчилль спланировал это происшествие, чтобы провести еще один день на солнце и, возможно, искупаться в море. В любом случае человек, приехавший на обед, улетел домой вечером 6 февраля[84].

Клемми телеграфировала Уинстону перед его прибытием в Алжир: «Я слежу за твоими передвижениями с большим интересом... Дверь открыта, и я надеюсь, что скоро мистер Булфинч прилетит домой». Черчилль ответил: «Держи клетку открытой в субботу и в воскресенье, дорогая». Он вернулся в родовое гнездо в воскресенье, 7-го числа[85].

В течение двадцати шести дней Черчилль находился вдали от короля, жены и страны. Это был его последний полет на Commando. Самолет, уже с другим экипажем, позже бесследно исчез. Кадоган

точно описал ужасные неудобства и опасности, связанные с полетом на бомбардировщике, но был не прав насчет Черчилля. С первых полетов в Каир и Москву шестью месяцами ранее премьер-министру было прекрасно известно, какими тяжелыми, но насколько необходимыми были эти полеты.

В это время в Бирме бригадный генерал Орд Уингейт повел бригаду бойцов, специально подготовленных для ведения боевых действий в джунглях (он называл их «чиндиты», в переводе с бирманского «львы»), через реку Чиндуин для совершения набегов в японском тылу. В Касабланке договорились о необходимости вновь открыть Бирманскую дорогу, но для выполнения этой задачи у Уингейта не хватало людей, а у британских военно-воздушных сил — самолетов. Генерал Джо Стилвелл, томившийся в Северной Индии, жертва решения, принятого в Вашингтоне, об усилении армии Макартура за его счет, почти не имел армии. А у Черчилля не было желания. По его мнению, Китай не стоил усилий. В те дни американская пресса писала, что к острову Гуадалканал направляется большая группа японских кораблей, вероятнее всего для того, чтобы усилить местный гарнизон. Но вскоре оказалось, что эти сообщения не соответствовали действительности: японцы плыли к острову, чтобы эвакуировать находившиеся там войска. 9 февраля New York Times объявила: ВРАГ ПОКИДАЕТ ОСТРОВ. Следующей целью союзников была Гвинея; возглавить наступление должны были австралийцы. Началось наступление на Токио[86].

Больше года американцы, у которых не было особого выбора в силу их неподготовленности к войне, считались с мнением Черчилля по стратегическим вопросам. Так же они поступили и в Касабланке. Но это было последний раз. Гитлер потерпел военное поражение под Сталинградом, а теперь политическое поражение грозило Черчиллю. Его видение послевоенного мира вырисовывалось все четче, и он оттачивал слова и фразы, которые собирался использовать для описания этого видения в нужный момент. Однако по прошествии месяцев то, какие очертания примет новый мир, все больше зависело от Рузвельта и Сталина. Будущее Черчилля и будущее всей Европы было теперь неразрывно связано с политическими желаниями двух его союзников, которые, по словам сэра Джона Кигана, «вытесняли его с авансцены мировой политики». Черчилль постепенно утрачивал влияние; и хотя в начале 1943 года он еще это не почувствовал, процесс уже начался[87].

2 февраля в New York Times была опубликована статья, в которой автор рассуждал о решениях, принятых в Касабланке. Заголовок гласил: «Президент намекнул на возможность вторжения в 1943 году». На самом деле такое решение не принималось в Касабланке. Это была скорее надежда, а не цель, и с каждой неделей эта надежда таяла.

11 февраля Черчилль, усталый и простуженный, выступил в палате общин. Он не гарантировал полномасштабного вторжения в Европу, но дал обещание, что все враги Британии будут «гореть и истекать кровью» (его любимая фраза), а «все преступники и все виновные» понесут суровое, но справедливое наказание. Он послал Рузвельту черновой вариант своей речи и попросил прокомментировать. Рузвельт, будучи уверенным в том, что французы ненавидят британцев и уважают американцев, ответил, что «французы охотнее пойдут на сотрудничество, если вы подчеркнете, что командование в Северной Африке будут осуществлять американцы». Черчилль откорректировал план выступления, уделив особое внимание словам Эйзенхауэра. Спустя неделю он почувствовал огромное облегчение, что сделал это[88].

После своего выступления Черчилль в течение нескольких дней не мог справиться с сильной усталостью и простудой, которую подхватил в Африке. Вечером 16 февраля у него резко подскочила температура. Лорд Моран, послушав его легкие, сказал, что у пациента «пятно» в левом легком. «Что вы имеете в виду под пятном? — недовольно спросил Черчилль. — У меня пневмония?» Рентген легких, который был сделан на следующий день, и повторный осмотр доктором Джоффри Маршаллом подтвердили подозрения Морана: Черчилль подхватил воспаление легких. Но, учитывая его возраст, Морана не столько беспокоили его легкие, сколько возможные осложнения на сердце. Пациенту был прописан постельный режим. Черчилль читал роман Дефо «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс», приказал до минимума сократить количество документов, которое ему приносили, и писал короткие письма Гопкинсу и Рузвельту, который тоже заболел после укуса африканского насекомого. В письмах Черчилль жаловался на «тяжелое состояние и длительный процесс лечения». В ответ они прислали письма с пожеланиями скорейшего выздоровления. Моран вспоминал, что Черчилль не был трудным пациентом. Он делал то, что ему велели, «если, конечно, ему объясняли, почему он должен это делать». Слова доктора Маршалла, что «пневмония — подруга стариков», не способствовали выздоровлению. «Прошу, объясните», — сказал Черчилль. «Ее так называют, потому что она может очень быстро свести в могилу», — ответил Маршалл. В это время пришли новости с Северной Атлантики, из России, Индии и Туниса, которые без всякой болезни могли свести его в могилу[89].

К середине февраля войска Роммеля перегородили «черный ход» в Тунис, заняв позиции на линии Марет, французские пограничные укрепления, возведенные десять лет назад на французском оборонительном рубеже, которая шла от залива Габес до обширных солончаковых болот. К северо-западу от Роммеля на дальних склонах хребта Восточный Дорсаль Атласских гор против нескольких танковых дивизий Арнима оборону на участке протяженностью 80 миль и в городе

Сиди-Бузид удерживали неопытные американские солдаты 2-го корпуса под командованием генерал-майора Ллойда Фредендалля. Его задача состояла в том, чтобы не дать войскам Арнима продвинуться дальше, и ждать, пока рано или поздно Роммель, которого преследовал Монтгомери, не попытается соединиться с ним. К северу от Фредендалля стояло несколько плохо вооруженных французских бригад, раньше входивших в состав войск Виши. Дальше к северу 1-я армия Андерсона уже восемь недель не могла пробиться к Бизерте и Тунису, поскольку Кессельринг присылал Арниму подкрепление быстрее, чем союзники успевали его уничтожать. По хребту Восточный Дорсаль, который с таким трудом удерживали американцы и французы, от Гафсы и далее на запад проходил левый фланг немецких войск.

Эйзенхауэр правильно предположил, что Роммель ударит в северном направлении, стремясь захватить Тунис, но американцы не были уверены, какой именно маршрут он предпочтет: пойдет ли он по прибрежным равнинам или перегруппирует свои войска у Гафсы, а затем резко двинется на север. И попытается ли Арним нанести удар по перевалу Фейд, что позволит ему выйти к Сиди-Бузиду и угрожать тылу союзников? Разведка союзников считала такой сценарий маловероятным, полагая, что горные перевалы не подходят для танкового сражения. Кроме того, в расшифровках «Ультра» не содержалось никаких указаний на то, что Арним готовится осуществить подобный план. Однако, после того как 13 февраля Эйзенхауэр посетил позиции Фредендалля в районе Сиди-Бузида, он пришел к выводу, что здесь очень слабые оборонительные позиции и немцы нанесут удар именно сюда. Эйзенхауэр вернулся в штаб Фредендалля в Тебессе (его местоположение было выбрано неудачно, к тому же он находился более чем в 70 милях к западу от Сиди-Бузида) с намерениями разработать новый план.

Но Эйзенхауэр опоздал. На следующее утро Арним и Роммель атаковали. К ночи Роммель захватил Гафсу, а танки Арнима прорвали оборону союзников в районе Сиди-Бузида. Затем немецкие танковые силы Роммеля и Арнима направились к перевалу Кассерин в Восточном Дорсале. За два дня, 19 и 20 февраля, они разгромили два американских батальона, которые неудачно выбрали оборонительные позиции. Затем, 21 февраля, танковые части Роммеля двинулись от перевала Кассерин в северном направлении к Тебессе, где хранились тысячетонные союзнические запасы продовольствия, топлива и боеприпасов. Танковые войска Арнима резко повернули на север и двинулись к Тале. Если бы немцам удалось взять этот город, они смогли бы обойти оборонительные позиции Андерсона с тыла. Если бы на севере войска Арнима захватили город Тунис, Андерсон и французские части оказались бы зажаты в тиски. 20 февраля Александер прибыл из Триполи и, потрясенный увиденным, немедленно принял командование всеми наземными войсками. Он обнаружил, что американцы

у Кассерина были абсолютно не готовы к броску Роммеля, «ушли в слишком глубокую оборону» и «слишком беспокоились о защите от снарядов и бомб». Они попали в такое положение из-за неумелого командования и отсутствия точной разведывательной информации; к тому же они имели дело с решительным, закаленным в боях противником. Когда Эйзенхауэр (который недавно получил повышение в звании) приказал бомбардировщикам B-17 нанести удар по Кассерину, самолеты сбились с курса и сбросили бомбы более чем в сотне миль от намеченной цели, на дружественную арабскую деревню, по которой проходила линия обороны союзников. Первое серьезное столкновение немецких и американских войск закончилось для последних так же, как и началось, — катастрофой. Александер оказался, как в Дюнкерке и Бирме, в положении, когда его войска потерпели сокрушительное поражение[90].

Через неделю после прорыва через Кассерин Роммель, ушедший слишком далеко от баз снабжения, не смог развить успех и отступил через перевал к линии Марет. Бросок Роммеля произвел на всех такое сильное впечатление, что король Георг написал Черчиллю письмо на трех страницах, в котором выражал свою крайнюю озабоченность политической и военной ситуацией в Северной Африке. Черчилль почтительно ответил, что поддержка, оказанная им Эйзенхауэру при назначении на пост главнокомандующего, оказалась «пророческой». Он написал королю, что, если бы такое поражение потерпел британский генерал, враги Великобритании в Соединенных Штатах получили бы отличную возможность «заклеймить» британскую армию. Черчилль напомнил королю, что 8-я армия, состоящая из 160 тысяч опытных и, «возможно, лучших в мире солдат», должна в будущем сыграть в Тунисе ключевую роль. Более того, отныне командовать сухопутными войсками будет прославленный генерал Александер. Он написал, что ни в коем случае не хочет умалять заслуги американцев; они храбро сражались, но «им не хватает опыта»[91].

1 марта Эйзенхауэр отстранил Фредендалля от командования и на его место назначил Джорджа Паттона, который, как любил говорить Айк, «ненавидит гансов так же, как черт ненавидит святую воду». Поражение на перевале Кассерин укрепило сомнения Брука в том, что полномасштабное вторжение во Францию будет осуществлено в 1943 году, даже при наличии достаточного количества десантных судов. Несмотря на то что американские стратеги уезжали из Касабланки с ощущением, что Брук и Черчилль обвели их вокруг пальца, разгром на Кассерине показал, что британцы были правы. Для начала американцам следовало научиться проводить небольшие военные кампании и только потом приступать к вторжению в Европу. Томми из армии Андерсона одной фразой точно передали суть случившегося на перевале Кассерин: «Каким неопытным был мой союзник...»[92].

Когда Роммель осуществлял свою дерзкую операцию, на другом конце света Махатма Ганди предпринял не менее решительный шаг. Перед тем как Черчилль отбыл в Северную Африку, военный кабинет дал свое согласие на арест Ганди и сотни членов Индийского национального конгресса. 9 февраля семидесятидвухлетний Ганди, находившийся под арестом в Пуне, объявил о начале трехнедельной голодовки. За его состоянием наблюдали британские и индийские врачи. Черчилль подозревал, что индийские врачи подсыпали глюкозу в питьевую воду Ганди, и сообщил королю Георгу, что «старый пройдоха Ганди» выглядит настолько хорошо, что «невольно задаешься вопросом, честно ли он проводит голодовку». На шестнадцатый день голодовки, когда врачи, следившие за здоровьем Ганди, уже с тревогой отзывались о его состоянии (Черчилль не был склонен верить их предупреждениям), Черчилль телеграфировал Яну Смэтсу: «Какими же дураками мы должны быть, чтобы дрогнуть перед этим блефом и сентиментальщиной». На следующий день он телеграфировал вице-королю Индии, лорду Линлитгоу: «Теперь практически очевидно, что старый мошенник закончит свою так называемую голодовку в добром здравии». Лорд Линлитгоу в ответ высказал мнение что состояние Ганди («самого успешного мошенника в мире») не вызывает опасений и что его врачи таким образом «состряпали» тексты отчетов о состоянии Ганди, чтобы произвести нужный эффект, значит, являются соучастниками этой «порочной системы шантажа». Американская пресса выражала сочувствие Махатме; британская пресса обличала действия Ганди как ловкий трюк. Эту точку зрения разделял и Черчилль, позже описавший в воспоминаниях, как Ганди принимал глюкозу во время голодовки, что вкупе с его «неимоверными жизненными силами и воздержанием, ставшим привычным за многие годы» позволило ему завершить голодовку целым и невредимым. На самом деле еще в ходе голодовки Черчилль смог убедиться в том, что индийские врачи не давали Ганди глюкозу. Не то чтобы он сравнивал Ганди с главным героем рассказа Кафки «Искусство голодания», но был близок к этому. Что касается влияния Ганди в Индии, то Черчилль считал, что «смерть господина Ганди могла бы произвести огромное впечатление на всю Индию, где его праведный образ жизни снискал всеобщее глубокое уважение». А что касается ареста Ганди, то британцы, по его мнению, «правильно оценили ситуацию»[93].

Личный представитель Рузвельта в Индии, Уильям Филипс, находившийся в Дели с января, попросил вице-короля разрешить ему встретить с Ганди и Неру. Лорд Линлитгоу ответил отказом и вместо этого пригласил Филипса принять участие в охоте на тигра. Не повидав Ганди, Филипсу было весьма непросто представить Рузвельту полноценный отчет, но пришлось это сделать, поскольку Черчилля интересовала ситуация вокруг Ганди. Лео Эмери, Государственный

секретарь по делам Индии и Бирмы дал Черчиллю совет: «Надеюсь, вы сможете доходчиво объяснить президенту, что его люди должны проявлять осторожность в этом вопросе». Бурное проявление Черчиллем эмоций в присутствии Гопкинса в апреле прошлого года и то, как обошлись с Филипсом, ясно показали Рузвельту, что он не должен вмешиваться в дела Великобритании. Президент вел себя осторожно, несмотря на широкую поддержку Ганди в прессе. Черчилль и Рузвельт всегда придерживались разных точек зрения относительно Индии. На самом деле, вспоминал Гарриман, «они *вообще ни в чем* не были едины, если дело касалось Индии» (курсив Гарримана)[94].

Ганди завершил голодовку 3 марта. На кадрах с места репортажа видно, что он находится в добром здравии. А вот Черчилль еще не совсем оправился от болезни.

К началу марта Бернард Монтгомери, располагавшийся в городе Меденин, в 20 милях в юго-востоку от линии Марет, знал почти наверняка, что Роммель попытается совершить контратаку с выходом за передний край обороны и попытается пробиться через укрепления линии Марет, чтобы открыть себе путь на Меденин. Данные аэрофотосъемки и расшифровки «Ультра» предоставили Монтгомери преимущество, которым он собирался воспользоваться. Он подготовился к наступлению Роммеля, сосредоточив в одном месте и тщательно замаскировав противотанковую артиллерию. Расшифровки «Ультра» были настолько точными, что Монтгомери знал, какие именно танковые бригады намеревался задействовать Роммель и где он собирался их разместить. Роммель нанес удар 6 марта. Но «Ультра» не оставила ему никаких шансов. Противотанковые орудия Монтгомери вывели из строя пятьдесят два немецких танка. Немцы и итальянцы остановили наступление, развернулись и отступили к укреплениям линии Марет. Трудно переоценить важность победы при Меденине для британцев; если бы Роммель развернул 8-ю армию к востоку, дни союзников в Северной Африке были бы сочтены. Если бы британцы проиграли сражение, на планах по завоеванию Сицилии, а также Италии можно было поставить крест. Сталину, который уже сомневался в том, что союзникам удастся уничтожить немцев, ничего бы не осталось, кроме как довольствоваться заключением сепаратного мира. Но Монтгомери справился. 9 марта Роммель, заболевший малярией и страдавший от гноившихся ран на коже, передал командование своим Африканским корпусом генералу Джованни Мессе, служившему в недавно созданной группе армий «Африка» под командованием Арнима. Вечером 9 марта Роммель покинул Северную Африку и уже никогда туда не возвращался[95].

На Восточном фронте благодаря победам в битвах за Сталинград и Ростов укрепился моральный дух Красной армии, и в январе она перешла в наступление. Однако, как и в ходе наступления весной про-

шлого года, она наступала слишком быстро и продвинулась слишком далеко, и в результате фронт оказался слишком растянутым. Перебравшись на другой берег реки Донец, русские обнаружили, что немцы изменили ширину колеи на железной дороге, что вынудило Красную армию использовать десятки тысяч грузовиков и лошадиных упряжек для движения по разбитым грязным дорогам. Манштейн был уверен в том, что армия под командованием Сталина вновь попыталась прыгнуть выше головы, и выжидал удобного момента. Он нанес удар на третьей неделе февраля, задействовав четырнадцать танковых и пехотных дивизий. За две недели он вновь занял Краков, заставив русских отступить на 80 миль по всему двухсотмильному фронту. Сталин обвинил в неудаче Черчилля и Рузвельта, заявив, что успех немцев «обеспечен благодаря сокращению немецких сил во Франции» из-за вялости англо-американских сил. Итак, «Россия вновь начала жаловаться на то, что несет на себе основное бремя войны». Но на Сталине *действительно* лежало почти все бремя войны, а Черчилль и Рузвельт, к их ужасу, все еще не были готовы к тому, чтобы взять на себя хотя бы часть ноши, взваленной на Сталина. Немцам тоже это было известно, за что они были весьма благодарны союзникам. 2 марта Герман Геринг сказал Геббельсу, что он «слегка обеспокоен тем, что они довольно серьезно сократили присутствие на Западном фронте, чтобы стабилизировать ситуацию на Восточном». «Даже страшно подумать, — написал Геббельс в дневнике, — что может случиться, если англичане и американцы неожиданно предпримут попытку по высадке десанта»[96].

Ничего подобного англичане с американцами не планировали. На самом деле безрадостными февральскими днями, когда всюду, казалось, складывается патовая ситуация, Эйзенхауэр посоветовал перенести начало операции «Хаски» с июня на июль. Черчилль узнал об этом, когда врач в очередной раз прописал ему постельный режим: он слег с пневмонией и с трудом шел на поправку. Черчилль телеграфировал Эйзенхауэру, что месяц задержки может обернуться катастрофой. Гарри Гопкинсу он пророчески заявил, что, если с мая по июнь «ни один британский или американский солдат» не убьет ни одного немецкого или итальянского бойца, «в то время как русские будут преследовать 165 дивизий», можно ожидать «горьких упреков со стороны русских». Великобритания, сказал он военачальникам, «превратится в посмешище». На самом деле в протоколе о намерениях, составленном в Касабланке Объединенным комитетом начальников штабов, содержалось положение о том, что операция «Хаски» должна начаться в «благоприятные лунные июльские дни»; освещение в эти июльские ночи при растущей луне является оптимальным для высадки десанта. В Касабланке Черчилль и Рузвельт активно продвигали идею начать операцию в июне, и Объединенный комитет начальников штабов обратился

с просьбой к Эйзенхауэру пересмотреть решение о сроках. Но генерал Айк упорно стоял на своем. Тем не менее Эйзенхауэр только усилил сомнения Черчилля насчет того, достаточно ли активны их военные действия, когда в начале апреля предупредил Эйзенхауэра, что на Сицилии находятся две немецкие дивизии и это ставит под вопрос способность союзников завоевать остров. Черчилль уже не считал нужным сдерживаться. Как, спросил он Комитет начальников штабов, согласуется «уверенность, с какой генерал говорит о вторжении через Ла-Манш» с его недовольством относительно перспективы отправки миллиона солдат в Северную Африку, чтобы выступить против двух немецких дивизий на Сицилии?». «Я не думаю, что нас должны устраивать подобного рода заявления, — сказал Черчилль и добавил: — Не могу даже представить, что подумал бы об этом Сталин, когда сейчас на Восточном фронте ему противостоят 185 немецких дивизий»[97].

На самом деле Черчилль точно знал, что по этому поводу мог подумать Сталин. Черчилль дважды давал обещание Сталину открыть второй фронт в 1943 году, в последний раз, когда он высказал предположение, что Тунис будет очищен от вражеских сил к апрелю, «если не раньше». К началу апреля, когда армии Эйзенхауэра уже три месяца безуспешно пытались наступать по раскисшим горным дорогам Туниса, стало очевидно, что Черчилль не сможет выполнить обещание, данное Сталину. Даже если бы к тому времени Эйзенхауэр смог получить контроль над Тунисом, открыть второй фронт во Франции в 1943 году все равно не представлялось возможным из-за проблем с поставками. Черчилль пытался успокоить Сталина, сказав, что вскоре начнется операция «Хаски», и что военно-воздушные силы Великобритании готовятся к обстрелу промышленного центра Германии, долины Рура. Кроме того, планируется проведение операций по выведению из строя дамб и гидроэлектростанций, снабжающих электроэнергией немецкие заводы по производству оружия.

Подвергались бомбардировке места стоянок подводных лодок Дёница; 8-я воздушная армия Соединенных Штатов, более шестисот бомбардировщиков, приступила к активным боевым действиям. Черчилль подчеркнул свою готовность прибегнуть к более мощным средствам. Узнав об успехах немцев в России, Черчилль распорядился, чтобы Исмей сообщил военачальникам, что в том случае, если Гитлер применит отравляющий газ в России, «мы подвергнем полномасштабной газовой атаке немецкие города». Эти громкие слова не были пустыми угрозами. Сталин отчаянно нуждался в помощи, Черчилль стремился сделать все, что в его силах. Немцев, противостоящих сталинским армиям, было в двадцать раз больше, чем сил, с которыми имели дело англо-американские войска в Тунисе. Западные союзники превосходили русских в численном отношении только в одной военной категории: военных священников[98].

В Касабланке Рузвельт и Черчилль отнесли решение вопроса по установлению контроля над морями к первоочередным задачам. Они имели в виду Атлантику. Спустя три месяца оказалось, что они не только не смогли установить контроль над морями, рассматривая вопрос с точки зрения количества судов и людей, но утратили его.

30 января Карлу Дёницу было присвоено звание гроссадмирала, и он сменил Эриха Редера на посту главнокомандующего военно-морскими силами Третьего рейха (Oberbefehlshaberder Kriegsmarine). Назначение специалиста по подводным лодкам Дёница могло означать лишь одно: подводная война будет вестись еще более активно. Так и случилось, и теперь союзники пожинали горькие плоды этой подводной войны. Черчилль предупредил Рузвельта о том, что им следует исходить из предположения, что Дёниц будет готов «вести игру, имея все козыри». Дёниц был твердо убежден в том, что его подводные лодки представляют смертельную угрозу для врага, как и Геринг в отношении своих самолетов, с той разницей, что подводные лодки Дёница причиняли серьезное беспокойство Британии и даже могли нанести ей серьезный урон. Британские корабли эскорта, сопровождавшие конвои, как сказал Черчилль Рузвельту, «абсолютно не соответствуют необходимым для выполнения этой миссии требованиям»[99].

В ту зиму в Северной Атлантике установились самые неблагоприятные погодные условия за всю историю метеорологических наблюдений в этом регионе, благодаря чему немецкие подводные лодки беспрепятственно бороздили воды Северной Атлантики. Штормы удерживали эскортные корабли в гаванях, а союзническим бомбардировщикам дальнего действия не давали возможность подняться в небо. С ноября по март в Северной Атлантике, разбушевавшейся не на шутку, затонуло 92 корабля. Подводные лодки не ощущали на себе ударов стихии, и им оставалось лишь собирать урожай. В марте два конвоя в составе 88 торговых судов, следовавшие из Нью-Йорка параллельным курсом, в течение трех ночей подвергались атакам 50 подводных лодок. 22 союзнических корабля пошли на дно, забрав с собой порядка 400 человек. Немецкие моряки назвали это нападение «величайшей конвойной битвой всех времен». Это кровавое сражение довело количество погибших с начала войны британских моряков торгового флота до 21 тысячи человек, более 21 процента от численного состава гражданского флота. И если корабли можно было заменить, то опытные экипажи заменить было невозможно[100].

Потери продолжали увеличиваться. В середине марта Стюарт Мензис сообщил Черчиллю, что в Блетчли наконец удалось взломать военно-морской код Германии. Кроме того, дешифровщики Блетчли сделали вывод, исходя из курса конвоев и расположения немецких подводных лодок, что немцы давно взломали код британского торго-

вого флота, что привело к катастрофическим последствиям. В Блетчли изменили код британских конвоев, чтобы немцы не могли слушать переговоры между судами и чтобы Дёниц не мог определять точное местоположение конвоев. Несмотря на это, потери союзников в марте составили 108 судов, водоизмещением 627 тысяч тонн, то есть половину от числа потопленных британских кораблей за *десять месяцев* с марта по декабрь 1941 года, когда Черчилль назвал боевые действия в Атлантическом океане Битвой за Атлантику.

В последующие месяцы британцы воспользовались преимуществом, предоставленным им Блетчли, но ужасные мартовские потери не давали надежды на то, что фортуна повернется лицом к союзникам, поскольку им удалось потопить всего пятнадцать из более чем сотни немецких подводных лодок, действующих в Северной Атлантике. Немецких лодок было так много, что союзники больше не пытались разработать маршруты таким образом, чтобы уклониться от встречи с вражескими подводными лодками; в результате программа организации конвоев стала распадаться. Мартовские потери, телеграфировал Черчилль Рузвельту, привели к тому, что жители Великобритании едва-едва сводят концы с концами. Из-за действий Дёница годовые объемы британского импорта продовольствия, удобрений и топлива сократились с довоенных 50 миллионов тонн до 23 миллионов тонн. Черчилль считал, что этих объемов катастрофически мало для обеспечения жизни на острове. Рузвельт, вопреки желанию своих военных советников, наконец встал на сторону Гарримана, который считал, что обеспечить Великобританию продовольствием, даже ценой вступления в бой с немцами, является вопросом первостепенной важности. Продовольствие будет поставляться в Великобританию за счет сокращения количества судов, обслуживающих американские вооруженные силы. Их потребности были, по мнению Рузвельта, завышены, а кораблей, необходимых для того, чтобы удовлетворить их нужды, катастрофически не хватало. Для того чтобы увеличить количество судов для трансатлантических перевозок, Черчилль вдвое сократил количество рейсов в Индию. И эта мера, вкупе с оккупацией японцами Бирмы и разразившейся засухой, привела к тому, что Бенгалия оказалась на грани голода[101].

Британцам дорого обходилась незначительная защита атлантических конвоев. Эскортные корабли, которые обычно сопровождали конвои, теперь были крайне необходимы для проведения операции «Хаски». В середине марта, учитывая возросшие потери, по совету адмиралтейства, Черчилль и Рузвельт согласились на то, чтобы отменить мартовский конвой в Россию и не отправлять следующий до сентября. Рузвельт предложил сделать паузу, но сообщить об этом Сталину спустя «три-четыре недели». По его мнению, это должен был сделать Черчилль, и Рузвельт попросил Черчилля прислать ему копию

сообщения, прежде чем отправлять его Сталину. Он предложил отправить вместе с сообщением Черчилля «свое подтверждение», чтобы было ясно, что они выступают единым фронтом. Черчилль поблагодарил его за этот жест. 30 марта Черчилль отправил телеграмму Сталину с плохими новостями. Рузвельт так и не отправил «свое подтверждение»[102].

Ответ Сталина был коротким и резким, а последняя фраза вызывала тревогу: «Понятно, что это обстоятельство не может не отразиться на положении советских войск». Что именно он хотел сказать этой фразой? Было хорошо известно, что немецкие дипломаты в Стокгольме выразили интерес к обмену военнопленными между Германией и Советским Союзом при посредничестве Швеции. Сталин отверг это предложение; он предпочитал, чтобы возвращавшихся на родину военнопленных расстреливали или сажали в тюрьму, на случай если во время своего пребывания на Западе они набрались зловредных идей, заставивших их усомниться в неоспоримой истине постулатов большевистской идеологии. Но одно лишь упоминание о переговорах между немцами и русскими заставляло с тревогой подумать о том, что еще они могли обсуждать. Почти два года министерство иностранных дел и государственный департамент испытывали страх перед возможным германо-советским сепаратным миром[103].

Черчилль полагал, что Сталин никогда не начнет переговоры с Гитлером, но самым действенным способом отбить у Сталина подобные мысли было одержать победу в Битве за Атлантику. Тем не менее исход кровавого мартовского сражения показал, что пока союзники далеки от достижения этой цели. Немцы повысили скорость передвижения своих подводных лодок и обновили радиолокационное снаряжение. Немцы оснастили подводные лодки усовершенствованными двигателями и усовершенствованной гидроакустической аппаратурой. Они разработали антирадар, который ловил излучение союзнических радаров; был сконструирован поисковый приемник на диапазон частот радиолокационных станций англо-американских самолетов, который давал показания всякий раз, когда подводная лодка попадала в зону облучения, и позволял подводной лодке заблаговременно погрузиться. Немцы использовали так называемые ложные цели, которые обнаруживались радиолокационными станциями четче, чем сама подводная лодка; самолет или корабль, обнаружив ложную цель, шел на нее, в то время как подводная лодка могла отойти от места ложной цели или атаковать корабль торпедами из подводного положения. На каждую техническую новинку кригсмарине британцы отвечали внедрением новых гидроакустических приборов и, главное, радаров, которые стали более мощными и компактными, что позволяло оснастить радаром самолет-амфибию «Сандерленд». Все это было частью военно-морской составляющей черчиллевской «Волшебной войны».

Немцы, далеко опередившие союзников в части конструирования подводных лодок, разработали большую по размерам, более быстроходную подводную лодку с шестью торпедными аппаратами в носовом отсеке, с глубиной погружения более 700 футов на высокой скорости. Однако Дёниц не сумел перейти к практической реализации задуманного так быстро, как планировал, из-за беспощадных воздушных ударов союзников по немецким верфям. Он снабдил подводные лодки шноркелями — устройствами для забора воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой, а также для пополнения запасов воздуха высокого давления и вентиляции отсеков. Но все технические новинки немцев не приносили никаких результатов, так как самым эффективным оружием в арсенале союзников был американский судостроительный завод, на котором рабочие строили грузовые суда и эскортные эсминцы быстрее, чем Дёниц мог их потопить. И, хотя Дёниц подозревал, что в Блетчли, скорее всего, читают сообщения кригсмарине, он не мог заставить себя поверить в это. Его успехи в мартовских сражениях с кораблями союзников попрежнему придавали ему уверенность в том, что победа в Битве за Атлантику ему обеспечена, если будет больше подводных лодок с более мощными радарами и современными торпедами. Сэмюэл Элиот Морисон позже написал: «Никогда противник не стоял так близко к перекрытию атлантических коммуникаций, как Дёниц в этом месяце»[104].

Начиная с Касабланки Геббельс внушал немецкому народу, что «безоговорочная капитуляция» обернется настоящим бедствием для Германии. Ненавидевший немцев лорд Ванситарт сыграл на руку Геббельсу, когда, выступая в марте перед членами палаты лордов, заявил, что все немцы — сообщники Гитлера и что Германия «как военная держава» должна быть уничтожена «раз и навсегда». В поддержку правительственного курса выступил лорд-канцлер виконт Джон Саймон. Он опроверг слова Ванситарта, заявив, что британское правительство (и премьер Сталин) считают, что, хотя нацизм следует искоренить, «весь немецкий народ не должен быть наказан, как пытается убедить [немцев] доктор Геббельс». London News Chronicle приветствовала заявление Саймона: «Эти слова демонстрируют рациональный и конструктивный подход правительства к решению проблемы будущего Германии»[105].

Сталин публично озвучил свое мнение в отношении этого вопроса 23 февраля в приказе Верховного главнокомандующего в связи с 25-й годовщиной создания Красной армии. Красная армия, заявил маршал, «создана не для завоевания чужих стран, а для защиты границ Советской Страны». Сейчас она «оказалась вынужденной выступить в поход, чтобы отстоять свою Родину против немецких захватчиков и изгнать их из пределов нашей страны», и она успешно справляется

с этой задачей, но ей необходимо сохранить силы для того, чтобы обеспечить мир*.

Эти слова вызвали в Лондоне и Вашингтоне больше вопросов, чем на них было получено ответов. Значило ли это, что Сталин пытался успокоить немцев и дал понять, что им не грозит истребление, о котором говорил Геббельс? Действительно ли он намеревался остановиться у своих границ после того, как вытеснит нацистов с советской территории? Как, учитывая, что уничтожение Гитлера является первоочередной задачей союзников, они смогут разгромить немцев, если Красная армия остановится у своих границ, изгнав немцев с советской территории? А может, Сталин, вытеснив немцев, остановиться на территории Польши, претендуя на территории, которые они с Гитлером поделили между собой в 1939 году? Это может создать — ценой намного меньших человеческих потерь с советской стороны — буфер между Россией и сломленной, но не побежденной Германией. То, что имел в виду Сталин, легко читалось между строк и навевало тревогу. Если к тому времени, когда Красная армия восстановит свои границы, союзники не начнут военные действия в Европе, то Красная армия может остановить дальнейшее продвижение на запад. Сталин не преминул уколоть союзников, подчеркнув, что «ввиду отсутствия второго фронта в Европе Красная армия несет одна всю тяжесть войны»[106].

Так и было. Только англо-американская победа над немцами могла стать достойным ответом Сталину на его упрек. Бернард Монтгомери намеревался добыть необходимую победу. Он нанес удар 20 марта, когда 25 тысяч новозеландцев под командованием генерала Фрейберга, после долгого и трудного перехода на достаточно большом удалении от линии Марет, нанесли слева удар по вражескому флангу. Силы голлистов действовали к северу от Фрейберга и оказали поддержку новозеландцам, когда они оттеснили немцев к горному хребту. «Можете ли вы очистить территорию от немцев?» — спросил Фрейберг французского офицера, виконта Жака-Филиппа де Отклока, который использовал псевдоним Леклерк**.

«Разумеется», — ответил Леклерк. Вскоре французы убили и взяли в плен большое количество немцев. Их первая победа с июня 1940 года была весьма скромной, но все-таки победой. К северо-западу, у Эль-Геттара, с 16 марта 2-й корпус Джорджа Паттона наносил удары по немецкому флангу, чтобы расчистить себе путь для наступления в восточном направлении к заливу Габес. Это была битва американской

---

* В Приказе Верховного главнокомандующего от 23 февраля 1943 года № 95 (*Сталин И.В.* Сочинения. М.: Писатель, 1997. Т. 15. С. 143—148) ничего не говорится о сохранении силы для обеспечения мира.

** В составе «Свободной Франции», как и многие командиры, чьи семьи остались в оккупированной Франции, он использовал псевдоним Леклерк, который после войны присоединил к фамилии.

артиллерии и 1-й пехотной дивизии — как называли ее сами солдаты Big Red One («Большая красная единица») — против немецких танков. Паттону не удалось одержать в ней победу, но его войска проявили мужество, оттеснив две немецкие бронетанковые дивизии от линии фронта Монтгомери, тем самым существенно облегчив ему задачу[107].

В армии Монтгомери воевали англичане, поляки, чехи, австралийцы, гуркхи с кривыми ножами кукри, одним ударом которого можно было с легкостью отрубить руку, и шотландские горцы, которые бы с радостью преследовали самого дьявола — Auld Clootie — до самых врат ада, если бы получили соответствующий приказ. 21 марта в 22:00 они перешли в наступление на укрепления линии Марет. Эйзенхауэр назвал 8-ю армию «самой многонациональной армией из тех, что сражались в Северной Африке со времен Ганнибала». Это была настоящая имперская армия, вспоминал сэр Уильям Дикин, и тот факт, что британцы принимали участие в европейском конфликте, был источником неизменной гордости Черчилля. Если 8-я армия была последней по-настоящему имперской армией, вспоминал сэр Уильям Дикин, то Черчилль хотел, чтобы она сыграла «решающую роль». Монтгомери стремился сделать все, чтобы добиться нужного результата. Его тактика нанесения ударов тех местах, где это меньше всего ожидали немцы, и способом, который нарушал их боевой порядок, сослужила ему хорошую службу в битве при Эль-Аламейне и была не менее успешной 21 марта[108].

21 марта Черчилль выступил с радиообращением к соотечественникам и ко всему миру. Темой его выступления, впервые с пребывания на посту премьер-министра, было послевоенное устройство мира. Он обрисовал в общих чертах британскую внешнюю и внутреннюю политику. Он предупредил, что в 1943 году война не будет завершена, возможно, не закончится она и в 1944 году, но в конце концов союзники нанесут поражение Гитлеру. «Мы обязаны проникнуть взором сквозь дымку будущего к тем дням, когда окончится война, чтобы всемерно подготовиться ценой напряжения всех физических и духовных сил к ситуациям, которые могут возникнуть впоследствии. Говоря со всей осторожностью и не пытаясь пророчествовать, я могу представить себе, что в какой-то момент будущего года, а может быть, и годом позже мы сможем окончательно разгромить Гитлера и возглавляемые им силы зла». Одержав победу, три великие державы — Великобритания, Америка и Советская Россия — создадут костяк «всемирной организации», которая будет служить «гарантом предотвращения будущей войны». В рамках организации будут небольшие «советы» в Европе, ставшей очагом возникновения двух последних крупномасштабных войн. Менее крупные страны смогут выражать свою волю через эти советы. Россия должна стать одним из гарантов послевоенного мироустройства; «тогда, и только тогда Европа сможет вернуть

себе былое величие». Очевидно, он не советовался с Рузвельтом перед тем, как выступить с этой речью. Он не включил Китай в список великих держав и лишь упомянул в своей речи о «длительных страданиях» Китая. Если бы Черчилля попросили пояснить свое заявление, он бы сказал, что самое большее, на что может рассчитывать Китай, — занять в организации законное место в качестве менее крупного государства. На той неделе в Вашингтоне Энтони Иден провел переговоры с Рузвельтом (который верил в то, что послевоенная структура мироустройства будет опираться на *четыре державы*) и дал понять Корделлу Халлу, что «Черчилль допустил в своем выступлении серьезную ошибку... не назвав Китай»[109].

После того как Черчилль озвучил свое видение послевоенного устройства Европы, он перешел к «Отчету Бевериджа» и к тому, какие изменения ждут Великобританию в социальной сфере после окончания войны. Политический курс, о котором он говорил в тот вечер, мог показаться радикальным даже Рузвельту с его Новым курсом. «Вы должны понимать, что мы с моими коллегами являемся ярыми приверженцами идеи обязательного государственного страхования для всех классов, для всех целей, для всех возрастов — от мала до велика». О здравоохранении: «Мы должны подготовить широкую и прочную основу для создания национальной службы здравоохранения». Об образовании: «Я надеюсь, образование в нашей стране охватит более широкие слои населения». Ни один человек, желающий получить высшее образование, не будет лишен такой возможности, включая рабочих на заводах, для которых должны быть найдены возможности получать образование за счет «временного освобождения от работы». О жилищном строительстве: «Целые города, как небольшие, так и крупные, должны быть отстроены заново, что даст прекрасную возможность не только улучшить качество жилья, но и создаст рабочие места». Налоговое бремя будет более тяжелым для всех, независимо от их доходов, но не настолько неподъемным, чтобы «уничтожить инициативу и предпринимательский дух». Однако, сказал он, «прежде всего, нам необходимо быть готовыми к тому, что придется убедить или даже принудить нынешнее правительство Великобритании и тех, кто войдет в его состав в будущем, пойти на эти меры, ведь неизвестно, каковы будут условия в будущем, в последующие годы. Озвученные меры потребуют от государства колоссальных расходов, независимо от того, каковы будут для этого условия на тот момент... Мне нет необходимости давать пустые обещания ради того, чтобы заручиться политической поддержкой и продлить срок пребывания на своем посту». И «я говорю вам, слушающим меня в этот момент, сидя у камина, что я не намерен... давать каких-либо обещаний или рассказывать вам сказки, поскольку вы доверяли мне до сих пор и преодолевали все трудности вместе со мной, и шли через темноту и не-

известность, пока не достигли благополучия и не закрепились прочно и надолго на нашей земле»[110].

Это был искусный ход: он заявил о готовности проводить реформы и о твердости своих намерений, при этом не дал ответа на вопрос, является «Отчет Бевериджа» программным документом или фантастическим рассказом. Частично на этот вопрос дали ответ тори в ходе кампании, направленной на освещение предпринимательской деятельности, которая началась вскоре после того, как Черчилль призвал проявлять личную инициативу. По всей Великобритании на зданиях появились плакаты, напоминающие британцам об «их национальном наследии». В центре каждого плаката был изображен национальный герой — Дрейк, Елизавета, Мальборо, Питт, Нельсон, Веллингтон. Портрет Черчилля занимал гораздо меньше места. Идея была понятна: герои и личная инициатива лежат в основе величия Великобритании. Узкопартийная политика не велась уже почти три года, ведь над коалиционным правительством развевался флаг перемирия, оттенявший инициативы каждой отдельной партии. Черчилль хотел, чтобы эта ситуация сохранялась, он закрыл глаза на то, что по всей Великобритании тори развесили плакаты с его фотографией. Тем временем рядовые члены Лейбористской партии опасались утратить отличительные черты своей политики, продолжая исполнять свои функции в правительстве, беззастенчиво прибегающем к риторике, соответствующей идейным установкам только одной партии. На протяжении нескольких недель многие лейбористы обратились к Эттли и его соратникам с просьбой ослабить коалицию. Лейбористы поддерживали Черчилля в решениях, касающихся ведения войны, но при этом четко обозначили свою независимость в сфере внешней политики, в рамках которой они бы могли свободно высказываться против мер, осуществляемых консерваторами. Гарольд Николсон считал, что раскол неминуемо произойдет в ближайшие четыре месяца[111].

Николсон сожалел о том, что консерваторы заставляли лейбористов не пытаться строго соблюдать положения «Отчета Бевериджа», а воплощать в жизнь только те пункты, которые представлялись тори наиболее реальными. При этом консерваторы пытались убедить коллег по коалиции исключить те пункты, которые казались им наиболее утопическими. Когда доклад вынесли на обсуждение, от правительства выступила группа министров, входивших в состав кабинета, — от тори сэр Джон Андерсон и Кингсли Вуд и лейборист Герберт Морисон. Они озвучили позицию правительства, которая состояла в том, как и опасался Николсон, чтобы убедить всех в несостоятельности «Отчета Бевериджа» и благополучно забыть о нем. Андерсон выступал наиболее активно, и это отнюдь не способствовало убедительности аргументации тори. Лейбористы выступали за незамедлительное создание министерства социального страхования; тори настаивали на том, чтобы такие

решения принимались лишь после окончания войны. Ориентированная на левых газета Manchester Guardian охарактеризовала выступление тори как «жалкое зрелище, показавшее, как не нужно действовать в острых политических ситуациях». Times предупредила парламент: «Общественность не скрывает своих намерений добиться обновленной и более прочной системы социального обеспечения... по окончании войны». Тем не менее голоса в парламенте распределились следующим образом: 338 человек поддержали правительство, включая 23 лейбористов, и 121 — проголосовали против. Таким образом, палата встала на сторону стратегии, предложенной тори: принять план в целом, а не каждое из его положений. Консерваторы применили ту же тактику умышленного введения в заблуждение, которую четырьмя годами ранее Черчилль назвал «терминологической неточностью»; тори не дали ложных обещаний, но и не гарантировали ничего конкретного[112].

Черчилль полагал, что лучший способ обойти Бевериджа и при этом избежать угрозы распада национального правительства — это подчеркнуть абсолютную необходимость сохранения коалиции, и тогда, после окончания войны, англичане будет вспоминать тех, кто настаивал на сохранении и упрочении единства и провел через страшные испытания. Для того чтобы погасить растущее беспокойство в рядах лейбористов и сохранить статус военного лидера, Черчилль заявил членам палаты общин, что в соответствии с соглашением от 1940 года парламентские выборы проводиться не будут. Члены палаты от Лейбористской партии спросили, почему британцы не смогут провести всеобщие выборы, если американцы смогли провести промежуточные выборы без последствий для военного курса? Черчилль был непреклонен; выборов с участием нескольких кандидатов не будет. Тех членов палаты, которые намеревались «стать свидетелями триумфальной победы», он предупредил, что парламентарии не должны «упускать ни единой возможности продемонстрировать неодобрение действий тех, кто пытается нарушить перемирие». Это был скорее искусный маневр Черчилля, нежели вновь озвученный призыв к национальному единству, ведь он, по сути, приравнял разногласия в правительстве к предательству. И тем не менее вне стен парламента члены правительства от Консервативной партии Черчилля не стеснялись в выражениях, обличая все то зло, что несет социализм, ведь подобные заявления не подвергали опасности военные усилия страны и не были вероломными по отношению к их военному лидеру. Оливер Литтлтон попытался объяснить опасность коллективизма лейбористов на фоне идеи Черчилля о героическом индивидуализме. На собрании партии консерваторов он сказал: «Величайшие периоды в истории нашей страны были практически всегда связаны не с особенностями политической системы, а с выдающимися личностями... Нет ничего более ужасного, чем единое мнение общественности, которой дозво-

лено, подобно стаду коров, бродить по искусственно удобряемым полям и жевать жвачку на общественном выгоне»[113].

28 марта Молли Пэнтер-Доунес написала: «Историческое выступление Черчилля овладело умами большинства британцев и стало главной темой их разговоров в течение прошлой недели». Однако «всеобщее оживление было омрачено практически мгновенно последовавшей за выступлением Черчилля неудачей в Тунисе, где 22 марта немецкие танковые дивизии перешли в контрнаступление, атаковали силы Монтгомери на линии Марет и заставили 8-ю армию отступить с занимаемых позиций. Британцы были готовы к новостям и похуже, поскольку с 1940 года Великобританию преследовала череда неудач, которые к сожалению, как правило, оборачивались поражениями. Монтгомери ответил на удар оси, перенаправив основную мощь удара Фрейберга на левый фланг. 27 марта Фрейбергу удалось пробиться к пролому Тебага благодаря тому, что к его силам присоединилась британская 1-я бронетанковая дивизия и сотни истребителей и бомбардировщиков Королевских военно-воздушных сил. В результате немцы и итальянцы, находившиеся прямо перед Монтгомери и угрожавшие взять его в кольцо, двинулись к северу. На следующий день Монтгомери телеграфировал Черчиллю: «Судьба моих войск зависит от укреплений линии Марет. Месяц, суровый и безрадостный во всех остальных отношениях — в Северной Атлантике, Северной Африке, в степях России, — завершился победой, и не просто победой Великобритании, а с учетом подкрепления, которое в разгар битвы пришло на помощь Паттону, победой союзников[114].

Энтони Иден находился в Вашингтоне с середины марта для проведения переговоров с Рузвельтом и Государственным секретарем Корделлом Халлом по вопросам послевоенного устройства и системы безопасности Европы и мира. Для Рузвельта это был план четырех держав, одной из которых являлся Китай, и отсутствовала Франция. В ноябре военный кабинет в целом одобрил этот план, но министерству иностранных дел была хорошо известна позиция Черчилля в отношении Китая. Халл занимал аналогичную позицию относительно Франции: включать ее в список великих держав не было необходимости. Иден симпатизировал Халлу, но отметил, что в Европе межгосударственные конфликты на почве мести случались особенно часто между Германией и Францией. Иден не собирался менять свою точку зрения и списал ошибочную, по его мнению, позицию Халла на то, что тот вырос на Теннессийских холмах, где вражда между горцами могла длиться десятками лет, пока враги не уничтожат друг друга. За чаем Халл предложил Идену и Рузвельту, чтобы союзники не устраивали судебные процессы, а просто расстреляли Гитлера и его пособников, поскольку у него нет никаких сомнений в том, что немцы расстреляли бы лидеров стран-союзниц, если бы у них была такая

возможность. Халл собирался использовать гитлеровские методы, но столь жесткий (хотя и прагматичный) подход к сведению счетов с врагом оскорблял джентльменские чувства Идена. Позже он написал, что видел мультфильм The Martins and the Coys*, и добавил: «Я чувствовал, что он [Халл] может пойти в своей кровной мести до конца»[115].

До конца мог пойти и Рузвельт. Когда дело касалось Франции или Германии, он мало думал о французах и еще меньше о немцах, особенно о пруссаках. В ходе переговоров Рузвельт повторил Идену свою позицию по безоговорочной капитуляции: у Германии не должно остаться никаких прав, а Восточная Пруссия должна исчезнуть как таковая, став частью Польши в ее новых границах. Германия тоже исчезнет с политической карты: она будет расчленена на несколько беспомощных, лишенных какого-либо влияния Германий. Развивая эту идею спустя несколько месяцев, Рузвельт сказал Авереллу Гарриману, что после окончания войны Германии запретят иметь самолеты, а немцам будет запрещено получать профессию летчика. Рузвельт заявил, что Германия будет разбита «на три, четыре или пять государств». Черчилль сомневался в разумности решения расчленить Германию и превратить ее в группу бессильных аграрных государств. Его видение послевоенного устройства Европы заключалось в создании советов и федераций европейских стран с Германией в качестве участника, но не с Пруссией. В отношении Пруссии он был солидарен с Рузвельтом. Позже Джордж Кеннан написал, что как Рузвельт, так и Черчилль не смогли понять, что «истинной основой нацистского движения является низший класс; настолько глубоким было их убеждение, что они воевали с прусскими юнкерами». На самом деле Гитлер и его приспешники презирали консервативный класс Пруссии, и эта ненависть привела к тому, что сначала в упадок пришла Пруссия, а затем и вся Германия. В Пруссии, писал Кеннан, жили отважные, воспитанные на идеалах сыны и дочери консервативного класса, презиравшие Гитлера за то, что он был преступником, вышедшим из низшего класса. Здесь находился потенциальный очаг оппозиции, которую не попытались поощрить ни Рузвельт, ни Черчилль. Вместо этого они стремились превратить Пруссию в большое пастбище[116].

Для Черчилля (но не для Рузвельта) вся остальная Германия имела совсем другое значение. Он сказал Джоку Колвиллу двумя годами ранее, что всегда включал Германию в число членов «европейской семьи». Германия существовала до того, как было создано гестапо, сказал он Колвиллу, и она будет существовать и после гестапо. «Когда мы уничтожим Германию, мы создадим Польшу». Но что именно он имел в виду под «упраздним»? Правительство Польши в изгнании,

* «Мартины и Кои» — одна из частей мультфильма студии Уолта Диснея «Сыграй мою музыку» (Make Mine Music), повествующая о вражде двух семей: Мартинов и Коев, которые в конце концов перестреляли друг друга.

находившееся в Лондоне, задавалось вопросом, что он имел в виду, говоря «создадим» Польшу? Сталин давно подозревал, что Черчилль хотел восстановить Германию, что для России означало угрозу существованию. Черчилль не пояснил, что именно он имел в виду. Однако некоторые идеи лежали в основе его планов по послевоенному устройству мира. Будущая безопасность Западной Европы зависела не от милости России или Америки и не от договорных обязательств перед Польшей или Францией, а от взаимопонимания и сотрудничества народов Западной Европы. Черчилль понимал, что Британии нужна Германия со здоровой экономикой в качестве торгового партнера, и послевоенную безопасность Великобритании он в первую очередь связывал с энергичной Францией[117].

По мнению Рузвельта, Франция в мире значила ровно столько, сколько, по мнению Черчилля, значил Китай, то есть ничего не значила. Как-то вечером, за ужином, президент изложил Идену свою концепцию послевоенного баланса сил в Европе. Его планы базировались на военной мощи великих держав — Великобритании, Соединенных Штатов и Советов, и Франции среди них не было места. Остальные европейские страны, объяснил Рузвельт ошеломленному Идену, будут разоружены: в их распоряжении оставят только легкое стрелковое оружие. От Франции будут отторгнуты некоторые территории: Эльзас и Лотарингия и северная часть Франции будут присоединены к Бельгии, в результате чего будет образовано новое государство — Валлония (это государство будет простираться, позже в том же году сказал президент Объединенному комитету начальников штабов, от «Северной Франции, скажем Кале, Лилля и Арденн, по Эльзасу и Лотарингии — другими словами, от Швейцарии до морского побережья»). «Неосведомленность президента в отношении Франции была абсолютной, — написал британский историк Джон Григг, — однако это не помешало ему упрямо придерживаться своей точки зрения». У Идена президентские планы вызвали сильное беспокойство, и он спросил, почему бы не расчленить заодно с Францией и Германией и Британскую империю? Рузвельт в ответ предложил, чтобы Великобритания, в качестве жеста доброй воли, отдала Китаю Гонгонг. Иден, удивленный (и встревоженный), спросил Рузвельта, какие территории собирается отдать *он*. Рузвельт не ответил на этот вопрос. Иден озвучил свое мнение относительно режима Чан Кайши — коррумпированного и ненавидимого легионами соотечественников, особенно Мао Цзэдуном. Он не отражает интересы Китая, и необходима своего рода революция, прежде чем Китай сможет занять место в числе великих держав. По мнению Идена, президентские размышления «беспокоили своей беззаботной простотой». Рузвельт озвучил свою точку зрения с ловкостью, отметил он, напоминая «фокусника, жонглирующего мячиками из динамита, не понимая, к чему это может привести»[118].

Все согласились с тем, что военный союз, известный как антигитлеровская коалиция, должен появиться по окончании войны как некий Всемирный совет. В обсуждение этого вопроса нужно вовлечь и Сталина, когда наступит подходящий момент. Черчилль, Халл, Иден и Рузвельт озвучили четыре разные точки зрения, каким должен быть мировой порядок по окончании войны, в частности какова будет роль России в этом мире. Но никто из них не представлял, в каком направлении они будут двигаться и как будет осуществляться это движение. Однако в отношении России Рузвельт был абсолютно уверен в одном: если только у него появится возможность сесть за стол переговоров со Сталиным, то все бы стало на свои места. Эта уверенность, написал Джордж Кеннан, основывалась на предположении Ф.Д. Р., что, хотя Сталин «довольно сложный человек», с ним можно договориться, «если только его будет пытаться убедить кто-то вроде Ф.Д. Р.». Это были необоснованные предположения, от них веяло инфантильностью, неподобающей такой выдающейся фигуре, как Рузвельт. Черчилль и Иден надеялись на то, что по окончании войны будет продолжено некое сотрудничество с Россией, но после захвата Сталиным Прибалтики его намерения вызывали серьезное беспокойство Черчилля и Идена. Вот почему для Лондона Франция была страховым полисом на тот случай, если Дядюшка Джо откажется от соблюдения достигнутых договоренностей. В последующие месяцы Черчилль неоднократно напомнал своим сотрапезникам прописную истину, лежащую в основе стремления Великобритании создать тесные отношения с Францией после окончания войны: если никто не будет стоять между Москвой и Ла-Маншем, то в один прекрасный день русские могут оказаться на берегу Канала напротив белых дуврских скал[119].

Рузвельт в общих чертах обрисовал роль Америки в качестве безопасности мира, но позднее в том же году заявил Гарриману, что «он не намерен размещать крупный контингент американских сил в Европе по окончании войны ни ради поддержания мира, ни для того, чтобы оккупировать Германию». Даже если Рузвельт изменит точку зрения, другой президент через несколько лет, возможно, откажется от этого политического курса и сделает упор на внутреннюю политику, как это уже было после Первой мировой войны. Иден подозревал, что сенат Соединенных Штатов никогда не ратифицирует договор, который бы связывал Америке руки и не давал воспользоваться в послевоенной Европе законными преимуществами в сфере безопасности. И что тогда с обеспечением безопасности? С одной стороны, Черчилль пытался увязать обеспечение безопасности в послевоенной Великобритании с особыми отношениями с Соединенными Штатами. С другой стороны, его обязанности перед королем и страной требовали, чтобы он боролся за достижение окончательного и полного урегулирования ситуации в Европе, судьба которой не зависела ни от

активного присутствия американцев, ни от расположенности Сталина. В конце марта (за ужином, вспоминал Брук, подавали «яйца ржанки [так!], куриный бульон, курник, шоколадное суфле, шампанское... портвейн и бренди!») Черчилль «выразил неудовольствие планом Рузвельта по укреплению Китая, в котором не нашлось достойного места для Франции». В черчиллевском плане послевоенной Европы важное место занимала Франция, не нищее государство, а сильная держава[120].

В то время как Сталин выражал разочарование, можно сказать даже откровенное недовольство, американцами и британцами, вице-президент Генри Уоллес четко обозначил будущую политику в послевоенный период. «Нам предстоит решить в период между 1943 и 1944 годами, — сказал он журналистам, — сеять ли семена Третьей мировой войны». Эта война, безусловно, начнется, сказал Уоллес, «если мы допустим воссоздание военной и идеологической мощи Германии». Возможно, война разразится, «если мы предадим Россию. Я имею вполне серьезные основания опасаться Третьей мировой войны, если западные демократии и Россия не достигнут полного взаимопонимания до окончания войны». Замечания Уоллеса явно давали понять, что между американцами и Сталиным не было достигнуто взаимопонимания о том, что будет с Европой по окончании войны и какова будет судьба Германии. Британская пресса — разделявшая точку зрения Уоллеса насчет героического вклада Красной армии — восторженно отозвалась о его выступлении. Manchester Guardian написала: «В Соединенных Штатах антирусские настроения в сто раз сильнее, чем в этой стране». Газета также отметила, что в Соединенных Штатах «с большей терпимостью относятся к фашизму как политическому режиму». Times подчеркнул в редакционной статье: «Было бы полнейшим безумием предполагать, что Великобритания и Соединенные Штаты при поддержке нескольких небольших европейских государств смогут постоянно поддерживать безопасность в Европе посредством политики, исключающей взаимодействие с Россией, исходя из того, что ситуация на континенте не затрагивает ее интересов». Однако проблема, как Черчилль и Иден все более четко это видели (об этом в январе Черчилль информировал Турцию), была в том, что могло оказаться, что после войны Советский Союз будет испытывать серьезный интерес к европейским делам. И насколько далеко на запад сможет распространиться советское влияние в Европе, во многом зависит от того, как далеко на восток смогут продвинуться англо-американские войска, когда в один прекрасный день солдаты союзнической армии смогут пожать руки красноармейцев[121].

Верность и доверие не всегда идут рука об руку. Черчилль не видел необходимости в том, чтобы обманывать доверие Сталина, даже если чувствовал, что в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. На самом деле все основные западные политические игроки — Черчилль,

Рузвельт, Гарриман, Гопкинс, Бивербрук, Халл и Иден — стремились доказать, что их неизменная преданность Сталину не уступает, если не превышает, преданности остальным партнерам. В 1943 году у англо-американского дуэта на первом месте была не Европа, а Дядюшка Джо. Открытие второго фронта было *всего лишь* шагом, который должен был продемонстрировать Сталину преданность союзников. На совещаниях союзников самого высокого уровня Бивербрук был самым красноречивым сторонником Сталина, настолько активным, что, как написал Гарриман, «Бивербрук выступает в поддержку политики умиротворения в отношении России... и ему нет никакого дела до небольших государств. Он готов преподнести Восточную Европу России, не заботясь о дальнейших последствиях, об Атлантической хартии и т. д.». Что касается Гарримана, то он был сторонником высоких отношений с Советами, «дружественных и откровенных, но твердых, когда их [русские] действия будут несовместимы с нашими идеалами». Предполагалось, что Сталин искренне одобряет Атлантическую хартию и действительно заботится об идеалах западной демократии»[122].

Сталин, как он это показал двумя годами ранее со странами Балтики и в 1939 году с Польшей, сначала просит то, что хочет, а если его просьбы не выполняются, отбирает. Рузвельт и Черчилль считали, что открытие второго фронта позволит им потребовать от Сталина прекратить всякие разговоры о границах и перекроить политическую карту Европы до мирной конференции, которая последует за победой. Это то, на чем они настаивали со своими менее значимыми союзниками — «Свободной Францией» и «Свободной Польшей». Кроме того, они считали, что должны выполнить обещание, данное Сталину относительно открытия второго фронта, учитывая возложенное на него бремя и страх, который они испытывали при мысли, что Сталин может «сбросить это бремя», если второй фронт не будет открыт. Джордж Кеннан считает, что подобные размышления были несколько наивны, если принять во внимание некоторые факты из биографии Сталина. Рассматривал ли Сталин всерьез возможность сбросить бремя ради подписания еще одного соглашения с Гитлером, еще одного «пакта», который значил бы не больше, чем слово Гитлера, в чем Сталин убедился в 1941 году? Однако, что выиграют Черчилль и Рузвельт от открытия второго фронта, насколько он облегчит положение дел для каждого из них, можно будет понять после открытия фронта, а уже после этого станет понятно, насколько далеко им удастся продвинуться на восток. Ответы на эти вопросы предстояло узнать в течение оставшихся месяцев 1943 года.

Блиц закончился в мае 1941 года, но в первые месяцы 1943 года небольшие группы истребителей-бомбардировщиков «Фокке-Вульф» совершали налеты с пугающей нерегулярностью, достаточно часто

и достаточно эффективно, чтобы держать британцев в состоянии напряжения. Немцы бомбили дороги, автобусы, поезда и, со зловещей регулярностью, школы. В один из январских налетов истребитель-бомбардировщик «Фокке-Вульф» атаковал с бреющего полета школу в Вулриче, а затем сбросил 1100-фунтовую бомбу на школу Sandhurst Road School (школа Сэндхерст-роуд) в округе Катфорд, Левишем; погибли тридцать восемь учеников и четыре учителя. На следующий день Kentish Mercury вышла под заголовком: «Жестокий удар кровожадного врага». Британцы пришли в неописуемую ярость, когда в Париже руководитель полетов капитан Шуман сказал журналистам: «Бомбы упали именно там, куда мы хотели их сбросить»[123].

Однако случай, который в тот год унес наибольшее количество жизней, не был связан с бомбами. Он произошел вечером 3 марта в Лондоне, на станции метро «Бетнал-Грин». Тысячи жителей города шли к метро, когда завыли сирены, а следом раздалась жуткая какофония зенитных установок, размещенных в парке Виктория. Ракеты были разработаны шесть лет назад, но в парке ракетные установки появились совсем недавно. Военный корреспондент Эрни Пайл написал, что самым страшным в этих ракетах было то, что они «взмывали ввысь со звуком падающей бомбы». Когда в тот вечер ракеты взлетели в воздух, толпа в панике бросилась к входу в метро. В этой толпе был Энди Руни, молодой американский журналист, работавший в американской газете Stars and Stripes (звезды и полосы — неофициальное название флага США). «Сначала я хотел броситься в убежище, — вспоминал Руни, — но я был недалеко от своего дома, поэтому решил пойти домой. О том, что произошло, я узнал на следующий день и только тогда осознал, что мог оказаться там, поскольку сначала хотел спуститься в метро». Руни принял правильное решение; почти две сотни лондонцев совершили роковую ошибку. Молодая женщина, спускавшаяся по крутым ступенькам с ребенком или каким-то свертком в руках, оступилась на середине лестницы и упала, свалив тех, кто шел впереди. В результате позади нее в толпе началась давка. За пятнадцать секунд убежище превратилось в склеп, где в давке и от удушья погибли 178 человек, среди которых были женщины и дети. Министерство информации не разглашало подробности, поэтому жители Лондона не знали, что же произошло на самом деле, а это породило массу домыслов. Ходил слух, что шедший по тротуару немецкий агент закричал, что сбрасывают напалмовые бомбы, и в толпе началась паника. По другой, более популярной версии, трагедия произошла по вине евреев, которые, как и в ходе блица, потеряли самообладание и помчались в убежище. Опрос общественного мнения показал, что 29 процентов лондонцев положительно относятся к евреям, однако после блица количество тех, кто плохо относился к евреям, увеличилось вдвое и достигло 26 процентов. В парламенте поговари-

вали о том, чтобы провести закон, запрещающий антисемитизм. Геббельс написал в дневнике: «Закон, запрещающий испытывать ненависть к евреям, обычно означает начало конца для евреев»[124].

В ночь перед событиями на станции «Бетнал-Грин» Черчилль переехал в Чекерс, где собирался пробыть до полного выздоровления. Брук тоже слег на две недели с гриппом. Начальник Генерального штаба был так болен, что не мог даже собраться с силами, чтобы вести дневниковые записи и наблюдать за птицами. Они с Черчиллем только и могли, что наблюдать из своих постелей за тем, как ухудшается ситуация в Атлантике, по мере того как альянс садился на мель, а генералы Александер и Монтгомери в Тунисе ожидали улучшения погоды в Тунисе.

В марте Иран объявил войну Германии, тем самым обеспечив себе место в Антигитлеровской коалиции. Аверелл Гарриман по возвращении в Вашингтон из Тегерана в августе прошлого года передал Рузвельту, что молодой шах с уважением относится к Черчиллю и верит (уверенность основана на обещании Черчилля), что Ирану ничего не грозит со стороны Великобритании. Но Гаррмиману шах сказал: «С Россией могут возникнуть трудности!» Шах опасался, что советское правительство по окончании войны может проявить «агрессию», и выразил желание установить более тесные связи с Вашингтоном. Гарриман, сын железнодорожного магната, промышленник, понял, какая ему выпала удача. Иранские железные дороги находились в плачевном состоянии. Об этом Гарриман сообщил Черчиллю летом прошлого года и предложил провести полную замену путей, чтобы затем ввести в эксплуатацию. Черчилль вежливо отклонил его предложение. Теперь Гарриман сумел уговорить друзей из Union Pacific Railroad (американская компания, владеющая самой большой сетью железных дорог в США) отправить в Иран геодезистов, подвижные составы и современные дизельные локомотивы для того, чтобы повысить в два раза пропускную способность иранских железных дорог. Эта мера могла бы увеличить в два раза объемы поставок Сталину, компенсировав отмену арктических конвоев. Британцы отправляли ежедневно пять-шесть поездов в день из Басры на север, в Россию, всего 3 тысячи тонн. К концу марта группы американских советников, врачей (от тифа умирали семь из десяти иранских детей в возрасте до девяти лет) и железнодорожников приехали на работу в Тегеран. Среди них был суперинтендент полиции штата Нью-Джерси Герман Норман Шварцкопф, занимавшийся делом о похищении сына Чарльза Линдберга. Теперь он занимался обеспечением и поддержанием дисциплины в иранской полиции[125].

Контроль над железной дорогой означал, что ответственность за переброску британских войск и военно-технического обеспечения

в Персию и вывоз оттуда нефти отныне будет лежать на американцах. И это означало некую утрату абсолютной независимости Великобритании от США, что вызывало беспокойство Черчилля и Брука летом прошлого года. Однако ради советского союзника им ничего не оставалось, как согласиться. Вот где пригодились управленческие способности Гарримана; к концу 1943 года пропускная способность иранских железных дорог увеличилась до 6 тысяч тонн в день. Гарриман разбирался в железнодорожном деле так же хорошо, как в нефтяном бизнесе. В 1925 году он был партнером в консорциуме по модернизации недавно национализированных нефтяных месторождений в Баку до тех пор, пока правительство Соединенных Штатов не запретило американским компаниям заниматься предпринимательской деятельностью с красными. К 1943 году они уже все были друзьями, благодаря заключенным между ними договорам — красные, британцы и американцы. Американцы пришли в Иран только ради того, чтобы внести свой вклад в дело союзников, но взгляд Гарримана, талантливого предпринимателя, был устремлен в будущее: война в конце концов закончится, а иранская нефть — нет.

После встречи в Касабланке Черчилль старался держать Сталина в курсе успехов (или их отсутствия) в деле создания в Великобритании армии, достаточной для того, чтобы всерьез рассматривать возможность открытия второго фронта в том виде, как этого требовал Сталин. Старик с восторгом рассказал Сталину о договоренностях, достигнутых в Касабланке, разрекламировав каждый из восьми пунктов Атлантической хартии, ни один из которых к апрелю не был воплощен в жизнь. Он расхваливал британские военно-воздушные силы и с гордостью поведал об успехах Монтгомери на линии Марет; на Сталина это не произвело никакого впечатления. В марте (до принятия решения об отмене арктических конвоев) Черчилль сообщил Сталину, что из двадцати семи дивизий, которые Америка обещала отправить в Соединенное Королевство для подготовки к вторжению во Францию, семь задействованы в операции «Факел», а три направлены для участия в операции «Хаски». В Британии осталась «всего одна дивизия в дополнение к мощным военно-воздушным силам... причина столь незначительных успехов... не в том, что не хватает войск, а в том, что в нашем распоряжение нет достаточного количества транспортов для их доставки и средств сопровождения»[126].

Этой длинной, витиеватой фразой Черчилль хотел сказать Сталину, что весной 1943 года в Англии было на одну американскую дивизию меньше, чем во время его визита в Советский Союз в августе прошлого года. Несмотря на обещание отправить в Британию к 31 декабря двадцать семь дивизий и 938 тысяч солдат, американцы прислали всего одну дивизию, хотя у них было восемь месяцев на то,

чтобы выполнить обещание. Черчилль сказал Сталину, что он ни в коей мере не хочет умалить усилия, прилагаемые американцами, хотя именно это и сделал. Он отметил, что для проведения операций в Северной Африке, на Тихом океане и в Индии и для осуществления поставок в Россию Великобритании придется «до крайности» урезать свой импорт. Так оно и было, но Черчилль, из уважения к Рузвельту, обошел молчанием очевидный факт. Если бы американцы не использовали столько судов для осуществления поставок Дугласу Макартуру, они имели бы в своем распоряжении больше ресурсов для обеспечения стратегии «в первую очередь Европа». И наконец, сказал Черчилль Сталину, если Германия ослабнет, Великобритания будет рассматривать возможность высадки на Европейском континенте, но если Германия не ослабнет, «преждевременное наступление войск, уступающих [противнику] во всех отношениях, приведет только к кровавому поражению... и величайшему триумфу врага»[127].

Однако ослабить Германию могла только Красная армия. Именно это имел в виду Рузвельт, когда написал Сталину: «Мы надеемся, что успехи Вашей героической армии, вдохновляющей нас, будут продолжаться и впредь». Сталина абсолютно не устраивали объяснения Рузвельта и Черчилля. В телеграмме от 15 марта он повторил свое требование: «Нам особенно важно, чтобы удар с Запада больше не откладывался, чтобы этот удар был нанесен весной или в начале лета». Он написал, что ознакомился с «аргументами, характеризующими трудности англо-американских операций в Европе. Я признаю эти трудности. И тем не менее я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить, с точки зрения интересов нашего общего дела, о серьезной опасности дальнейшего промедления с открытием второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность Ваших заявлений относительно намеченного англо-американского наступления по ту сторону Канала вызывает у меня тревогу, о которой я не могу умолчать»[128].

К середине апреля, спустя месяц после того, как Сталин высказал озабоченность действиями союзников, ослабла угроза в Северной Африке и, похоже, ослабла угроза контратаки оси в Тунисе. Тем не менее в Великобритании все, от короля Георга до булочников и кондитеров, давно уже перестали доверять кажущемуся благополучию. К середине апреля погода в Великобритании начала улучшаться, но безоблачное небо всегда вызывало тревогу, поскольку было большинством соблазном для люфтваффе. Зазеленели немногие клумбы, уцелевшие после бомбежек; на полях для регби в Гайд-парке американские солдаты играли в бейсбол (иногда у них происходили стычки с британскими солдатами, которые хотели использовать поле по назначению). Овцы в Гайд-парке овцы мирно пощипывали травку; железную ограду вокруг парка переплавили на танки и бомбы. Одной из зенитных батарей в Гайд-парке командовала Мэри Черчилль, сержант Вспомога-

тельной территориальной службы (однажды она вмешалась в спор между британцами и янки, кому играть на регбийном поле). Весна входила в свои права. Но британцы не знали, какая их ожидает погода, поскольку правительство запретило передавать сводки погоды[129].

Как всегда, причина была в немецких самолетах. «Лондонская общественность опасается, что однажды ночью опять разразится немецкий воздушный блицкриг, — написал Геббельс. — Боже, как бы я хотел, чтобы мы были в состоянии это сделать!» Теперь Королевские военно-воздушные силы регулярно бомбили долину Рура и Берлин, и удары от раза к разу становились все более мощными. Весь апрель Черчилль информировал Сталина о бомбардировке Берлина и Гамбурга; сначала за ночь сбросили 700 тонн бомб, затем 800 тонн и, наконец, 1050 тонн — «Берлин такого еще не испытывал», — отметил Черчилль. Некоторые священнослужители англиканской церкви возражали против «откровенно ликующей манеры, в которой пресса восторженно писала о тоннаже бомб, сброшенных на немецкие города». Но рядовые британцы, написала Молли Пэнтер-Доунес, относились к бомбардировкам Королевских военно-воздушных сил как «к неприятной работе, которую необходимо выполнять». Британцы, «прошедшие через ад» во время блица, не слишком сочувствовали немцам. Немецкая пропаганда называла налеты «наводящими ужас бомбардировками». Такими они и были. И они были необходимы; Черчиллю больше нечего было предложить Сталину[130].

В середине апреля военный кабинет издал декрет, согласно которому с Пасхального воскресенья церкви в Великобритании опять могли звоном колоколов созывать прихожан на воскресную службу. После невероятно абсурдных дебатов в палате общин было принято решение, что церковные колокола больше не будут использоваться в целях оповещения в случае вторжения. Когда один из членов парламента спросил Черчилля, какая система оповещения будет использоваться вместо колоколов, премьер-министр ответил: «Что касается меня, то я не могу отделаться от мысли, что известие о таком серьезном событии, как вторжение, обязательно просочится наружу». Остин Гопкинсон возразил: «Как новости могут просочиться наружу, если распространение тревоги и уныния считается преступлением?» На что Черчилль ответил: «Реальное изложение фактов, особенно с благими намерениями, не подпадает под данный запрет». Собор Святого Павла вновь обрел голос, и лондонцы услышали безукоризненное исполнение Stedman Cinques Альфреда Пека и его тринадцати помощников, три года оттачивавших мастерство на колоколах с обмотанными языками. Колокольный звон разносился над зеленеющими лугами и вспаханными полями, предвещая возврат к «блестящей изоляции» от (большинства) европейских бед, которой британцы наслаждались почти девятьсот лет, пока в 1940 году в небе не появились самолеты люфт-

ваффе. Не было никакой необходимости в запрете звона колоколов; британцы узнали бы о вражеском вторжении, включив радио или открыв дверь и бросив взгляд в небо. Однако колокола связывали черчиллевских йоменов — и Черчилля — с прошлым Англии. И то, что колокола опять звонили, только усилило эту связь[131].

В течение нескольких дней Черчиллю доложили о трех событиях, которые вновь заставили всерьез задуматься о безопасности Великобритании, межсоюзнических отношениях, открытии второго фронта и возможности возобновления блица с использованием нового чудовищного оружия. Первое шокирующее известие пришло 13 апреля, когда Черчилль впервые был поставлен в известность о том, что начальники штабов договорились о переброске всех доступных десантных средств из Великобритании в Северную Африку для обеспечения «Хаски». Кроме того, суда должны были находиться в состоянии готовности, чтобы при любой благоприятной возможности ими можно было воспользоваться для высадки на материковую часть Италии. Черчилль всегда активно выступал за то, чтобы использовать любую удобную возможность, но до этого момента ему не было известно, что из-за нехватки десантных судов предстоит сделать выбор в пользу одного из вариантов: задействовать их на Сицилии или в операции «Кузнечный молот» (*англ.* Sledgehammer) — маломасштабный удар по Франции. Черчилль испытал эмоциональное потрясение, хотя ему было известно о нехватке десантных судов; уже почти год назад стало ясно, что операция «Факел» отодвинула на середину 1944 года операцию «Раундап» (крупномасштабное вторжение). Несмотря на это, Черчилль и Рузвельт давали Сталину обещания, которые не могли выполнить. Последние новости о десантных судах окончательно убедили союзников в том, что данное Сталину слово сдержать не удастся. В тот вечер за ужином с Бруком — «начался бурно, но потом протекал в мирной обстановке» — Черчилль согласился на предложение. Он сообщил военному кабинету, что операция «Кузнечный молот» (и, если потребуется, «Раундап») не будет проводиться в этом году, но не сообщил об этом Сталину[132].

Второе неприятное известие прибыло через два дня, 15 апреля, когда Черчиллю сообщили, что согласно данным аэрофотосъемки было установлено, что на полигоне Пенемюнде, расположенном на побережье Балтийского моря, находятся большие ракеты и пусковые станции. Эти ракеты были не просто усовершенствованной версией небольших, но смертоносных ракет Nebelwerfer*.

Не были это и 3- или 5-дюймовые твердотопливные ракеты, используемые в корабельных и зенитных орудиях. Немецкие ракеты —

* Буксируемый реактивный миномет. За характерный звук, издаваемый снарядами, получил у советских солдат прозвище «ишак». Солдаты союзных войск называли его «стонущий Микки». Низкая дальность компенсировалась мощью снарядов и применением войскового прикрытия.

большие, беспилотные, бескрылые снаряды, приводимые в движение за счет газов, получаемых за счет сгорания топлива, и оснащенные гироскопами и навигационными системами, которые британцы не могли даже представить.

Это походило на научную фантастику. Уже четыре года британцам было известно о том, что немцы занимаются созданием ракет, но никому в британской разведке не было точно известно, как далеко зашли немецкие ученые и инженеры в деле испытания и производства этих ракет. Ничего не было известно о виде топлива, дальности, системе управления и боевой части ракеты. По предложению Мопса Исмея зятю Уинстона Черчилля Дункану Сэндису поручили узнать, как далеко продвинулись немцы и какие ответные меры будут наиболее эффективными. Кумовство в чистом виде, но Сэндис участвовал в работе над проектами, связанными с зенитными установками, до того как попал в автомобильную аварию, после которой он был вынужден сменить сферу деятельности. Он видел будущее ракет в боевых действиях, не просто ракет малой дальности, выпускаемых из стволов, а футуристических аппаратов, подобных тем, которые сейчас, очевидно, создают немцы, а вскоре, возможно, приступят к их испытаниям. Сэндис создал комитет под кодовым названием «Арбалет» (Crossbow) для выработки рекомендаций по принятию контрмер. Но для начала членам комитета требовалось выяснить, над чем именно работают немцы. Этого не знал никто. Спустя несколько дней после того, как стало известно, что немцы создают новую ракету, Черчилль с Бруком отправились на аэродром Хэтфилд, чтобы присутствовать на испытании новейших британских разработок в области истребительной авиации. Брук описал увиденный самолет как «не имеющий пропеллеров, приводимый в движение за счет всасывания воздуха на входе [в компрессор] и создания потока воздуха на выходе [из двигателя]. Очевидно, это истребитель будущего». Более десятилетия проектировался этот самолет, и первые британские турбореактивные двигатели прошли испытания в 1941 году. Однако у министерства финансов не хватало средств, чтобы начать их массовое производство. Таким образом, эра реактивных самолетов началась одновременно с эрой ракет, хотя ни те ни другие не прошли боевого крещения. Это предстояло сделать Гитлеру[133].

Третья новость была самой неприятной для Черчилля по нескольким причинам. В апреле на той неделе Гитлер сказал регенту Венгрии, адмиралу Хорти Миклошу, что евреи — «настоящие паразиты», которые, «подобно туберкулезным бациллам», поражают здоровые организмы. «Страны, которые не избавились от евреев, — сказал Гитлер Хорти, — погибнут». Берлин не заставлял Венгрию, немецкого союзника, депортировать евреев, и, к его чести, Хорти в то время не занимался депортацией евреев, но не возражал против принуждения венгерских евреев к рабскому труду. У лидеров других стран не было

возможности выбирать, и они без всякого сожаления отправляли евреев на восток. В течение нескольких следующих дней поезда с 2400 бельгийскими и французскими евреями отправлялись из Брюсселя и Парижа в Аушвиц. 19 апреля немецкие власти в Варшаве издали приказ, согласно которому следовало очистить еврейское гетто, а евреев отправить в лагерь смерти Треблинку. С начала 1940 года было убито или отправлено на восток более 300 тысяч варшавских евреев. Когда немецкие грузовики с солдатами прибыли за своим «грузом», они столкнулись с тем, чего никак не ожидали. Более 1200 евреев, вооруженных всего несколькими десятками винтовок, гранатами и самодельными бомбами, три недели противостояли 2100 немецким солдатам, убив 300 из них. Немцы заблокировали, а затем затопили подземные туннели и канализационные трубы, по которым пытались сбежать евреи. Немцы задействовали тяжелую артиллерию и в течение десяти дней подвергали обстрелу еврейское гетто, а затем подожгли руины, чтобы выкурить выживших. Когда они наконец захватили гетто, то расстреляли 7 тысяч евреев и еще 7 тысяч отправили в Треблинку. Еще несколько тысяч евреев, которым удалось сбежать в город, были пойманы или выданы жителями Варшавы. Известия о кровавой бойне просочились из рейха и получили широкое освещение в лондонской прессе и печатных изданиях Правительства Польши в изгнании. К тому времени в Варшаве в живых остались менее 50 тысяч евреев[134].

Геббельс и Гитлер не обращали внимания на обвинения со стороны союзников в совершении подобного рода расправ; они задумали отвлекающий маневр. Немцы решили представить свой собственный план послевоенного устройства мира в ответ на туманные разглагольствования Вашингтона и Лондона относительно федераций и всемирных советов. Речь шла о новой Европейской хартии, в которой не говорилось ни слова о Herrenvolk (господствующей расе) или Lebensraum («жизненном пространстве», плане по переселению немцев на завоеванные восточные земли). Хартия декларировала намерение Германии выступить в роли своего рода европейского поверенного, гарантирующего свободы каждому гражданину, находящемуся под покровительством Германии. Одна из немецких газет написала, что Великобритания не смогла дать такого обещания, поскольку не имеет национал-социалистической партии, способной «руководить судьбой европейских стран». Геббельс намеревался убедить европейцев в мудрости развития «европейского сотрудничества». Эта фраза, по его мнению, способствовала достижению его целей, которые не имели ничего общего с сотрудничеством в Европе. Скорее, его целью было вбить клин между Советами и их западными союзниками, особенно Польшей[135].

За несколько недель до этого поляки в Лондоне дали надежду Геббельсу, которая обернулась головной болью для Черчилля. Лондонские

поляки, не согласные с решением союзников заняться обсуждением послевоенных границ после победы над Гитлером, обнародовали намерение вернуть Польше те территории, которые в 1939 году захватил Сталин (и ранее захваченные Польшей после революции в России). Сталин, в свою очередь, произнес загадочную фразу, предложив полякам обратить взоры на Восточную Пруссию, способную удовлетворить их территориальные аппетиты. Что он имел в виду? Намеревался ли Сталин отодвинуть защитную зону от будущей немецкой агрессии дальше на запад на территорию Польши? Ситуация осложнялась тем, что в разгар Судетского кризиса Польша захватила Тешинскую область, тем самым лишив себя возможности претендовать на статус государства с высокими моральными устоями в вопросе восстановления прежних границ. Эдуард Бенеш, чью страну Британия предала в Мюнхене, пытался заручиться поддержкой Москвы в деле возвращения Тешинской области в состав Чехословакии. Великобритания вступила в войну из-за Польши, но какой Польши? Польши, которая подверглась вторжению Гитлера, Польши, часть территорий которой захватил Сталин, или Польши, которая, по словам Черчилля, «запрыгнула на спину Чехословакии» в 1938 году? Ситуация была не из лучших. Ликующий Геббельс увидел в этом для себя хороший шанс, но как наилучшим образом использовать подозрительность, которой пронизаны отношения между союзниками, как изобразить Сталина и большевиков истинными злодеями Европы? На протяжении десяти лет, сталкиваясь с подобными проблемами, нацисты прибегали к самому надежному и вместе с тем самому нечестному способу — ко лжи[136].

Утром 13 апреля берлинское радио ликующе объявило, что немецкие солдаты, действующие в Катынском лесу, к западу от Смоленска, обнаружили братские могилы с трупами более 8500 польских офицеров и солдат со связанными за спиной руками. Жертвам, похоже, стреляли в затылок с близкого расстояния. В явной попытке замаскировать место совершенного злодеяния на могилах были высажены молодые хвойные деревья. По версии Берлина, русские взяли в плен этих поляков в 1939 году (когда Сталин, будучи компаньоном Гитлера, отхватил кусок Польши). Русские отправили этих поляков на восток, разместив их в трех лагерях, и, по заявлению Берлина, позже вывезли их из лагерей и расстреляли. Тот факт, что эти методы в точности совпадали с теми, что применяли гитлеровские айнзацгруппы, ничуть не смущал Геббельса.

Он знал, что русские действительно убивали польских офицеров (которые этого заслуживали, написал он в своем дневнике, поскольку поляки «были виновны в развязывании этой войны»). Он даже сумел изобразить в своем дневнике ужас, который испытал, узнав об этом: «Выявилась самая омерзительная сторона человеческой души»[137].

Итак, на той неделе три неприятные новости причинили беспокойство премьер-министру. Генерал Андерс, отправившийся годом

ранее в Москву на поиски пропавших поляков, наконец их обнаружил. Лондонские поляки, настороженно относившиеся к решимости Великобритании в деле восстановления польских границ, потребовали от Лондона решительных действий, желая выяснить всю правду о Катыни. Спустя два дня после информационного сообщения по Берлинскому радио Черчилль на завтраке в «номере 10» предостерег Владислава Сикорского, намеревавшегося прибегнуть к помощи Красного Креста в расследовании преступления, не поддаваться на эту провокацию. Присутствовавший на завтраке Кадоган запомнил слова, сказанные Черчиллем в заключении: «Увы, к сожалению, немецкая информация может подтвердиться. Я знаю, на что способны большевики и какими они могут быть жестокими». Он посоветовал Сикорскому смотреть в будущее, а не оглядываться на прошлое. Он имел в виду, что в данный момент необходимо сохранить альянс для того, чтобы одержать победу над Гитлером. Только в этом случае Польша сможет стать свободным членом европейского сообщества. Что касается польских офицеров, сказал Черчилль Сикорскому, «если они мертвы, то вы уже никак не сможете их вернуть». Однако Сикорский, вопреки совету Черчилля, обратился в Красный Крест за помощью в расследовании. Несколько дней спустя Берлин тоже обратился в Красный Крест с просьбой о проведении расследования. Геббельс с энтузиазмом излагал в дневнике, какие перед ним открываются возможности для пропаганды. Учитывая спорные вопросы и противоречия в англо-американо-советском альянсе, которые ни для кого не являлись секретом, он увидел возможность внести раскол в отношения и, возможно, добиться проведения мирных переговоров. «Нашу пропаганду подозревают в стремлении раздуть инцидент в Катыни, чтобы получить возможность заключить сепаратный мир с Англией или Советами». Хотя это не входило в его планы, он признал, что «такая возможность, естественно, была бы весьма кстати»[138].

Русские говорили: поляки ничему не учатся и ничего не забывают. Поляки, в свою очередь, говорили о русских: они славяне, но славяне без сердца. Реакция Сталина на обвинения поляков была быстрой и безапелляционной. Через несколько дней он разорвал отношения с правительством Сикорского в Лондоне, заявив: «Они возомнили себя талантливыми тактиками, но Господь не наделил их мозгами». Черчилль с Рузвельтом посоветовали Сталину не разрывать окончательно отношения с лондонскими поляками. Сталин не последовал их совету, поскольку вероломство поляков было очевидно, когда они предъявили эти «чудовищные обвинения». Рузвельт предупредил Сталина о том, что разрыв отношений приведет к негативным последствиям для польской общины в Соединенных Штатах. Сталину не было никакого дела до поляков, проживавших в Буффало или Чикаго. Черчилль предостерег Сталина, сказав, что Геббельс сможет извлечь не-

малые выгоды от раскола, а союзникам будет причинен серьезный вред. Он заверил Сталина, что лондонские поляки достойные люди и не вступали «в тайный сговор с немцами». Кроме того, сказал Черчилль, он убежден в том, что «немецкая пропаганда предъявила эту историю, чтобы внести раскол» в ряды союзников (расплывчатое слово «предъявила» можно было трактовать двояко, как «сфабриковала» или «раскрыла»). Сталин был непреклонен. Черчилль планировал закрыть польские газеты, которые выступали с критикой Советов, и сообщил о своем решении Сталину. Сталин стоял на своем. На самом деле он объявил о том, что будет поддерживать новое польское правительство в изгнании, в Москве. Когда лондонские поляки начали оказывать давление, Черчилль предупредил, что в их «обвинениях, которые носят оскорбительный характер в адрес советского правительства» «содержится поддержка отвратительной немецкой пропаганды». На этом фронте Геббельс одерживал победу. 28 апреля Черчилль телеграфировал Рузвельту: «Это величайший триумф Геббельса»[139].

В приложении к пятому тому своих военных воспоминаний, «Кольцо смыкается», Черчилль опубликовал записку Идену от января 1944 года. В ней говорится о том, что он по-прежнему пытался докопаться до истины в Катынском деле. Однако он убрал последнюю фразу в записке: «Мы должны сделать так, чтобы об этом никто из нас не обмолвился ни словом». Записка была написана примерно в то время, когда Кэтлин Гарриман и американских журналистов повезли в Катынский лес. Журналисты отметили много несоответствий: если немцы убили военнопленных летом 1941 года, почему на некоторых из погибших была зимняя форма? И почему найденные в карманах некоторых поляков письма, датированные 1940 годом, так и не были отправлены? На обратном пути в Москву Кэтлин Гарриман и журналисты выпили за упокой души. Несмотря на противоречивые факты, журналисты разделяли советскую точку зрения (большинство американцев считали русских героями). Корреспондент Time Ричард Лаутербах телеграфировал: «Что касается большинства из нас, то мы считаем, что это немцы безжалостно убили поляков». Сорок лет спустя Аверелл Гарриман сказал, в оправдание слов своей дочери: «Она не была историком, и она не должна была решать, соответствовало ли то, что она увидела, официальной версии или нет»[140].

На самом деле спустя полтора месяца после апрельского сообщения по Берлинскому радио Черчилль с Иденом знали, что случилось в Катыни. Иден запросил и 31 марта получил отчет сэра Оуэна О'Мэлли, британского посла при польском правительстве в изгнании. Мнение О'Мэлли было однозначным: «Большинство из нас убеждены в том, что множество польских офицеров было на самом деле убито русскими властями». В подробном отчете, с которым ознакомились только Черчилль, военный кабинет и король Георг, О'Мэлли делает вывод: «Мы, по сути,

использовали доброе имя Англии, как убийцы использовали молодые сосенки, чтобы скрыть преступление; и, учитывая чрезвычайную важность демонстрации единства союзников и героическое сопротивление, оказываемое Россией Германии, большинство из нас считает правильным и мудрым придерживаться такой позиции». Затем О'Мэлли затрагивает этическую сторону дела, выходя за рамки своей компетенции: «То, что в международной сфере считается морально недопустимым, как правило, в будущем оказывается политически недальновидным». Лондон поддержал Москву за счет поляков, написал О'Мэлли, которых выставили безрассудными и бестактными, «не сумевшими удержаться от того, чтобы не выставить свое дело на суд общественности». Правительство его величества «было вынуждено... искажать наши нравственные умозаключения и моральные принципы». Черчилль распорядился хранить доклад О'Мэлли в сейфе, разрешив доступ к нему только членам военного кабинета. Тем не менее в августе Черчилль отправил копию доклада Рузвельту. В конце концов, они были партнерами. Доклад, объяснил Черчилль президенту, «мрачная, хорошо изложенная история, возможно, даже слишком хорошо»[141].

Это была реальная политика в немецком смысле слова. Те, кто с готовностью вступали в переговоры с того самого момента, как началась холодная война — как во время англо-русской борьбы за власть в Персии и Афганистане (Большая игра) в XIX веке, в Москве в ноябре 1917 года, при заключении пакта Молотова—Риббентропа в 1939 году, — могли сделать хуже, разбираясь с Катынским делом, и им не обязательно было выявлять тех, кто действительно совершил это преступление. Немцы наблюдали за реакцией союзников в последующие месяцы после того, как Сталин выразил свое негодование (но так и не заявил о своей невиновности напрямую). Позднее Черчилль написал об обязательствах, которые было необходимо соблюдать в ходе войны с Гитлером: «Иногда приходится делать ужасные, и даже постыдные, заявления ради общего дела». Он произнес эти слова, говоря о трагических событиях 1944 года, когда во время Варшавского восстания Сталин отказал британским бомбардировщикам в праве пересекать польское воздушное пространство и приземляться на советской территории. Однако эти слова применимы и к Катыни[142].

Нэнси Астор* во время визита в Москву в 1931 году со свойственной ей прямотой спросила Сталина, когда будет положен конец

---

* Астор Нэнси — виконтесса, первая женщина, избранная в палату общин. Ее популярности способствовало не только парадоксальное мышление и выдающееся ораторское искусство, не только инициированные ею радикальные экономические и образовательные программы, но также знакомство с выдающимися современниками. В 1931 году Бернарда Шоу пригласили посетить СССР; он взял с собой в поездку небольшую группу друзей, среди которых были леди Астор с мужем. Программа визита включала посещение показательной

массовому убийству западных славян. «В этом больше нет необходимости», — ответил Сталин. Необходимость, очевидно, все-таки была[143].

В апреле отношения между союзниками ухудшились: не только между Россией и Польшей, но и между англо-американцами и Москвой. Необходимость встречи Рузвельта с Черчиллем была очевидна. Требовалось понять, что можно сделать (или сказать), чтобы успокоить Сталина и решить вопрос с операцией на Сицилии. Что касается последнего, то свое слово должен был сказать Джордж Маршалл, который пока не принял решения. Однако Брук, отправивший все имевшиеся в наличии десантные средства из Британии в Северную Африку, фактически решил вопрос в пользу средиземноморской стратегии. Решение Брука в какой-то мере было реакцией на отправку адмиралом Кингом *своих* десантных судов в Тихий океан, где Макартур и адмирал Нимиц готовились к рейду на Токио. Тем не менее Брук расценил это как очередной удар по стратегии «в первую очередь Европы». Пентагон с неодобрением отнесся к отправке десантных судов, предпринятой Бруком (строительство здания штаб-квартиры было закончено в январе 1943 года), и подчеркнул необходимость встречи Черчилля с Рузвельтом в ближайшем будущем. Позднее Черчилль написал: «Я знал, что нас разделяли глубокие противоречия, которые, если их не урегулировать, могут привести к тяжелым последствиям и ослабить наши действия в оставшуюся часть года»[144].

Этим он хотел сказать, что у британцев и американцев не было согласованной стратегии военных действий в Европе по окончании операции в Северной Африке. На этом фронте союзники смогли добиться больших успехов. В конце марта Монтгомери, прорвав линию Марет, продвигался в северном направлении, а Паттон, пробившись через горные перевалы, повернул на восток и вышел на левый фланг оси. Утром 7 апреля передовые отряды 8-й армии и 2-го корпуса Паттона обнаружили, что враг исчез с линии фронта. В то утро британский разведывательный дозор натолкнулся на разведывательный дозор 2-го корпуса Паттона. Сержант Билл Браун из графства Девон сказал: «Это, безусловно, приятный сюрприз». Рядовой Перри Пирс из Кентукки ответил: «Всегда приятно встретить кого-то, кроме нацистов». Всего за шесть недель — с начала марта, когда заболевший Роммель

фабрики, пионерлагеря, музеев, Большого театра в Москве и Зимнего дворца в Ленинграде. Но гвоздем программы был прием у Сталина, длившийся два с половиной часа, на котором присутствовали Б. Шоу, чета Астор, Максим Литвинов и переводчик. Согласно воспоминаниям виконта Астора, леди Астор спросила: «Когда вы, господин Сталин, прекратите убивать собственных подданных?» Помертвевший переводчик замолк, но хозяин Кремля, внимательно следивший за всем происходящим, потребовал перевода ее вопроса и, не изменившись в лице, после паузы ответил: «В нашей стране идет борьба с нарушителями конституции. Мир наступит, когда нарушения прекратятся».

вернулся в Германию, и до середины апреля — преимущество в Тунисе, в небе, на море и на суше перешло от оси к союзникам. К 20 апреля Монтгомери, генерал Андерсон, французы и Джордж Паттон взяли в клещи армию Арнима[145].

Битва за Тунис вступила в решающую стадию, которую Черчилль в разговоре с Гарольдом Николсоном и Даффом Купером* за рюмкой портвейна в курительной комнате парламента назвал временем, когда необходимо «сражаться стиснув зубы».

Вечером Николсон написал в дневнике о Черчилле: «Он, как обычно, был в хорошем настроении». В тяжелейшие моменты в течение прошлых трех лет его веселость была притворной, но Черчилль всегда был полон решимости и не терял присутствия духа. Когда Николсон спросил относительно позиции бея Туниса, Мухаммеда VII аль-Мунсифа, которого «свободные французы» обвиняли в симпатиях Виши и называли немецкой марионеткой, Черчилль ответил: «В будущем он будет называть себя Obey» («повинующийся»; игра слов: bey — правитель, to obey — повиноваться). Черчилль сообщил Николсону, что Королевские военно-воздушные силы уничтожили немецкие транспортные самолеты, возвращавшиеся на Сицилию после доставки подкрепления Арниму. И он узнал, что Ватикан только что опубликовал список военопленных, в числе которых сын Вайолет Бонем-Картер, Марк. Он сказал Николсону: «Я молюсь только об одном», чтобы на борту немецких самолетов «не было наших военнопленных»[146].

Британские военнопленные не погибли, но Черчилль был прав насчет необходимости «сражаться стиснув зубы». К 22 апреля у Арнима осталось всего 76 танков, возникла проблема с бензином, и немцы стали использовать в качестве топлива местное вино. Союзники наступали по всей 130-мильной линии фронта, изгибавшейся от мыса Бон, на юге, где окопалась 8-я армия, к западу, затем уходившей на север, где находилась 1-я армия Андерсона, и упиралась в побережье Средиземного моря, приблизительно в 40 милях западнее Бизерты. Солдат оси было больше, чем взятых в плен в Сталинграде; — за каждым кряжем, в каждом пересохшем русле, на каждой дороге и тропинке были установлены немецкие пулеметы и противотанковые орудия. Александер полагал, что 2-й американский корпус, располагавшийся между Андерсоном и «Свободной Францией», окажет поддержку на завершающем этапе. Но в дело вмешались политики из Вашингтона. Эйзенхауэр, под давлением со стороны домашних стратегов, объяснил Александеру, что если американцы решат, что их солдаты «не сыграли решающей роли, то они еще больше будут настаивать на необходимости боевых действий против японцев» и, соответственно, у них пропадет желание бороться

* К у п е р Альфред Дафф — министр без портфеля с падения Сингапура, где был резидентом кабинета министров.

с Гитлером. В этой связи Айк попросил Александера дать возможность 2-му корпусу сыграть более значимую роль на завершающем этапе. Александер нехотя согласился и приказал 2-му корпусу переместиться к северу от 1-й армии Андерсона. Таким образом, 2-й корпус оказался в первых рядах на заключительном этапе сражения. Паттон не мог возглавить это сражение, поскольку отправился в Рабат, чтобы заняться планированием Сицилийской кампании, в которой должен был возглавить американские силы. Эйзенхауэр назначил командовать 2-м корпусом своего заместителя, генерал-майора Омара Брэдли. Французы заняли позицию между Андерсоном и Монтгомери, у мыса Бон. Все шло по плану. Черчилль взял Арнима в клещи[147].

После того как в марте в Блетчли взломали код немецких подводных лодок, маршруты конвоев обходили те зоны, где рыскали волчьи стаи. В результате потери союзников в тоннаже в апреле (250 тысяч тонн) снизились почти на две трети по сравнению с мартом. Потери были заметно меньше, но все-таки весьма значительные, чтобы праздновать победу. И если целью Дёница было вести борьбу таким образом, чтобы дело не двигалось с мертвой точки, то есть не допуская высадки союзников на континенте, то в таком случае он действовал весьма успешно. Действительно, американская пресса заявляла, что он выигрывает на данном этапе. Time написал, что «обнадеживающим фактом для немцев» является то, что «Германия продолжает одерживать победу в Битве за Атлантику... Черчилль и Рузвельт подчеркивали, что союзники не могут рассматривать возможность крупномасштабного наступления на континенте до тех пор, пока преимущество на стороне немцев». К началу мая положение оставалось прежним. Адмирал Эрнест Кинг, привыкший действовать напрямую, заявил: «Мы решаем проблемы, связанные с подводными лодками... Мы ожидаем решить ее через четыре-шесть месяцев». То есть в октябре. Это было первое (и непреднамеренное) публичное признание со стороны англичан и американцев, что крупномасштабное вторжение в Европу не будет предпринято до тех пор, пока на Ла-Манше не установится подходящая погода, то есть не раньше мая—июня 1944 года[148].

Завсегдатаи вашингтонских баров и лондонских пабов задавались вопросом, что миллион американских и британских солдат в Англии и Африке сделал за этот год? Тот же вопрос беспокоил и Черчилля. Сейчас он был уверен в том, что вскоре операция в Тунисе будет успешно завершена, и собирался воспользоваться победой, чтобы получить максимум преимуществ. В связи с этим 29 апреля он предложил Рузвельту организовать встречу, чтобы решить, куда двигаться дальше после того, как они одержат победу в Северной Африке, и обсудить детали операции на Сицилии. Италия казалась Черчиллю очевидной целью. Однако существовала еще одна проблема, которую

было необходимо решить. Американцы не предоставили сведения об атомной бомбе, несмотря на достигнутые годом ранее соответствующие договоренности. Гарри Гопкинс обещал Черчиллю в Касабланке, что ситуация будет «исправлена». Однако этого не произошло. Американцы, сказал лорд Червелл Черчиллю, не предоставляют никакой информации. Разгневанный Черчилль спросил, когда британские ученые смогут начать работать в одностороннем порядке. Червелл ответил, что для этого потребуется, возможно, от шести до девяти месяцев, в том случае, если этому вопросу будет уделяться первостепенное внимание, а финансирование разработок будет осуществляться за счет урезания бюджетных расходов на военные программы. Предстояло обсудить и ряд других актуальных вопросов. На повестке дня были поляки, «Свободная Франция», арктические конвои и Тихоокеанский театр военных действий. Когда Рузвельт не дал своевременного ответа на предложение организовать встречу, Черчилль озвучил свою позицию Гопкинсу, добавив, что врачи рекомендуют ему воздерживаться от полетов, опасаясь ухудшения состояния из-за пневмонии. Следовательно, он может отправиться в Вашингтон только на корабле и, значит, прибудет в Вашингтон 11 мая. Наконец, 2 мая Рузвельт ответил так, будто приглашал на выходные поиграть в бридж старого товарища по Гарварду, с которым делил комнату: «Я по-настоящему рад, что вы приезжаете... Я, конечно, хочу, чтобы вы остановились здесь [в Белом доме] у меня»[149].

Итак, было решено провести встречу под кодовым названием «Трайдент»*.

Сталин не принимал участия, поскольку его присутствие было необходимо в Москве, когда летом Гитлер перейдет в наступление. В России, от Ленинграда до Ростова, весенняя *распутица* превратила лесную почву в трясину, болота в озера, дороги в топь. Корреспондент New York Times написал, что вдоль линии фронта «ржавеющие пушки и сломанные грузовики служат напоминанием о том, где раньше проходили бои». Силы двух противостоящих друг другу армий были относительно равны. Ситуация смогла не сдвинуться с мертвой точки. Тем не менее близ Курска Гитлер разместил самую крупную в истории танковую армию, и эта армия в данный момент ожидала приказа начать наступление. Учитывая, что отправка арктических конвоев была приостановлена, а Иранская железная дорога не смогла компенсировать их отмену, Красной армии вскоре предстояло оказать сопротивление вермахту с помощью только того оружия, танков и войск, которые находились в ее распоряжении на данный момент. Сталинские заводы и фабрики обеспечивали свои армии всем необходимым на

* Третья Вашингтонская конференция — международная конференция, проходившая в Вашингтоне 12 по 17 мая 1943 года.

95 процентов, оставшиеся же 5 процентов по программе ленд-лиза Сталину были необходимы прямо сейчас, но рассчитывать на помощь в скором будущем не приходилось. Не вызывало сомнений, что предстоящее сражение будет ужасным и, возможно, определит дальнейший ход войны. В Лондоне и Вашингтоне возникли сомнения относительного того, как долго смогут Сталин и Красная армия выдерживать этот напор[150].

Советский лидер, как и на протяжении предыдущих полутора лет, добивался от своих партнеров ответа только на один вопрос: когда будет открыт второй фронт. Этот вопрос был одним из главных пунктов повестки дня «Трайдента». Отношения между Рузвельтом и Сталиным застыли на мертвой точке после Пёрл-Харбора, и Рузвельт считал, что необходимость встречи со Сталиным, без Черчилля, ясна и очевидна. Когда Черчилль выразил готовность отправиться в Вашингтон на корабле, Рузвельт написал письмо Сталину, в котором предложил выбрать удобное место встречи, возможно в Сибири или на Аляске, но не в Африке — там слишком жарко — и не на побережье Атлантики, к примеру в Исландии, где Черчилль, если его не пригласить, может почувствовать, что его обошли стороной. Письмо должен был лично доставить и собственноручно вручить Сталину бывший посол в Советском Союзе Джозеф Дэвис так, чтобы о существовании этого письма ни при каких обстоятельствах не узнал Черчилль. Рузвельт считал, что нет необходимости уделять Черчиллю столько времени и внимания, сколько требовал премьер-министр, в связи с тем, что в альянсе возрастала роль Рузвельта, в значительной степени благодаря производственным мощностям и вооруженным силам, численность которых достигла 6 миллионов человек. Все это заставило Рузвельта считать, что он сумеет наладить отношения со Сталиным, как только представится возможность сесть за стол переговоров и поговорить наедине[151].

Утром 11 мая трансатлантический лайнер «Королева Мария», на борту которого находился премьер-министр, бросил якорь у Стейтен-Айленда.

Половину семилетнего срока эксплуатации лайнер использовали в качестве военного транспорта. Моряки назвали его «Серым призраком». Его красно-белые трубы, черный корпус и жемчужно-белую палубную надстройку покрыли толстым слоем серой краски. На верхней палубе вместо шезлонгов смонтировали зенитные установки. Внутреннее убранство — элементы декора, многочисленные диваны, фарфоровые сервизы, множество ковров, карта мира, висевшая в столовой, — еще в начале войны отправили на склады в Нью-Йорк, где уже хранились элементы декора «Королевы Елизаветы» и «Нормандии». На борту «Queen Mary» могли разместиться 16 тысяч солдат,

почти столько же было переброшено в Австралию вскоре после того, как японцы совершили нападение на Пёрл-Харбор. Скорость судна — почти 30 узлов — сделала его неуловимым. Ни одной немецкой подводной лодке было не под силу угнаться за «Королевой Марией», при этом «Серый призрак» всегда шел зигзагами, остерегаясь торпед.

Лайнер шел на запад в сопровождении британских и американских крейсеров, а в небе курсировали самолеты-амфибии «Сандерленд». Сейчас на борту «Королевы Марии» находилось более 5 тысяч итальянских и немецких военнопленных, захваченных в Тунисе, которых подвергли не слишком неприятной процедуре интернирования. Солдаты не сетовали на судьбу; когда в Северной Африке над ними насмехались говорившие по-итальянски американцы, они отвечали: «Ну что ж, смейтесь. Но мы едем в Америку. А вы отправляетесь в Италию». Особенно довольны были высокопоставленные немецкие офицеры; их разместят в отеле «Гринбрайер» в Уайт-Салфер-Спрингс, штат Западная Виргиния, где они смогут заказывать все необходимое по каталогам Sears, где поощрялось иметь собственный огород и было вдоволь кофе и табака. Однако трансатлантическое путешествие вовсе не показалось военнопленным приятной прогулкой: шесть дней они просидели взаперти на нижних палубах; выход на верхние палубы затянули колючей проволокой, установили пулемет, обложенный мешками с песком, рядом с которым несли вахту королевские матросы. Корабль кишел вшами после того, как на нем перевозили вещевые мешки, хранившиеся на складе в Каире. Военнопленные (или немецкие шпионы, осмотревшие судно в Шотландии) могли прийти к выводу, заметив множество свежих надписей на голландском языке, что на борту была важная персона — возможно, королева Вильгельмина. В разных частях корабля были пандусы, предназначенные для удобства перемещения в инвалидном кресле, что наводило на мысль о том, что в обратный путь лайнер отправится с Франклином Рузвельтом. Британская разведка решила, что немцы придут именно к такому выводу[152].

Военнопленные сошли с корабля на причал на реке Гудзон под надзором охраны. Когда корабль бросил якорь во внешней гавани, с корабля сошла еще одна группа пассажиров, среди которых был сэр Уильям Беверидж, приехавший на Международную конференцию по вопросам продовольствия в Хот-Спрингс, штат Виргиния. Беверидж с супругой не входили в состав официальной делегации — названной Исмеем «святая святых», — и, следовательно, их не разместили в той части судна, которое в спешном порядке было подвергнуто дезинфекции, чтобы создать комфортные условия для «святых». В результате, когда лайнер «Королева Мария» прибыл в Нью-Йорк, у сэра Уильяма и леди Беверидж «были явные признаки педикулеза». Среди прочих на борту находились Макс Бивербрук, Аверелл Гарриман, лорд Чер-

велл и лорд Моран. Начальников штабов и Арчи Уэйвелла сопровождала группа в составе более сотни штабных офицеров. Один из пассажиров взял с собой в путешествие огромное количество ящиков, коробок, сундуков, набитых довольно странными предметами одежды. О нем заботился целый взвод личных секретарей и телохранителей из состава Королевских военно-морских сил. Выбор судна для путешествия был сделан в пользу «Королевы Марии» ради обеспечения его безопасности. На палубе неуместно одетый коммодор авиации Спенсер, в синем кителе и фуражке яхт-клуба Royal Yacht Squadron, с сигарой, пристально смотрел в сторону Манхэттена, чьи очертания были едва различимы в густом тумане. Прошло более сорока восьми лет с тех пор, как Черчилль прибыл в гавань Нью-Йорка на борту лайнера «Этрурия» круизной компании Cunard Line; королевой была Виктория, над владениями которой «никогда не заходило солнце». Теперь американцы распевали невероятно популярную, сентиментальную народную песню, написанную Полом Робертсом и Шелби Дарнеллом, There's a Star-Spangled Banner Waving Somewhere[153].

У пассажиров, размещенных на верхней палубе, настроение было как у людей, совершавших круиз во время отпуска, и с каждой телеграммой от Александера их настроение поднималась выше и выше. 7 мая Александер телеграфировал, что 1-я бронетанковая дивизия Соединенных Штатов вошла в Бизерту, а британцы заняли Тунис. 8 мая немцы и итальянцы попытались бежать из Туниса на кораблях, однако адмирал Каннингем отдал приказ: «Потопить, сжечь, уничтожить. Не упустить никого». 10 мая Черчилль сказал Эттли и Идену, находившимся в Лондоне, чтобы вечером по всей Англии звонили церковные колокола. В этот день исполнилось три года со дня его вступления на пост премьер-министра. Колокола звонили[154].

Геббельс так отреагировал на празднования в Лондоне: «Захват Туниса и Бизерты... раздут англичанами до размеров сенсационного события... Лондон опьянен победой». Однако, признался Геббельс, «мы действительно переживаем сейчас своего рода второй Сталинград»[155].

На борту «Королевы Марии» каждую новость отмечали за долгими обедами и еще более долгими вечерними трапезами; после ужина обычно играли в безик и покер. (Бивербрук и Гарриман заранее договорились о том, что не будут пользоваться тем, что Черчилль не слишком хорошо играет в покер.) Победа в Африке внушила чувство, которое союзники утратили с событий в Пёрл-Харборе: уверенность[156].

Во время путешествия через Атлантику высокопоставленные лица проводили время за разговорами, точнее, они слушали, поскольку говорил Черчилль. Он вновь неодобрительно высказывался в отношении стратегии в светлое время суток военно-воздушных сил Соединенных Штатов; незначительные успехи в уничтожение немецких промышленных объектов достигаются слишком дорогой ценой. Чер-

чилль сообщил Гарриману, что собирается высказать свое недовольство Рузвельту. Гарриман предупредил, что если Черчилль собирается умалить успехи американцев в Европе, то это самый верный способ заставить Объединенный комитет начальников штабов США направить бомбардировщики B-17s на Тихоокеанский театр военных действий. В этом вопросе Черчилль решил положиться на Гарримана. Во время одного из монологов на борту корабля Черчилль положил руку на колено Бивербруку и мягко сказал: «Больше ни слова». Позже Бивербрук сказал Гарриману, что никто не мог вставить даже слова, «поскольку все время говорил премьер-министр». Однако Бивербрук все-таки сумел произнести «тираду против поляков», когда Черчилль сообщил о телеграмме от Сталина, содержавшей резкую критику в адрес правительства Великобритании за то, что позволило лондонским полякам проводить «антисоветскую клеветническую кампанию». Бивербрук — имевший, по мнению Гарримана, весьма наивные представления о личности Сталина, — выступил в поддержку советского лидера. Черчилль поддержал одновременно и Сталина, и поляков, однако эта двойственная позиция не могла привести ни к чему хорошему. Заговорили о Бирме. Черчилль был недоволен отсутствием успехов, хотя они с Уэйвеллом сошлись во мнении относительно того, что Бирма — это малярийное болото, абсолютно не пригодное для ведения современной войны. Быстрое наступление британцев в западной бирманской провинции Аракан завершилось неудачей и могло бы закончиться полной катастрофой, если бы генерал Уильям (Билли) Слим не приказал отступить. Черчилль обвинил в неудаче Уэйвелла. Уэйвелл, в свою очередь, порядком уставший от того, что Черчилль никак не может поверить в его способности, пригрозил подать в отставку. Он этого не сделал, но только после того, как Брук объяснил ему, что, если бы он, Брук, подавал в отставку каждый раз, когда Черчилль несправедливо его в чем-то упрекал, ему бы пришлось делать это «по меньшей мере раз в день». В дневнике Брук написал, что будущие совещания в Вашингтоне «будут сопряжены с многочасовыми переговорами и трудной работой, которую необходимо проделать, чтобы попытаться убедить [американцев] в том, что сначала необходимо разбить Германию... они будут делать вид, что понимают... и будут продолжать, как это делают сейчас, направлять большую часть сил в попытке нанести поражение Японии!». О бесконечно долгих встречах Брук написал: «Мне тошно от одной мысли о них»[157].

За пять дней до отъезда в Нью-Йорк во время испытаний спасательных шлюпок Черчилль сказал Гарриману, что приказал установить пулемет 50-го калибра на шлюпке, предназначенной для высокопоставленных лиц. «Меня не захватят в плен, — сказал он Гарриману, — самая славная смерть — погибнуть, вступив в схватку с врагом». Гарриман, который помрачнел от одной мысли, что дело может дойти до

использования шлюпок, напомнил Черчиллю о том, что выпущенная немцами торпеда не сможет потопить корабль «Королева Мария». «Что ж, — ответил Черчилль, — но ведь они могут выпустить в нас две». Громкие слова старого вояки, любившего славные сражения. Из более 6 тысяч солдат на борту, союзников и оси, на самом деле очень немногим довелось убить врага. У Черчилля был такой опыт; он убил несколько врагов. Он любил сражения, но ненавидел бессмысленные битвы, которые стоили солдатам жизни. Это в равной степени относилось к Маршаллу и Рузвельту. Однако чувства американцев сформировались под воздействием государственной политики и Священного Писания, которому они следовали, будучи благочестивыми христианами. В отличие от них, чувства Черчилля сформировались под влиянием кровопролитий на полях сражений, в Судане и Индии в прошлом веке, в Бельгии в 1916 году и в Лондоне в 1940 году. Помимо того, в отличие от американских военачальников, он мог более четко представить, какое начнется кровопролитие, если американские солдаты высадятся на побережье Франции в недостаточном количестве и плохо подготовленными. В следующие месяцы противоречие между его богатой фантазией и пылким желанием уничтожить немцев наложили отпечаток на него и на весь альянс[158].

Черчилль любил торжественные процессии так же сильно, как славные сражения. Он предложил Гарриману, к этому его подтолкнул Бивербрук, сойти с «Королевы Марии» в Бэттери-парке* и неожиданно для всех проехаться на автомобиле по улицам Манхэттена.

Черчилль не сомневался, что спонтанная поездка в свете событий в Северной Африке будет встречена местными жителями с восторгом. Гарриман убедил премьер-министра, насколько опасной может оказаться эта авантюра: их могут подстерегать итальянские и ирландские радикалы, не говоря уже о немецких шпионах. Черчилль неохотно отказался от этой идее. Они высадились на Стейтен-Айленде, где его ожидал президентский поезд, в хвосте которого находился личный вагон Рузвельта Ferdinand Magellan («Фердинанд Магеллан»). Гарри Гопкинс, находившийся в поезде, готовился к встрече с другом[159].

По пути в Вашингтон им подали обед: в меню среди прочего значился «небольшой стейк». Все, без исключения, британцы выбрали «небольшой стейк», который оказался таким огромным, что никто не смог доесть свою порцию. «Это был примерно недельный мясной рацион, — позже написал Исмей. — Мы от такого отвыкли». 11 мая, ближе к вечеру, Черчилль с Рузвельтом пили коктейли в Овальном кабинете Белого дома. На следующий день сэр Джон Андерсон узнал,

* Бэттери-парк — парковая зона на южной оконечности острова Манхэттен. На его территории расположен порт на реке Гудзон, откуда отправляются паромы к острову Эллис-Айленд, к статуе Свободы, к острову Стейтен-Айленд.

что американское правительство полностью контролирует месторождение урана в Канаде. Американцы исключили британцев из «Проекта Манхэттен». С президентом действительно предстояло обсудить очень многое[160].

13 мая Черчилль получил сообщение от Александера: «Сэр, считаю своим догом сообщить, что Тунисская кампания завершена... Мы владеем побережьем Северной Африки». Арним был взят в плен у мыса Бон вместе с 150 тысячами военнопленных, в том числе двенадцать генералов и 110 тысяч немецких солдат. New York Times сообщила, что, когда немецкий генерал подошел к Бернарду Фрейбергу и спросил об условиях заключения мира, новозеландский командующий ответил: «Безоговорочная капитуляция». Британские танки с восседавшими на них ликующими пехотинцами разъезжали по дорогам вдоль побережья у мыса Бон. После каждого выстрела танковой пушки из кустарниковых зарослей и маковых полей поднимались итальянцы и немцы с поднятыми руками. Это напоминало охоту на куропаток; для союзников охота оказалась удачной. Французы, потерпевшие поражение в 1940 году, взяли в плен 25 тысяч солдат оси, американцы — почти 38 тысяч, из них 34 тысячи были немцами. С ноября в Северной Африке в общей сложности было взято в плен 400 тысяч солдат оси. Победа досталась британским 8-й и 1-й армиям, потери которых составили 35 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Американцы потеряли 18 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести[161].

Война в Северной Африке закончилась. По мнению Аверелла Гарримана, начало этой победы было заложено в конце 1940 года, когда Черчилль, «отчаянно рискуя», отправил английские танки в Египет в момент смертельной угрозы, нависшей над Родным островом и всей империей[162].

Спустя несколько дней после прибытия в Вашингтон Черчилль, выступая на заседании конгресса Соединенных Штатов, заявил, что «немецкая армия еще раз доказала правдивость слов: «Германия либо у ваших ног, либо у вашего горла», и мы должны помнить об этом и впредь. Однако для нас, на этом этапе войны, важно, что мы можем сказать: «один континент освобожден»[163].

В день капитуляции в Северной Африке Муссолини укрылся в Рокка-делле-Каминате, своей летней резиденции неподалеку от Форли, где проводил время, просматривая газетные статьи и подчеркивая нужные места в статьях об Африканской кампании красным и синим карандашами. У него появилась неуверенная походка, он стал неряшливым. Если раньше его стол был образцом чистоты, то теперь он был завален полуоткрытыми книгами, фашистскими значками и медалями, пучками пшеницы, перевязанными трехцветными лентами. Он

был удручен и считал, что итальянцы пали духом и не желали воевать, частично из-за налетов военно-воздушных сил союзников на Геную, Турин и Неаполь. Налеты произвели тот эффект, которого добивался Черчилль. Очередь Рима подошла 16 мая. В течение трех лет Королевские военно-воздушные силы периодически совершали налеты на Италию: теперь сотни американских бомбардировщиков B-17s появились в небе над Римом. Дуче пришел к выводу, что бомбардировки служат прологом к вторжению на Сицилию (не на Корсику или Сардинию, не в Южную Францию или Грецию, как считали в Берлине). А после Сицилии, считал Муссолини, следующей целью союзников станет материковая часть Италии[164].

Интуиция не подвела дуче, но у него больше не было сил на то, чтобы вдохновлять свой народ на героическое сопротивление и убедить Берлин, что следующей целью будет Сицилия. Берлин не обратил внимания на его мнение, поскольку Муссолини был склонен делать неожиданные заявления, и не вызывало сомнений, что у него сдали нервы.

На той неделе New York Times вышла под заголовком «ИНДИЙСКИЙ ШТАБ: ПРИСУТСТВИЕ УЭЙВЕЛЛА РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК НАМЕК НА БОЛЕЕ РАННЕЕ НАЧАЛО БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ЯПОНИИ». Появившаяся в лондонском Times подобная статья заставила Клементину написать мужу: «Меня беспокоит, что пресса придает слишком большое значение... присутствию Уэйвелла... в твоей компании. Я очень боюсь, что американцы решат, будто следующий этап войны будет проходить на Тихом океане». Она точно уловила, что именно это тревожило Брука, Черчилля и Англию[165].

В какой-то степени присутствие Уэйвелла на конференции означало, что основной упор в войне будет сделан на Японию, а не на Бирму, где войска генерал-майора Кавабэ Масакадзу остановили зимнее наступление британцев на Акьяб. Черчилль с Бруком решили сообщить Рузвельту, что операция «Анаким», планируемое вторжение в южную часть Бирмы, откладывается до 1944 года. Для проведения операции просто не хватало ресурсов. Тем не менее в Вашингтоне обсуждались две стратегии ведения боевых действий в Японии и в каждой отводилось место Бирме. Джозеф Стилвелл высказался в поддержку сухопутной кампании, из Индии через Северную Бирму в Китай. Макартур отбирал американских солдат, предназначавшихся Стилвеллу, а китайские войска Стилвелла не проявляли признаков боевой деятельности. Клэр Шеннолт, стремившийся как можно скорее разместить свою 14-ю воздушную армию на территории Китая, поддержал военно-воздушную стратегию нанесения ударов по Японии с баз, расположенных в Китае. Уэйвелл отметил явный недостаток плана Шеннолта: в Китае нет нефтеперерабатывающих заводов и нет

возможности заправлять эскадрильи истребителей и бомбардировщиков. В этом он был абсолютно прав. Воздушный путь союзнических транспортных самолетов DC-4, доставлявших в Китай топливо и боеприпасы, проходил над Восточными Гималаями — над «горбом», как называли Гималаи американские летчики, — и в грузовых отсеках самолетов всегда находился запас бензина, необходимый для возвращения в Индию. Нехватка войск (особенно американских), танков и грузовиков — все было против Стилвелла, считавшего, что его театру военных действий не уделяется должного внимания, поскольку «Рузвельт у Черчилля в кармане... Англичане не заинтересованы в войне в Тихоокеанском регионе, и, учитывая симпатии президента, они неплохо устроились». Стилвелл, свободно говоривший на мандаринском наречии китайского языка, ненавидел китайцев (он считал режим Чан Кайши коррумпированным и невежественным) чуть меньше, чем англичан. Черчилль не обратил особого внимания на план Стилвелла, но был полностью согласен с его мнением относительно Чан Кайши. Ни Стилвелл, ни Шеннолт не смогли предложить план по оказанию помощи Чан Кайши, от которого зависело многое до взятия Бирмы; у них не было плана, было только название. Когда дело дойдет до захвата Бирмы, сказал Черчилль Бруку, «вам лучше разом съесть дикобраза»[166].

Вскоре Черчилль прибегнул к еще одной зоологической аналогии: «Идти в болотистые джунгли для того, чтобы сразиться с японцами, все равно что опуститься в воду, чтобы сразиться с акулой». Он считал, что «гораздо лучше заманить ее в ловушку или поймать на крючок, а затем вытащить на сушу и добить топорами», Лучшим местом для такой ловушки, по его мнению, была северная оконечность острова Суматра, откуда Королевский военно-морской флот мог совершать набеги на японские линии поставок между Токио и Сингапуром. Вскоре он полностью сосредоточился на этой стратегии, уделяя ей такое же внимание, как операции «Юпитер», вторжению в Северную Норвегию[167].

Вопреки заголовку в New York Times, присутствие Уэйвелла в Вашингтоне было скорее связано с Индией, чем с ведением боевых действий против Японии. Черчилль считал, что пришло время провести полную реорганизацию структуры командования в Индии и Бирме. Он решил назначить нового вице-короля и нового командующего в Индии, а также учредить должность Верховного главнокомандующего в Юго-Восточной Азии, которая не предназначалась для Уэйвелла, чья агрессивность по-прежнему вызывала сомнения премьер-министра. Нет, он положил глаз на Уэйвелла в качестве вице-короля Индии. Иден вежливо отказался от этого предложения из опасения, что это положит конец его карьере; по традиции вице-королем назначали лорда, и лордов, как правило, не назначали на должность премьер-

министра. Черчиллевский выбор Уэйвелла в качестве будущего вице-короля Индии должен был продемонстрировать Рузвельту, что правительство Великобритании считает, что ситуация в Индии требует решительных военных действий, а не ловких политических ходов.

Главнокомандующим в Индии, по мнению Черчилля, должен был стать Клод Окинлек. Черчилль хотел, чтобы Юго-восточное азиатское командование (SEAC) возглавил маршал авиации Шолто Дуглас, бывший начальник, бывший глава Истребительного командования Королевских ВВС, а в данное время главнокомандующий Королевскими ВВС на Среднем Востоке. Черчилль считал эту кандидатуру самой подходящей, отчасти потому, что Дуглас, как летчик, сможет наилучшим образом организовать поставки по воздуху силам Чан Кайши. Против кандидатуры Дугласа возражали американцы. Он часто позволял себе критические замечания в адрес Америки, как Стилвелл в адрес Великобритании. О его явных амбициях и роли в смещении героя битвы за Англию Хью Даудинга с должности главнокомандующего истребительной авиацией (впоследствии Даудинг стал главой британской авиационной миссии в США) было прекрасно известно в Америке. Американцы расшифровали аббревиатуру SEAC: «Смотри, как Англия Приобретает Колонии» (See England Acquire Colonies), настолько глубоким было их убеждением, что Черчилль хочет вернуть утраченные азиатские территории и не испытывает никакого желания помочь Чан Кайши[168].

За две недели, отведенные на «Трайдент», Черчилль получил от Рузвельта то, что хотел по проекту атомной бомбы: полномасштабное сотрудничество и обещание делиться окончательным продуктом. Рузвельт считал, что это оружие будет готово к использованию в этой войне, которая, как он предполагал, может продлиться до 1946 или даже до 1947 года. Черчилль сообщил военному кабинету, что за этой договоренностью последует заключение официального соглашения. Кроме того, президент наконец отреагировал на предложение, сделанное Гарриманом еще в марте, и распорядился, чтобы Военное управление судоходства направляло больше кораблей под британский флаг — пятнадцать—двадцать в месяц. Но Рузвельт кормил Черчилля подобными обещаниями уже несколько месяцев; он и на этот раз не сдержал слово. Эти корабли были нужны адмиралу Кингу и Макартуру. С точки зрения британцев, из-за Кинга с его тихоокеанской стратегией ситуация с каждым днем осложнялась. Брук написал в дневнике: «Крен в сторону Тихоокеанского региона силен, как никогда. Мы оглянуться не успеем, как они начнут убеждать нас, что сначала надо одержать победу над Японией!»[169]

Брук считал, что американцам кажется, что их водили за нос с операциями «Факел» и «Хаски», и «теперь они не позволят, чтобы их

опять обвели вокруг пальца». Франция, и только Франция составляла основу стратегического плана Джорджа Маршалла. Но существовал один простой способ удовлетворить Маршалла и избежать переброски американцами основных сил в Тихоокеанский регион, и он состоял в том, что британцам следовало подождать, пока американцы назовут дату вторжения во Францию, что они и сделали, а затем согласиться с этим решением, что и сделали британские командующие штабами. Поступив таким образом, Черчилль и Брук дали Рузвельту и Маршаллу то, что они давно требовали. Участие американцев в стратегии нанесения удара через Ла-Манш означало, что внимание президента и Маршалла будет по крайней мере в равной степени разделено между Европейским и Тихоокеанским театрами военных действий. Было решено начать операцию 1 мая 1944 года. Однако осталось невыясненным, будет ли это высадка небольшого десанта, операция «Кузнечный молот», или более крупная операция по высадке десанта, операция «Раундап». В Государственном департаменте и в штабе Эйзенхауэра возникало столько путаницы из-за этих двух кодовых названий, что было решено назвать данную операцию «Округлый молот» (Roundhammer). Каким бы ни было название, решение о проведении этой операции означало, что еще одно из обещаний, данных в Касабланке, и самое важное для Сталина, — отправка войска во Францию в августе 1943 года — будет выполнено только в следующем году[170].

Черчилль хотел, чтобы операцию по вторжению на континент возглавил Алан Брук. У Черчилля не вызывало сомнений, что командование операцией должен взять на себя британский генерал. В конце концов, Великобритания отправила больше солдат, самолетов, танков (хотя многие были американского производства) и кораблей на Европейский и Северо-Африканский театры военныхх действий, чем американцы. Кроме того, когда Эйзенхауэра назначили командовать операцией «Факел», подразумевалось (как считал Черчилль), что британец будет командовать вторжением во Францию. Комитет по планированию операции вторжения (вскоре она получила кодовое название «Оверлорд») возглавил англичанин, генерал-лейтенант Фредерик Э. Морган, начальник штаба Верховного главнокомандующего союзными войсками (COSSAC). Морган разделял мнение Маршалла относительно необходимости нанесения прямого удара по Германии. Он относился к своей должности со всей ответственностью и не собирался делать вид, что его все устраивает, только ради того, чтобы угодить (или обмануть) американцам.

Черчилль и Брук возлагали надежды на «Оверлорд», но считали, что операция должна быть предпринята только тогда, когда Германия будет находиться на грани поражения, с востока будет наступать Красная армия, Королевские военно-воздушные силы — с запада, а союзнические армии будут в Италии и на Балканах (если Черчиллю

удастся настоять на своем). Хотя они считали, что преждевременное вторжение во Францию приведет к катастрофическим последствиям, они согласились начать операцию 1 мая 1944 года, не выдвинув никаких условий, которые следовало выполнить до начала операции. Эта оплошность, допущенная в ходе переговоров, привела к проблемам с Маршаллом и Рузвельтом, которые возникли в ближайшие месяцы. Между тем, по мнению Черчилля, в случае соблюдения этих условий к моменту начала операции, 1 мая 1944 года, командование операцией «Оверлорд» принял бы Брук. Один из друзей Брука по возвращении в Алжир сообщил ему, что Эйзенхауэр довольно твердо заявил, что только два человека способны возглавить вторжение: Джордж Маршалл и сэр Алан Брук. Вот почему Брук пришел в сильное волнение, когда спустя две недели после «Трайдента» Черчилль сообщил, что его, возможно, сделают Верховным главнокомандующим. Начальник имперского Генерального штаба понимал, что назначение может стать «кульминационным моментом в моей борьбе за формирование военной стратегии», чтобы сделать возможным вторжение во Францию. Поклявшись Черчиллю хранить эту информацию в секрете, Брук не поделился новостью даже с женой[171].

Пока в Объединенном комитете начальников штабов велись ожесточенные споры относительно военной стратегии, президент с Черчиллем обсуждали послевоенную политику. Рузвельт вкратце изложил Черчиллю, как до этого Идену, свое видение послевоенной Европы, с ослабленной Францией и полностью уничтоженной Германией. Такой послевоенную Германию представляли профессор Линдеман и министр финансов Генри Моргентау-младший*, старый друг Рузвельта и его сосед по Гайд-Парку на реке Гудзон.

Своего мрачного товарища Рузвельт называл «мистер Морг». Моргентау не испытывал ненависти к немцам, но ненавидел зло и особенно ненавидел нацистов. Его министерство финансов сыграло роль в определении судьбы Германии, поскольку контролировало программу ленд-лиз, имевшую огромное внешнеполитическое значение, но, по сути, напрямую связанную с банковской деятельностью. Вот почему министерство финансов, а не Государственный департамент будет играть определяющую роль в решении вопроса, как наилучшим образом заставить Германию заплатить — в прямом и переносном смысле — за свои преступления. Германия должна сполна заплатить за преступления, считал Моргентау, и, самое главное, Рузвельт разделял его мнение.

---

* Известен как автор Плана Моргентау, предложенного США в 1944 году для преобразования послевоенной Германии в ряд небольших, ослабленных в промышленном и военном отношении государств.

У Черчилля было на этот счет свое мнение. На совещании «Трайдент» он предложил Рузвельту план послевоенной системы международной безопасности, который включал в себя создание Всемирного совета и трех региональных советов, в Азии, в Северной и Южной Америке и в Европе. В рамках этих советов предполагалось формирование блоков и ассоциаций государств, построенных на федеративных началах, что позволит избежать актов агрессии. Самый важный блок будет представлять собой «братскую ассоциацию Британского Содружества и Соединенных Штатов», сохранив Объединенный комитет начальников штабов. Эти предложения были очень похожи на идеи, которые он озвучил в мартовском выступлении по радио, и на то, что Иден сообщил Рузвельту и Халлу во время своего визита в Вашингтон. Черчилль также предложил создать дунайскую федерацию с правительством в Вене, демократическую федерацию государств, включая Баварию, чтобы заполнить вакуум, возникший после исчезновения Австро-Венгерской империи. Это новое государство, в свободном союзе с Великобританией (а в идеале сотрудничающее с Соединенными Штатами) и обновленной Францией, сможет защитить себя от посягательств со стороны других держав, включая восстановленную Германию и Советский Союз, если после войны проявятся экспансионистские амбиции Сталина. Если Сталин останется верен своему слову и будет придерживаться договора о дружбе, заключенного сроком на двадцать лет, то Франция возьмет на себя прежнюю роль державы, сдерживающей Германию на западе, в то время как Советы будут делать то же самое на востоке. Однако Германия (демилитаризованная) станет важным партнером с точки зрения экономического восстановления Европы. После войны даже Сталину понадобится немецкая сталь. Политика Идена, разработанная в министерстве иностранных дел, преследовала три цели: сдерживание Германии, восстановление Франции и подготовка к сдерживанию Советов. «Решение этих задач, — написал Иден в одном из меморандумов, — необходимо для обеспечения нашей безопасности, независимо от того, будут ли Соединенные Штаты участвовать в поддержании мира с этой стороны Атлантики». С точки зрения американцев, все это напоминало «сферы влияния» и «союзы», военные и экономические, то, что привело не только к нынешней войне, но и являлось причиной всех европейских конфликтов в Европе с раннего Средневековья[172].

Если Рузвельт и Государственный департамент видели серьезнейшую угрозу послевоенным англо-американским отношениям в черчиллевском старом порядке, то Черчилль видел ее в сталинском новом порядке. Насколько далеко на запад распространится влияние Сталина в Европе, будет зависеть от того, где встретятся советские и англо-американские войска в конце войны. Вот почему послевоенное англо-французское единство так много значит для Лондона, несмотря на де

Голля и его неумение ладить с людьми. Но для Вашингтона это не имело особого значения. Рузвельт считал, что для победы в войне ему не нужны французы (а уж тем более де Голль), а Черчиллю нужна возродившаяся Франция для обеспечения мира в Европе. Черчилль не любил де Голля, но прекрасно понимал, что народ оккупированной Франции видит в нем своего спасителя. В Лондоне ходили слухи, что 80 процентов французов считают Шарля де Голля «символом французского Сопротивления». Рузвельт, в свою очередь, основываясь на поверхностных докладах Роберта Мерфи из Африки, относил подобные мнения за счет пропаганды голлистов. Он высказал свое мнение о де Голле в записке, адресованной Черчиллю во время «Трайдента»: «Он [де Голль], возможно, честнейший парень, но у него мессианский комплекс». Рузвельт считал, что народ Франции поддерживает движение «Свободная Франция», а не де Голля, чье «поведение вызывает все большее раздражение». Рузвельту было ясно, что, «когда мы высадимся во Франции, нам придется рассматривать это как военную оккупацию». Он предложил избавиться от де Голля и его Французского национального комитета и создать под контролем союзников «совершенно новый французский комитет». Черчилль позднее вспоминал, что во время пребывания в Вашингтоне «ни дня» не проходило без того, чтобы Рузвельт не выразил свое недовольство де Голлем[173].

21 мая, под влиянием горячих речей Рузвельта, Черчилль отправил телеграмму в Лондон, в которой советовал британскому правительству разорвать отношения с де Голлем. Иден немедленно ответил, что он категорически против. Жиро и де Голль договорились на следующей неделе встретиться в Алжире, чтобы окончательно оформить свои отношения, создав новый Французский национальный комитет. Не будет ли разумнее, сказал Иден, подождать результатов этой встречи, прежде чем принимать столь серьезное решение. Черчилль согласился. Окончательное решение могло подождать до встречи Жиро и де Голля. Черчилль считался (зачастую с большой неохотой) с мнением Объединенного комитета начальников штабов по военным вопросам и считался (опять же с большой неохотой) с мнением военного кабинета, когда дело касалось политики. Он был сторонником парламентаризма, а потому не мог поступать иначе. Позднее Иден шутил, приписывая двойственность его мнения относительно де Голля тому, что Черчилль был наполовину американцем. Но оба знали, что на самом деле Черчилль склонялся к тому, чтобы уступить Рузвельту из-за растущего влияния, которое Соединенные Штаты оказывали на Британию. Иден хорошо выполнял свою работу (как и Брук свою в военной сфере), отговаривая Черчилля от наиболее провокационных и нереалистичных решений, как политических, так и военных. В свою очередь, Черчилль вел их вперед, ни перед чем не останавливаясь, к общей цели: победе[174].

Однако Третья Вашингтонская конференция была созвана для того, чтобы обсудить, как вести войну, а не что делать с французами или послевоенным миром. Несмотря на то что переговоры подходили к концу, оставался нерешенным стратегический вопрос, который Черчилль считал самым важным: куда двигаться после Сицилии. Куда направить двадцать закаленных в боях дивизий, 4 тысячи самолетов Теддера и флот Каннингема? Необходимо сохранить наступательный порыв победной Африканской кампании и принять окончательное решение по Сицилийской кампании. В своих планах Черчилль отводил место Италии и Муссолини. На его пути было только одно препятствие: Джордж Маршалл. Поздно вечером 25 мая Маршалл зашел в кабинет Рузвельта, чтобы попрощаться с Черчиллем. В это время Рузвельт с Черчиллем заканчивали коммюнике Сталину, после чего собирались разойтись по спальням. Рузвельт сказал Черчиллю, что, если он хочет убедить всех в необходимости осуществить высадку именно в Италии, ему придется остаться в Вашингтоне еще на неделю. Черчилль не мог на это пойти; он почти месяц назад уехал из Лондона. На рассвете он вылетит в Алжир, чтобы встретиться с Александером и Эйзенхауэром. Маршалл, попрощавшись, уже собирался уходить, когда Рузвельт сказал: «Почему бы вам не полететь с Уинстоном?» Предложение исходило от главнокомандующего, так что это был скорее приказ, чем предложение. Было начало третьего ночи. Черчилль собирался вылететь в шесть утра. У Маршалла, для которого долг был превыше всего, на сборы оставалось совсем мало времени, но это не помешало ему полететь вместе с Черчиллем[175].

Черчилль и Маршалл вылетели из Вашингтона на Boeing Clipper «Бристоль», который взял курс на Ньюфаундленд, первая остановка на пути в Алжир. Помимо Маршалла, Черчилля сопровождали Исмей и Брук, а также его врач лорд Моран, который тоже стал жертвой какого-то желудочного вируса, из-за чего ему пришлось сойти в Гибралтаре и вернуться в Лондон. Вместе с Черчиллем летел стенографист Патрик Кинна, который за двадцать два месяца службы стал полноправным членом команды. На борту находился Томпсон из Скотленд-Ярда и еще один детектив, капитан Ричард Пим, отвечавший за карты, аккуратно свернутые и спрятанные в чемодан. Сойерс, камердинер Черчилля, как обычно, отвечал за напитки, снотворное и грелку[176].

Путешествие произвело сильное впечатление на Брука; в тот год он записал, сколько миль занимал каждый отрезок пути, сколько времени проводили в воздухе, чтобы преодолеть эти мили (почти девять часов и 1300 миль на участке пути до Ньюфаундленда). Все на борту подписали друг другу «бумажные доллары». Все, совершившие трансатлантический перелет, хранили бумажный доллар с подписями всех пассажиров. Идея «секты», как назвал ее Брук, родилась у американцев, которые первыми совершили трансатлантический перелет. Тот,

кто не мог показать бумажный доллар с подписями, должен был отдать доллар или оплатить рюмку виски. Со временем полеты участились, и у многих скопилась коллекция бумажных долларов с подписями. Черчилль подписывал бумажные доллары, пока самолет летел на север, пробиваясь сквозь плотный туман. После четырехчасовой остановки на обед в Ботвуде и несмотря на резкое ухудшение погодных условий на побережье, «Бристоль» поднялся в воздух, чтобы совершить 17-часовой перелет до Гибралтара. Внутри самолета было не намного теплее, чем за бортом. Дважды в самолет ударяла молния. Проведя лунную ночь на высоте 7 тысяч футов над Атлантикой, поздно вечером 27 мая группа прибыла в Гибралтар и остановилась на ночь в резиденции губернатора. На следующий день около полудня они поднялись на борт нового самолета Avro York, созданный на основе тяжелого четырехмоторного бомбардировщика Avro Lancaster; в нем было пять спальных мест, гостиная, туалетная комната, а вечером они уже принимали ванны на виллах Каннингема и Эйзенхауэра в Алжире[177].

В тот день, когда Черчилль и Маршалл вылетели из Вашингтона, британский конвой, совершив переход из Гибралтара, длиной 2 тысячи миль, без приключений, пришел в Александрию. Впервые с 1941 года Средиземное море открылось для сквозного судоходства. Брук, всегда подсчитывавший тоннаж кораблей, пришел к выводу, что теперь удастся доставлять на миллион тонн больше грузов, благодаря сокращению пути из Лондона в Египет, который раньше проходил вокруг мыса Доброй Надежды и составлял 10 тысяч миль (45 дней пути)[178].

В мае потери союзнических кораблей сократились до 200 тысяч тонн — примерно сорок кораблей. Дёниц достиг этих скромных результатов ценой сорока подводных лодок, что в два раза превышало количество лодок, потопленных в марте и апреле, когда ему удалось потопить корабли общим водоизмещением почти в миллион тонн. В июне он отправил свой подводный флот в Восточную Атлантику. За весь июнь немецкие лодки потопили всего шесть кораблей общим водоизмещением 27 тысяч тонн, то есть всего 5 процентов от потопленных в марте. Британский самолет, оборудованный микроволновым радаром, мог засекать немецкие подводные лодки, всплывавшие на поверхность, даже в ночное время и в туман. Их координаты передавались кораблям, которые сразу же брали курс на обнаруженную подводную лодку. Благодаря этой тактике за май (в кригсмарине его назвали «черным маем») и начало июня в Бискайском заливе было уничтожено тридцать восемь немецких подводных лодок, на три меньше, чем затонуло союзнических торговых судов в Атлантике и Северном Ледовитом океанах, и на двенадцать больше, чем было спущено

новых подводных лодок. Несмотря на прекращение действий в Западной Атлантике, потери Дёница продолжали стремительно расти. С начала 1943 года британские и американские торговые суда строились быстрее, чем их топили немецкие подводные лодки. Кроме того, увеличилось количество воздушных патрулей, появились новые радары, что позволило союзникам уничтожать немецкие подводные лодки намного быстрее, чем Гитлер мог построить новые. К июлю темпы строительства новых судов в Америке позволили перекрыть все виды потерь: от немецких подводных лодок, мин, кораблей и самолетов. Американское судостроение наконец набрало необходимые обороты: за год было спущено на воду половина (более 12 миллионов тонн) от количества кораблей, построенных Британией за всю войну.

Черчилль больше не опасался, что Британии перекроют кислород или что немецкие войска высадятся на острове. И все же победа пока еще казалась очень далекой. Американским войскам предстояло набраться опыта, а американские судостроительные верфи должны были строить больше кораблей, чтобы одновременно удовлетворять нужды Британии, России, Макартура и второго Европейского фронта. С этого времени, позже написал Черчилль, «угрожало уже не поражение, а ничейный исход»[179].

Бивербрук разделял его мнение. «Как бы нам не пришлось ждать, пока на последнюю гетру не будет пришита последняя пуговица», — написал он Гарри Гопкинсу. Если союзники не готовы пойти на риск, связанный с открытием второго фронта, и понести соответствующие потери, «нам следует сконцентрироваться на производстве тяжелых бомбардировщиков и ожидать завершения войны не раньше 1950 года». 19 мая Черчилль нечто похожее сказал, выступая на заседании конгресса США: «Никто не может сказать, какие новые трудности и опасности могут возникнуть, если война продлится еще четыре или пять лет. И сейчас главная надежда Германии и Японии как раз и заключается в том, чтобы затягивать войну, ведение которой обходится невероятно дорого, до тех пор, пока демократии не устанут, или им надоест, или они утратят единство. Мы должны уничтожить эту надежду»[180].

Все порты в Северной Африке от Александрии до Касабланки были заполнены военными, транспортными, десантными и грузовыми судами. Из миллиона солдат, находившихся на побережье Северной Африки, 160 тысяч отправились в Сицилию. Подобно Линкольну, после того как Грант перешел со своими войсками реку Рапидан и направился к Ричмонду, Черчилль считал, что его армия, состоявшая из британских, колониальных, французских, американских солдат, обрела уверенность и силу на полях сражений в Северной Африке. Эту армию нельзя сдерживать. Она должна двигаться вперед. Такую силу нужно вести к будущим победам, до самого конца.

Черчилль сказал Маршаллу и Эйзенхауэру, что эту гигантскую машину, однажды запущенную, будет трудно остановить. Использовать эту армию только на Сицилии означает снизить темп наступления, а это противоречит одному из главных правил стратегии: всегда развивай успех. «Продолжать наступление пока не захватим Италию», — снова и снова повторял он Эйзенхауэру. Через два дня после своего приезда в Алжир Черчиллю удалось достигнуть важнейшей договоренности с Маршаллом и Эйзенхауэром. Союзники нанесут удар по Италии с воздуха и с моря. Первым объектом была сортировочная станция в Риме, всего в 5 милях от Ватикана (находясь в Вашингтоне, Черчилль заверил кардинала Фрэнсиса Джозефа Спеллмана, архиепископа Нью-Йорка, что будут приняты меры предосторожности, чтобы не пострадал Вечный город). С помощью одной авиации можно было вывести Италию из войны. Если этого будет недостаточно, подключится армия. Окончательное решение о высадке в Италии осталось за Эйзенхауэром. В каком месте на территории материковой Италии союзники нанесут удар после Сицилии, будет зависеть от того, сколько немецких войск будет переброшено в Италию и где будут располагаться их оборонительные позиции. Если рубежи немцев будут проходить севернее реки По, удар союзнических войск в направлении Тосканы позволит отрезать войска оси в южном направлении и избежать утомительного четырехсотмильного марша. Другая стратегия предполагала нанесение удара по Неаполю, а затем быстрое наступление в северном направлении, на Рим. Черчилль был настолько уверен, что Италия созрела для поражения, что сказал Эйзенхауэру, что британцы с радостью согласятся на сокращение своих месячных пайков вдвое, если это поможет вывести ее из войны, и тогда они могли бы, вдвоем с Эйзенхауэром, встретиться в Риме за рождественским столом[181].

Маршалл одобрил итальянский гамбит, но, как и Черчилль в Вашингтоне (отказавшись сформулировать условия, необходимые для осуществления операции «Оверлорд»), не сказал то, что ему казалось очевидным: операции в Италии не являются препятствием для планирования и осуществления «Оверлорда». Эта ошибка, как и черчиллевская в Вашингтоне, еще до окончания года приведет к разногласиям между англичанами и американцами.

Маршалл отправился домой, а штаб Эйзенхауэра приступил к работе по определению места, в котором предстоит нанести удар по Италии. Черчилль пребывал в прекрасном расположении духа. Позже он написал: «У меня не было более приятных воспоминаний о войне, чем эти восемь дней в Алжире и Тунисе». Однажды утром помощник Эйзенхауэра застал Черчилля в тот момент, когда ему подали завтрак в постель — «бутылку белого вина, бутылку содовой и ведерко со льдом». Он был в прекрасном настроении. Он добился своего. 1 июня Черчилль с компанией вылетел в Тунис, откуда они отправились в

Карфаген, где Черчилль выступил перед солдатами в римском амфитеатре. Акустика была настолько хорошей, что не понадобились громкоговорители. Вечером того же дня за ужином Черчилль заявил: «Да, я говорил там, где крики христианских девственниц разрывали воздух, пока разъяренные львы пожирали их, а я не лев и уж точно не девственник». В другой раз за ужином стол был накрыт на тринадцать персон, но «из уважения к британскому суеверию» помощника Эйзенхауэра Гарри Бутчера пригласили присоединиться, чтобы за столом было четырнадцать человек. Когда речь зашла о дневниках, Черчилль сказал, что привычка вести дневник является довольно глупой, поскольку в дневник записываются только эмоции, пережитые автором за день, и то, что он мог чувствовать интуитивно, а дальнейшие события могут показать, что эти ощущения были необоснованными и неверными, что выставит человека, ведущего дневник, дураком. Черчилль сказал, что предпочитает дождаться окончания войны и потом описать свои впечатления, чтобы «в случае необходимости иметь возможность исправить или предать забвению свои ошибки». Одним словом, сделал вывод Брук, Черчилль был в «прекрасном настроении». Так это и было, если не считать де Голля[182].

Присутствие де Голля в Алжире не давало Черчиллю покоя. Он написал Клемми: «Здесь все ожидают, что он [де Голль] поднимет шум и будет добиваться удовлетворения своих личных амбиций». Чтобы этого не случилось, британцы тайно вывезли из Франции генерала Альфонса Жоржа (которого Брук в последний раз видел во время обреченной на провал обороны Бретани). При этом надеялись на то, что в новом Французском комитете будет достаточно антиголлистов (таких, как Жорж), чтобы контролировать высокого француза. После завтрака с Жиро и Жоржем Черчилль написал Клементине: «В их компании я снова испытал утраченные иллюзии относительно Франции и ее армии». Для Черчилля стало сюрпризом, что уже через два дня французы достигли соглашения о создании Французского комитета национального освобождения. Казалось, что присутствие Жиро и Жоржа будет ограничивать влияние де Голля. Рузвельт не верил в долгосрочность соглашения и сказал Черчиллю, что, о чем бы французы ни договорились между собой, они по-прежнему будут действовать по англо-американским законам военного времени. «Невеста [де Голль], очевидно, забыла, что идет война, — написал Рузвельт. — Удачи в избавлении от нашей общей головной боли». Но избавиться от француза было не так-то просто. Через несколько недель, по настоянию де Голля, новый Французский комитет потребовал официального признания в качестве правительства Франции в изгнании. Рузвельт отказался, требуя, как и во время визита Черчилля в Вашингтон, чтобы Франция после освобождения была «оккупирована» англо-американскими войсками до тех пор, пока французы не выберут новое

правительство. Он предложил «принять» Французский комитет, но не признавать официально[183].

В итоге в полдень 4 июня, не продвинувшись в решении французского вопроса, Черчилль добился того, что движение «Свободная Франция» стало более сплоченным, а Маршалл принял его точку зрения. После этого Черчилль, поднявшись на борт Avro York, вылетел в Гибралтар. В последнюю минуту он попросил Александера сопровождать его в Лондон, чтобы уладить пару проблем, известных только ему. Александеру, занятому разработкой Сицилийской кампании, ничего не оставалось, как молча согласиться. Это означало, что на York стало одним пассажиром больше. Черчилль, не придумав ничего лучше, сказал Мопсу Исмею, что тот должен покинуть самолет, поскольку «он очень тяжелый и перегрузил самолет». Исмей схватил чемодан и пересел в транспортный самолет. Ни Александер, ни Исмей «не обижались на Черчилля» за его «откровенное безразличие» к их безопасности и удобству, поскольку «они знали, что к себе он относится так же — и даже строже, — если считает, что это поможет в войне». Черчилль планировал пересесть в Гибралтаре в гидросамолет, чтобы на нем преодолеть последний участок пути, но ужасная погода вынудила его лететь на B-24 «Либерейтор». Он появился дома на следующее утро. Его месяц не было в стране[184].

В тот день немецкий агент сообщил вышестоящему начальству, что видел в Лиссабонском аэропорту мужчину плотного телосложения, курившего сигару, который сел в самолет, летевший в Лондон. Были сделаны соответствующие звонки. В воздух поднялся немецкий истребитель. Злополучный самолет сбили над морем, и все четырнадцать пассажиров, включая известного киноактера Лесли Ховарда, погибли. Позже Черчилль написал, что жестокость немцев «могла сравниться только с глупостью их агентов». Однако, написал он, то, что он прибыл домой целым и невредимым, было еще одним примером «непостижимой игры судьбы»[185].

Этот случай расстроил британцев. Пока премьер-министр был где-то в воздухе, британцам было не по себе в его отсутствие. После его благополучного возвращения Пэнтер-Доунес написала: «Не только вечно причитающие старые леди надеются на то, что премьер-министру еще долго не понадобится совершать такие длительные и опасные путешествия». Была неделя июньского полнолуния. Но силы вторжения не выдвигались на Сицилию, они были готовы и ждали, ждал и Черчилль. Согласно лунному циклу три ночи, с 8 по 10 июля, были наиболее благоприятными для наступления[186].

Черчилль давно высказывал надежду, что после войны Сталин скорее выступит гарантом мира, чем его нарушителем. Он рассчитывал, что Польша и Чехословакия — наряду с Британией и Америкой —

установят «дружеские отношения с Россией». Однако в июне официальные отношения Польши со Сталиным, временно приостановленные, были окончательно разорваны, а англо-американские отношения с Россией достигли, по оценке Гарримана, «низшей точки за всю историю существования альянса». Решения, принятые на Третьей Вашингтонской конференции, когда Сталин узнал о них, не вызвали у него ничего, кроме презрения. Он обдумывал предложение Рузвельта о личной встрече, но, как только узнал о решении отложить открытие второго фронта до 1944 года, сразу отклонил его. Встречаться не имело смысла, а обсуждать было нечего. Он написал похожие, злые сообщения Рузвельту и Черчиллю, в которых перечислил все данные ими обещания открыть второй фронт в 1943 году и предупредил, что советское правительство «не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны». Он подчеркнул, что это «Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом». Черчилль попытался успокоить его: «Я вполне понимаю Ваше разочарование, но уверен, что мы предпринимаем действия, которые являются не только правильными, но и единственно физически возможными в данных обстоятельствах. Россия не получила бы помощи, если бы мы бросили сотню тысяч человек через Канал в гибельное наступление, каким оно, по моему мнению, наверняка было бы, если бы мы попытались при теперешних условиях и со слишком слабыми силами развить какой-либо успех, которого можно было бы достичь очень тяжелой ценой». Ответ прозвучал еще резче: «Вы пишете мне, что Вы полностью понимаете мое разочарование. Должен Вам заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании советского правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям. Нельзя забывать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют небольшую величину»[187].

В конце месяца Рузвельт отправил Гарримана в Лондон с очередной трудной миссией: сообщить Черчиллю, что Рузвельт просил о встрече один на один со Сталиным, получил отказ и опять обратился с той же просьбой. Гарриман рассказал об этом Черчиллю за ужином, который продлился до глубокой ночи. В конце концов, сказал Гарри-

ман, вы с Бруком в августе посетили Москву, чтобы установить личные отношения со Сталиным. Почему бы президенту не сделать то же самое? Хотя Черчилль согласился с доводами Гарримана, было видно, что он разочарован. Остаток ночи он не находил места, многое передумал и утром отправил телеграмму в Вашингтон, в которой объяснил, что его поездка в Москву в прошлом году была нацелена на налаживание отношений со Сталиным, в то время как если Рузвельт встретится со Сталиным в данный момент, то британцы — да и весь мир — могут расценить это как неуважение к Британии. Он был прав, но его несогласие не играло никакой роли, поскольку Сталин не собирался встречаться с Рузвельтом. Сталин не отреагировал на просьбу Рузвельта разрешить американским бомбардировщикам приземлиться в России после налета на нефтяной район Плоешти (в тот раз американцы потеряли 54 из 178 бомбардировщиков). Сталин отозвал Майского из Лондона, а Литвинова из Вашингтона. Возникшая напряженность в отношениях между союзниками «вызывала тревожные воспоминания» о напряженной атмосфере, предшествовавшей подписанию пакта Молотова—Риббентропа. Вновь встал вопрос о возможности заключения Сталиным сепаратного мира. Позже Роберт Шервуд написал: «К счастью, Гитлер не знал, насколько плохими в тот момент были отношения между союзниками, насколько они были близки к разрыву, который был его единственной надеждой на выживание». Черчилль настолько устал от сталинского упрямства, что на несколько недель прекратил с ним общение. Лучше было помолчать[188].

Поздно вечером 9 июля самая большая в истории армада остановилась в 30 милях от побережью Сицилии — 2600 транспортных кораблей, танкеров, транспортов с боеприпасами, десантных и военных кораблей, примерно поровну американских и британских. Британские корабли с 8-й армией Монтгомери расположились у юго-восточного побережья, между мысом Пассеро и Сиракузами. Американские корабли с 7-й армией Паттона расположились у западного побережья, между Рагузой и Ликатой. Корабли пришли из всех североафриканских портов, из Канады, Британии и Соединенных Штатов, откуда морем была отправлена пехотная дивизия с запасом продовольствия, джипами, грузовиками, топливом и боеприпасами. Солдатам, находившимся на борту транспортных кораблей, было известно, что на берегу их ждут 200 тысяч итальянских и 35 тысяч немецких солдат. Но был повод и для оптимизма: три или четыре итальянские и одна немецкая дивизии были развернуты на северо-западе острова, поскольку ложными сообщениями по радио и отвлекающими маневрами союзнических кораблей удалось ввести в заблуждение командование противника. Но солдаты знали и то, что на острове в районе высадки американцев разместилась дивизия Германа Геринга. Несмотря на то

что ее сильно потрепали в Тунисе, солдаты и танки дивизии Германа Геринга были по-прежнему готовы к встрече с противником.

У союзников не было сомнений относительно желания Кессельринга сражаться. Успех во многом зависел от итальянцев, которые демонстрировали такое же отсутствие боевого духа, как и перед взятием Пантеллерии, острова-крепости, расположенного на полпути между Тунисом и Сицилией. Пантеллерия, которую называли итальянским Гибралтаром, была испещрена туннелями и редутами, ее обороняли десятки артиллерийских батарей и эскадрильи истребителей. Муссолини неоднократно говорил, что гарнизон будет биться до последнего солдата. В начале июля союзнический флот начал обстрел острова. После недельного обстрела с моря и воздуха десантные корабли союзников окружили остров в ожидании высадки на побережье Пантеллерии; командующий гарнизоном просигналил, что у них закончилась вода, и поднял белый флаг. Разрешение на сдачу он получил непосредственно от Муссолини, который был уверен, что он единственный итальянец, который по-прежнему хочет сражаться. Врач Муссолини уже давно постепенно увеличивал дозу беллафолина и алукола, лекарств от желудочных спазмов, возникавших у дуче при стрессах, особенно вызванных военными неудачами. Теперь желудочные спазмы возникали практически ежедневно. Пациент был сломлен, как и его народ[189].

Черчилль, считавший, что гарнизон Пантеллерии составляет от силы 3 тысячи человек, заключил с Эйзенхауэром пари: 5 сантимов (одна двадцатая цента) за каждого сдавшегося в плен итальянского солдата сверх предсказанных им 3 тысяч. Сдалось 11 тысяч человек. Эйзенхауэр решил не брать у Черчилля выигранные доллары[190].

Теперь, 9 июля, когда его флот участвовал в морском сражении, Эйзенхауэр задавался вопросом, появится ли у итальянцев на Сицилии желание сражаться, когда на рассвете союзнические войска высадятся на побережье. Погода уже зарекомендовала себя грозным противником; при подходе флотилии к Сицилии усилился западный ветер. На Мальте, в своем подземном штабе, известном как бункер Ласкариса, представлявшем систему туннелей, построенных еще мальтийскими рыцарями, Эйзенхауэр изучал карты и метеосводки. Метеорологи адмирала Эндрю Каннингема («АВС» — Admiral Andrew Cunningham) каждый час предоставляли Эйзенхауэру сводку погоды, и с помощью шкалы Бофорта* он мог оценить силу ветра и волнение на море.

С каждым часом сводки становились хуже. Маршал авиации Теддер, находившийся в штабе Эйзенхауэра, заметил, что нужно обладать боль-

* Шкала Бофорта — двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году.

шой смелостью, чтобы пытаться блокировать Италию с моря: «Даже у Ганнибала хватило здравого смысла перейти со своими слонами через Альпы». Весь день в небе находились огромные воздушные флоты, много самолетов взлетало с недавно отремонтированных мальтийских аэродромов — они направлялись бомбить побережье Сицилии и два десятка аэродромов оси. Поздно вечером Эйзенхауэр вышел из штаба, чтобы посмотреть, как будет проходить высадка десантников американской 82-й воздушно-десантной дивизии и британской 1-й воздушно-десантной бригады. В темноте, при сильном ветре, многие британские грузовые планеры, слишком рано отцепленные, отклонились от курса и вместе с десантом упали в море[191].

Когда Эйзенхауэр наблюдал за проплывавшей мимо воздушной флотилией, пришло сообщение от Маршалла: «Атакуем или нет?» Эйзенхауэр ничего ему не ответил. Однако быстро приближался момент, когда высадку уже нельзя будет отменить. В восточной части Сицилии войска Монтгомери были защищены от ветра, а вот войска Паттона испытали на себе силу ветра. Если бы все пошло по плану, то уже к вечеру 10 июля три американские, четыре британские и канадская дивизии продвинулись более чем на 100 миль в глубь острова. Пока десантные корабли ждали приказ о высадке, крейсеры, эсминцы и линкоры начали обстрел побережья Сицилии осколочно-фугасными снарядами. Приказ о высадке все не поступал. Ближе к полночи ветер усилился. Эйзенхауэр решил, что, невзирая на погодные условия, вторжение будет предпринято. Солдатам на кораблях отдали приказ[192].

В тот вечер Черчилль и Клементина, понимая, что было бы хорошо появиться вместе на публике, пошли в кинотеатр на фильм Watch on the Rhine («Дозор на Рейне»). После сеанса Клементина почувствовала недомогание и написала записку Памеле с просьбой составить компанию Черчиллю, который ждал известий из штаба Эйзенхауэра. Они несколько часов играли в безик; игра регулярно прерывалась секретарями, которые докладывали о задержке высадки и ухудшающейся погоде у побережья Сицилии. Позже Памела вспоминала: «Помню, что подумала: если я что-то могу сделать для фронта, так это остаться и составить ему компанию»[193].

Молли Пэнтер-Доунес написала, что в тот вечер лондонцы ложились спать с ощущением тревоги не из-за начавшейся битвы за Сицилию, о которой они ничего не знали, а из-за битвы на Русском фронте. Там, вне всякого сомнения, разворачивалась самая масштабная битва за всю историю человечества, и ее исход был непредсказуем[194].

Она разворачивалась вдоль 190-мильного выступа фронта в районе Курска, важного железнодорожного узла, расположенного между Орлом и Харьковом примерно в 500 милях к юго-западу от Москвы. Гитлер приказал своим генералам «запалить там костер». Сталин, благодаря расшифровкам «Ультра» (преподносились как доклады «секретных»

агентов), которыми поделились британцы, знал, где и когда Гитлер собирается атаковать. 5 июля немцы перешли в наступление — 700 тысяч солдат, 2400 танков и самоходных орудий, 1800 самолетов, — нанося удары с севера, запада и юга. Им противостояло более миллиона советских солдат, 3400 танков и самоходных орудий и 2100 самолетов. Еще 250 тысяч советских солдат находились в резерве, около Курска, на расстоянии примерно 40 миль от линии фронта. Когда на побережье Сицилии высадились всего семь англо-американских дивизий и 600 танков, 2 миллиона советских и немецких войск и почти 6 тысяч танков сошлись в величайшей битве всех времен. В течение следующей недели мир сосредоточил пристальное внимание на Курске.

«Свободная Франция», метко названная «Сражающейся Францией», вела бои местного значения. Де Голль, который не мог воевать с немцами на Сицилии, поскольку его североафриканскую армию (на самом деле армия Жиро, поскольку он был командующим) оставили в Тунисе, начал борьбу с британским правительством, запретившим выпуск La Marseillaise, газеты «Свободной Франции». Решение было принято Министерством информации, которое объяснило причину запрета военной необходимостью. Умную тактику Брэндена Брекена без труда раскусили лондонцы, поскольку опять в свободной продаже появились антироссийские польские газеты. Худшим врагом де Голля всегда был он сам, но лондонцы не забыли, что он был единственным французом, который поддержал Англию в июне 1940 года, когда казалось, что Лондон вслед за Парижем станет жертвой нацистов. Он заслужил уважение британцев. Черчилль, как и Рузвельт, считал, что Франция больше, чем де Голль, но не разделял мнение Рузвельта и Халла, что Лотарингский крест (символ «Свободной Франции») ничего не стоит.

После войны Рузвельт первым делом хотел разрушить Французскую империю. «Руководство в Вашингтоне мало верит в будущее Франции и в действительности не хочет, чтобы Франция возродилась в качестве имперской державы», — написал Иден в меморандуме министерства иностранных дел. Если Рузвельт способен добиться подобного результата, игнорируя «Свободную Францию» и де Голля, тем лучше[195].

«Американцы испытывают к нему [де Голлю] сильную ненависть», — написал Иден на той июльской неделе. К тому моменту ненависть достигла критической стадии. Рузвельт снова, как в мае, потребовал, чтобы Черчилль разорвал отношения с де Голлем, и Жиро (который вопреки совету министерства иностранных дел собирался встретиться с Рузвельтом) стал единственным лидером Французского комитета национального освобождения. Безмерно уставший от де Голля Черчилль сказал Идену, что поддержка де Голля со стороны министерства иностранных дел может ускорить разрыв между ним и Иденом. Идену все было предельно ясно: в случае разногласий только один сохранит свое

место, и это будет не Энтони. Но Иден упорно стоял на своем, доказывая, что «американская политика в отношении Франции поставит под угрозу их отношения, а также отношения Великобритании с этой страной на годы вперед». 20 июля Черчилль сменил гнев на милость. За ужином, по словам Идена, он был «в хорошей форме», хотя его настроение было несколько омрачено смертью черного кота по кличке Мюнхенский Мышелов, который сбежал из «номера 10» в министерство иностранных дел, где испустил последний вздох. Черчилль сказал Идену, что кот «умер от угрызений совести и выбрал соответствующее смертное ложе». Двумя главными препятствиями, которые не позволяли Рузвельту избавиться от назойливого француза, были упорство Идена, убеждавшего Черчилля в правильности позиции министерства иностранных дел, и французское общественное мнение, на которое Рузвельт не обращал особого внимания. Несколькими неделями ранее лидер французского движения Сопротивления Жан Мулен информировал Лондон, что Национальный совет Сопротивления потребовал сформировать в Алжире временное правительство во главе с де Голлем, «единственным лидером французского Сопротивления»[196].

Последняя выходка де Голля, связанная с французской газетой, сыграла на руку Рузвельту и отвлекла Черчилля от событий огромной важности на Сицилии и в Курске. Черчилль опасался, что дальнейшее финансирование «Свободной Франции» приведет к напряженности в англо-американских отношениях, чему «будет очень рад де Голль». Брук написал в дневнике: «Уинстон произнес длинную тираду с обвинениями в адрес де Голля, и я полностью с ним согласен. К сожалению, он слишком поздно стал испытывать неприязнь к де Голлю, от которого нужно было избавиться еще год назад». Брук, человек военный, не слишком разбиравшийся в политике, не понимал, почему Иден поддерживает де Голля. Черчилль, считавший аргументы Идена убедительными, неохотно поддерживал де Голля, поскольку понимал то, чего не понимал Рузвельт: союзникам нужен де Голль, а Британии в свое время будет нужна Франция[197].

Как и де Голль, польский премьер-министр Владислав Сикорский привез своих потерпевших поражение солдат в Лондон. Однако Сикорский, в отличие от де Голля, пользовался уважением у британцев. Но в начале недели, словно предзнаменование будущих несчастий, ожидавших Польшу, в авиакатастрофе погибли Сикорский, его дочь София и несколько помощников — через несколько минут после взлета с аэродрома в Гибралтаре их B-24 рухнул в море. Гибель Сикорского сказывалась негативным образом не только на военных усилиях союзников, но и на планах по послевоенному устройству мира и месту, которое отводилось в нем Польше. С 1940 года Сикорский находился в хороших отношениях с русскими, которые уважали его

столь же сильно, как возмущались «клеветнической кампанией», развернутой лондонскими поляками по поводу Катыни. Если кто-то и мог найти способ успешного разрешения советско-польского политического кризиса, то это Сикорский[198].

Все эти политические проблемы и поведение де Голля, обсуждавшиеся в Лондоне в первой половине июля, отошли на второй план, когда в середине месяца стало понятно, что немецкое наступление на Курской дуге захлебнулось. Русские перешли в контрнаступление в направлении Орла, к северу от выступа. В течение нескольких дней немцы отступали в западном направлении по всему трехсотмильному фронту. Советское наступление на Белгород, к югу от выступа, было остановлено, но фельдмаршал Манштейн сообщил Гитлеру, что группе армий «Юг» не хватает сил, чтобы и дальше сдерживать Красную армию. То же самое можно было сказать и о способности Дёница сдерживать союзнические корабли союзников в Атлантике, где Германия в среднем теряла одну подводную лодку в день. Черчилль (называл немецкие подводные лодки «канарейками») телеграфировал Рузвельту: «Моему коту нравятся канарейки... за этот месяц у нас уже 18 канареек»[199].

Новости с Сицилии и из Средиземноморья тоже были приятными. После успешной высадки 10 июля итальянцы отступили с побережья, а 15 июля стало казаться, что, несмотря на яростное сопротивление немцев, Сицилию, возможно, удастся захватить через две-три недели. В сообщениях с Балкан подчеркивалось резкое падение боевого духа двадцати четырех итальянских дивизий, разбросанных от Эгейских островов до северной части Югославии. Они скорее сдадутся англо-американским войскам, чем дадут разорвать себя на части грекам или партизанам Тито. В Италии британская разведка пришла к выводу, что итальянские силы к югу от Неаполя в случае высадки союзников сдадутся, оказав лишь формальное сопротивление. Вместе с тем заранее сдаваться они не будут. Время нанести удар по Италии вот-вот наступит.

На третьей неделе июля армия Монтгомери, на полпути к Мессине, столкнулась с ожесточенным сопротивлением дивизии Германа Геринга в Катании, к югу от Этны. Перед 8-й армией стояли немцы, а на флангах было несколько рек и малярийные болота. Малярия убивала больше солдат Монти, чем немецкие пули. Но через неделю армия Монтгомери продолжила наступление в направлении Мессины по прибрежным равнинам. Паттон, после неудачного старта на побережье — тоже из-за дивизии Германа Геринга, отделил один корпус, который теперь мчался в направлении Палермо. Битва за Сицилию шла успешно.

В июне Эйзенхауэр сказал Черчиллю, что решение о вторжении в Италию будет зависеть от исхода Сицилийской операции. Но он еще

не решил, где и когда союзники нанесут удар по Италии. Он отверг Неаполь — слишком далеко к северу. Вероятно, Эйзенхауэр хотел высадиться на самом носке «итальянского сапога», прямо напротив Мессины, в 350 милях к югу от Рима. Еще в Алжире он сказал Яну Смэтсу, что Рим должен быть главной целью. Альберт Кессельринг уже планировал эвакуацию своих войск из Мессины через узкий пролив на материк. Это было возможно по той простой причине, что союзники не посчитали нужным отрезать ему пути отхода, вторгнувшись на мысок «итальянского сапога», когда высадились на Сицилии — ошибка, которую Эйзенхауэр осознал спустя несколько недель. Тем временем 19 июля 700 тяжелых бомбардировщиков союзников нанесли удар по сортировочной станции в Риме. Джон Мартин заверил Черчилля, что «Папа в безопасном месте». 22 июля корпус Паттона взял Палермо, разрезав Сицилию пополам[200].

Визит в Лондон министра обороны Генри Стимсона мог расстроить планы Черчилля в отношении Итальянской кампании. Семидесятипятилетний Стимсон, человек старой закалки, занимал пост министра обороны при Уильяме Говарде Тафте, во время Первой мировой войны служил в армии во Франции; дослужился до полковника артиллерии. Он ненавидел немцев и, как Маршалл, был сторонником высадки во Франции. Во время пребывания Стимсона в Лондоне один из планировщиков операции высадки во Франции сказал ему, что любая затяжка операции в Средиземноморье может отодвинуть срок вторжения во Францию. Стимсон, не видевший будущего в Италии и на Балканах, не на шутку расстроился. Когда Черчилль сказал, что Маршалл согласился на высадку в Италии, Стимсон ответил, что Маршалл, вероятно, пробудет там ровно столько времени, сколько понадобится на захват итальянских аэродромов, необходимых для бомбардировки Южной Германии. Этот разговор проходил в то время, когда немцы в Катании остановили наступление Монтгомери.

Черчилль использовал эту неудачу, чтобы описать Стимсону ужасную судьбу, которая ждет 50 тысяч солдат союзников на побережье Франции, если немцы подтянут большие силы, а они это, без сомнения, сделают. Союзников сбросят в море, «Ла-Манш полный трупов», на Западном фронте воцарится хаос. Черчилль добавил, что если бы он был главнокомандующим, то не поддержал бы Roundhammer (как Стимсон по ошибке назвал высадку во Франции), но, как премьер-министр, он поддержит любое решение Объединенного комитета начальников штабов. По прибытии в Алжир Стимсон сказал Эйзенхауэру, что Черчилль «одержим идеей доказать истории мудрость балканской стратегии». В свою очередь, Эйзенхауэр опасался, что, если он не добьется победы в Сицилии, которая уже близка, его обвинят в том, что он «упустил шанс». Его помощник, Гарри Бутчер, написал, какие чувства на тот момент царили в штабе: «Наше правительство, кажется,

хочет нажать на тормоза, когда все идет хорошо». Именно это и чувствовал Черчилль[201].

Интуиция не подвела Стимсона: его предположения относительно Черчилля были верны, и они получили бы подтверждение, если бы он узнал, что в середине июля Черчилль сказал британским начальникам штабов, что двадцати семи дивизий, выделенных для нанесения удара через Ла-Манш, «недостаточно для решения задачи, связанной с высадкой и удержанием побережья». Он вновь принялся доказывать, что следует вернуться к рассмотрению операции «Юпитер», вторжение в Северную Норвегию, и, в качестве поддержки, использовать предложенные Маунтбеттеном авианосцы изо льда*.

Если бы Стимсон услышал мнение Черчилля относительно операции «Раундап», то наверняка пришел бы в сильное расстройство. Эта операция, сказал Черчилль начальникам штабов, должна быть низведена до статуса ложной атаки. Он предложил прибегнуть к подобной стратегии в Италии, чтобы заманить немецкое подкрепление на мысок «итальянского сапога», и утверждал, что «там мы сможем удерживать их правой рукой, а левой выбить из Неаполя»[202].

Стимсон отправился домой в Вашингтон с твердым намерением предупредить Рузвельта и Маршалла о колебаниях Черчилля до того, как премьер-министр появится на сцене и обведет их вокруг пальца. Договоренность относительно приезда Черчилля в Северную Америку была достигнута в середине месяца, когда Черчилль с Рузвельтом поняли, насколько остро встал вопрос о необходимости встречи. Рузвельт предложил встретиться 1 сентября, но Черчилль настоял на середине августа, поскольку, по его мнению, события на Сицилии развивались быстрее, чем планировалось. Оливер Харви, парламентский секретарь Идена, написал в дневнике: «Должен сказать, премьер-министр не теряет времени даром». Лидеры договорились встретиться в середине августа в Квебеке, где в 1759 году на равнине Авраама Вульф с англичанами одержали победу над Монкальмом с французами, захватив Квебек и всю Канаду. Черчилль с Рузвельтом пригласили Сталина, который после почти двухнедельного молчания ответил отказом, хотя признал необходимость встречи и предложил встретиться зимой. Черчилль выбрал кодовое название для Квебекской конференции — «Квадрант» — и предложил в первую очередь обсудить операцию в Италии. Смэтс отправил ему из Алжира доклад, в котором под-

* Первоначально речь шла о простом «спиливании» верхушек айсбергов, оснащении их двигателями, системами связи и направлении на театр военных действий с группой самолетов на борту. Затем британский инженер Джеффри Пайк, сотрудник ведомства Маунтбеттена, предложил собирать боевые корабли из замороженных ледяных блоков, встраивая в конструкцию трубы холодильных установок. Пайк экспериментировал с материалом, названным в его честь — пикрит, — замороженная смесь воды и целлюлозы. Материал был намного прочнее обычного льда и медленнее таял.

черкнул, что «Рим фактически означает Италия и владение им может означать изменение хода войны и ее окончание в следующем году». На Квебекской конференции Черчилль собирался отстаивать эту точку зрения, поскольку с уважением относился к советам Смэтса, прислушивался к его мнению чаще, чем к другим, и иногда даже поступался собственным мнением. Но Черчиллю не пришлось ничего доказывать, поскольку Эйзенхауэр согласился со Смэтсом в отношении необходимости взятия Рима, но не согласился с временем нанесения удара. Внимание генерала Айка было приковано к южной части «итальянского сапога»[203].

Черчилль, с восторгом воспринявший радужные перспективы Смэтса, отправил Рузвельту копию его письма. Рузвельт ответил: «Мне нравится идея генерала Смэтса, и надеюсь, удастся предпринять нечто похожее». Этот ответ мог обидеть Стимсона, но для Черчилля послание президента было столь же приятно, как вкус виргинской ветчины, которую американцы привозили в Лондон[204].

В конце июля у Брука тоже появилась причина прийти в хорошее настроение. Черчилль третий раз за несколько месяцев сказал начальнику имперского Генерального штаба, что именно он будет тем человеком, который возглавит вторжение во Францию. На одном из предобеденных приемов в «номере 10» Черчилль спросил жену Брука, Бениту, что она подумала, узнав, что ее муж будет командовать операцией по вторжению во Францию. Она была ошеломлена. Брук до сих пор ничего не сказал жене[205].

В знойный воскресный полдень 25 июля король Виктор-Эммануил III пригласил Муссолини на виллу Ада; воздух в парке, занимавшем территорию в 450 акров, был чище и прохладнее, чем в городе. Муссолини, как и Черчилль, каждую неделю по понедельникам обедал с королем. Хотя приглашение в воскресный день выбивалось из принятого графика, но не обязательно сулило какие-то проблемы. Дуче прекрасно знал о махинациях и интригах многих членов Большого совета, включая графа Чиано, своего зятя. Накануне совет выступил с предложением о передаче королю дополнительных полномочий, тем самым выразив недоверие дуче. Муссолини, несмотря на то что его приспешники взбунтовались, ни минуты не сомневался в том, кто выйдет победителем: он принимал участие в этих политических войнах более двадцати лет. Кроме того, шел Anno XXI (двадцать первый год) его правления.

Король, одетый в серую маршальскую форму с красными лампасами на брюках, встречал своего министра у главного входа на виллу. Они прошли в гостиную, расположенную на первом этаже. Пока король говорил, Муссолини стоял. Дела в Италии идут совсем не так хорошо, как хотелось бы, сказал король. Даже Альпийская бригада —

одно из самых легендарных итальянских подразделений, — по слухам, на грани мятежа, солдаты распевают оскорбительные песенки о дуче. Голосование в совете, добавил король, отражает отношение страны к первому министру. «В таком случае, — ответил Муссолини, — я вынужден подать в отставку». Он думал, что король отвергнет эту идею, но ошибся. «Должен сказать, что я безоговорочно приму вашу отставку с поста главы правительства», — сказал король. Муссолини тяжело опустился в кресло. Король сообщил бывшему премьеру, что хочет назначить на его должность маршала Пьетро Бадольо. А затем заверил Муссолини, что является его единственным другом, «вот почему я говорю вам, что волноваться о вашей личной безопасности не стоит. Вас защитят». Он вышел из виллы и пошел к своей машине, рядом с которой стояли карабинеры. Дуче понял: он арестован. Эммануил расправился с двумя десятилетиями фашизма за двадцать минут[206].

Накануне немецкий посол в Риме сообщил в Берлин, что «положение Муссолини никогда еще не было таким прочным». Посла вскоре отозвали в Берлин. Геббельс с сожалением отозвался о падении дуче в своем дневнике: «Ужасно думать, что можно было так просто ликвидировать революционное движение, которое было у власти в течение двадцати одного года»[207].

Бадольо, Чиано и Большой фашистский совет решили сохранить фашистскую власть, только без дуче. Но уже вечером король Эммануил, теперь абсолютный монарх, распустил итальянскую фашистскую партию. Итальянцы решили, что король, не уронив достоинства, за несколько дней обеспечит мир. Как казалось, никто в Риме не задумался о возможной реакции немцев. Вновь обретенная вера итальянцев в короля была недолгой. Новое правительство сообщило в Берлин, что продолжит войну, но Геббельс и Гитлер посчитали это сообщение не чем иным, как тактикой по затягиванию времени, призванной дать Бадольо возможность заключить сепаратный мир с союзниками. И действительно, через несколько дней итальянские дипломаты начали прощупывать почву относительно возможности заключения мира с союзниками.

Черчилль узнал о падении дуче в Чекерсе, когда вместе с Клементиной, дочерьми Мэри и Сарой, Аланом Бруком, лордом Мораном и Джоном Мартином смотрел фильм Sousles Toits de Paris («Под крышами Парижа»). Проектор остановили, включили свет и все зааплодировали. Лондон узнал эту новость во время дневной передачи Би-би-си, когда диктор зачитал приказ об «отставке» Муссолини. Гарольд Николсон отметил, что в приказе не упоминалась Anno XXI. Вайолет Бонем-Картер позвонила Николсону: отставка Муссолини означала, что ее сына Марка, захваченного в Тунисе, отпустят. 27 июля, выступая в палате общин, Черчилль сказал, что выбор находится в руках народа Италии. Если он [народ] того желает, то может подписать мир

и оживить «свои прежние демократические и парламентские институты». Он осудил негативное отношение британской и американской прессы к Италии и ее королю; Савойская династия всегда занимала в его сердце особое место. Однако, пока все не уляжется, сказал Черчилль, у Италии есть возможность «вариться в собственном соку». По мнению Николсона, фраза была грубой, и хуже того — ее было трудно перевести на итальянский язык для трансляции выступления Черчилля на Италию, и он предложил такой вариант: «L'Italia faro it suo proprio minestrone» («Италия должна варить свой суп»)[208].

«Незабываемый момент, — написал Брук о падении Муссолини, — и, по крайней мере, переход от «конца начала» к «началу конца». Что касается выступления Черчилля, отметил Геббельс, «этот старый мошенник [dieser alte Gauner] оседлал любимого конька»[209].

Средиземноморский стержень повернулся. Сицилия находилась более чем в 1200 воздушных милях от Берлина, на расстоянии почти в четыре раза превышающем расстояние от Нормандии до Рейна, и, кроме того, путь преграждали Альпы. В ближайшее время союзническим войскам и танкам не требовалось переходить через Апеннины и Юлианские Альпы, а если когда-нибудь им пришлось пройти этим маршрутом, то они бы поняли, что это гораздо сложнее, чем стремительное наступление по территории Нидерландов. Американцы знали географию и арифметику. С учетом расстояния и сложности рельефа, атаковать Германию из Южной Италии было все равно что атаковать Вашингтон, округ Колумбия, из Хьюстона через Аппалачи. С другой стороны, атаковать Германию из Нормандии все равно что наступать на Вашингтон с побережья Северной Каролины через фермерские угодья, равнины и леса. Черчилль с Бруком, готовясь к поездке в Канаду, больше всего опасались, что Рузвельт, под влиянием Стимсона, будет душить на корню все будущие инициативы в Италии. «Маршалл совершенно не понимает, какие стратегические сокровища лежат у наших ног в Средиземноморье, — написал Брук в дневнике, — и думает исключительно об операциях за Ла-Маншем»[210].

Черчилль жаждал осуществлять любые операции, обещавшие успех, и, конечно, итальянскую, и надеялся раз и навсегда решить этот вопрос на Квебекской конференции.

Сразу после полуночи 5 августа Черчилль в сопровождении Клементины, Мэри и еще двухсот пятидесяти человек выехал из Лондона на поезде, идущем в Глазго, а затем на катере преодолел небольшое расстояние до Гринока, где в заливе Ферт-оф-Клайд на якоре его ожидал линейный крейсер «Королева Мария»[211].

Неожиданным было участие в этой поездке миссис Черчилль. Любовь Черчилля к жене не вызывала сомнений; он был абсолютно верен Клементине. Он уважал ее мнение, которое она упорно отстаива-

ла, но редко советовался по политическим вопросам. Клементина путешествовала просто в качестве жены Великого человека, а он из-за огромной ответственности, возложенной на него, как правило, не замечал ее. У него было много дел, пока они находились на борту, и он обсуждал их за обедами и ужинами. Она была застенчивой женщиной, ей не доставляло удовольствия сидеть за столом с незнакомцами, которым только и требовалось, что время и энергия ее мужа. В такой обстановке она держалась скованно и неестественно, позже написала ее дочь Мэри, и «потому в жизни, заполненной людьми, чувствовала себя одинокой». Ей было свойственно состояние напряженности и тревожности. Этого Черчилль, учитывая отсутствие у него интереса к любым «болезням, связанным с нервами», не понимал (однажды он сказал своему врачу, что ему не нравятся ни психиатры, ни их «сомнительные идеи о том, что происходит в голове у людей»). «Нервное напряжение», в котором Клементина жила четыре года, «не прошло для нее бесследно», и, по словам Мэри, к времени поездки в Квебек «она находилась в состоянии глубокого физического и нервного истощения». У нее не было занятий, которые могли доставить ей радость, она не рисовала, не писала книг, не ухаживала за садом и не играла в азартные игры. К слову сказать, она ненавидела азартные игры. Ее отец проиграл большую часть ее наследства за игральным столом.

До войны Черчилль любил играть в казино, а Клементина отправлялась спать, заранее переживая о возможных прорехах в семейном бюджете: Черчилль был не слишком удачливым игроком. Была надежда, что морской круиз поможет ей снять напряжение, но такое путешествие, как это, в компании незнакомцев, только ухудшило ее состояние, и скоро она слегла в постель[212].

К компании присоединился Аверелл Гарриман с дочерью Кэтлин. Они направлялись домой в Арден, в свой первый отпуск за два года. Генерал Орд Уингейт тоже отправился в Квебек, прибыв в Лондон из Бирмы менее чем за двенадцать часов до отъезда, вовремя, чтобы поужинать с Черчиллем. «Невероятные подвиги» Уингейта, командовавшего своими «чиндитами» в Бирме, произвели такое впечатление на Старика, что он приказал генералу сопровождать его в Квебек. Уингейт так торопился на поезд, что не успел переодеться и поехал в мятой полевой форме. Лорд Моран, как обычно, был рядом с Черчиллем. Через несколько минут после встречи с Уингейтом, о котором он столько слышал от Черчилля, Моран сделал вывод, что воин джунглей «всего лишь одаренный чудак, но не второй Лоуренс». После дальнейшего общения с Уингейтом Моран решил, что герой Бирмы «не совсем в своем уме — на медицинском жаргоне пограничный случай»[213].

Вечером 5 августа «Королева Мария» с премьер-министром и всей компанией на борту, вышел из залива Ферт-оф-Клайд и прошел мимо

острова Арран. Погода, по словам Брука, была пасмурной, дул сильный ветер. Огромный корабль, слегка покачиваясь на волнах, шел по Северному каналу Ирландского моря, а затем вышел в Атлантический океан. Корабль перекрасили и навели новый блеск, и он, подобно Англии, выглядел свежим, мощным и уверенным. Но Брук считал, что корабль направляется в штормовое море. «Чем ближе к конференции, тем меньше она мне нравится. Я знаю, что предстоит тяжелая борьба с нашими американскими друзьями»[214].

В ноябре 1942 года Черчилль провозгласил «конец начала» гитлеровского рейха. Август 1943 года ознаменовал собой начало конца. Каждый день с фронтов приходили вести, которые подтверждали это умозаключение. Красная армия 5 августа взяла Белгород и начала наступление на запад. Поставленная перед ней задача на осень предусматривала захват нижнего течения Днепра, Киева и Украины. Когда фельдмаршал Манштейн сказал Гитлеру, что Берлин должен направить двадцать дивизий подкрепления или придется отступить из Донецкого бассейна, Гитлер ответил, что у него нет лишних войск; имевшиеся в наличии отправлены в Италию. За неделю до этого разговора генерал Гейнц Гудериан, идеолог стратегии блицкрига, сказал Геббельсу, что «серьезно озабочен» ходом войны, особенно в свете того, что немцы «не могут позволить себе вести активные действия на всех фронтах». Кроме того, Гудериана беспокоила бессмысленная переброска бронетанковых частей и подразделений с Русского фронта, где они были столь необходимы, в Италию и на Балканы, где географические условия давали преимущество пехоте и артиллерии над танками. С начала мая шестнадцать немецких дивизий (включая четыре эвакуированные с Сицилии) были переброшены в Италию, где еще в апреле не было ни одного немецкого соединения. Еще восемь — на Балканы и в Румынию, и тринадцать находились в Норвегии. Высказывания Гудериана и признание Геббельсом того факта, что возросла мощность ударов, наносимых британскими военно-воздушными силами по Германии, являлись подтверждением того, что союзники использовали черчиллевскую гибкую, авантюрную стратегию[215].

6-го числа Черчилль получил от Идена сообщение, что по распоряжению Бадольо итальянский дипломат в Танжере обратился к британскому коллеге с целью начать переговоры с союзниками. «Не упусти эту возможность», — ответил Черчилль и добавил, что, хотя капитуляция и должна быть безоговорочной, «если они капитулируют немедленно, мы согласимся предложить им великодушные условия, а не сделку». Он предложил использовать на переговорах выражение «почетная капитуляция», но Иден напомнил ему, что в Касабланке было официально заявлено о «безоговорочной капитуляции». Следовало как-то решить эту проблему. Черчилль сказал Идену «внушить итальянскому прави-

тельству уверенность, что, хотя оно должно совершить формальный акт подчинения, мы намерены отнестись к нему с уважением в той мере, в какой это позволят чрезвычайные военные обстоятельства». Неделю назад в телеграмме Черчиллю Рузвельт согласился с этой логикой, написав, что «Эйзенхауэра следует наделить полномочиями выдвигать условия, когда и если итальянское правительство попросит его о перемирии». В Берлине были хорошо осведомлены о развитии ситуации; одно из подразделений разведки перехватывало телефонные переговоры между Черчиллем и Рузвельтом, в которых они обсуждали условия капитуляции Италии. Одним из условий, на которых настаивал Черчилль, была репатриация 70 тысяч британских военнопленных в Англию. Ватикан предложил объявить Рим открытым городом, что позволит союзникам быстрее усадить итальянское правительство за стол мирных переговоров, но Черчилль отверг эту идею. Он сказал Идену, что необходимо безостановочно бомбить Рим до тех пор, пока новое правительство не капитулирует. Через несколько недель Черчилль заявил репортерам: «Можете быть уверены, что мы будем и дальше применять метод кнута и пряника к итальянскому ослу». Итальянский вопрос был одним из пунктов повестки дня конференции в Квебеке[216].

Битва за Атлантику не стояла в повестке дня. Союзники были очень близки к победе. В ближайший год и дальше союзники потеряют еще много кораблей и моряков, но немецкая блокада была прорвана.

Что касается других фронтов, то приближался решающий момент воздушной битвы над Руром и Гамбургом. В мае Черчилль рассказал в конгрессе США, какая участь ждет японские города, но его слова относились и к немецким городам: «Долг тех, кому поручено вести войну, состоит в том, чтобы начать столь необходимый и желанный процесс обращения японских городов в пепел, ибо мир придет на нашу планету только после того, как их обратят в пепел». С мая жители долины Рура, которые раньше мало знали о битвах в Атлантике и России, из-за ночных налетов Королевских ВВС стали осознавать, что разрушительная воздушная война докатилась и до них. Британские военно-воздушные силы начали досаждать немцам в 1940 году, но в начале лета 1943 года горела уже вся Западная Германия. Бомбардировки были столь яростными, что Черчилль во время просмотра фильма о бойне в Рурской долине обратился к собеседникам с вопросом: «Мы что, звери? Не слишком ли далеко мы зашли?» Этот вопрос он задал в конце июня, но он вовсе не означал, что Черчилль пересмотрел свои философские взгляды по данному вопросу. Через несколько недель после этого разговора британская авиация усилила налеты, и Черчилль был готов пойти еще дальше. Он сомневался в эффективности воздушной войны, но однажды сказал журналистам: «Мнения разошлись... достаточно ли одной авиации для уничтожения Германии. Не представляет труда выяснить это»[217].

Большинство записей в дневнике Геббельса, сделанных в период с мая по конец июля, посвящены либо вероломству евреев (он еще больше укрепился в убеждении относительно еврейского вероломства, перечитав антисемитский сборник «Протоколы сионских мудрецов»*), либо все более и более разрушительным британским бомбардировкам Рурской долины и Гамбурга.

Бомбы попали в завод Круппа в Эссене, из-за чего пришлось остановить выпуск стали. Три дамбы в Рурской долине — Эдер, Сорпе и Мён — были повреждены или уничтожены 17 мая, когда девятнадцать бомбардировщиков «Ланкастер» 617-й эскадрильи, пролетая всего в 6 футах над водой, сбросили двухтонные цилиндрические «прыгающие бомбы» на плотину Мёнэ. Только после третьего попадания в плотине образовался широкий пролом, что привело к катастрофическим последствиям для местности ниже по течению. Англичане заплатили за этот успех потерей восьми бомбардировщиков «Ланкастер». «Удары, — написал Геббельс, — были очень успешными»[218].

Геббельс понимал, что ВВС Британии с каждым разом наносят Германии все более серьезный урон, но некоторое удовлетворение он все-таки испытывал, узнавая о сбитых за ночь британских бомбардировщиках. Теперь в налетах участвовали по пятьсот, семьсот, девятьсот и более бомбардировщиков «Галифакс» и «Ланкастер», а в дневное время небольшие группы американских B-17s. Англо-американские военно-воздушные силы жестоко наказывали рейх, совершая налеты днем и ночью. Это было то «круглосуточное обслуживание», которое Черчилль обещал американским журналистам. Тем не менее немецкие истребители действовали весьма успешно, особенно против американских дневных налетчиков. В результате в июне Объединенный комитет начальников штабов внес изменения в директиву об усилении воздушного наступления, принятую в Касабланке, в которой говорилось о необходимости «подрыва морального духа немецкого народа» (бомбардировка жилых кварталов), уничтожать транспортные узлы, нефтеперерабатывающие заводы и военную промышленность. Теперь союзническая авиация должна была уничтожать авиационную промышленность Германии. В ближайшие месяцы новая операция под кодовым названием Pointblack («Выстрел в упор») будет служить скорее источником разногласий между планировщиками военно-воздушных сил Британии и Соединенных Штатов, чем основой для единой

---

* «Протоколы сионских мудрецов» — сфальсифицированный сборник текстов о вымышленном всемирном заговоре евреев. В текстах излагаются планы завоевания евреями мирового господства, внедрения в структуры управления государствами, взятия неевреев под контроль, искоренения прочих религий. За свою историю существования «Протоколы» переиздавались многомиллионными тиражами и были переведены на многие языки мира.

англо-американской стратегии. А Бомбардировщик Харрис* просто продолжит бомбить немецкие города, и если удастся попасть еще и в авиационный завод, так совсем хорошо.

Когда потери Королевских ВВС начали вызывать сильную тревогу (зачастую превышали 5 процентов), было получено одобрение на использование разработки, созданной в ходе секретной программы Window, — тонкие полоски алюминиевой фольги сбрасывались с бомбардировщиков при подлете к цели для создания пассивных радиолокационных помех. Разработку держали в секрете в течение года с момента ее завершения, опасаясь, что немцы поймут принцип действия и используют ее против британцев. В течение года было сбито 2200 тяжелых британских бомбардировщиков, в результате чего погибло или было захвачено в плен 18 тысяч хорошо обученных летчиков, включая 4 тысячи в ходе последней операции. Для того чтобы сократить потери, военный кабинет позволил Харрису использовать Window. Геббельс в дневнике заметил, что по необъяснимой причине потери Королевских ВВС резко сократились: из более чем семисот самолетов удалось сбить всего двенадцать[219].

Гамбург, второй по величине немецкий город и крупнейший порт Германии, испытал на себе последствия внедрения этой разработки на той неделе, которую Брук описывал как «новую кульминацию страха». 24 июля Королевские ВВС сбросили на Гамбург 2400 тонн бомб, почти столько же тонн люфтваффе сбросили на Британию в течение прошедших двенадцати месяцев! Британские бомбардировщики вернулись через два дня, но низкая облачность и дождь вынудили большую часть летчиков повернуть обратно. Небо очистилось, и ночью 27 июля, а затем 29 июля Королевские ВВС бомбили Гамбург. Геббельс вновь удивлялся той легкости, с какой британские самолеты проникали сквозь немецкую систему обороны. Он сожалел об уничтожении Гамбурга. «Город с миллионным населением подвергся таким разрушениям, каким не подвергался ни один город в истории».

* Харрис Артур Траверс, 1-й баронет Харрис, также известный как Бомбардировщик Харрис, — маршал Королевских ВВС, глава бомбардировочного командования Королевских ВВС в период Второй мировой войны. Наиболее известен как идеолог стратегических бомбардировок немецких городов во время Второй мировой войны, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. После войны методы бомбардировочной авиации и сам Харрис подвергались критике. Харрис был единственным из военачальников, который не получил пэрство, и в 1948 году был вынужден уехать в Южную Африку. Харрис умер в 1984 году, он никогда не выражал сожаления по поводу бомбардировок немецких городов. В феврале 1945 года по этому поводу он написал: «Атаки на города, как и всякий другой акт войны, нетерпимы до тех пор, пока они не оправданы стратегически. Но они стратегически оправданы, поскольку имеют своей целью приблизить конец войны и сохранить жизнь солдат союзников... Лично я не считаю, что все оставшиеся в Германии города стоят жизни одного британского гренадера...»

В ходе трех налетов британцы сбросили на город почти 10 тысяч тонн фугасных и зажигательных бомб. По словам одного из немецких чиновников, «результат был за гранью воображения». Почти 800 тысяч жителей остались без крова, огненный смерч поглотил нефтехранилища и территорию города площадью 12 квадратных миль и унес более 40 тысяч жизней[220].

За одну ночь в одном городе один огненный смерч, вызванный британскими бомбардировками, унес столько же жизней, сколько за весь лондонский блиц. В секретном немецком документе это бедствие описывалось следующим образом: «Деревья толщиной 3 фута были сломаны или вырваны с корнем... ветер, скорость которого превышала 150 миль в час, поднимал людей в воздух и швырял их в огонь»*.

Жители города, которые укрылись под землей, «отравились угарным газом, а их тела превратились в пепел, как в крематории». Черчилль взял с собой на борт Queen Mary стереоскопические диапозитивы Гамбурга, на которых было видно, какой ущерб нанесли городу, и небольшое устройство для их просмотра. Черчилль хотел, чтобы Сталин увидел, каких результатов достигли Королевские военно-воздушные силы, и сразу после прибытия в Квебек отправил диапозитивы и проектор в Москву. Диапозитивы, написал Черчилль Сталину, «производят намного более сильное впечатление, чем фотографий». 9 августа в газете Daily Mirror появилась статья под заголовком: «50 НЕМЕЦКИХ ГОРОДОВ ЖДЕТ СУДЬБА ГАМБУРГА». Налеты, по словам Брука, были своего рода кульминацией. Они положили начало еще более разрушительным бомбардировкам. После того как почти 80 процентов Гамбурга было стерто с лица земли, Бомбардировщик Харрис обратил свои взоры на Берлин — он назвал его «Большой город»[221].

В 1943 году люфтваффе не удалось использовать Window против Британии, отчасти из-за того, что большая часть люфтваффе была развернута на Восточном фронте и налеты на Британию практически прекратились. В тот год от немецких бомб погибло меньше 2400 британцев. Однако немцы нашли способ борьбы с пассивными помехами, создаваемыми Window, и вновь увеличились потери Королевских военно-воздушных сил. В течение следующего года в среднем в неделю погибало или попадало в плен 600 британских летчиков. Когда Economist высказал мнение, что налеты обходятся союзникам слишком дорогой ценой, Геббельс написал в дневнике: «О боже, если бы это действительно было так». Заставляя Германию защищаться, налеты гарантировали, что люфтваффе не смогут завоевать превосходство в воздухе на востоке. И в Италии, где союзники превосходили против-

* Разрушения, позже написал Бомбардировщик Харрис, «вероятно, были более катастрофическими, чем после взрыва двух атомных бомб, сброшенных на японские города» (*Harris S.A.* Bomber Offensive. P. 179).

ника в отношении десять к одному, люфтваффе практически прекратили активные действия. К тому же немцам пришлось направить на Западный фронт более девяноста пяти сухопутных дивизий — треть всех немецких сил — в том числе тринадцать в Норвегии, сорок пять в Нидерландах и Франции и двадцать четыре в Италии и на Балканах. Они не сражались против американцев или британцев, но не могли сражаться и против русских. Они несли такие же потери, как если бы вели боевые действия, но Сталин, потери которого составляли 10 тысяч человек — гражданских и военных — в день, смотрел на это иначе. Черчилль считал оправданной свою стратегию нанесения ударов по Германии со всех сторон, всеми способами, в любое время суток. Геббельс признал это, написав: «Англичане могут атаковать нас, когда захотят, пусть даже относительно небольшими силами»[222].

Именно от этой стратегии Генри Стимсон убеждал отказаться Рузвельта, когда «Королева Мария» подходил к Новой Шотландии. «Ни один из этих методов булавочных уколов», написал Стимсон Рузвельту, не позволит добиться разгрома Германии и заставить Сталина поверить, что Запад сдержал свое обещание относительно открытия «реального второго фронта». Пришло время, убеждал Стимсон, потребовать от Черчилля выполнения этого обещания. Более того, настало время назначить американского командующего высадкой во Франции. Он сказал Рузвельту: «Мы не можем надеяться, что сможем пересечь Канал... под командованием британца», поскольку хотя британцы «на словах согласились с проведением операции, но в душе они против»[223].

Если Стимсон считал неэффективным метод нанесения булавочных уколов, то Черчилль видел в нем гибкость, суть своей авантюрной стратегии. Американцы были склонны недооценивать сложность операции по высадке на другом берегу Ла-Манша, в то время как Черчилль и британский Комитет начальников штабов были склонны преувеличивать опасность, связанную с высадкой, в результате каждая из сторон сомневалась в обоснованности стратегии другой стороны. Брук был потрясен, когда на конференции Маршалл заявил, что «20—30 дивизий» вторжения будет достаточно, чтобы избавить Европу от Гитлера. Брук понимал, что столь незначительные силы будут попросту уничтожены. Стимсон и Маршалл подозревали, что британцы не рассматривали Северо-Африканскую и Итальянскую операции как средства достижения конечной цели — подготовки почвы в Европе для операции «Оверлорд» — и намеревались отложить, возможно, вообще не наносить удар через Канал[224].

Американцы подозревали, что британцы стремились наносить точечные удары с моря, с воздуха и с суши по краям территории, контролируемой рейхом, чтобы поставить Германию на край гибели, и тогда вторжение во Францию превратится в практически бескровный марш из Нормандии в Берлин.

Но это было не так. Черчилль с Бруком собирались наносить удары по Германии до тех пор, пока наступление на Берлин — и оно будет кровавым, а не бескровным — не будет иметь хорошие шансы на успех. Позднее Черчилль объяснил отличия двух стратегий в нескольких ключевых фразах. Американцы, написал он, «считают, что достаточно правильно и подробно распланировать основу операции, чтобы все стадии осуществлялись по намеченному плану, и успех практически неизбежен... У британцев несколько иной подход к этому вопросу. Мы не считаем, что логика и четкие принципы — единственный ключ к пониманию того, что необходимо делать в быстро меняющихся и неопределенных условиях». При стратегическом планировании для Черчилля ключевое значение играли идеи, суть которых состояла в том, чтобы «придавать больше значения импровизации, стараясь действовать и побеждать в соответствии с разворачивающимися событиями, а не действовать, как это часто бывает, под влиянием фундаментальных решений. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Различие в определении приоритетов, но это глубокое различие». Черчилль с 1940 года поддерживал нанесения удара через Ла-Манш, чтобы подорвать моральный дух и боевую мощь Германии, но не для того, чтобы уничтожить Германию. После войны Исмей подтвердил это, написав, что «мистер Черчилль и его советники всегда считали, что в конечном счете *смертельный удар* по Германии должен быть нанесен через Ла-Манш»[225].

Находясь на борту «Королева Мария», Черчилль получил первые короткие доклады по «Оверлорду», предполагаемому вторжению в Нормандию. Он был доволен, но далеко не всем. По приказу Объединенного комитета начальников штабов план «крупномасштабного нападения» на Европу должен был подготовить генерал Фредерик Морган. Его предупредили, что с учетом потребностей адмирала Кинга в Тихом океане он может рассчитывать всего на 3300 десантных и транспортных кораблей для осуществления своего плана. План Моргана, ограниченный этими рамками, предусматривал, что в районе Кана высадится морской десант, состоящий из трех дивизий, а также две парашютно-десантные дивизии. Затем в течение следующих недель высадку осуществят два десятка британских, канадских и американских дивизий. Этого, по мнению Черчилля, будет недостаточно для уничтожения Германии. Черчилль предложил увеличить численность десанта и расширить зону высадки. Пройдет пять месяцев, прежде чем американцы поймут, насколько мудрым было его предложение.

В целом Черчилль был доволен планом, но он, как всегда, беспокоился по поводу деталей. Учитывая, что разность уровней воды во время прилива и отлива в Ла-Манше составляет более 20 футов, он потребовал, чтобы ему докладывали о темпах сооружения искусствен-

ных гаваней Mulberry («Малберри»), которые он отстаивал более двух лет назад. Только эти гавани позволят безопасно и вовремя доставить на берег необходимое количество людей, техники, продовольствия и боеприпасов. Требовалось доставлять ежедневно 12 тысяч тонн: от этого зависел успех всей операции. Топливо для грузовых автомобилей и танков доставлялось с помощью еще одного технологического чуда, трубопровода (Pluto)*, проложенного по дну Ла-Манша из Юго-Восточной Британии в Нормандию, в Пор-ан-Бессен.

Атаки люфтваффе серьезно осложняли работу по прокладке трубопровода. Третье чудо должно было отделить искусственные гавани от открытого моря — искусственный волнорез (под названием lilo, надувной пляжный матрас), состоявший из установленной на дне бетонной конструкции и больших надувных резиновых камер. Демонстрацию этой сложной конструкции провели в ванной комнате Черчилля. Великий человек, в халате с драконом, взгромоздившись на табурет, словно адмирал или бригадный генерал, наблюдал за тем, как в заполненной водой ванне миниатюрный lilo борется с волнами; «волнение на море» создавала рука премьер-министра, погруженная в воду. Постороннему человеку, ставшему свидетелем этой сцены, написал Исмей, «было бы трудно поверить, что таким образом британский главнокомандующий изучает самую масштабную и впечатляющую десантную операцию в военной истории[226].

Кроме того, Черчилль хотел удостовериться, что успешно продвигаются работы по еще одному представлявшемуся ему важным проекту: операция Habakkuk**, ледяной авианосец Мауптбеттена.

Идея, настаивал Черчилль, «заслуживает самого обстоятельного изучения». Он выбрал кодовое название, процитировав текст из части Ветхого Завета, написанного пророком Аввакумом: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Однако многие штабные планировщики не верили, что это может сработать. Идея, изложенная Маунтбеттеном Черчиллю на выходных в Чекерсе, обрела окончательную форму в Канаде, что было неудивительно, учитывая местные погодные условия. Однако Черчилль рассчитывал размещать эти монстры водоизмещением в миллионы тонн у побережья Франции и Индии, где они должны были служить в качестве бензозаправщиков Королевских военно-воздушных сил. Похоже, никто не учел один важный недостаток

* Подвижная система морской прокладки трубопроводов снабжения горючим и топливом Pluto (Pipeline Under The Ocean). Создание этой трубопроводной системы позволяло избавиться от необходимости привлекать танкеры.

** Ледяной корабль был построен в Канаде, на озере Патрисия, летом, чтобы испытать технологии строительства и само судно. Корабль с остовом из деревянных балок и наполнением из ледяных блоков, длиной 18,3 метра, шириной 9 метров, весом 1,1 тысячи тонн за два месяца построили 15 человек.

этого плана: даже если, как планировалось, эти корабли оборудуют системами охлаждения, они растают. Брук пренебрежительно отозвался о Habakkuk, назвав его «одной из блестящих идей Дики Маунтбеттена», и пообещал, что у Маунтбеттена будет возможность представить свои идеи в Квебеке. На самом деле у начальника Имперского Генерального штаба не было иного выбора, как согласиться, поскольку Маунтбеттен, к которому прислушивался Черчилль, действовал по принципу «зачем разговаривать с обезьяной, когда есть шарманщик». Отсюда презрительное замечание в дневнике Брука после того, как Черчилль сказал ему, что собирается сделать Маунтбеттена главнокомандующим союзными войсками в Юго-Восточной Азии: «Ему [Маунтбеттену] понадобиться очень хороший начальник штаба, чтобы вытащить его из этой передряги»[227].

Путешествие через Атлантику очень напоминало майское путешествие. Поздними вечерами Черчилль играл с Гарриманом в безик. Во время последнего путешествия Гарриман предупреждал Черчилля, что не стоит выступать против дневных бомбардировок, которые предлагали американцы. А теперь Гарриман предупреждал Черчилля, который боялся, что операция «Оверлорд» помешает его планам в Италии, что не следует протестовать против высадки во Франции. По словам Гарримана, Рузвельт хотел, чтобы операция «Оверлорд» была проведена в мае 1944 года, так и было. Черчилль ответил, что хочет только дойти до реки По в Северной Италии, удерживать этот рубеж, а затем нанести удар по Балканам с Эгейского моря. Учитывая сложный рельеф местности, поставки и противника на всех подступах к реке По, находящейся в 300 милях к северу от Рима, это было легче сказать, чем сделать. Эйзенхауэр считал, что любой план наступления в направлении реки По потребует выделения столь значительных сил, необходимых для осуществления «Оверлорда», что «высадку во Франции не удастся осуществить весной 1944 года». Американцы не могли этого допустить[228].

Тем временем Черчилль решил, что вторжение в северную часть Суматры, впервые предложенное им в мае, весьма перспективно с точки зрения стратегической ситуации в Юго-Восточной Азии. В связи с этим Брук написал в дневнике: «Во время морского путешествия он буквально за несколько мгновений стал ярым сторонником идеи, что успех в борьбе против Японии может быть обеспечен исключительно за счет захвата северной оконечности Суматры!» По словам Брука, Черчилль, «словно капризный ребенок, стал просить игрушку, с которой ему не разрешали играть»[229].

9 августа «Королева Мария» бросил якорь в гавани Галифакса. Черчиллю с сопровождающими потребовалось два поезда для поездки в Квебек, куда они прибыли во второй половине дня 10 августа. Черчилль раньше сошел с поезда, чтобы доехать до города вместе с ка-

надским премьер-министром Маккензи Кингом в его машине. Первые лица разместились в Квебекском замке, в самом центре старого города, а несколько сотен штабных офицеров — в расположенном напротив замка отеле Château Frontenac (Шато Фронтенак), все шестьсот номеров которого предварительно освободили от гостей. Все, кроме одного, где жила пожилая женщина, которая находилась при смерти (однако она осталась жива и через год, когда была созвана Вторая Квебекская конференция, жила в том же номере)[230].

Премьер-министр Маккензи Кинг с канадцами наблюдали со стороны за тем, что происходило на их собственной территории. Канадцев вкратце информировали о решениях, принятых Объединенным комитетом начальников штабов, но они не принимали участия в работе конференции. Канада отправила пять дивизий в Британию и на Сицилию, включая ту, что воевала под командованием Монтгомери. Во время Первой мировой войны Канада потеряла 66 тысяч своих сыновей, а Соединенные Штаты 117 тысяч. Канада проливала кровь за Англию. И вновь потери этой страны, с 11-миллионным населением, во много раз превышали потери на душу населения по сравнению с Соединенными Штатами и практически сравнялись с британскими. Когда двумя неделями ранее канадский командующий генерал Эндрю Макнотон отправился на Мальту, ожидая, что ему разрешат провести смотр своих войск на Сицилии, Монтгомери отказал, Александер поддержал Монти, а Эйзенхауэр не стал вмешиваться. Это было проявлением вопиющего неуважения к Канаде, хотя с 3 сентября 1939 года правительство Великобритании стояло на позиции, что силы доминиона служат под британским командованием. У доминионов не было ни постоянного представителя в военном кабинете, ни возможности сказать веское слово в ходе дискуссий. Логика, на которой основывались договоренности Лондона с доминионами, была абсолютно верной только с военной точки зрения. Учитывая, что численность британских войск (и потерь) намного превышала численность войск доминионов, высшие командные должности должны были занимать британцы. Франклин Рузвельт понял эту логику и собирался использовать ее против Черчилля[231].

Через день после своего прибытия в Квебек и до начала «Квадранта» Черчилль отправился на поезде в Гайд-Парк на личную встречу с Рузвельтом.

Его сопровождала Мэри, а не Клементина, которая чувствовала себя неважно после морского путешествия. Мэри стала любимицей американской прессы, как только ступила на землю Северной Америки. Не считая того, что она дочь премьер-министра и служит на зенитной батарее в Гайд-парке, Мэри живет обычной жизнью, говорилось в статье, напечатанной в Time. Она редко посещала опустев-

шие лондонские ночные клубы, не курила сигареты. Она любила танцевать. В отличие от своей сестры Сары, отца и брата Мэри не испытывала пристрастия к алкоголю, хотя поздними вечерами ей нравилось посидеть у камина в компании отца и выкурить сигару. Она встречалась с американскими и британскими офицерами. В Time написали, что, когда один из них, американский художник-мультипликатор и создатель G.I. Joe* (солдата Джо), сержант Дейв Брегер (он был на 15 лет старше Мэри), взял ее с собой на боксерские бои между британскими и американскими солдатами, «она впервые увидела бокс. Она спрашивала правила, улыбалась, жевала жвачку».

Она была мудрой не по годам и умной, хотя не носила очки с толстыми линзами. Она видела, как слишком много великих умов сталкивается со слишком большим количеством сложных проблем[232].

Черчилль решил поехать из Квебека в Гайд-Парк не напрямую, через Вермонт или вдоль Гудзона, а длинным путем, чтобы показать Мэри Ниагарский водопад. Когда они подъехали к водопаду, к Черчиллю подскочил репортер и спросил, какое у него впечатление о водопаде. Черчилль ответил, что уже приезжал сюда в 1900 году и что «принцип, похоже, не изменился. Вода по-прежнему падает вниз». Затем, перебравшись на американскую сторону, они сели в поезд. Черчиллю нравились поезда, особенно американские. Десять лет назад в американском журнале Collier's он описал комфорт американских пульмановских вагонов, широкие и удобные полки, «огромный выбор искусно приготовленных блюд», которые подавали «темнокожие официанты с их мягкими голосами, приятной манерой растягивать слова, обходительные, покорные и приветливые». Итак, удобно разместившись в своем любимом виде транспорта — и получая удовольствие оттого, что у него была возможность, стоя у окна, показывать V фермерам в полях, — он проехал 400 миль на восток по Центральной Нью-Йоркской железной дороге, мимо ферм и полей, вдоль канала Эри, по долине реки Мохок и, наконец, по долине реки Гудзон в Гайд-Парк[233].

Президент, встретив Черчилля, сразу пригласил его к столу. На обед были хот-доги, гамбургеры и клэм-чаудер (инспектор Томпсон считал хот-доги «отвратительными»). Рузвельт, веселый и образцово

---

* Персонаж газетных комиксов G.I. Joe — солдат Джо, появился во время Второй мировой войны. Его придумал мобилизованный в американскую армию художник Дейв Брегер. Командование оценило потенциал солдата, и его направили трудиться в армейский журнал Yank, the Army Weekly. 17 июня 1942 года в журнале появился первый рассказ про «Джо-солдата». Рассказы пользовались популярностью до конца войны, в 1945-м их публикацию прекратили. С началом корейской войны американское издательство Ziff Davis Inc. начало выпуск отдельных изданий о приключениях солдата Джо в Корее. В январе 1951 года влиятельный американский журнал Time поместил Джо-солдата на обложку, как олицетворение всех американских парней, воюющих в Корее.

вежливый, собирался сделать Черчиллю предложение, о котором, казалось, не могло быть и речи. Генри Стимсон, который всегда с настороженностью относился к тому влиянию, которое Черчилль мог оказать на Рузвельта, когда они встречались вдвоем, кратко изложил президенту свою точку зрения. Исходя из горячих дискуссий, которые они с Черчиллем вели в Лондоне, он посоветовал Рузвельту выступить против британской стратегии «булавочных уколов», потребовать открыть второй фронт во Франции в мае 1944 года, и чтобы высадкой во Франции командовал американец, Джордж Маршалл. Во время майского визита в Вашингтон Черчилль сказал, выступая в конгрессе Соединенных Штатов: «На днях я проезжал неподалеку от поля Геттисберга, которое я хорошо знаю, как и большинство ваших полей сражений. Это было решающее сражение Гражданской войны. После Геттисберга никто не сомневался, в какую сторону склонится ужасающий баланс в войне, хотя после победы Союза при Геттисберге было пролито гораздо больше крови, чем до нее». В середине августа никто не сомневался, как закончится война, и, если кровь, которая прольется во Франции, будет в основном американской, Франклин Рузвельт хотел, чтобы операцией командовал американец[234].

Но еще несколько недель назад дела обстояли совсем по-другому. Рузвельт и американское командование считали, что будет справедливо отдать командование высадкой во Франции британцам. В конце концов, американец командовал операциями «Факел» и «Хаски». Теперь очередь Лондона. Исходя из количества жертв, единственным справедливым вариантом было бы отдать командование операцией «Оверлорд» британцу. По окончании операций в Северной Африке потери армии и военно-воздушных сил Соединенных Штатов составляли приблизительно 18 200 человек из общего числа потерь союзников на этом театре военных действий, составлявших 70 тысяч (2700 погибших, 9 тысяч раненых, 6500 пропавших без вести). Большую часть остальных потерь (52 тысячи) понесла Британия и ее доминионы. С сентября 1939 по август 1943 года в ходе боевых действий было убито более 100 тысяч британских летчиков, солдат и моряков. Окончательный подсчет потерь в Сицилии показал, что 13 тысяч британцев и канадцев были убиты, ранены и пропали без вести, а число умерших от тифа и малярии равнялось численности двух пехотных дивизий; потери американцев составили 10 тысяч человек. Таким образом, если исходить из потерь, то позиция Черчилля по вопросу командования операцией «Оверлорд» была намного прочнее, чем позиция Рузвельта. Но Рузвельт исходил из предположения, что ко времени вторжения во Францию или вскоре после вторжения американские армии будут равны британским и через несколько месяцев будут превосходить британцев в отношении пять к одному. Следовательно, сделал вывод Рузвельт, командовать «Оверлордом» должен американец[235].

Вскоре по прибытии в Гайд-Парк Черчилль неохотно согласился. Таким образом, одно из наиболее важных решений на конференции «Квадрант» было принято не в Квебеке, а на берегу Гудзона еще до начала самой конференции.

В последующие дни в Квебеке Черчилль с британскими командующими сумели добиться согласия американцев на выдвинутые ими условия: операция «Оверлорд» осуществится только в том случае, если силам вторжения будет противостоять не более двенадцати немецких дивизий, включая три на побережье, и если немцы не смогут за два месяца довести количество дивизий до пятнадцати. До вторжения необходимо ослабить немецкие воздушные силы и построить искусственные гавани для обеспечения поставок и подкрепления для первого десанта. Британцы считали эти условия стратегически правильными, поскольку по плану в первый день должны были высадиться только пять дивизий (три с моря и две парашютно-десантные). Американцы воспринимали эти условиями как лазейки, с помощью которых Черчилль с британцами попытаются уклониться от выполнения своих обязательств. Тем не менее Маршалл с американцами подписали соглашение, поскольку, несмотря на оговорки, одно из требований американцев было учтено: в случае необходимости семь дивизий, которые находились на тот момент в Северной Африке и на Сицилии, будут переброшены во Францию. Брук был против. Он сказал Маршаллу, что, «если мы отдаем основной приоритет подготовке к форсированию Канала, это может негативно сказаться на ходе военных действий в Италии и сделать невозможным сдерживание немецких сил, что, в свою очередь, сделает невозможной операцию «Оверлорд». В словах Брука была логика, но Маршалл с американцами взяли верх. Они внесли изменение во французскую стратегию, предложив для поддержания «Оверлорда» высадить две дивизии на Средиземноморском побережье Франции. Операция, получившая название Anvil («Энвил»), была призвана отвлечь немецкие силы из Нормандии. На протяжении некоторого времени нерешенным оставался вопрос, откуда взять две дивизии. Вскоре Черчиллю стало ясно: из Итальянской кампании[236].

Позже Черчилль написал, что его решение поддержать кандидатуру американского командующего основывалось на его согласии с аргументом Рузвельта, что американцев высадится на побережье больше, чем британцев, и, следовательно, командовать операцией должен американец. Однако Черчилль и британские генералы полагали, что Эйзенхауэр заменит Маршалла, а вместо него в Средиземноморье будет командовать Монтгомери. Черчиллевская логика и мотив признавшего справедливыми требования Рузвельта по «Оверлорду» согласуются с многогранной стратегией. Он считал «Оверлорд» одной из нескольких операций, имеющей, конечно, важное значение, но не

более значимой, чем любая другая. Черчилль полагал, что в конечном счете успех операции «Оверлорд» будет зависеть от успеха всех остальных операций. Передача командования «Оверлордом» американцам успокоит Вашингтон и позволит британцам командовать большей частью, а возможно, и всеми операциями, с которыми Черчилль связывал особые надежды: в Эгейском море, на Балканах, в Бирме, на Суматре, на Ближнем Востоке, в Северной Норвегии и, что самое важное, в Италии, где воевало больше союзных солдат, чем высадится в первые дни на побережье Франции. И, как американцы уже догадались, если согласованные условия вторжения во Францию не будут выполнены, не произойдет никакого вторжения, в результате чего американцы останутся ни с чем, а Черчилль получит то, что хотел[237].

Однако Черчилль не осознал, что командующий операцией «Оверлорд» де-факто станет командующим всеми англо-американскими войсками в Европе с правом вето касательно второстепенных операций и переброски людей и техники для поддержки «Оверлорда». Черчилль думал только о высадке войск во Франции и об удержании этой позиции до начала осторожного продвижения в глубь континента, в то время как основные удары будут наноситься в Норвегии, Италии и на Балканах, а также русскими на востоке и Королевскими ВВС и 8-й воздушной армией Соединенных Штатов по Берлину. Тем не менее, если гавани «Малберри» дадут тот результат, на который рассчитывали, и удастся захватить порт Шербура, после вторжения на побережье десятки тысяч солдат и сотни тысяч тонн поставок будут высаживаться и выгружаться в Нормандии. Командующий такими огромными силами — армиями, объединенными в группы армий, — заменит собой всех остальных. Джордж Маршалл понимал это. Возможность командовать такой силой выпадает только раз в жизни, а сейчас она была на расстоянии вытянутой руки. Они с женой начали отправлять мебель из Мэриленда, где они в то время жили, в свой фамильный дом в Лисбурге, штат Виргиния, ожидая скорого переезда в Лондон[238].

Отдавая командование Маршаллу, Черчилль лишил Брука мечты о решающей роли в разгроме гитлеровских армий (и о выходе из-под непосредственного влияния Черчилля). 15 августа начальник Генерального штаба написал в дневнике: «Уинстон уступил, хотя лично предлагал мне занять этот пост!» Черчилль объяснил Бруку, почему так поступил, когда они стояли на террасе Квебекской крепости, и спросил, что он думает по поводу этого решения. «Я разочарован», — только и сказал Брук. Через много лет он написал: «Ни на мгновение он [Черчилль] не мог представить, что это значило для меня. Он не попытался поддержать меня, не высказал никаких сожалений по поводу того, что ему пришлось изменить свое решение». Понадобилось несколько месяцев, чтобы Брук восстановился после этого «нокаутирующего удара»: он подозревал, что Черчилль обменял командование

операцией «Оверлорд» на назначение Маунтбеттена главнокомандующим в Юго-Восточной Азии. В этом Брук был отчасти прав, но сделка Черчилля с Рузвельтом касательно Азии носила скорее политический, чем военный характер. Рузвельт превосходно ладил с Маунтбеттеном, а американская пресса его обожала. Посылая Маунтбеттена в Азию, Черчилль мог рассчитывать на то, что британцы сделают все необходимое для разгрома Японии[239].

Каждый вечер в Квебеке Брук находил новые определения для проходивших на конференции дискуссий: «длинные», «утомительные», «неприятные», особенно те, что имели отношение к войне с Японией или подходу Черчилля к операциям в Тихом океане; Брук назвал их «бессмысленной тратой времени». Если Черчилль хотел наносить удары по окраинам Японской империи, то Нимиц и Макартур хотели двинуться на Токио из южной части Тихого океана, при этом Макартур должен был действовать в направлении Филиппин, а Нимиц — в направлении северных островов. Соответственно, американцы требовали, чтобы британцы в Бирме более активно поддерживали Чан Кайши, который, по их мнению, докажет свою полезность, когда отвлечет японскую армию и тем самым облегчит нанесение удара с юга. Китай, с точки зрения американцев, играл важную роль во всей операции. Но Черчилль, сообщал Гил Уайнант в Вашингтон, «хочет увидеть крах Китая». Американцы подозревали, что британцы воевали в Бирме не ради Китая, а ради возвращения своих колониальных владений. В этом американцы не могли участвовать; чем значительнее американское присутствие в Юго-Восточной Азии, тем больше риск, что Рузвельта обвинят в оказании помощи и содействии британскому империализму.

Стороны руководствовались противоположными политическими стратегиями, в результате сугубо военные цели часто становились заложниками политики. Шесть тысяч рейдеров Уингейта, китайские войска Стилвелла в Индии и 14-я армия под командованием генерала Билли Слима оказались в положении забытых солдат на забытом театре военных действий. Появление Маунтбеттена сулило перемены. Черчилль мог с полным правом заявить, что он направил своего лучшего солдата, способного вести боевые действия в воздухе, на суше и воде и взять ситуацию под свой контроль. Для успокоения американцев Стилвелла назначили заместителем Маунтбеттена. Стилвелл, оказавшись между двух огней, лишенный реальной возможности убивать ненавистных японцев, как обычно пришел в ярость. В знак протеста он отказался встать во время исполнения God Save the King («Боже, храни короля»). После разговора с Маршаллом он согласился встать во время церемонии, но петь категорически отказался. Стилвелл считал Маунтбеттена «английским шутом» и «таким же тупым, как и его кузен, король». Подобные отношения подтверждали справедливость

черчиллевских слов: «Хуже, чем воевать вместе с союзниками, может быть только одно: воевать без союзников»[240].

То же самое можно было сказать о трудностях, с которыми во время войны сталкивался Брук, работая в одной связке с Черчиллем. Совещания Объединенного комитета начальников штабов были напряженными, но плодотворными. Но только Бруку показалось, что достигнуто взаимопонимание с американцами по поводу необходимости выработки общего плана для войны с Японией, как Черчилль вновь стал настаивать на захвате северной части Суматры и позволить событиям идти своим чередом. Брук был вне себя от ярости, когда написал в дневнике: «Он [Черчилль] отказался признать, что нам нужен общий план, советовал придерживаться оппортунистической политики... Я чувствовал себя выжатым словно лимон и неспособным вынести еще один день конференции». Мопс Исмей, связующее звено между Черчиллем и Бруком, оказался в центре схватки между абсолютно разными личностями. Черчилль, прекрасно осведомленный о пренебрежении, с каким Брук относился к его стратегическим талантам, однажды послал Исмея спросить Брука, почему он так ненавидит премьер-министра. Исмей вернулся с ответом Брука; на самом деле он любит премьер-министра, но не может служить ему, не ввязываясь в споры по тем вопросам, по которым их мнения расходятся. Черчилль выслушал Исмея, покачал головой и прошептал: «Дорогой Бруки»[241].

17 августа Александер телеграфировал Черчиллю, что последние немцы покинули Сицилию. Кампания завершилась; она продлилась всего тридцать восемь дней. Но победа была неполной: 60 тысяч солдат Кессельринга сбежали в Италию. В тот день новое итальянское правительство по секретным каналам сообщило о готовности принять условия капитуляции, выдвинутые Эйзенхауэром. Проблема состояла в том, что итальянский переговорщик в Лиссабоне, генерал Джузеппе Кастельяно, хотел узнать у начальника штаба Эйзенхауэра, генерал-лейтенанта Беделла Жука Смита, как Италии лучше всего противостоять немцам, которых Кастельяно, будучи сицилийцем, ненавидел. Но Смит ответил, что он может обсуждать только безоговорочную капитуляцию. С учетом того, что через две недели была запланирована операция по высадке на носке и каблуке «итальянского сапога», Черчилль опасался, что в Риме к власти может прийти правительство предателей или немцы оккупируют Рим и станут напрямую управлять страной. Он хотел, чтобы Эйзенхауэр дал понять итальянцам, что если итальянские войска вступят в бой с немцами, когда высадятся союзники, то Италию примут в антигитлеровскую коалицию. Но Кастельяно нужны были гарантии. У итальянцев не было шансов в борьбе с вермахтом. А Эйзенхауэр не мог дать гарантий, до тех пор пока итальянцы не подпишут безоговорочную капитуляцию. Помимо того, Эйзенхауэр хотел, чтобы Кастельяно подтвердил, что Муссолини не

вернется на политическую сцену под маской спасителя нации. Когда Смит спросил его о том, где держат Муссолини, Кастельяно ответил, что «Гитлеру тоже хотелось бы знать». На самом деле Гитлер вскоре узнал, что дуче содержится в отеле Campo Imperatore на высокогорном горнолыжном курорте в Абруццо, и строил планы его похищения, чего так боялся Черчилль[242].

В конце июня британский разведывательный самолет, пролетая над Пенемюнде, поселком, расположенным на острове Узедом в Балтийском море, сфотографировал ракету, которую немцы не успели замаскировать. Получив снимки, Дункан Сэндис с Черчиллем наконец поняли, что за летательный аппарат строит Гитлер на балтийском побережье, хотя они не обладали информацией о массе, скорости, топливе и мощности боевого заряда. Ночью 17 августа более пятисот британских тяжелых бомбардировщиков нанесли удар по Пенемюнде. Перед экипажами была поставлена задача уничтожить не только лаборатории, сборочные цеха и испытательные стенды, но и дома, где жили инженеры, техники и тысячи военнопленных. Альберт Шпеер, гитлеровский рейхсминистр вооружений, разрешил отправить военнопленных, в основном поляков и русских, для работы на этом объекте, после того как руководитель ракетной программы Вернер фон Браун, тридцатиоднолетний авиационный инженер и энтузиаст ракетостроения, заявил, что если не будут поставлять рабочую силу, то не будет и ракетной программы (кодовое название А-4). В результате налета погиб один ученый и несколько сотен военнопленных. Вскоре Шпеер и фон Браун разбросали исследовательские и производственные объекты, связанные с программой А-4, по всей Германии, в том числе подземный завод в горах Гарца. В Пенемюнде продолжались конструкторские испытания А-4, а также более простой «летающей бомбы», по сути небольшого беспилотного самолета. Из соображений секретности по документам проходила как зенитная ракета FZG 76 (Flakzielgerat 76). После проведения испытаний основное производство ракет было развернуто на заводе «Фольксваген» в Фаллерслебене. Гитлер был в восторге от нового оружия и приказал Шпееру присвоить молодому фон Брауну звание профессора. В Пенемюнде немцы не стали расчищать завалы после налета Королевских военно-воздушных сил, посчитав, что, совершая разведывательные полеты, британцы решат, что немцы покинули Пенемюнде. Именно так британцы и подумали и не возвращались в течение девяти месяцев. К тому моменту ракеты Брауна были уже почти готовы[243].

Когда «Квадрант» подходил к концу, Брук с удовольствием описал в дневнике самый позорный момент Маунтбеттена, после того как Дики наконец убедил начальника Генерального штаба позволить ему

провести демонстрацию «Аввакума», авианосца изо льда, для Объединенного комитета начальников штабов. Маунтбеттен взял два больших куска льда, которые принесли в комнату, где только что закончилась оживленная дискуссия между американским и британским командованием. Маунтбеттен объяснил, что один блок — кусок обычного льда, а второй — из материала под названием пикрит (замороженная вода с древесными опилками). Дики достал револьвер и выстрелил в ледяной блок, который, как и следовало ожидать, разлетелся на мелкие кусочки. Маунтбеттен объявил: «Теперь я выстрелю во второй [блок], чтобы продемонстрировать вам разницу». Разница состояла в том, что второй блок был пуленепробиваемым. Пуля отскочила от блока, чудом не задев Портала и Эрнеста Кинга. Снаружи группа младших офицеров услышала выстрелы. «Боже! — воскликнул один из них. — Теперь они начали стрелять». Ледяной флот никогда не выходил в море[244].

Пока начальники штабов спорили по каждому пункту повестки конференции — главным образом по «Оверлорду» и операции в Бирме, — Черчилль и Рузвельт следили за ходом решения вопроса о капитуляции Италии. Это была первая конференция, на которой присутствовали высокопоставленные дипломаты — Иден, Кадоган и Халл прибыли 18 августа, — и первая, на которой была признана двойственность цели, военная и политическая. Рузвельт настаивал, чтобы Эйзенхауэр вел все переговоры с итальянцами, а Черчилль настаивал на том, что политикой должны заниматься политики. Дело осложнялось тем, что Рузвельт недолюбливал короля Виктора-Эммануила и маршала Бадольо за то, что они длительное время оказывали поддержку Муссолини. Однако Черчилль две недели назад сказал Рузвельту, что он будет иметь дело «с любым, кто готов выполнить взятые на себя обязательства». Рузвельту не нравились европейские конституционные монархии, и он хотел, как и Вудро Вильсон, чтобы в Европе установилась республиканская форма правления. Черчилль верил, что, если бы победители в Первой мировой войны извлекли из забвения наследника Гогенцоллернов или Габсбургов, вернули его на австрийский или немецкий трон, чтобы править конституционной монархией, не было бы Гитлера. Черчилль верил в королей, а Виктор-Эммануил был королем. Кроме того, он был единственным участником итальянской стороны: во власти просто не было ни одного республиканца, с которым Рузвельт мог иметь дело. Помимо того, что Рузвельт чувствовал антипатию по отношению к монархии, он обоснованно не доверял Бадольо. Черчилль тоже не доверял итальянскому генералу и ожидал обмана, но со стороны Гитлера, сказал он Рузвельту, а не союзников[245].

Пока Черчилль и Рузвельт обдумывали условия капитуляции Италии, им не пришло в голову, что следует пригласить для участия в

обсуждении Сталина и «свободных французов». Они держали Сталина в курсе событий, но полагали, что он не стремится принимать в них участие. Французов попросту игнорировали, что было неудивительно, учитывая пренебрежительное отношение Рузвельта и Хала к де Голлю. По иронии судьбы, самым популярным выступлением Рузвельта по радио в 1940 году было то, в котором он обвинил Италию, что она воткнула нож в спину Франции, когда вторглась на ее территорию. У Франции были очень серьезные территориальные противоречия с Италией. И тем не менее Халл — Алек Кадоган называл его «старушкой» — отказался признать Французский комитет национального освобождения (ФКНО). На той неделе британцы решили признать ФКНО в качестве легитимной организации в Северной Африке, но не как предполагаемое временное правительство после освобождения Франции. Начало было положено. Американцы предпочли только «заметить» голлистов[246].

Телеграмма от 22 августа, в которой Сталин выразил негодование (со свойственной ему резкостью) по поводу того, что Советы исключили из обсуждения вопроса о капитуляции Италии, опровергла предложение, что Сталина вполне устраивает просто получать информацию о ходе событий, но не принимать в них участие. «До сих пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР получал информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного наблюдающего. Должен Вам сказать, что терпеть дальше такое положение невозможно». Черчилль нашел телеграмму «грубой» и отправил Сталину телеграмму, в которой, к ужасу Идена, была такая фраза: «Ваше заявление не произвело на меня никакого впечатления». Старик и Рузвельт, обеспокоенный сталинским тоном, пригласили Кадогана, который, прочитав телеграмму, сказал, что Сталин совершенно прав и он всегда выражает недовольство в резкой форме. Энтони Иден высказал мнение, что привлечение Сталина к решению проблем может принести выгоду в будущем, когда Сталин будет иметь в Восточной Европе такое же влияние, как британцы и американцы имели сейчас в Италии. По словам Идена, если пригласить Сталина участвовать в итальянских переговорах, можно создать прецедент, который окажется полезным, когда Красная армия выйдет за пределы своей страны и продолжит наступление по территории стран Балтии, Польши и Румынии. Черчилль согласился с Иденом, но выразил сомнение, что можно ждать понимания от Сталина. Он предсказал «кровавые последствия в будущем... Сталин страшный человек. Нас ждут серьезные проблемы»[247].

По мнению Гарримана, Черчилль имел в виду «кровавые» в буквальном, а не в переносном смысле слова. Спустя несколько недель Черчилль, думая о проблемах, связанных с Советским Союзом, попросил британский Комитет начальников штабов разработать план по проти-

водействию коммунистическому перевороту в Греции при поддержке Москвы в случае отвода немецких войск, который Черчилль хотел ускорить за счет вторжения на Родос и Додеканесские острова (которые Италия захватила в 1912 году) сразу после капитуляции Италии. В Греции назревал кризис, и Черчилль хотел решить проблему до того, как на сцене появится Москва. В Греции воевали между собой две партизанские группы — большая Народно-освободительная армия коммунистов (ЕЛАС) и небольшие отряды греческой Национальной демократической лиги (ЕДЕС). Оружием и ту и другую сторону обеспечивало управление специальных операций. Обе стороны презирали короля Греции Георга II, которого Черчилль хотел восстановить на троне. Мы должны быть в состоянии, сказал Черчилль своим начальникам штабов, «направить в Афины 5 тысяч солдат с бронемашинами и пулеметами Bren для оказания «поддержки восстановленному у власти законному правительству Греции». Он более чем на год ошибся в сроках, но точно угадал намерения Сталина. Аппетиты советского лидера росли с каждой захваченной Красной армией пядью земли[248].

Неосторожное исключение Сталина из переговоров по Италии вновь сделало актуальной необходимость встречи «Большой тройки», чтобы, по мнению Рузвельта, рассмотреть не только военные вопросы, но вопросы, имевшие отношение е послевоенному миру. Рузвельт, считавший, что победа над Гитлером не только неизбежна, но и будет достигнута в течение года (хотя считал, что японцы могут продержаться до 1946 или 1947 года), предоставил военачальникам решать военные вопросы, а сам переключил внимание на послевоенные проблемы мира. В тот месяц Гопкинс написал Уайнанту, что наступление русских «вместе с нашими бомбардировками Германии усложнит положение Гитлера и я не вижу, как он сможет выстоять более восьми месяцев». Именно столько времени, считал генерал Карл Спаатс, потребуется его стратегической авиации для того, чтобы Гитлер оказался на грани поражения, после чего через несколько месяцев Германия капитулирует. Если бы Гопкинс и Спаатс оказались правы, то крах Германии наступил бы в мае 1944 года и операция «Оверлорд» стала ненужной. Американский сенатор от штата Калифорния Шеридан Дауни был настроен еще более оптимистично, предсказав, что с помощью десяти крупномасштабных налетов в месяц с Германией будет покончено к февралю. Рузвельт и Гопкинс публично заключили пари, но, по мнению Рузвельта, пришло время найти дипломатические средства, с помощью которых военный союз, известный как Объединенные Нации, мог после войны стать влиятельным международным органом, основу которого будут составлять четыре державы — Америка, Британия, Китай и Россия. Пришло время начать диалог со Сталиным о послевоенном мире, мире, до которого, возможно, остался всего год[249].

Черчилль с Иденом считали, что преждевременно обсуждать эту тему на встрече со Сталиным, и сказали Рузвельту, что обсудят вопрос послевоенной лиги государств с военным кабинетом (в том числе участие Китая, сказал за ужином Черчилль, если «они стали нацией»). Иден сказал, что Сталина волнуют всего два вопроса: «второй фронт и восточные границы [России]». Вопрос границ косвенно затрагивал вопрос о послевоенных границах Германии, то есть вопрос, как наилучшим образом расчленить Германию. Иден считал, что встреча министров иностранных дел «наверняка нанесет сейчас больше вреда, чем пользы», поскольку в этом году второй фронт не будет открыт и решение о границах будет приниматься после войны. Однако необходимость встречи трех Больших мальчиков (как их называл Кадоган) была очевидна, особенно с учетом того, что в 1943 году не будет открыт второй фронт. В Москву отправили приглашение. В качестве места проведения конференции министров иностранных дел, а вскоре и «Большой тройки» были предложены Анкоридж, Лондон и Скапа-Флоу. Когда закончился «Квадрант», Сталин согласился встретиться в конце 1943 года, настояв на том, чтобы сначала для определения повестки дня для трех лидеров встретились министры иностранных дел. Он предложил провести встречу министров иностранных дел в Москве, а встречу «Большой тройки» там же или в Тегеране. Черчилль лоббировал Лондон; он уже ездил в Москву один раз, а сейчас к концу подходило его четвертое путешествие в Вашингтон. Обсуждение потенциальных мест проведения конференции тянулось почти три недели, после чего Рузвельт наконец согласился с предложением Сталина по организации встречи министров иностранных дел в Москве. Черчиллю ничего не оставалось, как согласиться. Уменьшение британского влияния в альянсе беспокоило Идена, который считал, что Рузвельт вышел на первый план: «Я очень хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с Соединенными Штатами, но мне не нравится подчиняться им... Мы создаем впечатление, чему они, естественно, только рады, что с военной точки зрения все успехи принадлежат им»[250].

Иден сделал эту запись в дневнике 10 сентября, добавив, что «Уинстон, продлив свое пребывание в Вашингтоне, только подкрепляет [это] утверждение». «Квадрант» закончился 24 августа. На следующий день большинство штабных офицеров отбыли в Лондон и Вашингтон на поездах, самолетах и кораблях. Начальники штабов, Исмей, Иден, Кадоган, Черчилль, его секретари и члены семьи задержались на шесть дней, чтобы отдохнуть и порыбачить. Черчилль наслаждался отдыхом на берегу озера Лак-де-Нейгес, а Иден и его люди — на озере Жак-Картье, примерно в часе езды от Черчилля и на 3 тысячи футов выше, в Лаврентийских горах. Когда 27 августа Иден заехал к Черчиллю, чтобы попрощаться перед отъездом в Лондон, Моран сказал ему, что премьер-министр устал и не может справиться с проб-

лемами, известными ему одному. Черчилль принимал ванну, и Иден нашел, что премьер-министр выглядел «неважно, у него был нездоровый цвет лица». Когда Черчилль изъявил желание продлить отпуск в горах, Иден посоветовал ему так и сделать. Затем, продолжая плескаться в ванне, Черчилль сказал: «Не знаю, что бы я сделал, если бы потерял вас всех. Я бы перерезал себе горло. И это не только любовь к вам, хотя я вас люблю, но вы моя военная машина. Бруки, Портал, вы и Дики, мне просто некем вас заменить»[251].

Эта передышка на берегу озера была просто необходима Черчиллю. В большом каменном камине горели поленья. По слухам, поблизости бродили медведи и волки. Днем Черчилль с лодки ловил форель, «рассказывая о правилах ловили рыбы» Морану, который не выловил ни одной рыбы. На озере плавали, ныряли и кричали гагары, которых в Британии называли «нырками». Поздно вечером прогуливался по пирсу, чтобы посмотреть на северное сияние. На завтрак и ужин подавали запеченную форель. Они подсчитали, что уменьшили местную популяцию форели более чем на триста особей. Клементина, которая «слишком устала, чтобы наслаждаться отдыхом», через день вернулась в Квебек. Ее «нервное состояние», позже написала Мэри, привело к тому, что у нее все вызывало волнение. Чего нельзя было сказать о Черчилле. Отдых творил чудеса. К 29 августа он вернулся «в прекрасную форму», написал Кадоган, «распевал песни Дона Лено и другие любимые песни наряду с последними хитами Ноэля Кауарда». К 29 августа все разъехались, кроме Кадогана, Исмея и Дидли Паунда, которого беспокоили мучительные боли, из-за чего он не мог улететь вместе со всеми[252].

У Паунда, которого Брук в течение многих месяцев критиковал в своем дневнике за то, что он засыпал во время совещаний, на самом деле была недиагностированная опухоль головного мозга, и он перенес малый инсульт. Месяц назад умерла его жена, с которой он прожил более трех десятилетий, но он поехал в Квебек. Когда он пожаловался Черчиллю на головные боли и онемение ног, Старик настоял, чтобы вместе отправиться в Англию на борту «Ринаун». 1 сентября Черчилль и его заметно поредевшая компания вернулись в Квебек. Там к ним присоединились Мэри и Клементина, и они отправились в Вашингтон. Его отпуск только начался. «Спокойная жизнь хорошо влияет на него, — написал Моран, — но он чувствует себя словно школьник, прогуливающий уроки»[253].

Так и было. К 10 сентября подчиненные Черчилля согласились с мнением Морана, включая Идена, который написал в дневнике, что находился в депрессии и чувствовал себя плохо, «отчасти, я думаю, потому, что, пока Уинстон находился по ту сторону Атлантики, было очень сложно вести с ним дела». Брук тоже отметил отсутствие Чер-

чилля. После заседания кабинета под председательством Эттли он написал, что, хотя заседание прошло с большей эффективностью, чем под председательством Черчилля, это было заседание «обезглавленного кабинета». Брук, который всегда стремился представить Черчилля в неблагоприятном свете в своем дневнике, заметно смягчил свою позицию во время длительного отсутствия премьер-министра. Описав противоречивые черты характера и неудачи — «сверхъестественные способности сочетаются порой с удивительной способностью не видеть очевидное», — Брук признался, что, хотя Черчилль «самый тяжелый человек, с каким приходилось работать... Я ни за что на свете не упустил бы возможность работать с ним»[254].

В Средиземноморье многое произошло за время оздоровительных «прогулов» Черчилля. 3 сентября (тайно и безоговорочно) капитулировали итальянцы, хотя к «безоговорочной» капитуляции прилагались тринадцать условий, включая передачу итальянского флота союзникам. И в тот же день две дивизии 8-й армии пересекли Мессинский пролив и высадились близ Реджо-ди-Калабрия, на самом «кончике» «итальянского сапога». Это была пробная вылазка. Монтгомери, не имевший достаточного количества десантных судов для высадки большего количества войск на каблуке Италии и переброски сил на адриатическое побережье, мог удерживать только носок сапога. Эйзенхауэр придержал десантные суда для использования их в операции Avalanche («Лавина»), запланированного захвата Салерно 5-й армией, назначенного на 8—9 сентября. В качестве поддержки операции Эйзенхауэр планировал сбросить 82-ю воздушно-десантную дивизию близ Рима, чтобы она захватила аэродромы.

Но это была не та решительная стратегия нападения на Северную Италию, которую Смэтс описал в своем июльском письме Черчиллю. На самом деле Марк Кларк, командующий 5-й армией, настаивал на высадке севернее Неаполя, но маршал авиации Теддер и адмирал Каннингем сомневались, что стоит так далеко посылать свои авианосцы и военные корабли для поддержки сухопутных войск, а Эйзенхауэр не хотел оставлять свои сухопутные войска без морского и воздушного прикрытия. Вот почему был выбран Салерно. И поэтому 8-й армии, самой испытанной в боях армии в лагере союзников, была отведена роль поддержки в 200 милях к югу от главных событий в Салерно. Монтгомери в своих мемуарах написал со свойственной ему прямотой об этой стратегии: «Если планирование и осуществление Сицилийской кампании были плохими, то подготовка к высадке в Италии и осуществление последующей компании были еще хуже»[255].

Черчилль неделю назад пришел к тому же выводу, когда один из офицеров из штаба Александера доложил ему, что двенадцать полностью укомплектованных дивизий союзников смогут высадиться в Ита-

лии не раньше 1 декабря и, что еще хуже, только близ Неаполя. Проблема, по мнению Черчилля, состояла в том, что любая задержка по захвату Рима позволит Кессельрингу перебросить большее количество войск. «Запоздалый прогноз, — написал Брук в дневнике, — привел его [Черчилля] в бешенство»[256].

Наступление на Ром продолжалось. Но, учитывая, что в Северной Италии находилось восемь немецких дивизий под командованием Роммеля, а южнее еще восемь под командованием Кессельринга, включая две рядом с Римом, у союзников было мало шансов захватить Вечный город до тех пор, пока не будет осуществлена высадка в районе Рима, где к ним были готовы присоединиться пять итальянских дивизий. Но нерешительность Эйзенхауэра дала Кессельрингу время, необходимое для того, чтобы превратить центральную и южную часть Италии в крепость. Теперь Эйзенхауэр осознавал свою ошибку, состоящую в том, что он не высадился в Калабрии в июле во время проведения операции «Хаски» и таким образом не отрезал Сицилию, загнав противника в ловушку. «История назовет это [моей] ошибкой», — сказал он капитану Бутчеру. Если бы он использовал эту стратегию, его армии сейчас уже могли бы двигаться на север Италии, но теперь «быстрый разгром Италии просто растворился в неизвестности». Отчасти, написал Бутчер, это было связано с ограничениями, наложенными на Эйзенхауэра Черчиллем и Рузвельтом, настаивавшим на безоговорочной капитуляции. Однако справедливости ради надо отметить, что не только Эйзенхауэр был виноват в сложившейся ситуации. Командование военно-воздушных и военно-морских сил союзников не хотело осуществлять сложные операции в Мессинском проливе. К огромному облегчению Кессельринга, позже написавшего, что «наступление на Калабрию облегчило бы высадку в Сицилии, приведя к огромной победе союзников»[257].

В то время как Эйзенхауэр готовился нанести удар по Салерно (и это был недостаточно мощный удар), Черчилль, который все еще находился в Вашингтоне, предложил военному кабинету включить в повестку дня трехсторонней встречи, о которой была достигнута договоренность, в качестве основного вопроса обсуждение послевоенной судьбы Германии и роли России в определении этой судьбы. Россия и ее возможные действия в будущем стали серьезной политической проблемой, которая беспокоила Черчилля. 5 сентября Смэтс сказал, что «после этой войны Россия будет величайшей сухопутной державой в мире» и что сохранение англо-американского союза с его сокрушительной воздушной мощью обеспечит необходимый «баланс с Россией, по крайней мере на период послевоенного восстановления». На этот счет Черчилль написал: «Что будет дальше — глазом простого смертного не видно, а у меня нет пока достаточных познаний о небесных телескопах»[258].

5 сентября Рузвельт пригласил миссис Огден Рейд* на обед в Белый дом.

Она была издателем New York Herald Tribune и ярой сторонницей независимости Индии. Она была из тех людей, которые открыто высказывают свое мнение, и Рузвельт не сомневался в том, что она скажет Черчиллю все, что думает. Так и произошло. В ответ на ее вопрос «Что вы намерены делать с этими несчастными индийцами?» Черчилль ответил: «Прежде чем мы продолжим разговор, позвольте кое-что прояснить. Мы говорим о темнокожих жителях Индии, число которых пугающе увеличилось при доброжелательном британском правлении? Или мы говорим о краснокожих индейцах в Америке, которых, как мне известно, почти не осталось?» Миссис Рейд потеряла дар речи. Рузвельт не смог удержаться от смеха; он любил, когда возникали такого рода неловкие моменты[259].

На следующий день Черчилль, получивший приглашение президента Гарварда Джеймса Конанта выступить в университете, поехал на поезде в Бостон, куда прибыл на следующее утро. 7 сентября он выступил перед 1300 студентами и преподавателями в театре Сандерса, расположенном в Мемориал-холле, огромном, как собор, здании из красного кирпича в готическом стиле Викторианской эпохи. На стенах трансепта Мемориал-холла, возведенного в память воспитанников Гарварда, погибших в Гражданскую войну, двадцать восемь мраморных плит с их именами. Тедди и Франклин Рузвельты прогуливались по его коридорам, как некогда прогуливались Кэботы, Лоуренсы и Лоуэллы. Здесь учился и адмирал Ямамото, погибший несколько месяцев назад в авиакатастрофе, когда его самолет был сбит американскими истребителями. Шелдоновский театр Кристофера Рена в Оксфорде стал прообразом Сандерс-театра, с его полукруглым лекционным залом, высокими сводчатыми потолками и темными деревянными панелями. Справа от кафедры стояла статуя, которая изображала Джеймса Отиса, выступавшего против короля Георга III и его «Предписаний о помощи», а место за кафедрой занял Черчилль, желавший обнародовать свои замечательные идеи относительно послевоенного мира.

Черчилль, почетный ректор Бристольского университета, стоял на сцене Гарварда, в мантии и головном уборе оксфордского преподавателя, позаимствованных специально для этого случая в Принстоне. Около четырех минут он говорил о сотрудничестве между Америкой и Англией, а затем сказал: «Говорят, что на склоне лет великий Бисмарк — многие великие люди прошлого были выходцами из Германии — отметил, что самым сильным фактором в человеческом обществе в конце XIX века было то, что британцы и американцы говорили

* В 1943 году издателем New York Herald Tribune был Огден Рейд, а его жена, Хелен Рейд, вице-президентом издательства. Она стала издателем после смерти мужа в 1947 году.

на одном языке. Это была многозначительная фраза. Безусловно, благодаря общему языку мы сумели вместе вести войну, и при этом между нами налажено такое тесное и гармоничное сотрудничество, какого прежде редко удавалось достигать союзникам. Общий язык — бесценное наследие, и, возможно, в один прекрасный день он станет основой общего гражданства. Я лелею мечту, что британцы и американцы смогут свободно перемещаться из одной страны в другую, не чувствуя себя иностранцами... Все это предоставляет безграничные возможности, и я говорю: «Давайте сделаем это вместе. Мы должны двигаться вперед, мы идем по одному и тому же пути. Несмотря на разные задачи и разные способы их достижения, у нас похожие цели — давайте двигаться дальше и не причинять друг другу вреда, но служить на благо всем. Такие планы приносят больше выгод, нежели оккупация провинций и земель других народов или их эксплуатация. Империи будущего будут империями разума»[260].

Черчилль всегда искал одобрения со стороны Рузвельта относительно слов, которые он намеревался произнести на Американской земле. Его необычное предложение о едином гражданстве, безусловно, не осталось не замеченным Рузвельтом, который заверил его, что Америка сейчас так далека от своего изоляционистского прошлого, что идея двойного гражданства не вызовет «яростного сопротивления в обществе и не приведет к еще одному Бостонскому чаепитию»*.

Желая узнать реакцию общественности на его выступление, Черчилль приказал тщательно изучить американские газеты. Эта задача была поручена Исайе Берлину, оксфордскому преподавателю философии, эмигранту из Латвии и сотруднику посольства. Он доложил, что, поскольку Белый дом объявил, что выступление не будет иметь особого политического значения, оно не освещалось в прессе. Первые полосы газет заняты сообщениями об ужасной железнодорожной катастрофе. Черчиллевское выступление прошло практически незамеченным. Тем не менее New York Times заявила, что речь «открыла широкое поле для дискуссий... В конце мрачных коридоров войны забрезжил свет»[261].

В тот день Черчилль, как военный лидер, вполне возможно, достиг вершины. Почти два года он выращивал, лелеял и подстегивал альянс к активным действиям, и теперь встал вопрос о его будущем. Но сначала следовало одержать победу над Гитлером в Италии — он сказал лорду Морану, что вскоре встретится с Алексом в Риме, — а затем победу над Гитлером в Германии. Теперь и Рузвельт признал необхо-

* Бостонское чаепитие — акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской Ост-Индской компании.

димость создания англо-американских отношений на постоянной основе. Потенциал, казалось, был неисчерпаем: представлялись возможности создания общей для двух стран системы военного руководства, введения общей валюты — давней мечты Черчилля. Снаружи, у Мемориал-холла, выстроился батальон кадетов, мужчины и женщины, и Черчилль (он уже снял мантию, в которой напоминал кардинала Уолси) коротко поприветствовал их, стоя на ступеньках. Кадеты слушали в почтительном молчании, как Черчилль перефразировал свои сказанные ранее слова, подчеркивая особо значимые моменты в речи ударами тростью по гранитным ступенькам. Затем, под громогласное «ура», он поднял руку в приветственном жесте с пальцами растопыренными в виде буквы V. На обратном пути в Вашингтон он был возбужден и показывал этот жест машинистам встречных поездов, а когда поезд начинал торможение у станций, выбегал в халате, украшенном цветочным узором, в тамбур своего пульмановского вагона, чтобы показать свой знаменитый жест тем, кто стоял на платформе. Лорд Моран сделал колкое и ироничное замечание на этот счет: «Премьер-министр довольно долго стоял у окна своего вагона, показывая V каким-то работающим в поле людям, которые не могли видеть ничего, кроме поезда, несущегося мимо полей»[262].

7 сентября итальянский министр военно-морского флота пообещал Альберту Кессельрингу, что итальянский флот готовится «выйти из Специи, чтобы вступить в сражение с британским Средиземноморским флотом» и «победит или погибнет» в этом сражении. Это удовлетворило Кессельринга, хотя он и сомневался в надежности итальянского правительства, а потому он разработал план по захвату Рима, на случай если появится хоть малейшее основание подозревать итальянцев в предательстве. К тому же он решил, что, скорее всего, немногочисленные союзные силы вторгнутся вблизи Салерно.

Во второй половине дня 8 сентября по Би-би-си объявили о капитуляции Италии. Новость стала абсолютной неожиданностью для Виктора-Эммануила и маршала Бадольо, которым не доложили о планах союзников, хотя у них было достаточно времени, чтобы развернуть итальянские войска и превратиться из противника в союзника. С ночи до утра на побережье вблизи Салерно, в 160 милях к югу от Рима и в 35 милях к югу от Неаполя, происходила высадка 55 тысяч солдат британского 10-го корпуса и американского 6-го корпуса под командованием Марка Кларка и 5-й армии. Высадке десанта не предшествовали ни бомбардировка с воздуха, ни обстрел с моря, чтобы заставить Кессельринга теряться в догадках, где союзники предполагают совершить высадку.

Но именно этого и ожидал Кессельринг. Он имел представление о кампании Эйзенхауэра в Тунисе и на Сицилии и предвидел, что нечто

подобное повторится в Италии. И он увидел это, сначала во время высадки Монтгомери в Калабрии, а теперь в Салерно. По берлинскому радио говорили о возможности проведения обеих операций еще три недели назад. Кессельринг разместил пять дивизий, готовых в любой момент дать отпор противнику, высадившемуся на побережье от Неаполя до Салерно. И теперь его дивизии начали действовать. Джон Стейнбек, работавший военным корреспондентом на побережье, написал: «Немцы нас ждали. Их 88-миллиметровки были на окружающих холмах, а в песчаных дюнах были пулеметы. В прибое были мины, и он [Кессельринг] сидел и ждал нас». В очередной раз осторожность союзников взяла верх над агрессивностью, и эта осторожность дорого обошлась не только десантникам на побережье, но и Риму — и всей Италии. Кессельринг планировал взять Рим за несколько недель. 9 сентября он начал штурм города и занял его уже на следующий день, после того как итальянские дивизии без боя отступили к Тиволи. Геббельс написал в дневнике: «Тем самым были решены главные проблемы, связанные с обеспечением нашей безопасности в Италии». Жизнь горожан в итальянской столице мгновенно изменилась; по мнению Геббельса, они совершили «предательство» и заслуживали наказания, которое им предстояло понести. Римляне стали пленниками рейха наряду с теми, кто проживал в Варшаве, Париже, Роттердаме и Брюсселе[263].

Черчилль верил, что падение Италии, если из него получится быстро извлечь выгоду, открывало возможности в Эгейском море. 8 сентября, когда войска производили высадку в Салерно, на Родос, близ юго-западного побережья Турции, в расположение итальянских войск спустился на парашюте британский офицер. Остров занимал центральное место в балканской стратегии Черчилля; взятие Родоса снято бы давление с Турции (которая объявила суверенитет над Додеканесскими островами) и, как он надеялся, убедило бы ее вступить в войну на стороне союзников. Если турки вступят в войну, Черное море станет подконтрольно союзникам, а бассейн Дуная будет свободен для осуществления последнего броска, предусмотренного балканской стратегией Черчилля, в направлении немецкого фланга. Задачей офицера было убедить командующего 30-тысячной итальянской армией на Родосе атаковать 7-тысячное немецкое войско, находящееся на другом конце острова. Итальянцы медлили, а немцы действовали решительно. Они нанесли упреждающий удар, разгромили итальянцев и немцы казнили более ста итальянских офицеров.

Инициатива Черчилля в Эгейском море захлебнулась, начавшись крайне неудачно для союзников. Он приказал командующему на Ближнем Востоке Мейтленду Джамбо Вильсону направить бригаду в составе 4 тысяч пехотинцев на Лерос, Кос, пять других Додеканесских островов и на Самос. Бригада, разделенная на батальоны, присоеди-

нилась к ранее дислоцированным на островах, теперь уже дружественным, итальянским солдатам. Но до взятия Родоса было бы чрезвычайно трудно или даже невозможно предпринять какие-либо действия на Додеканесских островах. Черчилль телеграфировал Вильсону: «Настало время играть по-крупному. Импровизируй и рискуй». (Позже Черчилль сокрушался: «Он импровизировал и рисковал».) 13 сентября Черчилль опять отправил телеграмму Вильсону: «Пришло время вспомнить Клайва, Петерборо и Рука, захватившего Гибралтар»*.

Однако бригада была вдвое меньше, чем предусматривалось планами, разработанными после Касабланки, и немцы, а не Королевские военно-воздушные силы контролировали аэродром на Родосе. Вильсону не хватало солдат и самолетов, чтобы захватить Родос, а у Эйзенхауэра было в избытке того и другого. Черчилль полагал, что, когда Эйзенхауэр поймет, как легко можно захватить Эгейское море, он окажет необходимую помощь. Но он этого не сделал[264].

В то время как 9 сентября события на Родосе обернулись катастрофой, адмирал Каннингем направил свой флот к Таранто, чтобы высадить на берег британскую 1-ю воздушно-десантную дивизию численностью 6 тысяч человек. Эта операция была вынужденной мерой из-за нехватки десантных судов для доставки солдат на побережье. Высадившиеся войска имели в своем распоряжении всего лишь пять джипов, у них не было ни грузовиков, ни танков, ни артиллерии, одним словом, никаких средств, чтобы воспользоваться своей дерзкой высадкой в Таранто. По иронии судьбы, операция получила название Slapstick («Хлопушка»). Это неудачное название появилось всего месяц спустя после того, как Черчилль потребовал, чтобы штабные планировщики не использовали для операций хвастливых или дающих повод для насмешек кодовых названий. Этого не стоит делать, написал он, поскольку «какая-нибудь вдова или мать скажет, что ее сын погиб в ходе операции «Захват» или «Шумиха». Тот, кто придумал название «Хлопушка», либо не знал, либо проигнорировал приказ Черчилля[265].

На пути в Таранто корабли Каннингема прошли мимо итальянского флота. Возник неловкий момент; Каннингем не мог знать, будут ли итальянцы соблюдать условия капитуляции или же вступят в бой. Итальянский министр морского флота, корабли которого в тот момент проходили мимо Каннингема, направляясь к Мальте, чтобы сдаться, поступил не так, как предполагал Кессельринг. Гитлер надеялся, что итальянцы, по крайней мере, отправят флот к берегам нейтральной Испании. Геринг, в отличие от Гитлера, предсказывал, что предательство итальянцев зайдет так далеко, что они передадут свой флот союз-

* Роберт Клайв в 1757 году командовал войсками английской Ост-Индской компании в битве при Плесси; Карл Петерборо в 1705 году командовал армией во время Войны за испанское наследство; Джордж Рук в 1704 году в ходе Войны за испанское наследство захватил испанскую крепость Гибралтар.

никам. Он оказался прав и был готов к такому исходу событий. Бомбардировщики «Дорнье» получили приказ сбросить радиоуправляемые авиационные бомбы на готовых капитулировать итальянцев. Флагманский корабль Roma, в который попали две бомбы, разломился пополам и пошел ко дну вместе с экипажем. На борту корабля было более 1300 человек. Остальные корабли, не получив повреждений, достигли пункта назначения, где были переданы британцам. Вскоре Кессельринг использовал новые бомбы во время нападения на британский флот у Салерно. В результате был потоплен крейсер, и моряки быстро поняли, что воздушные бомбардировки приведут к тяжелым потерям. Все указывало на то, что управляемые бомбы очень грозное оружие. Если оснастить эти бомбы двигателем и самой элементарной системой наведения, то они могут перелететь через Ла-Манш и попасть в Лондон. Через несколько дней Дункан Сэндис передал Черчиллю записку, в которой говорилось именно об этом. Ознакомившись с запиской, Черчилль сказал Джону Андерсону, что к концу года на Лондон будут сброшены какие-то футуристические немецкие ракеты[266].

К вечеру 10 сентября все Средиземное море, но не воздушное пространство над его восточным побережьем, принадлежало союзникам. Однако к 12 сентября стало очевидно, что не получится захватить Салерно. Яростное сопротивление немцев не позволило продвинуться дальше побережья. Перед высадкой на берег командиры сказали солдатам, что через три дня они будут в Неаполе. Однако они по-прежнему сражались так близко от берега, что могли видеть, как горели их транспорты снабжения, подвергшиеся бомбардировке люфтваффе, и могли слышать крики тонущих людей. К тому времени канонерские лодки союзников доставили Бадольо и Виктора-Эммануила из Рима на Мальту. «Внезапность, ярость и скорость, — написал Черчилль, — составляющие любой десантной высадки». Для Черчилля было очевидно, что военные действия развернутся вдоль всего побережья Италии. Черчилль, все еще находившийся в Вашингтоне, пожаловался своему лечащему врачу: «Вечно происходит нечто подобное, когда я встречаюсь с президентом»[267].

Все объяснялось просто. Черчилль уезжал за границу, когда видел острую необходимость подготовиться или отреагировать на важное событие, как это было после Пёрл-Харбора и сражения у атолла Мидуэй и перед началом операций «Факел» и «Хаски». Ему нравилось решать дела один на один, поскольку в результате таких встреч он обычно добивался желаемого. Сейчас он хотел начать наступление на Балканах. Американцы считали, что причина заключается в желании исправить ошибки Первой мировой войны. Когда Черчилль сравнил кровопролитное сражение в Салерно с плохо организованной Дарданелльской операцией 1915 года, американцы только укрепились в своем мнении.

На самом деле он хотел попасть в Вену раньше, чем русские. Кадоган написал в дневнике, что, проводя время в Белом доме, Черчилль «то выскакивал из постели, то ложился обратно, принимал душ в самое неподходящее время и бегал туда-сюда по коридорам в халате». Он до двух ночи беседовал с Рузвельтом и в ходе этих долгих разговоров настаивал на том, чтобы президент не делал поспешных выводов относительно гибкого подхода к проведению операции «Оверлорд». Фактически, несмотря на соглашения, достигнутые в Квебеке, он просил Рузвельта рассматривать «Оверлорд» не более как один из многих вариантов дальнейших действий, включая развитие ситуации на Родосе. Рузвельт был категорически против. Затем, чтобы немного отдохнуть от общества Черчилля и не нарушать привычного распорядка дня, президент отправился в Гайд-Парк. Перед отъездом он сказал, чтобы Черчилль чувствовал себя как дома в Белом доме[268].

Гарриман по собственному опыту знал, что с Черчиллем всегда можно было применить гибкий подход по любому вопросу, военному или дипломатическому. Ярким примером была идея Черчилля о создании послевоенного союза с Америкой. Он сказал Гарриману, что «ему больше нравится идея свободной ассоциации, а не на основе формального договора... достаточно гибкой, чтобы приспособиться историческому развитию». Характерной особенностью встреч британского и американского лидеров с 1942 года была гибкость. Обсуждения, всегда сопровождавшиеся горячими спорами, заканчивались совместными заявлениями о намерениях. Если впоследствии условия менялись и становилось понятно, что обещания не удастся выполнить в срок, так это была война со всеми ее неожиданностями. Важным моментом было то, что стратегии предусматривали гибкость. Черчилль и Рузвельт при разработке стратегии всегда предусматривали возможность того, что удача им улыбнется, ведь на войне так часто многое зависит именно от фортуны, однако, если оговаривались временные рамки операций, союзники никогда не требовали друг от друга беспрекословного их соблюдения. Союз — реальная коалиция, какой ее видел Черчилль, — действовал. В конце концов Франклин Рузвельт дал ему ключи от Белого дома, где он проводил совещания на высшем уровне, а премьер-министр Великобритании председательствовал на заседаниях американского Комитета начальников штабов. Его мечта стала явью; британский премьер-министр председательствовал на заседании, на котором обсуждалось планирование совместной политики ни много ни мало в Белом доме. Безусловно, Рузвельту ответят тем же, когда он приедет в Лондон, особенно когда какой-нибудь «союз» между англоговорящими странами будет признан законодательными органами обеих стран. Официальные отношения зачастую начинаются с неформальных договоренностей, как в случае с их союзом, сказал Черчилль Гарриману, поэтому поначалу нет необходимости строго соблюдать формальности[269].

12 сентября, в день тридцать пятой годовщины свадьбы, Уинстон и Клементина отправились в Гайд-Парк — последнее место, которое они посетили в Америке перед тем, как отправиться домой. За ужином президент произнес тост за здоровье супружеской четы и попытался очаровать Клементину, однако потерпел неудачу. Клементина, позже написала Мэри, «хорошо относилась к Рузвельту», но быстро поняла, что он страдает «непомерным тщеславием». И Рузвельту не удалось переубедить ее, даже когда он назвал ее Клемми, что госпожа Черчилль расценила как нарушение этических норм, поскольку считала, что называть уменьшительным именем «позволено только близким друзьям либо людям, с которыми связывает давнее знакомство, чего нельзя сказать об их отношениях с Рузвельтом[270].

После ужина Черчилль с Рузвельтом сошлись во мнении, что отправка нескольких дивизий польских пехотинцев в помощь партизанам Тито может стать «билетом на Балканы», где итальянские войска уже переходили на сторону союзников. Рузвельт сказал Черчиллю, что необходимо воспользоваться «любой возможностью», предоставленной на Балканах. По понятным причинам Черчилль расценил его слова как подтверждением своей балканской стратегии, хотя в начале недели, когда Рузвельт объявил о третьем военном займе, он ни словом не обмолвился о Балканах, Тито и поляках. Рузвельт сказал американцам, что их армии — их мальчики, *наши* мальчики — на пути к Берлину и Токио. В самом деле, на Тихом океане американцы овладели Порт-Морсби; их бомбардировщики наносили удары по Рабаулу, а авианосное ударное соединение готовилось нанести удар по острову Уэйк. В ноябре планировалось вторжение на атолл Тарава (острова Гилберта). Началось наступление на Токио. Учитывая, что китайцы не имели необходимого военного опыта, русские не объявляли войну Японии, а британцы не имели возможности перебросить войска из Индии к Токио, именно американцам, и никому другому, предстояло в один прекрасный день войти в Токио.

На Европейском фронте становилось все более очевидно, что русские, и только русские однажды вступят в Берлин. Если Красная армия будет с той же скоростью двигаться на запад, англо-американские войска если когда-либо и смогут войти в Берлин, то только по приглашению Сталина. Черчилль уже два года говорил о том, что если с Советами не будет заключено соглашение, что вопрос границ будет обсуждаться только после окончательной победы, то до достижения этих договоренностей будет действовать правило — кто первый захватит территорию, тот и будет ее контролировать. Это, в свою очередь, затрагивало извечный польский вопрос. Какова будет судьба Польши — и Чехословакии, стран Балтии, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии, — после того как Красная армия пройдет через них к Берлину? Рузвельтовское предложение относительно кампании на

Балканах несколько уменьшило растущее беспокойство Черчилля относительно России[271].

Черчилль, довольный, что Рузвельт разделяет его мнение относительно операции на Балканах, ответил любезностью в том, что касалось вопроса разработки атомной бомбы. Ни конгресс, ни парламент не были поставлены в известность о том, что идет разработка атомной бомбы. Черчилль и Рузвельт в частном порядке договорились о том, что стороны будут делиться всеми секретными данными, касающимися разработки этого оружия, а также что ни одна из сторон не будет применять атомную бомбу против другой и что каждая из сторон будет информировать другую о намерении использовать это оружие против третьей стороны. Они договорились, что после войны Великобритания не будет использовать атомную энергию в коммерческих целях, основываясь на знаниях, полученных в процессе создания атомной бомбы. Это добавление было сделано в связи с опасениями американцев, что британцы могут попытаться извлечь коммерческую выгоду из проектов, которые разрабатывались в условиях жесткой экономии финансовых средств. Принятие Черчиллем этих условий повергло в шок руководителя отдела научно-технической разведки министерства авиации, профессора Реджинальда Виктора Джонса. Черчилль, позже написал Джонс, «отказался от нашего законного права на послевоенное развитие ядерной энергетики». Однако Джонс понимал, что, во-первых, у американцев есть рычаги давления, а во-вторых, Черчилль имел привычку делать «широкий жест» ради того, чтобы развеять страхи американцев. Черчилль вел себя подобным образом на обедах с Рузвельтом и Гопкинсом во время Квебекской конференции, где эти благородные джентльмены шли на взаимные уступки. В своем дневнике Кадоган подтверждает, что встреча проходила в дружеской атмосфере. Черчилль: «Эта вода такая странная на вкус»; Гопкинс: «Потому что она без виски. Вы удивительно разбираетесь в воде!» И Гарри сказал «господину премьер-министру», когда тот в волнении расхаживал по комнате, произнося очередной монолог: «Вы сейчас потеряете штаны». Однако Черчилль, предполагая, что дружеская атмосфера, царившая за столом, имела значение, понимал основной принцип американской политики: «одобрительные улыбки ни к чему не обязывают». Только конгресс Соединенных Штатов может принимать решения, и Черчилль не понимал, насколько сильное влияние имеет конгресс. В отличие от Клементины Черчилль поддался обаянию Рузвельта[272].

Утром 12 сентября Черчилль узнал, что парашютисты и коммандос из ваффен СС освободили Бенито Муссолини, содержавшегося под стражей в высокогорном отеле. Как и опасался Черчилль, на севере Италии было сформировано марионеточное правительство, но он не представлял, что это правительство возглавит Муссолини, находив-

шийся в заточении полтора месяца. Италия, позже написал Черчилль, «переживала в то время самые трагические моменты своей истории». В Италии активно работали геббельсовские пропагандисты. На юге Италии десятки тысяч итальянцев дезертировали и бежали с поля боя. Говоря о потоках «беженцев», Геббельс написал в дневнике, что «гигантские колонны итальянских военнопленных направлялись в рейх. Страна только выиграет от такого притока квалифицированной рабочей силы», если быть точными — «рабов»[273].

На той неделе немецкая пропаганда получила хорошие известия из Италии, особенно о поражении Марка Кларка в Салерно, которое пропагандисты сравнили с Дюнкерком и Галлиполи. Однако битва за Салерно еще не была выиграна, и Геббельс отлично это понимал. Он предупредил военную пропаганду быть осторожнее в высказываниях; однако пропагандисты не последовали его совету. В своем дневнике он охарактеризовал эту ситуацию фразой, которую очень любил использовать Черчилль: «Я всегда придерживался мнения, что нельзя делить шкуру неубитого медведя»[274].

Когда 14 сентября Черчилль ступил на борт корабля его величества «Ринаун», центральная и южная часть Атлантики была очищена от немецких подводных лодок, и только отдельные лодки время от времени появлялись у побережья Южной Америки и Африки. С конца мая 62 конвоя, 3246 торговых судов, прошли по северному маршруту между Америкой и Британией, и ни один корабль не был потоплен. В Южной и Центральной Атлантике, а также в Индийском океане (куда Дёниц направил несколько подводных лодок) потери за сентябрь составили порядка 208 тысяч тонн, недельные потери союзников в начале 1943 года. Потери союзников за октябрь составили менее 100 тысяч тонн, что стоило Дёницу двадцати трех подводных лодок. При этом в начале года Великобритания рассчитывала, что возможные потери в октябре составят 550 тысяч тонн. Все шло к тому, что потери союзников в 1943 году будут в два раза меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем потери Дёница стали стремительно возрастать. Когда осень сменила лето, Дёницу пришлось отправить свой флот дальше на восток[275].

В Арктике сохранялась ситуация, не позволявшая возобновить отправку конвоев в Россию: опасность представляли подводные лодки, линкоры «Шарнхорст» и «Тирпиц» и немецкие бомбардировщики дальнего радиуса действия. Гитлер сделал ставку на новые технологии, в авиации и флоте. Геббельс восторгался в дневнике новой немецкой торпедой (союзники назвали ее Gnat)*.

* Gnat — German Navy Acoustic Torpedo — немецкая морская акустическая торпеда (gnat — комар, гнус).

Торпеда, ее аппаратура самонаведения работала на частоте 24,5 кГц, эквивалентной «шуму» винтов эсминца, идущего на средней скорости, «прислушивалась», а затем устремлялась к цели. Из-за новой торпеды в сентябре союзники потеряли девять эсминцев (и более тысячи человек). Однако, учитывая, что Дёниц был вынужден передислоцировать свои подводные лодки на восток, у немцев не было возможности получить максимальную выгоду от использования смертоносного оружия. Теперь, когда морские пути стали безопасными, началась активная переброска войск и танков в Великобританию для проведения операции «Оверлорд». Гитлер долго удерживал контроль над Атлантикой, поскольку отлично понимал, что это наилучшая защита от нападения с запада. Теперь он лишился этой защиты[276].

В ноябре американские транспортные суда заходили в порты Великобритании после десятидневного пути, во время которого новобранцы, заполнявшие трюмы, играли в покер, писали письма и жевали хот-доги. Некоторые капитаны позволяли настраивать судовую радиостанцию на музыкальную волну, но одна песня находилась под запретом — хит Бинга Кросби I'll Be Home for Christmas («Я буду дома к Рождеству»)[277].

«Ринаун» без происшествий доставил Черчилля 19 сентября на военно-морскую базу Клайд. Путешествие прошло гладко, за исключением того, что Мэри едва не упала за борт, когда, приняв приглашение молодого офицера прогуляться по палубе, едва удержалась на ногах, когда корабль сделал резкий поворот. Если бы она не ухватилась за пиллерс, то могла оказаться за бортом. Исмей, стоявший на мостике, был невольным свидетелем этой едва не разыгравшейся драмы. Позже Исмей написал: «Мы скорее предпочли бы прыгнуть за борт, чем объясняться с премьер-министром».

В течение пятидневного путешествия Черчилль ежедневно получал донесения о высадке в Салерно, и они были весьма тревожные. Ситуация оставалась неизменной: войска по-прежнему не могли продвинуться дальше прибрежной линии. Вот уже несколько месяцев Гопкинс и Стимсон энергично возражали против черчиллевских страхов относительно французских пляжей, залитых кровью, однако события в Салерно развивались именно по такому сценарию. Сильное беспокойство вызывал тот факт, что многие солдаты, высаженные на побережье Салерно в первые три дня, были отозваны для участия в операции «Оверлорд». Черчилль заявил, что ситуация в Салерно все больше начинает напоминать высадку в заливе Сувла во время Дарданелльской операции.

С каждым днем задержки в Салерно увеличивалась концентрация немцев на побережье и увеличивались шансы союзников отступить в море, свернув операцию. Черчилль предложил, что полетит в Салерно

и примет командование операцией, но Александер, предвидевший подобного рода предложение со стороны премьер-министра, уже отправился к месту сражения. Черчилль, не успевший еще ступить на родную землю, получил долгожданные известия. Александер написал: «Я могу с полной уверенностью сказать, что ситуация изменилась в нашу пользу и инициатива перешла к нам». Тем не менее Александеру потребовалось три недели, чтобы его армии закрепились на носке «итальянского сапога». До Рима оставалось еще 150 миль[278].

Вскоре после прибытия Черчилля домой адмирал Дадли Паунд подал прошение об отставке. Он умер спустя месяц, 21 октября, в день Трафальгарского сражения. Паунд был «самым умным моряком Королевского военно-морского флота», сказал Черчилль Ковиллу, но «осторожным». Однако благодаря паундовскому традиционному развертыванию Королевских флотов Англия в течение четырех лет отражала атаки и преследовала противника. При жизни Паунда была одержана победа в Атлантике, и это была его победа. Ветераны морских сражений скажут, что британский флот метрополии в Скапа-Флоу сыграл решающую роль, как и мальчики в своих «Харрикейнах» и «Спитфайрах», не позволившие Гитлеру захватить небо над Англией. Гитлер устроил проверку истребительному командованию, но не смог проделать это с флотом метрополии. Не многие становятся легендами, но моряки исполнили свой долг, и в первую очередь Паунд. Эндрю Браун Каннингем, герой Средиземноморья, сменил Паунда на посту первого лорда адмиралтейства.

Как только Черчилль отправился в Лондон, Гарри Гопкинс, страдавший от переутомления, лег в госпиталь на обследование. Эйзенхауэр тоже испытывал огромную усталость и находился под наблюдением врача. Не лучшим образом чувствовал себя Дилл, раненный во время охоты в Индии в прошлом году; ему не суждено было дожить до следующего года. И наконец, канцлер казначейства сэр Кингсли Вуд, под разумным руководством которого в стране удалось поддерживать финансовую стабильность, скоропостижно скончался через два дня после возвращения Черчилля в Лондон. Никто не мог предположить, что произойдут такие значительные перестановки в правительстве.

То же самое можно было сказать об изменениях, ожидавших британцев дома и на работе. 23 сентября в Альберт-холле Черчилль выступил перед женской аудиторией: в зале собралось 6 тысяч женщин из всех слоев общества. Он, как всегда, сам написал свою речь. Он сказал женщинам: «Мы боремся за жизнь... Эта война не может быть выиграна, если миллионы женщин не сделают шаг вперед и не примутся за работу, которая в прежние годы, за исключением каменного века, считалась неженской... И женщины не жалуются ни на что, а ведь их обязанности и сфера деятельности существенно, значительно

и постоянно расширяется... Может показаться странным, что роль женщин в промышленности и управлении на всех уровнях возрастает не в мирное, а в военное время. Кто-то считает, что в мирное время роль женщин в управлении и трудовой деятельности должна возрастать еще более значительно, а с началом военных действий — сокращаться. Однако все совсем наоборот! Война — это учитель, строгий, требовательный учитель. Война научила нас, как быстро добиться равенства мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни»[279].

Черчилль, начальники штабов и кабинет нуждались в отдыхе, но они не могли себе этого позволить. Джон Андерсон возглавил казначейство, Эттли стал лордом-председателем совета. Макс Бивербрук из-за проблем со здоровьем ушел с должности министра запасов и снабжения и стал лордом—хранителем малой печати. Это была почетная, но не сопряженная с многочисленными обязанностями должность, которая допускала гибкий подход и идеально подходила Бивербруку. Ему была отведена новая роль в структуре командования: служить Черчиллю в качестве друга, помощника и партнера. Ян Смэтс, герой сражений в Южной Африке, теперь присутствовал на заседаниях военного кабинета (неофициально, по приглашению Черчилля). Он был отрицательно настроен в отношении «Оверлорда» и заразил своим негативом не только Черчилля, которого и без того мучили сомнения, но и короля Георга. Перестановки в министерстве показались Черчиллю одновременно и тревожными и смешными. Когда с реорганизацией было покончено, он обрушился с критикой на коллег-лейбористов, когда сказал Идену: «Если не брать в расчет нас с тобой, то это самое ужасное правительство в истории Англии»[280].

Британские войска вошли в Неаполь 1 октября. Оказалось, что перед отступлением немцы разрушили практически всю портовую инфраструктуру. После высадки у Салерно 5-я армия в среднем проходила в день порядка мили. Несмотря на это, Черчилль телеграфировал Александеру, что надеется увидеть его в Риме примерно через месяц. Однако при нынешней скорости наступление его армии могли дойти до Рима (120 миль к северу) не раньше февраля 1944 года. Надежды Черчилля на быстрое взятие Рима и наступление на север Италии рухнули, когда силы союзников были еще на подходе к Неаполю. Позднее Альберт Кессельринг сказал о слабости, присущей стратегии союзников: «Если бы союзники высадили десант с воздуха на Рим и с моря неподалеку от итальянской столицы, то мы были бы вынуждены эвакуировать войска со всей южной половины Италии». Теперь союзникам приходилось оплачивать кровью каждую милю земли между Неаполем и Римом, земли, которую они могли получить малой ценой. В начале октября 8-я армия продвинулась на побережье Адриатики,

заняла город-порт Бари, аэродромы в Фодже, а затем соединилась с 5-й армией, создав фронт длиной 120 миль, протянувшийся через весь полуостров от Неаполя на Тирренском моря до Термоли на Адриатическом море. Армия Монтгомери сформировала правый фланг Итальянской кампании, но Черчилль считал, что она одновременно является левым флангом Балканского фронта. Миллионная армия союзников под командованием Эйзенхауэра на западном побережье Средиземного моря бездействовала; у Эйзенхауэра не было недостатка в десантных судах (он собирался отправить 85 процентов судов в Британию). Черчилль хотел перебросить небольшое количество судов и войск в Эгейское море, где в случае захвата Родоса будет заканчиваться балканский правый фланг, и Балканы, «мягкое подбрюшье Европы», окажутся незащищенными. Тито и его 200 тысяч отлично вооруженных партизан ждали приказа о наступлении; еще 150 тысяч четников. Турки, получившие от британцев и американцев помощь в размере миллиона долларов, выставили сорок пять дивизий, но это были неопытные, плохо вооруженные солдаты, без танковой поддержки. Тито удерживал узкие участки вдоль побережья Далмации, обеспечив возможность осуществления поставок для союзнических войск. Турецкие аэродромы позволяли Королевским военно-воздушным силам оказывать поддержку с воздуха. Войска союзников, считал Черчилль, необходимы только для того, чтобы придать импульс операции на начальном этапе. Спустя несколько лет Брук написал, что можно было добиться успеха, не отправляя «ни одного солдата на Балканы». Тито, Михайлович и турки (если они вступили в войну) могли сделать всю остальную работу. Так началось новое черчиллевское предприятие на побережье Эгейского моря[281].

Он сел на нового конька — Родос, который занял свое место в конюшне рядом с Норвегией и Суматрой. 3 октября немецкие войска напали на остров Кос, один из Додеканесских островов, всего в 3 милях от побережья Турции. Аэродром на острове имел важное значение для британцев, если Королевские военно-воздушные силы надеялись осуществлять прикрытие Королевского флота, направляющегося к материковой части Греции. Кроме того, удержание острова Кос должно было продемонстрировать туркам британскую решимость. Слабая защита острова и аэродрома позволила немцам через четыре дня захватить Кос вместе с более чем 1300 британскими солдатами и летчиками. Теперь немцы подобрались вплотную к побережью Турции. Турки, не уверенные в успехе, решили, что еще не пришло время присоединяться к союзникам.

«Еще один день родосского безумия», — написал Брук 7 октября после особенно ожесточенной «словесной баталии с премьер-министром» относительно целесообразности родосской стратегии. Черчилль заявил, что он отправится в Алжир за Эйзенхауэром. Брук был

все себя: «И все это ради того, чтобы мы попытались взять Родос... Его [премьер-министра] состояние вызывает опасения, он неуправляем, и бог знает, чем для нас все это закончится, если война затянется»[282].

Черчилль телеграфировал Рузвельту с просьбой отправить Маршалла в Тунис для того, чтобы обсудить эгейскую стратегию. Рузвельт «холодно» ответил, написал Брук, категорическим отказом. Президент отказался форсировать вопросы, имеющие отношения к Эйзенхауэру, даже в случае согласия с черчиллевской стратегией, а он не был согласен. «Я считаю, — написал Рузвельт, — что операция «Оверлорд» должна быть реализована в запланированные сроки, и нельзя допустить, чтобы эти сроки были сорваны из-за отправки войск или снаряжения на другие участки фронта». На следующий день Черчилль написал Рузвельту, что для проведения операции в Эгейском море десантные суда потребуются всего на несколько недель, а операция «Оверлорд» начнется не раньше чем через полгода, так что использование десантных судов в Эгейском море никак не скажется на операции в Нормандии. Он попросил, «чтобы, решая наши общие дела, мы смотрели на проблему шире и проявляли гибкий подход к ее решению». В Средиземноморье, написал он, «у нас почти нет сил, хотя мы могли бы без особых усилий одержать там победу». Рузвельт был непреклонен. «Я задаюсь вопросом: если мы захватим Эгейские острова, куда мы двинемся оттуда? И куда двинутся немцы, если... они сохранят контроль над островами?» Но Черчилля не заботило, куда могут направиться немцы. Для него имело значение британское влияние в Восточном Средиземноморье. Он хотел, чтобы там находился Королевский флот, тем самым давая понять не только Гитлеру, но и Сталину, что Балканы входят в сферу влияния Великобритании. Его грандиозным планам не суждено было сбыться. Захват немцами Коса означал, что британские войска на Леросе не могут ни получать подкрепление, ни эвакуироваться. Гитлер никуда не собирался двигаться после взятия Додеканесских островов; он не собирался позволить британцам, захватив острова, отправиться дальше, например в Дарданеллы или на Балканы. И ему это удалось. Теперь, когда немцы были под боком у Турции, надежда на то, что она вступит в войну на стороне союзников, практически исчезла. Черчилль приказал Идену «заставить турок вступить в войну». На вопрос Брука, как Иден это сделает, Черчилль ответил: «Пусть напомнит Турции, что приближается Рождество»[283].

Хотя Брук регулярно критиковал черчиллевский выбор стратегических приоритетов, но они сходились во мнении по вопросу Эгейского моря. Черчилль просто не мог взять в толк, что события развиваются в обход Эгейского моря. Брук понимал то, чего не понимал Черчилль: Родос имел важное значение, но время было упущено. Стремление Черчилля овладеть Родосом только усилило подозрения

американцев относительно имперских планов Черчилля и привело к тому, что американцы уменьшили поддержку операциям в Италии. По мнению Брука, это была трагедия, и вину за это он отнес за счет отсутствия у себя «достаточной силы характера, чтобы склонить на свою сторону американских начальников штабов и заставить их увидеть выход из сложившегося положения». Позже Брук написал, что в том октябре он был на грани нервного срыва, но не из-за черчиллевского «родосского безумия», а из-за американцев, которые перебрасывали ресурсы из Средиземного моря на «мифический второй фронт». 1 ноября он написал в дневнике: «Захватив Крит и Родос, мы могли бы сейчас взять Дарданеллы. Удерживая контроль над Балканами, мы могли бы закончить войну в 1943 году». Черчилль испытывал такие же чувства. Но в Квебеке Объединенный комитет начальников штабов принял решение перебросить со Средиземного моря по крайней мере шесть дивизий для участия в операции «Оверлорд». «Душа разрывается», — написал Брук[284].

Осторожность, сказал Черчилль одной из стенографисток, Мэриан Холмс, в очередной раз взяла верх над агрессивностью. По мнению мисс Холмс, премьер-министр «расстроился» из-за отказа Рузвельта взглянуть на вещи его глазами. Черчилль сказал ей, что он чувствует себя так, «словно его не принимают в расчет»; «трудность заключается не в том, чтобы выиграть войну, трудность заключается в том, чтобы убедить дураков позволить тебе это сделать». Спустя несколько недель, по пути в Каир и Тегеран, Черчилль предложил правительству нового министра-резидента в Средиземноморский штаб союзнических войск, Гарольда Макмиллана. «Подобная осторожность ведет к слабым и ненадежным решениям — скорее к нерешительности. Вы можете взять самого бравого моряка, самого смелого летчика и самого бесстрашного солдата, посадить их за один стол — и что вы получите? Сумму их страхов». Черчилль был сильно уязвлен и не простил Эйзенхауэру его отказ. «Я огорчился», — написал Черчилль в воспоминаниях, что мои скромные просьбы вызвали «решительное» сопротивление у Айка и окончательный отказ от Родосской операции[285].

Но Черчилль обиделся не на Эйзенхауэра, а на его решение. С присущим ему великодушием, именно в ту неделю, когда Эйзенхауэр отказался от родосского гамбита, Черчилль получил разрешение короля Георга наградить Эйзенхауэра и Александера за Северо-Африканскую кампанию и лично вручил им награды по пути в Каир. Брук, в отличие от Черчилля, не обладал способностью придерживаться множества (зачастую противоречивых) мнений об одном человеке, и зачастую критика Брука профессиональных решений его коллег, в том числе Черчилля, рассматривалась как личные нападки. Начальник Генерального штаба Великобритании обвинил Эйзенхауэра и Маршалла в бездействии на Средиземном море. По его мнению, Эйзен-

хауэр считал операцию «Оверлорд» «менее сложной», чем операция на Средиземноморском театре, а Маршалл был неспособен «видеть дальше своего носа»[268].

Фельдмаршал Ян Смэтс, противник операции «Оверлорд», решил попытаться доказать ее нецелесообразность, заручившись поддержкой короля Георга. Черчилль еще не вернулся из Квебека, когда 13 октября во время ужина Смэтс сумел убедить короля в абсурдности «Оверлорда»; на ужине они скрепили антиоверлордовский союз. На следующий день в письме Черчиллю король изложил сомнения относительно плана нанесения удара через Ла-Манш и выразил уверенность в правильности «подбрюшной» стратегии. Он посоветовал Черчиллю обсудить этот вопрос с Рузвельтом и Сталиным во время встречи в конце ноября. Черчилль мгновенно отреагировал, дав понять королю, что «обратной дороги нет»; «Не может быть и речи об отказе от существующих договоренностей». Однако был один вопрос, который следовало обсудить, и Черчилль поднял его 19 октября на совещании начальников штабов, когда он потребовал направить пристальное внимание на Средиземноморье, даже в ущерб «Оверлорду». Вечером Брук написал: «Я всецело на его стороне, но одному Богу известно, к чему могут привести действия, идущие вразрез с политикой, проводимой американцами». На следующей неделе Черчилль со Смэтсом заявили Объединенному комитету начальников штабов, что Средиземноморский театр военных действий сулит больше выгод, нежели высадка во Франции, и поскольку Великобритания — хозяйка своей судьбы, то ей и выбирать, где она будет воевать. И даже Макс Бивербрук, присутствовавший на заседании, согласился с этими доводами. Бивербрук был давним убежденным сторонником операции через Ла-Манш, однако, обдумав аргументы Черчилля, он заявил, что поскольку они начали Средиземноморскую кампанию, то «следует довести дело до конца». Но они прекрасно понимали, что не могут сделать это в одиночку[287].

1 ноября Черчилль написал записку начальникам штабов, в которой выразил сожаление по поводу нехватки у Британии людских ресурсов для проведения растущего числа операций: «У нас не только нет резервов, но даже имеющиеся силы уже уменьшаются». Все годные к военной службе мужчины от 16 до 65 лет были призваны в армию или работали на оборонных предприятиях, как и все женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Людские ресурсы были исчерпаны. Однако Черчилль утешался тем, что, когда Маршалл принял на себя командование операцией «Оверлорд», а на его место в Вашингтоне пришел Эйзенхауэр, командующий британскими войсками в Средиземноморье, не скованный ограничениями со стороны американцев, он мог решать, куда направить британские силы.

Тем не менее многие представители американской прессы считали, что «Оверлорд» был понижением для Маршалла, и призывали отвести

ему более важную роль, чем главнокомандующего союзническими войсками на Европейском театре военных действий. В середине октября Черчилль попросил Рузвельта прояснить ситуацию по этому вопросу и только через две недели получил невразумительный ответ. Спустя неделю Черчилль сказал Диллу, который находился в Вашингтоне, объяснить Гопкинсу и адмиралу Лихи, что англичане никогда не согласятся на единственного главнокомандующего в Европе; это, по сути, равносильно лишению суверенных прав британских начальников штабов. Кроме того, Черчилль высказал Рузвельту свои сомнения относительно «Оверлорда» Рузвельту, но не с той решительностью, которую продемонстрировал в разговоре с британскими начальниками штабов. «Я не сомневаюсь в нашей способности... высадить и развернуться, — сказал он президенту, — но меня сильно беспокоит подготовка и ситуация, которая может измениться через месяц или два». Высадиться на берег легко, труднее закрепиться на берегу. Наша неудача, сказал Черчилль Рузвельту, «только придаст Гитлеру новые силы»[288].

Не вызывало сомнений, что до встречи со Сталиным необходимо многое обсудить. Черчилль согласился с предложением Рузвельта провести двустороннюю конференцию в Каире под кодовым названием «Секстант» перед тем, как встретиться со Сталиным, предположительно в Тегеране, хотя и в Москве, и в Вашингтоне росли сомнения относительно целесообразности проведения встречи в столь отдаленном месте. Рузвельт предложил, чтобы во встрече в Каире принял участие Чан Кайши, чтобы можно было обсудить стратегии на Тихоокеанском театре военных действий. Это был тревожный звонок, но Черчилль согласился.

Со дня высадки в Салерно до начала ноября прошло два месяца. Красная армия наступала по всему 500-мильному фронту. К 1 октября Красная армия взяла Смоленск и Катынь, в 300 милях к северу от Киева. Сталин собирался воевать зимой. Эвакуированные за Урал заводы ежемесячно выпускали порядка 2 тысяч танков, немецкие заводы с трудом выпускали 350. Люфтваффе, переброшенные с Восточного фронта для защиты рейха от Королевских военно-воздушных сил, утратили превосходство в воздухе. По Иранской железной дороге ежедневно доставлялось в Россию 6 тысяч тонн грузов. Погода портилась, но зима не была врагом русского солдата. 13 миллионов пар утепленных армейских ботинок со штампом «Сделано в США» обеспечили относительный комфорт на марше солдатам Красной армии. 100 тысяч американских грузовиков Studebaker, следуя за армией, обеспечивали бесперебойность поставок. Американцы предложили поставить тысячи бронемашин, но Сталин отказался; он считал их смертельными ловушками.

Советские войска наступали широким фронтом — стратегия маршала Фердинанда Фоша в 1918 году. Применяя эту стратегию, Красная армия заставляла немцев в спешном порядке перебрасывать подкрепление с одного участка фронта на другой и не давала возможности укреплять те участки фронта, по которым, предположительно, мог быть нанесен удар. Эта стратегия, написал Лиддел Гарт, «парализовала свободу действий [немцев]. Командование Красной армии можно было сравнить с пианистом, чьи пальцы рук бегали по клавиатуре». 6 ноября Красная армия взяла Киев (всего в 120 милях от польской границы) и форсировала Днепр в нескольких местах к югу от Киева. Форсирование Днепра явилось сокрушительным ударом для Гитлера, поскольку высокий западный берег реки был прекрасным естественным укреплением на юге России. Гитлер планировал возвести оборонительный рубеж, так называемый Восточный вал, от Азовского моря, вдоль Днепра к Киеву, оттуда к Балтийскому морю. Но Восточный вал так и остался на бумаге[289].

«По мере усиления шторма, — написал Геббельс в дневнике в конце сентября, когда положение на южном участке Русского фронта ухудшилось, — фюрер все больше исполнялся решимости выстоять». Однако, добавил он, «бросает в дрожь, глядя на карту и сравнивая, что было под нашей властью... в прошлом году и как далеко мы отброшены сейчас». Спустя несколько месяцев Геббельс написал: «Мы должны где-нибудь добиться успеха. Королевство за победу!» Осознавая возможность уничтожения рейха, он завел с Гитлером разговор о мирных переговорах. Переговоры с Британией или Россией, считал Гитлер, проблематичны, поскольку «Англия еще недостаточно ослабла и недостаточно устала от войны». Любая попытка переговоров будет расцениваться Лондоном как «признак слабости». Но со временем «англичане одумаются». На востоке у «Сталина преимущество», и любые попытки зондировать почву в этом направлении Кремль свяжет со слабостью противника. Таким образом, на востоке «в настоящий момент неподходящие условия» для переговоров. Дело в том, что немцы проигрывали на Восточном фронте, а потому они вновь вернулись к Англии. «Фюрер считает, что проще договориться с англичанами, чем с Советами... Черчилль — ярый антибольшевик». Однако проблема с Англией заключалась в самом Черчилле. Геббельс считал, что целесообразнее делать ставку на Сталина, поскольку он «практичный политик», а «Черчилль — романтичный авантюрист, неспособный воспринимать разумные доводы... Фюрер не верит, что переговоры с Черчиллем приведут к каким-либо результатам, поскольку он слишком враждебно настроен и, кроме того, руководствуется ненавистью, а не разумом». Для того чтобы лучше понять своих противников-англичан, Геббельс прочитал How Green Was My Valley»*.

* Роман Ричарда Лльюэллина «Как зелена была моя долина».

Он пришел к выводу, что англичане никогда «не будут большевизированы». Это могло оказаться важным с точки зрения ведения переговоров; в конце концов, у рейха и Англии есть общий враг. И Гитлер, и Геббельс, казалось, забыли о том, что когда-то Сталин был их союзником[290].

23 сентября Геббельс проявил немного здравого смысла в этом вопросе, когда ужинал с Гитлером в «Волчьем логове» (Wolfsschanze), ставке фюрера в Восточной Пруссии под Растенбургом. «Нам следует договориться, — сказал Геббельс, — с одной или другой стороной. Рейх никогда не одерживал победу одновременно на двух фронтах». Англия больше подходит для переговоров, поскольку «всегда легче договориться с демократическим государством». Однако реализации этих планов мешал Черчилль, который «пылал ненавистью к рейху», обещая британцам (и немцам), что «рейх будет разрушен до основания». Неожиданно проявив рассудочность, Геббельс сказал, что «довольно сомнительно, сможем ли мы вообще сделать выбор между Россией и Англией». Но деваться было некуда, они должны были сделать выбор. Немецкий народ, сказал Геббельс Гитлеру, «жаждет мира». Гитлер признался, что тоже стремится к миру. «Фюрер подчеркнул это, — написал Геббельс. — Он сказал, что был бы счастлив вновь вернуться в творческие круги, по вечерам ходить в театр и восстановить контакты с художниками». Он мечтал создать огромный музей в своем родном городе Линце, отодвинув «Вену на задний план». В то же время Гитлер ответил Геббельсу: «Наша большая ракета... 14-тонная... смертельное оружие», собьет спесь с Англии. Геббельс пришел в восторг: «Я думаю, что, когда первые ракеты упадут на Лондон, начнется паника». В ту ночь Королевские военно-воздушные силы подвергли жестокой бомбардировке Ганновер[291].

Лидеры рейха видели спасение в проведении «большой кампании возмездия с использованием ракет», запланированной на февраль; цель — Лондон. Черчилль располагал достаточными сведениями, предоставленными разведслужбами, чтобы понять, на что способны немецкие ученые. Он сказал Рузвельту: «Немцы готовятся атаковать Англию, в частности Лондон. Бомбардировка будет проводиться с использованием ракет дальнего действия, весом до 60 тонн, способных доставлять боевой заряд весом от 10 до 20 тонн». У Англии нет защиты против этого оружия. Однако лорд Червелл, научный консультант Черчилля, заявил, что вероятность того, что немцы действительно разрабатывают такие ракеты, ничтожно мала. Александр Кадоган согласился с Червеллом, однако в дневнике написал: «Они, несомненно, что-то замышляют»[292].

3 октября Гарриман покинул Вашингтон и отправился к новому месту назначения, в качестве американского посла в Кремле. Он остановился на несколько дней в Лондоне, только чтобы попрощаться.

Рузвельт в течение нескольких месяцев уговаривал Гарримана взяться за эту работу. С марта русские игнорировали действующего посла, адмирала Уильяма Стэндли, после того, как Стэндли открыто не согласился с заявлением Сталина, что Красная армия в одиночку несет на себе всю тяжесть войны. Стэндли, чьи замечания не были скорректированы Халлом, убедил «Известия» опубликовать полный перечень помощи по ленд-лизу, в том числе 85 тысяч грузовых автомобилей, 6100 самолетов и 8600 танков*.

Вскоре в русской прессе появились упоминания о ленд-лизе, но в течение нескольких недель произошла Катынская трагедия, отказ от «Раундапа» и исключение России из англо-американских переговоров с Италией. Гарриман неохотно согласился: предстояло попрощаться с Лондоном и Черчиллем, чья компания доставляла ему огромное удовольствие, и с Памелой, в постели которой он хорошо проводил время (любовники расстались почти на тридцать лет, и только в 1971 году Памела Берил Дигби Черчилль Хэйвард стала третьей по счету миссис Гарриман). Вскоре после отъезда Гарримана в Москву Эд Марроу с супругой Джанет стали частыми гостями в салоне Памелы. Хотя ей не было 24 лет, она умела правильно строить беседу, принимала участие в самых интересных дискуссиях, со знанием анализируя политические тайны века. У нее были ярко-голубые глаза, великолепная фигура; она бегло говорила по-французски и соответствовала идеалу английской красоты по Генри Джеймсу: румянец «яркий, как солнечный луч после дождя». Она притягивала к себе мужчин, в том числе и Марроу. Вскоре Марроу с Памелой устроили свой собственный салон. Начальник Марроу, глава Си-би-эс Уильям Пэйли, который тоже попал под чары Памелы, позже назвал ее величайшей куртизанкой XX века. Как бы Черчилль к этому ни относился, он держал это при себе, поскольку испытывал искреннюю симпатию к Памеле, которая, подарив ему светловолосого и голубоглазого внука, по его мнению, не могла делать ничего дурного[293].

18 октября Гарриман, в сопровождении дочери Кэтлин, прибыл в Москву. Уже на следующий день он открыл двери посольской рези-

* «...русские теряли в войне миллионы людей, а людские потери англичан и американцев были несравненно меньше. Отчасти именно из-за этих настроений в стране советское правительство предпочитало как можно меньше говорить о поставках с Запада. Понятно, что такая позиция вызывала недовольство Запада, и первый крупный инцидент из-за «неблагодарности» русских произошел в марте 1943 года, когда посол США в Москве адмирал Стэндли пожаловался на пресс-конференции на «неблагодарное» отношение советских властей к частным пожертвованиям в Фонд помощи России и к американской помощи вообще. Русским очень не понравился этот протест, тем не менее несколько дней спустя советская печать опубликовала очень подробное сообщение, в котором указывалось, сколько именно материалов было отправлено из США в Советский Союз с начала войны. Важно было, как указывал Стэндли, умиротворить конгресс, в котором эти обвинения русских в неблагодарности вызвали много шума» (*Верт А.* Россия в войне, 1941—1945 гг.).

денции Спасо-Хаус* для Идена, Молотова и Халла, которые собрались на первое совещание министров иностранных дел союзников.

Эти переговоры предваряли первую встречу «Большой тройки», которая должна была состояться в следующем месяце в Тегеране, хотя Сталин до сих пор настаивал на Москве, поскольку, как объяснил Молотов Идену, маршал был «необходим» для борьбы Красной армии. По мнению Рузвельта, Тегеран находился слишком далеко, и он опасался, что это может помешать выполнению его конституционных обязательств, оставаясь на связи с правительством, предлагал провести встречу в Анкаре или в Басре, но Сталин был непреклонен. Иден поначалу скептически отнесся к словам Молотова, но вскоре понял, что Молотов не преувеличивал, когда сказал, насколько необходимо присутствие Сталина в Москве. Сталин поддерживал постоянный контакт с генералами, находившимися на фронте, и принимал активное участие в планировании операции в Крыму. Если Рузвельт с радостью поручал разработку военной стратегии своим помощникам и Черчилль поступал так же, но не испытывая радости, то Сталин был главнокомандующим-практиком. Поддавшись уговорам Идена, Сталин наконец согласился приехать в Тегеран, но не дальше. Он не собирался идти на уступки. Сталин хотел гарантий относительно второго фронта и требовал возобновления арктических конвоев[294].

Весной адмиралтейство предложило, а Черчилль согласился прекратить отправку арктических конвоев, что привело Сталина в ярость. Теперь, осенью, когда несколько недель назад три британские минисубмарины нанесли серьезные повреждения немецкому линкору «Тирпиц», а немецкие подводные лодки практически исчезли с арктических маршрутов, Черчилль оказывал давление на адмиралтейство, которое неохотно согласилось отправить четыре больших конвоя в Мурманск, по одному в месяц вплоть до февраля. Полагая, что Сталин с одобрением отнесется к этим новостям, Черчилль отправил сообщение в Москву. Ответ Сталина был резким. Он заявил, что у Британии было «обязательство» по отправке этих четырех конвоев, и он фактически потребовал, чтобы они были немедленно отправлены в Мурманск. Министерство иностранных дел нашло его телеграмму «возмутительной». Черчилль даже отказался отвечать на нее, вернув телеграмму новому советскому послу Федору Гусеву. Но Идену, находившемуся в Москве, Черчилль телеграфировал, что, он считает, за тоном послания стоял не Сталин, а советский «аппарат», отчасти потому, что на подготовку телеграммы ушло двенадцать дней. «Совет-

* Построен в 1913—1915 годах по заказу Н.А. Второва, крупнейшего предпринимателя России. В 1918—1933 годах в особняке размещались учреждения и квартиры, в том числе жил народный комиссар иностранных дел Георгий Чичерин. С 1933 года особняк используется в качестве резиденции посла США в Москве.

ский аппарат совершенно убежден в том, что может получить все путем запугивания, я уверен, что довольно важно показать, что это не всегда правильно». Сталин, не получив ответа от Черчилля, сказал Идену: «Как я понимаю, господин Черчилль не желает поддерживать со мной переписку. Хорошо, пусть так и будет». После этого Сталин обращался к Идену лишь по единственному важному для него вопросу: открытие второго фронта. Все происходило точно так, как Иден предсказывал в Квебеке. Пока Сталин не получил обещаний и верил в то, что англо-американцы ведут ту же войну на том же континенте, его устраивало, что Запад ломал голову над двумя вопросами, которые не могли решиться сами собой: остановится ли Красная армия на советских границах после того, как выдворит немцев со своей территории, и будет ли Москва искать сепаратный мир с Гитлером[295].

Чтобы успокоить Сталина, Черчилль поручил Идену сообщить маршалу, что три британские дивизии переброшены из Средиземноморья для участия в операции «Оверлорд» в соответствии с решением, принятым в Квебеке. Но он также сказал Идену (но не Сталину), что возражает против сокращения численности личного состава своих сил и что распорядился о комплектации еще четырех дивизий для «восполнения потерь». «Вот что случается, когда руководство битвами осуществляется в соответствии с соглашениями юристов и на их проведении настаивают, не принимая во внимание непостоянство военной удачи». Идену выпало убеждать Сталина в том, что операция «Оверлорд» пользуется полной поддержкой премьер-министра, когда в действительности на той самой неделе Черчилль заявил начальникам штабов, что хочет отложить начало операции, если будет уверенность, что кампания в Италии (и на Балканах, если только они смогут туда попасть) будет «идти до победного конца». «Мы сделаем все возможное для проведения «Оверлорд», сказал он Идену, но «нет смысла планировать поражение на поле боя только для того, чтобы получить временное политическое удовлетворение». Три дня спустя Черчилль заявил Идену, а перед этим Смэтсу и королю: «Конечно, нет и речи об отмене «Оверлорда», который остается нашей основной операцией на 1944 год». Однако ее отсрочка была равносильна прекращению. Операция вполне могла быть безболезненно перенесена на июнь или даже начало июля 1944 года, но любое дальнейшее промедление означало бы, что она не начнется раньше весны 1945 года. Этого бы Сталин не потерпел[296].

Англо-американские обязательства в отношении операции «Оверлорд» позволяли Сталину использовать их как рычаги давления на Идена и Халла. Иден приехал в Москву в надежде выяснить намерения Сталина относительно советских послевоенных границ, но ему помешал отказ лондонских поляков и их нового лидера, Станислава Миколайчика (которого не пригласили в Москву), позволить ему

хотя бы просто обсудить этот вопрос. Иден уступил требованиям поляков, хотя было ясно, что Сталин тоже не видел необходимости в обсуждении этого вопроса. Он уже принял решение. Как сообщили «Известия», он собирался сохранить территориальные приобретения 1939 года и с помощью этого «пояса безопасности» усилить влияние на Балканах. По заявлению «Известий», только после открытия второго фронта «упростится решение всех остальных насущных вопросов». На протяжении пяти веков Западная Европа сохраняла санитарный кордон из небольших государств-сателлитов в качестве буфера между собой и русскими, которых европейцы считали азиатами. Сталин собирался поменяться ролями; новый кордон под его контролем должен был служить буфером против Запада, в особенности против Германии. Действительно, несколько недель спустя президент Чехословакии Эдвард Бенеш, не без основания остерегаясь Франции и Англии, подписал со Сталиным договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве сроком на двадцать лет[297].

Вместе Халл и Иден могли бы проявить политическую волю и настоять на рассмотрении вопроса о послевоенных границах, но, к удивлению Идена, Халл назвал этот вопрос «ящиком Пандоры с множеством неприятностей» и отказался его обсуждать. Гарриман предложил Идену свою полную поддержку в случае, если тот попробует оказать давление на Сталина по вопросу о границах, но Иден, уважая решение Миколайчика, предпочел этого не делать. Халл, используя все имеющиеся у него политические преимущества, стал требовать, чтобы Сталин признал Китай четвертой державой в составе послевоенной лиги государств, структура которой пока была неясна и находилась на стадии рассмотрения. Сталин был этому только рад. Он не воевал с Японией. И если, подписав четырехстороннюю декларацию о солидарности в борьбе со «своими врагами» и приняв на себя обязательства принимать участие в работе международного органа, ответственного за поддержание мира в послевоенный период, Сталин мог исключить пограничные вопросы из повестки, он бы сделал это, что в итоге и произошло. Халл был доволен, что Сталин не стал затрагивать проблему границ, но, как позднее написал Гарриман, Халл не сумел понять главного: Сталин считал вопрос о границах решенным. Московские договоренности в лучшем случае имели символическое значение, хотя их подписание стало поводом для торжеств в Вашингтоне и Лондоне. Сталин с таким же успехом мог подписать их симпатическими чернилами. Тем не менее основа для совещания в Тегеране была заложена, составлена повестка дня для совещания «Большой тройки». Идея Рузвельта о создании новой международной организации получила одобрение, во всяком случае, Сталин изъявил готовность обсудить ее. Сталин заручился обещанием англо-амери-

канцев об открытии второго фронта весной 1944 года. Ни Англия, ни Черчилль не извлекли для себя никакой пользы, а рассмотрение польского вопроса было попросту отложено[298].

К началу ноября застопорились и Итальянская кампания, и воздушная кампания над Германией. Это были не те новости, которые Черчилль хотел бы сообщить Сталину на конференции, которая должна была состояться через несколько недель. В середине октября из расшифровок «Ультра» стало известно о решении Гитлера укреплять и удерживать позиции в Италии. Гитлер приказал увеличить количество дивизий Кессельринга с шестнадцати до двадцати трех. Стало ясно, что Эйзенхауэру не придется вести боевые действия одновременно в Эгейском море и в Италии. Поступившие в середине месяца сведения о том, что Эрвин Роммель направлен командовать немецкими войсками в Югославии, только укрепили решение Эйзенхауэра избегать Родоса и Балкан. Он считал, что задачи, стоявшие перед ними в Италии, выполнены после захвата аэродромов в Неаполе и Фодже и установления 120-мильного фронта от Тирренского до Эгейского моря. Эйзенхауэр и Маршалл всегда отводили Итальянской кампании второстепенную, отвлекающую роль: чем больше немецких войск отправлено в Италию, тем меньше немцев будут оказывать сопротивление в ходе операции «Оверлорд». Как позже написал Эйзенхауэр, решение Гитлера укрепить силы Кессельринга «дало большое преимущество союзникам в других местах». Он считал, что хотя Итальянская кампания «определенно носила второстепенный характер... ее результаты имели исключительно важное, практически неизмеримое значение для поражения Германии». Черчилль тоже одобрял переброску немецких войск в Италию, подальше от Франции. В своей телеграмме Рузвельту от 26 октября он сказал: «Тот факт, что противник направил такие значительные силы на этот театр боевых действий, подтверждает правильность нашей стратегии», но, продолжил Черчилль, который не собирался ограничиваться сдерживающими действиями, «мы должны отвоевать Рим и аэродромы к северу от него любой ценой». Рузвельт, взявший на себя обязательства только в отношении «Оверлорда», ничего не ответил. У Эйзенхауэра не было плана (и приказов) операции по взятию Рима, а у 5-й армии не было для этого необходимых сил и средств. После того как 5-я армия 1 октября завладела Неаполем, ее левый фланг сумел продвинуться к северу почти на 30 миль; войска преодолевали каждый день по миле и поддерживали этот темп в течение почти двух месяцев[299].

В конце октября армия Марка Кларка наступала на Рим по шоссе № 6 и 7, примерно в 12 милях к югу от города Кассино. В Кассино шоссе № 6 поворачивало к северу, пересекая долину Лири. Там, в Монте-Кассино, на вершине горы находился бенедиктинский мона-

стырь. В VI веке Бенедикт Нурсийский основал здесь орден и построил монастырь. Кларк должен был занять монастырь, чтобы открыть путь к Риму. Но прежде чем он мог захватить Кассино, ему предстояло занять возвышенности и города вдоль шоссе № 6: Монте-Камино, Монте-Лунго, Монте-Самукро, Сан-Пьетро-Инфине и Сан-Витторе. Хотя под командованием Кларка было почти 250 тысяч солдат, к концу октября яростное сопротивление немцев, ледяные дожди и грязь остановили наступление его армии. 11 ноября Кларк объявил двухнедельный перерыв в наступлении[300].

Воздушная война над Германией тоже приносила разочарования. Операция «Пойнтбланк», первый этап которой — уничтожение авиационной промышленности — начался в июне. Пока тяжелые бомбардировщики B-17s осуществляли боевые вылеты под прикрытием истребителей-бомбардировщиков P47C «Тандерболт», оборудованных дополнительным топливным баком, который позволил увеличить дальность полета до 500 миль, американцы несли незначительные потери. Но когда «Тандерболты» отправили домой, бомбардировщики B-17 начали нести ужасающие потери. За вторую неделю октября потери составили 148 бомбардировщиков вместе с экипажами, включая 60 из 291 бомбардировщика, которые должны были нанести удар по заводу подшипников в Швайнфурте. Операция «Пойнтбланк» оказалась малоэффективной и обошлась слишком дорого. «Бомбардировщик» Харрис продолжал ночные налеты на немецкие города, но возросли и его потери. Эффективность массированных бомбардировок немецких городов была сомнительной. Черчилль, зная, что Сталин одобрял эти налеты, советовал Харрису продолжать бомбардировки. Это была единственная помощь, которую Британия могла предложить Сталину. Харрис отправил свою воздушную армию в Кассель, где жертвами стали 3 тысячи человек, и в течение недели бушевали пожары; в Вюрцбурге погибло 4 тысячи человек, в Дармштадте — 6 тысяч, в Везере — 9 тысяч, в Магдебурге — 12 тысяч. В ноябре Харрис направил бомбардировщики на Берлин. Всего с ноября по март было осуществлено 16 налетов на столицу Германии. Экипажи дорого заплатили за эти налеты. Черчилль согласился платить эту цену, поскольку на протяжении 1943 года только Королевские ВВС наносили удары в сердце Германии. Солдаты и моряки англо-американских сил вели борьбу, но недостаточно хорошо и недостаточно близко к Германии, чтобы удовлетворить Сталина, с которым Черчилль должен был встретиться в Тегеране[301].

12 ноября Черчилль со своей командой отбыл из порта Плимут в Александрию на борту линейного крейсера его королевского величества «Ринаун» с заходом в Гибралтар, Алжир и на Мальту. Сара сопровождала отца в качестве адъютанта, как и Гил Уайнант, поскольку

повестка дня Тегеранской конференции включала политические и военные вопросы. В течение нескольких недель Уайнант тесно общался с Сарой, и на публике они должны были скрывать романтические чувства, которые испытывали друг к другу. Если Черчилль и знал об их отношениях, то никогда не упоминал об этом. После Гибралтара «Ринаун» направился в Алжир, где за время своего непродолжительного пребывания Черчилль не счел нужным встречаться с находившимся там де Голлем. Де Голль был вдвойне возмущен, поскольку премьер-министр пригласил на беседу Жозефа Жоржа, которого де Голль незаслуженно считал виновным в поражении Франции в 1940 году. Дафф Купер, недавно назначенный британским представителем во Французском комитете национального освобождения, позже написал, что де Голль, «вечно искавший повод оскорбиться», нашел его в черчиллевском пренебрежении этикетом[302].

17 ноября, ближе к вечеру, «Ринаун» прибыл на Мальту. Примечательно, что Черчилль следующие две ночи провел на небольшом острове, который подвергся длительной и беспощадной бомбардировке люфтваффе, а на следующий день после прибытия корабля Королевские военно-воздушные силы осуществили самый крупный налет на Германию; бомбардировке подверглись города Мангейм, Людвигсхафен и Берлин. Двумя неделями ранее Бомбардировщик Харрис доложил Черчиллю об общем ущербе, нанесенном британским и немецким городам в результате налетов Королевских военно-воздушных сил и люфтваффе. Если центр Ковентри пострадал на 5 процентов от немецких бомб, то Гамбург был разрушен на 75 процентов. То же произошло с Мальтой. Дома, набережные, дороги — все, что было сделано из хрупкого мальтийского известняка, — было по большей части уничтожено. Но то, что Черчилль мог отдыхать на острове, означало, что худшее для мальтийцев позади[303].

Теперь уже немецкие города переживали худшие времена. Во время следующего налета на Берлин были уничтожены дома матери и тещи Геббельса, выбиты стекла в доме самого Геббельса и превращен в руины любимый отель Гитлера «Кайзерхоф». Геббельс, гауляйтер Берлина, написал в дневнике, что это «время всеобщего несчастья, обрушившегося на город с населением в четыре с половиной миллиона человек... Похоже, сам ад распахнул перед нами врата». Один из заголовков газеты New York Times от 24 ноября гласил: «ЖИВОТНЫЕ ИЗ ЗООПАРКА БРОДЯТ ПО УЛИЦАМ БЕРЛИНА; ОТ ПОЖАРОВ СТРАДАЮТ ЖИТЕЛИ БЕРЛИНА». Что касается пожаров, то берлинцы могли считать себя везучими. Холодная осенняя погода, широкие проспекты и современные здания препятствовали распространению огня в таких масштабах, как это было в Гамбурге. Но Бомбардировщик Харрис был настойчив: больше бомбардировщиков стали принимать участие в более частых налетах. А из Фоджи, откуда союзнические самолеты могли до-

лететь до объектов, расположенных на юге Германии и Румынии, вылетало еще больше бомбардировщиков[304].

На Мальту Старик прибыл немного простуженный, но в концу дня он почувствовал себя настолько плохо, что был вынужден провести в кровати большую часть своего непродолжительного пребывания на Мальте. Он остановился в резиденции губернатора в качестве гостя лорда Горта, а поскольку в резиденции не было горячей воды, чтобы он мог принять ванну, его настроение ухудшилось вместе с ухудшением общего состояния. Окна его комнаты выходили на людную улицу, и было слышно, как мальтийцы пробираются через руины. Это было слишком для Черчилля, который внезапно вскочил с кровати, открыл окна и крикнул: «Вы не могли бы уйти? Пожалуйста, уходите и не создавайте так много шума»[305].

Его хандра усугубилась, когда он узнал, что в тот день пал Лерос; битва была битвой за Крит в миниатюре. Немцы высадились с моря и с воздуха; Королевские военно-воздушные и военно-морские силы не смогли оказать должного сопротивления; командование британскими сухопутными силами оставляло желать лучшего. Отсутствие агрессивности Королевского военно-морского флота раздражало Черчилля, который дал прозвище новому командующему Средиземноморским флотом, адмиралу сэру Джону Каннингему (не родственник Эндрю), Унылый Джимми — и не без причины, по мнению Гарольда Макмиллана. Предстоящая встреча глав военных ведомств в Каире тоже вызывала у него раздражение. До сих пор Черчилль и американцы придерживались противоположных точек зрения. Черчилль поддерживал операцию «Оверлорд», но не в ущерб Родосу и, особенно, Италии, единственному театру военных действий, где англо-американские войска оказывали существенную помощь русским. Он собирался заставить американцев раскрыть карты. Это беспокоило Брука, который написал в дневнике: «Он [Черчилль] склоняется к тому, чтобы сказать американцам: ладно, вы не будете мешать нам в Средиземном море, а мы не будем мешать вам в Ла-Манше. А они ответят: ладно, тогда мы направим свои основные усилия в Тихоокеанский регион». Черчилль телеграфировал Клементине: «Ужасно бороться со связанными за спиной руками»[306].

Александер и Эйзенхауэр оба сокрушались положением в Италии, но по разным причинам. Александер, главнокомандующий в Италии, был вынужден доложить, что кампания зашла в тупик. «Все дороги ведут в Рим, — сказал он лорду Морану, — и все они вымощены минами». Все средиземноморское командование считало, что операция по высадке морского десанта для обхода противника с фланга — желательно две высадки, на обеих сторонах побережья, — лучший способ прорвать линии Кессельринга. В начале месяца в штабе Эйзенхауэра начали разрабатывать план этой операции. Операция, получившая

кодовое название «Шингл», предполагала высадку усиленной дивизии в Анцио, родине Нерона и Калигулы. Анцио и соседний город-курорт Неттуно, расположенные в миле друг от друга на тирренском побережье, находились примерно в 50 милях к северу от линий Кессельринга. Эти города, в окружении лесов и Понтийских болот, в нескольких милях от которых простирались горы, имели узкие пляжи. Александер заявил, что ему потребуется по крайней мере пять дивизий для осуществления этого плана, но не было ни солдат, ни транспорта; все отправили в Англию для участия в операции «Оверлорд».

Ко времени прибытия Черчилля на Мальту план лежал в папке неперспективных операций. Эйзенхауэр — предполагалось, что он сменит Маршалла на посту начальника штаба, — готовился покинуть Средиземноморье. Он считал, что любое новое рискованное предприятие в Италии отрицательно скажется на подготовке к операции «Оверлорд». Черчилль, не скрывая раздражения, объяснил Эйзенхауэру, почему необходимо взять Рим и какие риски связаны с «Оверлордом». Позже Эйзенхауэр напишет: «Как часто при разговоре о перспективах операции «Оверлорд» я слышал от него: «Мы должны позаботиться о том, чтобы приливы и отливы не покраснели от крови американских и британских парней, а пляжи не заполнились их телами». Эйзенхауэр, как и Брук, отбыл с Мальты, считая, что в Каире и Тегеране Черчилль будет лоббировать вопрос Италии и Родоса. Черчилль был намерен развязать себе руки для действий в Италии[307].

За двухдневное плавание в Александрию он разработал стратегический план, который предусматривал взятие к январю сначала Рима, а затем Родоса. Черчилль полагал, что на переговорах «Секстанта» основной упор будет сделан на решении проблем в Средиземноморье, а вопросы, связанные с Тихоокеанским театром, будут рассматриваться в последнюю очередь. Однако Рузвельт пригласил Чан Кайши и мадам Чан с намерением перевернуть повестку дня с ног на голову. Брук совершил путешествие по воздуху, на борту черчиллевского самолета Avro York. По прибытии в Каир он написал в дневнике: «Как бы мне хотелось, чтобы наша конференция уже закончилась»[308].

Она еще даже не началась. Но когда она началась, Черчилль сразу понял, что Рузвельт не собирается раскрывать карты. 23 ноября, на первом пленарном заседании, Рузвельт заявил, что хочет обсудить вопрос Тихоокеанского региона. Более того, Рузвельт пообещал Чану, что скоро начнутся крупномасштабные операции военно-морских сил в Бенгальском заливе в поддержку операции по высадке морского десанта в Бирме (кодовое название «Буканир». Все это было нацелено не столько на то, чтобы отбросить назад Японию, сколько получить поддержку вооруженных сил Чана, роль которого в Тихоокеанской войне Рузвельт оценивал как жизненно необходимую. Вот почему в своих воспоминаниях Черчилль написал, что Объединенный комитет

начальников штабов, «к сожалению, был сбит с толку этой китайской историей, затянутой, запутанной и незначительной... [которая] в результате привела к тому, что в Каире китайские проблемы вышли на первый план». Впрочем, на той же неделе генерал сэр Билли Слим (был посвящен в рыцари в начале года) начал наступление из Ассама в Центральную Бирму, причем один из его корпусов двигался в направлении реки Чиндуин, которую форсировал 3 декабря. Японцы, обескураженные британским обманным маневром, не поняли, в каком направлении движется Слим. Но, несмотря на успешные действия Слима, он и Бирма занимали последнее место в планах Черчилля[309].

Рузвельт сказал Черчиллю, что он хочет в первую очередь обсудить вопросы, связанные с войной в Тихоокеанском регионе. Он считал, что если Япония будет основной темой «Секстанта», то это несколько успокоит Сталина. Однако из-за этого решения англо-американский блок прибудет в Тегеран, не достигнув договоренности по второму фронту. В своих воспоминаниях Черчилль нелестно высказался в отношении Рузвельта и Чана. Несмотря на огромную американскую помощь Китаю (из которой несколько миллионов было украдено семьей мадам Чан), Чан «потерпел поражение от коммунистов в своей же стране, тяжелый случай». Брук в своих воспоминаниях высказался резче: «Почему американцы придавали такое важное значение Чану — я так и не понял. Все, что он сделал, — это провел их садовой дорожкой в коммунистический Китай!» Что касается Стилвелла и Шеннолта, которые враждовали по поводу того, куда следовало направить поставки ленд-лиза — солдатам Стилвелла или китайским воздушным силам Шеннолта, то Брук написал, что Стилвелл был «всего лишь сумасбродом», тогда как Шеннолт хотя был «отличным летчиком», но «не блистал умом». В ходе встреч мадам Чан, говорившая на безупречном английском языке, переводила для своего мужа, и у Брука создалось впечатление, что из двоих супругов мадам «обладает лидерскими качествами, и я бы не стал ей слишком доверять... Чем больше я о ней узнаю, тем меньше она мне нравится». Иного мнения были остальные офицеры штаба, которые все как один почти переставали дышать, когда ее «стройная ножка показывалась в разрезе облегающего платья из черного атласа с желтыми хризантемами»[310].

Черчилль испытывал симпатию к мадам Чан и написал Клементине, что берет назад «все нелестные высказывания, которые когда-либо произносил в ее адрес». (В прошлом году во время визита в Индию мадам подвергла резкой критике британскую имперскую политику, что заставило Черчилля «метать громы и молнии в ее адрес».) Чета Чан вышла из тени, чтобы оживить конференцию в Каире, но они сделали это за счет англо-американского единства. Встречи с четой Чан, сказал Брук Маршаллу, были «ужасной потерей времени», на что Маршалл ответил: «Расскажи мне о них». Рузвельт пытался убедить

Черчилля в необходимости военных действий в Бирме, но Черчилль, который поначалу поддерживал операцию «Буканир», изменил мнение, когда понял, для операций в Бирме будут задействованы суда из Средиземноморья. Через десять дней, признав справедливость черчиллевских аргументов, Рузвельт отменил операцию «Буканир». Только в апреле 1945 года, когда американские морские пехотинцы и солдаты сражались на Окинаве, всего в 325 милях от Японии, войска союзников наконец открыли дорогу Индия—Китай через Северную Бирму и дорожное сообщение между Индией и Китаем на севере Бирмы и захватили Рангун на юге, слишком поздно, чтобы изменить ситуацию в войне с Японией[311].

После первых неприятных встреч с Чаном атмосфера на конференции становилась все тяжелее. Американцы ошеломили британцев, вновь подняв вопрос о назначении американца Верховным главнокомандующим в Европе — тему, которую Черчилль считал закрытой. Британцы наотрез отклонили это предложение. Для того чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, Черчилль подчеркнул, что между союзниками давно достигнуто понимание, что командующие назначаются от союзника с более многочисленными войсками на данном театре военных действий и Верховным главнокомандующим в Европе должен быть британец, поскольку у Британии в Европе больше людей, самолетов и кораблей, чем у американцев. Рузвельт снял этот вопрос, но продолжал настаивать на планах в отношении Бирмы, которые Брук спокойно и методично разрушил на заседании военачальников. Адмирал Эрни Кинг, возмущенный поведением Брука, встал из-за стола, словно собрался решить проблему с помощью драки. Стилвелл, наблюдавший эту сцену, хотел, чтобы Кинг «врезал» Бруку. Мопс Исмей считал, что враждебность Кинга угрожает единству Объединенного комитета начальников штабов, о чем и сказал Кингу. На что Кинг ответил: «Послушайте, генерал, когда идет война, они посылают за сукиными детьми, и это я». Черчилль продолжал отстаивать планы относительно Эгейского моря, предупредив Рузвельта, что Overlord не должен быть T-Y-R-A-N-T*; «блестящий» пример ораторского искусства, по мнению Брука.

Даже вспыльчивый Кинг, похоже, проявил солидарность с Черчиллем, но только потому, что в случае, если британские военно-морские силы останутся в Средиземном море, они не будут мешать ему в Тихом океане. Черчилль красноречиво доказывал необходимость активных действий в Эгейском море: «Правительство его величества не может позволить войскам простаивать без дела; мушкеты должны стрелять», и Родос был тем местом, где они должны были стрелять. Эта фраза заставила Маршалла, ударив кулаком по столу, восклик-

* Overlord — сюзерен, повелитель; tyrant — тиран, деспот.

нуть: «Ни один американский солдат не умрет на этом чертовом пляже». Вспышка Маршалла подействовала на всех отрезвляюще; замолчали все, даже Черчилль, который больше не упоминал в Каире о Родосе. Но вопрос не был решен; Черчилль возлагал надежды на Тегеран[312].

Британцы разместились в гранд-отеле Mena House в Гизе, где Черчилль с Т.Э. Лоуренсом останавливались два десятилетия назад, когда создавали новые государства на Ближнем Востоке. Черчиллю нравился отель. По вечерам они с Бруком устраивали столь же веселые ужины, сколь ожесточенными были споры во время дневных заседаний. «Кинг был приветлив, насколько возможно, и от его дневной вспышки не осталось и следа», — написал Брук после ужина в день инцидента. На ужин Рузвельт пришел в сопровождении Гарри Гопкинса, сына Гопкинса, Роберта, военного фотографа армии США, генерала Эдвина М. (Па) Уотсона, давнего друга президента и его политического советника и зятя Уотсона, майора Джона Беттигера. Вместе с отцом пришел и полковник Эллиот Рузвельт; это был случай оправданной семейственности, чего нельзя сказать о сыне Черчилля. Александр Кадоган написал в дневнике: «Мы не можем вести разговоры, если рядом находится Рэндольф». Еду Рузвельту, как всегда, приготовили повара-филлипинцы, включая индейку на День благодарения, которую Рузвельт разделал «мастерски и со знанием дела». После ужина были танцы под граммофон; молодые люди танцевали с Сарой; Черчилль танцевал с Па Уотсоном. Хором пели Home on the Range («Дом в долине»). Они весело проводили время, хотя у Черчилля, когда он поднял тост за президента, на глазах выступили слезы. Черчилль чувствовал себя хорошо; он ощущал прилив сил под чистым египетским небом, и доказательством служит вечер следующего дня, когда гости разошлись только в половине второго ночи. «Премьер-министр вел разговоры с 8:30... до 1:35, — написал Кадоган, — а потом удивлялся, что у него заболело горло. Дики Маунтбеттен заснул во время речи Черчилля, и даже Саре было трудно держать глаза открытыми»[313].

Черчилль с Сарой предложили Рузвельту поехать к пирамидам, которые президент никогда не видел. Идея настолько понравилась Рузвельту, что, как вспоминала Сара восторг, «он наклонился вперед, опершись на подлокотники кресла, словно собрался встать», но, конечно, не смог «и откинулся на спинку кресла». Пока президент собирался, Черчилль с Сарой ждали снаружи, и Сара заметила, что в глазах отца «блестят слезы». Он повернулся к ней и сказал: «Я люблю этого человека». Такими были воспоминания Сары спустя два десятилетия. Тогда Сара в письме матери не упоминала о слезах и словах в адрес президента, но написала: «Замечательно, что они так ладят — между ними действительно есть симпатия и взаимопонимание. Прогулка, как и вечернее времяпрепровождение, имела потрясающий успех»[314].

Чего нельзя было сказать о совещаниях начальников штабов. Рузвельт, сказал Черчилль Энтони Идену, который приехал на четвертый день переговоров, «очаровательный провинциальный джентльмен», но ему недостает «деловой хватки». Чувствовалось, что на подготовку к конференции потратили мало времени. Эйзенхауэр появился на втором пленарном заседании и привел в замешательство Маршалла (но порадовал Черчилля), заявив, что итальянская армия Александера оказала бы большую помощь Европеской кампании, если бы смогла успешно ворваться в долину По. Затем, как представлялось Эйзенхауэру, Александер мог бы продолжить наступление на юго-восток Франции или повернуть на северо-восток к Триесту или Вене. Учитывая положение дел в Италии, Эйзенхауэр считал, что одно из этих наступлений может быть предпринято — и завершено — к лету 1944 года. Айк невольно придал новый импульс средиземноморской стратегии Черчилля, бесперспективность которой в течение недели пытался доказать Маршалл. После пяти дней переговоров британцы с американцами не достигли окончательного соглашения ни по одной из перспективных стратегий, ни в Европе, ни в Тихоокеанском регионе. Текст Каирской декларации, опубликованной по окончании конференции, свидетельствует о том, что они достигли соглашения относительно целей в Тихом океане, но но не о способах их достижения. В декларации говорилось о решимости союзников «остановить и покарать агрессию Японии», что цель союзников состоит в том, чтобы «лишить Японию всех островов на Тихом океане, которые она захватила или оккупировала с начала Первой мировой войны 1914 года, и в том, чтобы все территории, которые Япония отторгла у китайцев, как, например, Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова, были возвращены Китайской Республике». В ней говорилось о необходимости сделать так, чтобы Корея «стала свободной и независимой», и о намерении союзников «обеспечить безоговорочную капитуляцию Японии». Но в декларации ничего не говорилось о том, как достигнуть всего перечисленного[315].

На рассвете 27 ноября Рузвельт поднялся на борт своего самолета «Дуглас С-54», который адмирал Лихи окрестил «священной коровой», а Черчилль — своего Avro York. Они отправились в Тегеран, на тот момент самую важную встречу альянса, не договорившись, имея принципиальные разногласия по основным вопросам. В отличие от них Сталин подготовился к встрече. Гарри Гопкинс сказал Морану, что если в Тегеране Черчилль будет упорно стоять на своем относительно открытия второго фронта, Рузвельт поддержит русских. Брук написал в дневнике: «Я не жду ничего хорошего в ближайшие дни»[316].

В Тегеране, вспоминал Алек Кадоган, была прекрасная погода. Золотое солнце в небе цвета персидской сини. Однако Тегеран удостоился циничных замечаний: «Убогий город с безвкусной архи-

тектурой... Базары хорошие — в качестве достопримечательности». Черчилль нашел, что иранцы не сумели обеспечить необходимую безопасность столь важным особам. Глядя на конных иранских кавалеристов, выстроившихся на улицах, любому «недоброжелателю становилось ясно, что прибывают какие-то влиятельные лица». От них не было бы никакого толку, если бы «два-три решительных человека с пистолетами или бомбой» бросились к автомобилям с высокопоставленными гостями. Но, к досаде инспектора Томпсона, Черчилль, предупрежденный о возможной угрозе жизни, «был очень возбужден и даже доволен». Когда толпа пыталась прорваться к машине, «он с интересом всматривался в лица». Томпсону сообщили, что сотрудники британских спецслужб арестовали немецких диверсантов, сброшенных на парашютах. Между тем представители советской стороны, заявившие, что они раскрыли заговор, предложили Рузвельту расположиться в здании советского посольства, находившегося по соседству с британской миссией; американская миссия находилась в 2 милях от города. 28 ноября Рузвельт принял их предложение. Исмей был уверен, что аргументы советской делегации не более чем «уловка» и что они установили микрофоны в апартаментах Рузвельта[317].

Черчилль считал, что крайне важно переговорить с президентом, прежде чем они встретятся со Сталиным. Рузвельт был иного мнения. Он был убежден, что Дядюшка Джо не имеет ничего против него и, кроме того, решил не соглашаться на родосский план Черчилля. Рузвельт хотел сначала встретиться со Сталиным, причем наедине. 28 ноября, днем, в начале четвертого, Сталин нанес короткий визит президенту. Гарриман, предупрежденный Исмеем, что Черчилля не пригласили на встречу — факт, вызвавший волнение членов британской делегации, — пришел «успокоить шторм». Он нашел Черчилля «в ворчливом настроении». Старик сказал Гарриману, что «подчинится приказу», но у него есть право председательствовать на предстоящем заседании, поскольку он самый старший из лидеров, поскольку его фамилия первая по алфавиту, а также ввиду исторической значимости «Британской империи, которую он представляет». Он заявил, что, если вопросов больше нет, он устроит обед 30 ноября, в день своего 69-летия, на котором «основательно напьется... и на следующий день уедет»[318].

Между тем Сталин с Рузвельтом отлично поладили. Президент заявил, что Россия должна иметь тепловодный порт на конце Южно-Маньчжурской железной дороги и что некоторые британские и американские торговые суда должны быть отправлены в Россию после войны. «Было бы хорошо», — ответил Сталин. Рузвельт не посоветовался с Черчиллем ни по одному из вопросов. Оба лидера пришли к единому мнению по вопросу Франции и де Голля, который, по их мнению, оторван от «настоящей Франции». На самом деле Франция, сказал Сталин, помогает немцам и должна понести наказание после

войны. Рузвельт согласился и добавил, что ни один француз старше 40 лет не должен быть допущен к делам послевоенной Франции. Они перешли к вопросу Юго-Восточной Азии и Индии, где почти миллиард человек — Рузвельт называл их «темнокожими», «низкорослыми» и «невоинственными» — находился в подчинении Франции и Великобритании. Рузвельт предложил, чтобы после войны союзники установили опеку над Французским Индокитаем, сославшись на опыт Америки по установлению опеки над Филиппинами. Индия, Малайя и Бирма, заявил Рузвельт, «должны научиться искусству самоуправления». Рузвельт предложил реформировать Индию снизу и «отчасти по-советски». Сталин ответил, что реформа снизу означает революцию. В Индии, сказал он президенту, «сложная социальная структура общества». Сталин, по мнению Гарримана, «показал себя более искушенным в этих вопросах, чем президент». Оба лидера согласились, что Индию не стоит обсуждать с Черчиллем. Рузвельт яснее ясного дал понять Сталину, что делать с Польшей: президент ни словом не обмолвился о Польше[319].

В тот день утром Гарриман экспромтом прочел лекцию Идену и Кадогану об искусстве проведения международной конференции, что заставило Кадогана написать в дневнике: «Я забыл многое из того, что он [Кадоган] рассказал». Атмосфера была какой угодно, но только не спокойной, хотя конференция еще не началась[320].

Пока двое из «Большой тройки» вели беседу, Черчилль вышел в сад, чтобы поработать с официальными бумагами, включая записки министру внутренних дел Герберту Моррисону. На прошлой неделе Моррисон распорядился выпустить из тюрьмы и поместить под домашний арест чернорубашечников Освальда и Диану (Митфорд) Мосли, которые провели в тюрьме три года. Решение Моррисона было продиктовано резко ухудшившимся здоровьем Мосли. Реакция на решение Моррисона со стороны рабочих последовала незамедлительно; 10 тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы выразить протест против того, что они посчитали фаворитизмом. Палата общин тоже выразила негодование. Черчилль написал Клементине: «Будь я дома, я бы ликвидировал эту чертову статью [18B]». Он сказал Моррисону, что тот сможет «избавиться от нее [18B]», если будет следовать «веским аргументам, которые я привел ему». Действительно, Черчилль объяснил Моррисону, насколько опасна эта статья конституции, насколько она отвратительна лично ему, и сообщил, что хочет, чтобы статья 18B была отменена. Однако он посоветовал Моррисону объяснить, что, хотя акт «Об исключительных полномочиях» привел к печальным последствиям, «еще не пришло время, когда можно обойтись без статьи 18B, но мы с нетерпением ждем этого дня». На самом деле день уже пришел; угроза вторжения давно миновала, но Черчилль пока не хотел отказываться от исключительных полномочий

и не отменял статью 18В. Британский электорат принял это к сведению[321].

Брук посоветовал Черчиллю предложить американцам операцию на Андаманах в обмен на американские гарантии в Средиземноморье. Черчилль отклонил эту идею, объяснив Бруку, что подобное обещание невозможно сдержать. Если десантные корабли уйдут из Средиземного моря в Тихий океан, они уже никогда не вернутся. У Черчилля опять заболело горло, и он почти потерял голос. «Он плохо чувствует себя, — пришел к выводу Брук, — и потому пребывает не в лучшем настроении». А все потому, что его друг Франклин Рузвельт встретился с Дядюшкой Джо. Когда до британцев дошла информация о содержании беседы Рузвельта со Сталиным, Брук сказал Морану: «Конференция закончилась, едва начавшись. Президент у Сталина в кармане»[322].

Первое пленарное заседание было назначено на четыре часа в большом зале советского консульства. Лидеры собрались за большим круглым столом, покрытым зеленой скатертью. Плотные шторы на окнах защищали от иранского солнца. Адмирал Кинг и Гарри Гопкинс присутствовали на заседании, а генералы Маршалл и Арнольд, видимо, что-то перепутали и уехали осматривать достопримечательности Тегерана. Все британские военачальники были в сборе. Сталин пришел в сопровождении переводчика и маршала Климента Ворошилова, шестидесятидвухлетнего профессионального военного и сталинского лизоблюда, который руководил (неудачно) вооруженными силами во время советско-финской войны 1939 года и которого в 1941 году Жуков сменил на посту командующего войсками Ленинградского фронта. Ворошилов, написал Брук, не обеспечивал Сталина информацией, необходимой для разработки стратегии. Но Сталин, по мнению Брука, не нуждался в советах: «Он [Сталин] обладал незаурядным военным умом, — вспоминал Брук, — и мог быстро и безошибочно оценить все последствия ситуации... В этом отношении он выделялся на фоне двоих своих коллег»[323].

Сталин предложил в качестве председателя Рузвельта, как единственного главу государства. После выступления президента о тихоокеанской войне («Много чепухи», — сказал Брук) Сталин заявил, что, как только Германия потерпит поражение, Советский Союз перебросит значительные силы в Сибирь и вступит в войну против Японии. Неожиданное заявление произвело именно тот эффект, на который рассчитывал Сталин. Он знал, что сибирские аэродромы и войска могут помочь Соединенным Штатам расправиться с японцами намного быстрее, чем китайские националисты, которые спустя семь лет после неслыханного по своим масштабам массового изнасилования женщин в Нанкине не нанесли поражение японской армии и не бомбили японские города. И хотя Черчилль клялся направить все британские ресурсы на войну против Японии после поражения Германии, британские ресурсы

постепенно таяли. Рузвельт с Черчиллем считали — и продолжали считать в течение 1944 года, — что после поражения Германии тихоокеанская война продлится не меньше 18 месяцев, может, два года. Заявление Сталина, таким образом, было как нельзя более кстати, однако требовалось выполнить одно условие — направить англо-американские войска во Францию в мае 1944 года, чтобы взять на себя свою долю груза. Тогда, и только тогда Красная армия пойдет с ними на Токио. Осталась невысказанной возможность, о которой не забывали англичане и американцы, что если вторжение во Францию в мае 1944 года не состоится, то военное положение Советского Союза ухудшится, что приведет к созданию атмосферы, способствующей заключению сепаратного мира. В течение двух лет Сталин использовал страх союзников перед заключением сепаратного мира в качестве рычага давления, и мастерски делал это опять в течение следующих трех дней[324].

Он говорил спокойно, как в прошлом году во время первых заседаний с Черчиллем. Он рассеянно рисовал в блокноте и курил папиросы. Его карие глаза ничего не выдавали. Во время последней встречи он был одет в серый закрытый китель и брюки, заправленные в сапоги. Теперь на нем был светло-серый китель с маршальскими погонами и брюки навыпуск с красными лампасами. Во время разговора его взгляд был устремлен куда-то вдаль; он никогда не смотрел в глаза собеседнику. «Из Сталина вышел бы хороший игрок в покер, — позже написал Исмей. — У него такое же непроницаемое выражение лица, как у сфинкса»[325].

Рузвельт предложил план, согласно которому после захвата Италии англо-американские войска направятся на Балканы, объединятся с войсками Тито, двинутся на северо-восток к Румынии и соединятся с Красной армией, ведущей наступление на запад. Это предложение удивило и возмутило Гопкинса, и он тут же написал записку адмиралу Кингу: «Чья это идея с Балканами?» Похоже, это идея Рузвельта, ответил Кинг. На самом деле Рузвельт с Черчиллем уже обсуждали эту идею или, по крайней мере, обсуждали черчиллевскую идею о наступлении на Вену через Словению. После президента Черчилль коротко изложил свои планы по уходу с Родоса через Дарданеллы в случае вступления Турции в войну на стороне союзников. Если Черчилль считал, что какой-нибудь вариант его балканской стратегии получит одобрение, то Сталин быстро доказал, как сильно он заблуждался. Нет смысла надеяться на Турцию, она не перейдет на сторону союзников, сказал маршал, а Дарданеллы не стоят усилий. Сталин заявил, что юго-восток Франции, а не Балканы должен стать следующей целью англичан и американцев, так будет лучше для координации операции по вторжению в Нормандию. Черчилль поддержал необходимость проведения операции через канал, но подчеркнул, что она не должна осуществляться в ущерб операциям в Италии[326].

Затем Сталин высказал мнение, что было бы лучше всего завершить операции в Италии к апрелю — вне зависимости от того, будет ли взят Рим, — и перебросить шесть дивизий из Италии в Южную Францию. Он предложил провести эту операцию 1 апреля, за месяц до «Оверлорда». Рузвельт, к огорчению Брукса, одобрил его предложение. Для проведения операции «Энвил», кодовое название плана действий на юге Франции, требовалось две дивизии, к которым следом должны были присоединиться еще четыре. Брук считал, что, если забрать шесть дивизий из Италии, где они успешно сражаются с немцами, и перебросить их по суше во Францию, это позволит немцам переместить силы на плацдарм высадки морского десанта, где обороняющиеся будут иметь огромное преимущество. Брук предупредил об «уничтожении этих шести дивизий», если они будут переброшены на юг Франции. После того как немцы ликвидируют угрозу «Энвила», они не спеша передислоцируют войска для отражения «Оверлорда». Именно этот сценарий вызывал наибольшие опасения Черчилля[327].

Брук понимал, что Сталин, под видом военных, выдвигает на первый план политические вопросы. С военной точки зрения соединение союзнических армий на Восточном фронте приведет к появлению сложных вопросов, связанных с командованием и управлением. Кто поведет эти объединенные силы на запад, в Берлин? Сталин предпочитал решать военные вопросы в одностороннем порядке. Кроме того, напряженность в англо-американском альянсе свидетельствовала о трудностях, которые неизбежно возникнут у командования. Военная логика Сталина была понятна, но Брук уловил ее политический подтекст. Маршал собирался удерживать англо-американские войска вне территорий, которые, как он считал, находились в зоне «пояса безопасности»; таковыми считались Балканы, Венгрия, Австрия и Чехословакия. Сталин хотел получить контроль над Дарданеллами. Таким образом, что касалось наступления через Балканы, Рузвельт предполагал, а Сталин располагал. У Черчилля даже не было возможности представить аргументы в пользу Родоса. Брук видел последствия: «Его [Сталина] политические и военные требования могут обойтись ценой огромных англо-американских потерь во Франции». Черчилль тоже начал это понимать. После заседания Моран нашел его таким вялым, что спросил, все ли в порядке. «Все пошло не так», — ответил Черчилль. Рузвельт предоставил Сталину возможность, и маршал воспользовался этой возможностью[328].

В тот вечер ужин, устроенный Рузвельтом, быстро подошел к концу. Президент, подхвативший какую-то желудочно-кишечную инфекцию, неожиданно почувствовал себя плохо, и его увезли в его комнату, но до этого они со Сталиным успели по очереди подвергнуть

резкой критике французов и немцев. По словам Сталина, немцы понимают только силу, и он собирался удерживать их под жестким контролем на протяжении по крайней мере тридцати лет. Он выразил озабоченность требованием безоговорочной капитуляции; президенту, сказал Сталин, следует уточнить это понятие. В противном случае решительность немцев только укрепится, а Красная армия станет главной жертвой этой решительности. Гарриман согласился с маршалом, но Рузвельт был непоколебим: он не допустит ту же ошибку, что и Вудро Вильсон, представивший свои Четырнадцать пунктов (неточные и допускающие различные интерпретации). Что касается Франции, то Сталин настаивал на том, что все французы помогали нацистам и после войны их следует соответствующим образом наказать. Французские колонии нужно отобрать и установить над ними совместное управление, как уже ранее предлагал Рузвельт. Унижение Франции продолжалось до тех пор, пока Черчилль не вмешался в разговор, сказав, что не видит цивилизованного мира без сильной и динамичной развивающейся Франции. В ответе Сталина, вспоминал Гарриман, прозвучало «презрение». Франция, сказал Сталин, очаровательная страна, но она не будет играть никакой роли в послевоенных международных отношениях. И не следует придавать большую важность де Голлю, который практически не способен реально влиять на какие-либо дела. Рузвельт полностью согласился. Черчилль с каждым часом все больше и больше чувствовал себя лишним[329].

После того как Рузвельта увезли в его комнату, Черчилль со Сталиным пересели на диван. Вместе с Иденом, Молотовым и двумя переводчиками они, устроив двусторонние переговоры, провели дискуссию относительно судьбы Польши. Но Сталин еще не закончил рассуждать о Германии и немцах. Он вспомнил, что, когда немецкие военнопленные, представители рабочего класса (члены коммунистической партии) сказали, что просто выполняли приказы, он приказал расстрелять их. Сталин был убежден, что Германия перевооружится через пятнадцать—двадцать лет. Черчилль, желая продемонстрировать солидарность, ответил, что Германию следует держать в узде по крайней мере пятьдесят лет, при этом запретить ей иметь гражданскую и военную авиацию и лишить Верховное командование способности составлять планы новой агрессии. Любые менее жесткие условия, сказал Черчилль, будут предательством «наших солдат». Когда он сказал, что установить и удерживать контроль над Германией должны три страны-союзницы, Сталин ответил: «После последней войны был контроль, но из этого ничего не вышло»[330].

Затем Черчилль поступился своим давним убеждением относительно того, что Германия должна стать членом общей европейской семьи после войны — слабой в военном отношении, но экономически сильной. Он согласился с Рузвельтом, Моргентау, лордом Червеллом и

Сталиным, которые жаждали расчленить Германию, превратив ее, как сказал Черчилль Сталину, в «широкую, мирную и неагрессивную конфедерацию». (Спустя несколько месяцев он сказал лорду Морану: «Если Рур зарастет травой, наша торговля только выиграет».)

Он радикально изменю свою позицию по сравнению с августом 1941 года, когда, объявив о подписании Атлантической хартии, сказал: «Вместо того чтобы пытаться уничтожить немецкую промышленность путем создания всевозможных торговых барьеров и преград, как это было в 1917 году, мы твердо осознали, что ни мир, ни одна из наших стран не заинтересованы в том, чтобы какое-нибудь крупное государство и его народ были лишены возможности создать процветающее государство или лишены шанса обеспечить достойное существование страны и народа посредством развития промышленности и предпринимательской деятельности»[331].

Германия будущего, как описал ее Черчилль Сталину, очень напоминала рузвельтовскую послевоенную Германию, страну, которую ожидало будущее Карфагена, то есть страну, у которой не было будущего. Затем Сталин — говоривший за ужином о необходимости наказать Германию — заговорил об экономически сильной Германии, но денацифицированной и демилитаризированной, разделенной победителями на несколько оккупационных зон, но не превращенную, как хотел Рузвельт, в нищую аграрную страну. Сталину была нужна немецкая сталь, станки и оборудование после окончания войны, однако он сказал Черчиллю, что не хотел бы, однажды проснувшись, узнать, что немецкие часовщики выпускают винтовки, а с конвейеров немецких автомобильных заводов сходят танки. Для удержания Германии в строгости в будущем необходим жесткий контроль со стороны союзников. Черчилль предложил изолировать Пруссию и включить Баварию в Дунайскую федерацию: план, который он вынашивал уже давно. Черчилль заявил: «Мы гаранты мира на земле. Если мы не справимся с этой задачей, мир, возможно, вновь погрузится в хаос, который будет царить на земле еще сто лет». Он был настолько поглощен своей идеей создания Дунайской федерации, что, казалось, забыл о том, что существовавшая ранее Дунайская федерация — Австро-Венгерская империя — распалась на отдельные государства; длинная цепь событий, начавшихся с обострения национальных споров и конфликтов, привела к Первой мировой войне[332].

Затем, как два голодных посетителя кафе, когда на кухне остался всего один кусок телятины, они набросились на Польшу, в частности на ее послевоенные границы. Если бы в это время в комнате присутствовал Корделл Халл, он бы сказал, что такого рода вопросы можно обсуждать только на мирной конференции после окончания войны. Халл придерживался этой политической линии отчасти из-за недоверия к Великобритании, поскольку он полагал, что англичане могут

заявить права на утраченные части империи. Каждая военная стратегия, предложенная британцами, тщательно анализировалась Халлом и Государственным департаментом США (а также многочисленными американскими военнослужащими) на предмет того, что на самом деле задумали британцы. Позже Роберт Шервуд написал: «Государственный департамент традиционно настороженно относился ко всем сотрудникам министерства иностранных дел, склонным разделять точку зрения британцев». Но Халл находился в Вашингтоне. Изоляция Халла была настолько полной, что он увидел расшифровки записи бесед только спустя девять месяцев после конференции. Если Черчилль собирался обсуждать вопрос польских границ со Сталиным, то сейчас был самый подходящий момент: Рузвельт заболел и лежал в постели, а Халл был за тридевять земель[333].

Черчилль начал с того, что напомнил Сталину, что Великобритания вступила в войну из-за Польши. Однако, сказал он, Великобритания теперь воюет бок о бок с Россией, и «нет ничего более важного, чем безопасность западных границ России». Черчилль был прагматиком; следовало решить этот вопрос до того, как русские войска войдут в Польшу. Утром того же дня Гопкинс сказал Идену, что американцы «боятся вопроса» о польских границах, который Гопкинс назвал «политическим динамитом». В ноябре в Америке пройдут выборы, многие граждане США — выходцы из Польши, Германии, Литвы и Украины — и разговоры о польских границах могут выбить их из колеи. Иден подчеркнул в разговоре с Гопкинсом, что если этот вопрос не поднять сейчас, то ситуация через полгода станет только хуже, когда русские армии будут в Польше, а до выборов в Соединенных Штатах останутся считаные недели. Именно такие чувства испытывал Черчилль, только его не волновал вопрос о выборах в Америке. Он считал, что Польша — «инструмент, необходимый для гармоничного звучания европейского оркестра», а не карта, которую можно было бы разыграть на американских выборах.

Итак, разговаривая со Сталиным, покуривая сигары и попивая кофе, Черчилль открыл эту страницу в переговорах. Он спросил: «Попробуем начертить границы?» Сталин ответил: «Да» — и спросил, будут ли при этом присутствовать польские представители. «Нет», — ответил Черчилль. Затем, с помощью спичек, Черчилль показал, как, по его мнению, следует отодвинуть границы Польши на запад, «подобно солдатам, по команде «два шага влево». Если Польша наступит при этом кое-где на ногу Германии, то ничего не поделаешь, но сильная Польша необходима». Это понравилось Сталину[334].

Черчилль сделал ловкий ход. Впредь война в Европе будет вестись за восстановление свобод, а не границ. В Атлантической хартии оговаривалось «право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить» и «восстановление суверенных прав и са-

моуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем». В хартии содержалось обещание, что «после окончательного уничтожения нацистской тирании» установится мир, который «даст возможность всем странам жить в безопасности на своей территории, а также обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды». Границы не возникают сами по себе. Они являются результатом тщательно обдуманного решения и, в идеале, с учетом этнографических и географических реалий. Действительно, восточных поляков было намного меньше, чем их украинских и белорусских соседей. Эта часть Польши, отторгнутая от Советской России в начале 1920-х годов, была частью царской России. Зачем полякам контроль над обширными Припятскими болотами и проживающим там населением, когда с помощью одного росчерка пера можно получить сельское хозяйство и промышленность Германии? Черчилль сказал Сталину, что если немцы, проживающие в западных областях новой Польши, примут решение бежать на запад, в новую Германию, то так тому и быть. Поляки смогут иметь все: территорию и свободу.

Черчилль определял новый курс, стремясь избежать многочисленные проблемы. Польша была союзником; две польские дивизии были готовы к развертыванию в Италии. Польские летчики защищали Лондон от атак с воздуха. Польша погибала, ее граждан жестоко убивали, у них отнимали зерно, чтобы накормить рейх. Однако польское правительство в изгнании, в Лондоне, никто не избирал, следовательно, на самом деле не было никакого правительства в изгнании, а только польские демократы, которые ждали подходящего случая вернуться в Польшу. С этого момента Черчилль решил бороться за свободу поляков, но не за их границы. Лондонские поляки, конечно, союзники, и с ними будут консультироваться по данному вопросу, но им не позволят в одностороннем порядке определять границы той Польши, в которую они, возможно, рано или поздно вернутся. Границы немецкого государства определят победители таким образом, чтобы обеспечить защиту Европы и, прежде всего, Польши от Германии. И, из уважения к Сталину, польские границы проведут исходя из обеспечения безопасности западных границ России. Прежде чем пожелать Сталину спокойной ночи, Черчилль предложил «наметить определенную политику, которую мы могли бы рекомендовать полякам и посоветовать им принять ее»[335].

Прежде чем уйти, Черчилль сказал: «Парламент не наделял меня полномочиями... определять какие-либо границы». Черчилль с уважением относился к своему королю, кабинету и парламенту, но этой фразой он обезопасил себя. Он помнил, что последний британский премьер-министр, определявший границы с европейским диктатором, помог приблизить эту войну[336].

На следующее утро, когда Черчилль опять предложил Рузвельту встретиться за завтраком перед пленарным заседанием, Рузвельт в очередной раз отказался. То, что Рузвельт уже второй раз так пренебрежительно с ним обошелся, серьезно встревожило Черчилля, поскольку стало понятно, что Рузвельт постепенно дистанцируется от Черчилля. Позже сэр Ян Якоб написал:

«Изменения произошли, когда американцы почувствовали, что они достаточно сильны, чтобы проводить собственную политику.

Президент предстал в новом свете. Он [Рузвельт] полон решимости избавиться от Черчилля и британцев, сковывавших его действия, и встретиться со Сталиным без каких-либо предварительных консультаций и заранее согласованной общей позиции. Черчилль всерьез обеспокоен таким развитием событий... То, что президент договаривается с Черчиллем и Сталиным так, словно в глазах американцев они занимают равное положение, глубоко оскорбило Черчилля и, казалось, свело на нет всю кропотливую работу, которой он занимался в течение последних трех лет».

То, как Рузвельт претворял в жизнь свою стратегию, можно смело описать таким словами как «мелочно», «подло» и за счет своего друга. Поведение Рузвельта, написал Якоб, «шокировало Черчилля», но в основе его действий было понимание «долгосрочных целей России в Восточной Европе»[337].

Образ России в глазах многих американцев был сформирован отчасти под воздействием льстивых похвал в адрес России, расточаемых Генри Люсом, а отчасти под влиянием публикаций газет, кроме разве что тех, которые наиболее яростно критиковали Рузвельта. В 1942 году журнал Time назвал Сталина «Человеком года».

Превознося Сталина, Люс не упоминал о сталинских чистках. Не упоминал он и о голодоморе — голоде в начале 1930-х годов, унесшем жизни 7 миллионов украинцев. Сталин, оказывается, столкнулся с «ужасным беспорядком в стране» и «проблемой обеспечения своего народа достаточным количеством продовольствия», которую он решил с помощью «коллективизации фермерских хозяйств» и внедрения «методов организации промышленного производства XX века». Сталин и русские — герои, и они «продолжают успешно сражаться» против Гитлера. Журнал Life продемонстрировал близорукость, сообщив, что «русским все нипочем» и они «мыслят как американцы». Жестокую тайную полицейскую организацию, НКВД, назвали «государственной национальной службой, наподобие ФБР». Американцы, не читавшие газет и журналов, могли составить мнение о матушке России, посмотрев один из самых популярных фильмов того года «Миссия в Москву», снятый по книге Джозефа Эдварда Дэвиса, бывшего американского посла в Кремле. Один из кинокритиков написал, что в фильме «русские похожи на американцев, надевших шубы, а Советский Союз

представлен как страна с прекрасной едой и напитками, что, возможно, соответствовало действительности, учитывая, в каких кругах вращался Дэвис... Несмотря на голливудскую пышность, «Миссия в Москву» производит сильное впечатление... Но в картине в основном превозносятся Франклин Рузвельт и Джо Дэвис. Даже русские говорят о президенте Рузвельте благоговейно понизив голос». Возможно, фильм действительно был сильным, и хотя был порождением голливудской фантазии, но, по крайней мере, в нем упоминались сталинские репрессии[338].

Рузвельт прибыл в Тегеран, будучи твердо уверен, что сила его обаяния и убеждения помогут ему достичь успеха, хотя его багаж знаний о европейской политике, а уж тем более о России, оставлял желать лучшего. Говоря о Рузвельте, сэр Ян Якоб использовал почти те же слова, что Аверелл Гарриман и Джордж Кеннан: «У него [Рузвельта] не было плана... Он, похоже, считал, что может справиться со Сталиным». Что касается выступления Рузвельта на конференции, то Кадоган написал, что «президент, со свойственным ему дилетантизмом, часто допускал опрометчивые и опасные высказывания»[339].

Во время второй личной встречи Рузвельт изложил Сталину свою концепцию послевоенной международной организации, которая будет способствовать сохранению мира. Это будет Генеральная Ассамблея, состоящая из членов альянса. Осуществлять надзор за деятельностью Ассамблеи будет Исполнительный комитет, в который войдут Советский Союз, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Китай. Комитет не будет иметь отношения к военным проблемам, а станет заниматься такими вопросами, как продовольствие и здравоохранение. Сталин (как и Черчилль) считал Китай странным выбором в качестве четвертой «великой» державы, но не настаивал на своем мнении. Что касается Исполнительного комитета, то Сталин поинтересовался, будут ли решения этого органа обязательны. Скорее всего, нет, ответил Рузвельт, поскольку конгресс Соединенных Штатов никогда не позволит, чтобы решения подобного органа носили обязательный характер для Америки. Затем Рузвельт перешел к плану «Четырех полицейских» — Россия, США, Великобритания и Китай, — на которых будут возложены задачи по поддержанию мира, и они, в случае необходимости, смогут подвергать бомбардировке и вторгаться на территорию стран-агрессоров. Сталин вежливо выслушал, а затем перевел разговор на тему Германии. Накануне вечером Сталин сказал Черчиллю, что после победы над Германией надо сделать все возможное, что не позволит ей возродиться в качестве военной державы. Однако предложенная Рузвельтом международная организация, по мнению Сталина, не могла обеспечить то, что он считал необходимым[340].

Не обсуждалась возможность того, что в будущем один из «Четырех полицейских» может оказаться агрессором. Как всегда, после

переговоров на всех конференциях, прессе (никогда не присутствовала на подобных конференциях) предоставили только краткий отчет. Рузвельт не обнародовал свой проект всемирной организации до конца мая 1944 года.

После окончания личной беседы Рузвельта со Сталиным и до начала второго заседания Черчилль вручил Сталину «Меч Сталинграда», на лезвии которого была выгравирована надпись: «Стальному мужеству граждан Сталинграда — подарок короля Георга VI — в знак признательности британского народа». Сталин принял меч, а затем передал его Ворошилову, который выронил его. Несмотря на оплошность Ворошилова и очевидную неловкость ситуации для всех присутствовавших, Черчилль написал в воспоминаниях, что «меч был вынесен из зала с большой торжественностью в сопровождении русского почетного караула. Когда эта процессия удалилась, я заметил, что президент, сидевший сбоку, был явно взволнован этой церемонией». На самом деле Рузвельт считал подобные демонстрации помпезной имперской символики безвкусицей. Для Черчилля это имело большое значение, для Рузвельта — не особое, а для Сталина — и того меньше. Британский историк Рой Дженкинс позже заметил, что Иосиф Сталин не собирался рассматривать драгоценную безделушку в качестве замены операции по вторжению во Францию[341].

Сталин подтвердил это мнение, когда, со свойственной ему прямотой, в самом начале второго пленарного заседания обратился к Рузвельту, как в прошлом году обратился к Черчиллю во время второго заседания в Москве. «Кто будет командовать операцией «Оверлорд»?» — спросил маршал. Рузвельт ответил, что решение еще не принято. Он едва ли всерьез воспримет операцию, сказал Сталин, пока не будет назначен командующий, и, похоже, англичане с американцами тоже не принимают ее всерьез. Он настаивал на том, чтобы командующий был назначен в течение недели. На несколько секунд воцарилась неловкая тишина. Рузвельту было нечего ответить. Затем Черчилль предпринял смелую попытку преподнести действия на Родосе и в Турции как успех. Что касается операции «Оверлорд», то он вновь сделал акцент на условиях, которые необходимы для осуществления вторжения, включая условие, что на момент вторжения немцы не должны иметь в резерве во Франции более двенадцати дивизий. Если Черчилль считал, что говорит о планировании и чрезвычайных обстоятельствах, то Сталин видел в этом только словесные уловки. Он перебил Черчилля: «Я хочу задать тактичный вопрос премьер-министру по поводу операции «Оверлорд»... Премьер-министр и британские военачальники действительно верят в осуществление «Оверлорда»?» Разумеется, ответил Черчилль, если будут соблюдены все указанные условия. «Когда придет время, наш долг обрушиться со всей силы через Канал на немцев». Учитывая, что Сталин и Рузвельт

уже договорились, что операция начнется 1 мая, у Черчилля ничего не оставалось, как смириться с неизбежным. Гопкинс предупреждал его, что Рузвельт встанет на сторону Сталина, — так и случилось[342].

Брук был вне себя от злости. Он написал в дневнике: «Выслушав все аргументы в течение последних двух дней, я бы предпочел отправиться в сумасшедший дом... чем выполнять свои нынешние обязанности». Описывая поведение Черчилля и Рузвельта на конференции, он отметил: «Уинстон был не слишком хорош, а Рузвельт и того хуже». Сталин, в сопровождении одного Ворошилова, окруженный двадцатью шестью британскими и американскими знаменитостями, включая Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, задавал тон всей конференции. Для Черчилля была невыносима мысль, что, под давлением Сталина, он признал важность проведения операции «Оверлорд» и необходимость назначить командующего в кратчайшие сроки[343].

В тот вечер ужин был организован в советском посольстве. Черчилль, переодеваясь к ужину, попросил Сойерса позвать Морана. Когда Моран пришел и спросил Черчилля, как прошло заседание, он прорычал: «Здесь больше нечего делать». Однако выразил надежду, что удастся договориться с турками и президентом Иненю, с которым он планировал встретиться через несколько дней в Каире. Черчилль сказал Морану, что если Турция вступит в войну, то можно будет представить больше аргументов в пользу балканской стратегии и, возможно, добиться переноса операции «Оверлорд». Он мог бы еще рассуждать на эту тему, но пора было идти к Сталину. «Вы опаздываете, сэр», — сказал Сойерс. «Черт», — рявкнул Черчилль и вышел, громко топая[344].

На ужине присутствовали только главные действующие лица и их ближайшие помощники: Гопкинс, Молотов, Иден, Гарриман и посол Кларк Керр. Ни Сару, ни Эллиота Рузвельта не пригласили. Но он решил проблему: томился под дверью до тех пор, пока Сталин жестом не позвал его внутрь. Сталинские банкеты, Черчилль знал это по Москве, всегда сопровождались чрезмерным количеством водки и грубоватым сталинским юмором. Как вспоминал Гарриман, маршал весь вечер поддразнивал Черчилля и несколько раз намекал, что Черчилль «питает тайную привязанность к Германии и стремится к полюбовному миру». Рузвельт слышал, улыбался, но не пытался защитить Черчилля. Наоборот, президент наслаждался тем, что Черчилль чувствует себя неуютно. По словам Гарримана, Рузвельту «всегда нравилось, когда люди испытывали дискомфорт. Его никогда особо не беспокоило, если другим было плохо»[345].

Черчилль не обращал внимания на язвительные замечания Сталина до тех пор, пока Сталин не свернул на любимую тему, заявив, что после войны 50 тысяч немцев нужно окружить и уничтожить. На это

Черчилль ответил: «Я бы скорее предпочел, чтобы меня прямо сейчас вывели в сад и расстреляли, чем запятнать свою честь и честь моей страны таким чудовищным злодеянием». В разговор вмешался Рузвельт, предложивший компромисс: расстрелять только 49 тысяч. Иден пытался обратить все в шутку. Возможно, ему это удалось, если бы не Эллиот Рузвельт, уже изрядно выпивший, который поддержал Сталина, добавив, что солдаты на поле боя позаботятся об уничтожении более 50 тысяч.

После этих слов Черчилль встал из-за стола и «ушел в соседнюю комнату, где царил полумрак. Я не пробыл там и минуты, как почувствовал, что кто-то хлопнул меня сзади по плечам. Это были Сталин и Молотов; оба они широко улыбались и с живостью заявили, что они просто шутили и что ничего серьезного и не думали. Сталин бывает обаятельным, когда этого хочет, и мне никогда не приходилось видеть, чтобы он проявлял это в такой степени, как в этот момент. Хотя в то время, как и сейчас, я был не вполне уверен, что все это шутка и за ней не скрывалось серьезного намерения». Черчилль написал это задолго до опубликования правительством его величества официальных документов, касающихся Катынской трагедии. Он не мог написать о том, что Сталин и Политбюро отдали приказ НКВД расстрелять польских офицеров в Катынском лесу. И конечно, он не мог рассказать миру, что Рузвельт тоже знал об убийстве Сталиным поляков. Черчилль направил Рузвельту подробный отчет Министерства иностранных дел по этому вопросу. Сталинская шутка, если он шутил, была грубой, но характерной для него. А вот участие в этом спектакле Рузвельта, учитывая его осведомленность о Катынской трагедии, было позором[346].

В Каире Рузвельт принялся добродушно подкалывать Черчилля во время коктейлей и на ужине. Однажды вечером президент сказал: «Уинстон, в твоей английской крови четырехсотлетняя тяга к завоеваниям, и ты просто не понимаешь, как страна может отказаться от захвата территории, если есть такая возможность». В Тегеране дело доходило до злых насмешек, направленных на то, чтобы угодить Сталину, который, по выражению биографа Рузвельта, Роберта Шервуда, стал вместе с Рузвельтом «дразнить» Черчилля. Подлое поведение, и если его можно было ожидать от грубого Сталина, то уж никак не от благородного черчиллевского друга Франклина Рузвельта. Как и после унижения де Голля в Касабланке, по возвращении домой Рузвельт не отказал себе в удовольствии рассказать близким друзьям, включая первую женщину в кабинете министров США, министра труда Фрэнсис Перкинс, как унижал и оскорблял Черчилля. «Как только мы сели за стол переговоров, я начал высмеивать британский снобизм Черчилля, потешаться над байками о Джоне Булле, над сигарами и привычками премьера. Сталин это заметил. Черчилль покраснел и набычился. Чем сильнее он сердился, тем шире улыбался Сталин. И наконец

разразился глубоким, раскатистым хохотом. Впервые за три дня я увидел свет в конце туннеля. Продолжал отпускать свои шутки до тех пор, пока мы не стали смеяться вместе, и именно тогда я впервые назвал его Дядюшкой Джо. Должно быть, днем раньше маршал считал меня недотепой, но в этот день он смеялся от души и подошел ко мне, чтобы пожать руку». Алан Брук назвал поведение Рузвельта «предательством». Спустя годы леди Мэри Сомс вспоминала: «Поведение президента задело моего отца», но, как и все испытания, выпавшие на долю Черчилля, «не заставило впасть в уныние»[347].

На следующий день, 30 ноября, Черчиллю исполнялось 69 лет. Лорд Моран ожидал, что после безрадостных событий прошлого вечера его пациент будет в «подавленном состоянии», но Черчилль постарался забыть вчерашний эпизод, «как страшный сон». После завтрака он встретился со Сталиным с глазу на глаз. Черчилль настаивал на том, что дальнейшие действия в Средиземном море важнее, чем проведение операции «Оверлорд». Сталин не соглашался. Он предупредил, что если в мае англо-американские войска не высадятся во Франции, то у русских появится «плохое предчувствие», им будет очень трудно продолжать войну, поскольку они «устали от войны». Сталин опять разыгрывал свою карту мирных переговоров.

В ходе третьего пленарного заседания, на котором царила дружелюбная атмосфера, не в пример ужину прошлым вечером, Рузвельт с Черчиллем заверили в своей абсолютной преданности «Оверлорду». Кроме того, они обещали поддержать притязания Сталина на незамерзающий порт. Хотя принципиальное решение о проведении операции было принято, Черчилль мог пообещать только поддержку и обеспечение операции, напомнив Сталину, что десантные средства, а не уклончивость британцев будут определять ход операции. Получив то, ради чего приехал, Сталин отметил особую важность обеспечения секретности и дезинформации в ходе подготовки к вторжению; если немцам станут известны любые подробности операции, союзнические силы вторжения и Красная армия окажутся в невероятной опасности. Он признал, что немцы показали себя очень искушенными в этих вопросах и это испытала на себе Красная армия. Черчилль со Сталиным пришли к общему мнению, что следует отправлять в эфир ложные радиосообщения, подготовить макеты танков, самолетов и взлетных полос и обеспечить секретность операции. Вот что об этом написал Черчилль в своих воспоминаниях: «Нам надо было скрыть от врага место и время атаки и заставить его думать, что мы произведем высадку где-либо в другом месте и в другое время. Эта задача требовала большой изобретательности и стоила многих хлопот. Был запрещен доступ в прибрежные районы, усилена цензура, после определенной даты прекращена доставка писем, иностранным посольствам запре-

тили посылать шифрованные телеграммы». Черчилль сказал Сталину; «В военное время правда столь драгоценна, что ее должны охранять караулы лжи»[348].

После обсуждения этого вопроса официальное заседание закончилось, и все разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться к ужину, который, по настоянию Черчилля, должен был состояться в британской миссии. В воспоминаниях Черчилль написал: «Я заявил, что третий обед даю я и он должен состояться в английской миссии. Никто не мог против этого возражать. По алфавиту и Великобритания, и я стояли первыми, а по возрасту я был лет на пять старше Рузвельта и Сталина. Из трех правительств наше было старше других на целые столетия. Я мог бы добавить, но не сделал этого, что мы дольше всех воюем; наконец, я сказал, что 30 ноября мой день рождения»[349].

Сталин прибыл в сопровождении усиленной охраны; около пятидесяти «русских полицейских» заняли места у окон и двери. Сотрудников американской секретной службы было еще больше. Безопасность Черчилля обеспечивал инспектор Томпсон. Находясь среди русских, Томпсон имел обыкновение носить с собой в пиджаке два пистолета. Рузвельт преподнес в подарок Черчиллю прекрасную кашанскую вазу, которую Гарриман утром купил у куратора музея, когда Рузвельт, сообразив, что у него нет подарка, отправил посла купить что-нибудь подходящее для этого случая[350].

Банкетный зал в британской миссии отличался изяществом, характерным для загородного поместья: белые скатерти, костяной фарфор, большое количество светильников, освещавших зал золотистым светом. На стенах висели портреты членов британской королевской семьи. На окнах плотные красные шторы. Гостей обслуживали официанты-персы в красно-синих ливреях и белых перчатках. Центр стола занимал торт с 69 свечами[351].

Черчилль объявил, что сегодня на столе будут блюда русской кухни, много тостов, но вместо водки — шампанское. Один из первых тостов Рузвельт поднял за Сару. Затем Черчилль сказал, что сегодня политический мир наполнен разными красками и Англия порозовела. «Признак хорошего здоровья», — заметил Сталин, вызвав общий смех. Позже вечером Рузвельт вернулся к теме красок. «Сегодня здесь много говорили о различных цветах политического спектра, — сказал президент. — Хочется сравнить это с радугой. В нашей стране радуга — символ благополучной судьбы и надежды. В ней много разных цветов, каждый из них индивидуален, но все они составляют прекрасное целое. Так и с нашими странами. У нас разные обычаи, философия и образ жизни. Каждый из нас строит свои планы в соответствии с пожеланиями и чаяниями своих народов. Но здесь, в Тегеране, мы доказали, что различные идеалы наших народов могут слиться в гармоничное целое, развиваться в единстве ради нашего общего дела и в

интересах всего человечества». Бруку понравилось его высказывание. Для Брука день в целом оказался удачным. Он сумел уговорить американцев отодвинуть дату начала операции «Оверлорд» на 1 июня, объяснив это возможным изменением обстановки. Благодаря этому Брук выиграл время для операций на Средиземном море. В тот вечер начальник имперского Генерального штаба был в приподнятом настроении. Черчилль поднял тост за «великого Сталина», а затем за Рузвельта, за его приверженность «делу помощи слабым и беззащитным». Сталин поднял тост за Брука, заговорив о том, что Брук не проявил дружественных чувств к Красной армии и недооценивает ее «замечательных качеств». Брук понимал, что если не ответит Сталину, то потеряет всякое уважение советского лидера. «Вы, вероятно, помните, что сегодня утром, когда мы обсуждали планы маскировки, господин Черчилль сказал, что в военное время правду должны охранять караулы лжи. <...> Вы сами рассказывали нам... что всегда скрывали свои истинные намерения от внешнего мира... Да, маршал, вы были введены в заблуждение... и не смогли распознать чувства искренней дружбы, которые я питаю к Красной армии, и чувства подлинного товарищества, с которыми я отношусь ко всему ее составу». Сталину понравилось выступление Брука и он сказал: «Лучшая дружба та, которая начинается с недоразумений»[352].

Тост следовал за тостом; Черчилль поднял тост за пролетарские массы, Сталин — за Консервативную партию. Затем маршал повернулся к Рузвельту и поднял бокал за Америку, без чьих танков и самолетов «война могла бы быть проиграна». Сталин обошел вниманием тот факт, что на протяжении почти двух кровавых лет, когда Америка готовилась в войне, а Сталин избегал вступать в войну, Черчилль и Британия боролись в одиночку. И все-таки позже Черчилль написал, что в тот день он «лег в постель усталый донельзя, но довольный, чувствуя, что ничего, кроме хорошего, не было сделано. Этот день рождения был для меня действительно счастливым днем»[353].

На следующий день «тройка» встретилась, чтобы обсудить границы Польши, но Рузвельт не принимал непосредственного участия в разговоре Черчилля со Сталиным. Президент долго объяснял Сталину внутриполитические сложности в своей стране и заявил, что он не сможет обсуждать подобные вопросы по крайней мере еще год и его имя не должны связывать с достигнутым решением по этому вопросу. Позже Иден написал: «Это едва ли было рассчитано на то, чтобы сдержать русских». Когда Сталин чувствовал слабость, он переходил в наступление. Под давлением Черчилля, сказвшего, что «было бы очень хорошо, если бы за этим круглым столом мы могли узнать мнение России в отношении границ», Сталин изложил свои требования. Он заявил, что граница должна проходить по линии Керзона и «Львов

должен остаться на русской стороне, а линия должна пройти к западу в направлении Перемышля». Линия Керзона, предложенная в 1919 году министром иностранных дел Великобритании Джорджем Керзоном в качестве восточной границы Польши, проходила от побережья Балтийского моря до чехословацкой границы. Однако окончательно сложившиеся границы Польши в 1920 году находились на 150 миль восточнее линии Керзона и включали территории, принадлежавшие царской России. Сталин хотел вернуть эти земли. По счастливому для Сталина стечению обстоятельств линия Керзона на многих участках практически совпадала с границей, установленной в 1939 году в соответствии с пактом Молотова—Риббентропа. Сталин заметил, что границы 1939 года были наиболее удачными с этнической точки зрения. Иден с Черчиллем сразу поняли, к чему клонит Сталин, и спросили, не предлагает ли он границу Молотов—Риббентроп. «Называйте ее, как хотите», — ответил Сталин[354].

В действительности он хотел, чтобы британцы признали пакт Молотова—Риббентропа, но представил дело так, словно британцы сами определят будущую польскую границу. Черчилль попросил принести карту и «показал линию Керзона и линию 1939 года, а также линию, проходящую по Одеру. Иден сказал, что южная часть линии Керзона точно не определена... и должна пройти восточнее Львова». Сталин был категорически не согласен с мнением Идена. Он хотел, чтобы Львов находился на советской территории. Позже Черчилль написал, что «не хотел затевать скандал из-за Львова». На севере Сталин хотел получить Кенигсберг. На этот счет у Черчилля не было возражений. С помощью передачи Кенигсберга русским решался вопрос о незамерзающем порте в Балтийском море. Затем Черчилль предложил провести новую западную границу Польши по Одеру, против чего не возражал Сталин. Черчилль подвел итог переговорам, заявив, что «со стороны поляков будет благоразумно принять наш совет». Но у Идена появились сомнения, что им удастся найти вариант, который устроит поляков. Британцы, включая Черчилля, были встревожены и растеряны из-за «нежелания американцев заранее подготовиться к конференции». Позже Иден написал: «В конце концов, я начал волноваться за поляков»[355].

В Тегеране «Большая тройка» достигла принципиального соглашения относительно линии Керзона и передачи Польше части немецкой территории. Рузвельт поддержал решение союзников, но не принимал участие в обсуждении этого вопроса. Он не поставил в известность Корделла Халла и спустя несколько месяцев сказал лондонским полякам, что не соглашался с этими предложениями. Но, то ли по вине переводчика, то ли из-за нежелания Рузвельта четко объяснить свою позицию из страха перед внутриполитическими последствиями, Сталин был уверен, что Рузвельт согласился. Последствия выявились спустя год[356].

Сталин приехал в Тегеран, чтобы добиться гарантий по двум вопросам: операция «Оверлорд» и западные границы. И он их получил. Рузвельт отправился в Тегеран, считая, что сумеет добиться расположения Сталина. Президент покинул конференцию в полной уверенности, что добился цели, хотя и сказал журналистам, что Сталин оказался «крепче, чем я думал». Роберт Шервуд назвал Тегеранскую конференцию «пиком рузвельтовской карьеры». Вполне возможно, но Рузвельт добивался благосклонности Сталина ценой дружбы с Черчиллем. Алек Кадоган пришел к выводу, что черчиллевская бесхитростность была так же важна для альянса, как рузвельтовское остроумие и обаяние. Черчилль был самим собой, а Франклин Рузвельт — нет. Кадоган считал, что Черчилль был «недостаточно скрытен, а Дядюшка Джо достаточно умен, чтобы это заметить, и я думаю, он остался доволен, что Черчилль был для него как открытая книга, без утаиваний и лжи, и он мог ему доверять»[357].

Сталин действительно словно читал открытую книгу, однако он сделал совсем не такие выводы, как думал Кадоган. Спустя четыре месяца Сталин рассказывал Миловану Джиласу, третьему человеку в команде Тито, о Тегеранской конференции. Джилас, находившийся в Москве в качестве главы дипломатической миссии, приехал в Кремль почти в то же время, что Рэндольф Черчилль в штаб Тито. Сталин сказал Джиласу: «Возможно, вы думаете, что мы забыли о том, кто такие англичане и кто такой Черчилль, только потому, что мы с ними союзники. Для них нет ничего приятнее, чем обманывать своих союзников... А Черчилль? Черчилль относится к той породе людей, которые, если за ними не присматривать, вытащат копейку из вашего кармана. Да, копейку из кармана. Ей-богу... А Рузвельт? Рузвельт совсем не такой. Он лезет только за более крупными монетами. А Черчилль? Черчилль — даже за копейкой». Во время следующей встречи даже глуповатый Молотов продемонстрировал чувство юмора, когда вспомнил тост, который Сталин поднял за Черчилля, когда Сталин напомнил о необходимости сохранять в секрете информацию о будущем вторжении. Молотов предположил, что этот тост был с намеком на гамбит, придуманный Черчиллем в 1915 году во время операции в Дарданеллах, «закончившейся поражением, поскольку у британцев не было необходимой информации». Намек ускользнул от Черчилля, поскольку, по словам Молотова, он был «изрядно навеселе». Джилас сделал вывод, что «Черчилль произвел глубокое впечатление на советских лидеров как дальновидный и опасный «буржуазный политик» — хотя он им не нравился». И они ему не верили. А Кадоган верил[358].

Позже Черчилль написал: «Справа от меня сидел президент Соединенных Штатов, слева — хозяин России. Вместе мы фактически контролировали все флоты и три четверти всей авиации в мире и командовали армиями почти в 20 миллионов человек, участвовавшими в самой ужасной из всех войн в истории человечества. Я не мог не ра-

доваться тому, как далеко мы продвинулись по пути к победе, начиная с лета 1940 года, когда мы были одиноки и, если не считать флота и авиации, фактически безоружны перед лицом победоносных и свежих сил Германии и Италии, державших в своих руках почти всю Европу с ее ресурсами». Но Черчилль понимал, что большая часть этой мощи приходится на Соединенные Штаты и СССР. Учитывая, что американцы в скором времени будут командовать самой большой армией на западе, а Сталин командует самой большой армией на востоке, влияние Черчилля на ход войны будет только уменьшаться. Черчилль приехал в Персию, сохраняя веру в имперскую судьбу Англии XIX века; он уехал, получив суровый урок. Ему ничего не оставалось, как признать, что его страна уже не была той процветающей державой, какой она была в середине XX века. Он всегда умело адаптировался к изменяющимся условиям, политическим или военным, но теперь все было иначе: закатилось солнце целой эпохи[359].

Спустя несколько недель после Тегеранской конференции американский министр внутренних дел Гарольд Икес, выступая перед журналистами, отметил важность перемен, происходящих в мире. Перемены не были связаны с польскими границами, автономией Греции и Франции, с судьбой Германии, с возвращением на трон монархов в странах континентальной Европы. Они были связаны с ресурсами, поддерживавшими «великие державы», ресурсами, которые Великобритания монополизировала и считала само собой разумеющимся на протяжении почти четверти века. «Скажите, какое соглашение относительно мировых запасов нефти будет принято Объединенными Нациями после окончания войны, и я вам скажу, насколько прочен будет наступивший мир», — заявил Икес. Он исходил из того факта, что Америка производила 95 процентов авиационного топлива для союзников (из нефти, добытой в стране) и «они вот-вот должны были стать импортером нефти». В тот период Соединенные Штаты контролировали около 15 процентов добываемой на Ближнем Востоке нефти, а Великобритания — 85 процентов. Американцы не собирались мириться с таким положением дел. Война шла в Европе и в Тихоокеанском регионе, но добыча была на Ближнем Востоке. «Британцы опасаются за свое будущее», — сообщил Time[360].

Позже Черчилль сказал своей давней приятельнице Вайолет Бонем-Картер: «В Тегеране я впервые осознал, какая у нас маленькая страна. Я сидел между огромным русским медведем, широко расставившим лапы, и огромным американским бизоном, и между ними был бедный маленький английский ослик, и только он один, один из троих, знал верную дорогу домой»[361].

Несмотря на растущее осознание уменьшающейся роли в альянсе, Черчилль отбыл из Тегерана, собираясь найти правильную дорогу домой. Как всегда, его путь проходил через Средиземноморье.

Глава 5

ЛЕТЧИК

Декабрь 1943 — июнь 1944 года

В день отъезда из Тегерана 1 декабря Черчилль, Сталин и Рузвельт подписали протокол о намерениях, который был опубликован 6 декабря и стал известен миру как Тегеранская декларация. Главы трех стран заверяли: «Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожить немецкие армии на суше, их подводные лодки на море и военные заводы с воздуха. Наше наступление будет неумолимым и нарастающим». Агентство Рейтер назвало этот документ «смертным приговором странам оси». В нем не было никаких упоминаний ни о разделении Германии на четыре, пять, шесть или более демилитаризованных герцогств, ни о возможности репараций. Не было и обращений к гражданам Германии с призывом свергнуть нацистских лидеров и таким образом избежать уничтожения. Лидеры «Большой тройки» заверяли в своей «решимости работать сообща как в военное время, так и после наступления мира». В декларации содержалась такая примечательная строчка: «Мы с уверенностью ожидаем того дня, когда все народы мира смогут жить свободно, не зная тирании... Мы уезжаем отсюда настоящими друзьями, сторонниками по духу и цели». Позже Гарриман написал, что «видеть подпись Сталина под таким заявлением было удивительно... Его представления о тирании сильно отличались от наших. По его мнению, в Советском Союзе не было тирании». Тиранией для Сталина являлась «эксплуатация угнетенных масс капитализмом».

В воспоминаниях Черчилль написал, что они с Рузвельтом просто не видели другой приемлемой линии поведения: «Для западных демократий было бы неправильным уже в Тегеране основывать свои планы на подозрениях по поводу позиции русских в час триумфа, когда все угрозы Советской России будут ликвидированы»[1].

Несмотря на такое великодушное отношение, после Тегеранской конференции — и на всем протяжении войны — Черчилль обдумывал способы сдержать Советский Союз на случай, если Сталин аннулирует договоренности, принятые в духе доброй воли сторон. Рузвельт тем

временем заявил о намерении избежать послевоенных сложностей в Европе. Действительно, в телеграмме, отправленной в начале февраля, президент повторил Черчиллю то, что говорил Гарриману в середине 1943 года: после победы американские войска должны будут вернуться на родину, вместо того чтобы поддерживать зону оккупации в Германии. «У меня нет ни малейшего желания поддерживать порядок во Франции и, возможно, в Италии, а также на Балканах, — написал Рузвельт, добавив: — В конце концов, Франция — Ваше дитя, которое придется долго нянчить, прежде чем оно сможет ходить самостоятельно»[2].

Еще до окончания секретных переговоров в Тегеране Сталин публично объявил, что после победы вместо 1,6 миллиарда золотых марок репараций потребует передачи России нескольких миллионов немецких рабочих и всей промышленности Германии. Геббельс в ответ фыркнул в своем дневнике: «Мы скорее будем защищать последние остатки наших стен, чем согласимся на такие требования». Англичане, написал «маленький доктор», хотят «воспользоваться ситуацией и продать будущее Германии». На самом деле инициатива исходила от Рузвельта и Сталина, хотя и Черчилль теперь поддерживал самые суровые меры в отношении Германии, на что прямо указывают его реплики в послеобеденном разговоре со Сталиным[3].

Геббельс прозорливо отмечал: «Никто в Англии, кажется, не осознает, что, как только Советский Союз закрепится в Европе, он станет гораздо более опасным противником для Британской империи». В лондонскую желтую прессу просочилась информация о том, что Черчилль предложил уступить Восточную Германию полякам в обмен на передачу Западной Польши Сталину. «Не могу представить, что ведущие английские политики настолько глупы и недальновидны, — написал Геббельс, — чтобы настолько доверять большевизму. Сталин и не подумает исполнять обязательства, принятые совместно с Англией и Америкой». Но был по крайней мере один пожилой англичанин, которого нельзя было упрекнуть в подобной «глупости и недальновидности».

Пока «Большая тройка» обсуждала планы в Тегеране, Ян Смэтс в Лондоне произнес речь, которую Геббельс назвал «сенсационной». Смэтс предсказывал, что вслед за исчезновением Третьего рейха с политической карты («Ничего нового», — прокомментировал Геббельс) «русский гигант возьмет под контроль весь Европейский континент. Англия выйдет из войны с честью и славой, но бедной, как нищенка. Соединенные Штаты во многом пойдут по ее стопам». Геббельс искренне не понимал, зачем Британской империи проводить такую губительную политику. Каждая союзническая бомба, сброшенная на Берлин, напоминала Геббельсу и Гитлеру, да и всем немцам, что их французские и английские собратья считают преступления немецкого государства более вопиющими, чем преступления Сталина с его ази-

атскими полчищами большевиков. Геббельс и Гитлер не понимали, как такое возможно, и до последних мгновений жизни надеялись, что Англия и Америка наконец прозреют[4].

2 декабря двое утомленных немолодых мужчин в сопровождении военачальников и советников вернулись в Каир, чтобы возобновить переговоры. Три дня спустя Рузвельт и Черчилль подписали соглашение о целях. Во-первых, было решено: ничто не должно помешать осуществлению операции «Оверлорд». Черчилль выразил готовность заняться этой операцией «в полную силу». Также ничто не должно было помешать вспомогательной операции «Энвил» (Anvil), запланированной в качестве прелюдии к «Оверлорду» в Южной Франции. Впрочем, в Тегеране Брук с Черчиллем добились крайне важного решения — пересмотра операции «Энвил» весной с точки зрения доступности десантных судов. Черчилль считал, что «Энвил» может не состояться. К большому облегчению Черчилля, во время переговоров Рузвельт согласился отказаться от плана «Бакэнир» (Buccaneer), военной операции в Бирме, которую Рузвельт обещал Чану. Отчасти «Бакэнир» отменили из-за того, что Маунтбеттен запросил 50 тысяч солдат, в то время как Черчилль рассчитывал не более чем на 15 тысяч. Кроме того, как обычно, не хватало десантных судов, которые можно было выделить под это предприятие. В обозримом будущем Маунтбеттену пришлось бы обходиться тем, что имелось. Наконец Черчилль и Рузвельт согласились, что ничто не должно помешать операциям в восточной части Средиземноморья, *если* Турция вступит в войну. Для достижения этой цели в Каир был приглашен президент Турции Иненю. Но в течение трехдневных переговоров ни Рузвельт, ни Черчилль не сумели убедить турок воевать на стороне союзных держав. Иненю заявил, что его страна «не готова к войне», но сказал, что «в принципе в дальнейшем рассматривает возможность вступить в войну». Самое большее, на что согласились турки, — предоставить свои аэродромы летчикам союзников. Генерал Маршалл считал, что этого вполне достаточно: он опасался присоединения Турции к союзным войскам, полагая, что это «окончательно подорвет их систему тылового обеспечения».

Недели спустя Джок Колвилл застал Черчилля за курением турецкой сигареты — Колвилл впервые увидел, что премьер-министр позволил себе это удовольствие. Держа сигарету на отлете, Черчилль заявил: «Это все, что мне когда-либо удавалось добиться от турок»[5].

Черчилль занялся проблемами Югославии и Греции. В обеих странах шла гражданская война между коммунистами и антикоммунистическими силами. При этом вооружение всех сторон в этих конфликтах обеспечивала Великобритания. В обеих странах коммунисты имели более многочисленные армии — в Югославии под началом Тито, в Греции народно-освободительная армия (ЭЛАС). В конце ноября

Тито создал временное правительство в Боснии; одно из первых его постановлений запрещало королю Петру возвращаться в Югославию.

Черчилль и Иден, решив, что после освобождения Югославии от немецких войск власть перейдет к партизанскому движению Тито, считали, что единственной надеждой для короля Петра играть хоть какую-то роль в делах Югославии может быть разрыв отношений с Дражей Михайловичем и его четниками, которые действовали против Тито в сговоре с немцами. Но четники тесно сотрудничали с американцами и предоставили убежище десяткам (а к лету сотням) американских летчиков, сбитых во время налетов на нефтяные месторождения в Румынии. Ситуация была неоднозначной. Черчилль начал переговоры с Тито. Посредником выступил Билл Дикин, представлявший интересы Черчилля в Югославии. В последующие недели Тито была предложена существенная военная помощь в обмен на непредвзятое отношение к возможности компромисса с королем Петром. Черчилль обещал многое, не получая никаких гарантий взамен[6].

Ситуация в Греции, по словам Кадогана, «вызывает неприятное ощущение схожести с югославской ситуацией». Все греческие партизаны презирали Георга, короля греков. Но в данном случае Черчилль и Иден решили действовать иначе, чем с Тито, и прекратили поставки оружия и вообще всякую помощь коммунистам в Греции. Сама по себе эта мера не могла спасти положение короля Георга, поскольку некоммунистическая Народная республиканская греческая лига (ЭДЕС) относилась к нему не лучше, чем ЭЛАС. Черчилль пришел к выводу, что единственным решением будет убедить короля не возвращаться в Грецию, пока его не позовет обратно греческий народ, сделавший свой выбор. Как и в случае с Петром, компромисс был единственной надеждой короля Георга, и единственный шанс увидеть королевское правительство под руководством премьер-министра Георгиоса Папандреу — оставаясь за пределами Греции, не принимая участия в конфликте. В течение двухдневных переговоров Иден пытался убедить в этом сопротивляющегося короля Георга. Но, к изумлению Идена, явился Франклин Рузвельт и сказал королю Георгу стоять на своем и не делать никаких заявлений. Вмешательство президента, как позже написал Иден, было «безответственным», особенно с учетом того, что Иден предварительно ознакомил Уайнанта и Гопкинса с британской стратегией. Но они, в свою очередь, не ввели Рузвельта в курс дела. Король Георг, который теперь был уверен, что «англичане хотят от него избавиться», прислушался к совету Рузвельта и отказался делать публичные заявления, которые требовал Черчилль. Греческая гражданская война продолжалась вплоть до прекращения огня в феврале на неопределенное время[7].

Позже Джок Колвилл написал: «Сложно найти примеры, которые дискредитировали бы наследственную монархию так, как Георг II, король Греции, и Петр II, король Югославии»[8].

4 декабря Рузвельт назначил Дуайта Эйзенхауэра командующим операцией «Оверлорд». Это было одно из самых сложных и важных решений, которые он принимал на посту президента. Рузвельт известил об этом назначении Черчилля, который за обедом сообщил об этом Бруку. Маршалл оставался в неведении до следующего дня, когда Рузвельт вызвал его и сказал: «Я не смогу спать спокойно, если ты покинешь страну». Маршалл был разочарован, но со свойственной ему исполнительностью немедленно радировал Эйзенхауэру. Из-за помех текст радиограммы оказался сильно искажен, и Эйзенхауэр «не смог разобрать, что он [Маршалл] хотел сказать». Эйзенхауэр понял только, что президент прибудет в Тунис вечером 8-го или утром 9-го числа. В своих воспоминаниях он написал: «Президент, безусловно, считал, что командование «Оверлордом» недостаточная причина для отъезда генерала Маршалла из Вашингтона». Черчилль видел в назначении Эйзенхауэра подтверждение своего мнения, что «Оверлорд» будет всего лишь одной из многих операций, не обязательно самой масштабной или критически важной. Пока «Оверлорд» существовал лишь на бумаге. Собственно, в декабре и Черчилль, и Эйзенхауэр направили свои усилия на Италию, где шел реальный бой с реальными последствиями[9].

Рузвельт составил, а Черчилль подписал меморандум для Чана, в котором были вкратце изложены основные решения, принятые в Тегеране. В этом документе ничего не говорилось об обещании Сталина присоединиться к военным действиям на Тихом океане после поражения Германии (из боязни утечки информации из штаба Чана). В одной строке меморандума явно прослеживается умонастроение Рузвельта: «Конференция со Сталиным вовлечет нас в конце весны в совместные операции на Европейском континенте, что дает нам хорошие шансы закончить войну с Германией к концу лета 1944 года». На протяжении года этот позитивный настрой передался военным и политическим лидерам. Черчилль не питал подобных иллюзий.

Самым завидным оптимизмом отличались генерал Спаатс и Артур Бомбардировщик Харрис. Они считали, что частые налеты достаточного количества бомбардировщиков приведут к тому, что от Германии останутся одни развалины, а немецкий народ не сможет оказывать сопротивление. Они верили, что Германию можно сломить к маю или уж наверняка — к середине года, поскольку Королевские военно-воздушные силы и 8-я воздушная армия Соединенных Штатов стирали с лица земли немецкие города вместе с населением. В конце ноября Daily Mirror ликовала: «КОРОЛЕВСКИЕ ВВС ОПЯТЬ ВСТУПИЛИ В БОЙ; СЕНСАЦИОННОЕ НАЧАЛО НАСТУПЛЕНИЯ». В декабре Daily Express заявила, что военно-воздушные силы не допустят «повторения Пашендейла»[10].

Этим радужным настроениям в немалой степени способствовали события на Восточном фронте. В первую неделю декабря русские

перешли в наступление; Красная армия нанесла удар в западном направлении в районе Киева, вдоль линии фронта, протянувшейся от Припятских болот до Черного моря. На юге Украины немецкие армии были отброшены к Южному Бугу. Всего в 150 милях был Прут и простиралась Бессарабия — бывшие царские владения в восточной части Румынии. В Крыму за несколько недель удалось отрезать немецкую армию от основных сил. В середине января Красная армия начала наступление под Ленинградом и 27 января освободила город от блокады, которая продолжалась почти три года. Затем советские войска повернули на запад, оттеснив немцев к эстонской границе.

Общая протяженность линии Русского фронта осталась прежней (порядка 1200 миль), но, по мере того как силы немецкой армии истощались, ей становилось все сложнее обороняться. Лиддел Гарт написал, что стратегия русских являлась «прекрасным доказательством важности соотношения между пространством и армией». Русские «могли жить там, где любая западная армия умерла бы от голода». Красная армия «продвигалась вперед неумолимо, как наводнение или орда кочевников». Немецкий офицер написал: «Жители Запада даже не представляют, что такое наступление Красной армии. Вслед за передовыми танковыми частями накатывается необъятное полчище, в котором много конных всадников. У солдат в заплечных мешках — сухие корки хлеба и сырые овощи, собранные на марше... Во время наступления русские могут находиться в таком состоянии в течение трех недель». Но у немецких солдат «недостаточное питание и огромные пространства вызывали чувство беспомощности». Сталин собирался дойти до Берлина, и чувства, которые испытывали немецкие солдаты, его весьма устраивали[11].

В начале декабря русская армия была не единственной из союзных армий, находившихся на марше. 2 декабря 5-я армия под командованием Марка Кларка перешла в наступление в направлении Монте-Камино; конечной целью должен был стать Монте-Кассино. Кларк начал поход на Рим. В штабе Эйзенхауэра некоторые полагали, что он будет там уже к Новому году. Все, включая Эйзенхауэра, были воодушевлены перспективами, которые открывались перед Кларком. Два дня спустя Рузвельт сообщил Эйзенхауэру, что его назначение на пост Верховного главнокомандующего вступает в силу 1 января и уточнил, не хочет ли он отложить официальное объявление об этом «до взятия Рима». Пресс-секретарь Эйзенхауэра Гарри Бутчер решил, что это хорошая идея: «Раз (назначение Айка) не имеет силы до 1 января, мы можем к этому времени взять Рим — идеальный вариант для вступления в новую должность». Но между 8 декабря и Рождеством наступление Кларка застопорилось из-за резкого ухудшения погоды и немецкого подкрепления. Кларк не смог дойти до Рима к 1 января. Эйзенхауэр отправился в двухнедельный отпуск в Соединенные Штаты,

а 5-я армия увязла в грязи под ледяным дождем, в пределах видимости от своей заветной цели — Монте-Кассино. А Черчилль уже продумывал новый план наступления на Рим[12].

За несколько недель до Каирской конференции Эйзенхауэр и Монтгомери заключили пари (каждый поставил 5 фунтов), падет ли Германия к Рождеству 1944 года. Айк считал, что падет, Монти, соответственно, нет (он записывал свои пари в гроссбухе). Генерал Фрейберг поспорил с Монти на 10 фунтов, что война с Германией закончится к 31 октября 1944 года. Адмирал Бертрам Рамсей, который разрабатывал план высадки для операций «Факел» и «Хаски», поставил 5 фунтов на то, что война закончится к 1 января 1945 года.

За обедом в Каире 7 декабря (в тот день Рузвельт вылетел в Тунис) Черчилль попросил высказать свое мнение относительно окончания войны Смэтса, Идена и военачальников. По мнению адмирала Кинга, который «выпил полбутылки с лишним шампанского... и выглядел потрепанным», окончание войны должно было наступить где-то между мартом и ноябрем 1944 года. Маршалл согласился с этим прогнозом. Брук поставил на март шесть к четырем, Дилл — один к одному. Все военные — Портал, Каннингем, Генри Хэп Арнольд, полковник Лесли Холлис — сошлись во мнение, что это произойдет в период между мартом и ноябрем. Черчилль, Иден и Смэтс были не столь оптимистичны. Позже Черчилль написал, что его поразил оптимизм коллег: «Укоренилась идея, что Гитлер будет недостаточно силен для того, чтобы противостоять весенней кампании, и может потерпеть поражение еще до начала «Оверлорда»[13].

Эйзенхауэр в военных мемуарах «Крестовый поход в Европу» написал, что Черчилль и англичане надеялись, что Итальянская кампания «может привести к неожиданному прорыву, который сделает форсирование Ла-Манша либо необязательным, либо не более чем обычной операцией по зачистке территории», которую стоит проводить, только когда союзные силы смогут легко и без потерь пересечь Канал. Судя по высказываниям американских командующих за обедом, они именно так и думали. В Тегеране Черчилль заявил, что операция «Оверлорд» начнется в мае; он знал, что это предприятие будет тяжелым и кровопролитным. Ознакомившись с первоначальными планами вторжения в августе прошлого года, он предложил высадить на побережье больше людей, поскольку боялся, что в противном случае потерпят поражение. Он никогда не рассматривал «Оверлорд» как обычную операцию по ликвидации остатков разгромленных сил противника.

К декабрю Эйзенхауэр поверхностно ознакомился с планом «Оверлорд». По дороге в Вашингтон он сообщил репортерам: «Мы выиграем войну в Европе в 1944 году»[14].

Остальные предсказатели наблюдали, как рушатся их прогнозы. Адмирал Уильям Бак Хэлси, командующий американским флотом на

Тихом океане, несколькими месяцами ранее с уверенностью заявил, что 1943 станет годом «окончательного, бесповоротного поражения стран оси». Хэлси больше не занимался высказыванием предположений и отвечал журналистам: «Я больше не стану гадать... Одному Богу известно»[15].

Черчилль так и не сумел избавиться от простуды и боли в горле, которые преследовали его с момента отъезда из Лондона, и к 9 декабря оказался на грани полного физического истощения. Смэтс считал, что Черчилль «переутомился и теперь вынужден полагаться на стимулирующее действие алкоголя, чтобы снова прийти в форму».

Смэтс начал сомневаться, продержится ли Черчилль. В тот день за обедом Черчилль признался Бруку, что чувствует себя утомленным, разбитым и мучается от боли в пояснице. О крайней степени усталости свидетельствовал тот факт, что он потерял аппетит и почти не разговаривал. В промежутках между крошечными чайными ложками супа он прихлопывал мух мухобойкой и считал трупики. Его энергии хватало лишь на то, чтобы назвать суп «вку-усным», отправляя на тот свет еще несколько мух. Брук задавался вопросом, сколько Черчилль еще протянет. Черчилль и сам думал о том же. Позже он написал, как ему не хватало сил вытереться после ванной — он был настолько истощен, что просто ложился в кровать, завернувшись в полотенце[16].

Вскоре после полуночи, 11 декабря, Черчилль с сопровождающими покинул Каир на своем самолете Avro York и направился в Тунис — нанести визит вежливости Эйзенхауэру. Затем Черчилль собирался лететь в Италию — поддержать Александера, чьи армии были измотаны неприятелем, особенностями местности, самой тяжелой зимой за последние годы, а также вспышкой тифа. У обеих армий были общие враги — вши и малярия.

На рассвете самолет Черчилля приземлился близ Туниса. Летное поле казалось заброшенным — не было охраны; не было машин встречающих. Пилот ошибся и посадил самолет не в том месте. Премьер-министр с трудом выволок себя вместе с ящиками документов из самолета и сел прямо на краю взлетной полосы. Там он ждал, вспоминал Брук, «на пронизывающем холодном ветру». С севера наползал ледяной туман. Моран уговаривал Черчилля вернуться в самолет, но тот отказался. Он сидел на своих ящиках, очень далеко от дома. Его мрачное лицо блестело от пота. «Казалось, ему становилось все хуже и хуже», — написал Моран. Когда с путаницей разобрались, все вернулись в самолет, чтобы отправиться в назначенное место. К тому времени лицо Черчилля посерело, что вызвало у Морана профессиональное беспокойство. Прибыв наконец в штаб Эйзенхауэра близ Карфагена, Черчилль тяжело опустился в кресло и оставался в нем до конца дня; он настолько ослабел, что не стал даже читать телеграммы[17].

К тому времени Моран уже извелся от беспокойства. Температура у его пациента поднялась до 39 °С. Черчилль был истощен психически и физически. У него возникли серьезные проблемы с легкими. Столько потрясений оказалось много даже для Старика. Он действительно стал стариком, приближаясь к последнему году из семидесяти лет, определенных Библией как нормальный срок человеческой жизни. Моран был уверен в достоверности врачебного прогноза — Черчилль не доживет до следующего года. Премьер-министру требовалось лечение с использованием передовых достижений медицины, но из всех необходимых средств в арсенале медиков середины XX века были лишь сульфамидные препараты и сыворотки. У Морана не было необходимого оборудования для установления точного диагноза. Особые опасения вызывала возможность, что Черчилль подхватил вирулентный штамм гриппа, распространявшийся в то время по всему миру. В Германии его назвали Kellergrippe («подвальный грипп»), и в ту неделю он унес жизнь 2 тысяч берлинцев. В Великобритании за неделю было зафиксировано 1148 смертей. Когда Геббельс узнал, что король Георг заболел, он тут же выплеснул эмоции в дневник: «Вот бы эпидемия оказалась смертельной!»[18].

На попечении Морана находился тяжело больной человек. У личных секретарей Черчилля была в ходу дежурная шутка, что, когда Старик неожиданно заболевал, секретарь должен был вызвать лорда Морана, а тот уже вызывал настоящего доктора. Так Моран поступил и на этот раз, вызвав из Каира патолога, доктора Роберта Пульвертафта, с двумя медсестрами, рентгенотехника из Алжира с собственным аппаратом и запасом наперстянки на случай, если у Черчилля начнутся проблемы с сердцем. Также из Каира был вызван кардиолог доктор Д.Е. Бедфорд. Вечером 13 декабря сделали рентген. На снимке просматривалось затемнение в легком. «Хотите сказать, что у меня опять пневмония?» — спросил Черчилль Морана. Моран назначил лечение сульфамидным антибиотиком M&B (было названо по имени компании-изготовителя «Мэй и Бейкер»). На следующий день Моран увидел, что Черчилль «задыхается и выглядит встревоженным». Пульс был учащенный, аритмичный; он страдал сердечной фибриляцией. «С моим сердцем происходит что-то странное», — сказал Черчилль. Когда состояние ухудшилось, он взмолился: «Вы ничего не можете сделать, чтобы это прекратить?» Моран дал ему дозу наперстянки и пообещал, что вскоре наступит улучшение. Оно наступило, но не в ближайшие четыре часа, когда Моран, держа Черчилля за руку и измеряя его пульс, понимал, что «положение отчаянное»[19].

15 декабря Моран написал в дневнике: «Пока никаких признаков улучшения». В тот день лейтенанту авиации Джону Колвиллу приказали срочно явиться в форме на Даунинг-стрит, 10 для доклада. Там ему сообщили, что премьер-министр «тяжело и, возможно, смертель-

но заболел пневмонией в Карфагене». Колвиллу было поручено сопровождать миссис Черчилль в Тунис, чтобы она могла ухаживать за больным мужем. На аэродроме Лайнхем их уже дожидалась оснащенная двумя двигателями «Дакота», но Бивербрук настоял, чтобы они дождались, пока он добудет четырехмоторный B-24 «Либерейтор». Спустя двадцать часов Клементина, Колвилл и Грейс Хэмблин, секретарь и помощник миссис Черчилль, взошли на борт «Либерейтора», в котором было холодно и темно, и вскоре взяли курс на Африку. Ночной полет до Гибралтара длился девять часов, а затем, совершив небольшую остановку, они продолжили путь в Тунис — еще шесть часов в воздухе, и все это время они могли только строить догадки о самочувствии Черчилля, и, судя по тревожному поведению Клементины, именно этим она и занималась. Колвилл с Грейс коротали время за тихой беседой, потягивая кофе и приглядывая за миссис Черчилль, которая «не могла заснуть и была сильно встревожена»[20].

Прибывшую с рассветом компанию подчиненные Эйзенхауэра тут же спешно сопроводили из аэропорта на виллу Черчилля, где он лежал в постели, еле живой, немного сбитый с толку отсутствием Сары, которая неустанно дежурила у его кровати. Сара вернулась почти сразу в сопровождении Клементины; Черчилля не предупреждали о приезде жены, так что было бы вполне понятно, прими он ее за галлюцинацию. Спустя несколько минут вошел Колвилл, ожидая увидеть лежачего больного. Но вместо этого перед ним предстал «бодрый человек с большой сигарой в одной руке и стаканом виски с содовой в другой». Кризис миновал[21].

На той же неделе Колвилл присоединился к штабу Черчилля, оставаясь в его личном секретариате до конца войны, за исключением короткого промежутка времени тем летом, когда ему пришлось отлучиться по службе в Королевских ВВС.

Назначение Эйзенхауэра командующим операцией «Оверлорд» (пока еще не обнародованное) привело к перестановкам в командном составе союзных войск на всех уровнях. Главный маршал авиации Теддер был назначен заместителем Айка, с полномочиями над всеми воздушными силами, стратегическими и тактическими. Адмиралу Бертраму Рамсею было поручено командование действиями военно-морских сил в операции «Оверлорд», включая высадку под кодовым названием «Нептун». Черчилль хотел, чтобы начальник штаба Эйзенхауэра Беделл (Жук) Смит, хорошо ладивший с англичанами, оставался в Средиземноморье, но Айк забрал Смита в Лондон. За считаные недели Эйзенхауэр сумел добиться, чтобы ему дали полный контроль над всеми союзническими воздушными силами, тактическими и стратегическими. Главный маршал авиации Траффорд Ли-Мэллори, из командования истребительной авиацией, был назначен главнокомандующим силами

тактической авиации под началом Эйзенхауэра. Бернард Монтгомери в конце месяца должен был оставить 8-ю британскую армию и принять командование 21-й группой армий, название союзнических войск в Британии, принимавших участие в операции «Оверлорд». В этом качестве Монтгомери принимал командование всеми наземными войсками «Оверлорда» на начальном этапе вторжения. Черчилль (как и Эйзенхауэр) предпочел бы видеть на этом месте Александера, но военный кабинет настоял на герое Эль-Аламейна. Черчилль согласился, ожидая, что в скором времени Александер окажется героем Италии — добудет славу, захватив Рим и преследуя врага до самой Вены. Генри Мейтленд Джамбо Вильсон, главнокомандующий на Ближнем Востоке, был назначен Верховным главнокомандующим союзными войсками на Средиземном море. Брук остался начальником имперского Генерального штаба и при содействии Черчилля получил звание фельдмаршала. Порталу было присвоено звание главного маршала авиации. К Рождеству многие из них были уже на пути в Лондон, чтобы занять новые посты. Джамбо Вильсон, недостаточно хорошо знакомый с центральной и западной частями Средиземноморья, не смог сразу активизировать действия на этом театре военных действий, поскольку перестановки в командовании создали вакуум власти. В то время Черчилль находился в Тунисе. Имея массу свободного времени и расстроенный застоем в Италии, он решил сам заполнить этот вакуум.

В канун Рождества Франклин Рузвельт объявил по радио о назначении Дуайта Эйзенхауэра Верховным главнокомандующим экспедиционными союзными войсками в Европе. С этого времени, где бы генерал Айк ни размещал свой штаб, он будет называться SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) — штаб Верховного командования союзных экспедиционных сил. Президент призвал американцев помолиться за Черчилля, заболевшего в Северной Африке. Рузвельт с Эйзенхауэром были верующими. После встречи в Тегеране президент сказал Гарриману, что русские, по его мнению, глубоко верующие люди, «просто обязаны выступить против атеистической идеологии советского коммунизма и репрессий». Наивные рассуждения! Любой, осмелившийся выступить против Сталина, был бы уничтожен. Весной Рузвельт написал молитву за солдат, высаживающихся в Нормандии; ее опубликовали 7 июня на первой полосе New York Times. Черчилль молитв не писал и не произносил. Эйзенхауэр, веривший в то, что всемилостивый Господь на стороне союзников, однажды сказал лорду Морану: «Свобода без веры ничего не значит». Бернард Монтгомери утверждал, что его священники были важнее его артиллерии. Генерал Александер тоже был глубоко верующим человеком, как и Ян Смэтс, который держал под рукой греческий Новый Завет и рассматривал все решение сквозь призму христианского учения. Однажды за ужином Смэтс с укором сказал Черчиллю: «Ганди...

духовное лицо. Мы с вами — мирские люди. Ганди взывал к религиозным чувствам народа. Вы — никогда. В этом ваша слабость»[22].

Черчилль, напротив, был уверен, что в этом его сила. На Рождество Колдстримский гвардейский полк проводил богослужение в своем старом складском помещении, где хранились боеприпасы. Хотя самочувствие Черчилля уже позволяло ему присутствовать на службе, он, по своему обыкновению, предпочел не приходить. Вместо этого он готовился обсудить Итальянскую кампанию с Эйзенхауэром, который должен был прибыть до полудня. Клементина пошла на службу вместе с Сарой, Колвиллом, генералом Александером и Мораном. Как только священник произнес нараспев «Слава в вышних Богу...», зазвенели колокола соседней церкви и белый голубь, сидевший на стропиле, «слетал прямо к молящимся». После службы, когда Клементина рассказала Черчиллю о голубе, тот отмахнулся, списав этот случай на фокус священника, который, скорее всего, выпустил голубя из-под саккоса*.

Когда Александер, веривший, что тайны этой жизни будут раскрыты в следующей, стал рассказывать Черчиллю о послании с небес, доставленном на крыльях голубя, Черчилль раздраженно ответил: «Это ничего не значит»[23].

Его слова никого не удивили. Он постоянно напоминал окружающим, что стал придерживаться агностических взглядов почти сразу по достижении зрелости. Своей матери, Дженни, он написал об этом из Индии, а всему миру поведал в автобиографии «Мои ранние годы», рассказав, как в Индии пережил «период яростного, агрессивного безбожия», который затем сменился приверженностью старому доброму британскому практицизму. В бою, под обстрелом, он вскоре осознал, что капля веры может служить утешением. И сделал вывод в типичной для него манере: «Поэтому я уже в ранние годы усвоил для себя правило: верить тому, во что хочется верить». Его отношение к Богу было лишено трепета и почтительности, оно скорее отражало политическую философию Стэнли Болдуина: «Никогда не жалуйся и никогда не оправдывайся». Он не начинал свои речи с обращений к Всевышнему, чтобы тот указал правильный путь, и не заканчивал просьбами о Божественном благословении. Он не просил у Небес силы или мудрости для победы в войне. Он говорил англичанам: «Пока мы верим в наше дело, пока наша воля непоколебима, нам не будет отказано в спасении».

Как-то поздно вечером в Тегеране он сказал Сталину: «Я полагаю, что Бог на нашей стороне. По крайней мере, я сделал все возможное, чтобы Он стал нашим верным союзником». Сталин ответил с ухмыл-

---

* С а к к о с — верхнее архиерейское богослужебное облачение, аналогичное иерейской фелони и имеющее то же символическое значение. Представляет собой длинную просторную одежду (обычно не сшитую по бокам) с короткими широкими рукавами и вырезом для головы.

кой: «Ну а *дьявол на моей стороне*. Поскольку, конечно, каждому известно, что *дьявол* — коммунист, а Бог, разумеется, добропорядочный консерватор». Со Сталиным Черчилль играл роль простака. Ян Смэтс рассказал о другом подобном случае, когда Черчилль предположил, что папа римский мог бы сыграть роль в обеспечении мира. «Папа, — задумчиво протянул Сталин, — папа. А сколько у него дивизий?» Сталин, отмечал с иронией Черчилль, довольно часто упоминает в разговоре Бога[24].

Черчилль этого не делал.

Обладая довольно скудными знаниями в области теологии, он склонялся к концепции божественной неприступности Спинозы: Господь помогает тем, кто сам себе помогает. Возможно, он — как Кромвель, Мальборо, Питт и Нельсон — оказался на земле по Божьему замыслу, но не сообщил плана для достижения успеха, не дал указаний, не предоставил откровений. Черчилль сам выбирал свой путь.

Пока его жена, дочь и коллеги созерцали белого рождественского голубя, погрузившись в размышления и испытывая благоговейное изумление, Черчилль лежал в кровати со своими вализами, сигарами и виски, изучал карты и прокладывал маршруты передвижения армий. До согласованной даты начала «Оверлорда» оставалось всего четыре месяца. В любую минуту мог приехать Эйзенхауэр, чтобы обсудить операцию в Италии, в том числе высадку десанта на берег в Анцио, к югу от Рима, маневр, который, по мнению Черчилля, должен был открыть путь к Риму.

Однажды в Карфагене Черчилль, очнувшись от лихорадки, обнаружил у своей постели Сару. Она читала вслух «Гордость и предубеждение», даже когда он спал. «Не беспокойся, — сказал он, — даже если я умру, это уже не имеет значения, поскольку план, который приведет нас к победе, готов, теперь это лишь вопрос времени»[25].

Но к Рождеству Черчиллю понял, что имеющихся планов недостаточно. 5-я армия, с трудом продвигавшаяся к долине Лири, преодолела менее 10 миль почти за три недели. Было очевидно, что к Новому году она не доберется до Рима. Эйзенхауэр и Черчилль по-разному пишут об этой ситуации. В своих воспоминаниях Эйзенхауэр не упоминает об оптимизме, с каким в начале декабря поддержал идею объявить о своем назначении Верховным главнокомандующим 1 января, считая, что к тому времени союзники уже будут в Риме. Черчилль в своей истории войны пишет: «Наши армии в Италии оказались в тупике, и это побудило генерала Эйзенхауэра стремиться к комбинированной фланговой атаке». Строго говоря, Эйзенхауэр всегда стремился к подобным операциям. Но к Рождеству он уже считал такую операцию неосуществимой, полагая, что ее реализация будет непосильной и может привести к катастрофическим последствиям. План этой операции, получившей кодовое название «Шингл» («Галька»), был составлен два месяца назад.

К Рождеству Черчилль считал ее исключительно важной для победы союзников[26].

Эйзенхауэр назвал операцию «Галька» «попыткой обойти» фланги Кессельринга. Англичане называли такой маневр «кошачьим когтем». А используя боксерскую терминологию, если проводить параллель с боксом, то это хук слева, нанесенный 5-й армией близ слияния рек Рапидо и Лири. Затем, если бы все прошло хорошо, 5-я армия могла взять Монте-Кассино и, наступая по долине Лири, в течение недели объединиться с силами «Гальки». Приведя в замешательство войска Кессельринга, 5-й армии оставалось преодолеть последние 35 миль до Рима, в то время как 8-й армии на Адриатическом побережье Италии требовалось совершить быстрый левый поворот в том же направлении. Эйзенхауэр считал операцию в Анцио очень рискованной и предупредил об этом Черчилля. Он опасался «полного уничтожения десанта, если 5-я армия не сможет добраться до него по суше». Кроме того, он боялся, что плацдарм высадки в Анцио окажется незащищенным, поскольку в скором времени десантные суда должны были отправиться из Средиземного моря в Британию для участия в операции «Оверлорд». Одно дело, считал Эйзенхауэр, оттянуть немецкие войска из Франции в Италию, и совсем другое — спровоцировать немцев отправить в Италию достаточно войск, чтобы нанести поражение находившимся там армиям союзников. У Эйзенхауэра попросту не хватит сил, чтобы удерживать место высадки в Анцио и развивать успех. Все эти опасения Эйзенхауэр высказал Черчиллю в первый день Рождества, а затем еще раз, спустя неделю, во время последней встречи перед отъездом в Вашингтон и Лондон. Но к моменту начала операции «Галька» Эйзенхауэра уже не будет на Средиземноморском театре военных действий, так что он не примет участие в этой операции[27].

Эйзенхауэр выражал свои сомнения в отношении Анцио почти в тех же выражениях, которые использовал Черчилль, выражая сомнения в отношении «Оверлорда». Черчилль был не единственным военачальником, который опасался, что незначительным силам, высаженным на побережье, грозит «полное уничтожение». На рождественское заседание пришли практически все военачальники Средиземноморского театра военных действий — Эйзенхауэр, маршал авиации Теддер, Джамбо Вильсон и Александер. Брук, который никогда не сдавал позиций в спорах с Черчиллем, уже отбыл в Лондон. Еще один человек, чье мнение имело вес, Марк Кларк, не был приглашен на заседание. Его 5-й армия должна была выделить людей для участия в операции «Галька». Собравшиеся сошлись во мнении, что следует приступить к осуществлению операции. Но это было не так-то просто сделать, поскольку выяснилось, что из-за запланированной переброски десантных судов из Средиземноморья в Англию будет не хватать 56 судов.

Только Рузвельт мог санкционировать изменение планов в отношении десантных судов. Черчилль отправил президенту телеграмму: «Высадка в Анцио... решит исход битвы за Рим». Он объяснил президенту, что для этого потребуется 88 десантных судов и что такое количество можно обеспечить только за счет тех самых 56 судов, которые планируется отправить в Англию для «Оверлорда». Эти десантные суда следует задействовать в «Гальке», написал Черчилль. Отправка кораблей в Англию приведет к «застою» на Итальянском фронте, если не хуже. Черчилль был зол и раздосадован. Американцы с британцами договорились строить 1500 кораблей и десантных судов всех типов *в месяц*, и, несмотря на это, на единственном европейском театре, где англо-американские силы сражались с немцами, судьба союзнической кампании зависела всего от 56 десантных судов. Два дня спустя Рузвельт одобрил использование десантных судов. Черчилль лично занялся планированием деталей, включая увеличение численности войск с 20 до 70 тысяч[28].

Второй день Рождества принес отличные новости с севера. Королевский флот заставил «Шарнхорст» принять бой у берегов Норвегии. (Известие тем более радостное, что побег «Шарнхорста» из Бреста в феврале 1942 года чуть не привел к низложению черчиллевского правительства.) Несколькими днями ранее, когда немецкий линейный крейсер атаковал конвой, направлявшийся в Россию, адмирал сэр Брюс Фрезер на линкоре «Герцог Йоркский» бросился в погоню. «Шарнхорст» направился в Норвегию, но в рождественский вечер крейсеры Фрезера подошли к немецкому линкору. 26 декабря окруженный, почти не имевший боеприпасов, поврежденный торпедами и артиллерией, охваченный огнем «Шарнхорст», наконец пошел ко дну, забрав с собой почти всю команду; из 1968 человек спаслись только 36 матросов. «Тирпиц», поврежденный в конце декабря британскими сверхмалыми подводными лодками, пока был на плаву. Но немецкий флот, уже проигравший подводную войну, только теперь понял то, что Черчилль понял еще в начале осени: Битва за Атлантику закончилась. Прошли времена, когда всего лишь угроза появления немецкого надводного флота приводила в ужас союзнические транспортные суда и заставляла флот метрополии держаться в территориальных водах. Теперь угроза — со стороны надводного и значительной части подводного флота — исчезла. По приказу Гитлера немцы приступили к строительству более новых, более быстроходных и тяжеловооруженных подводных лодок, но они могли быть введены в эксплуатацию не раньше середины 1945 года. А пока приближался 1944-й, стремительно наращивались силы для «Оверлорда». С появлением каждой американской дивизии Британия постепенно превращалась в самую большую военную базу в истории[29].

По предписанию врачей Черчилль 27 декабря покинул Карфаген для двухнедельной реабилитации в Марракеше, в течение этого времени он фактически принял на себя командование Средиземноморским театром военных действий. Он намекнул относительно своих намерений в бюллетене о состоянии здоровья, опубликованном на той неделе на Даунинг-стрит, 10: «Я чувствую себя намного лучше, чем за все время после отъезда из Англии, хотя, конечно, для восстановления физических сил необходимо провести несколько недель на солнце... М и Б. (Моран и Бедфорд) крайне успешно справились с работой... Мне ни разу не пришлось отказываться от участия в руководстве, и не было ни малейшей задержки в принятии решений, которые от меня требовались. Теперь я в состоянии полностью включиться в работу... Я не собираюсь бездействовать». На самом деле, учитывая, что британские начальники штабов и военный кабинет были в Лондоне, Черчилль мог планировать собственную войну[30].

В Марракеше, как после Касабланки, он снова остановился на вилле Тейлора, в окружении поредевшей армии членов семьи, друзей — для дружеского общения вызвали Бивербрука, — машинисток, личных секретарей и военных советников. Приехали Рэндольф с Сарой. Сын, как обычно, вел себя агрессивно, напивался, что неизбежно приводило к перепалкам между ним и Уинстоном. Де Голль вызывал особую неприязнь Рэндольфа, который советовал отцу избавиться от француза, отчасти потому, что де Голль недавно арестовал пятерых лидеров Виши за измену. Трое из них помогали союзникам во время «Торча», и за них заступались Рузвельт с Черчиллем. Анри Жиро был против арестов, но де Голль сместил его с должности сопредседателя Французского комитета национального освобождения. Фактически, де Голль теперь представлял страну. К досаде Гарольда Макмиллана, Черчилль прислушивался к сыну, который снабжал Уинстона бесчисленными слухами о де Голле, «преимущественно выдуманными». «Рэндольф создавал проблемы, — написал Макмиллан в дневнике, — не пристало мальчику беспокоить отца. Но Уинстон трогательно предан ему». Став свидетелем нескольких подобных эпизодов, Колвилл написал: «Рэндольф сеет в семье раздор». А во время очередных нападок Рэндольфа на де Голля Колвилл отметил: «Уинстона чуть не хватил апоплексический удар, а лорд Моран был сильно взволнован». Фицрой Маклин, командир Рэндольфа, заверил Колвилла, что поведение Рэндольфа изменится, как только они присоединятся к Тито в Югославии, «благодаря отсутствию виски и скудной пище». Годы спустя Ивлин Во, служивший в Югославии вместе с Рэндольфом, узнал о том, что из-за подозрения на опухоль в легком Рэндольфу, заядлому курильщику, сделали биопсию. К удивлению всех, включая Рэндольфа, биопсия дала отрицательный результат. «Типичное достижение современной науки, — прокомментировал Во, — найти един-

ственную часть Рэндольфа, не являвшуюся злокачественной, и удалить ее»[31].

Однако Рэндольф, пусть и в несносной манере, привлекал внимание к назревающей проблеме. Де Голль, а не Рэндольф был истинным источником проблем. Черчилль, чтобы разобраться с этим, отправил свой самолет York в Алжир за старыми друзьями, Альфредом Даффом Купером и его женой, леди Дианой Купер. Альфред был недавно назначен британским представителем во Французском комитете национального освобождения, а леди Диана по праву была выдающейся личностью и в 51 год оставалась одной из первых красавиц Англии. Ее портрет украсил обложку журнала Time за 1926 год; она была талантливой актрисой, а о ее приемах ходили разговоры по всей Англии. Диана Купер имела власть над мужчинами, включая Черчилля, чему Моран был свидетелем однажды за ужином в Марракеше. «Вот, — прошептал Моран Колвиллу, — вы можете наблюдать исторический момент, как профессиональная сирена соблазняет убеленного сединами государственного мужа». Дафф Купер, который любил Францию и французов, мог только надеяться обрести такую же власть над де Голлем. Новое задание Купера — заключить мир с де Голлем или, по крайней мере, избежать дальнейших осложнений — оказалось трудным с самого начала[32].

Когда Рузвельт телеграфировал Эйзенхауэру с требованием запретить голлистам преследование трех арестованных видных вишистов, Макмиллан — теперь министр-резидент всего Средиземноморья — испугался полного разрыва отношений французов с англичанами и американцами. «Мне кажется, — написал Рузвельт, — что сейчас подходящее время избавиться от комплекса Жанны д'Арк и вернуться к реальности». Получив телеграмму, Макмиллан написал в дневнике: «Президент ненавидит де Голля и Французский национальный комитет... Он воспользуется любым предлогом, чтобы сместить их и вернуть Жиро». Де Голль оттянул развязку, объявив, что три лидера Виши предстанут перед судом только после восстановления французского правительства. Тем не менее Рузвельт хотел избавиться от де Голля и Черчилль склонялся к тому же[33].

Выходки Рэндольфа и де Голля отвлекали Черчилля, который хотел полностью сконцентрироваться на Италии. Для детального планирования кампании в Анцио Черчилль вызвал в Марракеш капитана Пима, заведовавшего кабинетом картографии, со всеми его сотрудниками. В канун Нового года, по пути в Лондон, где он должен был принять командование, заехал Монтгомери. Черчилль вызвал для обсуждения операции в Анцио и Эйзенхауэра, который собирался отправиться в Штаты в двухнедельный отпуск перед тем, как приступить к обязанностям в Лондоне; Эйзенхауэр вновь выразил опасения по поводу этой операции — слишком незначительными были силы, ко-

торые планировалось бросить против столь мощного противника. В канун Нового года Черчилль попросил Монтгомери посмотреть планы кампании в Нормандии. Поначалу Монтгомери отказался, сославшись на то, что план уже утвержден Объединенным комитетом начальников штабов и не ему пересматривать их решения. Однако Черчилль настоял. Монтгомери (не большой любитель застолий), немного посидев за праздничным столом с Черчиллем и Клементиной, занялся изучением планов кампании. Из уважения к Монти остальные тоже не стали долго засиживаться. Когда подали пунш, к компании присоединились личные помощники и машинистки. После того как Черчилль произнес небольшую речь, все встали в круг, взявшись за руки, и запели Auld Lang Syne»*[34].

В своих мемуарах Монтгомери с теплом вспоминал о вечере, отметив, что тогда завязалась его дружба с Черчиллем и Клементиной, которая в последующие двадцать лет становилась только крепче. Так оно и было: подпись Монтгомери в гостевой книге Чартвелла встречается сорок шесть раз, уступая лишь Профессору, который восемьдесят шесть раз расписался в гостевой книге. Однако дружеские отношения чуть не испортились в самом начале, когда Клементина пригласила на новогодний ужин Ноэля Шавасса, адъютанта Монтгомери. «Мои адъютанты не ужинают с премьер-министром», — недовольно заметил Монтгомери. «К себе домой я приглашаю кого захочу, генерал Монтгомери, — ответила Клементина, — и не нуждаюсь в ваших советах». В тот день Шавасс остался на ужин[35].

На следующее утро, 1 января 1944 года, Черчилль вошел в комнату Клементины и объявил: «Я так счастлив. Я чувствую себя намного лучше». Позже в тот же день Старик с компанией, включая Монтгомери, поехали на пикник в оливковую рощу. (Черчилль часто совершал такие выезды во время реабилитации в Марракеше.) Там Монти поделился своими первыми, довольно скептическими, соображениями по поводу плана «Оверлорд». «Так не пойдет, — объявил Монти. — Не хватает мощи для первого удара». Он уже пытался поговорить об операции с Эйзенхауэром, но тот сказал, что выслушает все рекомендации по изменению плана позже, когда они встретятся в Лондоне. Мысли Эйзенхауэра занимала Италия, а не Нормандия. Монтгомери покинул Марракеш с тревожным чувством, что, «судя по настойчивости премьер-министра, он фактически взял на себя тактическое командование в Средиземноморье». Так и было. В штабе Эйзенхауэра операцию «Галька» уже называли любимым детищем премьер-мини-

* «Старое доброе время» — шотландская песня на стихи Роберта Бернса, написанная в 1788 году. Традиция петь Auld Lang Syne в канун Нового года существует не только в Шотландии, Великобритании, но в и других странах. Была переведена на русский язык Самуилом Маршаком под названием «Старая дружба».

стра, какой она и являлась. Моран написал, что в итоге пикниками в Марракеше пришлось пожертвовать ради «суровой необходимости». На вилле Тейлора, как правило в саду, проводились «военные советы». Когда Моран указал Черчиллю на то, что Гитлер не только планирует военную политику в целом, но и продумывает детали, Черчилль ответил: «Да, я как раз этим и занимаюсь». Когда все руководство разъехалось, Черчилль остался в Марракеше один, в отличном расположении духа. Лорд Моран написал: «По мере того как премьер-министр набирался сил, к нему возвращался вкус к войне»[36].

В начале января 1944 года Королевские ВВС и американские бомбардировщики были отправлены во Францию с секретными заданиями. Обычно командиры вводили летчиков в курс дела, называя намеченные цели — например, конкретный завод или грузовую станцию в определенном городе. Но в этот раз летчикам дали только координаты и сказали не промахнуться. Их не посвятили в то, что в конце осени британские разведывательные самолеты сфотографировали десятки странных сооружений из дерева и бетона, разбросанных от Нормандии до Па-де-Кале. Сооружения напоминали альпийские лыжные трамплины — узкие, порядка 500 футов в длину. Некоторые стояли на бетонном фундаменте. Судя по наличию тяжелых электрических кабелей и лебедок, эти сооружения могли служить в качестве своего рода катапульт. Когда аналитики отметили их на карте, они пришли к тревожному заключению: ось каждой катапульты была направлена на Лондон. Наблюдательный аналитик из WAAF (Женской вспомогательной службы ВВС) заметил рядом с одним из этих объектов летательный аппарат без пропеллера. Другой аналитик вспомнил, что похожего рода сооружения были сфотографированы в мае прошлого года под Пенемюнде. В итоге аналитики пришли к выводу, что это немецкие пусковые установки. Осталось неясным, какие именно аппараты будут запускаться с этих установок. Британские и американские бомбардировщики приступили к выполнению «Арбалета», операции Дункана Сэндиса по уничтожению непонятных объектов. Но точность, как обычно, оставляла желать лучшего. «Бомбардировка пусковых установок проходит не слишком успешно», — признался Брук в дневнике 11 января. Собственно, она оставалась не слишком успешной в ближайшие семь месяцев[37].

В отличие от отдыха Черчилля в Марокко по утрам он работал, затем выезжал на пикник и каждый вечер его ждал великолепный ужин при свечах. В конце дня, облачившись в халат с драконами, он ставил грампластинки, которые Мэри прислала ему на Рождество («лучший подарок, который я когда-либо получал»), и подпевал Гильберту с Салливаном. Эдуард Бенеш, когда возвращался домой из Москвы после подписания договора о дружбе со Сталиным, остановился

на вечер у Черчилля. Бенеш выразил уверенность в том, что «после 1 мая Германия может пасть в любой момент». И снова, как раньше в Каире, Черчилль устроил опрос среди сотрапезников, желая знать, верят ли они в то, что Гитлер все еще будет у власти 3 сентября 1944 года. Сара, капитан Томми Томпсон, Джон Мартин, Бенеш и генерал-лейтенант Лесли Холлис ответили отрицательно. Мнение Холлиса имело вес: он служил заместителем Исмея, посещал многие зарубежные конференции и с начала войны присутствовал на большей части совещаний по вопросам военного планирования. Положительный ответ дали только Черчилль и Бивербрук[38].

Шарль де Голль, который уже целый месяц, по выражению Даффа Купера, «неуклюже» отказывался от встречи с Черчиллем, 12 января все же согласился поужинать с премьер-министром. Генерал приехал в Марракеш «в мрачном настроении, не готовый к диалогу»; он все еще не отошел от обиды на Черчилля, не пожелавшего встретиться с ним по пути в Тегеран, и был зол на Рузвельта, который вмешался в процесс над тремя вишистами. Черчилль тоже был не в духе, потрясенный известием о том, что граф Чиано был застрелен вместе с другими заговорщиками, свергнувшими Муссолини. По воспоминаниям Даффа Купера, в ожидании де Голля Черчилль раздумывал, как раз и навсегда избавить союзников от француза, и не только потому, что этого хотел Рузвельт. Черчилль сказал Куперу: «Тебе нравится этот человек, мне — нет». Час встречи приближался, и Купер с Клементиной посоветовали Черчиллю обращаться с де Голлем как можно вежливее. «Надеюсь, обойдется без вспышек гнева», — написала Клементина в письме к Мэри. Обошлось. Несмотря на прохладное начало (де Голль «говорил так, словно был Сталиным и Рузвельтом в одном лице»), через два часа они «расстались друзьями. Черчилль даже согласился посетить парад французских войск на следующий день. Купер отметил, что парад прошел «очень успешно», Черчилль и де Голль стояли рядом, и премьер-министр «был очень тронут криками «Да здравствует Черчилль!», которые заглушали крики «Да здравствует де Голль!», когда мимо них маршировали зуавы и сипахи». Годы спустя Купер написал: «Более полувека посвятив такой бесчеловечной профессии, как профессия политика, Уинстон Черчилль остался таким же, каким был в школьные годы». Эти слова были написаны в благодарность за готовность Черчилля помириться с де Голлем — несмотря на его проступки — во имя блага Франции и Европы[39].

После парада войск Черчилль попрощался с де Голлем и отправился в горы на пикник. Такие выезды было непросто организовать. Прилегающую территорию с глубоким ущельем, на дне которого протекала река, охраняли американские солдаты. Ординарцы Черчилля расставили длинные столы, застелили их белыми скатертями, поста-

вили складные стулья, расстелили берберские ковры, поставили большие плетеные корзины с апельсинами, оливками, жареной ягнятиной и прохладительными напитками «на всю компанию», вспоминала леди Диана Купер. Апельсины были такими сочными, что Монтгомери, который должен был в тот день лететь в Лондон, приказал загрузить апельсинами целый самолет и отправить в Англию. Как и все застолья с Черчиллем, пикник начался на неопределенной ноте. Леди Купер, тридцать лет дружившая с премьер-министром, хорошо знала, как следует общаться с ним за обеденным столом: «Перед обедом он всегда был в мрачном настроении, а после пары бокалов оживлялся и начинал острить». Выпив первый бокал бренди, Черчилль склонился к леди Диане и прошептал: «Лорд Моран сказал мне выпить еще один», хотя Моран ничего подобного не говорил. «Что ж, — вспоминала леди Диана, — он выпил еще три бокала со вполне предсказуемым результатом». А предсказуемым результатом стало то, что Черчилль с несколькими помощниками отправился на вылазку к реке, протекавшей в ущелье. Там он лазал по камням, а когда пришло время возвращаться, оказалось, что Старик не может подняться наверх. Тогда леди Диана спустила вниз длинную белую скатерть, в которую Черчилля запеленали, как младенца. Понадобилось два человека, чтобы тянуть его, двое, чтобы толкать снизу, и один, чтобы нести сигару[40].

Длительное отсутствие Черчилля в Лондоне было отмечено на самом высоком уровне. 7 января Брук написал в дневнике: «Уинстон сидит в Марракеше, полный неуемной энергии, и рассчитывает оттуда выиграть войну... Молю Небо, чтобы он вернулся домой и угомонился». Он должен был приехать в ближайшее время, но совершенно не собирался угомониться. Однако он был еще не совсем здоров, временами чувствовал сильную слабость и иногда с трудом держался на ногах, как показала прогулка по ущелью. Однажды вечером в Марракеше Клементина призналась леди Купер: «Я никогда не думаю о том, что будет после войны. Знаете, я думаю, Уинстон умрет, когда она закончится... Видите ли... мы все вкладываем в эту войну, и она все забирает»[41].

Война отнимала все и у Рузвельта с Гарри Гопкинсом. В канун Нового года Черчилль получил от президента телеграмму, в которой тот невзначай упомянул, что провел пару дней в постели «из-за легкой простуды». Пять дней спустя Рузвельт сообщил Черчиллю, что Гарри Гопкинс тоже слег с простудой и проведет несколько дней в Военно-морском госпитале. Рузвельт написал, что болезнь не серьезная, но «заставляет чувствовать тебя как, похоже, чувствует себя итальянский солдат». На самом деле состояние Рузвельта было тяжелым, он страдал от болей в желудке, отека легких и учащенного сердцебиения. Гопкинсу было еще хуже. В госпитале он пробудет не несколько дней, а большую часть ближайших семи месяцев, в течение которых он

перенесет операции на органах пищеварения, причем он узнает через год, что его врачи ошиблись с диагнозом. Страдающего от боли Гопкинса будут возить из клиники Мейо в Военно-морской госпиталь и обратно до тех пор, пока не отправят на длительную реабилитацию на бальнеологический курорт в Уайт-Салфер-Спрингс. Столь неожиданным и полным было его исчезновение, что Черчилль мог объяснить это только размолвкой с президентом. В феврале Черчилль отправил Гопкинсу письмо, одно из немногих за тот год, с пятью строками из «Макбета»: «Ваш сын уж заплатил *солдатский долг...*» Восемнадцатилетний Стивен Гопкинс, рядовой морской пехоты, погиб в боях на Маршалловых островах. В течение трех лет Гопкинс был для Черчилля другом и внимательным слушателем. Он боролся за дело Англии более рьяно и действенно, чем президентский начальник штаба адмирал Лихи и Государственный секретарь Корделл Халл. В Белом доме союзником Черчилля был именно Гопкинс, а не Рузвельт. Он был связующим звеном между президентом и Черчиллем. Теперь эта связь обрывалась[42].

К 3 января русские продвинулись на 100 миль за польскую границу 1939 года; таким образом, Красная армия второй раз за четыре года вторглась на территорию Польши. Черчилль понял политическое значение успеха Красной армии и поделился своими опасениями с Энтони Иденом. Вопросы относительно стран Балтии и Бессарабии, написал Черчилль, «в основном решатся благодаря победам Красной армии». Черчилль напомнил Идену, что, когда в Тегеране они предложили Сталину Кенигсберг в Восточной Пруссии, они не упоминали страны Балтии, «которые наверняка окажутся в опасности», когда русские армии пойдут через них в Западную Пруссию. Черчилль написал, что, как только русские «окажутся на этих территориях... мы совершенно точно никогда не сможем выгнать их оттуда»[43].

Значение этого события для Польши было очевидно. Иден сообщил телеграммой, что лондонские поляки настаивают на том, что «Польша, в награду за страдания и борьбу» должна «выйти из войны, сохранив восточные области и расширив западные области». Это было невозможно; Черчилль уже договорился со Сталиным о передаче большого куска Восточной Польши России. Черчилль сообщил Идену, что, если поляки откажутся, ему придется аннулировать обязательства Англии перед Польшей: «Я точно не буду больше брать на себя ответственность за то, что произойдет в будущем». Лондонские поляки, доложил Иден, опасаются, не «подавится» ли ослабленная войной страна, откусывая большие куски Германии. Кроме того, Иден сообщил, что в свете героических побед Красной армии усилилось «недовольство поляками». Хотя Великобритания и вступила в войну за Польшу, но англичане, как и их американские собратья, вознесли

на пьедестал русских. Несмотря на это, Иден сохранял оптимизм до 7 января, когда Черчилль получил телеграмму от Сталина, в которой маршал заявил, что, исходя из требований лондонских поляков, он неизбежно пришел к выводу, что «нет оснований рассчитывать на то, что удастся образумить эти круги. Эти люди неисправимы». Наконец поляки под нажимом Идена согласились обсудить с русскими «все спорные вопросы», включая линию Керзона, но заявили, что до переговоров признавать линию Керзона отказываются. Москва не пошла навстречу. Сталин сообщил англичанам, что поляки, очевидно, «не хотят добрососедских отношений с Советским Союзом». Позже Иден вспоминал, что это было «подобно пощечине». Теперь, когда Красная армия прошла 100 миль от польской границы 1939 года в глубь территории, Черчилль смирился с неизбежным. Он телеграфировал Идену: «Учитывая, что Россия, возможно, потеряла, тридцать миллионов граждан... она имеет право и силы укрепить свои западные границы»[44].

Черчилль покинул Марракеш 14 января, собираясь прибыть в Лондон, когда войска высадятся в Анцио. Он долетел до Гибралтара, затем на линкоре King George V добрался до Плимута, сел на поезд и наконец утром 18 января прибыл на Паддингтонский вокзал, где его встречали начальники штабов и кабинет в полном составе. Его не было в столице 67 дней, немыслимо долгое отсутствие для руководителя страны, тем более в военное время. Тотчас по прибытии он направился в палату общин, которая впервые собралась после рождественских каникул. Гарольд Николсон так описывает появление Черчилля: «Мы возились с разными вопросами... когда я увидел (именно *увидел*) вздох удивления на лицах тех, кто сидел напротив лейбористов. Они вскочили с мест и начали кричать... Мы тоже вскочили, и вся палата разразилась приветственными возгласами, пока Уинстон, сильно покрасневший и смущенный, сияя озорной улыбкой, пролезал вдоль передней скамьи, чтобы опуститься на свое обычное место». Он встал, когда отвечал на вопросы, и Николсон, хотя и аплодировал его усилиям, отметил, что, «как только румянец удовольствия сошел с его лица, он побледнел, и его голос звучал не так бодро, как раньше». Теперь опасения за здоровье Старика регулярно появлялись в дневниковых записях его коллег[45].

Ответив на вопросы, Черчилль провел заседания кабинета, развеяв иллюзии Брука насчет того, что премьер-министр вернулся в Лондон управляемым. Премьер-министр «разглагольствовал до 1:30 дня», написал Брук вечером в дневнике, «он выглядел хорошо, но мне совсем не нравилось, как работал его мозг! Слишком много бессвязной болтовни и перескакивания с темы на тему». Действительно, на следующий день на заседании Комитета начальников штабов Черчилль с энтузиазмом начал рассказывать о планах, которые он хотел осуществить «после окончания операции в Анцио». И это за три дня до

начала операции. Он предполагал разместить несколько тысяч коммандос при поддержке танков на островах у побережья Далмации. Для Черчилля Эгейское море оставалось неизбежным театром военных действий. В тот вечер Брук отвел душу в дневнике: «Премьер-министр опять в своем репертуаре! Не думаю, что смогу это выносить и дальше... У него совершенно бессистемный подход — тут отметиться, там отметиться! Господи, как я устал с ним работать. Я не осознавал в полной мере, насколько это ужасно, пока не оказался опять втянут в это после перерыва»[46].

Черчилль вернулся.

Эйзенхауэр приехал в Лондон 16 января. Рузвельт с Маршаллом заверили его, что не станут пересматривать принятые им решения, никогда не будут пытаться на него давить командным составом и будут всецело его поддерживать. «Верховность» главнокомандующего была вне сомнений. Эйзенхауэр сообщил президенту, что намерен использовать свои силы, преследуя одну-единственную цель — уничтожение гитлеровских армий. И все решения будут подчинены только этой цели. «Географические пункты, — позже написал он, — рассматривались только с позиций уничтожения немецких армий». Политика вообще не бралась в расчет. В ближайшие недели он ясно дал понять Черчиллю, что если его непосредственные начальники — Рузвельт и Маршалл — прикажут осуществить операции, основанные на политических приоритетах, он, конечно, не ослушается. Но во всех остальных случаях он не собирался приспосабливать военную стратегию к политическим интересам. Эйзенхауэр отметил, что Черчилль, «будучи политическим лидером, обеспокоен будущим Балкан... Однако я, будучи солдатом, был особенно осторожен, исключая подобные соображения при принятии собственных решений». Польша тоже вызывала серьезное беспокойство Черчилля. Собственно говоря, по мере наступления Красной армии на запад возрастало его беспокойство за Европу в целом. Это различие в подходах между солдатом Эйзенхауэром и солдатом-политиком Черчиллем в ближайшие месяцы сыграет существенную роль[47].

В Великобританию прибыли почти миллион американских солдат. Еще миллион ожидался в июне, и еще один — к концу года. Ирландка Кей Соммерсби, личный водитель (и якобы любовница) Дуайта Эйзенхауэра, позже написала, что Лондон «был похож на скромную мать семейства, которая, выпив слишком много коктейлей» превратилась в «прожигательницу жизни». После Битвы за Англию летчики Королевских ВВС спешили на выходные в Лондон, чтобы провести двое суток, наслаждаясь виски и женщинами. Но появление такого количества джи-ай привело к «настоящему разгулу». Американцы сорили долларами в магазинах, барах и клубах; местные были стеснены

в средствах, а учитывая нормированную выдачу всего, от сладостей и яиц до одежды, покупать было практически нечего. Соммерсби с гордостью наблюдала, как беднейшие лондонцы проскальзывали мимо американских армейских магазинов, даже «не удостаивая взглядом американских юношей, которые выходили оттуда с сигаретами, сладостями и прочим богатством». Тем временем норма выдачи молока британцам сократилась до 2 пинт в неделю. В театре «Палладиум» патриотический мюзикл Ирвинга Берлина This Is the Army («Это армия»)*, в исполнении Нью-Йоркской труппы, уже третий месяц собирал полный зал; каждый вырученный шиллинг шел на нужды британских вооруженных сил[48].

Несколькими месяцами ранее, просматривая вечером фотографии разрушенных немецких городов, Гарольд Николсон вернулся мыслями к Лондону, который в 1943 году уже не пользовался вниманием люфтваффе. Хотя почти три года назад Николсон и все лондонцы боялись за свою жизнь, теперь они жаловались, лишившись привычных вещей. Николсон был доволен, что в одном из его любимых ресторанов «сохранилась старая атмосфера», но Travellers, напротив, превратился в потрепанный караван-сарай, в котором испуганные литовские официантки кое-как обслуживали отребье из худших лондонских клубов». Когда Николсон наткнулся на пьяных американских солдат, развлекавшихся в метро с «еврейскими девушками из Ист-Энда», он, вернувшись домой, написал в дневнике: «Какой ужас»[49].

Молли Пэнтер-Доунес написала, что в то время Англия походила одновременно на «авианосец, переполненный людьми док и склад, до потолка забитый товарами с этикеткой «Европа»[50].

Легионы солдат имели массу свободного времени, хотя оно не шло им на пользу. Прибывающие джи-ай присоединялись к солдатам из Уэльса, Шотландии, Норвегии, Польши, Дании, Индии, Чехии, Бельгии, Канады, Ньюфаундленда (до 1949 года Ньюфаундленд был независимым доминионом), Австралии и Новой Зеландии, превратив площадь Пиккадилли в английский Таймс-сквер. С доисторических времен на острове Великобритания регулярно собирались подобные разношерстные компании, о чем написал Даниель Дефо:

> Как результат смешенья всякой рвани
> И мы возникли, то бишь — англичане.

По ночам отряды уличных девок прохаживались по неосвещенным улицам, как и в разгар блица (Эдвард Марроу назвал их «лондонски-

* Самое известное произведение Берлина — гимн «Боже, благослови Америку» (God Bless America, 1918), считающийся неофициальным гимном США, вошел в патриотический мюзикл «Это армия». Посмотрев мюзикл в феврале 1944 года, генерал Эйзенхауэр настоял на том, чтобы спектакль показывали на всех фронтах

ми храбрецами»). Теперь они приставали к клиентам, шепча по-русски: «Товарищ». Темные подъезды превратились в места свиданий, из переулков доносились звуки потасовок, слышалось улюлюканье и ругань на всевозможных языках. Проститутки носили с собой небольшие фонарики, которыми они на несколько секунд освещали лицо, если какой-нибудь солдат кивком проявлял интерес. Узкие лучи плясали в глубоких тенях, создавая стробоскопический эффект. Раздавались лающие окрики уполномоченных по гражданской обороне — стариков в защитных касках — они требовали погасить фонарики. Но на них не обращали внимания. Когда из-за низкого атмосферного давления Лондон окутывала мерзкая смесь едкого дыма из труб и непроницаемого тумана, поднимавшегося с Канала, ночной город приобретал причудливые очертания. Автомобили — верхняя половина фар закрашена черной краской — ползли вдоль улиц, словно подслеповатые вьючные животные, которых направляли пассажиры или добрые самаритяне, положив одну руку на переднее крыло и протягивая вторую вперед, надеясь нащупать правильный путь. После всех мытарств, остановок и не без помощи везения, автомобили вместе со своими помощниками, как ни странно, добирались до дому. Лондон, после почти пятилетней жизни в затемнении, был погружен, по словам Джока Колвилла, «в адский мрак»[51].

Представители высшего командования «Оверлорда» впервые встретились 21 января в Норфолк-Хаус, в неогеоргианском особняке рядом с Сент-Джеймсским парком, закрытом для гражданских лиц, отчасти для того, чтобы скрыть приезды и отъезды из особняка. Монтгомери изложил свои взгляды на запланированное начало операции «Оверлорд». Он сообщил коллегам то, что уже говорил Черчиллю: «Для первой высадки слишком узкий фронт и слишком незначительная территория». Как и для высадки — кодовое название «Нептун» — слишком мало людей, всего три дивизии, что может привести к затору на побережье и плачевным последствиям, если немцы сконцентрируют там танки и самолеты. Монти поддерживал идею создания искусственных гаваней, но подчеркивал необходимость захватить порт Шербур. Для этого требовалось расширить зону район высадки, охватив побережье полуострова Котантен, отделенного от основного района высадки эстуарием рек Дув и Вир шириной 4 фута. Монтгомери предлагал решить эту проблему, сбросив две американские парашютно-десантные дивизии в 10 милях от берега и к западу от реки Дув. Он считал, что необходимо «выиграть воздушный бой до начала операции высадки». Эйзенхауэр, который успел только бегло просмотреть планы перед отъездом из Северной Африки, в целом согласился со всеми предложениями Монти, кроме одного. Монтгомери предлагал отказаться от операции «Энвил», высадки двух дивизий на юге Фран-

ции, чтобы освободить войска и десантные суда, необходимые для усиления «Оверлорда». Эйзенхауэр понимал, что «Энвил» не может, как планировалось, предшествовать «Оверлорду», однако настаивал, что операцию необходимо осуществить вскоре после начала «Оверлорда». Он мог пойти на отмену «Энвила» только в крайнем случае. Все были согласны, что для сбора сил в нужном для «Оверлорда» объеме, для уничтожения немецких военно-воздушных сил и французских железных дорог требуется на месяц отложить начало операции. Именно об этом Черчилль с Бруком пытались договориться в Тегеране[52].

Учитывая необходимость проведения высадки в Нормандии в полнолуние, во время прилива, в течение часа после рассвета, задержка отодвинула «Оверлорд» на первую неделю июня. Для успеха «Оверлорда» секретность была не менее важна, чем материально-техническое обеспечение, поэтому вскоре родилась отвлекающая операция Bodyguard («Телохранитель»), предусматривавшая радиоперехват, работу двойных агентов и дезинформацию. Родственная операция Fortitude («Стойкость») предполагала создание фиктивных армий на территории от Шотландии до юго-востока Англии. Фиктивные армии должны были передавать радиограммы в расчете на то, что немцы будут их перехватывать и расшифровывать. В состав несуществующих подразделений входили надувные резиновые танки и эскадрильи самолетов из фанеры; на фотографиях, сделанных немецкими разведывательными самолетами, это напоминало массированное сосредоточение сил.

Не обошлось без использования нового вооружения. Эксцентричный гений танкостроения генерал-майор Перси (Хобо) Хобарт, которого Черчилль вернул в строй в 1940 году (несмотря на возражения Брука), командовал созданием танков специального назначения — «плавучих» танков, которые могли сами пристать к берегу; танков с минными тралами для очистки минных полей; огнеметных танков, способных сжечь дотла крупные строения. Монтгомери и Эйзенхауэр внесли изменения в «Оверлорд», которые не могли себе даже представить первые планировщики операции. Три дня спустя Эйзенхауэр ознакомил Объединенный комитет начальников штабов со своим новым планом. И хотя события развивались так, как хотел Брук, он не мог себя заставить похвалить Эйзенхауэра: «Я, безусловно, согласен с его (Эйзенхауэра) предложением, но очевидно, что идея принадлежит не ему, а Монти. Эйзенхауэр начисто лишен стратегического видения и совершенно не подходит для должности, которую занимает»[53].

Спустя несколько дней после того, как Монтгомери настаивал на отмене операции «Энвил» (и Эйзенхауэр согласился отложить ее), Черчиллю пришла в голову другая идея, как увеличить силы «Оверлорда». Она заключалась в том, чтобы высадить три вооруженные дивизии в Бордо через несколько недель после начала операции в Нормандии,

которые, согласно плану, через 20 дней после дня «Д» должны были объединиться с силами союзников внутри страны. Он назвал эту операцию Caliph («Халиф») и предложил перебросить три дивизии из Средиземноморья в Марокко, чтобы затем, обогнув Иберийский полуостров, выйти к Бордо. В «Халифе» Черчилль видел решение ожидаемой проблемы: «Энвил» оттянет у Александера десантные суда и войска, что приведет к задержке весенней кампании в Италии. По мнению Черчилля, замена «Энвила» на «Халифа» могла бы одновременно поддержать вторжение в Нормандию (первоочередная задача Эйзенхауэра) и улучшить перспективы в Италии (театр, имевший большое значение для Черчилля). Таким образом, операция «Халиф» укрепляла два отдаленных театра военных действий — Францию и Италию/Средиземноморье — под началом двух главнокомандующих, Эйзенхауэра и Джамбо Вильсона. Эта была отличная альтернатива жуткой неразберихе, которая началась бы при одновременном проведении двух взаимозависимых операций в непосредственной близости друг от друга — на юге Франции и на севере Италии, куда Александер, по мнению Черчилля, должен будет добраться в мае. Брук отмахнулся от этой операции, назвав ее «сомнительным предприятием». После того как Черчилль обсудил этот вопрос с британскими начальниками штабов, написал Брук, «я решил, что на какое-то время нам удалось убедить его отказаться от этой затеи». Удалось, но только на время[54].

22 января более 25 тысяч солдат союзников высадились на побережье в Анцио и Неттуно. Удивлению не было предела: побережье не охранялось; высадка прошла легко, и к полудню солдаты выполнили намеченную задачу, продвинувшись вглубь на 3 мили. Таким образом, армия вторжения оказалась примерно в 40 милях к северу от тыла Кессельринга и в 60 милях к северу от 5-й армии. В то утро Брук в дневнике с восторгом описал охотничьи трофеи — за один выходной удалось подстрелить 172 фазана — и упомянул о неожиданно легкой высадке в Анцио, написав: «Какое облегчение».

Это последняя радостная запись Брука по поводу Анцио на ближайшие несколько месяцев. На следующий день высадилось еще 15 тысяч солдат с почти 4 тысячами транспортных средств (слишком много, считал Черчилль, и посоветовал Александеру убедиться в том, что у него достаточно людей, чтобы заполнить эти тысячи грузовиков). Затем, вместо того чтобы двигаться в глубь страны, солдаты в течение двух дней оставались на берегу, повернувшись спиной к морю, а равное шести дивизиям немецкое подкрепление уже спешило с севера Италии. Союзники оказались готовыми мишенями для немецких 88-миллиметровых зенитных пушек, которые были наскоро установлены на склонах над берегом и вокруг него. К 28 января Черчилль уже понимал, что вторжение провалилось. Спустя несколько

недель он описал эту ситуацию Колвиллу и Бруку: «Я думал, мы швырнем на берег дикую кошку, а вместо этого получили выброшенного на берег старого кита». Черчилль любил производить впечатление, повторяя свои удачные фразы; это сравнение было точным и ясно отражало суть бездействия на берегу. Даже в кодовом названии операции — «Галька» — теперь можно было увидеть жестокую иронию, поскольку армия осталась сидеть на прибрежной гальке. Черчилль считал, что в этом виноват американский командующий, генерал Джон П. Лукас. Он пришел, увидел, проинструктировал, и в результате его люди погибли. В отличие от него Кессельринг тщательно распределял силы. Но сэр Джон Киган встал на сторону Лукаса, справедливо заметив: «Если бы Лукас рискнул прорываться к Риму в первый же день, его головные отряды, возможно, достигли бы цели, но вскоре были бы уничтожены»[55].

Идея, что у Италии есть своего рода мягкое подбрюшье, ежедневно опровергалась в 60 милях к югу от Анцио. 5-я армия Марка Кларка нанесла согласованный удар для поддержки десанта в Анцио 17 января, когда британские войска форсировали реку Гарильяно. 20 января шестьсот американцев из 36-й Техасской дивизии предприняли попытку форсировать реку Рапидо, вздувшуюся из-за зимних дождей. Вокруг простиралось болото; в этой местности не было дорог. В течение трех дней техасцы безуспешно пытались форсировать реку и в результате потеряли более тысячи человек. Чудовищное поражение для техасцев, 5-й армии и Черчилля. Чтобы добраться до Анцио и до заветной цели — Рима, 5-й армии предстояло форсировать Рапидо и захватить Монте-Кассино, где на склонах окопалась германская 1-я парашютная дивизия. 24 января Кларк направил американскую 34-ю дивизию на гору; после почти трехнедельного ближнего боя, 12 февраля, немцы ее отбросили. К Риму не удалось приблизиться ни на шаг[56].

Самым серьезным препятствием для союзных войск в Италии была линия Густава, начинавшая от эстуария реки Гарильяно. Построенная полувоенной строительной организацией Тодта, которая одновременно спешила закончить гитлеровский Атлантический вал, линия Густава представляла собой бифукарцию Итальянского полуострова, неприступную как горная гряда, памятник инженерного искусства — бетонная крепость, протянувшаяся от берега до берега, с огневыми позициями артиллерии, колючей проволокой, пулеметами и минами. За этой линией Кессельринг разместил тринадцать дивизий своей 10-й армии. На западе линия упиралась в Монте-Кассино, с горы открывался вид на автостраду № 6 — дорогу в Рим. Оттуда линия шла на восток через хребет Апеннин, к устью реки Сангро на адриатическом побережье, где 8-я армия принимала участие в кровопролитных боевых действиях. В отличие от линии Мажино линию Густава было невозможно просто обойти с фланга, что ежечасно доказывала битва в долине Лири.

Да, при внимательном рассмотрении гитлеровское решение окопаться и удерживать позиции, вместо того чтобы постепенно вернуть свою армию на север Италии, играло Черчиллю на руку. Итальянские армии Гитлера стояли на месте и, следовательно, не могли усилить Атлантический вал. Именно это с самого начала хотели Черчилль с Бруком. Они всегда рассматривали Италию и как самостоятельную цель, и как средство ограничить гитлеровскую способность разворачивать войска по собственному желанию. Но Черчилль не собирался стоять на месте; он хотел уничтожить гитлеровские армии. План был выполнен только наполовину. Понятно, что гитлеровские дивизии не будут переброшены из Италии в Нормандию, но, пока Александер не уведет свои войска с побережья Анцио и с немецкого фланга в Монте-Кассино, союзнические войска не смогут взять Рим. Рим был важен не только с политической точки зрения, он имел важное стратегическое значение, поскольку без контроля над аэродромами близ Рима невозможна была операция «Энвил», а также не могло идти речи о наступлении Александера на северо-запад к Франции или на северо-восток к Балканам и Австрии. Так что все дороги вели в Рим. В начале февраля Брук и британские начальники штабов сообщили телеграммой Вашингтону, что «остается только продолжать сражаться в Италии и отказаться от идеи высадки незначительных сил на юге Франции». Именно это две недели назад предвидел Черчилль, когда предложил план «Халиф», который Брук счел авантюрой. Тем не менее было ясно, что, если начальники штабов не придумают другой способ усилить «Оверлорд», придется осуществлять «Энвил» после вторжения в Нормандию, скорее всего в ущерб итальянским операциям[57].

В середине февраля Кессельринг развернул полномасштабное наступление на Приморском плацдарме в Анцио. Если бы не дешифровки «Ультры», благодаря которым союзные войска узнали о планах Кессельринга, Лукас и его маленькая армия были бы отброшены в море. Александер отстранил Лукаса 23 февраля. С берега люди переместились в подземные лабиринты грязных траншей, окопов и подвалов — и не только пехота, но и группы поддержки, включая механиков, метеорологов, медиков и поваров. Отступать было некуда. В форме и в постельных принадлежностях завелись вши; малярийные комары налетели с болот, которые осушил Муссолини, а теперь снова затопили немцы. Ряды союзнических войск пополнились сотнями итальянских сирот, родители которых погибли, а дома оказались разрушены. Они прибивались к отрядам, как бездомные кошки и собаки, которых привечали солдаты. Немецкая артиллерия и «штуки» обстреливали прибрежную полосу каждый день, каждый час, без перерывов. Немецкая бомба упала так близко к каменному дому, в котором спал журналист Эрни Пайл, что от толчка он свалился с

кровати, а сигареты вылетели из пачки. Он подобрал их и к полудню выкурил все сигареты. Около 4500 солдат союзных войск остались лежать на побережье[58].

На исходе февраля Гитлер, который уже несколько месяцев обещал нанести ответный удар, направил люфтваффе на Лондон. Блиц возобновился с удвоенной яростью. Налеты следовали один за другим, как удары молотка; небольшие флоты «Хейнкелей» сбрасывали более мощные бомбы, чем в 1940 году. Они уже не ждали, как раньше, «луну бомбардировщика» и появлялись в самые темные ночи, благодаря наводящей навигационной системе. Налетчики знали, что над Лондоном нельзя задерживаться, поскольку англичане усовершенствовали системы наведения зенитных орудий. В Bell Labs создали прибор управления зенитным огнем, который измерял скорость, курс и высоту цели, учитывая также направление ветра и начальную скорость зенитных снарядов. Окончательный расчет показывал, на какой высоте должен сработать дистанционный взрыватель зенитного снаряда. Все эти расчеты осуществлял элемент системы, получивший название «компьютер»[59].

Немцы, в свою очередь, сбивали с толку британские радары с помощью Window — тонкие полоски алюминиевой фольги сбрасывались с бомбардировщиков при подлете к цели для создания пассивных радиолокационных помех, — как это делали британцы во время бомбардировок Гамбурга. Молли Пэнтер-Доунес написала, что лондонские ребятишки украшали этими полосками деревья и танцевали вокруг них, как вокруг майского дерева. Но, кроме детей, атаки никого не радовали (возможно, за исключением одного старика, всегда державшего наготове защитную каску). Когда начинали завывать сирены, Черчилль, как и во время блица 1940-го, направлялся к Гайд-парку, где зенитная батарея, в которой служила Мэри, устраивала ночной концерт. Опять лондонцы расчищали улицы от завалов, опять перед закатом у бомбоубежищ выстраивались длинные очереди. На Даунинг-стрит, 10 опять были выбиты стекла. Лондонцы презрительно называли эти атаки «крошка блиц». Но бомбардировщики хорошо делали свою работу. «Отсветы пожаров в ночном небе показывают масштабы разрушений, — написал Колвилл после одного налета. — Лондон выглядит встревоженным и не таким радостно-возбужденным, как в 1940—1941 годах»[60].

К середине февраля результаты битвы у линии Густава были не лучше, чем у Анцио. Второе наступление на Монте-Кассино новозеландцами было запланировано на 16 февраля. Яростные бои за город Кассино и монастырь вызывали серьезное беспокойство некоторых представителей английского духовенства — они боялись, что может

пострадать Рим. Молли Пэнтер-Доунес развеяла эти страхи в статье, напечатанной 13 февраля в New Yorker, написав, что «беспокойство за судьбу Рима едва ли оправданно, судя по тому, насколько бережно относятся союзники к монастырю Монте-Кассино». В ночь на 16 февраля союзники заботе о Монте-Кассино пришел конец. Американцы, уверенные в том, что немцы засели в монастыре, сбросили на него 1400 тонн бомб, почти вдвое больше, чем люфтваффе на Лондон в первую ночь блица 1940 года. Монастырь был полностью разрушен, хотя частично сохранились стены. Новозеландцы атаковали на следующее утро, но были отброшены. На самом деле до бомбардировки немцев в монастыре не было, но вскоре они заняли руины, предоставившие немцам почти идеальную защиту[61].

То, что союзники могли послать целую воздушную армию против одной-единственной церкви, свидетельствовало об огромной мощи их воздушных сил. Но, направляя тысячи самолетов, не избежать тысячных потерь. 19 февраля Колвилл отметил, что прошлой ночью в Германию было направлено 900 бомбардировщиков, 5 процентов не вернулись. На самом деле, как сообщил Черчилль палате общин 22 февраля, тысяча бомбардировщиков была направлена в четыре немецких города, было сброшено 9 тысяч тонн бомб; не вернулись 78 самолетов (8 процентов). Потери Королевских военно-воздушных сил были ошеломляющими и увеличивались. Но Черчилль был настроен продолжать бомбардировки. В тот день его выступление в палате продолжалось один час восемнадцать минут — первое длинное выступление за последние пять месяцев. В основном он обращался к немцам, говорил о том, что безоговорочная капитуляция не означает, что они превратятся в рабов.

Он сказал немцам, что намерен продолжать бомбардировки и превратить Германию в руины. Он сказал членам парламента (и напомнил американцам): «Что касается воздуха, то честь бомбардировки Берлина почти полностью выпала нам. До настоящего времени мы наносили основные удары по Германии». Потом он заговорил о том, какой ценой достигаются победы: «Великобритания потеряла 38 300 летчиков и членов экипажей убитыми и 10 400 пропавшими без вести. С начала войны потеряно более 10 тысяч самолетов и совершено 900 тысяч боевых вылетов на Северо-Европейский театр военных действий». Но передышки не будет ни для летных экипажей, ни для немцев. «Масштаб и сила атак выйдут далеко за пределы того, что можно было увидеть раньше или вообразить». Он посоветовал жителям Германии укрыться под землей или бежать в сельские местности. Он предсказал, что немцы ответят на воздушную атаку, причем не обычными налетами, как раньше. Он впервые публично сообщил, какую форму примет ответный удар: «Вне всякого сомнения, на побережье Франции немцы готовят новое оружие для нападения на нашу страну — либо беспилотные самолеты, либо ракеты, а возможно, и то и другое»[62].

Молли Пэнтер-Доунес заметила, что заявление о «беспилотных самолетах и ракетах» на большинство лондонцев не произвело впечатления: «Бед достаточно и сейчас от самолетов, управляемых летчиками». Но она неправильно поняла Черчилля. Он предупреждал не о «ракетных снарядах» вроде тех, которые использовала ночью зенитная батарея в Гайд-парке. Он предупреждал о *ракетах*[63].

Черчилль рассказал о всех фронтах в мире, о всех политических нюансах на международной арене и на родине. Он предупредил, что война в Европе, скорее всего, не закончится в 1944 году. Он подробно рассказал об обещании, данном Сталину в Тегеране, что советские границы будут под защитой, а границы Польши отодвинутся. Он объявил действия на линии Керзона политикой правительства и сказал, что верит Сталину, когда тот говорит о желании видеть «сильную, неделимую, независимую Польшу одной из ведущих европейских держав». «Он [Сталин] несколько раз публично делал подобные заявления, и я уверен, что это окончательная позиция Советского Союза», — добавил Черчилль. Затем он перешел к противникам в Британии и Америке, клевещущим на Великий союз: «Я надеюсь, что благородные порывы к единению не оставят нас в эти тяжелые времена, полные невероятных усилий и трагических жертв, и мы не распадемся на части, на чужбине или родине, чтобы стать добычей людишек, которые есть в каждой стране и которые резвятся у колесницы войны в поисках развлечений и скандалов. Об одном мы договорились в Тегеране, и это важнее всего, — то, в чем мы связаны официальным договором, — нападать и убивать Гунна на суше, на море и в воздухе, со всей имеющейся у нас силой, этой весной и летом»[64].

Когда несколько дней назад бывший архиепископ Кентерберийский осудил бомбардировку немецких городов и возможную бомбардировку Рима, палата лордов официально заявила, что бомбардировка немецких городов должна и будет продолжаться.

1 марта оставалось всего три месяца до вторжения во Францию. Черчилль настаивал, что операцию следует называть «освобождением», а слово «вторжение» использовать только в отношении пересечения вражеской — немецкой — границы. Объединенный комитет начальников штабов выполнил указание; согласился даже Рузвельт. Будь то вторжение или освобождение, «Оверлорд» должен был стать самым существенным шагом, предпринятым англо-американцами для уничтожения Гитлера. Русские не могли сделать это в одиночку; не могло, судя по всему, с этим справиться и бомбардировочное командование. Брэнден Брекен считал «Оверлорд» «самой отчаянной военной авантюрой в истории». Алек Кадоган, постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании, называл эту операцию «самым рискованным предприятием, которое когда-либо затевалось».

Таким оно и было (по крайней мере, с англо-американской точки зрения), однако эта операция была всего лишь одной из многих, частью военного ландшафта[65].

Были и другие ландшафты — экономический, политический, социальный, — через которые игрокам требовалось проложить путь. В ближайшие три месяца горизонт Дуайта Эйзенхауэра закономерно расширился до Нормандии, но не дальше. Шарль де Голль, в Алжире, мечтал дойти до Парижа, лондонские поляки — до Варшавы, Бенеш — до Праги. Военачальники союзнических сил рассматривали возможности по всему миру — в Италии, в огромном Тихоокеанском регионе, в Бирме. В политической сфере у Гарримана, Галифакса, Халла и Идена было много общих проблем и много решений, но далеко не все. Британские дипломаты по всему миру вступали в споры с местными лидерами по поводу локальных вопросов; в Бенгалии свирепствовал голод. В это время дома возникали конфликты между британскими властями и раздраженными британцами по поводу заработной платы, продовольственных талонов, дефицита продуктов и нехватки пива. Каждый участник драмы действовал только в пределах своей ограниченной сферы, а Черчилль отвечал за все сферы деятельности, военную, политическую, экономическую — на международном уровне и на родном острове. И все это находилось в непрерывном движении. Его обязанности постоянно и быстро менялись, как в калейдоскопе, во всем их бессистемном разнообразии. Безусловно, о Польше и «Оверлорде» Черчилль думал чаще всего, но было множество и других забот. Не вызывало сомнений, что в Румынию, которая с конца 1943 года пыталась прощупать Стокгольм на предмет возможности заключения мирного договора, скоро вторгнется Красная армия. Черчилль понимал, что, как только советские войска займут Бухарест, вопрос сепаратного мира с Румынией перейдет в разряд спорных. Венгры и болгары тоже начали нервничать по мере приближения Красной армии к Карпатам. В середине марта, после того как Гитлер узнал, что Венгрия проводит дипломатическое зондирование на западе, направил вермахт оккупировать страну и установить пронацистское марионеточное правительство. По приказу нового правительства 450 тысяч венгерских евреев и цыган вскоре были отправлены в концлагеря. Финны тоже увидели зловещее предзнаменование. Они понимали, что Красная армия, освободив Ленинград, направится к ним. Так и случилось, внезапное нападение произошло в июне. В августе маршал Карл Маннергейм заключил сепаратный мир с Советским Союзом.

В Греции шла гражданская война. Когда в апреле греческие войска в Египте подняли мятеж, Черчилль сказал генералу Бернарду Пэджету в Каире, что правительство Великобритании «готово при необходимости использовать все возможные силы, но по возможности хоте-

лось бы избежать кровопролития». Пэджет подавил мятеж, потеряв одного британского офицера, среди греков потерь не было. Югославия тоже находилась в состоянии гражданской войны. К апрелю Черчилль обеспечил полную поддержку Тито и оборвал все отношения с четниками. Черчилль хитростью заставил короля Петра, серба, отстранить своих министров и назначить премьер-министром доктора Ивана Шубашича — хорвата, преданного Тито и не вызывающего недовольства Сталина. Тито не просил места в правительстве и согласился отложить плебисцит по поводу короля Петра на послевоенное время[66].

В марте на сцену вышли итальянские политики, когда Рузвельт, ссылаясь на «общественное мнение» американцев (это был год выборов), заставил Черчилля отстранить короля Эммануэля и Бадольо, который в конечном счете был пережитком фашизма. Черчилль считал эту идею глупой, предпочитая крепкую хватку Бадольо вздорной итальянской политике, которая, по его мнению, наверняка последовала бы за его уходом. «Зачем отламывать ручку кофейника... — сказал он Бруку, — и обжигаться, пытаясь взяться за него, почему бы не подождать, пока будет взят Рим, и дать ему остыть?»[67]

Рузвельт рассматривал итальянский, польский и ирландский вопросы через призму предвыборной политики — костяк его электората составляли итальянские, ирландские и польские американцы. С одной стороны, он боялся потерять поддержку поляков; с другой — не хотел, чтобы Сталин начал сомневаться в искренности достигнутых в Тегеране соглашений по польскому вопросу. Черчилль, со своей стороны, во всем, что касается Польши, ориентировался только на обязательства Британии перед свободными поляками. Что касается остальных европейских стран — Румынии, Югославии, Греции, Италии, Болгарии, — то его больше всего беспокоила возможность их захвата коммунистами. Он пристально наблюдал за Ирландией, ожидая проблем. И действительно, ближе к концу года де Валера объявил, что Ирландия, как нейтральное государство, имеет право предоставить убежище немцам, обвиняемым в военных преступлениях. Пока Рузвельт взвешивал все решения в отношении Европы с точки зрения американской политики, Черчилль оценивал их с точки зрения будущего Европы и роли Британии в этом будущем. Сталин тоже оценивал события с точки зрения роли России в послевоенной Европе. Его армии находились в Польше, или, как Рузвельт любил напоминать польским американцам, в одной из многочисленных конфигураций, которые постоянно менялись на протяжении столетия. Он спрашивал, какая из них была настоящей Польшей? По его мнению, Польша не поддавалась описанию с географической точки зрения, и с этим соглашалась даже польская диаспора в Америке. Однако полякам в Америке и, особенно, в Лондоне была противна сама мысль о том, чтобы уступить большевикам хотя бы дюйм довоенной Польши. И все же

Рузвельт, всегда отличавшийся политической гибкостью, сумел сохранить симпатии польского электората и не испортить отношения со Сталиным, по крайней мере, он так думал[68].

Мало кто вспоминал о войне в Бирме. Американцы и китайцы под командованием Кислого Джо Стилвелла с трудом пробирались через джунгли на севере Бирмы, чтобы проложить дорогу Ледо из Северной Индии в Китай. Защиту их фланга обеспечивал гений партизанской войны Орд Уингейт со своими чиндитами. Брук считал, что тяготы войны «свели Уингейта с ума», но, прежде чем ему смогли помочь, Уингейт, которого называли «бирманским Клайвом», в марте погиб в авиакатастрофе; так ушел со сцены выдающийся солдат. Генерал Билли Слим с 14-й армией захватил главную японскую базу снабжения в 60 милях от Мандалая, но оторвался от своих линий снабжения. Дальнейшие операции были отложены до окончания сезона дождей. Малярия, как в Италии, убивала больше солдат, чем противник. Но у союзников появилось новое секретное оружие против комаров и вшей. Ближе к концу года британское и американское правительства обнародовали информацию об «одном из величайших научных открытий Второй мировой войны». Открытие, заявил Time, совершит переворот в профилактической медицине, как листеровская антисептика в хирургии. Черчилль объяснил членам палаты общин: «Этот инсектицид называется ДДТ. Мы разработали много средств защиты от тропических болезней и, особенно, от различных насекомых, включая вшей и комаров. ДДТ превосходное средство в виде порошка, которое прошло все необходимые испытания и продемонстрировало удивительную эффективность. Теперь его будут активно использовать британские солдаты в Бирме и американские и австралийские солдаты в Тихоокеанском регионе, да и на всех остальных театрах военных действий»[69].

По всему миру командующие требовали у планировщиков Вашингтона и Лондона больше людей, боеприпасов, лекарств и 120-октанового авиационного бензина. Основное внимание, конечно, было направлено на операцию «Оверлорд», но была еще Бирма, Норвегия, Эгейский регион, Анцио, Филиппины, Маршалловы и Гильбертовы острова, а Черчилль не забывал о Суматре. В середине марта он опять предложил начальникам штабов вторгнуться на Суматру, в качестве первого шага на пути к Рангуну; Брук назвал эту идею «немыслимой» и «основанной на ложных умозаключениях и ошибочной стратегии». Она так и не была осуществлена[70].

Проблем, требующих решения, становилось все больше. Одна из них касалась Палестины и, хотя на тот момент она не требовала немедленного решения, грозила существенными последствиями в будущем. В 1939 году министерство иностранных дел выпустило «Белую книгу» с предложением прекратить иммиграцию евреев в Палестину в 1944 году и создать единое Палестинское государство, в котором три

четверти населения составляли арабы и одну евреи. Этого соотношения предполагалось достичь за счет использования арабами права вето на последующую иммиграцию евреев. Задачей «Белой книги», своеобразного маневра на случай войны, было умиротворить арабов на Ближнем Востоке. Чемберлен считал, что, если начнется война, арабы смогут стать куда более сильными союзниками в борьбе против Гитлера, чем пятьсот палестинских евреев. В мае 1944 года парламент должен был рассмотреть «Белую книгу». Британские военачальники настаивали на принятии, в отличие от Черчилля, который назвал «Белую книгу» «предательством декларации Бальфура»* и предательством евреев.

Черчилль выступал против «Белой книги» в 1939 году и выступал сейчас, поскольку арабское большинство никогда не позволит еврейскому меньшинству разделить единое Палестинское государство на два отдельных государства. Если возникнут проблемы с разделением, сказал Черчилль Исмею, то они будут исходить от арабов, и «если не вмешиваться, то евреи победят арабов». Черчилль использовал парламентские процедуры, чтобы законопроект не был представлен на голосование, тем самым откладывая решение вопроса на послевоенный период. Черчилль всегда поддерживал сионизм, даже когда в том году двое молодых сионистских террористов убили лорда Мойна (Уолтера Гиннесса), министра-резидента на Ближнем Востоке. Мойн был давним другом семьи Черчилля, и десять лет назад, по его приглашению, Клементина совершила круиз по Тихому океану на его яхте Rosaura. Он долгое время был противником сионизма, но несколько изменил свое мнение, став министром по делам колоний**. Когда Черчилль узнал, что сионисты по всему миру выступают против вынесения смертного приговора убийцам Мойна, то посоветовал властям Каира, где произошло убийство, как можно быстрее повесить преступников. Приговор был приведен в исполнение[71].

Черчилль, как многие военачальники и высшие чины в министерстве иностранных дел, симпатизировал арабским националистам, поскольку арабы помогли британцам изгнать турок из Леванта. Кроме того, мусульмане исповедуют ислам, монотеистическую религию, в отличие от Ганди и его надоедливых индусов с их гротесковым пантеоном многоголовых богов и многоруких богинь. Тем не менее, в

---

* В обнародованной в 1917 году декларации министр иностранных дел Артур Бальфур призвал правительство ее величества создать в Палестине «национальный очаг для еврейского народа... при этом не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине». (*Примеч. авт.*)

** Ллойд-Джордж возложил на Черчилля особую ответственность за два британских мандата: Палестину и Месопотамию. (*Примеч. ред.*)

отличие от многих арабистов среди военных и в министерстве иностранных дел, Черчилль никогда не поддерживал арабов в ущерб евреям. В Англии отношения между англиканцами и теми, кто исповедовал иудаизм, зачастую основывались на полном невежестве. В конце войны, когда стало известно о зверствах нацистов против евреев, Гарольд Николсон, узнав, что Daily Mirror (которая, как он полагал, принадлежала евреям) призывала военнослужащих голосовать за лейбористов на приближающихся выборах, написал в дневнике: «Я не люблю евреев, хотя ненавижу антисемитизм»[72].

Черчилль не был антисемитом, хотя в 1920 году позволил себе антисемитское высказывание, когда выступил против оказания экономической помощи Советской России, заявив, что категорически против «оказания любой помощи тираническому правительству еврейских комиссаров». Поначалу он так же настороженно отнесся к декларации Бальфура. Призыв к созданию еврейского «национального очага» не обязательно подразумевал «автономное государство», но путь был открыт, и Хаим Вейцман повел сторонников сионизма по этому пути. Хотя многие черчиллевские генералы были настроены проарабски и были чуть ли не антисемитами, Черчилль настойчиво добивался создания Еврейского государства в Палестине, вне зависимости от мнения арабов. Годом ранее, во время июльского заседания кабинета он сказал: «Я считаю необходимым создание еврейского национального очага в Палестине... и по окончании войны у нас будет достаточно сил для того, чтобы заставить арабов согласиться с нашими планами»[73].

Французы всегда требовали внимания Черчилля. В Алжире французы были готовы опять сцепиться друг с другом, и это только укрепило уверенность Рузвельта в том, что де Голль не должен принимать участия в «Оверлорде» и руководстве освобожденной Францией. В начале марта голлисты в Алжире предали суду бывшего министра внутренних дел правительства Виши Пьера Пюше. Его обвинили в сговоре с немцами и в убийстве сотен французских граждан. Гарольд Макмиллан считал Пюше предателем и «законченным преступником», но опасался последствий, которые ожидали де Голля в случае расстрела Пюше. Прокурор, генерал Пьер Вейс, был «объектом всеобщего презрения», написал Макмиллан, хотя бы потому, что был «известным педерастом, которого окружали женоподобные офицеры». И хотя Макмиллан был уверен, что Пюше будет отчаянно защищаться, он предсказал «быструю расправу». Так и случилось. Пюше признали виновным и расстреляли, а это, сказал Черчилль Колвиллу, сильно ухудшило отношение к де Голлю и французам в Лондоне и, особенно, в Соединенных Штатах. Тем не менее Черчилль настоял, чтобы дивизия Леклерка, героически проявившая себя в Тунисской

кампании, была переброшена из Северной Африки в Йоркшир для прохождения подготовки, к участию в битве за Францию, хотя их роль пока еще не была определена. Позже Дафф Купер написал, что у него вызывала восхищение «удивительная непреклонность» де Голля и отношение Черчилля к де Голлю, несмотря на то что француз вызывал у него опасения, и несмотря на отношения Франклина Рузвельта, которого Купер считал «камнем преткновения» на пути к восстановлению положения Франции в европейской семье[74].

В конце марта неуступчивость де Голля достигла нового уровня, когда Французский комитет национального освобождения объявил себя временным правительством Французской Республики — всех неоккупированных французских территорий по всему миру. Макмиллан считал это ответом де Голля на отказ Рузвельта признавать полномочия Комитета. Анри Жиро был против, но он уже утратил влияние на французскую политику. Его величайшим грехом, по мнению де Голля, было желание выступать в качестве американского протеже. Фактически, в Алжире Жиро защищал интересы Америки; де Голль считал себя защитником интересов Франции. «Жиро слишком долго уходит, — написал Макмиллан подчиненному в Алжире. — Дайте ему умереть». Черчилль, по совету Макмиллана и Даффа Купера, смирился с тем фактом, что де Голлю — теперь единственному президенту Французского комитета национального освобождения — суждено по возвращении во Францию стать национальным лидером. Он рекомендовал Рузвельту пригласить де Голля в Вашингтон, чтобы порадовать француза символическим актом признания. «Символическим» по той причине, что американцы пока отказывались официально признать Французский комитет национального освобождения[75].

Энтони Иден, категорически не согласный с Рузвельтом насчет де Голля, написал в дневнике: «Президент ослеплен нелепой и мелочной неприязнью к де Голлю. С нашей стороны было бы глупостью поддерживать его в этом». Неприязнь Рузвельта к де Голлю стала очевидна в конце апреля, когда он телеграфировал Черчиллю: «Я не видел никаких свидетельств, доказывающих, что де Голль и его Комитет национального освобождения хоть как-то помогали союзным силам во время войны». Однако под влиянием Черчилля Рузвельт согласился встретиться с де Голлем в Вашингтоне, но только если де Голль выступит инициатором встречи. «Я не желаю, чтобы говорили, что это я пригласил его к себе в Вашингтон», — сказал Рузвельт Черчиллю[76].

Солдаты двух марокканских дивизий французской армии, потерявшие 2500 человек убитыми и ранеными на линии Густава, могли с полным правом оспорить утверждение президента, что Франция не помогала союзным силам. Оспорить это могли и солдаты 2-й бронетанковой дивизии Леклерка, и более 100 тысяч участников французского Сопротивления, вооруженных отделом специальных операций.

Десятки независимых групп Сопротивления выполняли самые разные функции. Одни печатали подпольные газеты — La Voix du Nord, Libération, Défense de la France. Другие помогали сбитым летчикам союзников бежать через Пиренеи в Испанию и Португалию. Участниками Сопротивления были коммунисты, голлисты, монархисты, иудеи, католики, протестанты, республиканцы, социалисты. Во время войны было убито более 90 тысяч участников Сопротивления; немцы, в ответ на деятельность движения Сопротивления, убили несколько тысяч французов, включая женщин и детей. В последние недели перед днем «Д» французские железнодорожные рабочие устраивали диверсии на железных дорогах; группы участников Сопротивления взрывали немецкие узлы связи и электростанции. Они продолжали действовать, даже когда бомбардировщики союзников начали наносить удары по немецким коммуникациям и железнодорожным узлам.

Свой вклад в дело борьбы с нацистами внесли 40 тысяч французских партизан, маки (так на Корсике называются заросли колючих труднопроходимых кустарников, в которых укрывались французские партизаны), плохо вооруженных и испытывавших недостаток боеприпасов. Эти молодые мужчины сбежали в Центральный массив и Савойские Альпы, чтобы немцы не смогли увезти их в Германию. Весной немецкие солдаты и полиция Виши вели бои против отрядов маки, которые, как и остальные участники сопротивления, ожидали поставок оружия, бомб и боеприпасов. Они внимательно слушали передачи Би-би-си, в которых звучали кодовые фразы, предупреждавшие и направлявшие их действия, — «кости на столе», «в Суэце жара», «пора собирать помидоры». С особенным нетерпением они ждали две строчки из стихотворения Поля Верлена Chanson d'aut omne («Осенняя песня»). Первая, «Долгие песни скрипки осенней», должна была прозвучать в первые две ночи месяца вторжения. Вторая, «Зов неотвязный, сердце мне ранят», означала, что в скором времени начнется вторжение. Французское подполье ждало эти слова и ждало возвращения в страну человека, которого все здесь считали своим лидером: Шарля де Голля[77].

Поначалу англо-американский союз тяжело продвигался вперед, несмотря на политические и военные разногласия в отношении де Голля, Эгейского региона, Индии, сроков «Оверлорда» (а теперь и «Энвила»). Когда победа была уже в обозримом будущем, различия в послевоенных экономических целях Америки и Великобритании стали просачиваться в их отношения, как песок в хорошо смазанный редуктор. В конце 1943 года пять сенаторов, включая республиканца Генри Кэбота Лоджа-младшего из Массачусетса и демократа Ричарда Расселла из Джорджии, заявили, что весь мир считает Америку «простофилей». Они призывали использовать американскую помощь в

качестве орудия — британцы считали ее дубинкой — для обеспечения экономических и политических преимуществ после войны. Этих пятерых Черчилль имел в виду, когда подверг критике «противников в Британии и Америке» в своей февральской речи. К началу 1944 года Рузвельт был достаточно обеспокоен ситуацией с торговлей (и давлением конгресса), чтобы исключить из ленд-лиза все дискреционные товары, поставляемые в Британию, не имевшие непосредственного отношения к войне. Для Британии стоимость этих товаров составляла около 400 миллионов долларов, или около трети ее 1,5 миллиарда долларового баланса в золоте или долларах (баланс Рузвельт держал в секрете от конгресса).

Новая политика могла только увеличить долги Британии и ослабить ее конкурентоспособность на мировых рынках после войны, особенно в отношении Соединенных Штатов. Финансовую и банковскую составляющие этой политики детально прорабатывал министр финансов Генри Моргентау-младший. С чисто финансовой точки зрения такие махинации были просто бухгалтерскими записями, способом управления счетами. Это был всего лишь бизнес. Моргентау, верный друг Британии на протяжении десятилетней службы в министерстве финансов, в целом поддерживал требование относительно увеличения бюджетных расходов Великобритании, но советовал пока не принимать мер, чтобы не ухудшить — если не разорвать — послевоенные англо-американские отношения. Но пять сенаторов, пресса и конгресс настаивали на решение вопроса.

Были и другие проблемы. Рузвельт просил Черчилля — точнее, требовал, — чтобы британские и американские представители торговых департаментов встретились в Вашингтоне (совещáние под председательством Рузвельта) для выработки послевоенной нефтяной политики. Черчиллю эта идея не нравилась, и в конце февраля он сообщил Рузвельту, что в Британии многие считают подобную встречу первым шагом к тому, чтобы «лишить нас доходов от нефтяных владений на Ближнем Востоке». Рузвельт ответил коротко и резко: переговоры должны пройти в Вашингтоне. «Я не изменю своей позиции по данному вопросу, — написал Рузвельт. — Что касается беспокойства Британии относительно ближневосточной нефти, то меня тревожат слухи о том, что англичане покушаются на запасы нефти Саудовской Аравии». В конце февраля Рузвельт отправил в Лондон две телеграммы, в которых заявил о «явной необходимости» решения вопросов о послевоенной торговле и кредитно-денежной политики, нефти, тарифов, основных товаров и картелей. Полагая, что телеграммы были написаны мелкими сошками (он, как обычно, позволил себе съязвить в адрес «друга») и подписаны измученным президентом, Черчилль отправил Идену записку, посоветовав не обращать внимания на эти сообщения: «Глупо совершать эти безумные танцы под амери-

канскую дудку... Рекомендую не предпринимать пока никаких действий»[78].

Британский экспорт практически не возмещал ленд-лизовский импорт; соотношение импорта в долларах и экспорта в фунтах составляло примерно сто к одному. Казалось, назревает экономический кризис, но, как отметил известный британский историк Питер Кларк в своей книге The Last Thousand Days of the British Empire («Последняя тысяча дней Британской империи»), проблемы Британии были больше финансовыми, чем экономическими. Согласно Кларку, отсчет этой тысячи дней начинается с весны 1944 года. В стране была полная занятость, фабрики и заводы работали в три смены, но производили оружие и боеприпасы, а не товары, предназначенные для экспорта. Один из вопросов, который рассматривали 1200 международных банкиров на Бреттон-Вудской конференции, состоявшейся в 1944 года в Нью-Хэмпшире, — как Британия выйдет из финансовой пропасти, в которой она окажется в конце войны. Ответ очевиден: на условиях, установленных Америкой. После конференции в Бреттон-Вудсе доллар США стал использоваться в качестве международной платежной и резервной валюты; были установлены твердые обменные курсы валют; государственные долги выплачивались по новым — крайне обременительным для Британии — обменным курсам. Для предотвращения послевоенного валютного кризиса были созданы несколько финансовых институтов, в том числе Международный валютный фонд (МВФ). Государствам по соглашению было дано право проводить девальвацию или ревальвацию своей национальной валюты по предварительному разрешению МВФ. Экономика Америки выходила из войны на подъеме, а британский фунт и Британия к концу войны отошли на второй план. Черчилль не счел нужным упоминать Бреттон-Вудскую конференцию в своих воспоминаниях о войне[79].

Весной Рузвельт созвал предварительное совещание по нефтяной политике, в ходе которого британцы были вынуждены отказаться от политики ограничения производства ближневосточных концессий для сохранения размеров прибыли. Однако, по прогнозу Time, «серьезной проблемой... в послевоенном мире будет не дефицит (нефти), а избыток [и падение цен]»[80].

В начале марта Черчилль получил от Рузвельта короткое письмо, содержавшее необычное предложение в форме меморандума по поводу будущего Ирана, подготовленного для президента генерал-майором Патриком Херли, нефтепромышленником из Оклахомы; он был военным министром при Герберте Гувере, а теперь являлся представителем Рузвельта в Тегеране. В письме Рузвельт высказал предположение, что «потребуется еще тридцать или сорок лет на устранение взяточничества» в Иране и подготовку народа к демократии. В этот период стране «понадобятся опекуны»; в качестве государств-опекунов Рузвельт

предложил Америку, Россию и Великобританию. Опекуны должны были заниматься «воспитанием и образованием» иранцев. Рузвельт, чтобы немного разрядить обстановку, добавил: «Исходя из наших с вами наблюдений, полагаю, можно добавить что-нибудь насчет чистоплотности». Одна фраза была прямым вызовом Черчиллю и Британской империи: «Я не хочу, чтобы Соединенные Штаты приобрели «зону влияния» — и, если уж на то пошло, любая другая страна»[81].

Отчет Херли был посвящен Ирану, но на самом деле его видение вышло за пределы Ближнего Востока. Он написал: «Этот план может стать мерилом отношений Соединенных Штатов с теми государствами, которые сейчас страдают от произвола жадного меньшинства, монополий, агрессии и империализма». И хотя Херли включил Германию в этот пантеон злых империалистов, его настоящей мишенью была Британия. Очевидно, что Франция, Голландия и Бельгия после войны будут слишком слабы, чтобы сохранить империи. Италия уже потеряла свою. Германия потеряет все. Таким образом, осталась Великобритания, которая, чтобы получить поддержку (Америки) в новом порядке, должна «принять принципы свободы и демократии и отказаться от принципов деспотичного империализма». Херли прямо заявил: «Должен сказать, что если империализм мертв, то, похоже, очень неохотно признает это». Он выразил уверенность, что «у англоговорящих народов должна быть единая судьба», однако «сейчас за британский империализм проливают кровь солдаты самой демократичной страны на земле». Требуется изменить эти отношения. Америка «приближается к неразрешимому конфликту между международным империализмом и международной демократией и должна отстаивать свои ценности, в частности «четыре свободы». Херли назвал свою политику «построение государства». Рузвельт не сказал Черчиллю, что Херли имеет долю в американской нефтяной компании Sinclair Oil Company, которая в то время вела переговоры с Ираном о предоставлении концессий[82].

Рузвельт направил предложения Херли на рассмотрение в Государственный департамент. Дин Ачесон, в то время помощник Государственного секретаря, назвал Херли «тщеславным и дерзким», а его план «мессианским глобальным вздором». Услышав это, Херли обвинил Ачесона в приверженности монополии и империализму и антидемократических взглядах. Рузвельт, стравив своих подчиненных, предпочел держаться в стороне от этой некрасивой истории. Хотя Херли покинул правительственную службу в 1945 году, а Ачесон позже был назначен Государственным секретарем, многих в Вашингтоне заинтересовало философское обоснование «построения государства» Херли, и этот интерес не ослабел со временем. Точно так же с тех пор не утихают споры о том, не являлась ли экономическая программа Рузвельта империализмом в другой обертке. Черчиллевская война действительно была империалистической, в том смысле, что он бо-

ролся за *сохранение* Британской империи, используя — с согласия доминионов — свои имперские войска. Он не искал финансовой выгоды, в отличие от Рузвельта. Он не стремился к территориальной экспансии, в отличие от Сталина[83].

Требовалось многое обсудить. Черчилль предложил Рузвельту встретиться в конце марта на Бермудах. Рузвельт, не восстановившийся полностью после Тегерана, отказался. Весь апрель президент рыбачил, читал и отдыхал в Южной Калифорнии, у финансиста Бернарда Баруха, владения которого занимали 23 тысячи акров. Никто, кроме членов кабинета, не знал о его местонахождении[84].

Черчилль только через три месяца ответил на письмо Рузвельта о «построении государства», написав, что заявления Херли произвели на него ошеломляющее впечатление, и добавил: «Осмелюсь, однако, предположить, что британский империализм распространял и продолжает распространять демократию более широко, чем любая другая система правления с незапамятных времен». Черчилль думал о послевоенном *восстановлении* государства, а Рузвельт имел в виду нечто совсем другое[85].

Из всех политических проблем, требовавших внимания Черчилля, самым важным был вопрос польских границ. Поляки проявляли не меньше упрямства, чем Сталин. Колвилл считал, что попытки убедить поляков уступить территории будут сравнимы с предательством чехов в Мюнхене. Оуэн О'Мэлли из министерства иностранных дел придерживался того же мнения и повторил Колвиллу фразу из своего отчета о Катынских убийствах: «То, что непростительно с точки зрения морали, всегда бессмысленно с точки зрения политики». Поляки, со своей стороны, отказывались даже рассматривать возможность территориальной уступки, несмотря на заверения Сталина, что Польша останется свободной и независимой. Затем Сталин заявил, что больше не может обсуждать этот вопрос с Черчиллем, поскольку детали их переписки регулярно просачиваются в британскую прессу. На самом деле утечка информации происходила по вине российского посольства. Сталин усугубил ситуацию, когда разрешил «Правде» напечатать статью, в которой говорилось, что британцы якобы вели с Берлином тайные переговоры о мире, — обвинение, заставившее Черчилля сказать Бруку: «Поддерживать хорошие отношения с коммунистом подобно заигрыванию с крокодилом... Когда он открывает пасть, вы не можете сказать, хочет улыбнуться или пытается съесть вас». К середине марта Черчилль понял, что его попытка добиться польско-советского соглашения провалилась и что вскоре ему придется «сообщить об этом парламенту». «Все это служит плохим предзнаменованием для будущих отношений между нашей страной и СССР», — написал Колвилл в дневнике 18 марта.

Старик говорил друзьям, что не застанет эти отношения, поскольку ему осталось недолго жить. Как-то мартовским вечером он поставил на пластинку на граммофон и под звуки «Марсельезы» сообщил собравшимся, что времени у него осталось немного и он составил политическое завещание на послевоенное время: «Авиация гораздо важнее Индии, колоний и кредитоспособности. Мы живем в мире волков — и *медведей*» (курсив Колвилла). Три дня спустя Старик пожаловался Колвиллу, что этот мир («этот пыльный, ничтожный шар») стал слишком противным: «Люди ведут себя настолько мерзко, что просто не заслуживают жить». Тем не менее он, как обычно, сохранял оптимизм. 1 апреля он написал Рузвельту относительно сталинской воинственности: «У меня ощущение, что брехливая собака лает, но не кусает»[86].

Прошло уже больше двух месяцев с наступления на линии Густава и высадки в Анцио, а обе операции так и не сдвинулись с мертвой точки. 15 марта новозеландцы снова попытались взять штурмом Монте-Кассино, с тем же кровавым результатом, что в феврале. Через десять дней они прекратили штурм. Армия Кларка за два месяца продвинулась всего на несколько миль. Войска, осажденные в Анцио, ничего не добились[87].

Помимо прочего Черчилля беспокоили события на Родном острове. Три раза дополнительные выборы заканчивались неудачно для коалиционного правительства и особенно для тори. В первый раз, в январе, кандидат от Партии всеобщего благосостояния, до этого времени неизвестной (социалистическая партия основана в 1942 году), набрал больше голосов, чем кандидаты от тори и лейбористов. Это был упрек коалиции и предвестник приближающихся событий. Тори с трудом одержали победу на вторых выборах, в традиционном консервативном округе. Это был упрек Черчиллю, который занял жесткую позицию относительно независимого кандидата. Третьи выборы закончились еще более неудачно. В течение 210 лет, за исключением пяти, Западный Дербишир представляли члены семьи Кавендиш, одной из самых богатых семей в Англии. Когда независимый кандидат бросил вызов члену парламента, двадцатишестилетнему Уильяму Джону Роберту Кавендишу, маркизу Хартингтонскому, вмешался Черчилль. Он объяснил избирателям, что выборы крайне важны для правительства и что их «голоса могут продемонстрировать героический характер нашего острова в эти ужасные дни». Избиратели поддержали Кавендиша[88].

Выборы, как и польский вопрос, тревожили Черчилля. Как-то вечером Колвилл застал Черчилля в «пристройке» (здании, под которым располагался подземный штаб). Премьер-министр сидел в кресле и «выглядел постаревшим, утомленным и крайне подавленным». Он пробормотал, что еще одно такое поражение, и придется проводить всеобщие выборы. «Сейчас, — сказал Черчилль, — в преддверии ве-

ликих событий, необходимо национальное единство: речь идет об уничтожении великих государств». Но, добавил он, «похоже, демократии не хватает упорства для преодоления трудностей»[89].

Даже его обожаемый парламент преподнес неприятный сюрприз, когда в конце марта были внесены поправки в новаторский законопроект об образовании, принятый палатой общин с перевесом в один голос. В этих поправках, предложенных Тельмой Казалет, бывшей суфражисткой, членом парламента от консерваторов из Восточного Ислингтона, устанавливалась равная оплата труда для женщин-учителей. Проблема, как ее видел Черчилль, заключалась не в получении женщинами равных зарплат (это произойдет во время его второго премьерства), а в том, что соответствующего пункта не было в подготовленном правительством законопроекте. Таким образом, голосование фактически явилось вотумом недоверия. Черчилль — который сам отстаивал реформы — потребовал, чтобы проблемную поправку удалили и чтобы палата приняла первоначально внесенный правительством законопроект. Гарольд Николсон обвинил в инциденте «идиотизм палаты» и надеялся, что Черчилль отступит. Но Черчилль не отступил, заявив одному члену парламента: «Я не собираюсь метаться по клетке, как раненый кенар. Вы сбили меня с жердочки. Теперь вы должны посадить меня обратно. Иначе я не буду петь». Казалет сняла свою поправку. Палата общин вернула Черчилля на жердочку, обеспечив перевес в 422 голоса (425 за, 23 против). Рузвельт, которому в то же время конгресс дал наложить вето на законопроект о налогах (по мнению президента, этот законопроект помогал жадным, а не бедным), назвал схватку Черчилля с палатой общин «блестящей» и отправил ему телеграмму с поздравлениями, добавив: «Наши успехи были бы не хуже, если бы мы пользовались вашей системой». Колвилл считал, что Черчилль, заострив внимание на этой проблеме, «стрелял из пушки по воробьям»[90].

Конфликт между палатой и премьер-министром был отчасти вызван тем, что Энтони Иден одновременно являлся лидером палаты общин и министром иностранных дел. Одному человеку было не под силу разом выполнять две работы, и к концу марта Иден плохо справлялся с обеими. Иден понимал, что долго так не выдержит; он был на грани срыва. Он поднял разговор об отставки из министерства иностранных дел, но Черчилль ответил: «Придется поработать так, как сейчас, еще несколько месяцев». Когда в начале апреля стало понятно, что Иден болен, Черчилль выразил сочувствие: «Вы — моя правая рука; мы обязаны о вас позаботиться» — и отправил Идена в трехнедельный отпуск. В отсутствие Идена Черчилль взял на себя обязанности министра иностранных дел[91].

Таким образом, во время подготовки к операции в Нормандии Черчилль выступал в роли премьер-министра, министра обороны и

министра иностранных дел одновременно. Выполняя эти функции, он проводил заседания правительства, военного кабинета и начальников штабов и каждую неделю обедал с королем и Эйзенхауэром. Алек Кадоган из министерства иностранных дел, на время оказавшись под началом Черчилля, делал записи в дневнике, во многом похожие на дневниковые записи Брука и Колвилла. 12 апреля Колвилл написал в дневнике: «Поразительно, каким усталым и изможденным выглядит сейчас премьер-министр». Запись Кадогана в тот же день: «Сегодня премьер-министр отвлек меня от работы на три часа для обсуждения вопросов, которые можно было решить за двадцать минут. Как он справляется со своей работой?» Вечером 19 апреля после заседания кабинета Кадоган написал: «Ужасный день... Премьер-министр, похоже, еле держится... Я беспокоюсь за него. Он уже не тот, что год назад, и я действительно не знаю, сможет ли он выдержать такую нагрузку». В тот же день Брук после заседания начальников штабов, которое продолжалось до половины второго ночи, подвел итог: «Премьер-министр усталый, вялый и нерешительный»[92].

Старик устал — остальные с трудом выдерживали заданный им темпа. Он обещал Колвиллу, что будет ложиться в 1:30, но постоянно бодрствовал до трех часов ночи и дольше. В комнате, смежной с залом заседаний палаты общин, поставили кровать, чтобы он мог отдохнуть в перерывах между заседаниями. На его плечах лежал огромный груз, но ему в голову не приходило избавиться от него. Когда 19 апреля Кадоган возвращался домой в восемь вечера с «ужасного» заседания кабинета, Черчилль готовился к заседанию начальников штабов, что Брук назвал столь непродуктивным. Иден был в отпуске по болезни. «Все переутомлены, — написал Алек Кадоган, — но мы должны держаться». Даже молодой, здоровый Джок Колвилл, известный оптимист, временами впадал в мрачное настроение. Все «угрюмые», написал он 14 апреля. «Сейчас, в ожидании надвигающейся борьбы, возможно самой смертельной в истории, люди из разных слоев общества подавлены и охвачены беспокойством. И над всем этим нависла неопределенность дальнейшей политики России в отношении Европы и всего мира»[93].

«Общественное мнение в данный момент неважное, — написал в дневнике Гарольд Николсон, — люди устали от войны». Промышленные рабочие по всей стране выражали свое мнение правительству, голосуя «ногами». Более 200 тысяч шахтеров вышли на забастовку в Уэльсе и Йоркшире. В Шотландии бастовали рабочие текстильной промышленности. В тот год из-за стачек было потеряно в четыре раза больше рабочих дней, чем в 1940 году. Британцы не посещали участки для голосований со времен всеобщих выборов 1935 года. Они были раздражены и измучены. Брэнден Брекен, считая, что впереди их ждут еще большие волнения, предсказал Джоку Колвиллу (как Рузвельт

предсказал в 1941 году Гарриману) «разгромное поражение Консервативной партии на следующих выборах и ее возможный крах, как это произошло с Либеральной партией после Первой мировой войны». Войдя в туалет на железнодорожном вокзале Блэкхита, Николсон увидел на стене надпись: «Уинстон Черчилль — ублюдок». Николсон, пришедший в ярость от этого оскорбления, испугался, что «Уинстон станет нежеланным кандидатом на выборах. Меня тошнит от человеческой натуры. Выйдя в открытое море, мы забываем, как прижимались к кормчему во время шторма»[94].

Кормчий, по своему обыкновению, изучал все моря, ближние и дальние, да так тщательно, что не мог проложить твердый курс. Он увяз в деталях, и дипломатическая почта лежала неразобранной. Он узнал, что американцы перестали красить самолеты с целью уменьшения веса, что увеличило скорость на 20 миль в час. «Пожалуйста, дайте мне знать», — попросил он министерство авиации, если Королевские ВВС предпримут что-то подобное. Когда он увидел в Сент-Джеймсском парке «грязный мешок в дырах, через которые высыпался песок», то требовал, чтобы его убрали. Парк был закрыт для гражданских лиц; в пустом, заброшенном парке можно было изредка увидеть военных, спешивших на секретные совещания, и морскую чернеть, утку, за которой любил наблюдать Брук. Другие детали имели политическую окраску. Черчилль был против предложения министра внутренних дел провести национальный День молитвы за успех операции «Оверлорд». Он написал, что такое мероприятие будет «серьезной ошибкой»: «На мой взгляд, в настоящее время нет необходимости в национальном Дне молитвы или благодарения». Молли Пэнтер-Доунес отметила, как Монтгомери выставлял напоказ свою поездку по стране, призывая «Бога уничтожить врагов союзников, а общественность потратить деньги на облигации военного займа». Черчилль принял к сведению ее замечание и свернул пропагандистское турне Монтгомери. Британцы молились не только о спасении своих сыновей, но и о дожде; жестокая засуха погубила озимые посевы и не сулила ничего хорошего летнему урожаю. Сельские колодцы пересыхали, и деревенские жители выстраивались в длинные очереди за водой. Пэнтер-Доунес написала, что с миллионами солдат, двигающихся по стране, Англия оказалась в положении хозяйки скромного дома, в котором «из-за наплыва гостей в доме не осталось ни крошки»[95].

Отношения Черчилля с военачальниками были такими же бесплодными, как английские деревни. По пятам операции «Халиф», его плана поддержки «Оверлорда» тремя дивизиями, направленными в Бордо, последовали предложения освободить Норвегию и вторгнуться в Эгейский регион, «если «Оверлорд» не принесет успеха» или если немецкие войска «окажутся нам не по зубам». Он считал эти пред-

приятия «обходом с флангов». Но время для обходных маневров прошло. Премьер-министр и Британия взяли на себя обязательства по «Оверлорду». Черчилль не пытался свернуть с этого курса, он просто хотел принять меры предосторожности на тот случай, если немцы перебросят во Францию такое количество танков, что придется отменить вторжение. Эйзенхауэр обдумывал тот же вопрос. Его сын и биограф позже написал, что в феврале и начале марта Эйзенхауэр постоянно поддерживал связь с Маршаллом, обсуждая возможные действия на случай, «если в ближайшие несколько недель немцы предпримут шаги, которые сделают «Оверлорд» неосуществимым». По мнению Эйзенхауэра, единственной возможной альтернативой была операция «Энвил» на юге Франции. Черчилль с Эйзенхауэром прекрасно понимали, что достигнуть определенности по «Оверлорду» удастся, только «когда войска высадятся на побережье Франции». А высадиться они могли только после того, как Объединенный комитет начальников штабов делегирует Эйзенхауэру полномочия делать все, что требуется не только для осуществления, но и для поддержки операции «Оверлорд». Эйзенхауэр получил полномочия в феврале, когда его официально назначили Верховным главнокомандующим всеми союзными войсками, на суше, на море и в воздухе. Черчилль мог проверять и подталкивать Эйзенхауэра, но не имел права требовать[96].

Но это не распространялось на британских военачальников, от которых Черчилль требовал многого. Брук в дневнике отзывался о Черчилле с растущим раздражением. После одного особенно трудного февральского совещания (а они теперь почти все были трудными) Брук подвел итог: «Я часто задаюсь вопросом, это я схожу с ума или он действительно сумасшедший». В другой раз Брук написал: «Еще одного такого совещания я не вынесу». Во время мартовского совещания Черчилль сообщил, что обнаружил новый остров рядом с побережьем Суматры, и предложил направить туда флот. Адмирал Каннингем ответил, что, поскольку в Сингапуре находится японская флотилия, такой маневр «приведет к катастрофе». Об этом совещании Брук написал: «Я начал задумываться, может быть, я попал в Страну чудес или мне действительно пора в сумасшедший дом». И о Черчилле: «Я... начинаю искренне сомневаться в его душевном равновесии... Я не понимаю, от чего мы отталкиваемся и какой будет наша стратегия... Отвратительная ситуация». Запись от 23 марта: «Меня как будто приковали к коляске душевнобольного!!» Диллу в Вашингтон Брук написал: «Я доведен до предела». Брук был не единственным, кто постоянно вступал в конфликт с Черчиллем. Адмирал сэр Эндрю Каннингем в автобиографии A Sailor's Odyssey («Одиссея моряка») выражает те же чувства. Главный маршал авиации Портал тожен испытывал сомнения относительно Черчилля, который, по мнению Портала, не понимал истинного значения военно-воздушных сил. Но Портал

сильно переоценивал эффективность стратегической бомбардировки. Брук был возмущен, когда весной Портал сказал ему, что мог выиграть войну к началу 1944 года, если бы ему «не мешали другие рода войск!!». Обычно Брук приберегал двойные восклицательные знаки для цитат премьер-министра[97].

Специально отобранные записи Брука могут создать впечатление, что премьер-министр вызывал только раздражение и везде совал свой нос, был фикусом-душителем в тщательно возделанном саду военной стратегии Брука. Но дневники Брука — как и остальных — необходимо рассматривать целиком. После одного особенно богатого на споры вечера Черчилль пригласил Брука на ужин. Начальник Имперского Генерального штаба был готов к тому, что его отстранят от должности. «Но наоборот, — написал он, — мы поужинали наедине, и он [Черчилль] был очень мил, словно хотел загладить вину за особо резкие слова, произнесенные днем». Они поговорили о детях и о том, как Черчиллю сложно держать Рэндольфа под контролем. Они обсудили «позицию президента, ставшую неприятной в последнее время». Они говорили об Италии и о недавних немецких воздушных налетах. Обеспокоенный состоянием здоровья Брука, Черчилль посоветовал ему сделать небольшой перерыв, чтобы прийти в себя. Позже в тот день, после заседания начальников штабов, на котором, по словам Брука, Черчилль вел себя «гораздо разумнее», Брук написал в дневнике: «У него удивительно причудливый характер». Не менее удивительно, что Бруку понадобилось три года работать бок о бок с Черчиллем, чтобы прийти к такому заключению. Тринадцать лет спустя Брук — к тому времени лорд Аланбрук — отправил Черчиллю лично подписанный экземпляр опубликованных (сокращенное издание) дневников. Он написал, что его критические замечания были всего лишь способом развить вечером «сиюминутные дневные впечатления». Брук добавил: «Возможность служить вам во время войны было величайшей честью, дарованной мне судьбой»[98].

Несмотря на бурные заседания штаба, не говоря уже о бурном поведении Черчилля, военачальники и Черчилль дополняли друг друга. Черчилль никогда всерьез не рассматривал возможность уволить кого-либо из них, а никто из них всерьез не думал об отставке. В качестве министра обороны он никогда не отвергал их стратегию. По воспоминаниям Энтони Идена, совещания с Черчиллем были «прекрасным, уникальным опытом. Это мог быть монолог, но никогда диктатура». Колвилл, говоря о критике Черчилля со стороны начальников штабов, отмечал, что последние были лишены черчиллевского «воображения и решительности» и не понимали, что именно Черчилль «задавал им направление и указывал цель». Командующие с Черчиллем работали в одной упряжке, черный конь черчиллевской страстности и белые кони хладнокровной рассудительности Брука, Каннингема и Портала[99].

Клементина Черчилль позже сказала о Бруке: «Мы могли бы выиграть войну без Алана Брука, но не думаю, что мы бы одержали победу без Уинстона»[100].

Авторы дневников отмечали, что Черчилль находился «в отличной форме» так же часто, как бывал усталым, небрежным с документами и склонным к разглагольствованиям. Для того чтобы составить правильное представление об этом человеке, необходимо принимать во внимание все аспекты его натуры. Не зря Джон Мартин позже сказал, что он обладал «зигзагообразной молнией в мозгу»[101].

Когда он обратился к соотечественникам 26 марта, молния отсутствовала. Он говорил о послевоенном мире. Он обещал британцам, что после победы будет введена система государственного медицинского страхования, произведен полный капитальный ремонт домов, включая «радикальные перемены в тех районах, за которые нашей цивилизации должно быть стыдно». Трущобы уйдут в прошлое, но не будет предпринято никаких действий, которые могут повлиять на ход войны: перемены наступят, но только после победы. Он объявил, что «лучшая система образования, которую когда-либо предлагало правительство... вскоре будет закреплена законодательно». Это не произвело впечатления на британцев. «Они чувствовали себя так, словно просили хлеб, — написала Молли Пэнтер-Доунес, — а пообещали тысячи сборных типовых домов за скромную арендную плату». Акции сталелитейных компаний сразу выросли после обещания заранее предусмотренного будущего, но «у народа настроение не улучшилось». Гарольд Николсон был огорчен комментариями коллег, которые считали, что Черчилль говорил как «усталый, вздорный старик... В высших слоях общества считали, что все жертвы и страдания приведут к тому, что пролетариат лишит их всех удобств и влияния, а затем переведет страну и империю в группу третьего мира[102].

4 апреля, перед тем как лечь спать, Черчилль признался Колвиллу, что, хотя его беспокоит перспектива открытия второго фронта, он «утвердился» в ней. Под словом «утвердился» Черчилль имел в виду усиление поддержки «Оверлорда». Это слово он использовал месяцем ранее в телеграмме Маршаллу, на которую сослался 18 марта в телеграмме Рузвельту, повторив: «По мере приближения срока я утверждаюсь в «Оверлорде». 1 апреля он снова телеграфировал Рузвельту: «Как вы знаете, я все больше утверждаюсь в нем по мере его приближения. Эйзенхауэр — человек больших возможностей». 7 апреля, в пятницу на Страстной неделе, Монтгомери представил начальникам штабов и Черчиллю окончательный план «Оверлорда». Брук был потрясен и назвал этот день «чудесным». Согласно Бруку, Черчилль — «в плаксивом состоянии» и довольно вялый — сделал всего несколько замечаний[103].

На самом деле доклад Монтгомери уменьшил беспокойство Черчилля по поводу вторжения, поскольку со времени первого совещания в январе усилиями Монтгомери основа «Оверлорда» обросла деталями. Согласно новому плану в первой волне на побережье высадятся шесть дивизий при поддержке с флангов тремя воздушными дивизиями. Через два дня произойдет высадка еще шести дивизий. Монтгомери ознакомил с деталями. Для того чтобы вторжение имело шансы на успех, требовалось наличие четырех природных явлений. Три из них можно было спрогнозировать: приливы и отливы, лунная фаза, промежуток времени между рассветом и восходом солнца. Надо было таким образом согласовать время прилива и отлива, чтобы саперы могли очистить берег от немецких мин. Затем, в следующие три часа прилив обеспечит высадку десанта на побережье. Должна быть луна бомбардировщика — полная или почти полная, чтобы воздушно-десантные войска могли действовать при лунном свете. И наконец, согласно расчетам, оптимальный промежуток времени между рассветом и восходом солнца должен составлять порядка шестидесяти минут, время достаточное для обстрела побережья военно-морскими и военно-воздушными силами, но недостаточное для того, чтобы немцы успели прийти в себя и скоординировали защиту и контратаку. В июне было три дня, которые идеально подходили под заданные условия по всем трем параметрам, — 5-е, 6-е и 7-е. Монтгомери выбрал 5 июня как наиболее подходящее. Но оставалась четвертая природная сила, совершенно непредсказуемая, — погода. В идеале, как сообщил Эйзенхауэр своему помощнику по делам прессы, утро высадки должно быть ясным, с легким ветром, направленным в сторону берега, который сдувал бы пыль и туман в глубь континента, дезориентируя немцев и затрудняя им обзор[104].

Спустя несколько дней после состоявшегося 7 апреля совещания Черчилль отправил Рузвельту телеграмму с кратким отчетом. Он в очередной раз повторил, что поддерживает это предприятие: «Я решительно поддерживаю «Оверлорд». Он сообщил Рузвельту, что выразил Эйзенхауэру и Монтгомери свою «твердую уверенность в успехе... этой необычной, но потрясающей операции». И выразил свое несогласие с «пустой болтовней» по обе стороны Атлантики, предсказывавшей ужасающие потери союзников. Он сказал Рузвельту, что потери понесут немцы. Эйзенхауэру Черчилль сообщил, что, если к ближайшей зиме союзники займут порты на Ла-Манше, Шербур и Париж, он «объявит это величайшей победой современности». Эйзенхауэр ответил, что, согласно «Оверлорду», к зиме союзные войска должны подойти к немецким границам. В конце месяца Черчилль сказал Колвиллу, что в день «Д» он собирается находиться на борту военного корабля Королевского ВМФ в прибрежной зоне и, если получится, «первым ступить на берег — и было бы здорово сделать это раньше Монти»[105].

На следующий день после доклада Монтгомери дискуссии по поводу операции «Энвил» приняли новый тревожный оборот. Десятью днями ранее Джордж Маршалл предложил приостановить операции в Италии, когда десант в Анцио объединится с армией Александера, чтобы перебросить десять дивизий из Италии для поддержки операции «Энвил», которая должна, доказывал Маршалл, последовать за «Оверлордом» 10 июля. Непреклонность американцев в отношении «Энвила» заставила Брука с возмущением написать в дневнике, что «невозможно согласиться» с планом Маршалла «перейти к обороне в Италии. Они не понимают, что сил, имеющихся в нашем распоряжении, недостаточно для двух Средиземноморских фронтов». Эйзенхауэр сказал своему помощнику капитану Бутчеру, что «доволен» решением Маршалла «забыть Рим»[106].

Эйзенхауэр обсудил этот вопрос с британскими начальниками штабов; он доказывал, что целью должна быть немецкая армия, а не вожделенный трофей вроде Рима. На это Брук и британцы возразили, что военной целью является Рим и его захват необходим союзникам, чтобы продолжить наступление на север во Францию или в Триест. К 8 апреля споры по поводу «Энвила» ужесточились. Брук, видевший в «Энвиле» негативные последствия для Итальянской кампании, присоединился к Черчиллю, пытаясь сделать обсуждение более гибким. Рузвельт и Маршалл, со своей стороны, были непоколебимы; они пообещали «Энвил» Сталину в Тегеране, и точка. Не лишен иронии тот факт, что именно тупиковая ситуация на Итальянском фронте заставила задуматься о разумности «Энвила». «Одно было ясно: не будет никакого смысла высаживаться на юге Франции, — позже написал Черчилль, — если мы не сделаем это вовремя... Прежде чем начать операцию «Энвил», надо было захватить Рим». Черчилль срочно отправил Маршаллу телеграмму, в которой возражал против решения отказаться от Рима, но Маршалл ответил, что не намерен менять решение. Джамбо Вильсон посоветовал отказаться от «Энвила», поскольку для осуществления этой операции в Средиземноморье попросту не хватало десантных судов. Американцы предлагали перебросить десантные суда из Тихого океана, но только для «Энвила», тем самым срывая планы британцев относительно любых десантных операций в Эгейском море. Затем они отказались от этой идеи[107].

Адмирал Кинг снова, как в 1942 году, начал ворчать, что военные усилия необходимо направить в Тихоокеанский регион. Эйзенхауэр разыграл эту карту, напомнив Бруку, что республиканцы в Америке хотели выдвинуть Дугласа Макартура в качестве кандидата на пост президента. Макартур, в письмах конгрессмену от Небраски Альберту Миллеру, пренебрежительно отзывался о Новом курсе Рузвельта и высказал мнение, что война в Европе подходит к концу. Письма, которые Миллер раскрыл прессе, заставили британцев призадуматься.

Эйзенхауэр дал понять, что Макартур, став президентом, перенесет все боевые действия в Тихоокеанский регион. Но Брук был неумолим: Итальянскую кампанию следовало поддерживать, а не ослаблять. Маршалл считал Итальянскую кампанию тупиковой и видел в ней только отвлечение ресурсов, необходимых для нанесения удара по Германии через Францию. Черчилль рассматривал Итальянскую кампанию как замену «Энвила». Эйзенхауэр, первой и важнейшей целью которого был успех «Оверлорда», оказался между своими американскими начальниками и британцами. Наконец 19 апреля, после того как генерал Александер объявил о намерении начать наступательную операцию в Италии в середине мая, надеясь объединиться с силами Анцио к началу июня, американцы неохотно признали, что в июле «Энвил» провести не удастся. Эйзенхауэр с Бруком выработали для Объединенного комитета «план», в котором не упоминался «Энвил», а взятие Рима Александером было намечено на весну. Споры об «Энвиле», со всеми их тонкостями и перипетиями, утихли, чтобы в середине июня возобновиться и привести к кризису[108].

На востоке Гитлер возлагал надежды на решительность вермахта и неспособность Красной армии вести боевые действия в суровых зимних условиях, но зима не остановила Красную армию. В феврале русские окружили 50 тысяч немцев в низовьях Днепра. В марте Красная армия пронеслась мимо Одессы, форсировала Днестр на 300-мильном фронте и подошла к Черновцам в Буковине. Русские обошли Крым, окружив находившуюся там немецкую армию. Зимнее наступление Красной армии было настолько впечатляющим, что многие в Лондоне и Вашингтоне рассчитывали на окончание войны до начала лета. Но даже русские не могли игнорировать сезон весенних дождей и грязи — распутицу. В апреле начали стабилизироваться линии фронта от Балтики до юга Украины.

Стабилизация Восточного фронта, позже написал Джон Эйзенхауэр, «разрушила надежды по обе стороны Атлантики, что Германия потерпит поражение до наступления лета». Крайне важное наблюдение, и оно перекликалось с другими тревожными мыслями рядового и сержантского состава, в результате «атмосфера сомнения преобладала на всех уровнях». Наиболее очевидным, написал Эйзенхауэр, было понимание того, что, если война не закончится до наступления лета, придется начинать «Оверлорд». Это, в свою очередь, вызывало сомнения в способности неопытных американских новобранцев противостоять вермахту; разгром у перевала Кассерин, который произошел всего год назад, а в Анцио — часть наследия Кассерина — солдаты все еще находились на побережье. И ко всему этому примешивались сомнения относительно намерений Советского Союза. Перейдет ли Красная армия в наступление, как договаривались, или останется в

стороне, пока англичане и американцы будут сражаться с немцами на востоке? Брук поделился сомнениями с дневником в Тегеране. 8 апреля Эйзенхауэр отправил в Москву телеграмму, сообщив дату вторжения в Нормандию. Кремль не отвечал две недели, за это время сомнения продолжали усиливаться[109].

Всех беспокоил вопрос безоговорочной капитуляции. Эйзенхауэр попросил Рузвельта разрешить ему «уточнить» условия капитуляции, чтобы он мог сбрасывать над Германией пропагандистские листовки, заверяя немцев, что их основные права — религиозные, законодательные, профсоюзные — будут восстановлены. С точки зрения Эйзенхауэра как солдата, капитуляция немцев была куда более предпочтительной, чем битва до последней капли крови. Рузвельт ответил категорическим отказом, заявив своим начальникам штабов: «В данный момент я не хочу говорить, что мы не собираемся уничтожать немецкое государство». Любое «уточнение» условий капитуляции Москва сочтет нарушением договоренности уничтожить Германию, достигнутой в Тегеране. Ради этой цели Сталин готов пожертвовать миллионами русских. Черчилль, как и Эйзенхауэр, считал, что требование безоговорочной капитуляции может привести к ужасающим потерям союзников, но решил не обсуждать этот вопрос с Рузвельтом. О том, насколько Черчилль был раздражен ослаблением влияния на политические и военные вопросы, свидетельствуют слова, сказанные им Кадогану в середине апреля: «Эту битву («Оверлорд») нам навязали русские и американские военачальники». Это так и было, как и то, что он все больше «утверждался» в отношении операции[110].

В апреле, когда силы вторжения проводили учения на побережье Англии и в сельской местности, военно-воздушные силы союзников приступили к осуществлению плана Эйзенхауэра, известного как план «транспортных бомбардировок», который заключался в бомбардировке французских сортировочных железнодорожных станций, мостов и тунеля, который вел в Нормандию, чтобы отрезать немецкие войска и лишить их мобильности. Для уничтожения была намечена почти сотня объектов и несколько десятков в Кале, чтобы направить немцев по ложному следу. В перечень объектов добавили более 120 немецких радиолокационных станций. Позже Эйзенхауэр написал, что Черчилль боялся, что в ходе бомбардировок погибнет более 80 тысяч французов. Черчилль действительно беспокоился и сообщил Рузвельту в апрельской телеграмме, что они с членами военного кабинета опасаются, что «кровопролитные бои во Франции» приведут к потере 80 тысяч человек, включая 20 тысяч убитыми; оценка в конечном счете оказалась верной. Черчилль уверял, что это будет второй Оран, устроенное союзниками кровопролитие, но намного более масштабное. Стратегия, которая настроит французов против союзников. Опасения Черчилля относительно негодования французов все же не оправдались.

Среди самих французов не было единодушия по этому вопросу. Некоторые лидеры Сопротивления говорили правительству Великобритании, что бомбардировка вызовет сильное недовольство французов, однако генерал-майор Пьер Кениг, командующий французскими силами в Британии, сказал Эйзенхауэру, что французы готовы будут смириться с вдвое большим количеством жертв, если это поможет им избавить страну от ненавистных немцев. Военный кабинет просил Эйзенхауэра ограничиться теми мишенями, удар по которым приведет не более чем к ста жертвам среди французов. Эйзенхауэр отказался на том основании, что эти ограничения «ослабят» стратегию. Он заверил Черчилля, что перед появлением бомбардировщиков в сельской местности будут сброшены тысячи листовок с предупреждением о налете. Это не удовлетворило Черчилля, он решил действовать через голову Эйзенхауэра и попросил Рузвельта оказать влияние на своего генерала. Рузвельт ответил Черчиллю, что, «как ни прискорбны» потери среди французов, он «не готов с такого большого расстояния накладывать какие-либо ограничения на военные действия опытных командующих, которые считают, что эти ограничения могут помешать успеху «Оверлорда» или привести к еще большим жертвам среди союзников». Ответ президента продемонстрировал серьезные изменения в отношениях двух лидеров. И хотя Черчилль находился на своем месте, в Лондоне, в центре планирования и осуществления операций, его мнение больше не имело для Рузвельта такого веса, как раньше. С этого момента последнее слово в подобных вопросах будет за Рузвельтом[111].

Немецкая радиопередача, перехваченная в мае, подтвердила эффективность стратегии Эйзенхауэра: «Налеты в течение последних недель стали причиной систематических нарушений движения по всем главным железнодорожным магистралям; береговая оборона отрезана от баз снабжения внутри страны»[112].

С началом мая наступила самая чудесная погода за последние несколько лет. Алек Кадоган, проведя несколько дней в своем загородном доме в Нортиаме, написал: «Отцвели желтые нарциссы, остались только поздноцветущие белые. Спирея аргута напоминает очертаниями маленьких снеговиков. Лакфиоль покрывает землю теплым покрывалом с золотым и бронзовым орнаментом. Старое грушевое дерево в цвету... Распускается сирень... Еще один великолепный летний день». «Неземная» красота! Однако, отметил он, не помешал бы дождь. Для Черчилля новый месяц начался с «мрачных предчувствий» относительно дальнейшего поведения России. «Никогда не любил май», — сообщил он Джоку Колвиллу, который тут же вспомнил одну из первых фраз, сказанных ему премьер-министром четыре года назад: «Будь я первым днем мая, я бы стыдился самого себя». Но май 1944 года стал доказывать, что достоин похвалы[113].

11 мая Александер перешел в наступление на линию Густава. С учетом отложенного «Энвила», союзники надеялись, что это наступление оттянет немцев из Нормандии. Так и случилось; в Италии теперь находилось 25 немецких дивизий, более того, Германия направила дивизии на Балканы, ожидая наступления союзников на север в направлении Вены. 15 мая, после четырех дней подготовительных ударов, в бой за Монте-Кассино вступил Канадский корпус. 15 мая две польские дивизии нанесли решающий удар по монастырю. Вдоль линии Густава двадцать дивизий союзников сражались против семи дивизий немецкой 10-й. Благодаря численному перевесу, а также превосходству артиллерии и воздушных сил союзники начали одерживать верх над немцами. Кессельринг приказал срочно направить ему подкрепление из Анцио.

Но было слишком поздно. Окончательный разгром немцев под Монте-Кассино произошел 18 мая. После заградительного огня артиллерии и штурма Польского 2-го корпуса вершины были взяты. В то прекрасное весеннее утро польские солдаты, потеряв менее 4 тысяч убитыми и ранеными, захватили монастырь, вернее, развалины монастыря. Ночью немцы сбежали. Армия, пустившаяся в погоню, была одной из самых многонациональных в истории. В рядах имперской армии были британцы, канадцы, новозеландцы, южноафриканцы, индийцы, цейлонцы, свазийцы, маврикийцы, жители Карибских островов и Ньюфаундленда. В состав американской армии входила дивизия американских негров и полк американцев японского происхождения. В союзнической армии были итальянцы, французы, поляки, марокканцы, алжирцы, сенегальцы и тунисцы. 18 мая более 32 тысяч человек — включая немцев — лежали в земле неподалеку от горного пристанища Святого Бенедикта. Но дорога на Рим, шоссе № 6, была открыта. Учитывая, что Кессельринг отозвал войска из Анцио, пришло время войскам союзников совершить прорыв, и в случае успеха немецкая 10-я армия, сейчас отступающая на север от линии Густава, была бы отрезана. 23 мая союзные войска наконец вырвались с побережье, где в течение четырех месяцев находились под обстрелом. Три дня спустя они соединились с 5-й армией Кларка и направились к Риму[114].

Когда Итальянская кампания вернулась к жизни, в Лондоне прошло совещание, которое в ближайшие годы вызвало больший резонанс, чем кровавая битва за Монте-Кассино. В ноябре прошлого года в лондонской прессе появились сообщения о том, что датский физик Нильс Бор, обладатель Нобелевской премии, сбежал в Лондон из оккупированной немцами Дании через Стокгольм. На самом деле британские военно-воздушные силы тайно вывезли его в тесном бомбовом отсеке самолета с подходящим названием «Москито» («Комар»),

где он потерял сознание от недостатка кислорода. В Лондоне ученый общался с разными крупными деятелями, включая Алека Кадогана, который восторгался в своем дневнике: «Бор. Что за человек! Он говорил... $^3/_4$ часа о том, о чем я не имею ни малейшего представления». Вскоре после этого Бор исчез. Его забрали в Соединенные Штаты, в Лос-Аламос, в качестве официального британского консультанта по проекту Tube Alloys («Трубные сплавы»); это означало, что он принял участие в работе над Манхэттенским проектом. Он привез с собой немецкие чертежи ураново-тяжеловодного реактора, разрывная сила которого, если его построить, будет иметь тот же разрушительный эффект, что у обычных бомб[115].

Исходя из этого, американцы должны были сделать вывод, что если целью немцев было создание атомной бомбы, то они двигались в неправильном направлении. Но генерал Лесли Гровс, руководитель Манхэттенского проекта, считал, что чертежи попали к Бору не случайно, а чтобы пустить союзников по ложному следу. Бор считал, что лос-аламосские разработки могут стать либо величайшим проклятием для человечества — если бомбу создадут и в дальнейшем используют страны, которые сейчас не участвуют в программе, — или величайшим благом, если сделают войну немыслимой. Это был свежий и необычный взгляд, Черчилль и Рузвельт еще не рассматривали вопрос с такой точки зрения. Черчилль считал атомную бомбу просто более мощным оружием, чем все созданное до сих пор, оружием, которое можно будет использовать для достижения стратегических целей. В конце концов, именно в этом заключалась функция любого оружия. Бор видел более существенные последствия[116].

Авторитет Бора был настолько велик, что его пригласили на встречу с Франклином Рузвельтом, которому Бор посоветовал проводить ядерные исследования совместно с русскими, чтобы сохранить доверие между союзниками. Бор считал, что удержание русских в неведении приведет к потере доверия, возможно, союза и может стать причиной разрушительных последствий в послевоенное время, наиболее вероятное из которых гонка ядерных вооружений, поскольку рано или поздно русские создадут свою бомбу. Ученый смог оценить глобальное политическое значение создания ядерного оружия, в то время как политики видели только его непосредственное значение для военных действий. В марте Рузвельт отправил Бора обратно в Лондон, сказав, что любое предложение по поводу увеличения ядерной группы должно быть одобрено Черчиллем согласно заключенному в прошлом году Квебекскому соглашению. Бор предпринял попытку добиться согласия Черчилля. Сэр Джон Андерсон направил Черчиллю докладную с кратким изложением взглядов Бора и с предложением о встрече. Черчилль наложил резолюцию: «сотрудничать» и «ни в коем случае». Шли недели. 16 мая, после того как лорд Р.В. Джонс убедил лорда Червел-

ла, черчиллевского советника по науке, в необходимости этой встречи, Бора наконец вызвали в «номер 10» в сопровождении Червелла[117].

Встреча прошла неудачно. Бор, который не раз говорил Р.В. Джонсу, что формулировки бывают либо ясными, либо точными, на этот раз предпочел точность. В итоге его речь вышла такой длинной и запутанной, что Черчилль решил, будто он мутит воду и хочет выдать британские секреты русским. «Черчилль действительно вообразил, что он русский агент», — позже написал Р.В. Джонс. Черчилль повторил, что считает атомную бомбу более мощной, чем остальные, и что у него и его друга Франклина Рузвельта все под контролем. И выпроводил Бора. Р.В. Джонс, ждавший Бора, спросил, как прошел разговор. «Ужасно! — ответил великий ученый. — Он нас отчитал, словно двух школьников!»[118]

На той же неделе Червелл рассказал начальникам штабов об N-спорах — возбудителях сибирской язвы и бактериологическом оружии, гораздо более смертоносном, чем иприт, который применялся во время Первой мировой. Черчилль сообщил Исмею: «Как вы знаете, мы далеко продвинулись в разработке бактериологического оружия и заказали полмиллиона бомб из Америки, чтобы применить их в том случае, если подобного рода оружие будет использовано против нас». Червелл подробно рассказал о поражающем действии отравляющих веществ: жертвы внезапно спокойно умирали через неделю после заражения. Всего шесть бомбардировщиков могли сбросить «отравляющие вещества», которые уничтожат все живое на площади в квадратную милю. Черчилль рассчитывал, что это станет сдерживающим фактором на случай, если Гитлер решит подвергнуть воздействию газа войска на побережье Нормандии. Войска вторжения не будут обеспечены противогазами. Если против них применят отравляющий газ, Черчилль собирался применить отравляющие вещества против населения Германии. С мая 1940 года он неоднократно обещал своей стране, членам семьи и всему миру, что Великобритания никогда первой не станет использовать химическое оружие. Но сейчас, в связи с приближающимся освобождением Европейского континента, он настойчиво предлагал военачальникам применить против Германии химическое оружие, если это поможет приблизить конец войны. Это потрясло министерство иностранных дел, вспоминал Энтони Хэд, который по требованию Черчилля подготовил план мероприятий на случай использования отравляющих веществ. «Один из сотрудников министерства иностранных дел хотел включить пункт, что подобная политика противоречит моральным принципам. Другими словами, использование отравляющего газа — грязный ход, и мы все это понимаем». По поводу автора пункта, в котором были изложены возражения против использования химического оружия, Черчилль написал на докладной: «Умоляю, скажите, что за псалмисты-пораженцы составляли этот документ?»[119]

К середине мая все в Великобритании — 2,8 миллиона солдат союзников и 47 миллионов британцев — знали, что приближается грандиозное событие. Почти пятьсот американских военных корреспондентов пришли к этому выводу, когда им предложили написать доверенности и завещания. Британцы были в курсе, поскольку буквально на каждом перекрестке стояли ополченцы, проверявшие документы у гражданских и регулируя нескончаемые потоки джипов и грузовиков. В конце месяца гражданским лицам было запрещено выезжать в Ирландию. Военные базы были закрыты. Правительство, по настоянию Эйзенхауэра, месяцем раньше запретило любую дипломатическую связь посольств с родными странами, включая шифровки и тайную агентуру, — за исключением Соединенных Штатов, Польши и СССР. Иностранным дипломатам был запрещен въезд и выезд из страны. Гражданским был закрыт доступ к прибрежной полосе шириной 10 миль, от Ферта-оф-Форт до Лендс-Энда. Все торговые суда были задействованы в подготовке к вторжению. Порты были заполнены судами разных видов, сотнями деталей искусственных гаваней, тысячами рабочих, собиравших секции гаваней, после чего их затапливали, чтобы скрыть от немецких разведывательных самолетов. На железнодорожных станциях объявляли, что расписание движения поездов может меняться без объявления и что часть маршрутов и поездов будут недоступны для гражданских лиц, тоже без предупреждения. Так и было.

Прекратилась доставка молока и писем, поскольку молочники и почтальоны были призваны в ряды ополчения. Замерла торговля; с рынков исчезла свежая рыба, из подвалов — уголь, из пабов — пиво. Молли Пэнтер-Доунес написала, что если Верховное командование всеми этими перебросками войск хотело сбить с толку немцев, то местных жителей точно сумело запутать. Жители деревень, в которых вечером разместились американские солдаты, утром обнаружили, что американцы исчезли, а их сменили канадцы, которых затем сменили британцы. В Лондоне крупные вокзалы заполняли только солдаты, их жены и подруги. «Женщины, провожая мужчин, почти всегда доходили до самого конца платформы, неестественно улыбаясь и махая рукой на прощание, когда поезд трогался с места, — написала Молли Пэнтер-Доунес. — Иногда казалось, что они толпились на самом краю Англии»[120].

По ту сторону Ла-Манша земля вздрагивала от бомб, которые союзники сбрасывали на Францию, и доносившийся глухой стук напоминал отдаленные раскаты грома, с той лишающей спокойствия разницей, что сотрясение, вызванное мощным взрывом, распространялось со скоростью звука и могло в радиусе 40 миль вызвать дрожь воды в стакане и в животе человека.

Французы ничего не знали, но де Голль о многом догадывался. 15 мая в Алжире де Голль в одностороннем порядке провозгласил

Французский комитет национального освобождения временным правительством Франции, а себя главой правительства. Он объявил, что Третья республика не прекратила существование, а была лишь временно заменена незаконным режимом Виши. Рузвельт, испытывавший, по словам Идена, «абсурдную, мелочную неприязнь к де Голлю», по-прежнему мечтал избавиться от него. Иден считал это «глупостью» и настоятельно советовал Черчиллю не брать пример с Рузвельта. Хотя Черчилль последовал совету Идена, он был согласен с Рузвельтом, что не стоит рассказывать де Голлю об «Оверлорде» до тех пор, пока не будет осуществлена высадка[121].

В понедельник 15 мая те немногие в Лондоне, кто знал точную дату и время начала операции, собрались на заключительное совещание в штабе Монтгомери в школе Святого Павла. Присутствовали Эйзенхауэр, командующие экспедиционными силами, военный кабинет в полном составе, король Георг, британские начальники штабов, десятки американских генералов, Ян Смэтс и Уинстон Черчилль. Не было ни одного представителя французской стороны, несмотря на то что Эйзенхауэр собирался высадить французскую 1-ю армию в Марселе в развитие успеха «Оверлорда». После совещания Черчилль опять, как 7 апреля, сказал несколько ободряющих слов. Бутчер вспоминал, что в своем «пылком выступлении» он заявил, что «такие человеческие качества, как храбрость, изобретательность и упорство, намного важнее боевой техники». Эйзенхауэра особенно поразило, когда Черчилль заявил: «Господа, у меня укрепляется уверенность в отношении этого предприятия». Эйзенхауэр понял это так, что Черчилль, который «долгое время сомневался в его осуществимости и ранее выступал за дальнейшую отсрочку в пользу проведения операций в других местах, теперь, на последней стадии приготовлений, наконец стал верить вместе со всеми нами, что это единственно правильный курс действий для достижения победы». Эйзенхауэр написал эти слова через три года после окончания войны в мемуарах Crusade in Europe («Крестовый поход в Европу»). С тех пор эти слова преследуют Черчилля. Британский историк Макс Гастингс приводит слова Эйзенхауэра в книге Winston's War («Война Уинстона»), когда пишет, что Черчилль считал «Оверлорд» «одним из возможных вариантов, и не более»[122].

На самом деле и то и другое было правдой. Черчилль поначалу считал, что для основного плана «Оверлорду» недостает законченности, и успешно доказал необходимость доработки раннего, слабого варианта плана. На войне любой план представляет собой только одну из возможностей, которую следует внимательно изучить, продумать и откорректировать, пока она не будет использована или забыта. Позже Эйзенхауэр написал, что в его обязанности входила разработка запасных вариантов на случай, если «Оверлорд» окажется «практически нецелесообразным» или если стратегические цели изменятся настоль-

ко, что операция потеряет смысл. Во время войны всегда следует иметь несколько вариантов; наличие одного варианта — не вариант. В течение пяти недель с начала марта, когда Эйзенхауэр с Монтгомери отрабатывали мельчайшие детали плана, Черчилль отправлял Маршаллу и Рузвельту те самые телеграммы, в которых сообщал о «крепнущей уверенности» в «Оверлорде». К 15 мая он уже окончательно поверил в необходимость осуществления этой операции. 8 мая, за неделю до заключительного совещания, за ужином с Эйзенхауэром Черчилль склонился над столом и произнес со слезами на глазах: «Я с тобой до конца». Эйзенхауэр не упомянул об этом случае в своих мемуарах. Дэвид Эйзенхауэр в своей книге Eisenhower at War («Эйзенхауэр на войне»), выпущенной в 1986 году, не говорит о столь сильном неприятии «Оверлорда» со стороны Черчилля, как его дед в своих воспоминаниях. Младший Эйзенхауэр отмечает, как в течение трех лет менялось отношение Черчилля к операциям по ту сторону Ла-Манша, начиная с «Кувалды» и «Раундапа» и заканчивая «Оверлордом»[123].

Черчилль был не одинок в своих сомнениях по поводу «Оверлорда». Главный маршал авиации Ли-Мэллори поделился с Эйзенхауэром серьезными сомнениями по поводу разумности американских авиадесантных атак. Сложный рельеф, не подходящий как для парашютистов, так и для планеристов. Немецким зенитным батареям выпадет счастливая возможность целиться в медленно двигающиеся транспортные самолеты, которые фактически превратятся в огненные ловушки. Он предвидел «бессмысленное истребление» десантников и вероятный провал высадки на побережье «Юта» на полуострове Котантен, что, в свою очередь, приведет к крушению всего предприятия. Выслушав Ли-Мэллори, Эйзенхауэр, никого не подключая, досконально изучил проблему. В итоге он все же решил осуществить воздушно-десантную операцию. Однако поручил Ли-Мэллори изложить сомнения в письменном виде, чтобы в случае, если его зловещие предсказания сбудутся, маршал авиации избежал обвинений. В случае неудачи Эйзенхауэр собирался взять ответственность на себя[124].

Черчилль часто выражал беспокойство излишне эмоционально, со слезами на глазах, и поэтому мог показаться нерешительным или слабым. Но волновались все участники; с их стороны было бы глупостью не испытывать беспокойства, а глупыми они не были. Монтгомери ждал, что немцы направят против десанта танки и дивизии механизированной пехоты через несколько часов после высадки. Его логика была проста. Обман, достигнутый с помощью операции «Телохранитель», потеряет смысл, как только десант окажется на берегу, и немцы, наконец узнав правду, отреагируют быстро, мощно и яростно. Эйзенхауэр, обеспокоенный тем, что немцы бросят на побережье огромные силы, попросил Черчилля продлить запрет на дипломати-

ческую связь еще на некоторое время после дня «Д», чтобы заставить немцев поверить, будто настоящее вторжение еще впереди. Его логика была проста: если немцы не поверят, что высадка десанта была отвлекающим маневром, то с самого начала операция окажется под угрозой срыва[125].

Спустя годы Эйзенхауэр в своих мемуарах подчеркнул, насколько ужасными могли быть последствия провала «Оверлорда». Это мог написать и Черчилль. «Две страны вкладывают все силы и ресурсы в эту операцию, чтобы в дальнейшем развернуть боевые действия в Западной Европе. Неудача в операции «Оверлорд» привела бы к последствиям почти роковым. Такая катастрофа могла означать полное перебазирование на другие театры военных действий всех американских сил, сосредоточенных в Соединенном Королевстве, и в то же время явилась бы таким тяжелым ударом по моральному духу союзников и их решимости, что последствия даже не поддаются учету. И наконец, такое поражение оказало бы очень серьезное влияние на обстановку на Восточном фронте, и можно было не без оснований предположить, что если Россия будет считать своих союзников совершенно беспомощными и неспособными предпринять что-либо значительное в Европе, то она может пойти на сепаратный мир». Именно об этом говорил Черчилль с того самого момента, когда впервые увидел предварительные — и не отвечающие требованиям — планы «Оверлорда» в августе прошлого года[126].

С начала года группа армий «Б» под командованием Эрвина Роммеля пыталась перекрыть доступ к северо-западному побережью Франции. Роммель не мог знать о задержке планов союзников, вызванных январскими предложениями Монтгомери, но понимал, что американцы и англичане перейдут в наступление если не в мае, то в июне. Он приказал построить защитный барьер длиной около 400 миль — Гитлер назвал его Атлантическим валом — от Бретани на запад через полуостров Котантен и далее через Нормандию, устье Сены до Па-де-Кале. Роммель считал, что союзники вряд ли попытаются высадиться на Котантене, где немцам достаточно перекрыть узкий перешеек, шириной 70 миль, и захватчики окажутся в ловушке. Бретань тоже была подобной смертельной ловушкой. Даже если бы союзники нашли способ высадиться на негостеприимном побережье Бретани, они обнаружили, что порты Брест, Лорьян и Сен-Назер хорошо укреплены и ощетинились жерлами орудий. В случае высадки дальше к югу союзники лишились бы поддержки «Спитфайров», которая имела решающее значение для операции. Высадившись в Бретани, союзные войска оказались бы ближе к Пиренеям, чем к Парижу. В устье Сены слишком высокие приливы; меловые скалы Пеи-де-Ко слишком высокие; они снижались у Дьепа, битва за который в 1942 году наглядно продемонстрировала не-

разумность попытки напрямую штурмовать укрепленный порт. Таким образом, оставались Нормандия и Кале[127].

Фельдмаршал Герд фон Рундштедт в целом согласился с оценкой Роммеля, но склонялся к тому, что целью союзников станет Па-де-Кале, поскольку это был самый прямой и короткий путь из Англии во Францию. Там размещались девятнадцать дивизий немецкой 15-й армии, и в штабе союзников полагали, что эти силы будут использованы для нанесения контрудара в Нормандии, когда там высадятся войска. Таким образом, союзники приступили к осуществлению операции по передаче ложных радиосообщений. Немецкая разведка перехватывала огромное количество радиосообщений между бесчисленными подразделениями союзников на юго-востоке Великобритании. Сообщения были такими же ложными, как отправлявшие их подразделения, все в рамках операции «Стойкость», которая отчасти была нацелена на то, чтобы удержать немецкую 15-ю армию в Кале. Хотя фон Рундштедт и Роммель пришли к единому мнению относительно места вторжения, но расходились во мнениях по поводу того, как наилучшим образом встретить захватчика, когда он появится. Вдобавок к оборонительным сооружениям, насыщенным артиллерией и пехотой, в распоряжении немцев на северо-западе Франции было шесть танковых дивизий. Роммель, апостол танковой войны в 1940 году, теперь стал отступником. Он хотел окопаться на побережье и вести оборонительный бой, который, однако, допускал маневрирование и своевременное разворачивание резервов, то есть повторить успешные действия Монтгомери во время первого нападения Роммеля на Эль-Аламейн в 1943 году.

Для этого, настаивал Роммель, на побережье необходимо разместить шесть танковых дивизий — более 1100 танков и самоходных орудий. Фон Рундштедт предпочитал оставить танки в резерве до тех пор, пока он не перейдет в решающую контратаку после того, как союзники раскроют свои карты. Он рассуждал просто: благодаря блестящим танковым маневрам вермахт разгромил в 1940 году французов и британские экспедиционные силы и мог повторить это снова. Фон Рундштедт хотел сохранить маневренность. Но Роммель хотел, чтобы танки находились под его командованием, поскольку теперь, в отличие от 1940 года, союзные войска контролировали небо, о чем свидетельствовало непрекращающееся уничтожение железнодорожных путей и дорог, которые требовались фон Рундштедту для проведения контратаки танковыми частями. Споры продолжались до апреля[128].

Благодаря «Ультра» союзники были в курсе практически всех сообщений, которыми обменивались Роммель, фон Рундштедт и Берлин. Черчилль читал их вскоре после того, как они были отправлены. Гитлер, который изначально поддерживал стратегию Роммеля (и предсказывал, что целью союзников станет Нормандия), наконец принял

решение, которое поставило в затруднительное положения и Роммеля, и фон Рундштедта. С соломоновой мудростью фюрер поделил танки между Роммелем и ОКВ — Верховным командованием вермахта. Фон Рундштедт не имел права распоряжаться танками. Позже Гитлер приказал, чтобы все танки под командованием ОКВ использовались только с его разрешения. Всего три из шести танковых дивизий были размещены к югу от Сены, и всего одна оказалась под непосредственным командованием Роммеля у побережья Нормандии. Решение Гитлера сослужило плохую службу и ему самому, и Роммелю с фон Рундштедтом, зато устроило союзников. Это было, «пожалуй, самое важное из всех решений, касавшихся союзников и операции «Оверлорд», — написал Ф.У. Уинтерботем в книге The Ultra Secret*[129].

Но Уинтерботем забыл сказать, что британцы зачастую не знали наверняка, не являлись ли дешифровки «Ультра» такой же фальшивкой, как сообщения союзников в рамках операции «Стойкость». Хитрости разведки напоминали зеркальный лабиринт. Почти все агенты SOE, которых британцы засылали в Бельгию и Голландию, были схвачены немцами, заставлявшими их передавать в Лондон ложную информацию. Как и немецкие шпионы, заброшенные или тайком пробравшиеся в Великобританию во время войны, которых схватили и поставили перед выбором: стать двойным агентом или быть повешенным. Почти все предпочитали сотрудничать и участвовали в операции «Телохранитель», передавая фальшивые разведданные в Берлин. Читая их отчеты, Гитлер все больше верил в то, что целью союзников будет Кале, а не Нормандия, тем более что эта информация подтверждалась радиопередачами операции «Стойкость» (от фальшивых подразделений союзников). А может, Гитлер только притворялся, что поверил в высадку в Кале? В начале весны британцы три раза перехватывали сообщения, из которых было ясно, что Гитлер считал целью союзников Нормандию. Так что же было правдой? Союзники могли узнать это только после высадки. Тогда, и только тогда по расположению немецких танков и войск станет ясно, что считал Гитлер[130].

Всю весну Роммель просил Берлин прислать больше колючей проволоки, бетона и солдат. Перехваченные сообщения подтвердили опасения Черчилля, что Роммель хочет сконцентрировать свои войска на побережье и вблизи побережья, чтобы бросить все имевшиеся в его распоряжении силы против всех сил союзников, на манер сражений Первой мировой войны. Но больше всего Черчилль (и Брук) боялся повторения Соммы или Пашендейла. У Монтгомери было иное мнение на этот счет. Он был уверен, что Роммель никогда не станет отсиживаться за укреплениями, ожидая, пока представится возможность

* В 1978 году вышла в издательстве «Воениздат» в переводе П.Видуэцкого под названием «Операция «Ультра».

для «мощного наступления», скорее он с самого начала будет атаковать и изматывать союзников. Однако, если Роммель собрал достаточно мощную силу, он планировал не «беспокоящие действия», а «стремительную атаку». Когда «Ультра» подтвердила план Роммеля собрать танковые резервы и перебросить их на побережье, опасения Черчилля подтвердились. Если Роммель сможет удерживать первые три или четыре волны захватчиков до появления на сцене большего количества танков (и 15-й армии из Кале), он выиграет сражение. Во Франции и в Нидерландах у Гитлера было шестьдесят дивизий; разумная стратегия требовала бросить против захватчиков все возможные резервы[131].

Как обычно, свою роль должна была сыграть случайность, будь то искажение информации, недопонимание или погода. Черчилль в своих размышлениях о стратегии и частых заявлениях о воле случая в ходе войны был в целом согласен с Клаузевицем, считавшим, что на войне большую роль играет случай. «Война есть область риска. Ни в одной сфере человеческой деятельности не остается столько места для этого незваного гостя. Он увеличивает неопределенность каждого обстоятельства и нарушает ход событий». Клаузевиц полагал, что для успешного ведения войны необходимо найти равновесие между благоразумием и безрассудством и что для успеха требуется интуиция и планирование. Но самое главное, необходимы политические и военные лидеры, которые это понимают. Клаузевиц был не прусским роботом, а сложным человеком и глубоким философом. Лиддел Гарт, ведущий британский военный теоретик в годы между войнами, не придавал особого значения Клаузевицу. Многие британские военные, считавшие, что едва ли многому можно научиться у пруссака, обвиняли Клаузевица в кровопролитии траншейной войны 1915 года. Получается, что давно умерший Клаузевиц каким-то образом приказывал британским генералам, зачастую не отличавшимся большим умом, таким образом вести Первую мировую войну, чтобы она превратилась в кровопролитную. Британские политические лидеры традиционно мало интересовались практическими аспектами войны и обычно оставляли планирование и ведение боевых действий адмиралам и генералам. Но не Черчилль. Как опытный солдат, который обладал, позже написал Исмей, «энциклопедическими» знаниями в области военной истории, Черчилль во многом пришел к тем же выводам, что и Клаузевиц, — сбить с толку противника; добавить в военные действия творческие и уникальные элементы; контролировать события на поле боя. Исмей вспоминал, что в военном деле Черчилль «чтил традиции, но высмеивал условности»[132].

Клаузевиц советовал составлять простые планы и применять простую тактику, поскольку они меньше подвержены путанице. Он советовал атаковать только важные объекты превосходящими силами и

не ставить чрезмерно амбициозных целей. «Оверлорд» был каким угодно, то только не простым, и очень амбициозным. Что касается превосходства в силе, то об этом можно было судить только после высадки на побережье. Тем временем день битвы — 5 июня — был совсем близко[133].

3 июня, в солнечный прохладный день, Эйзенхауэр собрал командующих и метеорологов в Саутвик-Хаус, где располагался штаб военно-морских сил. Начальник метеорологической службы, полковник авиации Джон Стэгг, который накануне сказал, что в ближайшие несколько дней будет умеренный ветер, теперь сообщил, что 4 и 5 июня ожидается штормовой ветер, сильное волнение и низкая облачность. Из Северной Атлантики движутся циклоны в сторону Англии и Франции. Союзники ежечасно отслеживали барометрические показатели вплоть до Исландии и Гренландии, и было ясно, что к 5 июня ничего хорошего ожидать не приходится. У немцев не было доступа к метеорологическим данным удаленных рубежей Северной Атлантики, и из-за недостатка информации они вскоре пропустят неожиданный удар. На совещании, которое началось в 21:30, когда небо было попрежнему ясным, Стэгг подтвердил свой прогноз. Эйзенхауэр опросил своих командующих, и все единогласно решили, что вторжение следует начать на день раньше. Заключительное совещание назначили на 4 июня на 4:30 утра, то есть через восемь часов. Часть огромной оперативной группы вторжения была уже в море; в гаванях ждали корабли, заполненные солдатами. На совещании в 4:30 утра Эйзенхауэр спросил у Стэгга, не предвидится ли изменений прогноза. Стэгг ответил отрицательно. На вопрос, когда фронт приблизится к Ла-Маншу, он ответил, что это произойдет через четыре или пять часов. Эйзенхауэр отдал приказ отложить операцию.

К десяти утра ветер усилился и тучи затянули небо. Через час было объявлено штормовое предупреждение на Ла-Манше. Из-за шторма вторжение перенесли на 5 июня. Осталось 6, возможно, 7 июня, но только если погода прояснится. К тому моменту солдаты будут находиться на борту транспортов почти четверо суток. Перенос операции на более поздние сроки разрушит всю логистическую структуру, не говоря уже о боевом духе солдат и лидеров в Лондоне, Вашингтоне и, особенно, в Москве. Сталин может решить, что на самом деле союзники не собирались открывать второй фронт. Двух-трехнедельная задержка позволит Роммелю еще лучше укрепить позиции. Откладывая высадку, союзники ничего не выигрывали, но многое могли потерять. Для обсуждения положения Эйзенхауэр назначил еще одно совещание в тот день, на 21:30[134].

В это время Черчилль находился в вагоне личного поезда, стоявшего на запасных путях в Портсмуте. Брук, как всегда пессимистично

настроенный, написал в дневнике: «Уинстон... бродит по Портсмуту и всем надоедает». Премьер-министр назвал поезд своим «головным штабом». Иден нашел название абсурдным, учитывая, что в поезде было очень тесно, там был всего один телефон и одна ванная комната: «Господин Черчилль, похоже, всегда в ванной, а генерал Исмей всегда на телефоне»[135].

Премьер-министр сел в поезд 2 июня с намерением подняться на борт британского крейсера в Портсмуте, чтобы наблюдать за высадкой солдат в Нормандии из переднего ряда. Он попросил генерала Рамсея сделать все необходимые приготовления, но не поставил в известность Брука, прекрасно зная, что тот будет категорически против подобной авантюры. Несколькими днями ранее Эйзенхауэр, узнав о затее Черчилля, потребовал, чтобы премьер-министр от нее отказался. Но Черчилль стоял на своем, ссылаясь на то, что является министром обороны и имеет полное право отправляться куда пожелает, если этого требуют его должностные обязанности. Эйзенхауэр считал, что присутствие Черчилля на корабле не только опасно, но и станет отвлекающим фактором, и обратился за поддержкой к королю Георгу. Король за три дня отправил Черчиллю три письма, умоляя передумать. Но Черчилль уступил, только когда король намекнул, что тоже присоединится к сражению, — в конце концов, он раньше служил на флоте и был ветераном Ютландского сражения. В своих мемуарах Черчилль подчеркнул, что уступил из уважения к своему королю, а не к Эйзенхауэру.

После того как все успокоилось и Черчилль остался в поезде, ожидая развития событий, на него обрушилась новая буря: Шарль де Голль. Военный кабинет настоял на том, чтобы француза уведомили хотя бы о дате начала вторжения; поступить иначе означало нанести оскорбление Франции. 3 июня Черчилль отправил свой York в Алжир за генералом, несколькими его адъютантами и Даффом Купером. После ночного перелета они приземлились в аэропорту Нортхолта на рассвете 4 июня, когда ухудшилась погода на Ла-Манше[136].

В Портсмуте Черчилль, Эрнест Бевин, Ян Смэтс и Исмей ожидали де Голля в железнодорожном тупике. Вскоре он появился, шагая по рельсам в сопровождении Даффа Купера, Энтони Идена и Пьера Вьено, посла де Голля при британском правительстве. Черчилль, предчувствуя, что встреча войдет в историю, вышел вперед, распахнув объятия, а де Голль, в кепи и униформе цвета хаки, неподвижно стоял, наблюдая за ним. Что касается жеста Черчилля, то Иден позже написал: «К сожалению, де Голль не отозвался на душевный порыв». Эта сцена выглядела так, словно приземистый человек пытался обнять телефонный столб. Присутствие Смэтса явно было некстати; в радиообращении он объявил, что Франция никогда не сможет восстановить прежнее влияние в Европе, а такого оскорбления французы простить не могли (несмотря на то что Смэтс предсказал, что Британская им-

перия закончит войну на последнем издыхании). Переговоры в железнодорожном вагоне начались неплохо. Черчилль обрисовал детали военной операции, а де Голль, который в первую очередь был военным, внимательно слушал, задавал вопросы и, похоже, был доволен. Затем Черчилль перешел к вопросу гражданской власти во Франции и сказал, что де Голлю необходимо получить разрешение Рузвельта на ведение гражданских дел. Де Голль резко оборвал Черчилля. «Почему вы считаете, — прорычал он, — что я должен представлять на рассмотрение Рузвельту свою кандидатуру на должность в правительстве Франции?» Французское правительство существует, и это неоспоримый факт, заявил де Голль, и он его возглавляет, и дело с концом. Черчилль ответил в том же духе: «Я хочу, чтобы вы знали, генерал, что каждый раз, когда приходится выбирать между Европой и открытым морем, мы выбираем море... Между вами и Рузвельтом я всегда выберу Рузвельта». Бевин возразил, сказав де Голлю, что так думают не все в британском правительстве. Иден тоже попытался сгладить острые углы, но безуспешно. «Встреча провалилась», — написал он[137].

Франклин Рузвельт провел выходные 3 и 4 июня в гостях у Эдвина «Папы» Уотсона в доме в горах Голубого хребта*.

Он читал «Книгу общих молитв»** в поисках подходящих слов для молитвы в день вторжения.

5 июня он собирался выступить по радио с обращением, не упоминая, конечно, событий на Ла-Манше. Он скорее хотел поздравить Александера и Марка Кларка с освобождением Рима — «символа христианства», которое произошло 4 июня. Ненужная победа, как позже написал сэр Джон Киган. Рим был объявлен открытым городом. Кларк должен был обойти его, продолжая преследовать отступающих немцев, которых 5-я армия могла затем окружить и взять в плен, а 8-я армия генерала Оливера Лиза — обойти с правого фланга и отрезать путь к отступлению. Таким был план Александера, основанный на принципе Клаузевица, который разделяли он, Эйзенхауэр и Черчилль: захватывать армии, а не территории. Но Кларк, с подозрением относившийся к британской тактике и желавший заработать славу, которую считал своей по праву, вместо этого направился прямо в Рим, упустив шанс окружить немцев. Армии Кессельринга начали отступать с боями до Готской линии в Апеннинах — союзники называли ее линией Пиза—Римини, — где немцы успешно препятствовали

* Голубой хребет — цепь горных хребтов и массивов на востоке США, вдоль юго-восточной окраины Аппалачей.

** Книга общественного богослужения, или Книга общих молитв, — короткое название нескольких взаимосвязанных теологических документов церквей Англиканского сообщества.

наступлению союзников на Балканы вплоть до последних недель войны. В течение восьми недель после взятия Рима семь дивизий (четыре французских и три американских) из Средиземноморской армии Джамбо Вильсона были переброшены для участия в операции «Энвил», по настоянию Рузвельта и Маршалла и вопреки неодобрению Черчилля. Кларк получил желанную славу, ненадолго оказавшись на первых полосах газет, но события в Нормандии 6 июня стерли Рим из коллективной памяти британцев, канадцев и американцев[138].

Дождь, стучавший в окна штаб-квартиры Эйзенхауэра в Портсмуте во время вечернего метеорологического совещания 4 июня, служил доказательством профессионализма полковника авиации Стэгга. Над Ла-Маншем бушевал шторм. Попытка высадиться 5 июня оказалась бы гибельной. На следующий день, похоже, тоже нельзя было строить планы. Затем Стэгг сделал прогноз, который Эйзенхауэр назвал «удивительным»: 5 июня в конце дня наступит благоприятная погода благодаря антициклону, который, вклинившись между циклонами, продлится примерно тридцать шесть часов. Это позволяло надеяться на благоприятные условия 6 июня, но существовала вероятность, что первая высадка пройдет в подходящих условиях, а следующие высадки придется отменить, если начнется шторм и первые войска окажутся в ловушке на побережье. Эйзенхауэр спросил Стэгга, какую погоду следует ожидать в течение ближайших 24 часов. «Если я отвечу на этот вопрос, то буду гадалкой, а не метеорологом», — сказал Стэгг. После некоторых размышлений Эйзенхауэр объявил, что наступление начнется после того, как будет принято окончательное решение на совещании в 4:00 утра 5 июня, то есть через семь часов. Когда они собрались на рассвете 5 июня, Стэгг подтвердил прогноз: ожидается перемена погоды. Эйзенхауэр задал командующим следующие вопросы: сможет корабельная артиллерия обнаружить цели? Смогут транспорты обнаружить зону выброски парашютистов? Смогут десантные суда подойти к берегу? Все командующие ответили утвердительно. «Что ж, — сказал Эйзенхауэр, — мы готовы»[139].

Позже в то утро, посетив британских солдат, находившихся на десантных судах, Эйзенхауэр сыграл партию в шашки с Бутчером; игра закончилась вничью. Вечером 5 июня Дуайт Эйзенхауэр набросал от руки на всякий случай текст радиосообщения: «Наша высадка... не удалась. И я отвел войска. Мое решение осуществить нападение в данное время и в данном месте основывалось на самых лучших расчетах. Солдаты, авиация и моряки проявили себя самоотверженно и до конца исполнили свой воинский долг. Вся вина за неуспех операции лежит целиком и полностью на мне»[140].

Черчилль, которому король Георг не дал возможности принять участие в боевых действиях, вернулся на поезде в Лондон. Прибли-

жался вечер 5 июня, и Черчилль отправил Сталину телеграмму, в которой сообщил, что вторжение начнется завтра утром. Сталин в это время обедал с Милованом Джиласом, югославским писателем и третьим человеком в команде Тито. Когда ему передали телеграмму Черчилля, Сталин обратился к Джиласу со словами: «Да, вторжение начнется, если не будет тумана. До этого им всегда что-то мешало. Думаю, завтра еще что-нибудь случится. Может быть, они встретятся с немцами»[141].

В тот день вечером фельдмаршал фон Рундштедт обедал с близкими друзьями в штаб-квартире в Сен-Жермене. Благодаря дезинформации операции «Стойкость» он был уверен, что вторжение на западе произойдет в Па-де-Кале, одновременно с летним наступлением русских. Поскольку на Восточном фронте на той неделе было затишье, не ожидалось активности и на западе. Чуть позже девяти ему сообщили, что по Би-би-си только что прозвучала вторая строка из стихотворения Поля Верлена «Зов неотвязный, сердце мне ранят...». Немецкой разведке уже несколько недель было известно значение этой строки. Фон Рундштедт решил, что это розыгрыш. «Кто поверит, что враг настолько глуп, чтобы объявлять о своем приближении по радио?», — воскликнул он, обращаясь к гостям. Через какое-то время он ушел спать[142].

Эрвин Роммель сказал своему начальству, что в первый день решится судьба рейха. Этот день, сказал он, будет Der langste Tag («самый длинный день»). Вечером 5 июня Роммеля не было в Нормандии, поскольку накануне утром, изучив последние прогнозы погоды, сулившие сильные ветры, высокие волны и дождь, Роммель решил, что по крайней мере в ближайшие несколько дней не следует ожидать вторжения союзников. Успокоенный бушевавшим на Ла-Манше штормом, он отправился в Баварию отмечать день рождения жены. Роммель не знал о предстоящем коротком прояснении погоды, поскольку его метеорологи не могли заглядывать в отдаленные западные уголки Атлантики, в отличие от метеорологов Эйзенхауэра.

В тот вечер Брук написал в дневнике: «У меня нехорошее предчувствие насчет этой операции. В лучшем случае она не оправдает ожиданий, в худшем может стать самым страшным поражением за всю войну. Молю Бога, чтобы она благополучно завершилась»[143].

В тот вечер Черчилль ужинал с Клементиной в «пристройке»; с января они только в четвертый раз ужинали вдвоем. После ужина он спустился в кабинет картографии, чтобы оценить последние данные о текущем положении дел. Перед тем как уйти спать, Клементина зашла в кабинет картографии — она крайне редко наведывалась во владения планировщиков и картографов. Черчилль спросил: «Ты осознаешь, что к тому времени, когда ты проснешься завтра утром, 20 тысяч человек, возможно, уже будут убиты?» Немцев он не принял в расчет.

Он понимал, что, если его оценка потерь союзников окажется верной, войска потерпят поражение на побережье. Подобные заявления были в его характере. В течение двух лет он утверждал, что катастрофическое поражение на побережье Франции — «единственный способ для нас проиграть войну». Теперь этот момент приближался. Черчилль еще ненадолго задержался в комнате картографии, а затем отправился спать, как раз в тот время, когда над Нормандией были сброшены первые парашютно-десантные войска[144].

Уже немного осталось до полуночи, 6 июня.

За первые несколько часов при полной луне бомбардировочная авиация сбросила более 5 тысяч тонн бомб на береговые батареи и ближайшие железнодорожные пути, самый большой тоннаж бомб, сброшенных за одну ночь в этой войне. Чтобы отвлечь Германию от происходящего в Нормандии, несколькими днями ранее двойник Монтгомери вместе со «штабом» был отправлен на Гибралтар с приказом дать знать о своем присутствии, чтобы немцы решили, что Монтгомери (в Берлине знали, что он руководит операцией вторжения) нет в стране, а значит, в ближайшее время вторжения не ожидается*.

Другая обманная операция, на этот раз воздушная, была проведена 6 июня в районе Па-де-Кале, когда британские самолеты сбрасывали ленты из фольги, а затем разворачивались и занимали место в хвосте небольшой воздушной армады. Картина, которую создавала фольга для радара, заставляла немцев думать, что там *что-то* есть. Затем следующая авиационная эскадрилья сбрасывала фольгу приблизительно на расстоянии мили от первой и тоже возвращалась в хвост. Следом появлялась первая эскадрилья, сбрасывала фольгу на милю ближе к Кале — так они медленно пересекали Канал, и «картинка» на немецких радарах фиксировала якобы медленно приближающуюся морскую флотилию. Тем временем две эскадрильи британских бомбардировщиков, оснащенные приборами для создания радиолокационных помех, пролетели над Нормандией, ослепив находившихся там операторов радиолокационных станций. К 2:00 немцы уже не могли «видеть» того, что к ним приближалось[145].

А приближалась к ним армада союзников, разделенная на два широких потока, которые, в свою очередь, делились на пять меньших потоков — по одному на каждый намеченный участок побережья. Флот под командованием адмирала сэра Бертрана Рамсея состоял из почти 7 тысяч судов, включая 1200 боевых кораблей (четыре пятых из

* Операция едва не сорвалась, когда «Монтгомери» заметили «расхаживающим по Гибралтару в полупьяном состоянии и дымящим, словно паровоз, огромными сигарами». Настоящий Монтгомери — трезвенник и некурящий — всерьез обиделся на своего двойника (*Butcher H.* My Three Years with Eisenhower. P. 549, 583).

них Королевского военно-морского флота), 700 буксиров и минных тральщиков, 800 больших транспортных кораблей, многие тянули за собой секции искусственных гаваней. В 10 милях от берега на борту более 4200 десантных кораблей и барж более 132 тысяч молодых британцев, канадцев и американцев, из 21-й группы армий под командованием Бернарда Монтгомери ждали команды высаживаться на побережье. Вскоре после рассвета, когда десантные транспорты еще не пристали к берегу, семь линкоров, два десятка крейсеров и сотня истребителей обрушили на побережье тысячи снарядов. В эти же дни четыре года назад адмирал Рамсей провел эвакуацию 337 тысяч британских и французских солдат из Дюнкерка. Отступление длилось девять дней под непрерывным обстрелом люфтваффе. В 1940 году отступавшая армия бросила в Дюнкерке все имущество — танки, оружие, грузовики. Сегодня Рамсей собирался высадить свою армию на берег за девять часов, со всем имуществом — тысячами грузовиков, бронированных автомобилей, полевых орудий, танков, бульдозеров и джипов[146].

Британская 2-я армия генерал-лейтенанта сэра Майлза должна была высадить одну канадскую и две британские дивизии на три участка — «Суорд», «Джуно» и «Голд» — на побережье, протянувшееся на 60 миль к востоку от Кана и реки Орн, где британской 6-й воздушной дивизии численностью 8 тысяч человек было поручено захватить ключевые мосты. Затем начинался скалистый участок длиной 11 миль, за ним два американских участка, где должны были высадиться три дивизии американской 1-й армии под командованием Омара Брэдли. Первый участок, «Омаха», протянулся почти на 20 миль к западу от восточной окраины Пор-ан-Бессен, который через десять недель станет конечной точкой подводного нефтепровода «Плутон». Стояла задача захватить порт, не причинив разрушений. И наконец, самый западный участок «Юта», длиной 3 мили. Этот участок располагался ближе всего к Шербуру. Позже Эйзенхауэр написал, что «быстрый и полный успех на плацдарме «Юта» являлся предпосылкой к реальному успеху всей кампании». Болота, пересеченные несколькими насыпными дорогами, тянулись от «Юты» до Шербура. Вскоре после полуночи, чтобы сохранить эти дороги, 15 тысяч американских десантников из 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий спустились на планерах и парашютах. Парашютистов сбросили с 850 транспортных самолетов С-47 на полезащитные полосы и поля близ деревень Сент-Мер-Эглиз, Сент-Мари-дю-Мон и Сен-Ком-дю-Мон. Их требовалось захватить, чтобы закрепиться на перешейке полуострова Котантен. Многие самолеты С-47s промахивались мимо зоны высадки на целые мили, сбрасывая парашютистов в море или на болота, где они навсегда исчезали, погрузившись в трясину под тяжестью снаряжения[147].

Когда вскоре после рассвета линкоры прекратили огонь, в дело вступили истребители. Рискованная часть операции, поскольку в бункерах за плацдармами немцы разместили длинноствольные пушки — 155- и 177-миллиметровые — имевшие большую дальность стрельбы. Самая мощная бомбардировка в истории достигла апогея, когда открыли огонь несколько транспортов с танками, превращенные в пусковые платформы; каждая могла произвести залп из 1100 3-дюймовых ракет, каждый залп эквивалентен одновременному залпу 100 крейсеров. Яркие красные и желтые вспышки, разрывавшие небо, и дрожь земли от взрывов, которая ощущалась даже на борту кораблей, давали неверное представление об эффективности атаки: несмотря на все эти вспышки и грохот, погибло мало немцев, поскольку они укрывались бетонных бункерах глубоко под землей за береговым откосом. Когда истребители, закончив работу, развернулись в направлении моря, на сцену вышли американские бомбардировщики B-17s, которые должны были нанести завершающий удар по береговым укреплениям. Но в условиях слабой освещенности и легкого тумана большинство летчиков промахнулись мимо целей и сбросили бомбы на территорию, удаленную от моря.

Вскоре на побережье высадилась первая волна пехоты, примерно по взводу с каждого десантного судна. Маленькие суда подходили по очереди, прошивая море сотнями длинных серых кильватерных струй. За ними лениво нарезали круги более крупные десантные суда, ожидавшие своей очереди. Смрадные серо-голубые клубы дизельных выхлопов покрывали волны, достигавшие 3 футов в высоту, — сочетание, гарантированно вызывавшее рвоту у людей на борту. Каждому солдату при погрузке на корабль выдавали бумагу для записей, пачку сигарет и небольшой сверток, в котором было семь пластинок жевательной резинки, бритва, жевательный табак, инсектицид, двенадцать таблеток от морской болезни и два пакета на случай тошноты. У таблеток от морской болезни был неприятный побочный эффект в виде вялости и апатии. Моряки, которые об этом знали, отказывались принимать их; солдаты, которые все же принимали таблетки, вскоре об этом жалели. Но пакеты в то утро использовались по назначению[148].

Во вторую волну в бой должны были вступить саперы для обезвреживания оставшихся мин, наводчики для управления огнем с моря и с воздуха и бульдозеристы для расчистки дороги через дюны. Но все эти планы зависели от того, сможет ли первая волна удержать плацдарм, пока саперы будут расчищать путь для высадки следующих волн. Когда первая волна приблизилась к берегу, союзники прекратили обстрел; истребители не визжали над головой, бомбардировщики не жужжали в вышине. В Британии 7 тысяч тяжелых бомбардировщиков и 5 тысяч «Спитфайров» и P-51B «Мустангов» ожидали дальнейших указаний. Немецкий 3-й воздушный флот, находивший-

ся на побережье Нормандии, в тот день состоял всего из 169 самолетов[149].

Немецкие артиллеристы, не зная, вернутся или нет союзнические бомбардировщики, рискнули выглянуть из огневых сооружений, земляных бункеров и окопов, расположенных на береговых откосах. С недоверием вглядываясь в начавший рассеиваться дым и клубы бетонной пыли, они наблюдали за приближением десантных судов, а за флотилией видели армаду, простирающуюся до горизонта во всех направлениях — дальше в море, к востоку и западу от берега. Тысячи заградительных аэростатов покачивались над кораблями. Многие немцы наблюдали эту картину в абсолютной тишине — их барабанные перепонки лопнули от залпов. Хотя они не были готовы к тому, что увидели, Эрвин Роммель хорошо подготовил их к обороне. Более 11 миллионов мин было зарыто на побережье, в дюнах и установлено под водой вокруг противотанковых препятствий. Сотни миль проволочных заграждений опоясывали волноломы, тянулись по гребням дюн, по песку, вдоль противотанковых канав. Даже если бы их на берегу не ждали немцы, мины и колючая проволока привели бы к огромным потерям. Но немцы ждали, и сейчас они находились в полной боевой готовности в ожидании приказа открыть огонь. Разница во времени наступления прилива вдоль всего фронта привела к тому, что час «Эйч» на разных плацдармах наступал в разное время. На участке «Омаха» он наступил в 6:30 утра[150].

Кроваво-красное солнце взошло над полями и фермами Нормандии. Яблоневые сады были в цвету. Несколько томительных минут на Западном фронте было тихо.

Затем, когда десантные суда направились к берегу, боевые корабли снова открыли огонь, теперь обрушив снаряды в глубь территории. На участке «Омаха», где американцы рассчитывали встретить один — два батальона численностью не более 1500 человек («Ультра» давала сбои), их ждали 7 тысяч солдат закаленной в боях 352-й дивизии, которые открыли огонь из пулеметов, минометов и 88-миллиметровых зенитных пушек по предварительно пристрелянной береговой зоне. Плавающие танки направились к берегу — из 29 в «Омахе» 22 затонули вместе с экипажем, а пять были взорваны. Саперы и пехота пробирались вброд, плыли и выползали на берег под смертоносным огнем. Эрни Пайл наблюдал за этим с корабля, стоявшего на расстоянии от «Омахи». Из-за бюрократической неразберихи он не смог выбраться на берег с первой волной. Он мог только дожидаться своей очереди, что он и делал, играя в кункен под песню Бинга Кросби Sweet Leilani. Пайлу вся эта сцена казалась нелепой. Солдаты читали журнал Life, в то время как корабль содрогался от падавших рядом снарядов. Они слушали репортаж по Би-би-си, в которых им рассказывали, как «война проходит перед нашими глазами». На корабле было сухо, теп-

ло, был свежезаваренный кофе. «Но, — написал Пайл, — на берегу было совсем иначе. О да, на берегу было совсем иначе»[151].

Джок Колвилл, получивший двухмесячный отпуск в «номере 10», чтобы принять участие в войне, двумя неделями раньше вернулся в свою 168-ю эскадрилью 2-й тактической воздушной армии. Он пролетел над побережьем Нормандии на «Мустанге» вскоре после того, как на берег сошел первый солдат. Из-за низкой облачности летчики не поднимались выше 2 тысяч футов, то есть летали достаточно низко, чтобы различить отдельные корабли союзников и их «большие орудия, изрыгающие дым и пламя», поскольку они продолжали вести заградительный огонь. В то же время они летели достаточно низко, чтобы подвергнуться опасности. Колвилл столкнулся с капризами войны, когда — «один шанс на миллион» — 15-дюймовый снаряд британского корабля Warspite попал в один из самолетов его эскадрильи. Самолет с пилотом просто исчезли[152].

6 июня вскоре после 6:30 утра Эрвину Роммелю сообщили по телефону из ОКВ: войска союзников высадились на побережье Нормандии. Как и в Эль-Аламейне, Роммель оказался вдали от своего штаба в тот час, когда его присутствие было жизненно необходимо. Он обратился к ОКВ с просьбой немедленно направить к месту высадки две танковые дивизии. Ему ответили, что такие решения может принимать только Гитлер и что фюреру доложат, когда он проснется. Фюрер, как обычно, работал до утра и сейчас спал. Никто не осмелился разбудить его. В итоге Гитлер созвал штабное совещание только в два часа дня[153].

Роммель основывал защиту на тактических принципах Первой мировой войны — позиционная оборона, бункеры, туннели, траншеи, колючая проволока, мины, концентрированный огонь. Но если во время Первой мировой войны британцы всегда могли укрыться в своих траншеях после неудачного маневра, то сейчас им было некуда отступать. Проснувшись в восемь утра, Черчилль спустился в комнату картографии, чтобы изучить позиции союзников. Линии на картах медленно перемещались в глубь континента — сотня ярдов тут, полмили там. Новости с британских и канадских плацдармов были хорошими, как и с самого западного американского плацдарма — «Юты», где во время высадки погибло меньше 200 человек из 21 тысячи. Танки прошли по насыпям и установили контакт с воздушно-десантными подразделениями. Но в «Омахе» шел кровавый ближний бой. Там, будто нарочно подтверждая страхи Брука и Черчилля, сражение напоминало Сомму и Пашендейл больше, чем какую-либо битву Второй мировой войны.

В полдень, довольный тем, что вторжение сразу не захлебнулось, Черчилль прибыл в палату общин. Там все знали, что Рим взят, и ожидали, что Черчилль будет говорить именно об этом. Он действи-

тельно произнес длинную речь, рассказав всю историю Итальянской кампании, от Сицилии до Рима. Потом сделал паузу. «Я также хочу сообщить палате, что в течение ночи и раннего утра состоялась первая из серии высадок на Европейский континент». Палата пришла в возбуждение. Черчилль продолжал: «Пока занятые в операции командующие докладывают, что все идет по плану. И какой план! Эта огромная операция, бесспорно, самая сложная и трудная из всех, которые когда-либо проводились». Позже в тот день он отправил телеграмму Сталину с таким же текстом. Итак, всего за тридцать часов был взят Рим и преодолен Атлантический вал. И невезение или враг пока не смогли внести беспорядок на поле боя. Британцы, отброшенные четыре года назад из Франции, вернулись[154].

К тому времени погибло почти 2500 американцев и 500 британцев и канадцев, а более 6 тысяч были ранены. Американцы понесли огромнейшие потери на «Омахе», но вскоре после полудня они захватили плацдарм. Во время речи Черчилля в палате общин более полумиллиона человек в двадцати южных английских портах и в бесчисленных маленьких гаванях и бухтах готовились погрузиться на корабли для отправки в Нормандию. 4-я бронетанковая дивизия Паттона проводила учения на Солсберийской равнине, ожидая своей очереди. Более сотни буксиров готовились перевезти через пролив две искусственные гавани «Малберри» — железобетонные конструкции общим весом 1,5 миллиона тонн. Черчилль впервые описал в общих чертах это чудо техники в записке Ллойду Джорджу в 1917 году и еще раз в 1940 году. Каждая искусственная гавань могла ежедневно принимать более 10 тысяч тонн ресурсов, этого хватало на то, чтобы прокормить и вооружить 25 дивизий. Солдаты уже высадились на берег, а ресурсы для них были в пути. Тем не менее у Черчилля было достаточно поводов для сомнений, и он позже в тот вечер вернулся в палату, чтобы предупредить, что доклады с побережья «не указывают на то, каким будет ход битвы в ближайшие дни и недели, поскольку враг, вероятно, стремится сосредоточить силы в этой области, и тогда в скором времени начнутся тяжелые бои, которым не будет видно конца, поскольку, по мере того как мы будем теснить его в глубь страны, враг сможет подтягивать новые силы. Следовательно, сейчас начинается очень важный период. Слава богу, мы вступаем в него с нашими великими союзниками, сильные духом и крепкие дружбой»[155].

Неделями английские фермеры ждали, когда наконец пойдет дождь, который спасет их урожай. Но когда начался дождь, они уже надеялись на ясную погоду «ради своих сыновей, сражающихся по ту сторону Ла-Манша в небе и на суше», как написала Молли Пэнтер-Доунес. Вечером поезда с первыми ранеными побежали по сельской Англии, мимо цветущих полей и лугов, Женщины, которые несколько недель назад махали рукой вслед поездам, увозившим их мужчин

на войну, теперь стояли у железнодорожных переездов, держа корзины с продуктами, и смотрели, как мимо проносятся поезда. «Они не знают, махать, радоваться или плакать, — написала Пэнтер-Доунес. — Иногда они делают все это одновременно»[156].

Теперь второй фронт стал необратимой реальностью. Германия никогда не побеждала в войне на два фронта. На самом деле в Италии Гитлер столкнулся с третьим фронтом. Если бы он должным образом развернул резервы или перебросил силы с Западного фронта, чтобы избавиться от угрозы на востоке, он бы вскоре обнаружил, что снова сражается на одном фронте. Команда из Блетчли и Черчилль — и солдаты на побережье Нормандии — ждали, что предпримет фюрер.

Согласно «Оверлорду» американцы должны были в первые несколько недель высадить на побережье тринадцать дивизий, а британцы и канадцы двенадцать. К началу августа 21 из 37 дивизий во Франции были американскими. Разница в численности (и потерях) англичан и американцев могла только увеличиваться, и это породило другую необратимую реальность. Медленно, но верно командование войной переходило от британцев к американцам, а главенствующая роль в мире от Лондона к Вашингтону. Рузвельт, который неоднократно давал понять Черчиллю, что его не интересуют сферы влияния, тем временем создавал самую крупную сферу влияния в мире. Действительно, американская сфера влияния вышла далеко за пределы Северной и Южной Америки (по утверждению Джеймса Монро) и должна была охватить весь Тихоокеанский регион после того, как будут разбиты японцы, а это ожидалось в обозримом будущем. В 1942 году Австралия выбрала Америку, а не Лондон в качестве партнера, с которым она готова встретить будущее. Филиппины, очищенные от японцев, останутся в сфере интересов Америки. Черчилль не жаловался, что Рузвельт стремится усилить Америку, и в любом случае не мог воспрепятствовать этому. Его больше беспокоила потенциальная советская гегемония в восточной части Европы.

Победа над Гитлером была теперь — почти — гарантирована, как и вероятность послевоенной трагедии в Восточной Европе. Черчилль и британцы могли оставаться хозяевами своей души, но не хозяевами своей судьбы. Было ясно, что война в Европе будет вестись на условиях Эйзенхауэра и Жукова, условия мира будут определять Америка и Россия, если, конечно, Америка захочет участвовать в делах послевоенной Европы. Но Черчилль понимал с момента получения февральской телеграммы Рузвельта, что президент хочет при первой удобной возможности покинуть Европу. Черчилль не знал, что в марте Рузвельт заявил Государственному департаменту, что не хочет поддерживать порядок во Франции, Бельгии и Италии, где он предвидит хаос, а также на Балканах, которые уже погрузились в состояние ха-

оса. Более того, чтобы американские войска были как можно дальше от всех этих неприятностей, он поручил Государственному департаменту настоять на том, чтобы американская оккупационная зона находилась в северо-западной части Германии, поскольку из портов Северного моря проще отправить солдат домой, если где-нибудь в Европе опять начнутся проблемы. В записке Эдварду Стеттиниусу Рузвельт честно признался, что «политическая обстановка в Соединенных Штата делает мое решение окончательным». В конце мая президент отправил Черчиллю телеграмму, в которой суммировал свои указания Государственному департаменту. Затем, за четыре дня до дня «Д», Рузвельт еще раз напомнил Черчиллю свою позицию. Цитируя февральскую телеграмму, Рузвельт сказал: «Я не хочу поддерживать порядок во Франции, Италии и на Балканах. Для этого есть политические причины, как вам хорошо известно». Это был год выборов[157].

За пределами Европы британцы больше не были хозяевами судеб сотен миллионов людей по всей империи. Это стало ясно со всей очевидностью в начале июня, когда Черчилль получил от Рузвельта ответ на свою отчаянную просьбу об отправке продовольствия, чтобы облегчить «мучительный голод в Бенгалии». Более 700 тысяч бенгальцев умерли с начала 1943 года, во многом из-за того, что в руках японцев оказалась Бирма вместе с запасами риса. Черчилль сообщил Рузвельту, что хотя в его распоряжении есть 350 тысяч тонн австралийской пшеницы, но нет кораблей, чтобы доставить ее по месту назначения. Не мог бы президент предоставить корабли? После более чем четырехнедельного молчания Рузвельт отказал, принеся извинения. Он сослался на то, что такое «отвлечение ресурсов» негативно скажется на военных операциях. Черчилль, король Георг и Лондон практически ничем не могли помочь бенгальцам. По меньшей мере, еще миллион человек погиб от голода в ближайшие двенадцать месяцев[158].

Эдмунд Берк написал, что империи погибают по ряду причин, включая неспособность управлять совершенно разными народами в отдаленных землях. Черчилль обладал достаточной волей, чтобы спасти империю его величества и обеспечить мир в Европе, но у него не было такой возможности. Несмотря на ужасающие потери, которые понесли британцы с 1939 года, несмотря на все их жертвы и нежелание сдаваться, когда они сражались в одиночку, мир, когда он наступит, сможет нарушить Сталин. Учитывая доминирующее влияние американцев, решение о сдерживании воинственного Сталина больше не зависело от Лондона. Как бы то ни было, но теперь оно зависело от Вашингтона. И Франклин Рузвельт только что выразил свою позицию по этому вопросу.

В 1944 году в политический лексикон вошло новое слово: «сверхдержава». И те, кто его придумали и ввели в обращение, не имели в виду Британскую империю.

Глава 6

ЯКОРНАЯ СТОЯНКА

Июнь 1944 — май 1945 года

Небольшое количество немецких подводных лодок еще охотились в Атлантическом океане, но не могли похвастаться добычей. Морские пути в Британию надежно охранялись, ничто не могло остановить поток американских солдат и поставок. Британцы, канадцы и американцы были на побережье Нормандии. В Британии базировались 7 тысяч американских и британских тяжелых бомбардировщиков, Александер приближался к долине реки По в Северной Италии, русские готовились нанести удар на востоке; было ясно, что Германия проиграла войну. Но союзники ее еще не выиграли. Хотя некоторые, включая президента Рузвельта, считали, что победа совсем близко.

За неделю до дня «Д» Рузвельт сбросил «бомбу большого калибра» на вашингтонских репортеров. Он довольно небрежно обрисовал свой «проект» послевоенного устройства мира. Пресса впервые услышала о планах по созданию Всемирного совета, предложение, которое Рузвельт сделал в Тегеране в ноябре прошлого года. Рузвельт не вдавался в подробности, оставив и изоляционистов, и интернационалистов несколько озадаченными. Тем не менее он подчеркнул, что в любом случае не будет нарушена «целостность» Соединенных Штатов. Он аккуратно подобрал слово. «Это синоним слова «суверенитет», — написал Time. — Опасное, изоляционистское понятие» с точки зрения интернационалистов, которые выступали за «мировое правительство». Однако «суверенитет» лежал в основе изоляционизма и национальной самобытности, как настаивал сенатор Роберт Тафт и Республиканская партия. Рузвельт стремился объяснить интернационалистам и республиканцам: его всемирная организация не поставит под угрозу автономию Соединенных Штатов (страх республиканцев) и будет способствовать движению Соединенных Штатов к сотрудничеству, к исполнению многоплановой роли в международных делах (мечта интернационалистов). «План», сообщил Рузвельт прессе, предполагает создание организации, которая остановит агрессию, а не организации,

«в которую будут обращаться, как только какой-нибудь стране захочется построить мост через ручей». Затем Рузвельт разрешил «некоему высокопоставленному лицу» раскрыть прессе больше подробностей, включая его намерение создать Мировой суд и новый Международный совет четырех держав с участием более мелких государств на ротационной основе[1].

В июне Генри Люс тенденциозно изложил в журнале Life будущий новый мировой порядок и роль Америки в нем: «Прочно обосновавшись на Европейском континенте, мы стали самой могущественной нацией в мире». Но, написал Люс, такая власть предполагает обязанности, и моральный долг Америки принимать участие в восстановлении послевоенной Европы, тем более что военная стратегия союзников привела к полному разрушению Германии. Европа будет нуждаться в восстановлении, а не просто в установлении порядка. Потребуется восстановить экономический порядок. Военная история, возможно, закончится скоро, но политическая история только начинается. Рузвельт предложил свое видение послевоенного всемирного совета, и Черчилль разделял его взгляды. И у Люса было свое видение роли Америки в послевоенной Европе, с ним Черчилль тоже был согласен. Однако Рузвельт, несмотря на призыв создать всемирную организацию, ясно дал понять Черчиллю, что американские солдаты покинут Европу при первой же возможности. Что касалось восстановления Германии, министр финансов Генри Моргентау-младший разрабатывал план, по сути сводившийся к тому же, что и Карфагенский мир, который святой Августин осуждал в своих размышлениях о разрушении Карфагена римлянами, мир, который не давал никакой надежды побежденным, мир, как его видел святой Августин, лишенный нравственности, мир, позоривший победителей[2].

У Черчилля это вызывало беспокойство. Он рассчитывал, что те особые отношения, которые складывались между Британией и Америкой, станут основой послевоенной стабильности в Европе. Понимая, что у послевоенной Британии не будет того влияния, что у довоенной, и что Россия станет величайшей континентальной державой, он считал, что, если Америка не собирается вмешиваться, Европу спасет только испытанный дипломатический прием: сферы влияния. Рузвельт с Халлом не хотели ничего слышать о европейских сферах влияния, считая, как Вудро Вильсон, что это в конечном итоге приведет к войне. Черчилль, положивший глаз на Грецию, только что предложил Сталину такое разделение труда в регионе: Британия будет управлять греческими делами, а Сталин будет управлять румынскими. Господа достигли взаимопонимания. 1 июня Черчилль обратился за одобрением к Рузвельту, заверив президента, что Британия и Россия, «разумеется, не собираются делить Балканы на сферы влияния». Однако именно этого добивались и Черчилль, и Сталин: Черчилль, по-

скольку Греция была союзником, Сталин, потому что Румыния была врагом. Оба лидера действительно имели «интересы» в регионе[3].

Как в прошедшее десятилетие Черчилль видел Британию в Европе, но не совсем, такой он будет видеть ее и в ближайшие годы. В 1940 году он сказал Сталину: Британия лежит рядом с западным побережьем Европы (как азиатская часть России лежит за восточными областями). Последние четыре года Черчилль считал, что мир и безопасность в Европе проще всего гарантировать за счет региональных европейских союзов и федераций, включая Дунайскую федерацию в Центральной Европе и Балканский союз. Основа видения Черчилля западноевропейской безопасности, вспоминал его зять лорд Сомс, состояла в том, что «Франция берет Германию за руку и приводит обратно в сообщество наций». Но Рузвельт чуть ли не с отвращением относился к Франции, и в особенности к де Голлю, а Моргентау хотел взять Германию за горло и свернуть шею[4].

В конце лета представители тридцати девяти союзных государств встретились на конференции в Думбартон-Оксе, старинном особняке в пригороде Вашингтона, Джорджтауне, некогда принадлежавшем сенатору от Южной Каролины Джону К. Кэлхуну; с 1940 года в нем располагается научно-исследовательский центр Гарвардского университета. На конференции, на основе рузвельтовского «плана», были подготовлены предложения, которые легли в основу Организации Объединенных Наций, включая Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности, в котором будут заседать четыре державы на постоянной основе, и еще три на ротационной основе. Русские потребовали, чтобы им выделили шестнадцать мест в Генеральной Ассамблее, по одному на каждую советскую республику. Американцы ответили, что в таком случае Соединенные Штаты должны иметь сорок шесть мест. Американцы предложили, чтобы постоянные члены Совета Безопасности сохраняли право вето, даже будучи вовлеченными в конфликт, если речь шла о применении силы. Русские были против того, чтобы Совет Безопасности имел возможность выносить решение по поводу собственных членов. Американцам пока было нечего возразить, и вопрос остался нерешенным. Францию из переговоров исключили, и это абсолютно справедливо, заявил сенатор Том Коннели, председатель сенатского Комитета по международным отношениям, поскольку Великобритания, Россия, Китай и Соединенные Штаты «проливали кровь за весь остальной мир, в то время как роль Франции в этой войне была незначительной». В Лондоне уже год заседала Европейская консультативная комиссия, и американские, британские и русские представители решали, как лучше поступить с побежденной Германией. Францию — и де Голля — исключили из обсуждений[5].

Война велась не для того, чтобы выяснить, у кого самая сильная армия. Политика — *интересы* — лежит в основе любой войны; со-

гласно Клаузевицу, «война есть не что иное, как продолжение государственной политики другими средствами». Вот почему Черчилль старался договориться с Тито, со своенравным королем Румынии, вовлекал британское правительство в дела Греции, неохотно терпел де Голля. Он старался сделать так, чтобы Британия закрепилась в тех областях Европы, которые, по его мнению, имели ключевое значение для интересов страны. Сталин занимался тем же. И именно поэтому Черчилль старался уговорить Рузвельта принять участие в делах послевоенной Европы. Если не Америка, то кто? Ответ был очевиден: Советский Союз. Писатель и политический обозреватель Уолтер Липпман опубликовал летом 1944 года небольшую, но важную книгу «U. S. War Aims», в которой предугадал последствия перестановки сил. Сферы влияния — неоспоримый факт, утверждал Липпман. После войны Америка, прекрасно защищенная крепостным рвом Атлантического и Тихого океанов, будет вынуждена защищать периметры своей сферы влияния — в Азии (где восстановленные европейские колонии будут служить в качестве буфера для Китая) и, особенно, в Атлантике. Липпман, предугадав в 1944 году создание НАТО (основан в 1949 году), утверждал, что теперь Атлантика взяла на себя основную роль в мировой политике, которую в течение двух тысячелетий играло Средиземноморье. Обеспечение альянса Атлантики с демократическими государствами Западной Европы необходимо для формирования *санитарного кордона* между американской и русской сферами влияния. Тогда, утверждал Липпман, война между этими двумя державами будет «фактически невозможна». Так и будет, написал он, поскольку ни одна из сторон не сможет направить армию в самое сердце другой стороны и не существует способов, которые могли бы изменить военный баланс во время войны[6].

Липпмановские рассуждения о «безопасности на расстоянии» утратили актуальность год спустя, после испытания атомной бомбы в пустыне Нью-Мексико. Но его прогноз насчет главной роли Атлантики в американских делах оправдался. Предложенный им альянс с государствами Западной Европы для сохранения интересов Америки придал некоторую уверенность Черчиллю, стремившемуся сформировать союз с Америкой. Но республиканцы Тафта ненавидели слово «альянс» так же, как интернационалисты ненавидели слово «суверенитет».

Итак, если в октябре с Гитлером будет покончено, как считали многие в Вашингтоне и Лондоне, то необходим план по сохранению и восстановлению Европы, которого не было и в помине. А до октября оставалось всего шестнадцать недель.

Утром 9 июня «Ультра» сообщила тревожные новости: Гитлер приказал перебросить в Нормандию 15-ю армию из Па-де-Кале и две танковые дивизии из Польши. Это был мощный удар, которого боль-

ше всего боялись союзники. Танковая дивизия и дивизия СС «Гитлерюгенд» уже яростно атаковали позиции Монтгомери у Кана, ожидая скорого прибытия еще одной танковой дивизии. И еще одна дивизия была брошена против американцев у Карантана. Прибытие 15-й армии и танков могло обречь на провал операцию вторжения. Но вечером того же дня «Ультра» сообщила об одной из самых желанных директив фюрера за всю войну: Гитлер, по-прежнему считавший настоящей целью союзников Па-де-Кале, отменил свои приказы (ОКВ знало, что Джорджа Паттона и 3-й армии не было в Нормандии, и решило, что они, возможно, направились в Па-де-Кале). Обескураженные неожиданным решением Берлина, фон Рундштедт и Роммель задумались об отставке. На следующий день Монтгомери объявил, что плацдарм высадки десанта надежно защищен, одиннадцатимильный разрыв между британской и американской зонами высадки ликвидирован. Для Черчилля сообщение Монтгомери было сродни неофициальному открытию летнего туристического сезона. Старик позвонил Бруку и предложил встретиться с Монти в его штабе в Нормандии в понедельник, 12 июня. Они возвращались во Францию[7].

Несмотря на заявление Монтгомери, Черчилль опасался «кристаллизации фронта во Франции» и последующего повторения ужасов Первой мировой войны. Рузвельт, вспоминал Гарриман, разделял его опасения. Черчилль видел в позиционном фронте возможность бойни. Того же мнения был Роммель, но бойни, в которой понесет потери захватчик, на побережье и вблизи него. Спустя несколько дней после дня «Д», когда плацдарм высадки десанта немного расширился и углубился, генерал Йен Джейкоб, который работал над военными планами, застал в комнате картографии Черчилля, размышлявшего над картой Нормандии. Как быстро после окончания высадки на побережье всех дивизий союзников, спросил Черчилль, стабилизируются линии фронта? Скорее всего, ответил Джейкоб, после того, как союзники подойдут к Рейну. Черчилль, основываясь на опыте, приобретенном в Первую мировую войну, понимал, что такое крупномасштабное перемещение всех армий очень непростое дело. Он знал, что в течение ближайших дней и недель много солдат погибнет на побережье, а если не на побережье, то в подлеске. Даже если линии фронта не стабилизируются и союзники перейдут в наступление, как считает Джейкоб, бойни не избежать, и она усилится, когда союзнические армии приблизятся к Германии. Черчилль хорошо понимал, насколько прав был Мальборо, предостерегавший своего осторожного голландского союзника во время войны с французами: погоня за безусловной победой без бойни приведет в конечном счете к безусловной бойне без победы[8].

На картах, которые изучал Черчилль, были отмечены «рубежи регулирования», концентрические круги, расходившиеся от побережья в глубь континента, как рябь на воде. Они обозначали временной гра-

фик запланированного расширения плацдарма высадки десанта в ближайшие дни и недели после дня «Д». Рядом с каждой отметкой была приписка: «Д + » и число. Кан, к примеру, планировалось взять в день «Д», отбросить противника с предмостных укреплений за реку Орн в день «Д + 1». К «Д + 9» войска должны были закрепиться на участке более 80 миль в ширину и 12 в глубину. К «Д + 17» (23 июня) планировалось захватить весь полуостров Котантен, включая Шербур. К тому времени союзники должны были удерживать линию фронта от Кана, Фалеза — реку Вир — до Гранвиля. Затем согласно плану в «Д + 20» прорыв с западного (американского) фланга, пока британцы и канадцы будут разворачиваться на восточном, Канском фланге. К «Д + 40» союзники рассчитывали находиться на полпути к Луаре. Приблизительно на это время была запланирована высадка в рамках операции «Энвил», которая предполагала наступление по долине Роны к Лиону и далее к Дижону, чтобы там встретиться с Нормандскими войсками, наступающими в восточном направлении. В «Д + 90» британцы должны форсировать Сену и выйти к Нидерландам, а американцы — к Вердену. Грандиозный план. Позже Эйзенхауэр и Монтгомери написали, что все задачи «Оверлорда» были выполнены. Задачи действительно были выполнены, но не в запланированные сроки. Фронт медленно, но верно стабилизировался. В первые несколько дней задержки измерялись часами, что неудивительно для такой сложной операции. Однако, как в случае с навигатором, отклонившимся с курса всего на один градус, время и расстояние способны превращать маленькие неточности в большие ошибки[9].

Эйзенхауэр знал об этом. 10 июня на совещании с американскими начальниками штабов, приехавшими днем раньше, он задал почти тот же вопрос, что Черчилль Джейкобу: что делать в случае «стабилизации» фронта. На побережье высадилось уже шестнадцать союзнических дивизий — 400 тысяч человек. Но по меньшей мере шесть немецких танковых дивизий и 15-я армия (если Гитлер снова передумал) представляли реальную угрозу. Эйзенхауэр приказал планировщикам из штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил заняться поиском решения этой проблемы. Джордж Маршалл прибыл в Лондон не для обсуждения вариантов, а чтобы потребовать как можно скорее приступить к осуществлению «Энвила», операции по высадке в Марселе, задуманной как дополнение к «Оверлорду». Но уже после двух совещаний британцев с американцами Маршалл согласился, что для осуществления «Энвила» необходимо дождаться более благоприятных условий. Брук не имел ничего против «Энвила», но только не в ущерб Итальянской кампании. Прервать наступление Александера, позже напишет в дневнике Брук, было бы «безумием»[10].

Падение Рима и день «Д» заставляли спешить с принятием окончательного решения по «Энвилу». Это, в свою очередь, привело к рас-

колу в рядах союзников. Черчилль, Рузвельт и Объединенный комитет начальников штабов сходились во мнении, что скорейшее поражение Германии является единственной военной целью. Но они расходились во мнениях, как наилучшим образом добиться этой цели. Эйзенхауэра больше всего заботило укрепление и обеспечение «Оверлорда». Он был готов рассмотреть альтернативы «Энвилу», включая «Халифа», направление войск в Бордо. Он был готов позволить Александеру использовать победы в Италии, чтобы оттянуть больше немцев из Франции. Его цель была сугубо военной, однако он в достаточной мере обладал политическими навыками для ее достижения, как обладавшие талантами в военной и политической сферах Черчилль и Маршалл. В Тегеране Маршалл обещал Сталину «Энвил» в значительной мере из-за очевидного недовольства Сталина тем, что его западные союзники появляются на его флангах (в его сфере влияния), наступая на север через Австрию, как рекомендовал Черчилль. Политическая стратегия Черчилля ничем не отличалась от сталинской стратегии; Черчилль хотел попасть в центр Европы раньше Советского Союза. Брук, как и Эйзенхауэр, стоял на чисто военной позиции, но при этом расходился во взглядах с Айком. Спор по поводу «Энвила» стал предпоследним крупным стратегическим спором, в который ввязался Черчилль; последним станет спор в завершающие недели войны, когда Эйзенхауэр откажется штурмовать Берлин. Эйзенхауэр и Монтгомери вскоре заняли разные позиции относительно стратегии широкого и узкого фронта в качестве лучшего способа форсирования Рейна и Эльбы, и им предстояло обсудить этот вопрос и принять решение в ближайшие месяцы.

11 июня Брук написал в дневнике, что Маршалл наконец понял значение Итальянской кампании, которую Брук отстаивал в течение года. «Я не думаю, что он [Маршал] обладает каким-либо стратегическим видением», — добавил Брук. Эйзенхауэр поддерживал «Энвил» на определенных условиях. Если плацдарм высадки десанта в Нормандии не будет расширяться в соответствии с графиком, высадка в Бретани обеспечит подкрепление Брэдли и 1-й армии. Если союзники вырвутся из Нормандии, то «Энвил», возможно, будет лучшим выбором. Айк, что было разумно, хотел подождать, посмотреть и сориентироваться по обстоятельствам. Маршалл, напротив, упорно настаивал на «Энвиле». Но после пятидневных обсуждений, с 9 по 13 июня, Объединенный комитет начальников штабов принял решение, устроившее всех[11].

Согласно этому решению все союзнические войска должны быть развернуты для содействия «в успешном осуществлении операции «Оверлорд». С этой целью рассматривалось три варианта морских десантных операций для поддержки «Оверлорда», из которых предстояло выбрать лучший: в Бретани, на юге Франции или в верхней части

Адриатики, чтобы отрезать Кессельринга в Италии, а затем устремиться к Вене. Третий вариант мог вызвать проблему, которая не замедлила возникнуть, как только высохли чернила. Фельдмаршал Александер и Джамбо Вильсон одобрили операцию в Адриатике под кодовым названием «Армпит», конечно придуманным американцами. «Энвил» тем временем переименовали в «Драгун», конечно придуманный британцами. Черчилль, который считал, что на побережье берут слишком много разнообразного снаряжения, утверждал, что, куда бы ни направлялись союзники, десантные суда должны быть заполнены солдатами и штыками, а не «стоматологическими креслами и членами организаций вроде Юношеской христианской ассоциации»[12].

К 12 июня, когда Черчилль с Бруком пересекли Ла-Манш на борту британского эсминца «Келвин», союзники отставали от графика на несколько дней, но это еще не было проблемой. Непрекращающимся потоком шли через искусственные гавани солдаты и ресурсы; немцев в воздухе практически не было. Однако прогресс был столь незначительным, что Черчилль обедал на берегу, всего в 4 милях от линии фронта. Там Монтгомери разложил карты и снова сделал акцент на своей стратегии, которая была принята в январе: оттянуть немцев на свой участок фронта, чтобы американцы могли выйти из своей зоны. На Брука произвело впечатление не только экспертное заключение Монтгомери, но и тот факт, что французская глубинка выглядела так, словно не пережила пятилетнюю немецкую оккупацию и пятинедельные союзные бомбардировки. Черчилль описал это так: «Нас окружает тучный скот, который лежит на сочных пастбищах, скрестив ноги». Он вернулся на борт «Келвина» во второй половине дня, и после небольшой прогулки вдоль берега, во время которой «Келвин» дал несколько залпов в направлении немецких линий специально для Черчилля, корабль повернул в Англию. В прошлый раз, пять лет назад, покидая Францию, Черчилль сказал Исмею, что, скорее всего, им осталось жить три месяца[13].

В тот день, за несколько минут до полуночи, когда Черчилль с Бруком приближались к Лондону на личном поезде премьер-министра, первые немецкие беспилотные летающие бомбы были выпущены с пусковых установок в Бельгии и Северной Франции. Они летели на высоте от 3 до 4 тысяч футов со скоростью порядка 350 миль в час. Каждая несла 1875-фунтовый заряд взрывчатого вещества. Они были нацелены на Тауэрский мост, но только четыре из двадцати семи, направленных ночью 12 и утром 13 июня на Большой Лондон, достигли цели. Часть упала в море, часть сбилась с курса над окраинами Англии, и так продолжалось до следующего месяца, когда из 2754 летающих бомб, сброшенных на Британию, только 800 попали в Большой Лондон. Многие были запущены с установок, которые на протяжении

месяцев были объектами британских самолетов, некоторые с «Хейнкелей-111», без особого эффекта.

Эти адские машины, оснащенные пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, издавали громкий, характерный звук, пролетая над головой. Их самой зловещей особенностью (не считая боевой части) был ужасающий визг, с которым они падали на землю. Они имели низкую точность попадания. В носовой части размещался миниатюрный пропеллер (лопастной анемометр), соединенный со счетчиком, на котором устанавливалась величина требуемой дальности полета; была известна частота вращения пропеллера во время полета с неизменной скоростью на определенное расстояние. При подлете к цели анемометр, вращаемый набегающим потоком воздуха, скручивал счетчик до нуля. Счетчик подавал команду на механизм руля высоты, и бомба пикировала вниз. Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель издавал характерный звук, и лондонцы быстро разобрались, что если над головой слышно жужжание, то бояться нечего, а вот если двигатель замолкал, то следовало ждать беды. В Берлине эти бомбы назвали оружием возмездия, сокращенно «Фау-1». Лондонцы нарекли их летающими или жужжащими бомбами[14].

14 июня Дафф Купер ужинал в «Дорчестере» с леди Кунард, которая, как и во время блица, отказалась покидать свою квартиру. Когда Купер рассказал ей, что новые атаки проводились беспилотными самолетами, она ответила, что это невозможно и что в «такую чушь» могут верить только глупцы. Служащий отеля, услышав это, сказал, что использование беспилотных самолетов хороший знак, поскольку «доказывает, что немцам настолько не хватает людей, что они вынуждены отправлять самолеты без летчиков». 19 июня на совещании начальников штабов Черчилль распорядился, чтобы с этого момента оружие называли не «беспилотными самолетами», а «летающими бомбами». Брук заметил, что в тот вечер Черчилль был «в очень хорошей форме, выглядел лет на десять моложе, а все потому, что из-за летающих бомб мы снова оказались на линии фронта!!»[15].

Появление летающих бомб ознаменовало начало новой эпохи, вскоре получившей название «ракетный век», а учитывая, что все ракеты были у Гитлера, — и только у Гитлера, — это вызывало особый ужас. В ближайшие четыре недели 2754 Фау-1, направленных на Великобританию, убили 2752 человека и разрушили более 8 тысяч зданий. Так продолжалось до начала августа, когда Черчилль сказал в палате общин, что «на нас направили 5735 этих роботов, убивших 4735 человек, и 14 тысяч получили более или менее серьезные ранения». Черчилль рассказал палате, что, когда он осматривал расположенный по соседству разрушенный квартал, к нему подошел старик и спросил: «Что вы собираетесь с этим делать?» Я ответил: «Мы никогда еще не терпели поражения». Старика, похоже, удовлетворил

ответ. Это все, что я мог обещать». Необходимость подвергнуть бомбардировке пусковые установки «Фау-1» в Северной Франции нарушила план операции в Нормандии и привела к сокращению количества полетов над Германией. Тем не менее если Гитлер летом 1944 года сбросил на Великобританию 4500 тонн взрывчатых веществ, то англичане с американцами сбросили на Германию 48 тысяч тонн, но ценой огромных потерь — более 14 тысяч летчиков погибли или пропали без вести. «Фау-1» не стали причиной гибели большого количества людей, но, поскольку они появлялись ежечасно, день за днем, неделя за неделей, нервы у всех были на пределе. «Я уверен в одном, — заявил Черчилль в палате общин, — Лондон никогда не будет завоеван и никогда не падет, и люди будут долго помнить, как победоносно он преодолевал все трудности». Но, как написал в дневнике Брук, «настоящую опасность представляют летающие ракеты с 5-тонной боеголовкой». Это были «Фау-2», о появлении которых в скором времени узнало британское высшее командование, но не британский народ[16].

Когда над Лондоном появились «жужжащие бомбы», битва на побережье застыла на мертвой точке, и альянс, казалось, был готов самоликвидироваться. Основной спор велся вокруг «Энвила», вспомогательного вторжения во Францию. Маршалл, которого Брук и Эйзенхауэр убедили повременить с «Энвилом», чтобы сориентироваться по ситуации, в середине июня посетил Италию. Там он узнал от Александера и Вильсона, что они с нетерпением ждут операцию в Адриатике. В ответ он, как и другие американские начальники штабов, посоветовал укрепить позиции. «Энвил» должен был начаться не позднее августа. То, что раньше было спором, теперь превратилось в принципиальное разногласие. Александер и Черчилль доказывали британским начальникам штабов необходимость операции в Адриатике. Брук рассматривал любой удар в направлении Вены «безумной надеждой», главным образом по той причине, что подобную операцию было невозможно начать до сентября, и тогда бы они «начали кампанию в Альпах зимой!». На совещании 21 июня Черчилль, который, как написал Брук, «очевидно, хорошо позавтракал», «болтал $^3/_4$ часа, перескакивая с темы на тему, высказывая множество идей, не имевших военного значения». В ближайшие несколько дней Черчилль с британскими начальниками штабов набросали практически идентичные записки для Рузвельта и его начальников штабов. Они призывали не ослаблять силы Александера, то есть фактически намекали на отмену «Энвила». 27 июня важность, которую британцы придавали Италии, подтвердили расшифровки «Ультра», выявившие намерение Гитлера защищать Северные Апеннины, поскольку прорыв там привел бы к «неисчислимым политическим и военным последствиям». Черчилль доказывал в длинной записке, что «Оверлорд» невозможно усилить, не ослабляя армию Александера. Он закончил записку словами: «Давайте не будем губить одну грандиозную

кампанию ради победы в другой». Рузвельт, по мнению Брука, ответил грубо. Американцы настаивали на «немедленном запуске «Энвила». Самым неприятным в ответе Рузвельта, по мнению Брука, был последний абзац: «Наконец, исключительно из политических соображений, я бы не потерпел малейшей задержки «Оверлорда», если бы стало известно, что крупные силы переброшены на Балканы»[17].

Но британцы не просили перебрасывать силы, они всего лишь хотели продолжать наступление в Италии. Черчилль написал гневный ответ, в котором была такая строчка: «Вся кампания в Италии рухнет, и ради чего?» И это для того, чтобы, как он считал, десять в основном необученных дивизий, включая семь французских, состоявших преимущественно из североафриканских негров, «пять месяцев наступали по долине Роны». Он предложил вылететь в Вашингтон, на Бермуды, в Квебек, в любое место, где Рузвельт согласен встретиться с ним, чтобы найти выход из этого тупика. Но в итоге Черчилль не отправил эту телеграмму. У него не было рычага воздействия. Как Брук сказал Черчиллю 30 июня, все сводилось к тому, чтобы просто заявить американцам: «Ладно, если вам угодно быть чертовыми идиотами, то, вместо того чтобы с вами ссориться, что приведет к губительным последствиям, мы будем изображать чертовых идиотов вместе с вами и постараемся справиться с этой ролью чертовски хорошо»[18].

К середине июня на Восточном фронте уже шесть недель наблюдалось относительное затишье. Восточный фронт стабилизировался, и перед русскими встала проблема выбора стратегии в отношении трех немецких групп армий: «Север», «Центр» и «Юг». Наступление в самом южном секторе давало возможность продвинуться в глубь Румынии в направлении Бухареста, Белграда и Будапешта. Из-за огромного выступа у Минска, образованного группой армий «Центр», правый фланг Красной армии окажется незащищенным. То же самое на севере, если Красная армия перейдет в наступление к западу от Эстонии в направлении Риги, оставив Балтику справа, группа армий «Центр» будет угрожать ее левому флангу. В любом случае Красная армия не может рассчитывать на то, что ей откроется прямой путь к Берлину; наступление в южном направлении закончится на Балканах, наступление в северном — в Восточной Пруссии[19].

Но важнее всего, если Гитлер выберет правильный стратегический курс, будет действовать на северном и южном флангах и на Минском выступе и сумеет стабилизировать оборонительную линию, чтобы продлить войну на неопределенный срок, на западе и на востоке. Если Гитлер развернет группу армий «Север» обратно в сторону Кенигсберга, протянув фронт через Брест-Литовск к Ковелю и Карпатам, он вдвое сократит линию фронта, при этом вдвое усилив ее. Затем он может рассмотреть возможность переброски некоторых из 166 диви-

зий, находящихся на востоке, на запад. Это вызывало сильное беспокойство Лондона и Вашингтона, а особенно Монтгомери, который в течение трех недель после дня «Д» ожидал контратаку, но не знал, когда и какой она будет силы. Возможные последствия немецкой контратаки были совершенно разными для Красной армии и англо-американских сил. Попытки прорыва линий Красной армии напоминали попытки окопаться на побережье: новая волна сводила на нет все усилия. Если бы Гитлер уничтожил тридцать советских дивизий, Сталин тут же нашел им замену. Но если бы Гитлер уничтожил половину из двадцати пяти союзных дивизий, которые находились во Франции в конце июня, он бы отбросил союзников с Европейского континента. Разумная стратегия призывала Гитлера поступить именно так, сократить восточную линию фронта и сконцентрировать все свои западные армии против захватчика.

Но Гитлеру, как и Наполеону, была невыносима мысль обмена завоеванных территорий на безопасность. Но не делать этого было большой ошибкой, и, как позже написал Брук, немцам «пришлось расплатиться» за нее. В мае русское Верховное командование пришло к выводу, что для открытия всего Восточного фронта необходимо уничтожить группу армий «Центр», которая по-прежнему занимала ключевой сектор в Белоруссии и закрывала путь к Варшаве и Берлину. С этой целью русские разработали операцию под кодовым названием «Багратион», в честь Петра Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года, который нанес серьезное поражение Наполеону. Сталин лично выбрал день начала наступления: 22 июня, третья годовщина вторжения Гитлера в Россию. Чтобы сбить немцев со следа, русские провели кампанию по дезинформации; в радиосообщениях говорилось о сосредоточении советской артиллерии и танковых подразделений южнее Припятских болот. Это была попытка убедить вермахт в том, что основной удар будет нанесен на юге Украины. Чтобы еще больше запутать немцев, 11 июня Красная армия нанесла удар из Ленинградского сектора по Финляндии. Атака преследовала две цели: официально известить финнов о том, что близок час их гибели, и заставить Гитлера задаться вопросом, не собираются ли русские с британцами начать совместные операции в Финляндии и Норвегии, чтобы перекрыть путь поставок железной руды из Швеции в Германию. На этот случай у фюрера было семь дивизий в Финляндии и двенадцать в Норвегии. Чем больше Гитлер рассеивал силы, тем выше были шансы союзников на успех в Нормандии и на Восточном фронте[20].

Приближалось начало операции «Багратион», а положение Монтгомери не изменилось со дня «Д». Он планировал захватить Кан в день «Д», а затем направить армии на восток, в направлении Сены, оставляя Ла-Манш слева от себя, а американцев справа. Когда этот план провалился, он был вынужден изменить стратегию. Теперь, вме-

сто наступления на Кан, он позволил немцам прорвать свой фронт. Однако, раньше или позже (Черчилль не допускал даже намека на «позже»), Кан должен был стать поворотным пунктом, который изменит ход операции. Согласно плану американцам предстояло вырваться с побережья, взять Шербур на западе, развернуться на юге и востоке, чтобы прикрыть правый фланг Монтгомери. Но Роммель и погода сорвали эти планы. 19 июня на Ла-Манше разыгрался самый сильный шторм за последние сорок лет, который бушевал в течение четырех дней и уничтожил искусственную гавань в секторе «Омаха» и заставил прекратить боевые действия в Нормандии. Позже Эйзенхауэр назвал действия в течение июня и июля «битвой за плацдарм высадки десанта». Если бы все прошло как планировалось, битва завершилась бы ко времени визита Черчилля 12 июня.

На Ла-Манше все еще бушевал шторм, когда 22 июня на Восточный фронт обрушился во много раз более смертоносный шторм: на рассвете началась операция «Багратион». Советская дезинформация оказалась настолько эффективной, что 166 дивизий Красной армии при поддержке 2700 танков и 1300 полевых орудий на 500-мильном Минском выступе встретили всего 37 немецких дивизий. Незамедлительно последовал ошеломляющий финал; за несколько дней Красная армия прошла 100 миль в западном направлении. Спустя три недели, 11 июля, советские войска нанесли удар южнее Припятских болот и двинулись в направлении Кракова. Западная пресса сообщила, что с Германией покончено, если не считать небольших формальностей. Заголовок Kansas City Star кричал: «СКОРОСТЬ КРАСНЫХ ОШЕЛОМЛЯЕТ НАЦИСТОВ, АМЕРИКАНЦЫ НАСТУПАЮТ ВО ФРАНЦИИ». Действительно, немцы уже уступили американцам полуостров Котантен. 25 июня американцы взяли Шербур, после того как немецкий командующий — которому Гитлер приказал сражаться до последнего человека — попросил противника дать артиллерийский залп по главным воротам, чтобы не пострадала честь немецких солдат. Американцы дали залп, честь была сохранена, и немцы капитулировали. На остальных участках фронта в Нормандии союзники медленно продвигались вперед. Монти наконец взял Кан 9 июля — «Д + 33», после бомбардировки 8 июля, разрушившей город почти до основания. На той неделе Джордж Паттон и первые подразделения его 3-й армии — чье местонахождение беспокоило немцев — высадились в Нормандии. Эта ночь была последней из ночей с благоприятной луной и приливами и отливами для вторжения в Кале. Но поскольку там не появилось никаких союзнических армий, немцам следовало сделать вывод, что Паттон направился в какое-то другое место, вероятно в Нормандию. Они этого не поняли[21].

К тому времени фон Рундштедт уже не командовал армиями на фронте Монтгомери. В конце июня, когда союзники захватили Котан-

тен, фон Рундштедт сказал вышестоящему руководству, что любой контрудар по британскому сектору обречен на провал. «Что же нам делать?» — спросил начальник штаба ОКВ Кейтель. Фон Рундштедт ответил: «Заключать мир, глупцы, что еще вам остается делать?» 1 июля фон Рундштедт был принудительно отправлен в отставку раньше срока. Его заменил фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге, герой сражений в России и прирожденный боец. Он отчитал Роммеля за отсутствие инициативы и заявил о намерении перейти в наступление. Но после первой поездки на фронт он понял, насколько действительно отчаянной была ситуация. Помимо прочего фон Клюге хранил тайну. Уже два года группа заговорщиков, планировавшая покушение на фюрера, старалась вовлечь его в заговор. Они поняли, что он готов встать на их сторону, но только после убийства Гитлера. Роммель тоже знал о готовящемся заговоре. То, что они не донесли властям, было таким же государственным преступлением, как и участие в заговоре[22].

Красная армия за шесть недель, с 22 июня по последнюю неделю июля, преодолела более 200 миль в западном направлении — в центре до восточного берега Вислы и окраин Варшавы, на севере до границы Восточной Пруссии, на юге до Северной Буковины и венгерской границы. Западная коллективная память отвела особое место Нормандии, Арденнам и Дюнкерну, практически не оставив места операции «Багратион», однако именно «Багратион» более, чем какая-либо операция в 1944 году, помогла поставить Германию на колени. Черчилль даже не упомянул название этой операции в последнем томе своей истории войны, сильно преуменьшив ее значение: «В результате летнего наступления к концу июля русские армии подошли к Висле». На Западе многие, как и Черчилль, не видели или не хотели признать важную роль «Багратиона». В конце июня и в июле, когда Красная армия пронеслась по территории размером с Великобританию (с севера на юг и с запада на восток), англо-американские войска все еще вели битву за плацдарм высадки десанта на фронте всего несколько миль глубиной и 80 миль шириной, на участке Нормандии величиной с Кейп-Код[23].

20 июля Черчилль посетил Шербур и «Юту», а в ближайшие два дня собирался посетить позиции Монтгомери. Он предупредил Монтгомери о своем визите, и Монти сказал Эйзенхауэру любой ценой не пускать к нему эту делегацию. Со дня на день должна была начаться операция «Кобра» — запланированный Монтгомери прорыв к портам Бретани и окружение немцев на фронте Брэдли.

Когда Черчилль узнал, с какой просьбой Монтгомери обратился к Айку, он вызвал Брука и разразился гневной тирадой. «Кто такой ваш Монти, чтобы указывать, что мне делать? Кем он себя возомнил, что пытается сорвать визит премьер-министра?» Шел день «Д + 44», и

союзные армии ушли не слишком далеко от того места на побережье, где они находились в первый приезд Черчилля 12 июля. Черчилль, сытый по горло, сказал Эйзенхауэру, что поддержит любое его решение относительно отставки британских генералов, которые не оправдывали ожиданий Айка. Хотя Эйзенхауэр тоже начал терять терпение с Монти, он не собирался отстранять легендарного героя Эль-Аламейна. Но 20 июля помощник Эйзенхауэра капитан Бутчер написал в дневнике, что «медлительность Монти» выводит Айка из равновесия. По мнению Эйзенхауэра, проблема состояла в том, что успех заявленного Монтгомери плана — заставить Роммеля направить удар на британцев и канадцев — зависел от того, будет ли Роммель следовать сценарию Монтгомери. А он пока этого не делал. «Роммель знал эту партию наизусть», — написал Бутчер. Он просто держал танки вне радиуса действия артиллерии Монтгомери. Бутчер не знал, что Роммеля уже не было в Нормандии; 17 июля он получил серьезное ранение, когда истребитель союзников обстрелял его автомобиль и сейчас направлялся на лечение в Германию. В любом случае операция «Кобра» задерживалась еще на неделю из-за плохой погоды. И хотя Эйзенхауэр не собирался отстранять Монти, генерал ему так надоел, что он попросил Черчилля «убедить Монти сесть на велосипед и тронуться с места»[24].

Когда 20 июля Черчилль совершал поездку по американскому фронту, в гитлеровском «Волчьем логове» в Восточной Пруссии полковник Клаус фон Штауффенберг, лишившийся левого глаза, правой руки и двух пальцев на левой руке во время атаки Королевских ВВС в Северной Африке, докладывал фюреру о состоянии обороноспособности Германии. Он был центральной фигурой небольшого, но убежденного в правоте своего дела круга заговорщиков, которые считали, что избежать уничтожения Германии можно только в случае убийства Гитлера. Роммель и фон Клюге согласились поддержать заговорщиков, если их замысел увенчается успехом.

Фон Штауффенберг вошел в ставку Гитлера с портфелем, в котором находились две бомбы. Активировать детонаторы предстояло самому Штауффенбергу непосредственно перед покушением. Находясь под почти непрерывным наблюдением, испытывая дефицит времени и действуя одной искалеченной рукой, Штауффенберг смог активировать детонатор только на одном взрывном устройстве. Ему удалось поставить портфель рядом с Гитлером и под благовидным предлогом покинуть помещение. Когда в бараке раздался взрыв, Штауффенберг решил, что никому не удалось выжить. Он приказал водителю отвезти его на ближайший аэродром, откуда на небольшом самолете вылетел в Берлин. Штауффенберг неверно оценил нанесенный ущерб. Взрывом убило четырех человек, и почти все выжившие были ранены,

но Гитлера защитил массивный дубовый стол для совещаний. Он отделался легкими травмами, сильно пострадали только его самообладание и одежда. Вернувшись в Берлин, Штауффенберг призвал соратников приступить ко второму этапу переворота, захвату нацистских административных зданий и радиостанций. Но когда Гитлер лично выступил по радио, заговорщики поняли, что переворот провалился. После короткой перестрелки заговорщиков арестовали в штабе на Бендлерштрассе. Штауффенберга вывели на улицу и расстреляли. Позже Черчилль сказал в палате общин: «Герр Гитлер говорил, что при взрыве бомбы 20 июля его спасло Провидение. Я думаю, что с чисто военной точки зрения мы можем с ним согласиться. Для союзников было бы тяжело на завершающем этапе борьбы лишиться такого военного гения, как ефрейтор Шикльгрубер, вносящего столь значительный вклад в нашу победу»[25].

Гитлер считал, что Роммель и фон Клюге принимали участие в заговоре, и фон Клюге, чтобы избежать страшных пыток, которым Гитлер подвергал подозреваемых, 18 августа покончил с собой, раскусив ампулу с цианистым калием. Роммель, которому Берлин предоставил выбор между трибуналом по обвинению в государственной измене и самоубийством, покончил с собой 14 октября, приняв, как фон Клюге, цианистый калий[26].

В июле, с учетом застоя на западе и наступления на востоке, назрела необходимость встречи «Большой тройки». «Когда и где мы встретимся?» — телеграфировал Черчилль Рузвельту 16 июля. Спустя неделю, когда Красная армия заняла Люблин, Сталин создал Польский комитет национального освобождения, фактически марионеточное правительство. Теперь необходимость встречи была очевидна. Черчилль предложил провести встречу в Шотландии, но Сталин, как обычно, отказался покидать Россию, а Рузвельт не хотел уезжать в Великобританию в сезон выборов. Он только что выдвинул свою кандидатуру на четвертый срок и постепенно выживал с должности вице-президента Генри Уоллеса, взгляды которого в Демократической партии считались слишком просоветскими, чтобы заменить его сенатором от Миссури Гарри С. Трумэном. В ответ на телеграмму Черчилля Рузвельт предложил встретиться на Бермудах или в Квебеке. Как всегда, Черчилль должен был ехать к Рузвельту. Красная армия наступала на Варшаву и спустя несколько дней подошла к ее восточным окраинам. Черчилль настаивал, чтобы главу лондонских поляков Станислава Миколайчика пригласили в Москву для участия в формировании польского правительства. В противном случае лондонские поляки могли оказаться не у дел, когда Сталин освободит Варшаву. В поисках «некоего объединения» поляков, которых поддерживала Москва, и тех, которых поддерживали Великобритания и Соединенные Штаты,

Черчилль попросил президента отправить письма Миколайчику и Сталину с заверениями о поддержке Миколайчика[27].

Рузвельт отправил письма обоим, но всего лишь выразил в них надежду, что Миколайчик со Сталиным смогут «уладить этот вопрос» самостоятельно, то есть практически не поддержал лондонских поляков. Сталину и Миколайчику стало ясно, что Соединенные Штаты, в отличие от Великобритании, не слишком волнует судьба Польши.

В конце июля, по приказу лондонских поляков, 40 тысяч плохо вооруженных членов польского Сопротивления в Варшаве под командованием генерала Бур-Коморовского подняли восстание против своих немецких тюремщиков. Красная армия стояла на другом берегу Вислы, пока в течение почти шести недель в польской столице шел бой, напоминавший Сталинградскую битву. Коморовский попросил Эйзенхауэра подвергнуть бомбардировке аэропорты близ Варшавы; Эйзенхауэр отказался, объяснив, что Варшава не его театр военных действий. Черчилль попросил Сталина прислать подкрепление, но маршал считал Варшавское восстание «авантюрой кучки преступников», намеревавшихся захватить власть. Черчилль нашел поведение Советского Союза «странным и низким», но не смог повлиять на Сталина. Советский Союз запретил самолетам союзников, которые хотели сбросить в восставший город продовольствие, боеприпасы и оружие, приземляться на советских аэродромах. Варшава была вне радиуса действия союзных самолетов, базировавшихся в Британии, которым пришлось бы лететь через весь рейх, но не вне радиуса самолетов, базировавшихся в Италии. Летчики британских и польских ВВС совершили почти двести полетов, доставляя помощь восставшим. Аэродромы, занятые Сталиным, были всего в 50 милях от Варшавы. Рузвельт отказался выделить американские самолеты для оказания помощи Варшаве. Не поставив в известность Черчилля, американцы вели переговоры со Сталиным по поводу использования аэродромов в Сибири и не хотели расстроить планы просьбой об использовании еще и польских аэродромов. Спустя шесть недель Сталин передумал, но было уже слишком поздно. Половина бойцов польского Сопротивления были убиты, и погибло более 200 тысяч жителей. В начале октября, через 63 дня после начала восстания, Коморовский подписал капитуляцию. Красная армия освободила Варшаву только в январе 1945 года. «Вот так они освобождали Польшу...» — позже написал Черчилль[28].

В июле из Польши поступила еще одна информация. Доктор Хаим Вейцман и Еврейское агентство для Палестины 7 июля обратили внимание Черчилля на зверства, творившиеся в Освенциме. Хотя Вейцман не вдавался в подробности, включая количество убитых, Черчилль потребовал принять меры. Маршал авиации Чарльз Портал сказал, что только путем дневных точечных бомбардировок можно уничтожить железные дороги, ведущие в Освенцим. Требовалась помощь

американцев, поскольку британские самолеты совершали только ночные налеты, которые могли оказаться более опасными для узников лагеря, чем для железнодорожных путей. Но американским тяжелым бомбардировщикам для того, чтобы добраться до Освенцима из Италии или Британии, пришлось бы днем без поддержки истребителей лететь над самым сердцем рейха. В итоге от этой идеи пришлось отказаться. Спустя три года, во время дебатов по поводу создания Еврейского государства в Палестине, Черчилль заявил в палате общин: «Должен сказать, что в конце войны я не имел представления об ужасной бойне; миллионы и миллионы убитых. Мы постепенно осознавали это после окончания войны». Слово «Освенцим» не всплывало в переписке Рузвельта с Черчиллем[29].

В середине июня Рузвельт через Идена дал знать де Голлю, что президент готов принять его, если француз окажется в Вашингтоне в начале июля. Де Голль мог рассчитывать на приглашение только в такой форме. 6 июля он прибыл на личном самолете Рузвельта «Скаймастер» (гражданская модификация четырехмоторного С-54), предоставленном ему президентом. Де Голля приветствовали 17 орудийными залпами вместо 21; таким простым и выразительным способом ему дали понять, что его визит не считался государственным. На встрече Рузвельт обрисовал свой план четырех держав и подчеркнул, что Америка, возможно, разместит войска по всему миру, в том числе во Франции, в целях защиты местного населения, поскольку, кроме «Большой четверки», все страны, включая Францию, будут играть второстепенную роль. Де Голль ушел потрясенный. Позже он написал, что президент — «этот артист, этот обольститель», — считая Западную Европу второстепенной величиной, рисковал подвергнуть угрозе западный мир и саму цивилизацию. «Это Запад требуется восстанавливать», — сказал де Голль президенту. Если Запад придет в упадок, доказывал де Голль, «все будет сметено варварством». Франция, по его словам, должна быть восстановлена «в первую очередь», вместе со своей «политической мощью» и «самостоятельностью». Рузвельт сказал, что готов над этим подумать, поскольку питает к Франции «искреннюю симпатию». По окончании переговоров де Голль пришел к выводу, что под рузвельтовским «идеализмом... скрывается жажда власти». В качестве прощального подарка Рузвельт вручил де Голлю свою фотографию с надписью: «Генералу де Голлю, моему другу»[30].

Тем временем в Шарлотсвилле, штат Виргиния, десятки американцев проходили интенсивные двухмесячные курсы обучения французскому языку, готовясь отправиться во Францию для управления гражданскими делами, до победы над Германией. Де Голль не поддерживал эти двухмесячные чудеса. Вскоре после отъезда из Вашингтона де Голль узнал о письме Рузвельта нью-йоркскому конгрессмену Джозефу

Кларку Болдуину, в котором, в частности, говорилось: «Когда речь идет о проблемах будущего, он [де Голль] кажется весьма «сговорчивым», лишь бы с Францией общались как с мировой величиной. Он очень чувствителен ко всему, что касается престижа Франции, но я думаю, что он просто эгоистичен». В своих мемуарах де Голль написал: «Мне так и не довелось узнать, считал ли Франклин Рузвельт, что в делах, касающихся Франции, Шарль де Голль был эгоистичен в интересах Франции или в собственных своих интересах»[31].

На самом деле, подобно Черчиллю, он был эгоистичен и в интересах своей страны, и в интересах Запада в целом. Несмотря на разницу в характерах и на то, как сильно де Голль раздражал Черчилля, они сходились во мнении, что послевоенную Европу нельзя оставлять без защиты, но и не следует полностью зависеть от американцев в обеспечении безопасности. 13 июля, вернувшись в Алжир, де Голль узнал, что американское правительство опубликовало декларацию, в которой, в частности, говорилось: «Соединенные Штаты признают, что Французский комитет национального освобождения имеет право осуществлять административное управление Францией». Но формулировка «имеет право» не означала официального признания. Спустя две недели де Голль, Рузвельт и Черчилль пришли к согласию насчет формулировки. Только «Временное правительство Французской Республики является государственной властью, только оно создает необходимые органы для связи с союзными войсками, только оно может предоставлять в распоряжение военного командования службы, которые командование затребует, во Франции только оно имеет право выпускать деньги и обеспечивать ими в обмен на фунты стерлингов и доллары американские и английские войска, находящиеся на французской территории». Такая формулировка тоже не подразумевала официального признания Французского комитета национального освобождения Временным правительством, но была близка к этому. Семь французских дивизий готовились к высадке в Марселе. 1 августа 2-я бронетанковая дивизия Леклерка высадилась в Нормандии. Позже де Голль написал: «Мы возвратим Франции независимость, империю и шпагу». «Как коротка была шпага Франции в тот момент, когда союзники ринулись на штурм Европы», — написал де Голль, но все-таки это была шпага[32].

Застой на Западном фронте наконец закончился 25 июля. Монтгомери удерживал западный фланг, а американская 1-я армия, которая теперь входила в состав 12-й группы армий Омара Брэдли, начала наступление на Сен-Ло. Позже Эйзенхауэр написал: «В день «Д + 50», когда начался прорыв, мы занимали позиции, запланированные на «Д + 5». Пять дней спустя, когда Джордж Паттон и 3-я армия совершили прорыв, немцы уже могли не ломать себе голову о местонахождении Паттона. В конечном счете задержка сыграла союзникам на руку. В

течение семи недель союзники, вместо того чтобы медленно продвигаться в глубь Франции, с риском понести огромные потери и нарваться на решительную контратаку немцев по чрезмерно растянутым флангам, наращивали силы, ожидая своего часа. И наконец настал час, когда все эти силы можно было бросить в наступление. 4-я бронетанковая дивизия Паттона 29 июля заняла Авранш; через неделю Паттон вышел к Ле-Ману. Фон Клюге (его еще не обвинили в причастности к заговору против Гитлера) отправлял сообщения в Берлин, которые расшифровывались в Блетчли: фронт «прорван» и «развалился». Черчилль был в полном восторге: они нашли выход из тупика. Помощник Айка Гарри Бутчер написал в дневнике, что Черчилль заразил своим энтузиазмом Эйзенхауэра. Теперь Айк верил, что война закончится в 1944 году. Начальник его разведки, генерал-майор К.В.Д. Стронг, сказал Бутчеру, что ожидает завершения войны через три месяца. Бутчер написал в дневнике: «Думаю, к Рождеству мы будем дома»[33].

Прорыв должен был положить конец всем спорам относительно следующих шагов. Операция «Драгун» (бывший «Энвил»), маневр на юге Франции, должна была начаться 15 августа. Но Черчиллю не сиделось спокойно. Когда 4 августа союзники ворвались в Бретань, он отправил Рузвельту телеграмму с предложением высадить войска в портах Бретани. На следующий день, во время затянувшегося обеда с Эйзенхауэром в его штабе близ Портсмута, Черчилль — по словам Бутчера, «в свойственной ему манере» — выступил с предложением перенести «Энвил»/«Драгун» в порты Бретани, чтобы не ослабить Итальянскую кампанию Александера. «Айк ответил «нет», — написал Бутчер, — и продолжал говорить «нет» весь день». В какой-то момент Черчилль даже пригрозил, что сложит полномочия, если Эйзенхауэр не уступит. Но Айк снова сказал «нет». Бутчер отметил, что после долгих разговоров Эйзенхауэр был «выжат как лимон» и абсолютно уверен, что через несколько дней Черчилль еще вернется к этой теме, считая, что вопрос остался нерешенным. Но все было решено. Спустя два дня Черчилль — при поддержке британских начальников штабов — через голову Эйзенхауэра, как он это сделал в конце июня, отправил телеграммы Гопкинсу и Рузвельту. Их реакцию можно было предвидеть. Гопкинс рискнул предположить, что президент откажет. Так и случилось; Рузвельт сообщил Черчиллю, что ресурсы, предназначенные для «Драгуна», не могут быть направлены для осуществления операций в Бретани. 8 августа Черчилль телеграфировал Рузвельту: «Молю Бога, чтобы вы оказались правы. Разумеется, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться успеха»[34].

Несколькими днями ранее Черчилль произнес длинную речь в палате общин, заявив, что гарантами мира в Европе станут четыре державы, Великобритания, Россия, Соединенные Штаты и Франция. Чер-

чиллевская Франция, в отличие от рузвельтовской Франции, вернет себе свою славу (и колонии). «Великобритания заинтересована в том, чтобы дружественная Франция возродилась, встала с колен и заняла свое законное место среди великих держав Европы и мира». И он признал руководителя этой обновленной Франции: «За последние четыре года у меня было немало разногласий с генералом де Голлем, но я никогда не забывал и никогда не смогу забыть, что он был первым известным французом, выступившим против общего врага в час, который казался последним для его страны и, возможно, для нас». Дафф Купер, который в то время находился в Алжире, был очень доволен этой речью. Черчилль должен был остановиться в Алжире 10-го числа, по дороге в Неаполь, и Купер считал, что у де Голля и Черчилля будет «отличная возможность уладить конфликт». Де Голль не разделял этой уверенности и отказался встречаться с Черчиллем. Позже Купер написал, что де Голль никак не объяснил свой отказ. Это был всего лишь очередной пример его «потрясающей неуступчивости». Черчилль в своем письме Клементине назвал поведение де Голля «дерзким»[35].

Лишившись возможности встретиться с де Голлем, Черчилль проводил время в Алжире за разговорами о политике с Рэндольфом, который жил у Даффа Купера; Рэндольф проходил восстановление после травмы спины и колена, полученных во время аварийной посадки самолета в Югославии, когда погибли девять человек из девятнадцати, находившихся на борту. Среди пассажиров был Ивлин Во, получивший серьезные ожоги. Черчилль написал Клементине о Рэндольфе: «Он одинок, и ему еще далеко до полного восстановления, по крайней мере в том, что касается ходьбы». Кроме того, он был далеко не самым приятным гостем, увлекавшимся женщинами и выпивкой, но больше всего телефоном, за которым просиживал часами, звоня по всему миру, вспоминал Грэм Нортон, автор путевых очерков для журнала Country Life, который вращался в этих кругах. «А поскольку телефонные звонки были гораздо дороже выпивки, они [хозяева] нередко говорили: «Откройте бар и положите телефонную трубку». Нортон говорил по телефону в Чартвелле, когда впервые увидел Рэндольфа. Первые слова, которые Нортон услышал от наследника Черчилля, были: «Дай мне этот чертов телефон». Однако, несмотря на высокомерие, которое отмечали все без исключения, Рэндольф обладал политическим чутьем. Он советовал отцу с пониманием отнестись к де Голлю, поскольку тот был человеком, лишенным страны, а за спиной Черчилля была империя.

Во время короткого пребывания Черчилля семейные дела не обсуждались, чтобы не провоцировать скандал. Все в Лондоне знали, что брак Рэндольфа с Памелой был на грани краха. Гарольд Николсон в письме сыновьям написал: «Брак Рэндольфа на последнем издыхании, и Черчилль сильно переживает по этому поводу. Старик очень ценит семейный очаг и обожает свою семью»[36].

На протяжении четырех лет Средиземноморье занимало центральное место в мыслях Черчилля — военного стратега, и это было правильно, считали Гарольд Макмиллан и Ян Смэтс. Теперь взгляд Черчилля-политика устремился на Средиземноморье. По мнению Брука, зрение Черчилля, военного и политика, не всегда бывало острым, а теперь он практически ослеп. «Жизнь стала тихой и мирной после того, как Черчилль уехал в Италию! — написал Брук в дневнике. — Все делается в два раза быстрее». И добавил: «Мне кажется, настал момент, когда ради блага страны и ради его собственной репутации ему [Черчиллю] следовало бы уйти из политики. Он, возможно, сделал для страны больше, чем любой другой человек», однако «я полон дурных предчувствий, куда он может завести нас дальше». Черчилль устал, и понимал это. Несколькими неделями ранее он сказал Клементине и Гарольду Макмиллану: «Я старый и усталый человек. Я выдохся». Клементина возразила: «Подумай о том, как себя чувствуют Гитлер и Муссолини!» Уинстон ответил: «Ну, Муссолини хотя бы получил удовольствие, убив зятя». Макмиллан отметил, что Черчилль явно почувствовал себя лучше после этой шутливой перепалки и последовавшей за ней короткой прогулки[37].

Путешествие в Италию взбодрило его еще больше. Черчилль, прибыв в Неаполь 11 августа, ближайшие семнадцать дней в свое удовольствие занимался организацией дел в Восточном Средиземноморье. После двухдневных переговоров с Тито и доктором Иваном Шубашичем, баном Хорватии, ему удалось добиться от Тито — который использовал половину оружия и боеприпасов, поставляемых Британией для борьбы с сербами, — только расплывчатого обещания, что после войны он будет стремиться создать демократическое правительство. Черчилль написал Клементине: «Это, скорее всего, означает, что на первых ролях будет Тито, на вторых бан, а королю не найдется места». Как бы то ни было, но Тито поддерживал Черчилля в его стремлении уничтожить немцев. Черчилль преследовал две стратегические задачи: краткосрочную, в военное время, и долгосрочную, в послевоенное время. После войны ему нужны были сговорчивые, дружелюбно настроенные нейтральные государства, чтобы Средиземное море осталось британским. И для достижения этой цели ему приходилось вооружать антимонархически и даже прокоммунистически настроенных партизан, которые не хотели быть британскими марионетками в мирное время. Вспышки национализма — расколовшие Австро-Венгрию — опять случались в регионе. Но в случае Тито положительным качеством (для Черчилля) было его нежелание жить по указке Москвы и Лондона. Хорошо вооруженная нейтральная сторона была не хуже союзника. Подобные проблемы были связаны с Грецией. Согласно расшифровкам «Ультра», немцы действительно отступили, и, значит, Афины могли оказаться в руках коммунистов из народно-освободительной армии, что наверняка при-

ведет к гражданской войне, а этого Черчилль не мог допустить. В телеграмме Рузвельту он сообщил, что собирается отправить в Грецию 10 тысяч британских солдат, чтобы обеспечить порядок в стране до выборов, и попросил оказать материально-техническую поддержку. Рузвельт согласился оказать помощь[38].

Большое значение Черчилль придавал вопросу возвращения Италии в региональное содружество стран. Он считал, что этот процесс должен проходить постепенно, под контролем Вашингтона и Лондона, поскольку итальянцы совершили подлые поступки. Однако он хотел решить эту проблему. Он вцепился в эту проблему, как «собака в кость», написал в дневнике Гарольд Макмиллан. Выслушав рассуждения Черчилля об Италии, Макмиллан добавил: «Уинстон впечатляюще продемонстрировал свои возможности». Обедая с Макмилланом, Черчилль заметил: «Мы должны следовать завету Макиавелли: «Правление заключается главным образом в том, чтобы твои подданные не могли и не желали причинить тебе вред, а это достигается тогда, когда ты лишишь их любой возможности как-нибудь тебе навредить или осыплешь их такими милостями, что с их стороны будет неразумием желать перемены участи»[39].

Это был рабочий выходной. Черчилль четыре раза выкупался в море, в том числе один раз в Голубом гроте, и совершил несколько поездок с Александером, во время которых выстрелил из гаубицы (мимо цели), осмотрел поля сражений в Кассино и наблюдал за перестрелкой немцев и союзников с расстояния всего 500 ярдов. Перестрелка была «беспорядочной и прерывистой», позже написал он, «я еще никогда за эту войну не подбирался так близко к врагу и... слышал свист стольких пуль». Он не смог отказаться от своих венских амбиций, заявив гостям за обедом, что полномасштабная атака на Готскую линию, которую Александер запланировал на 26 августа, может привести к прорыву, что позволит союзникам «повернуть направо, захватить Австрию и изменить ход истории». Несколькими днями ранее Рузвельт сообщил, что на сентябрь запланирована Вторая Квебекская конференция, и Черчилль выразил желание включить в повестку дня вопрос о десантной операции в Адриатике. Но дело в том, что Балканы и Восточная Европа не сулили Рузвельту и Америке ничего, кроме неприятностей[40].

Спустя годы Малькольм Маггеридж, бывший сотрудник МИ-6, редактор журнала Punch, который часто и порой резко критиковал Черчилля, встал на сторону Старика относительно эгейской/венской стратегии. «Если бы он [Черчилль] заручился поддержкой Рузвельта, то смог бы изменить ход войны». После падения Италии «ничто не могло остановить их [наступление союзников на север], абсолютно ничто... все эти народы [в Австрии, Румынии, Венгрии и Болгарии] хотели, чтобы кто-нибудь успел прийти раньше русских. Им было плевать, кто именно, лишь бы не русские». Но к ним направлялись именно русские[41].

15 августа Черчилль наблюдал за высадкой «Драгуна» с британского эсминца «Кимберли». Три американские дивизии высадились в заливе Сен-Тропе, неподалеку от Марселя, а вскоре вслед за ними семь французских дивизий. Несколькими днями ранее, во время короткой прогулки по Неаполитанскому заливу, Черчилль приветствовал американских солдат, которые грузились на десантные суда и отправлялись во Францию. Позже он написал: «Они не знали, что если бы я добился своего, они бы поплыли в другом направлении». Австрия, желанная добыча, ускользнула из рук. Однако Черчилль сказал Александеру, что, даже если война подходит к концу, он должен «готовиться к стремительному рывку на бронированных машинах» к Вене[42].

Этап прорыва во Франции завершился, и начался этап преследования. 17 августа 3-я армия Паттона заняла Орлеан. 23 августа бойцы французского Сопротивления подняли восстание в Париже. 25 августа, после двухдневных уличных боев, немцы отступили, и Париж был спасен. В этот день 2-я бронетанковая дивизия Леклерка освободила «город огней», а де Голль, удачно подгадав момент, явился днем в военное министерство. Осмотрев помещения, он пришел к выводу, что за четыре года оккупации ничего не пропало, «кроме государства. Моей обязанностью было восстановить его: я сразу собрал штаб и взялся за работу»[43].

29 августа, ко времени возвращения Черчилля в Лондон, Монтгомери отбросил немцев за бельгийскую границу и захватил почти все стартовые площадки «Фау-1». 31 августа передовые части Паттона форсировали реку Мез в Вердене. Спустя три дня части американской 1-й армии в сотне миль к северу взяли Намюр. В последнюю неделю августа Гитлер приказал, чтобы 20 тысяч подневольных рабочих восстановили и укрепили западную стену, известную союзникам как линия Зигфрида, систему фортификационных укреплений протяженностью 400 миль, состоявшую из бункеров и противотанковых рвов, которая тянулась вдоль бельгийской и голландской границ до Рейна.

В начале сентября американская 1-я армия вышла к линии Зигфрида в районе Айфеля, невысокого нагорья, простирающегося от восточной части Бельгии до западной части Германии. К тому времени Паттон продвинулся еще на 35 миль к Мозелю и оказался всего в 30 милях от немецкой границы и индустриального района Саар и в 100 милях от Рейна. Рывок был настолько стремительным, что у основных сил Паттона закончился бензин. Шести его мощным дивизиям противостояло пять слабых немецких, но он не мог принять бой. Тем временем британцы 3 сентября освободили Брюссель, а на следующий день Антверпен (за исключением эстуария Шельды, выхода в порт). Теперь британцы тоже были на расстоянии менее ста миль

от Рейна и Рура, промышленного центра Германии. На этом фланге перед британцами была брешь в немецких рядах шириной почти 100 миль. «Такая удача на войне выпадает очень редко», — написал Лиддел Гарт. Черчилль отправил телеграмму Монтгомери, который 1 сентября был произведен в фельдмаршалы: «Как радостно видеть, что наши люди наконец смогли поднять голову после всех трудностей». В тот день Эйзенхауэр принял командование сражением от Монти. Решение Эйзенхауэра взять на себя еще и командование всеми сухопутными операциями на Западном фронте, написал Брук, «скорее всего, добавит войне от 3 до 6 месяцев!»[44].

На востоке Красная армия продолжала стоять у Варшавы, но вторглась в Финляндию. Маршал Маннергейм, сменивший Ристо Рюти на посту президента в середине августа, вел с Москвой переговоры о мире; мирный договор был подписан 19 сентября. На юге Красная армия ворвалась в Румынию, которая, после переворота 23 августа, организованного королем Михаем против Антонеску, вышла из оси. Одним ударом Гитлер лишился — а Сталин приобрел — двадцати румынских дивизий на Восточном фронте и тридцати в Румынии. Открылся путь в Болгарию и Югославию и дальше в Венгрию.

На очереди была Болгария. Ее экономика была разрушена: цены на продукты с 1939 года возросли в семь раз. Болгария не производила товары народного потребления. Берлин заставил Болгарию, которая с самого начала не горела желанием сотрудничать, переориентировать промышленность на производство вооружения. Но болгары верно служили Гитлеру в оккупированных Греции и Югославии, где были известны своей жестокостью. Ходили слухи о страшных пытках, которым подвергали пленных партизан. Выступая в палате общин, Черчилль осудил болгар за «злодеяния, которые они совершали в Греции и Югославии. Сами они не пострадали. Ничья нога не ступила на их землю... Поведение их солдат в измученных, удерживаемых в подчинении по приказу Гитлера соседних странах, Греции и Югославии, позорная страница, за которую они должны расплатиться сполна». С апреля Москва пыталась заставить болгар выйти из оси, но они не могли этого сделать, пока гитлеровские армии были ближе, чем Красная армия. 8 сентября, когда Красная армия была почти у границ, новый премьер-министр Болгарии Константин Муравиев объявил о переходе Болгарии на сторону союзников. На следующий день Красная армия пересекла границу и за неделю, прокатившись по стране, оказалась всего в 200 милях от Адриатики. К концу сентября начала приобретать очертания стена, которой Сталин хотел отгородиться от будущей угрозы с запада. Черчилль тоже пытался возвести защитный вал от русских на северном побережье Средиземного моря. А Гитлер, не считая фанатичных австрийских нацистов, остался фактически в одиночестве[45].

Во время полета из Неаполя в Британию у Черчилля поднялась температура до 39,5 °С. В аэропорту в Нортхолте его встречала большая компания, включая Клементину, Джока Колвилла и начальников штабов. Но после приземления Моран укутал своего подопечного и поспешно вывел его из аэропорта к ожидающему их автомобилю, и они поехали в Лондон. Рентген выявил пятно в легких, пневмония дала знать о себе в третий раз. Моран опять прописал M&B, и Черчилль оказался в постели, на этот раз в «пристройке». Он быстро шел на поправку, и 1 сентября температура была нормальная. Колвилл отметил, что Черчилль разбирал бумаги и был «в отличной форме». 4 сентября Черчилль, возмущенный сталинским отношением к варшавским партизанам, отправил Рузвельту копию телеграммы, направленной Сталину, в которой сообщил о бойне в Варшаве (в тот момент немцы убивали врачей, медсестер и пациентов городской больницы), добавив, что если «поляки в Варшаве теперь будут разгромлены немцами, как это, по нашим сведениям, и должно произойти через два-три дня, то потрясение общественного мнения здесь будет невероятно большим». Не дождавшись ответа от Сталина, Черчилль предложил отозвать конвои в Россию, но Иден отговорил его, убедив, что эта мера еще больше навредит полякам. Сталинские армии нуждались в оружии и продовольствии; отмена конвоев могла остановить их успешное наступление. Несколькими днями ранее Моран написал в дневнике: «В последнее время Уинстон совсем не говорит о Гитлере и только твердит о коммунистической угрозе. Ему видится, что Красная армия, как раковая опухоль, охватывает одну страну за другой. Это стало его навязчивой идеей, и, похоже, он только об этом и думает». Черчилль хотел обсудить с Рузвельтом эти тревожные мысли, и не только их, на приближающейся конференции в Квебеке[46].

В небе над Британией уже четыре дня не появлялись «Фау-1», когда 5 сентября Черчилль поднялся на борт «Королева Мария» в Гриноке и отплыл в Квебек. Из чуть более чем 10 тысяч «Фау-1», направленных на Британию, через Ла-Манш перелетели 7488. Из них 3900 были сбиты, а 2419 долетели до Большого Лондона, убив более 6 тысяч человек и ранив более 18 тысяч. 7 сентября Дункан Сандис сказал репортерам: «За исключением нескольких последних ударов, битва за Лондон окончена».

Сэндис глубоко заблуждался. Уже на следующий день две «Фау-2» упали на Лондон. Ракеты в высоту достигали 43 футов, стартовая масса составляла 14 тонн, они летели со скоростью 3600 миль в час и были оснащены жидкостным реактивным двигателем, работавшим на 75-процентном этиловом спирте и жидком кислороде. Запущенные из района Гааги, они преодолели 200 миль до Лондона меньше чем за пять минут. Опережая свой шокирующий звук, они приземлялись в тишине при скорости почти 2 тысячи миль в час. Рев, похожий на звук приближающегося товарного поезда, раздавался уже после взры-

ва. 2200-фунтовый боевой заряд мог уничтожить целый квартал. Правительство Британии, не желавшее, чтобы немцы узнали о точности попадания ракет, не объявило о нападении, списав все на взрыв газопровода. Этой версии правительство придерживалось в течение нескольких недель, даже когда британцы заметили, что «газопроводы» стали взрываться с периодичностью пять раз в день[47].

8 сентября Черчилль и еще 4 тысячи пассажиров «Королева Мария», включая раненых американских солдат, преодолели уже больше половины пути. Вместе с Черчиллем отправились Клементина и Сара, Джок Колвилл, лорд Моран, советник по науке лорд Червелл и огромное количество британских военнослужащих. Корабль следовал южным маршрутом, чтобы избежать встреч с немецкими подводными лодками, и пассажиры изнывали от жары: для англичан 26 °С казались настоящим пеклом. Черчилль, испытывавший недомогание из-за чрезмерных доз M&B, проводил время за игрой в безик и чтением романов Энтони Троллопа Phineas Finnand («Финеас Финн») и The Duke's Children («Дети герцога»). К досаде Брука, он не готовился к предстоящей конференции. За столом он твердил о мрачном будущем послевоенного мира. Он заявил, что не пожалеет ни об одном лейбористе, кроме Бевина — он называл их «посредственностями», — которые покинут коалицию. А что касается, изберут его снова или не изберут, то, заявил он, «что устроит народ Англии, устроит и меня». Он предрекал, что приближаются черные дни, что с наступлением мира будет наблюдаться дефицит потребительских товаров, а Британия окажется в тяжелом финансовом положении. Все, что он хочет, — чтобы солдаты вернулись домой, и сделать так, чтобы им было куда возвращаться. Он сказал: «Мысль, что голосованием можно добиться процветания, одна из самых абсурдных»[48].

Меню одного обеда включало устриц, жареную индейку, мороженое, мускатную дыню и сыр «Стилтон». «Все это запивали замечательным Liebfraumilch, за которым последовал бренди 1870 года, — написал Колвилл, — и разговор о дефиците потребительских товаров сам собой сошел на нет». Во время путешествия все отмечали апатичность Черчилля. Брук написал: «Он [Черчилль] выглядел постаревшим, нездоровым и подавленным. Очевидно, ему было сложно сосредоточиться, и он подпирал голову руками». Лорд Моран сказал Колвиллу, что жить Черчиллю осталось недолго, и Колвилл написал: «Он сказал, что причиной смерти будет инсульт или болезнь сердца». Впервые эти проблемы дали о себе знать в Белом доме в 1941 году и затем в Карфагене в 1943 году. «Пусть он хотя бы доживет до победы, — написал Колвилл. — Возможно, даже к лучшему, если он не увидит того, что произойдет позже»[49].

Шато Фронтенак и Квебекскую крепость снова оккупировали англо-американские знаменитости, военные и гражданские. Обстановка была знакомой, а вопросы, стоявшие на повестке дня, новыми. На

Квебекской конференции (кодовое название Octagon («Восьмиугольник») больше внимания было уделено управлению миром, чем победе в войне, — как наилучшим образом сдерживать Германию после поражения, и как наилучшим образом скоординировать действия союзнических войск в Тихоокеанском регионе. Прошло девять месяцев с тех пор, как Черчилль попрощался с Рузвельтом в Каире, и четыре года со встречи в заливе Пласентия. Европейская военная стратегия не стояла на повестке дня. Европейский фронт был фактически в руках Эйзенхауэра, который, хотя дал понять, что собирается следовать стратегии «широкого фронта», был готов воспользоваться любой слабостью немцев, включая брешь в немецком фронте напротив позиции Монтгомери. Черчилль, по-прежнему сосредоточенный на Адриатике, заявил начальникам штабов, что в Квебек они едут «только для того, чтобы добиться от американцев десантных судов» для высадки на Истрии и захвата Триеста. В Тихом океане, настаивали начальники штабов, Британии следует проявить солидарность с Соединенными Штатами, направив значительную часть Королевских военно-морских сил для нанесения удара в центральной части Тихого океана. Черчилль не согласился, продолжая настаивать на операциях на Суматре и в Сингапуре. По поводу его позиции Брук написал в дневнике: «Меня *очень, очень* сильно удручает мысль об этом совещании, если Черчилль радикальным образом не изменит свое мнение, мы окажемся в безнадежной ситуации»[50].

Брук напрасно волновался. Черчилль, не желавший, чтобы думали, будто он увиливает от своих обязанностей в Тихоокеанском регионе, согласился на британское военно-морское присутствие в центральной части Тихого океана, где флот адмирала Нимица — солдаты и морские пехотинцы — двигались на север; их предпоследней целью была Окинава, а последней вся Япония. Тем временем Макартур направлялся к своей цели, Филиппинам. Нимиц и адмирал Кинг не хотели никого привлекать к своей операции, включая британский ВМФ; американцы считали, что обладают настолько мощным флотом, что для победы над Японией им не требуется помощь британского флота. Они, как всегда, считали, что единственной целью Черчилля является возврат потерянных британских колоний. Черчилль только усугубил положение, заявив на одном из пленарных заседаний, что самые важные цели, каждая на своем театре, Вена и Сингапур. Брук написал, что «он не помог наладить диалог с американскими начальниками штабов». Но, несмотря на то что Черчилль отвлекался на Австрию и Малайю, военные совещания проходили хорошо, отчасти потому, что американские начальники штабов, окрыленные победами в Тихом океане и уверенные, что война в Европе закончится к Рождеству, были настроены довольно миролюбиво. Американцы согласились не настаивать на сокращении армии Александера. Брук написал в днев-

нике, что американцы «продемонстрировали замечательное стремление к сотрудничеству». Многие высокопоставленные лица почувствовали прилив оптимизма, но только не Черчилль, который сказал Колвиллу: «Готов поспорить, что на Рождество немцы все еще будут сражаться, а если и потерпят поражение, то по политическим, а не военным причинам»[51].

Американцы проявили сговорчивость и по вопросу распределения оккупационных зон в побежденной Германии. Они хотели занять западную часть страны, рядом с британцами, и добивались только выхода в Эссен. Черчилль, по совету Идена, предложил выделить также французскую оккупационную зону. Это был хитрый ход в духе Рузвельта, в чем он весьма преуспел. Американцы пока не признали Комитет национального освобождения де Голля, который де-факто являлся правительством Франции, но не де-юре, по мнению Рузвельта. Не отрицая прямо роль Франции в послевоенной Германии, Рузвельт молчаливо признал лидерство де Голля, поскольку если время делить зоны наступит в течение нескольких недель, как считали многие, то кому, как не де Голлю, принять такое предложение от лица Франции? Рузвельт был не в форме. Черчилль сказал Колвиллу, что у него вызывает опасение состояние здоровья президента[52].

Что касается наказания послевоенной Германии, то Черчилль, давно выступавший за возрождение экономики и разоружение Германии, демонстрировал растущее угодничество в отношении Рузвельта и американцев. В конце июля Красная армия освободила лагерь смерти Майданек на окраине Люблина. В отличие от лагерей Треблинка и Собибор, которые немцы уничтожили и перепахали территорию перед появлением Красной армии, Майданек покидали в такой спешке, что он еще работал, когда советские войска вошли в ворота. Запад получил сообщения через несколько недель. Людей сжигали живьем. В четырех газовых камерах за один раз убивали 250 узников с помощью угарного газа и гранул «Циклон-Б». Тела отвозили в ближайший крематорий, где от них оставался только пепел, который использовался в качестве удобрения. В складских помещениях были обнаружены десятки тысяч пар обуви. Одна из узниц рассказала американскому журналисту, что во время работы лагеря через громкоговорители постоянно транслировались вальсы Штрауса. «Вальс «На прекрасном голубом Дунае» навсегда потерял для нас свою красоту», — сказала она. Другая женщина повторила слова, которые американцы слышали в тот день сотни раз: «Надеюсь, вы, американцы, не станете щадить немцев»[53].

13 сентября во время обеда, на котором присутствовали Черчилль, Рузвельт, лорд Моран, лорд Червелл и адмирал Лихи, Генри Моргентау рассказал о том, какое будущее он планировал для Германии: похоронить немецкую промышленность, уничтожить верфи и угольные шахты и превратить страну в пастбище. Гарри Гопкинса не было за

столом. Его вообще не было в Квебеке, что беспокоило Черчилля, который всегда полагался на Гопкинса, когда объяснял свою точку зрения Рузвельту. Вместо этого здесь находился Моргентау, который не присутствовал ни на одной из прошлых конференций. Когда Моргентау закончил выступление, Черчилль выступил с возражениями. Он целиком поддерживал разоружение Германии, но считал, что нельзя превращать ее в пустошь. «Я согласен с [Эдмундом] Берком, — сказал Черчилль. — Нельзя обвинять весь народ». Англичане, заявил он, выступят против порабощения немецкого рабочего класса. Британский экспорт стали и платежный баланс, подчеркнул Моргентау, только выиграют от уничтожения Рура. Рузвельт, как Сталин на Тегеранской конференции, высказал мнение, что немецкий завод по производству металлической фурнитуры можно легко превратить в завод по производству оружия. Черчилль не предложил никакого плана, но ясно дал понять, что не поддержит Моргентау. Он отреагировал с «инстинктивным отвращением», отметил Моран и добавил: «Он ненавидел жестокость». Но за двое суток Червелл сумел переубедить Черчилля. (Это в те недели Черчилль сказал Морану, что, «если Рурскую область засеют травой, это будет хорошо для нашей торговли».) 15 сентября Рузвельт и Черчилль поставили подписи под Планом Моргентау[54].

Это была мертворожденная идея. Стимсон, Гопкинс и Халл считали план чудовищным, о чем и сообщили Рузвельту. В начале октября Халл сказал Рузвельту, что бесчеловечно обрекать немцев на голод, и прочел президенту расшифровку стенограммы совещания, на котором Рузвельт поддержал принятие самых жестоких мер в отношении Германии: «Жду с нетерпением превращения Германии в аграрную страну». Рузвельт не помнил этих слов, но вскоре после беседы с Халлом отменил План Моргентау.

Черчилль и Рузвельт, как отметили многие участники конференции, прибыли в Квебек уставшими и рассеянными. То же можно было сказать об альянсе. Роберт Шервуд позже написал: «Союзники были хорошо подготовлены к войне на истребление в Европе, но плохо готовы к такому повороту, как внезапная полная победа». Встреча в Квебека на самом деле созывалась для того, чтобы британцы и американцы смогли достичь соглашения по повестке дня следующего совещания «Большой тройки», которое Рузвельт предложил Сталину. Казалось, на встрече в Квебеке стороны пришли к общему мнению, но это было не так. Польский вопрос — первоочередная цель Сталина и Черчилля — даже не поднимался[55].

По окончании работы конференции, 17 сентября, Черчилль с семьей и несколькими помощниками отправились на поезде в Гайд-Парк. Там, когда напряжение пленарных заседаний осталось позади,

к Черчиллю вернулись силы, чему отчасти способствовали пикники, которые Клементина описала как «довольно приятные». Объявился Гарри Гопкинс, что приободрило Черчилля, который считал, что его отсутствие в Квебеке связано с разногласиями с Рузвельтом. На самом деле Гопкинс большую часть года провел в больнице[56].

Из Европы приходили на удивление хорошие новости, хотя Колвилл заметил: «Читая американские газеты, можно подумать, что на фронте вообще нет британских солдат». В Time напечатали карту Западного фронта, подписанную: «Американские солдаты наступают». На самом деле американцы, дойдя до Ахена, остановились для переукомплектования. К ярости Патона, ему сократили норму бензина, поскольку он был необходимым Монтгомери, чтобы начать операцию «Маркет гарден». По плану солдаты 1-й британской воздушно-десантной дивизии при поддержке польской парашютной бригады должны были высадиться на северном берегу Рейна у города Арнем — у предполагаемой бреши в линии фронта. Американские 101-я и 82-я воздушно-десантные дивизии должны были высадиться в Нидерландах, у канала Вильгельмины и Мааса соответственно. Захватив мосты через эти и еще четыре водные артерии, танковые и пехотные войска союзников должны были наступать на север через Нидерланды, чтобы соединиться с высадившимся десантом в Арнеме. Монти собирался использовать брешь в линии фронта у Рура. Если эта брешь и была широкой в начале, то теперь она постепенно закрывалась. Приближались британские солдаты. Монтгомери перешел в наступление 17 сентября. К тому времени, написал Роберт Шервуд, высшие чины в британском и американском командовании считали, что «Германия капитулирует в ближайшие недели или даже дни». Черчилль не разделял их оптимизма, но новости из Европы действительно были хорошие[57].

Когда 20 сентября в Нью-Йорке Черчилль с компанией поднялся на борт «Королевы Марии», Колвилл отметил, что Старик «выглядел намного, намного лучше — как сказал бы Джон Пек, «крепким»[58].

К тому времени, как Черчилль 26-го числа вернулся в Лондон, операция «Маркет гарден» с треском провалилась. Погода ухудшилась, и небо над Нидерландами исключило возможность доставки ресурсов и подкрепления, как и бомбардировки немецких позиций. Колонны союзнических танков образовали затор на шоссе с двумя полосами движения, тянувшемся через Нидерланды в северном направлении (по обе стороны были минные поля и заболоченная земля). Неудачная попытка союзников захватить устье Шельды позволила немцам эвакуировать оттуда 60 тысяч человек, чтобы заполнить брешь, через которую хотел проникнуть Монти. Наступление провалилось окончательно, и Колвилл написал в дневнике, что в результа-

те «1-я воздушно-десантная дивизия была почти уничтожена в Арнеме». Было понятно, никто с Западного фронта — ни британцы, ни канадцы, ни американцы — не вернется домой к Рождеству. Спустя три дня Черчилль отправил Рузвельту телеграмму: «Мне совершенно ясно, что в этом году Германию не удастся победить»[59].

Выступая в палате общин 28 сентября, Черчилль попытался представить разгром в Арнеме в наиболее благоприятном свете, но даже ему это было не под силу. «Стране и всему миру уже предоставлены подробные отчеты об этой блистательной и плодотворной операции, которая займет прочное место в нашей военной летописи и будет служить примером высоких идеалов долга и отваги для молодежи». По поводу безрассудных решений Гитлера не уступать ни пяди земли во Франции и на востоке Черчилль заметил: «Мы не должны забывать о том, сколь многим мы обязаны глупостям — невероятным глупостям, — совершаемым немцами. Я не люблю сравнивать Гитлера с Наполеоном. Не надо оскорблять великого императора и воина, сопоставляя его с жалким любителем митингов и мясником. Однако они похожи в одном: обоим свойственно страстно цепляться за каждый клочок территории, на которую их выносит зыбкая волна»[60].

Со времени поездки в Нормандию 20 июля Черчилль проводил большую часть времени за пределами Британии. Это было источником постоянного беспокойства заместителя премьер-министра Клемента Эттли, который считал, что отсутствие Черчилля мешает решению неотложных задач на домашнем фронте, в том числе проведению в жизнь плана восстановления и строительства тысяч домов, разрушенных с 1940 года и во время бомбардировок ракетами «Фау». Эттли был бы очень недоволен, узнай он о том, что сразу по возвращении в Лондон Черчилль поручил Исмею и маршалу авиации Порталу составить маршрут, чтобы как можно быстрее отправиться в Москву. Учитывая, что сталинские армии были в Румынии и Болгарии и готовились к наступлению в направлении Белграда и Будапешта, требовалось срочно обсудить события на Балканах и в близлежащих районах. Кроме того, поскольку Красная армия бездействовала, глядя на горящую Варшаву, требовалось обсудить вопрос освобождения Польши.

29 сентября Черчилль сообщил Рузвельту о своих планах посетить Москву. Он информировал президента, что собирается обсудить со Сталиным балканский и польский вопросы, а также ситуацию на Тихоокеанском фронте. Поскольку Рузвельт уже сказал Черчиллю, что пригласил Сталина на встречу «Большой тройки», визит премьер-министра в Москву должен был заложить фундамент для предстоящего совещания. Черчилль заверил Рузвельта, что будет регулярно извещать его о ходе переговоров, и попросил о присутствии на встречах Аверелл Гарриман, чтобы Сталин понимал, что это трехсторонние переговоры.

Гарри Гопкинс опасался, что всего за месяц до президентских выборов Сталин и Черчилль могут сделать какое-то совместное заявление, отодвинув Рузвельта на второй план. Гопкинс убедил Рузвельта отправить Сталину телеграмму, в которой он ясно дал понять, что Черчилль не уполномочен говорить от имени Соединенных Штатов. Сталин воспринял телеграмму, позже написал Гарриман, как знак, что его союзникам недостает сплоченности и решительности, особенно в отношении Польши. Гарриман считал, что Рузвельт совершил ошибку, не подтвердив единство намерений Британии и Америки в отношении польских границ и формирования демократического правительства Польши. И Сталин, конечно, это отметил. Перед отъездом в Москву Черчилль сказал Колвиллу, что он предпринимает эту поездку с целью «опровергнуть мысль, что Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки собираются (примером может служить Квебекская конференция) решать вопросы в обход России». Он хотел показать, что Сталина не оставили за бортом. Но дело в том, что рузвельтовское письмо Сталину показало, что за бортом оставили Черчилля. Теперь Сталин мог сделать вывод, считал Гарриман, что любые договоренности с Черчиллем не будут иметь силы[61].

3 октября Черчилль с Клементиной посетили спектакль по пьесе Бернарда Шоу «Оружие и человек», а на следующий день спектакль «Ричард III». Это был умный ход, рассчитанный на общественность. В 1940 году Черчилль появлялся на публике, чтобы показать лондонцам, что он с ними и тоже подвергается опасности. И хотя Червелл подсчитал, что вероятность попадания ракеты в Черчилля во время любой ночной бомбардировки 1 к 648 тысячам, в то время только неисправимые оптимисты строили планы на будущее.

7 октября во второй половине дня Черчилль отправился в Москву на своем Avro York. Самолет был достаточно комфортным, но путешествие в Москву все-таки было долгим и опасным. Моран, опасаясь за сердце Черчилля, потребовал, чтобы самолет не поднимался выше 8 тысяч футов. Все эти странствия, как правило, плохо отражались на здоровье Старика. Через восемь недель ему исполнялось 70 лет, и он уже не был таким крепким, как в 1940 году. Полет длился тридцать шесть часов — двадцать три из них в воздухе — с посадками в Неаполе и Каире. 9 октября Черчилль прибыл в Москву. Понятно, что он устал от долгого путешествия. Сталин усталым не был[62].

Спустя годы Аверелл Гарриман указал на две ошибки, которые допустил Черчилль, описывая встречу в Москве в своих военных мемуарах. Одна незначительная: Черчилль написал, что Сталин поселил его в доме в Москве, но на самом деле он снова остановился за городом, хотя ему и была выделена квартира в Москве, где Черчилль ночевал один раз за десять дней. Вторая ошибка грубейшая: Черчилль написал, что Гарриман присутствовал на первом заседании (кодовое

название «Толстой»). На самом деле его там не было. И он, следовательно, не мог знать (и смог составить полную картину из обрывочных сведений только в ближайшие три дня) о том, что Сталин с Черчиллем договорились о разделе Восточной Европы на сферы влияния именно таким образом, которого опасался Гопкинс и категорически не хотел Рузвельт.

Оставшись наедине со Сталиным, Черчилль набросал соглашение на половине бумажного листа. В Румынии русские должны занять преобладающее положение на 90 процентов, в Греции такое же положение должны занять британцы, и пополам в Югославии и Венгрии, а в Болгарии 75 процентов Москве, и 25 процентов Британии и Америке (по сути, только Британии, поскольку Соединенные Штаты не хотели принимать участие в подобных соглашениях, ни здесь, ни в Греции). Черчилль передал листок Сталину, последовала небольшая пауза, после которой Сталин взял синий карандаш и поставил на листке галочку. После этого Черчилль спросил: «Не покажется ли несколько циничным, что мы решили эти вопросы, имеющие жизненно важное значение для миллионов людей, без подготовки, словно между делом? Давайте сожжем эту бумажку». — «Нет, оставьте ее себе», — сказал Сталин. Перед отъездом из Москвы Черчилль сообщил Рузвельту, что был очень рад присутствию на переговорах Гарримана, однако добавил: «Уверен, вы не хотели, чтобы это помешало нашим разговорам tête-a-têtes с Дядюшкой Джо... поскольку обычно именно в таких беседах легче всего достигнуть понимания. О всех контактах такого рода я буду вас подробно информировать. Я буду информировать вас обо всем, и мы не будем решать никаких вопросов, за исключением предварительных соглашений между Англией и Россией, подлежащих дальнейшему обсуждению и окончательному решению совместно с Вами. Я уверен, что на этой основе вы не будете возражать против наших попыток добиться полного взаимопонимания с русскими». 11 октября Черчилль поставил Рузвельта в известность, что они «рассмотрели оптимальный способ достижения соглашений по поводу политики на Балканах». На самом деле они уже достигли соглашения, хотя, по мнению Сталина, эта договоренность, как и все остальные, не имела обязательной силы[63].

Черчилль также сообщил Рузвельту, что на следующем этапе переговоров пойдет разговор о линии Керзона, в котором примут участие, помимо Сталина и Черчилля, лондонские поляки, представлять которых будет Станислав Миколайчик (Черчилль вызвал его из Лондона) и Болеслав Берут, бывший деятель Коминтерна и глава люблинских поляков. Гарриман, который 12 октября присутствовал в качестве наблюдателя на первой встрече Черчилля, Сталина и лондонских поляков, спустя несколько минут понял, что между сторонами возникло серьезное недопонимание, причем по вине Рузвельта. В июне пре-

зидент лично заверил Миколайчика, что он не поддержал установление границ Польши по линии Керзона на Тегеранской конференции. Действительно, он не участвовал в обсуждениях, касающихся польской восточной границы, но, очевидно, сказал Сталину и Молотову, что поддерживает перемещение восточной польской границы почти на 150 миль к западу, к реке Одер, но при этом использовал настолько расплывчатые обороты речи, что его мысль исказилась при переводе. Сталин понял так, что те территории, которые Польша теряет за счет сдвига границы на востоке, она получит за счет сдвига границы на западе, именно это предлагал Сталину Черчилль во время их послеобеденных бесед в Тегеране. Но поскольку до выборов в Америке оставалось уже меньше месяца, было бесполезно требовать от Рузвельта, чтобы он прояснил общественности свою позицию[64].

Черчилль уже почти год считал линию Керзона наиболее приемлемым вариантом новой восточной границы Польши. Этого требовал Сталин, этого хотели в Львове. Когда лорд Керзон в 1919 году впервые предложил провести по этой линии польскую восточную границу, он учитывал этническую принадлежность жителей региона. Поляки жили в основном к западу от линии, русские к востоку.

Руководствуясь этими доводами, Черчилль в течение пяти дней пытался переубедить Миколайчика. Он применял те же методы, что и в переговорах с начальниками штабов: сначала он просил, потом умолял, затем угрожал, разглагольствовал и унижался. В присутствии Сталина он сказал Миколайчику, что сейчас неподходящее время для раскола между британским правительством и лондонскими поляками. Он объяснил, какие перспективы откроются перед Польшей после приобретения Данцига и Восточной Пруссии, части Силезии с ее минеральными ресурсами, а также плодородной полосы земли шириной 125 миль в Восточной Германии. Миколайчик ответил, что он единолично не может принять это решение и что это должен сделать польский народ. Общественное мнение, сказал он, не допустит, чтобы он принимал это решение в одностороннем порядке, на что Черчилль ответил: «Что такое общественное мнение? Право быть уничтоженным!» Когда 14 октября в переговоры вступили люблинские поляки, сразу стало ясно, что они просто пешки в руках Москвы. Идену они показались «противными»; кивнув в сторону Берута и его соратника, он шепнул Черчиллю: «Крыса и куница». Черчилль отправил королю Георгу телеграмму с отчетом о переговорах и написал с прямотой, которую он постарался бы избежать, не будь польский лидер в изгнании конституционным монархом (и, возможно, кузеном короля): «Позавчера был «Всепольский день». Наши из Лондона, как известно Вашему Величеству, порядочные, но слабые». Люблинские поляки, написал Черчилль королю, оказались «просто пешками». Он надеялся, что все разрешится, но добавил: «Если этого не произойдет, нам при-

дется на время замять вопрос и снова поднять его уже после выборов [в Америке]». Решить вопрос не удалось. Миколайчик настаивал, чтобы Львов остался в новой Польше. Черчилль попрощался с ним, пригрозив, что Англия вполне может решить, что выполнила свои обязательства перед Польшей, и дело с концом[65].

Когда Черчилль предложил, чтобы в составе нового польского правительства было поровну лондонских и люблинских поляков, Сталин с Молотовым отказались, заявив, что люблинские поляки должны иметь 80 процентов мест в правительстве. И Львов не подлежит передаче. Иден признался в дневнике: «Таким образом, после многочасовых напряженных переговоров стало казаться, что из-за Львова все наши усилия пойдут прахом». Миколайчик, который, по мнению Идена, во время заседаний проявлял «спокойную решимость», вернулся в Лондон, пообещав Черчиллю, что сделает все, чтобы убедить своих коллег. Он сказал, что рассчитывает вернуться с ответом через несколько дней[66].

Ежевечерние банкеты в Москве продолжались до утра. 16 октября политики побывали на представлении в Большом театре. Это был первый поход Сталина в театр с начала войны, а появление в обществе иностранца было для него и вовсе из ряда вон выходящим событием. Когда Сталин и Черчилль встали в ложе, чтобы поприветствовать зрителей, в зале раздались оглушительные аплодисменты, которые Иден сравнил со звуком «дождя, колотящего по железной крыше». В антракте Черчилль и Иден быстро прошли в туалетную комнату, где долго обсуждали — или Черчилль долго разглагольствовал — относительно новой стратегии поведения с поляками. Иден напомнил премьер-министру, что представление не начнется, пока они не вернутся в ложу, и напоминал ему об этом снова и снова. Когда они наконец вернулись в ложу, хозяева ничего не сказали об их долгом отсутствии, но вечером на ужине в сталинской квартире в Кремле Сталин, указав на дверь, сказал: «Там, если желаете, можно вымыть руки, это то место, где, как я понимаю, вы, англичане, любите проводить политические совещания». Черчилль начал испытывать симпатию к Сталину. В телеграмме Клементине он признался: «У меня были удачные переговоры со Старым Медведем. С каждым разом он нравится мне все больше. Теперь нас здесь уважают»[67].

Через пять дней после возвращения в Лондон, 27 октября, Черчилль заявил в палате общин: «Я рад сообщить палате, что наши отношения с Советской Россией никогда не были такими близкими, теплыми и крепкими, как сейчас». Но, предупредил он, «будущее мира зависит от совместных усилий, которые три наши страны (Америка, Великобритания и Россия) предпримут в ближайшие годы. Другие страны также могут быть вовлечены в процесс, но будущее зависит от союза трех са-

мых могущественных союзников. Если союз разрушится, то разрушится все; если же он окажется успешным, то все народы могут быть уверены в свободном будущем». Он также сообщил палате, что три великие державы «твердо убеждены, что необходимо воссоздать сильную, независимую, суверенную Польшу, верную союзникам и дружественную к своему великому соседу и освободителю, России». Учитывая стремление Сталина уничтожить Польшу в 1939 году, слово «освободитель» в устах Черчилля прозвучало в лучшем случае иронично. Затем Черчилль высказал недовольство в адрес лондонских поляков, заявив, что, если бы в начале года они прислушались к его совету, «не возникло бы лишних осложнений при формировании Польского комитета национального освобождения в Люблине; дальнейшее затягивание вопроса приведет только к увеличению пропасти между поляками в Польше и помешает совместным действиям поляков, русских и остальных союзников против Германии». Он не стал долго останавливаться на этом вопросе, по сути, он просто сказал полякам, что они сами несут ответственность за все, что с ними произошло[68].

Миколайчик так и не вернулся в Москву, чтобы прийти к соглашению. Вместо этого, не желая достигать соглашений по каким-либо вопросам до мирной конференции (Черчилль занял подобную позицию в начале войны), в конце ноября он вышел из состава польского правительства, передав бразды правления сторонникуумеренных взглядов, польскому социалисту Томашу Арцишевскому. Арцишевский провел реорганизацию лондонских поляков, сказал Черчилль в палате, «в такой форме, которую я не могу приветствовать». Черчилль добавил, что, если бы Миколайчик пришел к соглашению со Сталиным, «он бы сейчас был главой польского правительства, на Польской земле, признанный всеми объединенными нациями, и ожидал дальнейшего продвижения русских армий по территории Польши, освобождавших страну от немцев». Он еще раз повторил, что, «если бы польское правительство в начале этого года согласилось с предложенной границей, не было бы никакого Комитета в Люблине, прочно связанного с Советской Россией. И я утверждаю, что если бы господин Миколайчик смог быстро вернуться в Москву в начале ноября... чтобы заключить соглашение о пограничной линии, Польша могла бы сейчас занять достойное место в рядах стран, сражающихся против Германии, и имела полную поддержку и дружбу маршала Сталина и советского правительства». Черчилль ясно дал понять: лондонские поляки ничего не делали и теперь все в Польше столкнутся с последствиями этого бездействия[69].

Во время пребывания Черчилля в Москве Сталин сказал ему, что лично он одобряет официальное признание де Голля и Французского комитета национального освобождения, но не делает публичных за-

явлений, чтобы избежать раскола в рядах «Большой тройки». 14 октября Черчилль отправил Рузвельту телеграмму, в которой предложил официально признать временное правительство де Голля. Франция очищена от немцев, сказал он президенту, и де Голль вплотную занялся гражданскими делами. Позже Иден, медленно подводивший Черчилля к пониманию этого вопроса, написал: «Господин Черчилль обладал редкой мудростью, которая позволяла ему соглашаться с доводами, которые он поначалу отвергал, если после некоторого размышления он признавал их разумными». Халл тоже убеждал Рузвельта, что отказ признать де Голля плохо отразится на Соединенных Штатах, если Россия и Британия признают его. Рузвельт настолько быстро изменил точку зрения, что, вернувшись 22 октября в Лондон, Черчилль узнал, что накануне американцы объявили о признании Французского комитета национального освобождения, даже раньше, чем Рузвельт официально уведомил Лондон[70].

Это означало, что Дафф Купер теперь стал послом Великобритании во Франции, а не просто британским представителем во Французском комитете национального освобождения. Когда Черчилль нанес визит де Голлю в Париже 10 ноября, его принимал уже не просто le général, а l'etat. На следующий день, в 26-ю годовщину перемирия*, Черчилль и де Голль возложили венки на Могилу Неизвестного Солдата у Триумфальной арки, а затем, подхваченные толпой сотен тысяч восторженных французов, прошли плечом к плечу по Елисейским Полям.

Толпа, написал Кадоган, скандировала: «Чер-чилль, Чер-чилль!», а премьер-министр улыбался и махал рукой. Когда Черчилль возложил букет у подножия памятника Клемансо, военный оркестр по приказу де Голля заиграл Le Père la Victoire («Отец Победы»). Де Голль склонился к Черчиллю и произнес на английском: «Для вас». «И это было заслуженно», — написал де Голль в своих мемуарах[71].

Во время обеда в парижской ратуше Отель де Виль де Голль спросил Черчилля, какое из событий сегодняшнего дня произвело на него наибольшее впечатление. Черчилль ответил: «Ваше единство». Однако, несмотря на проявленное дружелюбие, де Голль ясно дал понять Черчиллю, что Франция хочет (и заслуживает) участвовать в оккупации Германии и что, хотя он оценил приглашение англичан, американцев и русских заседать в Европейской консультативной комиссии, которая решает судьбу послевоенной Германии, это только первый шаг. Де Голль потребовал, чтобы Франция стала «полноправным пар-

* 11 ноября — день подписания Компьенского перемирия, положившего конец военным действиям Первой мировой войны. Национальный праздник в большинстве стран бывшей Антанты. В Великобритании и странах Британского Содружества, Канаде, Франции называется День памяти, в Соединенных Штатах — День ветеранов.

тнером» в управлении миром. Черчилль согласился и сообщил об этом Рузвельту в телеграмме от 16 ноября. Ответ Рузвельта был сдержанным — Иден назвал его «язвительным по отношению к французам и в целом высокомерным и отстраненным». Президент предлагал отложить любые разговоры о роли французов до следующей встречи «Большой тройки». Он добавил знакомый рефрен, который всегда выводил Черчилля из душевного равновесия: «Вы, конечно, знаете, что после падения Германии я должен вернуть американских солдат домой настолько быстро, насколько позволит ситуация с транспортом»[72].

Рузвельт собирался вернуть солдат домой, чтобы отправить их по железной дороге через всю страну, на Западное побережье, откуда они должны были отплыть в Японию; где ожидаемые потери американских солдат должны были составить более миллиона человек. Взгляд президента был устремлен на Тихий океан, на врага, который вовлек Америку в эту войну. Черчилль и Иден смотрели через Ла-Манш, как это делали англичане на протяжении веков. Они видели, что из-за решения Рузвельта в Европе останется плохо вооруженная и численно слабая французская армия, в которой едва наберется восемь дивизий, измученная британская армия и Красная армия.

В конце осени Черчилль переключил внимание на Грецию, где в начале декабря вспыхнула гражданская война. Коммунистические полувоенные формирования ЭЛАС (Народно-освободительной армии) захватили больше половины полицейских участков в Афинах и атаковали посольство Великобритании; Национально-освободительный фронт Греции вышел из состава королевского правительства премьер-министра Георгиоса Папандреу. Иден считал, что необходимо убедить греков решать разногласия «с помощью избирательных урн, а не бомб». Иден уговаривал греческого короля Георга II назначить регентом архиепископа Элладской православной церкви Дамаскина, чтобы выбить почву из-под ног ЭАМ (Национально-освободительного фронта). Черчилль, зная, что немцы позволили возвести на архиепископский престол митрополита Дамаскина, против которого выступал покойный диктатор Иоаннис Метаксас, считал архиепископа «предателем и коммунистом». Кадоган язвил, что архиепископ стал черчиллевским «новым де Голлем». Черчилль отказался оказывать давление на греческого короля по этому вопросу, заявив кабинету: «Я не стану вводить в должность диктатора [Дамаскина] — диктатора левых». Поскольку Черчилль не пытался убедить его в обратном, король Георг II продолжал отвергать предложение о регентстве, утверждая, что назначение регента греческий народ воспримет как свидетельство, что король бросил своих подданных. Во время демонстраций, которые начались в Афинах в первых числах декабря, погибло по меньшей мере двадцать горожан. Ге-

нерал-лейтенант Рональд Скоби и 5 тысяч британских солдат оказались на грани войны с греческими коммунистами[73].

5 декабря Черчилль отправил Скоби телеграмму, приказав открывать огонь, если возникнет такая необходимость для установления порядка. Одна фраза в этой телеграмме вскоре создала проблему: «Действуйте без колебаний так, как если бы вы находились в побежденном городе, охваченном местным восстанием». Лучше было бы использовать слово «оккупированном», но Черчилль вышел на тропу войны, твердо убежденный, что 30-тысячные потери, понесенные Британией во время обороны Греции в 1941 году, оправдывают возвращение в Грецию; он действительно верил, что греки были благодарны британцам за помощь тогда и нуждаются в ней сейчас. Кроме того, в Москве Черчилль заплатил приличную цену за влияние на греческие дела и собирался придерживаться договоренностей, достигнутых со Сталиным. «Мы должны удержать Афины и обеспечить там свое господство. Было бы хорошо, — написал Черчилль Скоби, — если бы вам удалось достигнуть этого, по возможности без кровопролития, но в случае необходимости и с кровопролитием». Черчилль сказал Рузвельту, что плохо знает Дамаскина, но британские чиновники в Афинах полагают, что архиепископ «может закрыть брешь и навести мосты». Если бы Черчилль разобрал свои коробки с бумагами — к тому времени было уже три «безнадежно переполненных» коробки, вспоминал Колвилл, — он бы знал, что архиепископ был наилучшим вариантом, если требовалось усадить враждующие стороны в Греции за стол переговоров. Проблема жесткой — военной — позиции в Грецию, по мнению Идена, заключалась в том, что мнение мировой общественности могло воспринять действия британских солдат не как попытку восстановить порядок, а как попытку «восстановить» короля под дулом пистолета[74].

Американцы обозначили свою позицию, прислав нового Государственного секретаря Соединенных Штатов Эдварда Стеттиниуса и американского обозревателя Дрю Пирсона. Стеттиниус 1 декабря сменил на посту невероятно уставшего Корделла Халла, который занимал эту должность почти двенадцать лет, дольше, чем кто-либо другой. Стеттиниус, вступив в должность, опубликовал заявление, в котором прямо заявил, что действия Британии в Италии и Греции были не более чем имперским вмешательством в дела союзных государств. Это уже само по себе было оскорбительно, но вдобавок кто-то то ли из Государственного департамента, то ли из Белого дома передал Пирсону черчиллевскую телеграмму Скоби. Пирсон помчался с ней в The Washington Post, вновь подняв вопрос, не погибают ли американские мальчики за беспринципный британский империализм. Черчилль «пришел в ярость», написал Колвилл, узнав, что его личная переписка попала в американскую прессу. Похоже, что Пирсон стал обладателем

телеграммы по той причине, что сильно уставший Джок Колвилл, который составлял телеграмму Скоби в четыре утра 5 декабря, забыл пометить ее знаком «охрана», это означало, что она не была предназначена для глаз американцев. Вместо этого она прошла по американским военным и дипломатическим каналам и в конце концов оказалась у Пирсона. Колвилл признался в своей оплошности Старику, который «добродушно» сказал молодому секретарю, что «он сам виноват в том, что задержал его допоздна»[75].

Times, The New Statesman, леволиберальная The Manchester Guardian и Лейбористская партия присоединились к негодующим протестам Пирсона; Кадоган назвал их критику «помоями» и «бессовестным клеветническим мусором». Эньюрин Бивен и более агрессивно настроенные члены парламента от Лейбористской партии «увидели шанс, ниспосланный с небес», написал Колвилл. 8 декабря встал вопрос о вотуме доверия в связи с вмешательством Черчилля в дела Греции. В ходе дебатов в палате общин Черчилль подверг безжалостной критике всех, кто не одобрял его политику, включая Государственный департамент Соединенных Штатов и Франклина Рузвельта. Заявив о своей решимости следовать избранным курсом, он объявил: «Я говорил, что мы идем тягостным, мучительным путем. Бедная старая Англия! Возможно, мне следовало сказать: «Бедная старая Британия!» Это был выпад в сторону Рузвельта, который — из опасения обидеть шотландцев, валлийцев и северных ирландцев — настаивал, чтобы в правительственных документах никогда не использовалось слова «Англия», а только «Британия». Черчилль продолжил, опять имея в виду Америку: «Мы должны принять на себя бремя самых неблагодарных задач, и, пока мы будем их выполнять, над нами будут издеваться, нас будут критиковать, нам будут мешать; но мы, по крайней мере, знаем, к чему стремимся, видим конец пути, понимаем, какова наша цель». Целью — в Греции, в Италии, в любом оккупированном нацистами месте — была демократия. Он объяснил палате, что британские солдаты в Афинах не для того, чтобы навязать демократию, а чтобы обеспечить грекам право сделать выбор в пользу любой формы правления — демократии, социализма, конституционной монархии, даже коммунизма — путем тайного голосования. «Демократия, — сказал Черчилль, — не проститутка, которую может снять на улице солдат с томми-ганом»[76].

Черчилль получил вотум доверия с перевесом 279 к 30. Два дня спустя он отправил записку Гарри Гопкинсу, в которой написал: «Надеюсь, вы можете сказать своему другу», что закон и порядок в Афинах «необходим», в том числе для любых переговоров с враждующими сторонами. Черчилль также сказал Гопкинсу: «Полагаю, мы вправе получить президентскую поддержку политики, которой следуем». Этой поддержки он не получил, по крайней мере публично. Вместо

этого 11 декабря Рузвельт отправил телеграмму, в которой сообщил Черчиллю: «Как бы мне ни хотелось оказать вам всю возможную помощь в этой сложной ситуации, есть ограничения, наложенные... растущей враждебной реакцией общественного мнения в этой стране»[77].

К середине декабря все армии на Западном фронте, немецкие и союзные, перевооружались в ожидании наступления союзников к Рейну в ближайшие недели. Пять в основном необстрелянных американских дивизий удерживали поросший лесом, холмистый Арденнский участок фронта, где, по мнению генерала Омара Брэдли, немцы могли нанести удар «только в отдаленной перспективе». 15 декабря фельдмаршал Монтгомери сообщил журналистам, что немцы не способны провести «сколько-нибудь значимую наступательную операцию». На следующий день десять бронетанковых дивизий и четырнадцать пехотных дивизий, словно по мановению волшебной палочки, возникли перед американцами в Арденнском секторе. Это явилось полной неожиданностью, поскольку немцы сосредоточили войска для нанесения удара в режиме полного радиомолчания. Хмурое небо было идеальным прикрытием для немцев и неприветливым для летчиков союзников. В течение нескольких дней немецкий выступ в линии фронта дотянулся почти до Меза в Динане. Немцы нацелились на Антверпен. Все на западе следили за битвой, названной битвой за выступ. Успехи немцев с 16 по 24 декабря «были огромным потрясением для народа», написала Молли Пэнтер-Доунес, добавив, что большинство британцев, которые раньше верили, что это Рождество станет последним военным Рождеством, теперь были уверены, что их ждет «по меньшей мере еще один год войны». Но один англичанин так не думал. Черчилль, считая, что немцы совершили роковую ошибку, атаковав Арденны, вместо того чтобы усилить оборону на Рейне, сказал кабинету: «Я думаю, что этот бой скорее приблизит конец войны, чем продлит войну»[78].

В канун Рождества, уверенный в окончательном исходе битвы за выступ, Черчилль переключил внимание на Грецию. Чекерс украшали для спокойного домашнего рождественского праздника. Второй год подряд американцы присылали в качестве подарка огромную ель. Маленький Уинстон, которому уже исполнилось 4 года, надеялся, что будет много конфет и пирожных. Мэри считала, что знает, каким будет рождественский подарок от отца. Она любила лошадей. Каждое Рождество отец выписывал ей щедрые чеки, вспоминала Мэри, чтобы «после войны я смогла осуществить мечту о гунтере, обычно дополняя подарок рисунком». Ее отцу «было сложно дарить подарки, по мнению членов семьи, ведь была такая конкуренция!». На день рождения Мэри всегда дарила отцу гвоздику, которую он вставлял в петлицу. Клементина обычно дарила мужу бархатные тапки с его монограммой и, воз-

можно, «вечерний» вариант костюма сирены из бархата. Детям Черчилль всегда дарил экземпляры своих недавно опубликованных книг.

Но в этот сочельник Черчилль сделал домочадцам совершенно неожиданный подарок; посвятив весь день размышлениям о кризисе в Греции, он приказал подготовить к вылету свой новый С-54 (подарок генерала Арнольда) и, поставив в известность — именно поставив в известность, а не посоветовавшись — военный кабинет, после ужина покинул Чекерс, чтобы лично осуществлять контроль за событиями в Афинах. Вместе со Стариком отправились Джок Колвилл, две машинистки, его врач, лорд Моран и Энтони Иден. «Черт возьми, — написал Иден в дневнике перед отъездом, — я рассчитывал на спокойное Рождество в кругу семьи». Так началась самая необычная военная одиссея Черчилля[79].

Брук поделился своими мыслями по этому поводу с дневником: «Уинстон совершил впечатляющий бросок в Грецию, чтобы попытаться справиться с беспорядком... И что мы получим в результате? Насколько я могу судить, абсолютно ничего!» Британцам придется рано или поздно отступить, написал Брук, и Греция «станет настолько коммунистической, насколько хотят ее ближайшие соседи». Неделями ранее Брук предсказывал, что Черчилль в конечном счете перебросит в Грецию 80 тысяч солдат. На неделе, когда в Грецию были направлены остатки 49-й дивизии, в стране находились британские войска численностью порядка 80 тысяч человек. Сейчас они сражались с греками, два месяца назад они сражались с немцами. Бруку эти солдаты требовались в Италии, где кампания заглохла у Готской линии к северу от Пизы и Флоренции, в 60 милях к югу от По. Река По была целью Александера и Кларка. 60 миль, расстояние, которое гитлеровские танки преодолели за один день однажды в начале войны, расстояние, на которое Монтгомери продвинулся в первые два дня после победы под Эль-Аламейном. Прошло уже почти пятнадцать месяцев с тех пор, как англо-американские силы высадились в Салерно. Им понадобилось девять месяцев, чтобы преодолеть 150 миль до Рима, и за шесть следующих месяцев они продвинулись всего лишь еще на 150 миль. Пятнадцать месяцев, 450 дней, 300 миль, средняя скорость чуть больше трех четвертей в день. Теперь премьер-министр отправился в Грецию. «А тем временем, — написал начальник Имперского Генерального штаба в дневнике, — в битве за Италию застой»[80].

Совершив ночной перелет с посадкой в Неаполе для заправки горючим, самолет приземлился в Афинах в рождественский полдень. В городе раздавались пулеметные очереди. Британские «Бофайтеры»* кружили в небе, высматривая позиции ЭЛАС, чтобы атаковать их с бреющего полета, обстреливая из пушек, пулеметов и ракетами.

---

* «Бристоль Б о ф а й т е р» (Bristol Beaufighter) — двухместный тяжелый истребитель, ночной истребитель, также используемый как легкий бомбардировщик, торпедоносец.

Генерал Александер вернулся из Италии; Гарольд Макмиллан, британский министр-резидент при штабе союзнических войск в Средиземноморье тоже был в Греции. Они поднялись в самолет, где их ждали Черчилль с Иденом, и в ходе двухчасового совещания отношение Черчилля к королю Георгу II постепенно менялось под влиянием Макмиллана и Идена. Они предложили созвать конференцию всех греческих сторон под председательством не Папандреу, а архиепископа Дамаскина. Была вероятность того, что ЭЛАС будет бойкотировать любые договоренности. Британское посольство не отапливалось, часто отключали электричество; стояла очень холодная погода. Из аэропорта компания отправилась на бронемашинах в порт, чтобы провести ночь в относительной безопасности на борту британского крейсера «Аякс». Поспать уставшим путешественникам не удалось, написал Колвилл, поскольку на берегу не прекращалась стрельба и время от времени раздавались взрывы глубинных бомб, чтобы предотвратить атаку немецких подводных лодок. Вскоре после заката на борт поднялись Папандреу и архиепископ, чтобы встретиться — по отдельности — с Черчиллем. Посетителей встретили члены команды, распевавшие The First Noel. События едва не приняли неприятный оборот. В Королевском военно-морском флоте существует традиция наряжаться на Рождество в смешные костюмы и устраивать глупые розыгрыши. Когда члены команды увидели поднимающегося по трапу высокого бородатого мужчину в церковном облачении с черным жезлом, то решили, что это переодетый моряк. К счастью, вмешался командир корабля, и Дамаскина проводили в каюту без происшествий[81].

Пока Черчилль беседовал с Папандреу, архиепископ общался с менее высокопоставленными британцами. В качестве подарка Дамаскин вручил британцам бутылку «Узо»*; они охотно отведали прозрачный напиток, решив, что это вода.

Выпив высокий стакан этого напитка (смешанного с виски), написал Колвилл в дневнике, «я никогда еще не чувствовал себя так близко к смерти». Он отметил, что Дамаскин «производит сильное впечатление и обладает чувством юмора». После встречи с Дамаскином Черчилль пришел к такому же выводу. Таким образом, святой человек, которого несколько недель назад Черчилль называл предателем и диктатором, теперь пользовался благосклонностью премьер-министра, обращавшегося к нему «ваше блаженство». Колвилл заметил, что «у нас теперь все шиворот-навыворот, поскольку премьер-министр стал сторонником Дамаскина (и даже считает, что из него выйдет хороший регент)». В этом был весь Черчилль; ничто не могло заменить личную встречу. Договорились, что Дамаскин будет председательство-

* У з о — бренди с анисовой вытяжкой. Название «Узо» было зарегистрировано как греческое в 1989 году, и напиток может производиться и носить такое название только в Греции.

вать на совещании, которое назначили на следующий день. Папандреу — которого Макмиллан считал «человеком достойным, но тщеславным и, следовательно, изворотливым» — остался не у дел, а значит, и греческий король Георг[82].

Встреча с греческими фракциями прошла 26 декабря в посольстве. Добраться с «Аякс» до посольства оказалось непростым и опасным делом: когда Черчилль с сопровождающими собирались спуститься на берег, «довольно близко от «Аякс» раздалось три или четыре взрыва и поднялись столбы воды». Черчилль, сев в бронированный автомобиль, отчитал Колвилла за то, что, отправившись в такое опасное путешествие, он не позаботился об оружии. Колвилл, чтобы успокоить Старика, одолжил томми-ган у водителя. «Что он будет делать, если на нас нападут?» — спросил Черчилль. «Его дело — вести машину», — ответил Колвилл[83].

Когда они прибыли в посольство, там было темно и не работало отопление. Керосиновые лампы тускло освещали зал заседаний. Дамаскин занял место во главе стола, и ЭЛАС должны были воспринять это как первый шаг к мировому соглашению. Проблема была в том, что представители ЭЛАС отсутствовали в зале. Затем, после того как Черчилль и архиепископ произнесли вступительное слово, «три потрепанных головореза, которых обыскали и разве что не раздели, прежде чем пустить в помещение, вошли в тускло освещенный конференц-зал». Прибыли коммунисты, настроенные на разговор, а не стрельбу. Черчилль и британцы удалились, оставив греков разбираться между собой без посторонних. На следующий день, к полудню, они достигли соглашения. Коммунисты одобрили назначение Дамаскина регентом. По этому поводу Папандреу написал письмо о намерениях королю Георгу II, тем самым, по мнению Макмиллана, он подписал себе смертный приговор. (Умер как политик, а скончался в 1968 году.) Дамаскин по просьбе Черчилля обязался гарантировать безопасность Папандреу. Король Георг обещал не возвращаться в Грецию до тех пор, пока не будет проведен плебисцит и большинство выскажется за сохранение монархии. Черчилль, строго говоря, не добился прекращения огня, но добился назначения регента. «Проблемы у греков не закончились, — позже написал Иден, — но теперь, по крайней мере, у них появилась возможность выбирать свою судьбу»[84].

29 декабря, в день возвращения из Греции, Черчилль получил телеграмму от Сталина, в которой маршал угрожал признать люблинских поляков, оставив лондонских поляков не у дел. «Мы не можем допустить, чтобы польский народ мог сказать, что мы отдаем интересы Польши в жертву интересам кучки польских эмигрантов в Лондоне», — написал Сталин. Когда об этом доложили Рузвельту, он телеграфировал Сталину, что «обеспокоен и глубоко разочарован» его посланием.

«Я убежден более, чем когда-либо, — написал президент, — что когда мы соберемся втроем, то сможем выработать решение по польскому вопросу». В ответ Сталин пообещал «свободную и демократическую Польшу», но напомнил Рузвельту, что «Польша является пограничным с Советским Союзом государством и проблема Польши неотделима от проблемы безопасности Советского Союза». Кроме того, сообщил Сталин Рузвельту, «эмигрантское правительство и его подпольные агенты своими террористическими действиями создают угрозу гражданской войны в тылу Красной армии и противодействуют успехам последней». На самом деле с августа Советский Союз со своими люблинскими марионетками систематично уничтожал польское движение Сопротивления. Черчилль встал на сторону Рузвельта, призывая Сталина отложить принятие любых окончательных решений по поводу люблинских поляков до встречи трех руководителей в конце января. Начиная с октября, когда Рузвельт впервые предложил «Большой тройке» провести совещание по вопросам координации заключительного наступления на Германию и раздела страны на зоны оккупации, события опередили планы.

Красная армия готовилась вторгнуться в Западную Польшу и нанести удар по Германии. Война в Европе могла закончиться уже через несколько недель, однако до сих пор не было достигнуто соглашение ни по поводу структуры Организации Объединенных Наций, которая будет поддерживать мир, ни по поводу состава и роли Европейской консультативной комиссии, которая будет заниматься делами Германии, ни по фундаментальному вопросу о польских границах. Президент предложил Сталину встретиться втроем в Шотландии. Сталин отказался и предложил в качестве альтернативы Ялту, приморский курортный город в Крыму. Рузвельт, будучи больным, был против путешествия на такое большое расстояние и предложил Мальту, Афины или Кипр. За время осенней кампании, в результате которой его избрали на четвертый срок, он похудел на 20 фунтов. В тот год он перенес грипп, ангину и бронхит. Он был так слаб, что уже не мог произносить речи, стоя на трибуне. Сильная одышка и хрипы в легких свидетельствовали о застойной сердечной недостаточности. Он признался Сталину, что врачи считают путешествие в Россию опасным для его здоровья[85].

Сталин не уступал. Он не может уехать из России, сказал он Рузвельту, по совету *его* врачей. После долгих споров лидеры договорились встретиться в Ялте. Сталин мог добраться до города всего за два дня на бронированном поезде, но Рузвельту требовалось преодолеть 4800 миль, десять дней по морю до безопасного средиземноморского порта, а затем 1300 миль по воздуху до Ялты. Черчиллю было добираться намного проще, но долгие перелеты способны утомить любого путешественника. Климат в Крыму не способствовал улучшению

ситуации. Условия в Ялте были столь плохи, что Черчилль сказал Гопкинсу: «Мы бы не нашли худшего места для встречи, даже если бы потратили на поиски десять лет»[86].

В канун Нового года Гарольд Николсон с женой Витой сидели у камина в гостиной в своем старинном поместье Сиссингхерст, в Кенте, и слушали по радио «болтовню» Адольфа Гитлера, его обращение к соотечественникам. Слышимость была плохая, но достаточная для того, чтобы понять, что своим «отвратительным... голосом» Гитлер предупреждал немцев, какая их ждет судьба, если они утратят «нравственную стойкость». Он с пафосом вещал о «прочности власти, о необходимости единства, о том sein oder nicht sein («быть или не быть»). Джок Колвилл тоже слушал эту речь, и ему показалось, что Гитлер «был в плохом настроении». Его Арденнская операция застопорилась, хотя и смогла омрачить Рождество в Лондоне[87].

В заснеженной Европе наступил Новый год — «Мороз и солнце», — написал Колвилл в дневнике 1 января. В то утро небо было ясным, отличная летная погода, что получило подтверждение сразу после рассвета, когда над аэропортами союзников в Бельгии и Нидерландах раздался пронзительный звук восьмисот немецких истребителей, которые пролетели буквально в нескольких метрах над уровнем земли и уничтожили 130 самолетов Королевских ВВС, включая новый американский С-54 «Монтгомери». Поля и дороги были занесены снегом, стоял сильный мороз, и сельская местность была похожа на «волшебную страну», написал Колвилл, добавив, что «ракеты «Фау-2» падали, словно осенние листья»[88].

Черчилль застрял в Чекерсе, поскольку из-за снежных заносов на дорогах в Лондон было не добраться. Он провел большую часть первого дня Нового года лежа в кровати и диктуя записки; по мнению Брука, их было слишком много, и «все, по сути, бесполезные... связаны либо с неверным пониманием документов... или озабоченностью такими подробностями, в которые ему не стоило вникать». Встреча с Рузвельтом и Сталиным в Ялте уже была назначена, но оказалось, что добраться туда довольно проблематично. Когда врачи Рузвельта высказались против того, чтобы президент летал через Альпы на негерметичном «Скаймастере», Черчилль предложил встретить Рузвельта на Мальте, чтобы оттуда лететь на более приемлемой высоте на юг, над Черным морем: «Мы будем рады, если вы прибудете на Мальту... Все будет устроено для вашего удобства. Решайтесь! С Мальты в Ялту! И пусть только кто-нибудь попробует нам помешать!» Черчилль предложил для конференции кодовое название «Аргонавт» — «связано с местом проведения, но не вызывает ассоциаций» (Ясон путешествовал по Черному морю в поисках Золотого руна). Телеграммы Черчилля были полны оптимизма, которого он на самом деле не испытывал.

Джон Пек считал, что конец войны «со всеми проблемами, которые последуют, угнетали премьер-министра». О настроении Черчилля можно судить по новогоднему пожеланию, которое он послал коллеге: «Всего наилучшего «в этом отвратительном году»[89].

Монтгомери с Паттоном готовились нанести удар по Арденнскому выступу, первый с севера, второй с юга. Как только выступ будет ликвидирован, Эйзенхауэр начнет наступление к Рейну. В телеграмме Рузвельту Черчилль высказал мнение, которое уже высказывал кабинету в разгар битвы за выступ, что немецкая операция в Арденнах «скорее сократит, чем продлит войну». Однако Эйзенхауэр еще не определился с тем, как использовать поражение немцев в Арденнах. У него не было плана завершающей фазы войны, и он взвешивал преимущества окружения — и уничтожения — Рурской области, прежде чем продолжить движение на восток, по равнинам Северной Германии, против наступления широким фронтом на Верхнем и Нижнем Рейне. Он сказал начальникам штабов, что не может принять решение, пока не будет знать наверняка, что и когда собираются предпринять русские. Чтобы получить ответ на этот вопрос, маршал авиации Теддер был отправлен в Москву, но задержался в Каире из-за плохой погоды. Черчилль не рассчитывал на то, что Теддеру удастся добиться от Сталина хоть какой-то информации, и сказал Колвиллу, что отправка Теддера в Москву напоминает ситуацию, когда «человека, только что научившегося кататься на велосипеде, заставляют писать картину». Старик взял дело в свои руки и телеграфировал опасения Эйзенхауэра напрямую Сталину[90].

Ожидая ответа Сталина на военные вопросы, Рузвельт и Черчилль получали от маршала сообщения, связанные с политическими проблемами. 4 января в телеграмме Рузвельту Сталин сообщил, что, учитывая тот факт, что лондонские поляки «помогают немцам», президиуму Верховного Совета СССР не остается иного выбора, как официально признать люблинских поляков. Рузвельт тотчас поставил в известность Черчилля, добавив, что не собирается отвечать Сталину, но «мы можем обсудить этот вопрос на встрече». Позже Гарриман написал, что Рузвельт «твердо верил, что может добиться большего в личной беседе со Сталиным, чем Черчилль, Государственный департамент и британское министерство иностранных дел». Черчилль становился все более мрачным. «Будьте уверены, — сказал он Колвиллу, — все Балканы, за исключением Греции, будут большевизированы; и я не могу этому помешать. И я ничем не могу помочь несчастной Польше»[91].

Рузвельт продолжал вести себя с Черчиллем так, как перед Тегеранской конференцией. Он телеграфировал, что, «к своему великому сожалению», поездка в Ялту вынуждает его отложить «запланированный визит в Соединенное Королевство на более поздний срок». Президент уже давно обещал нанести этот визит и в Квебеке сообщил

Идену, что приедет в Лондон после выборов, «со щитом или на щите». В лондонской прессе уже несколько месяцев муссировались слухи о приезде президента. Молли Пэнтер-Доунес написала, что, если Рузвельт приедет в Англию, «ему здесь будут аплодировать так же громко, как Черчиллю аплодировали в Париже». Но Рузвельт, позже написал Гарриман, «учитывая сталинскую подозрительность», вел себя так же осмотрительно перед Ялтинской конференцией, как перед Тегеранской; он избегал Черчилля, чтобы успокоить Дядюшку Джо. Кроме того, он боялся, что его визит в Англию, последовавший сразу за посещением Черчиллем Греции, может быть расценен американцами как президентская поддержка британского империализма в Восточном Средиземноморье. Элеонора Рузвельт, опасаясь негативной реакции общественности, посоветовала мужу не ехать ни в Лондон, ни в Париж. Когда Черчилль предложил Рузвельту провести несколько дней на Мальте, чтобы подготовиться к конференции, Рузвельт отказался. Он сообщил Черчиллю, что направится в Ялту через несколько часов после прибытия на Мальту. Более того, он высказал мнение, что в Ялте следует провести не более «пяти-шести дней». Черчилля «раздражало» нежелание Рузвельта потратить несколько лишних дней на самое важное совещание за время войны, написал Колвилл, и он сказал, что «даже Всевышнему потребовалось семь дней, чтобы создать мир». (Ему вскоре указали на ошибочность его заявления (Быт., гл. 1)[92].

Вечером 8 января фельдмаршал Брук, вызванный к премьер-министру, застал Черчилля за работой в кровати; Старик «прихлебывал кофе, пил бренди и курил свою огромную сигару». Он был в отличной форме, поскольку получил от Сталина информацию, которая была нужна Эйзенхауэру и которую Теддер, застрявший в Каире, добыть не мог. К удовольствию Черчилля, Сталин сообщил ему, что Красная армия перейдет в наступление не позднее середины месяца. Послание было личным. Колвилл уже давно заметил, как легко было очаровать Черчилля, а Сталин, несмотря на присущую ему грубость, умел очаровывать лучше многих[93].

На востоке восемь советских армий располагались вдоль 800-мильного фронта, от Балтики до Белграда. Названия армий были связаны с названием занимаемого ими участка; численность двух любых советских армий равнялась численности всех англо-американских войск на западе. С августа на центральном участке Восточного фронта, протянувшегося от границы Восточной Пруссии до восточного берега Верхней Вислы, велись оборонительные бои. Гитлеровская группа армий «Север» (то, что от нее осталось), двадцать шесть дивизий, почти 200 тысяч человек, оказалась полностью отрезанной в Латвии. В октябре Тито и советские войска захватили Белград, но немцы еще удерживали участок на югославско-венгерской границе. Красная армия

окружила Будапешт, почти 200 тысяч немцев оказались заперты в городе. Начиная с лета общая протяженность Восточного фронта сократилась на 400 миль, что было выгодно как атакующим, так и обороняющимся, но советские линии снабжения теперь растянулись более чем на 800 миль. В августе Красная армия восстановила железные дороги, и теперь миллионы тонн продовольствия, боеприпасов, оружия доставлялись по железным дорогам на поездах и по шоссейным дорогам на американских грузовых автомобилях фирмы «Студебекер». В январе советские армии к северу от Карпат были готовы к наступлению, но западные союзники не знали, какова степень их готовности, пока Черчилль не добился информации от Сталина. На самом деле жалобы русских на погоду, их скрытность и позиционная война со времени Варшавского восстания заставили многих в англо-американских кругах сомневаться в намерениях России и недооценивать возможности русских[94].

Гитлер определенно недооценивал угрозу на востоке. 9 января он с уверенностью заявил своим генералам, что численность Красной армии в три раза меньше, чем требуется атакующему для прорыва. Когда ему впервые доложили о том, что Советский Союз наращивает силы, Гитлер усмехнулся: «Величайший блеф со времен Чингисхана! Кто сказал эту чушь?»[95]

Фюрер правильно оценил ситуацию с точки зрения общей протяженности фронта, но ошибся относительно того участка, по которому Сталин собирался нанести удар. Маршал Жуков командовал 1-м Белорусским фронтом, протянувшимся к востоку и югу от Варшавы. Слева от Жукова, по обе стороны реки Вислы примерно в 30 милях к западу от Кракова, располагались армии 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. В сумме под началом Жукова и Конева было 160 дивизий, вдвое больше, чем союзники собрали к западу от Рейна, и 32 тысячи артиллерийских орудий. Эти две огромные советские армии составляли приблизительно треть всех сил Красной армии и превосходили немцев на этом фронте в численном отношении как шесть к одному, восемь к одному в артиллерии, шесть к одному в танках и восемнадцать к одному в самолетах. Ось Берлин—Дрезден проходила всего в 300 милях к западу[96].

12 января Конев перешел в наступление. Его тяжелая артиллерия открыла заградительный огонь плотностью более шестисот снарядов на одну милю; сэр Джон Киган назвал это «землетрясением, вызванным мощью артиллерии». Жуков перешел в наступление 14 января. Затем присоединились остальные советские армии к северу от Карпат, за исключением тех, что располагались на самом севере Балтики. Немецкий фронт рухнул. 16 января Гитлер перевел штаб из Цигенберга, близ Франкфурта, в Берлин, в Имперскую канцелярию. 17 января Жуков взял Варшаву. На юге Конев наступал в направлении Кракова и Бреслау. Верхняя Силезия, второй по значимости промышленный

район Германии, была близко. Альберт Шпеер рассеял по всему региону заводы по производству оружия, которые до сих пор не подвергались бомбардировкам Королевских военно-воздушных сил и американской 8-й воздушной армии. 20 января Гитлер, к ужасу командующих на западе и на востоке, объявил: «Я ударю по русским там, где они не ожидают. 6-я танковая армия СС следует в район Будапешта!» Дикая идея, рожденная заблуждением[97].

22 января войска Конева форсировали Одер менее чем в 200 милях от Берлина. Южнее, 27 января, Красная армия вошла в нацистский лагерь смерти Аушвиц. Согласно приказу Гиммлера (приказ был издан осенью 1944 года с наступлением советских войск) немцы взорвали последнюю газовую камеру и сбежали, оставив почти 8 тысяч умирающих от голода евреев и польских военнопленных. К тому времени еще одна советская армия вторглась в глубь Восточной Пруссии; бежавшие из Растенбурга войска СС взорвали гитлеровскую ставку Wolfsschanze («Волчье логово»). По всему фронту подразделения СС гнали военнопленных и подневольных рабочих на запад, в концлагеря в Германии. Тех, кто отставал или терял сознание от голода, оставляли умирать или расстреливали[98].

2 миллиона жителей Восточной Пруссии убегали от наступающей Красной армии. Они бежали, «словно охваченные ужасом от понимания того, что вермахт творил на востоке», написал сэр Джон Киган, и этот «ужас выгнал их на заснеженные дороги». Германские поселения, существовавшие восемь веков, исчезали за считаные дни. «Наступление [советских войск] отличалось стремительностью, неистовством и жестокостью, — написал профессор Джон Эриксон. — Пылали деревни и небольшие города, советские солдаты давали выход гневу в каждом доме и деревне, где встречалась нацистская символика». Когда третий после Тито человек в Югославии Милован Джилас во время визита в Москву с отвращением заговорил со Сталиным об этих зверствах, Сталин ответил: «Вы, конечно, читали Достоевского? Вы видели, какая сложная вещь человеческая душа, человеческая психология? Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда, — тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определенного процента уголовных элементов — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию»[99].

27 января передовые подразделения Жукова форсировали Одер, последняя естественная преграда между его армиями и Берлином, до которого оставалось меньше 100 миль. Ему пришлось остановиться, поскольку он далеко оторвался от линий снабжения.

В этот день Гитлер въехал в новый штаб в Берлине — бункер из стали и бетона под Имперской канцелярией. Председательствуя на первом совещании, Гитлер спросил Геринга и Йодля: «Как вы думаете, англичан радуют успехи русских?» Йодль ответил: «Они [англичане] всегда относились к русским с подозрением». Геринг добавил: «Если так будет продолжаться и дальше, через несколько дней мы получим телеграмму [от англичан]». Телеграмма не приходила, зато приближались Королевские военно-воздушные силы, американские воздушные силы и Красная армия. Спустя три дня Альберт Шпеер представил Гитлеру доклад, в котором изложил последствия потери Силезии. Запасов угля осталось на две недели; самолетов достаточно, но запасы синтетического топлива на исходе. Доклад начинался со слов: «Война проиграна». Гитлер прочел первую строчку и приказал положить доклад в его персональный сейф. 3 февраля Жуков захватил плацдарм на западном берегу Одера[100].

29 января Черчилль, Сара, Иден и начальники штабов вылетели на Мальту и приземлились на острове утром 30 января. Черчилль замерз, устал, у него поднялась температура. Сара подумала: «Начинается». Лорд Моран написал в дневнике: «У него [Черчилля] появилась скверная привычка: во время путешествий всегда поднимается температура». Старик, не имея сил выйти из самолета, на шесть часов забылся беспокойным сном, после чего поднялся на борт «Орион» и прошел в свою каюту[101].

Пока Черчилль восстанавливал силы, британские и американские начальники штабов приступили к обсуждению стратегии, которой необходимо следовать Эйзенхауэру, чтобы уничтожить немецкие армии на своем фронте. Эйзенхауэр наконец представил свой план действий, согласно которому он предлагал наступать на всем протяжении Рейна и форсировать его в нескольких местах. Эта стратегия широкого фронта не понравилась британцам, которые убеждали, что Германия уже, в сущности, побеждена, а план Эйзенхауэра чересчур осторожный. Вместо этого, убеждали британцы, Эйзенхауэр должен бросить армию Монтгомери в Рурский бассейн, а оттуда она предпримет наступление на Берлин, в то время как американские армии будут защищать фланг в верховьях Рейна. Эйзенхауэр уже выразил полное несогласие с таким «ударом по Берлину карандашной линией». Маршалл, порой «до грубости прямолинейный... полностью поддерживал Эйзенхауэра», написал Исмей, «и британцам ничего не оставалось, как согласиться». Еще летом прошлого года Брук с Черчиллем поняли, что «в силу обстоятельств» — союзническая армия была «преимущественно американской» — им придется соглашаться с мнением американцев. Однако они ушли с совещания в полной уверенности, что, хотя Маршалл закрыл тему для дальнейших обсуждений, он не

исключил из повестки дня вопрос о наступлении как можно дальше на восток, чтобы помешать русским наступать на запад. Британцы приветствовали этот план, считая, что в этом случае у них будет шанс добраться до Берлина и перекрыть русским выход к Северному морю и на побережье Балтики. Но Маршалл не одобрял наступление на Берлин. Он ясно дал понять, что будет поддерживать стратегию Эйзенхауэра, на чем бы ни настаивали союзники[102].

Если бы на совещании присутствовал фельдмаршал сэр Джон Дилл, который был связующим звеном между британскими и американскими штабами, он мог бы подвести Маршалла к более четкому заявлению о намерениях и смягчить его растущее недовольство высокомерием Брука. Но Дилл умер в ноябре в Вашингтоне. Столь велико было уважение Маршалла к Диллу, что он организовал его похороны в американском Вальхалле*, на Арлингтонском национальном кладбище.

Когда 2 февраля американский крейсер «Квинси» с Рузвельтом на борту вошел в гавань Валлетты, духовые оркестры заиграли национальные гимны, а на ветру развевались государственные флаги США и Великобритании. Рузвельт, в матерчатой кепке и плаще, приветственно махал с мостика, когда «Квинси» проходил мимо «Ориона». Внешний вид президента потряс всех присутствующих: он так исхудал, что стал напоминать скелет. Обычно после десятидневного путешествия он бывал бодрым и отдохнувшим. Сейчас выглядел болезненным и истощенным. После короткой неофициальной встречи с Черчиллем, Иденом и начальниками штабов в кают-компании Рузвельт удалился к себе в каюту, где оставался до позднего вечера, пока готовились самолеты, которые должны были доставить делегацию в Ялту. Иден написал в дневнике: «У меня создалось впечатление, что он [Рузвельт] теряет силы».

На этой встрече президент говорил очень мало. Как и на Тегеранской конференции, Черчилль и Рузвельт не сумели выступить единым фронтом. Вопрос о структуре Организации Объединенных Наций был решен в начале осени на конференции в Думбартон-Оксе, но не был отработан точный механизм голосования великих держав. Сталин выразил мнение, что любая великая держава, участвующая в обсуждении, должна иметь возможность воспользоваться своим исключительным правом, то есть любая страна из «Большой четверки» могла отменить решение Генеральной Ассамблеи. План разделения Германии на оккупационные зоны был предложен на Второй Квебекской конференции,

---

* В а л ь х а л л а — зал славы выдающихся исторических личностей, принадлежащих к германской культуре, расположенный на берегу Дуная в 10 километрах к востоку от города Регенсбурга (Бавария, Германия). Согласно скандинавской и немецкой мифологии, Вальхалла — место посмертного обитания павших в битве героев, доставляемых туда воинственными девами — Валькириями.

но не были решены вопросы относительно французской оккупационной зоны и немецких репараций. По этому поводу Сталин ясно дал понять: он хочет вывезти из Германии в Россию все, что не прибито гвоздями. Но самое важное, что Рузвельт с Черчиллем так и не пришли к общему мнению по вопросу обеспечения польских границ и польских свобод. Иден сказал Гарри Гопкинсу: «Мы собираемся на конференцию, которая имеет решающее значение, и до сих пор не договорились ни о том, что будем обсуждать, ни о том, как уладить дела с Медведем, который точно знает, чего хочет»[103].

Мопс Исмей использовал слова Клаузевица для характеристики Ялтинской конференции: «Война есть продолжение политики иными, насильственными средствами». Обе стороны, позже написал Исмей, потенциальные проигравший и победитель, должны учитывать политические последствия своих военных решений, проигравший, чтобы сохранить то, что осталось после крушения, победитель, «чтобы гарантировать, что цели, ради которых он взялся за оружие, будут реализованы после войны». Основные немецкие силы были прижаты к границам Германии, на западе и на востоке. Отныне они будут сражаться на немецкой земле за немецкую землю, если не за немецкую честь. Великий рейх прекратил свое существование. Шестнадцать дивизий вермахта в Норвегии и вдвое больше в Хорватии и Италии были отрезаны от Берлина. Немецкие войска в Амстердаме были окружены. Приближалась развязка. Для Польши она уже наступила: Красная армия заняла всю страну. На борту «Ориона» Черчилль писал письмо Клементине, в котором признался: «Меня приводят в ужас страдания всего мира, и я все больше боюсь, что из трудностей, которые мы сейчас успешно преодолеваем, возникнут новые трудности»[104].

Около полуночи 2 февраля двадцать американских «Скаймастеров» и пять британских «Йорков» начали подниматься в воздух с десятиминутным интервалом с аэродрома Лука на Мальте, чтобы совершить семичасовой перелет в Крым. Шестой «Йорк», на борту которого находились члены штаба из министерства иностранных дел и военного кабинета, сбился с курса и потерпел крушение над Средиземным морем во время полета на Мальту. Почти все пассажиры утонули, включая помощников Кадогана и Брука. Семерых выживших подобрали, но вместе с самолетом затонули важные карты, схемы и документы. Черчилль с самого начала уделял мало времени подготовке к Ялтинской конференции и теперь потерял возможность наверстать упущенное. Потеря документов, написал Гарольд Николсон, «омрачит конференцию»[105].

Сначала русским сказали, что в Ялту прибудет порядка тридцати пяти американцев и примерно столько же англичан. Сейчас это цифра приближалась к семи сотням, однако только двое действительно играли важную роль[106].

Судьба Польши — и всей Центральной и Восточной Европы — зависела от умирающего человека, усталого человека и Иосифа Сталина, «маленького неуклюжего человечка», согласно описанию его товарища Милована Джиласа, с неотягощенной совестью, «несмотря на миллионы уничтоженных от его имени и по его распоряжению, несмотря на тысячи ближайших сотрудников, которых он истребил как предателей, когда они усомнились в том, что он ведет страну и народ к благосостоянию, равенству и свободе»[107].

3 февраля воздушная флотилия приземлилась на аэродроме Саки в Крыму. Ялта находилась в 80 милях и семи часах езды по изрытым колеями и размытым дорогам. Путь следования охраняли советские солдаты, среди которых было много крепко сложенных женщин. Сталин поселил Рузвельта с американцами в Ливадийском дворце в Ялте, летней резиденции царя Николая II, где когда-то семь членов царской семьи Романовых обслуживала тысяча слуг. Здесь должны были проходить пленарные заседания. Черчилля с британцами поселили в Воронцовском дворце, примерно в двадцати минутах езды от Ялты. Алек Кадоган нашел дворец «неописуемо уродливым», построенным в 1837 году в стиле, «по меткому описанию Бедекера, сочетавшем в себе мавританский и готический стиль. Вы просто не можете представить себе, на что это было похоже». Мебель, написал Кадоган, была «настолько уродливой, что внушала ужас». Сара Черчилль так описала здание: «Внутри оно напоминало зал шотландского барона, снаружи нечто среднее между швейцарским шале и мечетью». Дворец располагался на скале над морем. Огромную каменную лестницу со стороны моря украшали три пары каменных львов: двое спали, положив головы на лапы, двое смотрели на море, двое угрожающе обнажили клыки. Пара каменных львов охраняла парадные ворота. Еще одна огромная скульптура льва стояла на видном месте у дворца; один глаз зверя был закрыт, другой — открыт. Неизвестно, разглядел Черчилль иронию в этом каменном львином зверинце и что на этот счет думал Сталин. Британцев предупредили, чтобы они ходили с осторожностью, поскольку территория еще не полностью очищена от мин[108].

Сталин прибыл 4 февраля и остановился на полпути между пристанищами Черчилля и Рузвельта, в Юсуповском дворце, который скорее напоминал загородный дом, чем дворец. Из всех трех резиденций немцы вывезли мебель и все движимое имущество, но, что удивительно, не разрушили здание при отступлении. Сталин, в свою очередь, отправил поездом в Ялту мебель и движимое имущество трех московских гостиниц вместе с поварами, официантами и горничными, чтобы собравшаяся в Крыму верхушка союзников могла спать и есть в относительно комфортных условиях, пока решает судьбу послевоенного мира. Черчилль поднял за это тост на скромном званом

обеде, устроенный Рузвельтом вечером 4 февраля: «Весь земной шар будет следить за этой конференцией. Если она пройдет успешно, то у нас в течение ста лет будет мир»[109].

Спустя пять лет Черчилль написал в мемуарах: «Самым неотложным поводом для созыва Ялтинской конференции был польский вопрос, и он выявил одну из основных причин, которая привела к распаду Великого союза». У каждого из государств «Большой тройки» была приоритетная задача, которую требовалось решить в Ялте. Для Черчилля важнее всего было решить польский вопрос. Рузвельт хотел окончательно утвердить структуру Организации Объединенных Наций. Кроме того, он хотел добиться от Сталина твердых обязательств по поводу войны в Тихоокеанском регионе. На той неделе генерал Макартур взял Манилу, и война против Японии вступила в новую, решающую фазу. Проблем, требующих решения, становилось все больше: русские, отправив солдат в Иран, похоже, собирались посеять там раздор. Необходимо было обсудить вопрос немецких репараций и связанные с ним вопросы «расчленения» Германии (на этом термине настаивал Сталин) и создания оккупационных зон союзников в Германии и Австрии. Должна ли Франция иметь такую зону? Черчилль считал, что должна; Сталин, который несколько месяцев назад подписал с де Голлем договор о дружбе, считал, что Франция должна играть роль в послевоенном мире, но ограниченную; Рузвельт, несмотря на то что терпеть не мог де Голля, не собирался тратить политический капитал на этот вопрос. Повестка дня в Ялте не ограничивалась вопросом польских границ и структурой польского правительства — точнее, так было бы, если бы «Большая тройка» прибыла на конференцию с готовой повесткой дня. Но этого сделано не было. Вместо этого в течение восьми дней на совещаниях и вечерних банкетах каждый из лидеров ждал подходящего момента, чтобы поднять наиболее волнующую его тему[110].

Польша, безусловно, представляла немалый интерес для Сталина, но по другим причинам, нежели для Черчилля; они преследовали разные цели. Позже Черчилль написал, что «польский вопрос обсуждался не менее чем на семи или восьми пленарных заседаниях Ялтинской конференции». Польша и правда часто всплывала в разговоре, но к сути дела «Большая тройка» подошла только на третьем заседании, поскольку, как позже написал Аверелл Гарриман, «судьба Польши... была практически решена до того, как Рузвельт и Черчилль в Ялте приступили к обсуждению вопроса со Сталиным. События их опередили». Спор, по сути, сводился к следующему: являлась ли Польша (со своими границами и будущим правительством) чистым листком, который следовало заполнить (как считали Черчилль и Рузвельт), или же коммунистическое люблинское правительство (в Варшаве) должно было заложить основу дальнейшего развития польского самоуправле-

ния (как считал Сталин). Черчилль напомнил Сталину, что для Британии было делом чести вступить в войну за Польшу. Сталин, как он это делал в течение трех лет, напомнил Черчиллю, что если для Великобритании вопрос о Польше является вопросом чести, то для России это не только вопрос чести, но и вопрос безопасности — чести, поскольку русские на протяжении веков регулярно вступали в конфликт с Польшей, а безопасности, поскольку «в течение последних тридцати лет Германия дважды пересекала этот коридор вследствие того, что Польша была слаба». Он не отказал себе в удовольствии подчеркнуть тот факт, что Черчилль хочет навязать Польше свои условия, в то время как он, Сталин, которого называют диктатором, хочет только, чтобы поляки (под предводительством его люблинских марионеток) следовали собственным путем. Беспорядок, не поддающийся решению[111].

И хотя Рузвельт во время конференции написал Сталину письмо, в котором ясно изложил свои сомнения по поводу Польши, президент демонстрировал безразличие, часто отпуская шутки, которые снижали значимость вопроса. Желая поскорее закончить очередной зашедший в тупик разговор, Рузвельт сказал: «Польша является источником проблем уже более пятисот лет». К концу другого совещания Рузвельт, внимательно изучавший карту Восточной Европы, спросил Молотова, как давно некоторые территории принадлежали Польше. Когда Молотов ответил: «Очень давно», Рузвельт сказал: «Это может вынудить англичан потребовать вернуть Соединенные Штаты Великобритании». На этой ноте Рузвельт, почувствовав усталость, отложил заседание. Что касается поведения Рузвельта, то позже Иден написал: «Я не думаю, что ухудшение самочувствия сказывалось на суждениях президента, хотя на конференции он вел себя менее уверенно, чем мог себе позволить»[112].

Во время пленарных заседаний 9 и 10 января «Большая тройка» наконец пришла к соглашению по поводу Польши, точнее, к временному соглашению. Несмотря на настойчивые заявления, что никто не должен решать за поляков, Сталин добился своего. Люблинские поляки были признаны временным польским правительством, которое, в свою очередь, должно было дать обещание провести выборы, как можно скорее (Сталин считал, в течение месяца), но законность выборов должны были обеспечивать не представители трех союзников в Польше, а министры иностранных дел «Большой тройки», на встрече в Москве. Это не соответствовало намерениям Черчилля, который хотел, чтобы Польша была «хозяйкой в своем доме». Он мог вернуться в Лондон и честно сказать в палате общин, что они с Рузвельтом не бросили лондонских поляков, не признали в целом люблинское правительство, но договорились о механизме свободных выборов для всех польских фракций, которые будут решать судьбу своих соотече-

ственников. Однако в Ялту не пригласили ни одного польского лидера, чтобы услышать его точку зрения по этому вопросу. Наконец «Большая тройка» уладила вопрос с польскими границами, но опять же в виде временных рекомендаций, подлежавших дальнейшему рассмотрению на мирной конференции. Границы, западная и восточная, будут такими, как обсуждалось годом ранее в Тегеране, — половина Восточной Пруссии полякам, половина России; восточная граница пройдет по линии Керзона, Верхняя Силезия отойдет полякам, а Львов войдет в состав России. Новая граница сдвинется к реке Нейсе, но, как и в Тегеране, не было принято окончательного решения, к какому рукаву, западному или восточному. В итоге окончательное решение по поводу польских границ, как и по многим вопросам, обсуждавшимся в Ялте, было принято «к рассмотрению». Позже Черчилль написал: «Это лучшее, чего я мог добиться»[113].

Этот день прошел под лозунгом «к дальнейшему рассмотрению». Сталин настаивал на сумме немецких репараций в 20 миллиардов долларов, и половина этой суммы должна пойти России. Черчилль был против: сумма значительно превосходила ту, которую могла реально заплатить Германия; это было повторением жестоких условий Версальского мира. Черчилль настаивал, чтобы ни в одном документе не указывалась конкретная сумма; Сталин добился своего, хотя Рузвельт считал, что все остались при своем мнении и вопрос будет урегулирован позже. Подобным образом стороны обошлись с вопросом «расчленения» Германии, единогласно решив, что первым шагом в этом направлении должны стать зоны оккупации. Таких зон должно было стать четыре: Францию учли. К облегчению Рузвельта, русские отказались от требований отдельного членства в ООН для каждой из своих шестнадцати республик и сказали, что удовлетворятся двумя местами. Рузвельт согласился, что предложение «заслуживает благожелательного рассмотрения». Молотов поставил высокие цели и добился желаемого. Но даже эта договоренность была достигнута только «в принципе», ее предстояло рассмотреть в апреле на конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско (Белоруссия и Украина были приняты в члены ООН в октябре 1945 года). Таким был стиль Рузвельта — двигаться дальше, не оказывая давления.

Что касается Тихоокеанского фронта, Рузвельт хотел получить согласие Сталина на использование авиабаз на Азиатском континенте; Сталин хотел вернуть Сахалин и другие территории, захваченные Токио в 1905 году. Маньчжурия должна была стать русской «сферой» (стремление Рузвельта уничтожить сферы влияния не распространялось на Россию). Азия, утверждал Черчилль, была одним из тех вопросов, который не вызывал у него интереса. «Для нас, — позже написал он, — проблема [тихоокеанские договоренности и соглашения] была второстепенной и имевшей к нам весьма отдаленное отноше-

ние». Возможно, но Сталин и Рузвельт достигли соглашения по ряду азиатских вопросов, тайно и не посоветовавшись с британцами и Чаном. «Это [соглашение], — написал Иден, — на мой взгляд, было позорным побочным результатом конференции». Кроме того, написал Иден, оно дискредитировало доводы тех, кто списывал решения Рузвельта в Ялте на его болезнь. Во время конференции, которая «требовала огромных усилий даже от такого энергичного человека, как Черчилль», Рузвельт нашел время и силы вести параллельные переговоры со Сталиным[114].

На конференции Рузвельт сделал, вероятно, самое важное заявление; Черчилль назвал его «знаковым заявлением». Во время первого пленарного заседания Рузвельт сказал, что едва ли американские войска останутся в Европе больше чем на два года после поражения Германии. То же самое он сказал Гарриману два года назад и неоднократно говорил Черчиллю в 1944 году. Это заявление должно было уменьшить опасения Сталина, что Запад сплотится против него. Для Черчилля это явилось лишним подтверждением необходимости иметь сильную Францию. Сталин воспринял это заявление как признак неуверенности, если не слабости. Он понял так, что соглашения Ялтинской конференции основывались на доверии, но могут быть аннулированы с помощью силы. Иден считал, что Рузвельт в очередной раз «напрасно действовал в обход нас, под влиянием убеждения, будто он мог добиться лучших результатов во время личных переговоров со Сталиным, чем на совместных переговорах трех стран. Он заблуждался»[115].

Это заблуждение возникло под влиянием обстоятельств, которые стали бы испытанием выносливости даже для молодых людей, не говоря уже о троих пожилых. День Черчилля начинался в полночь, когда, лежа в кровати, он читал донесения и газеты. Он вставал и принимал ванну вскоре после полудня, а затем приступал к тому, что назвал brunch («поздний завтрак»), приспособив американское слово для обозначения полдника. Пленарные заседания каждый день начинались примерно в 16:30 и продолжались примерно до 21:00. Во время конференции каждый из «Большой тройки» устраивал банкет, очередь Черчилля подошла 10 февраля. Кадоган написал, что эти застолья отличались длинными тостами и «ведрами шампанского». «Думаю, мы достигли некоторого прогресса, — написал Кадоган в дневнике, — но это место все еще напоминает сумасшедший дом». На этих банкетах подвыпившие мужчины вскакивали с места, чтобы произнести тост, исполненный, как они считали, мудрости и дружелюбия. Черчилль поднял бокал за Советскую армию: «За людей, которые сломали хребет немецкой военной машине». Они поднимали бокалы за политические партии, короля Англии, простых людей, лидеров, женщин, альянс, будущее. Кадоган подсчитал, что на банкете у Сталина в Юсуповском дворце было поднято пятьдесят тостов. Эдвард Стет-

тиниус насчитал сорок пять тостов и двадцать перемен блюд. Участники банкета засыпали; некоторые сползали под стол. Таким образом, согласие по поводу будущего мира было достигнуто. «Я не знал, что русские такие простые и сговорчивые, — написал Кадоган жене. — В особенности очень хорош Джо». И добавил: «Президент ведет себя непонятно». Президент, доверительно сообщил Черчилль своему врачу, «ведет себя отвратительно, не проявляет никакого интереса к тому, что мы пытаемся делать». Но что они пытались сделать? После восьмидневных переговоров они решили остаться каждый при своем мнении, договорились отложить принятие окончательных решений и, по словам Черчилля, «посовещаться насчет совещаний»[116].

11 февраля «Большая тройка» подписала Декларацию об освобожденной Европе — Ялтинскую декларацию, самый невнятный документ, созданный за время войны. По сути, это было повторением Атлантической хартии, то есть не законом, а напоминанием «о праве всех народов избирать форму правительства, при котором они будут жить» и обещанием обеспечить «восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были лишены этого агрессивными нациями путем насилия». Спустя две недели Черчилль рассказал обо всем палате общин. Первым делом он возложил вину за необходимость проведения подобных переговоров на лондонских поляков: «Разрешите напомнить палате и тем уважаемым ее членам, которые заботятся о том, чтобы наши интересы в Польше регулировались в соответствии с честью и достоинством нашей страны, что у меня с ними нет расхождений. Мы должны предать гласности все факты, которые, я надеюсь, рассеют все существовавшие между нами разногласия. Но если бы польское правительство в Лондоне приняло наш искренний совет год назад, то не было бы ни Люблинского комитета, ни Люблинского временного правительства».

Затем, изложив риторические вопросы относительно жизнеспособности Ялтинской декларации — будет ли она работать, будут ли выборы «честными и свободными», — он дал ответ: «Впечатление, сложившееся у меня от поездки в Крым и от всех других случаев общения, таково, что маршал Сталин и другие советские лидеры желают жить в почетной дружбе и равенстве с западными демократиями. Я считаю также, что они — хозяева своего слова. Никогда никакое правительство не выполняло точнее свои обязательства даже в ущерб себе, нежели русское советское правительство. Я категорически отказываюсь пускаться здесь в дискуссии по поводу добросовестности русских»[117].

Черчилль покинул Ялту вечером 11 февраля. Планировалось, что он останется еще на день, но, когда они подъехали к Воронцовскому дворцу, Черчилль повернулся к Саре и спросил: «Зачем нам оставаться здесь? Почему бы нам не отправиться в путь сегодня вечером? Я не вижу ни одной причины задерживаться здесь еще хоть на минуту.

Уезжаем». Он вошел в кабинет и объявил: «Не знаю, как вы, — а я уезжаю. Я уезжаю через пятьдесят минут». Так он и сделал, через девяносто минут, если быть точным. Сотрудники упаковали все, включая еще влажные вещи из прачечной, и последовали за ним через два часа. Черчилль проехал 40 миль до Севастополя, где стоял на якоре лайнер «Франкония» компании Cunard Line, в котором он проведет следующие три ночи. Тем временем Сталин, написала Сара, «просто испарился, словно дух». Рузвельт вылетел в Каир утром 12 февраля. 14 февраля на аэродроме Саки Черчилль поднялся на борт своего «Скаймастера» и вылетел в Афины, где встретился с новым регентом, архиепископом Дамаскином. Хотя толпа в Афинах радостно приветствовала пожилого англичанина, политическая инфекция, которую Черчилль пытался вылечить семь недель назад, еще не исчезла. Из Афин, глубоко обеспокоенный будущим, Черчилль вылетел в Каир, чтобы попрощаться с Франклином Рузвельтом, который отдыхал на борту крейсера «Квинси» после переговоров с королем Саудовской Аравии Ибн Саудом. Президент, позже написал Черчилль, казался «спокойным и слабым. Я чувствовал, что его связь с окружающим миром становится слабее». Это была их последняя встреча[118].

В течение нескольких недель на всем Европейском театре договоренности, принятые в Ялте, оказались под угрозой срыва из-за структурных ошибок и «важного заявления» Рузвельта, что американские войска останутся в Европе не более двух лет после окончания войны. Этим заявлением вскоре воспользовался Сталин. Черчилль с Британией испытывали в то время недостаток политических и военных средств, чтобы изменить ход событий в Польше, Чехословакии, Австрии и Югославии, где Тито готовился стравить англо-американцев и русских. Но не в Греции, в чьи дела Сталин не вмешивался, верный своему слову. В Греции, позже написал Джок Колвилл, черчиллевская демонстрация силы — чтобы гарантировать свободные выборы, а не отменять их, как обычно делал Сталин, — подарила грекам «около двадцати лет... свободы и демократии». Однако предчувствие провала терзало Черчилля на протяжении всего путешествия. Черчиллевское предчувствие подтвердится в начале весны, когда Сталин нарушит принятые в Ялте соглашения. В Ялте «Большая тройка» даже не ставила на обсуждение один чрезвычайно важный вопрос: где именно в Германии в итоге остановятся союзные армии?[119]

Черчилль вернулся в Лондон 19 февраля. К тому времени британские и американские воздушные силы сбрасывали на Германию каждую ночь больше бомб, чем немцы сбрасывали на Британию за любой месяц блица. За первые десять месяцев 1944 года на Германию было сброшено 250 тысяч тонн, вдвое больше, чем за период с 1939 по 1944 год. Теперь, в последние месяцы войны, британские и американ-

ские воздушные силы собирались удвоить эту цифру, доведя ее до 500 тысяч тонн. Цель была достигнута. Рузвельт и Моргентау, возможно, отказались от своего плана опустошить Германию, но воздушные силы союзников добивались именно этого результата. За четыре дня до отъезда в Ялту, 25 января, Черчилль спросил Артура Бомбардировщика Харриса, являются ли Берлин и Дрезден, равно как Лейпциг и Хемниц, «особенно привлекательными целями» с точки зрения их значимости для немецких коммуникационной и железнодорожной сетей. Главный маршал авиации Портал хотел сконцентрироваться на немецких танковых заводах, продолжавших выпускать новые «Тигры». Теперь эти танки предназначались не для массированных атак, а для защиты немецких городов: один «Тигр» мог в течение дня сдерживать наступление пехотной роты. Харрис считал, что может подвергать ударам и железнодорожные узлы, и танковые заводы. Королевские ВВС и русские считали, что бомбардировки имели решающее значение не только для сокращения срока войны, но и для достижения победы. Красная армия не могла справиться в одиночку. 29 января, в день отъезда Черчилля в Ялту, Портал согласился начать бомбардировки танковых заводов и Берлина, Дрездена, Лейпцига и Хемница[120].

До тех пор пока функционировали такие железнодорожные центры, как Дрезден, Гитлер мог свободно перемещаться внутри страны. Немцы перебросили три дивизии на Русский фронт и собирались добавить еще восемь. Это так встревожило Сталина, что в Ялте он попросил Рузвельта и Черчилля, чтобы англо-американские воздушные силы подвергли бомбардировкам все железнодорожные узлы и, главное, Дрезден. За три ночные бомбардировки, с 13 по 15 февраля, на центр Дрездена было сброшено 2 тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб. Кипела вода в фонтанах; старинные кирпичные и каменные дома превращались в груды обломков. Точное количество погибших неизвестно, считается, что погибло от 20 до 30 тысяч человек. Спустя десять дней после бомбардировки Дрездена Черчилль проводил выходные в Чекерсе. Старика сопровождали Колвилл и обычная свита, включая Бомбардировщика Харриса. Колвилл спросил Харриса, каковы результаты воздушного налета на Дрезден. Харрис ответил: «Больше нет никакого Дрездена». Черчилль говорил о налете гораздо менее броскими фразами. Черчилль не распространялся на эту тему, во всяком случае, позже написал Колвилл, «в моем присутствии, и я уверен, что он наверняка говорил об этом, если бы считал это чем-то особенным»[121].

Спустя шесть недель, 1 апреля, Черчилль написал записку начальникам штабов: «Мне кажется, пришло время, когда вопрос так называемых площадных бомбардировок немецких городов должен рассматриваться с точки зрения наших собственных интересов». Учитывая, что

война практически выиграна, написал он, продолжение бомбардировок такой мощности приведет к тому, что союзникам достанется разрушенная страна, которая не сможет обеспечить ресурсами, необходимыми для строительства и восстановления домов в Британии, не говоря уже о Германии. В проекте записки (которую он назвал «черновой») он использовал слово «ужас» для описания бомбардировки, и добавил: «Разрушение Дрездена остается серьезным аргументом против проведения бомбардировок союзниками». Черчилль вычеркнул эти строчки из окончательного документа после возражения начальников штабов. Но он высказал свое мнение: пришло время прекратить воздушные атаки, на которых он настаивал в течение четырех лет[122].

6 марта, под предлогом необходимости создать стабильную ситуацию за линией фронта, Советский Союз установил марионеточное правительство в Румынии. Во время осенних переговоров Черчилль предложил Сталину 90 процентов «интересов» в Румынии, но не считал, что это дает право в одностороннем порядке устанавливать новое правительство. Переворот, написал Колвилл, «взбесил премьер-министра, который счел, что наша честь поставлена на карту... Премьер-министр и Иден опасаются, что мы напрасно доверяли нашему русскому союзнику, и с унынием смотрят в будущее». А будущее быстро приближалось[123].

Начиная с июня 1941 года предпосылка, что Гитлер должен быть побежден, стала цементным раствором, скреплявшим сначала Черчилля и Сталина, а затем альянс более чем три года, даже когда в фундаменте появились трещины. Но когда стало ясно, что Гитлер и нацистская Германия обречены, этот объединяющий элемент больше не скреплял англо-американо-русский альянс. Ялтинская конференция созывалась не ради обсуждения планов нанесения поражения Гитлеру, а для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос с изменениями на политической карте послевоенной Центральной и Восточной Европы. Но, несмотря на то что три лидера союзных держав в течение трех лет воевали во имя общей цели, теперь каждый преследовал свои цели, и они расходились даже во мнении относительно финального акта войны.

7 марта передовые подразделения американской 1-й армии перешли по железнодорожному мосту через Рейн у Ремагена, примерно в 100 милях к югу от британских и канадских армий Монтгомери, стоявших у Рура. Немцы хотели уничтожить Ремагенский мост, но американцы успели обезвредить взрывные устройства за несколько минут до взрыва. К утру 8 марта американцы закрепились на восточном берегу. Спустя неделю американская 3-я армия форсировала Мозель, а спустя семь дней — Рейн у Оппенхайма, к югу от Майнца и примерно в 150 милях к югу от Монтгомери, которому потребовался месяц на то, чтобы занять эту позицию. Руру грозила опасность, и фон Рундштедт, получивший

гитлеровский приказ защищать Рур любой ценой, направил армии на низменный участок фронта. Фон Рундштедт (который несколько месяцев назад был вновь назначен командующим на Западном фронте) замедлил наступление британцев, но 21 марта Монтгомери был готов к наступлению. В ту ночь первые отряды «Черной стражи» (Black Watch, 42-й Королевский пехотный шотландский полк) форсировали Рейн. Спустя две ночи основные силы Монтгомери, включая американскую 9-ю армию, перешедшую под его командование, форсировали Рейн. Операция получила кодовое название «Пландер», и Уинстон Черчилль прилетел к поднятию занавеса.

Монтгомери просил Брука не пускать Черчилля, но от Старика не так-то просто было отделаться. Британцы не воевали на немецкой земле с 1813 года. Черчилль прибыл в передовой эшелон штаба Монтгомери в сопровождении помощника Томми Томпсона, Брука и Джока Колвилла. Старику выделили два жилых автоприцепа, один для работы, другой для сна. В распоряжении Монти, написал Колвилл, было несколько жилых автоприцепов. Один принадлежал итальянскому генералу Бергонцоли; второй предназначался для сна, а третий, заполненный клетками с канарейками, служил кабинетом картографии. На стене висели два портрета Роммеля. Утром 24 марта Колвилл с товарищами отправились на высокий речной берег. Они смотрели и слушали, как 2 тысячи тяжелых орудий вели заградительный огонь и как над головой проносились бомбардировщики и истребители. Высоко в небе проплыла воздушная армада планеров и десантных самолетов, направляясь к месту высадки десанта. В какой-то момент Колвилл заметил далеко в небе инверсионный след, круто изгибавшийся в западном направлении: «Фау-2», летевшая в Антверпен или Лондон. Черчилль наблюдал за происходящим из штаба Монти. Все заметили, что некоторые самолеты союзников объяты пламенем и высоко в небе раскрываются парашюты[124].

На следующий день премьер-министр предпринял вылазку на берег реки. Там, неподалеку от Везеля, он взобрался на разрушенный мост, чтобы обозреть окрестности. Брук считал это безрассудством, тем более что немецкие снайперы и артиллеристы открыли огонь по британским саперам, находившимся в нескольких сотнях ярдов ниже по течению. Рядом падали снаряды, поднимая столбы грязи и воды, и Брук посоветовал Черчиллю вернуться в штаб. Вместо этого Черчилль «схватился обеими руками за покореженную балку моста, обхватив ее обеими руками и глянул через плечо... скривив губы, со злостью в глазах! Слава богу, он спокойно ушел, но ему очень не хотелось уходить, он получал огромное удовольствие!». На следующий день, побывав в штабе Эйзенхауэра, Старик предложил Монтгомери переправиться на катере на противоположный берег. «Почему бы и нет», — ответил Монтгомери. Позже Черчилль написал: «Ярко свети-

ло солнце, и мы совершенно спокойно высадились на немецком берегу и беспрепятственно побродили по нему примерно полчаса». Позже в тот день, вспоминал Брук, Черчилль совершил прогулку к реке и, придя на берег, «торжественно справил малую нужду в Рейн». Он стоял спиной, но Брук был уверен, что на лице Старика сияла «довольная мальчишеская улыбка»[125].

В течение недели Монтгомери с американской 9-й армией заняли плацдармы около 20 миль глубиной и 35 миль шириной по обе стороны Везеля. Американские 1-я и 9-я армии взяли в кольцо немецкую армию в Руре и встретились в Липштадте, близ Падерборна. К 4 апреля британская 2-я армия Монтгомери продвинулась еще дальше на восток, к Хамельну, на реке Везер. Таким образом, британцы с американцами оказались приблизительно в 150 милях от Берлина, прямой путь через северные равнины Германии. Тем временем русские армии в низовьях Одера на протяжении восьми недель занимались пополнением материальных запасов, чтобы совершить финальное, 50-мильное наступление на Берлин. Русские сообщили Эйзенхауэру, что, скорее всего, перейдут в наступление в середине[126].

В середине марта Молотов отказал во въезде на территорию Польши британской дипломатической миссии. 16 марта Черчилль телеграфировал Рузвельту: «В настоящее время нашим представителям полностью закрыт доступ в Польшу. На сцене опущен непроницаемый занавес... Я не сомневаюсь, что русские очень боятся, чтобы мы увидели то, что происходит в Польше». Спустя две недели Черчилль выразил протест Сталину относительно «завесы секретности» вокруг Польши и предупредил, что, «если наши усилия достичь соглашения по поводу Польши обречены на провал, я вынужден сообщить об этом парламенту». Но они уже достигли соглашения в Ялте, хотя его обтекаемая формулировка оставляла простор для интерпретаций. Слово «интерпретация» постоянно всплывало в телеграммах, которыми обменивались Рузвельт с Черчиллем в последние недели марта и в первую неделю апреля (к этому времени большинство сообщений за подписью Рузвельта составляли адмирал Лихи или Государственный департамент). Возможно, менее расплывчатая и более четко сформулированная с правовой точки зрения декларация все равно не остановила бы Сталина, но, по крайней мере, позволила сформулировать, что именно нарушил Сталин. Нечетко сформулированная декларация подчеркнула сталинское умение вести переговоры. Сейчас, когда Красная армия готовилась к финальному наступлению на Берлин и Вену, Сталин был волен интерпретировать соглашение так, чтобы оно устраивало только его — до остальных ему не было дела[127].

В конце марта Эйзенхауэр, не объясняя свое решение британским начальникам штабов (и Черчиллю), бросил свои основные силы на

юг, к оси Лейпциг—Дрезден и отвел от Берлина, стремясь поделить Германию на две части. К негодованию Монтгомери, Эйзенхауэр вскоре вывел из-под своего командования американскую 9-ю армию и направил ее на юго-восток, а не в центр Рурской долины. Затем Эйзенхауэр вызвал неудовольствие Черчилля и британских начальников штабов, сообщив 29 марта о своих планах непосредственно Сталину, в обход гражданских руководителей в Лондоне и Вашингтоне и своего непосредственного военного начальника Джорджа Маршалла. «Эйзенхауэр, — написал Брук в дневнике, — не имеет права напрямую обращаться к Сталину... он отправил какую-то невнятную телеграмму, и наконец она вызвала растерянность и отменила все предыдущие договоренности». Черчилль, написал Брук, «был в безнадежном настроении». Монтгомери в своих мемуарах привел текст телеграммы, которую Эйзенхауэр прислал ему шесть месяцев назад: «Понятно, что Берлин является главным трофеем. Поэтому, как мне кажется, не может быть сомнений в том, что мы должны сконцентрировать все наши усилия и ресурсы для быстрого наступления на Берлин». «Но теперь, — написал Монтгомери, — он так не думал... Бессмысленно продолжать обсуждать этот вопрос»[128].

Эйзенхауэр, написал Уильям Ширер, был «одержим» идеей немецкого национального редута в Альпах с их пещерами, перевалами и проходами, где, согласно разведывательным данным, Гитлер и остатки его армии могли вести бои в течение месяцев, а может, и лет. Айку сообщили, что глубоко под землей у немцев есть склады, где хранятся продовольствие, оружие и боеприпасы, и завод по производству оружия. Это был миф: «национальный редут» существовал только в пропагандистских выступлениях Геббельса. «Казалось, в разведывательное управление штаба Верховного союзного командования проникли английские и американские мастера детективных романов», — написал Ширер. Эйзенхауэр давно заявлял о своем намерении уничтожить немецкие армии, но этих армий не было там, где он собирался их найти[129].

Черчилль, в отличие от Монтгомери, был настроен на обсуждение новой стратегии Эйзенхауэра. Для Черчилля Берлин всегда был военной и политической целью. 1 апреля в телеграмме Рузвельту он выразил уверенность, что «ничто не окажет такого разрушительного психологического воздействия на все немецкие силы... как падение Берлина». Памятуя о вероятном нарушении Ялтинского соглашения, он предупреждал Рузвельта: «Если они [русские] возьмут Берлин, разве у них не создастся неправильное впечатление, что именно они больше всех сделали для нашей общей победы... Я считаю, что с политической точки зрения мы должны продвинуться как можно дальше на восток Германии и, если нам удастся добраться до Берлина, непременно взять его. Это важно и с военной точки зрения». Рузвельт, который 29 марта отправился в Уорм-Спрингс в надежде восстановить убывающие силы,

4 апреля прислал длинную и невнятную телеграмму, в которой не было ответов на поставленные Черчиллем вопросы, но зато была такая строчка: «Я не понимаю, к чему вы ведете». К тому времени Эйзенхауэр был по-настоящему одержим «национальным редутом»[130].

Кроме того, Эйзенхауэр не знал, что русские, которые в середине марта сказали, что перейдут в наступление не раньше середины марта, изменили решение. 1 апреля в Москве Сталин встретился со своими Верховными командующими, включая генералов Жукова и Конева, чьи армии стояли на Одере всего в 50 милях к востоку от Берлина. Даже после того, как Эйзенхауэр с обескураживающей прямотой раскрыл свою дальнейшую стратегию, Сталин считал, что британцы и американцы начнут наступление на Берлин. Это был бы очень разумный шаг со стороны Эйзенхауэра. Вот почему маршал приказал Жукову и Коневу как можно скорее начать дружеский забег от Одера до Берлина. Это решение сдвинуло начало атаки с середины мая на середину апреля. На следующий день Сталин сообщил о своем решении американскому послу[131].

Примерно в это время президент Чехословакии Эдуард Бенеш сказал Черчиллю за завтраком, как передал его слова Колвилл, что «Америка в материальном плане, возможно, намного превосходит Англию, но то, что Англия превосходит Америку в культурном плане, не вызывает ни малейших сомнений». Для Черчилля это являлось не просто утешением, поскольку он был полностью согласен с Маколеем, с тем, что, даже если англичане потеряют империю, они смогут по праву гордиться своими законами, своими нравственными нормами, своей литературой, своим чувством справедливости «нерушимой империи». Черчилль сказал Бенешу, что Англия «маленький лев, идущий между огромным русским медведем и большим американским слоном, но, возможно, окажется, что именно лев знал дорогу». Примерно то же самое он сказал Вайолет Бонем-Картер в отношении Тегеранской конференции. Но сейчас, в последние недели войны, уже не имело значения, знал ли Черчилль дорогу[132].

Последний предметный обмен мнениями «Большой тройки» происходил в последние дни марта и в начале апреля. 27 марта Черчилль попросил Рузвельта занять жесткую позицию по польскому вопросу. «Как Вам известно, если мы не сумеем добиться удовлетворительного решения польского вопроса и если мы будем на деле обмануты Россией, то как Иден, так и я будем обязаны сообщить об этом палате общин. Критикам Ялтинского соглашения в палате общин я советовал доверять Сталину. Если я буду вынужден сообщить в палате общин о положении дел, весь мир придет к заключению, что этот совет был неправильным... Не настало ли время нам обоим обратиться с посланием к Сталину по вопросу о Польше?.. Не можем ли мы заявить ему,

что удручены тем, что работе польской комиссии препятствуют недоразумения, связанные с толкованием ялтинских решений?»[133]

В телеграмме Сталину от 29 марта Рузвельт, в ответ на сталинскую неуступчивость и угрозу бойкотировать конференцию в Сан-Франциско, отказавшись отправлять туда Молотова, написал: «Я должен пояснить Вам исчерпывающим образом, что любое такое решение, которое привело бы к несколько замаскированному продолжению существования нынешнего варшавского режима, было бы неприемлемо и заставило бы народ Соединенных Штатов считать, что соглашение, достигнутое в Ялте, потерпело неудачу...»[134]

Сталин, в свою очередь, обвинил Черчилля и Рузвельта в том, что они поощряли секретные переговоры, которые состоялись в Берне, Швейцарии, между Алленом Далласом, руководителем резидентуры Управления стратегических служб в Берне, и генералом СС Карлом Вольфом, который служил под началом Альберта Кессельринга. Берн, как и Стокгольм, был рассадником интриг, и Даллас действительно вел предварительные переговоры с Вольфом, но, строго говоря, это были не переговоры о капитуляции: у Вольфа не было таких полномочий, он всего лишь прощупывал почву (и пытался узнать об условиях), надеясь усадить Кессельринга и фельдмаршала Александера за стол переговоров. Почему, спросил Сталин Рузвельта, «было отказано в участии советских представителей в переговорах в Берне»? Рузвельт, не отвечая на вопрос Сталина, написал: «Мне кажется, что в процессе обмена посланиями между нами относительно возможных будущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в Италии, несмотря на то что между нами обоими имеется согласие по всем основным принципам, вокруг этого дела создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия». В ответном послании Сталин, язвительно процитировав Рузвельта, написал: «Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте «создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия». Ознакомившись с сообщением Сталина, Черчилль написал Рузвельту: «Я поражен, что Сталин прислал Вам письмо, столь унизительное для Соединенных Штатов и для Великобритании... Тем важнее нам встретиться с русской армией как можно дальше на востоке и, если позволят обстоятельства, войти в Берлин». Но Рузвельт уже отверг эту стратегию. Черчилль добавил: «Если они [русские] считают, что мы их боимся и нас можно силой заставить подчиняться, то у меня возникают серьезные сомнения в возможности наших дальнейших отношений с ними»[135].

5 апреля Черчилль отправил телеграмму Сталину, в которой категорически отрицал факт ведения военных переговоров в Берне. «В Швейцарии не было никаких переговоров, даже о военной капитуля-

ции армии Кессельринга. Тем более в наши намерения, которые не носят такого позорного характера, как высказывается предположение, не входил какой-либо военно-политический сговор, как утверждается в вашей телеграмме президенту»[136].

Что касается Польши и Восточной Европы, то все уже было сказано и ничего нельзя было сделать. Вопрос был закрыт.

12 апреля после полудня Рузвельт, находившийся в Уорм-Спрингсе, пожаловался на «ужасную головную боль» и внезапно упал на пол. У него случился обширный геморрагический инсульт, и в 15:35 врачи констатировали смерть. Черчилль узнал об этом только ближе к полуночи. Он распорядился подготовить самолет для полета в Соединенные Штаты, чтобы присутствовать на похоронах 14 апреля. Он отправил три телеграммы, Гарри Гопкинсу, новому президенту Гарри Трумэну и Элеоноре Рузвельт, в которой написал: «Я лишился дружбы, выкованной в огне войны. Надеюсь, вы сможете найти некоторое утешение в важности его работы и славе, которая покрывает его имя». В конечном счете Черчилль не полетел в Гайд-Парк. Война могла завершиться со дня на день, и было очевидно, что в этот момент он хотел находиться в Лондоне. Рядом не было Клементины, которая могла дать совет. Две недели назад она уехала в Москву по приглашению Сталина. 14 апреля Черчилль написал жене: «В последний момент я передумал лететь на похороны Рузвельта, поскольку здесь происходит много важных событий»[137].

17 апреля Черчилль воздал должное Рузвельту в палате общин. Гарольд Николсон считал, что его речи не хватало вдохновения, что «она не шла ни в какое сравнение с речью, которую он [Черчилль] произнес на похоронах Невилла Чемберлена, сравнимую с речами Перикла». Однако, добавил Николсон, речь Черчилля показала, что «человеку сложнее писать или говорить о том, что глубоко затронуло его, чем о том, что вызывает только сожаление или страх». Черчилль закончил речь такими словами: «Нам остается только сказать, что в лице Франклина Рузвельта мы потеряли лучшего друга, который у нас когда-либо был в Америке, и величайшего борца за свободу, который оказывал помощь и поддержку Старому Свету из Нового Света»[138].

13 апреля, за три дня до того, как Жуков и Конев перешли в финальное наступление на Берлин, Красная армия взяла Вену. Затем войска Сталина направились вверх по Дунаю, в то время как силы Эйзенхауэра двинулись вниз, в направлении Линца. 16 апреля американские войска заняли Нюрнберг, место проведения самых масштабных нацистских мероприятий. Это была символичная победа; Нюрнберг находился почти в 240 милях от Берлина. Американцы, верные своей стратегии широкого фронта, удалялись все дальше и дальше от поля боя, которое Черчилль считал наиважнейшим, — от Берлина.

20 апреля Черчилль ужинал с Памелой Плоуден, графиней Литтон, которая полвека назад была его первой настоящей любовью. Ее сын Джон погиб под Эль-Аламейном. Черчилль впервые увидел ее на турнире по поло в Ассаме, в Индии, где ее отец был начальником полиции. Памела была одновременно умна и красива, королева в любом городе, который она удостаивала своим присутствием. Она принимала ухаживания Черчилля почти два года, после чего написала письмо, в котором сообщила, что ожидала от него большей пылкости. Она ранила его гордость, и он написал в ответ: «Почему вы считаете, что я не способен любить? Оставьте эту мысль. Одну я люблю превыше всех. И это не изменится». Он сделал ей предложение, когда они катались на лодке по реке Эйвон, под стенами Уорикского замка. Памела отказала. В некотором смысле его заявление о том, что он любит одну превыше всех, было правдой, но эта была любовь к политике, и политике он оставался верен на протяжении последующих десятилетий[139].

На следующий день Эйзенхауэр рассказал Черчиллю об ужасах, обнаруженных в недавно освобожденном концентрационном лагере в Бухенвальде. Только тогда Черчилль и британский народ стали осознавать, что пропагандистские рассказы об отвратительных убийствах невообразимого масштаба были правдой. С некоторым удовлетворением Колвилл написал в дневнике, что в Бухенвальд привели мэра Веймара с женой, чтобы они прочувствовали все ужасы Бухенвальда, и по возвращении домой супруги повесились[140].

Когда Черчилль обедал с графиней 20 апреля, британские ВВС в последний раз бомбили Берлин, но не потому, что хотели дать передышку берлинцам, а чтобы не попасть по союзникам Британии — Красной армии, которая подошла к воротам города. В этот день Гитлеру исполнилось 56 лет.

В этот день в Гамбурге двадцать еврейских детей, которых привели для медицинских экспериментов, были повешены эсэсовцами в подвале бывшей школы Булленхузер-Дамм, филиале концлагеря Нойенгамме. Кроме того, были повешены двадцать советских заключенных. Британские солдаты вошли в Гамбург, но немцы еще удерживали порт, где собрали 10 тысяч русских военнопленных и евреев, которых собирались перегнать в Любекскую бухту, расстояние между Гамбургом и Любеком 40 миль, а оттуда на кораблях переправить в Киль. Иден с Черчиллем считали, что Монтгомери должен продолжить наступление и взять Любек. Закрыв дверь в Данию, удастся удерживать немцев внутри, а Красную армию снаружи. Если русские займут Любек, написал Иден, это «доставит нам много неприятностей». Черчилль с Иденом также сошлись во мнении, что было бы хорошо, если бы американцы первыми вошли в Прагу[141].

20 апреля советская артиллерия 1-го Белорусского фронта, заняв позиции на подступах к Берлину, приступила к обстрелу центра го-

рода. Вскоре присоединились другие артиллерийские подразделения, обстреливая с востока, северо-востока и юго-запада Тиргартен, мертвый район, где больше не цвели майские цветы. Снаряды сыпались на зоопарк, в котором не было зверей, но засели 300 немецких артиллеристов, ведущих обстрел советских войск из 88-миллиметровых орудий. Советские «Катюши», установленные на шасси американских «Студебеккеров», обстреливали бульвар Унтер-ден-Линден до тех пор, пока от липовой аллеи остались только длинные ряды искромсанных, обугленных пней. Советская тяжелая артиллерия вела обстрел Рейхстага и рейхсканцелярии.

Тонны снарядов разрывались вблизи Бранденбургских ворот, чудом уцелевших после обстрела, и Виктория, богиня победы, по-прежнему сжимала в руке Железный крест, на который нацисты заменили оливковую ветвь. Парижская площадь лежала в руинах, но Академия искусств устояла. Расположенный неподалеку отель Adlon, частично объятый пламенем, тоже не испытывал недостатка в посетителях: подвал, в котором высокопоставленные нацисты раньше укрывались от британских бомб, был превращен в полевой госпиталь. Впрочем, у раненых почти не осталось медикаментов и надежды[142].

Гитлеровский олимпийский стадион выщербленными шрапнелью колоннами напоминал руины древнего Карфагена. Русская артиллерия вела обстрел города на протяжении двенадцати дней, не замолкая ни на минуту. Сотни берлинцев лишились рассудка. Тысячи покончили жизнь самоубийством, чтобы избежать смертельной ярости Красной армии. Отцы убивали жен и дочерей, чтобы они не попали в руки советских солдат. В своем führerbunker, на глубине 30 футов под Имперской канцелярией Адольф Гитлер все ждал и ждал, когда появятся его воображаемые армии, которые уничтожат захватчиков и спасут все то, что он старался создать. Но Гитлер и его поредевшая команда верных сторонников слышали, *ощущали* звук каждого советского снаряда, взрывавшегося на улицах над их головами. Здесь были самые давние и преданные нацистские сподвижники Гитлера, собравшиеся, чтобы отпраздновать день рождения фюрера, — Геббельс, Гиммлер, Геринг, Борман и Риббентроп. Здесь были последние из оставшихся военачальников — Дёниц, Йодль и Кейтель. Альберт Шпеер появился, чтобы поздравить с днем рождения, но вскоре отбыл, получив приказ от Гитлера: уничтожить все промышленные центры и электростанции, которые еще не сровняли с землей союзные войска: немецкий народ подвел своего фюрера, а значит, ничего не заслужил. Шпеер ушел, не собираясь выполнять приказ. Прервав праздничное торжество, Гитлер поднялся наверх во внутренний двор, чтобы выступить перед отрядом гитлерюгенда — подростками — и призвать их драться до конца. Он потрепал одного-двух по голове, а потом послал умирать. Позже в тот день гитлеровские генералы со-

ветовали главнокомандующему покинуть город и сформировать новое командование. Он не принял никакого решения, но отправил Дёница принять командование во Фленсбурге, неподалеку от датской границы. Ночью Геринг совершил удачный побег в караване автомобилей, забитых награбленным имуществом. Гиммлер тоже сбежал. К побегу готовился и Риббентроп. Каждый был уверен, что Гитлер вскоре умрет, и каждый полагал, что скоро возьмет власть в свои руки[143].

22 апреля Дёниц и Гиммлер звонили Гитлеру в бункер и убеждали его уехать, но к тому времени фюрер уже принял решение остаться и умереть, самостоятельно выбрав для этого место и время. Тем вечером он отправил Кейтеля и Йодля на юг, в Баварию, подготовиться под командованием Геринга к обороне последнего рубежа, несуществующего горного редута (Гитлер, как Эйзенхауэр, верил геббельсовской пропаганде). Йодль возразил, что Гитлер не сможет руководить боем из Берлина, и добавил, что вермахт не захочет сражаться под командованием Геринга. Гитлер бросил в ответ: «Что вы имеете в виду под словом «сражаться»? Сколько осталось сражаться? Всего ничего». Этот момент был островком просветления в море заблуждений. Альберт Шпеер назвал сюрреалистический мир бункера «Островом покойников»[144].

23 апреля Гиммлер и Геринг предприняли попытки занять место Гитлера. Геринг, который к тому времени находился в Берхтесгадене, написал Гитлеру письмо, в котором сослался на закон 1941 года, согласно которому в случае неспособности Гитлера руководить государством руководство принимает на себя его заместитель, рейхсмаршал. В этот же вечер Генрих Гиммлер встречался с графом Бернадоттом в шведском консульстве в Любеке на побережье Балтийского моря. Гиммлер в письменном виде изложил ошеломляюще наивную, однако не лишенную смысла идею: он обеспечит капитуляцию немецких войск на западе, продолжая сражаться против Красной армии до тех пор, пока не появятся Эйзенхауэр с союзниками, чтобы вступить в бой с большевиками. В тот вечер с Гитлером остались только эсэсовские охранники, Риббентроп и Борман. Борман строил планы побега и прихода к верховной власти, как Гиммлер и Геринг. Гитлер, узнав о маневрах Гиммлера и Геринга, рассвирепел. Он объявил толстого рейхсмаршала предателем, приказал найти его и расстрелять, приказ, который Борман с радостью отправил в эфир. В тот день Альберт Шпеер совершил опасное путешествие из Мекленбурга в Берлин, посадив свой маленький самолет у Бранденбургских ворот. Он прибыл к Гитлеру с просьбой предоставить ему отпуск и был готов к тому, что его вытащат наружу и расстреляют за невыполнение гитлеровского приказа о проведении тактики выжженной земли. Но после того как Шпеер признался, что не подчинился приказу, они с Гитлером непринужденно поговорили. На мгновение гилеровские «глаза напол-

нились слезами», он коротко попрощался со Шпеером, не обменявшись рукопожатием и только сказав «Auf Wiedersehen», и Шпеер в последний раз вышел из здания канцелярии, которое он спроектировал и построил семь лет назад[145].

К 25 апреля Берлин был окружен, хотя оставался узкий коридор на северо-запад, по которому бежали тысячи людей в надежде найти убежище у англичан и американцев. В тот день, вспоминал один из телохранителей Гитлера, обершарфюрер СС Рохус Миш, Гитлер ошеломил всех, кто находился в пределах слышимости, когда заявил, что война проиграна. Несмотря на это, Гитлер, как и Гиммлер, еще цеплялся за последнюю надежду: после того как немцы объединятся с американцами, их армии будут сражаться против русских. «Гитлер не думал, что такой народ, как англичане, свяжется с коммунистами, чтобы уничтожить Германию, и все еще верил... что что-то может произойти. Ему нравились англичане, за исключением Черчилля»[146].

В тот день передовые части русских и американцев встретились на Эльбе близ Торгау, всего в 75 милях к югу от Берлина. Германия была поделена пополам. В тот день состоялся первый телефонный разговор Черчилля с Трумэном, в ходе которого они обсудили предложение Гиммлера о капитуляции немецких войск на западе. Им потребовалось меньше минуты, чтобы сойтись во мнении, что с Гиммлером нельзя иметь дело и что все немецкие армии должны сдаться одновременно трем державам на всех фронтах. Черчилль телеграфировал это решение Сталину. Черчилль до конца оставался верным Сталину, но по сути их с Гиммлером объединяло желание помешать большевикам подойти к западным границам Германии. «Мой ум угнетала новая, еще большая опасность, которая стремительно открывалась моему взору», — позже написал Черчилль. Обдумывая последствия для Европы дальнейшего наступления русских на запад (в 1814 году они дошли до Парижа и могли повторить это сейчас), он готовил ответ, военный ответ[147].

В субботу, 28 апреля, русские вышли на Потсдамскую площадь, всего в квартале от бункера Гитлера. Размеренный топот, от которого содрогалась земля, приближался с устрашающей быстротой. К утру следующего дня Гитлеру уже все было ясно. Он поставил Дёница во главе того, что осталось от правительства, а затем продиктовал свое личное и политическое завещание, в котором обвинил «правящую клику Англии» и «международное еврейство» в развязывании войны и гибели 30 миллионов. Незадолго до рассвета 29 апреля Гитлер и глуповатая Ева Браун, которая была его любовницей на протяжении двенадцати лет, сочетались законным браком; свидетелями были Борман и Геббельс. На невесте было темно-синее шелковое платье. После неофициальной части в личных покоях фюрера был устроен скромный прием. Гости слушали, как фюрер разглагольствовал о старом добром времени. Позже Гитлер получил одну из последних новостей

из внешнего мира: накануне итальянские партизаны казнили Муссолини и его любовницу, Клару Петаччи. Когда Гитлер узнал об их смерти, их тела уже были привезены в Милан и повешены на фонарных столбах вниз головой. Помехи на линии не позволили Гитлеру узнать еще об одном важном событии, которое произошло в тот день в Италии: генерал Генрих фон Фитингхоф согласился капитулировать 2 мая. Над канцелярией по берлинским улицам шла Красная армия[148].

Когда Гитлер поднимал бокал за свою невесту, Черчилль составлял длинную телеграмму Сталину, в последний раз пытаясь спасти договоренности по польскому вопросу, достигнутые в Ялте. По сути, это была последняя попытка сохранить мир. План в отношении Польши, утвержденный в Ялте, написал Черчилль, предполагал «всеобщее избирательное право» и по-настоящему демократические выборы. «Ничего из этого не осуществилось», — написал Черчилль, напомнив, что Британия вступила в войну ради Польши. Британцы «никогда не будут считать, что эта война закончилась справедливо, до тех пор пока Польша не получит в соответствии с понятиями суверенитета, независимости и свободы, в полном значении этих слов, на основе дружбы с Россией». Из Польши приходили слухи об исчезновении польских патриотов (действительно, советская тайная полиция, НКВД, проводила массовые казни польских офицеров и солдат). В конце марта шестнадцати польским республиканцам был предоставлен безопасный проход из Варшавы в Люблин для встречи с советскими генералами. Они исчезли. Молотов, который прибыл на конференцию Объединенных Наций в Сан-Франциско, поначалу отказался предоставлять Идену какую-либо информацию о происходящем в Польше. Союзники в Ялте приняли решение, что представители каждого государства получат свободный доступ в зоны, находящиеся под контролем другой страны. Однако, как заявил Черчилль Сталину, ни англичанам, ни американцам не разрешили никого отправить в Польшу, чтобы «на месте оценить истинное положение дел в стране». Приближается серьезный кризис, Черчилль предупреждал: «Не особенно утешительно заглядывать в будущее, когда Вы и страны, в которых Вы господствуете, плюс коммунистические партии во многих других государствах выстраиваются все по одну сторону, а те, кто объединяется вокруг народов, говорящих по-английски, и их союзников или доминионов — по другую сторону. Вполне очевидно, что ссора между ними будет раздирать мир на части и что все мы, руководители каждой из сторон, которым приходилось иметь к этому какое-либо отношение, будем посрамлены перед историей». Колвилл назвал эту телеграмму «искусным... последним призывом к решению польского кризиса»[149].

На той неделе Сталин поделился своей философией войны с Милованом Джиласом, гостем в Кремле: «В этой войне не так, как в про-

шлой, а кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может. Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнет... Если в Париже нет коммунистического правительства, то только потому, что в 1945 году у России нет армии, которая могла бы дойти до Парижа»[150].

29 апреля пришла очередь Австрии оказаться под советским сапогом, когда московское радио объявило о создании временного правительства в Вене. Американские войска заняли две трети австрийских западных земель, но, несмотря на это и на принятые в Ялте соглашения, советское правительство не разрешило американским и британским дипломатическим представителям посетить Вену. На самом деле посещать было практически ничего: при отступлении из города немцы подожгли собор Святого Стефана и большую часть старого города.

В Берлине в начале следующего дня, в понедельник, 30 апреля, Гитлеру сообщили, что у защитников города к ночи закончатся боеприпасы. Во второй половине дня, проверив действие цианида на своей восточноевропейской овчарке по кличке Блонди, Гитлер вручил капсулу с цианидом своей жене. Фрау Гитлер покорно взяла капсулу и раскусила ее. Это было последнее убийство Адольфа Гитлера. Мгновение спустя вдовец засунул в рот дуло пистолета и нажал на спуск.

В то утро американцы заняли Мюнхен, а в Италии вошли в Турин, где в течение трех дней итальянские партизаны сражались с немцами. Война в Италии, по сути, закончилась, хотя Альберт Кессельринг, который теперь командовал всеми немецкими силами на западе и на востоке, отстранил от командования фон Фитингхофа, предлагавшего капитулировать. Спустя два дня Кессельринг понял всю безнадежность дальнейшего сопротивления; итальянские армии сдались Александеру.

13 апреля Эйзенхауэр гарантировал советскому заместителю начальника штаба, что правое крыло 3-й армии Паттона в Австрии не продвинется дальше Линца, города, в котором прошла большая часть детства Гитлера и где он собирался построить Führermuseum (Музей фюрера), музей украденных произведений искусства. Он хотел также, чтобы в Линце была его могила, к которой, как он полагал, нацисты будут веками совершать паломничество. В 200 милях к северу от Линца левый фланг 3-й армии Паттона находился всего в 60 милях к западу от Праги и по приказу Эйзенхауэра прекратил наступление на восток. Черчилль попросил Трумэна, чтобы Паттон продолжил наступление. Но президент поддержал Эйзенхауэра, который заявил, что не станет предпринимать «действия, которые я считаю неразумными с военной точки зрения». Вопросы, беспокоившие Черчилля с Ялтинской конференции, были, строго говоря, не совсем военного характера. Он сказал Трумэну: «Нет сомнений, что освобождение Праги...

вашими силами может оказать существенное влияние на послевоенное положение Чехословакии и соседние с ней страны». Но Трумэн и Эйзенхауэр стояли на своем. Эйзенхауэр заверил русских, что после капитуляции союзные войска отступят на 140 миль от русской зоны, согласованной на Ялтинской конференции. Русские взяли Прагу 4 мая. Позже Иден написал: «Отказ [американцев] занять Прагу привел к тому, что Красная армия смогла ввести в руководство своих ставленников». Это не было той «взаимной помощью», на которую рассчитывал Эдуард Бенеш, когда полтора года назад подписывал договор о дружбе со Сталиным сроком на двадцать лет[151].

13 апреля партизаны Тито вошли в Триест и к ночи уже сражались с итальянцами в пределах города. Черчилль приказал новозеландским войскам занять город, посоветовав применять силу исключительно для самообороны. Но Тито победил в гонке за Триест и Истрию. «Сложно представить, что когда-нибудь его удастся заставить уйти», — написал в дневнике Колвилл. Однако притязания Тито на северо-восток Италии, написал Колвилл, «могли внести раскол в ряды Итальянской коммунистической партии и, по крайней мере, спасти Италию от тисков русского империализма». Так и произошло, и черчиллевская демонстрация силы закончилась возвращением югославам домов в середине июня. Трумэн занял жесткую позицию, поддерживая Черчилля в этом вопросе, из чего Черчилль сделал вывод, что новый президент будет занимать жесткую позицию в отношении русских, если возникнет необходимость, которая с каждым днем становилась все очевиднее. Колвилла удручала перспектива того, что Советский Союз со своими югославскими ставленниками будут господствовать в Европе «от Нордкапа до Триеста», но утешал тот факт, что «американцы де-факто занимают значительные части Германии, которые де-юре относятся к русской зоне оккупации». Колвилл с Черчиллем еще не знали об обещании Эйзенхауэра вывести армии из русской зоны[152].

Наступила ночь перед 1 мая, Вальпургиева ночь, традиционный европейский праздник (согласно поверью, в эту ночь ведьмы встречают приход весны). На протяжении веков в эту ночь крестьяне от Румынии до Балтики жгли костры, чтобы отгонять злых духов, блуждавших по земле. Они поддерживали огонь в надежде дожить до утра и встретить 1 мая, древний языческий праздник перерождения. При Гитлере Вальпургиева ночь стала священным нацистским праздником, в который добропорядочные немцы воздавали должное плодовитости нацистской молодежи, ей предстояло произвести на свет великолепных нацистских детей. Вскоре после того, как фюрер покончил с жизнью, небольшая группа эсэсовцев перенесла его тело и тело Евы Браун во внутренний двор канцелярии, положила в воронку от снаряда и, с помощью 20 галлонов бензина, разожгли еще один огонь в пылающей преисподней, в которую превратился Берлин. Прошло две-

надцать лет и три месяца с тех пор, как Гитлер стал канцлером Германии. Тысячелетний рейх переживет его на неделю[153].

Геббельс пережил его на день. Два года назад маленький доктор нарисовал одновременно горькую и радостную картину семейной жизни в своем дневнике: «Вечером я могу уделить немного времени детям, с которыми мне очень интересно... Когда война закончится, я смогу уделять их воспитанию больше времени, чем раньше. Я не могу думать или желать более прекрасной работы в наступающее мирное время». Война закончилась, и мир, который Геббельс планировал для своих детей, будет вечным. Вечером 1 мая герр доктор и фрау Геббельс отравили своих шестерых детей. Их маленькие тела вынесли во двор, где два офицера СС, по приказу Геббельса, убили их с женой двумя выстрелами в затылок. Затем семью Геббельс облили бензином и подожгли. Но бензина не хватило, чтобы завершить дело, и на следующий день красноармейцы нашли их полуобгоревшие трупы[154].

К вечеру 1 мая красноармейцы подожгли опустевший бункер фюрера. Для стрельбы прямой наводкой по Рейхстагу было подтянуто восемьдесят девять орудий; Рейхстаг был захвачен после 15-часовой перестрелки между русскими, которые занимали второй этаж, и группой немцев, находившихся на третьем. Гражданское население Берлина пряталось в городских подвалах. Наверху, на улицах, были только советские солдаты и мертвые берлинцы. Последние оставшиеся нацисты сражались под землей, в канализационных коммуникациях. Борман и несколько сотен человек из ближайшего окружения Гитлера нашли убежище в здании Новой канцелярии. Они попытались выйти на набережную Шпрее по туннелю метро, проходившему под Вильгельмплац. Сгорбившись, в грязных серых шинелях, они крались вдоль стен в темноте. Борману не удалось сбежать: он погиб от осколков снаряда, попавшего в танк, за которым он надеялся укрыться[155].

В апреле в Европу пришла отличная погода, которая скорее бывает в разгар лета, чем в начале весны. «Никто не может вспомнить, когда в последний раз в апреле была такая погода, — написал Колвилл в дневнике. — Наверняка такой весны еще не было... Ветки вишен склоняются под тяжестью цветов, уже расцвели каштаны, сирень, как и глициния в Большом дворе, и еще не отцвели нарциссы». Под «ярко-синим с зеленоватым оттенком небом» высокие вязы облачились в раннюю бледно-зеленую листву. В ночь с 30 апреля на 1 мая в Лондоне, после двух недель такой прекрасной погоды, густо повалил снег. К рассвету наружные ящики для цветов были покрыты толстым слоем снега, ветви сирени согнулись под белым покрывалом, но цветы упрямо пробивались сквозь снежные шапки. Это выглядело странно, но некоторым образом соответствовало дню перерождения. Вечером, когда Черчилль расхаживал по курительной комнате в палате общин,

один из членов парламента спросил его о положении дел на фронте. Он ответил: «Ну, оно явно лучше, чем пять лет назад в это же время»[156].

Вечером 1 мая радио Гамбурга прервало трансляцию любимой гитлеровской оперы Вагнера «Гибель богов», и диктор объявил: «Наш фюрер Адольф Гитлер, сражаясь до последнего дыхания против большевизма, сегодня днем пал за Германию...» Вагнер в примечании к «Гибели богов» написал: «Сила, которая хочет переделать весь мир в угоду собственному желанию, в конечном итоге не добьется ничего... кроме уничтожения»[157].

Вечером Черчилль устроил обед для политиков в «пристройке»: за столом не было ни одного военачальника. Пришло время представить себя в качестве лучшего кандидата на роль лидера в мирное время. Впереди еще была война с японцами, но война в Европе — война Англии — закончилась. В Великобритании должны были пройти всеобщие выборы. Бивербрук (и Иден, из Сан-Франциско) настаивали на проведении выборов в июне, пока не потускнели впечатления от победы. На обеде присутствовали Бивербрук, Оливер Литтлтон, парламентский партийный организатор Джеймс Стюарт и Ральф Асшетон, все ведущие политики консерваторов, фельдмаршалы своей партии. Не было Брэндена Брекена: консерваторы начали «косо посматривать на тандем Брэнден—Бивер», позже написал Колвилл, отчасти потому, что эти главные приверженцы Черчилля составляли оппозицию либеральным тори по вопросам национального здравоохранения, жилищной политики и образования, которую поддерживал Черчилль (старый либерал). Он считал, что поддержка преобразований в этих трех сферах принесет ему и партии победу на всеобщих выборах. Он был вынужден, чтобы обеспечить внутрипартийное единство, оттеснить в сторону одного из двоих своих самых верных друзей. Им был Брекен, вскоре назначенный на должность первого лорда адмиралтейства за службу и преданность. Он мечтал о работе в министерстве финансов, но его старый друг Уинстон Черчилль знал, что он не имеет соответствующей квалификации для работы в этом министерстве. Впервые за пять лет в разговоре не упоминалось имя Адольфа Гитлера, вернее, до тех пор, пока Джок Колвилл не сообщил о смерти фюрера. Старик, уверенный, что Гитлер погиб в бою, сказал: «Что ж, должен сказать, что он правильно сделал, выбрав такую смерть»[158].

Партийное совещание продолжалось до 3:00 утра. С конца марта они вынашивали план попросить Эттли и лейбористов оставаться в правительстве до поражения Японии, а затем провести всеобщие выборы. Выборы могли состояться в 1946 году, когда Черчилль, вероятно, все еще купался бы в лучах славы. Эттли и лейбористы, со своей стороны, хотели провести выборы не позже октября, вне зависимости от положения дел в Тихоокеанском регионе. Все считали, что британцам придется вторгаться в Японию.

Гитлеровская канонада в июне 1941 года объявила о его намерении уничтожить Россию; 12-дневный заградительный огонь Жукова превратил Берлин в развалины. Русские «Катюши» обстреливали эти развалины, сотрясающиеся от подземных взрывов, когда советские саперы с помощью динамита и огнеметов очищали туннели метро, в которых продолжали сражаться нацисты и откуда запах горелой плоти проникал на улицы. На каждого из 300 тысяч защитников Берлина приходилось пять русских, на каждый немецкий танк — шесть русских, а превосходство русских в артиллерии составляло пятнадцать к одному. К концу боев потери русских составили 350 тысяч, из них около 80 тысяч убитыми. В пределах городской черты, где защитники на баррикадах могли сдерживать большее количество нападавших, было убито в пять раз больше красноармейцев, чем немцев. Погибло более 125 тысяч берлинцев, многие покончили жизнь самоубийством, огромное количество женщин подверглись насилию, хотя привести точные цифры невозможно из-за неистовства последних дней войны. Останки умерших извлечены из земли. Среди них нет останков Гитлера; советские солдаты ночью 1 мая сгребли их и отправили на восток, в Россию. Немедленно по Европе пронесся слух: Гитлер сбежал в свой горный редут, расположенный в неизвестном месте на западе. Черчилль подозревал, что эти слухи распространяли русские. Так и было. Недели спустя Сталин «предположил», что Гитлер со своими главными помощниками мог сбежать в Японию на гигантской подводной лодке. Умный способ манипулирования общественными страхами, обращение к Вальпургиевой ночи, ужасающее предположение, что Гитлер мог снова вернуться и возродить рейх из пепла. На самом деле части черепа и челюсти Гитлера были доставлены в Москву. Остальные останки были зарыты на площади для военных парадов в Магдебурге, который входил в советскую зону оккупации. Где-то в 1970-х останки фюрера были эксгумированы и сожжены второй раз. Пепел смыли в городскую канализационную систему, где его ждала участь монстра из романа Мэри Шелли* — *скоро волны унесли его, и он исчез в темной дали*[159].

1 мая Эйзенхауэр обратил внимание на Тихоокеанский театр военных действий. Он в срочном порядке отправлял туда 1-ю армию и хотел отправить Паттона и 3-ю армию. Кроме того, туда должна была отправиться половина американских военно-воздушных сил, находившихся в Европе. В Германии американские подразделения, пересекшие оговоренные демаркационные линии, по которым было достигнуто соглашение, уже отступали на запад.

---

* Шелли Мэри (1797—1851) — английская писательница, автор романа «Франкенштейн, или Современный Прометей». Жена поэта-романтика Перси Шелли.

2 мая Имон де Валера, премьер-министр Ирландии, приехал в немецкое посольство в Дублине, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти Гитлера. Ирландия стала единственной англоговорящей страной в мире, которая победила в войне, не вступая в нее. Спустя несколько дней, выступая по радио, Черчилль подверг де Валера резкой критике. Говоря об угрозе со стороны подводных лодок в 1940 и 1941 годах, Черчилль заявил: «Это был действительно смертельно опасный момент в нашей жизни, и, если бы не дружба и преданность Северной Ирландии, нам бы пришлось столкнуться лицом к лицу с господином де Валера, либо навсегда исчезнуть с лица земли. И все же, со сдержанностью и самообладанием, которым, смею заметить, найдется немного примеров в истории, правительство его величества не оказало на него силового воздействия, хотя порой это было бы очень просто и вполне естественно и дало возможность правительству де Валера заигрывать с немецкими, а позже с японскими представителями сколько душе угодно»[160].

2 мая во Фленсбурге граф Шверин фон Крозиг, которому новый президент Германии Карл Дёниц только что поручил возглавить правительство, обратился по радио к немецкому народу: «На Востоке за железным занавесом, скрытая от глаз всего мира, продолжается работа по разрушению и неуклонно движется вперед...» На следующий день лондонская Times опубликовала его выступление[161].

Монтгомери занял Любек 2 мая, всего на двенадцать часов опередив русских. Таким образом, армия Монти перекрыла вход в Данию. На следующий день, вскоре после полудня, к автоприцепу Монтгомери в сопровождении британских солдат подошли четыре немецких офицера с белым флагом. Монти, как скряга сосед, который не желает видеть гостей, распахнул дверь и потребовал объяснения у переводчика: «Кто эти люди? Чего они хотят?» Это были представители фельдмаршала Кейтеля, и они хотели договориться о сдаче британцам трех немецких армий, которые стояли напротив Красной армии. Они сказали, что боятся за мирных жителей, оказавшихся между армиями, и жестокого обращения со стороны русских, если сдадутся Красной армии. Монтгомери ответил, что об этом стоило подумать до того, как начинать войну. Немцы спросили, что же им делать, как сохранить жизнь. По сути, они искали одобрения Монтгомери, чтобы продолжить борьбу с русскими без вмешательства британцев с тыла. Монтгомери им отказал, сообщив, что их положение безнадежно и, пока они не сдадутся, он будет убивать немецких солдат и гражданских лиц. Затем он пригласил их в палатку, предложив позавтракать и обдумать ситуацию. Они ели и обдумывали, а потом сообщили, что придут завтра с ответом. Они ушли во Фленсбург, чтобы передать ультиматум Монтгомери. Посовещавшись с Дёницем, они вернулись на следующий день, 4 мая, в 18:30, и подписали акт о капитуляции, подготовленный Монтгомери. Монтго-

мери был уверен, что немцы поступят именно так, и потому еще вечером 3 мая приказал прекратить огонь[162].

Война Британии в Европе закончилась. И на Дальнем Востоке британские и колониальные войска накануне освободили Рангун. Вечером Черчилль собрал военачальников в «номере 10». Брук отметил, что Черчилль, «очевидно, находился под сильным впечатлением оттого, что война на самом деле подошла к концу, по крайней мере с Германией. Со слезами на глазах, он благодарил всех нас за то, что мы делали во время войны... Затем каждому пожал руку», — вспоминал Брук[163].

4 мая в Сан-Франциско Молотов признался Идену, что шестнадцать поляков, которым был предоставлен безопасный проход из Варшавы в Люблин, арестованы. Сталин подтвердил эту информацию в телеграмме Черчиллю, назвав поляков «уклонистами». Представители пятидесяти из пятидесяти одного союзного государства прибыли в Сан-Франциско. Пятьдесят первое, Польша, по сути, прекратило существование. Русские предложили британцам политическую сделку: они одобрят принятие Аргентины (ее кандидатуру выдвинули британцы с американцами) в члены ООН в обмен на признание — по словам Кадогана — «непристойно фальшивого польского правительства». Это был ловкий ход со стороны Сталина и Молотова. Аргентина, с ее квазифашистским правительством, до последнего момента сохранявшая выгодный для стран оси нейтралитет в войне, наконец в конце марта вступила в войну. Люблинские поляки, как бы они ни сочувствовали коммунистам, сражались против нацистов с 1939 года. Если принимать Аргетину, сказал Молотов, то почему бы не признать новое польское правительство? Иден был категорически против[164].

В понедельник 7 мая в 2:41 ночи в Реймсе пришла очередь Эйзенхауэра принимать капитуляцию. Акт о безоговорочной капитуляции подписали генерал Альфред Йодль, от Дёница, и Беделл Смит, от штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил, и французский и русский офицеры в качестве свидетелей. Военные действия должны были прекратиться в полночь, а немцы проследовать в Берлин для подписания капитуляции с русскими 9 мая. Незадолго до рассвета Мопсу Исмею позвонил Эйзенхауэр. «Что случилось?» — спросил Исмей. Эйзенхауэр ответил: «Все закончилось». Но ничего не могло закончиться, пока Сталин не сказал свое слово. Его солдаты еще вели бои в Чехословакии и на Прибалтийском фронте. Он хотел отложить официальное объявление до ратификации капитуляции всеми сторонами 9 мая в Берлине[165].

Предрассветная гроза, разразившаяся над Лондоном, «была так похожа на блиц, что многие лондонцы сразу проснулись и потянулись к прикроватным светильникам», написала Молли Пэнтер-Доунес.

Бомбардировки «Фау-2» прекратилась в конце марта, но нервы были еще на пределе. Затемнение отменили неделю назад, после 2061 непроглядной ночи. Но уличные фонари в Лондоне не горели, и, хотя большинство горожан сняли плотные темные шторы (которые использовали для траурной одежды и похоронных покрывал), они задергивали обычные шторы просто по привычке. Пятилетняя девочка, которая всю жизнь провела за плотно задернутыми шторами, сказала матери: «Здорово впускать свет, но как не впустить темноту?»[166]

Во второй половине дня, 7 мая, когда начали собираться толпы в ожидании официального объявления, Черчилль собрал военачальников на обед в «номере 10». Обед получился каким-то «беспорядочным» написал Брук, поскольку Черчилль вел телефонные разговоры с Трумэном и Эйзенхауэром по поводу официального объявления, которое Черчилль хотел сделать вечером, а Сталин хотел отложить на день. «Как обычно, — позже написал Исмей, — Сталин добился своего». Черчилль согласился отложить объявление, но только на сутки. Вторник, 8 мая, должен был стать Днем Победы в Англии и Америке. Советский Союз собирался праздновать победу 9 мая. Черчилль с гостями проследовали в сад, чтобы сделать фотографии. Черчилль сам поставил на стол шампанское и бокалы. Он поднял тост за военачальников, «архитекторов победы», и выразил признательность за годы работы, благодаря которым наступил этот день. По непонятным причинам никто не произнес ответного тоста. Исмей не верил, что это было намеренное неуважение. Позже он написал: «Я надеялся, что они поднимут бокалы за главного планировщика; но, возможно, они были слишком взволнованы и боялись, что будет дрожать голос»[167].

Вечером по Би-би-си объявили, что премьер-министр выступит с обращением к народу из «номера 10» завтра в 15:00. В Нью-Йорке, Париже, Брюсселе, Москве и Лондоне улицы уже наводнили толпы. На рассвете 8 мая более миллиона лондонцев — мужчин, женщин и детей — начали стекаться к воротам Букингемского дворца с Уайтхолла, Пиккадилли и Трафальгарской площади, со стороны Гайд-парка, площади Парламента, Сент-Джеймсского парка и Грин-парка. Лондонские колокола начали звонить на рассвете и звонили все утро, и этот звон долетел до пригородов и прокатился по Темзе до Ла-Манша. Дети шествовали по улицам, завернувшись в американские, британские и русские флаги. Тысячи юнион-джеков, звездно-полосатых и серпасто-молоткастых флагов вывешивались из окон. Матери приподнимали детей, и те размахивали маленькими юнион-джеками. Домохозяйки с сумками в длинных очередях за хлебом размахивали маленькими юнион-джеками. Компания моряков с девушками шла по Пиккадилли «паровозиком». Владельцы бульдогов шествовали по улицам со своими подопечными, одетыми в комбинезоны с юнион-джеком. В тот день толпа восемь раз вызывала короля с королевой, и восемь

раз королевская чета выходила на балкон Букингемского дворца, король Георг был в форме Королевского военно-морского флота.

Черчилль завтракал во дворце с королем, человеком, который пять лет назад с большой неохотой вручил ему должностные печати. Когда толпа вновь стала вызывать королевскую семью, король предложил Черчиллю выйти на балкон вместе с ним, королевой и принцессами Маргарет и Элизабет. Всегда с уважением относившийся к монархии, Черчилль встал на шаг позади короля Георга, пригнувшись, словно сверху на него давил потолок. В тот день на фотографиях Черчилль запечатлен с озорной мальчишеской улыбкой, которому сказали вести себя прилично. Молли Пэнтер-Доунес написала, что толпа, увидев Черчилля, огласила окрестности «глубоким, звучным, почти благоговейным ревом»[168].

Во второй половине дня король Георг выступил с короткой речью по радио. «Сегодня мы благодарим всемогущего Господа за ниспосланное великое избавление», — начал он и призвал британцев присоединиться к нему «для вознесения благодарственных молитв». Закончил он так: «В час опасности мы смиренно вручили нашу судьбу в руки Господа, и Он стал для нас силой и щитом... Вознесем благодарность за Его милосердие в час победы». По ту сторону Атлантического океана президент Трумэн, праздновавший свой шестьдесят первый день рождения, выступил с заявлением по радио: «Армии союзников путем самопожертвования и преданности, с Божьей помощью, заставили Германию окончательно и безоговорочно капитулировать... Мы должны как нация возблагодарить всемогущего Бога, который вселил в нас силу и дал нам победу». Президент Соединенных Штатов Америки объявил «воскресенье 13 мая 1945 года днем молитв». Ни король, ни президент не упомянули Уинстона Черчилля.

В Париже почти миллионная толпа французов сопровождала Шарля де Голля по Елисейским Полям до Триумфальной арки. Обращаясь к соотечественникам, он сказал: «Слава! Вечная слава нашим армиям и их руководителям! Слава нашему народу, которого не сломили и не согнули страшные испытания! Слава Объединенным Нациям, которые смешали свою кровь с нашей кровью, свои страдания с нашими страданиями, свои надежды с нашими надеждами и которые сегодня торжествуют вместе с нами! Да здравствует Франция!» Спустя два месяца временная Консультативная ассамблея провела голосование, которое наглядно продемонстрировало, насколько ошибочное мнение о Франции и де Голле сложилось у Франклина Рузвельта и Государственного департамента. Ассамблея, это вздорное сборище социалистов, коммунистов, либералов, консерваторов, республиканцев и монархистов, единогласно проголосовала за председательство де Голля в Совете. В октябре, в день рождения Организации Объединенных Наций, воз-

рожденная Франция заняла свое место в качестве пятого постоянного члена Совета Безопасности. Три месяца спустя, в январе 1946 года, де Голль, не согласившийся с новой конституцией, которая должна была лечь в основу Четвертой республики, подал в отставку. Он был, однажды сказал один из его министров, «человеком, одинаково неспособным как монополизировать власть, так и делиться ею». Его добровольное политическое изгнание длилось тринадцать лет, до января 1959 года, когда, получив почти 80 процентов голосов избирателей, он был приведен к присяге как президент Пятой республики[169].

8 мая в Лондоне, за несколько минут до трех часов дня, члены парламента собирались во дворе дворца, где были установлены громкоговорители, чтобы послушать выступление. «Как только Биг-Бен пробил три часа, — вспоминал Гарольд Николсон, — все замолчали и установилась удивительная тишина. И затем раздался голос Уинстона». Его речь состояла всего из пятисот с лишним слов и заняла совсем немного времени. Клементина слушала ее в британском посольстве в Москве. Мэри слушала обращение за городом, играя в бридж с Джоком Колвиллом. Рэндольф слушал выступление отца, когда пролетал на самолете над Югославией. Диана и Сара слушали в Лондоне. Часть, в которой Черчилль перечислял стороны, подписавшие акт о капитуляции, была не интереснее объявлений о прибытии и отбытии поездов, но затем он произнес: «Почти весь мир объединился против злодеев, которые сейчас повержены перед нами», и толпа ахнула. Черчилль закончил выступление словами: «Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!» Затем трубачи сыграли сигнал отбоя, и зазвучал гимн «Боже, храни короля!», Николсон и члены парламента пели «действительно очень громко»[170].

Лорд Моран слушал речь Черчилля в переполненной палате лордов. Когда Черчилль закончил выступление, пэр повернулся к Морану и выразил удивление, что премьер-министр не упомянул Бога. Моран спросил поэта-лауреата Джона Мейсфилда, что он думает по этому поводу. Мейсфилд ответил: «Я предпочту честную манеру Черчилля лживому краснобайству человечка». Авраам Линкольн, предположил Моран, «выступил бы более проникновенно». Мейсфилд согласился, но добавил, что «он [Линкольн] был исключительно благочестивым человеком»[171].

После выступления Черчилль отправился в палату лордов зачитать речь членам парламента. В любой другой день путь от «номера 10» до здания парламента занимал считаные минуты, но сегодня его автомобилю приходилось прокладывать путь сквозь кричащую толпу. Черчилль прибыл в палату в 15:23, «смущенный и радостный», отметил Гарольд Николсон, и «все депутаты разом поднялись с места, и скандировали, и кричали, и размахивали листками с повесткой дня». Черчилль в ответ кивал и широко улыбнулся. Он зачитал свое обращение,

добавив две фразы. В первой он выразил благодарность палате за «великодушную поддержку» во время войны. Затем, вспомнив реакцию палаты 11 ноября 1918 года, когда ей стало известно о Перемирии, он предложил, чтобы «палата посетила церковь Святой Маргариты в Вестминстере, чтобы смиренно и почтительно поблагодарить всемогущего Бога за наше избавление от угрозы немецкого владычества». Он добавил: «Так поступали в прежние времена». Предложение было принято, и парламентский пристав взял церемониальный жезл (который, как местная кошка Минни, пережил блиц), и все члены парламента прошли через холл, через часовню Святого Стефана и вышли на площадь Парламента, где конные полицейские прокладывали им путь сквозь толпы людей[172].

Когда появился Черчилль, толпа взорвалась криками: «Винни, Винни!» Молли Пэнтер-Доунес написала: «Уши, глаза и глотки толпы были отданы только Черчиллю». Матери поднимали детей, которым потом говорили, что они видели Великого человека. Какой-то кокни крикнул: «Это он! Это старая любимая лысая голова!» После службы Черчилль уехал в открытом автомобиле, в одной руке толстая сигара, другая с поднятыми вверх двумя пальцами в виде буквы V. Вечером он вышел на балкон на Уайтхолле и сказал собравшейся толпе: «Это ваша победа».

В ответ толпа проревела: «Нет, твоя!»[173]

Брук написал, что в этот день «беспорядок был вызван Победой! С такой формой беспорядка я могу смириться». Ему было приятно, когда леди Григг сказала, что, когда он садился в автомобиль на Уайтхолле, никто из смотревшей на него «толпы не понимал, что перед ними человек, который, вероятно, внес самый большой вклад в победу над Германией». «Это неправильно, — сказала она, — передайте от меня леди Брук». Брук не мог удержаться от выпадов в адрес Черчилля, в том числе такого: «Ни в одной из своих речей премьер-министр не упомянул начальников штабов» и то, как они вели войну на «высочайшем уровне». Когда спустя пять дней Черчилль выступал по радио, он сделал паузу посреди выступления, которое, по сути, являлось изложением истории войны, и сказал: «И в этот момент я хочу воздать должное лично от себя британским начальникам штабов, с которыми я очень тесно сотрудничал в эти тяжелые, штормовые годы... Фельдмаршал Брук, адмирал Паунд, которого после его смерти успешно заменил адмирал Эндрю Каннингем, и маршал авиации Портал составили команду, которая заслуживает величайших почестей за разработку британской военной стратегии и ее согласование со стратегией союзников».

Вспыльчивый Брук в День Победы ударился в философские рассуждения в своем дневнике, ссылаясь на Бога — в отличие от Черчилля — как на источник своих сил (необходимых для взаимодействия с

Черчиллем) и утверждая, что победа была «предопределена всесильным Богом, который заботится о судьбах мира». Но, написал Брук, несмотря на трудности общения с Черчиллем, «порой невыносимые... я ни на что на свете не променял бы последние три с половиной года борьбы и усилий»[174].

С наступлением ночи, когда Черчилль вернулся в «пристройку», лучи сотен прожекторов, которые последние пять лет выслеживали немецкие самолеты и ракеты, освещали общественные здания Лондона и уцелевшие шпили церквей Кристофера Рена. Букингемский дворец и здание парламента купались в ярком свете; циферблат Биг-Бена, написала Молли Пэнтер-Доунес, «сиял, как луна». Прожектор выхватил из темноты колонну Нельсона. Гарольд Николсон смотрел с Флит-стрит на собор Святого Павла и увидел «пучок лучей на огромном золотом кресте». Из парков доносились ликующие возгласы, и Николсон отметил, что люди были счастливыми и «абсолютно трезвыми». Когда он возвращался домой, ветер принес откуда-то издалека запах праздничных костров. «И я пошел спать, — написал он. — Так прошел мой День Победы»[175].

В тот вечер Черчилль обедал в «пристройке» с Сарой, Дианой, Дунканом Сэндисом и лордом Камроузом, владельцем Daily Telegraph. Камроуз уже давно финансировал литературную деятельность Черчилля, заплатив ему 5 тысяч фунтов стерлингов за авторское право на публикацию Marlborough (биографии его выдающегося предка). Его присутствие за столом предвещало возрождение их издательских и финансовых договоренностей. Около половины одиннадцатого вечера Черчиллю сообщили, что толпа на Уайтхолле продолжает скандировать его имя. Черчилль, который к тому времени уже переоделся в костюм «сирена», вышел на балкон, с которого выступал днем, и сказал собравшимся: «Дорогие друзья, это ваш час... Мы стояли одни. Кто-то думал о том, чтобы сдаться? (Толпа грянула: «Нет!») Мы пали духом? («Нет!») Света не было, и на город падали бомбы. Но никто в стране — ни один мужчина, женщина и ребенок — не думал о том, чтобы сдаться. Лондон может вынести это. После долгих месяцев мы вырвались из лап смерти, из горнила ада, в то время как весь мир задавался вопросом: Сколько смогут выдержать англичане? Я утверждаю, что на протяжении многих лет не только жители этого острова, но жители всего мира, в чьих сердцах поет птица свободы, вспомнив то, что мы сделали, будут говорить: «Не отчаивайтесь, не поддавайтесь жестокости и тирании, идите прямо вперед и умрите, если потребуется, — непобежденными».

Он сказал, что Германия ждет от них «справедливости и милосердия». Он сказал, что Япония, «запятнавшая себя жадностью и жестокостью», тоже будет побеждена. И он сказал, что Британия будет биться «плечом к плечу» с Америкой[176].

Ночью по всему острову жгли костры, на Бикон-Хилл в Хэмпшире и на других холмах с похожими названиями в Уэльсе и Озерном крае. Они горели на городских площадях от Корнуолла до Кембриджа, от Оксфорда до Ливерпуля, в Ковентри и Манчестере, в Бате и Бристоле, от Северо-Шотландского нагорья до продуваемой всеми ветрами самой северной оконечности материковой Шотландии. Они горели от Гернси до Джерси, который был освобожден в тот день, они горели в 700 милях к северу от Оркнейских островов. Костры пылали на островах Мэн и Арран, с севера на юг и с запада на восток, от архипелага Силли до Шетландских островов. Англичане, валлийцы, шотландцы и ольстерцы, молодые и старые, женщины и мужчины, танцевали в неверном свете огня, с шальными улыбками на блестящих от пота и перепачканных сажей лицах. С 1939 года, как в древние времена, они доказывали, что принадлежат к воинственной расе. Эта сцена была знакома британцам железного века, пиктам, скоттам, кельтам, римлянам, англам, саксам и данам, королю Гарольду, Томасу Бекету, Элеоноре Аквитанской, Елизавете I и Уолтеру Рэли, Кромвелю и Мальборо.

Поздно вечером пришла телеграмма от Клементины из Москвы: «Мой дорогой, все мои мысли в этот замечательный день связаны с тобой. Без тебя этого бы не случилось». Иден поделился похожими чувствами из Сан-Франциско: «Это вы направляли, ободряли и вдохновляли нас в самые тяжелые времена. Без вас этот день никогда бы не наступил». По своему обыкновению, Черчилль работал всю ночь с 8 на 9 мая. Требовалось ответить на сотни телеграмм, разобраться с бумагами. Пока он работал, лондонские власти решили выключить прожекторы, надеясь, что тогда народ разойдется. Черчиллевские англичане-победители расходились по домам[177].

Прошло пять лет с тех пор, как Гитлер отдал приказ своим армиям вторгнуться в Нидерланды. В те черные дни Черчилль говорил англичанам, что покориться — означает погрузиться в пучину нового Средневековья. Но, сказал он, если они не сдадутся — и они не сдались, — то однажды достигнут сияющих вершин.

На этой широте в это время года рассвет наступает рано, на горизонте появляется розоватый отблеск. Побежденная ночь отступает. И цснова рождается свет[178].

Глава 7

МОРСКОЙ ОТЛИВ

1945—1955 годы

После почти шестилетней тотальной войны европейцы достигли вершин. Но от Варшавы до Парижа, от Берлина до Праги они оказались не на черчиллевских сияющих, а на искалеченных, опустошенных, залитых кровью вершинах. Война превратила Европу в буквальном смысле в руины — в место кровопролития. Победители оценили масштабы ужасной трагедии, которая разворачивалась на континенте с 1939 года. По меньшей мере 40 миллионов европейцев было убито, примерно поровну — гражданских и военных. Польша заплатила самую высокую цену. Более 6 миллионов поляков, почти 20 процентов довоенного населения Польши, были мертвы, включая 3 миллиона польских евреев. Эти цифры не поддаются осмыслению. Современный читатель может составить некоторое представление о чудовищности истребления поляков, если представит, что в течение пяти лет ежедневно он читает в утренней газете, что накануне 3 тысячи его сограждан погибли в результате террористической атаки. В одной только Варшаве погибло 700 тысяч, больше, чем суммарные потери британских, колониальных и американских армий по всему миру. Среди погибших почти половина польских врачей, адвокатов и университетских профессоров. Спустя недели после капитуляции Германии Черчилль, все еще возмущенный тем, что лондонские поляки не сумели договориться со Сталиным в 1944 году, заявил в палате общин: «В мире немного достоинств, которыми бы не обладали поляки, и немного ошибок, которые бы они не совершили». Но самой большой ошибкой Польши была та географическая случайность, в результате которой она оказалась между Волком и Медведем, и теперь Медведь одержал победу. Люблинские поляки заняли тринадцать из двадцати министерских постов в новом варшавском правительстве. Шестнадцать польских демократов, арестованных в конце марта, были признаны государственными преступниками и отправлены в тюрьму. Польша, по сути, стала семнадцатой советской республикой[1].

Из подробных нацистских документов вскоре стало известно о еще 3 миллионах убитых евреев, расстрелянных или отправленных в газовые камеры вместе с миллионом других «врагов государства»: коммунистами, цыганами и гомосексуалистами. Вишистская Франция услужливо арестовывала и передавала немцам этих сомнительных элементов. По меньшей мере 70 из 350 тысяч довоенного еврейского населения Франции (примерно половина натурализованные граждане и беженцы) были отправлены на восток, на верную смерть, как и три четверти из 140 тысяч голландских евреев. Италия потеряла в войну почти 350 тысяч человек, примерно поровну гражданских и военных. Потери французов составили 200 тысяч человек в 1940 году, но к 1945 году число гражданских, погибших во время бомбардировок и в концентрационных лагерях, достигло 400 тысяч человек. В ходе гражданских и партизанских войн в Греции и Югославии потери составили 150 тысяч и 1,5 миллиона соответственно. В обеих странах партизаны продолжали воевать, и это заставило Черчилля, имея в виду Тито, сказать Бруку: «Когда орлы молчат, начинают болтать попугаи»[2].

Тем временем коммунистические движения захватили свою долю власти в Италии и Франции; Красная армия уже назначила коммунистов на руководящие посты (или собиралась это сделать в ближайшее время) в Польше, Болгарии, Венгрии и Румынии. Эдуард Бенеш вернулся в Чехословакию, где его утвердила в качестве президента коалиция демократов и коммунистов в Национальном собрании. Три государства Балтии поглотила Советская империя. Сталин считал, что Россия, учитывая ее чудовищные, героические жертвы, заслужила право брать то, что пожелает. Почти 11 миллионов красноармейцев погибли или пропали без вести; точные данные потерь советских граждан до сих пор неизвестны: может, 15 миллионов, может, 20 миллионов застрелены, повешены, сожжены и умерли от голода — половина жертв континентальной Европы. И европейцы продолжали умирать. Миллионы немецких мин, от Одера до Бретани и Нормандии (где было похоронено 6 миллионов), убивали по несколько сотен гражданских в неделю. Черчилль предложил Бруку, чтобы «немцы нашли все закопанные ими мины и откопали их. Почему бы нет? Свиней используют для поиска маслин». Брук разделял чувства премьер-министра, но это не помешало ему сказать Черчиллю, что свиней используют для поиска трюфелей[3].

11 мая, на третий день мира в Европе, Черчилль отправил президенту Трумэну телеграмму с предложением вместе обратиться к Сталину с просьбой о трехсторонней встрече в «каком-нибудь неразрушенном немецком городе», только не в русской оккупационной зоне, и чтобы перед встречей Трумэн остановился в Лондоне, дабы продемонстрировать их сплоченность. Черчилль подчеркнул, что американцы с британцами дважды встречались со Сталиным на его территории

или поблизости, а Черчилль даже четыре раза. Он выразил надежду, что «американский фронт не отойдет назад от согласованных сейчас тактических линий». Ответ Трумэна был немедленным, неудовлетворительным и напоминающим рузвельтовские колебания в военное время. Трумэн предложил, чтобы их послы попытались убедить Сталина назначить встречу и что они должны отправиться на встречу по отдельности во избежание подозрений в «сговоре». На следующий день Черчилль отправил еще одну телеграмму, сообщив Трумэну, как раньше Рузвельту, что он «глубоко обеспокоен положением в Европе». Американские армии «тают» вдали, французы «слабые и с ними трудно иметь дело», а у русских около 200—300 полностью укомплектованных дивизий. «Над их фронтом опускается железный занавес». За этим занавесом Польша, которой управляют сталинские люблинские марионетки. Русским ничего не стоит, предупредил Черчилль, дойти до «Северного моря и Атлантики». Он снова предложил провести встречу «Большой тройки» при первой возможности, чтобы «прийти к соглашению с Россией, прежде чем мы ослабим свои армии»[4].

Он отправил телеграмму схожего содержания Идену, который находился в Сан-Франциско на открытии Организации Объединенных Наций: Сегодня газеты сообщили о крупных перебросках американских войск из Европы начиная с сегодняшнего дня, месяц за месяцем. Что нам делать? Скоро на нас будет оказано [дома] огромное давление в отношении частичной демобилизации. В скором времени наши армии растают, и русские, имея сотни дивизий, окажутся хозяевами Европы от Любека до Триеста и до греческой границы на адриатическом побережье»[5].

В конце месяца Сталин и Трумэн предложили встретиться 15 июля. Черчилль считал, что это слишком поздно, и предложил встретиться в середине июня или, в крайнем случае, в начале июля. Задержка более чем на месяц, был уверен Черчилль, позволит Красной армии и люблинским полякам урегулировать вопрос с польскими границами по собственному усмотрению, без участия и контроля со стороны англичан и американцев. Но Трумэн стоял на своем. Более того, он передал Черчиллю через бывшего американского посла в Москве Джо Дэвиса, что он [Трумэн] хочет встретиться со Сталиным перед встречей «Большой тройки». Черчилль предупредил Трумэна, что такая двусторонняя встреча «крайне нежелательна» и поднимет вопросы, «болезненные» для Великобритании, Содружества и Британской империи. Трумэн уступил, но дату встречи менять отказался. В качестве места был выбран Потсдам, пригород Берлина и Версаль прусских королей. Город пострадал, но не был полностью разрушен[6].

В Германии практически не осталось «неразрушенных» городов. Крупные и большинство средних городов были полностью разруше-

ны — Берлин, Гамбург, Дрезден и Штутгарт на юге, Бреслау на востоке. Королевские военно-воздушные силы и американская 8-я воздушная армия заплатили за это высокую цену: в Европе погибли 26 тысяч американских и 55 тысяч британских летчиков. Но в ходе воздушной кампании было уничтожено 38 крупных городов Рурской области. На суше немцы понесли еще большие потери. С 1939 года более 5 миллионов немецких солдат, моряков и летчиков было убито ради воплощения гитлеровской мечты. Почти 2 миллиона немецких граждан погибли, около 600 тысяч во время союзных бомбардировок. Конец войны был только началом страданий для немцев. Под Берлином — мертвым городом — команды немецких гражданских лиц под присмотром союзнических солдат вырыли 100 тысяч могил, чтобы заполнить их телами замерзших, умерших от голода и, конечно, тысячами самоубийц. По крайней мере половина немецких гражданских лиц, умерших в войну, погибли от рук красноармейцев, когда пытались бежать на запад в начале года. В течение года большая часть немецкого населения к востоку от Эльбы — в Восточной Пруссии, Польше, Судетской области — будет принудительно перемещена в союзнические оккупационные зоны оккупации, в общей сложности около 14 миллионов человек, во исполнение Ялтинских соглашений об изменении немецких и польских границ.

Численность населения бывшего Великого рейха сократилась до 3 миллионов с довоенных 17 миллионов. Выживших надо было кормить, как и 8 миллионов перемещенных лиц — бывших подневольных работников, из которых 4 миллиона жили в советской зоне оккупации. Сотни тысяч голландских, французских и польских перемещенных лиц требовалось отправить на родину[7].

Две проблемы требовали незамедлительного решения: питание немцев и сдерживание русских от дальнейшего продвижения на запад. Британия не могла справиться с этим в одиночку. Спустя несколько недель Черчилль сказал в палате, что «бесполезно нам на нашем маленьком острове, которому все еще приходится импортировать половину продуктов питания, воображать, будто мы можем внести какой-то существенный вклад в этом отношении [пытаясь накормить немцев]». Что касается массового изгнания немцев с новой территории Польши, он предсказал: «Не исключено, что за железным занавесом, который на данный момент разделил Европу надвое, разворачивается трагедия невероятных масштабов»[8].

13 мая Черчилль предупредил британцев по радио: «Мне бы хотелось сегодня сказать вам, что все наши испытания и несчастья позади. Тогда бы я мог успешно закончить свою пятилетнюю службу, и, если бы вы решили, что я вам надоел и должен уйти в отставку, я бы принял ее охотно... Что толку наказывать гитлеровцев за их преступления, если не правят закон и порядок, если тоталитарные полицейские пра-

вительства займут место немецких захватчиков... Пять лет назад я сказал вам о трудностях; вы не дрогнули, и я буду считать себя недостойным вашего доверия и великодушия, если снова не обращусь к вам с призывом: Вперед, решительно, неустрашимо, непоколебимо, пока задача не будет выполнена до конца и мир станет безопасным и справедливым».

Он предупредил о надвигающейся войне с Японией и повторил слова, сказанные пять лет назад: «Мы не ищем никакой выгоды»[9].

Но он ничего не сказал о своей уверенности в том, что теперь угрозу для Европы представляют русские, которые делают ее небезопасной и несправедливой. Он не мог рассказать о своем решении в отношении русской угрозы. В тот день, 13 мая, Брук написал о Черчилле: «У меня создалось впечатление, что он уже стремится к новой войне! Даже если это означает войну с Россией!» Так и было. Монтгомери вел запись заключенных пари, и среди прочих была запись, сделанная в 1943 году: Джордж Паттон поспорил с ним на 100 фунтов, что «вооруженные силы Великобритании будут вовлечены в новую войну в Европе в течение 10 лет после прекращения военных действий в нынешней войне». Предположение Паттона выглядело вполне вероятным даже до того, как с лондонских улиц убрали флаги и цветы после празднования Дня Победы. Черчилль поручил британским военным стратегам разработать планы на случай войны с русскими, кодовое название операции Unthinkable («Немыслимое»). Вообще-то, восемь месяцев назад британские начальники штабов уже составили документ для министерства иностранных дел, в котором рассматривалась возможность превращения России в будущего противника. В то время, написал Брук, министерство «не допускало, что Россия когда-нибудь может стать враждебной» и посчитала «недопустимым» со стороны начальников штабов планировать войну с нынешним британским союзником. Однако составление планов на случай непредвиденных обстоятельств входило в обязанность военных планировщиков. Иден утвердил документ. В конце мая, возвращаясь к вопросу об операции «Немыслимое», Брук написал в дневнике: «Мысль, конечно, фантастическая, и шансов на успех фактически нет. Не вызывает сомнений, что отныне Россия имеет огромную власть в Европе»[10].

Позже Черчилль вспоминал о тех неделях: «Я мог только чувствовать, как проявление советского и русского империализма дает о себе знать на беззащитных территориях». Почти десять лет спустя, выступая в своем избирательном округе в Вудфорте, он проговорился, что вскоре после дня победы приказал Монтгомери «незаметно собирать немецкое оружие и хранить его так, чтобы можно было быстро вернуть немецким солдатам, с которыми нам придется объединиться, если продолжится советское наступление». Такой телеграммы в официальных документах не было обнаружено, но Монтгомери в своих воспомина-

ниях написал, что не согласился с приказом из Лондона хранить «в целости это [немецкое] оружие». Он не назвал того, кто отдал приказ[11].

Но в сообщении, отправленном Черчиллем Эйзенхауэру 9 мая, содержатся подобные настроения: «У меня вызывает беспокойство, что немцы должны уничтожить весь свой военно-воздушный флот по месту нахождения. Я надеюсь, что так не поступят с оружием и другой боевой техникой. Однажды все это может нам понадобиться. Даже сейчас может пригодиться во Франции и, особенно, в Италии. Я считаю, что мы должны сохранить все, что может быть полезным. Тяжелая пушка, которую я сохранил со времен прошлой войны, на этой войне регулярно стреляет с Дуврских скал»[12].

Телеграмма (если послание к Монтгомери вообще существовало) не проясняет, хотел ли Черчилль, чтобы сданное оружие вернули немецким солдатам.

Размышляя о том, что противопоставить Красной армии, Черчилль надеялся решить все мирным путем, но готовился к войне. Его страхи были небезосновательными, но, как десять лет назад, он не сумел правильно оценить настроения британской общественности. Британцы и американцы воздали должное Красной армии за те четыре года, которые она отчаянно сражалась. Народы обеих стран возвели Красную армию и русских в статус героев. Как Черчилль примерно в течение года после июня 1941 года.

Но обстоятельства радикально и опасно изменились. Красная армия заняла Варшаву, Будапешт, Бухарест, Вену, Прагу и Берлин. В марте 1936 года Черчилль заявил в палате общин: «На протяжении 400 лет внешняя политика Англии состояла в том, чтобы противостоять сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной державе на континенте и, в частности, не допустить захвата такой державой Бельгии, Голландии и Люксембурга... Заметьте, что политика Англии совершенно не считается с тем, какая именно страна стремится к господству в Европе... Ей безразлично, о каких правителях или странах идет речь; ее интересует лишь то, кто является самым сильным тираном или кто может превратиться в такого тирана».

Эта политика не претерпела изменений. Черчилль, как десять лет назад, выявил реальную угрозу Европе. И, как в середине 1930-х, пришел к правильному выводу в неудачный момент. И британские вооруженные силы, как десять лет назад, были не в состоянии сдержать советскую угрозу. Окончательный список погибших включал 244 тысячи британских солдат, летчиков и моряков. Страны Содружества и другие имперские товарищи по оружию потеряли еще 100 тысяч человек: Австралия — 23 тысячи; Канада — 37 тысяч, Индия — 24 тысячи, Новая Зеландия — 10 тысяч и Южная Африка — 6 тысяч. Великобритания и империя были не в том состоянии, чтобы вступать в новую войну[13].

Но в этот раз беспокойство Черчилля поддержали и консерваторы, и лейбористы. Все в правительстве знали, что он прав насчет русской угрозы. Но, так или иначе, в 1945 году Британия не только не хотела, но и не могла идти на конфликт с Советским Союзом: Британия выдохлась. Когда в 1940 году лорд Лотиан заявил американским репортерам о бедственном положении Британии, он имел в виду только то, что у Лондона не было наличных средств и золотых резервов для покупки американского вооружения и продовольствия. Теперь, выйдя из войны победителем, Лондон задолжал 4,3 миллиарда долларов Америке и 1,2 миллиарда долларов Канаде. Британии почти нечего было экспортировать и в любом случае пришлось бы платить пошлину Америке. Кроме того, как Черчилль неоднократно повторял соотечественникам, половина продовольствия, которое потребляли англичане, ввозилась из-за границы.

Когда министр иностранных дел Энтони Иден спросил лейбориста Эрнеста Бевина, какую должность он хотел бы занять, если его партия победит на всеобщих выборах, тот ответил, что рассчитывал на место в министерстве финансов. Иден был поражен: «Но зачем? Там же нечего делать, кроме как считать деньги, которых у нас нет». Мясо выдавалось по талонам (к конине, имевшейся в свободной продаже, уже не относились с предубеждением), как сыр, яйца, масло, мука, мыло, одежда и бумага. Даже десять лет спустя британские старшеклассники решали математические задачи на оберточной бумаге. Расход бензина, угля, горючего был строго нормирован. Виски был в дефиците, как и свежая рыба. Немцы разрушили или причинили серьезные повреждения более чем 750 тысячам домов. Коммунальные службы не работали. Освещение в Лондоне было полностью восстановлено только через три месяца. Нарушена работа транспортной системы, были перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии. 11 мая президент Трумэн без долгих рассуждений сократил поставки по ленд-лизу во Францию, Россию и Великобританию. Спустя несколько недель он прекратил поставки американского угля в Британию — 500 тысяч тонн в месяц, и каждая унция была для англичан на вес золота. Британии ясно дали понять: она должна рассчитывать на себя. Лейбористская партия увидела в этом свой шанс. Эньюрин Бивен произнес свои знаменитые слова: «Этот остров практически сделан из угля и окружен рыбой. Нужны поистине гениальные организаторские способности, чтобы создать в Великобритании дефицит угля и рыбы одновременно». Он возложил ответственность за положение дел на консерваторов, полному уничтожению которых как политической партии он посвятил свою жизнь в политике[14].

В середине мая, планируя «немыслимую» войну против России, Черчилль предложил Клементу Эттли сохранить коалиционное правительство до победы над Японией. Эттли согласился при условии,

что Черчилль письменно подтвердит право Временного правительства активно проводить реформы в жилищной сфере, образовании и здравоохранении. Черчилль выполнил обещание, рассчитывая, что Эттли представит документ на ежегодной конференции Лейбористской партии в Блэкпуле, где он одержит победу. Но старый социалист Гарольд Ласки, который председательствовал на конференции в том году, возразил против черчиллевского плана, и его поддержали Эрнест Бевин, Хью Далтон и министр внутренних дел Герберт Моррисон. У Эттли, который всегда был скорее посредником, чем лидером (Иден считал его робким), не осталось другого выбора, как отклонить предложение Черчилля. Коалиция прекратила свое существование. Всего девять месяцев назад Ласки предложил премьер-министру организовать фонд Черчилля для оказания помощи Королевскому научному обществу и Британскому музею. «Когда я смотрю на опустошенную Гитлером Европу, — написал тогда Ласки, — я хорошо понимаю, что, как англичанин еврейского происхождения, я обязан вам сохранением самой жизни». Черчилль поблагодарил Ласки, но сказал, что предпочел бы, чтобы от его имени построили парк или игровую площадку на южном берегу Темзы, «где были взорваны все дома». На этой территории располагался Лаймхаус, избирательный округ Эттли. Но сейчас, со смертью Гитлера, Ласки со своими сподвижниками-лейбористами захотел, ни много ни мало, переделать британское правительство и британскую жизнь. Спустя пять лет поддержка лейбористов поможет Черчиллю снова стать премьер-министром и создать коалиционное правительство. Но сейчас лейбористы покинули его[15].

23 мая Черчилль приехал в Букингемский дворец, чтобы подать прошение об отставке королю Георгу, который попросил Черчилля сформировать кабинет, чтобы временно исполнять обязанности до выборов и пока не проголосуют солдаты, находящиеся за границей. Выборы были запланированы на 5 июля, а окончательные результаты должны были быть объявлены три недели спустя. В течение пяти лет Черчилль соблюдал обещание сохранять беспристрастность и не зависеть от политики партии. Но теперь он изменил поведение, и в Англии найдется мало людей, которые могут быть столь пристрастны, как Черчилль, если он задался этой целью. Он дважды добивался поста премьер-министра, в 1940 году и в тот день, но в обоих случаях не за счет тайного голосования. Он хотел занять этот пост в третий раз, получив мандат от народа.

Он предупредил британцев о своем страстном желании вести словесную борьбу с лейбористами, когда в марте заявил на ежегодной конференции тори: «Все мы воздерживались от любых слов и действий, которые могли ослабить единство британского народа... Из-за этого мы терпеливо и почти молча сносили немало провокаций от тех пребывающих в счастливом невежестве левых политиков, которым партийные

раздоры необходимы как воздух, поскольку это единственный известный им способ добиться влияния и известности». Он пообещал «сохранять эту патриотическую сдержанность, если Национальная коалиция... продолжит сотрудничать, сохраняя товарищеские отношения». Но ни о каком товариществе больше не шло речи. Он сказал британцам: «Наши друзья-социалисты взяли на себя обязательства — что не по душе некоторым их лидерам — по программе национализации всех средств производства, распределения и обмена». «Радикальные предложения» лейбористов, предупредил он, грозят «не только разрушением существующей структуры общества, жизни и труда, но и созданием и закреплением новой системы или систем, заимствованных у иностранных государств и враждебных умов». Он сказал: «Разве вернется солдат, воссоединится семья, будут восстановлены разрушенные дома? Они не считают себя рабами из трущоб, отправленными на бой из страны, охваченной нуждой и страданиями. Они любят свою страну, места, где прошла их молодость и зрелая жизнь, и они показали, что готовы умереть, защищая не только материальные ресурсы страны, но и ее честь... И это действительно так; это не та незамысловатая торгашеская утопия, сотканная из пустых слов, которую нам предлагают... Сейчас не время для хвастливой банальщины и высокопарных заявлений... Не время для шарлатанства и льстивых речей. Настало время для суровых, голых фактов и цифр, и для действий, направленных на удовлетворение насущных потребностей»[16].

Спустя несколько месяцев в ответ на выступление Черчилля романист, драматург Джон Б. Пристли написал 34-страничный памфлет, озаглавленный Letter to a Returning Serviceman («Письмо возвращающемуся солдату»), в котором предупреждал бывших томми остерегаться «уютного круга» семейной жизни, обещанного Черчиллем. Выступления Пристли по Би-би-си во время войны были столь же патриотичными, как черчиллевские, и пользовались почти такой же известностью. Его аудитория состояла из тех британцев, которых Черчилль любил называть своими йоменами. Они внимательно слушали Пристли, когда он говорил: «Современный человек, по сути, общественный человек, участвующий в совместных действиях... Я не верю в экономическую свободу... Экономическая жизнь — обязательно общественная жизнь»[17].

«После войны» было манящей мечтой на протяжении почти шести лет. Черчилль использовал эти слова в своих выступлениях более десяти лет, в 1930-х годах, когда рассматривал ошибки правительства после Первой мировой войны, и с 1940 года, когда напоминал британцам о том, что к решению бесчисленного количества вопросов — рабочие места, жилищное строительство, образование — можно будет приступить только «после войны». Предыдущее поколение солдат

вернулось с Первой мировой войны в страну, которая не была готова к мирному времени. Ожидалось, что солдаты возьмутся за плуг и встанут за станки, словно не было четырехлетней кровавой бойни, которая унесла жизни *миллиона* жителей империи. В то время по обе стороны Атлантики самым часто повторяемым словочетанием было «обычная жизнь». В 1943 году Черчилль сказал англичанам: «Война не дает... строить планы на будущее, все подчинено борьбе за выживание нации. Поэтому, когда неожиданно наступает мир, как это случилось в прошлый раз [1918 год], нет тщательно продуманных планов на будущее... Мы не должны повторить эту ошибку. Поэтому необходимо убедиться, что у нас есть проекты по будущему обеспечению рабочими местами и... что частные и государственные предприятия полностью задействованы в этих проектах»[18].

Прожив шесть лет в обществе с жестким контролем, необходимым для победы над Гитлером, вернувшиеся домой солдаты и многие британцы поняли, что потребуется больше жертв и более тщательная подготовка, чтобы победить бедность, снести трущобы и улучшить качество образования и услуг. Планирование (по приказу Черчилля), проводимое с 1941 года, привело к улучшению ситуации в школах, несмотря на суровые ограничения, которые накладывало военное время. Благодаря усилиям консерватора Р.А. Рэба Батлера в 1944 году был принят Закон об образовании, который гарантировал бесплатное обучение для всех детей от 5 до 16 лет. Сара пыталась убедить отца, что хорошо продуманная система нормирования — по поводу которого премьер-министр написал огромное количество записок о курах, яйцах и кроликах — привела к тому, что дети стали лучше питаться и лучше учиться. Законы военного времени привели к более справедливому распределению нагрузки, а значит, общество стало более справедливым. Почему не воспользоваться опытом планирования, полученным в военное время, спросила Сара, для строительства домов, школ и более справедливого общества в мирное время? Черчилль иначе смотрел на ситуацию, о чем заявил в марте, выступая на конференции Консервативной партии: «Оправиться от невероятных испытаний войны удастся только тогда, когда мы освободимся от вынужденных оков и ограничений военного времени. Никаких ограничений на традиционные британские свободы, если только они не являются необходимыми для прекращения войны и перехода от войны к миру». Он расхваливал Четырехлетний план консерваторов, вариант «Отчета Бевериджа», основанный на принципе добровольного сотрудничества между правительством и частными предприятиями. Этот план, заявил он, настолько либеральный, что его бы одобрили даже Гладстон* и Ллойд Джордж[19].

---

* Гладстон Уильям Юарт — 41-й, 43-й, 45-й и 47-й премьер-министр Великобритании, многолетний лидер Либеральной партии.

Для Черчилля государственное планирование и последующий контроль, необходимые для осуществления его планов, были двумя сторонами монеты, монеты, отчеканенной социалистами для социалистов. Он ясно сказал об этом во время первого выступления по радио в рамках предвыборной кампании, в понедельник 4 июня в Чекерсе, — последствия были катастрофическими. Он потратил выходные на подготовку речи и показал черновик Джоку Колвиллу, который назвал речь «воинственной и провокационной», и Клементине, которая особенно горячо возражала против одной фразы. Черчилль не принял к сведению ее возражения. На Би-би-си ему отвели тридцать минут, слишком мало, по мнению Черчилля. Впервые с 1940 года он должен был уложиться в отведенное для выступления время. Черчилль сообщил слушателям, что он с консерваторами и «многие из моих коллег-лейбористов были бы рады продолжению коалиции... социалистическая партия какое-то время пытается выйти на политическую тропу войны, и, когда такие желания появляются у большого количества людей, для их же здоровья вредно отказывать им в вожделенной схватке. Поэтому мы сразимся с ними, используя все наши способности». Пока все в порядке — меньшего англичане и не ждали от своего Уинстона[20].

Черчилль продолжил, перефразировав слова из книги экономиста Фридриха Хайека* «Дорога к рабству»:

«Друзья, должен сказать, что политика социалистов несовместима с британскими идеалами свободы.

Социализм неразрывно связан с тоталитаризмом и подобострастным почитанием государства... Взгляните, как даже сегодня они [социалисты] жаждут контроля сверху по каждому поводу, как будто это что-то приятное, а не ограничение и уродство военного времени. Они считают, что должно быть одно государство, которому все послушны в любом своем действии. Это государство будет главным работодателем, главным планировщиком, главным администратором и правителем... Социализм, по своей сути, посягательство не только на британское предпринимательство, но и на право обычных мужчин или женщин свободно дышать, чтобы грубая, неуклюжая рука тирании не зажимала им рот и нос».

Он набросился на лейбориста Герберта Моррисона с его планом «сократить парламентскую процедуру и принимать законы простым

* Хайек Фридрих Август фон — австрийский экономист и философ, представитель новой австрийской школы, сторонник либеральной экономики и свободного рынка. Лауреат Нобелевской премии по экономике. Отказ общества от экономической свободы в пользу коллективизма и централизованного планирования Хайек назвал «дорогой к рабству», которая приводит к потере не только экономических, но и основных свобод человека.

решением большинства в палате общин». Он подверг резкой критике сэра Стаффорда Криппса за то, что тот отвел парламенту роль поддакивателя в новом социалистическом государстве. А потом он подошел к той части, которую Клементина сочла чудовищной: «Я заявляю вам, из глубины своего сердца, что никакая социалистическая система не может быть создана без политической полиции... Им придется прибегнуть к организации вроде гестапо, которая поначалу, несомненно, будет действовать довольно гуманно. И она подавит в зародыше любое мнение; она пресечет растущую критику, она сконцентрирует всю власть в руках правящей партии и партийных лидеров, которые будут, словно величественные вершины, подниматься над огромной бюрократией государственных служащих, больше не слуг и не граждан»[21].

Черчилль обличал и метал громы и молнии, уверенный, что Клементу Эттли не хватит ораторских навыков, чтобы достойно ответить. Того же мнения придерживался Эд Марроу из Си-би-эс, который считал, что Эттли имел обыкновение говорить так, «словно объяснял неясный, незначительный отрывок в переводе с латыни». На следующий вечер после выступления Черчилля, в котором он упомянул гестапо, Эттли — которого Колвилл описывал как человека, «начисто лишенного тщеславия и самомнения», — выступил по радио и нанес Черчиллю сокрушительный удар. Черчилль поставил задачу, заявил Эттли, «показать избирателям, насколько велика разница между Уинстоном Черчиллем, великим лидером, который провел сплоченный народ через войну, и господином Черчиллем, лидером партии консерваторов... Голос, который мы слышали вчера вечером, был голосом господина Черчилля, а мнения — мнениями лорда Бивербрука». Робкий, лысеющий, порой суетливый Эттли за один вечер превратился в лидера кампании. Что касается роли Бивербрука в составлении речи премьер-министра, то, по свидетельству Колвилла, он был к ней непричастен. Бивербрук в последнее время проводил «массовый обстрел» из своих газет, но большинство его выстрелов, как считал Колвилл, «не попадали в цель». Черчилль, пытаясь выставить Эттли страшилищем, тоже не попал в цель, зато Эттли, выставляя таковыми Бивербрука и Черчилля, попал[22].

Бивер упорно, громко и неуклюже демонстрировал преданность Черчиллю на страницах своей Express, но Бивербрук никогда по-настоящему не понимал англичан и, что более важно, англичанок. Зато их понимал таблоид Daily Mirror, самая продаваемая газета в Британии. Единственная крупная газета, которую не контролировали Камроуз, Бивербрук и Брекен, Mirror обратилась к женам солдат, призывая британских женщин накануне выборов: «Голосуйте за них!» [солдат], которые «в течение пяти долгих лет... от Берлина до Бирмы... воевали и продолжают воевать за ВАС... Вы знаете, какой путь они выберут. Голосуйте за них!» Даже верные сторонники Черчилля на-

чали в нем сомневаться; Вита Сэквилл-Уэст написала мужу Гарольду Николсону: «Ты знаешь, что мое восхищение Черчиллем граничит с поклонением, но я очень расстроена его неудачными предвыборными выступлениями по радио... Если бы я была оппортунисткой, они бы перетянули меня на свою сторону». Друг Николсона, литературный критик Рэймонд Мортимер, написал Николсону короткую записку: «Я думаю, что Черчилль больше, чем кто-либо другой, несет ответственность за низкую ложь на этих выборах. О чем он думал, когда сказал о гестапо господина Эттли»[23].

Согласно опросу Гэллапа, «положительный рейтинг» Черчилля превышал 90 процентов после Эль-Аламейна, но ненадолго падал в январе 1944 года во время его реабилитации в Марракеше и его рождественской поездки в Грецию в 1944 году. После дня победы рейтинг снизился до 80 процентов, казалось, сущий пустяк, поскольку он был самым популярным лидером в современной истории, спасителем Англии. Но новомодные расчеты Гэллапа были неточными. На вопрос, производит ли Черчилль «в целом» приятное впечатление, англичане вежливо отвечали «да». В ходе предвыборной кампании Черчилль разъезжал по стране на своем личном поезде и в открытом автомобиле, произносил десятки речей, выступал по радио и, написал Иден, был глубоко тронут тем, как на протяжении всего пути его приветствовали толпы благожелательно настроенных людей, скандировавших: «Уин-стон, Уин-стон». Однако, позже написал Иден, «он [Черчилль] не мог не почувствовать, что в их приветствиях было что-то от прощания. Иначе он не был бы Уинстоном Черчиллем»[24].

Колвилл, который не ждал ничего хорошего от предстоящих выборов, написал в дневнике: «Без личного авторитета Уинстона у тори не будет ни единого шанса. Но даже с ним я не уверен в успехе, хотя почти все их лидеры считают, что получат большинство мест». Так и было: Черчилль, Иден и Бивербрук предполагали, что в палате общин они получат большинство, займут восемьдесят, а может, и сто мест. Даже Эттли считал, что победят консерваторы. Он признался Колвиллу, что «при удачном стечении обстоятельств мы можем рассчитывать, что численный перевес консерваторов составит всего сорок мест». Многое зависело от голосов 4 миллионов солдат, почти 20 процентов всех избирателей. За завтраком Черчилль спросил генерала Билли Слима, героя Бирмы, за кого, по его мнению, отдадут голоса солдаты. Слим ответил: «90 процентов за лейбористов». Черчилль крякнул. «А что остальные десять?» — «Они вообще не будут голосовать», — ответил Слим[25].

3 июля Черчилль произнес свою последнюю предвыборную речь в Восточном Лондоне, на стадионе Уолтемстоу, где проходили собачьи бега. После того как оркестр разогрел 20-тысячную толпу, сыграв Deep in the Heart of Texas («Глубоко в сердце Техаса») и Umbrella Man («Человек с зонтом»), Черчилль в сопровождении Клементины вышел

на сцену под оглушительные аплодисменты. Не успел он начать говорить, как несколько сотен лейбористских буянов, рассредоточенных по всему стадиону, начали скандировать: «Хотим Эттли!» Они перекрикивали Черчилля. Когда он попытался вовлечь их в разговор о свободе слова — «В нашей свободной стране...» — они начали громко шикать. «Это не партийный вопрос, — сказал Черчилль. — Я хочу поздравить Лондон... с выдающимся вкладом в победу... Это вы тоже будете освистывать?» Затем он обрушился на социалистов и их «абсурдные утопии», заявив, что следует «улучшить человеческие сердца и человеческие головы, прежде чем мы сможем достигнуть замечательной утопии, которую рисуют мечтатели-социалисты. А где группа недовольных, почему я не слышу шиканья? С этого момента я буду называть их шикающей партией. Все умеют хорошо шикать». Некоторые в толпе засвистели. Он закончил прогнозом о результатах выборов: «Я полностью прощаю недовольных. Вот что я скажу им напоследок: их ждет взбучка, какой их партия не знала с момента своего возникновения»[26].

В этот день Черчилль сказал кабинету подготовить законопроект по программам социального страхования и системы здравоохранения. Это не было циничным позерством: Черчилль поддерживал обе программы с того момента, как поручил их разработку сэру Уильяму Бевериджу более тридцати лет назад. Что касалось угольных шахт, то со времен всеобщей забастовки 1926 года он больше сочувствовал шахтерам, чем владельцам шахт. Презрение Черчилля вызывали не программы лейбористов, а интеллектуальное высокомерие левых — Бивена, Криппса и Ласки. Черчилль, позже написал Колвилл, «никогда не относился к теории социализма иначе как с враждебностью». Он, конечно, откровенно говорил об этом во время предвыборной кампании. В любом случае избиратели не знали о черчиллевских приказах кабинету, когда 5 июля пошли голосовать[27].

7 июля Черчилль, Мэри, Клемми, лорд Моран и Колвилл отправились в недельный отпуск на баскское побережье Франции близ Сен-Жан-де-Люз, чтобы Черчилль мог отдохнуть перед конференцией «Большой тройки», которая открывалась в Потсдаме 16 июля. Черчилль сам выбрал кодовое название конференции, «Терминал», интересный выбор, учитывая, что финальная фаза войны против Японии еще не началась, а атомная бомба, которая могла ускорить окончание войны в Тихоокеанском регионе, еще не была испытана. Многие военные, включая начальника штаба Франклина Рузвельта, адмирала Лихи, которые заключали пари и делали ставки, считали, что она не сработает.

Камердинер Черчилля, Сойерс, отправился во Францию в качестве хранителя кистей, палитр и красок Старика. Черчилль собирался про-

вести отдых на берегу и за мольбертом; отсутствие документов и срочных звонков обеспечивало спокойную обстановку. По утрам Старик плавал, как «добродушный гиппопотам», а отряд французских жандармов плавал по-собачьи вокруг него, обеспечивая санитарный кордон между премьер-министром и любопытными местными жителями. Черчилль настолько увлекся отдыхом, что не подготовился к Потсдамской конференции. Положение ухудшало то, что к ней не был готов и Энтони Иден, который вернулся из Сан-Франциско с язвой двенадцатиперстной кишки и по указанию лорда Морана провел почти весь июнь в кровати. Черчилль не мог прогнать навязчивые мысли о выборах, а перспектива предстоящих потсдамских переговоров его совсем не радовала, и он сказал своему врачу: «Там не будет принято никаких решений... До объявления результатов голосования я не буду полноценным человеком. На конференции я буду держаться в тени». От Макса Бивербрука пришло сообщение, приободрившее Черчилля: Бивер был уверен, что Консервативная партия займет сто мест в парламенте. И хотя теперь Черчилль считал, что, возможно, потерял солдатские голоса, он сказал Клементине, что уверен в том, что солдатские жены проголосуют за него. Когда Клемми напомнила ему, что в начале своей карьеры он был против участия женщин в политической жизни, он ответил: «Чистая правда»[28].

15 июля Черчилль, Сойерс, Мэри и Моран вылетели в Берлин, а Колвилл и Клементина вернулись в Лондон. Эттли и Эрнст Бевин тоже отправились в Потсдам; Черчилль хотел, чтобы британцы выступили единым фронтом перед американцами и в особенности перед Сталиным. Когда Черчилль сообщил палате о своем намерении взять Эттли с собой в Берлин, один из лейбористов выкрикнул: «Неужели добропорядочный джентльмен возьмет с собой гестапо?» Итак, Старик прибыл во временное жилье в Бабельсберге, примерно в 6 милях от Потсдама, зная, что в Лондоне его ждет враждебно настроенная палата, в Потсдаме враждебно настроенный Сталин, и не имея гарантий от президента Трумэна, что американцы готовы занять жесткую позицию в отношении свободных польских выборов[29].

Трумэн тоже прибыл в Бабельсберг 15 июля, поселившись в большом особняке в двух кварталах от Черчилля. Обе резиденции охранялись частями британской, американской и Красной армий. На рассвете 16 июля — после полудня в Берлине — американцы провели успешные испытания атомной бомбы в пустыне Нью-Мексико. 17 июля, перед первым пленарным заседанием со Сталиным, Генри Стимсон передал Черчиллю через стол записку: «Младенцы благополучно родились». Черчилль не понял, о чем речь, пока Стимсон не рассказал, что произошло в Нью-Мексико. Позже Черчилль написал: «Так, значит, вот что даст возможность быстро закончить Вторую мировую войну, а пожалуй, и многое». В тот момент Черчилль уже не

видел смысла просить помощи у русских в войне против японцев; он увидел возможное решение Советского прилива на запад в Европу. Профессор — лорд Червелл — нашел способ сделать страшное новое оружие еще ужаснее. Зная, что все, кто будет смотреть в небо в момент взрыва такой бомбы, ослепнут, Червелл советовал устроить салют перед взрывом бомбы, чтобы как можно больше японцев смотрели вверх в момент истины[30].

Более трех лет назад Черчилль предвидел, какая судьба ожидает Японию. За несколько недель до падения Сингапура, когда Британская империя зашаталась под ударами японцев на Дальнем Востоке, понимая, что Японские острова были ключом к Тихоокеанскому театру, как Англия была ключом к Европейскому театру, Черчилль сообщил свою стратегию начальникам штабов: «Уничтожение японских городов с помощью зажигательных бомб — наиболее эффективный способ убедить японцев в опасности выбранного ими пути». Бросается в глаза слово «зажигательные». Он не предлагает использовать парашютные бомбы или 400-фунтовые фугасные бомбы. Он не предлагает загнать Японию в угол с помощью коммандос, при помощи десантно-диверсионных войск, хитрости или диверсий. Он предлагает самое действенное решение. Он предлагает поджечь Японию, в буквальном смысле этого слова, поскольку японские города построены из дерева и бумаги. Теперь осуществление этой стратегии выпало на долю Трумэна.

Первое пленарное заседание началось 17 июля во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме, который был построен для кронпринца Вильгельма («маленький Вилли»). Иден и Алек Кадоган отметили, что Трумэн говорил «коротко и по делу». И оба посчитали выступление Черчилля провальным. Иден: «У. был очень плох. Он говорил долго, путано, пространно». Кадоган: «Любая тема выводила Уинстона из себя... Так что это была абсолютно бесполезная встреча»[31].

На повестке дня в Потсдаме стояло несколько вопросов — незамерзающий порт для русских, участие России в тихоокеанской войне, вывод советских войск из Северного Ирана, судьба немецкого флота, — но Черчилля волновали только два вопроса: свободные выборы в Польше и западная польская граница. По первому вопросу Сталин, как в Ялте, просто обещал свободные выборы — солгал, — и Черчилль решил поверить ему. По второму вопросу Сталин (и люблинские поляки) не сделал ни шага навстречу; оккупация Восточной Германии была свершившимся фактом, и Сталин не собирался отступать с захваченных плодородных земель. С Тегеранской конференции Черчилль считал, что новая польская граница должна проходить по Нысе-Клодзкой, где она впадает в Одер, в качестве компенсации за согласие поляков на линию Керзона. Сталин настаивал на Нысе-Лужицкой.

Более миллиона немцев жили между двумя реками, и Сталин с люблинскими поляками требовали, чтобы тех отправили в Германию, освободив место для польских поселенцев. Если бы Черчилль и Сталин тщательно изучили карту в Тегеране, когда впервые предложили перенести границу Польши на запад к реке Одер (и отметили галочкой свое одобрение, как они это сделали в октябре 1944 года, когда делили Балканы на сферы влияния), они могли бы избежать нынешних затруднений. И если бы Рузвельт проявил решительность в Ялте, вместо того чтобы, по выражению Идена, «плыть по течению», то можно было достичь более конкретной договоренности. А если бы на конференции присутствовал Гарри Гопкинс в качестве посредника президента, он мог бы повлиять на Трумэна, чтобы тот действовал более решительно. Но Гопкинс был болен и в начале месяца оборвал связи с правительством Соединенных Штатов. В любом случае люблинские поляки, по сути, стали пятыми оккупантами Германии.

Черчилль считал, что положительный эффект дадут его беседы с глазу на глаз со Сталиным. Иден так не думал. После пятичасового обеда Черчилля со Сталиным Иден написал в дневнике: «Он [Черчилль] опять подпал под обаяние Сталина. Он постоянно повторяет: «Мне нравится этот человек». Я восхищаюсь тем, как Сталин с ним управляется». Испытывая дурные предчувствия в отношении Польши, Иден написал Черчиллю длинную записку, закончив ее словами: «Я глубоко обеспокоен русской политикой, которая становится все очевиднее по мере того, как они наглеют с каждым днем»[32].

За время конференции Черчилль посетил девять пленарных заседаний, ходил на ежевечерние банкеты и вел унылые разговоры один на один с люблинскими поляками («коммунистическими созданиями», как назвал их Иден). Один день Старик провел в Берлине, где голодающие берлинцы приветствовали его, когда он вышел из машины у гитлеровской канцелярии. Черчилль прошел через толпу. «Моя ненависть утихла с их капитуляцией, — позже написал он. — Меня тронул... их изможденный вид и поношенная одежда». Осмотрев гитлеровский бункер и яму, в которой сожгли тела Гитлера и Евы Браун, Черчилль, оглядевшись, сказал: «Должно быть, Гитлер вышел сюда подышать свежим воздухом и услышал, что выстрелы раздаются все ближе». Кроме того, он произнес речь на открытии клуба «Уинстон», ночного клуба и кабаре для британских солдат. Собравшиеся солдаты, которые проголосовали неделю назад, оказали ему прохладный прием[33].

Что касается атомной бомбы, то Черчилль с энтузиазмом поддержал решение Трумэна использовать ее. Черчилль и Рузвельт в 1943 году договорились, что для использования атомной бомбы необходимо согласие обеих сторон, Соединенных Штатов и Великобритании. Однако, хотя авианосное ударное соединение Королевского военно-морского флота в то время входило в состав 3-го флота адмирала Хэлси

и Черчилль был полон решимости принять участие в войне с Японией, Трумэн единолично принял решение сбросить бомбу, поскольку Америка играла решающую роль в запланированном вторжении в Японию. Когда Черчилль предложил предупредить японцев, что их страна подвергнется такому же полному разрушению, как Германия, и что их единственный шанс сохранить жизнь и честь — немедленная капитуляция, Трумэн ответил, что ни о какой японской чести не может идти речи после Пёрл-Харбора. Тем не менее союзники направили ультиматум — Потсдамскую декларацию — в Токио, в котором гарантировали установление свободы слова, религии и мышления, а также уважение к основным правам. Декларация заканчивалась словами: «Мы призываем правительство Японии провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать надлежащие и достаточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. Иначе Японию ждет быстрый и полный разгром». В Токио не отреагировали на это заявление[34].

Позже Иден вспоминал, как они с Черчиллем обсуждали деликатный вопрос, говорить ли Сталину об атомной бомбе, и еще более деликатный вопрос, как отказать Сталину, если он захочет узнать ноу-хау для создания бомбы. Они посоветовали Трумэну рассказать Сталину о бомбе до того, как сбрасывать ее на Японию. В первом томе мемуаров «Год решений» Трумэн вспоминает, что 24 июля «я вскользь заметил ему [Сталину], что у нас есть оружие чрезвычайной разрушительной силы. Он только сказал, что рад это слышать и надеется, что мы «должным образом используем его против японцев». Трумэн не упомянул Сталину об «атомной» природе нового оружия. Черчилль и Иден стояли всего в нескольких футах от Трумэна и Сталина. В своих мемуарах Черчилль написал: «Я был уверен, что он не представляет всего значения того, о чем ему рассказывали. Совершенно очевидно, что в его тяжелых трудах и заботах атомной бомбе не было места. Если бы он имел хоть малейшее представление о той революции в международных делах, которая совершалась, то это сразу было бы заметно... Но на его лице сохранилось веселое и благодушное выражение, и беседа между двумя могущественными деятелями скоро закончилась». Но, как вспоминал маршал Жуков в своих мемуарах, «в момент этой информации, как потом писали за рубежом, У. Черчилль впился глазами в лицо И.В. Сталина, наблюдая за его реакцией. Но тот ничем не выдал своих чувств, сделав вид, будто ничего не нашел в словах Г. Трумэна. У. Черчилль, как и многие другие английские и американские авторы, потом утверждал, что, вероятно, И.В. Сталин не понял значения сделанного ему сообщения. На самом деле, вернувшись с заседания, И.В. Сталин в моем присутствии рассказал В.М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэном. В.М. Молотов тут же сказал:

— Цену себе набивают.

И.В. Сталин рассмеялся:

— Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы.

Я понял, что речь шла о работе над атомной бомбой»[35].

Тем временем Черчилль сказал Бруку, что благодаря новой бомбе «русским теперь нет необходимости вступать в войну с Японией, новой бомбы будет достаточно, чтобы уладить дело». Брук написал в дневнике, что Черчилль «был целиком захвачен» новостями из Нью-Мексико и считал, что бомба может «изменить баланс сил с русскими!». Черчилль, «выпятив нижнюю челюсть и насупившись», заявил: «...Теперь мы можем сказать [Сталину], если вы будете настаивать на том или на этом, мы можем просто уничтожить Москву, потом Сталинград, потом Киев, потом Куйбышев... Севастополь и т. д. и т. п. Ну и где теперь русские!!!» Брук попытался «задавить его [Черчилля] чрезмерный оптимизм» и «развеять его мечты», основанные на «результатах одного-единственного эксперимента», но Черчилль был непоколебим. Однако у Британии не было атомной бомбы, и Трумэн был бы поражен не меньше Брука, предложи ему Черчилль сбросить бомбу на союзника, который понес самые большие жертвы в войне против гитлеризма[36].

Еще одним вопросом, занимавшим Черчилля в Потсдаме, был ленд-лиз. Он подчеркнул Трумэну желание — и необходимость — продолжения программы: Британия испытывала нехватку продовольствия, и Лондону требовались гарантии, что можно будет по мере необходимости отправлять ленд-лизовскую военную технику в европейские страны. «Президент сказал, что он сделает все, что в его силах. Но я, конечно, знал, с какими трудностями он может столкнуться в своей стране», — написал Черчилль в воспоминаниях. Месяц спустя Трумэн сообщил своим ближайшим советникам, что «категорически против того, чтобы Соединенные Штаты продолжали выступать в роли Санта-Клауса; и хочет сократить поставки по ленд-лизу до минимума и как можно скорее прекратить их полностью»[37].

Черчилль покинул Потсдам, так и не достигнув соглашения насчет Польши. Центральная Европа находилась под контролем Красной армии. Так далеко на запад в Европу русская армия не заходила с 1814 года, когда русские солдаты вошли в Париж. На той неделе было расформировано главное командование союзных сил, Трумэн отправлял свои армии домой, а свои военно-воздушные силы в Тихоокеанский регион, Красная армия втрое превосходила в численном отношении британские войска, так что судьба не только Восточной, но и Западной Европы была в руках Иосифа Сталина. Именно это положение дел заставило Черчилля спустя восемь лет озаглавить шестой и последний том своих военных воспоминаний «Триумф и Трагедия».

Черчилль вернулся в Лондон с Мэри вечером 25 июля, чтобы узнать результаты выборов. Если бы сбылись радужные прогнозы Бивербрука, Черчилль снова отправился бы в Потсдам через несколько дней. Отец, дочь, сын и Клементина в тот вечер обедали в «пристройке». К застолью присоединился брат Черчилля, Джек; зашли Бивербрук и Брекен. Черчилль удалился рано (по его меркам), вскоре после часу ночи, уверенный, что получит избирательный мандат. Позже он написал, что «перед самым рассветом я вдруг проснулся, ощутив острую, почти физическую боль. Существовавшее до сих пор подсознательное чувство, что нас победили, вспыхнуло во мне с новой силой и охватило все мое существо. Я ощутил, что все напряжение великих событий, в обстановке которых я сохранял «силу полета», сейчас прекратится и я упаду. Я буду лишен власти определять будущее. Исчезнут те знания и опыт, которые я накопил, тот авторитет и доброжелательное отношение, которые я завоевал в столь многих странах». Черчилль проспал до девяти, что для него было довольно поздно, и принимал ванну, когда, вскоре после десяти, капитан Пим позвал его в комнату карт, где вместо карт участков фронта теперь лежали списки избирательных округов. К ним присоединились Колвилл, Брекен и Бивербрук. Премьер-министр в своем костюме сирены, сидел развалившись на стуле, с сигарой в руке — привычка, появившаяся в 1940 году, когда он сидел в ожидании сигнала воздушной тревоги[38].

Первые сообщения были неутешительными и становились все менее утешительными. Фермер Александр Хэнкок, из независимых, чудак, настаивавший на одночасовом рабочем дне, был соперником Черчилля в Вудфорде, новом районе, выделенном из Эппинга, прежнего избирательного округа Черчилля. В новом Эппинге победил лейборист, а в Вудфорде Хэнкок набрал 35 процентов голосов. Черчилль, как и Иден, сохранил свое место. Но Брекен потерял свое, как и Данкан Сэндис, Гарольд Макмиллан и Рэндольф. Единственным приятным известием стало то, что проиграли либералы сэр Уильям Беверидж и Лесли Хор-Белиша. Лейбористы заняли 393 места в новом парламенте, консерваторы — 213 (по сравнению с 585 в 1935 году). Если бы либералы, которые выдвинули более 300 кандидатов, не отнимали голоса у лейбористов, результаты консерваторов были бы еще хуже. В итоге либералы заняли всего 12 мест, и их роль была сведена до минимума. New York Times назвала поражение консерваторов «одной из самых ошеломительных неожиданностей на выборах за всю историю демократии». Лондонская Times считала, что Черчилль сам виноват в своем политическом крахе: «Господин Черчилль сам завел разговор о партийной борьбе». Daily Telegraph отнесла результаты на счет «негативного перелома в отношении к правительству, а не поддержки политики социалистов»[39].

В этот день завтрак в «пристройке», написала в дневнике Мэри, проходил в «полном молчании». Сара «выглядела красивой и расстро-

енной». Все в комнате выглядели «потрясенными и печальными». «Папа старался справиться с этим страшным ударом — этим непредвиденным разгромом». Клементина, прервав молчание, сказала: «Возможно, на самом деле это скрытое благо». На что Черчилль ответил: «В данный момент оно, похоже, весьма успешно скрыто». Он сохранил чувство юмора и достоинство. Когда вошел лорд Моран, Черчилль спросил: «Знаете, что случилось?» Моран ответил, что знает, и добавил что-то о людской неблагодарности. «О нет, — сказал Черчилль, — я бы не стал это так называть. Они пережили тяжелые времена». Моран был так уверен, что Черчилль получит мандат и что они вернутся в Берлин, что даже оставил там свой багаж»[40].

В 18:00 Черчилль приказал отнести напитки и сигары сотрудникам кабинета картографии. Затем он покинул военный кабинет — и уже никогда туда не возвращался — и отправился в Букингемский дворец. В 19:00 король Георг принял отставку Черчилля, сказав своему бывшему премьер-министру, что «люди повели себя неблагодарно, учитывая, как их провели через войну». После короткой аудиенции Черчилль отправился в «номер 10», а король Георг вызвал Клемента Эттли — предстояло сформировать новое правительство. Под окнами Букингемского дворца не было толпы, а на улицах Лондона было тихо, как в заброшенной деревне. Моросил холодный дождь. New York Times написала: «Вечером по случаю смены правительства у Букингемского дворца собралось меньше народа, чем обычно собирается, чтобы посмотреть смену караула»[41].

Перед выборами редактор лондонской Times сказал Черчиллю, что газета будет поддерживать два мнения — что Черчилль должен проводить кампанию как внепартийный политик мирового масштаба и что он должен уйти в отставку лучше раньше, чем позже. «Господин редактор, — ответил Черчилль относительно первого пункта, — я борюсь за свой угол». А что касается второго пункта, сказал Черчилль, то, «господин редактор, я ухожу только с закрытием паба»[42].

Паб только что закрылся.

В тот вечер обед в «номере 10» прошел в тишине, написала Мэри, но не так мрачно, как завтрак. Рядом были дядя Джек, Диана и Сара, и друг Сары, Роберт Моэм (племянник Сомерсета). Пришли Брекен и Энтони Иден. Со стороны Энтони Идена это был удивительный акт верности, поскольку всего пять дней назад он узнал, что его сын Саймон Иден, лейтенант Королевских ВВС, погиб в Бирме. Клементина прилегла перед ужином. Остальные старались «говорить и поступать правильно» ради Черчилля, с незначительным успехом. Спустя несколько дней Моэм сказал Гарольду Николсону, что Черчилль с честью принял поражение. Когда кто-то за ужином сказал Черчиллю: «Но вы выиграли в гонке, сэр», он ответил: «Да, и в результате меня сняли с соревнований»[43].

В первой половине дня Черчилль составил речь, которую отправил на Би-би-си, чтобы ее зачитали во время трансляции вечерних новостей. Брайан Гарднер в книге Churchill in Power назвал его заявление, «возможно, самым милостивым признанием поражения демократии».

«Решение британского народа выражено в голосах, подсчитанных сегодня. Поэтому я сложил обязанности, возложенные на меня в мрачные времена. Я сожалею, что мне не дали возможности закончить работу против Японии. Однако в этом отношении все планы и вся подготовка уже завершены, и результаты могут быть получены значительно быстрее, чем мы до сих пор могли ожидать. На новое правительство ложится колоссальная ответственность за границей и внутри страны, и все мы должны надеяться, что оно с успехом справится с ней. Мне остается только выразить британскому народу, от имени которого я действовал в эти опасные годы, свою глубокую благодарность за непоколебимую, неизменную поддержку, которую он оказывал мне при выполнении моей задачи, и за многочисленные проявления благосклонности к своему слуге[44].

Пятница, 27 июля, была прощальным днем в «номере 10». Когда Черчилль прощался с начальниками штабов, вспоминал Алан Брук, он «почти не мог говорить, опасаясь расплакаться. Он [Черчилль] мужественно вынес удар». Спустя десять лет, когда Брук — к тому времени 1-й виконт Аланбрук — опубликовал свои дневники, он вставил одну фразу, которая резко контрастирует с его тирадами против Черчилля в военное время: «Читая дневники, я неоднократно испытывал чувство стыда за оскорбления, которые обрушивал на него [Черчилля], особенно в последние годы». Затем, словно не мог выкинуть это из головы, господин Аланбрук счел своим долгом напомнить читателям, что во второй половине войны «Уинстон был очень больным человеком... он несколько раз перенес пневмонию... его физическое состояние вкупе с моральной усталостью были причиной трудностей, возникавших в общении с ним... Я всегда буду вспоминать о годах, когда я с ним работал, как о самых трудных и мучительных в моей жизни». И только после этих оговорок виконт отдал должное Черчиллю (сегодня эти слова очень часто цитируют): «Несмотря на все это я благодарю Бога, что мне дали возможность работать рядом с таким человеком, и открыли глаза на тот факт, что на земле изредка встречаются такие супермены»[45].

Иден назвал этот день «довольно мрачным». Черчилль пригласил его в кабинет на заключительную беседу, так что он ушел последним. Ночью Иден написал в дневнике: «Он [Черчилль] был довольно несчастным, бедный старый мальчик... Он не мог отделаться от чувства, что с ним поступили низко». Прощаясь с Иденом, Черчилль сказал: «Тридцать лет моей жизни прошли в этой комнате. Я уже никогда не буду сидеть здесь. Вы будете, а я — нет».

Иден заверил Черчилля, что его возвращение в «номер 10» в послевоенное время, «возможно, никоим образом не сказалось на его месте в истории», добавив, что «это место навсегда осталось за вами». Черчилль согласился, и они попрощались. Уходя, Иден размышлял о тех шести годах, что провел в этой комнате, и вечером написал: «Не могу поверить, что когда-нибудь смогу испытать нечто подобное»[46].

Черчилль переехал из «номера 10» в Чекерс, который новый премьер-министр оставил в его распоряжении на выходные. Имение Чартвелл еще предстояло открыть, набрать штат, и, хотя Черчилли собирались приобрести дом в Лондоне, на Hyde Park Gate (Гайд-парк-Гейт), 28, они еще не завершили сделку. Позже Мэри написала, что при других обстоятельствах выходные могли стать «очень уютным веселым праздником», но «все еще находились под впечатлением событий прошедшей недели». Приехали посол Джон Уайнант и Сара; она решила положить конец их долгому роману, в котором было больше привычки, чем страсти. В любом случае их отношения были обречены, поскольку Уайнант был женат, а Сара — с легкой руки Черчилля имевшая прозвище Мул — была крайне независимой женщиной. Позже она написала, что «отец подозревал [роман с Уайнантом], но мы никогда его не обсуждали»[47].

Колвилл — который теперь служил Эттли — был в выходные с Черчиллем и помогал ему собрать личные вещи. Профессор — лорд Червелл — уехал, как и Брэнден Брекен. Бывшие телохранители и секретари Черчилля уехали в Берлин с новым премьер-министром. Не слышался рев мотоциклов; молчали телефоны; начальники штабов не появлялись с докладами. А самое главное, не было секретных документов и расшифровок «Ультра». «Не было ничего, — написала Мэри. — Мы с отчаянием наблюдали, как опускалась туча мрачного уныния». Для того чтобы разрядить мрачную атмосферу, завели граммофон, ставили пластинки с американскими и французскими маршами, Гилберта и Салливана, песенку Ноэля Гея «Беги, кролик, беги». Смотрели фильмы — любимым фильмом был «Волшебник из страны Оз». Они играли в карты и устроили матч по крокету, за которым Черчилль наблюдал со стороны. Туча не развеялась. В воскресенье, 29 июля, пятнадцать человек сели обедать за огромный круглый стол; они выпили Rehoboam* шампанского в тщетной попытке развеселиться.

За обедом Черчилль сказал, что «губительно давать волю жалости к себе, что у правительства был мандат» и что «долг каждого поддерживать его». Перед тем как уйти, все расписались в гостевой книге Чекерса, Черчилль расписался последним. Под подписью он написал: «Finish» («конец»)[48].

* Rehoboam (реобоам) — бутылка шампанского объемом 4,5 литра.

На следующий день Черчилль с Клементиной переехали в отель «Кларидж». Спустя две недели, 14 августа, Черчилль устроил в своем номере обед для Идена и нескольких коллег-консерваторов. Поздно вечером они узнали, что японцы капитулировали. Американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа. В течение нескольких дней Токио хранил молчание, но теперь, сказал Иден, «шесть лет испытаний подошли к концу». Черчилль с гостями перешли в другую комнату, где стоял радиоприемник. Там они слушали, как Клемент Эттли «выкрикнул несколько коротких фраз... Война закончилась».

«Наступила тишина, — написал Иден. — Господина Черчилля не попросили обратиться к народу. Мы отправились по домам. Конец пути».

В 70 лет Черчилль достиг шестого, предпоследнего из семи возрастов по Шекспиру. Поля, фруктовые сады и цветники в Чартвелле, одичавшие и разросшиеся за пять лет без ухода, требовали его внимания, как и пруды с рыбой, рыба в них и сам дом.

Он был нужен маленькому Уинстону и остальным, Саре, Мэри, Диане, Рэндольфу и Клементине. Но не собирался становиться шекспировским «тощим Панталоне, в очках, в туфлях, у пояса — кошель, в штанах, что с юности берег, широких для ног иссохших»*.

Он не считал, что закончил свой путь. Черчилль стал лидером оппозиции и в этом качестве с энтузиазмом занял место в первом ряду на скамье оппозиции в палате общин и продолжил борьбу. Когда он вернулся в палату (заседания проходили в палате лордов, зал заседаний палаты общин восстанавливали после бомбардировки), консерваторы вскочили с мест и запели For He's a Jolly Good Fellow. В ответ лейбористы запели The Red Flag.

И хотя оппозицию возглавлял величайший британский лидер, он не мог аннулировать мандаты лейбористов и понимал это. Лейбористы обещали национализировать Банк Англии, угольную и энергетическую промышленность, железную дорогу и сталеплавильное производство. По мере создания лейбористами в ближайшие месяцы и годы органов государственного управления отраслями промышленности самой развивающейся отраслью становилась бюрократия. Через два года после дня победы Черчилль заявил в палате: «Мощная армия из 450 тысяч государственных служащих был изъята из сферы производства и добавлена, ценой невероятных затрат и потерь, в репрессивный государственный аппарат. Вместо помощи в восстановлении страны появилась серьезная помеха». Это был еще сравнительно мягкий упрек социалистическому эксперименту. Первоочередной задачей

* *Шекспир У.* Как вам это понравится.

лейбористов было создание Национальной службы здравоохранения (которая была создана в 1948 году под началом Эньюрина Бивена). Спустя четыре месяца после выборов Черчилль сказал, выступая в палате: «Очереди стали длиннее, полки опустели, в магазинах стало меньше товаров. Вмешательство министерств в повседневную жизнь стало более жестким и унизительным. Теперь нужно заполнять больше бумаг, общаться с большим количеством чиновников. Целые сферы потенциальной деятельности заморожены, застыли и онемели, поскольку правительству важнее доказать свою приверженность социализму, чем показать, как они могут возродить страну и двигаться дальше».

Сэра Стаффорда Криппса Черчилль назвал «великим защитником Силы через Страдания»[49].

Взгляд Черчилля, уверенный, что власть лейбористов когда-нибудь закончится, был устремлен за пределы Англии. Поставив перед собой две глобальные цели, он собирался выйти за рамки внутренней политики Британии на международную политическую арену. Черчилль хотел установить особые отношения (пока он не определил для себя, какие именно) между англоязычными народами, в том числе американцами, и схожие, но более четко регламентированные отношения со странами Западной Европы — его давняя идея о Соединенных Штатах Европы. Он всегда был патриотом Европы. Британцы отправили его в отставку, но европейцы его любили. Это был политический капитал, и он стал его инвестировать. 16 января, выступая в Брюсселе, он заявил, что для предотвращения другой «ненужной войны» (причина отчасти, сказал он, в нежелании Америки присоединиться к Лиге Наций и противостоять перевооружению Германии) «мы должны возродить процветающую Европу: европейская цивилизация должна возродиться из хаоса и кровавой бойни, в которую была вовлечена. И в то же время нам необходимо разработать меры по обеспечению безопасности мира, чтобы предотвратить новую трагедию». Он предложил создать «Соединенные Штаты Европы, которые объединят Европейский континент так, как не удавалось со времен падения Римской империи, и в которых все народы смогут жить вместе в благополучии, справедливости и мире»[50].

Не все лидеры Консервативной партии разделяли его взгляды на будущее Британии, Европы и даже партии тори. После того как избиратели вывели консерваторов из игры, многие тори считали, что настало время Черчиллю отойти от руководства партией, «уйти на покой», как выразился лорд Моран. Черчилль должен был написать историю войны, как это мог сделать только он; писать картины, путешествовать и наслаждаться жизнью. В разговорах с Мораном, «после торжественных заверений в восхищении и уважении», некоторые коллеги Черчилля заводили разговор об отставке. Они устали от чер-

чиллевского стиля руководства, временами жесткого, обычно чрезмерно властного. «Короче, — написал Моран, — когда война осталась позади, лидеры тори больше не хотели терпеть его [Черчилля] методы». Но Черчилль не собирался отказываться от должности лидера тори. «Еще недавно я был готов уйти на покой и с достоинством умереть, — сказал он Морану в 1946 году. И добавил, имея в виду новое лейбористское правительство: — Теперь я собираюсь остаться и выпроводить их. Я выпущу им кишки. Я в прекрасной форме». Это «кровь Джеромов», сказал Уинстон[51].

В первую неделю января 1946 года министры иностранных дел и дипломаты со всего мира собрались в Лондоне на первую сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Черчилля не было среди собравшихся. 9 января он, Клементина и Сара поднялись на борт «Королева Елизавета» и отправились в Нью-Йорк, решив провести двухмесячный отпуск во Флориде, на Кубе и в северо-восточной части Соединенных Штатов. Черчилль еще не принял решение относительно написания воспоминаний о войне и во время путешествия работал над незаконченной «Историей англоязычных народов». Но вскоре по приезде в Майами он прочел недавно опубликованные эссе помощника Эйзенхауэра, капитана Гарри Бутчера, основанные на его дневниковых записях. Рассказы Бутчера о черчиллевских ночных бдениях и завтраках с распитием спиртного были неполными, неинтересными и выставляли Старика не в лучшем свете. Черчилль, не собираясь мириться с такой «историей», вызвал Эмери Ривза, который до войны был его литературным агентом. Бутчер (и книга Эллиота Рузвельта As He Saw It («Его глазами») помог Черчиллю принять решение: он решил написать свою историю войны.

22 января Гарри Гопкинс, который провел в больнице больше двух месяцев, написал Черчиллю короткое письмо, закончив словами: «Сердечный привет Клемми и Саре... которых я надеюсь увидеть прежде, чем вы отправитесь домой». Гопкинса лечили от цирроза печени, но доктора ошиблись с диагнозом. Ужасные боли, которые мучили его уже почти десять лет, были следствием гемохроматоза — нарушения обмена веществ и избыточного поступления железа в организм. Письмо, которое он отправил Черчиллю, было последним. Он умер спустя неделю. С собой в могилу он унес два твердых политических убеждения. Первое — что Британия лучший друг Америки и любые попытки Америки вмешиваться в британскую торговлю испортят их отношения. Второе — что в ближайшие годы в России усилится национализм и страна уже не будет стремиться распространять коммунизм по всему миру с таким энтузиазмом, как раньше. Но, вне зависимости от намерений Москвы, Гопкинс был уверен, что «отношения с Советским Союзом будут испорчены» из-за разницы в «фундаменталь-

ных понятиях человеческой свободы — свободы слова, свободы печати и свободы вероисповедания»[52].

В начале февраля, когда Черчилль наслаждался отдыхом, Сталин на съезде партии, как вспоминал заместитель Государственного секретаря Дин Ачесон, «с предельной ясностью обозначил послевоенный политический курс Советского Союза». Россия будет перевооружаться, заявил Сталин, в ущерб производства потребительских товаров, поскольку «капиталистически-империалистические» монополии гарантируют невозможность мирных международных отношений. Джордж Кеннан, в то время поверенный в делах США в Москве, написал политический документ, состоявший из 8 тысяч слов, для администрации Трумэна, вошедший в историю дипломатии под названием «длинная телеграмма». В ней Кеннан предсказывал, что «невротический взгляд» Сталина на международные отношения и страх тирана перед политической нестабильностью приведет к тому, что Советский Союз начнет проводить политику, нацеленную на то, чтобы «всеми возможными способами, внедряя своих агентов, разобщить и ослабить Запад»[53].

Перед лицом советской агрессии Кеннан советовал придерживаться жестких решений в политике, отчасти потому, что, по его мнению, русские уважали силу, а отчасти поскольку Россия была ослаблена после войны и не в том положении — пока, — чтобы играть более зловещую роль на мировой арене, разве что через доверенных лиц (как в Греции и Югославии). Позже Кеннан написал, что, отправь он эту телеграмму на полгода раньше, она бы вызвала недоумение, а отправь на полгода позже, ее сочли бы «очевидной и лишней». Дипломатическая стратегия Кеннана строилась на его убеждении — в котором он утвердился до Ялтинской конференции, — что Сталин никогда не предоставит народам оккупированных стран, таким как Польша и Болгария, демократические права, в которых он отказал русским. Было бы наивно считать иначе. «Дружба» с Москвой и «бесполезные жесты доброй воли» в надежде, что Москва предоставит эти права, ни к чему не приведут, отчасти потому, что «никто в Москве не верит, что Запад устоит» против советских угроз. Однако, считал Кеннан, Москве не хватает военной мощи для того, чтобы отстаивать свою позицию. Он написал, что Москва не располагает достаточными военно-морскими и военно-воздушными силами, чтобы бросить вызов в этих областях западным державам. Стратегия Кеннана позже стала известна как стратегия «сдерживания» и более сорока лет лежала в основе политического курса Соединенных Штатов в отношении Советского Союза[54].

В своем пренебрежении к военным возможностям Советского Союза в воздухе и на море Кеннан был заодно с Уолтером Липпманом, но они не учитывали (в отличие от Черчилля, который понял это вскоре после налета на Дрезден) возможности бомбардировщиков

дальнего действия и ракет. Бернард Монтгомери тоже считал, что Россия беспомощна в военном отношении, в отличие от Америки и Британии, которые «продемонстрировали воздушную мощь Запада», что не могло не произвести впечатления на русских, когда 1700 американских и британских самолетов пролетели строем в небе над Франкфуртом. Спустя несколько месяцев, после визита в Москву, Монтгомери уехал в полной уверенности, что силы русских «истощены» и страна «совершенно не готова принять участие в войне против сильного альянса союзных государств». Но Черчилля беспокоила русская угроза *Европе*, а не всей планете. И хотя Россия не была мировой морской державой, но и Великобритания уже не была владычицей морей. В Средиземном море образовался военно-морской вакуум, который Россия легко могла заполнить, задумай она наконец взять за горло своего 200-летнего врага, Турцию, или отвоевать у Анкары свободный проход через Дарданеллы. Но больше всего Черчилля беспокоил тот факт, что на Западе не было альянса, который мог бы противостоять российской угрозе. Война закончилась; Америка была занята производством «паккардов», «шевроле», телевизоров Philco и стиральных машин General Electric. «Альянс» было по-прежнему неприятным, если не ругательным словом для американцев и, особенно, для республиканцев Тафта в Вашингтоне[55].

За три месяца до отъезда во Флориду Черчилль получил приглашение президента Вестминстерского колледжа в Фултоне, шт'ат Миссури, прочесть цикл лекций. Черчиллю приходило много подобных приглашений, но постскриптум был собственноручно написан президентом Трумэном. В нем Трумэн напомнил Черчиллю, что он выходец из Миссури, и сказал, что готов лично представить Черчилля перед лекциями. Трумэн предложил Черчиллю — которого президент считал «первым гражданином мира» — остановиться в Вашингтоне, чтобы оттуда они вместе отправились в Миссури в президентском поезде. Черчилль охотно согласился и сказал, что хотел бы прочесть одну лекцию, чтобы не переутомиться, занимаясь подготовкой большого количества выступлений. В течение несколько месяцев он ждал, когда ему представится возможность поделиться своими взглядами на мир, выступив перед большей аудиторией, и тут появился президент Соединенных Штатов со своим предложением, которое, сказал Черчилль Трумэну, было «очень важным государственным актом». В полдень 4 марта, после завтрака в Белом доме, Черчилль с Трумэном отправились на вокзал Юнион-Стейшн. С ними поехали несколько помощников Трумэна, в том числе адмирал Лихи, пресс-секретарь Чарли Росс и генерал Гарри Воган, крепкий, грубоватый, много пьющий, заядлый курильщик, опытный политик и близкий друг Трумэна с Первой мировой войны. Недавно назначенный специальным помощ-

ником президента тридцатидевятилетний Кларк Клиффорд, выпускник Университета Вашингтона в Миссури, тоже занял место в президентском поезде, чтобы совершить 18-часовую поездку до Сент-Луиса. Как только поезд отошел от станции, подали напитки. Черчилль пил шотландский виски с водой, заявив, что добавлять лед в алкогольные напитки «варварский» американский обычай, как и привычка американцев не пить виски во время еды[56].

Встречи Черчилля и Трумэна в Потсдаме в июле прошлого года были короткими и формальными. На самом деле Черчилль уехал из Потсдама, испытывая «сильные сомнения относительно Трумэна», позже написал Клиффорд. Спустя годы Черчилль признался, что не хотел, чтобы Трумэн занял место Франклина Рузвельта. Но в Потсдаме все мысли Черчилля были заняты предстоящими выборами и русскими. А затем с Трумэном общалось правительство Эттли, а не Черчилль. За время поездки Черчилль составил мнение о президенте как о человеке, которого американцы назвали бы «простым парнем». Он был прямым, честным, не имел склонности к интригам, как Франклин Рузвельт во время переговоров. (Спустя несколько месяцев лорд Моран сказал Черчиллю, что он узнал, как Рузвельт говорил членам своего правительства, что Черчиллю приходит сотня идей в день, и только четыре из них стоящие. Черчилль ответил: «Какая наглость со стороны Рузвельта. Глупо слышать такое от человека, у которого вообще не было идей».) Трумэн, как Эйзенхауэр и Гопкинс, был выходцем из простой семьи, уроженцем Среднего Запада. Что видишь, то и получаешь. Теперь, когда умер Гопкинс, Черчилль не мог найти лучшего друга в Америке, чем Гарри Трумэн. В Потсдаме адмирал Кинг сказал лорду Морану: «Обратите внимание на президента. Ему тут все внове, но он справится. Он куда более типичный американец, чем Рузвельт, и он сослужит хорошую службу не только Соединенным Штатам, но и всему миру»[57].

Во время поездки Трумэн и Черчилль получили возможность лучше узнать друг друга. Трумэн настоял, чтобы Черчилль называл его Гарри; Черчилль с удовольствием согласился, попросив называть его Уинстон. Сначала Трумэн отказался, объяснив Черчиллю, что он так много значит для Англии, Америки и всего мира, что «я просто не знаю, смогу ли я это». Черчилль ответил: «Сможете, и должны, иначе я не смогу называть вас Гарри». Трумэн ответил: «Ну, раз так, Уинстон, хорошо, *буду* называть тебя Уинстон». Трумэн сообщил Черчиллю, что собирается отправить линкор «Миссури» в сопровождении оперативного соединения ВМС в Турцию, якобы для того, чтобы доставить на родину тело турецкого посла, Мунира Эртегюна, который умер в 1944 году. На самом деле президент хотел было продемонстрировать Советскому Союзу, что Америка готова играть значимую роль в Восточном Средиземноморье, роль, которую Британия больше не

могла исполнять в одиночку. 6-й флот Соединенных Штатов, хотя он еще так не назывался (и присутствие в Средиземноморье), был обязан своим появлением этой поездке в Вестминстерский колледж. Однако, хотя Трумэн с растущим недоверием относился к Советскому Союзу, он совершенно не был настроен на вражду. Его проинформировали о «длинной телеграмме» Кеннана, но он все еще питал надежду на сотрудничество со Сталиным. Америка выполнила свой долг, ее мальчики возвращались домой, и она была настроена миролюбиво. Великая депрессия осталась далеко позади. Наступила новая эпоха, позже названная журналистом Расселом Бейкером «Хорошие времена». Америка, когда 292 тысячи ее мальчиков были похоронены за границей и дома, не имела желания слушать бряцание оружия[58].

Когда президентский поезд проезжал мимо спящих городов и ферм, Черчилль оставил Трумэна, чтобы поработать над речью. Он показал черновик Государственному секретарю Джеймсу Бирнсу, который не стал пересказывать текст Трумэну, а тот, в свою очередь, сказал Черчиллю, что не намерен читать окончательный вариант речи, чтобы так и мог сказать репортерам, если они спросят, а они непременно спросят. Но когда Черчилль появился с готовой речью, Трумэн не смог устоять. Дочитав, он назвал ее «блестящим, превосходным докладом». Возвращая речь Черчиллю, он заметил, что она «наделает много шуму».

За обедом Черчилль спросил Трумэна, действительно ли он любит играть в покер. «Да, Уинстон», — ответил президент. Черчилль сказал, что он впервые сыграл в покер во время Англо-бурской войны, и предложил принести карты. Трумэн сказал, что они с коллегами с радостью примут участие в игре. Стол покрыли зеленым сукном; разлили напитки. Когда Черчилль ненадолго отлучился, Трумэн предупредил товарищей, что Черчилль играет в покер уже более сорока лет, «хитер», любит карточные игры и «вероятно, превосходный игрок». На кону репутация американского покера, сказал президент, добавив, что ожидает, что все «выполнят свой долг». Но вскоре после того как раздали карты, американцы поняли, что их почетный гость не был выдающимся игроком в покер. Более того, по словам Клиффорда, он был «ягненком среди волков». За час Черчилль проиграл почти 300 долларов (75 фунтов, более 3500 долларов по текущему курсу), в 1946 году это была очень большая сумма, особенно для англичанина, чьи финансы, как и финансы его страны, были в плачевном состоянии. Когда Черчилль снова отлучился, Трумэн безапелляционно заявил своим коллегам, чтобы они не злоупотребляли очевидным отсутствием навыков игры в покер у их гостя. «Но, босс, — возразил Гарри Воган, — этот парень незадачливый игрок!» Итак, в самом начале того дня, когда он произнес одну из самых известных речей XX века, Черчилль изо всех сил старался обыграть хозяев в их собственной игре. Но не преуспел.

Весна рано пришла в Фултон: дни стояли теплые, в гимнастическом зале колледжа, где установили небольшую сцену, были распахнуты окна. Черчиллю должны были присудить почетную ученую степень доктора юридических наук, и по этому случаю он облачился в свою темно-красную оксфордскую мантию. В зале должны были установить телевизионную камеру, чтобы транслировать выступление по телевизору, но Черчилль отказался от этой идеи, опасаясь, что его будет отвлекать яркий свет. Вместо этого была установлена одна кинокамера Paramount. Черчилль начал свою речь с широких мазков: США, обладая монополией на ядерное оружие, находятся «на вершине всемирной мощи» и «приняли на себя неимоверную ответственность перед будущим». Он посоветовал, чтобы «всем государствам было предложено предоставить в распоряжение Всемирной организации некоторое количество военно-воздушных эскадрилий». Он сказал, что все люди в «миллионах коттеджей» должны жить спокойно, не испытывая страха. «Чтобы обеспечить безопасность этих бесчисленных жилищ, они должны быть защищены от двух главных бедствий — войны и тирании». Затем он заговорил о Советском Союзе: «На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и прозелитистским тенденциям. Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. В Англии — я не сомневаюсь, что и здесь тоже, — испытывают глубокое сочувствие и уважение ко всем народам России и решимость преодолеть многочисленные разногласия и срывы во имя установления прочной дружбы. Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность своих западных границ от возможного возобновления германской агрессии. Мы рады видеть ее на своем законном месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. И прежде всего мы приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи между русским и нашими народами по обе стороны Атлантики. Однако я считаю своим долгом изложить вам некоторые факты — уверен, что вы желаете, чтобы я изложил вам факты такими, какими они мне представляются, — о нынешнем положении в Европе».

Затем: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы — Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы. Только Афины с их бессмерт-

ной славой могут свободно определять свое будущее на выборах с участием британских, американских и французских наблюдателей».

Он не мог удержаться и не сказать слушателям, что, хотя страшная война завершилась победой, ее можно было предотвратить, «но тогда меня слушать не пожелали, и один за другим мы оказались втянутыми в ужасный смерч». И хотя он считал, что русские не хотят войны, он был уверен, что они хотят «плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин». Затем он подошел к главному: «Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, притом что это означает сотрудничество в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, появится совершенная уверенность в безопасности. Если мы будем добросовестно соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и двигаться вперед со спокойной и трезвой силой, не претендуя на чужие земли и богатства и не стремясь установить деспотичный контроль над мыслями людей, если все моральные и материальные силы Британии объединятся с вашими в братском союзе, то откроются широкие пути в будущее — не только для нас, но и для всех, не только в наше время, но и на век вперед»[59].

Для защиты западных свобод он предложил создать братский союз англоязычных народов, Америки и Британии, подчеркнув, что это является тем главным, что он «хотел здесь сказать». Он заявил, что «нет времени для банальностей, и я дерзну говорить конкретно. Братский союз требует не только роста дружбы и взаимопонимания между нашими родственными системами общества, но и продолжения тесных связей между нашими военными, которые должны вести к совместному изучению потенциальных опасностей, совместимости вооружений и военных уставов, а также обмену офицерами и курсантами военно-технических колледжей. Это означает дальнейшее использование уже имеющихся средств для обеспечения взаимной безопасности путем совместного пользования всеми военно-морскими и военно-воздушными базами»[60].

Он назвал свою речь «Сухожилия мира». Но многие восприняли ее как речовку. Реакция была незамедлительной и неблагосклонной. Старейший политический еженедельный журнал Nation, придерживающийся умеренно левых взглядов, заявил, что Черчилль «подлил значительное количество яда в ухудшающиеся отношения между Россией и западными державами», добавив, что Трумэн поступил «неуместно», предоставив Черчиллю площадку для выступления. The Wall Street Journal, повторяя популярную в начале десятилетия изоляционистскую молитву, отвергла черчиллевский призыв к англоговорящему альянсу, заявив, что «Соединенные Штаты не желают альянсов или того, что имеет сходство с альянсом, ни с какими государствами». The

New York Times отметила, что выступление «удостоилось особенно громких аплодисментов, когда речь шла об обязанности этой страны избежать новой мировой войны, но предложение «братского союза» вызвало умеренные аплодисменты». На самом деле установленная в зале кинокамера Paramount зафиксировала момент, когда Гарри Трумэн бурно аплодировал Черчиллю в тех местах, которые вызвали наибольшую полемику. Черчилль провозгласил себя «атлантистом», в духе Уолтера Липпмана, и Трумэну это понравилось[61].

Сталину не понравилось, и его реакция была незамедлительной. В интервью «Правде» он заявил, что призыв Черчилля к созданию союза англоязычных стран делает его не меньшим расистом, чем Гитлер, и таким же «поджигателем войны». Противопоставляя англо-американский мир остальному миру, заявил Сталин, «господин Черчилль... предъявляет народам, не говорящим на английском языке, своего рода ультиматум — признайте [англо-американское] превосходство над вами, добровольно, и все будет в порядке — в противном случае война неизбежна». Маршал был прав, и это понимали французы, которые два года пытались наладить отношения с Москвой (де Голль уже давно предсказывал, что Франция и Россия станут двумя сильными державами послевоенной Европы). Трумэн сдержанно прокомментировал выступление Черчилля. Когда репортеры в Фултоне спросили, ознакомился ли он заранее с содержанием речи, он ответил отрицательно. «К нашему облегчению, — позже написал Клиффорд, — Черчилль... не опроверг [слова президента]». Для того чтобы успокоить галерку, Трумэн запретил заместителю Государственного секретаря Дину Ачесону присутствовать на приеме в честь Черчилля в Нью-Йорке. «Длинная телеграмма» Кеннана, полученная двумя неделями ранее, подготовила почву для пересмотра внешнеполитического курса Соединенных Штатов, необходимый процесс, по мнению Дина Ачесона, хотя и идущий слишком медленно. Выступление Черчилля было эмоциональным, в отличие от подробного сообщения Кеннана, изложенного в характерной для юристов манере, но, по сути, они имели много общего. Эти недели ознаменовали начало новой эпохи[62].

Холодная война, как ее скоро назовут, началась раньше, чем закончилась Вторая мировая война, но достаточно скоро — от Москвы до Лондона и Вашингтона и во всем мире — стали считать, что она была объявлена 5 марта 1946 года, гражданином мира без портфеля, в Фултоне, штат Миссури. В тот месяц Трумэн отправил Аверелла Гарримана — который всего несколько недель назад вернулся из Москвы, надеясь уйти с правительственной службы, — в Лондон в качестве посла при Сент-Джеймсском дворе. Сталин не вывел советские войска из Иранского Азербайджана, как обещал, — обстоятельство, по мнению Трумэна, которое «могло привести к войне». «Я хочу, — сказал Трумэн Гарриману, — чтобы в Лондоне был человек, которому

я могу доверять». Спустя несколько недель Сталин вывел войска из Ирана, но в том году русские сбили британский самолет, который вышел за пределы одного из трех западных воздушных коридоров, следуя в Берлин. Военные костры прикрыли валежником, но в английском фольклоре такой костер самый жаркий. На протяжении более сорока лет со дня Фултонской речи Черчилля все понимали, что холодная война в любой момент может превратиться в горячую войну из-за слабоволия, геополитического перенапряжения или серии следующих друг за другом чрезвычайно неудачных событий. Черчилль покидал Фултон в полной уверенности, что мир гарантирован до тех пор, пока Америка сохраняет монополию на ядерное оружие. Его не могла гарантировать вооруженная ядерным оружием Британия, поскольку конгресс Соединенных Штатов принял в 1946 году закон Макмагона, запрещающий передачу атомной информации кому бы то ни было, включая и Великобританию, то есть аннулировал джентльменское соглашение Черчилля с Рузвельтом относительно атомных бомб. Впредь Вашингтон не будет делиться атомными секретами с Лондоном. Гарриман считал закон «позорным», учитывая, что во время войны Великобритания «давала нам все, что у нее было... Теперь конгресс Соединенных Штатов заявил, что незаконно даже делиться информацией с британцами»[63].

Через семь недель после подписания Трумэном закона Макмагона, 19 сентября 1946 года, Черчилль, выступая в Цюрихе, сказал: «Атомная бомба пока находится в руках только одного государства, которое, мы знаем, никогда не использует ее, если этого не потребует дело свободы и справедливости. Но может случиться так, что через несколько лет это ужасное оружие уничтожения получит распространение и катастрофа, которая случится, если несколько враждующих государств используют ее друг против друга, не только положит конец всему, что мы называем цивилизацией, но, возможно, уничтожит земной шар»[64].

Он поехал в Цюрих не для того, чтобы выражать эмоции по поводу возможной гибели Европы в ядерный век, а для того, чтобы предложить защиту. Он объяснил собравшимся в зале, что прошедшая война велась для того, чтобы предотвратить возврат Темных веков* и «всей их жестокости и убожества», но предупредил, что «они еще могут вернуться».

А затем сказал: «Но есть спасительное средство, которое, если применить его повсеместно и без принуждения, как по волшебству преобразит картину и за несколько лет сделает всю Европу или большую

* Темные века — историографический термин, подразумевающий период европейской истории с VI по X век. Характерной чертой этого времени называют отставание Западного региона от Византии, мусульманского мира и Китая.

ее часть такой же свободной и процветающей, какой сегодня является Швейцария. Что же это за действенное средство?.. То, что я сейчас скажу, наверняка удивит вас. Первым шагом к воссозданию европейской семьи наций должно стать сотрудничество между Францией и Германией. Только так Франция сможет вернуть себе моральное лидерство в Европе. Возрождение Европы невозможно без духовно сильных Франции и Германии. При правильном подходе к делу будущие Соединенные Штаты Европы будут иметь такое устройство, при котором благосостояние каждой отдельно взятой страны утратит первостепенное значение»[65].

Фултонская речь отметила послевоенное обновление его давнего видения особых англо-американских отношений. Выступление в Цюрихе в 1946 году ознаменовало начало его активной кампании за объединенную Европу, которая будет включать Германию, но не обязательно Британию. С тех пор историки пытаются разгадать кажущийся парадокс черчиллевского желания, чтобы Британия входила, но на самом деле не входила в объединенную Европу. Джок Колвилл, слушавший рассуждения Черчилля об объединенной Европе на протяжении всей войны, ухватил суть вопроса: Старик стремился к такой стабильности в Европе, при которой Королевский военно-морской флот (который, как он считал, вернет себе прежнюю роль в глобальной политике после войны) сможет скитаться по морям, не беспокоясь, что дома может случиться беда. Объединенная Европа, по Черчиллю, означала огромные возможности для Англии. Выступая по радио в марте 1943 года, он призвал создать Совет Европы и упомянул «Соединенные Штаты Европы» в ноябре 1945 года, выступая в Брюсселе. Он стремился к такому устройству не только потому, что хотел создать франко-германский бастион против советской угрозы, но и для того, чтобы примирить интересы Франции и Германии, чтобы у них больше не возникло причин воевать между собой. Это выгодно и Европе, и Англии. Черчилль считал, что сильная Франция, существующая в гармонии с восстановленной Германией, когда-нибудь — если не вмешается время и русские — создаст такой буфер. В конце 1946 года не было государств, которые вместе или по отдельности могли служить защитным валом между Россией и Британией. Германия была побеждена, поделена на части и уменьшилась в размерах. Во Франции еще нетвердо державшаяся на ногах Четвертая республика громила все связанное с Виши, а в Индокитае вела войну против Хо Ши Мина и Вьетминя, год назад объявившего о создании независимой Демократической Республики. Сближение с Германией не стояло первым пунктом в повестке дня Франции.

Реакция на речь Черчилля в Цюрихе, как и на Фултонскую речь, была в лучшем случае сдержанной. По мнению Эттли и лейбористов, задачи обеспечения европейской безопасности «проще было бы решить

через Организацию Объединенных Наций». Министр финансов Великобритании Хью Далтон считал, что любая подобная инициатива должна исходить от европейских социалистов и предназначаться для европейских социалистов, позиция, которую Черчилль позже издевательски назвал «жалкой», «декларацией того, что если Европа объединится, а Британия будет играть какую-то роль в этом союзе, то только на однопартийной основе — и это партия социалистов». Любопытно, что Эттли в один и тот же день принизил грандиозную идею Черчилля и передал ему секретные документы, содержавшие информацию о присутствии 116 советских дивизий в оккупированной Европе, — по заключению чиновника из министерства обороны, этой силы было достаточно, чтобы сделать «практически возможным» «завоевание русскими Западной Европы». Дункан Сэндис, зять Черчилля и председатель движения за объединение Европы, которого Черчилль отправил во Францию, чтобы оценить реакцию французов на его «цюрихскую речь, был вынужден сообщить Старику, что французы «категорически против» воссоздания единого немецкого рейха, хотя де Голль (ушедший в отставку) «твердо верит в этот план». Но де Голль поддерживал план с оговоркой: хотя он добился единства целей Британии и Франции с возможным участием Германии, он считал необходимым сначала четко определить роль, которую будет играть Германия. Де Голль еще не был готов поддержать возрождение и перевооружение рейха[66].

В течение ближайших восемнадцати месяцев движение за объединенную Европу набирало силу, не без помощи Черчилля. В мае 1948 года в Гааге он обратился к сторонникам интеграции Европы: «С тех пор как я говорил на эту тему в Цюрихе в 1946 году, и со времени создания в январе 1947 года британского движения за Объединенную Европу, события показали, что наши дела превзошли наши ожидания... Правительства великих держав объединились со своей исполнительной властью... Шестнадцать европейских государств объединились для решения экономических вопросов; пять установили тесные экономические и военные отношения... Взаимопомощь в экономической сфере и совместные действия по обеспечению защиты неизбежно сопровождаются, шаг за шагом, стратегией, направленной на более тесное политическое единство».

Затем он перешел к изложению основной части своего выступления, с которой были не согласны многие по обе стороны Атлантики, о включении Германии в эту новую Европу: «Некоторое время назад я утверждал, что перед победившими государствами стоит благородная задача взять Германию за руку и вернуть ее в семью европейских государств. И я рад, что некоторые наиболее выдающиеся и влиятельные французы высказывались в поддержку этого мнения. Чтобы заново отстроить лежащую в руинах Европу, чтобы ее свет снова засиял над миром, мы сначала должны обуздать самих себя».

5 мая 1949 года десять стран подписали Лондонское соглашение о создании Совета Европы. В августе Черчилль, которому для этого пришлось использовать значительную часть своего политического капитала, добился приглашения в Страсбург на первую сессию Ассамблеи Совета Европы. Это был истинный, хотя только зарождающийся европейский парламент, съезд не партий, а принципов — верховенства закона, свободы слова и международного сотрудничества. Немцев не было, но на следующий год они будут[67].

Фултонская речь получила полную поддержку год спустя, когда 12 марта 1947 года президент Трумэн, имея в виду Грецию и Турцию, объявил на объединенной сессии конгресса, что впредь Соединенные Штаты «должны поддерживать свободные нации, их демократические учреждения и их национальную целостность против агрессивных поползновений со стороны тоталитарных режимов, подрывающих мир во всем мире путем прямой или косвенной агрессии и, следовательно, и безопасность Соединенных Штатов». Греции, в которой идет гражданская война, сказал Трумэн, требуется помощь, сотни миллионов долларов, чтобы ее не смыла коммунистическая волна. Он не предлагал военные действия, но в его словах подразумевалась угроза применения силы. Джеймс Рестон из New York Times назвал его речь такой же важной, как доктрина Монро. Хотя Трумэну понадобилось всего двадцать одна минута, чтобы объявить о глобальном изменении американской внешней политике, основа была заложена пять лет, а решающим толчком послужила записка, которую лорд Инверчепел, британский посол, безуспешно пытался передать в пятницу, 22 февраля, Джорджу Маршаллу, который месяц назад занял должность Государственного секретаря. Маршалл уже ушел с работы, но его заместитель Дин Ачесон убедил Инверчепела оставить копию записки, в которой сообщалось, что ресурсы Англии не позволят ей оказывать помощь Греции и Турции после марта 1947 года. Британия выдохлась и больше не может поддерживать свои силы — и влияние — в Восточном Средиземноморье[68].

Новая политика стала известна как доктрина Трумэна, смелая декларация американских намерений гарантировать суверенитет не только Греции и Турции, но и государств по всему миру. Поначалу Джордж Маршалл считал это неразумным. Он воочию убедился, ведя борьбу с Черчиллем во время войны, что Балканы опасное место. Тогда он пытался заставить Черчилля умерить амбиции; теперь его собственный президент пошел по стопам Черчилля. Маршалл считал, что русские не настолько опасны, как их представляют враги, и не был уверен, что Москва может представлять угрозу для Греции или Турции.

В то время Маршалл был в Москве, где вел переговоры с Молотовым об оккупации Германии и Австрии и восстановлении производственных мощностей этих стран. Война закончилась почти два года

назад, но США и СССР еще не договорились о мирных условиях в отношении бывшего рейха. Маршалл уезжал из Вашингтона в оптимистическом настроении, но ко времени возвращения домой, в апреле, все его надежды развеялись. Русские, лишив Германию и Австрию заводов и станков, сказали Маршаллу, что выжмут из них больше, несмотря на бедственное положение народа в этих странах.

Зима выдалась особенно суровой, а миллионы беженцев все еще скитались по Центральной Европе. Каждое утро жители Германии и Австрии собирали на улицах городов и поселков замерзшие тела умерших от голода сограждан и свозили их для захоронения в братских могилах. Сталин, чья собственная страна лежала в руинах (Маршалл убедился в этом), не собирался ничего отдавать и фактически настаивал на том, чтобы отложить на какое-то время восстановление Германии. Германия превратилась в пастбище, которое представлял себе Сталин (и Генри Моргентау), но оно не могло прокормить миллионы живших там людей. Единственное, что было гарантировано миллионам немцев, — так это голод. Сталина это устраивало. Переговоры в Москве только усугубили разногласия. В ближайшие пятнадцать лет американцы и русские не сядут за стол переговоров. Трумэн и Маршалл публично не высказывали свои опасения насчет намерений Сталина — в Америке Красная армия все еще считалась героической. Но доктрина Трумэна сообщила о смене курса. Она дополнила и укрепила Атлантическую хартию, как рождественская поездка Черчилля в Грецию в 1944 году. Через неделю после выступления Трумэна Дин Ачесон заявил: «Доминирующее положение коммунистов в греческом правительстве будет считаться угрозой для безопасности Соединенных Штатов». Хотя Черчилль был не из тех, кто говорил, «я же вас предупреждал», написал лорд Моран, но «Соединенные Штаты полностью позаимствовали [средиземноморскую политику Черчилля][69].

Маршалл понимал, что только Соединенные Штаты обладают достаточной экономической мощью, чтобы вытащить Европу из трясины. Но Британия и Америка не улучшили положение с 1945 года, введя эмбарго на поставки сырья в Германию. Без заводов, без сталелитейной промышленности, без материалов для изготовления новых станков для новых заводов Германия могла только продолжать разрушаться. Теперь Маршалл это понял. Европейская экономика без участия Германии была сродни американской экономике без нью-йоркских финансов и пенсильванской стали и угля. Британская экономика тоже опускалась на дно. Это очень тревожило Дина Ачесона, поскольку Британия была одной из двух европейских стран, в которой правительство пользовалось доверием населения, где поддерживался порядок, где старые этнические конфликты не решались посредством пушек и бомб. Второй страной была Россия, и это, по мнению Ачесона, была проблема. Прошел год, как Сталин заявил о

своей антипатии к Западу; даже те американцы, которые водрузили Сталина и русских на пьедестал, увидели угрозу. Ачесон и несколько человек из Государственного департамента считали, что Америка должна помочь Европе, в особенности Британии, и не только потому, что это справедливо в отношении народа, который почти два года сражался в одиночку с Гитлером, но и потому, что сильная Британия и возрожденная Европа могут усилить Америку в новом мировом порядке[70].

Вскоре после возвращения Маршалла из Москвы Ачесон убедил его выступить по радио, чтобы рассказать американцам о «страданиях народа, который взывает о помощи, которому нужен уголь, продовольствие и предметы первой необходимости». В своем радиообращении Маршалл предупредил американцев, что «пациент умирает, пока врачи раздумывают». 5 июня, выступая в Гарвардском университете, Маршалл обнародовал план возрождения послевоенной Европы, известный с того времени как План Маршалла. «Инициатива, — подчеркнул он, — должна исходить из Европы», но доллары должны исходить из Америки. На пресс-конференции 12 июня — спустя три года с того дня, как они с Черчиллем посетили побережье Нормандии в день «Д», — Маршалл, призывая к объединению Европы, сослался на черчиллевскую речь в Цюрихе в 1946 году, как один из факторов, оказавших влияние на его убежденность в будущем величии восстановленной из руин Европы. Сталин, всегда подозревавший американцев в стремлении к установлению «контроля», отказался от помощи. Советские сателлиты, включая Венгрию, в которой Москва организовала коммунистический переворот в конце мая, тоже отказались от помощи по приказу Москвы. Но шестнадцать стран свободной Европы дали согласие на участие в плане.

Черчилль назвал План Маршалла «поворотным моментом в мировой истории». Почти 13 миллиардов долларов — около 5 процентов годового валового внутреннего продукта США и 16 процентов федерального бюджета — найдут свой путь в Европу в течение следующих четырех лет, в том числе более миллиарда долларов в Великобританию. Это было воплощением четвертого нравственного принципа Черчилля: «В мире — добрая воля». Черчилль в течение двух лет боролся за сплоченность Европы. План Маршалла был направлен на решение экономических проблем; теперь европейцам предстояло решать политические вопросы[71].

К 1947 году финансовое положение Черчилля заметно улучшилось. Его дочь Мэри позже написала, что впервые в жизни, благодаря помощи друзей и издателей, «Уинстон был богат». У Черчилля было два источника доходов. В конце 1945 года его друг лорд Камроуз предложил, как выразился Черчилль, «великолепный план», превратить

Чартвелл в национальное достояние. Камроуз организовал фонд, в который сам пожертвовал 15 тысяч фунтов, а к августу 1946 года увеличил сумму до 80 тысяч фунтов, благодаря шестнадцати жертвователям. Этого было достаточно, чтобы купить Чартвелл почти за 45 тысяч фунтов и передать его в Национальный фонд с капиталом в 35 тысяч фунтов. Черчилль получил пожизненное право владения за 350 фунтов в год. После его смерти Чартвелл со всеми документами, картинами, мебелью и памятными вещами, которые Черчилль обещал там оставить, должен был открыться для публики[72].

В конце 1946 года, по завершении сделки, Черчилль направил внимание и средства на приобретение соседних ферм и ремонт своего лондонского дома на Гайд-парк-Гейт, 28 (и соседнего дома номер 27, который он тоже купил). В Чартвелл привезли призовую корову джерсейской породы и свиней породы ландрас, а в 1948 году «лендровер», чтобы объезжать владения, площадь которых составляла почти 500 акров. Немецкие военнопленные — Черчилль называл их «фрицами» — выполняли большую часть работ. Один из немцев полюбил сельскую жизнь и сельскую девушку, женился на ней и начал новую жизнь среди англичан. Военнопленные расчищали поля и сажали бобовые; сажали на грядках салат и выращивали в теплицах огурцы. Персиковые деревья стояли ухоженные, виноградные лозы были аккуратно подрезаны. О яблонях и грушах, которые Черчилль посадил двадцать лет назад, хорошо заботились. Розы и глицинии были подстрижены; дорожки в розарии, разбитом в 1920-х годах Клементиной, были расчищены. Теннисный корт был превращен в площадку для игры в крокет; у хозяйки особняка больше не было сил для тенниса, но она с удовольствием принимала участие в крокетных матчах с приезжавшими в гости друзьями, включая фельдмаршала Монтгомери, о котором Колвилл написал, что он сделался «добродушным, милым любителем выставлять напоказ свои переживания, спокойным, но одиноким и жалким». Монти и Клементина поначалу не ладили во время реабилитации Черчилля в Марракеше в 1943 году, когда Монтгомери позволил себе диктовать Клементине, кого приглашать к столу. Их отношения стали еще более напряженными, когда Монтгомери, который тогда служил начальником имперского Генерального штаба под началом Эттли, заявил, что военная служба более достойная профессия, чем политика. На это Клементина отрезала: «Как только у вас хватило невоспитанности и наглости говорить такое в моем доме». Вскоре он был прощен. Следующие десять лет Монти и Клементина провели много дней, сражаясь на крокетном поле. Хозяин поместья не участвовал, но иногда наблюдал за игрой[73].

Черчилль заполнил три пруда гигантскими золотыми рыбками, которых он кормил с рук личинками, привезенными из Лондона в жестяных банках. Он пытался защитить своих рыбок от хищных птиц

при помощи устройства собственного изобретения, своего рода плавучей вертушки, сооруженной из велосипедного колеса с маленькими зеркалами. Он объяснил принцип действия этого хитроумного изобретения американскому журналисту Стюарту Элсопу, когда они прогуливались по имению: ветер поворачивает колесо, зеркала, поймав солнечные лучи, отражают яркие вспышки, которые должны отпугивать птиц. «К сожалению, — сказал Черчилль Элсопу, — на этом маленьком острове редко светит солнце»[74].

Чартвеллская фауна становилась все многочисленнее и разнообразнее. Правительство Австралии прислало в подарок двух черных лебедей с красными клювами; к ним присоединилось еще трое: вся компания отличалась на редкость скверным характером. Черные лебеди жили на нижнем озере вместе с парой канадских гусей (названных Лорд и Леди Бивербрук) и двумя белыми лебедями, самкой, Мистер Юнона, и самцом, Миссис Юпитер. Как объяснил Черчилль леди Диане Купер, их так назвали потому, что сначала неправильно определили их пол. Кроме того, в нижнем озере обитали разные утки и «пять глупых гусей».

Каждое утро Черчилль вызывал своего телохранителя и объявлял: «Сержант, я готов идти гулять». Он мог попросить машинистку взять блокнот и сопровождать его во время прогулки, на случай если ему потребуется записать какую-нибудь мысль. Затем, как вспоминала одна из новых машинисток, Сесили (Чипсы) Геммел, он «шагал в своей ужасной старой шляпе, из которой торчали лебединые перья» кормить своих «бедных маленьких птичек» черствым хлебом из корзины, которую нес на локте. Придя на берег, он начинал созывать лебедей — «арф, арф, арф», и они тут же появлялись. Он бросал кусочки хлеба медленно, по одному, заставляя птиц драться за добычу, глупых гусей со свирепыми лебедями. Он был добрее к беззащитным крылатым созданиям. Опасаясь снижения популяции бабочек, он устроил сад бабочек и превратил садовый сарай в питомник по выращиванию бабочек. У него родилась идея устроить для бабочек фонтаны, в которых бы билась вода с медом, но в итоге он отказался от этой идеи. Привезли еще джерсейских коров и пони. После приобретения соседней фермы хозяйство пополнилось стадом коров шортгорнской породы. В 1947 году в Чартвелле поселился пудель по кличке Руфус II, заняв место Руфуса I, погибшего под колесами автомобиля. Руфус ел вместе с семьей в столовой из миски, стоявшей рядом со стулом хозяина. Дворецкий в первую очередь обслуживал Руфуса, а уже потом гостей[75].

В феврале 1947 года Мэри вышла замуж за Кристофера Сомса, капитана Колдстримского гвардейского полка, помощника военного атташе в Париже. Молодожены поселились на одной из ферм Чартвелла, а Черчилль тем временем приступил к работе над военными воспоминаниями, которым уделял время и в Чартвелле, и на Гайд-

парк-Гейт, 27—28. Позже Мэри написала, что к тому времени «Уинстон владел если и не настоящим королевством, то по меньшей мере княжеством». Спустя два года, когда Кристофер Сомс убедил своего тестя приобрести французского скакуна, Черчилль занялся королевским спортом. Жеребец по кличке Колонист II оказался чемпионом, победив на скачках в Солсбери в 1949 году под цветами Черчилля (точнее, его отца Рэндольфа, серого с розовым) и еще на шести престижных скачках в 1951 году. Клементина в письме другу журналисту Ронни Три выражала удивление «этой странной новой гранью в разнообразной жизни Уинстона. До того как купить лошадь (не могу понять почему), он едва ли когда-нибудь в жизни был на ипподроме. Должна сказать, я не нахожу это безумно забавным»[76].

Черчилль мог позволить себе такие дорогие увлечения благодаря второму, более внушительному мощному финансовому потоку: фонду Чартвелла, созданному с помощью лорда Камроуза для того, чтобы сохранить право собственности на личные документы Черчилля и оградить его от непомерных налогов. Клементина, лорд Червелл (профессор Линдеман) и Брэнден Брекен были назначены попечителями; их обязанности заключались в следующем: продать военные воспоминания Черчилля и предоставить Рэндольфу, когда он возьмется за написание официальной биографии отца, бумаги Черчилля, относящиеся к раннему периоду, «но не раньше чем через пять или десять лет после смерти Черчилля». Своим богатством Черчилль был обязан этому фонду гораздо больше, чем продаже Чартвелла. Британский режиссер и продюсер Александр Корда (который передал в дар Чартвеллу полноформатный кинотеатр) заплатил 50 тысяч фунтов (200 тысяч долларов) за права на фильм по четырехтомному сочинению «История англоязычных народов», который будет опубликован спустя десять лет. Американский издатель Генри Люс заплатил Черчиллю 12 тысяч фунтов (50 тысяч долларов) за право публикации в Америке его речей на закрытых заседаниях палаты общин в военное время. Издательство Odhams Press заплатило 25 тысяч фунтов (100 тысяч долларов) за переиздание его книг, написанных до 1940 года. Военные воспоминания Черчилля оказались самым значительным источником богатства. Хьютон Миффлин заплатил в качестве аванса 250 тысяч долларов за права на публикацию книги в Америке; журнал Life Генри Люса выплатил 1 миллион 150 тысяч долларов за право на публикацию в периодическом издании. Щедрая сумма, соответствующая современным 12 миллионам долларов. Воспоминания были в шести томах[77].

Цель Черчилля была не в том, чтобы написать историю войны, а в том, чтобы исследовать англо-американские отношения в военное время и опровергнуть «чепуху», написанную капитаном Бутчером, Эллиотом Рузвельтом и лондонскими газетами левого толка. Он ру-

ководил работой с присущей ему военной точностью; выступая в качестве военного министра, он осуществлял командование батальонами литературных солдат, называвших себя «синдикатом». Капитан Управления специальных операций Уильям Дикин осуществлял тактическую часть кампании при поддержке семи секретарей и машинисток и целой армии бывших и нынешних советников Черчилля, в том числе Мопса Исмея, фельдмаршала Александера, маршала авиации Парка, Дункана Сэндиса, доктора Р.В. Джонса, бывшего начальника штаба Маунтбеттена генерала сэра Генри Поунелла и Эмери Ревеса в качестве агента и посредника. Профессор занимался проверкой статистических данных и переводил загадочные научные термины на понятный язык. Денису Келли, молодому адвокату, была поручена каталогизация черчиллевских бумаг; в этом ему помогала восемнадцатилетняя Сесили Геммел. Капризный Рэндольф, который, по словам его сестры Мэри, мог «поссориться со стулом», не был членом команды. Ключом ко всей операции было необычное соглашение, которое Черчилль заключил с секретарем кабинета министров Эдвардом Бриджесом. Черчилль попросил, и Бриджес согласился отправить в Чартвелл все документы военного времени, написанные Черчиллем, и все ответы на них, чтобы Черчилль мог использовать эти материалы в работе над мемуарами. Перед публикацией требовалось получить разрешение правительства. Эта договоренность означала, что Черчилль, имея эксклюзивный доступ, мог не спеша отбирать материалы из архива, в то время как в соответствии с британским законом другие историки смогут ознакомиться с этими документами только через тридцать лет. Келли предстояла масштабная работа по каталогизации[78].

Для продуктивной работы над воспоминаниями в помощь Великому человеку в Чартвелли доставили диктофон. Черчилль потратил день на проверку этого устройства, после чего отпустил всех машинисток отдыхать. Но он забыл нажать кнопку «Пуск»; диктофон, естественно, ничего не написал, и Черчилль избавился от него. Он диктовал свой труд машинисткам — почти полтора миллиона слов за семь лет. Когда позже критики попытались принизить его роль в работе, заявив, что вся работа была проделана скорее «синдикатом», чем Черчиллем, Денис Келли ответил, что нельзя ожидать от шеф-повара собственноручного приготовления каждого блюда для торжественного банкета. «Синдикат» действительно обеспечил Черчилля официальными документами, письмами, телеграммами, воспоминаниями некоторых из руководителей, но Черчилль диктовал текст и компоновал работу. Первый том, «Надвигающаяся буря», был опубликован в середине 1948 года, а последний, «Триумф и трагедия», вышел в Соединенных Штатах в конце 1953 года, а в Великобритании в апреле 1954 года. Хотя в некоторых местах встречались ошибки — как из-за допущений, так и из-за упущений, мемуары — «бесценный труд», на-

писал парламентарий и биограф Черчилля Рой Дженкинс, назвав их к тому же «высшим литературным достижением выдающегося писателя-политика XX века». По словам Дикина, Черчилль сказал об этой работе: «Это не история, это моя жизнь»[79].

Он работал над воспоминаниями не только в Чартвелле и на Гайд-парк-Гейт, 27—28, но и на берегу Женевского озера в Швейцарии (в августе 1946 года); в Марракеше (на Новый год в 1947 году и зимой 1950/51 года); в Hôtel de Paris в Монте-Карло (в декабре 1948 года); на озерах Гарда и Карецца в течение месяца; на вилле Бивербрука La Capponcina, на Кап-д'Ай (летом 1949 года); в отеле Reid's на Мадейре (в январе 1950 года); в Анси и Венеции (в 1951 году). В 1949 году он нашел время, чтобы съездить в Америку, где сделал рекламу своей книге, встретился с Бернардом Барухом и Гарри Трумэном и выступил перед студентами Массачусетского технологического института. В связи с жесткими валютными ограничениями, введенными в 1939 году, Черчилль с сопровождающими часто путешествовали в качестве гостей американских издателей (которые нередко оплачивали расходы Черчилля французскими франками, а не британскими фунтами), чтобы не нарушить британское валютное законодательство.

Мольберт и краски всегда сопровождали его в поездках, что нельзя сказать о Клементине, хотя она с лордом Мораном поспешила в Марракеш, когда Черчилль слег там с бронхитом в 1947 году. Во время этих поездок он рисовал, грелся на солнце и купался, хотя в письме Клементине из Марракеша, до того как заболел бронхитом, он написал о холодной погоде и боязни простудиться, добавив: «Англия и политика кажутся здесь такими далекими. Будущее по-прежнему приводит меня в уныние. Я действительно не знаю, как наш бедный остров будет зарабатывать на жизнь, когда вокруг столько трудностей». Он опять оказался не у дел, но с двумя существенными отличиями. Сейчас он возглавлял оппозицию, в то время как в 1930-х годах он находился в оппозиции к своей партии. И он верил, что будет играть важную роль, если не на Даунинг-стрит, то в палате общин. Однако в 1946 году в ответ на тост, поднятый Брекеном на его дне рождения, Черчилль, выразив признательность за то, что рядом друзья и члены семьи, добавил: «Но мы — прошлое»[80].

Бронхит, которым он переболел в 1947 году, прошел без последствий, но сердце давало о себе знать все чаще и чаще. Его брат Джек, который был младше Уинстона на шесть лет и давно страдал от сердечной недостаточности, умер в феврале 1947 года. «С возрастом эти приступы уже не вызывают такого страха, — сказал Черчилль Морану. — В любом случае времени осталось немного». Джек был похоронен рядом с родителями на маленьком кладбище церкви Святого Мартина в Блейдоне, всего в миле к югу от Бленхеймского дворца. Позже в тот год Черчилль перенес операцию по удалению грыжи. Во

время подготовки к операции по совету хирурга, опасавшегося легочного кризиса, пока Старик будет под наркозом, Черчилль обещал бросить курить. Но слово не сдержал. Он обещал хирургу вполовину сократить употребление алкоголя. Этого он тоже не сделал. Операция прошла успешно. В 1948 году Моран решил, что у Черчилля начался артериосклероз; в то время Старик постоянно жаловался на боль и скованность в плечевом поясе. В августе 1949 года его правая рука и нога потеряли чувствительность. Морана вызвали из Лондона. Он диагностировал малый инсульт, объяснив Черчиллю, что кровоизлияния не было, просто «очень маленький тромб заблокировал очень маленькую артерию». Год спустя Моран обнаружил «нарушение мозгового кровообращения». Если артериосклероз был признаком старости, позже написал Моран, то «Уинстон был стариком до того, как начал писать «Вторую мировую войну». Черчилль не хотел заглядывать слишком далеко вперед. Какое бы будущее его ни ожидало, оно не могло продлиться долго. Но он всегда мог оглянуться назад, вспоминая славные дни. Когда жена Морана спросила его, какой год своей жизни он хотел бы прожить еще раз, Черчилль ответил: «1940-й»[81].

Если в конце 1940-х финансовое благосостояние Черчилля улучшалось, то финансовое положение Британии продолжало ухудшаться. «Победа, — сказал Черчилль Морану в 1946 году, — превратилась в мешок тряпок и пепла». Когда в 1946 году правительство Эттли отправило Джона Мейнарда Кейнса в Соединенные Штаты договориться о займе в 3,75 миллиарда долларов на финансирование строительства, великий экономист добился займа, но на жестких условиях. Соединенные Штаты предоставили заем на 50 лет из расчета 2 процентов годовых (с оговоркой, что Лондон может пропускать ежегодные выплаты в случае мер экономического принуждения; в течение ближайших двадцати лет Британия воспользовалась этим правом шесть раз). Внешне льготные условия этого займа сочетались с рядом требований к Великобритании: отменить валютные ограничения и ввести конвертируемость фунта стерлингов в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением*.

Это привело к катастрофе, когда в 1949 году правительство Эттли, которое находилось под постоянным экономическим давлением, обесценило фунт на 30 процентов (с 4,08 до 2,80 доллара), несмотря на месяцы заверений, что этого не будет.

Обесценивание валюты приводит к падению цен на национальную продукцию на зарубежных рынках, но Британия практически ничего не экспортировала, а у американцев не было потребности в импорт-

* Британское правительство выплатило последние 100 миллионов фунтов по кредиту в декабре 2006 года. (*Примеч. авт.*).

ных товарах. О бедственном положении Британии Черчилль сказал в палате общин в 1950 году: «Из-за их [правительства Эттли] глупости и неправильных действий часть кредитов, которые мы получили из-за рубежа, была потрачена не на переоборудование нашей промышленности, не на импорт основных продуктов питания: большая часть этой драгоценной помощи была щедро потрачена» на социалистические программы. Он обвинил Эттли в том, что он «сделал наши налоги самыми высокими в мире, даже выше, чем в самые тяжелые годы войны». С учетом кредита и «беспрецедентных жертв, потребованных от налогоплательщиков» оставалось непонятным, почему Британия не добилась «платежеспособности, безопасности и утопической независимости. И дело не только в некомпетентности и плохом руководстве социалистического правительства с его дикой расточительностью, но в большей степени, в духе классовой ненависти, которую они распространяют по всей стране, и дорогостоящей и расточительной национализации пятой части нашей промышленности»[82].

Американцев не беспокоило, что их продукция подорожала в Великобритании из-за девальвации фунта: они покупали американское — автомобили General Motors, «Студебекер», «Форд», «Паккард», «Крайслер» и электрические сушилки для одежды, радиоприемники и телевизоры. Американские дети ездили на ярко-красных велосипедах фирмы Schwinn. Компания Parker, во время войны занимавшаяся изготовлением бомбовых взрывателей, вернулась к производству ручек и выпустила «паркер-51» — последнюю новинку на рынке пишущих принадлежностей, — которые продавались в универмаге Gimbels в Нью-Йорке. Домохозяйки продолжали покупать консервированное мясо SPAM компании Hormel — по привычке, приобретенной в годы войны. В конце концов, из этих консервов было легко приготовить вкусное блюдо на завтрак, обед и ужин[83].

В Америке потребление стало образом жизни; а в Британии туберкулез уносил стариков. Британцы почти ничего не экспортировали, кроме шотландского виски и льняного полотна в Америку, почти ничего не производили, почти ничего не покупали — ни британские «форды», ни даже крошечные дешевые автомобили «Моррис Минор». Компании «Даймлер», «Остин», «Роллс Ройс» выпускали автомобили, собранные фактически вручную (Черчилль предпочитал «Хамбер»), но они были не по карману большинству британцев. В то время британцам почти все было не по карману. В 1949 году «Форд» выпустил более 1,1 миллиона машин; «Моррис Минор» выпустил всего 250 тысяч с 1948 по 1953 год. В Лондоне не было пробок, поскольку очень немногие лондонцы имели машины, а те, кто имели, редко пользовались машиной из-за дефицита и дороговизны бензина. Британцы сидели дома и, как они это делали десятилетиями, развлекались с помощью граммофонов и радиоприемников.

В Америки росли потребительские расходы, а британцы сгребали тлеющие угли в каминах и натягивали второй свитер. Большинство людей даже не могли поплакаться друг другу по телефону, потому что у 90 процентов британцев его не было.

В январе 1947 года на заседании Комитета по охране исторических объектов Национального фонда Гарольд Николсон сидел завернувшись в пальто, поскольку помещение не отапливалось. С электричеством тоже были проблемы; правительство Эттли ввело отключение электроэнергии с 21:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Зима была одной из самых суровых в истории. Ее «самые сокрушительные удары пришлись на Великобританию», позже написал Дин Ачесон; на остров регулярно обрушивались снежные бури, 6 миллионов человек остались без работы, продовольственный паек стал меньше, чем во время войны[84].

«Уныние царило на разрушенных бомбардировками улицах Лондона и провинциальных городов, — вспоминал Джок Колвилл о тех зимних месяцах. — Лондон был мрачным, и жизнь была безрадостной». К тому времени Колвилл стал личным секретарем наследной принцессы Елизаветы, которой недавно исполнился 21 год. Он занял эту должность неохотно, под давлением Черчилля, объяснившего, что это его долг. Миллионы продуктовых посылок прибывали из Соединенных Штатов и стран Содружества, включая несколько тысяч, приходивших в Букингемский дворец. Принцесса Елизавета организовала группу, в которую вошли более ста женщин-добровольцев; они занимались сортировкой, упаковкой и рассылкой продуктов в магазины и дома по всей стране. В тот год даже члены королевской семьи приобретали одежду по талонам. Елизавета купила на талоны ткань для свадебного платья, в котором в ноябре она венчалась в Вестминстерском аббатстве с Филиппом Маунтбеттеном, ее дальним родственником (и племянником Дики Маунтбеттена). Из-за тяжелого финансового положения правительство Эттли сократило импорт продуктов питания и товаров первой необходимости и даже зашло так далеко, что ввело 75-процентный налог на импортируемые в Англию голливудские фильмы. Голливуд ответил эмбарго на ввоз фильмов в Великобританию. Англия превратилась в бледную луну, которую затмило палящее солнце Соединенных Штатов. «Боже мой, — написал Николсон в дневнике в конце 1947 года, — что только не пришлось вынести несчастным жителям этой страны за последние семь лет». Ткань выдавали по талонам до 1949 года. А нормирование продуктов продолжалось еще в течение семи лет. Теперь лондонцы жили в густом желтом тумане — смоге, ядовитом, зловонном дыме от сотен тысяч каминов, которые топили битуминозным каменным углем и каменноугольным газом. Днем было почти так же темно, как ночью. Британцы называли это «суровой экономией», но условия не сильно отличались от тех, которые американцы узнали во время Великой депрессии[85].

30 ноября 1947 года Колвилл, после праздничного обеда в семье Черчилль по случаю 73-летия Старика, написал в дневнике: «Уинстон в мрачном настроении; он убежден, что страну ждут страшнейшие экономические потрясения». Битва за Атлантику, заявил Черчилль, «ерунда по сравнению с этим». Проживи Франклин Рузвельт всего на несколько лет дольше, он бы увидел, как полностью воплотилось его стратегическое видение имперской Британии и ее роли в мире. Соединенное Королевство превратилось в должника, а размеры империи, учитывая, что в 1948 году из ее состава вышли Бирма, Цейлон и Индия, значительно сократились. Король Георг остался королем, но был вынужден убрать титул «император» из королевских документов.

«Никогда в жизни он [Черчилль] не испытывал такого отчаяния», — написал Колвилл. Он во всем винил правительство, чья «ненасытная жажда власти могла сравниться только с неизлечимым бессилием ее осуществления». Колвилл черпал мужество в черчиллевских «фразах и эпиграммах, которые тот произносил в большом количестве, как раньше», но им недоставало «той упрямой надежды и уверенности, которые отличали премьер-министра 1940—1941 годов». Черчилль возлагал ответственность за страдания на Эттли. Однажды, выпивая с Чипсом Ченноном в «Клариджe», Черчилль сказал об Эттли: «Его, конечно, можно уважать, но восхищаться — нет»[86].

В палате общин Черчилль регулярно и все яростнее выражал недовольство правительством Эттли. Он заявил британцам, что неумелое руководство и бесхозяйственность правительства явилось причиной ослабления империи. Он высказал свое мнение и в отношении дальнейшей необходимости нормирования продовольствия: «То, что не смогли сделать немецкие подводные лодки, сделали наши заблудшие соотечественники с помощью своей некомпетентности и высокомерия, со своими сотнями чиновников, тысячами инструкций и полным неумением руководить делами, большими и маленькими». В период с 1945 по 1950 год как минимум семнадцать раз он использовал в своих выступлениях сочетание слов «социализм» и «утопия», часто для верности добавляя слова «ничтожный», «нелепый», «убогий», «воображаемый». Всякий раз он напоминал слушателям, что был преданным сторонником Ллойда Джорджа, когда великий валлиец в начале века провел реформу социальной сферы. Для этого требовалась сообразительность; и Уинстон Черчилль — лидер Консервативной партии — отстаивал философские основы социальных программ лейбористов. Он возражал против неумелой реализации программ, а не против самих программ. В июле 1946 года он сказал британцам (а спустя три года повторил почти то же самое студентам Массачусетского технологического института): «Прошло 38 лет с тех пор, как я впервые ввел систему страхования по безработице, и 22 года с тех пор, как я, консерватор, будучи министром финансов, добился назначения пенсий

вдовам военнослужащих и сокращения пенсионного возраста с 70 до 65 лет. Сейчас мы движемся к другой грандиозной системе социального страхования, которая зародилась, несмотря на тяготы войны, в парламенте с огромным преимуществом консерваторов. Основной принцип политики консерваторов, юнионистов, тори — не важно, как их называть, — защита населения от злоупотребления монополий и от ограничения торговли и предпринимательства, независимо от того, что является источником этого зла, частные компании, пагубные планы догматического правительства или некомпетентность и произвол государственных департаментов[87].

Позже в том году он использовал фразу, которую сказал в марте 1945 года на панихиде по Ллойд Джорджу: «Мы не хотим необдуманно разрушать общественный строй, мы хотим установить перила на лестнице жизни, чтобы беспомощные и глупые люди не сорвались в бездну. Как Консервативная, так и Либеральная партия сделали существенный вклад в то, чтобы обеспечить минимальные стандарты уровня жизни и труда. Я тоже принимал в этом участие». Он действительно в этом участвовал, когда сорок лет назад «перебежал» в Либеральную партию. В конце 1940-х — спустя много лет после «перебежки» обратно к консерваторам — он был одним из немногих консерваторов, который мог честно сказать, что с самого начала поддерживал социальные реформы, хотя сидел в то время на скамье оппозиции[88].

«В Чартвелле Уинстон счастлив, — написал Моран в дневнике в 1946 году, — по крайней мере настолько, насколько он может быть счастлив, когда в мире все идет неправильно». С 1946 по конец 1951 года Черчилль мог только наблюдать со скамьи оппозиции, как британских коней и британские ладьи — Индию и Бирму, влияние в Египте и Палестине — сметают с шахматной доски[89].

В начале мая 1946 года Эттли объявил о намерении правительства вывести все британские войска из Египта, включая зону Суэцкого канала. Черчилль не мог согласиться с такой политикой, заявив в палате 24 мая: «Я утверждаю, что невозможно удерживать его [канал] открытым, не имея в зоне канала британского личного состава. Можно сомневаться относительно наших способностей удерживать его в век военно-воздушных сил, даже имея в этой зоне гарнизоны и истребители. Но в любом случае у нас нет шансов удержать его открытым, не имея там личного состава». Черчилля особенно раздражал тот факт, что Британия была должна Египту 400 миллионов фунтов за услуги, оказанные во время войны, когда, как сказал Черчилль палате, египетские солдаты не сражались, и это Египет «должен нам за то, что во время двух мировых катаклизмов Великобритания защищала его, и не только силами этого острова. Австралийцы, новозеландцы и южноафриканцы проливали свою кровь за то, чтобы Каир и Александрия не были разорены и разрушены, измучены и порабощены орда-

ми итальянцев и немцев». Эттли, чтобы защитить Суэц, предложил использовать 100 тысяч британских солдат, которые на тот момент находились в Палестине, оттуда они могли при необходимости отреагировать на кризисную ситуацию в Суэце. Но охранять канал войсками, располагавшимися за 300 миль, Черчиллю казалось нелепым. К тому же британские войска в Палестине были легкой добычей для сионистских террористов[90].

1 августа, когда в палате общин продолжались обсуждения ситуации на Суэцком канале и в Палестине, а в Индии назревала гражданская война, Черчилль обратился с чем-то вроде прощального послания к Британской империи: «Критически осмотритесь вокруг; в конце концов, у нас есть право обозревать весь мир. Мы утверждаем, что готовы отказаться от могущественной империи и континентальной Индии вместе со всей работой, проделанной нами в течение последних двухсот лет, отказаться от территории, над которой мы обладаем неоспоримым суверенитетом. Правительство, вероятно, готово позволить 400 миллионам индийцев узнать весь ужас кровопролитной гражданской войны, в сравнении с которой все, что может случиться в Палестине, покажется пустяком, войной слонов в сравнении с войной мышей. Мы отдадим независимость Индии во враждебные и немощные руки, не думая о кровавой бойне и смятении, которые за этим последуют. Мы торопимся убежать из Египта, который мы уже дважды успешно защищали от погрома и разграбления иностранными государствами. Мы отказываемся от него»[91].

Весь мир, считал Черчилль, а не только Британская империя балансирует на грани смертельных испытаний. Спустя неделю после этого выступления Черчилль, завтракая с Клементиной и лордом Мораном, предсказал следующую войну. «Вы имеете в виду, через восемь или десять лет?» — спросил Моран. «Раньше, — ответил Черчилль. — Через семь-восемь лет. Меня уже не будет». По его мнению, предстояло решающее сражение Англии, Бельгии, Франции и Скандинавии против русских. «Мы не должны ждать, пока Россия подготовится, — заявил Черчилль. — Я думаю, через восемь лет у нее будут эти [атомные] бомбы. — Он улыбнулся. — В Америке знают, что 52 процента русской автомобильной промышленности сосредоточено в Москве и ее можно уничтожить одной-единственной бомбой. — Он снова улыбнулся. — Русское правительство как католическая церковь: народ не ставит под сомнение его авторитет»[92].

Осенью 1946 года Эттли решил оставить британские войска в зоне Канала. Их присутствие возмущало как египтян, так и палестинских арабов (и многих сионистов). Споры о Палестине продолжались до 1947 года, когда в марте Черчилль сказал в палате: «100 тысяч англичан сейчас вдали от дома трудятся на благо бессмысленной подлой войны с евреями, чтобы отдать Палестину арабам или бог знает кому

еще. Сегодня в порядке вещей «удирать» отовсюду — из Египта, Индии, Бирмы. Единственное, что мы стараемся сохранить любой ценой: право на насмешки и ненависть мира из-за Палестины»[93].

Если британцы в Палестине не смогут заставить арабов и евреев заключить соглашение, Черчилль советовал Эттли передать британский мандат в Палестине, который обходился Лондону в 80 миллионов фунтов ежегодно, Соединенным Штатам, которые, являясь величайшей мировой державой, по мнению Черчилля, унаследовали подобные обязательства, но еще не потратили ни доллара на Палестину и не отправили туда ни одного батальона. Если не Соединенным Штатам, сказал Черчилль, то тогда передать мандат Организации Объединенных Наций, которая была создана для таких целей. Черчилль считал, что таким образом Британия сможет выполнить свое обещание создать государство для евреев, обещание, которое она уже не могла выполнить самостоятельно. Он также предложил перебросить войска из Палестины в Индию, где уже началось кровопролитие, о котором он давно предупреждал. В январе 1947 года Черчилль сказал в палате, что британским солдатам нет никакого смысла оставаться в Палестине только из-за того, что лейбористское правительство считает, будто их уход «приведет к ужасному конфликту между евреями и арабами». При этом в Индии собираются «оставить индийцев, чтобы они сами решали свои проблемы». Черчилль назвал свою речь «Кровь и позор»[94].

29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций приняла план раздела Палестины на два государства, евреев и арабов. Палестинские арабы отвергли план ООН*.

Еврейское государство — Израиль — провозгласило независимость 14 мая 1948 года. На следующий день три арабские армии — из Иордании, Сирии и Египта — вторглись на территорию Государства Израиль. Черчилль считал, что арабская коалиция развалится, как только встретится с израильскими войсками. Так и случилось. Спустя восемь месяцев, 26 января 1949 года, когда Британия еще не признала новое государство Израиль, Черчилль, выступая в палате, подверг резкой критике действия правительства Эттли на Ближнем Востоке с 1946 года: «Правительству потребовался год с моего призыва покинуть Палестину, если у них нет плана, чтобы принять решение уйти. Они приняли это решение год спустя, когда все стало намного сложнее. Отличные возможности были упущены. Они приняли решение таким образом, что оказались не в состоянии оказать совершенно законное давление на Америку, заставив ее выйти из тени и прийти на помощь,

* С 1921 года арабское и еврейское население Палестины называло себя «палестинцами»; термин «палестинский арабский народ» появился в 1960-х годах. (*Примеч. авт.*)

а теперь, когда появился он [Израиль], именно Англия отказывается его признавать, и, из-за наших действий, мы считаемся его заклятыми врагами».

Нравится это или нет, сказал Черчилль палате, государственность Израиля явилась «событием мировой истории, которое будет рассматриваться в перспективе не поколения или века, а одного, двух или даже трех тысячелетий». Затем он бросил шокирующее обвинение в адрес министра иностранных дел Эрнеста Бевина, который преданно служил Черчиллю на протяжении всей войны: «Все это происходит не только по причине косности ума и отсутствия хватки у министров, но еще, боюсь, из-за сильной и очевидной склонности к предвзятости и предрассудкам со стороны министра иностранных дел. У меня нет особой уверенности, что он не испытывает предубеждения против евреев в Палестине. Уверен, он думал, что Лига арабских государств сильнее и что она победит, если вспыхнет войны, но я ни на секунду не допускаю, что он хотел спровоцировать войну... однако политика, которую он проводит, неизбежно и направленно вела к пробе сил, а результат, думаю, оказался прямо противоположным тому, который он ожидал»[95].

Абсолютно несправедливое замечание. Бевин, в качестве министра иностранных дел, проводил внешнею политику в значительной степени в соответствии с черчиллевской философией силы через союз с Америкой. На Ближнем Востоке были неудачи, но ненамеренные, и, уж конечно, не из-за антисемитизма со стороны Бевина. Но Черчилль, свободный от ограничений коалиции, исполнял свою роль лидера оппозиции истово, а иногда и со злобой. Сдержанность никогда не входила в число добродетелей Черчилля.

В Египте и Палестине британцы лишились авторитета. В Азии они лишались всего. В марте 1947 года Черчилль потребовал у Эттли объяснений, на основании какого мандата будет служить новый (и последний) вице-король Индии, лорд Луи Маунтбеттен. У него было четырнадцать месяцев на то, чтобы договориться с временным правительством Джавахарлала Неру об условиях вывода британских сил из Индии. Но не было сказано, как именно это сделать, в чем пойти на компромисс, особенно в вопросе отделения мусульманского Пакистана от индуистской Индии. Черчилль сказал палате: «[Временное] правительство господина Неру — полная катастрофа... 30 из 40 тысяч людей были убиты в войне двух мировых религий... Не думаю, что за отведенные четырнадцать месяцев новому вице-королю представится удачная возможность. Мы не знаем, какие ему были даны указания... Нам почти ничего не объясняют. Какую политику он должен проводить, какую должен преследовать цель, как он должен распорядиться этими четырнадцатью месяцами? Должен ли он попытаться восстановить позиции, или это просто очередная операция «бегство», на вы-

полнение которой брошены он и другие высокопоставленные должностные лица?»[96]

«Разве не покроется позором, — спросил он у палаты, — наше имя и память, если по истечении четырнадцати месяцев мы позволим пятой части населения мира, которое занимает территорию размером почти с Европу, погрузиться в хаос и кровопролитие?» 15 августа 1947 года — Неру назвал эту дату «встреча с судьбой» — Индия и Пакистан обрели независимость. В ближайшие месяцы более 7 миллионов индусов сбежали из Пакистана в Индию и примерно столько же мусульман сбежали из Индии в Пакистан. По меньшей мере 500 тысяч индусов и мусульман было убито в одном только Пенджабе. Черчилль заявил палате, что ответственность за это лежит на социалистическом правительстве. В конце октября Индия и Пакистан начали войну за Кашмир. 30 января 1948 года индусский экстремист убил Мохандаса Ганди, который разделял взгляды Черчилля на объединенную Индию и отмену кастовой системы[97].

С окончания войны Черчилль советовал Эттли и Бевину достигнуть соглашения с Бирмой, пока она не вышла из состава империи (это произошло 4 января 1948 года, когда Бирма вышла из состава Британской империи и Содружества, став независимой республикой). Черчилль заявил в палате: «Мои серьезные предупреждения насчет Бирмы тоже оправдались. Мы оставили Бирму, и теперь она стала иностранным государством. Уже сейчас она погружается в пучину убийств и беззакония, в результате чего, вероятно, появится коммунистическая республика». В Малайе дела обстояли не лучше; в 1948 году одиннадцать малайских штатов перешли под британский протекторат. Там, по словам Черчилля, «коммунизм своими длинными руками, не встретив препятствий со стороны беспомощной администрации Британии, начал операцию по убийству британских плантаторов и их жен, как необходимую составляющую нашего изгнания». Черчилль неоднократно называл международную политику Эттли (в Египте, Палестине, Индии, Малайе и Бирме) бегством от проблем, которое в итоге приводило к потере чести и жизни невинных людей. «В какой бы угол мира вы ни заглянули, — сказал Черчилль палате общин в июне 1948 года, — вы увидите, как ужасно пострадали имя и репутация Британии, когда британская нация опозорилась в момент своей величайшей победы»[98].

В начале 1948 года западные союзники прекратили демонтаж немецких заводов и их отправку в Россию. В конце февраля Коммунистическая партия Чехословакии захватила власть, действуя по приказу Москвы и при поддержке Красной армии. Спустя три месяца Эдуард Бенеш подал в отставку вместо того, чтобы предотвратить захват власти и возможность гражданской войны. Он бы не получил

военной поддержки Запада, который опять, как в дни Мюнхена, был бессилен повлиять на события в Центральной Европе. 17 апреля новый американский посол в Британии, Льюис Лью Дуглас, доложил Государственному департаменту, что Черчилль сказал ему: «Время немедленно заявить русским, что если они не уйдут из Берлина и Восточной Германии, отступив к польским границам, мы разрушим до основания их города». Спустя неделю, выступая на конференции женщин-консерваторов, Черчилль сказал[99]: «У них [чехов] действительно тяжелая судьба. Только они освободились от тирании гитлеровских гауляйтеров, как, подобно Польше, оказались в подчинении у советских предателей... Я слышал, как люди говорят о советской агрессии и интригах: «Есть предел, который нельзя переходить». Это, несомненно, распространенное убеждение. Но мы не должны обманывать себя. В Европе никогда не будет устойчивого мира, пока в Центральной и Восточной Европе азиатский империализм и коммунистическое правление»[100].

Но как избавиться от «власти коммунистов», если не силой?

Спустя десять недель, 24 июня, русские заблокировали дороги и железнодорожные пути вокруг Берлина. Британии и Соединенным Штатам, чтобы доставить продовольствие и топливо в зоны оккупации, пришлось отправить тысячи С-54 и С-47 — которые раньше сбрасывали парашютный десант во Франции — воздушными коридорами в Берлин. С июня 1948 по май 1949 года все продукты для берлинцев и все топливо, необходимое для обогрева их домов, — суточная потребность более 4500 тонн продовольствия и топлива — доставлялись воздушным флотом Соединенных Штатов и Королевскими военно-воздушными силами, совершившими в общей сложности более 200 тысяч полетов. Решение, быть или не быть войне, оставалось за русскими. Если бы они сбили британский или американский самолет в воздушном коридоре, даже случайно, началась бы война. Если бы Красная армия вошла в союзнические секторы Берлина, началась бы войне. Демонстрируя решимость, Соединенные Штаты направили эскадрильи «Летающих крепостей» в Восточную Англию. За ними последовали В-29. Они несли атомное оружие. Присутствие воздушного флота в Британии не прошло незамеченным, и в ответ Москва объявила, что советские военно-воздушные силы проведут военные учения над Берлином. «В городе начинается паника, — написал Гарольд Николсон в дневнике, — кажется, это будет решающая схватка за мировое господство». И добавил: «Варвары у ворот»[101].

Осенью 1948 года Бертран Рассел шокировал либералов по обе стороны Атлантики, заявив: «Нам надо начать войну с Россией, пока у нас есть атомная бомба, а у них нет». Это «мы», конечно, относилось к Америке, поскольку у Британии не было атомной бомбы. Николсон считал, что русские готовятся к «решающей схватке за господство над

миром», которая приведет к «разрушению Западной Европы» и «борьбе с американцами не на жизнь, а на смерть». Но упреждающий удар он считал «злом», даже если это закончится «веками Pax Americana»*.

Он считал, что есть слабая надежда, что «опасность может миновать, и в мире установится покой и порядок». Надо воспользоваться этой ничтожной возможностью, написал Николсон в дневнике. «Лучше погибнуть из-за чужого преступления... чем выжить, сознательно совершив преступление»[102].

С другой стороны земного шара другая страна, оккупированная русскими и американцами, неуверенно двигалась в направлении гражданской войны: Корея, аннексированная в 1910 году Японией с согласия Лондона и Вашингтона. В течение тридцати пяти лет корейцы были фактически рабами японцев. В свете решения ООН об установлении опеки Корея была разделена по 38-й параллели на две зоны: северную заняли русские, а южную — американцы. В 1948 году Сталин вывел свои войска. Было принято решение о проведении выборов под наблюдением Соединенных Штатов. Жители Северной Кореи отказались голосовать. Вместо этого в начале сентября 1948 года коммунисты в Северной Корее, с благословения Сталина, объявили о создании Корейской Народно-Демократической Республики. Обе Кореи, Северная и Южная, претендовали на контроль над всем полуостровом.

В апреле 1949 года пошел десятый месяц советской блокады Берлина и угрозы войны. 4 апреля президент Трумэн подписал Североатлантический договор, дополненный и расширенный вариант Брюссельского пакта 1948 года, согласно которому Британия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург «объединили свои усилия с целью создания коллективной обороны и сохранения мира и безопасности» — против сталинской Красной армии. Но без Америки Брюссельский пакт был только номинальной защитой. Росчерком пера Трумэн создал НАТО, в состав которого вошли, помимо Америки, Канада, Дания, Норвегия, Португалия, Исландия и Италия. Договаривающиеся стороны согласились с тем, что «вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и... каждая из них... окажет помощь... путем немедленного осуществления индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, вклю-

* Pax Americana (Американский мир) — период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в западных странах после окончания Второй мировой войны и окончательного размежевания сфер влияния США и СССР, ставшего центром Pax Sovietica (*лат.* Советский мир). Эти две новые державы, установившие биполярный мир, были своего рода аналогами Древней Римской империи во времена своей стабильности — Pax Romana. США, в частности, были явным преемником бывшего могущества во многом идентичного Pax Britannica.

чая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона». Однако прошло более двух лет, прежде чем был назван первый главнокомандующий объединенными силами НАТО: Дуайт Эйзенхауэр, который приступил к работе по созданию командной структуры. Когда в 1952 году Гастингс Исмей — 1-й барон Исмей — был назначен первым генеральным секретарем НАТО, он заявил, что цель НАТО — «удерживать русских снаружи, американцев внутри, а немцев внизу». Это заявление — учитывая, что удерживание Красных было решенным вопросом в Америке и Британии, — определило правильный политический курс, но Черчилль считал тогда и считал в конце войны, что помогать Британии и Франции против Красной армии должна возрожденная и вооруженная Германия[103].

В 1949 году угрозу представляла Россия, а не Германия. Если бы война началась, то центром событий стал Берлин. В конце марта, за несколько дней до того, как Трумэн подписал Североатлантический договор, Черчилль, обедая в Нью-Йорке у Генри Люса, сказал присутствующим: «На мой взгляд, очевидно, что какое-то время назад Европа была бы коммунизирована, а Лондон подвергся бомбардировке, если бы не сдерживающий фактор — американская атомная бомба». Лучший способ справиться с Советским Союзом, сказал Черчилль, «иметь превосходящие силы на своей стороне, и чтобы они будут уверены, что вы используете — и вы, не раздумывая, используете — эти силы, при необходимости, самым безжалостным образом». 1 апреля New York Herald Tribune вышла под заголовком: «ЧЕРЧИЛЛЬ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТОЛЬКО АТОМНАЯ БОМБА УДЕРЖИВАЕТ РОССИЮ ОТ ВОЙНЫ». На самом деле реальным сдерживающим фактором могло стать одно лишь обещание *использовать* атомную бомбу, если Россия развяжет войну. Черчилль посоветовал Трумэну сделать такое заявление. Возвращаясь домой на борту лайнера «Королева Мария», Черчилль с удовлетворением узнал, что Трумэн последовал его совету, сказав репортерам, что готов «не мешкая» использовать ядерное оружие, если на кону будет мир и безопасность демократии в любой точке мира[104].

Если Политбюро и думало о развязывании войны, то ядерные последствия для Москвы заставляли забыть об этих намерениях. Москва могла блокировать Берлин, но не могла захватить его, не подвергнувшись уничтожению. 12 мая, через шесть недель после появления на мировой арене, благодаря Трумэну, НАТО, Сталин с Политбюро сняли блокаду и сдали позиции. Джок Колвилл верил в справедливость старой поговорки:

> На каждый вопрос есть четкий ответ:
> У нас есть «Максим», у них его нет.

Но это продолжалось недолго. Уже через три месяца, 29 августа 1949 года, Советский Союз испытал первую ядерную бомбу, и мир стал еще более опасным местом[105].

А в начале октября опасность усилилась, когда в оккупированной русскими восточной части Германии коммунистическая партия — при содействии и поддержке Сталина и Красной армии — объявила о создании Германской Демократической Республики, известной на Западе в течение ближайших сорока лет как Восточная Германия. Это было марионеточное полицейское государство, ни демократическое, ни республиканское.

И на Дальнем Востоке коммунистическая угроза собрала силу обратно пропорционально потерям империй Франции, Нидерландов и Британии. Когда в апреле 1949 года артиллерия коммунистов подвергла обстрелу британские канонерские лодки на реке Янцзы; по всей Азии на стенах висели фотографии подбитых кораблей. 1 октября Мао Цзэдун объявил о создании Китайской Народной Республики, после того как заставил бежать Чан Кайши с 2 миллионами гоминьдановцев на Тайвань. Самая кровавая война в современной истории, унесшая жизни более 3 миллионов военных и не менее 12 миллионов гражданских, длилась двадцать два года, с перерывом на японо-китайскую война и Вторую мировую войну, которые оказались еще более убийственными для китайцев. В начале года, когда китайские коммунисты добились преимущества, Черчилль не смог удержаться от критики в адрес Франклина Рузвельта во время выступления в Нью-Йорке: «Я был очень удивлен, когда, приехав сюда после Пёрл-Харбора, узнал мнение о Китае, преобладавшее на высоком уровне, даже в высших сферах. Некоторые считали, что вклад Китая в победу в войне равносилен вкладу всей Британской империи. Что ж, меня это крайне удивило. И ничто из того, что я узнал впоследствии, не заставило меня думать, что мое удивление было безосновательным»[106].

Теперь два старых союзника, Китай и Россия, были объявленными врагами капиталистического Запада. «Мы выиграем холодную войну?» — спросили Черчилля в Нью-Йорке. У него не было ответа на этот вопрос. Он видел угрозу в Европе и на Дальнем Востоке. Все было неопределенно. Однако по крайней мере в одном Черчилль был уверен — он верил, что является тем человеком, который станет во главе Британии в эти опасные времена, и что рано или поздно ему представится такая возможность.

Черчилль рассматривал безопасность Британии с точки зрения концепции «трех геополитических кругов», каждое из которых было самостоятельным элементом, но перекрывалось другими. И все вместе обеспечивали безопасность и почетный мир, достойный жертв британцев и европейцев в прошлой войне. В июне 1950 года Черчилль

сказал в палате общин: «Во-первых, есть империя и Содружество; во-вторых, братство англоговорящего мира; в-третьих, не по статусу или значимости, а по очередности возрождение единой Европы — существенный фактор, необходимый для сохранения того, что осталось от цивилизации и культуры свободного мира». По поводу сомнений многих лейбористов Бивена — и Энтони Идена, — не разделявших взгляды Черчилля на единую Европу, он сказал: «Учитывая наше центральное положение в империи и Содружестве, а также братский союз с Соединенными Штатами в англоговорящем мире, мы не можем быть полноправными членами в федеральной системе Европы». Намного позже в палате общин ему понадобилось всего восемь слов, чтобы обозначить свою позицию в отношении континентальных европейцев и их пути к единству: «Мы с ними, но не одни из них»[107].

Требовалась определенная политическая ловкость, чтобы занять такую, казалось бы, противоречивую позицию: Британия в некотором отношении (Черчилль не уточнял, в каком именно) будет в единой Европе, но *не полностью*, что было равносильно заявлению, что Британия некоторым образом будет «вне» единой Европы. Действительно, с того времени правительство Британии придерживается именно такой политики. И хотя в течение многих лет Черчилль выражал веру в единую Европу, он никогда не останавливался на подробностях формы деятельности Европейского парламента. Это была стратегия в духе подхода Франклина Рузвельта к решению сложных вопросов — как можно меньше подробностей, — чем обычный прямолинейный подход Черчилля к решению любых вопросов, как значительных, так и мелких. Спор тори и лейбористов о роли Британии, если таковая имеется, в Европейском союзе, написал Гарольд Макмиллан, свелся к вопросу «Единой Европы» с Британией, на свободной основе сотрудничества; «Единой Европы» без Британии. Степень британского участия в Европейском парламенте будет зависеть от того, станет ли он «функциональным» органом, с широкими полномочиями в строго определенных сферах (например, производство угля, производство стали, пошлины), или он будет действовать как правительственный орган на основе европейской конституции. Макмиллан считал, что первая структура едва ли приведет к нарушению суверенитета со стороны стран-членов, а вторая может, в зависимости от того, какими политическими, экономическими и военными полномочиями наделила конституция центральное правительство[108].

В течение двух десятилетий Черчилль подходил к созданию Европейского союза так же, как играл в поло, — удар, быстрый прорыв, с помощью длинной передачи мяча через все поле, а затем позволить событиям развиваться своим чередом. Аналогичным образом, не вдаваясь в подробности, он в течение двадцати лет продвигал идею создания союза с Соединенными Штатами. Несмотря на языковую и

историческую связь между Лондоном и Вашингтоном, несмотря на мечту Черчилля о единой валюте (доллар—стерлинг) и его надежды на политические и экономические связи, которые были бы больше, чем «договоренности», Черчилль знал, что Британия никогда не будет «в» Соединенных Штатах. Но НАТО втащило Соединенные Штаты «в» Европу и обещало безопасность, хотя в 1950 году ее командная структура — политическая и экономическая — еще не была определена. Укрепление отношений Британии с Соединенными Штатами и развитие более тесных отношений с континентальной Европой являлись первостепенными задачами Черчилля. «Наличие серьезной советской и коммунистической угрозы, — сказал он в палате в 1950 году, — только усиливает ее [единой Европы] значение и актуальность. С этим, полагаю, согласятся все в палате. Никто не может утверждать, что, действуя и чувствуя подобным образом, мы наносим ущерб интересам Британской империи и Содружества. Всем известно, что их интересы стоят у нас на первом месте»[109].

К безопасности, которую могли обеспечить его три взаимосвязанных круга, можно было добавить безопасность, которую обеспечивала ООН, но, хотя Черчилль отводил ООН центральную роль в международных делах, у него были сомнения относительно эффективности этой организации. В 1949 году на Брюссельской конференции по вопросу европейского единства он заявил: «Есть существенные недостатки в структуре ООН, которые необходимо исправить, если мы собираемся двигаться дальше. Во время войны я всегда считал, что система международной безопасности должна основываться на региональных структурах... В результате высший орган завален и запутан множеством вопросов, больших и маленьких... Бессмысленно строить купол храма мира без столбов, на которых он может стоять».

Для Черчилля Европа — во главе с Британией, Францией и в будущем Германией — должна была стать самой мощной колонной и самой большой региональной организацией на планете. Обращая внимание на то, что множество государств Восточной Европы не смогли отправить на конференцию своих представителей, Черчилль добавил: «На них надето ярмо кремлевской олигархии, и они стали жертвами самой изощренной и беспощадной тирании в истории»[110].

В период с 1946 по 1951 год черчиллевская единственная внутриполитическая цель состояла в том, чтобы подталкивать, заставлять и резко критиковать действия правительства Эттли в экономической сфере. В 1948 году он сказал в палате: «Мы пребываем под гнетом страшного заблуждения. Социализм — философия несостоятельности, кредо невежества и евангелие зависти. Если мы не освободим нашу страну от извращенных доктрин социализма, не может быть никакой надежды на восстановление». Он произносил эти слова в разных вариациях раз за разом, в палате общин, на учредительных собраниях и

встречах консерваторов. Во время одной из таких встреч в Бленхеймском дворце он следующим образом озвучил свою позицию в отношении лейбористов: «С тех пор [с 1939 года] мы столкнулись с двумя бедствиями: Второй мировой войной и первым социалистическим правительством. Приложив максимальные усилия, мы справились с первым бедствием. Сегодня перед нами стоит вопрос: «Как нам избавиться от второй?» Лейбористы «растратили» сначала американский заем, 4 миллиарда долларов, а затем щедрые поступления по Плану Маршалла, и в результате «мы теперь зависим от дальнейшей американской щедрости и кое-как сводим концы с концами, используя остатки зарубежных инвестиций и активов, накопленных при капиталистической системы в прежние годы». Из уважения к королю и стране он смягчал критику, когда выступал за границей, но дома не стеснялся в выражениях[111].

Самой беспощадно-хлесткой критике он подвергал своего давнего заклятого политического врага Эньюрина Бивена. В июле 1948 года, выступая перед избирателями Вудфорда по случаю начала действия Национальной службы здравоохранения, Черчилль сказал: «Можно было подумать, что человек, который был только обузой в наших военных усилиях в штормовые годы и который получил высокую должность в дни победы, попытается перевернуть страницу и искупить свое прошлое... Мы называем его министром здравоохранения, но не должны ли мы называть его «министром заболевания», если рассматривать патологическую ненависть как проявление психического расстройства, нравственную болезнь, причем в очень заразной форме? На самом деле я не знаю лучшего способа ознаменовать открытие Национальной службы здравоохранения, как включить в число первых пациентов человека, который явно нуждается в помощи психиатров. У меня нет сомнений, что лучшие представители медицинской профессии согласятся, что продолжительный период уединения и полное освобождение от любых ответственных должностей пойдет на пользу и господину Бивену, и Национальной службе здравоохранения»[112].

Черчилль был в отличной форме, и меньше всего он задумывался о том, чтобы вести себя по-джентльменски. Его речи печатались в газетах и обсуждались в пабах по всей стране. В тяжелые времена смех приносил облегчение, был необходимым лекарством. И Черчилль регулярно поставлял большие дозы этого лекарства. Коллеги Эттли по Лейбористской партии изъяснялись канцелярским языком. Черчилль — нет. Он обращался к простому человеку и, что важнее, умел, когда требовалось, говорить *как* простой человек.

С середины 1945 до начала 1950 года Черчилль произнес более двухсот речей, многие были довольно длинными. Он диктовал, шлифовал и произносил каждое из 400 тысяч слов своих обращений, — их

хватило бы на 1000-страничный том, — которые отправлял в бой с социализмом, на защиту империи, в поддержку единой Европы. Удивительное достижение, учитывая, что в те годы он писал мемуары и выполнял обязанности в качестве лидера «теневого кабинета».

Такая плодотворная деятельность была следствием его удивительной способности распоряжаться временем, сокращая время на сон и тем самым увеличивая продолжительность рабочего времени. Он проводил выходные в Чартвелле, приезжал в четверг вечером и уезжал в Лондон во вторник утром. В Чартвелле завтрак начинался после девяти утра или еще позже, если Черчилль заканчивал диктовать ближе к утру, что случалось довольно часто. Затем он желал доброй ночи — или доброго утра — машинисткам, и они отправлялись с напечатанными за день листами на такси в типографию в Лондон, чтобы в середине дня Великий человек мог получить гранки. Он завтракал в постели, в одиночестве. Как-то он сказал одному из гостивших в Чартвелле, что они с Клементиной «два или три раза за 40 лет совместной жизни пробовали завтракать вместе, но это оказалось так неприятно, что пришлось прекратить». За завтраком следовала ванна и прогулка по Чартвеллу. После обеда машинистки, работавшие в дневную смену, приходили из своих комнат в деревне и собирались в библиотеке, где ждали, пока Черчилль, одетый уже в темно-синий костюм с жилетом, с золотыми часами на цепочке, в своем кабинете на втором этаже просмотрит гранки и соберется с мыслями. Когда он был готов диктовать, то по системе внутренней связи вызывал машинисток из библиотеки[113].

Для машинисток начинался ужас, как только они садились за бесшумные пишущие машинки, которые не были такими уж бесшумными. Заведенный порядок поддерживался уже четверть века, и за это время львиный рык не стал слабее. Черчилль диктовал по три, четыре, иногда пять вариантов своих речей. Билл Дикин и Денис Келли обеспечивали его статистическими данными и расшифровками стенограмм выступлений лейбористов, бюджетной и банковской информацией и данными о диспозиции войск. Работа бурлила. Опечатки машинисток вызывали вздохи и гневные упреки. Вездесущий граммофон только ухудшал ситуацию. «Вы просто печатаете и отдаете ему текст, и иногда он взрывается, а иногда только хмурится», — вспоминала Сесилия Геммел. Чаще всего машинистки спотыкались на иностранных именах. Однажды, глянув на работу мисс Геммел, Черчилль рявкнул: «Вы не написали правильно ни одного слова из пятидесяти». Он использовал специальные шифры, известные только ему для обозначения разделов своих выступлений — к примеру, «Р-1» для внутренней политики, «Н-3» для международной политики. Он указывал машинисткам, где ставить эти отметки. Наконец наступал «торжественный момент», когда Черчилль объявлял: «Сейчас буду стучать».

«Стучал» дыроколом; он не использовал канцелярские скрепки. Страницы складывали, нумеровали, пробивали и наконец сшивали тонкой лентой. Джейн Портал*, однажды совершила смертный грех, перепутав порядок страниц, и Черчилль обнаружил это только во время выступления.

Она была уверена, что ей больше никогда не поручат это дело. Спустя несколько дней потребовалось сшивать следующую речь, и мисс Портал была удивлена и тронута почти до слез, когда Черчилль сказал: «Пусть это сделает Портал». «Понимаете, — вспоминала она спустя годы, — он сказал: «Я прощаю тебя, я тебе доверяю». Незначительный момент, но он много значил для меня. Он так часто поступал с людьми»[114].

Он быстро переходил от смеха к раздражительности. В 1949 году в команде появился человек по имени Джордж Крист (по-английски писалось Christ, как имя Сына Божьего, Христа), в обязанности которого входило обеспечивать официальными документами, из которых Черчилль выбирал наиболее яркие места для включения в свои речи и мемуары. Черчилль произносил его фамилию как имя Спасителя и любил говорить машинисткам «позовите к телефону Христа» или «немедленно приведите Христа». В такие моменты пауза и поднятая черчиллевская бровь служили сигналом для машинисток, что можно без стеснения смеяться. Они легко могли заплакать, как часто делал он сам, диктуя куски текста, которые задевали его за живое. «Я имею в виду, что я плакала и он плакал, — вспоминала Джейн Портал, — и все время, пока он диктовал своим чудесным голосом, а я изо всех сил стучала по клавишам, мы оба рыдали»[115].

Его щедрость была столь же очевидной, как его раздражительность, юмор и слезы. Он приказал держать открытыми ворота Чартвелла на тот случай, если кому-нибудь из соседей захочется зайти. Многие заходили. В первые послевоенные суровые зимы в прихожей было много старых курток, пальто, перчаток и ботинок, которые раздавались нуждающимся. Нуждающихся было много. Он всегда старался оплатить долги Рэндольфа, хотя не раскрывал сыну условия чартвеллского договора. Он обеспечивал Памелу после развода. Лорд Моран не был состоятельным человеком, и Черчилль настоял на том, чтобы помочь ему, и заключил договор с женой Морана сроком на семь лет, который приносил ей в год сумму, эквивалентную современным 20 тысячам долларов, не облагаемую налогом. Геммел вспоминала о поездке на скачки (машинистка всегда сопровождала Черчилля, куда бы он ни направлялся), когда Черчилль сказал, что не нуждается в ее услугах в ближайшие несколько часов. Он отослал ее и водителя, приказав хорошо отдохнуть и ждать его у машины в на-

* Леди Джейн Уильямс была племянницей Р.А. (Рэба) Батлера и маршала авиации сэра Чарльза Портала, 1-го виконта Хангерфордского. (*Примеч. авт.*)

значенное время. Когда они возвращались домой, Старик протянул ей программу скачек, в которой было обведено несколько лошадей. Он объявил, что они победили и что он поставил за нее по фунту на каждую из этих лошадей. «Ну, посчитай, сколько ты выиграла», — приказал он. Но Геммел запуталась в вычислениях. «Он очень рассердился, что я не сумела справиться с цифрами, — вспоминала она, — и сказал, что я выиграла 20 фунтов, а это очень много». Мисс Геммел пришло в голову, что Старик на самом деле не делал никаких ставок, а «просто в машине вдруг подумал: бедная девочка, скажу ей, что поставил на лошадей за нее, попрошу посчитать, сколько она выиграла, и отдам ей деньги; это будет красиво». Когда план сорвался, Черчилль сунул ей в руку 20-фунтовую купюру[116].

Но один черчиллевский поступок имел для мисс Геммел особое значение. «Я отвечала за принадлежности для занятий живописью, — вспоминала она. — По вторникам, перед возвращением в Лондон, он вызывал меня наверх. «Мисс, очистите палитры, вымойте кисти и проверьте, достаточно ли красок». И я отвечала: «Да, сэр». Мыть кисти в скипидаре было «отвратительным занятием», но она выполняла свои обязанности, заказывала новые краски, убирала в студии, готовила ее к возвращению хозяина. Она была тронута, когда однажды он позвал ее в студию и вручил одну из своих картин, «сильно приукрашенный портрет» — ее портрет[117].

Помимо написания мемуаров и речей он ежедневно сталкивался с горой писем со всего мира, от самых разных людей, от знаменитых до самых обычных. Он не всегда сам писал ответы на эти послания, хотя, читая их, часто плакал. Мисс Геммел было поручено составлять ответы и давать ему на подпись. Одно такое письмо, написанное Геммел, должно было уйти в компанию Massey Ferguson, которая прислала Черчиллю автоматическую машину для уборки урожая. Мисс Геммел написала такое длинное и витиеватое послание с благодарностями, что Черчилль заметил: «Боже, мисс, на этот раз вы действительно перестарались. Это просто сельскохозяйственная техника». За такими приятными моментами неизбежно следовали, скорее раньше, чем позже, вспышки гнева, связанные с секретарскими ошибками того или иного рода. И так каждый день до вечера, когда персонал отправлялся в деревню на ужин, а Черчилль садился за стол с семьей и друзьями, приезжавшими в гости. Лорд Моран был постоянным гостем. Джейн Портал заметила, что он делает карандашные записи на белоснежных манжетах своей рубашки, чтобы как можно точнее повторить черчиллевские высказывания в книге, которую он собирался писать. Затем, где-то после девяти или десяти вечера, вернувшись из деревни, машинистки опять собирались в библиотеке и ждали, как утром, когда Черчилль будет готов приступить к работе. Около полуночи он отправлялся в спальню со стаканом бренди и сигарой и опять вызывал

машинисток, чтобы работать до глубокой ночи или раннего утра. Он увеличивал день за счет сна, оставляя время на кормление золотых рыбок и стравливание лебедей с гусями на нижних озерах[118].

30 ноября 1949 года Черчиллю исполнилось 75 лет. «Я готов к встрече с Создателем, — сказал он в тот день друзьям. — А готов ли Создатель к встрече со мной — это уже другой вопрос». Вообще-то ни один из них не был готов к этой встрече. В 1874 году, в год рождения Черчилля, выдающийся лидер консерваторов Бенджамин Дизраэли назвал выдающегося лидера лейбористов Уильяма Гладстона — которого недавно сменил в качестве премьер-министра — «иссякшим вулканом». Но Гладстон, которому тогда было 64 года, отнюдь не иссяк и еще трижды занимал этот высокий пост до выхода в отставку в 1894 году в восьмидесятичетырехлетнем возрасте. Лорд Рэндольф Черчилль смеялся над Гладстоном, называя его «суетливым стариком». Но Рэндольф умер молодым, в 45 лет, и прожил недостаточно долго, чтобы понять трюизмы, известные старикам. С наступлением нового десятилетия — и второй половины XX века — Уинстон Черчилль понял, что пожилому человеку стоит поторопиться, если он хочет чего-то достигнуть за оставшееся ему время. В начале января Time назвал его «человеком первой половины века». Первая половина века принесла Европе и миру череду потрясений и катастроф, написали редакторы, и Черчилль предлагал решения — терпел поражения — в составе британского правительства и выйдя из него. «То, что в 1950 году сохранился свободный мир, с надеждой на развитие и уменьшение количества бед, во многом заслуга Черчилля». Зная, что в скором времени в Британии возможно состоятся всеобщие выборы, Time предсказал, что Черчилль «будет сражаться на них — как во всех своих великих битвах — за свободу. Черчилль любит свободу»[119].

Не все на Западном побережье Атлантики разделяли чувства Люса. Джеймс Рестон, один из ведущих политических обозревателей New York Times, позже написал в Times об обеде, на котором присутствовал Черчилль во время посещения Америки в 1949 году. «Он [Черчилль] оказался довольным толстым... У него был землистый цвет лица... Он попросил стакан томатного сока, и я подумал, что это событие достойно освещения в печати, но, как выяснилось, я поторопился, поскольку, когда гостей обносили бренди, он пожаловался, что его занимают разговорами, не оставляя времени на выпивку». Рестон подумал, что Черчилль «фыркает и пришепетывает больше обычного, но, возможно, из-за того, что был трезвым». Когда Черчилль ушел, «слегка обиженный и напряженный», доктор Говард Раш сказал: «Господи, помоги ему». Я подумал, что его [Черчилля] дни в политике сочтены». Рестон — для друзей Скотти — родился в Шотландии и испытывал врожденное недоверие к англичанам. Что до заката по-

литической карьеры Черчилля, то на этот раз Рестон, отличавшийся прозорливостью, ошибся[120].

Черчилль собирался провести первые несколько недель 1950 года в отеле Reid's на Мадейре, вместе с Клементиной и Дианой. Черчилля сопровождали два секретаря и Билл Дикин; Черчилль планировал совместить приятное с полезным. Но в начале января Эттли назначил всеобщие выборы на 23 февраля. Черчилль запаковал вещи и вернулся в Чартвелл, чтобы заняться планированием кампании консерваторов. Клементина задержалась на Мадейре еще на несколько дней, а затем вернулась на Хайд-парк-Гейт, 28, где 19 января получила письмо от мужа: «После возвращения я не думаю ни о чем, кроме политики». Он проводил долгие дни в Чартвелле, разрабатывая с ведущими консерваторами манифест. Проблема, сказал он Клементине, «не что *делать*», а «что *сказать* нашему бедному, запутавшемуся народу». Он отметил, что, согласно опросам Института Гэллапа, отрыв между тори и лейбористами сократился с девяти до трех пунктов, но что четыреста либеральных кандидатов (которые только оттягивали голоса и, предполагалось, не могли занять много мест) в любом случае повлияют на окончательный результат. «Невозможно определить, сколько мест «отберут» у нас либералы». Он считал, что либералы могут рассчитывать «самое большее» на семь мест. Он закончил письмо словами: «Я очень переживаю за страну, поскольку, кто бы ни победил, не будет ничего, кроме горечи и вражды, так, словно мужчины свирепо дерутся на маленьком плоту, который вот-вот развалится. Храни вас всех Господь!»[121]

С наступлением нового десятилетия его артерии еще больше уплотнились и он начал терять слух. Его отоларинголог сказал, что скоро он не сможет слышать «чириканье птиц и тонкие детские голоса». Его трость была уже не модным аксессуаром, а необходимой вещью. До начала избирательной кампании Черчилль вызвал своего врача, лорда Морана. Все неожиданно «делается нечетким», сказал он Морану, все неожиданно «затуманилось», и спросил: «У меня опять будет удар?» Моран попытался успокоить его, предположив, что это, скорее всего, «спазмы сосудов» вследствие сильной усталости. Пациент, пристально посмотрев на Морана, сказал: «Не пугайте меня». Но Моран сам был напуган, когда написал в дневнике: «Мрачное начало испытаний, которые ждут во время всеобщих выборов»[122].

Рой Дженкинс, в то время самый молодой член парламента, позже написал, что Черчилль спокойнее проводил кампанию, чем в 1945 году. Он уже не упоминал социалистическое гестапо. И хотя обвинял партию лейбористов и ее клику интеллектуалов с их программами национализации, но более сдержанно, чем прежде. Что касается внешней политики, то Черчилль в целом был согласен с Эттли и Бивеном, которые выступали за тесные связи с Соединенными Штатами, пере-

вооружение Германии и политику сдерживания в отношении Советского Союза. Проигнорировав совет доктора не совершать агитационные поездки по стране, Черчилль объехал весь остров, выступив одиннадцать раз в городах и поселках, включая Кардифф, Манчестер, Эдинбург, Лидс, и трижды в своем избирательном округе Вудфорд. Выборы были семейным делом: Дункан Сэндис, Кристофер Сомс и Рэндольф выставили свои кандидатуры, и Старик агитировал за них. Он использовал юмор и метафоры, высмеивая лейбористов, и полностью отказался от злобных выпадов в их адрес. Во время этой кампании он придумал термин «очередитопия». 8 февраля в Кардиффе он довел бессмысленный жаргон лейбористов до абсурда: «Надеюсь, вы все овладели официальным жаргоном социалистов, которому наши специалисты, как они себя называют, хотят научить нас. Вы не должны использовать слова «нищие»; их надо называть «малообеспеченной частью населения». Когда речь заходит о замораживании заработной платы рабочего, министр финансов говорит о «приостановке роста личных доходов»... Есть еще замечательное слово, «жилая ячейка», которое в будущем должно заменить слово «дом». Даже не представляю, как мы будем петь нашу старинную песню Home Sweet Home («Дом, милый дом»). *«Жилая ячейка, милая жилая ячейка, нет второго такого места, как наша жилая ячейка».* Надеюсь, я доживу до того времени, когда наша британская демократия откажется от этого бреда[123].

14 февраля в Эдинбурге он сказал, что «одним резким движением британский народ может сбросить всю мишуру социалистического жаргона и злобы, разбив их вдребезги о землю». 17 февраля в Лондоне в радиообращении к соотечественникам он опять посоветовал освободиться от социалистической мишуры движением плеч и предупредил, что второй такой возможности им может не представиться. Затем он рассказал притчу об испанском узнике, который «много лет просидел в темнице... Однажды ему пришло в голову толкнуть дверь своей камеры. Она отворилась. Дверь его тюрьмы всегда была открыта. Он вышел на свободу, на яркий дневной свет»[124].

В Лидсе он предупредил: «Помните о том, что, будучи социалистом, премьер-министр стремится создать социалистическое государство и господин Эттли со своей партией одиноки в англоговорящем мире. Соединенные Штаты, стоящие сегодня во главе мира, категорически отвергают социалистическую доктрину. Канада отвергает ее... Помните и о том, что в Европе нет социалистического правительства вне «железного занавеса» и Скандинавии. Мне кажется, нам предлагают пройти по очень опасному пути, и пройти его в одиночку среди свободных западных демократий»[125].

В Эдинбурге Черчилль сделал самое важное за кампанию заявление относительно международной политики. Он не только ввел в обращение термин «встреча в верхах», но и обрисовал свои представле-

ния, которые лягут в основу его взаимоотношений с Америкой и Россией до конца его политической карьеры. Для начала он предупредил: «Советский коммунистический мир обладает самой значительной военной мощью, но у Соединенных Штатов есть атомная бомба; а теперь стало известно, что у них есть в тысячу раз более ужасное воплощение этой страшной силы». Хотя Соединенные Штаты утратили монополию на ядерное оружие, в их арсенале огромное количество бомб. «В конечном счете я считаю, что превосходство [в количестве] атомных бомб... у Америки на сегодня является самой верной гарантией мира на земле». И продолжил: «Но я не могу не возвращаться к мысли о проведении еще одних переговоров с Советской Россией на высшем уровне. Мне кажется, очень важно попытаться построить мост через пропасть, разделяющую два мира, но так, чтобы каждый мог жить своей жизнью, если не в дружбе, то хотя бы без ненависти холодной войны. Вам стоит внимательно запоминать мои слова, потому что я нередко оказывался прав. Сложно представить, как переговоры на высшем уровне могут ухудшить ситуацию, если такое вообще возможно. Но тут я ничего не могу утверждать»[126].

Он вернулся к этой теме спустя несколько дней, во время выступления по радио в Лондоне: «Только договоренность крупнейших держав можно защитить простой народ от разрушительной войны с использованием атомных и водородных бомб и ужаса последствий применения бактериологического оружия. Сердце и разум не позволяют мне отказаться от этой надежды». Он впервые упомянул о «водородных бомбах». В Эдинбурге говорил только об оружии «в тысячу раз» более мощном, чем атомные бомбы. Действительно, водородная бомба гораздо мощнее атомной бомбы. Одна могла уничтожить города, другая — цивилизацию. Пять лет назад он считал атомную бомбу всего лишь самой большой бомбой. Не более. Американцы испытают водородную бомбу через два года, но уже в начале 1950 года Черчилль — первый из мировых лидеров — понял, что следует воздержаться от использования этого чудовищного оружия. В этом вопросе Черчилль руководствовался своим живым воображением, а не холодной логикой. Он уже однажды видел, как горел Лондон; сейчас он закрывал глаза и видел в огне всю страну, весь мир. Вывод был очевиден: мировую войну можно развязать, но в ней нельзя победить[127].

В день выборов, 23 февраля, Черчилль сказал нескольким близким друзьям-консерваторам, что он заглянет в Savoy позже вечером и закажет выпивку для всех, если предварительные результаты будут обнадеживающими. Он не появился, а вместо этого заперся на Гайд-парк-Гейт и слушал, как Би-би-си объявляет предварительные результаты в крупных городах. Лейбористы удерживали позиции. Поздно утром 24 февраля результаты по городу и стране показывали небольшой перевес в пользу тори. Но этого было недостаточно. Того значитель-

ного перевеса, как в 1945 году, лейбористы не получили, это был невероятный поворот, своего рода поражение, но Эттли и его правительство выжили, с трудом. В итоге лейбористы получили 315 мест (13 миллионов 331 тысяча голосов); консерваторы 298 мест (12 миллионов 415 тысяч голосов) и либералы 9 мест (в основном в Уэльсе, 2 миллиона 679 тысяч голосов). Таким образом, лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте с перевесом в шесть мест. Черчилль, Кристофер Сомс и Дункан Сэндис набрали необходимое количество голосов, в отличие от Рэндольфа, которого избиратели отвергли четвертый раз подряд. В каком-то смысле лейбористы проиграли на этих выборах — и, конечно, лишились мандата, — но и консерваторы с Черчиллем не победили.

Черчиллю было 75 лет. Он жаловался врачу на скованность в плечевом поясе и боялся еще одного удара. Время теперь работало против него. Но кое в чем оно ему помогало. Беспорядок в руководстве партии лейбористов, любое внутреннее разногласие по вопросам бюджета, банковских операций и обороны, могло привести к вотуму недоверия. В Америке Черчиллю пришлось бы ждать четыре года, чтобы предпринять очередную попытку взобраться на вершину, но в Британии, особенно при Эттли в тот год, следующие выборы могли быть назначены через несколько месяцев. Хотя Энтони Иден, Рэб Батлер, Гарольд Макмиллан стремились занять более высокое положение в партии (и в конечном счете в руководстве партии), Черчиллю было гарантировано положение лидера партии. Под его руководством консерваторы вернули себе 85 мест из потерянных в 1945 году, а лейбористы потеряли 78 мест. Тем тори, которые в 1945 году хотели, чтобы Черчилль ушел на покой, теперь предстояло занять выжидающую позицию. Они не могли свергнуть человека, который вел их за собой, в военное и мирное время. Черчилль, хотя и был разочарован результатами выборов, не утратил самообладания. Он верил, что его день настанет. Он вернулся в Чартвелл, чтобы продолжить работу над мемуарами — осталось всего два тома. Кроме того, он готовился к новому парламенту и предстоящим схваткам. Вскоре после выборов, как-то поздно вечером, работая над мемуарами, он внезапно перестал диктовать и сказал Джейн Портал: «Я знаю, что снова буду премьер-министром. Я знаю это»[128].

Только один член семьи не был разочарован результатами выборов: Клементина. Чартвелл был ее тихой гаванью; в списке гостей были дети, внуки и старые друзья. В 1945 году она считала, что Уинстону следует отойти от дел. И ее мнение с тех пор не изменилось. Страдающая невритом, стрептококковой инфекцией и приступами люмбаго, она была готова к спокойной, уединенной жизни в Чартвелле. Но этому не суждено было сбыться.

6 марта новый парламент традиционного открылся с тронной речи, обращения короля к палате лордов и палате общин. На следующий день, 7 марта, в первый день дебатов Черчилль ясно дал понять, что собирается продолжить нападки на социалистический эксперимент: «О чем можно говорить, если большинство избирателей, 1 миллион 750 тысяч, проголосовали против движения к социалистическому государству и, в частности, против национализации сталелитейной и других отраслей промышленности, над которыми нависла эта угроза. Таким образом, у правительства нет мандата». Он предложил потратить на обсуждение этих важных вопросов «две ближайшие недели или около того». Далее приводится расшифровка стенограммы заседания палаты:

«Г-н Г. Моррисон [спикер палаты] выразил несогласие.

Г-н Черчилль. От парламента понадобится нечто большее, чем покачивание головой лорда-председателя, чтобы убедить нас, что нашими желаниями можно пренебречь. Я настаиваю на проведении прений по важному вопросу»[129].

В ближайшие двадцать месяцев он не прекращал нападки на правительство. Дебаты (и ответы на вопросы) в палате общин проходят намного оживленнее, чем заседания в сенате или палате представителей конгресса Соединенных Штатов, где зачитываются длинные и зачастую скучные доклады (нередко в пустом зале), и перебивать докладчика считается нарушением правил хорошего тона. В британской палате общин часто можно услышать выкрики «Ерунда!» и «Чушь!». Смех — фырканье и хихиканье — часто используемое оружие. Члены парламента бормочут и шуршат бумагами, демонстрируя недовольство словами оппонента (или бормочут и шуршат бумагами в знак согласия с коллегами по партии). Черчилль пришел вести борьбу. Его политический противник Эньюрин Бивен так описывал действия Черчилля в палате: «Он вступал в бой подобно огромному орудию». Его оппоненты понимали, когда Черчилль давал залп[130].

Однажды члены парламента от Лейбористской партии освистали Черчилля, когда он выходил из палаты; он повернулся и послал им воздушные поцелуи. Ни одна колкость не оставалась без ответа. Когда Черчилль бичевал лейбористов за налоговое бремя, которое приходилось нести британцам, один из лейбористов крикнул: «Почему бы вам не продать свою лошадь?» Черчилль посмотрел на него и ответил: «У меня было огромное желание продать лошадь, но я изо всех сил *борюсь с корыстолюбивыми побуждениями*». Вызовом были кивки в знак несогласия, иронический смех, фырканье. Когда член парламента пробормотал «Вздор!» на какое-то заявление Черчилля, Старик ответил: «Возможно, именно это в голове достопочтенного ученого мужа, но звучит неубедительно». Когда парламентарий выкрикнул «Чепуха!» после заявления Черчилля, что Чехословакия стала марионеткой Москвы, Черчилль отвечал: «Похоже, у достопочтенного

джентльмена голова забита чепухой». Когда его прервали во время спора о геополитических намерениях Москвы, Черчилль ответил: «Полагаю, коммунисты и сочувствующие неплохо устроились в этой палате». Это было провокационное заявление, которое не сделал бы даже сенатор от Висконсина, Джозеф Маккарти, во время обсуждения проблемы в сенате Соединенных Штатов. Но резкие, ироничные ответы Черчилля не вызывали возмущение, поскольку всем было известно, что ему не свойственны лукавство и обман. Кроме того, как написал член парламента, тори граф Винтертон (в 1950 году он был старейшим членом палаты общин), Черчилль хорошо улавливал настроение палаты: «Уинстон Черчилль впитал ее дух и традиции; он знаком со всеми ее разнообразными настроениями... он инстинктивно понимает, что она примет, а что не примет». В британской палате общин заседали люди с живым и сметливым умом, и спустя почти пятьдесят лет Уинстон Черчилль оставался одним из самых находчивых и сообразительных. Где-то в то время Винтертон назвал его «величайшим из ныне здравствующих парламентариев»[131].

Другой его коллега, сэр Алан Герберт, независимый депутат, представлявший Оксфордский университет, назвал Черчилля «величайшим из ныне живущих юмористов Британии». Читая лекции на тему юмора, Герберт цитировал одних и тех же: П.Г. Вудхауза, Ноэля Кауарда, Ната Габбинса, даже Эньюрина Бивена. Но на первое место Герберт ставил Уинстона Черчилля, который «в любое время и при любых обстоятельствах, в любом окружении, на любую тему, с неизменным вкусом и тактом мог при желании вызвать смех»[132].

С этим были согласны не все. Рой Дженкинс считал, что шутки Черчилля были порой «не... умными... и злыми» из-за его враждебного отношения к левым интеллектуалам. Черчилль ошибочно считал, что все лидеры лейбористов были выпускниками Винчестерского университета, по его мнению, рассадника казуистики, которой грешили некоторые интеллектуалы, что до крайности раздражало его. Действительно, Хью Гейтскелл и Стаффорд Криппс, лидеры лейбористов, учились в Винчестере. В результате, как написал Дженкинс, Черчилль отпускал «постоянные, не слишком остроумные антивинчестерские шутки в палате». Он действительно шутил на эту тему, но что смешно одному, не смешно другому. В ответ на требование лейбористов Черчилль сказал: «Мы страдаем от заблуждений, *deus ex machina*, что, поясню для воспитанников Винчестерского колледжа, если они здесь присутствуют, означает «бог из машины». По другому случаю, он заметил: «Не знаю, обучают ли их в Винчестере французскому». И 27 июня 1950 года, во время прений по поводу участия Британии в Европейском объединении угля и стали, Черчилль бросил: «В ходе дискуссии мы услышали знакомые слова об «инфраструктуре наднациональной власти». Первоначальное авторство неизвестно, но вполь-

не вероятно, что эти слова с «инфра» и «над» вошли в нашу политическую речь благодаря группе умников, которые стремятся произвести впечатление на британский рабочий класс, подчеркивая, что в Винчестере изучали латынь». На самом деле «инфраструктура» самое обычное слово, имеет латинские корни и заимствовано из французского языка, но Черчилль никогда не упускал возможности высмеять своих политических противников[133].

Что касается «наднациональной власти», то речь шла о плане Шумана, предложенном 9 мая французским министром иностранных дел Робертом Шуманом, который призвал европейские страны объединиться в сообщество для снижения тарифов и совместного использования ресурсов, — начать с угля и стали, — с тем чтобы вернуть конкурентоспособность на международном рынке и, самое главное, устранить монополизацию ресурсов, которая неизбежно приводила к европейским войнам. Шуман предложил провести переговоры в Париже. Правительство Эттли отказалось от участия, решение, которое Черчилль назвал «подлой позицией в такое напряженное время». Он говорил не о безоговорочном принятии плана Шумана, а о готовности его обсудить. Он добавил, что, если бы его спросили, согласился бы он «на надгосударственный руководящий орган, который может сказать Великобритании прекратить добычу угля или производство стали, а вместо этого заняться выращиванием помидоров», он бы без колебаний ответил: «Нет». Он сказал, что был против «государственной собственности и управления (или, как показала практика, неспособности управлять) промышленностью». Он указал на то, что предложение Шумана не затрагивало частный сектор промышленности, добавив: «Мы не видим причин, почему проблемы британской сталелитейной промышленности не должны обсуждаться вместе с проблемами сталелитейной промышленности других европейских стран».

Он подчеркнул безусловное достоинство плана: он свяжет Францию и Германию взаимовыгодным сотрудничеством. Это «действенный шаг», сказал Черчилль на встрече шотландских профсоюзных деятелей, для того чтобы «предотвратить очередную войну между Францией и Германией и наконец положить конец тысячелетней вражде галлов и тевтонцев. Сейчас Франция проявила инициативу, превысив мои ожидания». 27 июня во время дебатов в палате общин он сказал, что ради наступления этого дня Британия отказалась сдаваться в 1940 году: «Мы целый год в одиночку сражались против тирании, и не только из национальных интересов... Не только во имя нашей страны, но и во имя всего мира. Юнион-джек не опускался в 1940 году... Консервативная и Либеральная партии утверждают, что государственный суверенитет не является неприкосновенным и что его можно ослабить ради всех людей по всему миру, которые вместе ищут путь домой».

Он предсказал последствия отказа Эттли от участия в переговорах по плану Шумана: «Отсутствие Британии нарушит европейский баланс. Я целиком поддерживаю примирение Франции и Германии и возвращение Германии в европейскую семью, но это означает, как я всегда подчеркивал, что Британия и Франция должны действовать сообща, чтобы на равных взаимодействовать с Германией, которая гораздо сильнее Франции. Без Британии в Западно-Европейском объединении угля и стали будет, естественно, доминировать Германия, как самый могущественный член объединения»[134].

Эттли упорствовал; он не собирался отправлять министров в Париж. Шуман провел заседания без британцев. Почти через год, в апреле 1951 года, Франция, Италия, Западная Германия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды подписали Парижский договор, создав Европейское объединение угля и стали. Шесть стран взяли на себя обязательства создать «общий рынок» стали и угля. Это был первый шаг на пути к Европейскому экономическому сообществу и, в конечном итоге, к Европейскому союзу. Теперь 9 мая — день, когда Шуман обнародовал свое предложение в Национальной ассамблее, — ежегодно отмечается государствами—членами Европейского союза как День Европы. Процесс воплощения идеи Шумана в Европейский союз — длинная и увлекательная история, но эта история не о Черчилле. События, происходившие в другой части земного шара на той июньской неделе 1950 года, оказали влияние на взгляды Черчилля и последние годы его карьеры.

25 июня холодная война стала горячей. В этот день 230-тысячная армия Северной Кореи, при поддержке более 250 русских танков Т-34 (лучших танков в мире) и такого же количества единиц тяжелой артиллерии, перешла демаркационную линию вдоль 38-й параллели и вторглась в Южную Корею. Армия Северной Кореи имела более чем двукратный численный перевес. У Южной Кореи не было танков. 27 июня, в тот день, когда в палате общин обсуждался план Шумана, Организация Объединенных Наций приняла Резолюцию Совета Безопасности № 83, призывая все государства — члены ООН оказать военную помощь Южной Корее. Москва, в течение шести месяцев бойкотировавшая заседания Совета Безопасности, не принимала участия в голосовании. На следующий день правительство Южной Кореи бежало из Сеула. За четыре недели северные корейцы заперли армию Южной Кореи и американскую 8-ю армию в юго-восточной части Корейского полуострова, у Пусана. Учитывая, что Северная Корея была сателлитом Советского Союза, Черчилль и Запад осознавали, что существует реальная возможность нападения Москвы на Европу, пока внимание США приковано к Корее. Случись такое, Европа к западу от «железного занавеса» была фактически беззащитна.

За ночь европеизм Черчилля стал намного более узконаправленным. Проблемы стали и угля могли подождать. На повестке дня остался один-единственный вопрос: создание объединенных вооруженных сил в Европе. По той же причине его атлантистское видение тоже стало более узконаправленным: Америку, оставившую Европу в 1945 году, следовало вернуть на европейскую сцену, со значительными силами.

В июне 1950 года Североатлантический договор 1949 года не подкреплялся ничем, кроме бумаги, на которой был напечатан. В 1945 году более 2,8 миллиона американских солдат и почти 300 тысяч летчиков служили в Европе. К 1946 году 90 процентов тех и других отправились домой. К середине 1950-х в Европе осталось всего 80 тысяч американских солдат и 20 тысяч летчиков.

В конце июля, основываясь на цифрах, предоставленных правительством Эттли, Черчилль обрисовал палате ситуацию в Европе. У русских на вооружении 40 тысяч танков; неизвестно, сколько из них в Европе, но у Сталина нет причин держать танки к востоку от Урала. У Америки и Британии примерно по 6 тысяч танков; американские танки в Америке, за исключением пары сотен в Европе. У русских по крайней мере 175 дивизий, в том числе 25 или более бронетанковых дивизий, в то время как французы, американцы и британцы имеют в общей сложности десять дивизий, включая две бронетанковые. Москва позволила Восточной Германии создать силы обороны численностью 50 тысяч человек, хотя Красная армия выделила более чем достаточно солдат для защиты Восточной Германии. Так обстояли дела на земле[135].

Что касается воздуха, то в британском правительстве, похоже, никто не знал, сколько самолетов у Советского Союза, возможно порядка 19 тысяч. Сколько из них базировалось в радиусе действия Британии? Этого тоже никто не знал. Черчилль был возмущен решением правительства Эттли продать 100 истребителей Аргентине, которая претендовала на суверенитет над Фолклендскими островами, и 110 самолетов Египту, который закрыл Суэцкий канал для прохода израильских судов. Какие британские воздушные силы имеются в наличии, спросил Черчилль, чтобы защитить американские бомбардировщики в Восточной Англии? Советский Союз имеет всего 50 атомных бомб, сказал Черчилль, и, если Москва несколько бомб сбросит на Великобританию, «это будет неприятно». Русские забрали всю документацию из Пенемюнде, напомнил Черчилль палате, и теперь вполне могут нанести удар по Британии ракетами, оснащенными обычными боеголовками. А на воде — или, скорее, под водой — угроза со стороны советских подводных лодок «более серьезная, чем была со стороны немецких подводных лодок в 1939 и 1940 годах». Учитывая надвигающуюся смертельную угрозу с востока и неготовность Британии защитить себя, ситуация в Европе начинает напоминать ситуацию в

середине 1930-х годов. Голос Черчилля снова, как в 1930-х, был «гласом вопиющего в пустыне». Он предупредил палату, что если Советский Союз бросит против Запада только половину своих сил, то в численном отношении русские превзойдут Запад в восемь раз. И добавил: «Если правительство его величества не может оспорить представленные мной факты, то готовность Западного союза к обороне находится на значительно более низком уровне, чем у Южной Кореи»[136].

С Фултона надежды Черчилля на всеобщий мир были связаны со сдерживающей силой атомной бомбы. Теперь американцы разместили 180 «атомных бомбардировщиков» в Восточной Англии. Москва знала об этом, поскольку Эттли сообщил эту информацию палате общин. Но Черчилль хотел — требовал, — чтобы у британцев была своя атомная бомба. В течение четырех лет он настаивал, чтобы правительство Эттли сообщало о ходе работ (если таковые велись) по созданию британской атомной бомбы, и все четыре года Эттли упорно молчал. Его правительство на самом деле работало над созданием атомной бомбы, по той же причине, что и Черчилль: для обеспечения суверенитета Британии. Эттли, как и Черчилль, не хотел, чтобы внешняя политика и оборона Британии стали заложниками прихотей и желаний Государственного департамента Соединенных Штатов или Белого дома. Эттли был прав, отказываясь обсуждать планы, связанные с разработкой ядерного оружия: Черчилль возглавлял оппозицию, а не правительство его величества. Некоторые в Британии считали, что четырнадцать загадочных человек в Кремле не вынашивают никаких коварных планов в отношении Западной Европы по той простой причине, что Москва при желании могла безнаказанно захватить Западную Европу, но, поскольку она этого не сделала, следовательно, и не собиралась. Эта замысловатая логика приводила Черчилля в ярость. У него была совершенно четкая позиция, и он неоднократно излагал ее с 1945 года, в том числе когда несколько месяцев назад гостил в Нью-Йорке: «У меня нет никаких сомнений на тот счет, что Европа была бы коммунизирована, а Лондон давно подвергся бомбардировке, если бы не сдерживающий фактор в виде атомной бомбы у Соединенных Штатов. Я твердо в этом убежден, и именно это определяет сегодняшнюю ситуацию». Что касается веры в благие намерения Сталина, то исходя из опыта общения с Гитлером, который слишком часто заверял, что больше не имеет территориальных притязаний, Черчилль сказал: «Обжегшись на молоке, дуешь и на воду»[137].

В июле, вскоре после вторжения северных корейцев на юг и имея в виду необходимость перевооружения и создания британской атомной бомбы, он сказал, выступая в Плимуте: «Четырнадцать человек в Кремле не плывут по течению. Они все просчитывают и планируют. Они проводят политику, цель которой нам ясна, но мы не можем предсказать, как и когда они создадут мировое коммунистическое

правительство». Он сказал лондонцам: «Сегодня нам, политикам, приходится с большой осторожностью проявлять интерес к военным делам или давать понять, что мы накопили некоторые знания и опыт в этой области, иначе в ходе предвыборной агитации нас назовут поджигателями войны». На самом деле лейбористы и многие журналисты уже давно навесили на него этот ярлык. Но в том, что касалось вооружения Запада (за исключением атомной бомбы), он был прав. У Франции, которая в 1940 году отправила против Гитлера 140 дивизий, теперь было меньше 10 дивизий. Британия с трудом смогла бы собрать одну бригаду, чтобы отправить ее в Корею в помощь американцам. Гарольд Макмиллан написал в дневнике: «Похоже, чтобы собрать 3 тысячи солдат и вооружение для отправки в Корею, потребуется два месяца!.. Что они сделали с военной техникой? Такое ощущение, что они выбросили ее в море»[138].

27 июля Черчилль предложил провести закрытую сессию — «Я заметил чужих», — чтобы обсудить ход работ над атомной бомбой. Его предложение не прошло, перевес был всего в один голос: 295 против 296. Но Черчилль упорно гнул свою линию, и недалек был тот день, когда лейбористы начнут сдавать позиции, теряя голоса. И наступит момент, когда Эттли придется назначить всеобщие выборы. Теперь, критикуя правительство Эттли, Черчилль практически всегда использовал словосочетание «плохое управление»: «плохое управление в решении жилищного вопроса», «плохое управление внутренними делами страны»; «плохое управление нашими силами обороны»[139].

Его речи — и фразы, используемые в них, — напоминали речи прошлого: «Мы не должны отчаиваться. Мы не должны сдаваться, — говорил он в палате. — Наши научно-технические возможности не имеют себе равных. У нас есть время, чтобы восстановить и развить огромную скрытую мощь Британии, окруженной Содружеством. Но я предупреждаю палату, что в 1950 и 1951 годах нам предстоит столкнуться с величайшими опасностями, как десять лет назад». На следующий день Гарольд Николсон написал в дневнике, что «мрачные предсказания Уинстона произвели шокирующее впечатление на общественность... Мы в состоянии слепого и немого ужаса»[140].

На следующей неделе, в начале августа, в Страсбурге состоялось второе заседание Консультативной ассамблеи Совета Европы. «Консультативная» было ключевым словом, определяющим ее значение: предложения, принятые ассамблеей, были необязательны для правительств стран-участниц. Шуман представил свой план. На заседании присутствовал Поль Рейно, теперь министр обороны Франции. Немцы прислали две группы; одна состояла из социалистов, другая из членов консервативного Христианско-демократического союза, лидер которого, Конрад Аденауэр, в 1949 году был избран первым канцлером Федеративной Республики Германия — Западной Германии. В

Страсбург приехали британские социалисты во главе с Хью Далтоном; от консерваторов присутствовали Данкан Сэндис, Гарольд Макмиллан и Уинстон Черчилль. 11 августа Черчилль обратился к ассамблее. Он приветствовал немцев и призвал создать «настоящий оборонительный фронт в Европе», континентальную армию, состоящую из «значительных сил» американцев, британцев, французов, греков, итальянцев, Скандинавских стран и Нидерландов. Он забыл упомянуть немцев, но его намерения были понятны. Предстоят уступки и жертвы, предупредил он, а затем произнес слова, созвучные словам, которые через десять лет произнесет в инаугурационной речи молодой американский президент: «Те, кто служат великой цели, должны думать не о том, что получат, а о том, что могут дать»*.

Заканчивая выступление, он призвал «немедленно создать единую европейскую армию под надлежащим европейским демократическим контролем, действующую в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами и Канадой»[141].

Макмиллан нашел эту речь мастерской, исполненной силы, с долей юмора, все к месту. «Это было больше похоже на радиопередачу, чем на речь, — написал он в дневнике. — Но проблема в том, что радиопередачи Уинстона Спенсера Черчилля являются речами». Выступив с этим предложением, Черчилль поставил на кон свою репутацию. Поражение могло положить конец его долгому крестовому походу за федеральную организацию Европы, и, безусловно, поставить крест на идее коллективной европейской безопасности. Он не вдавался в подробности насчет командования и управления этой европейской армией, зная, что подробности могут разрушить весь план. Французы с опаской относились к немцам. Немцы боялись перевооружения, считая, что любая немецкая армия будет достаточно велика, чтобы спровоцировать русских, но недостаточно сильна, чтобы победить их. Германский Генеральный штаб был ликвидирован; следовательно, немцы будут служить в европейской армии под командованием других государств. Макмиллан, боявшийся, что немецкими добровольцами окажутся бывшие нацисты, отдавал предпочтение армии, комплектуемой по призыву; в том случае, если немцы вообще согласятся на какую-либо армию. Прежде чем перейти к голосованию, члены ассамблеи обдумывали эти и другие вопросы. «Никто не мог сказать наверняка, куда заведет обсуждение», — написал Макмиллан.

За предложение проголосовало 89 человек, против — 5 человек, воздержались 27, в том числе большинство британских социалистов. «Странно, — позже написал Макмиллан, — что и за границей, и дома, когда Черчилль высказывает предложение, сначала оно кажется дерз-

* «Не спрашивайте, что страна может сделать для вас, — спросите, что вы можете сделать для своей страны» (инаугурационная речь Д.Ф. Кеннеди, 20.01.1960 г.).

ким парадоксом, а через год становится общепринятой истиной». Макмиллан ужинал с Черчиллем в день голосования и отметил, что тот казался «*очень* довольным и *очень* взволнованным». Учитывая, что целью европеистов было добиться примирения между Германией и Францией, Черчилль имел «право быть довольным. Если бы не его огромный личный авторитет, которым он распоряжался довольно опрометчиво в этой кампании, ничего могло бы не получиться», — написал Макмиллан[142].

В середине сентября две дивизии Соединенных Штатов под командованием генерала Дугласа Макартура высадились в Инчхоне, на северо-западе Южной Кореи. Вторжение прошло на удивление успешно. В течение двух недель силы Инчхона и армии Пусана встретились и отбросили силы Северной Кореи обратно за 38-ю параллель. Пхеньян, столица Северной Кореи, был освобожден; «первая коммунистическая столица, освобожденная силами свободного мира», сообщил Time. К концу октября силы ООН преследовали армию Северной Кореи в направлении реки Ялуцзян, по которой проходит граница Северной Кореи и Китая. Макартур объявил, что солдаты, скорее всего, к Рождеству вернутся домой. В середине ноября Макартур сообщил Джорджу Маршаллу — новому министру обороны, — что начинает генеральное наступление 8-й армией в сторону реки Ялуцзян, чтобы выяснить, сколько, если они вообще есть, китайских солдат в Северной Корее, чтобы раз и навсегда обеспечить безопасность полуострова. Нарушив основной закон ведения боя, Макартур разделил 8-ю армию на четыре отдельные колонны. Раньше Макартур сказал президенту Трумэну, что в бой могут вступить не более 300 тысяч китайских солдат, но что он не верит, что китайцы отправят войска в Корею. Однако они отправили. 8-я армия почти подошла к китайской границы в северо-западной части Северной Кореи, когда 25 ноября миллион китайских солдат смял оборону американцев, нанеся удары с фронта, с флангов и с тыла. Для союзников явилось полнейшей неожиданностью появление китайских армий, прятавшихся в горах по обе стороны Ялуцзян. К концу года силы ООН — в основном американские — были отброшены за 38-ю параллель, и в течение ближайших недель их оттеснили на 80 миль к югу от Сеула, который снова оказался в руках противника. Это было самое длинное отступление в американской истории[143].

30 ноября, в день 70-летия Черчилля, президент Трумэн сообщил журналистам, что ООН не откажется от своей миссии в Корее. Он заявил, что «мы предпримем все необходимое, что потребует военная ситуация». На вопрос корреспондента, касается ли это использования атомной бомбы, Трумэн ответил: «Включая все виды вооружения, которыми мы обладаем». Это заявление, позже написал Дин Ачесон, и ложные сообщения в прессе, что Макартур может получить полно-

мочия применить атомную бомбу, повергло в панику британское правительство, и Эттли «очертя голову бросился за океан», чтобы встретиться с Трумэном. Макмиллан нашел слова Трумэна обычным «дипломатичным» ответом, не предполагавшим никаких конкретных действий. Эттли расценил эту фразу как шаг в направлении ядерной войны. Премьер-министр, по словам Макмиллана, «выскочил, как кролик из своей норы, и помчался в Вашингтон (что за зрелище, что за контраст с великими черчиллевскими временами)»[144].

Макмиллан и Черчилль не знали — и узнают только через год, — что у Эттли были веские причины волноваться по поводу позиции Америки. В прошлом году Эттли согласился ликвидировать англо-американский Объединенный комитет начальников штабов. Этот орган был необходим для черчиллевских планов по продолжению англо-американского военного сотрудничества. Эттли разделял стремление Черчилля к продолжению англо-американского партнерства, но если Черчилль упорно добивался равного положения с американцами — даже в 1944 году, когда Британия была явно на вторых ролях, — Эттли охотно согласился на подчиненное положение. В 1950 году он дважды — по секрету — заверял Вашингтон, что, если американские воздушные силы предпримут операцию по бомбардировке Китая, Британия предоставит для этого свои воздушные силы. Тем самым предоставив Вашингтону свободу действий. Теперь, когда Трумэн заговорил о применении атомной бомбы в Корее и Китае, Эттли требовалось либо разорвать договоренность, либо добиться от Трумэна гарантий, что мнение Британии будет учтено при принятии решения о применении атомной бомбы. Итак, в начале декабря Эттли отправился в Вашингтон, надеясь возобновить джентльменское соглашение об использовании атомной бомбы, которое в 1943 году придумали Черчилль и Рузвельт, договорившиеся, что ни одна из сторон не воспользуется атомной бомбой без одобрения другой, но которое отменил принятый в 1946 году закон Макмагона. Эттли потерпел полное поражение. Трумэн решительно отказался «советоваться» с британцами или с кем-либо еще, как Америке обеспечивать собственную безопасность. Трумэн сказал, что в качестве любезности будет «информировать» Эттли, но не собирается «консультироваться» с ним.

Дин Ачесон, к тому времени Государственный секретарь, пощадил самолюбие Эттли, объяснив, что любую договоренность между президентом и любым лидером другого государства сенат Соединенных Штатов расценивает как соглашение, подлежащее одобрению сенатом. В ходе разговора Ачесон понял, что Эттли приехал обсудить и другие вопросы, в том числе необходимость переговоров с Китаем. Более 60 тысяч британских солдат и солдат стран Содружества находились в Корее во время той войны, в том числе легендарные полки, такие как «Черная стража», Королевский канадский полк, Собствен-

ный королевский шотландский пограничный полк и Королевский ирландский фузилерный полк. Но американцы отправили 450 тысяч человек, и перед ними открывались мрачные перспективы. Полагая, что новые поражения неизбежны, Эттли предложил Трумэну прекратить огонь, чтобы отвести войска. Ачесон сказал Эттли, что вести переговоры с китайцами после «разгрома» в корне неправильная политика. Политика Государственного департамента основывалась на убеждении Джорджа Кеннана (которое разделял Черчилль), что категорически неприемлемо вести переговоры с коммунистами с позиции слабой стороны. «Мы не могли позволить себе удирать», — позже написал Ачесон. Эттли высказал мнение, что настал подходящий момент для того, чтобы предоставить коммунистическому правительству Китая место в ООН. Он надеялся, как считали тори, таким образом оторвать Китай от Москвы. Нет ничего важнее отношений с Китаем, сказал Эттли, на что Ачесон «ледяным тоном» ответил, что «важнее безопасность Соединенных Штатов». Эттли был настроен на политику умиротворения. «Клемент Эттли, — позже написал Ачесон, — более способный человек, чем можно было решить, основываясь на характеристике, которую дал ему Черчилль, «овца в овечьей шкуре», но он неизменно нагоняет тоску»[145].

В декабре палата общин ушла на зимние праздники из восстановленного зала заседаний, где она впервые собралась в конце октября. Прошло почти десять лет с тех пор, как немецкая бомба разрушила старый зал. Клемент Эттли великодушно назвал сохранившуюся каменную арку Аркой Черчилля. Новый зал, по замыслу Черчилля, мог вместить только две трети членов парламента; это было сделано для того, чтобы в случае, если на заседание явится только половина членов парламента, зал будет казаться почти полным. Это решение, сказал Черчилль палате, привело в замешательство многих людей в мире, которым «трудно понять, почему мы считаем, что напряженность, страсть, непринужденность, спонтанность наших дебатов формируют индивидуальность палаты общин и наделяют целеустремленностью и силой». Он сказал: «Я — дитя палаты общин и провел здесь больше времени, чем кто-либо другой. Я очень огорчился, когда меня грубо вышвырнули из общей колыбели. Конечно, я стремился вернуться в нее как можно скорее». Через пять лет после дня победы палата общин была восстановлена в своем довоенном великолепии, но Британии еще не было, а империи никогда не будет[146].

В тот год декабрьская погода в Лондоне навевала тоску; снег, лед и мороз сохранялись до Нового года. Для Черчилля это было время путешествий. В середине месяца он уехал в Марракеш; в начале января к нему присоединилась Клементина. На Рождество он отправил жене короткую записку из отеля La Mamounia, где проводил дневные часы за рисованием, а вечерами наслаждался шампанским и марен-

скими устрицами. Он справлялся обо всей живности Чартвелла — золотых карпах, малоплавниковых моллинезиях, черных лебедях и Руфусе. Его ничто не отвлекало от работы над шестым, последним томом воспоминаний. О ситуации в Корее он написал: «Много зависит от предстоящего сражения»[147].

В Лондоне ходили разговоры о Восточном Мюнхене. Гарольд Николсон теперь жалел о своей причастности к лейбористам и их провальном социалистическом эксперименте. В канун Нового года Николсон написал в дневнике: «Закончился ужасный год, и дальше будет только хуже... Нас всех угнетает чувство бессилия, беспомощности, и мы испытываем дурные предчувствия... Год заканчивается во мгле тревог. Нам повезет, если в 1951 году не будет войны... Грустно стареть в таком мраке»[148].

Гарольд Макмиллан выражал аналогичные чувства в дневнике и продолжал в том же духе до конца лета. В январе он написал: «Британское правительство практически прекратило работу. Премьер-министр думает о чем-то своем и говорит банальности; у министра иностранных дел воспаление легких; нет никаких планов по перевооружению, никакой экономической стратегии, а теперь — нет угля!» Как в 1947 году, британцы топили камины и натягивали лишний свитер в ожидании долгой, холодной, унылой зимы. 22 января Макмиллан написал: «Прискорбно, что в такое время с нами Эттли и Бевин... Черчилль все еще рисует в Марракеше!»[149]

Так и было. Но если он собирался вступить в решающую схватку с Эттли и за премьерство, то ему требовался отдых и силы, которые он на протяжении восьми дней подпитывал бесконечными пикниками, долгими вечерними трапезами на веранде и рисованием. При этом он умудрился вычитать восемь глав шестого тома своих военных воспоминаний и поработать над окончательным вариантом издания пятого тома для американского Клуба книги месяца. Он рисовал, диктовал и обедал до 20 января. Он вернулся в Лондон, сделав остановку в Париже, где 22 января обедал со светской красавицей мадам Одетт Поль-Роже, наслаждаясь ее обществом и шампанским (позже он назвал в ее честь одну из скаковых лошадей). Черчилль вернулся в Лондон 23 января и приступил к осуществлению плана по низложению правительства Эттли.

Британия к тому времени утратила авторитет вместе с империей. Она не смогла стать посредником в кашмирском пограничном споре. Она не смогла защитить малайские каучуковые плантации от отрядов коммунистов-партизан. Из Кореи продолжали поступать неутешительные новости. В апреле 1-й батальон Глостерширского полка был окружен китайцами и уничтожен — 704 из 750 человек были убиты или взяты в плен. Новости с Ближнего Востока становились все тревожнее. Египетское правительство аннулировало международное соглашение,

запретив проход через Суэцкий канал британским нефтяным танкерам, которые направлялись на нефтеперерабатывающий завод в Хайфу.

Затем, в конце апреля, иранский парламент избрал Мохаммеда Мосаддыка — Черчилль называл его «серой уткой» — премьер-министром. Шах, которого британцы и американцы десять лет назад посадили на Павлиний трон, назначил Мосаддыка премьером. 1 мая Мосаддык национализировал британскую Англо-иранскую нефтяную компанию вместе с нефтеперегонными заводами в Абадане. Правительство Эттли обещало не отказываться от абаданского комплекса, но не уточняло, как собирается его удержать, силой или путем переговоров. В результате оно не прибегло ни к тому ни к другому.

В феврале лейбористы избежали вотума недоверия благодаря перевесу в девять голосов. В голосовании о национализации сталелитейной промышленности лейбористы победили с перевесом в десять голосов. Примечательно, что на этих заседаниях палата присутствовала практически в полном составе и разделение голосов происходило четко по партиям, только либералы иногда расходились во мнениях, разделяя свои немногочисленные голоса. Times высказала предположение, что эпидемия гриппа, охватившего страну, могла привести к падению правительства, правда, непонятно, почему заболеть должны были именно лейбористы. Макмиллан написал в дневнике, что такой посещаемости — и такой поддержки партии — он не видел со времен Всеобщей стачки 1926 года. На следующий день после голосования по стали лейбористы одержали победу на референдуме о нормировании мяса с перевесом в восемь голосов. Макмиллан написал в дневнике: «Люди не ходят каждые выходные в лавку, чтобы купить кусок стали. Но каждые выходные они жалуются на мизерные порции мяса»[150].

Правительство Эттли еще держалось, но было на грани падения. Когда лейбористы пришли к власти в 1945 году, партию возглавляла «Большая пятерка»: Эттли, Эрнест Бевин (министерство иностранных дел), Герберт Моррисон (лидер палаты), сэр Стаффорд Криппс (министерство торговли) и Хью Далтон (министерство финансов). К концу 1947 года Далтон выбыл из игры, когда был уволен из министерства финансов за вопиющий проступок: раскрыл репортеру подробные сведения о бюджете до того, как с ним ознакомилась палата и еще был открыт фондовый рынок. Его место в министерстве финансов занял Криппс. Он поднял налоги и снизил потребительские расходы в надежде увеличить экспорт. Ему это не удалось. Моррисон, который, согласно Колвиллу, был «не лишен амбиций», стремился сместить Эттли и занять его место во главе партии. Бевин, заклятый враг Моррисона, отказался помогать ему в этом. После пяти лет проведения планов национализации через палату Моррисон возглавил министерство иностранных дел, когда Бевин наконец ушел в отставку по

состоянию здоровья в марте 1951 года. Через месяц Бевин умер. В палате общин он всегда сидел на противоположной стороне от Черчилля, но, как и Черчилль, был патриотом Англии. Эттли, который лежал в больнице с язвой двенадцатиперстной кишки, даже не смог отдать дань памяти Бевину в палате общин.

Криппс тоже вскоре сошел со сцены. Он страдал от серьезного расстройства пищеварения, и вегетарианская диета не помогла улучшить самочувствие. В 1950 году он вышел из состава правительства и парламента и отправился в Швейцарию, в санаторий. Он умер спустя два года. В октябре 1950 года на его место в министерство финансов пришел Хью Гейтскелл, тоже положивший глаз на лидерство в партии. Когда в начале апреля 1951 года Гейтскелл объявил о намерении сократить ассигнования на национальную систему здравоохранения Эньюрина Бивена, заставив британцев оплачивать половину стоимости услуг окулиста и дантиста, а также платить шиллинг (около 25 центов) за выписанный рецепт, Бивен в знак протеста подал в отставку. Два дня спустя подал в отставку министр торговли. Узнав об этом, Гарольд Макмиллан написал в дневнике: «Если это правда, то правительство будет низложено, и последуют всеобщие выборы»[151].

К лету 1951 года, в отличие от капризного и несговорчивого руководства Лейбористской партии, возглавляемые Черчиллем консерваторы — Иден, лорд Вултон, Оливер Литтлтон, Рэб Батлер, Дункан Сэндис и Гарольд Макмиллан — представляли единый оппозиционный фронт.

К тому времени дебаты в палате, иногда длившиеся всю ночь, регулярно превращались в ожесточенную ругань, и зачастую объектом нападок был Черчилль. Но он не оставался в долгу. Когда министр обороны Эмануэль Шинвелл выразил несогласие по вопросу перевооружения Германии, Черчилль резко ответил: «Заткнись. Пойди и поговори с итальянцами, только на это ты и способен». Из-за этой вспышки сотне членов парламентской фракции лейбористов пришлось написать и отправить письмо с извинениями итальянскому правительству, которое, в свою очередь, потребовало извинений от Черчилля, и он их принес. Во время майских дебатов по поводу того, стоит ли правительству Эттли продолжать продавать Китаю малайский каучук и другое сырье, несмотря на резкие возражения Соединенных Штатов (Черчилль был против продаж), один парламентарий выкрикнул: «Хватит постоянно критиковать свою страну!» Черчилль ответил: «Не мог бы почтенный член палаты прокричать еще раз?» Парламентарий так и сделал. С обеих скамеек регулярно раздавались крики: «Садись!», «Неправда!», «Убирайся!», «Уступи дорогу!». Однажды, когда Черчилль заявил, что хочет делать только то, что пойдет на благо Британии, кто-то выкрикнул: «Уходи в отставку!» Необычный

обмен репликами произошел во время июльских дебатов по поводу Суэцкого канала и Иранского кризиса, когда Герберт Моррисон, новый министр иностранных дел, прервал Черчилля, заявив: «За спиной почтенного джентльмена над ним смеются». Черчилль ответил: «Полагаю, что достопочтенный джентльмен переживает, что у него нет таких сердечных отношений со своими заднескамеечниками». Но Черчилль не мог этого так оставить, поскольку Моррисон недавно заявил, выступая перед шахтерами, что Черчилль и консерваторы хотели развязать войну в Египте и в Иране. Моррисон, заявил Черчилль, «демонстрирует всему миру свою мечту возглавить партию и провести предвыборную кампанию». И добавил: «Крайне прискорбно, что в такое время руководство нашим министерством иностранных дел доверено его извращенному, испорченному, вероломному уму»[152].

Вечером Макмиллан написал в дневнике, что выступление Черчилля было «одним из самых разрушительных и отточенных его выступлений». Насмешки и злобные выпады лейбористов не только не помешали, а, наоборот, помогли Черчиллю «установить полное господство над партией и палатой». И хотя он восстановился после операции по поводу грыжи и в течение двух лет у него не было малых инсультов, предпринимаемые усилия не могли не сказаться на его здоровье. Утомительные дебаты в палате, иногда продолжавшиеся до утра, были тяжелым испытанием даже для более молодых людей. Лорд Моран написал в дневнике, что, даже если Черчилль «вернется в «номер 10», я сомневаюсь, что он справится с работой... он потерял хватку и уже не имеет той власти над вещами и событиями». Кроме того, Моран, обеспокоенный психическим здоровьем Черчилля, если тот не вернется в «номер 10», написал: «Когда борьба за власть закончится и его политическая карьера завершится, Уинстон почувствует, что его жизнь лишилась цели. Я боюсь, что тогда может случиться»[153].

Теперь все ждали, когда Эттли объявит всеобщие выборы, которые должны были состояться в октябре, после летнего сезона отпусков.

Хотя Клементина больше всего хотела отойти от политической жизни, она не препятствовала стремлению Уинстона в «номер 10». Но и не поддерживала его. Она считала, что новый срок негативно скажется на его репутации. Она хотела дожить с мужем оставшуюся часть жизни в Чартвелле, где наконец обрела счастье. Соседи стали благосклонно относиться к их семье, хотя раньше воспринимали Черчилля как несносного ребенка, а местные продавцы считали их семью неплатежеспособной. Все изменилось, позже написала Мэри. Теперь люди гордились соседством с семьей Черчилль, которая, в свою очередь, стала более гостеприимной и общительной. Теперь Уинстон и Клементина открывали сады Чартвелла четыре раза за лето, вход был платный, и вырученные средства передавались местным благотворительным организациям.

Клементине, хотя она была на десять лет младше мужа, недоставало его энергии, и она быстро уставала — морально и физически — от напряженной политической жизни. В мае она перенесла гистерэктомию. В июле она поправляла здоровье в Биаррице, на Бискайском заливе, в компании Мэри. В середине августа, когда парламент разошелся на летние каникулы, Черчилль (и два секретаря, его камердинер и Кристофер Сомс) отправился в Париж, чтобы встретиться с Клементиной и Мэри. Из Парижа они отправились в регион Рона—Альпы, где собирались провести две недели на берегу озера Аннеси, близ швейцарской границы. Но солнца не было. Всю неделю лил холодный дождь, и Клементина с Сомсами вернулись в Лондон, а Черчилль решил отправиться вместе со свитой на поезде в Женеву, а оттуда в Венецию, откуда собирался поехать на Лидо, чтобы вволю поплавать. Когда ему сказали, что французский поезд на Женеву не останавливается в Аннеси, Черчилль приказал одному из своих секретарей сообщить начальнику станции, что Уинстон Черчилль желает, чтобы поезд остановили. Поезд остановили. Черчилль с сопровождающими сели в вагон, их багаж состоял из пятидесяти пяти разнокалиберных чемоданов и шестидесяти пяти предметов багажа[154].

20 сентября, через неделю после возвращения Черчилля в Лондон, Эттли прислал ему короткую записку: «Мой дорогой Черчилль, я решил провести всеобщие выборы в октябре». Он добавил, что сделает официальное объявление вечером, после девятичасовых новостей. Выборы были назначены на 25 октября[155].

Семидесятишестилетний Черчилль понимал, что это последний шанс добиться того, чего он хотел всю жизнь: отправиться на Даунинг-стрит, 10 по волеизъявлению английского народа. В случае поражения тори он, скорее всего, сохранил бы место от Вулфорда, но, вероятнее всего, лишился лидерства в партии, и его место занял бы кто-то более молодой, скорее всего Энтони Иден. Но пятидесятичетырехлетний Иден не был ни молодым, ни здоровым; он страдал рецидивирующей язвенной болезнью. В Венеции Черчилль узнал о результатах опроса Гэллапа: большинство консерваторов и либералов хотели, чтобы лидером партии стал Иден, а не Черчилль. Вне зависимости от того, выиграет он или проиграет, эти всеобщие выборы станут для него последними в качестве главы консерваторов. Он дважды формировал правительство, в 1940 и 1945 годах, и оба раза не имея мандата от народа. Теперь он ставил на решающую кампанию свою репутацию, которую зарабатывал в течение пятидесяти лет. У него было достаточно мужества и сил для этой борьбы. А главное, у него было сердце льва. Все, кто его знал, понимали, что в случае поражения Черчилль теряет все.

Предвыборная кампания 1951 года прошла по-гоббсовски* — без грубости, но мерзко, жестко и коротко.

Черчилль начал кампанию в начале октября и произнес восемь речей и дважды выступил по радио за три недели до дня выборов, 25 октября. Основной темой его выступлений была «грустная история о беспечности, некомпетентности, нерешительности и окончательном крахе, которыми... отличается политика наших социалистических правителей».

Для Черчилля вопросы внешней политики были непаханым полем, там было где разгуляться. В конце сентября по требованию иранского премьер-министра Мосаддыка все британские служащие покинули Абадан. Черчилль, который вел переговоры об иранских нефтяных концессиях в 1914 году, снова, как и во время войны, нашел события на Ближнем Востоке не просто угрозой национальной безопасности Британии, но и личным оскорблением. Во время одного из заседаний в палате общин по вопросу Иранского кризиса он сумел с помощью нескольких предложений унизить и Эттли, и иранское правительство: «Позвольте на секунду отвлечься темы. Похоже, правительство имеет преимущество, решая задачу в Персии, поскольку у него так много общего с персидским правительством. Они, как и те, зубами держатся за свое место и, как и те, упорно продолжают политику национализации, полностью игнорируя государственные интересы»[156].

Таким образом, в первую неделю кампании Эттли уступил требованию Мосаддыка, чтобы британцы покинули Абадан. Мосаддык, известный тем, что мог заплакать на публике и имел обыкновение падать в обморок, на самом деле разбрасывался пустыми угрозами. И Эттли уступил, позволив Черчиллю сказать во время выступления в Ливерпуле, что Британия «бежала с поля боя» и «была изгнана» из Ирана после «пятидесятилетней деятельности по управлению предприятиями». И добавил: «Господин Моррисон, министр иностранных дел, и его партийные соратники, несомненно, надеются прикрыть свои неудачи, сказав, что тори хотят войны, а они за мир любой ценой»[157].

Действительно, основу стратегии лейбористов составляло стремление выставить тори поджигателями войны, и в первую очередь Черчилля. Оружием лейбористов в борьбе на выборах были не достоинства социализма, написал в дневнике Макмиллан, а страх — страх перед безработицей, снижением доходов, отменой социальных льгот и, самое главное, страх перед войной. В первую неделю кампании социалистическая Daily Mirror (4 миллиона экземпляров) задала вопрос

* Гоббс Томас — английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета. По Гоббсу, без политических институтов жизнь человека была бы мерзкой, жестокой и короткой.

в попытке лишний раз внушить читателям, что Черчилль является поджигателем войны: «Чей палец хотели бы вы видеть на спусковом крючке, Черчилля или Эттли?» Черчилль подчеркнул, что палец может быть американский или русский, но никак не британский, поскольку у Британии нет атомной бомбы и «ее влияние в мире уже не то, что было раньше». Все знали, что так и есть, и все спрашивали, как Черчилль собирается вернуть это влияние. С помощью войны, отвечали лейбористы[158].

Что касалось внутренней политики, Черчилль дал возможность фактам говорить за себя. Он уже много месяцев излагал свои доводы, эмоционально, но практически без преувеличения. Бедственное положение Британии было сложно преувеличить. Страна приближалась к финансовому краху. Лейбористы установили самые высокие налоги в свободном мире. В течение четвертого квартала 1951 года Британия теряла золотовалютные и долларовые резервы так стремительно, как еще не случалось за всю ее историю. С такими темпами резервы были бы исчерпаны примерно в середине 1952 года. Из-за Иранского кризиса была высока вероятность, что нефть в будущем придется закупать в американских долларах, то есть предстояло использовать оставшиеся британские резервы в размере 300 миллионов долларов. С окончания войны фунт обесценился на треть. На протяжении шести лет росла инфляция, а теперь ее рост стал стремительным, когда правительство Эттли приступило к перевооружению (Черчилль был согласен с этой политикой). Сейчас, учитывая, что Америки второй год тратила огромные суммы на перевооружение, во всем мире взлетели цены на товары, и британские финансы вышли из-под контроля. Британия по-прежнему была богатой страной, занимая второе место в мире, следуя за США с большим отрывом, удерживаясь на этом месте по той простой причине, что Франция, Германия и Япония только начинали восстанавливать разрушенную войной экономику. В то время Черчилль не мог знать, что в течение нескольких месяцев инфляция, достигшая в том году своего пика (12,5 процента), начнет снижаться по мере того, как в крупнейших экономиках мира установится новый порядок. Американская новая экономическая модель, основанная на постоянном увеличении расходов на оборону и потребительских расходов, вскоре начнет вытягивать Великобританию из экономического болота, как прилив поднимает все лодки. Этот процесс не зависел ни от Эттли, ни от Черчилля[159].

Говоря о внутренней политике во время предвыборной кампании, Черчилль предпочитал обходиться метафорами. Он практически не раскрывал британцам конкретных деталей планов тори в области экономики. Как он сказал Морану: «Мы хотим дать людям маяк, а не витрину». Во время выступления по радио он заявил: «Разница между нашими и социалистическими взглядами на жизнь — это разница

между лестницей и очередью. Мы за лестницу. И пусть люди изо всех сил стараются забраться наверх. Они за очередь. И пусть каждый остается на месте, пока не придет его черед». Он туманно пообещал замедлить национализацию сталелитейной и угольной промышленности. Тем не менее он дал два конкретных обещания, которые, по его настоянию, были включены в манифест консерваторов. Он обещал построить 300 тысяч домов, и, уловив настроение общественности, предложил обложить налогом сверхприбыль корпораций. Британия перевооружалась, и в случае победы на выборах он собирался еще активнее проводить перевооружение. Прибыль получали на фондовых биржах и в залах заседаний, простой человек не принимал в этом участие. Черчилль знал, как сыграть на чувстве страха. Не в состоянии удержаться от выпада в адрес Бивена, он сказал, выступая в Вудфорде: «Очевидно, что голосование за социализм Бивена, какими бы ни были его намерения, — это голосование, увеличивающее опасность мировой катастрофы». Возврат к власти социалистов, сказал он, нанесет «ощутимый удар по нашим надеждам избежать третьей мировой войны»[160].

Несколько кандидатов от тори и либералов договорились не конкурировать друг с другом в избирательных округах, где разделение голосов могло привести к победе лейбористов. Одним из таких округов был Хаддерсфилд, в котором леди Вайолет Бонем-Картер — дочь выдающегося премьер-министра Г.Г. Асквита — выдвинула свою кандидатуру от Либеральной партии. Она познакомилась с Черчиллем на званом обеде в 1906 году, когда ей было 19 лет, а ему 32 года, и они сразу стали лучшими друзьями. Позже она написала, что Черчилль «показался мне абсолютно не похожим на молодых людей, которых я до этого встречала». Сначала Черчилль, похоже, не обратил на нее внимания, а когда заметил, то спросил, сколько ей лет. Она ответила. «А мне, — чуть ли не с отчаянием сказал он, — уже тридцать два. О, это безжалостное время! Проклятая смерть! Какой короткий период времени отведен нам для всего, что мы должны в него втиснуть». Затем последовал длинный монолог о тщетности бытия и бесплодности человеческих стремлений, и в завершение он заявил: «Все мы черви, но мне хочется верить, что я светлячок!» К концу обеда Бонем-Картер уже не сомневалась в этом, «и мое суждение останется непоколебимым на протяжении последующих лет». Теперь, выступая в Хаддерсфилде от ее имени, Черчилль напомнил, что был двадцать лет либералом, о службе под началом Асквита, о своей роли в обеспечении страхования по безработице и назначении пенсий по старости. Он сказал: «В американской Декларации независимости говорится, что все люди созданы равными»; британская социалистическая партия говорит, что «все люди должны оставаться равными. Сейчас самое время покончить с этими глупостями»[161].

Выступая в Плимуте от имени Рэндольфа за два дня до голосования, он назвал обвинения лейбористов и коммунистов в подстрекательстве к войне «ужасными и несправедливыми».

«Это не соответствует истине. Единственная причина, по которой я остаюсь в данный момент в общественной жизни, в том, что прав я или не прав, но я искренне верю, что могу внести важный вклад в предотвращение третьей мировой войны и приближение прочного мира, которого горячо желают люди всех рас во всех странах. Я действительно молю о том, чтобы мне представилась эта возможность. Это последний приз, который я хочу выиграть»[162].

Макс Бивербрук ожидал перевеса в пользу консерваторов по меньшей мере в сто мест. Макс был хорошо информирован, но не всегда точно, что подтверждает погрешность его прогнозов в двух последних выборах. Моран советовал Черчиллю не слишком рассчитывать на радужные перспективы, нарисованные Максом. Черчилль возразил, что газеты Макса читают миллионы и он, «должно быть, знает, о чем говорит». Моран написал в дневнике, что Макс, возможно, и прав, но тори обеспокоены, и не только предстоящими результатами выборов, но и возрастом Черчилля и его склонностью не задавать вопросов и не слушать советов. Черчилль сказал Макмиллану, что рассчитывает на перевес в 90 мест, но что его устроит и 50. Макмиллан узнал от Брэндена Брекена, что в случае победы Старик планировал оставаться на посту всего год, максимум полтора года. Черчилль помянул о запланированной отставке во время одного из предвыборных выступлений, сказав, что «господин Иден подхватит факел демократии тори, когда он выпадет из других, более старых рук». Иден, несмотря на болезнь, был готов подхватить факел и уже протянул руку[163].

Но Черчилль не планировал передавать факел, пока не добился желанной цели — встречи в верхах. Именно этого он добивался, и это было практически все, к чему он стремился. Трумэн по-прежнему оставался в Белом доме, Сталин по-прежнему — в Кремле. Победа на выборах должна была повернуть время вспять, вернуть в июль 1945 года, в Потсдам, где последняя встреча «Большой тройки» прервалась выборами.

В день голосования, в четверг, 25 октября Daily Mirror дополнила вопрос «Чей палец на спусковом крючке?» большой фотографией полного человека вполоборота, держащего сигару. Человек на фотографии не был Черчиллем. Напечатав этот постановочный снимок, Daily Mirror перешла все границы. Черчилль вскоре подал иск в суд и добился пусть неискренних, но исчерпывающих извинений; редакция выразила сожаление, если опубликованные слова и фотографии каким-либо образом намекали на то, что Черчилль не испытывал неприязни к войне. Но в день выборов тори больше интересовал вопрос,

насколько эффективной окажется коварная кампания Daily Mirror. Ответ на этот вопрос они получили на следующий день, когда стали известны результаты голосования. Тори победили, но с небольшим перевесом. Черчилль не получил большинства ни в 100, ни даже в 50 мест, а только в 18. Консерваторам в итоге досталось 321 место, лейбористам 295, либералам всего 6. Собственно, лейбористы, получив 13 миллионов 866 тысяч голосов, обогнали консерваторов на 229 тысяч голосов. Эти результаты отнюдь не походили на поддержку Черчилля большинством избирателей. К полудню 26 октября Эттли понял, что проиграл. Во второй половине дня он приехал в Букингемский дворец, чтобы передать королю Георгу должностные печати. Примерно через час во дворец приехал Черчилль, и король Георг в третий раз с 1940 года поручил ему сформировать правительство. И снова, как в 1939 году, когда его вернули в адмиралтейство, по всему миру распространилась новость: Уинстон вернулся.

Король был серьезно болен и сейчас восстанавливал силы после перенесенной операции по удалению злокачественной опухоли и легкого. Несколько недель назад Черчилль, пораженный внешним видом короля и, как всегда, обеспокоенный всем, что касалось медицины, потребовал у Морана подробного отчета о болезни короля и его шансах на выздоровление. Моран понял, что беспокойство Черчилля связано с собственным ухудшением здоровья, о чем ему постоянно напоминали приступы головокружения, периоды забывчивости, онемение в плечах и прогрессирующая глухота. Именно тогда Моран пришел к выводу, что Черчилль сильно сдал и потерял хватку и, если он вернется в «номер 10», ему будет не до работы. Клементина готовилась к предстоящим испытаниям. Вскоре после выборов она отправила короткую записку Рональду Три: «Я очень надеюсь, что Уинстон сможет помочь стране. Это будет тяжелая работа, но он страстно желает ее»[164].

26 октября Исмей, благополучно отошедший от общественно-политических дел, рано лег спать. Среди ночи на его прикроватном столике зазвонил телефон. Такой же звонок когда-то возвестил о вторжении в Нидерланды, о смерти Рузвельта, о капитуляции немецких армий. Исмей снял трубку, и на другом конце провода сказал, что сейчас он будет говаривать с премьер-министром. Спустя секунду он услышал: «Это ты, Мопс?.. Немедленно приезжай. Ты же не спишь?» Исмей объяснил, что вообще-то он спал. «Ничего, — сказал Черчилль, — ты должен приехать всего на пять минут». Исмей подставил голову под холодную воду, наспех оделся и через пятнадцать минут прибыл на Гайд-парк-Гейт, 28. Черчилль сказал Исмею, кадровому офицеру, что хочет назначить его Государственным секретарем по делам Содружества, политическая должность, для которой Исмей, по его убеждению, совершенно не подходил. «Я решил, что холодная вода не помогла, — позже написал Исмей, — и я продолжаю спать».

Он согласился на эту должность, «обрадовавшись перспективе опять работать под началом Черчилля»[165].

Джока Колвилла вызвали на следующее утро, когда они с женой приятно проводили время на скачках в Ньюмаркете. Стюард жокей-клуба нашел Колвилла в толпе и сказал, что ему звонит премьер-министр. «О чем бы он ни просил, — предупредила жена Колвилла, — отвечай «нет». Колвилл вернулся в министерство иностранных дел после двух лет службы у принцессы Елизаветы и собирался там и завершить свою карьеру. Но этому было не суждено сбыться. Когда Колвилл взял трубку в жокей-клубе, премьер-министр извинился за причиненное беспокойство и спросил, не хочет ли Колвилл встретиться. «Завтра?» — спросил Колвилль. «Нет, — ответил Черчилль, — сегодня днем». Когда они встретились, Колвилл спросил Черчилля, как долго тот планирует задержаться на Даунинг-стрит. Этот вопрос был связан с опасением Колвилла, что очередное длительное отсутствие в министерстве иностранных дел пустит под откос его карьеру. Один год, ответил Черчилль. Колвилл согласился[166].

В течение следующих четырех дней в Чартвелле Старик заново собирал старую команду. Иден возглавил палату и министерство иностранных дел, вновь приняв на себя двойную роль, двойные обязанности, которые привели к полному истощению сил во время войны. Колвилл вошел в команду в качестве главного личного секретаря премьер-министра, разделив обязанности с Дэвидом Питбладо, ставленником Эттли. Рэб Батлер отправился в казначейство, Оливер Литтлтон стал Государственным секретарем по делам колоний, а лорд Вултон — лордом—председателем Совета. Профессор — лорд Червелл — был назначен генеральным казначеем. Гарри Крукшенк, менее выдающаяся партийная личность, принял на себя обязанности министра здравоохранения. Гарольд Макмиллан, назначенный министром по делам жилищного строительства, должен был построить 300 тысяч домов, которые Черчилль обещал избирателям во время предвыборной кампании. Когда Макмиллан спросил Черчилля, что для этого потребуется и с чего начать, Старик ответил: «Понятия не имею». К работе были привлечены оба черчиллевских зятя: Дункан Сэндис возглавил министерство снабжения, Кристофер Сомс был назначен парламентским личным секретарем. Но на Рэндольфа семейственность не распространилась. Черчилль устал от нокаутирующих политических аргументов, которые регулярно обрушивал на него Рэндольф. Эти словесные дуэли периодически взбадривали Черчилля в военное время, но теперь они его утомляли. Одно назначение вызвало удивление по обе стороны Атлантики. Как в 1940 году, Черчилль занял пост министра обороны. «Черчилль совершил глупость, назначив себя министром обороны, — написал в дневнике Макмиллан. — Получается, что Daily Mirror, практически права... Это грубая ошибка»[167].

В эти осенние недели Дуайт Эйзенхауэр, Верховный главнокомандующий НАТО, приступил к организации штаб-квартиры в Париже. Эйзенхауэр хотел создать что-то наподобие штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил времен Второй мировой войны. То есть он хотел, чтобы в случае войны союзные государства передали командование своими армиями НАТО, а в остальное время сохраняли полный контроль над своими войсками. Однако Национальная ассамблея и Роберт Шуман выступали в поддержку создания Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), что-то вроде надгосударственного военного варианта шумановского Объединения угля и стали. Европейская армия, как подчеркивал в 1950 году французский премьер-министр Рене Плевен, будет существовать отдельно от армий государств, чьи солдаты будут в нее входить. Де Голль, попрежнему в добровольном изгнании из французской политики, расценивал ЕОС как отказ от суверенитета. Скандинавские страны боялись франко-немецкого доминирования в случае создания ЕОС и немецкой угрозы, если не будет ЕОС. Политические карикатуристы в Западной Европе издевались над этим планом, ссылаясь на абсурдные проблемы командования и управления, неизбежные при попытке руководить бригадами и дивизиями — не говоря уже о целой армии, состоящей из солдат десятка или более национальностей, говорящих на разных языках и вооруженных разными видами оружия. Бевинское крыло Лейбористской партии выступало против ЕОС на том основании, что европейская армия, особенно с немецкими солдатами, рассердит Москву. Эйзенхауэр тоже с опаской относился к идее привлечения немецких армий и придерживался этого мнения в течение трех последующих лет. Британцев мало волнует Европа, позже написал Дин Ачесон, и, как французы, они боятся перевооружения Германии. Британцы видели спасение в Америке и НАТО. Для многих британцев, включая Черчилля, Атлантический океан был уже Ла-Манша[168].

6 декабря Черчилль поделился с палатой своими мыслями по этому поводу в речи, которая ознаменовала очередную веху на пути к единству Европы и обозначила роль Британии в этом пути. Черчилль сообщил палате, что представляет «европейскую армию, в которую входит немецкая армия, согласованной численности и силы, [которая] встанет бок о бок с британской и американской армиями единым оборонительным фронтом. В конечном счете именно от этого зависит выживание или гибель свободного мира». Следующая фраза прозвучала по меньшей мере парадоксально из уст человека, который почти двадцать лет боролся за единую Европу: «Что касается Британии, мы не предлагаем входить в европейскую армию, но мы уже присоединились к ней. Наши солдаты на местах». Что до будущего европейского экономического союза, Британия будет одновременно *в* нем и *вне* его. В этом не было противоречия. В отличие от де Голля, который был

предан одной Франции, Черчилль был предан в первую очередь Британии. Так было всегда. Он закончил свою речь, объявив, что движение к ЕОС (обсуждения, в которых отказался участвовать Эттли) «вдохновляющий шаг». Окончательное решение о роли Британии, сказал Черчилль, будет принято после того, как ЕОС примет окончательную форму[169].

Но ЕОС так и не приняла окончательную форму. Спустя несколько недель Черчилль высмеял ЕОС во время личной встречи с Трумэном и Ачесоном. Переговоры по ЕОС тянулись до 1954 года, когда Франция, потерпевшая поражение в войне в Индокитае, отказалась от участия в ЕОС. Но к тому времени Германия перевооружилась, и НАТО — включая Грецию и Турцию — приняло командную структуру, которую представлял себе Эйзенхауэр, и сформировало оборонительный кордон для Западной Европы, в основном финансируемый и укомплектованный американскими родственниками Черчилля; именно этого Черчилль добивался с 1945 года.

К концу 1951 года Черчилль выполнил задачи, связанные с политической и экономической составляющими Европейского союза. В феврале 1949 года в Брюсселе на заседании Европейского совета министров Черчилль сказал, что их и его обязанность вернуться в свои страны и убедить главы правительств в необходимости единой Европы: «Мы даже можем при помощи активного, просвещенного и доминирующего общественного мнения обеспечить их топливом, необходимым для преодоления этого пути, и электрической искрой, чтобы привести все в движение». Теперь все пришло в движение[170].

Ускорились работы по созданию собственного ядерного оружия, еще одной составляющей европейской оборонной стратегии Черчилля. Выступая 6 декабря, Черчилль обрисовал суть этой стратегии. Узнав после вступления в должность, что правительство Эттли работало над созданием атомной бомбы, Черчилль пообещал довести работу до конца. Поступая так, предупредил он палату, «мы увеличиваем количество сдерживающих войну факторов, но одновременно, в случае войны, это может привести к тому, что на нас придется основной удар». Русские, узнав о размещении американских ядерных бомбардировщиков в Восточной Англии, назвали Британию «авианосцем». Британия, следовательно, была главной мишенью. Но Черчилль добавил: «Мы не будем уклоняться от обязанностей, которые приняла на себя Британия»[171].

Имея в своем распоряжении атомную бомбу, он мог двигаться к цели, которую считал кульминацией своей карьеры: встреча на высшем уровне американского президента, его и Иосифа Сталина, которая принесет мир всему миру. Он все еще верил, что благородные люди держат слово. Он поразил одного из своих личных секретарей, заявив, что Сталин никогда не нарушал слово. Сталин, конечно, на-

рушил слово, что привело к нынешнему состоянию дел в мире. Черчилль-романтик взял верх над Черчиллем-политиком и отмахнулся от Черчилля-историка.

В начале ноября, вновь напомнив об опасности, которую представляет собой ядерный мир, он сказал палате: «Но наша огромная надежда в области внешней политики, безусловно, положить конец так называемой холодной войной путем переговоров на высшем уровне с позиции силы, а не слабости». Затем он зачитал палате письмо, отправленное им Сталину в 1945 году, в котором он предупреждал, каким опасным будет мир, если на одной стороне выстроятся коммунисты, а на другой стороне англоговорящие народы и их союзники. «Совершенно очевидно, — сказал он Сталину, — что конфликт разорвет мир на части и всем нам, руководителям обеих сторон, которые ничего не сделали, чтобы предотвратить это, будет стыдно перед историей». Это сбылось, сказал он палате, «с ужасающей точностью». Таким образом, встреча на высшем уровне, по мнению Черчилля, была единственным способом предотвратить катастрофу Третьей мировой войны. Он считал, что только англо-американская сплоченность может заставить русских сесть за стол переговоров. Как он объяснил президенту Трумэну, Кремль боится крепкой дружбы Англии с Америкой и попытается вбить клин между англичанами и американцами. Но если советские власти будут бояться непоколебимого западного союза, они могут решить, что выгоднее дружить с Западом, а не враждовать. В 1942 году он сказал американцам: «Когда мы вместе, для нас нет ничего невозможного, когда мы будем разобщены, все пойдет прахом». Он по-прежнему в это верил[172].

В последний день 1951 года Черчилль со свитой, включая Колвилла, лорда Морана, Мопса Исмея, Дики Маунтбеттена и Профессора, опять, как в конце войны, отправился в Соединенные Штаты на борту лайнера «Королева Мария». В полночь они собрались в каюте Черчилля, чтобы поднять бокалы с шампанским и спеть «Старое доброе время». Месяц назад Черчиллю исполнилось 77 лет. Боб Бутби, который лишился должности в 1940 году за якобы финансовые нарушения, обедал с ним в том месяце, после того как Старик попросил Бутби возглавить британскую делегацию на переговорах по вопросу единой Европы. Этот великодушный поступок возродил карьеру Бутби. Бутби был старым, но неискренним другом Черчилля, и он так и не простил Старика за то, что тот не встал на его защиту в 1940 году. Но в одном Бутби разделял мнение многих коллег Черчилля. Бутби сказал Гарольду Николсону, что Черчилль становится «очень, чрезвычайно, катастрофически старым». Государственный секретарь Дин Ачесон позже написал, что во время встреч в Вашингтоне Черчилль был «по-прежнему внушительным и великолепным», но отметил, что «старый лев, похоже, слабеет»[173].

Позже Ачесон написал, что французы, казалось, всегда приезжали в Вашингтон с требованиями, в то время как американская пресса считала, что так же поступали британцы, якобы высокомерно относившиеся к американским лидерам. Но Ачесон понимал, что британцы с Черчиллем приехали только для того, чтобы установить дружеские отношения. В третий раз выступая в конгрессе Соединенных Штатов, беспрецедентная честь для главы иностранного государства, Черчилль дал понять, что приехал не для того, чтобы «просить денег, а чтобы сделать жизнь в Британии более удобной и более спокойной». Он приехал заверить, что поддерживает американскую политику в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Отчасти обращаясь к Кремлю, он сказал, как говорил уже много раз с 1945 года, что Британии ничего не было нужно от России. Раньше он постоянно называл коммунистов и коммунизм пагубным и вероломным, но не в этот раз. Он не стал называть коммунистов «безбожниками» и «атеистами», как это любили делать высокопоставленные американцы. Собственно, эти слова не появлялись ни в одном из его публичных выступлений с 1940 по 1961 год. Он боролся не за христианское вероучение, а за свободу. Он закончил речь, процитировав любимого Бисмарка: «Бисмарк как-то сказал, что важнейшим фактом XIX века является то, что Англия и Соединенные Штаты говорят на одном языке. Давайте сделаем так, чтобы величайшим фактом XX века было то, что они идут одним путем»[174].

Гарри Трумэн, не собиравшийся переизбираться в 1952 году, отложил до появления преемника вопрос о возможной встрече на высшем уровне. Этим преемником стал Дуайт Эйзенхауэр. Новогоднее путешествие Черчилля через Атлантику в 1952 году стало первым из четырех поездок в Вашингтон и на Бермудские острова, которые он предпринял в ближайшие три года. Каждая из этих поездок служила его долгожданной цели — встрече в верхах. Черчилль не ушел в отставку через год или около того, как обещал коллегам. Он оставался премьер-министром еще четыре года, преследуя свою вожделенную цель, которая в конечном итоге от него ускользнула. Он не оставлял попыток добиться этой цели, даже заболев пневмонией, за которой последовал тяжелейший инсульт, даже когда его коллеги, движимые отчасти заботой о его здоровье, отчасти руководствуясь собственными амбициями, старались выжить его с Даунинг-стрит, даже когда ему отказал Сталин, а после смерти людоеда в 1953 году его преемники. Так же действовал президент Эйзенхауэр.

Трумэн часто говорил Дину Ачесону, что Черчилль был величайшим общественным деятелем их времени. Ачесон считал это преуменьшением. Величие Черчилля, написал он, «проистекало не только из удивительных качеств его сердца и ума, его неукротимой смелости, энергии, великодушия и здравомыслия, но от несравненного мастер-

ства и взвешенной политики». Эти составляющие, считал Ачесон, соединялись в стиле руководства, который позволял «подвигнуть народы свободных стран на то, чего нельзя добиться приказом». Ачесон был убежден, что найти равного Черчиллю можно было, только вернувшись почти на 400 лет назад, во времена королевы Елизаветы I. Он так же упорно на восьмом десятке вел решающий бой, чтобы усадить американцев, британцев и русских за стол переговоров, как и все свои сражения.

Позже Джок Колвилл написал, что возвращение Черчилля к власти «показалось многим предвестником возрождения надежд, потускневших от мрачных отзвуков войны». За три с половиной года последнего пребывания Черчилля во власти эти надежды не сбылись полностью, но за это время был отменен режим строгой экономии и нормирование продуктов, уровень жизни улучшился, пусть и незначительно, и Европа жила в мире, пусть и непрочном. Первый год под руководством Черчилля был мрачным: нормирование продуктов было жестким, а угля по-прежнему не хватало. 6 февраля 1952 года умер король Георг VI. В то утро Колвилл застал Черчилля в слезах; он смотрел прямо перед собой, не читал ни документов, ни газет. Старик боялся, что не сможет работать с новой королевой, поскольку он не знал ее и «она была всего лишь ребенком». Но он обещал остаться премьер-министром до ее коронации в середине 1953 года.

Это была первая задержка в обещанном уходе. Подобную тактику он использовал, когда откладывал открытие второго фронта во время войны, обещая поддержку, но продолжая отодвигать сроки. Если бы он объявил в начале 1952 года, что собирается остаться до 1955 года, он бы вызвал дворцовый мятеж со стороны Идена, Батлера, Макмиллана и наверняка Клементины, которая хотела, чтобы он уехал с Даунинг-стрит и вернулся домой в Кент[175].

24 апреля 1953 года королева вызвала Черчилля в Виндзорский замок и наградила орденом Подвязки. В 1945 году он отказался принять этот орден от ее отца. В то время действовал закон, согласно которому для вручения ордена было необходимо одобрение премьер-министра. Черчилль, будучи премьер-министром, отказал самому себе в рыцарском звании. Но с тех пор закон изменился: теперь решение королева принимала единолично. И Черчилль стал сэром Уинстоном Черчиллем, кавалером ордена Подвязки.

Молодая королева возвестила о новой эре юношеского оптимизма, а старый порядок и былые войны остались в прошлом, в коллективной памяти британского народа. В начале июня 1953 года 20 миллионов британцев наблюдали за коронацией королевы Елизаветы в прямом эфире, в основном в пабах, хотя новые возможности телевещания привели к удвоению продаж телевизоров в Британии. Американцы

тоже смотрели коронацию. Молодых манило счастливое будущее, сулившее счастье.

Но не старых. За несколько недель до коронации королевы Черчиллю снова, как во время войны, пришлось взять на себя обязанности министра иностранных дел, поскольку Энтони Иден был вынужден лечь на третью операцию по поводу язвы желудка. В качестве действующего министра иностранных дел премьер-министр решил, что советское правительство изменило взгляды после смерти Сталина в марте, от инсульта, хотя из Москвы доносились слухи, что его отравил кровожадный глава НКВД Лаврентий Берия, на котором лежала ответственность за массовые убийства в Катынском лесу. Действительно, в июне Берия был арестован. Черчилль отправил дружеский привет вероятному преемнику Сталина, Георгию Маленкову, который ответил тем же. Все это были дипломатические танцы в темноте, но Черчилль верил, что пришел момент «схватить за лапу русского медведя». С 1950 года он говорил британцам, что конечной целью переговоров с Россией было заключение договора о ядерном разоружении, и постоянно подчеркивал, что любое соглашение подобного рода должно включать условия международной инспекции и контроля за исполнением обязательств. Сейчас, полагая, что момент настал, он отправил к Эйзенхауэру делегацию, чтобы предварительно прозондировать почву, предложив встретиться для планирования встречи в верхах. Эйзенхауэр дал предварительное согласие. Встречу было решено провести на Бермудских островах, дата пока не уточнялась.

Затем, 23 июня, всего через две недели после коронации королевы, Черчилль, вставая из-за обеденного стола в «номере 10», упал в кресло, не в силах встать, и его речь стала неразборчивой. Поначалу Колвилл решил, что премьер-министр слишком много выпил. Колвилл, Кристофер Сомс и Клементина уложили Черчилля в постель и вызвали лорда Морана, которому понадобилось всего несколько минут, чтобы заключить, что у его пациента случился инсульт. Когда на следующее утро Черчилль, бледный, но восстановивший подвижность, проводил заседание кабинета, никто из присутствующих не заметил ничего необычного. В тот день Моран отвез премьер-министра в Чартвелл. На следующий день его состояние настолько ухудшилось и продолжало ухудшаться, что врачи решили, что ему осталось жить несколько дней. У него отнялась левая сторона тела, и он потерял способность сжимать руку в кулак. Моран заключил, что «тромбоз, очевидно, распространяется», но не стал прямо говорить об этом Черчиллю. Доктор назначил постельный режим — никаких совещаний кабинета, никаких ответов на вопросы в палате общин, никакой встречи на Бермудских островах. Моран составил врачебное заключение, указав диагноз «нарушение мозгового кровообращения». Рэб Батлер и Черчилль вычеркнули эту фразу. В опубликованном бюллетене состояния здоровья было просто

сказано, что премьер-министру требуется передышка от тяжелых обязанностей. Так начался почти двухмесячный период замалчивания, который был бы невозможен с нынешним развитием средств массовой информации. За эти месяцы здоровье Черчилля постепенно поправилось. В особо тяжелый момент он сказал Колвиллу, что сложит полномочия в октябре, поскольку потерял «вкус» к работе и считает, что мир находится в «отвратительном состоянии». Он сказал, что его угнетают мысли о водородной бомбе[176].

Но затем он передумал уходить в отставку. Руководствуясь логикой, понятной только ему одному, сказал всем, кто считал, что он должен уйти в отставку по состоянию здоровья — Клементине, коллегам по кабинету министров, лорду Морану, — что уходить надо не тогда, когда он болен, а когда выздоровеет. Он сказал Морану, что для ускорения процесса выздоровления отказался от бренди, заменив его «Куантро»*, и перешел на более легкие сигары.

Он много читал. Среди прочитанных им в этот период книг были «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Финеас Финн» Троллопа, «Кандид» Вольтера, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «1984» Оруэлла, книги С.С. Форестера. Он редактировал свою «Историю англоязычных народов». Он гонял по лужайке крокетные шары — больше от досады на свое состояние, чем из любви к игре[177].

В начале июля перспектива приезда Эйзенхауэра в Британию, идея, вероятно, зародившаяся в воображении Черчилля, подняла ему настроение. На самом деле Эйзенхауэр следовал по стопам президентов Трумэна и Рузвельта, которые никогда не приезжали в Лондон. Он очень огорчился, когда в конце месяца понял, что Эйзенхауэр не собирается приезжать в Британию и не разделяет его мнения по поводу потепления в отношениях с Россией. На выборах должны были победить демократы, сказал Старик Колвиллу и добавил, что Эйзенхауэр «слаб и глуп»[178].

Постепенно возвращалась способность ходить и говорить. Он обрадовался, когда 27 июля узнал о том, что подписано перемирие, положившее конец войне в Корее. Но празднований по случаю дня победы не было: Запад не победил, а китайцы с северными корейцами могли в любой момент нарушить перемирие. Вечером он сказал Морану, что возможность заключения мира была в пределах досягаемости до удара: «Чарльз, если бы только у меня были силы. Я в некотором роде пережиток. Рузвельт и Сталин умерли. Остался только я»[179].

Иден, сам больной, навестил Черчилля в августе, в то время как Рэб Батлер работал до изнеможения, выполняя обязанности Идена и Черчилля. Колвилл заметил, что Идена, казалось, занимала только

* К у а н т р о — французский крепкий спиртной напиток, прозрачный ликер с цветочно-фруктовым ароматом на основе сочетания сладкого и горького померанца.

одна мысль: «Когда я возьму в свои руки бразды правления?» Однако Иден понимал, что он не переедет в «номер 10», пока существенно не поправит здоровье. Визит Идена был визитом члена семьи, поскольку в прошлом году он женился на дочери Джека Черчилля, Клариссе, и стал Черчиллю племянником по свойству. Но родственная связь не гарантировала теплых отношений. Черчилля обижали и возмущали явные притязания Идена. Старик сказал Колвиллу, что чем энергичнее Иден пытается вытеснить его, тем дольше он не будет уходить[180].

За три месяца Черчилль провел всего три заседания кабинета и почти не бывал в «номере 10». В конце августа он вернулся. Однако еще один из его консультирующих врачей, невропатолог с говорящей фамилией сэр Рассел Брейн (brain — мозг), сказал лорду Морану, что сомневается, сможет ли Черчилль когда-нибудь снова выступать с речами и отвечать на вопросы в палате общин[181].

В начале ноября Черчилль доказал, что сэр Рассел был в корне не прав, когда 3 ноября произнес в парламенте речь впервые после инсульта. Никто в зале, кроме членов кабинета, не знал, что Черчилль был болен. Но слухи об инсульте просочились в прессу. Daily Mirror повторила слух, распространившийся в американской прессе, что у него был удар и, когда он поправится, уйдет в отставку. Вот почему в тот день внимание всего мира было приковано к нему. Он осветил множество внутренних и международных вопросов, прежде чем подойти к основному вопросу: обороне. Он заявил, что с 1951 года произошло два важнейших события — перенос военных действий в Корее с поля боя за стол переговоров и смерть Сталина. Он вслух размышлял о том, не положит ли смерть Сталина начало новой эпохе советской политики, благоприятствующей разрядке международной напряженности, «свежему взгляду». У него не было готового ответа на этот вопроса, но он сказал палате, что, по его убеждению, действия всех государств отвечают их интересам и что Советский Союз, возможно, «возьмет курс на внутреннее улучшение, а не на внешнюю агрессию». Как может Запад способствовать такой линии поведения? Предлагаемое им решение основывалось на третьем важнейшем событии последних двух лет: «Я имею в виду быструю, непрекращающуюся разработку ядерного оружия и водородной бомбы. Эти устрашающие научные открытия способны омрачить любой глубокий ум, но я думаю, что у нас есть основания считать, что наблюдается ослабление напряженности и что вероятность новой мировой войны уменьшилась или, по крайней мере, отдалилась. Я говорю это, несмотря на непрерывный рост оружия уничтожения, такого, которое еще никогда не попадало в человеческие руки. На самом деле мне иногда приходит в голову странная мысль, что способность этих средств к уничтожению может принести человечеству совершенно непредвиденную безопасность».

В то время Черчилль не знал, что в ноябре 1952 года Соединенные Штаты взорвали первый термоядерный заряд (прототип водородной бомбы) в Тихом океане на атолле Эниветок. Устройство было слишком большое — 70 тонн, — чтобы размещать его в самолете. Сейчас американцы работали над более компактным, но более мощным вариантом. Вслед за ними русские провели испытания водородной бомбы в августе 1953 года в Казахстане. Оба испытания пока оставались государственной тайной. Но Черчилль и весь мир прекрасно понимали, что водородная бомба вскоре будет испытана, где-то, кем-то, наиболее вероятно американцами.

Он продолжал развивать свою «странную мысль» и стал первым мировым лидером, сформулировавшим то, что впоследствии стало известно как политика взаимно гарантированного уничтожения: «Очень может быть, что... когда оружие разрушительной силы позволит каждому убивать каждого, никто больше не захочет убивать. Во всяком случае, похоже, можно уверенно сказать, что война, в самом начале которой обе стороны подвергаются тому, чего боятся больше всего, — а именно так, несомненно, обстоят дела сейчас, — менее вероятна, чем война, которая размахивает мрачными трофеями прошлых лет перед глазами честолюбцев»[182].

Черчилль вышел из зала палаты без посторонней помощи, прошел в курительную комнату, где в течение двух часов пил бренди (отказавшись от эксперимента с «Куантро»). Речь была последним препятствием, сказал он Морану, на пути к возобновлению бермудских переговоров. Черчилль очень надеялся в скором времени встретиться с Маленковым, получив одобрение Эйзенхауэра. Он был полон энтузиазма, сказав Морану: «Я подумываю о том, чтобы заменить бренди портвейном». Вечером Моран сделал в дневнике такую запись о Черчилле: «Мне нравится его стойкость. Думаю, он непобедим». Макмиллан сделал похожую запись в своем дневнике: «Он [Черчилль] действительно полновластный хозяин себе и палате. Кажется невероятным, что в начале июля у этого человека был второй удар»[183].

Через неделю Эйзенхауэр согласился в начале декабря встретиться с Черчиллем на Бермудах, чтобы обсудить единую стратегию в отношении русских в рамках подготовки к англо-американо-советской встрече на высшем уровне. Французы тоже должны были принять участие в совещании на Бермудах в качестве третьей западной державы. На самом деле конференция откладывалась не только из-за летней передышки Черчилля; французскому правительству порой было просто некого отправить на конференцию из-за непрерывной смены французских министров. Ни премьер-министр, ни Иден не думали, что французы могут внести сколько-нибудь существенный вклад в дискуссию. На этих переговорах предстояло действовать по наитию, постоянный источник беспокойства для министров иностранных дел,

когда так поступают главы их государств. Уверенность Черчилля в готовности России к переговорам, считал Моран, основывалась на том, что Черчилль жил в «созданном им самим воображаемом мире». 2 декабря Черчилль, Иден, Моран и Колвилл поднялись на борт стратокрузера «Канопус», чтобы совершить семнадцатичасовой полет до Бермудских островов, с посадкой в Гандере, Ньюфаундленд. Большую часть полета — который ничем не напоминал полеты на грохочущих, неотапливаемых B-24 — Черчилль читал The Death to the French С.С. Форестера (исторический роман о войне с Наполеоном на Пиренейском полуострове), не самый удачный выбор книги для поездки на эту конференцию[184].

Клементина не сопровождала Уинстона на Бермуды. На той неделе она была в Стокгольме, принимала от имени Черчилля Нобелевскую премию в области литературы, которую он получил за свои военные воспоминания. Денежное вознаграждение составило 12 500 фунтов, не облагаемых налогом, сумма, которую в письме жене Черчилль назвал «недурной». Но Клементина в любом случае вряд ли отправилась бы на Бермуды. «Ее сердце никогда не лежало ко второму сроку», — позже написала ее дочь Мэри. Она устала, часто пребывала в состоянии беспокойства, особенно в присутствии мужа, которому ясно дала понять, что его нахождение в должности премьер-министра для нее слишком тяжелая ноша. Она была хозяйкой Чартвелла и дома на Гайд-парк-Гейт, она распоряжалась на Даунинг-стрит, 10 и в Чекерсе, где постоянные приемы и нескончаемый поток посетителей создавали огромное напряжение. Для Клементины настоящее было безрадостным, а будущее обещало еще больше забот[185].

Британия испытала свою первую атомную бомбу годом раньше. Первая атомная бомба поступила в распоряжение Королевских ВВС спустя несколько дней после выступления Черчилля в палате общин 3 ноября. Но, согласно стратегии Черчилля, заставить русских вступить в переговоры о разоружении должна была водородная, а не атомная бомба, которая, на взгляд Черчилля, уже устарела. Но вскоре после начала совещания на Бермудских островах он понял, что Эйзенхауэр думает иначе. Словно в доказательство неизбежности рисков на переговорах глав государств, Черчилль не колеблясь поддержал Эйзенхауэра — который, в свою очередь, получил поддержку своего Государственного секретаря Джона Фостера Даллеса, — когда президент заявил, что может «спокойно применить», и действительно был готов применить, атомные бомбы в Северной Корее, если китайцы нарушат перемирие. Эйзенхауэр добавил, что собирается сказать это на предстоящей речи в ООН, которую он дал прочесть Черчиллю. Иден был поражен, о чем и сообщил премьер-министру, когда они остались наедине. Черчилль понял озабоченность Идена: подобного рода заявления Эйзенхауэра не могли помочь усадить русских за стол перего-

воров. Черчилль отправил Колвилла в Club Mid-Ocean, где остановился Эйзенхауэр, с короткой запиской, в которой советовал президенту смягчить выражения, заменив «спокойно применить» на «оставить за собой право применить» ядерное оружие. Эйзенхауэр согласился и предложил создать международное агентство по контролю атомной энергии.

Кроме того, президент сказал Колвиллу, что, «в то время как Уинстон воспринимает [водородную бомбу] как нечто новое и ужасное», он был убежден, что она будет просто «очередным улучшением боевого оружия». Президент имел в виду, написал Колвилл в дневнике, что «фактически нет никакой разницы между «обычным оружием» и «ядерным оружием». Когда-то, в 1945 году, так думал Черчилль, но с тех пор он изменил мнение. После того как на одном из пленарных заседаний Черчилль подробно описал свое «двойственное» отношение к советскому правительству — в одной руке атомная бомба, а другая протянута для рукопожатия, — Эйзенхауэр ответил тирадой, подобную которой никто из сидевших за столом не слышал на международных конференциях. Говоря о советской «новой политике», Эйзенхауэр сравнил Россию с проституткой, которая вырядилась в новое платье, но «под ним осталась все той же проституткой». Французы, как и следовало ожидать, передали эти слова журналистам[186].

Эйзенхауэру следовало действовать обдуманно. Сенатор от штата Висконсин Джозеф Маккарти, председатель сенатской комиссии конгресса США по вопросам деятельности правительственных учреждений и ее постоянной подкомиссии по расследованию, в тот год вел себя высокомерно и не считался с Государственным департаментом, который, по заявлению Маккарти, уже три года кишел коммунистами. На Бермудах, во время неофициального завтрака, Черчилль спросил Эйзенхауэра о влиянии Маккарти в Америке, и президент ответил, что он не обращает внимания на Маккарти, как англичане не обращают внимания на Эньюрина Бивена. Но сравнение было неудачным: хотя Бивен, как социалист, причинял беспокойство, он не представлял опасности для британской политики. Многие американцы считали, что министерство иностранных дел Великобритании и британские разведывательные службы тоже наводнены красными; предположение, отчасти основанное на том, что Дональд Маклейн и Гай Берджесс в 1951 году перешли на сторону Москвы, хотя их точное местонахождение оставалось неизвестным до 1956 года. Эйзенхауэр не хотел, чтобы создалось впечатление, что британцам и Черчиллю удалось заставить его радушно приветствовать кремлевских коммунистов-безбожников. Черчилль не мог осуждать своего старого военного товарища за то, что он испытывает ненависть к коммунистам. Вместо этого он во всем винил Джона Фостера Даллеса, которого невзлюбил с первой встречи в прошлом году. «Похоже, всем заправляет Даллес, — сказал Черчилль

Морану. — Президент не более чем кукла чревовещателя». В любом случае Черчилль вернулся в Лондон, не достигнув цели. В ближайшее время не будет никаких англо-американо-советских переговоров на высшем уровне[187].

Вскоре по возвращении Черчилля с Бермудских островов Daily Mirror стала призывать к его отставке. В одной из статей Daily Mirror под заголовком «ТЕНЬ ГИГАНТА» приводились слова из New York Times: Черчилль «всего лишь тень того выдающегося человека из 1940-х годов». Нападки Daily Mirror раздражали Черчилля, написал в дневнике Моран, но по-настоящему Старика выбили из колеи статья и карикатура в Punch. Статью под заголовком «История без конца» написал Малкольм Маггеридж, редактор Punch. Это была иносказательная притча о вымышленном византийском правителе, который хорошо послужил государству, но в конце концов утратил свои способности из-за преклонного возраста и старческой немощи. Эта статья сопровождалась карикатурой, изображавшей Черчилля с отвисшей челюстью и парализованной левой половиной лица; руки «полные, бесформенные», выглядывали из белых манжет. Черчилль протянул руки к Морану: «Посмотрите на мои руки. У меня красивые руки». А затем сказал, что, поскольку Punch пользуется большой популярностью, ему придется уйти в отставку. Спустя несколько лет Маггеридж сказал, что это заявление показало, насколько Черчилль был «не в курсе текущей ситуации», поскольку в 1954 году Punch уже не пользовался такой популярностью. Это было, сказал Маггеридж, «но только в XIX веке»[188].

1 марта 1954 года американцы провели испытания водородной бомбы на атолле Бикини в южной части Тихого океана. Спустя три месяца, 16 июня, Черчилль созвал закрытое заседание Комитета по обороне, на котором было принято решение о принципиально новой атомной политике: Британия будет создавать свою водородную бомбу. Решение было принято в условиях строжайшей секретности, о нем не информировали даже кабинет министров. Спустя неделю, 24 июня, Черчилль вылетел в Вашингтон[189].

Это был его последний официальный визит в Соединенные Штаты, последняя возможность добиться от Эйзенхауэра поддержки встречи на высшем уровне. С ним отправилась привычная компания — Иден, Моран, Колвилл и Кристофер Сомс. Он поднялся на борт стратокрузера в плохом настроении. Он пожаловался Морану на перемены, которые вызвали братья Райт. Мир стал меньше: «Недобрый час для бедной Англии». Но дурное настроение прошло, и в десять утра по английскому времени он сказал стюарду унести виски и подать шампанское и икру. Зная, что Эйзенхауэр под влиянием Джона Фостера Даллеса не согласится на трехсторонние или четырехсторонние пере-

говоры на высшем уровне, он прибыл в Вашингтон с новым предложением — провести двусторонние переговоры, только он и Маленков[190].

Его настроение значительно улучшилось, когда 25 июня, в пятницу, вскоре по прибытии в Белый дом, Эйзенхауэр сказал, что не против двусторонних переговоров Черчилля с русскими. Это произошло до того, как Черчилль изложил свое дело, что, как он полагал, будет длительным и сложным процессом. Для Черчилля цель переговоров с русскими сводилась к тому, чтобы выиграть десять лет «ослабления напряжения» в отношениях с Москвой, чтобы Америка, Россия и Британия могли перенаправить денежные и научные ресурсы с разработки ужасных атомных бомб на полезные, мирные проекты. Эйзенхауэр согласился и даже предложил провести с Черчиллем, вместе с французами и немцами, предварительные переговоры в Лондоне перед тем, как Черчилль отправится уговаривать русских. Колвилл отметил, что Даллес пытался не допустить переговоров с русскими, но безрезультатно. В воскресенье Эйзенхауэр устроил небольшой ужин, по словам Колвилла, «очень веселый». За ужином Черчилль и Эйзенхауэр решили, что Германия должна перевооружаться, даже если Франция против. Эйзенхауэр заявил, что французы «беспомощная, бесполезная масса протоплазмы». Через несколько недель Национальная ассамблея отказалась от идеи ЕОС, Западная Германия была освобождена от трехсторонней оккупации, а через десять месяцев Германия вступила в НАТО. Еще одной причиной для радости была реакция Эйзенхауэра, когда Черчилль сообщил ему о планах Британии создать собственную водородную бомбу: Эйзенхауэр не возражал. Черчилль возвращался в Лондон победителем. Кроме того, когда он почти добился встречи на высшем уровне, у него появилась еще одна причина задержаться в «номере 10»[191].

Об этом он сообщил Идену на обратном пути в Англию на борту лайнера «Королева Елизавета», названной в 1938 году в честь Елизаветы I. На вопрос Идена, когда Черчилль собирается уйти в отставку, премьер-министр ответил, что, скорее всего, 21 сентября. Это было важно, поскольку по британским законам всеобщие выборы должны были проводиться не реже одного раза в пять лет. А значит, Черчилль мог задержаться самое позднее до октября 1956 года. Если Черчилль остается в 1955 году, Идену остается совсем мало времени, чтобы наметить курс нового правительства перед выборами. Черчилль хорошо это понимал. Но дело в том, что он не собирался уходить, пока не встретится с русскими.

Находясь на борту лайнера «Королева Елизавета», Черчилль продиктовал телеграмму для советского министра иностранных дел Молотова, в которой предлагал вступить в прямые переговоры с советскими руководителями, без участия Соединенных Штатов. Когда

Иден возразил, справедливо указав на то, что такое послание нельзя отправлять без одобрения кабинета министров, Черчилль отмахнулся от его доводов, назвав их «чушью» и сообщив Колвиллу, что если кабинет министров будет против, то он подаст в отставку. Колвилл сказал премьер-министру, что это приведет к расколу в рядах тори и в стране «сверху донизу». Это был своего рода шантаж со стороны Черчилля, и он сработал. Иден уступил. Черчилль обращался с Иденом, написал Колвилл, «жестоко и бессовестно». Под неослабевающим давлением Черчилля, Иден наконец согласился сказать кабинету министров, что он одобрил послание. Телеграмма была отправлена Молотову. Русские не отвечали три недели, а когда пришел ответ, то выяснилось, что они поставили такие абсурдные условия, что о двусторонних переговорах не могло быть и речи. Они требовали созвать общеевропейскую конференцию с участием тридцати двух партий, включив в повестку дня вопрос вывода войск НАТО из Германии. Иден был прав: поспешив с телеграммой, Черчилль сбил с толку русских, разозлил Эйзенхауэра и настроил против себя кабинет министров. Теперь все они сомневались в его здравомыслии. Макмиллан написал в дневнике относительно черчиллевского крестового похода за встречей в верхах: «Это было его последним страстным желанием — старческой мечтой, — возможно, старческим безрассудством, но оно могло спасти мир»[192].

Черчилль признал поражение на совещании кабинета министров, последовавшем за советским ответом. Переговоров не будет. Мартину Гилберту, официальному биографу Черчилля, понадобилась всего несколько слов, чтобы подвести итог этой главы жизни Черчилля: «Последняя великая инициатива Черчилля во внешней политике закончилась»[193].

По справедливости, премьерство тоже должно было закончиться, но он задержался, отчасти, чтобы удостовериться, что кабинет министров одобрит планы по созданию водородной бомбы, что произошло 8 июля; спустя четыре дня он сообщил палате, что приняты решения по ядерному оружию, но не останавливался на подробностях. В начале года он сказал, что уйдет в июне, затем в июле, затем в сентябре. В августе он решил не уходить в сентябре. С наступлением осени Иден и Гарольд Макмиллан удвоили усилия, стараясь выдворить его, но безрезультатно.

В конце июля Макмиллан попытался поговорить об этом с Клементиной, это была тактическая ошибка. Ему следовало обратиться напрямую к Черчиллю. Он этого не сделал, вероятно, потому, что хорошо знал резкую манеру Старика вести дискуссию. Черчилль вызвал Макмиллана, чтобы обсудить вопрос. Колвилл боялся взрыва. Макмиллана провели в кабинет к Черчиллю, где Старик играл в безик с Колвиллом. Черчилль предложил Макмиллану виски и сигару и продолжил игру. Затем он настоял на подсчете очков, чтобы рассчитаться с Колвиллом.

Возник спор по поводу точной суммы проигрыша. Черчилль послал за своей чековой книжкой и ручкой. Когда принесли ручку, оказалось, что он просил другую. Макмиллан уже полчаса как не находил себе места. Наконец Черчилль любезно попросил Колвилла покинуть комнату, поскольку господин Макмиллан, похоже, «хочет обсудить какое-то дело государственной важности». Разговор был коротким; Черчиллю потребовалась всего минута, чтобы высказать свою точку зрения. Он сказал Макмиллану, что остается, хотя партийные лидеры обладают правом сместить его с руководства партией. Макмиллан прекрасно понимал, что, учитывая популярность Черчилля, затеянный руководством тори переворот приведет к гибели их, а не Черчилля. «Я не могу понять причину всей этой возни, — сказал Черчилль Колвиллу после ухода Макмиллана. — Ему [Макмиллану] на самом деле вообще нечего было сказать. Он вел себя очень робко»[194].

В начале августа Макмиллан написал в дневнике: «Сейчас он [Черчилль] так зациклен на себе, что это похоже на манию. Без сомнения, это результат расстройства здоровья после инсульта». Будь Черчилль королем, написал Макмиллан, его бы свергли. Когда на него надавили Батлер, Макмиллан и Иден, Черчилль ответил: «Вы не можете требовать, чтобы я собственноручно подписал свой смертный приговор». Но, оставаясь на посту премьер-министра, он подписывал смертный приговор им. «Все мы, кто действительно любил его и восхищался им, — написал Макмиллан, — постепенно начинали испытывать что-то вроде ненависти»[195].

Черчилль начал придираться к Идену, по поводу и без повода. Както во время завтрака он сказал Идену, что все будет его, когда ему исполнится 60 лет. Идену до этого возраста оставалось три года. Колвилл написал, что Черчилль «начал с ледяной ненавистью относиться к Идену, который, как он не раз повторял, переходил ему дорогу чаще... чем кто-либо другой». Жестокое и несправедливое замечание. Колвилл написал о последних месяцах Черчилля у власти: «Однако порой бывали проблески, как раньше; его остроумие и хорошее настроение кипели и искрились, в его словах отчетливо звучала мудрость, и по-прежнему можно было увидеть искру гениальности в решениях, письмах или фразах». Но Колвилл задавался вопросом, был ли Черчилль тем человеком, который мог вести переговоры с русскими и склонить американцев к менее воинственной позиции в отношении России. «В министерстве иностранных дел так не думали; британский народ, уверен, сказал бы «да». А я, кто был близок с ним как никто другой в течение последних лет, просто не знаю, что сказать»[196].

Черчиллю исполнилось 80 лет 30 ноября 1954 года. Он стал первым премьер-министром со времен Гладстона, который занимал должность в таком почтенном возрасте. Теперь он был старейшим членом

палаты и единственным действующим членом парламента, избранным во времена правления королевы Виктории. В честь дня рождения парламент вручил ему портрет кисти Грэхема Сазерленда, для которого Черчилль позировал всю осень. Черчилль терпеть не мог этот портрет. На публике он заявил, что, «безусловно, в нем видна сила и прямота». Но в узком кругу называл его «злым». Клементина сочла его омерзительным и отправила на антресоли, а позже сожгла. На портрете Черчилль был изображен старым, каким он и был тогда, а его лицо грубым и жестоким, каким оно не было. Королевская семья прислала в подарок четыре серебряные подставки для бутылок, на которых были выгравированы подписи дарителей. В день рождения Черчилля Клемент Эттли, который теперь возглавлял оппозицию, произнес в палате длинную речь, воздавая должное премьер-министру, заявив, в числе прочего, что речи Черчилля в военное время выражали волю парламента и всего народа[197].

Черчилль ответил Эттли на следующий день: «Я очень рад тому, что господин Эттли назвал мои речи во время войны отражением воли не только парламента, но и народа. Их воля была решительной и непоколебимой и, как оказалось, несгибаемой. Мне выпало выразить ее, и я нашел правильные слова, вы должны помнить, что я всегда зарабатывал на жизнь пером и языком. У народа, живущего в этой стране и по всему миру, львиное сердце. Мне выпала честь издавать львиный рык. Я надеюсь, что иногда правильно указывал льву, когда выпускать когти. Сейчас мой путь приближается к концу. Надеюсь, что я все еще могу приносить пользу»[198].

Во время семейного торжества, когда рядом с ним находились девять внуков и четверо детей, Диана вслух поразилась тому, сколько он повидал и сделал за свою жизнь. Он выслушал ее и сказал: «Я добился многого, но в итоге ничего не добился»[199].

Черчилль думал об уходе во время рождественских праздников и в течение всей зимы. Позже Колвилл написал, что долгими зимними вечерами, оставаясь наедине с Черчиллем, «за столом для безика или обеденным столом я выслушал множество подробных объяснений, суть которых сводилась к следующему: «Я потерял интерес; я от всего устал». В середине марта, обедая с Рэбом Батлером, Черчилль заявил: «Я чувствую себя как самолет с почти пустым топливным баком, который ищет место для безопасной посадки в полной темноте». В конце марта он сказал Колвиллу, что уйдет перед пасхальными каникулами. В тот год Пасха выпадала на 10 апреля[200].

1 марта 1955 года Черчилль произнес свою последнюю важную речь в палате общин, посвященную «Белой книге» по обороне, в которой правительство впервые объявило о решении создать водородную бомбу. Черчилль понимал, что Британия беззащитна перед таким

оружием, но он хотел, чтобы и другие страны — Россия — были бы такими же беззащитными. Бомба не могла помочь Англии вернуть былую славу, но могла предоставить ей средства к выживанию. Он назвал свою речь «Средство устрашения — ядерная война». «Не существует полной защиты от водородной бомбы, — сказал он палате, — и в обозримом будущем не предвидится появления средств обороны, которые позволили бы полностью обезопасить какой-либо народ или страну от чудовищного урона, угрожающего обширнейшим территориям при использовании всего десятка таких бомб». Он продолжил, задав вопрос:

«Как нам быть?

В какую сторону нам повернуть, чтобы спасти наши жизни и будущее мира? Это не столь важно для старых людей: они все равно скоро уйдут. Но мучительно смотреть на молодых людей, деятельных и полных энтузиазма, и, в особенности, смотреть на маленьких детей, играющих в свои веселые игры, и задаваться вопросом: что ожидает их в будущем, если Бог устанет от человечества? Конечно, лучшей защитой было бы всеобщее добросовестное разоружение. Мечта об этом живет в наших сердцах»[201].

Он употреблял выражения «Советский Союз» и «советский коммунизм», объяснив палате, что сознательно избегает слова «русский», поскольку искренне восхищается русским народом, «его храбростью, многочисленными талантами и добродушием». Опасность для человечества представляют коммунистические диктаторы, а не русский народ. Он объявил:

«Для свободного мира в ближайшие несколько лет есть единственная разумная политика.

Это то, что мы называем обороной через сдерживание... Эти сдерживающие факторы могут в любой момент привести к разоружению, при условии, что они действительно будут сдерживать. Чтобы внести в это сдерживание свой вклад, мы сами должны иметь самое современное ядерное оружие и средства его доставки.

Теперь стали уязвимы целые континенты, а не только маленькие острова, такие как Британия. И они станут еще более уязвимы, когда Советы разработают новые средства для доставки атомных бомб.

Нет причин, которые помешали бы им в ближайшие четыре, три, или даже два года разработать более совершенные виды оружия и средства для его доставки в Северную Америку. Более того, есть все основания полагать, что за этот срок они с этим справятся».

«Обнаружился любопытный парадокс, — сказал он, — говоря простым языком, с определенного момента станет справедливым утверждение, что чем хуже обстоят дела, тем лучше». Он по-прежнему верил, что, как он сказал палате, «к счастью, есть время и надеюсь, если мы будем терпеливы и мужественны... В ближайшие десять лет все сред-

ства сдерживания станут эффективнее и начнут оказывать большее влияние на мир. Возможно, к тому времени политика сдерживания достигнет своего пика и приведет нас к окончательной награде». После 45-минутного выступления его голос был по-прежнему сильным, когда он закончил выступление обращением к палате и соотечественникам: «Наступит день, когда справедливость, любовь к ближнему, уважение к законности и свободе позволят истерзанным поколениям с триумфом двигаться вперед, чтобы преодолеть ужасную эпоху, в которой мы пока живем. А до того никогда не отступайте, никогда не поддавайтесь усталости и никогда не теряйте надежды!»[202]

Черчилль «блистательно доказал, что по-прежнему находится в отличной форме, написала Sunday Times. На следующий день, когда еще продолжались дебаты по вопросу обороны, Эньюрин Бивен обвинил Черчилля в том, что он позволил Америке диктовать Британии, как вести внешнюю политику. Он заявил, что Черчилль отменил поездку на Бермудские острова в 1953 году, поскольку знал, что Эйзенхауэр не согласится на его просьбу начать переговоры с русскими. Ответ Черчилля поразил палату, поскольку он впервые публично признался в том, почему не поехал на Бермудские острова: «Меня неожиданно сразил недуг, из-за которого я оказался полностью парализован. Поэтому мне пришлось отложить поездку»[203].

Затем положил очки для чтения в карман пиджака, собрал свои бумаги и ушел. В последний месяц пребывания в должности премьер-министра он произнес в палате еще две небольшие речи. Последняя речь, произнесенная 28 марта, была посвящена памяти Ллойда Джорджа. И хотя Черчилль еще девять лет оставался членом парламента от Вудфорда, он больше никогда не выступал в палате общин.

4 апреля Уинстон с Клементиной устроили последний обед в «номере 10». Присутствовало пятьдесят человек, в том числе королева Елизавета и принц Филипп. Среди присутствовавших знатных особ, написал Колвилл, были высокопоставленные чиновники, члены правительства, члены семьи Черчилля, несколько герцогов и герцогинь, в том числе 16-й герцог Норфолк, который вскоре возглавил специальный сверхсекретный правительственный комитет под кодовым названием «Оставь надежду», на который была возложена задача организации государственных похорон Черчилля. Присутствовал Рэндольф Черчилль, который, как и следовало ожидать, напился и начал донимать Клариссу, свою двоюродную сестру и жену Энтони Идена, рассказом об отвратительной статье, которую он написал об Идене для Punch. Председательствовал сэр Уинстон, с орденами Подвязки и «За заслуги». Его послеобеденная речь приняла форму длинного тоста в честь королевы: «Я любил выпить в те годы, когда служил младшим офицером кавалерии во времена правления прапрабабушки вашего

величества, королевы Виктории». В конце он поднял бокал «За королеву!». Поздно вечером, когда гости разошлись, Джок Колвилл проводил Черчилля в спальню. Старик сел на кровать и молчал несколько минут. Колвилл решил, что Черчилль «думает о том, что это его последняя ночь [в качестве премьер-министра] на Даунинг-стрит. Затем вдруг уставился на меня и с горячностью сказал: «Не верю, что Энтони справится»[204].

На следующий день, вечером, Черчилль в цилиндре и фраке, предназначенном специально для таких торжественных случаев, отправился в Букингемский дворец, чтобы подать прошение об отставке. С XIX века существовал обычай присваивать почетное пэрство вышедшим в отставку премьер-министрам. Но Черчиллю не было равных, и он заслуживал чего-то большего. Тогда родилась идея пожаловать ему титул герцога, хотя королева была не в восторге от перспективы появления первого за восемьдесят лет герцога некоролевской крови. Идеальным выходом из ситуации для королевы стал бы отказ Черчилля от такого предложения. И действительно, спустя несколько дней Черчилль сказал Колвиллу, что, предложи королева ему титул герцога, он бы отказался. Колвилл передал эту информацию во дворец. Королева все-таки предложила ему титул герцога, а Черчилль, после секундного размышления, отказался. Его домом была палата общин, а не палата лордов. Позже вечером он сказал Колвиллу, что отказался от титула, чтобы не разрушать политическую карьеру Рэндольфа. Став лордом, Рэндольф не смог бы заседать в палате общин, откуда монарх выбирал премьер-министра. На самом деле после поражения в 1951 году Рэндольф Черчилль уже никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах. Рэндольф как-то сказал о своем отце: «Ничего не растет в тени большого дерева». Отец до последнего старался сделать все, чтобы помочь сыну, хотя однажды сказал одному из личных секретарей: «Я люблю Рэндольфа, но он мне не нравится»[205].

В среду, 6 апреля, Уинстон и Клементина устроили чаепитие в «номере 10» для почти сотни персонала. Поздно вечером Черчилль уехал в Чартвелл. Клементина, которой нужно было многое привести в порядок в их лондонском доме, осталась в городе. Черчилль прибыл в Чартвелл в сумерки, написала Мэри, и, казалось, был «в хорошей форме». У дома собралась небольшая толпа соседей и репортеров. Когда Черчилль подошел к крыльцу, один из репортеров выкрикнул: «Каково это — не быть премьер-министром?»[206]

Черчилль ответил: «Всегда приятно прийти домой».

Эпилог

1955—1965 годы

Хотя всеобщие выборы не требовалось проводить до 1956 года, вскоре после того, как Черчилль покинул «номер 10», Энтони Иден, которому не терпелось занять его место, распустил парламент и назначил выборы на конец мая. Черчилль баллотировался в палату общин в девятнадцатый раз и 27 мая вернулся в палату после решительной победы Консервативной партии. Иден набрал еще 40 мест, и на этот раз консерваторы победили большинством голосов. В ходе кампании Иден не привлекал Черчилля ни к одному из трех отведенных тори выступлений по радио. Факел был передан.

В середине мая советский министр иностранных дел Молотов сообщил Гарольду Макмиллану, новому министру иностранных дел Великобритании, что они с советским премьером Николаем Булганиным, который сменил Маленкова, хотят участвовать в четырехсторонних переговорах на высшем уровне в Женеве. Никита Хрущев тоже собирался присутствовать. Хрущев, украинский политический лидер, по вине которого в 1942 году было проиграно Харьковское сражение, теперь входил в состав кремлевского руководства и руководил процессом десталинизации — попытка выбросить Сталина из советской истории. Президент Эйзенхауэр, хорошо знавший позицию Черчилля по этому вопросу, написал Черчиллю письмо, в котором выразил сомнение по поводу успеха женевских переговоров, добавив: «Мы с Фостером, как и весь мир, понимаем, насколько на этой встрече будет не хватать вашего мужества и вашего видения». Награда, которую так долго стремился добыть Черчилль, досталась Идену[1].

Три года назад штат личных секретарей Черчилля пополнился новым сотрудником, Энтони Монтегю-Брауном. В то время ему еще не было тридцати, в конце войны он летал на «Бофайтерах» в Бирме, а вернувшись, подружился с Джоком Колвиллом. Монтегю-Браун, как Колвилл, официально числился сотрудником министерства иностранных дел. После отставки Черчилля Гарольд Макмиллан попросил его

остаться на службе у бывшего премьер-министра, чтобы помогать Старику поддерживать связи с зарубежными руководителями, которые наверняка будут интересоваться его мнением по множеству вопросов. Макмиллан заверил Монтегю-Брауна, что эта служба продлится не дольше двух лет. Но она продлилась почти десять лет, до смерти Черчилля. Хотя зарплату Монтегю-Брауну платило министерство, Черчилль настоял на том, чтобы самому оплачивать его услуги. Как вспоминал Монтегю-Браун: «Черчилль не хотел чувствовать себя хоть в чем-то обязанным правительству».

Монтегю-Браун озаглавил свои воспоминаниях о тех годах Long Sunset («Долгий закат»), что в равной степени относится как к Черчиллю, так и к Британской империи. Он назвал часть книги — примерно половину, — в которой идет речь об отставке Черчилля, Late Afternoon («Конец дня»). И хотя тени становились длиннее, Черчилль не мог заставить себя совсем уйти из политики. Монтегю-Браун написал: «Не вызывает сомнения, что УСЧ очень любил свою семью. Но не вызывает сомнений и то, что она стояла на втором месте после его замыслов и политической деятельности. Разве могло быть иначе?» Но это не прошло бесследно для его жены и детей, хотя Черчилль, конечно, не хотел этого, и, по иронии судьбы, его конец дня длился достаточно долго, чтобы он смог увидеть эти последствия[2].

После поражения на выборах в 1951 году Рэндольф уже никогда не занимал государственные должности. Он пошел по стопам отца, продолжив семейные традиции чтения лекций, написания очерков в качестве свободного журналиста и биографий. Написанная им биография Lord Derby, King of Lancashire («Лорд Дерби: король Ланкашира») была опубликована в 1959 году и получила признание критиков. Монтегю-Браун написал, что сын демонстрировал такие же способности к журналистике и вообще писательскому труду, как и отец. В то время Рэндольф начал собирать документы своего деда, лорда Рэндольфа Черчилля, собираясь написать официальную биографию сэра Уинстона. Хотя Черчилль уже давно решил позволить Рэндольфу написать его биографию, он специально проинструктировал учредителей литературного фонда, что эта работа должна начаться только после его смерти. Рэндольф, такой же упрямый, как отец, добивался разрешения приступить к работе при жизни отца. Наконец в 1960 году Черчилль уступил. Рэндольф приступил к работе с такой же военной точностью, как отец к написанию воспоминаний о войне, и почти с той же командой. Однако, вспоминал военный историк А.Дж.П. Тейлор, Рэндольф «отвратительно обращался с исследователями, в своей привычной заносчивой манере. Он относился к ним как к домашней прислуге». Поэтому в команде Рэндольфа никто долго не задерживался[3].

Сын унаследовал отцовский острый ум, но у Рэндольфа он был с зазубринами, и это не помогло ему на политическом поприще, на-

писал Монтегю-Браун. Однажды Монтегю-Браун отговорил Рэндольфа следовать за Энтони Иденом (которого тот презирал) на конференцию в Вашингтон, чтобы написать, несомненно, негативный отзыв в журнал. Рэндольф ответил: «Ну да, думаю, вы правы. Это станет последней каплей, переполнившей чашу». Рэндольф, как его сестра Сара, был склонен к расточительству и поэтому регулярно обращался за деньгами к родителям, то есть в фонд Чартвелла. На деньги фонда он приобрел дом в Лондоне и трехэтажный загородный дом из красного кирпича в Ист-Бергхолте, в графстве Суффолк. Черчилль основал фонд, чтобы помочь детям, но Клементину возмущало, что дети постоянно обращались к этому источнику дохода. Она считала, позже написала Мэри, что «плоды гениальности и великодушия Уинстона «вылетали... в трубу» для удовлетворения прихотей их «безответственных детей». В 1948 году Рэндольф женился на Джун Осборн. В 1949 году у них родилась девочка, которую назвали Арабеллой в честь сестры 1-го герцога Мальборо, любовницы короля Якова II. Но Рэндольф, написала Мэри, «по-видимому, не годился для семейной жизни», и это было еще мягко сказано. Он развелся с Джун в 1962 году. Позже она покончила с собой. Рэндольф успел написать два тома биографии отца, прежде чем умер от инфаркта 6 июня 1968 года; ему было 57 лет. Его смерть, как жизнь, прошла в тени: в этот день был убит Роберт Ф. Кеннеди. Смерть Рэндольфа прошла почти незамеченной[4].

Из детей Черчилля только Мэри обладала способностью жить в браке. Она была замужем за Кристофером Сомсом, — он получил титул барона в 1978 году, — с которым прожила сорок лет, до его смерти в 1987 году. У них было пятеро детей — старший, Николас, как и отец, сделал карьеру в правительстве, в качестве члена парламента от Консервативной партии, от Бедфорда.

Жизнь Сары и Дианы, в том числе семейная, проходила под темной звездой. Когда Монтегю-Браун спросил, почему в семье Сару называют Мулом, Черчилль ответил: «Потому что она чертовски упряма и не приносит потомства». Большую часть времени в течение последних шести лет Черчилля в качестве премьер-министра Сара провела в Соединенных Штатах, играя на сцене и снимаясь в кино. Она гастролировала по стране с «Филадельфийской историей» в постановке Театральной гильдии, а в 1951 году принимала участие в бродвейской версии с Джеффри Линном. В том же году она подписала контракт с киностудией MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) и снялась в музыкальной мелодраме «Королевская свадьба» с Джейн Пауэлл, Питером Лоуфордом и Фредом Астером. В начале 1952 года она была впервые приглашена в программу телеканала Эй-би-си «Зал славы Холлмарк». Создателем этой программы был Джойс Холл, основатель бренда «Холлмарк», а также большой поклонник сэра Уинстона Черчилля, у

которого Холл купил права на воспроизведение его картин на открытках «Холлмарк». Это была эпоха прямого эфира, и Сара преуспевала — «Амал и ночные гости», «Жанна д'Арк», роль Офелии в «Гамлете» в двухчасовой постановке Холлмарка в 1953 году. В 1949 году она вторично вышла замуж, как и в первый раз, сбежав в Соединенные Штаты, на этот раз это был Си-Айленд, Джорджия. Жених, Энтони Бошам, во время войны служил в Бирме в качестве военного художника и фотографа. Черчилль, по непонятной причине, невзлюбил его с первой встречи в 1949 году, и, возможно, поэтому Сара решила провести свадебную церемонию в Джорджии. Ее сестра Мэри — леди Сомс — называла Сару «солнечным лучом» в жизни родителей; Энтони Монтегю-Браун окрестил ее «ярчайшей звездой»[5].

Но к концу 1950-х звезда Сары начала угасать, а брак с Этони Бошамом распадаться. Он окончательно распался в июле 1957 года, когда Бошам покончил жизнь самоубийством, приняв горсть снотворных таблеток. Смерть Бошама наступила почти ровно через десять лет после того, как безнадежно влюбленный в Сару Гил Уайнант вернулся домой в Америку и покончил с собой выстрелом в голову. Сара, у которой всегда были проблемы с алкоголем, начала постепенно скатываться в алкогольную пропасть. На следующий год в Малибу ее арестовали и оштрафовали на 50 долларов за появление в пьяном виде в общественном месте. Ее отец прожил достаточно долго, чтобы прочитать в газетах о еще трех ее арестах за пьянство в Британии и о десятидневном тюремном заключении за нарушение испытательного срока. В 1959 году в письме Клементине, отправленном с Ривьеры, он объяснил падение Сары «трудностями, которые испытывают многие женщины, когда в их жизни происходят перемены». Наконец в 1962 году Сара, казалось, обрела счастье, когда встретила Генри Туше-Джессона, 23-го барона Одли, и вышла за него замуж. Спустя пятнадцать месяцев Одли умер от инфаркта. Театральная и телевизионная карьера Сары подошла к концу. В 1967 году она написала короткое лирическое посвящение отцу Thread in the Tapestry («Нить гобелена»). В 1981 году она опубликовала свою автобиографию Keep on Dancing («Продолжая танцевать»), в которой откровенно рассказала о своей борьбе с алкоголизмом. Она умерла, так и не излечившись от алкоголизма, в 1982 году, в шестидесятисемилетнем возрасте[6].

Диана страдала от приступов депрессии, усталости и нервного напряжения, как ее мать, но Клементина, вместо того чтобы найти общий язык с дочерью, всегда сохраняла эмоциональную дистанцию. В 1953 году у Дианы случился нервный срыв, и она была в очередной раз на грани нервного срыва примерно в то время, когда ее отец ушел в отставку. В отличие от Рэндольфа и Сары она не находила утешения в бутылке. Именно Диана успокаивала Рэндольфа и Сару во время их жизненных кризисов; Диана была единственной, кто пришел на

похороны Генри Одли. Она была верной дочерью и женой. В 1935 году она вышла замуж за Дункана Сэндиса, который в 1957 стал министром обороны, а в 1960 году Государственным секретарем по делам Содружества. В 1956 году они разъехались. В 1960 году Сэндис развелся с Дианой и вскоре вступил в новый брак. Диана, сочувствуя людям в тяжелом эмоциональном состоянии, в 1962 году вступила в организацию «Самаритяне», которая оказывала круглосуточную помощь тем, кто задумывался о самоубийстве.

В ночь с 19 на 20 октября 1963 года Диана умерла от передозировки снотворного. Ее сестра Мэри сообщила об этом Клементине, которая, находясь на грани нервного срыва, недавно была госпитализирована и проходила курс лечения седативными препаратами. Мэри пришлось сообщить эту новость отцу, который уже плохо соображал от старости. Он долго пытался осознать услышанное, а затем «погрузился в отчужденное молчание». Отец и мать были слишком слабы, чтобы присутствовать на похоронах Дианы; ее похоронили на маленьком церковном кладбище в Блейдоне, где покоились родители Черчилля[7].

Последняя часть мемуаров лорда Морана «Черчилль: Борьба за выживание, 1940—1965» в основном посвящена приступам депрессии, «черной собаке» Черчилля, после выхода в отставку. Это рассказ — страдающий преувеличениями и неполный — о пути Черчилля к старческой немощи и медленном угасании физических и умственных сил. В книге есть главы «Лебединая песня», «Депрессия», «Немощь плоти», «Умирающий гладиатор». Моран описывает в хронологическом порядке борьбу с карбункулами в 1955 году (которые Черчилль считал «злокачественными»), с пневмонией в 1958 году и последствиями двух малых инсультов в 1959 году. Черчилль не боялся смерти, но болезни вызывали у него приступы беспокойства. Позже Монтегю-Браун написал, что Моран был всегда готов прийти на помощь своему самому важному — единственному — пациенту.

Хотя Моран утверждал, что Черчилль дал согласие на публикацию его воспоминаний, связанных с состоянием здоровья Черчилля, он не смог подтвердить это документально. Семья Черчилля, тогда и позже, высказывала претензии Морану. Его рассказ о первых пяти годах после выхода в отставку изобилует сценами черчиллевского одиночества и уныния. Моран назвал период с 1954 по 1964 год «длинной хроникой отчаяния». Он написал, что в эти годы Черчилль забросил чтение: он взялся читать и не закончил «Войну и мир», «Тома Джонса», «Роба Роя» Вальтера Скотта и этюд Маколея о Мильтоне, как и многие другие книги. У Черчилля на прикроватном столике всегда лежала стопка книг, взятых в местной библиотеке.

Черчилль любил проводить время на свежем воздухе, за рисованием и кормлением своего зверинца, включая Тоби, волнистого попу-

гайчика, которого Черчиллю подарили на 80-летие. Черчилль всюду брал Тоби с собой, даже на Ривьеру. Моран предложил Черчиллю обучить Тоби телефонному номеру Чартвелла на тот случай, если он улетит. Черчилль ответил, что он сам не знает этот номер. Увы, Тоби обрел свободу в 1960 году, обнаружив открытое окно в Hôtel de Paris. В последние годы в Чартвелле Старик регулярно смотрел фильмы, которые показывали в 21:15: «Мост через реку Квай», «Самый длинный день», «Пушки острова Наварон», мюзикл «Жижи» 1958 года и все фильмы Диснея. Моран написал, что в эти годы Старик проводил дни «глядя в огонь, ворошил палкой угли в камине, когда в комнате становилось холодно», пока рядом топталась «черная собака» депрессии. Это были «печальные годы дряхления», когда Черчилль стал «главным плакальщиком на собственных затянувшихся похоронах»[8].

Это практически не соответствует тому, что было в первые пять-шесть лет после выхода в отставку, и только отчасти соответствует двум последним годам жизни Черчилля. Монтегю-Браун пишет, что за тринадцать лет службы у Черчилля он ни разу не слышал, чтобы Старик упоминал «черную собаку». Черчилль оплакивал закат Британской империи, вспоминал Монтегю-Браун, и был глубоко опечален опасным состоянием дел в мире. Черчилль выразил Монтегю-Брауну свое беспокойство, как мог выразить только он: «Я всегда боялся, что давление масс в Соединенных Штатах может заставить их применить водородные бомбы (H-bombs), пока русские не создали свои. Но массам всегда было свойственно не произносить «Н», там где это следует». Меланхолия Черчилля, написал Монтегю-Браун, была «объективной, отстраненной и, к сожалению, логичной»; ее причиной не были «личное настроение или глубокая депрессия»[9].

Выйдя в отставку, Черчилль занялся публикацией своего четырехтомного сочинения «История англоговорящих народов». Он регулярно обедал в Другом клубе и по крайней мере раз в год посещал Харроу. В 1956 году Иден пригласил его на завтрак в «номер 10», на встречу с Булганиным и Хрущевым, кремлевскими лидерами, хотя на той неделе Черчилль сказал Морану, что, по его мнению, настоящим хозяином в Кремле вскоре будет Хрущев. Черчилль никогда не отказывал себе в удовольствии вкусно поесть и выпить и, выйдя в отставку, не изменил этой привычке: по-прежнему ел ростбифы, пил бренди и виски и курил сигары. Он написал десятки пейзажей, которые удостоились признания критиков. Выдающийся искусствовед и историк Эрнст Г. Гомбрих в журнале Atlantic Monthly, что в эссе Черчилля «Живопись как времяпрепровождение» содержатся идеи «настолько глубокие... что я не могу не включить их в свою книгу Art and Illusion («Искусство и иллюзия»)[10].

Его страсть к путешествиям тоже осталась неизменной. После отставки он побывал на Сицилии, в Марокко, множество раз на Фран-

цузской Ривьере, на Итальянской Ривьере, в Риме, Париже и Нью-Йорке. В 1959 году он прилетел в Нью-Йорк, оттуда отправился в Вашингтон, опять остановился в Белом доме, а затем вместе с президентом Эйзенхауром побывал на поле битвы при Геттисберге; неподалеку находился дом президента. Во время экскурсии, когда вертолет повис над полем сражения, Черчилль рассказал о битве при Геттисберге — подробно описал расположение войск, названия дивизий и имена командующих, точное время и результат каждой схватки. Он стал медленнее ходить, почти потерял слух, но продолжал ясно мыслить.

В 1959 году он выдвинул свою кандидатуру от Вудфорда и вернулся в палату. В конце 1959 года он отправился в Кембридж, где присутствовал на закладке первого камня колледжа Черчилля и посадил два саженца дуба. По его приказу с 1955 года Профессор и Джок Колвилл собирали деньги по подписке для колледжа, когда Черчилль, держа в уме Массачусетский технологический институт, предложил создать такой же институт науки и техники в Британии. Черчилль первым пожертвовал 25 тысяч фунтов, и к концу десятилетия было собрано более 3 миллионов фунтов. Открытие колледжа Черчилля состоялось в 1964 году. В уставе был пункт — предложенный Клементиной и одобренный Черчиллем, — предусматривающий равные условия приема для женщин и мужчин. В 1972 году колледж Черчилля стал первым среди колледжей Оксфорда и Кембриджа, куда женщин принимали на общих основаниях, и они могли жить в общежитии, расположенном на территории колледжа[11].

В январе 1957 года королева Елизавета пригласила Черчилля в Букингемский дворец, чтобы он помог ей выбрать нового премьер-министра — Гарольда Макмиллана или Рэба Батлера. Необходимость возникла в связи с отставкой Энтони Идена, здоровье которого резко ухудшилось; причиной стала беда, постигшая Великобританию во время Суэцкого кризиса в конце 1956 года.

Все началось летом, когда президент Египта Насер национализировал Суэцкий канал в отместку за то, что Британия и США отказались финансировать грандиозный проект Асуанской плотины в знак протеста против крепнущих дружеских отношений Насера с Советским Союзом и признания Египтом Китайской Народной Республики. Национализация канала нарушила соглашение, подписанное Египтом, Францией и Британией в 1954 году. 29 октября израильская армия нанесла превентивный удар с целью захвата Синайского полуострова. Британцы и французы заранее одобрили этот шаг. Таким образом, когда Израиль и Египет начали войну, а неприкосновенность зоны канала оказалась под угрозой, вмешались Британия и Франция. На самом деле истинной целью Идена было избавиться от Насера, которого Иден терпеть не мог за панарабский национализм, а фран-

цузы презирали за помощь алжирским мятежникам. Спустя сорок восемь часов после израильской атаки Королевские военно-воздушные силы нанесли удар по войскам Насера, а спустя три дня французы и британцы высадили десант у Порт-Саида, в северной части канала, который вскоре захватили. Америку заранее не известили об операции, и президент Эйзенхауэр пришел в ярость. Через несколько дней Соединенные Штаты вместе с Советским Союзом проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую Британию и Францию. Большинство британцев волновала моральная сторона нападения, позже написал Колвилл, но все были уверены, что успех гарантирован. Они ошибались. 6 ноября, Иден с кабинетом министров был запуган американскими угрозами обрушить фунт стерлингов и приказал прекратить огонь (не предупредив французов)[12].

Вот почему Черчилль явился на аудиенцию к королеве. Он посоветовал выбрать Макмиллана, позже объяснив решение друзьям, что остановил свой выбор на Макмиллане, поскольку он старше и намного опытнее. Но все знали, что Батлер, хотя верно служил Черчиллю с 1940 года, был сторонником Чемберлена и его политике умиротворения и в разговоре с Колвиллом назвал черчиллевскую критику Чемберлена «грубой». С тех пор Батлер в частных разговорах ясно давал понять, что считает Черчилля политическим оппортунистом и что он, Батлер, наиболее подходящая кандидатура на должность премьер-министра. Королева выбрала Макмиллана. Иден отправился в свой загородный дом, «Розовый коттедж», в Уилшире, писать воспоминания. Он остался близким другом Черчилля, а Черчилль, в свою очередь, был верен Идену. По убеждению Черчилля (это он сообщил Морану), Идена «подставил» кабинет, за то, что Иден отказался довести до конца дело с Суэцким каналом. За обедом Черчилль сказал Колвиллу, что считает Суэцкую операцию «самой непродуманной и плохо осуществленной». На вопрос Колвилла, как бы поступил он в этой ситуации, Старик ответил: «Я бы никогда не решился; а если бы решился, то никогда бы не осмелился остановиться»[13].

Спустя девять месяцев, 4 октября 1957 года, советские ученые установили до блеска отполированную металлическую сферу весом 184 фунта на двухступенчатую ракету Р-7 «Семерка» и запустили спутник в стратосферу и в космос, где он стал вращаться вокруг земли, совершая полный оборот примерно за 90 минут. Запуск явился полной неожиданностью; никто на Западе этого не предвидел. Теперь они его видели в небе. Русские назвали его «Спутник-1»; он был размером с футбольный мяч. В западной прессе этот аппарат назвали «Спутником Земли». Он был оснащен радиомаяком, который посылал на землю постоянный сигнал. Американские ученые утверждали, что Спутник передает секретные сообщения. Никаких секретных сообще-

ний Спутник не посылал, но недвусмысленно намекал: мы можем до вас добраться. Несколько раз в день Спутник проносился над Соединенными Штатами и Западной Европой, едва видимый в бинокль на рассвете и на закате (именно для этого его отполировали). Клементина, вернувшись в Англию с Ривьеры, где отдыхала на вилле Макса Бивербрука La Capponcina, написала короткую записку Уинстону, который в то время уютно устроился на Французской Ривьере, на La Pausa, вилле его европейского литературного агента Эмери Ривза. «Что ты думаешь о спутнике Земли? Я слышала по радио — звучало угрожающе»[14].

Так и было. Температура холодной войны приближалась к абсолютному нулю. Советская ракета, с помощью которой был запущен Спутник, имела радиус действия 5 тысяч миль, вполне достаточно, чтобы долететь до Лондона. Но гораздо хуже было то, что, как продемонстрировали Советы при втором запуске месяц спустя, эти ракеты могли нести бомбовую нагрузку более 1000 фунтов, вес маленькой водородной бомбы, хотя при запуске второго спутника единственным грузом была собака по кличке Лайка, которую американские журналисты назвали Muttnik. Гарольд Николсон считал, что британцы больше беспокоятся о собаке, чем о возможных последствиях — людях в ракетах с ядерными бомбами, кружащими вокруг Земли в поисках мишеней. Действительно, члены Общества поощрения доброты к животным предложили собраться у советского посольства и провести две минуты молчания. Параноя на Западе достигла немыслимых размеров. New York Times опубликовала статью, в которой доктор Фред Л. Уиппл, директор Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже, штат Массачусетс, заявил, что «вполне вероятно, русская ракета уже на пути к Луне», где она взорвет водородную бомбу во время лунного затмения в конце недели в рамках празднования 40-й годовщины ленинской ноябрьской революции 1917 года. «Семерка» обладала низкой точностью, но это не имело принципиального значения, ведь разговор шел о водородной бомбе.

Несколько месяцев назад президент Эйзенхауэр поручил Хорасу Роуэну Гейтеру из фонда Форда создать комиссию для оценки американского ракетного потенциала. Через месяц после запуска Спутника рекомендации Гейтера попали в прессу: строить больше ракет, быстрее и строить убежища на случай ядерной атаки[15].

Запущенный в небо Спутник ознаменовал начало ядерно-ракетного века, как предсказал Черчилль в своей последней большой речи в палате общин. Но сэр Уинстон Черчилль уже не был активным участником событий. В ответном письме Клементине он написал, что сам по себе Спутник его не беспокоит; он обеспокоен советскими научно-техническими успехами. «Мы должны продолжать бороться за существование, — написал он, — и рассчитывать на союз с Америкой».

Мировая пресса не интересовалась мнением Черчилля о спутнике Земли. К тому времени журналистов интересовали только сообщения о состоянии его здоровья. Черчилль всю жизнь старался воплотить образ, зародившийся в его дерзком воображении, что, как заметил Оскар Уайльд, помогало жить, а не существовать. Черчилль воплотил свою мечту в реальность: он стал придуманным им самим сэром Уинстоном Леонардом Спенсером Черчиллем, величайшим политиком XX века. Он боролся с чудовищем — Гитлером, не превращаясь в чудовище. Он убедил соотечественников во время своего последнего года в «номере 10» взяться за создание водородной бомбы, чтобы удерживать советских диктаторов за железным занавесом. Однако в 1958 году новые эпохи и новые поколения — ядерные, космические, битники, рок-н-ролл, телевидение — догнали и перегнали сэра Уинстона. Он уже не играл роли в истории, он стал зрителем.

12 сентября 1958 года Уинстон и Клементина праздновали свою 50-ю годовщину свадьбы на вилле La Capponcina. Клементина наконец стала благосклонно относиться к Максу, но терпеть не могла Ривьеру, особенно когда ее муж проигрывал в казино Монте-Карло. 22 сентября Черчилль с Клементиной отправились в круиз по Средиземному морю, в качестве гостей Аристотеля Онассиса на борту яхты «Кристина», 325 футов, 1850 тонн, переделанной из канадского фрегата — эсминец на языке американцев. Онассис, сказал Черчилль Колвиллу после первой встречи с корабельным магнатом в 1956 году, «выдающийся человек». Онассис думал так же о Черчилле. Сентябрьский круиз стал первым из восьми круизов, совершенных Черчиллем на борту яхты «Кристина» в ближайшие пять лет, в Эгейском море, в Средиземном море и в Вест-Индии в 1960 и 1961 годах, когда Онассис проложит курс от Карибов к Восточному побережью Соединенных Штатов, к Нью-Йорку, чтобы Черчилль мог еще раз посетить свою вторую страну[16].

Онассис вошел в узкий круг семьи, друзей и помощников Черчилля, которые заботились о нем. В любой момент в Чартвелл на чай мог заглянуть Бернард Монтгомери, на обед Рэндольф и Ивлин Во, внуки, чтобы прогуляться по фермам Чартвелла. Просьбы дать интервью, которых в первые годы было очень много, рассматривал Монтегю-Браун, который в последние годы составлял за Черчилля короткие речи и писал письма за подписью Великого человека. С 1958 года за Черчиллем ухаживали две сиделки; две машинистки всегда были рядом, чтобы печатать под диктовку, мыть кисти и палитры и помогать им с Клементиной составлять план мероприятий. Господин Шоу — «лейборист, но славный малый», сказал Черчилль сиделке, — обслуживал чартвеллский кинопроектор. Черчилль никогда не ужинал в одиночестве; если рядом не было членов семьи или друзей, с ним за

стол садился Монтегю-Браун; был такой период, когда они ужинали вдвоем пятнадцать раз подряд. В придачу он прослушал, в благоговейном молчании, пятнадцать лекций Черчилля по истории Британии. Монтегю-Браун написал, что застольные беседы с Черчиллем «всегда были интересными и доставляли удовольствие» и «никогда, никогда скучными». Все, кто окружали Великого человека, фактически «служили» сэру Уинстону. Телохранитель Черчилля, сержант уголовной полиции Эдмунд Мюррей, все время был рядом, не дальше соседней комнаты. Лорд Моран появлялся по первому зову, а вызывал его Черчилль часто, нередко, чтобы пожаловаться на воображаемые недуги. Как-то Черчилль, вспоминал Монтегю-Браун, позвонил Морану, чтобы сказать, что у него «температура трупа». «Я что, умер?» — спросил он доктора. Затем, после долгой паузы, признался, что ошибся, температура нормальная, но «я все равно хочу, чтобы вы зашли»[17].

Его последнее выступление в защиту империи состоялось в ноябре 1958 года, в Париже, когда Шарль де Голль (в то время французский премьер-министр, а в декабре избранный президент Пятой республики) наградил его орденом Освобождения (Croix de la Libération). Черчилль произнес короткую речь, говорил по-английски, объяснив собравшимся, что не хочет «подвергать испытаниям мрачных дней», делая замечания по-французски. Он назвал де Голля «символом души Франции и ее непобедимой стойкости духа в тяжелых обстоятельствах». В завершение он сказал: «Будущее неопределенно, но мы можем быть уверены, что если Британия и Франция, которые так долго стояли в авангарде западной цивилизации, будут и дальше держаться вместе, с нашими империями, с нашими американскими друзьями... тогда у нас будет основание для уверенности и надежды. Я благодарю всех вас за оказанную мне честь. Vive la France![18].

Упоминание «наших империй» прозвучало по крайней мере нелепо. К 1958 году французы потеряли Индокитай: Камбоджа обрела независимость в 1953 году; в Южном Вьетнаме продажный премьер-министр Нго Динь Зьем отчаянно старался сохранить свой режим с помощью недавно прибывших американских военных советников. Алжир тоже отчаянно стремился к независимости. Разномастные революционные армии — объединенные только желанием изгнать французов — воевали с французской армией с 1954 года до окончательной победы в 1962 году. Эта война унесла жизнь по меньшей мере 300 тысяч алжирцев, и не менее миллиона потомков французских поселенцев были высланы из страны.

Британцы тем временем теряли мелкие жемчужины своей короны: в июле иракские офицеры свергли и убили короля Фейсала II из династии Хашимитов, отца которого британцы возвели на трон в 1932 году. Новый режим, поддерживаемый Насером и имевший явную

промосковскую направленность, потребовал, чтобы британские ВВС покинули авиабазу под Багдадом. В 1957 году колония Золотой Берег вышла из состава империи, став независимым государством Гана. Кения последовала ее примеру в 1963 году, после длившегося десять лет мау-мау, которое унесло не менее 20 тысяч жизней кенийцев и много жизней белых европейских поселенцев. Среди жертв мау-мау было 32 британских поселенца, в том числе маленькие дети, чья гибель вызвала гнев Британии и Черчилля. Ответ британцев был жестоким. В какой-то момент Черчилль даже хотел зачитать клятву обряда посвящения мау-мау — он назвал ее «невероятно мерзкой» — в палате. В ней были призывы поедать плоть выкопанных из могил тел и глаза врагов, совокупляться с овцами и пить «коктейль Kaberichia» — смесь спермы и менструальной крови. В конце концов он решил раздать членам парламента текст посвящения. В Кении британская администрация карала смертной казнью за эту клятву; более тысячи подозреваемых мау-мау были повешены[19].

Черчилль до конца оставался непоколебимым защитником Британской империи. За несколько месяцев до его отставки президент Эйзенхауэр высказал предположение — несколько наглое, — что достойной кульминацией черчиллевской карьеры будет прощальная речь, в которой он скажет, что колониализм «как способ взаимоотношения между народами уходит в прошлое». Черчилль не замедлил язвительно ответить: «Я с большим интересом прочел все, что вы написали мне о том, что называется колониализмом, а именно оказание помощи отсталым расам и расчистка джунглей». Он заявил, что в Индии, «со всей ее историей, религией и древними деспотичными формами правления, Британия расскажет историю, которая будет неплохо смотреться на фоне ближайшей сотни лет». Он добавил, что политика, которую защищает Эйзенхауэр, «полностью соответствуют политике, проводимой в данное время в колониях Британской империи». Однако: «Должен сказать, что в одном я среди отстающих. Я несколько скептически отношусь к всеобщему избирательному праву применительно к дикарям».

Последние несколько лет представляли собой «беспорядочный сюжет», написал Монтегю-Браун, имея в виду как свою жизнь, так и жизнь Черчилля. В начале 1960-х Монтегю-Браун обнаружил, что ему требуется всего пара часов в день для выполнения официальных, дипломатических обязанностей на службе у Черчилля. Шли месяцы и годы, и Монтегю-Браун — и иногда его жена и дочь или Колвиллы — дрейфовал с Черчиллем с одной виллы на Ривьере на другую, из одного порта назначения в другой на борту «Кристины». Для развлечения Черчилля Онассис приглашал знаменитостей, включая своих любовниц, Марию Каллас, Грейси Филдс и Грету Гарбо. «Без сомнения, —

вспоминал внук Черчилля, названный в его честь, — мой дед наслаждался обществом прекрасных женщин». В конце прошлого века Черчилль написал матери после первого путешествия через Атлантический океан: «Не думаю, что когда-нибудь отправлюсь в морское путешествие ради удовольствия». Во время того путешествия его особенно раздражало полное отсутствие «приятных людей» на борту. Теперь, в последние годы жизни, он с огромным удовольствием бороздил морские просторы на борту «Кристины» в обществе веселых и приятных спутников. Во время одного из таких путешествий Черчилль предложил, чтобы все мужчины отрастили усы, и они так и сделали. Монтегю-Браун считал, что Черчиллю усы были «не к лицу». Как-то раз Монтегю-Браун услышал, как Черчилль обращался к дельфину, проплывавшему вдоль борта: «Хотел бы я иметь возможность общаться с тобой». Это была хорошая жизнь[20].

В 1961 году, когда «Кристина» совершила плавание на Карибы, Черчилль в шестнадцатый — и последний — раз посетил Соединенные Штаты. У мыса Хаттерас бушевал шторм, когда «Кристина» шла в Нью-Йорк вдоль побережья Каролины. Черчилль, уже восьмидесятишестилетний, решил забраться на рояль в гостиной, чтобы наблюдать за буйством волн. Ему помогли четыре здоровых греческих моряка. Он был Черчиллем; иначе и быть не могло. Когда из-за сильного волнения обедать за столом не представлялось возможным, Черчилль ел в постели, обложившись подушками и крепко зажав между ног бутылку шампанского Pol Roger. Онассис и Монтегю-Браун составляли ему компанию, сидя по-турецки на полу со своими бутылками шампанского. На борту «Кристины» Черчилль мог предаваться любимым занятиям: часами играл в безик, курил сигары, пил бренди. Но в 1961 году силы настолько оставили Черчилля, что по прибытии «Кристины» в Нью-Йорк Монтегю-Браун был вынужден вежливо отказать президенту Джону Ф. Кеннеди, который по телефону пригласил Черчилля провести несколько дней в Белом доме. Пришла пора возвращаться домой[21].

Когда в начале ноября 1895 года двадцатилетний младший офицер Уинстон Черчилль сошел по трапу «Этрурии» на пирс на реке Гудзон, впервые оказавшись на родине матери, запряженные лошадьми омнибусы ездили по пыльным, покрытым щебнем, улицам Нью-Йорка. Над Девятой и Третьей авеню проходила надземная железная дорога (сбрасывая горячие угли на головы незадачливых пешеходов); первая станция метро в Нью-Йорке открылась почти десять лет спустя. А в Лондоне уже третье десятилетие работала подземная железная дорога между вокзалами Паддингтон и Кингс-Кросс, но молодой Черчилль не пользовался этим видом общественного транспорта и проехал в метро единственный раз за всю оставшуюся жизнь. Во время блица Черчилль с доверием относился к своим бронированным автомоби-

лям, хотя сам не садился за руль — не потому, что был стареющим человеком из Викторианской эпохи, неспособным разобраться в принципе действия автомобиля, а потому, что он был человеком Викторианской эпохи, который считал, что экипажами, даже моторизованными, должны управлять водители в ливрее. Черчилль достиг зрелых лет, когда Орвил Райт в Китти-Хоке поднялся в воздух на летательном аппарате из еловых планок, ткани и тросов, построенном вместе с братом Уилбуром. К тому времени первые адские устройства, сконструированные Томасом Хамбером и Генри Фордом, распугивали коров, лошадей и пожилых дам по обе стороны Атлантики. Черчилль видел в автомобиле прообраз танка, в аэроплане — прообраз истребителя и бомбардировщика. В первые десятилетия XX века в своих журнальных статьях он рассуждал о природе ракет, ядерной энергии и телевидения. Он анализировал этические и политические последствия каждого нового открытия, сделанного в первой половине XX века. В 1895 году «Этрурия» еще несла паруса на тот случай, если паровые двигатели откажут во время десятидневного путешествия через Атлантику. Черчилль покинул свою вторую родину последний раз 14 апреля 1961 года, на борту «Боинга-707» компании Pan American World Airways, который уносил его домой через океан со скоростью более 500 миль в час на высоте 7 миль над уровнем земли.

В одном Моран был абсолютно прав: после того как Черчилль в 1958 году перенес пневмонию, он стал болеть чаще, и болезни становились более серьезными. Вслед за инсультами, случившимися в 1959 году, последовал перелом позвоночника в 1960 году, когда Черчилль упал в спальне. Моран прописал постельный режим. Черчилль отказался его придерживаться. Забота о Черчилле вылилась в «боевые действия» между медсестрами и пациентом, как вспоминал медбрат Рой Хоуэллс. В июне 1962 года Черчилль сильно ударился, когда поскользнулся и упал в своем номере в Hôtel de Paris. Периодически впадающий в беспамятство Черчилль сказал Монтегю-Брауну, что хотел бы умереть в Англии. Премьер-министр Гарольд Макмиллан отправил Comet* британских BBC, чтобы доставить Великого человека домой.

Прогнозы журналистов были самыми мрачными. Монтегю-Браун решил, что ему придется сообщить герцогу Норфолку приступить к операции «Оставь надежду» — государственным похоронам Черчилля. Во время полета в Лондон Черчилль, которому дали большую дозу успокоительного, проснулся и пробормотал Монтегю-Брауну: «Не думаю, что снова туда вернусь, это место приносит несчастье. Сначала Тоби, теперь это». Монтегю-Браун уже забыл о волнистом попугайчике Тоби, но Черчилль помнил. Он был слаб телом, но не умом.

* Comet («Комета») — первый в мире коммерческий реактивный авиалайнер, предназначенный для выполнения рейсов малой и средней дальности.

По прибытии в Лондон, лежа на носилках, он поднял руку со сложенными буквой V пальцами. Его прооперировали, вставив спицу в бедро. После трех недель, проведенных в больнице, его отвезли на Гайд-парк-Гейт, 28, где через три месяца он мог без посторонней помощи выходить гулять в маленький садик за домом[22].

Он сказал Морану, что чувствует, что «засиделся», и в 1962 году это действительно было так. Профессор — лорд Червелл — умер в 1957 году, ему было 71 год. Для Черчилля он был советником по науке и верным другом с 1920 года. Брэнден Брекен, пятидесятисемилетний, последовал за Червеллом в 1958 году после тяжелых последствий рака горла и лучевой терапии кобальтом. Во время визита в Америку в 1959 году Черчилль навестил в больнице Фостера Даллеса и Джорджа Маршалла: первый умирал от рака, второй от последствий двух инсультов и отказа почек. Спустя две недели Даллес — про которого Черчилль как-то сказал, что он «единственный известный мне слон, который носит с собой посудную лавку», — умер. Маршалл покинул мир в октябре. Аланбрук умер в 1963 году, успев опубликовать военные дневники, которые задели Черчилля за живое. Еще одна, хотя более слабая, связь с прошлым была разорвана в 1964 году, когда умер Монтегю Фиппен Порч, который был на три года моложе Черчилля. Порч был третьим и последним мужем Дженни Черчилль, то есть отчимом сэра Уинстона. Самый тяжелый удар — после смерти Дианы — постиг Черчилля 9 июня 1964 года, когда Макс Бивербрук, который был его другом на протяжении шестидесяти лет, скончался от рака в восьмидесятипятилетнем возрасте. Повествование об этих последних годах Монтегю-Браун начал со слов: «Это история заката». Закат начался в 1963—1964 годах с приступов, рецидивов и восстановлений, но он приближался, неумолимо и непреклонно[23].

Черчилль с большим удовольствием слушал пластинки со старыми танцевальными мелодиями или военными маршами, чем смотрел телевизор. И хотя ему понравился фильм «Морская охота» с Ллойдом Бриджесом, но в целом он был убежден, что «это чертово изобретение», как он сказал Морану, «нанесет вред обществу и нации».. Правда, 9 апреля 1963 года он с интересом и удовлетворением смотрел прямую трансляцию из Розового сада Белого дома, где президент Кеннеди объявил его почетным гражданином США. Черчилль стал первым иностранцем, которому конгресс США оказал такую честь. Старик был слишком болен, чтобы лично присутствовать на церемонии, поэтому его представляли Рэндольф и юный Уинстон. Спустя семь недель он отправился в восьмое и последнее путешествие на борту «Кристины», по Эгейскому морю. 4 июля он вылетел из Афин в Лондон, а «Кристина» уже была готова принять следующую гостью, первую леди Жаклин Кеннеди, которой требовалось прийти в себя после смерти маленького сына Патрика. Кроме того, ей требовалось отдохнуть и расслабиться, чтобы под-

готовиться к осенней кампании в Соединенных Штатах, которая включала поездку в Техас в ноябре. Так случилось, что Черчилль включил телевизором поздно вечером в пятницу, 22 ноября. Той ночью Черчилль долго в молчании просидел у камина. Однако, как смерть Дианы месяцем ранее, убийство президента не произвело на него оглушающего воздействия, он уже был слишком стар[24].

Шел 1964 год, и Черчилль по-прежнему оставался членом парламента от Вудфорда, но крайне редко занимал свое место на передней скамье у прохода, где сидел в 1930-х, в «годы пустынного одиночества». Последний раз он посетил палату общин 27 июля и вскоре после этого объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру от Вудфорда на октябрьских всеобщих выборах. Он окончательно покинул Чартвелл в октябре, поселившись на Гайд-парк-Гейт, 27—28, где для него была приготовлена спальня на первом этаже. 30 ноября он отпраздновал свой девяностый день рождения в кругу семьи, Колвиллов и Монтегю-Браунов. Весь день рекой лилось шампанское; привезли корзину уитстаблских устриц. С утра до вечера прибывали торты от доброжелателей, и пришло 70 тысяч поздравительных открыток и телеграмм со всего мира. В середине дня сотни лондонцев собрались на улице перед домом. Новостной фотограф сделал снимок улыбающегося сэра Уинстона в костюме «сирена», выглядывающего из-за раздвинутой шторы. Ужин — бренди, и сигары — затянулся до утра 1 декабря. Спустя десять дней Черчилль появился в Другом клубе; это был его последний визит в клуб.

Рождество прошло спокойно. Черчилль подарил Монтегю-Брауну шеститомник своих военных воспоминаний. Спустя несколько дней Монтегю-Браун попросил Старика подписать книги. Черчилль смог полностью написать свое имя только на первом томе; на шестом он поставил только букву W. Это были последние документы, которые он подписал. Теперь он действительно часами смотрел на огонь в камине. Но по-прежнему завтракал с Клементиной, по-прежнему выкуривал сигару и выпивал бренди после обеда[25].

Но 9 января он отказался и от того и от другого.

Вечером сиделки помогли ему лечь в постель, с которой он больше не поднимался.

12 января, когда Черчилль был уже без сознания, врачи Моран и Брейн диагностировали инсульт и предупредив членов семьи, чтобы они готовились к худшему, худшее, по мнению докторов, должно было произойти очень скоро. Но они недооценили силы своего пациента. Шли дни, миновала неделя. Старые друзья и коллеги заходили, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Зашла и Вайолет Бонем-Картер, но лишь ненадолго: «До свидания, Уинстон», — сказала она, стоя у изголовья его кровати. Затем развернулась и ушла.

Ранним январским днем, примерно за десять лет до этого, Джок Колвилл обратил внимание Черчилля на незначительный государственный вопрос; Старик в это время брился. Черчилль повернулся к Колвиллу и сказал: «Сегодня 24 января. В этот день умер мой отец. В этот день умру и я».

И 24 января 1965 года он умер[26].

Три дня и три ночи гроб с телом Черчилля стоял в Вестминстерском зале. Более 320 тысяч человек, мужчины, женщины и дети, в полном молчании стояли на пути следования траурной церемонии. Серым, холодным воскресным утром 30 января восемь гвардейских гренадеров вынесли гроб, накрытый государственным флагом Соединенного Королевства, из Вестминстерского зала. Гроб установили на лафет, который везли сто матросов Королевского флота в сопровождении почетного караула из почти сотни гвардейцев в меховых киверах. Рэндольф и восемь молодых Черчиллей заняли свои места за лафетом. Спереди и сзади расположились группы из знаменитых полков — гусарского, Королевских ВВС, армейского, в хаки, Королевской морской пехоты, в синем, — все они замерли в ожидании команды. Кавалеристы конной гвардии в красных мундирах сдерживали нетерпеливых коней. Сотни тысяч британцев выстроились вдоль Стрэнд-стрит и Флит-стрит в сторону собора Святого Павла, где на верху лестницы в пурпурном облачении стоял архиепископ Кентерберийский, ожидавший процессию. Вскоре после 9:45 раздался первый из девяноста залпов салюта. Граф-маршал Англии, в шинели и треуголке, поднял жезл.

Тогда, под навязчивый бой единственного барабана, процессия двинулась к собору Святого Павла. Всего дважды за последние 112 лет лицо некоролевской крови удостаивалось государственных похорон: герцог Веллингтонский в 1852 году и Гладстон в 1898 году. Королева Виктория не присутствовала на их похоронах, но королева Елизавета II почтила Черчилля своим присутствием в соборе Святого Павла. К ней присоединились представители более 110 государств, в том числе четыре короля, королева, пять глав государств и шестнадцать премьер-министров. Шарль де Голль, в кепи и форме без знаков отличия, медалей и лент, на голову возвышался над присутствующими. Началась грандиозная церемония[27].

Из собора Святого Павла гроб доставили на Тауэрскую пристань, откуда на катере по Темзе доставили на вокзал Ватерлоо. Там его погрузили в один из пяти пульмановских вагонов состава с локомотивом времен Битвы за Британию класса «Уинстон С. Черчилль», и началось 60-мильное путешествие в графство Оксфордшир, в деревню Блейдон, на маленькое кладбище церкви Святого Мартина, откуда были видны шпили Бленхеймского дворца, где и началась эта история. Лорд Моран, наконец нашедший свой литературный стиль, написал: «И в Блейдоне,

на деревенском кладбище, в безмолвии зимнего вечера, в присутствии семьи и нескольких друзей, Уинстон Черчилль был предан английской земле, которую в свои лучшие годы он сумел сохранить в неприкосновенности».

Спустя восемь месяцев, в 25-ю годовщину Битвы за Британию, декан и капитул Вестминстерского аббатства, по просьбе королевы и парламента, установили плиту из полированного зеленого мрамора размером 60 на 67 дюймов на полу этого тысячелетнего памятника британской истории. Все, кто переступают порог, не могут не заметить эту плиту в нефе, всего в нескольких футах от больших западных дверей. На ней выгравированы слова:

ПОМНИТЕ
УИНСТОНА
ЧЕРЧИЛЛЯ.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

C&R-TCC — *Churchill and Roosevelt: The Complete Correspondence*, 3 vols., edited by Warren F. Kimball. Princeton, 1984. [*Черчилль* и Рузвельт: переписка: 3 т. / под ред. Уоррена Кимболла. Принстон, 1984 (не переводилась на русский язык)]

CAB — British Cabinet Documents, Public Record Office, Kew. [Документы британского кабинета министров. Государственный архив]

ChP — Churchill Papers, Churchill College, Cambridge, U.K. [Документы Черчилля. Черчилль-колледж, Кембридж, Соединенное Королевство]

Hansard — *Record of Parliamentary Debates* (Hansard). [Записи парламентских дебатов]

NYT — *New York Times* [«Нью-Йорк таймс»]

Times — *The Times* of London [лондонская «Таймс»]

TWY — *Harold Nicolson: The War Years 1939—1945*, vol. 2 of *Diaries and Letters*, edited by Nigel Nicolson. [*Гарольд* Николсон: Военные годы 1939—1945: Т. 2. Дневники и письма» / Под ред. Найджела Николсона]

W&C-TPL — *Winston and Clementine: The Personal Letters of the Churchills*, edited by Mary Soames. New York, 2001. [*Уинстон* и Клементина: Личные письма Черчиллей / Под ред. Мэри Сомс]

WSCHCS — *Winston S. Churchill: His Complete Speeches*, edited by Robert Rhodes James, vols. VI (1935—1942), VII (1943—1949), and VIII (1950—1963). London, 1974. [*Уинстон* Черчилль: полный сборник речей / Под ред. Роберта Родоса Джеймса. Т. VI (1935—1942), VII (1943—1949), и VIII (1950—1963)]

The Official Biography of Winston Spencer Churchill, by Martin Gilbert (Boston, 1966—1988) [*Гилберт М.* Официальная биография Уинстона Спенсера Черчилля. Бостон, 1966—1988]

GILBERT 6 — Volume 6. *Finest Hour 1939—1941* [т. 6. «Самый славный час 1939—1941»]

GILBERT 7 — Volume 7. *Road to Victory 1941—1945* [т. 7. «Дорога к победе 1941—1945]

GILBERT 8 — Volume 8. *Never Despair 1945—1965* [т. 8. «Никогда не отчаиваться 1945—1965»]
Cv/2 — Companion volume to Gilbert 6 [дополнительный том к т. 6]
Cv/3 — Companion volume to Gilbert 7 [дополнительный том к т. 7]
The Second World War, by Winston S. Churchill (Boston, 1983) [*Черчилль У.С.* Вторая мировая война. Бостон, 1983]
WSC 1 — Volume 1. *Gathering Storm* [т. 1 «Надвигающаяся буря»]
WSC 2 — Volume 2. *Their Finest Hour* [т. 2 «Их самый славный час»]
WSC 3 — Volume 3. *The Grand Alliance* [т. 3 «Великий союз»]
WSC 4 — Volume 4. *The Hinge of Fate* [т. 4. «Поворот судьбы»]
WSC 5 — Volume 5. *Closing the Ring* [т. 5. «Кольцо смыкается»]
WSC 6 — Volume 6. *Triumph and Tragedy* [т. 6. «Триумф и трагедия»]

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие

[1] WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.

[2] John Wheeler-Bennett, *Action This Day: Working with Churchill* (London, 1968), 140; Cv/3, 267, 387; Kay Halle, *Irrepressible Churchill: Stories, Sayings and Impressions of Sir Winston Churchill* (London, 1985), 171.

[3] Wheeler-Bennett, *Action,* 53—56; PFR/Winston S. Churchill, 5/04 («summer sunshine»); GILBERT 6, 1214—15 (recollection of Elizabeth Layton).

[4] John Colville, *The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939—1955* (New York, 1985), 406; Lord Moran, *Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran* (Boston, 1966), 451; Halle, *Irrepressible Churchill,* 133; Cv/3, 1309, 1471 (Baldwinfamily); TWY, 307.

[5] Mary Soames, *Clementine Churchill: The Biography of a Marriage* (New York, 2003), 383.

[6] Wheeler-Bennett, *Action,* 79, 140.

[7] WM/Jock Colville, 10/14/80; Colville, *Fringes,* 434; WSCHCS, 7912; Winston Churchill, *My Early Life: 1874—1904* (New York, 1996), 112.

[8] Colville, *Fringes,* 170—71; Wheeler-Bennett, *Action,* 93.

[9] Moran, *Diaries,* 265.

[10] Anthony Montague Browne, *Long Sunset* (London, 1996), 118; Walter H. Thompson, *Assignment: Churchill* (New York, 1953), 84.

[11] Thompson, *Assignment: Churchill,* 84; WM/Sir Robert Boothby, 10/16/80.

[12] WM/G.M. Thompson, 10/24/80; Colville, *Fringes,* 217; WSC 6, 752.

[13] WM/G.M. Thompson, 10/24/80.

[14] WM/G.M. Thompson, 10/24/80; Colville, *Fringes,* 136, 142—43, 231; E.L. Spears, *Assignment to Catastrophe,* 2 vols. (New York, 1955), 1:154; WM/Kathleen Hill, 11/4/80; WM/Jock Colville, 10/14/80.

[15] Wheeler-Bennett, *Action,* 153; Colville, *Fringes,* 195—96; WSC 6, 733 («foreign names were made for Englishmen...»).

[16] Robert E. Sherwood, *Roosevelt and Hopkins: An Intimate History* (New York, 1948), 688. [*Шервуд Р.Э.* Рузвельт и Гопкинс: история при ближайшем рассмотрении. Изд-во иностранной литературы, 1958]

[17] Wheeler-Bennett, *Action,* 182—83; WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80 (Johnnie Walker Red and daily routine); PFR/Winston S. Churchill, 3/04.

[18] Colville, *Fringes,* 417; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 24; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.

[19] Colville, *Fringes,* 319; Alex Danchev and Daniel Todman, eds., *Field Marshal Lord Alanbrooke: War Diaries 1939—1945* (Berkeley, 2003), 637.

[20] Martin Gilbert, *Winston Churchill: The Wilderness Years* (New York, 1984), 42—44; WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80; *NYT,* 5/5/09; Warren Kimball, *Finest Hour,* spring 2007, 31—33.

[21] WM/Oscar Nemon, 1980.

[22] WM/Kathleen Hill, 11/4/80; Colville, *Fringes,* 163—65.

[23] WM/Kathleen Hill, 11/4/80; WM/John Martin, 10/23/80; Thompson, *Assignment: Churchill,* 179; WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80; Moran, *Diaries,* 360.

[24] John H. Peck, «The Working Day», *Atlantic Monthly,* 3/65.

[25] F. H. Hinsley et al., *British Intelligence in the Second World War,* 5 vols. (London, 1979).

[26] Wheeler-Bennett, *Action,* 20, 23.

[27] Colville, *Fringes,* 130.

[28] Tom Hickman, *Churchill's Bodyguard* (London, 2005), 130; Colville, *Fringes,* 223.

[29] WM/Jock Colville, 10/14/80; WM/John Martin, 10/23/80.

[30] WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80; Wheeler-Bennett, *Action,* 185.

[31] PFR/Lady Mary Soames, letter of 9/3/07; Moran, *Diaries,* 100; Colville, *Fringes,* 416.

[32] WM/William Deakin, 1980; Thompson, *Assignment: Churchill,* 178.

[33] Colville, *Fringes,* 416; Halle, *Irrepressible Churchill,* 263.

[34] Colville, *Fringes,* 481; Moran, *Diaries,* 111, 604; WM/Pamela Harriman («wolly gogs»), 8/22/80; Browne, *Long Sunset,* 220—21 (Sinatra).

[35] WSCHCS, 6307.

[36] Moran, *Diaries,* 604; Winston Churchill, *Thoughts and Adventures* (New York, 1991), 204.

[37] R. V. Jones, *The Wizard War* (New York, 1978), 106.

[38] Halle, *Irrepressible Churchill,* 345, 346; Moran, *Diaries,* 444.

[39] H. Chartres Biron ed., *«Sir», Said Dr. Johnson* (London, 1911), 112, 213.

[40] Biron, *«Sir»,* 216; Colville, *Fringes,* 341; W&C-TPL, 111, 213.

[41] WSC 5, 704; Anthony Montague Browne, speech to Churchill Society; Roy Jenkins, *Churchill: A Biography* (London, 2011), 702n; Colville, *Fringes,* 239, 578; Moran, *Diaries,* 781.

[42] Colville, *Fringes,* 482; Richard Langworth, ed., *Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations* (London, 2008), 463.

[43] Randolph S. Churchill, *Winston S. Churchill: Youth, 1874—1900* (Boston, 1996), 208.

[44] GILBERT 7, 348; Colville, *Fringes,* 526; Danchev and Todman, *War Diaries,* 690—91.

[45] WSCHCS, 5818.

[46] WM/Viscount Antony Head, 1980.

[47] H.H. Asquith, *Letters to Venetia Stanley,* edited by Michael Brock and Eleanor Brock (Oxford, 1982), 267; WM/John Martin, 10/23/80.

[48] Violet Bonham Carter, *Winston Churchill: An Intimate Portrait* (New York, 1965), 4; WSCHCS, 6250, 6264.

[49] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 729; WSC 4, 796—97.

[50] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 241.

[51] Colville, *Fringes,* 158; WM/Jock Colville, 10/14/80; WM/John Martin, 10/23/80.

[52] Moran, *Diaries, 158;* WSC 6, 115; Halle, *Irrepressible Churchill,* 257.

[53] WM/Jock Colville, 10/14/80; WM/John Martin, 10/23/80; Browne, *Long Sunset,* 114.

[54] M. GILBERT 7, 1322 («This wicked man...»); WSCHCS, 6277; Langworth, *Churchill by Himself,* 137.

[55] WM/William Deakin, 1980; WM/Jane (Portal) Williams, 1980.

[56] WM/William Deakin, 1980; WM/Jane (Portal) Williams, 1980.

[57] WM/Jane (Portal) Williams, 1980; GILBERT 6, 1156; Thompson, *Assignment: Churchill,* 183; *Daily Telegraph,* 3/18/09.

[58] WM/Jane (Portal) Williams, 1980; WM/Jock Colville, 10/14/80; Colville, *Fringes,* 285.

[59] WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80.

[60] Vincent Sheean, *Between the Thunder and the Sun* (New York, 1943), 260; Wheeler-Bennett, *Action,* 146—47.

[61] WM/John Martin, 10/23/80.

[62] Wheeler-Bennett, *Action,* 139.

[63] Anthony Storr, *Churchill's Black Dog, Kafka's Mice, and Other Phenomena of the Human Mind* (New York, 1973), 5, 27, 49—50.

[64] W&C-TPL, 53; Moran, *Diaries,* 179.

[65] Moran, *Diaries,* 112; PFR/Dr. Ron Pies (clinical psychiatrist, professor, Tufts University School of Medicine), 2007; PFR/Dr. David Armitage (Col. U.S. Army, ret.), 2007; Dr. Michael First (editor, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,* 4th ed., text rev. [DSM-IV-TR], lead author, *Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR [SCID],* electronic and telephone communications, 3/07, 10/08; Browne, *Long Sunset,* 119.

[66] Hastings Lionel Ismay, *The Memoirs of General Lord Ismay* (London, 1960), 155; Colville, *Fringes,* 215.

[67] WM/Jock Colville, 10/14/80; Colville, *Fringes,* 578; Moran, *Diaries,* 827; Langworth, *Churchill by Himself,* 58.

[68] John Keegan, *The Mask of Command* (New York, 1987), 236—38.

[69] David Rising «Hitler's Final Days Described by Bodyguard», AP, 4/24/05.

[70] Hugh Dalton, *Memoirs 1931—1945: The Fateful Years* (London, 1957), 335—36.

[71] David Dilks, ed., *The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938—1945* (New York, 1972), 267.

72Mollie Panter-Downes, *London War Notes, 1939—1945* (London, 1972), 62.

[73] Dilks, *Diaries,* 267, 272, 283; WM/Jock Colville, 10/14/80.

[74] Clare Boothe, *Europe in the Spring* (New York, 1941), 127.

[75] WSC 1, 558—59.

[76] Vincent Sheean, *Thunder,* 83.

[77] General Andre Beaufre, *Le Drame de 1940* (Paris, 1965).

[78] Charles de Gaulle, *Lettres, Notes et Carnets,* vol. 2: *1942 May 1958* (Paris, 1980), 486.

[79] BBC broadcast, 3/30/40; WSCHCS, 6201.

[80] Colville, *Fringes,* 25—26.

[81] William L. Shirer, *Berlin Diary (The Journal of a Foreign Correspondent 1934—1941)* (New York, 1941), 329—30.

[82] Adolf Hitler, *Mein Kampf,* edited by John Chamberlain et al. (New York, 1939), 766.

[83] Rene de Chambrun, *I Saw France Fall* (New York, 1940), 54—55.

[84] De Chambrun, *France,* 54—55.

[85] Alphonse Goutard, *1940: La Guerre des Occasions Perdues* (Paris, 1956), 131; Boothe, *Europe,* 1941.

[86] William Bullitt, *Foreign Relations of the United States, vol. 1: 1945—1950, Emergence of the Intelligence Establishment* (Washington, DC, n.d.), 469.

[87] WSC 1, 454.

[88] F.W. Winterbotham, *The Ultra Secret* (New York, 1974), 50.

[89] GILBERT 6, 305.

[90] Len Deighton, *Blitzkrieg: From the Rise of Hitler to the Fall of Dunkirk* (New York, 1979), 191.

[91] General Maurice Gustav Gamelin, *Servir,* 3 vols. (Paris, 1947), 3:389.

[92] Boothe, *Europe,* 241—42.

[93] Adolf Heusinger, *Befehl im Widerstreit: Schicksalsstunden der deutschen Armee 1923—1945* (Tubingen, 1950), 88.

[94] Panter-Downes, *War Notes,* 56—57.

[95] Dilks, *Diaries,* 277.

Глава 1
ЦИКЛОН

[1] GILBERT 6, 313; John Colville, *The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939—1955* (New York, 1985), 121—22.

[2] John W. Wheeler-Bennett, *King George VI: His Life and Reign, 1865—1936* (New York, 1958), 443; GILBERT 6, 307, 317.

[3] WM/Lady Mary Soames, 10/27/80.

[4] W&C-TPL, 412; Ernst Hanfstaengl, *Hitler: The Missing Years* (London, 1957), 193—96.

[5] WM/Lady Mary Soames, 10/27/80; Brian Roberts, *Randolph: A Study of Churchill's Son* (London, 1984), 181.

[6] Colville, *Fringes,* 256.

[7] Lord Moran, *Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran* (Boston, 1966), 5.

[8] Mollie Panter-Downes, *London War Notes, 1939—1945* (London, 1972); 61.

[9] Colville, *Fringes,* 736.

[10] WSC 1, 475.

[11] Brian Gardner, *Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries* (Boston, 1970), 6; Colville, *Fringes,* 121—22; Max Plowman, *Bridge into the Future: Letters of Max Plowman* (London, 1944), 710.

[12] John Wheeler-Bennett, *Action This Day: Working with Churchill* (London, 1968), 48; WM/Jock Colville, 10/14/80.

[13] Wheeler-Bennett, *Action,* 51—53; WM/Jock Colville, 10/14/80; WM/John Martin, 10/23/80; WSC 2, 17.

[14] Wheeler-Bennett, *Action,* 161, 195—97; Colville, *Fringes,* 289, 436.

[15] Wheeler-Bennett, *Action,* 193—96; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.

[16] John Rupert Colville, *Footprints in Time* (London, 1976), 75—76; Wheeler-Bennett, *Action,* 147; Ian Jacob, «His Finest Hour», *Atlantic Monthly,* 3/65.

[17] WSC 2, 28; GILBERT 6, 325; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80; Virginia Cowles, *Winston Churchill: The Era and the Man* (New York, 1953), 317.

[18] TWY, 85, 99; Hansard 5/13/40 (WSC statement to House).

[19] Arthur Bryant, *The Turn of the Tide: A History of the War Years Based on the Diaries of Field-Marshal Lord Alanbrooke, 1939—1943* (New York, 1957), 21.

[20] WSCHCS, 6232; Henry Pelling, *Winston Churchill* (Conshohocken, PA, 1999), 437; WSC 2, 10—11; Wheeler-Bennett, *Action,* 49.

[21] Colville, *Fringes,* 196.

[22] GILBERT 6, 328—29; WSC 2, 13.

[23] Laurence Thompson, *1940* (New York, 1966), 94.

[24] GILBERT 6, 342; C&R-TCC, 1:38.

[25] Thompson, *1940,* 118.

[26] CAB 65/7.

[27] General C. Gransard, *Le 10e Corps d'armee dans la bataille* (Paris, 1949), 141.

[28] William L. Shirer, The Collapse of the Third Republic (New York, 1969), 664; Charles de Gaulle, *The Complete War Memoirs of Charles de Gaulle* (New York, 1964), 39.

[29] Alistair Horne, *Seven Ages of Paris* (New York, 2002), 381—402.

[30] WSC 2, 42.

[31] Antoine de Saint-Exupery, *Flight from Arras* (New York, 1942), 116—33 passim.

[32] WSC 2, 43; de Saint-Exupery, *Flight,* 120.

[33] Hastings Lionel Ismay, *The Memoirs of General Lord Ismay* (London, 1960), 127; Horne, *Seven Ages,* 381; Vincent Sheean, *Between the Thunder and the Sun* (New York, 1943), 142.

[34] Ismay, *Memoirs,* 128.

[35] WSC 2, 47.

[36] Paul Reynaud, *In the Thick of the Fight* (New York, 1940), 323—24.

[37] WSC 2, 42—43; de Saint-Exupery, *Flight,* 120.

[38] Len Deighton, *Fighter* (New York, 1977), 58; Ismay, *Memoirs,* 128.

[39] Ismay, *Memoirs,* 128—29.

[40] GILBERT 6, 334, 358; Colville, *Fringes,* 135.

[41] John Rupert Colville, *Man of Valour: The Life of Field Marshal the Viscount Gort* (London, 1972), 204; Anthony Eden, Earl of Avon, *The Reckoning: The Memoirs of Anthony Eden* (New York, 1965), 106.

[42] WSCHCS, 6222—23.

[43] Jones, *Diary,* 460; W.M. James, *The Portsmouth Letters* (London, 1946), 15.

[44] Panter-Downes, *War Notes,* 67.

[45] William L. Shirer, *Berlin Diary (The Journal of a Foreign Correspondent 1934—1941)* (New York, 1941), 437—38.

[46] WSC 2, 56; General Maurice Gustav Gamelin, *Servir,* 3 vols. (Paris, 1947), 3:417.

[47] WSCHCS, 6232.

[48] Roderick Macleod, ed., *Time Unguarded: The Ironside Diaries, 1937—1940* (London, 1974), 327; Premier (Prime Minister) Papers, Public Record Office, Kew, 3/188/3, folio 18; WSC 1, 375.

[49] Ismay, *Memoirs,* 131; Colville, *Fringes,* 137—38.

[50] WSC 2, 64—65; Macleod, *Time Unguarded,* 328.

[51] William L. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany* (New York, 1960), 728.

[52] Colville, *Fringes,* 139; GILBERT 6, 385.

[53] Colville, *Fringes,* 139; GILBERT 6, 385; WSC 2, 69—70.

[54] M.E. L. Spears, *Assignment to Catastrophe,* 2 vols. (New York, 1955), 2:120—21.

[55] L.F. Ellis, *The War in France and Flanders 1939—1940* (London, 1953), 368; Macleod, *Time Unguarded,* 331—32.

[56] Ellis, *France and Flanders,* 208, 389.

[57] Len Deighton, *Blitzkrieg: From the Rise of Hitler to the Fall of Dunkirk* (New York, 1979), 265.

[58] B.H. Liddell Hart, *History of the Second World War* (New York, 1971), 77; David Dilks, ed., *The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938—1945* (New York, 1972), 289—90; CAB 65/7; Macleod, *Time Unguarded,* 332; WSC 1, 393.

[59] Spears, *Assignment,* 2: 202, 236—37; WSC 1, 389; Bryant, *Tide,* 90; Macleod, *Time Unguarded,* 321.

[60] Spears, *Assignment,* 2: 202, 236—37; WSC 1, 389; Bryant, *Tide,* 90; Macleod, *Time Unguarded,* 321.

[61] *Time,* 1/23/41, 23; Roger Keyes, *Outrageous Fortune: The Tragedy of King Leopold of the Belgians 1901—1941* (London, 1984), 308—10, 396.

[62] CAB 65/13.

[63] Dilks, *Diaries,* 290; ChP 80/11.

[64] Dilks, *Diaries,* 291.

[65] WSC 2, 99.

[66] Thompson, *1940,* 137—38.

[67] *NYT,* 5/30/40; TWY, 91; Thompson, 1940, 133—34, 139.

[68] Ellis, *France and Flanders,* 368.

[69] Ellis, *France and Flanders,* 162—69; Macleod, *Time Unguarded;* WSC 2, 82; Ismay, *Memoirs,* 133.

[70] Bryant, *Tide,* 101—2 passim.

[71] Ellis, *France and Flanders,* 326.

[72] Ellis, *France and Flanders,* 182; Macleod, *Time Unguarded,* 340; WSCHCS, 6225.

[73] Macleod, *Time Unguarded,* 333ff.; Ismay, *Memoirs,* 134.

[74] WSC 2, 100; Hugh Dalton, *Memoirs 1931—1945: The Fateful Years* (London, 1957), 335—36.

[75] WSC 2, 100; Hugh Dalton, *Memoirs 1931—1945: The Fateful Years* (London, 1957), 335—36.

[76] WSC 2, 101.

[77]

[78] Thompson, *1940,* 133—36.

[79] Alex Danchev and Daniel Todman, eds., *Field Marshal Lord Alanbrooke: War Diaries 1939—1945* (Berkeley, 2003), 72.

[80] WSC 2, 428; War Office papers 106/1708; John Spencer Churchill, *Crowded Canvas* (London, 1961), 162—63; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80; Jacob, «Finest», 3/65.

[81] Macleod, *Time Unguarded,* 354; Harold Macmillan, *The Blast of War: 1939—1945* (New York, 1967), 81.

[82] Panter-Downes, *War Notes,* 63—66.

[83] WSCHCS, 6230.

[84] Colville, *Fringes,* 147—48; *News Chronicle* 6/5/40; TWY, 93; Gardner, *Churchill in Power,* 55.

[85] WSCHCS, 6228.

[86] George Bilainkin, *Diary of a Diplomatic Correspondent* (London, 1942), 102.

[87] Chief sources for the last three meetings of the council (Paris, Briare, Tours): Spears, *Assignment;* de Gaulle, *War Memoirs; Ismay, Memoirs;* S. Petrie et al., *The Private Diaries of Paul Baudouin* (London, 1948).

[88] Spears, *Assignment,* 1:293—94.

[89] Ismay, *Memoirs,* 134.

[90] Spears, *Assignment,* 1:295.

[91] Spears, *Assignment,* 1:295.

[92] Spears, *Assignment,* 1:295; Petrie, *Diaries,* 53—54.

[93] Spears, *Assignment,* 1:314—15.

[94] Spears, *Assignment,* 1:316, 2:113.

[95]

[96] Panter-Downes, *War Notes,* 68; Colville, *Fringes,* 151—53.

[97] Spears, *Assignment,* 2:138—39; Ismay, *Memoirs,* 139.

[98] Spears, *Assignment,* 2:141—44; Eden, *Reckoning,* 133. The French minutes of the Briare meeting are given textually in Paul Reynaud, *Au Coeur de la melee, 1939—1945* (Paris, 1951), 823—24.

[99] Spears, *Assignment,* 2:145—47; Eden, *Reckoning,* 115.

[100] Spears, *Assignment,* 2:149ff.

[101] Reynaud, *Au Coeur.*

[102] Ismay, *Memoirs,* 140.

[103] Ismay, *Memoirs,* 140—41.

[104] Ismay, *Memoirs,* 140—41.

[105] *Les Evenements survenus en France de 1933 a 1945,* 2:343; Horne, *Seven Ages,* 546n; Shirer, *Collapse,* 618; *Histoire de l' Aviation Militaire Francaise* (Paris, 1980), 379—80; Deighton, *Blitzkrieg,* 269—70.

[106] WSC 2, 156—57; Ismay, *Memoirs,* 142—43.

[107] Spears, *Assignment,* 2:163.

[108] Ismay, *Memoirs,* 141.

[109] WSC 2, 158; Walter H. Thompson, *Assignment: Churchill* (New York, 1953), 194.

[110] CAB 99/3; Colville, *Fringes,* 152—54.

[111] Earl of Birkenhead, *Life of Lord Halifax* (London, 1965), 459; Dilks, *Diaries,* 297; Ismay, *Memoirs,* 143—44.

[112] Eleanor M. Gates, *End of the Affair: The Collapse of the Anglo-French Alliance, 1939—40* (Berkeley, 1981), 250; Gordon Wright, «Ambassador Bullitt and the Fall of France», *World Politics* 10, no. 1, 87.

[113] Horne, *Seven Ages,* 573.

[114] Spears, *Assignment,* 2:210—13.

[115] James Leasor, *War at the Top* (London, 1959), 91; Colville, *Fringes,* 152.

[116] Spears, *Assignment,* 2:218—20.

[117] Colville, *Fringes,* 155; C&R-TCC, 1:48.

[118] Spears, *Assignment,* 2:292—93; WM/Kathleen Hill, 11/4/80; Colville, *Fringes,* 161.

[119] Spears, *Assignment,* 2:292—93; WM/Kathleen Hill, 11/4/80; Colville, *Fringes,* 161.

[120] L.B. Namier, *Europe in Decay* (London, 1950), 93; Spears, *Assignment,* 2:304, 310—11.

[121] Spears, *Assignment,* 2:319—23; WSC 2, 218.

[122] J.A. Cross, *Sir Samuel Hoare: A Political Biography* (London, 1977), 339—40.

[123] Michael Bloch, *The Duke of Windsor's War: From Europe to the Bahamas, 1939—1945* (New York, 1983).

[124] Colville, *Fringes,* 184.

[125] ChP 20/9; C&R-TCC, 1:53.

[126] ChP 20/49; WSC 1, 1091.

[127] Colville, *Fringes,* 166.

[128] Panter-Downes, *War Notes,* 72.

[129] De Gaulle, *War Memoirs,* 76.

[130] WSC 2, 230; Eden, *Reckoning,* 155.

[131] William Bullitt, *Foreign Relations of the United States,* vol. 2: *The Intelligence Community 1950—1955* (Washington, DC, n.d.), 465—66.

[132] WSCHCS, 6241.

[133] WSC 2, 231.

[134] Colville, *Fringes,* 171—72; WSC 2, 233; Warren Tute, *The Deadly Stroke,* introduction by John Colville (New York, 1973), 2128.

[135] Tute, *Deadly Stroke,* 73—87.

[136] Tute, *Deadly Stroke,* 112—14; WSC 2, 234.

[137] For a thorough discussion of the British attack on the French fleet at Mers-el-Kebir, see chap. 5 of Arthur Marder's *From the Dardanelles to Oran* (London, 1974).

[138] Tute, *Deadly Stroke,* 148.

[139] Tute, *Deadly Stroke,* 152—62.

[140] Thompson, 1940; WSCHCS, 6246.

[141] Tute, *Deadly Stroke,* 17; Ben Pimlott, *Hugh Dalton* (London, 1985), 348; TWY, 100.

[142] Tute, *Deadly Stroke,* 17; Ben Pimlott, *Hugh Dalton* (London, 1985), 348; TWY, 100.

[143] Tute, *Deadly Stroke,* 17.

[144] Shirer, *Rise and Fall,* 813.

[145] CAB 65/9.

[146] Cv/2, 259; WSCHCS, 6287.

[147] GILBERT 6, 372, 392; Macleod, *Time Unguarded,* 369; Hermann Lons, *Ein Soldatisches Vermachtnis* (1939), 85; Richard Gerlach, *Das Beste von Hermann Lons* (Hanover, 1980), 16.

[148] WSCHCS, 6230.

[149] Cv/2, 429.

[150] Hansard 6/18/40; WSCHCS, 6238.

[151] Deighton, *Fighter,* 8.

[152] C&R-TCC, 1:40, 49; Cv/2, 261; Bryant, *Tide,* 151.

[153] C&R-TCC, 1:40, 49; Cv/2, 261; Bryant, *Tide,* 151.

[154] Thompson, *1940,* 149; WSC 1, 598—99, 695; Premier (Prime Minister) Papers, Public Record Office, Kew, 4/100/3; Birkenhead, *Halifax,* 458, and Llewellyn Woodward, *British Foreign Policy in the Second World War* (London, 1962), 53; Williamson Murray, *Luftwaffe* (Baltimore, 1985), 43.

[155] Duff Cooper, *Old Men Forget* (London, 1954), 267; Jones, *Diary,* 465; Lloyd George, *Sunday Pictorial,* 7/28/40; Wheeler-Bennett, *King George VI,* 456.

[156] Panter-Downes, *War Notes,* 83—86; Jones, *Diary,* 465—66.

[157] Wheeler-Bennett, *King George VI,* 456.

[158] Wheeler-Bennett, *King George VI,* 456.

[159] Gardner, *Churchill in Power,* 65—66.

[160] Panter-Downes, *War Notes,* 71, 91, 97, 110—11.

[161] Colville, *Fringes,* 195.

[162] Cv/2, 417—18.

[163] Shirer, *Rise and Fall,* 798.

[164] WSC 2, 286.

[165] WSCHCS, 6495.

[166] WSCHCS, 6234.

[167] WSC 2, 282—84.

[168] Colville, *Fringes,* 178—81, 182.

[169] TWY, 97; Ismay, *Memoirs,* 153; Jones, *Diary,* 467—68.

[170] WSCHCS, 6775.

[171] Mary Soames, *Clementine Churchill: The Biography of a Marriage* (New York, 2003), 408; TWY, 100.

[172] TWY, 90.

[173] TWY, 89, 90, 93; WM/Kathleen Hill, 11/4/80.

[174] Macleod, *Time Unguarded,* 369.

[175] GILBERT *6, 478;* Gardner, *Churchill in Power,* 68; Panter-Downes, *War Notes,* 66; Hansard *6/4/40;* A.J.P. Taylor, *English History, 1914—45* (Oxford, 1978).

[176] Colville, *Fringes,* 182; *Cv/3,* 445 (mustard gas).

[177] Thompson, *1940,* 145.

[178] TWY, 101, 103.

[179] WSC 2, 298; Macleod, *Time Unguarded,* 383; Danchev and Todman, *War Diaries,* 94.

[180] Colville, *Fringes,* 102—3.

[181] WSCHCS, 6248.

[182] WSCHCS, 6250.

[183] *Documents on German Foreign Policy 1918—1945,* vol. 10: *The War Years, June 23 August 23, 1940* (Washington, DC, 1957), 81; Charles Burdick and Hans-Adolf Jacobsen, eds., *The Halder War Diary, 1939—1942* (New York, 1988), 7/22/40; Fuhrer's Conferences on Naval Affairs, 71—73; *Die Weiterfuhrung des Krieges gegen England,* IM T, TWMC, vol. 28, 301—3.

[184] Shirer, *Rise and Fall,* 754.

[185] Colville, *Fringes,* 200; Leonard Mosley, *Battle of Britain* (New York, 1980), 26; WSC 2, 260.

[186] Hugh Gibson, ed., *The Ciano Diaries, 1939—1943* (New York, 1946), 277—78.

[187] Deighton, *Fighter,* 272; Liddell Hart, *History,* 87.

[188] Klaus A. Maier et al., *Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg,* 2 vols. (Stuttgart, 1988), 2:3, 78—79.

[189] Shirer, *Rise and Fall,* 752.

[190] Shirer, *Rise and Fall,* 752.

[191] Shirer, *Rise and Fall,* 762—63.

[192] William L. Shirer, *Aufstieg und Fall des Dritten Reiches* (Cologne, 2000), 815.

[193] William L. Shirer, *Aufstieg und Fall des Dritten Reiches* (Cologne, 2000), 815.

[194] Deighton, *Fighter,* xiv—xv; Hansard 11/10/32; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.

[195] Deighton, *Fighter,* xviii, 57.

[196] Mosley, *Battle of Britain,* 50.

[197] Mosley, *Battle of Britain,* 54; Telford Taylor, *The Breaking Wave: The Second World War in the Summer of 1940* (New York, 1967), 87; John Keegan, ed., *Collins Atlas of World War II* (New York, 2006), 38—39.

[198] BA/MA RL 211/27, *Allgemeine Weisung fur den Kampf der Luftwaffe gegen England,* OBDL, Fuhrungsstab, IaNr 5835/40, 3 0.6.40; Murray Williamson, «The Battle of Britain: How Did 'The Few' Win?» *Military History Quarterly* 2, no. 2 (summer 1990).

[199] WSC 2, 323.

[200] Colville, *Fringes,* 213.

[201] Liddell Hart, *History,* 93.

[202] Liddell Hart, *History,* 93.

[203] Colville, *Fringes,* 194.

[204] Hansard 11/11/42; WSCHCS, 6707; Shirer, *Berlin Diary,* 467—68.

[205] Deighton, *Fighter,* xvii, 218; Mosley, *Battle of Britain,* 91; A.J.P. Taylor, *Beaverbrook* (London, 1972), 422—30.

[206] Colville, *Fringes,* 217; Taylor, *Beaverbrook,* 430.

[207] Murray, *Luftwaffe.*

[208] Deighton, *Fighter,* 217.

[209] Deighton, *Fighter,* 187.

[210] Len Deighton, *Unternehmen Adler. Die Luftschlacht um England,* 264—65.

[211] R.V. Jones, *The Wizard War* (New York, 1978); F.H. Hinsley et al., *British Intelligence in the Second World War, 5* vols. (London, 1979), 1:176—77; Ronald Lewin, *Ultra Goes to War* (New York, 1978); Brian Johnson, *The Secret War* (London, 1978); Harold Deutsch, «Ultra and the Air War in Europe and Africa», in *Air Power and Warfare, Proceedings of the Eighth Military History Symposium,* USAF Academy, edited by Colonel Alfred F. Hurley and Major Robert C. Ehrhart (Washington, DC, 1979), 165—66; Maier, *Das Deutsche Reich,* 2:384; Aileen Clayton, *The Enemy Is Listening* (New York, 1978).

[212] Sheean, *Thunder,* 201.

[213] Sheean, *Thunder,* 199.

[214] Sheean, *Thunder,* 201—2.

[215] Colville, *Fringes,* 236.

[216] Collier, *Defence of the United Kingdom* (London, 2009), 189—90, 450; Helmuth Greiner, *Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht* (the *OKW* war diary) 8/15/40; Denis Richards, *Royal Air Force, 1939—1945,* vol. 1: *The Fight at Odds* (London, 1953), chaps. 6 and 7.

[217] Helmuth Greiner, *Die Oberste Wehrmacht/Weltkrieg 1939—1945* (Stuttgart, 1954); Ismay, *Memoirs,* 188.

[218] WSCHCS, 6265—66.

[219] Edward Bishop, *The Battle of Britain* (London, 1960), 142, 149; Helmuth Greiner, *OKW,* 8/19/40.

[220] Richards, *Royal A ir Force,* 1:178.

[221] Deight on, *Fighter,* 219.

[222] Colville, *Fringes,* 234—36.

[223] Collier, *Defence,* 206—7, 210; Bishop, *Battle of Britain,* 166—69; Alexander McKee, *Strike from the Sky: The Battle of Britain Story* (Boston, 1960), 197—209; Derek Wood and Derek Dempster, *The Narrow Margin: The Battle of Britain and the Rise of Air Power 1930—1949* (London, 1961), 316—25.

[224] Colville, *Fringes,* 236—37.

[225] Colville, *Fringes,* 236—37.

[226] Deighton, *Fighter,* 248; Collier, *Defence,* 205; Wood and Dempster, *Narrow Margin,* 332—33; WSC 2, 331—32.

[227] Wood and Dempster, *Narrow Margin,* 304.

[228] Taylor, *Breaking Wave,* 151; H.R. Trevor-Roper, ed., *Hitler's War Directives 1939—1945* (London, 1964), 38.

[229] Helmuth Greiner, *Die Oberste Wehrmachtfuhrung, 1939—1943* (Wiesbaden, 1951), 8/29/40, 8/31/40; Cv/2, 555.

[230] Colville, *Fringes,* 230.

[231] Shirer, *Berlin Diary,* 8/26/40.

[232] *Frankfurter Zeitung,* 8/29/40 and 8/30/40.

[233] *OKW,* 8/24/40; *Facts in Review* 2, no. 22 (5/27/40): 217.

[234] Adolph Galland, *The First and the Last* (New York, 1954), 40—41.

[235] Shirer, *Rise and Fall,* 777.

[236] *Frankfurter Zeitung,* 9/5/40.

[237] Gibson, *Ciano Diaries,* 290.

[238] WSC 2, 229.

[239] CAB, 79/6. The chiefs signing the order were Ismay, Pound, Dill, and Peirse, vice chief of the Air Staff.

[240] McKee, *Strike,* 125.

[241] Collier, *Defence,* 135—40; Wood and Dempster, *Narrow Margin,* 334—39; Mosley, *Battle of Britain,* 120.

[242] GILBERT 6, 773—74; WSC 2, 312.

[243] GILBERT 6, 774.

[244] Danchev and Todman, *War Diaries,* 105.

[245] Cv/2, 703.

[246] C&R-TCC, 1:56—67; GILBERT 6, 25.

[247] C&R-TCC, 1:56—67.

[248] Robert E. Sherwood, *Roosevelt and Hopkins: An Intimate History* (New York, 1948), 1980; Cv/2, 255; Dilks, *Diaries,* 322—23.

[249] Cv/2, 255 (letter to Mackenzie King); C&R-TCC, 1:69.

[250] Cv/2, 255 (letter to Mackenzie King); C&R-TCC, 1:69.

[251] WSCHCS, 6266.

[252] GILBERT 6, 756; WSC 2, 297.

[253] WM/Sir Robert Boothby, 10/16/80.

[254] Cv/2, 655; Cv/2, 748; Collier, *War in the Desert,* 18—19.

[255] GILBERT 6, 756.

[256] Greiner, *OKW,* 9/13/40.

[257] Greiner, *OKW,* 8/30/40.

[258] WSC 2, 337; Deighton, *Fighter,* 262.

[259] Taylor, *Breaking Wave,* 165; *Seekriegsleitung Kriegstagebuch,* War Diary of the German Naval War Staff, Part D, Lufttage, for September 16 and 18, 1940.

[260] WSC 2, 240.

[261] F.H.W. Sheppard, *London: A History* (Oxford, 1998); David Johnson, *The London Blitz* (New York, 1981), 33; WSC 2, 342.

[262] Cv/2, 788—89 (Ismay recollection); Thompson, *1940,* 211; Cv/2, 789.

[263] Colville, *Fringes,* 192.

[264] WSC 2, 343; Mosley, *Battle of Britain,* 143.

[265] TWY, 111; Mosley, *Battle of Britain,* 145.

[266] William K. Klingaman, *1941: Our Lives in a World on the Edge* (New York, 1989), 3, 7, 12.

[267] Klingaman, *1941,* 6—7; WSC 2, 360.

[268] Bertrand Russell, *Which Way to Peace?* (London, 1936), quoted in Sheppard, *London,* 262; Colville, *Fringes,* 263.

[269] WSCHCS, 6277.

[270] WSCHCS, 6276.

[271] BBC address, 9/11/40.

[272] Johnson, *London Blitz,* 39.

[273] Jones, *Wizard War,* 96—97.

[274] WSC 2, 384—85; Jones, *Wizard War,* 101—2.

[275] Jones, *Wizard War,* 102.

[276] WSC 2, 385; Tom Shachtman, *Terrors and Marvels: How Science and Technology Changed the Character and Outcome of World War II* (New York, 2002); see chap. 5 («Battles Above Britain») for overview.

[277] WSC 2, 385; Tom Shachtman, *Terrors and Marvels: How Science and Technology Changed the Character and Outcome of World War II* (New York, 2002); see chap. 5 («Battles Above Britain») for overview.

[278] WSC 2, 383—84; Jones, *Wizard War,* 102.

[279] Sheppard, *London,* 333.

[280] Philip Ziegler, *London at War* (New York, 1995), 175.

[281] WSC 2, 343.

[282] WSC 2, 343.
[283] Mosley, *Battle of Britain,* 138.
[284] Kay Halle, *Irrepressible Churchill: Stories, Sayings and Impressions of Sir Winston Churchill* (London, 1985), 168.
[285] Klingaman, *1941,* 16.
[286] TWY, 115—16.
[287] WM/Lady Mary Soames, 10/27/80; Soames, *Clementine,* 379.
[288] Colville, *Fringes,* 240—41; Thompson, *Assignment: Churchill,* 206.
[289] WM/Jock Colville, 10/14/80.
[290] WM/Lady Mary Soames, 10/27/80; Soames, *Clementine,* 384—86.
[291] WSC 2, 375.
[292] Thompson, *1940,* 213.
[293] Thompson, *1940,* 222.
[294] Mosley, *Battle of Britain,* 36—37.
[295] WM/Viscount Antony Head, 8/6/80.
[296] *Time,* 10/3/43; *Time,* 2/1/43; Mark Mayo Boatner, *The Biographical Dictionary of World War II* (New York, 1999), 8. See also *Modern Law Review* 5, no. 3/4 (July 1942):162—73; Tim Pat Coogan, *The IRA* (London, 1971), 58.
[297] *Time,* 9/23/40; Cv/2, 440, 446, 764; Colville, *Fringes,* 173; WSC 5, 680.
[298] TWY, 114.
[299] Mosley, *Battle of Britain,* 139.
[300] TWY, 115—16.
[301] WM/Jock Colville, 10/14/80; Colville, *Fringes,* 245.
[302] Colville, *Fringes,* 249.
[303] *Oxford Companion to World War II,* edited by I.C.B. Dear (Oxford, 1995), 179, 331.
[304] Martin Gilbert, *The Second World War: A Complete History* (London, 1989), 132.
[305] TWY, 121.
[306] CAB 120/300.
[307] Shirer, *Rise and Fall,* 778; Gilbert, *Second World War,* 128.
[308] WSC 2, 584, 586.
[309] WSC 2, 581.
[310] Colville, *Fringes,* 214.
[311] Panter-Downes, *War Notes,* 110; Klingaman, *1941,* 9.
[312] Thompson, *1940,* 220; Sheean, *Thunder,* 224—25.
[313] Sheean, *Thunder,* 224—25; Panter-Downes, War Notes, 137.
[314] WSCHCS, 6287.
[315] Winston Churchill, *My Early Life: 1874—1904* (New York, 1996), 62.
[316] GILBERT 6, 808—10.
[317] Joseph P. Kennedy, *Boston Globe* interview, 11/10/40; Victor Lasky, *JFK: The Man and the Myth* (New York, 1963), 58.
[318] Colville, *Fringes,* 262, 275.
[319] GILBERT 6, 816; C&R-TCC, 1:74.
[320] WSCHCS, 6297.
[321] WSCHCS, 6297.
[322] WSCHCS, 6298; Conrad Black, *Franklin Delano Roosevelt: Champion of Freedom* (Washington, DC, 2003), 595.
[323] Cv/2, 979, 985; Colville, *Fringes,* 272.
[324] WM/Pamela Harriman, 8/22/80.
[325] PFR/Lady Mary Soames, 6/07; WM/Pamela Harriman, 8/22/80.

[326] Colville, *Fringes,* 216, 219, 248; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[327] Colville, *Fringes,* 265; Thompson, 1940; WM/Pamela Harriman, 8/22/80.
[328] Soames, *Clementine,* 387.
[329] Soames, *Clementine,* 387; GILBERT 6, 793; Sarah Churchill, *A Thread in the Tapestry* (London, 1967), 56—57; *Time,* 9/30/40.
[330] Thompson, *Assignment: Churchill,* 129; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[331] WM/Lord Geoffrey Lloyd, 11/27/80.
[332] WM/Jock Colville, 10/14/80.
[333] Mosley, *Battle of Britain,* 121.
[334] WM/Jock Colville, 10/14/80; Wheeler-Bennett, *Action,* 118.
[335] Churchill, *Early Life* («*being* shot at without result»).
[336] Thompson, *Assignment: Churchill,* 211.
[337] Thompson, *Assignment: Churchill,* 210—11.
[338] Colville, *Fringes,* 278; Dean Acheson, *Sketches from Life of Men I Have Known* (New York, 1959), 3, 17.
[339] Thompson, *Assignment: Churchill,* 211.
[340] Cv/2, 907—8.
[341] Cv/2, 907—8.
[342] Moran, *Diaries,* 9.
[343] TWY, 127.
[344] Randolph S. Churchill, *Winston S. Churchill: Youth, 1874—1900* (Boston, 1996), 400, 410; Colville, *Fringes,* 273.
[345] Colville, *Fringes,* 291; Thompson, *Assignment: Churchill,* 170—75.
[346] WM/John Colville, 10/14/80; Thompson, *Assignment: Churchill,* 174.
[347] Soames, *Clementine,* 386; Danchev and Todman, *War Diaries,* 123; Cv/2, 1069.
[348] Colville, *Fringes,* 319; Moran, *Diaries,* 336; WM/Lord Soames (Pol Roger), 1980.
[349] Colville, *Fringes,* 319; Shirer, *Berlin Diary,* 468.
[350] PFR/Winston S. Churchill, 3/04.
[351] Colville, *Fringes,* 267; Sheppard, *London,* 336; WSC 2, 370—72; Gilbert, *Second World War,* 132.
[352] Ziegler, *London at War,* 119—20.
[353] WSC 2, 360—61.
[354] WSC 2, 360—61.
[355] WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80; Thompson, *Assignment: Churchill,* 183; Colville, *Fringes,* 243; WM/John Colville, 10/14/80.
[356] Ismay, *Memoirs,* 188—89.
[357] Colville, *Fringes,* 262, 275; GILBERT 6, 862; ChP 20/13.
[358] Colville, *Fringes,* 264, 280—81.
[359] GILBERT 6, 835.
[360] Soames, *Clementine,* 394; Colville, *Fringes,* 259; GILBERT 6, 837.
[361] WCS 2, 299, 355; GILBERT 6, 886.
[362] Thompson, *1940,* 221—24; Ziegler, *London at War,* 240.
[363] C&R-TCC, 1:81.
[364] John Keegan, *The Second World War* (London, 1989), 144—46.
[365] GILBERT 6, 874—75, 877; Keegan, *Second World War,* 144—46; Cv/2, 1016.
[366] Richard Collier, *Duce!* (New York, 1971), 179—80.
[367] Colville, *Fringes,* 276; Keegan, *Second World War,* 145.
[368] Colville, *Fringes,* 276; Keegan, *Second World War,* 145.
[369] Collier, *War in the Desert;* GILBERT 6, 883—85.
[370] Colville, *Fringes,* 283—84.

[371] ChP 20/13.
[372] Colville, *Fringes,* 224.
[373] Cv/2, 1001.
[374] GILBERT 6, 885, 905; WSC 2, 536—43; Eden, *Reckoning,* 195.
[375] Collier, *War in the Desert,* 21—22; WSC 2, 543.
[376] Gilbert, *Second World War,* 137.
[377] Cv/2, 1022—23.
[378] C&R-TCC, 1:81.
[379] Cv/2, 1147.
[380] Panter-Downes, *War Notes,* 116 *(«Eyetalian fleet...»).*
[381] Panter-Downes, *War Notes,* 114; Cv/2, 1089 («sugar for the birds»); WSCHCC, 6309.
[382] Ronald Kessler, *The Sins of the Father* (New York, 1996), 230.
[383] WSCHCS, 6307.
[384] Colville, *Fringes,* 294—95.
[385] Colville, *Fringes,* 292.
[386] WM/John Martin, 10/23/80.
[387] Cv/2, 1096; WM/John Martin, 10/23/80.
[388] WSC 2, 383—85.
[389] TWY, 139; Panter-Downes, *War Notes,* 117.
[390] Panter-Downes, *War Notes,* 117.
[391] WSC 2, 384—85; Winston Churchill, *Thoughts and Adventures* (New York, 1991), 198—99.
[392] WM/John Martin, 10/23/80; Colville, *Fringes,* 295; John Colville, *The Churchillians* (London, 1981), 635.
[393] Thompson, *1940,* 227.
[394] Public Record Office documents AIR2/5238 and AIR20/2419 indicate that Churchill and the War Cabinet did not know which city would be the target on November 15.
[395] Colville, *Fringes,* 297.
[396] Cv/2, 1186, 1217—18; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[397] Cv/3, 1163.
[398] Soames, *Clementine,* 395.
[399] Colville, *Fringes,* 167; TWY, 96—97.
[400] WSC 2, 576; GILBERT 6, 939.
[401] David Miller, *U-Boats* (New York, 2000), 126; C&R-TCC, 1:112; Premier (Prime Minister) Papers, Public Record Office, Kew, 3/462/2; Cv/2, 1233.
[402] Roger Chesneau, *Conway's All the World's Fighting Ships, 1922—1946* (London, 1980) (HM S Lewes).
[403] Cv/2, 780, 844—45.
[404] Cv/2, 1246.
[405] Shirer, *Rise and Fall,* 810—11; WCSHCS, 6269.
[406] WSC 2, 556—58; C&R-TCC, 1:102—9.
[407] WSC 2, 558.
[408] C&R-TCC, 1:107—8.
[409] C&R-TCC, 1:107—8; WM/Malcolm MacDonald, 1980.
[410] C&R-TCC, 1:107—8.
[411] WSC 2, 567—69.
[412] GILBERT 6, 694.
[413] Colville, *Fringes,* 309, 321; WSC 2, 570.
[414] Colville, *Fringes,* 314.

[415] C&R-TCC, 1:86.
[416] WSC 2, 530.
[417] WSC 3, 568—69.
[418] Winston S. Churchill, *Step by Step, 1936—1939* (New York, 1959), 137.
[419] WSC 2, 497, 523; Dilks, *Diaries,* 329.
[420] C&R-TCC, 1:74.
[421] *Time Capsule 1940: A History of the Year Condensed from the Pages of Time,* edited by Henry R. Luce (New York, 1968).
[422] *Time Capsule 1940.*
[423] C&R-TCC, 1:65—66; Churchill, *Early Life,* 33 (from Manchester, *The Last Lion,* vol. 1, and Cowles, *Churchill).*
[424] Celia Sandys, *Chasing Churchill* (New York, 2005), 138; Shirer, *Rise and Fall,* 782—83.
[425] Celia Sandys, *Chasing Churchill* (New York, 2005), 138; Shirer, *Rise and Fall,* 782—83.
[426] Collier, *War in the Desert,* 26—33.
[427] Collier, *War in the Desert,* 27—28; Colville, *Fringes,* 308—9.
[428] Collier, *War in the Desert,* 29.
[429] GILBERT 6, 935; Colville, *Fringes,* 309; Mark Mayo Boatner, *The Biographical Dictionary of World War II* (New York, 1999), 602.
[430] GILBERT 6, 935; Collier, *War in the Desert,* 29.
[431] Cv/2, 1204.
[432] Mosley, *Battle of Britain,* 149.
[433] Leonard Mosley, *Marshall: Hero for Our Times* (New York, 1982), 150—51.
[434] *NYT,* 12/30/41; TWY, 132; Klingaman, *1941,* 16.
[435] FDR broadcast, 12/29/40, Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum.
[436] FDR broadcast, 12/29/40, Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum; Colville, *Fringes,* 321; C&R-TCC, 1:12223.
[437] WSC 2, 628—29.

Глава 2
ПОРОГИ

[1] C&R-TCC, 1:120; John Colville, *The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939—1955* (New York, 1985), 326—27.
[2] WSC 3, 540; Noel Annan, «How Wrong Was Churchill?» *New York Review of Books,* 4/8/93.
[3] William K. Klingaman, *1941: Our Lives in a World on the Edge* (New York, 1989), 24, 92—93; ChP 20/36; ChP 20/21.
[4] Klingaman, *1941,* 24—25; ChP 20/36; ChP 20/21.
[5] Colville, *Fringes,* 145.
[6] C&R-TCC, 1:121—22; Colville, *Fringes,* 327.
[7] John Colville, *The Churchillians* (London, 1981), 162; Colville, *Fringes,* 653; Anthony Eden, Earl of Avon, *The Reckoning: The Memoirs of Anthony Eden* (New York, 1965), 168, 215.
[8] Lewis Broad, *Anthony Eden, The Chronicle of a Career* (New York, 1955), 4—8; Eden, *The Reckoning,* 435; W&C-TPL, 408.
[9] Martin Gilbert, *Churchill's War Leadership* (New York, 2004), 72; Mark Mayo Boatner, *The Biographical Dictionary of World War II* (New York, 1999), 18—19, 372—73; Colville, *Churchillians,* 156—57.

[10] ChP 2/416; Colville, *Fringes,* 326; Boatner, *Biographical Dictionary,* 380.

[11] Klingaman, *1941,* 90—91.

[12] Klingaman, *1941,* 92; WM/Malcolm Muggeridge, 11/25/80.

[13] Dwight D. Eisenhower, *Crusade in Europe* (New York, 1948), 9; Carlos D'Este, *Patton: A Genius for War* (New York, 1995), 390—91.

[14] Klingaman, *1941,* 43.

[15] Charles de Gaulle, *The Complete War Memoirs of Charles de Gaulle* (New York, 1964), 84.

[16] Klingaman, *1941,* 44.

[17] Klingaman, *1941,* 48; Brian Gardner, *Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries* (Boston, 1970), 96; Charles Eade, ed., *Churchill by His Contemporaries* (New York, 1954), 140; William L. Shirer, *Berlin Diary (The Journal of a Foreign Correspondent 1934—1941)* (New York, 1941), 481.

[18] George F. Kennan, *Memoirs: 1925—1950* (New York, 1967), 130; Klingaman, *1941,* 18; Shirer, *Berlin Diary,* 448—49, 459.

[19] C&R-TCC, 1:147; CAB 65/18 (to Halifax).

[20] Mollie Panter-Downes, *London War Notes, 1939—1945* (London, 1972), 122—23,139—40; Klingaman, *1941,* 14.

[21] Klingaman, *1941,* 89—90.

[22] Klingaman, *1941,* 89—90.

[23] Klingaman, *1941,* 90; GILBERT 6, 895; ChP 20/36.

[24] TWY, 136—37.

[25] Leonard Mosley, *Battle of Britain* (New York, 1980), 136—37.

[26] TWY, 136—37; ChP 20/36.

[27] WSC 3, 4.

[28] WSC 3, 4.

[29] William L. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany* (New York, 1960), 813, 816.

[30] WM/Jock Colville, 10/14/80; Cv/3, 39, 973.

[31] Colville, *Fringes,* 419.

[32] Cv/3, 43.

[33] Cv/3, 44; Eden, *The Reckoning,* 270—72.

[34] Kennan, *Memoirs;* Cv/3, 44.

[35] Cv/3, 165.

[36] Cv/3, 430; Colville, *Fringes,* 209 (Operation Razzle).

[37] Cv/3, 173.

[38] Cv/3, 165.

[39] Margery Allingham, *The Oaken Heart* (London, 1991), 169—89.

[40] ChP 20/36; WM/Lord Butler, 1980; WM/Viscount Antony Head, 1980.

[41] Eden, *The Reckoning,* 203—4.

[42] C&R-TCC, 1:115.

[43] Robert E. Sherwood, *Roosevelt and Hopkins: An Intimate History* (New York, 1948), 1, 14, 15, 234.

[44] Arthur Conan Doyle, *The Great Boer War* (Charlestown, SC, 2006); Colville, *Fringes,* 330; Cv/3, 29.

[45] Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, 1/6/41.

[46] H.L. Mencken, *The American Language, Supplement Two* (New York, 1962), 784—85 (derivation of «Jeep»).

[47] WSCHCS, 6328.

[48] WSCHCS, 6328; *Times,* 1/10/41; David Dilks, ed., *The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938—1945* (New York, 1972), 342; Cv/2, 1268.

[49] Colville, *Fringes,* 332.
[50] John Rupert Colville, *Footprints in Time* (London, 1976), 153.
[51] James Conant, *My Several Lives: Memoirs of a Social Inventor* (Boston, 1970), 229—31.
[52] Conant, *My Several Lives,* 231.
[53] WM/Sir Robert Boothby, 10/16/80 («cool and *yella*»).
[54] TWY, 114; WSCHCS, 6529.
[55] TWY, 136—37; Mosley, *Battle of Britain*; Cv/3, 825; Cv/2, 1314.
[56] WSCHCC, 6451.
[57] Shirer, *Rise and Fall,* 779; Cv/2, 1243.
[58] Eade, *Churchill,* 141.
[59] Colville, *Fringes,* 305.
[60] Walter H. Thompson, *Assignment: Churchill* (New York, 1953), 220; WSC 3, 5; Colville, *Fringes,* 341.
[61] Walter H. Thompson, *Assignment: Churchill* (New York, 1953), 220; WSC 3, 5; Colville, *Fringes,* 341.
[62] WSC 3, 38.
[63] Panter-Downes, *War Notes,* 134.
[64] Klingaman, *1941,* 88.
[65] Klingaman, *1941,* 127; *Time,* 3/14/41, 25; WSC 3, 112, 122.
[66] Colville, *Fringes,* 358.
[67] Roger Chesneau, *Conway's All the World's Fighting Ships, 1922—1946* (London, 1980), 244; WSC 3, 122.
[68] Laurence Thompson, *1940* (New York, 1966), 234—35; Ian Kershaw, *Hitler: 1936—1945 Nemesis* (New York, 2000), 334; WSC 3, 12—13.
[69] Shirer, *Rise and Fall,* 806; Kershaw, *Hitler,* 342—44; Adolf Hitler, *Mein Kampf,* edited by John Chamberlain et al. (New York, 1939), 959—61.
[70] Shirer, *Berlin Diary,* 459—65.
[71] Colville, *Fringes,* 148—49.
[72] Ben Pimlott, *Hugh Dalton* (London, 1985), 296.
[73] Colville, *Fringes,* 196; Hugh Dalton, *Memoirs 1931—1945: The Fateful Years* (London, 1957), 365—67.
[74] Pimlott, *Hugh Dalton,* 301.
[75] Pimlott, *Hugh Dalton,* 312.
[76] Martin Gilbert, *The Second World War: A Complete History* (London, 1989), 161.
[77] Klingaman, *1941,* 47; *NYT,* 7/21/41.
[78] Colville, *Fringes,* 441.
[79] Duff Cooper, *Old Men Forget* (London, 1954), 270—71.
[80] WM/A.J.P. Taylor, 1980.
[81] Gardner, *Churchill in Power,* 108; *Time,* 1/6/41.
[82] Colville, *Fringes,* 331—33.
[83] WM/Pamela Harriman, 8/22/80; WM/Averell Harriman, 8/22/80; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 203.
[84] Robert E. Sherwood, *The White House Papers of Harry L. Hopkins: An Intimate History* (London, 1948).
[85] Sherwood, *White House Papers.*
[86] Colville, *Fringes,* 334—35; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[87] Colville, *Fringes,* 334—35; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[88] Colville, *Fringes,* 334—35; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[89] Colville, *Fringes,* 334—35; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[90] Colville, *Fringes,* 334—35; WM/Jock Colville, 10/14/80.

[91] GILBERT 6, 986; WSCHCS, 7235.
[92] Colville, *Fringes,* 333—34.
[93] GILBERT 6, 986—87 (Lyttelton recollection).
[94] Colville, *Fringes,* 331—34.
[95] Colville, *Fringes,* 334—35; GILBERT 6, 987.
[96] GILBERT 6, 988—89; Sherwood, *White House Papers,* 1:239—40.
[97] GILBERT 6, 988—89; Sherwood, *White House Papers,* 1:239—40.
[98] GILBERT 5, 990; Lord Moran, *Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran* (Boston, 1966), 6—7; WSCHCS, 6329.
[99] Moran, *Diaries,* 6—7.
[100] WSC 3, 5.
[101] Richard Collier, *The War in the Desert* (New York, 1980), 26—33; John Keegan, *The Second World War* (London, 1989); ChP 20/14.
[102] ChP 20/49 (cable to Wavell); Colville, *Fringes,* 329.
[103] WSC to Wavell, 1/11/41, ChP 20/49.
[104] William Manchester, *The Last Lion* (Boston, 1983), 1:522.
[105] GILBERT 6, 988—89.
[106] Collier, *War in the Desert,* 30—33.
[107] WSCHCS, 6346.
[108] Keegan, *Second World War,* 328; Collier, *War in the Desert,* 32—33.
[109] Hastings Lionel Ismay, *The Memoirs of General Lord Ismay* (London, 1960), 190; Keegan, *Second World War,* 328; Collier, *War in the Desert,* 33.
[110] Keegan, *Second World War,* 147—48, 328.
[111] Ismay, *Memoirs,* 195.
[112] B.H. Liddell Hart, *History of the Second World War* (New York, 1971), 118.
[113] WSC 3, 757; Ismay, *Memoirs,* 270.
[114] Boatner, *Biographical Dictionary,* 513—14.
[115] Keegan, *Second World War,* 322—24.
[116] Keegan, *Second World War,* 322—24.
[117] Keegan, *Second World War,* 323.
[118] WSC 3, 26—27; *Time,* 10/16/44.
[119] TWY, 198; Conant, *My Several Lives,* 231.
[120] Colville, *Fringes,* 773; Sarah Churchill, *Keep On Dancing* (London, 1981), 96.
[121] Colville, *Footprints,* 153—55; WM/Averell Harriman and Pamela Harriman, 8/22/80; GILBERT 6, 1019.
[122] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 157.
[123] WSCHCS, 6347; F.W. Winterbotham, *The Ultra Secret* (New York, 1974), 99—100.
[124] WSCHCS, 6346—51.
[125] Dilks, *Diaries,* 353.
[126] WSCHCS, 6346.
[127] WSCHCS, 6346.
[128] Cv/3, 395—97.
[129] ChP 69/2; ChP 20/49.
[130] Conant, *My Several Lives,* 254.
[131] ChP 20/13.
[132] Scott Berg *Lindbergh* (New York, 1999), 414—15.
[133] Gardner, *Churchill in Power,* 108.
[134] Conant, *My Several Lives,* 232.
[135] Steel, *Walter Lippmann,* 389.
[136] Eric Sevareid, *Not So Wild a Dream,* 177, 193.

[137] Cv/3, 321.
[138] Colville, *Fringes,* 350; PFR/Alexander Balas (Iron Guard), 12/08.
[139] *Time,* 2/3/41.
[140] Colville, *Fringes,* 312—13, 403.
[141] Cv/3, 204; TWY, 144—45, 186—87.
[142] WM/John Martin, 10/23/80.
[143] *Time,* 6/9/41 (Eden address on war aims), 26; Colville, *Fringes,* 329.
[144] Colville, *Fringes,* 329; ChP 20/36; ChP 20/30.
[145] Cv/3, 974.
[146] Cv/3, 974.
[147] Cv/3, 977.
[148] Cv/3, 320—21.
[149] Cv/3, 320—21.
[150] Conant, *My Several Lives,* 276.
[151] Conant, *My Several Lives,* 274, 277—78.
[152] Conant, *My Several Lives,* 274, 277—78.
[153] Colville, *Fringes,* 736.
[154] Cv/3, 320—21.
[155] WSCHCS, 6386.
[156] WSCHCS, 6386.
[157] Cv/3, 302.
[158] WM/Viscount Antony Head, 1980; Colville, *Churchillians,* 136.
[159] C&R-TCC, 1:145; Klingaman, *1941,* 127—30.
[160] WM/George Thomson, 1980.
[161] Klingaman, *1941,* 98—99; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[162] WM/Pamela Harriman, 8/22/80; TWY, 189.
[163] TWY, 140—41.
[164] TWY, 140—41.
[165] *Time,* 1/20/41.
[166] Conant, *My Several Lives,* 254—55.
[167] Conant, *My Several Lives,* 254—55; Keegan, *Second World War,* 538.
[168] *NYT,* 3/12/41.
[169] *NYT,* 3/12/41.
[170] *NYT,* 3/12/41; WSCHCS, 6360, 6505; CAB 115/436; Colville, *Fringes,* 343.
[171] ChP 23/9; Keegan, *Second World War,* 104—6.
[172] WSC 3, 111—14; Keegan, *Second World War,* 104—6.
[173] Harriman and Abel, *Special Envoy,* v—vi; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 269.
[174] Boatner, *Biographical Dictionary,* 206.
[175] WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[176] WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[177] WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[178] Eden, *The Reckoning,* 248, 251, 253; Colville, *Fringes,* 360—61.
[179] C&R-TCC, 1:144—45 (3/10/41 cable to FDR).
[180] C&R-TCC, 1:144—45 (3/10/41 cable to FDR); Cv/3, 329.
[181] Cv/3 (cable to Eden re Italians), 432; John Keegan, *Winston Churchill* (New York, 2002), 138—39.
[182] Colville, *Fringes,* 369; Klingaman, *1941,* 194—95.
[183] Dilks, *Diaries,* 365; Colville, *Fringes,* 337, 366; GILBERT 6, 1042—43.
[184] Colville, *Fringes,* 367; Pimlott, *Hugh Dalton,* 309; Dilks, *Diaries,* 366.
[185] Colville, *Fringes,* 367.

[186] Keegan, *Second World War,* 328—29; ChP 20/49; Ismay, *Memoirs,* 201; Colville, *Fringes,* 135.
[187] ChP 20/37.
[188] John Keegan, *Who's Who in World War II* (London, 1995), 175.
[189] Colville, *Fringes,* 369—70.
[190] Dilks, *Diaries,* 367—68.
[191] Cv/3, 426—28.
[192] Colville, *Fringes,* 368; Cv/3, 427—28.
[193] Cv/3, 447.
[194] WSCHCS, 5818.
[195] GILBERT 6, 1050—51; Cv/3, 447—48.
[196] Winterbotham, *Ultra Secret,* 100—101.
[197] Keegan, *Second World War,* 152—54; Eden, *The Reckoning,* 247.
[198] Cv/3, 439.
[199] Cv/3, 439.
[200] Cv/3, 445.
[201] Cv/3, 439.
[202] Collier, *War in the Desert,* 65—67.
[203] Keegan, *Second World War,* 328—29; Collier, *War in the Desert,* 65—67.
[204] Colville, *Fringes,* 371; Cv/3, 448—49.
[205] Cv/3, 448—49; Colville, *Fringes,* 371.
[206] WSC 3, 211.
[207] Colville, *Fringes,* 369—70.
[208] Brown, *Suez to Singapore,* 4—5; WSC 3, 175.
[209] Brown, *Suez to Singapore,* 4—6.
[210] Keegan, *Second World War,* 157—59.
[211] CAB 65/22.
[212] Cv/3, 517—18.
[213] Cv/3, 521.
[214] David Irving *Hitler's War* (New York, 1977), 1:246—47.
[215] Keegan, *Second World War,* 157.
[216] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 239.
[217] Collier, *War in the Desert,* 67—68.
[218] ChP 69/2; Cv/3, 445.
[219] Berg *Lindbergh,* 418—19.
[220] Shirer, *Rise and Fall,* 824.
[221] Basil Collier, *The Second World War: A Military History from Munich to Hiroshima* (New York, 1967), 186—87.
[222] *Time,* 5/5/41.
[223] WM/Jock Colville, 10/14/80.
[224] Cv/3, 360.
[225] Panter-Downes, *War Notes,* 141; Colville, *Fringes,* 374—75.
[226] Dilks, *Diaries,* 372; Colville, *Fringes,* 375; WM/Jock Colville, 10/14/80.
[227] Broad, *Anthony Eden,* 170; John Wheeler-Bennett, *Action This Day: Working with Churchill* (London, 1968), 77; Colville, *Fringes,* 128.
[228] Colville, *Fringes,* 443—45.
[229] Eden, *The Reckoning,* 295; WSCHCS, 6378.
[230] Eden, *The Reckoning,* 295; WSCHCS, 6378; Winterbotham, *Ultra Secret,* 101.
[231] WSCHCS, 6378.
[232] WSCHCS, 6378.
[233] C&R-TCC, 1:322.

[234] George Orwell, «Reflections on Gandhi» (1949), in *The Orwell Reader* (New York, 1984); WSCHCS, 6378.
[235] Orwell, «Reflections»; WSCHCS, 6378.
[236] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 16—17; GILBERT 6, 1018.
[237] Cv/3, 560 (Wavell cable).
[238] GILBERT 6, 1072; Panter-Downes, *War Notes,* 140.
[239] Danchev and Todman, *War Diaries,* 154; ChP 120/10.
[240] ChP 120/10.
[241] ChP 120/10.
[242] Colville, *Fringes,* 391.
[243] Kenneth Young *Churchill and Beaverbrook* (London, 1966), 178—79.
[244] Panter-Downes, *War Notes,* 145.
[245] Panter-Downes, *War Notes,* 123.
[246] Panter-Downes, *War Notes,* 123, 138; Hansard 5/29/41 Oral answers (Cv/3, 735).
[247] Dilks, *Diaries,* 375.
[248] WSC 3, 254, 255, 265; John Keegan, ed., *Churchill's Generals* (New York, 1991).
[249] *Time,* 6/2/41, 24; WSC 3, 264—66.
[250] Cv/3, 560.
[251] Keegan, *Second World War,* 161.
[252] C&R-TCC, 1:176.
[253] Keegan, *Second World War,* 161.
[254] Keegan, *Second World War,* 161.
[255] C&R-TCC, 1:172—74.
[256] C&R-TCC, 1:172—74; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 31.
[257] Colville, *Fringes,* 381—82.
[258] C&R-TCC, 1:181—82.
[259] WSC 3, 53—55; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 293—94; *Time,* 12/27/43, 73; *Time,* 12/27/43, 73 (MacNeice).
[260] WM/Pamela Harriman, 8/22/80.
[261] WSC 3, 53—55.
[262] WSC 3, 53—55.
[263] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 294.
[264] Albert Speer, *Inside the Third Reich: Memoirs by Albert Speer* (Macmillan, 1970), 174—75.
[265] WM/Kay Halle, 8/6/80.
[266] *Time,* 6/12/44.
[267] Colville, *Fringes,* 385—86; Cv/3, 767; WSCHCS, 6399.
[268] Colville, *Fringes,* 385—86.
[269] Boatner, *Biographical Dictionary,* 596.
[270] Keegan, *Second World War,* 166—69.
[271] C&R-TCC, 1:191, 192; Colville, *Fringes,* 389.
[272] Colville, *Fringes,* 389.
[273] Colville, *Fringes,* 389.
[274] WSC 3, 305.
[275] Boatner, *Biographical Dictionary,* 328.
[276] Chesneau, *Conway s;* WSC 3, 305—20.
[277] C&R-TCC, 1:192; Colville, *Fringes,* 374.
[278] C&R-TCC, 1:192; Colville, *Fringes,* 374.
[279] Colville, *Fringes,* 390; Ismay, *Memoirs,* 219; ChP 4/219.

[280] WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[281] WCS 6, 1094.
[282] Colville, *Fringes,* 391; WSC 3, 299.
[283] Colville, *Fringes,* 391.
[284] Colville, *Fringes,* 391.
[285] Colville, *Footprints,* 188—89.
[286] WSC 3, 316—17.
[287] WSC 3, 317—20; Colville, *Fringes,* 403.
[288] *Time,* 6/16/41; WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[289] WSC 3, 317—20.
[290] Cv/3, 761; *Time,* 6/16/41, 30; WSC 3, 304.
[291] WSCHCS, 6412—15; Hansard 6/10/41.
[292] WSCHCS, 6415; Hansard 6/10/41.
[293] Colville, *Fringes,* 383, 393.
[294] Colville, *Fringes,* 396.
[295] Colville, *Fringes,* 396; C&R-TCC, 1:191.
[296] Colville, *Fringes,* 382, 402; GILBERT 6, 846.
[297] GILBERT 6, 1074 n 1.
[298] ChP 20/36.
[299] Robert W. Creamer, *Baseball and Other Matters in 1941* (Lincoln, NE, 1991), 169—70.
[300] Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, 5/27/41.
[301] WSCHCS, 6490.
[302] Cv/3, 731 (to Wavell).
[303] Cv/3, 1132 (letter to Randolph); Colville, *Fringes,* 432.
[304] Cv/3, 1132 (letter to Randolph); Colville, *Fringes,* 432.
[305] WSC 3, 368.
[306] WSC 3, 342.
[307] Cv/3, 807, 830; *Time,* 3/31/41.
[308] Cv/2, 1246; Colville, *Fringes,* 403—4.
[309] Colville, *Fringes,* 403; Boatner, *Biographical Dictionary,* 556.
[310] Colville, *Fringes,* 403.
[311] Eden, *The Reckoning,* 312; Colville, *Fringes,* 403.
[312] Keegan, *Second World War,* 181.
[313] Keegan, *Second World War,* 181; Shirer, *Rise and Fall,* 849.
[314] Keegan, *Second World War,* 180—81.
[315] Keegan, *Second World War,* 180—81.
[316] Keegan, *Second World War,* 178—79; WSC 3, 353.
[317] Colville, *Fringes,* 403—4; TWY, 174.
[318] TWY, 174.
[319] Colville, *Fringes,* 402—3.
[320] Colville, *Fringes,* 405.
[321] Colville, *Fringes,* 405.
[322] WSCHCS, 6427.
[323] WSCHCS, 6427; C&R-TCC, 2:22 (Balkan proverb).
[324] TWY, 174.
[325] PFR/Sir John Keegan, 6/04.
[326] J. Erikson, *The Soviet High Command* (London, 1962); William Taubman, *Khrushchev: The Man and His Era* (New York, 2003), 162.
[327] J. Erikson, *The Soviet High Command* (London, 1962); William Taubman, *Khrushchev: The Man and His Era* (New York, 2003), 162.

[328] ChP 65/19; Cv/3, 1107; C&R-TCC, 1:253.
[329] Cv/3, 842.
[330] Cv/ 3, 870—71.
[331] C&R-TCC, 1:224.
[332] Young *Churchill and Beaverbrook,* 200; WSC 2, 577; Richard Langworth, ed., *Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations* (London, 2008), 324.
[333] Cv/3, 956; Cv/3, 1161.
[334] WSC 3, 462—63; Cv/3, 1171—72.
[335] ChP 20/44.
[336] Cv/3, 1171 (to Cripps); Cv/3, 964—65 (to Stalin).
[337] Cv/3, 841 (to Chiefs).
[338] Cv/3, 991; Cv/3, 1236.
[339] Cv/3, 991; Cv/3, 1236.
[340] Cv/3, 991; Cv/3, 1236.
[341] GILBERT 6, 1050—51.
[342] James C. Humes, *The Wit and Wisdom of Winston Churchill* (New York, 1995), 151; Colville, *Fringes,* 309; Anthony Montague Browne, *Long Sunset* (London, 1996), 76.
[343] *Time, 6/9/41.*
[344] Colville, *Fringes,* 194; Colville, *Churchillians, 144.*
[345] Colville, *Fringes,* 416—17.
[346] Colville, *Fringes,* 419; *Cv/3,* 978.
[347] *Brooklyn Eagle,* 8/6/41.
[348] *Cv/3,* 1031; Colville, *Fringes,* 424; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.
[349] WSC 3, 429.
[350] WSC 3, 425—27; *Brooklyn Eagle,* 8/6/41; GILBERT 6, 1155—56.
[351] WSC 3, 445—46.
[352] Cv/3, 111 (draft of threat to Japan).
[353] Dilks, *Diaries, 396—97; Brooklyn Eagle,* 8/6/41; *Time,* 5/31/41.
[354] Thompson, *Assignment: Churchill,* 230.
[355] Wheeler-Bennett, *Action This Day,* 207.
[356] WSC 3, 434.
[357] WSC 3, 432.
[358] Thompson, *Assignment: Churchill,* 234, 236, 239; ChP 4/225; Dilks, *Diaries,* 398.
[359] WSC 3, 443—44.
[360] WSC 4, 890; Cv/3, 1059.
[361] Thompson, *Assignment: Churchill,* 271; Dilks, *Diaries,* 277, 280, 401.
[362] CAB 65/19; Cv/3, 1079, 1084
[363] Dilks, *Diaries,* 402; Cv/3, 1068; Cv/3, 1079.
[364] Colville, *Fringes,* 428; Cv/3, 1111; Cv/3, 1079—81; Keegan, *Second World War,* 538—39.
[365] Colville, *Fringes,* 428; James MacGregor Burns, *Roosevelt: The Soldier of Freedom, 1940—1945* (New York, 1970), 118, 134.
[366] Shirer, *Rise and Fall,* 854.
[367] NYT, 9/2/41; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 369.
[368] T.R. Fehrenbach, *FDR's Undeclared War 1939—1941* (New York, 1967).
[369] T.R. Fehrenbach, *FDR's Undeclared War 1939—1941* (New York, 1967).
[370] Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, Fireside Chat, 9/11/41.
[371] Klingaman, *1941,* 370.

[372] War Cabinet No. 112 of 1941; C&R-TCC, 1:265.
[373] War Cabinet No. 112 of 1941.
[374] Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, 9/11/41.
[375] C&R-TCC, 1:198.
[376] C&R-TCC, 1:265.
[377] Wheeler-Bennett, *Action This Day,* 202.
[378] Gordon Prange, *At Dawn We Slept: The Untold Story of Pearl Harbor* (London, 1983), 37—39, 320; Liddell Hart, *History,* 227.
[379] Cv/3, 236; *Time,* 1/19/42, 9.
[380] WSC 3 (memo to Ismay), 177.
[381] Colville, *Footprints,* 150; Cv/3, 44; Premier (Prime Minister) Papers, Public Record Office, Kew, 3/156/6.
[382] Klingaman, *1941,* 346.
[383] Klingaman, *1941,* 346.
[384] WSC 3, 580—81.
[385] C&R-TCC, 1:108; ChP 20/13 (Ismay Minute, 7/25/40); Colville, *Fringes,* 335; Cv/3, 575.
[386] C&R-TCC, 1:257; WSC 3, 603.
[387] Cv/3, 1094.
[388] Cv/3, 1555.
[389] *Chicago Tribune,* 10/27/41.
[390] Cv/3, 1111.
[391] C&R-TCC, 1:276.
[392] Cv/3, 1530—31.
[393] ChP 2/416.
[394] Eden, *The Reckoning,* 325.
[395] Boatner, *Biographical Dictionary* 63 (Brooke); Danchev and Todman, *War Diaries,* 89—90.
[396] Colville, *Fringes,* 446.
[397] Cv/3, 1534; Cv/3, 1530—36.
[398] C&R-TCC, 1:266.
[399] Cv/3, 1530.
[400] Colville, *Fringes,* 414—15; Churchill, *Keep On Dancing,* 95.
[401] WM/Lady Mary Soames, 10/27/80; Mary Soames, *Clementine Churchill: The Biography of a Marriage* (New York, 2003), 403; Churchill, *Keep On Dancing,* 160.
[402] Soames, *Clementine,* 404.
[403] Collier, *War in the Desert,* 83—86.
[404] Cv/3, 1531 (Auchinleck greetings).
[405] WSCHCS, 6519.
[406] TWY, 190.
[407] TWY, 205.
[408] Cv/3, 1534—36.
[409] Keegan, *Second World War,* 538.
[410] Keegan, *Second World War,* 203, 206.

Глава 3
ВОДОВОРОТ

[1] Walter H. Thompson, *Assignment: Churchill* (New York, 1953), 3.
[2] PFR/Winston S. Churchill, 4/04 (Christmas at Chequers); WM/Pamela Harriman, 8/22/80; Martin Gilbert, *Churchill and the Jews* (New York, 2007), 2; John

Colville, *The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939—1955* (New York, 1985), 392.

[3] PFR/Winston S. Churchill (Christmas at Chequers), 4/04.

[4] Alex Danchev and Daniel Todman, eds., *Field Marshal Lord Alanbrooke: War Diaries 1939—1945* (Berkeley, 2003), 209.

[5] Cv/3, 1553; Cv/3, 1235.

[6] W. Averell Harriman and Elie Abel, *Special Envoy to Churchill and Stalin: 1941—1946* (New York, 1975), 111.

[7] *Time,* 5/11/42, 90; C&R-TCC, 1:279.

[8] C&R-TCC, 1:280—81; *Time,* 1/19/42, 9.

[9] Arthur Bryant, *The Turn of the Tide: A History of the War Years Based on the Diaries of Field-Marshal Lord Alanbrooke, 1939—1943* (New York, 1957), 233.

[10] Cv/3, 1574.

[11] WM/Averell Harriman, 8/22/80.

[12] Cv/3, 1576—77; WM/Pamela Harriman, 8/22/80; WM/Averell Harriman, 8/22/80.

[13] Cv/3, 1576—77; WM/Pamela Harriman, 8/22/80; WM/Averell Harriman, 8/22/80; WM/John Martin, 10/23/80.

[14] WSC 3, 604; Danchev and Todman, *War Diaries,* 209.

[15] Cv/3, 1579.

[16] Cv/3, 1579.

[17] Cv/3, 1579.

[18] ChP 20/36; Bryant, *Tide,* 226; Duff Cooper, *Old Men Forget* (London, 1954), 301.

[19] William Manchester, *American Caesar: Douglas MacArthur 1880—1964* (Boston, 1978), 209—11; Samuel Eliot Morison *The Two-Ocean War* (Boston, 1963), 82; Clay Blair Jr., *Silent Victory* (Annapolis, MD, 1975), 134, 171.

[20] *NYT,* 12/12/41; Manchester, *American Caesar,* 209—11; Morison, *Two-Ocean War,* 82.

[21] Eisenhower, *Crusade,* 21; Leonard Mosley, *Marshall: Hero for Our Times* (New York, 1982), 189—91.

[22] C&R-TCC, 1:283.

[23] WSCHCS, 6525; TWY, 194.

[24] WSC 3, 611; ChP 20/46; ChP 20/20.

[25] Cv/3, 1586; Anthony Eden, Earl of Avon, *The Reckoning: The Memoirs of Anthony Eden* (New York, 1965), 330—31.

[26] Mary Soames, *Clementine Churchill: The Biography of a Marriage* (New York, 2003), 349—50 (Komodo); WM/Viscount Antony Head, 1980.

[27] Winston S. Churchill, *A History of the English-Speaking Peoples,* 4 vols. (New York, 1993), 3:212.

[28] Winston S. Churchill, *A History of the English-Speaking Peoples,* 4 vols. (New York, 1993), 3:212.

[29] Winston S. Churchill, *A History of the English-Speaking Peoples,* 4 vols. (New York, 1993), 3:212.

[30] WM/Mark Bonham Carter, 10/20/80.

[31] Cv/3, 1435; Cv/3, 1455; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.

[32] Cv/3, 1083; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.

[33] WM/G.M. Thompson, 1980; WSC 3, 854; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.

[34] Mark Mayo Boatner, *The Biographical Dictionary of World War II* (New York, 1999), 428; Stephen Roskill, *Churchill and the Admirals* (New York, 1978), 199; Hastings Lionel Ismay, *The Memoirs of General Lord Ismay* (London, 1960), 240.

[35] WM/G.M. Thompson, 1980.

[36] Cv/3, 1592; Cecil Brown, *Suez to Singapore* (New York, 1942), 298.
[37] WSC 3, 619; David Reynolds, *Britannia Overruled* (London, 2000), 141.
[38] Brown, *Suez to Singapore,* 311—23; Cv/3, 1474.
[39] Brown, *Suez to Singapore,* 311—23; Cv/3, 1474.
[40] Brown, *Suez to Singapore,* 328.
[41] WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[42] Cv/3, 1593; WSC 3, 620.
[43] Mollie Panter-Downes, *London War Notes, 1939—1945* (London, 1972), 198.
[44] Thompson, *Assignment: Churchill,* 245—46.
[45] Winston Churchill, *My Early Life: 1874—1904* (New York, 1996), 19; WM/Lady Mary Soames, 10/27/80.
[46] Churchill, *Early Life,* 19; WM/Lady Mary Soames, 10/27/80.
[47] Hansard 12/11/41; TWY, 196—97.
[48] WSC 3, 616; CAB 69/4 (Cv/3, 1651); Winston S. Churchill, *The World Crisis,* 5 vols. (New York, 1923—31), 1:212 («gigantic castles of steel»).
[49] The Editors of the Viking Press, *The Churchill Years 1874—1965, with Foreword by Lord Butler of Saffron Walden* (London, 1965), 21; WM/R.A.B. Butler, 12/5/80.
[50] Cv/3, 1627.
[51] *Time,* 1/5/42, 13—14; *Time,* 3/2/42, 57.
[52] *NYT,* 12/12/42.
[53] WSCHCS, 6530; TWY, 196—97.
[54] Colville, *Fringes,* 404; WSCHCC, 6531.
[55] C&R-TCC, 1:286.
[56] Cv/3, 1612; Danchev and Todman, *War Diaries,* 209.
[57] GILBERT 7, 6—7; PFR/Lady Mary Soames, 6/07.
[58] W&C-TPL, 459—61.
[59] WM/G.M. Thompson, 1980.
[60] *NYT,* 12/12/41.
[61] Richard Collier, *The War in the Desert* (New York, 1980), 84—85.
[62] Cv/3, 1657; David Dilks, ed., *The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938—1945* (New York, 1972), 439.
[63] PFR/Winston S. Churchill, 5/04; Soames, *Clementine,* 499.
[64] WSC 3, 696; PFR/Winston S. Churchill, 4/04.
[65] James MacGregor Burns, *Roosevelt: The Soldier of Freedom, 1940—1945* (New York, 1970), 551.
[66] WSC 6, 400—401; C&R-TCC, 3:68—69; WSCHCS, 7117.
[67] John Gunther, *Inside Europe* (New York, 1938), 464—65; WM/Averell Harriman, 8/22/80; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 283.
[68] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 77, 220.
[69] Elisabeth Barker, *Churchill and Eden at War* (New York, 1978), 233—35; ChP 20/50.
[70] Cv/3, 1644.
[71] Cv/3, 1644.
[72] Louis P. Lochner, *The Goebbels Diaries 1942—1943* (New York, 1948), 136; Charles Burdick and Hans-Adolf Jacobsen, eds., *The Halder War Diary, 1939—1942* (New York, 1988); Boatner, *Biographical Dictionary,* 200—201.
[73] Panter-Downes, *War Notes,* 191.
[74] Thompson, *Assignment: Churchill,* 246; WSC 3, 682.
[75] Cv/3, 1344—45.
[76] John Keegan, ed., *Churchill's Generals* (New York, 1991), 86; Cv/3, 1341; WSC 4, 24.

[77] CAB 69/2; ChP 20/20.

[78] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 216; Bryant, *Tide,* 15.

[79] Dwight D. Eisenhower, *Crusade in Europe* (New York, 1948), 22.

[80] Bryant, *Tide,* 16 («salt water» general).

[81] Danchev and Todman, *War Diaries,* 281; Bryant, *Tide,* 234.

[82] Edward Jablonski, *Airwar: Tragic Victories* (Garden City, NY, 1971), «American Renegades», 26—42.

[83] WSC 3, 674; Bryant, *Tide,* 231.

[84] WSCHCS, 6535; Written Archives Center, U.S. National Park Service.

[85] William K. Klingaman, *1941: Our Lives in a World on the Edge* (New York, 1989), 449.

[86] WSC 3, 666.

[87] ChP 20/50; *Time,* 1/5/42, 22—23; *Time,* 8/3/42, 15.

[88] *Time,* 1/5/42, 16; Moran, *Diaries,* 11; WSCHCS, 6536.

[89] WSCHCS, 6537—39.

[90] *NYT,* 12/27/41; ChP 20/49; Bryant, *Tide,* 229; GILBERT 7, 28—29.

[91] WSC 3, 691; Lord Moran, *Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran* (Boston, 1966), 17—18.

[92] Moran, *Diaries,* 20.

[93] WSC 3, 679; Martin Gilbert, *In Search of Churchill: A Historian's Journey* (New York, 1994), 295—96.

[94] Thompson, *Bodyguard,* 257; WSC 3, 680—81.

[95] PFR/Brig. General Albin Iizyk (U.S. Army ret.), 12/11.

[96] TWY, 199; WSC 3, 681.

[97] Danchev and Todman, *War Diaries,* 217; Klingaman, *1941,* 450—51.

[98] Boatner, *Biographical Dictionary,* 324; WSC 3, 682—83.

[99] Boatner, *Biographical Dictionary,* 324; WSC 3, 682—83; GILBERT 7, 35; WM/Pamela Harriman, 8/22/80. This was her secondhand recollection of what Churchill said to Roosevelt when the president encountered WSC naked. Afterward Churchill disputed the recollection of his bodyguard, Inspector Walter Thompson (*Assignment: Churchill,* 248), and his secretary, Patrick Kinna, who both claimed Churchill said to the president, «You see Mr. President, I have nothing to conceal [or «hide»] from you» (GILBERT 7, 28). Churchill later told Robert E. Sherwood (*Roosevelt and Hopkins: An Intimate History* [New York, 1948], 442—43) that he in fact had secrets to keep from the Americans, and did so.

[100] NYT, 12/12/41.

[101] Mencken, *American Language,* 785—86.

[102] *Atlantic Monthly,* 3/65, 79.

[103] Tom Hickman, *Churchill's Bodyguard* (London, 2005), 261; WSC 3, 691, 706; Celia Sandys, *Chasing Churchill* (New York, 2005), 148; WM/John Martin, 10/23/80.

[104] *Time,* 5/25/42, 22—23; The Adamic Louis Papers, Slovene American Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota; WM/Sir Fitzroy Maclean, 10/15/80.

[105] GILBERT 6, 1215 (lisp); *Time,* 9/2/46; *Time,* 11/4/46.

[106] WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80; WM/Jock Colville, 10/14/80.

[107] WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80; WM/Jock Colville, 10/14/80. WM/Sir David Hunt, 1980.

[108] Barbara Tuchman, *Stilwell and the American Experience in China* (New York, 1971), 296, 308—9.

[109] Tuchman, *Stilwell,* 625; WSC 3, 705; WSC 4, 123.

[110] WSC 3, 689—90; *Time,* 5/5/43.

[111] WSC 2, 115; Morison, *Two-Ocean War,* 138.

[112] WSC 3, 710—11.

[113] WSC 3, 708.

[114] GILBERT 7, 53—54; Eden, *The Reckoning,* 369.

[115] ChP 20/23; WSC 4, 8.

[116] Moran, *Diaries, 28;* WSC 4, 60—61.

[117] Brian Gardner, *Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries* (Boston, 1970), 150.

[118] Brian Gardner, *Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries* (Boston, 1970), *150.*

[119] David Stafford, *Churchill and Secret Service* (London, 2000), 280.

[120] *Time,* 3/2/42, 27 («Christ and Carrots» Cripps); Lochner, *Goebbels Diaries,* 137.

[121] Kenneth Young *Churchill and Beaverbrook* (London, 1966), 230, 232; WSC 4, 75; Cv/3, 1373—74; Gardner, *Churchill in Power,* 183.

[122] WSC 4, 61; Gardner, *Churchill in Power,* 157.

[123] Gardner, *Churchill in Power,* 147.

[124] John Colville, *The Churchillians* (London, 1981), 69; John Wheeler-Bennett, *Action This Day: Working with Churchill* (London, 1968), 79; Charles Eade, ed., *Churchill by His Contemporaries* (New York, 1954), 298; WM/Jock Colville, 10/14/80.

[125] Brian Gardner, *Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries* (Boston, 1970), 152; Moran, *Diaries,* 80; WSCHCS, [726]9.

[126] Jan Morris, *The Matter of Wales* (New York, 1984), 404, 405; Gardner, *Churchill in Power,* 152; Moran, *Diaries,* 649.

[127] WM/Pamela Harriman, 8/22/80; WSC 4, 61; Gardner, *Churchill in Power,* 157; TWY, 207, 208, 209; Colville, *Fringes,* 737.

[128] WM/Averell Harriman, 8/22/80; WSC 4, 61; Gardner, *Churchill in Power,* 157; TWY, 207, 208, 209.

[129] Gardner, *Churchill in Power,* 158.

[130] TWY, 209.

[131] *Time,* 10/24/1941.

[132] WSC 3, 576—77.

[133] WSC 3, 576—77; W&C-TPL, 558; *Time,* 5/3/43, 40.

[134] Collier, *War in the Desert,* 89; WSC 4, 21; TWY, 209.

[135] *Time,* 3/2/42, 20.

[136] Basil Collier, *The Second World War: A Military History from Munich to Hiroshima* (New York, 1967), 268; *Time,* 3/2/42, 20.

[137] Basil Collier, *The Second World War: A Military History from Munich to Hiroshima* (New York, 1967), 268; *Time,* 3/2/42, 20.

[138] Brown, *Suez to Singapore,* 370, 392.

[139] WSC 4, 50—51; Collier, *Second World War,* 273.

[140] Brown, *Suez to Singapore,* 373; Cooper, *Old Men,* 305; PFR/Michael Browning, 7/04.

[141] GILBERT 7, 47, 57; ChP 20/67.

[142] GILBERT 7, 47, 57; ChP 20/67.

[143] John Toland, *The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936—1945* (London, 2003), 336—37; *Time,* 3/2/42, 21; C&R-TCC, 1:381; Danchev and Todman, *War Diaries,* 231.

[144] WSC 3, 581.

[145] John Keegan, *The Second World War* (London, 1989), 261.

[146] Lochner, *Goebbels Diaries,* 81, 83.

[147] WSC 3, 680; TWY, 212; Hansard 2/17/42.

[148] WSC 4, 72, 113; Panter-Downes, *War Notes,* 206—7; WSCHCS, 6615 («simpletons and dunderheads»).

[149] WSC 4, 81; WM/Lord Geoffrey Lloyd, 1980.

[150] WM/Malcolm Muggeridge, 11/25/80; WM/Lord Geoffrey Lloyd, 1980; WSC 4, 81; Danchev and Todman, *War Diaries,* 713.

[151] WSC 4, 75; W&C-TPL, 464.

[152] Roy Jenkins, *Churchill: A Biography* (London, 2011), 685.

[153] Panter-Downes, *War Notes,* 205.

[154] Klingaman, *1941,* 215.

[155] WSCHCS, 6427.

[156] WSCHCS, 6527.

[157] Dilks, *Diaries,* 433.

[158] WSC 4, 155—56.

[159] Morison, *Two-Ocean War,* 93—97.

[160] Soames, *Clementine,* 415; Morison, *Two-Ocean War,* 93—97; *Time,* 3/9/42.

[161] Morison, *Two-Ocean War,* 98, 100.

[162] Jablonski, *Airwar,* 41—42.

[163] WSC 4, 160; Keegan, *Churchill s Generals,* 108—9.

[164] For a study of the Bengal famine, see Amarty a Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation* (New York, 1982).

[165] Tuchman, *Stilwell,* 347; WSC 4, 170.

[166] Tuchman, *Stilwell,* 361, 371.

[167] Tuchman, *Stilwell,* 361, 371; C&R-TCC, 1:391, 423, 438, 458.

[168] TWY, 221; Dilks, *Diaries,* 438.

[169] C&R-TCC, 1:421—22.

[170] Colville, *Fringes,* 382.

[171] Danchev and Todman, *War Diaries,* 438.

[172] WSC 4, 121—22.

[173] WSC 4, 184.

[174] C&R-TCC, 1:382—83, 443; Samuel Eliot Morison, *The Battle of the Atlantic: September 1939 May* 1943 (Edison, NJ, 2001), 168; Bryant, *Tide,* 244.

[175] C&R-TCC, 1:382—83, 453, 459; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 167; Danchev and Todman, *War Diaries,* 290.

[176] C&R-TCC, 1:390, 452—54.

[177] WM/Jock Colville, 10/14/80.

[178] Morison, *Two-Ocean War,* 142.

[179] Morison, *Two-Ocean War,* 141; Hiroyuki Agawa, *The Reluctant Admiral* (Tokyo, 1979), 73, 177.

[180] Morison, *Two-Ocean War,* 141; Agawa, *Reluctant Admiral,* 140—41; C&R-TCC, 1:466.

[181] WSC 4, 188.

[182] C&R-TCC, 1:383, 391, 392, 441.

[183] WSC 4, 217; George Orwell, «Reflections on Gandhi» (1949), in *The Orwell Reader* (New York, 1984).

[184] C&R-TCC, 1:446—47; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 131.

[185] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 530—31.

[186] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 131; WM/Averell Harriman, 8/22/80; WSC 4, 209; *Time,* 9/14/42, 29.

[187] C&R-TCC, 2:449; WM/Lord Christopher Soames, 1980.

[188] Lochner, *Goebbels Diaries,* 177.

[189] WSC 4, 204—5.

[190] C&R-TCC, 1:484, 491.
[191] WSC 4, 219.
[192] C&R-TCC, 1:441; GILBERT 7, 117.
[193] Danchev and Todman, *War Diaries,* 247, 249.
[194] C&R-TCC, 1:458.
[195] Mosley, *Marshall,* 204—5.
[196] Boatner, *Biographical Dictionary,* 1999, 305.
[197] C&R-TCC, 1:460.
[198] C&R-TCC, 1:494.
[199] David Miller, *U-Boats* (New York, 2000), 127; WSC 4, 109; Morison, *Two-Ocean War,* 108.
[200] WSC 4, 112, 118, 123; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 544; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 169.
[201] Panter-Downes, *War Notes,* 264.
[202] Miller, *U-Boats,* 117—18, 134, 174—75.
[203] Miller, *U-Boats,* 117—18, 134, 174—75; Dilks, *Diaries,* 433.
[204] WSC 4, 112, 118, 125.
[205] C&R-TCC, 1:528.
[206] WSC 4, 296.
[207] WSC 4, 296.
[208] WSC 3, 702—3; Bryant, *Tide,* 357.
[209] Ismay, *Memoirs,* 273.
[210] Cv/3, 160; Lochner, *Goebbels Diaries,* 189—90; *NYT,* 4/2/08.
[211] WSC 3, 702.
[212] WM /Sir Ian Jacob, 11/12/80; Danchev and Todman, *War Diaries,* 187.
[213] WM /Sir Ian Jacob, 11/12/80; Danchev and Todman, *War Diaries,* 187.
[214] Lochner, *Goebbels Diaries,* 130, 135.
[215] Lochner, *Goebbels Diaries,* 189; Harold Lee Hitchens, America Goes to War (Chicago, 1942), 66; Danchev and Todman, *War Diaries,* 348.
[216] Lochner, *Goebbels Diaries,* 179; PFR/Alexander Balas, 12/06; *Time,* 2/1/43, 33.
[217] C&R-TCC, 1:382.
[218] *Time,* 5/11/42, 17.
[219] Collier, *Second World War,* 296; John Keegan, *The Second World War* (London, 1989), 221—22; WSC 4, 343.
[220] Keegan, *Second World War,* 222—23.
[221] John Keegan, *The Mask of Command* (New York, 1987), 255, 286.
[222] Gardner, *Churchill in Power,* 131.
[223] C&R-TCC, 1:503.
[224] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 138.
[225] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 136.
[226] C&R-TCC, 1:441; WSC 4, 314, 327, 341—42; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 136.
[227] WSC 4, 336—37.
[228] Danchev and Todman, *War Diaries,* 100.
[229] Collier, *War in the Desert,* 90—91.
[230] Danchev and Todman, *War Diaries,* 154; WM/John Martin, 10/23/80.
[231] Colville, *Fringes,* 412; Kew, British Archives, Cabinet Minutes (electric chair); see George Orwell, «Politics and the English Language» (1946) in *A Collection of Essays by George Orwell* (Orlando, FL, 1970).
[232] WSC 4, 334—35.
[233] Colville, *Fringes,* 412; Keegan, *Mask,* 282—283.

[234] *Time,* 8/17/42, 24; GILBERT 7, 75; GILBERT 6, 1205; NYT, 6/1/42.
[235] *Time,* 7/13/42, 92; Lochner, *Goebbels Diaries,* 155.
[236] *Time,* 7/13/42, 92; Lochner, *Goebbels Diaries,* 155.
[237] Arthur Harris, *Bomber Offensive* (London, 1947), 52, 310; *Time,* 6/8/42.
[238] Panter-Downes, *War Notes,* 226; *Time,* 6/12/42, 32.
[239] Lochner, *Goebbels Diaries,* 229.
[240] David Stafford, *Churchill and Secret Service* (London, 2000), 280; William L. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany* (New York, 1960), 991.
[241] Shirer, *Rise and Fall,* 991—92.
[242] *Time,* 6/12/42; Lochner, *Goebbels Diaries,* 147—48.
[243] Stafford, *Secret Service,* 281.
[244] WSCHCS, 6475.
[245] Lochner, *Goebbels Diaries,* 140.
[246] Morison, *Two-Ocean War,* 150—51.
[247] Morison, *Two-Ocean War,* 155—61.
[248] C&R-TCC, 1:510.
[249] Keegan, *Atlas,* 64—65.
[250] C&R-TCC, 2:510.
[251] Danchev and Todman, *War Diaries,* 266; WSC 4, 375.
[252] Harry C. Butcher, *My Three Years with Eisenhower* (New York, 1946), 24; Danchev and Todman, *War Diaries,* 266; WSC 4, 376.
[253] Collier, *War in the Desert,* 92.
[254] WSC 4, 381, 382; GILBERT 7, 426.
[255] WSC 4, 383—84.
[256] Collier, *War in the Desert,* 92—93.
[257] Richard Collier, *Duce!* (New York, 1971), 184—85.
[258] WSC 4, 386.
[259] WSC 4, 386.
[260] WSC 4, 386; Bryant, *Tide,* 333.
[261] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 144; Panter-Downes, *War Notes,* 232.
[262] Butcher, *Eisenhower,* 13, 24.
[263] Panter-Downes, *War Notes,* 233, 234, 235, 238.
[264] WSC 4, 392.
[265] WSC 4, 386.
[266] TWY, 231; Panter-Downes, *War Notes,* 234.
[267] WSC 4, 398.
[268] WSC 4, 400; Boatner, *Biographical Dictionary,* 462.
[269] TWY, 232.
[270] Butcher, *Eisenhower,* 5, 12, 22, 28.
[271] TWY, 235.
[272] WSC 4, 447; Eisenhower, *Crusade,* 69; WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[273] WSC 4, 447; Eisenhower, *Crusade,* 69; WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[274] WSC 4, 447; Eisenhower, *Crusade,* 69; WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[275] WSC 5, 72; Panter-Downes, *War Notes,* 224.
[276] Eisenhower, *Crusade,* 68; *Time,* 7/13/42, 20—21; Butcher, *Eisenhower,* 23.
[277] WSC 4, 444 (Roosevelt memo to American Chiefs); Butcher, *Eisenhower,* 51; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 648.
[278] C&R-TCC, 1:545; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 171—72.
[279] John Grigg *1943: The Victory That Never Was* (New York, 1980), 156; Eisenhower, *Crusade,* 83, 85.

[280] WSC 4, 529—33; Butcher, *Eisenhower,* 52.

[281] Danchev and Todman, *War Diaries,* 272, 357, 358, 359, 364, 634.

[282] Colville, *Fringes,* 289.

[283] Mosley, *Marshall,* 202, 211; Burns, *Roosevelt,* 286.

[284] WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.

[285] Danchev and Todman, *War Diaries,* 249, 276; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 523.

[286] Danchev and Todman, *War Diaries,* 588, 634.

[287] Danchev and Todman, *War Diaries,* 716.

[288] ChP 20/67; Viscount Montgomery of Alamein, *The Memoirs of Field Marshal Montgomery* (London, 1958), 69—70.

[289] Keegan, *Mask,* 288; Keegan, *Second World War,* 226—28.

[290] Keegan, *Second World War,* 228; *Time,* 1/4/43, 21.

[291] Keegan, *Mask,* 265.

[292] F W. Winterbotham, *The Ultra Secret* (New York, 1974), 109; Stafford, *Secret Service,* 283—84.

[293] WSC 4, 452—53; Butcher, *Eisenhower,* 12.

[294] Bruce West, *The Man Who Flew Churchill* (New York, 1965), 31, 32; Sandys, *Chasing Churchill,* 152; Moran, *Diaries,* 56; WSC 4, 452—53.

[295] Bryant, *Tide,* 353; Danchev and Todman, *War Diaries,* 288.

[296] WSC 4, 475.

[297] West, *Man Who Flew Churchill,* 104—5; W&C-TPL, 405; WSC 4, 456.

[298] WSC 4, 456; Winston S. Churchill, *The River War,* edited by John Muller (London, 2003).

[299] WSC 4, 456—57.

[300] Danchev and Todman, *War Diaries,* 289.

[301] Danchev and Todman, *War Diaries,* 293.

[302] WSC 4, 465; Ladislas Farago, *Patton: Ordeal and Triumph* (New York, 1963), 179.

[303] WSC 4, 467; TWY, 259; Danchev and Todman, *War Diaries,* 296.

[304] TWY, 259; W&C-TPL, 467—68.

[305] Colville, *Fringes,* 256; WM/Sir Robert Boothby, 10/16/80.

[306] Colville, *Fringes,* 391.

[307] W&C-TPL, 467.

[308] Joseph M. Mueller, *Guadalcanal 1942* (Oxford, 1992), 29, 34, 35; Morison, *Two-Ocean War,* 172.

[309] W&C-TPL, 466; WSC 4, 475; Danchev and Todman, *War Diaries,* 300.

[310] Danchev and Todman, *War Diaries,* 297.

[311] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 165—66.

[312] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 165—66; Danchev and Todman, *War Diaries,* 300; Dilks, *Diaries,* 470.

[313] Bryant, *Tide,* 375.

[314] Thompson, *Assignment: Churchill,* 268—69; WSC 4, 466; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 159; George F. Kennan, *Memoirs: 1925—1950* (New York, 1967), 279 (Stalin's yellow eyes).

[315] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 152—53.

[316] Dilks, *Diaries,* 471—72.

[317] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 157—59; Thompson, *Assignment: Churchill,* 268; Martin Gilbert, *Churchill: A Life* (New York, 1992), 727—30.

[318] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 161; WSC 4, 492; Dilks, *Diaries,* 472; Danchev and Todman, *War Diaries,* 301—3.

[319] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 163; WSC 4, 499.

[320] WSCHCS, 6675.

[321] GILBERT 7, 211—12.

[322] Boatner, *Biographical Dictionary,* 380; Danchev and Todman, *War Diaries,* 438; WM/Averell Harriman, 8/22/80; Colville, *Fringes,* 622.

[323] Danchev and Todman, *War Diaries,* 317; WSC 4, 509.

[324] WSC 4, 63, 471; Panter-Downes, *War Notes,* 235—36.

[325] WSC 4, 523; Danchev and Todman, *War Diaries,* 313.

[326] Montgomery, *Memoirs,* 100, 107; Ronald Walker, *Alam Halfa and Alamein* (Wellington, NZ, 1966), 180 («The swine will not attack»).

[327] Bryant, *Tide,* 412.

[328] Danchev and Todman, *War Diaries,* 326; Bryant, *Tide,* 407.

[329] Joesph P. Lash, *Eleanor and Franklin* (New York, 1971), 664, 666.

[330] Butcher, *Eisenhower,* 20; Philip Ziegler, *London at War* (New York, 1995), 219; *Time,* 10/19/42, 33—34.

[331] W&C-TPL, 459; TWY, 198.

[332] Peter Catterall, ed., *The Macmillan Diaries: The Cabinet Years, 1950—57* (London, 2003), 383; Moran, *Diaries,* 692.

[333] Joseph P. Lash, *Eleanor and Franklin* (New York, 1971), 600—64, 667.

[334] TWY, 258; *Atlantic Monthly,* 3/65, 79—80.

[335] Desmond Young *Rommel: The Desert Fox* (New York, 1967), 147.

[336] Collier, *War in the Desert,* 109—10; Danchev and Todman, *War Diaries,* 338.

[337] Bryant, *Tide,* 417, 421.

[338] Moran, *Diaries,* 83—84; Bryant, *Tide,* 412, 421.

[339] Collier, *War in the Desert,* 115; Montgomery, *Memoirs,* 137—40.

[340] Collier, *War in the Desert,* 115; William L. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany* (New York, 1960), 920; Young *Rommel,* 251; TWY, 349.

[341] WSC 4, 601; TWY, 257; WSCHCS, 6694.

[342] Miller, *U-Boats,* 188.

[343] Kenneth Young *Churchill and Beaverbrook* (London, 1966), 248—50; *Time,* 11/30/42, 38.

[344] Eisenhower, *Crusade,* 95.

[345] WSC 4, 529.

[346] Bryant, *Tide,* 415; Winterbotham, *Ultra Secret,* 140; Danchev and Todman, *War Diaries,* 332.

[347] Eisenhower, *Crusade,* 88; Grigg *1943,* 41; Butcher, *Eisenhower,* 145.

[348] Eisenhower, *Crusade,* 99—100.

[349] Jean Lacouture, *De Gaulle* (New York, 1965), 121—22.

[350] Winterbotham, *Ultra Secret,* 307; Bryant, *Tide,* 423; Boatner, *Biographical Dictionary,* 9.

[351] Sarah Churchill, *Keep On Dancing* (London, 1981), 111; WM/Pamela Harriman, 8/22/80.

[352] GILBERT 7, 251—52; Bryant, *Tide,* 423, 424; Morison, *Two-Ocean War,* 220—24.

[353] Eisenhower, *Crusade,* 105; Butcher, *Eisenhower,* 178.

[354] WSC 4, 616; Lochner, *Goebbels Diaries,* 235 (Dec. 7, 1941); A.M. Sperber, *Murrow: His Life and Times* (New York, 1986), 217.

[355] Butcher, *Eisenhower,* 179.

[356] Collier, *War in the Desert,* 149—50.

[357] Morison, *Two-Ocean War,* 82.

[358] Eisenhower, *Crusade,* 104; Farago, *Patton,* 202; Morison, *Two-Ocean War,* 225, 228.

[359] Carlos D'Este, *Patton: A Genius for War* (New York, 1995), 431, 435; Bryant, *Tide,* 333.

[360] Eisenhower, *Crusade,* 104—5; WSCHCS, 6729 (Marian).

[361] Farago, *Patton,* 200—201.

[362] Shirer, *Rise and Fall,* 922—23.

[363] Shirer, *Rise and Fall,* 922—23.

[364] Panter-Downes, *War Notes,* 253; WSC 4, 632; 651; C&R-TCC, 2:7; TWY, 266.

[365] WSC 4, 647; Eden, *The Reckoning,* 414.

[366] C&R-TCC, 2:90, 103, 104.

[367] WSCHCS, 6695.

[368] Joseph P. Lash, *Eleanor and Franklin* (New York, 1971), 664; Wheeler-Bennett, *Action This Day,* 74, 75; Danchev and Todman, *War Diaries,* 474; Colville, *Fringes,* 340.

[369] Wheeler-Bennett, *Action This Day,* 74; Churchill, *English-Speaking Peoples,* 1: preface; Cv/2, 925—26.

[370] WSCHCS, 6499.

[371] Lady Mary Soames letter to PFR, 11/07 («un-manned him»).

[372] GILBERT 7, 239—40; Dilks, *Diaries,* 488.

[373] Soames, *Clementine,* 419; Danchev and Todman, *War Diaries,* 338.

[374] Panter-Downes, *War Notes,* 251.

[375] George Orwell, «England, Your England» (1941), in *A Collection of Essays by George Orwell* (Orlando, FL, 1970).

[376] George F. Kennan, *Russia and the West Under Lenin and Stalin* (Boston, 1960), 349.

[377] GILBERT 7, 217.

[378] GILBERT 7, 255; Martin Gilbert, *Churchill's War Leadership* (New York, 2004), 50; Danchev and Todman, *War Diaries,*

[379] Danchev and Todman, *War Diaries,* 345.

Глава 4

ВСТРЕЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

[1] Alex Danchev and Daniel Todman, eds., *Field Marshal Lord Alanbrooke: War Diaries 1939—1945* (Berkeley, 2003), 344; GILBERT 7, 270—71.

[2] Richard Collier, *The War in the Desert* (New York, 1980), 159; Robert E. Sherwood, *Roosevelt and Hopkins: An Intimate History* (New York, 1948), 659; Danchev and Todman, *War Diaries,* 342, 346.

[3] John Keegan, *The Second World War* (London, 1989), 297, 312, 317; GILBERT 7, 265.

[4] Samuel Eliot Morison, *The Two-Ocean War* (Boston, 1963), 199—205.

[5] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 656; Morison, *Two-Ocean War,* 208.

[6] GILBERT 7, 271.

[7] Keegan, *Second World War,* 234, 235.

[8] Keegan, *Second World War,* 231, 234.

[9] Harry C. Butcher, *My Three Years with Eisenhower* (New York, 1946), 198; Arthur Bryant, *The Turn of the Tide: A History of the War Years Based on the Diaries of Field-Marshal Lord Alanbrooke, 1939—1943* (New York, 1957), 428; C&R-TCC 2:4849.

[10] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 658.

[11] Danchev and Todman, *War Diaries,* 346, 347; GILBERT 7, 298.

[12] C&R-TCC, 1:669, 2:11.

[13] Morison, *Two-Ocean War,* 238; Butcher, *Eisenhower,* 644.

[14] James MacGregor Burns, *Roosevelt: The Soldier of Freedom, 1940—1945* (New York, 1970), 314.

[15] Danchev and Todman, *War Diaries,* 346, 350; C&R-TCC, 1:552; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 588, 615; Butcher, *Eisenhower,* 644.

[16] *NYT,* 11/12/42; GILBERT 7, 255; Bryant, *Tide,* 428; WSCHCS, 6698.

[17] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 591; WSCHCS, 7160 («intriguers»).

[18] Mark Mayo Boatner, *The Biographical Dictionary of World War II* (New York, 1999), 13—14; Bryant, *Tide,* 442.

[19] Danchev and Todman, *War Diaries,* 342; Louis P. Lochner, *The Goebbels Diaries 1942—1943* (New York, 1948), 160, 352.

[20] Lochner, *Goebbels Diaries,* 243, 245, 250.

[21] Lochner, *Goebbels Diaries,* 251, 252.

[22] Leonard Mosley, *Battle of Britain* (New York, 1980), 191; Philip Ziegler, *London at War* (New York, 1995), 224; *Time,* 12/28/42.

[23] WSCHCS, 6714; *Time,* 12/7/42, 40.

[24] Mollie Panter-Downes, *London War Notes, 1939—1945* (London, 1972), 254, 255, 257; GILBERT 7, 264.

[25] WM/Pamela Harriman, 8/22/80.

[26] WM/Pamela Harriman, 8/22/80.

[27] Burns, *Roosevelt,* 315; C&R-TCC, 2:73.

[28] C&R-TCC, 2:109; WSC 4, 667—70; W. Averell Harriman and Elie Abel, *Special Envoy to Churchill and Stalin: 1941—1946* (New York, 1975), 177—78.

[29] Danchev and Todman, *War Diaries,* 351, 451.

[30] Danchev and Todman, *War Diaries,* 346; Bryant, *Tide,* 443.

[31] *Time,* 12/28/42.

[32] *Daily Telegraph,* 5/11/07; WM/Jock Colville, 10/14/80; Mary Soames, *Clementine Churchill: The Biography of a Marriage* (New York, 2003), 69 (pink silk underclothes); Anthony Montague Browne, *Long Sunset* (London, 1996), 219—20.

[33] Tom Hickman, *Churchill's Bodyguard* (London, 2005), 219—20.

[34] Tizard memo, Imperial War Museum archives; WSC 4, 679—80.

[35] John Colville, *The Churchillians* (London, 1981), 35.

[36] Dwight D. Eisenhower, *Crusade in Europe* (New York, 1948), 61; WSC 4, 679.

[37] GILBERT 6, 1205—6; John Colville, *The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939—1955* (New York, 1985), 563.

[38] GILBERT 7, 647.

[39] Dean Acheson, *Present at the Creation: My Years in the State Department* (New York, 1969), 48, 49; Browne, *Long Sunset,* 127.

[40] Acheson, *Present,* 48, 49, 52.

[41] Brian Gardner, *Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries* (Boston, 1970), 211.

[42] GILBERT 7, 292—93.

[43] TWY, 286, 264—65.

[44] *Chambers Biographical Encyclopedia* (London, 1984), 135; GILBERT 7, 367; NYT, 1/8/39.

[45] WSC 4, 930; Edward Stettinius Jr., *Lend Lease: Weapon for Victory* (New York, 1944), 254—55.

[46] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 180; Hastings Lionel Ismay, *The Memoirs of General Lord Ismay* (London, 1960), 284—85.

[47] Lord Moran, *Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran* (Boston, 1966), 85—86; WSC 4, 674—75.

[48] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 180.

[49] W&C-TPL, 471.

[50] GILBERT 7, 273.

[51] *NYT,* 1/25/43; Walter H. Thompson, *Assignment: Churchill* (New York, 1953), 276.

[52] Anthony Eden, Earl of Avon, *The Reckoning: The Memoirs of Anthony Eden* (New York, 1965), 398; Danchev and Todman, *War Diaries,* 338, 356.

[53] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 671—73; *Time,* 2/1/42, 11.

[54] Danchev and Todman, *War Diaries,* 359; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 688—89.

[55] Danchev and Todman, *War Diaries,* 359.

[56] GILBERT 7, 417; WSCHCS, 6785.

[57] Danchev and Todman, *War Diaries,* 361; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 689; Bryant, *Tide,* 454—55.

[58] Danchev and Todman, *War Diaries,* 362; Morison, *Two-Ocean War,* 239; WSC 4, 692.

[59] GILBERT 7, 277; Eden, *The Reckoning,* 416—17.

[60] Eden, *The Reckoning,* 420, 421.

[61] Moran, *Diaries,* 88; W&C-TPL, 475.

[62] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 685.

[63] The American Presidency Project, 17: Excerpts from the Press Conference for the American Society of Newspaper Editors, 2/12/43.

[64] *Time,* 2/5/45; Rene De Chambrun, I Saw France Fall (New York, 1940), 100.

[65] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 695—97; WSC 4, 687.

[66] WM/Averell Harriman, 8/22/80.

[67] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 695—97; WSC 4, 687—88.

[68] Butcher, *Eisenhower,* 386; *Time,* 5/10/43; GILBERT 7, 581; WM/Averell Harriman, 8/22/80.

[69] Moran, *Diaries,* 89—90, WSC 4, 94—95; GILBERT 7, 31.

[70] Danchev and Todman, *War Diaries,* 368—69.

[71] Danchev and Todman, *War Diaries,* 368—69; David Dilks, ed., *The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938—1945* (New York, 1972), 508, 510—11.

[72] Danchev and Todman, *War Diaries,* 375.

[73] Danchev and Todman, *War Diaries,* 375; WSC 4, 710—11.

[74] *Time Capsule 1943: A History of the Year Condensed from the Pages of Time,* edited by Henry R. Luce (New York, 1968), 121; NYT, 2/9/43; Keegan, *Second World War,* 236, 237, 458; William L. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany* (New York, 1960), 933.

[75] *Time,* 2/1/43, 33—34.

[76] Dilks, *Diaries,* 511; GILBERT 7, 318—19.

[77] GILBERT 7, 318—19.

[78] *Time Capsule 1943,* 121.

[79] Butcher, *Eisenhower,* 691; Sherwood, 677; *Sunday Telegraph,* 2/9/64, 4.

[80] Danchev and Todman, *War Diaries,* 378—79.

[81] Dilks, *Diaries,* 513.

[82] Butcher, *Eisenhower,* 255.

[83] Danchev and Todman, *War Diaries,* 380.

[84] Bryant, *Tide,* 474—75.

[85] W&C-TPL, 477.

[86] NYT, 2/3/43; NYT, 2/9/43.
[87] John Keegan, *Winston Churchill* (New York, 2002), 161.
[88] C&R-TCC, 2:138; GILBERT 7,337.
[89] Moran, *Diaries,* 95—96.
[90] Collier, *War in the Desert,* 162—63; John Keegan, ed., *Churchill's Generals* (New York, 1991), 114; Eisenhower, *Crusade,* 145; Thomas E. Griess, ed., *The West Point Atlas for the Second World War, Europe and the Mediterranean* (New York, 2002), 41; Butcher, *Eisenhower,* 267.
[91] WSC 4, 734; GILBERT 7, 348.
[92] Butcher, *Eisenhower,* 273.
[93] GILBERT 7, 348, 350; WSC 4, 736—37.
[94] *Time,* 5/3/43; GILBERT 7, 343; WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[95] Collier, *War in the Desert,* 168; Keegan, *Second World War,* 3 42.
[96] *Time,* 3/22/42, 26; Lochner, *Goebbels Diaries,* 262.
[97] GILBERT 7, 338, 379.
[98] GILBERT 7, 352.
[99] C&R-TCC, 2:161.
[100] Morison, *Two-Ocean War,* 242; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 212.
[101] Morison, *Two-Ocean War,* 242—44.
[102] C&R-TCC, 2:177.
[103] C&R-TCC, 2:180.
[104] David Miller, *U-Boats* (New York, 2000), 123—24; Morison, *Two-Ocean War,* 242.
[105] *Time,* 3/22/43.
[106] *Time,* 3/22/43.
[107] Collier, *War in the Desert,* 171—73; Eisenhower, *Crusade,* 151.
[108] WM/Sir William Deakin, 1980.
[109] WSCHCS, 6755; *Time,* 4/16/43, 18—19; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 716.
[110] WSCHCS, 6756.
[111] TWY, 286.
[112] *Time,* 3/1/43, 30.
[113] *Time,* 4/16/43; WSCHCS, 6771.
[114] WSC 4, 769; Panter-Downes, *War Notes,* 274.
[115] Eden, *The Reckoning,* 440.
[116] Eden, *The Reckoning,* 438—39; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 714—15; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 227.
[117] Colville, *Fringes,* 245, 312.
[118] Eden, *The Reckoning,* 432—33; George F. Kennan, *Russia and the West Under Lenin and Stalin* (Boston, 1960), 368; John Grigg, *1943: The Victory That Never Was* (New York, 1980), 156.
[119] Kennan, *Russia and the West,* 355.
[120] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 227; Danchev and Todman, *War Diaries,* 390.
[121] *Time,* 3/22/43, 15.
[122] Kennan, *Russia and the West,* 359—63; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 206—7.
[123] Ziegler, *London at War,* 237.
[124] Ziegler, *London at War,* 238; Ernie Pyle, *Brave Men* (New York, 1944), 324; PFR/Andy Rooney, 5/08.
[125] *Time,* 3/15/43, 28—29; WM/Averell Harriman, 8/22/80; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 165—66.

[126] *NYT,* 3/11/25; WSC 4, 749.
[127] WSC 4, 749.
[128] WSC 4, 747, 751.
[129] GILBERT 7, 370; Panter-Downes, *War Notes,* 279.
[130] Lochner, *Goebbels Diaries,* 387—88; Panter-Downes, *War Notes,* 282.
[131] Charles Eade, ed., *Churchill by His Contemporaries* (New York, 1954), 300—301; *Time,* 5/3/43.
[132] Danchev and Todman, *War Diaries,* 393.
[133] GILBERT 7, 383; Danchev and Todman, *War Diaries,* 394.
[134] Martin Gilbert, *The Second World War: A Complete History* (London, 1989), 421.
[135] *Time,* 3/29/43, 25; Lochner, *Goebbels Diaries,* 325.
[136] *Time,* 3/15/43; GILBERT 7, 676.
[137] Lochner, *Goebbels Diaries,* 318, 332.
[138] Dilks, *Diaries,* 520; Lochner, *Goebbels Diaries,* 348; WSC 4, 759.
[139] Dilks, *Diaries,* 526; C&R-TCC, 2:194, 199; WSC 4, 759—61.
[140] *Time,* 2/7/44; *Time,* 7/17/72; WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[141] C&R-TCC, 2:389, 398—99; GILBERT 7, 665.
[142] Burns, *Roosevelt,* 373—74; WSC 6, 141.
[143] *Time,* 2/5/43.
[144] WSC 4, 783.
[145] Collier, *War in the Desert,* 173.
[146] TWY, 291.
[147] Keegan, *Second World War,* 343; Butcher, *Eisenhower,* 285.
[148] *Time,* 4/17/42, 31; *Time,* 5/10/43, 30.
[149] GILBERT 7, 417—18; C&R-TCC, 2:206.
[150] *Time,* 4/19/43, 32.
[151] Burns, *Roosevelt,* 367—68.
[152] *Time,* 5/10/43, 25; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 201; Ismay, *Memoirs,* 294.
[153] Ismay, *Memoirs,* 294.
[154] GILBERT 7, 397—98.
[155] Lochner, *Goebbels Diaries,* 360.
[156] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 209.
[157] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 206, 209, 211; GILBERT 7, 397—98; Danchev and Todman, *War Diaries,* 400—401.
[158] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 205; WM/Averell Harriman, 8/22/80.
[159] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 202.
[160] GILBERT 7, 418; Ismay, *Memoirs,* 295.
[161] *NYT,* 5/13/43, 5/14/43.
[162] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 210.
[163] WSCHCS, 6782.
[164] Richard Collier, *Duce!* (New York, 1971), 195.
[165] W&C-TPL, 479—80.
[166] Danchev and Todman, *War Diaries,* 394; GILBERT 7, 399.
[167] WSC 4, 786.
[168] WSC 4, 786—87.
[169] Danchev and Todman, *War Diaries,* 405; Morison, *Two-Ocean War,* 244.
[170] Danchev and Todman, *War Diaries,* 405; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 210—11; Bryant, *Tide,* 540—41
[171] Danchev and Todman, *War Diaries,* 420.

[172] WSC 4, 803; Eden, *The Reckoning,* 439, 461.
[173] WSC 4, 801; C&R-TCC, 2:210—11.
[174] Eden, *The Reckoning,* 448—49.
[175] WSC 4, 811.
[176] GILBERT 7, 335.
[177] Danchev and Todman, *War Diaries,* 412—13; WM /Sir Ian Jacob, 11/12/80.
[178] Bryant, *Tide,* 528.
[179] WSC 4, 831.
[180] WSCHCS, 6784; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 215.
[181] Butcher, *Eisenhower,* 318, 322—23.
[182] WSC 4, 816; Danchev and Todman, *War Diaries,* 415; Butcher, *Eisenhower,* 319, 325.
[183] W&C-TPL, 484; C&R-TCC, 2:230—31.
[184] Ismay, *Memoirs,* 301.
[185] WSC 4, 830.
[186] Panter-Downes, *War Notes,* 284.
[187] WSC 4, 803; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 212—13.
[188] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 212—13.
[189] Collier, *Duce!,* 195—96.
[190] Eisenhower, *Crusade,* 164—65.
[191] Vincent Orange, *Tedder: Quietly in Command* (London, 2004), 225.
[192] Eisenhower, *Crusade,* 171—72.
[193] Panter-Downes, *War Notes,* 284.
[194] Panter-Downes, *War Notes,* 285.
[195] Eden, *The Reckoning,* 461.
[196] Eden, *The Reckoning,* 452—53, 463; Jean Lacouture, *De Gaulle* (New York, 1965), 130.
[197] Danchev and Todman, *War Diaries,* 427; WSC 4, 801; C&R-TCC, 2:208.
[198] Panter-Downes, *War Notes,* 285.
[199] C&R-TCC, 2:328, 341.
[200] GILBERT 7, 443—44.
[201] Bryant, *Tide,* 552; Butcher, *Eisenhower,* 373—74.
[202] GILBERT 7, 444—45.
[203] C&R-TCC, 2:331, 336, 345; GILBERT 7, 443—44.
[204] C&R-TCC, 2:331—32.
[205] Danchev and Todman, *War Diaries,* 429.
[206] Collier, *Duce!,* 226—31.
[207] Lochner, *Goebbels Diaries,* 407.
[208] TWY, 308—9.
[209] Danchev and Todman, *War Diaries,* 433; Lochner, *Goebbels Diaries,* 417.
[210] Danchev and Todman, *War Diaries,* 433.
[211] GILBERT 7, 463.
[212] Soames, *Clementine,* 333, 334, 338, 446; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 831; Moran, *Diaries,* 112.
[213] WSC 5, 67; Moran, *Diaries,* 114.
[214] Danchev and Todman, *War Diaries,* 436—37.
[215] Keegan, *Second World War,* 472; Lochner, *Goebbels Diaries,* 415.
[216] GILBERT 7, 464—65; C&R-TCC, 2:357; WSCHCS, 6784.
[217] WSCHCS, 6778; GILBERT 7, 437, 468; Dilks, *Diaries,* 551; *Time,* 12/13/43, 36.
[218] Lochner, *Goebbels Diaries,* 383.

[219] Lochner, *Goebbels Diaries,* 407; Bryant, *Tide,* 555—56; WSC 5, 520—21.

[220] Lochner, *Goebbels Diaries,* 419.

[221] Bryant, *Tide,* 556; GILBERT 6, 468; *Daily Mirror,* 8/9/43.

[222] Lochner, *Goebbels Diaries,* 429, 442; Keegan, *Second World War,* 429.

[223] Trumbull Higgins, *Winston Churchill and the Second Front* (New York, 1957), 205.

[224] Danchev and Todman, *War Diaries,* 405.

[225] Trumbull Higgins, *Winston Churchill and the Second Front* (New York, 1957), 203; Eisenhower, *Crusade,* 160; Robert E. Sherwood, *The White House Papers of Harry L. Hopkins* (London, 1949), 2:763; WSC 3, 673.

[226] WSC 5, 74—75; Ismay, *Memoirs,* 309; Basil Collier, *The Second World War: A Military History from Munich to Hiroshima* (New York, 1967), 387.

[227] Danchev and Todman, *War Diaries,* 437, 439; WSC 5, 75—76.

[228] Eisenhower, *Crusade,* 199.

[229] Danchev and Todman, *War Diaries,* 447.

[230] Ismay, *Memoirs,* 310.

[231] Danchev and Todman, *War Diaries,* 431—32.

[232] *Time,* 8/30/43; *Time,* 11/8/43, 8.

[233] WSC 5, 82; Kay Halle, ed., *Winston Churchill on America and Britain* (New York, 1970), 263.

[234] WSCHCS, *6782;* Thompson, *Assignment: Churchill,* 280.

[235] GILBERT *7, 397;* Ismay, *Memoirs,* 310—11.

[236] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 758—59; Ismay, *Memoirs,* 311; Danchev and Todman, *War Diaries,* 442; Bryant, *Tide,* 587.

[237] WSC 5, 85; Ismay, *Memoirs,* 311.

[238] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 759.

[239] Danchev and Todman, *War Diaries,* 441—42.

[240] Barbara Tuchman, *Stilwell and the American Experience in China* (New York, 1971), 489—90; Leonard Mosley, *Marshall: Hero for Our Times* (New York, 1982), 301; Danchev and Todman, *War Diaries,* 445.

[241] Danchev and Todman, *War Diaries,* 444—45; Noel Annan, «How Wrong Was Churchill?» *New York Review of Books,* 4/8/93.

[242] WSC 5, 106—7; Butcher, *Eisenhower,* 394—95.

[243] Albert Speer, *Inside the Third Reich: Memoirs by Albert Speer* (Macmillan, 1970), 368—69; GILBERT 7, 474; David Johnson, *V-1, V-2* (London, 1981), 26.

[244] Danchev and Todman, *War Diaries,* 444—45.

[245] C&R-TCC, 2:369, 370.

[246] Eden, *The Reckoning,* 467—68.

[247] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 225—26.

[248] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 234—35; Ismay, *Memoirs,* 367; Dilks, *Diaries,* 584—85.

[249] *Time,* 10/25/43, 21; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 755.

[250] Eden, *The Reckoning,* 466, 470; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 222; Dilks, *Diaries,* 560.

[251] Eden, *The Reckoning,* 468—69.

[252] Dilks, *Diaries,* 556; Soames, *Clementine,* 447.

[253] Eden, *The Reckoning,* 468—69; Moran, *Diaries,* 122—23

[254] Eden, *The Reckoning,* 470; Danchev and Todman, *War Diaries,* 451, 452.

[255] B.H. Liddell Hart, *History of the Second World War* (New York, 1971), 456; Viscount Montgomery of Alamein, *The Memoirs of Field Marshal Montgomery* (London, 1958), 190.

[256] Danchev and Todman, *War Diaries,* 448.
[257] Butcher, *Eisenhower,* 386—87; Liddell Hart, *History,* 446.
[258] WSC 5, 128—29.
[259] WM/Averell Harriman, 8/22/80; Richard Langworth, ed., *Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations* (London, 2008), 553.
[260] WSCHCS, 6824.
[261] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 750; GILBERT 7, 494; NYT, 9/8/43.
[262] Dilks, *Diaries,* 560; Moran, *Diaries,* 123, 126.
[263] Lochner, *Goebbels Diaries,* 444, 460; Liddell Hart, *History,* 455, 458; Gardner, *Churchill in Power,* 224—25.
[264] Keegan, *Second World War,* 351; WSC 5, 114; Kay Halle, *Irrepressible Churchill: Stories, Sayings and Impressions of Sir Winston Churchill* (London, 1985), 227; WSC 5, 224—25.
[265] Liddell Hart, *History,* 467; WSC 5, 662.
[266] WSC 5, 141—42.
[267] Moran, *Diaries,* 127.
[268] Gardner, *Churchill in Power,* 225; Dilks, *Diaries,* 559.
[269] GILBERT 7, 494; Martin Gilbert, *Churchill: A Life* (New York, 1992), 753.
[270] Soames, *Clementine,* 448.
[271] GILBERT 7, 487.
[272] Dilks, *Diaries,* 554—55; Jones, *Wizard War,* 474.
[273] WSC 5, 117; Lochner, *Goebbels Diaries,* 460.
[274] Lochner, *Goebbels Diaries,* 457.
[275] WSC 5, 10, 12, 13; Morison, *Two-Ocean War,* 376.
[276] Lochner, *Goebbels Diaries,* 466; Morison, *Two-Ocean War,* 244—46.
[277] PFR/Dr. Porter Crowe (private, U.S. Army, 1942—1945), 6/06.
[278] Ismay, *Memoirs,* 320.
[279] WSCHCS, 6855; Langworth, *Churchill by Himself,* 427.
[280] WM/Jock Colville, 10/14/80; Dilks, *Diaries,* 562.
[281] Liddell Hart, *History,* 455; Danchev and Todman, *War Diaries,* 466.
[282] Danchev and Todman, *War Diaries,* 458—59.
[283] C&R-TCC, 2:501, 504, 506; Danchev and Todman, *War Diaries,* 467.
[284] Danchev and Todman, *War Diaries,* 465—66.
[285] Gilbert, *Churchill: A Life,* 755; Harold Macmillan, *War Diaries: Politics and War in the Mediterranean, January 1943 May 1945* (New York, 1984), 295; WSC 5, 224—25, 326.
[286] Danchev and Todman, *War Diaries,* 463, 465.
[287] GILBERT 7, 530—31; Danchev and Todman, *War Diaries,* 463, 465—66.
[288] Keegan, *Second World War,* 319; C&R-TCC, 2:556—57.
[289] Keegan, *Second World War,* 472—74; Keegan, *Atlas,* 106—7; Liddell Hart, *History,* 481, 492.
[290] Lochner, *Goebbels Diaries,* 435, 461.
[291] Lochner, *Goebbels Diaries,* 464, 468, 477—79, 483.
[292] Lochner, *Goebbels Diaries,* 467; C&R-TCC, 2:559—60; Dilks, *Diaries,* 573.
[293] *Time,* 3/15/42, 24; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 234—35; Joseph E. Persico, *Edward R. Murrow: An American Original* (New York, 1988), 217—18.
[294] Eden, *The Reckoning,* 481; C&R-TCC, 2:545—46.
[295] WSC 5, 270; GILBERT 7, 571.
[296] WSC 5, 242—43, 290.
[297] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 244; *Time,* 10/25/43, 29.
[298] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 244.

[299] C&R-TCC, 2:562—63; Eisenhower, *Crusade,* 190, 199, 200, 213.
[300] *Time,* 2/28/44.
[301] Liddell Hart, *History,* 602—3; Keegan, *Second World War,* 426—27.
[302] Duff Cooper, *Old Men Forget* (London, 1954), 317.
[303] GILBERT 7, 557.
[304] Lochner, *Goebbels Diaries,* 522—23.
[305] Moran, *Diaries,* 138—39.
[306] Macmillan, *War Diaries,* 401; Danchev and Todman, *War Diaries,* 472; W&C-TPL, 485.
[307] Eisenhower, *Crusade,* 195, 198—99; Butcher, *Eisenhower,* 465.
[308] Danchev and Todman, *War Diaries,* 475.
[309] WSC 5, 328—29; Boatner, *Biographical Dictionary,* 509.
[310] C&R-TCC, 2:597; WSC 5, 328—29; Danchev and Todman, *War Diaries,* 477—81.
[311] W&C-TPL, 487; Danchev and Todman, *War Diaries,* 480; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 782.
[312] Ismay, *Memoirs,* 312; Mosley, *Marshall,* 262; Tuchman, *Stilwell,* 516; WM/Viscount Antony Head, 8/6/80; Danchev and Todman, *War Diaries,* 480.
[313] WSC 5, 341; Danchev and Todman, *War Diaries,* 478; Dilks, *Diaries,* 578, 580, 587; Sarah Churchill, *A Thread in the Tapestry* (London, 1967), 63.
[314] Churchill, *Thread,* 62—63; Sarah Churchill, *Keep On Dancing* (London, 1981), 117.
[315] Eden, *The Reckoning,* 491; Moran, *Diaries,* 141; Danchev and Todman, *War Diaries,* 482; Eisenhower, *Crusade,* 199.
[316] Danchev and Todman, *War Diaries,* 482.
[317] Dilks, *Diaries,* 580; WSC 5, 342; Thompson, *Assignment: Churchill,* 283; Danchev and Todman, *War Diaries,* 482; Ismay, *Memoirs,* 377.
[318] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 265—66.
[319] Moran, *Diaries,* 144; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 165—66; David Halberstam, *The Best and the Brightest* (New York, 1969), 81.
[320] Dilks, *Diaries,* 579.
[321] W&C-TPL, 487; WSC 5, 679—80.
[322] Danchev and Todman, *War Diaries,* 483; Moran, *Diaries,* 143.
[323] Danchev and Todman, *War Diaries,* 483.
[324] Moran, *Diaries,* 145.
[325] Moran, *Diaries,* 145—46; Ismay, *Memoirs,* 338.
[326] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 781.
[327] Arthur Bryant, *Triumph in the West, 1943—1946* (London, 1959), 89—91.
[328] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 266—67; Bryant, *Triumph,* 89—91; Moran, *Diaries,* 145.
[329] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 268—69.
[330] WSC 5, 360.
[331] Gilbert, *Churchill: A Life,* 761; Moran, *Diaries,* 208; WSCHCS, 6475.
[332] WSC 5, 360.
[333] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 796.
[334] Eden, *The Reckoning,* 494—98; WSC 5, 361—62.
[335] Dilks, *Diaries,* 400; WSC 5, 362.
[336] WSC 5, 362.
[337] John Wheeler-Bennett, *Action This Day: Working with Churchill* (London, 1968), 209—10; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80.
[338] *Time,* 5/10/43; *Time,* 1/4/42; *Life,* 3/29/43.

[339] Wheeler-Bennett, *Action This Day,* 209—10; WM/Sir Ian Jacob, 11/12/80; Dilks, *Diaries,* 580.

[340] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 785—86.

[341] *WSC 5,* 364; Jenkins, *Churchill,* 722.

[342] *WSC 5,* 372—73.

[343] Danchev and Todman, *War Diaries,* 485; Keegan, *Second World War,* 378.

[344] Moran, *Diaries,* 148.

[345] *WSC 5,* 373—74; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 191.

[346] Harriman and Abel, *Special Envoy,* 273—74; *WSC 5,* 374.

[347] Dilks, *Diaries,* 578; Frances Perkins, *The Roosevelt I Knew* (New York, 1946), 84; PFR/Lady Mary Soames, telephone conversation, 4/07.

[348] Moran, *Diaries,* 151; GILBERT *7,* 583—84; WSC 5, 383—85.

[349] WSC 3, 384.

[350] WSC 5, 383—85; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 176.

[351] Danchev and Todman, *War Diaries,* 486—88.

[352] Danchev and Todman, *War Diaries,* 486—88; Harriman and Abel, *Special Envoy,* 276—78; Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,*793.

[353] WSC 5, 388.

[354] WSC 5, 396—97; Eden, *The Reckoning,* 496—97.

[355] WSC 5, 396—97; Eden, *The Reckoning,* 496—97.

[356] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 797.

[357] Sherwood, *Roosevelt and Hopkins,* 799; Dilks, *Diaries,* 586.

[358] Milovan Djilas, *Conversations with Stalin* (Orlando, FL, 1962), 73, 115.

[359] WSC 5, 384.

[360] Martin Gilbert, *In Search of Churchill: A Historian's Journey* (New York, 1994), 5; *Time,* 12/27/43.

[361] WM/Jock Colville, 10/14/80; Wheeler-Bennett, *Action This Day,* 96.

Глава 5
ЛЕТЧИК

[1] W. Averell Harriman and Elie Abel, Special Envoy to Churchill and Stalin: 1941—1946 (New York, 1975), 283; WSC 5, 405.

[2] C&R-TCC, 2:709.

[3] Louis P. Lochner, The Goebbels Diaries, 1942—1943 (New York, 1948), 536.

[4] Lochner, Goebbels Diaries, 536, 540—42.

[5] Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York, 1948), 802.

[6] Anthony Eden, Earl of Avon, The Reckoning: The Memoirs of Anthony Eden (New York, 1965), 499—500; WSC 5, 467—68, 473.

[7] Eden, The Reckoning, 498—99; David Dilks, ed., The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938—1945 (New York, 1972), 584—85.

[8] John Colville, The Fringes of Power: 10Downing Street Diaries 1939—1955 (New York, 1985), 550.

[9] Dwight D. Eisenhower, Crusade in Europe (New York, 1948), 206; Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 803; WSC 5, 419.

[10] Daily Mirror, 12/29/43; Daily Express, 11/20/43.

[11] B.H. Liddell Hart, History of the Second World War (New York, 1971), 569, 571.

[12] Harry C. Butcher, My Three Years with Eisenhower (New York, 1946), 456.

[13] Basil Collier, The Second World War: A Military History from Munich to Hiroshima (New York, 1967), 386; Alex Danchev and Daniel Todman, eds., Field

Marshal Lord Alanbrooke: War Diaries 1939—1945 (Berkeley, 2003), 492; WSC 5, 419; Viscount Montgomery of Alamein, The Memoirs of Field Marshal Montgomery (London, 1958), 214—15.

[14] Eisenhower, Crusade, 199.

[15] Time, 1/3/44.

[16] Danchev and Todman, War Diaries, 493—94; WSC 5, 420.

[17] Danchev and Todman, War Diaries, 496; Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston, 1966), 159.

[18] Time, 12/27/43, 86; Lochner, Goebbels Diaries, 546.

[19] Danchev and Todman, War Diaries, 497; Moran, Diaries, 161—62; Anthony Montague Browne, Long Sunset (London, 1996), 142; WM/Jock Colville, 10/14/80.

[20] Colville, Fringes, 455—56.

[21] Colville, Fringes, 455—56.

[22] Harriman and Abel, Special Envoy, 283; Moran, Diaries, 57.

[23] Mary Soames, Clementine Churchill: The Biography of a Marriage (New York, 2003), 456.

[24] Eden, The Reckoning, 495; Time, 12/27/43, 46 (Smuts); John Wheeler-Bennett, Action This Day: Working with Churchill (London, 1968), 104.

[25] Sarah Churchill, A Thread in the Tapestry (London, 1967), 69.

[26] WSC 6, 427.

[27] Butcher, Eisenhower, 465; Eisenhower, Crusade, 212—13; WSC 6, 427, 434.

[28] C&R-TCC, 2:632—33; Collier, Second World War, 377.

[29] C&R-TCC, 2:632—33; Collier, Second World War, 377.

[30] WSCHCS, 6880.

[31] Colville, Fringes, 456, 464; Harold Macmillan, War Diaries: Politics and War in the Mediterranean, January 1943—May 1945 (New York, 1984), 331—32, 335; John Pearson, The Private Live of Winston Churchill (New York, 1991), 415.

[32] Colville, Fringes, 465; WM/Lady Diana Cooper, 10/20/80.

[33] Macmillan, War Diaries, 335; C&R-TCC, 3:626.

[34] Colville, Fringes, 459; Montgomery Memoirs, 211.

[35] Colville, Fringes, 459.

[36] Martin Gilbert, Churchill: A Life (New York, 1992), 765; Butcher, Eisenhower, 65, 473; Moran, Diaries, 169—70; WSC 5, 444.

[37] David Johnson, V-1, V-2 (London, 1981), 32; Butcher, Eisenhower, 462.

[38] PFR/Lady Mary Soames, letter of 9/3/07; Colville, Fringes, 463.

[39] Duff Cooper, Old Men Forget (London, 1954), 315, 319.

[40] Moran, Diaries, 169; WM/Lady Diana Cooper, 10/20/80.

[41] Danchev and Todman, War Diaries, 510; Soames, Clementine, 461.

[42] C&R-TCC, 3:641, 649; Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 805—6.

[43] GILBERT 7, 652.

[44] Eden, The Reckoning, 503—6; GILBERT 7, 648.

[45] TWY, 344.

[46] Danchev and Todman, War Diaries, 514—15.

[47] Eisenhower, Crusade, 194, 225.

[48] Kay, Summersby, Eisenhower Was My Boss (2008), 125—28; Mollie Panter-Downes, London War Notes, 1939—1945 (London, 1972), 300.

[49] TWY, 292, 353.

[50] Panter-Downes, War Notes, 322.

[51] Kay, Eisenhower, 125—28; Butcher, Eisenhower, 14 (Edward Murrow quote); John Steinbeck, Steinbeck: A Life in Letters (New York, 1975), 264; Colville, Fringes, 517.

[52] Montgomery Memoirs, 219—20.

[53] Montgomery Memoirs, 211—12, David Eisenhower, Eisenhower at War 1943—1945 (New York, 1991), 121; Danchev and Todman, War Diaries, 516, 518.

[54] Danchev and Todman, War Diaries, 519; WSC 5, 692—93.

[55] Danchev and Todman, War Diaries, 515; Colville, Fringes, 476; John Keegan, The Second World War (London, 1989), 357.

[56] Keegan, Second World War, 356; John Keegan, ed., Collins Atlas of World War II (New York, 2006), 114—15; Thomas E. Griess, ed., The West Point Atlas for the Second World War, Europe and the Mediterranean (New York, 2002), 49.

[57] Danchev and Todman, War Diaries, 518.

[58] Ernie Pyle, Brave Men (New York, 1944), 258—65.

[59] Time, 6/12/44, 10.

[60] Panter-Downes, War Notes, 314; Colville, Fringes, 475, 479.

[61] Panter-Downes, War Notes, 312; Keegan, Atlas, 114—15.

[62] Colville, Fringes, 474; WSCHCS, 6883.

[63] WSCHCS, 6883; Panter-Downes, War Notes, 314.

[64] WSCHCS, 6893.

[65] Colville, Fringes, 473; Dilks, Diaries, 592.

[66] WSC 5, 549.

[67] C&R-TCC, 2:649—50; Danchev and Todman, War Diaries, 518.

[68] James MacGregor Burns, Roosevelt: The Soldier of Freedom, 1940—1945 (New York, 1970), 483.

[69] Time, 6/12/44; WSCHCS, 6996; Danchev and Todman, War Diaries, 534.

[70] Danchev and Todman, War Diaries, 534.

[71] WSC 5, 689.

[72] TWY, 469.

[73] Cv/3, 1087; Cv/2, 1120.

[74] Macmillan, War Diaries, 335, 382; Colville, Fringes, 482; Duff Cooper, Old Men Forget (London, 1954), 324, 336.

[75] Macmillan, War Diaries, 409.

[76] Eden, The Reckoning, 520; C&R-TCC, 3:109.

[77] Eisenhower, Eisenhower at War, 260.

[78] C&R-TCC, 2:527, 744, 745, 749; GILBERT 7, 700.

[79] Peter Clarke, The Last Thousand Days of the British Empire (New York, 2008), 27—29.

[80] Time, 5/15/44, 85.

[81] C&R-TCC, 3:3.

[82] C&R-TCC, 3:3.

[83] Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in the State Department (New York, 1969), 133—34.

[84] Time, 5/15/44.

[85] C&R-TCC, 3:140.

[86] Danchev and Todman, War Diaries, 516; Colville, Fringes, 473, 476, 478, 479; C&R-TCC, 3:69.

[87] Collier, Second World War, 376; Keegan, Second World War, 354—56; GILBERT 7, 526.

[88] Time, 1/24/44; Time, 2/28/44.

[89] Colville, Fringes, 474.

[90] TWY, 357—58; C&R-TCC, 3:78; Colville, Fringes, 480.

[91] Eden, The Reckoning, 521, 523.

[92] Dilks, Diaries, 612, 618, 621; Colville, Fringes, 484; Danchev and Todman, War Diaries, 541.

[93] Dilks, Diaries, 612; Colville, Fringes, 484.
[94] Colville, Fringes, 477; TWY, 347, 355.
[95] WSC 5, 695—97; Panter-Downes, War Notes, 317—18.
[96] WSC 5, 694; Eisenhower, Eisenhower at War, 134.
[97] Danchev and Todman, War Diaries, 519, 521, 532, 533, 534, 547; Arthur Bryant, The Turn of the Tide: A History of the War Years Based on the Diaries of Field Marshal Lord Alanbrooke, 1939—1943 (New York, 1957), 171.
[98] Danchev and Todman, War Diaries, xvii, 525.
[99] Eden, The Reckoning, 575: Colville, Fringes, 489.
[100] Moran, Diaries, 763.
[101] WM/John Martin, 10/23/80.
[102] WSCHCS, 6913; Panter-Downes, War Notes, 317; TWY, 356—57.
[103] Colville, Fringes, 483; C&R-TCC, 3:54, 74.
[104] Montgomery Memoirs, 247; Butcher, Eisenhower, 545.
[105] Colville, Fringes, 485; C&R-TCC, 3:87; Eisenhower, Crusade, 243.
[106] Danchev and Todman, War Diaries, 536; Butcher, Eisenhower, 509.
[107] Bryant, Tide, 180, 183.
[108] Eisenhower, Eisenhower at War, 190—91; Time, 4/24/44.
[109] Eisenhower, Eisenhower at War, 196, 206, 207, 209.
[110] Eisenhower, Eisenhower at War, 206; C&R-TCC, 3:133; Dilks, Diaries, 621.
[111] Eden, The Reckoning, 523—24; Eisenhower, Crusade, 232; C&R-TCC, 3:127.
[112] Eden, The Reckoning, 524—25.
[113] Dilks, Diaries, 624—25; Colville, Fringes, 487.
[114] Liddell Hart, History, 535; Bryant, Tide, 181n.
[115] Dilks, Diaries, 566.
[116] Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb (New York, 1986), 523—24; GILBERT 7, 715; R.V. Jones, The Wizard War (New York, 1978), 474.
[117] Rhodes, Atomic Bomb, 528—30; Jones, Wizard War, 476.
[118] Jones, Wizard War, 477.
[119] GILBERT 7, 776; WM/Viscount Antony Head, 1980.
[120] Panter-Downes, War Notes, 319, 323—24; Pyle, Brave Men, 375.
[121] Eden, The Reckoning, 520.
[122] Eisenhower, Crusade, 134, 245; Butcher, Eisenhower, 539; Max Hastings, Winston's War: Churchill 1940—1945 (New York, 2010), 361.
[123] Butcher, Eisenhower, 535; Hastings, Winston's War, 361.
[124] Eisenhower, Crusade, 246; Butcher, Eisenhower, 552.
[125] Butcher, Eisenhower, 552.
[126] Eisenhower, Crusade, 222.
[127] Collier, Second World War, 393—94.
[128] Keegan, Second World War, 375; Collier, Second World War, 394; Eisenhower, Eisenhower at War, 218.
[129] F.W. Winterbotham, The Ultra Secret (New York, 1974), 185.
[130] Keegan, Second World War, 373, 379.
[131] Eisenhower, Crusade, 257; Winterbotham, Ultra Secret, 193.
[132] Trumbull Higgens, Winston Churchill and the Second Front (New York, 1957), 199—201 (on Clausewitz); Hastings Lionel Ismay, The Memoirs of General Lord Ismay (London, 1960), 269—70.
[133] WSC 3, 659; for an examination of Churchill and Clausewitz, see Carl Von Clausewitz, On War (London, 1982).
[134] Eisenhower, Eisenhower at War, 245—48.
[135] Danchev and Todman, War Diaries, 553; Eden, The Reckoning, 526.

[136] Cooper, Old Men, 329.
[137] Danchev and Todman, War Diaries, 553; Eden, The Reckoning, 526; Cooper, Old Men, 330; De Gaulle, War Memoirs, 556—57.
[138] Burns, Roosevelt, 476; Keegan, Second World War, 361.
[139] Eisenhower, Crusade, 250; Butcher, Eisenhower, 562; Eisenhower, Eisenhower at War, 250—51.
[140] Eisenhower, Eisenhower at War, 252.
[141] Milovan Djilas, Conversations with Stalin (Orlando, FL, 1962), 81.
[142] Eisenhower, Eisenhower at War, 260—61.
[143] Danchev and Todman, War Diaries, 554.
[144] GILBERT 7, 794; WSC 5, 631; Soames, Clementine, 463.
[145] Collier, Second World War, 398.
[146] Keegan, Second World War, 378.
[147] Keegan, Second World War, 382; Eisenhower, Crusade, 240.
[148] Keegan, Second World War, 378—79; Pyle, Brave Men, 381.
[149] Keegan, Second World War, 378—79; Time, 6/12/44, 19.
[150] Sir John Keegan, Six Armies in Normandy (Penguin, 1983), 132—33,
[151] Pyle, Brave Men, 382—83.
[152] Colville, Fringes, 492.
[153] W.G.F. Jackson, «Overlord» Normandy 1944 (Newark, DE, 1979), 179.
[154] WSCHCS, 6947—48.
[155] GILBERT 7, 795; WSCHCS, 6947—48.
[156] Panter-Downes, War Notes, 329.
[157] C&R-TCC, 3:147, 160—61.
[158] C&R-TCC, 3:116, 155.

Глава 6
ЯКОРНАЯ СТОЯНКА

[1] Time, 6/12/45.
[2] Life, 6/19/44.
[3] C&R-TCC, 3:153.
[4] WM/Lord Soames, 11/8/80.
[5] Charles de Gaulle, The Complete War Memoirs of Charles de Gaulle (New York, 1964), 722.
[6] Walter Lippmann, U.S. War Aims (Boston, 1944), 134—35; Ronald Steel, Walter Lippmann and the American Century (Boston, 1980), 404, 408—10; Time, 7/17/44, 99—100.
[7] David Eisenhower, Eisenhower at War 1943—1945 (New York, 1991), 286; Alex Danchev and Daniel Todman, eds., Field Marshal Lord Alanbrooke: War Diaries 1939—1945 (Berkeley, 2003), 556; F.W. Winterbotham, The Ultra Secret (New York, 1974), 196—97.
[8] WM/Averell Harriman, 8/22/80; Winston Churchill; Marlborough, His Life and Times (London, 1947), 2:259; John Wheeler-Bennett, Action This Day: Working with Churchill (London, 1968), 200—202.
[9] Dwight D. Eisenhower, Crusade in Europe (New York, 1948), 267; Eisenhower, Eisenhower at War, 214; John Keegan, The Second World War (London, 1989), 392.
[10] Danchev and Todman, War Diaries, 556, 563.
[11] Danchev and Todman, War Diaries, 556, 563.
[12] Arthur Bryant, Triumph in the West, 1943—1946 (London, 1959), 216—17.
[13] Danchev and Todman, War Diaries, 557.

[14] David Johnson, V-1, V-2 (London, 1981), 40—41.

[15] Duff Cooper, Old Men Forget (London, 1954), 333; Danchev and Todman, War Diaries, 560.

[16] WSCHCS, 6958, 6961, 6978, 6980; Danchev and Todman, War Diaries, 563.

[17] Danchev and Todman, War Diaries, 561, 563; C&R-TCC, 3:219, 223.

[18] Danchev and Todman, War Diaries, 565; C&R-TCC, 3:226.

[19] Basil Collier, The Second World War: A Military History from Munich to Hiroshima (New York, 1967), 386; Keegan, Second World War, 479.

[20] Keegan, Second World War, 479—80; Eisenhower, Eisenhower at War, 325, 336; Danchev and Todman, War Diaries, 532.

[21] Time, 7/17/44, 17; Keegan, Second World War, 390; Eisenhower, Eisenhower at War, 330.

[22] Eisenhower, Eisenhower at War, 351.

[23] Keegan, Second World War, 480; WSC 6, 128.

[24] Danchev and Todman, War Diaries, 572—73; Harry C. Butcher, My Three Years with Eisenhower (New York, 1946), 618; Bryant, Triumph, 241.

[25] William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany (New York, 1960), 1035—36; WSCHCS, 6997.

[26] Mark Mayo Boatner, The Biographical Dictionary of World War II (New York, 1999), 284, 467.

[27] C&R-TCC, 3:254, 266.

[28] C&R-TCC, 3:258—59; WSC 3, 136, 139, 145.

[29] Martin Gilbert, Churchill and the Jews (New York, 2007), 211—13; WSCHCS, 7376.

[30] Time, 7/17/44, 18; Charles de Gaulle, The Complete War Memoirs of Charles de Gaulle (New York, 1964), 574—76.

[31] De Gaulle, War Memoirs, 574—76; Jean Lacouture, De Gaulle (New York, 1965), 136.

[32] Lacouture, De Gaulle, 144; De Gaulle, War Memoirs, 579.

[33] Eisenhower, Crusade, 267; Butcher, Eisenhower, 620—21.

[34] Butcher, Eisenhower, 634—35, 638; C&R-TCC, 3:267.

[35] WSCHCS, 6980; Cooper, Old Men, 335—36.

[36] WM/Graham Norton, 10/8/80; TWY, 397; W&C-TPL, 498, 501.

[37] Danchev and Todman, War Diaries, 520—21; Harold Macmillan, War Diaries: Politics and War in the Mediterranean, January 1943—May 1945 (New York, 1984), 474.

[38] W&C-TPL, 501; C&R-TCC, 3:274, 279; GILBERT 7, 910.

[39] GILBERT 7, 908—9; Macmillan, War Diaries, 507—9.

[40] GILBERT 7, 910; WSC 6, 94, 122.

[41] WM/Malcolm Muggeridge, 11/25/80.

[42] WSC 6, 101.

[43] De Gaulle, War Memoirs, 648.

[44] B.H. Liddell Hart, History of the Second World War (New York, 1971), 558; Danchev and Todman, War Diaries, 585; Charles B. MacDonald, The Siegfried Line Campaign (Washington, DC, 1990), chaps. 36—42.

[45] WSCHCS, 7001.

[46] C&R-TCC, 3:310—11; Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston, 1966), 185; John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939—1955 (New York, 1985), 507.

[47] Johnson, V-1, V-2, 115.

[48] Colville, Fringes, 509—11.

[49] Danchev and Todman, War Diaries, 589; Colville, Fringes, 509—11.
[50] Danchev and Todman, War Diaries, 589.
[51] Danchev and Todman, War Diaries, 593; Colville, Fringes, 511.
[52] Colville, Fringes, 513.
[53] Time, 9/11/44.
[54] Moran, Diaries, 190—91, 193, 208.
[55] Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York, 1948), 818.
[56] Mary Soames, Clementine Churchill: The Biography of a Marriage (New York, 2003), 475.
[57] Time, 9/25/44, 19; Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 818; Colville, Fringes, 517—18.
[58] Colville, Fringes, 517.
[59] Colville, Fringes, 520; C&R-TCC, 3:341.
[60] WSCHCS, 6991, 6996.
[61] C&R-TCC, 3:341, 345; W. Averell Harriman and Elie Abel, Special Envoy to Churchill and Stalin: 1941—1946 (New York, 1975), 354—55; Colville, Fringes, 523.
[62] David Dilks, ed., The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938—1945 (New York, 1972), 682.
[63] C&R-TCC, 3:345; WSC 6, 227—28; W. Averell Harriman and Elie Abel, Special Envoy to Churchill and Stalin: 1941—1946 (New York, 1975), 356—58.
[64] Harriman and Abel, Special Envoy, 360.
[65] WSC 6, 239.
[66] Anthony Eden, Earl of Avon, The Reckoning: The Memoirs of Anthony Eden (New York, 1965), 563.
[67] Eden, The Reckoning, 564; W&C-TPL, 506.
[68] WSCHCS, 7015—17.
[69] WSCHCS, 7067.
[70] Eden, The Reckoning, 562.
[71] Dilks, Diaries, 679; De Gaulle, War Memoirs, 723.
[72] De Gaulle, War Memoirs, 723—24; C&R-TCC, 3:391, 395; Eden, The Reckoning, 574.
[73] CAD 689; Eden, The Reckoning, 577—78.
[74] WSC 6, 289; C&R-TCC, 3:458; Colville, Fringes, 529; Eden, The Reckoning, 577—78.
[75] Dilks, Diaries, 686; Colville, Fringes, 533, 535.
[76] WSCHCS, 7052.
[77] C&R-TCC, 3:451, 456.
[78] Mollie Panter-Downes, London War Notes, 1939—1945 (London, 1972), 353, 354; Dilks, Diaries, 689.
[79] PFR/Lady Mary Soames, letter of 9/3/07; PFR/Winston S. Churchill, 5/04; Eden, The Reckoning, 580.
[80] Danchev and Todman, War Diaries, 638.
[81] Colville, Fringes, 540, 545; Eden, The Reckoning, 580—81.
[82] Colville, Fringes, 540.
[83] Colville, Fringes, 541; WSC 5, 315.
[84] Macmillan, War Diaries, 620; Eden, The Reckoning, 582.
[85] Harriman and Abel, Special Envoy, 390; C&R-TCC, 3:476—77.
[86] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 847.
[87] TWY, 428; Colville, Fringes, 547.
[88] Colville, Fringes, 548—50.

[89] Collier, Second World War, 454; Danchev and Todman, War Diaries, 641; Colville, Fringes, 548—50; C&R-TCC, 3:486, 488.

[90] Colville, Fringes, 549; C&R-TCC, 3:488.

[91] Colville, Fringes, 555; C&R-TCC, 3:492; Harriman and Abel, Special Envoy, 390.

[92] Eden, The Reckoning, 554; Panter-Downes, War Notes, 349; Harriman and Abel, Special Envoy, 390; C&R-TCC, 3:593; Colville, Fringes, 551.

[93] Danchev and Todman, War Diaries, 644.

[94] Danchev and Todman, War Diaries, 644; Collier, Second World War, 457; Liddell Hart, History, 663.

[95] Collier, Second World War, 457—58; Shirer, Rise and Fall, 1091.

[96] Collier, Second World War, 457—58.

[97] Keegan, Second World War, 511; Shirer, Rise and Fall, 1097.

[98] Martin Gilbert, The Second World War: A Complete History (London, 1989), 634.

[99] Keegan, Second World War, 510—12; Milovan Djilas, Conversations with Stalin (Orlando, FL, 1962), 95, 110.

[100] Keegan, Second World War, 510—12; Shirer, Rise and Fall, 1098.

[101] Moran, Diaries, 216; Hastings Lionel Ismay, The Memoirs of General Lord Ismay (London, 1960), 385.

[102] Ismay, Memoirs, 384—85.

[103] Harriman and Abel, Special Envoy, 390; Eden, The Reckoning, 592.

[104] Ismay, Memoirs, 383; Collier, Second World War, 454; Soames, Clementine, 480.

[105] TWY, 433.

[106] Eden, The Reckoning, 592.

[107] Djilas, Conversations, 106.

[108] Dilks, Diaries, 702; Sarah Churchill, Keep On Dancing (London, 1981), 128; Jim Bishop, FDR'S Last Year (New York, 1974), 364.

[109] Bishop, FDR'S Last Year, 320; Harriman and Abel, Special Envoy, 104.

[110] WSC 6, 366.

[111] WSC 6, 369, 372; Harriman and Abel, Special Envoy, 405.

[112] WSC 6, 372; Bishop, FDR'S Last Year, 346; Eden, The Reckoning, 593.

[113] Harriman and Abel, Special Envoy, 406; WSC 6, 385.

[114] WSC 6, 390; Bishop, FDR'S Last Year, 364; Eden, The Reckoning, 594.

[115] WSC 6, 354; Eden, The Reckoning, 390.

[116] Bishop, FDR'S Last Year, 384, 412; Dilks, Diaries, 707—9; Moran, Diaries, 247.

[117] WSCHCS, 7116—18.

[118] WSC 6, 353, 397; Churchill, Keep On Dancing, 134.

[119] John Rupert Colville, Footprints in Time (London, 1979), 179.

[120] GILBERT 6, 1161, 1165.

[121] Colville, Fringes, 562—63.

[122] GILBERT 7, 1257.

[123] Colville, Fringes, 570.

[124] Colville, Fringes, 576.

[125] Danchev and Todman, War Diaries, 677, 679; WSC 6, 416.

[126] Collier, Second World War, 465—66; Viscount Montgomery of Alamein, The Memoirs of Field Marshal Montgomery (London, 1958), 330.

[127] C&R-TCC, 3:572, 600.

[128] Danchev and Todman, War Diaries, 679; Montgomery Memoirs, 331.

[129] Shirer, Rise and Fall, 1105—6.
[130] C&R-TCC, 3:603, 605, 608.
[131] Keegan, Second World War,166—67; Collier, Second World War, 469.
[132] Colville, Fringes, 564.
[133] C&R-TCC, 3:588.
[134] C&R-TCC, 3:596.
[135] C&R-TCC, 3:610, 613.
[136] C&R-TCC, 3:614.
[137] GILBERT 7, 1291—1293W&C-TPL, 526.
[138] TWY, 449; WSCHCS, 7140.
[139] Colville, Fringes, 591; Randolph S. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 1874—1900 (Boston, 1996), 411.
[140] Colville, Fringes, 591.
[141] Gilbert, Second World War, 669; WSC 6, 516.
[142] Keegan, Second World War, 521—22.
[143] Shirer, Rise and Fall, 1112, 1117; Albert Speer, Inside the Third Reich: Memoirs by Albert Speer (Macmillan, 1970), 480.
[144] Shirer, Rise and Fall, 1114; Speer, Memoirs, 473.
[145] Speer, Memoirs, 480, 485.
[146] David Rising, «Hitler's Final Days Described by Bodyguard», AP, 4/24/05.
[147] WSC 6, 502—3; Truman, Year of Decisions, 106—7.
[148] Shirer, Rise and Fall, 1131, 1138; Danchev and Todman, War Diaries, 686.
[149] GILBERT 7, 1318—22; Eden, The Reckoning, 615—16; Colville, Fringes, 592.
[150] Djilas, Conversations, 114.
[151] WSC 6, 506—7; Eden, The Reckoning, 616.
[152] Colville, Fringes, 596—97.
[153] Shirer, Rise and Fall, 1133.
[154] Louis P. Lochner, The Goebbels Diaries, 1942—1943 (New York, 1948), 254.
[155] Shirer, Rise and Fall, 1136—37; Keegan, Second World War, 528.
[156] Colville, Fringes, 588, 590; TWY, 453.
[157] TWY, 453; Time, 5/14/45, 70.
[158] Colville, Fringes, 596.
[159] Rising, «Hitler's Final Days»; Keegan, Second World War, 532; Mary Shelley, the final line of Frankenstein; Time, 5/7/45, 45.
[160] WSCHCS, 7150.
[161] Times, 5/3/45.
[162] Montgomery Memoirs, 335—36.
[163] Danchev and Todman, War Diaries, 687.
[164] Dilks, Diaries, 736, 738.
[165] Ismay, Memoirs, 394.
[166] Time, 5/7/45, 37; Panter-Downes, War Notes, 373.
[167] Ismay, Memoirs, 395; Danchev and Todman, War Diaries, 687—88.
[168] The Daily Telegraph, 5/8/45; Panter-Downes, War Notes, 376.
[169] Cooper, Old Men, 325.
[170] TWY, 457.
[171] Moran, Diaries, 269.
[172] WSCHCS, 7154; TWY, 457.
[173] WSCHCS, 7155; Panter-Downes, War Notes, 377—78.
[174] WSCHCS, 7161; Danchev and Todman, War Diaries, 689.
[175] Panter-Downes, War Notes, 378; TWY, 459.
[176] WSCHCS, 7155.

[177] Soames, Clementine, 375; GILBERT 7, 1351.

[178] My wording recalls the translation by Emily Wilson (Six Tragedies, Oxford, 2010).

Глава 7
МОРСКОЙ ОТЛИВ

[1] WSCHCS, 7214.

[2] Alex Danchev and Daniel Todman, eds., Field Marshal Lord Alanbrooke: War Diaries 1939—1945 (Berkeley, 2003), 691; John Keegan, The Second World War (London, 1989), 590—91

[3] Danchev and Todman, War Diaries, 691.

[4] WSC 6, 571, 573.

[5] WSC 6, 575.

[6] WSC 6, 578.

[7] Keegan, Second World War, 592—93; Dwight D. Eisenhower, Crusade in Europe (New York, 1948), 439.

[8] Viscount Montgomery of Alamein, The Memoirs of Field Marshal Montgomery (London, 1958), 356; WSCHCS, 7214.

[9] WSCHCS, 7163.

[10] Danchev and Todman, War Diaries, 598, 690, 693, 695; Montgomery, Memoirs, 214—15.

[11] Montgomery, Memoirs, 336; WSC 6, 570; GILBERT 8, 1070.

[12] WSCHCS, 8612.

[13] WSCHCS, 5694.

[14] Anthony Eden, Earl of Avon, The Reckoning: The Memoirs of Anthony Eden (New York, 1965), 637.

[15] GILBERT 7, 972.

[16] WSCHCS, 7130—33.

[17] J.B. Priestley, Letter to a Returning Serviceman (London, 1945); Time, 12/31/45, 92.

[18] WSCHCS, 6764.

[19] WSCHCS, 7133.

[20] John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939—1955 (New York, 1985), 606; WSCHCS, 7170.

[21] WSCHCS, 7172—73.

[22] Roy Jenkins, Churchill: A Biography (London, 2011), 793; Colville, Fringes, 606—7.

[23] Brian Gardner, Churchill in Power: As Seen by His Contemporaries (Boston, 1970), 299; TWY, 472, 475.

[24] Henry Pelling, Winston Churchill (Conshohocken, PA, 1999), 560; Eden, The Reckoning, 638.

[25] Colville, Fringes, 611; Gardner, Churchill in Power, 301.

[26] WSCHCS, 7201—3.

[27] John Wheeler-Bennett, Action This Day: Working with Churchill(London, 1968),72—73.

[28] Colville, Fringes, 610; Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston, 1966), 276, 279; W. Averell Harriman and Elie Abel, Special Envoy to Churchill and Stalin: 1941—1946 (New York, 1975), 397(Leahy offers odds).

[29] Hansard 6/14/45; Colville, Fringes, 611.

[30] WSC 6, 637—38; Anthony Montague Browne, Long Sunset (London, 1996), 127.

[31] Eden, The Reckoning, 632, 634; David Dilks, ed., The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938—1945 (New York, 1972), 765.
[32] Eden, The Reckoning, 634.
[33] Moran, Diaries, 291.
[34] WSC 6, 642.
[35] Harry S. Truman, Year of Decisions (Garden City, NY, 1955), 416; WSC 6, 669—70; Georgii Konstantinovich Zhukov, The Memoirs of Marshal Zhukov (New York, 1971), 674—75.
[36] Danchev and Todman, War Diaries, 709.
[37] WSC 6, 632; Time, 8/27/45; Herald Tribune Europe, 12/29/06.
[38] WSC 6, 674—75.
[39] Time, 7/9/45; Mary Soames, Clementine Churchill: The Biography of a Marriage (New York, 2003), 508—9; WSC 6, 674—75; Gardner, Churchill in Power, 307.
[40] Soames, Clementine, 509; Moran, Diaries, 307.
[41] Gardner, Churchill in Power, 307—9.
[42] NYT, 1/25/65.
[43] Soames, Clementine, 509; TWY, 479.
[44] Gardner, Churchill in Power, 308; WSCHCS, 7204.
[45] Danchev and Todman, War Diaries, 713.
[46] Eden, The Reckoning, 639.
[47] Soames, Clementine, 511.
[48] Soames, Clementine, 511; Colville, Fringes, 612.
[49] WSCHCS, 7505, 7257.
[50] WSCHCS, 7252—53.
[51] Moran, Diaries, 335.
[52] Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York, 1948), 922, 931.
[53] Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in the State Department (New York, 1969), 150—51.
[54] George F. Kennan, Memoirs: 1925—1950 (New York, 1967), 290—91, 546.
[55] Montgomery, Memoirs, 362, 454.
[56] Clark Clifford, Counsel to the President (New York, 1991), 100—2.
[57] Clifford, Counsel, 100; Moran, Diaries, 303, 350.
[58] Clifford, Counsel, 101.
[59] WSCHCS, 7286.
[60] WSCHCS, 7289.
[61] WSCHCS, 7286; NYT, 3/6/46.
[62] GILBERT 8, 204—6, 211.
[63] Harriman and Abel, Special Envoy, 550—51.
[64] WSCHCS, 7382.
[65] WSCHCS, 7380—82.
[66] GILBERT 8, 286—88; WSCHCS, 8016.
[67] WSCHCS, 7367.
[68] Clifford, Counsel, 131; Acheson, Present, 217—18.
[69] Clifford, Counsel, 138; Moran, Diaries, 231; Leonard Mosley, Marshall: Hero for Our Times (New York, 1982), 396—98.
[70] Acheson, Present, 212.
[71] Mosley, Marshall, 402; Acheson, Present, 217—18; Clifford, Counsel, 145.
[72] Soames, Clementine, 522.
[73] Colville, Fringes, 648; John Colville, The Churchillians (London, 1981), 156.

[74] Stewart Alsop, Stay of Execution: A Sort of Memoir (New York, 1973); WM/Cecily («Chips») Gemmell (German prisoners), 7/10/80.

[75] WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80; Roy Howells, Churchill's Last Years (Philadelphia, 1965), 163—64; Diana Cooper, The Light of Common Day (London, 1959), 109.

[76] GILBERT 8, 563n2; Soames, Clementine, 522, 564.

[77] GILBERT 8, 244—45.

[78] Soames, Clementine, 543.

[79] Jenkins, Churchill, 824; Gilbert 8, 315.

[80] W&C-TPL, 545; Moran, Diaries, 339.

[81] Moran, Diaries, 341, 344, 356, 838.

[82] Moran, Diaries, 336; Herald Tribune Europe, 12/29/06; WSCHCS, 7909.

[83] Time, 6/13/45; Time, 9/3/45, back cover.

[84] Nigel Nicolson, ed., The Harold Nicolson Diaries: 1907—1963 (London, 2004), 346.

[85] Nigel Nicolson, Diaries, 346; Colville, Fringes, 618—21.

[86] Colville, Fringes, 620—21; GILBERT 8, 422.

[87] WSCHCS, 7387—88, 7525.

[88] WSCHCS, 7387.

[89] Moran, Diaries, 336.

[90] WSCHCS, 7314, 7328.

[91] WSCHCS, 7376.

[92] Moran, Diaries, 337—38.

[93] WSCHCS, 7458.

[94] WSCHCS, 7458.

[95] WSCHCS, 7774—77.

[96] WSCHCS, 7444.

[97] WSCHCS, 7447, 7655 (Punjab massacres).

[98] WSCHCS, 7673.

[99] Martin Gilbert, Churchill: A Life (New York, 1992), 879.

[100] WSCHCS, 7627.

[101] Nigel Nicolson, Diaries, 361.

[102] Nigel Nicolson, Diaries, 363.

[103] David Reynolds, ed., The Origins of the Cold War in Europe (New Haven, CT, 1994), 13.

[104] GILBERT 8, 467.

[105] Colville, Fringes, 626.

[106] Time, 1/5/50; WSCHCS, 7797.

[107] WSCHCS, 8023.

[108] Peter Catterall, ed., The Macmillan Diaries: The Cabinet Years, 1950—57 (London, 2003), 17.

[109] WSCHCS, 8023.

[110] WSCHCS, 7793.

[111] WSCHCS, 7653; WSCHCS, 7501.

[112] WSCHCS, 7680.

[113] GILBERT 8, 226; WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80.

[114] WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80; WM/Jane Portal (Lady Jane Williams), 1980.

[115] WM/Jane Portal (Lady Jane Williams), 1980.

[116] Gilbert, Churchill: A Life, 887; WM/Jane Portal, 1980; WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80.

[117] WM/Cecily («Chips») Gemmell, 7/10/80.
[118] WM/Cecily («Chips») Gemmell 7/10/80; WM/Jane Portal (Lady Jane Williams), 1980.
[119] Richard Langworth, ed., Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations (London, 2008), 330; Time, 1/5/50.
[120] James Reston, Deadline: A Memoir (New York, 1991).
[121] W&C-TPL, 553.
[122] Moran, Diaries, 358, 360.
[123] Jenkins, Churchill, 829; WSCHCS, 7927.
[124] WSCHCS, 7938, 7948.
[125] WSCHCS, 7915.
[126] WSCHCS, 7943.
[127] WSCHCS, 7951.
[128] Moran, Diaries, 359; GILBERT 8, 514.
[129] WSCHCS, 7966.
[130] Pelling, Winston Churchill, 642.
[131] WSCHCS, 8236, 7897; Charles Eade, ed., Churchill by His Contemporaries (New York, 1954), 58, 301.
[132] Eade, Churchill, 295.
[133] WSCHCS, 8017, 8023, 8191; Jenkins, Churchill, 837.
[134] WSCHCS, 8005, 8016, 8018, 8021, 8023, 8025, 8027.
[135] WSCHCS, 8059.
[136] WSCHCS, 8062.
[137] WSCHCS, 7800.
[138] WSCHCS, 8028, 8048; Catterall, Macmillan Diaries, 4.
[139] WSCHCS, 8119, 8075.
[140] WSCHCS, 8065; Nigel Nicolson, Diaries, 372.
[141] WSCHCS, 8068—69.
[142] Catterall, Macmillan Diaries, 6, 7, 10.
[143] Time, 10/16/50, 10/30/50.
[144] Acheson, Present, 467—69, 478; Catterall, Macmillan Diaries, 33.
[145] Acheson, Present, 478, 481—82.
[146] WSCHCS, 8109.
[147] W&C-TPL, 558.
[148] Nigel Nicolson, Diaries, 374.
[149] Catterall, Macmillan Diaries, 33, 47, 49.
[150] Catterall, Macmillan Diaries, 52.
[151] Colville, Fringes, 759; Catterall, Macmillan Diaries, 63.
[152] Catterall, Macmillan Diaries, 53—54, 90; WSCHCS, 8203, 8238, 8240.
[153] Catterall, Macmillan Diaries, 90—91; Moran, Diaries, 360.
[154] Soames, Clementine, 562; GILBERT 8, 631.
[155] GILBERT 8, 638; WSCHCS, 7214.
[156] WSCHCS, 8243.
[157] WSCHCS, 8246.
[158] WSCHCS, 8253.
[159] Alec Cairncross, The British Economy Since 1945, 2nd ed. (Boston, 1995) 55—57, 102—3.
[160] Moran, Diaries, 384; WSCHCS, 8256, 8261.
[161] Violet Bonham Carter, Winston Churchill: An Intimate Portrait (New York, 1965), 4—5; WSCHCS, 8268.
[162] WSCHCS, 8283.

[163] Moran, Diaries, 366; Catterall, Macmillan Diaries, 105; WSCHCS, 8283.
[164] Soames, Clementine, 429.
[165] Hastings Lionel Ismay, The Memoirs of General Lord Ismay (London, 1960), 453.
[166] Colville, Fringes, 631.
[167] Catterall, Macmillan Diaries, 111, 114—15.
[168] Acheson, Present, 608.
[169] WSCHCS, 8307.
[170] WSCHCS, 7793.
[171] WSCHCS, 8307.
[172] WSCHCS, 8297.
[173] Nigel Nicolson, Diaries, 378; Acheson, Present, 595.
[174] WSCHCS, 8329.
[175] Colville, Fringes, 634, 641.
[176] Moran, Diaries, 433, 436—37; Colville, Fringes, 675.
[177] Moran, Diaries, 473.
[178] Colville, Fringes, 672.
[179] Moran, Diaries, 475.
[180] Colville, Fringes, 673.
[181] Moran, Diaries, 489.
[182] WSCHCS, 8504—5.
[183] Moran, Diaries, 527; Catterall, Macmillan Diaries, 272.
[184] Moran, Diaries, 535—56; W&C-TPL, 575.
[185] Soames, Clementine, 581.
[186] Colville, Fringes, 683—85.
[187] Moran, Diaries, 540.
[188] Moran, Diaries, 557; WM/Malcolm Muggeridge, 11/25/80.
[189] GILBERT 8, 593.
[190] Moran, Diaries, 595.
[191] Colville, Fringes, 692—93.
[192] Colville, Fringes, 698; Catterall, Macmillan Diaries, 325.
[193] GILBERT 8, 1036.
[194] GILBERT 8, 1039.
[195] Catterall, Macmillan Diaries, 343.
[196] Colville, Fringes, 706—7.
[197] Soames, Clementine, 446; GILBERT 8, 1073.
[198] WSCHCS, 8609.
[199] Sarah Churchill, A Thread in the Tapestry (London, 1967), 17.
[200] GILBERT 8, 958; Colville, Fringes, 705.
[201] WSCHCS, 8627.
[202] WSCHCS, 8633.
[203] Sunday Times, 3/6/55; GILBERT 8, 1101.
[204] Colville, Fringes, 708.
[205] Colville, Fringes, 708; Browne, Long Sunset, 148.
[206] Soames, Clementine, 597.

Эпилог

[1] GILBERT 8, 1151.
[2] Anthony Montague Browne, Long Sunset (London, 1996), 158; M/Anthony Montague Browne, 11/15/80.
[3] WM/A. J.P. Taylor, 12/1/80.

[4] Browne, Long Sunset, 150; Mary Soames, Clementine Churchill: The Biography of a Marriage (New York, 2003), 545, 552.

[5] Browne, Long Sunset, 152.

[6] W&C-TPL, 628; Soames, Clementine, 633.

[7] Soames, Clementine, 634—35.

[8] Lord Moran, Churchill: Taken from the Diaries of Lord Moran (Boston, 1966), 840; Roy Howells, Churchill's Last Years (Philadelphia, 1965), 65.

[9] Browne, Long Sunset, 302, 310.

[10] Atlantic Monthly, 3/65.

[11] Soames, Clementine, 619.

[12] John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939—1955 (New York, 1985), 720—21.

[13] Moran, Diaries, 756; Colville, Fringes, 51, 721.

[14] W&C-TPL, 621.

[15] Nigel Nicolson, ed., The Harold Nicolson Diaries: 1907—1963 (London, 2004), 412; NYT, 11/5/57.

[16] John Colville, The Churchillians (London, 1981), 214.

[17] Howells, Churchill's Last Years, 64; Browne, Long Sunset, 142; WM/Anthony Montague Browne, 11/15/80.

[18] WSCHCS, 8687.

[19] Moran, Diaries, 562; Time, 6/13/60.

[20] Randolph S. Churchill, Winston S. Churchill: Youth, 1874—1900 (Boston, 1996), 257; Winston S. Churchill, Memories and Adventures (London, 1989), 115.

[21] Browne, Long Sunset, 278, 288—89.

[22] Browne, Long Sunset, 312.

[23] Kay Halle, Irrepressible Churchill: Stories, Sayings and Impressions of Sir Winston Churchill (London, 1985), 325; Browne, Long Sunset, 312.

[24] Moran, Diaries, 566; Howells, Churchill's Last Years, 128, 140.

[25] Howells, Churchill's Last Years, 194—95.

[26] Moran, Diaries, 840—41; Colville, Churchillians, 19.

[27] The Editors of the Viking Press, The Churchill Years 1874—1965, with foreword by Lord Butler of Saffron Walden (London, 1965), 240—42.

[28] Moran, Diaries, 842.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Преследуемый лев 7

Глава 1. Циклон. Май—декабрь 1940 года 60
Глава 2. Пороги. 1941 год 256
Глава 3. Водоворот. 1942 год 444
Глава 4. Встречные течения. Ноябрь 1942 — декабрь 1943 года 632
Глава 5. Летчик. Декабрь 1943 — июнь 1944 года 831
Глава 6. Якорная стоянка. Июнь 1944 — май 1945 года 910
Глава 7. Морской отлив. 1945—1955 годы 997

Эпилог. 1955—1965 годы 1106

Аббревиатуры и сокращенные названия, используемые в примечаниях 1124

Примечания 1126

Манчестер Уильям
Рейд Пол

УИНСТОН СПЕНСЕР ЧЕРЧИЛЛЬ. ЗАЩИТНИК КОРОЛЕВСТВА

ВЕРШИНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ 1940—1965

Ответственный редактор *Е.Л. Шведова*
Художественный редактор *Е.Ю. Шурлапова*
Технический редактор *Н.В. Травкина*
Ответственный корректор *Т.В. Соловьева*

Подписано в печать 24.09.2015.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 74,0. Уч.-изд. л. 77,61.
Тираж 2 500 экз. Заказ № 946

ЗАО «Издательство Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@CNPOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр. Ленина, 5

«Поистине монументальное произведение... Серьезное и содержательное в историческом и социальном контексте».

Time

«Наиболее полное жизнеописание Уинстона Черчилля... который предстает перед нами во всех ипостасях — от героической до просто человеческой».

People

«Невероятно увлекательное чтение. Авторы обобщили в книге многочисленные факты богатой событиями судьбы одного из величайших людей прошлого века...»

Chicago Tribune

«Глубокое, многоплановое и эмоциональное исследование феномена Уинстона Черчилля. Пока никому не удалось лучше раскрыть эту тему».

The Philadelphia Inquirer

«Блестящая подробная, построенная на богатом фактическом материале биография Черчилля, которого, оказывается, мы так мало знали».

Boston Herald

ЦЕНТРПОЛИГРАФ®

ISBN 978-5-227-06283-3